

[Том I](#)

Норберт Элиас

О процессе цивилизации

Социогенетические и психогенетические
исследования

Том 1

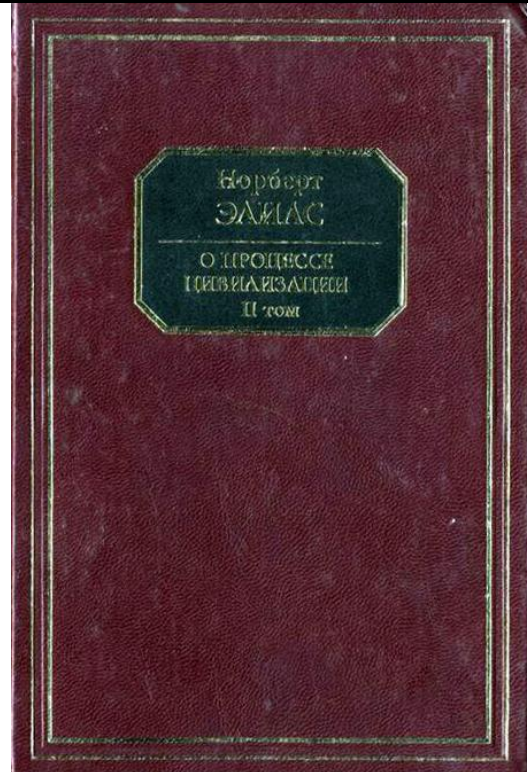
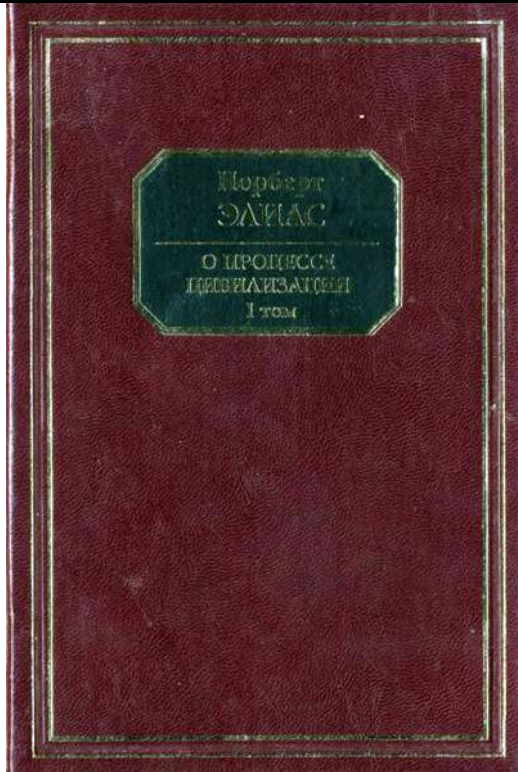
[Том II](#)

Норберт Элиас

О процессе цивилизации

Социогенетические и психогенетические
исследования

Том 2



Электронное оглавление 2-х томов

Электронное оглавление 2-х томов.....	2
Том I.....	8
Предисловие ко второму изданию.....	10
I.....	10
II.....	11
III.....	11
IV.....	12
V.....	13
VI.....	15
VII.....	16
VIII.....	21
IX.....	24
Примечания.....	29
Предисловие к первому изданию	31
Примечание.....	34
Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура»	35
Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии	35
I. Введение	35
1.....	35
2.....	35
3.....	35
4.....	36
5.....	36
6.....	36
II. О ходе развития пары противоположаемых понятий «цивилизация» и «культура»².....	37
7.....	37
8.....	37
III. Примеры придворных воззрений в Германии	38
9.....	38
10.....	39
11.....	39
12.....	40
IV. О среднем классе и придворном дворянстве в Германии	40
13.....	40
14.....	42
V. Литературные примеры отношения буржуазной интеллигенции к придворным.....	43
15.....	43
16.....	45
VI. Падение значимости социального противостояния и выход на первый план национальных противоположностей в истории взаимоотношений понятий «культура» и «цивилизация»	47
17.....	47
Примечания.....	49
Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции	50
I. О социогенезе французского понятия «цивилизация».....	50
1.....	50
2.....	51
3.....	52
II. О социогенезе учения физиократов и французского движения реформ.....	53
4.....	53
5.....	54
6.....	55
7.....	55
Примечания.....	58
Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения	58
Глава I. История понятия «civilité»	58
1.....	58
2.....	59
3.....	59
4.....	59
5.....	61
Примечания.....	62
Глава II. Средневековые манеры	62

1.....	62
2.....	63
3.....	64
4.....	65
5.....	66
Примечания.....	67
Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения.....	68
1.....	68
2.....	68
3.....	69
4.....	70
5.....	71
6.....	71
7.....	72
Примечания.....	75
Глава IV. О поведении за едой.....	77
I. Примеры.....	77
(1).....	77
A. XIII в. Из «Daz ist des tanhausers detiht und ist guod hofzuht» ¹	77
B. XV в. (?) Из «S'ensuivent les contenance de la table» ⁹	79
1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского (гл. 4).....	80
D. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневенского.....	81
E. 1560 Из «Civilité» К. Кальвиака ¹⁰	81
F. 1640-1680 Из песни маркиза де Куланжа ¹¹	82
G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна.....	82
H. 1717 Из «De la Science du Monde et des Connoissances utiles à la Conduite de la vie» Франсуа де Кайе.....	83
(2).....	83
I. 1714(?) Анонимная «Civilité française» (Liège, p. 48).....	83
J. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля (Rouen, p. 87).....	84
K. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля (P. 45ff).....	85
L. 1780(?) Из анонимного сочинения «La Civilité honnête pour les Enfants».....	85
M. 1786 Из разговора между поэтом Делилем и аббатом Коссоном ¹²	85
N 1859 Из «The habits of Good Society».....	86
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом.....	86
Группа 1.....	86
1. Об обществах, к которым относятся процитированные тексты.....	86
1.....	86
2.....	87
Экскурс: о подъеме и падении роли понятий «courtoisie» и «civilité».....	87
3.....	87
2. Об основной траектории «цивилизации» приема пищи.....	88
4.....	88
5.....	89
6.....	89
Экскурс: о моделировании речи придворными кругами.....	90
7.....	90
8.....	91
9.....	91
10.....	91
3. О том, как люди обосновывали свои суждения о «дурном», «хорошем» или «лучшем» поведении.....	93
11.....	93
Группа 2.....	94
1. О мясной пище.....	94
1.....	94
2.....	95
3.....	95
2. Об употреблении ножа за едой.....	96
4.....	96
5.....	97
6.....	97
7.....	98
3. Об употреблении вилки за едой.....	98
8.....	98

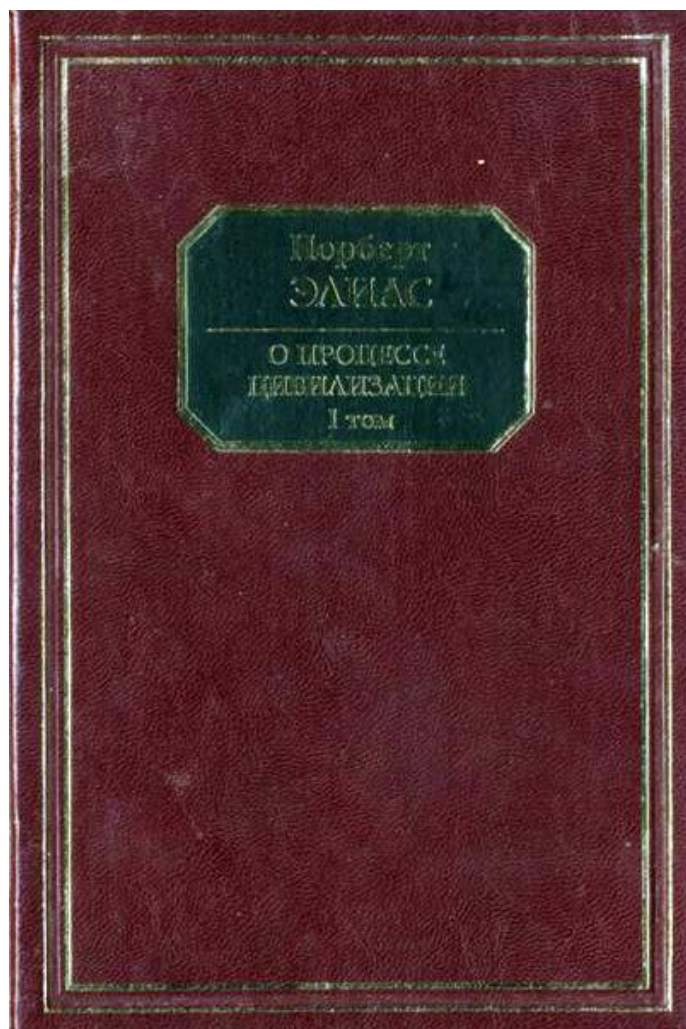
Примечания.....	100
Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям.....	100
I. Примеры.....	100
A. XV в. (?) Из «S'ensuivent les contenance de la table».....	100
B. Из «Ein spruch der ze tische kêt» ¹	101
1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского.....	101
D. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского.....	101
E. 1570 Из вернигеродского «Придворного уложения» ²	101
F. 1589 Из брауншвейгского «Придворного уложения» ³	102
G. Около 1619 Из «The Book of Demeanor and the Allowance and Disallowance of certaine Misdemeanors in Companie» Ричарда Весте ⁴	102
H. 1694 Из переписки герцогини Орлеанской.....	102
I. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	102
J. 1731.....	102
K. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	102
L. 1768 Из письма г-жи Дю Деффан г-же Шуазель от 9 мая 1768 г. ⁵	102
II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом.....	103
1.....	103
2.....	103
3.....	103
4.....	104
5.....	105
6.....	106
Примечания.....	107
Глава VI. О сморкании.....	108
I. Примеры.....	108
A. XIII в. Из «De le zinquanta cortexie da tavola» Бонвичино да Рива.....	108
XV в. B. Из «Ein spruch der ze tische kêt».....	108
C. Из «S'ensuivent les contenance de la table».....	108
D. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане.....	108
XVI в. E. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского.....	108
F. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского.....	108
G. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане.....	108
Конец XVII в.	109
H. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна.....	109
I. 1694 Из «Dictionnaire étymologique de la langue française» Менажа.....	109
XVIII в. J. 1714 Из анонимной «Civilité française».....	109
K. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	109
L. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	110
M. 1797 Из «Le voyageur de Paris» де ла Месанжера.....	110
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о сморкании.....	110
1.....	110
2.....	110
3.....	111
Глава VII. О плеваннии.....	112
I. Примеры.....	112
Средние века.....	112
A. Из латинского «Stans puer ad mensam».....	112
B. Из французской «Contenance de table».....	112
D. Из «Der Deutsche Cato»,.....	112
E «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского.....	113
F. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского.....	113
G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна.....	113
H. 1714 (?) Из анонимной «Civilité française».....	113
1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	113
J. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля.....	113
K. 1859 Из «The Habits of Good Society».....	113
L. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане.....	114
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о плеваннии.....	114
1.....	114
2.....	114
3.....	115
4.....	115

Глава VIII. О поведении в спальне	116
I. Примеры	116
A. XV в. Из «Stans puer ad mensam», английского свода правил, относящегося ко времени между 1463 и 1483 гг.	116
B. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского	116
C. 1555 Из «Des bonnes moeurs et honnestes contenance» Пьера Броэ	116
D. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля	117
E. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля	117
II. Некоторые мысли о процитированных текстах	117
1	117
2	117
3	118
4	119
Примечания	120
Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной	120
1	120
2	121
3	122
4	122
5	123
6	124
7	124
8	125
9	127
10	129
11	129
12	130
Примечания	131
Глава X. О трансформации агрессивности	133
Предварительное замечание	133
1	133
2	134
3	136
4	136
5	138
6	139
Примечания	140
Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря	140
Примечания	146
Приложение	148
Перевод иноязычных текстов*	148
Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура»	148
Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии	148
Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции	148
Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения	149
Глава I. История понятия «civilité»	149
Глава II. Средневековые манеры	149
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом	154
Группа I	154
Группа 2	155
Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям	155
I. Примеры	155
II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом	156
Глава VI. О сморкании	156
I. Примеры	156
Глава VII. О плеваньи I. Примеры	157
Глава VIII. О поведении в спальне I. Примеры	158
II. Некоторые мысли о процитированных текстах	159
Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной	159
Глава X. О трансформации агрессивности	159
Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря	159
Указатель имен 1 тома	160
Содержание 1 тома	163

Том 2	165
Часть третья. О социогенезе западной цивилизации	168
Глава I. О придворном обществе	168
1.....	168
2.....	168
3.....	168
4.....	169
5.....	169
6.....	170
Глава II. О социогенезе абсолютизма: краткий предварительный обзор темы.....	170
1.....	170
2.....	171
3.....	171
4.....	171
5.....	172
Примечание.....	172
Глава III. О механизме общественного развития в Средние века	172
I. О механизмах феодализации.....	172
1. Введение.....	172
1.....	172
2.....	173
2. Центростремительные и центробежные силы в средневековом аппарате господства.....	173
3.....	173
4.....	174
5.....	174
6.....	176
7.....	177
8.....	178
9.....	178
10.....	179
3. Рост населения после великого переселения народов 11.....	180
12.....	181
13.....	182
14.....	182
15.....	183
4. О социогенезе крестовых походов 16.....	183
17.....	184
18.....	185
5. Внутренняя дифференциация общества: образование новых органов и инструментов	187
19.....	187
20.....	187
21.....	189
6. О некоторых новых элементах в строении средневекового общества в сравнении с античным .	190
22.....	190
23.....	191
7. О социогенезе феодализма	192
24.....	192
25.....	193
26.....	194
8. О социогенезе миннезанга и куртуазных форм общения	196
27.....	196
28.....	197
30.....	200
31.....	201
32.....	202
33.....	203
34.....	204
36.....	205
37.....	206
38.....	207
II. О социогенезе государства.....	208
1. Первый шаг на пути возвышения королевского дома: конкурентная борьба и формирование монополии в рамках одного удела	208

1.....	208
2.....	208
Экскурс: о некоторых различиях в ходе развития Англии, Франции и Германии.....	209
1.....	209
2.....	209
3.....	210
4.....	211
5.....	212
6.....	213
2. О механизме возникновения и действия монополии.....	213
1.....	213
2.....	214
3.....	215
3. Ранняя конкурентная борьба в границах королевства.....	219
1.....	219
2.....	219
3.....	220
4.....	220
5.....	221
6.....	222
7.....	224
4. Новое усиление центробежных сил: конкуренция принцев.....	225
8.....	225
9.....	226
10.....	227
11.....	230
5. Последние этапы свободной конкурентной борьбы и окончательное установление монополии победителя.....	233
12.....	233
13.....	235
14.....	237
6. Распределение власти и его значение для центра: образование «королевского механизма».....	238
15.....	238
16.....	239
17.....	240
18.....	243
19.....	245
20.....	248
21.....	249
22.....	250
23.....	251
24.....	252
25.....	253
7. О социогенезе монополии на налоги 26.....	257
27.....	259
28.....	263
Примечания.....	268
Проект теории цивилизации.....	276
I. Социальное принуждение к самоконтролю.....	276
II. Распространение принуждения к предвидению и самопринуждения.....	284
III. Уменьшение контрастов, рост многообразия.....	286
IV. Превращение рыцарей в придворных.....	289
V. Подавление влечений. Психологизация и рационализация.....	294
VI. Стыд и чувство неприятного.....	303
VII. Рост зависимости высшего слоя и давления на него снизу.....	306
VIII. Резюме.....	313
Примечания.....	320
Приложение.....	327
Перевод иноязычных текстов.....	327
Часть третья. О социогенезе западной цивилизации.....	327
Проект теории цивилизации.....	328
А.М.Руткевич. Историческая социология Норберта Элиаса.....	329
Примечания.....	340
Указатель имен.....	342
Содержание 2 тома.....	346

Том I



...не искать никакой науки кроме той, которую можно найти в себе самом или в громадной книге света...
Рене Декарт

Серия основана в 1997 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Института научной информации по общественным наукам, Института всеобщей истории, Института философии
Российской Академии наук

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:

Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева, М.Л. Андреев, В.И. Бахмин, М.А. Веденяпина, Е.Ю. Гениева, Ю.А. Кимелев, А.Я.
Ливергант, Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер, А.В. Полетаев, И.М. Савельева, Л.П. Репина, А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов
«University Library» Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail
Andreev, Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrey Poletayev, Irina Savelieva, Lorina
Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Данное издание осуществлено при поддержке Фонда «Прагматики культуры».

Фонд создан в интересах содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и
духовного развития личности.

Академия исследований культуры

Norbert Elias

Über den Prozess der Zivilisation

Basel, 1939

Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen

Bd.I

Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes

Норберт Элиас

О процессе цивилизации

Социогенетические и психогенетические исследования

Том 1

Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада

Университетская

библиотека

Социологи

Университетская книга Москва - Санкт-Петербург 2001

ББК 60.5

УДК 1/14 Редакционная коллегия серии:

Э 46 Л.В. Скворцов (председатель), И.И. Блауберг, В.В. Бычков, П.П. Гайденок, В.Д. Губин, Ю.Н.Давыдов, Г.И. Зверева, Л.Г. Ионин, Ю.А. Кимелев, И.В. Кондаков, О.Ф. Кудрявцев, С.В. Лёзов, Н.Б. Маньковская, В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Мостова, Г.С. Померанц, А.М. Руткевич, И.М. Савельева, М.М. Скибицкий, П.В. Соснов, А.Г. Трифонов, А.Л. Ястребицкая
Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я. Левит

Редакционная коллегия тома:

Научный редактор О.Ю. Бойцова

Переводчик А.М. Руткевич

Художник П.П. Ефремов

Э 46 **Норберт Элиас**. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 332 с. — («Книга света»)

ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света) ISBN 5-94483-011-5

Норберт Элиас (1897-1990) — немецкий социолог, автор многочисленных работ по общей социологии, по социологии науки и искусства, стремившийся преодолеть структуралистскую статичность в трактовке социальных процессов. Наибольшим влиянием идеи Элиаса пользуются в Голландии и Германии, где существуют объединения его последователей.

В своем главном труде «О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования» (1.939) Элиас разработал оригинальную концепцию цивилизации, соединив в единой теории социальных изменений многочисленные данные, полученные историками, антропологами, психологами и социологами изолированно друг от друга. На богатом историческом и литературном материале он проследил трансформацию психологических структур, привычек и манер людей западноевропейского общества начиная с эпохи Средневековья и вплоть до нашего времени, показав связь этой трансформации с социальными и политическими изменениями, а также влияние этих процессов на становление тех форм поведения, которые в современном обществе считаются «цивилизованными» и «культурными».

Адресуется широкому кругу читателей, интересующихся проблемами истории культуры, социологии и философии.

ISBN 5-94483-011-5

ББК 60.5

© С.Я. Левит, составление серии, 2001

© А.М. Руткевич, перевод, 2001

© Университетская книга, 2001

Предисловие ко второму изданию

I

Размышляя сегодня о структуре человеческих аффектов и системе контроля над ними и пытаясь разработать теории по этому поводу, мы обычно удовлетворяемся наблюдениями за нашими современниками. Исходный эмпирический материал нам дают люди, принадлежащие развитым обществам. В качестве предпосылки негласно принимается тезис, что на основе исследования структуры аффектов и контроля над ними у людей специфической фазы общественного развития — представителей нашего собственного общества — можно построить теорию о структурах такого рода вообще, свойственных людям всех обществ. В то же время имеются многочисленные и сравнительно доступные данные наблюдений, указывающие на то, что стандарты и образцы контроля над аффектами могут отличаться на разных ступенях развития и даже у различных слоев одного и того же общества. Имеем ли мы дело с многовековой историей европейских стран или с так называемыми «развивающимися странами», мы сталкиваемся со все новыми сведениями, ставящими перед нами вопрос: как и почему в ходе тех длительных и определенным образом направленных общих процессов трансформации общества, за которыми у нас закрепился технический термин «развитие», одновременно происходят определенным образом направленные изменения в аффективном поведении, в человеческом опыте, в регулировании аффектов посредством внешнего принуждения и самопринуждения, а тем самым в известном смысле и во всей структуре человеческой экспрессии? В обыденной речи на такого рода изменения обычно указывают, говоря, что в нашем обществе люди стали «цивилизованнее», чем были ранее, или что члены других обществ менее «цивилизованны» и, в сравнении с нами, попросту остались «варварами». Оценочный акцент подобных высказываний вполне ясен. Менее очевидны факты, к которым такие высказывания апеллируют. Отчасти это связано с тем, что при нынешнем состоянии социологии эмпирические исследования долговременных трансформаций личностных структур и в осо-

5

бенности регуляции аффектов в значительной мере затруднены. Социология интересуется относительно кратковременными процессами, по большей части вообще лишь проблемами, обусловленными нынешним состоянием общества. Долговременные трансформации социальных, а тем самым и личностных структур остаются сегодня в общем и целом вне поля зрения.

Предметом представленных в этой книге исследований служат именно длительные процессы. Подобные процессы будет проще понять, если указать на различные их типы. Прежде всего, следует различать два основных направления социальных трансформаций: структурные изменения, связанные с ростом дифференциации и интеграции, и структурные изменения, ведущие к уменьшению дифференциации и интеграции. Помимо этого можно выделить еще один, третий тип социальных процессов, когда трансформация структуры либо того или иного общества в целом, либо какого-либо из его аспектов не связана с увеличением или уменьшением дифференциации и интеграции. Наконец, существует бесконечное число социальных изменений, не ведущих к смене социальной структуры. Конечно, такая классификация не передает всей сложности социальных изменений, поскольку имеется множество смешанных типов. В обществе можно одновременно наблюдать разнонаправленные изменения. Но для начала нам достаточно краткого описания различных типов изменений; пока мы просто указываем на проблемы, решению которых посвящены наши исследования. В первом томе нас прежде всего будет интересовать следующий вопрос: есть ли сравнительно надежные данные, позволяющие считать обоснованным предположение (пока покоящееся на расплывчатых наблюдениях) о наличии долговременных трансформаций аффективных структур и структур контроля у людей какого-либо общества, — таких трансформаций, что длятся на протяжении ряда поколений и идут в одном направлении? Таким образом, этот том дает представление об этапах социологического исследования и о его результатах — по хорошо известному образцу естественных наук, где их аналогом являются эксперимент и его результат. Нужно выявить и раскрыть фактические связи, открыть и прояснить то, что действительно происходит в поле наблюдения.

Обнаружение изменений в аффективных структурах и структурах контроля, происходящих на протяжении ряда поколений в одном и том же направлении, а именно, в сторону ужесточения и все большей дифференциации контроля, ставит перед нами следующий вопрос: можно ли связать эти долговременные трансформации личностных структур с долговременными трансформациями структуры общества в целом, которые также являются однонаправленными, а именно, ведут к более высокому уровню социальной дифференциации и интеграции? Этими проблемами мы займемся во втором томе.

6

При рассмотрении подобных долговременных и однонаправленных изменений социальных структур также становится очевидным недостаток эмпирических данных. Поэтому было необходимо посвятить часть исследований, представленных во втором томе, обнаружению и прояснению фактических связей этого типа. Вопрос заключался в том, можно ли, основываясь на эмпирических данных, говорить о такой трансформации структур общества в целом, что ведет к более высокому уровню дифференциации и интеграции. Как оказалось, мы вправе утверждать, что данная трансформация имеет место.

Рассматриваемый во втором томе процесс образования государства дает нам пример структурных изменений такого рода.

Наконец, в этой книге дан набросок теории цивилизации. Здесь выдвигается модель возможных взаимосвязей между долговременными изменениями индивидуальных структур, которые ведут к упрочению и дифференциации контроля над аффектами, с одной стороны, и долговременными изменениями тех фигураций, что образуются во взаимодействии между людьми и имеют следствием повышение уровня дифференциации и интеграции (например, таких изменений, как дифференциация и удлинение цепей взаимозависимости или рост «государственного контроля»), — с другой.

II

Легко увидеть, что такого рода эмпирико-теоретическая постановка вопроса о «развитии» как об особом роде долговременных структурных трансформациях нацелена на выявление фактических связей. Тем самым мы прощаемся с метафизическими идеями, для которых развитие выступает либо как механическая необходимость, либо как телеологическая устремленность к некоему результату. Как показывает первая часть данного тома, в прошлом понятие цивилизации достаточно часто употреблялось в наполовину метафизическом смысле. И до сих пор оно остается довольно неопределенным. В этом исследовании мы пытаемся установить фактическое ядро того, что подразумевается под донаучным, обиходным понятием «процесс цивилизации». Речь идет, прежде всего, о структурных изменениях, протекающих в направлении все большего упрочения и дифференциации контроля людей над своими аффектами, а тем самым и над своими переживаниями. Примерами могут служить смещение порога стыда и боли либо увеличение контроля над поведением, заявляющее о себе, скажем, ростом разнообразия столовых приборов. Вслед за обнаружением фактов такого направленного изменения, происходящего на протяжении ряда поколений, перед нами встает вопрос об объяснении этих фактов. Попытка тако-

7

го объяснения, как уже было замечено выше, содержится в конце второго тома.

Подобное исследование означает отход и от другого типа теорий — тех, что в социологии с течением времени пришли на смену более ранним концепциям, объединенным старым, полуметафизическим понятием развития. Речь идет о господствующих сегодня теориях социального изменения. Эти теории доньше не проводят четкого различия между упомянутыми выше типами социального изменения. В теориях, опирающихся на эмпирические данные, по-прежнему не находит отражения тот тип длительных социальных трансформаций, которые имеют форму процесса и прежде всего форму развития.

Когда я работал над этой книгой, для меня стало совершенно ясно, что она закладывает основание новой — недогматической, опирающейся на эмпирию, — социологической теории социальных процессов вообще и общественного развития в особенности. В частности, я считал очевидным, что данные исследования, как и предложенная общая модель долговременного процесса формирования государства (о ней речь пойдет во втором томе), могут одновременно служить моделью долговременной и направленной динамики, соотносимой с понятием социального развития. Тогда я не считал нужным прямо указывать на то, что речь идет не об «эволюции» в том смысле, какой вкладывали в это понятие в XIX в. (т.е. не о некоем автоматическом прогрессе), но и не о каком-то неспецифическом «социальном изменении», о котором писали в XX в. Мне это казалось настолько очевидным, что я даже не стал выявлять теоретические импликации. Теперь я вижу, что совершил ошибку, и предисловие ко второму изданию дает мне возможность ее исправить.

III

В настоящей книге всеобъемлющее социальное развитие предстает в главном своем проявлении, а именно, как длившаяся столетиями волна прогрессирующей интеграции, как процесс формирования государства, дополняемый процессом прогрессирующей дифференциации. Это изменение фигураций предстает как совокупность движений, направленных как вперед, так и вспять, но при рассмотрении его в долгосрочной перспективе оказывается, что оно идет в одном направлении на протяжении многих поколений. Такое направленное структурное изменение можно считать фактически подтвержденным, как бы мы его ни оценивали. Именно об этих фактических свидетельствах мы и ведем речь. Чтобы в полной мере оценить данные факты, недостаточно использовать в качестве инструмента исследования одно лишь понятие социального изменения. Простое изменение мо-

8

жет быть того же рода, что и наблюдаемые нами трансформации формы облака или колец дыма, — они выглядят то так, то эдак. Понятие социального изменения является весьма несовершенным орудием социологического исследования, пока мы не проводим четких различий между типами изменений: например, между затрагивающими и не затрагивающими структуры общества, а также между структурными изменениями, не имеющими определенной направленности, и теми, которые на протяжении жизни многих поколений следуют в одном и том же направлении, — скажем, в сторону повышения или снижения степени сложности. То же самое можно сказать о ряде других проблем, затронутых в данной книге. В процессе работы над документами, над фактическим материалом, обработка которого вела к прояснению и

преодолению теоретических проблем, я постепенно осознавал, что цель моих исследований состоит в решении одной сложной задачи — в установлении взаимосвязи индивидуальных, психологических, так называемых личностных структур с фигурациями, соединяющими множество независимых индивидов друг с другом, т.е. с социальными структурами. Данная работа вела к решению этой проблемы как раз потому, что и те и другие представляли не как неизменные (как чаще всего бывает), но как изменчивые структуры, как взаимозависимые стороны одного и того же долгосрочного процесса развития.

IV

Если бы различные академические дисциплины, проблемного поля которых мы здесь касаемся, и прежде всего социология, уже достигли той фазы научной зрелости, какой обладают сегодня многие естественные науки, то мы могли бы ожидать, что результаты тщательно задокументированного исследования длительных трансформаций — таких, как цивилизационный процесс или формирование государства, — после основательной проверки, обсуждения и критического отсеивания ненужного или опровергнутого (в целом или в каких-то аспектах) станут неотъемлемой частью общего фонда эмпирических и теоретических знаний. Можно было бы ожидать, что прогресс научной работы приведет к плодотворному обмену мнениями между коллегами, к дальнейшему развитию и росту этого фонда знаний. Можно было бы надеяться, что выводы предлагаемых здесь исследований через тридцать лет либо войдут в стандартное социологическое знание, либо будут в большей или меньшей степени превзойдены, а тем самым и похоронены в работах других ученых.

Вместо этого я обнаруживаю, что и поколение спустя это исследование все еще сохраняет роль первооткрывателя данного проблемного поля. И через тридцать лет не проявилось спроса

9

на комбинированное изучение вопроса одновременно на эмпирическом и теоретическом уровнях. Между тем настоятельная необходимость именно такого подхода только возросла. Повсюду можно заметить продвижение к поставленным нами проблемам. Нет недостатка в позднейших попытках справиться с теми вопросами, решению которых должны были служить и эмпирическое рассмотрение документов в двух представленных томах, и набросок теории цивилизации, завершающий исследование. Но я не считаю эти попытки удачными.

В качестве примера достаточно показать, как ставятся и решаются эти проблемы Толкоттом Парсонсом — человеком, которого в наши дни считают ведущим теоретиком социологии. Характерной для него теоретической установкой можно считать стремление, как он однажды выразился^{1*}, аналитически разлагать различные типы обществ, оказавшиеся в поле его наблюдения, на элементарные составные части. Один из видов таких элементарных частей («elementary components») он обозначает понятием «pattern variables». К числу этих «pattern variables», в частности, относится дихотомия «аффективность — аффективная нейтральность». Приблизительно позицию Парсонса можно изложить так: общество подобно колоде карт в руках некоего игрока; каждый тип общества представляет собой особый набор карт, но сами эти карты всегда одни и те же; число карт невелико, сколь бы разнообразной ни была их раскраска. Одной из таких игральных карт является полярность аффективности и аффективной нейтральности. Как сообщает сам Парсонс, он пришел к этой идее по ходу аналитического разложения типов общества, выделенных Теннисом. Тип «Gemeinschaft» характеризуется у Парсонса аффективностью, тип «Gesellschaft» — аффективной нейтральностью. Но, как и в случае других «pattern variables» этой карточной игры, Парсонс приписывает данной дихотомии общезначимость — как для определения различных типов общества, так и для различения типов отношений в одном и том же обществе. Точно так же Парсонс подходит к решению проблемы отношений между социальной структурой и личностью². Он указывает на то, что ранее рассматривал эту проблему лишь в связи с интегрированной «системой человеческого действия»; теперь же он может с уверенностью сказать, что в теоретическом смысле указанные отношения представляют собой фазы или аспекты одной и той же фундаментальной системы действий. Он иллюстрирует это — помимо всего прочего — следующим примером: то, что на социологическом уровне можно

* Здесь и далее цифрами обозначены ссылки, принадлежащие перу Н.Элиаса и помещенные в примечаниях после каждой главы. Иноязычные тексты, перевод которых дан в «Приложении» в конце тома, отмечены цифрой со скобкой. — *Прим. ред.*

10

рассматривать как институционализацию «аффективной нейтральности», по существу является тем же, что на личностном уровне позволительно считать «вынужденным отказом от непосредственного удовлетворения в интересах дисциплинарной организации и долгосрочных целей личности».

Для понимания следующих ниже исследований, вероятно, будет бесполезно сравнить эту более позднюю попытку решения проблемы с моей, более ранней (в этом новом издании моей книги она изложена без каких-либо изменений в тексте). Решающее различие в научных методах и понимании задач социологической теории становится очевидным, когда мы берем в качестве примера трактовку сходной проблемы Парсонсом. То, что в работе «О процессе цивилизации» на основе обширной эмпирической документации было представлено именно как процесс, Парсонс, прибегая к помощи статических понятий, редуцирует без всякой на то нужды к состояниям. На место относительно сложного процесса, по ходу

которого человеческие аффекты постепенно меняются, подвергаясь все большему контролю (но этот контроль над аффектами никак нельзя считать состоянием тотальной аффективной нейтральности), у Парсонса приходит простое противопоставление двух категорий, выражающих состояния аффективности и аффективной нейтральности. Данные состояния наличествуют в различных типах общества и на разных его уровнях подобно тому, как химические элементы присутствуют в различных смесях. То, что там эмпирически было представлено как процесс и именно в этом качестве подвергалось теоретической разработке, здесь оказалось сведенным к двум различным состояниям. Такой подход лишил Парсонса возможности объяснить само наличие специфических особенностей, присущих различным обществам. Он даже не ставит вопрос о такого рода объяснении. Различные состояния, с которыми соотносятся пары противоположностей — «pattern variables», — кажутся просто данностями. При подобном теоретизировании исчезают богатые нюансами структурные изменения, наблюдаемые нами в социальном мире и обладающие четкой направленностью в сторону роста контроля над аффектами. Социальные феномены, фактически наблюдаемые лишь в процессе становления, разлагаются с помощью понятийных пар на противоположные состояния. Ими и ограничивается анализ, а это ведет к ненужному обеднению социологического восприятия в эмпирической и теоретической работе.

Конечно, задачей всякой социологической теории является прояснение тех черт, которые являются общими для всех возможных человеческих обществ. Понятие социального процесса, как и многие другие понятия, используемые в данном исследовании, принадлежат к категориям, обладающим подобной функцией. Но избранные Парсонсом фундаментальные категории кажутся мне в высшей степени произвольными. За ними стоит не огово-

11

ренное и непроверенное, полагаемое само собой разумеющимся представление, будто задачей любой научной теории является редукция изменчивого к неизменному и упрощение сложных явлений посредством разложения их на единичные компоненты. Сам пример теории Парсонса подводит к мысли о том, что систематическая редукция общественных процессов к состояниям, а сложных и взаимосвязанных феноменов — к более простым, не имеющим друг с другом видимой связи компонентам, скорее, затрудняет, нежели облегчает построение социологической теории. Такого рода редукция, такой тип абстрагирования в качестве метода построения теории были бы оправданы лишь в том случае, если бы они недвусмысленно вели к прояснению и углублению в понимании людьми самих себя — и как обществ, так и индивидов. Вместо этого мы обнаруживаем, что построенные с помощью подобных методов теории напоминают концепцию эпициклов Птолемея: они требуют множества сложных вспомогательных конструкций, чтобы хоть как-то отвечать эмпирически устанавливаемым фактам. Часто они напоминают густые облака, через которые то здесь, то там пробивается к земле парочка лучей света.

V

Возьмем, к примеру, попытку Парсонса выработать теоретическую модель отношений между структурами личности и общества (об этом нам еще придется говорить подробнее). Здесь у Парсонса часто смешиваются две не слишком-то совместимые идеи. Согласно первой, индивидуум и общество — «эго» и «система» — представляют собой две независимо друг от друга существующие данности, где единичный человек рассматривается как собственно реальность, а общество является, скорее, неким эпифеноменом. Согласно второй, они образуют два различных, но не отделимых друг от друга уровня образуемого людьми универсума. При этом таким понятиям, как «эго» и «система», а также всем родственным им понятиям, относящимся к человеку как индивидууму и к людям как обществу, Парсонс (за исключением тех случаев, когда он прибегает к категориям психоанализа) придает такую форму, словно в обоих случаях нормальным является состояние неизменности. Следующие ниже исследования невозможно будет правильно понять, если мы станем использовать такого рода идеи, поскольку они затемняют как раз то, что мы фактически наблюдаем в человеческой действительности. Упускается из виду то, что такие понятия, как «индивидуум» и «общество», направлены не на два порознь существующих объекта, но на различные, хотя и нераздельные стороны того же самого человека. Обе стороны обычно участвуют в процессе

12

структурного изменения, обе имеют процессуальный характер, и нет ни малейшей необходимости абстрагироваться от этой процессуальности при построении теории, имеющей отношение к человеку. В действительности социологические и иные теории человека всегда вынуждены считаться с таким характером данных сторон. В представленных ниже исследованиях мы показываем, что проблему взаимосвязи индивидуальных и социальных структур можно прояснить как раз в том случае, если рассматривать эти структуры как изменчивые, находящиеся в становлении и прошедшие через процесс становления. Только тогда у нас появляется возможность сконструировать модели их взаимосвязи, которые хоть как-то соответствуют эмпирическим данным. Можно с уверенностью сказать, что отношение «индивидуума» и «общества» останется не доступным пониманию до тех пор, пока мы будем *eo ipso* орудовать этими понятиями так, словно имеем дело с некими телами, существующими по отдельности, — причем с телами, поначалу находящимися в состоянии покоя и лишь затем приходящими в соприкосновение друг с другом. Нигде не говоря о том прямо и ясно, Парсонс и все родственные ему по духу социологи тем

не менее без всяких сомнений склоняются к мысли о раздельном существовании того, что обозначается понятиями «отдельный человек» и «общество». Так, Парсонс — если привести лишь один пример такого мышления — разделяет разработанное еще Дюркгеймом представление о том, что отношения отдельной личности и системы, «индивидуума» и «общества» строятся на «взаимном проникновении», «пронизывании». Но как бы мы ни представляли себе это «взаимопроникновение», подобная метафора не может означать ничего иного, кроме наличия двух различных сущностей, которые сначала существуют по отдельности, а затем каким-то образом «проникают» друг в друга³.

Мы видим, насколько по-разному ставятся в двух случаях социологические проблемы. В нашем исследовании возможность строгого соотнесения индивидуальных и социальных структур изначально задана именно тем, что мы не отвлекаемся от изменения ни тех, ни других структур, от процесса и результата их становления как от чего-то бесструктурного и «чисто исторического». Становление структуры личности и формирование социальной структуры происходят в неразрывной взаимосвязи данных процессов. Мы никогда не можем с определенностью утверждать, что люди какого-то общества *являются* цивилизованными. Но — на основе систематического исследования и доступного для проверки эмпирического материала — мы можем сказать, что некоторые группы людей *стали* цивилизованнее. С этим совсем не обязательно связана мысль о том, что «стать цивилизованнее» означает стать лучше или хуже, что данное высказывание несет в себе какую-то позитивную или негативную оценку. Подобное изменение личностных структур нетрудно предста-

13

вить как специфический аспект становления социальных структур. Именно это мы и попытались сделать. Не так уж удивительно, что Парсонс, равно как и многие другие нынешние теоретики социологии, проводят редукцию к состояниям даже там, где они имеют дело с проблемой социального изменения. В согласии с господствующей в социологии тенденцией, Парсонс отталкивается от той гипотезы, что нормой для каждого общества является неизменное гомеостатическое состояние равновесия. По его предположению⁴, общество изменяется, когда это нормальное состояние социального равновесия нарушается, скажем, из-за несоблюдения социально нормированных обязательств или разрушения социального согласия. Общественное изменение тогда кажется случайным и вызванным извне нарушением социальной системы, которая в норме является вполне сбалансированной. С точки зрения Парсонса, после такого сбоя общество вновь стремится вернуться в состояние покоя. Раньше или позже возникает другая «система» с иным равновесием; несмотря на все колебания, она более или менее автоматически поддерживает наличное состояние. Одним словом, понятие социального изменения относится здесь к вызванному нарушениями переходному состоянию между двумя нормальными состояниями отсутствия всяких изменений. Здесь мы столь же ясно и отчетливо видим различие двух теоретических подходов — того, что представлен нашими исследованиями, и используемого Парсонсом и его школой. Представленные ниже результаты исследования вновь и вновь на основе обширного эмпирического материала подтверждают тот тезис, что изменения принадлежат к нормальным свойствам общества. Структурированная последовательность непрерывных изменений берется здесь в качестве точки отсчета для исследования состояний, фиксированных в определенный момент времени. Напротив, господствующее в современной социологии мнение делает точкой отсчета для рассмотрения всех изменений социальные данности, для которых нормой считается состояние покоя. Поэтому общество предстает как «социальная система», как «система в состоянии покоя». Даже там, где речь идет о сравнительно дифференцированном «высокоразвитом» обществе, его исследуют так, словно оно находится в состоянии покоя. В этом случае в задачу исследователя словно и не входит вопрос о том, как и почему это высокоразвитое общество развилось до такого уровня дифференциации. В соответствии со статической точкой отсчета, принятой в господствующей ныне системной теории, социальные изменения, социальные процессы, социальное развитие (к которым относятся и развитие государства, и процесс цивилизации) выступают как нечто второстепенное, как простое «историческое введение» к изучению и объяснению «социальной системы» с ее «структурой» и «функциональной связью»,

14

каковые доступны для наблюдения «здесь и теперь», в кратковременной перспективе данного состояния. Сами понятийные инструменты — такие понятия, как «структура» и «функция», служащие в качестве названия нынешней социологической школы «structural functionalists», — несут на себе отпечаток специфического стиля мышления, предполагающего редукцию к состояниям. Конечно, сами авторы подобных теорий не могут полностью избавиться от необходимости осмысливать движение и изменение социального «целого» или его «частей», представленных с помощью «структур» и «функций» в качестве покоящихся. Но попавшие в поле их наблюдения проблемы тут же переосмысливаются в соответствии со статическим стилем мышления: все эти вопросы выносятся в особую главу под названием «Социальное изменение», в которой помещается все то, что не укладывается в проблематику неизменных в нормальном состоянии обществ. Тем самым само «социальное изменение» понятийно трактуется как атрибут состояния покоя. Иными словами, ориентированная на состояния покоя установка приводится в соответствие с эмпирическими наблюдениями социальных изменений, и в зале теоретических восковых фигур, изображающих неизменные социальные явления, появляется парочка столь же неподвижных фигур с табличками «социальное изменение» или «социальный процесс». Проблемы общественных изменений тем самым как бы замораживаются и «обезвреживаются» в духе социологии состояний. С этим связано и то, что

из поля зрения современных теоретиков социологии чуть ли не целиком исчезло понятие «социального развития». Парадоксально, но оно исчезло именно на той фазе социального развития, когда люди на практике общественной жизни (а отчасти и в ходе эмпирического социологического исследования) все чаще сталкиваются с проблемами социального развития и все более осознанно занимаются ими.

VI

Так как нашей целью является написание предисловия к книге, которая как теоретически, так и эмпирически вступает в явное противоречие с получившимся широчайшее распространение тенденциями современной социологии, то мы должны ясно и отчетливо показать читателю, чем и почему поставленные здесь проблемы, равно как и пути их решения, отличаются от господствующего ныне типа социологии — в первую очередь, социологии теоретической. При этом нам не обойти стороной вопроса о том, почему социология, чьи виднейшие представители в XIX в. ставили на первое место проблемы длительных социальных процессов, в XX в. настолько сильно изменилась, что превратилась

15

в социологию состояний, из поля зрения которой практически совсем исчезли долговременные общественные процессы. В рамках данного предисловия я не могу уделить должного внимания ни смещению главного интереса социологов, ни связанному с этим радикальному изменению самого стиля социологического мышления. Но проблема слишком важна и для понимания всего нижеизложенного, и для дальнейшего развития социологии. Поэтому ее нельзя оставить вообще без рассмотрения. Я удовлетворюсь тем, что выберу из комплекса условий лишь те, которые прямо несут ответственность за инволюцию аппарата социологической мысли и за связанное с этим сужение ее проблемного поля.

Самая очевидная причина утраты внимания к проблемам становления, генезиса, развития разного рода общественных формаций — равно как и дурной славы самого понятия развития — заключается в реакции многих социологов, и прежде всего ведущих теоретиков социологии XX в., на некоторые стороны главных социологических теорий XIX в. Стало ясно, что теоретические модели долговременного развития, как они разрабатывались в XIX в. Контом, Спенсером, Марксом, Хобхаузом и многими другими, отчасти покоились на гипотезах, преимущественно зависевших от политико-мировоззренческих идеалов этих мыслителей и лишь во вторую очередь (это еще в лучшем случае) определявшихся самим предметом исследования.

В распоряжении позднейших поколений оказался значительно больший (и постоянно увеличивающийся) фактический материал. Проверка классических теорий развития XIX в. в свете этого более обширного опыта поставила под вопрос многие аспекты прежних моделей социального процесса. Во всяком случае, эти модели нуждались в ревизии. Многое из того, что принималось на веру пионерами социологии XIX в., уже не устраивало ее представителей в XX в. Прежде всего это относится к вере в то, что развитие обязательно есть движение к лучшему, что оно является прогрессивным изменением. Такую веру — в соответствии с собственным социальным опытом — решительно отвергали многие позднейшие социологи. Оглядываясь назад, они все более убеждались в том, что прежние модели развития были конгломератом более или менее научных наблюдений и идеологических представлений.

В более зрелых научных дисциплинах такая ситуация побудила бы ученых взяться за работу по пересмотру и исправлению старых моделей развития. Они попытались бы четко и ясно установить, что в старых теориях развития (в свете нового, более широкого фактического знания) сохраняет значение опытных данных, на которые позволительно опираться в процессе дальнейшего развития теории, а что было обусловлено своим временем, предвзятыми политико-идеологическими воззрениями, а

16

потому может быть спокойно положено в гроб и покоиться на кладбище, где и место мертвым доктринам. Вместо этого возникло сильное предубеждение по отношению к самому типу социологической теории, обращающейся к долговременным общественным процессам. Изучение таких процессов было целиком и полностью прекращено, и в результате резко негативной реакции на теории прежнего типа центр социологического интереса сместился к исследованию социальных данностей. Нормальным состоянием последних стали считать статичное равновесие. Рука об руку с этим шла разработка целого ряда стереотипных аргументов, направленных против теорий прежнего типа, равно как и против центральных понятий этих теорий — в особенности против понятия общественного развития. А поскольку при этом не проводили никакого различия между научными и идеологическими мотивами употребления данного понятия, вся проблематика процессов долговременного развития *eo ipso* ассоциировалась с системами верований XIX в. В первую очередь, с тем представлением, будто развитие общества — будь то прямолинейное и бесконфликтное или диалектическое и осуществляющееся через конфликты — автоматически означает движение к лучшему, т.е. прогрессивное изменение. Поэтому даже ссылки на эту проблематику стали выглядеть чем-то старомодным. Иногда говорят, что при планировании стратегии новой войны генералы берут за образец стратегию прошлой войны. Сходным образом поступают те, кто считает само собой разумеющейся принадлежность таких понятий, как «социальное развитие» или «социальный прогресс», исключительно к старым теориям прогресса.

Таким образом, в социологии мы наблюдаем движение мысли по кругу — от одной крайности бросились в другую. За фазой, когда теоретики социологии интересовались прежде всего моделями длительного

общественного развития, последовала другая, когда они стали заниматься преимущественно исследованием состояния покоя и неизменности. Если ранее преобладали представления в духе Гераклита, утверждавшего, что «все течет» (с той лишь разницей, что теперь поток был направлен к лучшему, даже желательному, и это считалось чуть ли не само собой разумеющимся), то теперь возобладали идеи элеатов. Полет стрелы последние представляли как совокупность состояний покоя; как им казалось, сама стрела не движется, поскольку в каждое мгновение занимает какое-то определенное место. Предпосылки многих современных теоретиков социологии очень похожи на эти идеи элеатов: каждое общество в норме пребывает в состоянии равновесия, а длительное социальное развитие человечества можно представить в виде цепи, звеньями которой служат статические типы общества. Как объяснить такой круг в развитии социологии — от одной крайности к другой?

17

На первый взгляд, это выглядит так, словно главным основанием для переориентации теоретического интереса была непримиримая позиция ученых, выступавших против привнесения в разработку теории политико-мировоззренческих идеалов. Делалось это во имя научности, ради научного характера исследовательской деятельности. Представители современной социологической теории, ориентированные на изучение статичных состояний, сами нередко склоняются к такому объяснению. Но если присмотреться внимательнее, то станет очевидной недостаточность подобного объяснения. Борьба против социологии развития, господствовавшей в XIX в., шла не просто во имя строгой научности, против примеси идеалов и против преобладания предвзятых социальных доктрин. Она не была выражением одного лишь стремления прорваться сквозь туман недолговечных мечтаний о том, каким должно стать общество, к сути дела, к знанию об изменениях и функционировании общества. В конечном счете это была борьба против примата вполне определенных идеалов — во имя других, отчасти им прямо противоположных. В XIX в. существовали специфические представления о том, что должно быть и что желательно. Они носили идеологический характер и имели следствием концентрацию интереса на становлении, развитии общества. Точно так же в XX в. иные представления о должном и желательном, т.е. другие идеологические представления, обуславливают подчеркнуто большое внимание теоретиков социологии к наличному состоянию общества. Отсюда игнорирование ими проблем становления общественных формаций, отсутствие интереса к долговременным процессам и ко всякого рода объяснениям, открывающим путь к исследованию таких проблем.

Смена социальных идеалов, с которой мы сталкиваемся сегодня при рассмотрении развития социологии, не является каким-то изолированным явлением. Это — симптом более широких перемен, затрагивающих идеалы, господствующие в тех странах, где в основном концентрируются социологические исследования. Такие перемены, в свою очередь, указывают на специфическое изменение конфигураций во внутригосударственных и межгосударственных отношениях промышленно развитых государств на протяжении XIX и XX вв. Проследившая самую общую линию смены конфигураций, здесь придется ограничиться кратким изложением другой нашей работы, что облегчит понимание представленных ниже исследований, вновь отводящих объяснению долговременных процессов центральное место в социологической работе. Делается это не для того, чтобы воспользоваться данными исследованиями как своего рода дубиной, с помощью которой можно было бы изгнать утвердившиеся идеалы и насадить свои собственные, но во имя лучшего понимания самой структуры подобных процессов. Когда речь идет о теоретичес-

18

кой работе социологического исследования, нужно вообще освободиться от господства тех или иных общественных идеалов или догматических доктрин. Ибо только тогда мы сможем надеяться на то, что адекватные реальности социологические познания принесут какую-то пользу при решении острых общественных проблем. А это произойдет лишь в том случае, если мы перестанем поддаваться влиянию предвзятых идей, если первенство при постановке и решении проблем будет отдано исследованию того, что есть на самом деле, а не тому, что отвечает нашим желаниям.

VII

На протяжении всего XIX в. в странах с быстро развивавшейся промышленностью, где и были написаны первые великие труды по социологии, в многоголосии эпохи все сильнее звучали голоса тех, кто выражал социальные верования, идеалы, долговременные цели и надежды набирающих силу промышленных классов. В конце концов, они возобладали над голосами, раздававшимися в поддержку стремления придворно-династических, аристократических или патрицианских властвующих элит сохранить и защитить существующий общественный порядок. Первые, представляя взгляды поднимающихся слоев, были полны надежд на лучшее будущее. Поскольку их идеал относился не к настоящему, а к грядущему, они проявляли особый интерес к становлению, к общественному развитию. Принадлежа к одному из упрочивающих свои позиции классов, социологи того времени были уверены, что развитие человечества идет в направлении, отвечающем их чаяниям и надеждам. Они искали подтверждение своим желаниям и находили его в глубинной направленности всего предшествующего развития и в его движущих силах. Нет сомнений, они передали нам немалые знания, связанные с проблемами общественного развития. Однако в ретроспективе

нам часто бывает трудно разделить эту смесь так, чтобы по одну сторону оказались обусловленные временем идеалы вместе с определяемыми ими доктринами, а по другую — теоретические модели, доступные для фактической проверки независимо от этих идеалов и тем самым сохраняющие свое значение и по сей день.

В многоголосии, свойственном XIX в., можно было услышать и голоса тех, кто по тем или иным причинам выступал против трансформации общества, связанной с его индустриализацией. Социальные верования этих людей требовали сохранения существующего положения; все ухудшающемуся настоящему они противопоставляли идеальный образ лучшего прошлого. Такие голоса выражали отнюдь не только интересы властвующих элит,

19

принадлежавших к доиндустриальным династическим государствам. Они также представляли интересы тех крупных профессиональных групп, и прежде всего части крестьян и ремесленников, жизненные формы и профессиональные навыки которых становились дисфункциональными по ходу прогрессирующей индустриализации. Они были противниками всех тех, кто выступал с позиций обоих поднимающихся классов — как промышленной и торговой буржуазии, так и промышленных рабочих — и, в соответствии со своим положением, с воодушевлением принимал веру в лучшее будущее, в прогресс человечества. Общий хор голосов того времени как бы разделился на две противостоящие друг другу партии: на тех, кто восхвалял лучшее прошлое, и тех, кто славил лучшее будущее.

Как известно, среди социологов, которые рисовали картину общества, ориентируясь на ведущий к лучшему будущему прогресс, можно найти представителей обоих поднимающихся классов. Мы видим среди них и Маркса с Энгельсом, отождествивших себя с классом промышленных рабочих, и буржуазных социологов — вроде Конта в начале XIX в. или Хобхауза в конце XIX - начале XX в. И те и другие разделяли веру в подъем соответствующих классов и грядущее улучшение удела человека, даже если под таким улучшением, понимаемым как прогресс, они - в соответствии с положением того или иного класса — подразумевали разные вещи. Поэтому для нас немаловажно понять, насколько интенсивно интересовались ученые XIX в. проблемами общественного развития и что служило основой такого интереса. Иначе мы не сможем узнать, что привело к его угасанию в XX в. и почему проблемы долговременного общественного развития утратили свое значение для социологов.

Однако для того, чтобы понять этот переворот, недостаточно указаний на фигурации классов, на отношения внутри каждого из государств. Подъем промышленных классов в индустриализирующихся странах Европы шел в XIX в. рука об руку с подъемом самих этих наций. Развивающие свою промышленность европейские нации весь этот век соперничали друг с другом, стремясь подчинить своей власти менее развитые народы Земли. Набирали силу не только классы в рамках наций, сами эти государства тоже были поднимающимися и расширяющимися общественными формациями.

Обычно, объясняя веру в прогресс, свойственную европейским авторам прошлого века, удовлетворяются ссылками на развитие науки и техники. Такого объяснения недостаточно: XX в. хорошо показал, что опыт научно-технического прогресса не так уж сильно способствовал укреплению веры в непрерывное улучшение человеческого удела. Размеры и темпы такого прогресса в наш век неизмеримо превышают темпы и меру прогресса прошлого века. В XX в. в странах, принадлежащих к первой волне

20

индустриализации, уровень жизни широких масс населения так же повысился в сравнении с XIX в.: улучшилось состояние здоровья, выросла продолжительность жизни. Но сегодня в общем хоре куда слабее, чем в прошлые века, звучат голоса тех, кто оценивает прогресс как нечто самоценное, кто видит общественный идеал в улучшении человеческого удела и без сомнений верует в лучшее будущее человечества. В XX в. постепенно усиливаются и начинают преобладать голоса из другой части хора. Это голоса тех, кто не связывает особых надежд с лучшим будущим человечества или даже с будущим собственной нации, кто обращается к настоящему и стремится к сохранению своей нации, кто идеализирует существующие или даже прошлые формы общества — наследие, традиционный порядок, — признавая их высшей ценностью. В прошлом веке, когда действительный прогресс хоть и стал осязаемым, но продвигался медленно и в сравнительно узких границах, в качестве идеала выступала мысль о дальнейшем, будущем прогрессе. К этому идеалу стремились сторонники идущих преобразований, и именно поэтому он обрел для них высокую ценность. В XX в. в промышленно развитых странах действительный прогресс науки и техники, улучшение состояния здоровья людей и повышение их жизненного уровня, уменьшение неравенства по скорости и размаху далеко превзошли все то, что было достигнуто за прежние века. Прогресс сделался фактом, но для многих людей он в то же самое время перестал быть идеалом. Множатся голоса тех, кто ставит под сомнение и все эти реальные достижения.

Причины такой перемены во взглядах многообразны, и нам нет нужды рассматривать их здесь все до единой. Новые и новые войны, постоянная угроза войны, причем войны ядерной, с применением всех созданных наукой средств, играют немалую роль в том, что ценность прогресса и даже сам прогресс все более ставятся под сомнение, в особенности там, где речь идет об ускоряющемся развитии науки и техники. Однако ссылок на бедствия войны и подобные им явления все же не достаточно для того, чтобы объяснить то презрение, с которым люди двадцатого столетия говорят, к примеру, о «плоской вере в прогресс», характерной для прошлого века, или об идее прогрессивного развития человеческого общества. Этим не

объяснить ни столь далеко зашедшую слепоту социологов, игнорирующих проблематику длительных общественных процессов, ни чуть ли не полное исчезновение из учебников по социологии самого понятия «общественное развитие», ни прочие симптомы того кругового движения, по которому мысль шла от одной крайности к другой. Чтобы понять все это, нам следует обратить внимание на специфические изменения в национальной структуре в целом и на перемены в международном положении, коснувшиеся всех великих промышленных наций в XIX—XX вв.

21

В рамках этих наций заняли прочное положение представители двух промышленных классов: промышленная буржуазия и класс индустриальных рабочих — работников, либо издавна населявших города, либо считающих себя горожанами. На протяжении XX в. эти две группы окончательно стали господствовать в обществе — в противоположность прежним династическим, аристократическим, военным властвующим элитам. Взаимодействие данных классов характеризовалось зачастую сомнительным, всегда подвижным равновесием, — причем оседлый рабочий класс занимал более слабую позицию, которая, однако, постепенно усиливалась. Для набирающих силу в XIX в. классов, вынужденных вести борьбу с традиционными династическими элитами, развитие, прогресс, лучшее будущее были не столько фактическим положением дел, сколько идеалом, обладающим огромной эмоциональной значимостью. На протяжении XX в. они превратились в большей или меньшей степени утвердившиеся наверху промышленные классы, представители которых составили институционально закрепленные господствующие или совместно правящие группы. Отчасти как партнеры, отчасти как противники, представители буржуазии и рабочего класса стали господствующей элитой в национальных государствах эпохи первой волны промышленной революции. Соответственно, у обоих классов — сначала у буржуа, затем и у рабочих — помимо классового сознания развилось национальное сознание (второе зачастую выступало в одеяниях первого); наряду с классовым идеалом нация превратилась в идеал, обладающий наивысшей ценностью и играющий все большую и большую роль.

Но если нация видится в качестве идеала, то взгляд неизбежно смещается на уже существующее, на то, что есть. Эмоционально и идеологически современная организованная в государство нация кажется высшей ценностью для представителей обоих могущественных и многочисленных промышленных классов, получивших доступ к властным позициям в государстве. Эмоционально и идеологически именно нация воспринимается теперь как нечто вечное и в основных своих чертах неизменное. Исторические перемены кажутся затрагивающими только что-то внешнее, а народ, нация — пребывающими без изменений. Английская, немецкая, французская, американская или итальянская нации — равно как и все прочие — наделяются непреходящим характером в сознании тех, кто к ним принадлежит. По своей «сущности» они всегда равны самим себе, идет ли речь о X в. или XX в.

Кроме того, не только промышленные классы старых индустриальных наций в течение XX в. окончательно превратились из растущих в завоевавшие более или менее прочные позиции в обществе. Длительный подъем европейских народов

22

и отпочковавшихся от них наций на других континентах постепенно приходит к состоянию покоя. Они продолжают опережать в развитии (за малым исключением) неевропейские народы, и это опережение остается весьма значительным и даже какое-то время возрастает. Однако возникшее во времена безусловного господства европейских наций представление об их неоспоримом превосходстве уже серьезнейшим образом поколеблено. Подобно всем наделенным властью группам мира сего, они укрепились в мысли, что их господство над другими народами является выражением некоей вечной миссии, предписанной им то ли Богом, то ли природой, то ли историческими обстоятельствами. Превосходство над другими, располагающими меньшей властью, стало чем-то самоочевидным, принадлежащим собственной сущности европейцев и обладающим высшей ценностью. Этот идеальный образ самих себя, укоренившийся в старых промышленных державах, был поколеблен ходом развития в двадцатом столетии. Шок от реальности — от столкновения национального идеального образа с социальной действительностью — переживался каждой из наций по-разному, в зависимости от уровня собственного развития и специфических особенностей каждого национального идеала. В Германии значение этого шока поначалу не осознавалось в полной мере из-за непосредственного потрясения, вызванного поражением в войне. Но, как можно заметить, национальные идеалы были поколеблены и у стран, победивших во второй европейско-американской войне. Они сразу обнаружили, какой урон был нанесен их власти над менее развитыми странами в результате конфликта между двумя группами государств, относительно высоко развитых. Признаки утраты полноты власти уже давно и исподволь нарастали, но теперь они очень скоро и основательно дали о себе знать. Как это нередко случается с прежде безраздельно господствовавшими группами, уменьшение власти застало их врасплох.

Реальные возможности для прогрессивного движения к лучшему будущему — если отвлечься от перспективы новой войны — по-прежнему весьма значительны и для старых промышленных наций. Но с точки зрения их прежнего национального образа, их идеала, представляющего собственную национальную цивилизацию или культуру в качестве высшей ценности для всего человечества, будущее выглядит разочаровывающим. Тезис об уникальной сущности или ценности собственной нации часто служит оправданием для претензий на главенствующее положение среди прочих народов. Именно этот образ, эти

притязания старых промышленных наций были поколеблены во второй половине XX в. ростом власти (пусть еще ограниченным) более бедных, все еще зависимых и отчасти подчиненных европейцам доиндустриальных обществ, развивающихся на других континентах⁵.

23

Другими словами, в той мере, в какой речь идет об эмоциональной оценке нынешнего положения нации и ее возможного будущего, шок от столкновения с действительностью усиливает тенденцию, ранее уже присутствовавшую в национальном чувстве. Идея неизменной нации, вечного наследника национальной традиции выступает как выражение и легитимация национальной иерархии ценностей и национального идеала. Этой идее присуща большая эмоциональная нагрузка, чем всем обращенным к будущему обещаниям и идеалам. Национальная мысль отворачивается от всего изменчивого и склоняется к тому, чему приписываются свойства постоянства и неизменности.

Этим переменам в положении европейских и тесно с ними связанных неевропейских наций соответствуют специфические изменения в мире идей и в стиле мышления интеллектуалов. В XVIII-XIX вв. размышлявшие об «обществе» философы и социологи обычно имели в виду «гражданское общество», т.е. ту сторону совместной жизни людей, которая казалась независимой от государственно-династической и военной сфер. Принадлежа к группам, не имевшим доступа к центральной государственной власти, и разделяя идеалы таких групп, эти мыслители, говоря об обществе, подразумевали нечто, выходящее за рамки всех государственных границ, — человеческое общество. С увеличением власти, сосредоточенной в руках представителей обоих промышленных классов, с соответствующим развитием национальных идеалов у этих классов (в особенности у правящих элит, представляющих эти классы) изменились и представления об обществе, принятые в социологии.

Классовые идеалы все больше перекрещиваются и смешиваются с национальными. Конечно, консервативные и либеральные национальные идеалы отличаются иными оттенками, чем социалистические или коммунистические. Но данные оттенки суть количественные отличия, характеризующие разные точки на единой шкале. С тех пор как эти классы из обделенных властью превратились в образующие нацию группы, выходцы из которых представляют и осуществляют государственную власть, в речах политических и интеллектуальных вождей этих классов, посвященных государству и нации, явно прослеживаются происшедшие изменения. Такому развитию соответствует и то, что многие социологи XX в. уже не подразумевают под «обществом» некое находящееся вне государства «гражданское общество» или «человеческое общество», как их предшественники, но все больше склоняются к несколько размытому идеальному образу национального государства. В рамках такого представления об обществе, абстрагируемом от реально существующего национального государства, мы вновь сталкиваемся с упоминавшимися выше политико-мировоззренческими нюансами. Даже у ведущих теоретиков социологии XX в. мы обнаруживаем консервативные и

24

либеральные, социалистические и коммунистические оттенки в том же самом понимании общества. Так как американская социология на протяжении XX в. долгое время играла ведущую роль в развитии теоретической социологии, мы находим в ней специфические черты американского национального идеала, занимающего господствующее положение. Консервативные и либеральные черты в этом идеале не так резко разграничены и противопоставлены друг другу, как в европейских национальных государствах, особенно в Германии⁶. Та же тенденция проявилась и в доминирующем типе современной социологической теории.

В социологических, равно как и в философских дискуссиях неприятие определенных аспектов теорий XIX в. — прежде всего ориентации на социальное развитие, на использование самого понятия «прогресс» — часто предстает как обусловленное лишь фактической необоснованностью этих теорий. Даже самое краткое рассмотрение основных структурных линий внутри- и межгосударственного развития указывает на идеологическую подоплеку такого неприятия. Понятие идеологии развивалось в рамках марксистской традиции. Поэтому новые социологические теории, отвернувшиеся от проблематики развития и обратившиеся к состояниям покоя, стали рассматривать идеологические аспекты исключительно сквозь призму идеалов тех классов, чьи надежды и стремления были связаны не с построением будущего, а с сохранением уже существующего общества. Но упорядочение общественных верований и идеалов с классовых позиций, примешиваемое к социологической теории, в XX в. оказалось уже недостаточным. Чтобы понять идеологические аспекты социологических теорий этого периода, нужно обратить внимание также на идеалы общества в целом, т.е. на национальные идеалы. Интеграция обоих промышленных классов в рамках единой государственной структуры, которая ранее находилась в руках малочисленных доиндустриальных элит, и достижение этими классами доминирующих позиций у руля государственной машины (так что даже без согласия еще сравнительно слабого класса промышленных рабочих стало невозможно управлять государством) привели к растущей идентификации этих классов с нацией. В социальных воззрениях нашего времени чрезвычайно усилилась вера в высшую ценность собственной нации — она стала рассматриваться как поистине жизненная ценность. Удлинение и уплотнение цепочек межгосударственных взаимосвязей, рост напряженности и специфических конфликтов между государствами повлекли за собой изматывающие национальные войны и никогда не исчезающую опасность войны. Все это также вело к росту националистического мышления.

Соединение этих двух линий развития — внутри- и межгосударственного — было причиной того, что в старых промышленных нациях идеал прогресса, направляющий верования и стрем-

25

ления к лучшему будущему и побуждающий смотреть на прошлое как на процесс развития, утратил свою силу. Обе эти линии развития поставили на его место иные идеалы, нацеленные на сохранение и защиту существующего. Эти идеалы связаны с чем-то неизменным, переживаемым в настоящее время, уже осуществленным — с собственной нацией. Голоса тех, кто прокламировал веру в лучшее будущее и утверждал в качестве идеала прогресс человечества, сменяются разноголосым хором тех, кто отдает предпочтение вере в ценность существующего. Вневременное достоинство приписывается теперь прежде всего собственной нации, и за это достоинство множество людей должны жертвовать своей жизнью в череде больших и малых войн. Такова—в самых общих чертах — та структурная линия развития, которая, помимо всего прочего, нашла свое отражение в развитии социальных теорий. На место теорий, где отображались идеалы набирающих силу слоев находившихся в становлении индустриальных обществ, приходят социальные теории, где господствуют идеалы более или менее достигших вершины и закрепившихся на ней слоев высокоразвитых индустриальных обществ. Их экспансия уже достигла высшей точки развития или даже оставила ее позади.

В качестве примера социологической теории такого типа можно привести учение Парсонса (и не только его) о «социальной системе». Это понятие неплохо передает то, что сегодня подразумевается под «обществом». «Социальная система» — это общество, находящееся в «равновесии». Возможны небольшие колебания, но обычно общество пребывает в состоянии покоя. Все его части гармонично сочетаются друг с другом. Принадлежащие обществу индивиды обычно ориентируются на одни и те же нормы благодаря одинаковой для всех социализации. Они интегрированы в систему, следуют единым ценностям, без труда исполняют предписанные им роли. В нормальном состоянии конфликты между ними отсутствуют; изменения системы подобны помехам в работе отлаженного механизма. Коротко говоря, образ общества, получивший свое теоретическое выражение в понятии социальной системы, при ближайшем рассмотрении оказывается идеальным образом нации. Все принадлежащие к ней люди в силу одинаковой социализации следуют одинаковым нормам, стремятся в тем же самым ценностям, обычно хорошо интегрируются в систему и пребывают в гармоничных отношениях друг с другом. В такого рода «социальной системе» мы имеем образ нации как сообщества, лишь выраженный иначе. В качестве чего-то само собой разумеющегося здесь предполагается, что внутри такой системы существует высокая степень равенства: ведь интегрированность всей системы покоится на одинаковой социализации, на единстве ценностей и норм. Таким образом, подобная «система» представляет собой понятийную кон-

26

струкцию, абстрагированную от демократически понимаемого национального государства. С какой бы стороны мы ни смотрели на эту конструкцию, мы всякий раз обнаруживаем, что в ней стерты различия между тем, чем действительно является нация, и тем, какой она должна была бы быть. В моделях развития XIX в. происходило смешение фактических наблюдений с принимаемым за реальность желательным вариантом развития к будущему, с социальным прогрессом, понимаемым с позиций того или иного идеала. Точно так же в социологических моделях

XX в. смешиваются фактические наблюдения и желаемый идеал гармоничной интеграции всех элементов нации. Идеал также предстает в качестве уже существующей реальности. Вся разница в том, что в тех теориях происходила идеализация будущего, а тут идеализируется настоящее, здесь и теперь существующий национально-государственный порядок.

Смешение сущего и должного, предметного анализа и нормативного постулата происходит здесь по отношению к обществу вполне определенного типа. Речь идет о более или менее эгалитарном национальном государстве, и в таком виде оно делается ядром научной теории, претендующей на роль модели всех обществ, независимо от их временных и пространственных параметров. Достаточно поставить всего один вопрос, чтобы увидеть слабость общей теории, взирающей на мир со своей колокольни, т.е. исходящей из наличного состояния собственного общества. Разве рожденные в результате анализа более или менее демократического государства социологические теории, принимающие за данность высокую степень интеграции людей в «социальную систему» и считающие такую интеграцию не только чем-то само собой разумеющимся, но и желательным, не предполагают относительно высокого уровня демократизации общества? Можно ли переносить их выводы на общества другого уровня развития, которые менее централизованы и демократизированы? Если посмотреть, насколько подобные модели «социальной системы» пригодны в качестве теоретических инструментов при анализе обществ с высоким процентом рабов и несвободных граждан или же феодальных и сословных государств, — т.е. обществ, где нет даже общих для всех людей законов, не говоря уж о единых нормах и ценностях, — то сразу становится ясно, что центральное место в этих ориентированных на изучение состояний системных моделей отводится настоящему времени.

Сказанное о принятом в социологии XX в. понятии системы относится и к прочим категориям доминирующих сегодня теорий. Такие понятия, как «структура», «функция», «норма», «интеграция», «роль», свидетельствуют о том же сдвиге мысли, абстрагирующей от становления, генезиса, процесса,

развития. Так что неприятие господствовавших в XIX в. представлений, связанных с динамической стороной общественной жизни, и

27

постепенный отказ от них на протяжении XX в. нельзя признать проявлением одной лишь критики идеологии, осуществляемой во имя научности анализа фактов. Это было критикой прежних идеалов, которые уже не соответствовали состоянию общества и его опыту, и их отрицание шло от имени собственных идеалов, принадлежащих другому времени. Такая замена одной идеологии на другую⁷ объясняет то, что в XX в. под вопросом оказались не только идеологические элементы социологической теории

XIX в., но также и само понятие развития, и интерес к проблемам долговременной общественной динамики, и социогенез и психогенез как таковые. Одним словом, вместе с грязной водой выплеснули и ребенка.

Предлагаемая ниже работа, которая вновь обращается к социальным процессам, вероятно, станет более понятной, если мы будем учитывать путь развития социологии. Господствующие в XX в. идеологии отрицают идеологии XIX в., и это блокирует понимание того, что исследование долговременных процессов может быть не идеологическим по своей природе, а автор такого исследования может говорить не о том, что он желает или во что верит, т.е. не о должном, но о сущем. Если эти исследования вообще имеют какое-то значение, то именно потому, что в них мы избегаем смешения сущего и должного, научного анализа и идеалов. Данные исследования указывают на возможность освобождения социологии из плена общественных идеологий. Мы совсем не хотим сказать, что изучение общественных проблем, исключаящее рабское подчинение политико-мировоззренческим идеалам, означает отказ от возможности воздействовать на ход политических событий с помощью социологических исследований. Совсем наоборот. Польза от социологических работ, как инструмента общественной практики, только увеличивается там, где исследователь не обманывает самого себя, не путает желательное или должное с тем, что есть или было.

VIII

Чтобы понять, как господствующая ориентация мыслей и чувств блокирует изучение долговременных общественных процессов и индивидуальных структурных трансформаций, — и этим способствовать лучшему пониманию этой книги — недостаточно проследить линию развития образа человека как общественного существа, образа общества. Необходимо отдавать себе отчет в том, какова линия развития образа человека как индивида, образа личности. Как уже говорилось ранее, особенностью современного понимания человека является то, что он рассматривается либо как отдельное, изолированное, либо как общественное существо. Так о нем мыслят, так о нем говорят, словно речь идет

28

о двух раздельно существующих явлениях, одно из которых часто полагается «реальным», а другое — чем-то «нереальным», вместо того, чтобы считать это двумя разными позициями, рассматриваемыми одного и того же человека.

Это любопытное заблуждение человеческой мысли также останется непонятым, если оставить без внимания идеологическое содержание, привнесенное в этот образ. Расщепление образа человека надвое, на человека как индивида и человека как общественное существо, имеет многообразные и разветвленные корни. Одним из них является в высшей степени характерное расхождение ценностей и идеалов, с которым сталкиваются все развитые нации, причем наиболее выразительно он проявляется у наций с сильной либеральной традицией. В развитии этих национально-государственных систем ценностей можно обнаружить два течения: одно из них придает высшую ценность обществу в целом, нации, другое — самостоятельному человеку, «закрытой личности», свободному индивиду. Эти две высшие ценности не всегда легко сочетаются друг с другом. Встречаются ситуации, когда данные идеалы оказываются несовместимыми. Но обычно люди всячески избегают подходить к этой проблеме с открытыми глазами. Они с огромной теплотой говорят о свободе и независимости индивида, а затем с той же теплотой — о свободе и независимости собственной нации. Первый идеал призывает к тому, чтобы член данного национального государства, несмотря на все свои взаимосвязи с другими, был самостоятельным и принимал решения без оглядки на других; второй идеал ожидает от индивида, чтобы тот — особенно во время войны, но нередко и в мирное время — подчинял все свои интересы «общественному целому», а то и жертвовал ради его защиты своей жизнью.

Это расхождение между идеалами, это внутреннее противоречие этоса, характерные для условий, в которых воспитываются люди, находят свое выражение, помимо всего прочего, в социологических теориях. Одни из них берут в качестве исходного пункта независимого, самостоятельного индивида; другие исходят из независимого общественного целого как «подлинной реальности», каковую они считают истинным объектом социальных наук. Третьи пытаются соединить данные представления, как правило, не задаваясь вопросом о том, можно ли сочетать идею абсолютно независимого и свободного индивида с идеей столь же независимого и свободного «общественного целого». Часто такая проблема даже не ставится сколько-нибудь ясным образом. Этот невыносимый внутренний разлад лучше всего заметен в теориях тех социологов, у которых национальный идеал носит консервативно-либеральный оттенок. Примерами этого

могут служить теории Макса Вебера (за исключением его эмпирических исследований) и его последователей вроде Т. Парсонса.

29

Для иллюстрации нам достаточно вернуться к уже сказанному выше. Речь идет о парсоновском понимании отношений между индивидом и обществом, об «индивидуальном действии» и «социальной системе». Данное отношение описывается с помощью метафоры взаимного проникновения, которая дает недурной образ того, насколько далеко разошлись эти две точки зрения на человека. В подобном мыслительном построении овеществление находит свое выражение не только в понятии социальной системы как своего рода идеального образа нации, но и в идеальном образе «Эго» как действующего человека, свободного и независимого от всех прочих индивидов. В обоих случаях у этих теоретиков идеальный образ незаметно преобразуется в факт, в нечто действительно существующее. В образе индивида отражается определенная система верований, диктующая, каким должен быть человек. Этот образ абсолютно независимого, свободно принимающего решения индивида в подобного рода теоретической рефлексии предстает как фактическое положение дел.

Конечно, здесь не место выяснять причины получившего столь широкое распространение противостояния в понимании человека. Но следующие ниже исследования трудно понять без учета того, насколько сильно подобные представления влияют на решение проблемы процесса цивилизации. По ходу данного процесса изменяются и индивидуальные структуры. Собственно говоря, понятие «цивилизация» употребляется именно в этом смысле. Столь популярный сегодня образ индивида как абсолютно независимого и обособленного от других людей, как некой самостоятельной сущности, с трудом сочетается с фактами, приводимыми в нашем исследовании. Такой образ препятствует пониманию долговременных процессов, происходящих одновременно и на индивидуальном, и на социальном уровнях. Парсонс иной раз прибегает к старой метафоре *black box*⁸ для иллюстрации своего образа личности — он трактует его как закрытый черный ящик, «внутри» которого разыгрываются некие индивидуальные процессы. Метафора берется из инструментария психологии. По существу, она говорит нам о том, что научным образом мы способны наблюдать только поведение. Мы видим, что делает этот «черный ящик». Но то, что творится внутри него, то, что обозначается как «душа» или «дух», есть лишь «ghost in the machine», как высказался по сему поводу один английский философ⁹. Иначе говоря, это уже не предмет научного исследования. Подобный образ человека, играющий сегодня заметную роль в науках о человеке, мешает рассмотрению долговременных изменений людей, происходящих в процессе социального развития.

Понимание индивида как совершенно свободного и независимого существа, «закрытой личности», которая «внутренне» самостоятельна и обособлена от других людей, имеет за собой долгую традицию, развивавшуюся вместе с европейскими обще-

30

ствами. В классической философии такая фигура выходит на сцену в виде субъекта теории познания. Выступающий в роли «*homo philosophicus*» индивид получает познания от «внешнего» мира, опираясь исключительно на собственные силы. Ему нечему учиться у других. Тот факт, что он приходит в этот мир ребенком, что он развивается, даже став взрослым, считается здесь несущественным. Человечество должно было ждать многие тысячи лет, пока оно научилось видеть в природных событиях — в движении звезд, солнечном свете, дожде, грома и молнии — формы проявления слепых, безличных, чисто механических, закономерных каузальных связей. Но «закрытая личность» этого «*homo philosophicus*» сразу и по-взрослому воспринимает механические и законообразные причинные цепи, ей ничему не нужно учиться у других, она целиком независима от достигнутого ее обществом уровня познаний. Кажется, этой личности достаточно просто открыть глаза, чтобы познать истину. Процесс здесь редуцируется к состоянию — и человек в единственном числе, находящийся в процессе взросления, и все люди вместе взятые в процессе развития человечества. Стоит такому взрослому индивиду открыть глаза, и он сразу же оказывается способен — своими собственными силами и ничему не учась у других — узнать все воспринимаемые им объекты. Но не только: он моментально опознает их как одушевленные или неодушевленные, он немедленно классифицирует их, разделяя на камни, растения и животных; более того, он столь же непосредственно — здесь и теперь — познает, что они связаны друг с другом каузальными связями и подчиняются общим законам природы. Вопросы философов касались того, приходим ли мы к такому познанию каузальной связи путем непосредственного восприятия свойств наблюдаемой действительности «вне нас», либо это познание — свойство человеческого разума, некая добавка «внутреннего» к тому, что органы чувств получили «извне» и перенесли «вовнутрь». Если придерживаться образа человека как «*homo philosophicus*», который никогда не был ребенком и сразу явился в мир уже взрослым, то нам не избежать этого теоретико-познавательного тупика. Мысль тогда беспомощно колеблется между Сциллой какого-нибудь позитивизма и Харибдой некоего априоризма — именно потому, что к состоянию, к познавательному акту, было редуцировано то, что в действительности представляет собой процесс развития макрокосма, состоящего из множества людей. А именно в нем находится микрокосм индивидуального человека, и только в нем последний доступен для наблюдения. Здесь мы видим пример того, насколько тесно связана неспособность видеть долговременные процессы, т.е. структурированные изменения фигураций, объединяющих множество взаимозависимых людей, с определенным типом представлений о человеке и его опыте. Тем, кто считает само собой разумеющимся, будто «Эго»,

«Самость», «Я» или что-то еще (так сказать, «внутренний мир») отделены от всех прочих людей и вещей, от всего «внешнего», замкнуты и существуют исключительно для самих себя, трудно оценить значение фактов, указывающих на взаимозависимость индивидов. Им нелегко представить себе человека не абсолютно, а относительно автономным, не абсолютно, а относительно независимым, входящим наряду с другими людьми в меняющиеся конфигурации. Поскольку «опыт самого себя» кажется непосредственно данным и очевидным, то упускаются свидетельства того, что сама эта форма опыта ограничивается определенными обществами и связана с определенными видами взаимоотношений между людьми. Короче говоря, этим теоретикам трудно признать, что такая форма является одной из структурных особенностей определенной ступени развития цивилизации, проявлением специфической дифференциации и индивидуализации в человеческом сообществе. Если человек рождается и растет в таком сообществе, то ему нелегко себе представить, что бывают и другие люди, которые воспринимают мир иначе и не чувствуют себя внутренне обособленными и совершенно независимыми от прочих индивидов. Ему опыт автономного индивида кажется самоочевидным, неотчуждаемым признаком некоего вечного человеческого состояния, нормой, опытом, присущим всякому человеку. Человек представляется как малый мир в себе и для себя, как «*homo clausus*», в конечном счете независимый от большого внешнего мира. Такое представление определяет образ человека в целом. Любой другой индивид тоже кажется «*homo clausus*»; его ядро, сущность или подлинная самость всякий раз предстает как нечто «внутреннее», отделенное невидимой стеной от всего внешнего, в том числе и от других людей.

Но о природе самой этой стены почти никогда не говорится ни слова, не дается никаких разъяснений. Является ли тело сосудом, внутри которого заключено подлинное «Я»? Служит ли кожа границей между «внутренним» и «внешним»? Что в человеке выступает в роли капсулы, а что — ее содержимого? Опыт «внутреннего» и «внешнего» кажется настолько очевидным, что эти вопросы почти никогда не задаются; кажется, что они не требуют никакого дальнейшего исследования. Достаточно таких пространственных метафор, как «внутри» и «вовне». Только для этого «внутри» даже не пытаются отыскать какое-либо место. И хотя подобный отказ от анализа собственных предпосылок не очень-то соответствует научному методу, этот предзаданный образ человека, понимаемого как «*homo clausus*», не только господствует в обществе, но и в значительной мере определяет все происходящее в сфере наук о человеке. К разновидностям данного образа относятся не только «*homo philosophicus*» классической теории познания, но также «*homo oeconomicus*», «*homo psychologicus*», «*homo historicus*» и, не в последнюю очередь,

«*homo sociologicus*» в его нынешнем виде. Образ человека у Декарта, М. Вебера или Парсонса словно вытесан из одного куска дерева. Как ранее философы, так и многие сегодняшние теоретики социологии принимают данный «опыт самих себя» и соответствующее понимание человека в качестве фундамента своих теорий. Они не в силах посмотреть на них со стороны, не могут дистанцироваться от этого образа и задать вопрос: а является ли он уместным? Даже там, где пытаются снять подобную редукцию, мы обнаруживаем тот же опыт и тот же образ человека. Так, у Парсонса статический образ «Эго», действующего взрослого индивида, от чьего процесса взросления социолог абстрагируется, существует наряду и вне всякой связи с теми психоаналитическими идеями, которые были привнесены им в свою теорию и которые относятся не столько к взрослому состоянию человека, сколько к процессу взросления, открытому для взаимозависимостей с другими индивидами. Подобные теории неизбежно заходят в один и тот же тупик: индивид, вернее, то, что сегодня подпадает под это понятие, всякий раз оказывается кем-то, существующим «вне» общества. В свою очередь, понятие общества относят к тому, что существует вне и помимо индивидов. Остается выбирать между двумя теориями: одна из них ставит человека по ту сторону общества как нечто подлинно существующее и «реальное», тогда как общество понимается как абстракция, в полном смысле слова не наделенная существованием; другая рассматривает общество как «систему», как «социальный факт *sui generis*», особого рода реальность, находящуюся по ту сторону индивидов. В качестве выхода из тупика нередко подается такое соединение этих подходов, когда оба представления ставятся рядом без всякой связи между ними, — в концепции присутствуют и отдельный человек как «*homo clausus*», «Эго», индивид вне общества, и общество в виде системы, пребывающей вне отдельного человека. Но от такого рядоположения несовместимость данных двух представлений не преодолевается. Чтобы выйти из тупика, нужно увидеть их ограниченность. А это трудно, пока в качестве фундамента рассуждений без всякой проверки принимается ощущение собственного «Я», находящегося «внутри» некой капсулы, пока это ощущение предопределяет трактовку и образа человека, и понятий «индивид» и «общество» в качестве каких-то неизменных состояний.

В эту ловушку мысль попадает всякий раз, когда «индивид» и «общество» мыслятся статически. Ее можно избежать лишь в том случае, если оба эти понятия обозначают процессы и разрабатываются в тесной взаимосвязи с эмпирическими исследованиями. Но такому подходу препятствует прежде всего необычайная убедительность представлений, восходящих к эпохе Возрождения. Начиная с этого времени они все больше определяли в европейских странах опыт людей — «опыт самих себя», индиви-

дуализации, обособления своего «внутреннего» от всего «внешнего». У Декарта этот опыт обособления индивида, противостоящего всему миру как мыслящее «Я», находящееся где-то внутри собственной головы,

еще отчасти ослабляется благодаря присутствующему в данной концепции понятию Бога. В современной социологии тот же базисный опыт находит свое теоретическое выражение в понятии действующего «Я», которое противопоставляется «другим», находящимся «вовне». Если отвлечься от монадологии Лейбница, то в этой философско-социологической традиции едва ли хоть одна проблема рассматривалась исходя из признания факта существования множества взаимозависимых людей. Лейбниц попытался это сделать, но сумел только при помощи метафизической конструкции соединить «монады без окон и дверей» (т.е. его собственную версию «*homo clausus*»). Тем не менее монадология была первой попыткой подхода к этой проблеме, и она могла бы послужить моделью для развития социологии. Настоятельная потребность в подобной модели постоянно дает о себе знать. Решающий шаг, сделанный Лейбницем, заключался в дистанцировании от собственного «Я». Это позволило ему обыграть ту идею, что можно воспринимать свое «Я» не как противопоставленное всему прочему миру, а как одну из сущностей, существующую наряду с другими. Господствующий на протяжении всего этого периода тип опыта характеризуется тем, что геоцентрическая картина мира — по крайней мере, когда речь идет о неживой природе — уступает место иной, требующей от человека способности самодистанцирования, «изгнания-самого-себя-из-центра». Что же касается понимания человека, здесь геоцентрическая картина мира постепенно сменяется эгоцентрической. В центре человеческого универсума отныне стоит самостоятельный и в конечном счете совершенно независимый индивид.

Даже современную трактовку человека ничто не характеризует лучше, чем то, что и сегодня ведут речь не о «*homines sociologiae*» или «*homines oeconomicae*», но, имея в виду понимание человека в социальных науках, продолжают говорить об отдельном человеке, о «*homo sociologicus*» или «*homo oeconomicus*». К нему привязаны все науки. Общество предстает здесь в конечном счете как нагромождение совершенно независимых друг от друга индивидов. Их сущность сокрыта где-то «внутри», а в общение они вступают лишь на поверхностном уровне. Нам приходится вслед за Лейбницем призывать на помощь метафизику, чтобы выйти из мира замкнутых в себе монад без окон и дверей и хоть как-то обосновать возможность взаимозависимости и коммуникации между ними, равно как и возможность их познания. Идет ли речь о людях в ролях «субъекта» и «объекта» или в ролях «индивида» и «общества», в обоих случаях проблема ставится таким образом, словно точкой отсчета является взрослый человек — в

34

полном одиночестве и совершенно самостоятельный. Иначе говоря, в том образе, который отразил в объективирующих понятиях «опыт самих себя», накопленный множеством людей Нового времени. В результате возникает вопрос об отношении подобного человека ко всему внешнему, т.е. отношении индивида, мыслимого как некое состояние, к природе и к обществу. Существует ли такой индивид, или же он является плодом мыслительных операций и обусловлен именно этими операциями?

IX

Постараемся прояснить смысл обсуждаемой здесь проблемы. Речь идет совсем не о том, чтобы поставить под сомнение подлинность опыта, находящего свое выражение в различных вариантах образа человека как «*homo clausus*». Вопрос в том, может ли этот опыт (и тот образ человека, в который он столь часто спонтанно переходит без малейшей рефлексии) служить надежным исходным пунктом для фактического познания людей, а тем самым и себя самого, т.е. исходным пунктом философского или социологического познания. Насколько оправданным является проведение четкой разделительной линии между «внешним» и «внутренним» человеком, нередко считающееся в европейской традиции само собой разумеющимся? И на уровне мышления, и на уровне языка глубоко укоренилось подобное членение. Но можем ли мы считать такую предпосылку самоочевидной — без критической и систематической проверки ее обоснованности как в философии, так и в социологической теории? Представление о разделительной линии сделалось чрезвычайно устойчивым в определенный период человеческого развития. Оно проявляется в письменных источниках, оставленных всеми группами людей, достигших такой ступени рефлексии и самосознания, что способны не просто мыслить, но и сознательно полагать себя мыслящими существами. Мы замечаем это представление уже в платоновской философии, равно как и в идеях некоторых других античных философских школ. Как уже было сказано выше, представление о «Я», заключенном в «оболочку» тела, является одним из ведущих мотивов в философии Нового времени. Мы находим его и в «мыслящем "Я"» Декарта, и в «монаде без окон» Лейбница, и в кантовском субъекте познания, который никак не может прорваться из своей априорной скорлупы к «вещи в себе». Мы обнаруживаем это представление и в новых облачениях: и в концепции самодостаточного существования того одиночки, у кого «рассудок», «разум» и все овеществленные способности мышления и восприятия свелись к *Dasein*, к экзистенции; и в социальной теории Макса Вебера, принимающей за исходный пункт действие и — целиком в духе указан-

35

ного выше раскола — проводящей разделительную линию между «социальным действием» индивида и его «не-социальным действием», т.е. неким предположительным «чисто индивидуальным действием».

Но данное представление о природе самого себя и вытекающий из него образ человека были запечатлены не только в ученых текстах. Отсутствие окон у монад, проблематика «*homo clausus*», с которой такой мыслитель, как Лейбниц, попытался справиться спекулятивным путем, постулировав возможность связей

между монадами, сегодня кажутся самоочевидными не только ученым. В менее рефлексированной форме этот опыт заявляет о себе в художественной литературе, например, в произведениях Вирджинии Вулф, считающей непередаваемость опыта жизни причиной человеческого одиночества. Мы видим отражение того же представления в понятии «отчуждение», на протяжении десятилетий в разных вариантах не сходявшем со страниц как научных, так и далеких от науки книг. Было бы небезынтересно провести систематическое исследование того, в какой степени и в каких вариациях этот опыт давал о себе знать, с одной стороны, в элитарных группах, и в более широких слоях населения развитых обществ — с другой. Но уже приведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, сколь устойчивым и самоочевидным является подобное восприятие человека в европейских обществах Нового времени. В этом опыте собственное «Я», нечто «внутреннее», закрыто для «внешнего», для других людей и вещей. Но всякий раз трудно определить местоположение стены, опоясывающей это «внутреннее» наподобие сосуда и отделяющего его от всего «внешнего». Имеем ли мы здесь дело, как это часто представляется, с вечным и фундаментальным опытом всех людей? Или же это лишь один из типов «опыта самого себя», соответствующий определенной ступени развития образуемых людьми фигураций и свойственный именно такой фигурации?

Для нашей книги данный комплекс проблем имел двоякое значение. С одной стороны, процесс цивилизации не может быть понят, пока в силе остается образ человека как «homo clausus». Только после того, как этот образ утратит характер чего-то самоочевидного, подобный опыт окажется проблематичным и доступным для обсуждения. С другой стороны, развиваемая здесь теория цивилизации выступает в качестве подхода к решению данной проблемы. Поэтому проведенный нами разбор образа человека служит, прежде всего, лучшему пониманию представленных ниже исследований, посвященных процессу цивилизации. Но вполне возможно, что сами эти рассуждения станут яснее лишь после знакомства с последним разделом книги, где дана общая картина процесса цивилизации. Пока что нам достаточно краткого указания на связь, существующую между проблемами «homo clausus» и процесса цивилизации.

36

Можно пояснить эту связь еще проще, если сначала обратиться к тем изменениям в «опыте самих себя» у людей, которые сыграли существенную роль при отходе от геоцентрической картины мира. Этот переход нередко рассматривают как простой пересмотр ряда концепций, касающихся движения звезд. Но от перемены мнения о конфигурации звезд не было бы прямого пути к изменению представлений о человеке, если бы прежде не разразился кризис, разрушивший существовавший ранее образ человека. Человек должен был увидеть самого себя в ином свете. Для людей вообще первичным является тот вид опыта, когда они ставят самих себя в центр мировых событий, причем не столько в качестве отдельных индивидов, сколько в качестве группы. Геоцентрическая картина мира является выражением этого спонтанного и дорефлексивного антропоцентризма, фиксации основного внимания на самих себе, каковую мы и сегодня с легкостью обнаруживаем в мышлении людей, пока речь идет не о природе. Примером может служить либо национализм, либо социологическое мышление, отводящее центральное место отдельному индивиду.

Геоцентризм и сегодня доступен каждому из нас как одна из ступеней опыта. Просто эта ступень уже не играет доминирующей роли в общественном сознании. Когда мы говорим, что Солнце встает на Востоке и садится на Западе — и «видим» это, — то мы воспринимаем самих себя и Землю, на которой мы живем, как центр мира, как точку отсчета для движения звезд. Для того чтобы совершился переход к гелиоцентрической картине мира, было мало одних лишь новых открытий, кумулятивного роста знаний об объектах. Для этого требовался также рост способности людей дистанцироваться от самих себя в процессе мышления. Научные методы получают развитие и становятся общим достоянием лишь там, где люди отходят от первоначального опыта самоочевидного, где исчезает дорефлексивное и спонтанное соотнесение всего со своими собственными целями и смыслами. Развитие, которое вело к достоверному познанию и к росту контроля над природными явлениями, было одновременно развитием людей в направлении все большего контроля над самими собой.

Мы не можем здесь более подробно останавливаться на связи между формированием научного метода получения знаний об объектах, с одной стороны, и развитием новых установок в отношении людей к самим себе, становлением новых личностных структур — прежде всего сдвигом к большему контролю над аффектами и дистанцированию от самих себя — с другой. Эта проблема станет яснее, если вспомнить о непроизвольности дорефлексивного, сфокусированного на себе самом мышления. Его мы можем наблюдать в любое время у детей в нашем собственном обществе. Развившийся в обществе и достигший высокого Уровня контроль над аффектами, которому каждый индивид

37

обучается в детстве и который осуществляется каждым индивидом, был необходим для того, чтобы на место одной картины мира, где центральное место отводилось Земле и живущим на ней людям, пришла другая, гелиоцентрическая. Хотя последняя гораздо лучше отвечала наблюдаемым фактам, эмоционально она поначалу казалась совершенно неприемлемой — ведь она изгнала людей из центра Вселенной и поместила их на одну из планет, вращающихся вокруг этого центра. Переход от данной легитимированной благодаря вере позиции к другой, опирающейся на познание природы, и сдвиг в направлении большего контроля над аффектами выступают в качестве одной из сторон цивилизационного процесса, о котором пойдет речь ниже.

Однако на тогдашней ступени развития знаний — знаний не столько о себе, сколько о предметах внешнего мира, — пока что не было условий для еще одного цивилизационного сдвига. А именно, невозможно было сделать предметом научного исследования сам усиливающийся и «интернализированный» контроль людей над собой. Рост научного знания не сразу привел к росту знаний о самом человеке. Для данной же ступени самосознания, нашедшей выражение в классических теориях познания, весьма характерно то, что большее значение придается объекту, а не субъекту теории познания. В центре внимания находится предмет познания, а не сам субъект. Но там, где субъект не входит в теоретико-познавательную проблематику, появляются две альтернативы, в равной мере ведущие в тупик.

Развитие представлений о чисто механическом, подчиненном законам природы движении Земли и Солнца, которое не служит никаким человеческим целям, а потому в эмоциональном плане не имеет большого значения, предполагало развитие самого человека, и даже требовало его. Это развитие шло в направлении более строгого контроля над эмоциями и большего сдерживания спонтанных проявлений чувств. Такой контроль относился ко всему переживаемому, ко всему, что задевает человека, в том числе и к намерениям, замыслам, целям самого переживающего человека. В период, называемый нами Новым временем, люди достигли той ступени дистанцирования от самих себя, что сделала возможным видение природных событий как природных связей, не обладающих целями и стремлениями, протекающими чисто механически или каузально. Смыслом и целенаправленностью они наделялись лишь в том случае, если их можно было контролировать благодаря фактическому знанию. Но на этой ступени люди могли дистанцироваться от самих себя и сдерживать свои аффекты лишь в малой мере. Короче говоря, они не могли сделать объектом исследования условия возможности той роли, которую они стали играть, — роли субъекта познания.

Именно поэтому проблема научного познания до сих пор опирается на предпосылки, свойственные классической европейской

38

теории познания. В акте познания мыслящий дистанцируется от объекта познания, он сдерживает аффекты, но на этом уровне он видит в этом не акт дистанцирования, а действительно наличную дистанцию, вечное состояние пространственного разделения, некую незримую стену между тем, что кажется «внутренним» аппаратом мышления, т.е. «рассудком» или «разумом», с одной стороны, и «внешними» объектами — с другой.

Мы уже видели, как должное преобразуется в сущее, когда идеалы принимаются за нечто реально существующее. Здесь мы сталкиваемся с овеществлением иного рода. Для научного мышления и наблюдения требуется акт дистанцирования от объектов, предполагающий высокую степень контроля рефлексии над чувствами. На указанной ступени опыта «самого себя» такой акт осознается как фактически существующая дистанция между субъектом и объектом. Чем больше мы сдерживаем аффективные импульсы, направленные на предметы мышления и наблюдения, тем большей оказывается дистанцированность от них мысли на каждом этапе познания. В «опыте самого себя» данный процесс рождает представление о реально существующей клетке, в которой пребывают «Я», «Самость», разум, экзистенция. В этой клетке они изолированы и исключены из мира, существующего «вне» индивида.

Как и почему, начиная с позднего Средневековья и раннего Возрождения, происходил этот мощный сдвиг в сторону индивидуального самоконтроля, к выработке независимого от других и автоматического, как бы встроенного контроля над самим собой (сегодня он нередко называется «интернализированным»), — на эти вопросы отчасти отвечает данная книга. Происходит переход от принуждения, господствующего в отношениях между людьми, к индивидуальному самопринуждению. А это приводит к тому, что многие импульсы переживаются менее спонтанно. Возникающие в совместной жизни механизмы самоконтроля начинают действовать как бы сами по себе. «Рациональное мышление» или «моральная совесть» прочно укореняются между влечениями и чувственными импульсами, с одной стороны, и мускулатурой, с другой стороны. Они все сильнее препятствуют проявлению этих импульсов и не дают им прямо и непосредственно, без собственного дозволения, перейти в действие, осуществляемое с помощью мускулов.

В этом заключается сущность того изменения индивидуальных структур и индивидуальных черт, которое, начиная с эпохи Возрождения, находит выражение в рефлексивном опыте «самого себя», в представлении о единичном «Я», находящемся в закрытом футляре, отделенном невидимой стеной от всего «внешнего». В качестве непосредственного опыта индивид имеет дело с уже отчасти автоматически функционирующими цивилизационными механизмами самоконтроля. Именно они представля-

39

ются индивиду той стеной, что отделяет «субъект» от «объекта», собственное «Я» от других людей, от «общества».

Происходивший на протяжении эпохи Возрождения рост индивидуализации хорошо известен. Здесь речь идет о более детальной картине подобного развития личностных структур, каковое еще не получило должного освещения. Переход к переживанию природы как созерцаемого извне ландшафта, переход к восприятию природы как объекта познания, отделенного невидимой стеной от субъекта познания, переход к пониманию самого себя как совершенно самостоятельного, независимого от прочих людей и вещей индивида — эти и ряд других процессов характеризуют происходившее в тот период развитие. Все они несут на себе черты одного и того же цивилизационного сдвига. Все они указывают на особенности перехода к более высокой ступени самосознания, на которой в результате самопринуждения возрастает

контроль над аффектами и увеличивается рефлексивная дистанцированность при уменьшении спонтанности и аффективности действий. Эти процессы хотя отчасти и ощущаются людьми, но еще не становятся предметом дистанцированного мышления, а тем самым и предметом исследования.

Так мы подходим к ядру тех индивидуальных структурных черт, что проявляются в опыте «самого себя» человека, понимаемого как «homo clausus». Если мы вновь спросим, что, собственно, дает повод для такого представления о «внутреннем», обособленном человеке, находящемся как бы в капсуле, то окажется, что мы уже знаем путь, на котором нужно искать ответ на этот вопрос. В качестве такой капсулы, такой невидимой стены воспринимаются средства сдерживания аффектов, усилившиеся механизмы самопринуждения. Они характерны для данного цивилизационного сдвига, они упрочились и сделались всесторонними. Они неуклонно препятствуют прямому переходу спонтанных импульсов в моторные действия — между ними вклинивается аппарат контроля. Именно они воспринимаются как капсула или невидимая стена, отделяющая индивида от «внешнего мира», субъект познания от объекта, «ego» от «alter ego», индивида от общества. В капсулу заключаются сдержанные влечения и аффективные импульсы, не получающие непосредственного выхода к двигательному аппарату. В «опыте самого себя» они выступают или как нечто сокровенное, или как собственное «Я», как ядро собственной индивидуальности. «Внутреннее человеческое» — это удобная метафора, но она остается лишь метафорой, да еще сбивающей с толку.

Можно вполне осмысленно сказать, что мозг находится внутри черепа, а сердце внутри грудной клетки. Тут мы можем ясно определить, где содержащее и где содержимое, что пребывает внутри стен и что вовне, из чего эти стены состоят. Но там, где подобные суждения произносятся по поводу личностных струк-

40

тур, они оказываются совершенно неуместными. Приведем лишь один пример. Отношение между влечением и контролем над ним не является пространственным отношением. Механизмы контроля не представляют собой никакого сосуда, содержащего в себе влечения. Есть люди, придающие большее значение этому аппарату контроля, называя его разумом или совестью; есть те, кто ставит на первое место влечения и чувственные порывы. Но если не вдаваться в спор о ценностях, а ориентироваться на сущее, то нам не найти такой структурной характеристики человека, о которой можно было бы обоснованно сказать, что она является ядром, тогда как все прочие служат ее скорлупой. Мы различаем чувство и мышление, разграничиваем поведение, определяемое влечением, и поведение, находящееся под контролем. Но весь комплекс разграничительных линий принадлежит к миру человеческих действий. Если вместо обычных субстантивированных понятий, как, например «чувство» или «рассудок», мы станем употреблять понятия деятельностные, то нам станет более понятно, что картина «внешнего» и «внутреннего» или фасада и чего-то за ним скрывающегося хоть и передает один из аспектов физического существования человека, но не применима к структуре личности живого человека в целом. На этом уровне нет ничего, что напоминало бы отношение содержащего и содержимого, а именно оно оправдывает употребление такой метафоры, как понятие «внутреннее». Безусловно, человек может ощущать какую-то стену, отделяющую «внешнее» от «внутреннего». Но это ощущение не соотносится ни с чем, что имело бы для него характер действительно непроницаемой стены. Можно вспомнить об одном высказывании Гёте, говорившего, что у природы нет ни ядра, ни скорлупы, а потому для нее нет ни внешнего, ни внутреннего. Это относится и к человеку.

Теория цивилизации, разработке которой посвящена данная книга, помогает избавиться от ложного образа человека, возникшего в Новое время и ставшего чем-то само собой разумеющимся. Мы дистанцируемся от этого образа и тем самым движемся к другому образу, ориентированному не столько на собственные чувства и оценки, сколько на человека как объект мышления и исследования. С другой стороны, критика понимания человека, характерного для Нового времени, необходима для понимания процесса цивилизации. Ибо по ходу этого процесса изменилась сама структура человека — люди стали «цивилизованнее». Пока мы видим в отдельном человеке некое заданное природой и скрытое какой-то стеной содержимое, то остается непонятным, как возможен процесс цивилизации, проходящий через целый ряд поколений и меняющий личностные структуры людей, не изменяя при этом их природу.

Такой установки на отделение содержащего от содержимого достаточно для того, чтобы блокировать переориентацию инди-

41

видуального самосознания и воспрепятствовать развитию образа человека, отражающего долговременный процесс развития общественных и личностных структур. Пока понятие «индивид» связывается с «опытом самого себя» человека как «Я», замкнутого в некое футляре, «общество» тоже будет пониматься как нагромождение монад без окон и дверей. Тогда такие понятия, как «социальная структура», «социальный процесс» или «развитие общества», в лучшем случае станут казаться социологам «идеально-типическими» конструкциями, которыми исследователи пользуются исключительно для упорядочения совершенно беспорядочных и бесструктурных скоплений индивидов, действующих абсолютно независимо друг от друга.

Как мы видим, в реальности дело обстоит совсем иначе. Представление об абсолютно независимых, принимающих решения, действующих, «экзистирующих» одиночках является искусственным продуктом. Оно возникло у людей на определенной стадии развития их «опыта самих себя» и характерно именно для этой стадии. Отчасти данное представление покоится на смешении идеала и факта; отчасти — на

овеществлении индивидуального аппарата контроля, на отгораживании индивидуальных аффективных импульсов от двигательного аппарата, т.е. от непосредственного воздействия на телодвижения и действия. Этот опыт обособленности, ощущения невидимых стен, отделяющих «внутреннее» индивида от всех людей и вещей «вовне», приобрел для множества людей Нового времени ту непосредственную убедительность, какой в Средние века обладало представление о Земле как центре мира, вокруг которого движется Солнце. Подобно тому как на смену геоцентрической картине мира пришла гелиоцентрическая, эгоцентрический образ общественного универсума сменяется картиной, соответствующей реальному положению дел. Конечно, эта новая картина меньше отвечает нашим чувствам. Останутся ли чувства неизменными — это открытый вопрос, и ответ на него зависит от того, порождается ли чувство обособленности и отчужденности неудачным развитием индивидуального самоконтроля или же структурными особенностями эволюции общества. Подобно тому как господствующая в общественном мнении гелиоцентрическая картина мира (эмоционально куда менее выразительная, чем геоцентрическая) не уничтожила нашего частного опыта, воспринимающего Солнце как вращающееся вокруг Земли, так и становление в общественном мнении более близкого фактам образа человека не ведет к исчезновению частного опыта, сфокусированного на самом себе, опыта невидимых стен, отделяющих «внутреннее» от внешнего мира. Но в научной работе мы вполне можем отвлечься от этого опыта и соответствующего ему образа человека. Они утрачивают характер чего-то самоочевидного. В своем исследовании мы стремимся достичь понимания че-

42

ловека, в большей мере соответствующего наблюдаемым фактам, что, в свою очередь, облегчает решение многих проблем. Например, проблем цивилизационного процесса и процесса образования государства, которые были практически неразрешимы на основе прежнего образа человека. Либо проблемы отношений между индивидом и обществом, ранее всякий раз решаемой без нужды запутанным и не слишком убедительным образом.

На место образа человека как «закрытой личности» (характерно уже само это выражение) встает его образ как «открытой личности». Последняя обладает большей или меньшей степенью автономности в отношениях с другими людьми, но никогда не достигает абсолютной или тотальной автономности, поскольку на протяжении всей своей жизни соотносится с другими людьми, на них нацелена, от них зависима. Люди находятся в сети взаимозависимостей, которые прочно привязывают их друг к другу. Эта сеть обозначается здесь как фигурация — определенная форма связи ориентированных друг на друга и взаимозависимых людей. Поскольку люди — сначала от природы, а затем и через обучение, воспитание, социализацию, социально пробуждаемые потребности — более или менее зависят друг от друга, постольку они всегда выступают во множественном числе, или, если можно так выразиться, существуют как «плюральности». Они всегда предстают в тех или иных фигурациях. Вот почему не слишком плодотворно понимание человека как одиночки. Куда более уместно исходить из картины множества взаимозависимых людей, образующих фигурации, группы или разного рода сообщества. Тем самым исчезает характерное для прежнего образа человека разделение на индивида (словно есть индивиды без общества) и общество (словно существует общество без людей). Понятие фигурации вводится нами именно потому, что своей ясностью оно превосходит понятийный инструментарий нынешней социологии. Оно лучше и без всяких двусмысленностей выражает то, что «общество» не является ни абстракцией, полученной от свойств каких-то внеобщественных индивидов, ни «системой» или «целостностью», существующей где-то по ту сторону индивидов. Речь здесь идет о сети взаимозависимостей, сплетенной самими индивидами. Конечно, мы можем говорить и о социальной системе, образуемой индивидами. Но в рамках современной социологии понятие «система» употребляется таким образом, с такими смысловыми оттенками, что кажется какой-то вынужденной уступкой. Помимо этого, понятие системы слишком тесно связано с представлениями о неизменности сущего.

Понятие фигурации можно пояснить на примере коллективных танцев. Это — простейший пример тех фигураций, которые образуются людьми. Если вспомнить мазурку, полонез, танго или рок-н-ролл, то образ подвижных фигураций, создаваемых танцующими, быть может, облегчит нам понимание в качестве

43

фигураций отдельных государств, городов и семей либо капиталистической, коммунистической и феодальной систем. При таком употреблении понятий наконец исчезает противоречие, основанное на различии ценностей и идеалов и обычно проявляющееся, как только речь заходит об «индивиде» и «обществе». Конечно, мы можем говорить о танце вообще, но никто не станет представлять себе танец как чистую абстракцию, без танцующих индивидов. Одна и та же фигурация танца может включать в себя различных индивидов, но без плюральности ориентированных друг на друга, взаимозависимых танцоров нет и танца. Подобно всякой другой общественной фигурации, фигурация танца относительно независима от специфических индивидов, образующих ее здесь и теперь; но она не является независимой от индивидов вообще. Бессмысленно говорить, что танцы суть мысленные образования, которые абстрагируются от наблюдений за единичными и по отдельности рассматриваемыми танцорами. То же самое можно сказать и обо всех других фигурациях.

Малые фигурации танца меняются — иногда медленно, иногда более быстро. Точно так же — медленнее или быстрее — меняются большие фигурации, которые мы называем обществами. Представленные ниже исследования рассматривают подобные изменения. Таков наш исходный пункт в изучении процесса

формирования государства — фигурации, образуемой из множества относительно малых общественных объединений, свободно конкурирующих друг с другом. Это исследование показывает, как и почему изменяется данная фигурация. Одновременно оно делает очевидным, что возможны объяснения, по своему характеру не являющиеся каузальными, ибо изменение фигурации отчасти объясняется эндогенной динамикой самой фигурации, имманентной тенденцией, ведущей от свободной конкуренции к монополии. Соответственно, исследование демонстрирует, как на протяжении столетий первоначальная фигурация сменяется другой, а одна из социальных позиций (а именно, позиция короля) обретает такую власть, что ни одна другая оказывается не в состоянии с ней конкурировать в рамках сети взаимозависимостей. Это исследование в то же самое время показывает, как и почему по ходу такой смены фигураций изменяются и личностные структуры.

Многие вопросы, которые стоило бы рассмотреть в этом предисловии, мы вынуждены отложить в сторону, поскольку иначе оно разрослось бы до целого тома. Но при всей ограниченности приведенных выше рассуждений, все же очевидно, что данные исследования предлагают серьезную переориентацию современной социологии, отход от господствующих ныне взглядов. Конечно, не так просто освободиться от представления о самом себе и о людях вообще как о «homo clausus». Но без этого невозможно понять, что подразумевается под процессом ци-

44

визации, трактуемом как трансформация индивидуальных структур. Столь же непросто так развить свою способность представления, чтобы мыслить фигурациями, к нормальным свойствам которых относится их изменчивость, да еще нередко имеющая определенную направленность.

В этом предисловии я затронул часть основополагающих проблем: без их рассмотрения трудно было бы понять мою книгу. Хотя мысли высказаны не самые простые, но я попытался изложить их максимально доступно. Надеюсь, содержащиеся здесь предварительные замечания облегчат и углубят понимание книги и, быть может, сделают ее чтение более приятным занятием.

Норберт Элиас Лейчестер, июль 1968 г.

Примечания

¹ *Parsons T. Essays in Sociological Theory. Glencoe, 1963. P. 359f.*

² *Parsons T. Op. cit. P. 359.*

³ *Parsons T. Social Structure and Personality. Glencoe, 1963. P. 82, 258f.*

⁴ Взгляд, согласно которому социальное изменение (понимаемое как структурное изменение) должно восприниматься как нарушение обычно стабильного социального равновесия, часто встречается в работах Парсонса (см., например: *Parsons T., Smelser N.J. Economy and Society. L., 1957. P. 247f.*). То же самое можно сказать о Р. Мертоне (см.: *Merton R.K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1959. P. 122*), где идеальному, хотя и понятому как реальное, социальному состоянию, не знающему противоречий и напряжения, противопоставляется другое, при котором оцениваемые как «исключительные явления» или «плохо функционирующие» («disfunctional») социальные феномены вызывают изменения в обычно лишенной напряжения и неизменной социальной системе.

Обсуждаемая здесь проблема, как мы видим, не тождественна той, что обычно дискутируется в терминах «статики» и «динамики». В последнем случае речь чаще всего идет о том, какой метод предпочтительнее при исследовании общественных явлений — метод, при котором мы ограничиваемся определенным временным отрезком, или метод, предполагающий долговременные процессы. Напротив, здесь речь идет не о социологическом методе и даже не об отборе социологических проблем как таковых, но о представлениях об обществе, лежащих в основе применения различных методов и типов отбора проблем, — т.е. о представлениях о фигурациях людей. Сказанное здесь вовсе не исключает возможности социологического исследования кратковременных общественных состояний. Такой тип отбора проблем является целиком и полностью законным, даже неизбежным для социологического исследования. Мы выступаем здесь против определенного типа теоретизирования, которое часто (хотя и без всякой необходимости) увязывается с эмпирическими социологическими исследованиями состояний. Вполне возможно проводить эмпирическое исследование таких состо-

45

яний, используя в качестве теоретической предпосылки модель социальных изменений, процессов, того или иного типа развития. Недостатком дискуссий по поводу «социальной статики» и «социальной динамики» является то, что в них нет четкого различия между эмпирическим исследованием кратковременных социологических проблем и соответствующих им методов, с одной стороны, и теоретической моделью, из которой мы — явно или неявно — исходим при постановке проблем и представлении результатов исследования, с другой стороны. Это хорошо видно по тому, как Мертон в указанном выше сочинении употребляет понятия «статика» и «динамика»: заметно отсутствие четкой дифференциации понятий, когда он говорит о том, что в рамках социологической функциональной теории разрыв между статикой и динамикой можно преодолеть за счет того, что смещения, напряжения и противоречия понимаются как «дисфункциональные» для ныне существующей социальной системы и одновременно как «инструментальные» с точки зрения изменения.

⁵ Тенденция к сплоченности, характерная для европейских наций, может получить немалую поддержку благодаря уплотнению и удлинению цепей взаимозависимости — в первую очередь экономических и военных. Однако то обстоятельство, что традиционное национальное самопонимание европейских стран было поколеблено, создает предпосылки к тому, чтобы они вопреки националистической традиции — пусть медленно и не очень решительно — заняли свое место в реальном процессе развития, идущего в направлении все большей функциональной взаимозависимости. Трудность заключается как раз в том, что социализация детей и взрослых остается националистической. Эмоционально население европейских стран ставит на первое место

свою нацию, тогда как более широкая наднациональная формация, которая находится в становлении, воспринимается поначалу как нечто «рациональное», но само по себе лишенное аффективной значимости.

⁶ Это отличие заслуживает более детального сравнительного исследования, но в общих чертах его можно разъяснить в нескольких словах. Оно связано с различной ценностной ориентацией, свойственной доиндустриальным властвующим элитам, которая взаимодействует с ценностной ориентацией новых промышленных слоев и их представителей, приходящих к власти.

В таких странах, как Германия (и в некоторых других европейских странах), можно наблюдать тип буржуазного консерватизма, во многом определяемый системой ценностей доиндустриальных династических, аграрных и военных элит. Эта система ценностей задает четко выраженную низкую оценку «торгашества» (как это именовалось в Германии), т.е. торговли и промышленности, при недвусмысленно высокой ценности государства, «общественного целого», противопоставляемого одиночке, «индивиду». Там, где подобные ценности сохраняют свою роль в консервативных взглядах промышленных слоев, явно прослеживается антилиберальная тенденция. С точки зрения этой традиции, в негативном свете часто предстают первенство отдельной личности, индивидуальная инициатива и относительно низкая оценка «общественного целого», свойственные миру бизнеса, апеллирующему к принципам свободной конкуренции.

В тех странах, где доиндустриальные аграрные элиты в своей практической жизни — и в своих ценностных ориентациях — не так глубоко-

46

ко и решительно устранились от коммерческих операций и от всех тех, кто жил за счет таких операций, где власть князей и придворного общества была ограниченной (как в Англии) либо вообще отсутствовала (как в Америке), там консерватизм поднимающихся групп буржуазии имел иные черты. Он вполне сочетался — хотя бы внешне — с идеалами свободной конкуренции и невмешательства государства, со свободой индивидов, т.е. со специфически либеральными ценностями. О некоторых трудностях, возникающих в рамках этого либерально-консервативного национализма в связи с равно высокой оценкой индивида и нации (и кажущейся непроблематичности отношений между этими ценностями) при сохранении в качестве высшей ценности «общественного целого», нам еще придется говорить ниже.

⁷ Замена одной идеологии, устремленной в будущее, на другую, ориентированную на настоящее, нередко скрывается с помощью разного рода мелких уловок. Их можно считать образцовыми примерами искусного созидания идеологий. Это представляет интерес для всех социологов, занятых исследованием идеологий. Ориентация различных националистических идеологий на то, что есть, на неизменно существующее, воспринимаемое в качестве высшего идеала, часто ведет к тому, что носители такой системы ценностей (в особенности представляющие консервативно-либеральные оттенки, но не только они) попросту объявляют свои воззрения констатацией фактов, свободной от всякой идеологии.

В таких теориях в содержание понятия «идеология» включаются лишь те ее типы, которые нацелены на изменение существующего, в первую очередь — на внутригосударственные изменения. Примером такой маскировки собственной идеологии может служить хорошо известная доктрина «реальной политики» в Германии. Исходным пунктом для всех ее аргументов является идея (признаваемая за отражение реальности), согласно которой каждая нация в международной политике использует всю свою мощь ради обеспечения национальных интересов, причем без всяких оговорок и ограничений. Эта мнимая констатация фактов служила оправданием вполне определенного национального идеала — идеала макиавеллизма в новом одеянии. Для последнего национальная политика в сфере международных отношений осуществляется без всякой оглядки на других и преследует только собственные национальные интересы. Такой «реально-политический» идеал нельзя признать реалистичным уже потому, что всякая нация зависит от других.

В последнее время сходные идеи — выраженные, правда, в умеренной форме, соответствующей американской традиции, — можно найти в книге Даниела Белла, имеющей характерное название «Конец идеологии». Белл также исходит из того, что организованные группы ведут борьбу за власть, преследуя исключительно собственные выгоды. Из этого факта он затем выводит — аналогично представителям немецкой «реальной политики», — что политик должен, игнорируя всякую этику, стремиться к реализации властных интересов в борьбе со всеми прочими группами. При этом Белл претендует на то, что его программа не является политическим вероисповеданием и не носит характер заранее принятой системы ценностей, а тем самым не является идеологией. Он пытается ограничить понятие идеологии теми политическими верованиями, которые направлены на изменение существующего. Он забывает о том, что существующее может рассматриваться не только как

47

факт, но также как эмоционально насыщенная ценность, как идеал, как нечто должное. Белл не проводит различия между научным исследованием существующего и его идеологической защитой, где существующее выступает как воплощение идеала, наделяемого высокой ценностью. Очевидно то, что идеалом для Белла является состояние неизменности, коему он приписывает фактический характер. «Democracy is not only or even primarily a means through which different groups can attain their ends or seek a good society; it is the good society itself in operation» («Демократия является не только и не столько средством достижения определенными группами своих целей или поиска лучшего общества; это — само лучшее общество в своей действительности». — *A.P.*), — как пишет другой американский социолог, Сеймур Мартин Липсет (*Lipset S.M. Political Man. N.Y., 1960. P. 403.*). Позже Липсет несколько изменил это высказывание. Но оно, как и многие другие тезисы ведущих американских социологов, дает представление о том, насколько мало даже самые умные из них могут сопротивляться чрезвычайно сильному давлению со стороны принятого в их собственном обществе конформизма, лишаящего их способности критического восприятия. Пока националистические ценности и идеалы в такой степени господствуют над теоретическим мышлением ведущих американских социологов, пока они сами не задумываются над тем, что социология должна быть такой же независимой от национальной системы воззрений, как физика, доминирующее влияние этих теорий представляет немалую опасность для развития социологии во всем мире. Как мы видим, «конца идеологии» среди социологов не предвидится.

То же самое можно было бы сказать относительно русской социологии, имея она столь же заметное влияние. Насколько мне известно, хотя в СССР растет число эмпирических социологических исследований, теоретическая социология там развития не получила. Это вполне понятно, поскольку данное место занято в

России даже не столько Марксом и Энгельсом, сколько доведенным до уровня системы верований зданием марксизма. Подобно господствующим в Америке теориям общества, это русское строение также является националистическим. Здесь также не предвидится конца идеологии в социологической теории. Но это не является основанием для того, чтобы оставить попытки прекратить постоянный самообман, при котором все новые и новые недолговечные общественные идеалы рядятся в одежды притязаний на вечность социологических теорий.

⁸ Parsons T. *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs, 1966. P. 20: «This process occurs inside that «black box», the personality of the actor» («Этот процесс происходит внутри данного «черного ящика», личности действующего»). — A.P.).

⁹ Ryle G. *The Concept of Mind*. L., 1949.

48

Предисловие к первому изданию

В центре данного исследования находятся те разновидности поведения, которые считаются типичными для цивилизованного западного человека. При их изучении возникают сравнительно простые вопросы. Людей Запада далеко не всегда отличало поведение, называемое сегодня типичным и даже провозглашаемое отличительным признаком «цивилизованного» человека. Если бы кто-нибудь из современных, по-западному цивилизованных людей смог непосредственно перенестись в прошлое своего собственного общества, скажем, в средневеково-феодальный период, то он обнаружил бы многое из того, что сегодня характерно для других обществ и что принято расценивать как «нецивилизованное». Его ощущения вряд ли сильно отличались бы от тех, что он испытывает при столкновении с формами поведения людей феодальных обществ, находящихся за пределами западного мира. В зависимости от своего положения и склонностей он мог бы скоро ощутить либо притягательность дикой, ничем не сдерживаемой, полной приключений жизни высших слоев такого общества, либо отвратительность «варварских» обычаев, грубости и нечистоплотности, с коими он там встретится. И что бы он ни имел в виду, говоря о собственной «цивилизованности», во всяком случае он почувствует, что в этот, уже ушедший в прошлое, период истории Запада общество нельзя признать «цивилизованным» в том же смысле и в той же мере, что и западное общество наших дней.

Многим современным людям это кажется очевидным фактом, а потому разговор на данную тему может показаться излишним. Но из данного факта проистекает вопрос, который, хотя и имеет немалое значение для понимания нас самих, далеко не так ясен и очевиден для ныне живущих поколений людей. Как, собственно говоря, происходило это изменение, как продвигалась «цивилизация» на Западе? В чем она заключалась? Каковы ее мотивы, причины, движущие силы?

Таковы главные вопросы, решению которых должна способствовать данная работа.

Чтобы подойти к их пониманию, нам показалось необходимым — в качестве введения к самой постановке вопроса — ра-

49

зобраться в различных значениях и оценках, возникающих при употреблении понятия «цивилизация» в Германии и во Франции. Этому посвящена первая часть книги. Разобраться в проблеме будет легче, если несколько смягчить и лишить характера самоочевидности противопоставление «культуры» и «цивилизации». Это пусть в малой мере, но сможет содействовать тому, чтобы у немцев возникло лучшее историческое понимание французов и англичан, а у тех — поведения немцев. Кроме того, в конечном счете такой подход послужит прояснению неких типичных фигур цивилизационного процесса.

Чтобы ближе подойти к главным вопросам, нам понадобится ясная картина того, как начиная со Средневековья постепенно менялись поведение и аффекты людей Запада. На решение этой задачи нацелена вторая часть. В ней мы стремимся самым простым и очевидным образом прийти к пониманию *психических* процессов, свойственных цивилизационному развитию. При нынешнем состоянии исторического мышления может показаться слишком смелой или даже сомнительной мысль о психическом процессе, растянувшимся на многие поколения людей. Но там, где речь идет об изменениях психического *habitus'a*, наблюдаемых на протяжении западной истории и характеризующихся определенным порядком и однонаправленностью, мы не можем полагаться на чисто теоретическое или спекулятивное решение; только проверка с помощью исторического опытного материала способна показать истинность или ложность наших предположений. Поэтому в предисловии, до того, как мы познакомимся с этим наглядным материалом, невозможно рассказать о строении работы и главных мыслях, в ней представленных. Они сами обретали устойчивую форму лишь постепенно, по ходу наблюдения исторических фактов, при непрестанном контроле над гипотезами, которые пересматривались при появлении новых данных. Так что и каждая отдельная часть этой работы, и ее строение, и метод становятся понятными лишь когда видишь всю книгу в целом. Пока же, чтобы облегчить такое понимание, мы только укажем читателю на несколько проблем.

Во второй части книги читателю предлагается ряд примеров. Они создают эффект замедленной киносъемки: на небольшом числе страниц показывается то, как на протяжении столетий постепенно и в одном направлении смещался стандарт человеческого поведения, обусловленного одними и теми же обстоятельствами. Мы видим людей за столом, в спальне или при стычке с противником. Во всех этих элементарных ситуациях постепенно изменяются восприятие и поведение индивида. Это — изменение в

направлении роста «цивилизованности», но лишь исторический опыт может прояснить, что же, собственно говоря, это означает. Например, он показывает, сколь важную роль для продвижения вперед «цивилизации» играло изменение чувства сты-

50

да и восприятия чего-либо как неприятного. Изменялся стандарт предписываемого и запрещаемого обществом; вместе с тем смещался порог недовольства и страха, порожденных социальными факторами, — таким образом, вопрос о социогенности человеческих страхов становится одной из центральных проблем процесса цивилизации.

К этой проблематике тесно примыкает круг дальнейших вопросов. По ходу процесса цивилизации увеличивается дистанция между поведением и всем психическим строением ребенка, с одной стороны, и поведением взрослого — с другой. Здесь мы находим, в частности, ключ к решению вопроса, почему одни народы или группы народов кажутся более «молодыми» или даже «детскими» в сравнении с другими — «старыми» или «взрослыми». То, что мы пытаемся выразить в данном случае, характеризует различия, связанные с видом и степенью процесса цивилизации, пройденного этими обществами. Но этот вопрос важен и сам по себе — он выходит за рамки данной работы. Примеры и пояснения второй части книги отчетливо указывают только на то, что специфический процесс психического «взросления», являющийся поводом для размышлений сегодняшних психологов и педагогов, является не чем иным, как индивидуальным процессом цивилизации. В цивилизованном обществе каждый взрослеющий человек принужден с большим или меньшим успехом и в большей или меньшей степени повторять тот путь, который на протяжении столетий в процессе цивилизации прошло общество. Поэтому психогенез *habitus'a* взрослого в цивилизованном обществе остается непонятным вне зависимости от социогенеза нашей «цивилизации». В соответствии с некоего рода «социогенетическим основным законом», на протяжении краткой истории своей жизни индивид вновь проходит через процессы, протекавшие в долгой истории его общества¹.

Сделать доступными пониманию определенные процессы этой большой истории — такова задача третьей части, которой отведено более половины второго тома. В ней мы — на примере четко очерченной области — стремимся прояснить, как и почему по ходу истории последовательно менялось строение западного общества. Тем самым мы одновременно отвечаем на вопрос, почему изменяются стандарт поведения и *habitus* западного человека.

Например, мы рассматриваем социальный ландшафт раннего Средневековья. Он полон больших и малых замков; городские поселения былых времен феодализировались, и в их центре можно увидеть замки и подворья представителей воинского сословия. Вопрос заключается в том, какие переплетения социальных связей вели к образованию того, что мы называем «феодальной системой». Мы попытаемся показать некоторые «механизмы феодализации» подобного рода. Далее мы замечаем, как из это-

51

го ландшафта замков постепенно выделяются, набирая силу — вместе с рядом свободных городов, поселений ремесленников и купцов, — несколько больших и богатых феодальных дворов. В самом военном сословии все отчетливее формируется некий высший слой, и именно эти дворы становятся центрами миннезанга и лирики трубадуров, равно как и центрами «куртуазных» форм обращения и поведения. Если ранее «куртуазный» стандарт поведения служил источником примеров, пытающихся показать изменения психического *habitus'a*, то теперь мы получаем возможность проследить социогенез самих куртуазных форм поведения.

Мы также видим, как постепенно создается ранняя форма того, что мы называем «государством». Сначала мы показываем, что в век «абсолютизма» под лозунгом «*civilité*» произошли особо ощутимые сдвиги в поведении по направлению к тому стандарту, который сегодня мы называем производным от этого «*civilite*» словом «цивилизованное» поведение. Затем обнаруживается, что для уяснения этого цивилизационного процесса нам требуется четкое представление о том, что именно вело к образованию подобного абсолютистского режима, а тем самым и абсолютистского государства. Не только данные о прошлом, но и множество современных наблюдений заставляют нас предположить, что структура «цивилизованного» поведения теснейшим образом связана с организацией западных обществ в форме «государств». Иными словами, перед нами возникает вопрос: как из столь децентрализованного общества раннего Средневековья с множеством крупных и мелких воинов, истинных господ западного мира, возникает то, что мы называем «государствами» — общества, достигшие более или менее прочного внутреннего мира и вооружающиеся против внешнего врага? Какие сплетения социальных связей вели к интеграции все больших территорий в условиях относительно стабильного и централизованного аппарата господства?

На первый взгляд вопрос о генезисе при рассмотрении всякого социального образования может показаться излишним усложнением. Но любое общественное явление, будь то манеры отдельных людей или социальные институты, когда-то действительно «стали» такими, какие они есть сейчас. Как объяснить их? Неужели подводя их под простые и самодостаточные формулы, способные посредством неких искусственных абстракций вырвать все эти явления из естественного для них исторического потока, отнять у них характер движения и процесса, дабы в результате получить статические образы, независимые от истории своего возникновения и развития? Не какая-то теоретическая предвзятость, но сам опыт заставляет

нас искать средства и пути мысли, позволяющие избежать как Сциллы «статики», когда все исторически подвижное лишается движения и становления, так и Харибды «исторического релятивизма», видящего в истории лишь непрерывную переменчивость, не задаваясь вопросом о порядке этих перемен или о законообразности исторических форм. Именно это мы и пытаемся осуществить в этой книге. Социогенетическое и психогенетическое исследование имеет своей целью обнаружение *порядка*, принципов и конкретных механизмов исторических *изменений*; нам кажется, что тем самым мы находим достаточно простой и точный ответ на немалое число проблем, которые сегодня кажутся сложными или даже неразрешимыми.

В этом же смысле мы ставим здесь вопрос о социогенезе «государства». Проблема «монополии на насилие» указывает нам на одну из сторон истории его формирования. Уже Макс Вебер, поначалу на уровне чистых дефиниций, указывал на то, что к конститутивным чертам общественной организации, называемой нами «государством», принадлежит монополия на физическое насилие. Мы попытаемся на конкретно-исторических процессах показать постепенный переход от ситуации, когда насилие было привилегией множества свободно соперничающих воинов, к централизации и монополизации физического насилия. Тенденция к такой монополизации в прошлые эпохи нашей истории столь же объяснима, сколь и сильная тенденция такого рода, действующая в нашу собственную эпоху; а потому нам не так уж трудно понять, что вместе с монополизацией насильственных действий образуется своего рода центр, объединяющий множество других общественных связей, и все это решающим образом изменяет весь аппарат социализации индивидов, в том числе воздействие социальных требований и запретов, моделирующих социальный *habitus* индивида и прежде всего те страхи, которые играют значимую роль в его жизни.

Наконец, в заключении — «Проекте теории цивилизации» — мы вновь подчеркиваем взаимосвязь между изменениями в строении общества и изменениями поведения и психического *habitus'a*. То, что ранее, при разборе конкретных исторических процессов, было лишь контурно обозначено, получает здесь более четкое выражение. Например, мы даем абрис структуры страхов, связанных с постыдным и неприятным. Он выступает как некий теоретический вывод из доступных непосредственному созерцанию данных, вплетенных в исторический материал. Здесь можно найти объяснение того, почему подобные страхи играют особую роль в процессе цивилизации; при этом освещается и формирование «Сверх-Я», становление отношений между сознательными и бессознательными мотивами в душевной организации «цивилизованных» людей. Здесь получает разрешение проблема исторического процесса: мы показываем, что все эти трансформации состоят из действий отдельных людей, но в то же время в результате таких действий возникают институты и

53

формации, которые не предусматривались и не планировались ни одним из этих действующих индивидов. Наконец, мы даем краткое пояснение того, как подобное понимание прошлого сочетается с опытом настоящего.

Таким образом, предлагаемая читателю работа ставит и разрабатывает широкомасштабную проблему; здесь нет заранее принятых решений.

В ней намечаются границы того поля наблюдений, которому ранее не уделялось должного внимания, и делаются лишь первые шаги по прояснению этих данных — за ними должны последовать другие.

Я сознательно оставляю вне рассмотрения многие вопросы и аспекты проблемы, возникшие по ходу исследования. Мне было важно не построить воздушный замок какой-то общей теории цивилизации, чтобы затем подвергнуть эту теорию проверке и выяснить, соответствует ли она опыту, а, скорее, найти на ограниченном участке следы утраченного процесса трансформации человеческого поведения, затем заняться отысканием причин и только под конец этого пути определить, какое значение все это имеет для теории. Если мне удалось создать хоть сколько-то прочный фундамент для дальнейшей работы в этом направлении, то можно считать реализованными все те задачи, на решение которых была нацелена моя книга. Чтобы ответить на вопросы, возникшие по ходу предпринятого мною исследования, потребуются размышления многих людей и совместные усилия различных научных дисциплин, сегодня нередко разделяемых искусственными границами. Эти вопросы касаются психологии, филологии, этнологии или антропологии ничуть не меньше, чем социологии или различных специальных дисциплин в рамках исторической науки.

Сама постановка вопроса в меньшей мере обусловлена научной традицией в узком смысле слова, чем тем опытом, под давлением которого мы все живем сегодня: опытом кризиса и перестройки современной западной цивилизации, потребностью просто-напросто понять, что же с этой «цивилизацией» происходит. Во время исследования я отнюдь не исходил из представления, будто нынешнее цивилизованное поведение есть вершина прогресса и нечто наилучшее из того, на что вообще способен человек; но столь же чуждым мне было мнение, будто она является наихудшей жизненной формой и обречена на гибель. Сегодня мы можем видеть лишь то, что на первом плане оказался целый ряд специфических цивилизационных черт. Но нельзя сказать, что нам целиком и полностью понятно, почему они заставляют нас мучиться. Мы чувствуем, что вместе с цивилизацией приходят какие-то коллизии, каковых не ведают менее «цивилизованные» люди; но мы знаем также, что эти менее «цивилизованные» люди часто пребывают под гнетом тех страданий и

54

страхов, которые нас уже либо оставили, либо не доставляют нам больше серьезных мучений. Возможно, все это станет яснее, когда мы лучше поймем механизм процесса цивилизации. Во всяком случае, таковым было одно из намерений, с которыми я принялся за эту работу. Быть может, в дальнейшем нам удастся сознательно направлять подобные процессы; сегодня они происходят вокруг нас и в нас самих, мало чем отличаясь от природных событий, а наше противодействие им так же незначительно, как противостояние людей Средневековья природным силам.

Во время исследования в ряде случаев я сам вынужден был учиться мыслить иначе, а потому я не мог удержаться от того, чтобы не познакомить читателя с несколькими непривычными для него выражениями. Сущность общественных процессов, — если можно так сказать, «механика развития истории», — для меня самого стала более понятной, когда я обнаружил ее связь с душевными процессами. Отсюда такие понятия, как «социо- и психогенез», «аффективная организация» и «моделирование влечений», «внешнее принуждение» и «самопринуждение», «порог неприятного», «механизм монополии» и некоторые другие. Но поиск новых слов для того, чтобы выразить нечто новое, все же не выходит здесь за пределы необходимого. Такова тематика данной работы.

В проведении этого исследования, как и ряда необходимых, подготовительных работ, я пользовался поддержкой и советом многих людей и институтов. Я чувствую потребность публично поблагодарить всех оказавших мне помощь.

Созданием моей докторской диссертации — большого исследования о дворянстве, королевской власти и придворном обществе, которое положено в основание настоящей книги, — я во многом обязан фонду «Steun-Fond» в Амстердаме. Я благодарен этому фонду, равно как проф. Фрийд из Амстердама и проф. Бугле из Парижа за благосклонный интерес к моей работе, проявленный ими во время моего пребывания в Париже.

Во время работы в Лондоне я пользовался щедрой поддержкой такой организации, как «Woburn-House». Я очень многим обязан также проф. Гинзбергу (Лондон), проф. Х. Лёве (Кембридж) и А. Макову (Лондон). Без их помощи эта работа никогда не могла бы осуществиться. Проф. К. Манхейму (Лондон) я благодарен за помощь и за советы. Не в последнюю очередь мне хочется выразить признательность моим друзьям — доктору философии Жизель Фрейд (Париж), доктору философии М. Брауну (Кембридж), доктору медицины А. Глюксманну (Кембридж), доктору философии Г. Розенхаупту (Чикаго), а также Д. Бонвиту (Лондон). В дискуссиях с ними многое прояснилось и для меня самого.

Норберт Элиас сентябрь 1936 г.

55

Примечание

¹ Не следует понимать это выражение так, словно в истории «цивилизованного» индивида мы вновь обнаруживаем все отдельные фазы истории общества. Нет ничего более бессмысленного, чем разговор о каком-нибудь «натурально-хозяйственном феодализме», «эпохе Возрождения» или «придворно-абсолютистском периоде» в жизни индивида. Все эти понятия имеют отношение исключительно к структуре больших социальных групп.

Говоря об этом явлении, мы указываем лишь на простой факт: и в цивилизованных обществах человеческое существо не приходит в мир уже цивилизованным, а индивидуальный процесс цивилизации, имеющий принудительный характер, есть функция общественного цивилизационного процесса. Отсюда известное родство структуры аффектов и сознания у ребенка и у «нецивилизованных» народов; то же самое относится к тем уровням сознания и аффектов у взрослых, которые по ходу продвижения вперед цивилизации подлежат большей или меньшей цензуре, а потому находят свое выражение, например, в сновидениях. Так как с первого мгновения своей жизни каждый человек нашего общества испытывает на себе моделирующее вмешательство «цивилизованных» взрослых, то он должен заново проходить процесс цивилизации, который привел к появившемуся в обществе историческому стандарту. Это никоим образом не означает, что он повторяет все до единого отрезки общественного процесса цивилизации.

56

Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура»

57
58

Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии

I. Введение

1

Понятие «цивилизация» применяют по отношению к самым разнообразным фактам: к состоянию техники, манерам, развитию научного познания, религиозным идеям и обычаям. Оно может относиться к типу жилья или совместной жизни мужчины и женщины, к формам судебного наказания или приготовлению пищи. Строго говоря, нет почти ничего, что не выступало бы в «цивилизованной» или «нецивилизованной» форме, а потому так трудно в нескольких словах обозначить все то, что обозначается как «цивилизация». Но если посмотреть, какова общая функция данного понятия, во имя чего все эти манеры и достижения людей обозначаются как «цивилизованные», то сразу обнаружится нечто чрезвычайно простое: это понятие выражает самосознание Запада. Можно было бы даже сказать — национальное сознание. В нем резюмируется все то, что отличает западное общество последних двух или трех столетий от более ранних или же от современных, но «более примитивных» обществ. С его помощью пытаются охарактеризовать нечто важное для западного общества, то, чем оно гордится: состояние *его* техники, принятые *в нем* манеры, развитие *его* научного познания, *его* мировоззрение и многое другое.

2

Но для различных наций Запада понятие «цивилизация» означает не одно и то же. Огромное различие существует прежде всего между использованием этого слова англичанами и французами, с одной стороны, и его употреблением немцами, с другой стороны. В первом случае это понятие выражает гордость по поводу значимости своей нации для прогресса западного мира и всего человечества. По-немецки «цивилизация» обозначает нечто очень полезное, но все же имеющее ценность как бы второго порядка, а имен-

59

но, то, что охватывает лишь внешнюю сторону жизни, затрагивает лишь поверхностные слои человеческого существования. Для самоинтерпретации, для выражения собственной сущности и гордости за свои достижения немцы используют слово «культура».

3

Мы имеем дело со своеобразным феноменом: смысл слов, вроде французского и английского «цивилизация» или немецкого «культура», совершенно ясен для членов этих обществ. Но способ, каким эти понятия описывают часть мира, самоочевидность, с какой они отграничивают и противопоставляют всему иному определенные сферы, оценочные суждения, которые скрыто в них содержатся, — все это делает их труднообъяснимыми для всех, кто не принадлежит к этим обществам.

Французское и английское понятие «цивилизация» может относиться к политическим или хозяйственным, религиозным или техническим, моральным или социальным фактам. Немецкое понятие «культура» употребляется главным образом по отношению к духовным, художественным, религиозным фактам. Более того, имеется сильно выраженная тенденция противопоставлять их политическим, экономическим и социальным фактам, проводить между этими двумя областями четкую разграничительную линию. Французское и английское понятие «цивилизация» может обозначать достижения, но оно точно также относится к манерам, «behaviour» людей, причем не важно, достигли ли последние чего-нибудь своим поведением или нет. В немецком термине «культура» такое отнесение к «behaviour» — к ценностям человека, ничего не совершившего и наделенного просто бытием и поведением, — присутствует лишь в самом ограниченном виде. Специфически немецкий смысл понятия «культура» в самом чистом виде можно установить по его деривату, указывающему на свойства: «kulturell» означает не бытие или ценность человека, но ценность и характер определенных продуктов человеческой деятельности. Само слово «kulturell» вообще невозможно прямо перевести на французский или английский язык.

Слово «kultiviert» по смыслу очень близко западному понятию цивилизации. Оно представляет некую высшую форму «цивилизованности». Как «kultiviert» могут обозначаться и те люди и семьи, которые не совершили ничего, что можно было бы охарактеризовать как «kulturell». Как и «цивилизованность», эта «культурность», выражаемая понятием «kultiviert», относится в первую очередь к форме поведения или к образу действий людей. Оно обозначает социальное качество как людей, так и их жилища, форм обращения, языка, одежды — в отличие от термина «kulturell», относимого не непосредственно к людям, а лишь к их определенным свершениям.

60

Со сказанным выше тесно связано другое различие этих двух понятий. «Цивилизация» обозначает процесс или, по крайней мере, результат процесса. Оно относится к чему-то, находящемуся в постоянном движении, все время идущему «вперед». Немецкое понятие «культура» в его современном употреблении имеет иную направленность: оно указывает на продукты человеческой деятельности, имеющиеся в наличии подобно «цветам в полях»¹, — на произведения искусства, книги, религиозные или философские системы, в которых проявляется самобытность создавшего их народа. Понятие «культура» ограничивает.

Понятие цивилизации в известной степени снимает национальные различия, оно подчеркивает общее для всех людей, либо то, что должно стать таковым по мнению употребляющего это понятие. В нем выражается самосознание народов, национальные границы и национальное своеобразие которых уже на протяжении веков не подвергаются сомнению, поскольку они окончательно утвердились и упрочились, — тех народов, что уже давно вышли за свои границы и колонизовали территории за их пределами.

Немецкое понятие культуры, напротив, подчеркивает национальные различия, своеобразие групп. В силу этой функции оно получило распространение и за рамками немецкого языка, например, в этнологии и антропологии, причем уже вне прямой связи с изначальной ситуацией, обусловившей его значение. Эта изначальная ситуация есть ситуация народа, который, в отличие от западных наций, лишь чрезвычайно поздно пришел к прочному политическому единству, а границы его территории с давних времен и до сегодняшнего дня подвергаются угрозе пересмотра, поскольку там существуют области, всегда стремившиеся и ныне стремящиеся к обособлению. Функцией понятия цивилизации является выражение постоянной тенденции к расширению групп и наций, проводящих колонизацию. В противоположность ему, в понятии культуры отражается самосознание нации, вынужденной всякий раз задаваться вопросом «В чем же заключается наше своеобразие?», вновь и вновь определять и со всех сторон укреплять свои границы и в политическом, и в духовном смысле. Этому историческому процессу и соответствует направленность немецкого понятия культуры, выраженная в нем тенденция к отграничению, подчеркиванию и четкому определению групповых *отличий*. Вопросы «Что является собственно французским? Что является собственно английским?» уже давно почти не вызывают дискуссий в самосознании французов и англичан. Вопрос «Что является собственно немецким?» был и остается актуальным для немцев. Один из ответов на него был дан на определенной фазе развития с помощью понятия «культура».

61

Структуры национального самосознания, представляемого понятиями «культура» или «цивилизация», также оказываются различными. Но при всех его особенностях и немец, с гордостью говорящий о своей «культуре», и француз с англичанином, гордящийся своей «цивилизацией», равным образом считают это самосознание чем-то само собой разумеющимся, относящимся к человеческому миру в целом и придающим ему ценность. Немец может попытаться объяснить французу и англичанину, что он подразумевает под словом «культура». Но он вряд ли сможет передать специфически национальный опыт традиции, те кажущиеся самоочевидными эмоциональные ценности, что составляют для него смысл этого понятия.

Француз и англичанин тоже могут сказать немцу, какое содержание они вкладывают в понятие цивилизации, ставшее частью их национального сознания. Но сколь бы разумным, сколь бы рациональным ни казалось им это понятие, оно также выросло из особого рода исторических ситуаций, его также окружает насыщенная эмоциями и преданиями атмосфера, которая не вмещается в дефиницию, хотя и является составной частью его значения. И эта дискуссия наверняка обречена на провал, если немец захочет показать французам или англичанину, почему он хотя и считает «цивилизацию» ценностью, но все же ценностью второго порядка.

Понятия такого рода чем-то напоминают слова, имеющие хождение в небольшой группе, в семье или в секте, в школьном классе или в каком-нибудь «объединении», — они много значат для находящимся внутри и мало для тех, кто пребывает вовне. Они образуются на основе совместных переживаний. Такие слова развиваются и меняются вместе с группой, опыт которой они выражают. В них отражается ситуация, история группы. А потому они остаются неясными, они никогда не живут полной жизнью для других, для тех, кто не разделяет опыта группы, кто не говорит от имени той же традиции, кто не переживает сходные ситуации.

Конечно, за «культурой» и «цивилизацией» стоят не секты или семьи, но целые народы или — поначалу — определенные слои этих народов. Но во многом эти понятия схожи со специфическими словами малых групп: они говорятся людьми (и обращены к людям), принадлежащими к определенной традиции и находящимися в определенной ситуации.

Математические понятия принципиально отделимы от употребляющего их коллектива. Треугольник можно рассматривать без ссылок на исторические ситуации. С понятиями «культура» и «цивилизация» дело обстоит не так.

62

Могло случиться, что некий индивид создал подобные понятия на основе наличного словесного материала своей группы или наполнил их новым смыслом. Но они получили хождение, они закрепились. Другие люди стали использовать их в этом новом смысле, в этой их форме, стали их передавать, шлифовать устно или

письменно. Один передавал их другому, пока данные понятия не превратились в инструменты, пригодные для выражения общего опыта, того, что требовало взаимопонимания. И вот они входят в моду, становятся частью повседневного языка определенного общества. А это говорит о том, что эти слова соответствовали потребностям не только каких-то одиночек, но и целых коллективов. История последних находит свое выражение и отклик в данных понятиях, и индивид преднаходит в них этот «осадок истории» и получает возможность определенного их употребления. Он в точности не знает, почему с этими словами связаны такие значения и такие разграничения, почему из них можно вывести именно эти нюансы или эти новые возможности. Он пользуется ими, поскольку считает их чем-то само собой разумеющимся и с детства научился смотреть на мир с их помощью. Процесс социального генезиса этих понятий может быть давно позабытым, одно поколение передает их другим, не вспоминая о процессе их изменения. Эти понятия живы, пока в них сохраняется это отражение прошлого опыта, пока ситуации прошлого возобновляются в настоящем, пока неизменна их функция в данном обществе, пока следующие друг за другом поколения с помощью этих слов осмысливают свой собственный опыт; они постепенно отмирают, если с ними не оказываются более связаны ни одна из функций, ни один из опытов постижения текущей общественной жизни. Они, либо какая-то область их значений, могут на время отойти в тень, но затем, в новой общественной ситуации, они могут вновь стать актуальными. Их вспоминают, поскольку в современной ситуации что-то приходит к слову из того осадка, который был в них сохранен.

II. О ходе развития пары противоположаемых понятий «цивилизация» и «культура»²

7

Понятно, что противопоставление «культуры» и «цивилизации» вновь стало актуальным в 1919 г. и в предшествующие ему годы, как потому, что война против Германии велась от имени «цивилизации», так и из-за необходимости приспособиться к новой ситуации, возникшей для самосознания немцев после заключения мирного договора.

63

Но столь же ясно и то, что эта историческая ситуация Германии была лишь новым импульсом для антитезы, которая много раньше, начиная еще с XVIII в., находила свое выражение посредством этих двух понятий.

Кажется, Кант первым с помощью сходных понятий выразил опыт и антитезу, свойственные обществу *его* времени. В 1784 г. в работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он пишет: «Благодаря искусству и науке мы в высшей степени культивировались. Мы чересчур цивилизовались в смысле всякой вежливости и учтивости в общении». И продолжает: «Хотя идея моральности относится к культуре, применение этой идеи, если она сводится лишь к подобию нравственного в честности и любви к внешним приличиям, создает лишь цивилизованность».

Сколь бы близкой современности ни казалась формулировка этой антитезы в момент ее возникновения, исходный пункт, опыт и ситуация в конце XVIII в. были совсем иными, хотя и можно обнаружить социальную связь с опытом, лежащим в основе сегодняшнего употребления данной антитезы.

У Канта ведется речь от имени формирующейся немецкой буржуазии, принадлежащей к среднему сословию интеллигенции³, да еще и во «всемирно-гражданском плане», а потому противопоставление пока еще неопределенно и в лучшем случае лишь во вторую очередь выступает как *национальное* противоречие. На переднем плане стоит опыт *социального* противостояния, разделительная линия проходит внутри общества, хотя она уже несет в себе зародыш национального противоречия между говорящей по-французски и по французским образцам «цивилизовавшейся» придворной аристократии, с одной стороны, и говорящим по-немецки, принадлежащим к среднему классу слоем немецкой интеллигенции — с другой. Этот слой рекрутировался из бюргерства при княжеских дворах, чиновников (в самом широком смысле слова), иной раз включая в себя и элементы мелкого дворянства.

Тут мы видим слой, оттесненный от всякой политической деятельности, едва ли мыслящий в политических категориях и лишь робко начинавший мыслить в категориях национальных. Легитимацией для него являются *достижения* в духовной, научной или художественной деятельности. Ему противостоит тот высший слой, который в этом смысле «ничего не делает», но видит свое отличие, осознает себя и оправдывает отличия, ссылаясь на особого рода *поведение*. Именно этот слой имеет в виду Кант, когда говорит о «чрезмерной цивилизованности «в смысле всякой вежливости и учтивости», о «подобии нравственного в честности». Это — полемика немецкой интеллигенции, принадлежащей к среднему классу, с высшим слоем придворных, лежащая в основе поня-

64

тийного противопоставления культуры и цивилизации в Германии. Но эта полемика старше и шире, нежели ее выражение в указанных двух понятиях.

8

Следы данной полемики можно обнаружить задолго до середины XVIII в., хотя тогда она находилась на периферии мышления и была куда менее слышна, чем во второй половине этого столетия. Статьи в «Универсальном Лексиконе» Целлера (1736)⁴, посвященные двору, придворным и учтивости (они слишком длинные, чтоб приводить их целиком), дают хорошее представление о начале полемики.

«Учтивость (Höflichkeit), — читаем мы в этом издании, — без сомнения получила свое имя от двора, от придворной жизни. Дворы государей являются той сценой, где каждый ищет себе удачи. А ее не добиться иначе, как привлекая к себе благосклонность князей и придворной знати. Поэтому всячески стараются сделаться для них желанными. А сего можно достичь, убедив их в том, что мы при всякой возможности и всеми силами желаем им услужить. Мы же на это не всегда способны, да и не всегда хотим, для чего есть веские причины. Все это заменяется учтивостью. Мы так выказываем себя другим через *внешние* знаки, так их уверяем, что у них появляется надежда, будто мы служим им добровольно. Тем самым мы достигаем доверия других, и они сами жаждут сделать для нас нечто доброе. При наличии учтивости так всегда случается, а потому тот, кто ею наделен, имеет немалые преимущества. Уважение других людей, конечно, следовало бы обретать мастерством и добродетелью. Но много ли тех, кто их верно распознает? И еще не меньше ли тех, кто их сколько-то ценит? Трогает лишь то, что *внешне* попадает на глаза падких до *внешнего* людей, да и то лишь в таких обстоятельствах, когда их вообще что-нибудь трогает. К придворным сказанное в точности подходит».

Здесь просто, без философских толкований и с ясно выраженной соотнесенностью с определенными общественными образованиями высказывается та же антитеза, которая у Канта утонченно и углубленно выступает как противопоставление «культуры» и «цивилизованности»: как обманчивая, внешняя «учтивость» и истинная «добродетель». Но о последней автор говорит только мимоходом и не без вздоха разочарования. Во второй половине века тон постепенно изменится. Самолегитимизация средних слоев посредством добродетели и образования станет более точной и подчеркнутой, тогда как полемика с *внешними*, поверхностными манерами придворного мира приобретет более отчетливые очертания.

65

III. Примеры придворных воззрений в Германии

9

Нелегко говорить о Германии в целом; у каждого из многочисленных государств того времени были свои особенности. Но лишь немногие из них можно признать важными для общего развития, остальные следовали за ними. Имеются и общие для всех черты, в большей или меньше степени встречающиеся повсюду.

Общими являются прежде всего резкое сокращение населения и ужасающее экономическое истощение после Тридцатилетней войны. По сравнению с Францией и Англией вся Германия обнищала, в особенности бедна немецкая буржуазия в XVII и XVIII вв. Торговля, в первую очередь международная, значительно развившаяся в отдельных областях Германии в XVI в., пришла в упадок. Смещение торговых путей как вследствие географических открытий, так и по причине долгой военной смуты, привело к краху больших торговых домов, ранее обладавших значительным капиталом. Осталось только бюргерство мелких городов, отличающееся узким горизонтом мысли и живущее в основном за счет удовлетворения местных потребностей.

В это время на предметы роскоши, вроде литературы и искусства, остается немного денег. Там, где деньги имеются, князья и их свита пытаются подражать двору Людовика XIV (не имея для этого средств) и говорят по-французски. Немецкий — язык низших и средних слоев — тяжеловесен и неуклюж. Лейбниц, единственный придворный философ Германии, единственный великий немец этого времени, имя которого получило признание в придворном обществе, говорит и пишет по-французски или на латыни и лишь изредка переходит на немецкий. Как и многих других, его занимает проблема языка, а именно, вопрос о том, что можно было бы сделать с этим корявым немецким наречием.

Французский язык распространяется, у княжеских дворов его перенимает высший слой буржуазии. На нем говорят все «*honnêtes gens*», все люди, располагающие «*considération*». Французская речь является сословным признаком высших слоев. «Нет ничего более плебейского, чем писание писем по-немецки», — такие слова мы встречаем в 1730 г. в послании невесты Готтшеда, адресованном ее жениху⁵.

Когда кто-то говорит по-немецки, хорошим тоном считается вплетение в речь возможно большего числа французских слов. «Еще несколько лет назад, — говорит в 1740 г. Э. де Мовийон в своих «*Lettres Françaises et Germaniques*», — на четыре немецких слова приходилось два французских. Это считалось *le bel Usage*»⁶. И далее он долго распространяется о варварстве немец-

66

кого. По своей природе этот язык — «*d'être rude et barbare*»⁷. А потому есть саксонцы, полагающие, «*qu'on parle mieux d'Allemand en Saxe, qu'en aucun autre endroit de l'Empire*¹⁾». То же самое говорят о себе австрийцы, баварцы, бранденбуржцы или швейцарцы. Есть пара ученых мужей, которые хотели бы упорядочить правила языка, но, продолжает Мовийон, «*il est difficile, qu'une nation, qui contient dans son sein tant de Peuples indépendans les uns des autres, se soumette aux décisions d'un petit nombre des Savans*²⁾».

Как и в других областях, мы здесь имеем ту же ситуацию: на долю групп небольшого, отстраненного от власти, занимающего промежуточное социальное положение слоя интеллигенции в Германии выпало решение тех задач, с которыми во Франции или в Англии имел дело двор, т.е. высшие слои аристократии. Ученые, разного рода «государевы люди», принадлежащие к среднему сословию, первыми предпринимают попытки созидания — в определенной, чисто духовной сфере — модели того, что можно считать немецким.

По крайней мере, здесь они пытаются утвердить немецкое единство, кажущееся неосуществимым в сфере политической. Сходную функцию имеет и понятие культуры.

Но поначалу цивилизованному на французский манер наблюдателю — Мовийону — большая часть того, что он видит в Германии, кажется чем-то грубым и отсталым, причем не только язык, но и литература: «Мильтон, Буало, Поуп, Расин, Тассо, Мольер, как и все поэты такого уровня, были переведены на большинство европейских языков, а ваши поэты — сами по большей части лишь переводчики».

«Nommez-moi, — продолжает Мовийон⁸, — un Esprit créateur sur votre Parnasse, nommez-moi un Poète Allemand, qui ait tiré de son propre fond un Ouvrage de quelque réputation; je vous en défie³⁾».

10

Можно было бы по этому поводу сказать, что мы имеем дело с неадекватным мнением плохо ориентировавшегося в ситуации француза. Но в 1780 г., т.е. через сорок лет после Мовийона и за девять лет до Французской революции, когда Франция и Англия уже оставили позади решающие фазы своего культурного и национального становления, а языки этих двух западных стран давно приобрели классически прочные формы, Фридрих Великий публикует «De la littérature Allemande»⁹, где он жалуется на слабое, явно недостаточное развитие немецкой литературы. О немецком языке он говорит примерно то же, что и Мовийон, излагая свое мнение о том, чем можно помочь в этом достойном сожаления положении. «Je trouve, — пишет он о немецком языке, — une langue à demi-barbare, qui se divise en autant de dialectes

67

différentes que l'Allemagne contient de Provinces. Chaque cercle se persuade que son Patois est le meilleur⁴⁾». Фридрих Великий рассуждает о низком уровне немецкой литературы, педантизме немецких ученых и слабости немецкой науки. Он указывает и причины такого положения дел — обнищание Германии из-за длительных войн и недостаточное развитие торговли и буржуазии. «Ce n'est donc, — говорит он, — ni à l'esprit, ni au génie de la nation qu'il faut attribuer le peu de progrès que nous avons fait, mais nous ne devons nous en prendre qu'à une suite de conjonctures fâcheuses, à un enchaînement de guerres qui nous ont ruinés et appauvris autant d'hommes que d'argent⁵⁾».

Фридрих пишет о постепенно начинающемся подъеме благосостояния: «Le tiers-état ne languit plus dans un honteux avilissement. Les Pères fournissent à l'Étude de leurs enfants sans obérer. Voilà les prémices établies de l'heureuse révolution que nous attendons⁶⁾». И он пророчествует, что вместе с ростом благосостояния придет также расцвет немецких искусства и науки, а приобретенная немцами цивилизованность позволит им занять равное положение с другими нациями, — в этом и заключается та счастливая революция, о которой он мечтает. Себя он сравнивает с Моисеем, видящим приближение этого счастливого расцвета, но не имеющим возможности его дождаться.

11

Был ли он прав?

Год спустя после публикации этого произведения Фридриха Великого, в 1781 г., выходят в свет «Разбойники» Шиллера и «Критика чистого разума» Канта; в 1787 г. — «Дон Карлос» Шиллера и «Ифигения» Гёте. За ними последовали все хорошо нам известные произведения немецкой литературы и философии. Кажется, все подтверждает предсказания монарха.

Однако этот расцвет подготавливался задолго до его сочинения «De la littérature Allemande». Силу выразительности немецкий язык получил не за два-три года — в 1780 г., когда было издано данное произведение, он уже давно не был тем полуварварским «patois», о котором писал Фридрих. К этому времени уже появился целый ряд произведений, сегодня считающихся весьма значимыми: семью годами ранее был поставлен «Гёц фон Берлихинген» и готов к изданию «Вертер» Гёте; Лессинг (кстати, скончавшийся в 1781 г., всего через год после публикации Фридриха) уже опубликовал большую часть своих драматических и теоретических трудов, в том числе «Лаокоон» (1766) и «Гамбургскую драматургию» (1767). Много раньше были написаны произведения Клопштока — его «Мессия» появился в 1748 г. Помимо всего прочего, не следует забывать и о «Буре и натиске», Гердере и ряде романов, получивших широкую популяр-

68

ность. Примером может служить «Девушка из Штернхельма» Софии де ла Рош. В Германии давно сформировался, пусть пока еще сравнительно небольшой, слой покупателей — бюргерской публики, — который проявлял интерес к подобным произведениям. По Германии уже прошли волны духовного возбуждения, и они нашли свое выражение в статьях, книгах и драмах. Немецкий язык стал богатым и динамичным.

Обо всем этом у Фридриха нет и речи: он не видит или не придает этому значения. Он упоминает единственную работу представителя молодого поколения, великое произведение времен «Бури и натиска» и увлечения Шекспиром — «Гёца фон Берлихингена». Характерен контекст, в котором упоминается эта драма — в связи с обсуждением воспитания и форм развлечения «basses classes», низших слоев народа: «Pour vous convaincre du peu de goût qui jusqu'à nos jours règne en Allemagne, vous n'avez qu'à vous rendre aux Spectacles publics. Vous y verrez représenter les abominables pièces de Schakespear, traduites en notre langue et tout l'Auditoire se pâmer d'aise en entendant ces farces ridicules et dignes des Sauvages du Canada. Je les appelle telles parcequ'elles pêchent contre toutes les règles du Theatre. Ces règles ne sont point d'arbitraires.

Voilà des Crocheteurs et des Fossoyeurs qui paroissent et qui tiennent des propos dignes d'eux; ensuite viennent des Princes et des Reines. Comment ce mélange bizarre de bassesse et de grandeur, de bouffonnerie et de tragique peut-il toucher et plaire?

On peut pardonner à Schakrespear ces écarts bizarres; car la naissance des arts n'est jamais le point de leur maturité. Mais voilà encore un Goetz de Berlichingen qui paroît sur la Scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces angloises, et le Parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces dégoûtantes plattitudes^{7a)}». И далее: «...Après vous avoir parlé des basses Classes, il faut que j'en agisse avec la même franchise à l'égard des universités^{7b)}».

12

Человек, говорящий все это, в свое время сделал для политического и экономического развития Пруссии, а косвенно и для политического развития всей Германии, больше, чем любой из его современников. Но духовная традиция, в которой он вырос и которая находит выражение в его речениях, является общей традицией «хорошего общества» Европы. Это — аристократическая традиция донационального, придворного общества. Он говорит на языке этого общества — по-французски. В угоду вкусам этого общества он не замечает духовную жизнь Германии. Суждения Фридриха определяются моделью, предписанной этим обществом. Так же судили о Шекспире и другие его представители. Например, Вольтер в работе «Discours sur la Tragédie», слу-

69

жившей предисловием к его трагедии «Брут», еще в 1730 г. высказывал похожие мысли: «Je ne prétends pas assurément approuver les irrégularités barbares dont elle (имеется в виду трагедия Шекспира «Юлий Цезарь». — *Н.Э.*) est remplie. Il est seulement étonnant qu'il ne s'en trouve pas davantage dans un ouvrage composé dans un siècle d'ignorance par un homme qui même ne savait pas latin et qui n'eut de maître que son génie⁸⁾».

То, что Фридрих Великий говорит о Шекспире, на самом деле соответствует модели и стандарту того мнения, что было общепринятым в говорящем по-французски высшем обществе Европы. Он не «списывает» у Вольтера, не занимается «плагиатом»; сказанное отвечает его искреннему личному убеждению. Ему не доставляют удовольствия «грубые», нецивилизованные шутки могильщиков и подобного им сброда, да еще перемешанные с высокими, трагическими чувствами принцев и королей. Все это для него лишено ясной и строгой формы, относится к «развлечениям низших классов». В этом смысле и следует понимать высказывания Фридриха: они индивидуальны не более чем его французский язык. Как и этот язык, они являются свидетельствами его принадлежности к определенному обществу. То, что его политика была прусской, а вкусы и традиция — французскими, точнее, придворно-абсолютистскими, не так уж парадоксально, как может показаться с точки зрения господствующих ныне воззрений, предполагающих национальную замкнутость. Это можно объяснить своеобразной структурой придворного общества, где политические позиции и интересы были самыми различными, а сословная позиция, вкус, стиль, язык — одними и теми же по всей Европе.

Своеобразие подобного положения вызывало конфликты еще в юности Фридриха Великого, когда он постепенно стал сознавать, что интересы прусского правителя не всегда можно согласовать с преклонением перед Францией и придворной учтивостью¹⁰. На протяжении всей его жизни существовало определенное противоречие между тем, что он делал как государь, и тем, что он писал как человек и философ.

Соответственно, парадоксальным было и отношение к Фридриху немецкой бюргерской интеллигенции: его военные и политические успехи способствовали усилению ее немецкого самосознания, коего ей долгое время недоставало. Для многих ее представителей он стал национальным героем. Но позиции Фридриха в вопросах языка и вкуса, нашедшие отражение в этом его труде по немецкой литературе (и не в нем одном), были для них неприемлемы. С этими взглядами немецкая интеллигенция — именно как немецкая — должна была вести борьбу.

Аналогичной была ситуация почти во всех больших и во многих малых немецких государствах. Почти повсюду во главе этих государств стояли лица (или круг людей), говорившие по-фран-

70

цузски, — они определяли немецкую политику. По другую сторону находилось буржуазное общество с говорящим по-немецки слоем интеллигенции, который в целом не оказывал никакого влияния на политическое развитие. Из этого слоя вышли все те, благодаря кому Германию стали называть страной поэтов и мыслителей. Именно они дали понятиям «Bildung» и «Kultur» их специфически немецкие черты и направленность.

IV. О среднем классе и придворном дворянстве в Германии

13

Самостоятельной и увлекательной темой исследования является вопрос о том, насколько классическая французская трагедия, противопоставляемая Фридрихом Великим в качестве образца трагедиям Шекспира и «Гёцу», действительно выражает особое духовное состояние и идеалы придворно-абсолютистского общества. Важность следования «хорошим» формам как отличительный признак всякого «society»; обуздание индивидуальных аффектов разумом как жизненная необходимость для любого придворного; обдуманность поз и действий и исключение всякого рода плебейских выражений как специфические

признаки определенной фазы на пути «цивилизации» — все это в чистом виде отражается в классической трагедии. Всем скрываемым сторонам придворной жизни, всем вульгарным чувствам и стремлениям, всему тому, о чем «не говорят», здесь нет места. Людям низших сословий, а тем самым и низким чувствам и помыслам, нечего делать в трагедии. Ее формы строги, прозрачны и упорядочены, наподобие этикета и всей придворной жизни¹¹. Трагедия показывает придворных такими, какими они хотели бы быть, и одновременно такими, какими их хотел бы видеть абсолютный монарх. Кто бы ни испытывал на себе воздействие данной общественной ситуации, будь то англичанин, пруссак или француз, его вкусы направляются одинаковым образом. Драйден, бывший наряду с Поупом известнейшим придворным поэтом Англии, в своем эпилоге к «Завоеванию Гранады» писал о ранней английской драме так же, как Фридрих Великий и Вольтер: «Столь утонченный и образованный век, имеющий своим образцом галантного короля и такой великолепный и одухотворенный двор, вряд ли придет в восхищение от грубых шуток старых английских трагиков».

В этой оценке хорошо видна связь суждения с социальным положением человека, его высказывающего. Фридрих также

71

противится той безвкусице, с которой «grandeur tragique des Princes et des Reines» выставляется на сцену вместе с «basse des crocheteurs et des fossoyeurs». Как было ему понять и оценить те драматические и литературные произведения, где центральным пунктом была именно борьба с сословными различиями? Ведь эти произведения стремились показать, что не только переживания князей, королей и придворной аристократии, но и страдания людей, стоящих на низших ступенях социальной лестницы, наделены величием и трагичностью.

Буржуазные круги постепенно становились более зажиточными и в Германии. Прусский король замечает это и предсказывает пробуждение искусств и наук, «счастливую революцию». Но эта буржуазия говорит иным, чем король, языком. Идеалы и вкусы буржуазной молодежи, образцы ее поведения чуть ли не противоположны тем, которыми восторгается монарх.

«В Страсбурге, на французской границе, — говорит Гёте в "Поэзии и правде" (кн. 9), — мы прямо-таки освободились от французского духа. Мы нашли этот стиль жизни слишком организованным и чересчур аристократичным, поэзию холодной, философию заумной и неудовлетворительной».

С тем же настроением он пишет «Гёца». Как мог понять его Фридрих Великий, государственный муж, представитель просвещенного и рационального абсолютизма, разделяющий аристократически-придворные вкусы? Как мог король оценить драмы и теории Лессинга, если тот прославлял Шекспира именно за то, что порицалось королем? За то, что Шекспир ближе народному вкусу, нежели произведения французских классиков.

«Если перевести шедевры Шекспира... нашим немцам, то я знаю наверняка, что последствия сего будут лучшими, чем в случае с Корнелем и Расином. Прежде всего потому, что народ найдет их отвечающими его вкусу, чего он не мог обнаружить у этих двух поэтов», — Лессинг писал это в 1759 г. в своих «Письмах о новейшей литературе» (ч. I, письмо 17). В соответствии с вновь пробудившимся самосознанием буржуазных слоев он требует создания буржуазных пьес, поскольку величие не является привилегией придворных, и пишет их сам. «Природа, — говорит Лессинг, — не знает этого ненавистного различия, проводимого людьми и между людьми. Она распределяет качества сердец, не отдавая предпочтения знатым и богатым»¹².

Носителем литературного движения второй половины XVIII в. был именно этот социальный слой, идеалы и вкусы коего противостояли социальным и вкусовым позициям Фридриха. Потому-то созданные его представителями произведения ничего ему не говорят, потому-то он либо не замечает тех полных жизни сил, что начали бурлить вокруг него, либо — там, где способен их заметить, — проклинает их, как в случае с «Гёцем».

72

Немецкое литературное движение, к которому принадлежали Клопшток, Гердер, Лессинг, поэты «Бури и натиска» и «Союза рощи», сентименталисты, молодые Гёте и Шиллер и многие другие, — конечно, не было политическим движением. Вплоть до 1789 г. в Германии за крайне редкими исключениями нельзя найти ничего, что напоминало бы идею конкретного политического действия, политической партии или программы. Можно обнаружить, особенно у прусского чиновничества, предложения реформ (и даже попытки их практического осуществления) в духе просвещенного абсолютизма. У философов вроде Канта мы видим развитие общих основоположений, отчасти вступающих в явное противоречие с господствующими отношениями. В творениях молодого поколения поэтов «Союза рощи» мы находим проявления дикой ненависти к князьям, придворным, аристократии, ко всем «офранцузившимся», к безнравственности и холодной рассудочности, царящим при дворах вельмож. У буржуазной молодежи повсеместно можно встретить смутные мечты об обновленной единой Германии и о естественной жизни, где «природа» противопоставляется «неестественности» придворной жизни и где под «природой» понимаются собственные порывы чувств.

Только мысли и чувства — но нет ничего, что могло бы привести к конкретному политическому действию. Раздробленная на мелкие государства абсолютистская надстройка данного общества и не оставляла для этого ни единого шанса. Буржуазные элементы шли к самосознанию, но здание абсолютного государства

стояло прочно. Буржуазные элементы были оттеснены от всякой политической деятельности. Они могли самостоятельно «мыслить и сочинять», но самостоятельно действовать они не имели возможности. В этой ситуации писательство превратилось в важнейшее средство «выпускания пара». Новое самоощущение и смутное недовольство существующим положением находят здесь свое более или менее скрытое выражение. В этой сфере, где аппарат абсолютистских государств оставлял известное свободное пространство, молодое поколение буржуазной интеллигенции стало противопоставлять придворным идеалам свои собственные, совершенно иные идеалы и свои мечты, причем на своем — немецком — языке.

Литературное движение второй половины XVIII в., как мы уже говорили, не носило политического характера, но оно было в подлинном смысле слова социальным движением, выражающим трансформацию общества. Конечно, в нем участвовала далеко не вся буржуазия. Его носителем выступал своего рода авангард буржуазии, а именно, принадлежавшая к среднему сословию интеллигенция. Это были разбросанные по всей стране одиночки, находившиеся в сходном положении, родственные по социальному происхождению, а потому хорошо понимавшие

73

друг друга. Лишь от случая к случаю мы сидим таких людей объединенными в какой-то кружок, чаще каждый из них живет сам по себе, — и все они представляют собой элиту по отношению к народу и слыт людьми второго сорта в глазах придворной аристократии.

В их произведениях вновь и вновь проступает связь между этой социальной ситуацией и идеалами, о коих они говорят. А говорят они о естественной и свободной любви, о мечтах в тишине, о преданности порывам собственного сердца, не сдерживаемым «холодным рассудком». В «Вертере» все это высказано недвусмысленно, и выпавший на долю этого произведения успех показывает, насколько типичны были подобные чувства для целого поколения.

В тексте, помеченном 24 декабря 1771 г., читаем: «А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишащих вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хотя бы на полшага...». И далее, 8 января: «Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете и целыми годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень выше!». Запись, датированная 15 марта 1772 г.: «От досады я скрежещу зубами! ... Я отобедал у графа; встав из-за стола, мы прогуливались взад и вперед по большой зале, я беседовал с ним, потом к нам присоединился полковник Б., и так наступил час съезда гостей. Мне и в голову ничего не приходит». Герой остается у графа, и вот прибывает знать. Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высокородные господа оскорблены присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, — сказал он. — Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием...». «Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в М. посмотреть с холма на закат солнца и почитать из моего любимого Гомера великолепную песнь о том, как Улисс был гостем радушного свинопаса».

Поверхностность, церемониальность, показная любезность, с одной стороны, внутренняя жизнь, глубина чувств, погруженность в книги, формирование собственной личности — с другой. Здесь мы видим то же противопоставление, которое у Канта выступало как антитеза культуры и цивилизации, но связанное с совершенно определенной социальной ситуацией.

И одновременно Гёте в «Вертере» предельно точно показывает те две линии, что очерчивают границы жизненного пространства этого слоя. «Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения, — гласит запись от 24 декабря 1771 г. — Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому; пусть только оно не слу-

жит мне препятствием». Для сознания среднего сословия нет ничего более характерного, чем это выражение: «Двери на лестницу, ведущую вниз, должны оставаться закрытыми». Открыться должен путь вверх. Как и любой слой, находящийся посередине, этот слой оказывается в своего рода ловушке: он не может желать разрушения стен, мешающих ему подняться вверх, из страха, что падут и стены, отделяющие его от народа.

Все это движение было движением людей, идущих наверх: прадед Гёте был кузнецом¹³, дед — ткачом, а затем трактирщиком, обслуживавшим придворных и потому разбогатевшим и усвоившим хорошие манеры. Отец его становится императорским советником, богатым буржуа, живущим на ренту, он получает титул и женится на аристократке (мать Гёте происходит из франкфуртской патрицианской семьи).

Отец Шиллера был хирургом, потом майором, едва сводившим концы с концами; дед, прадед и прапрадед — пекарями. Сходным было социальное происхождение — из ремесленников или средних чиновников — у Шубарта, Бюргера, Винкельмана, Гердера, Канта, Фридриха Августа Вольфа, Фихте и многих других представителей этого движения.

14

Во Франции тоже существовало аналогичное движение. И там в ходе похожих социальных изменений из среднего сословия вышло множество видных людей. К ним принадлежали Вольтер и Дидро. Но во Франции эти таланты без особых трудностей принимались более широким придворным обществом, парижским «society», ассимилируясь в нем. Напротив, в Германии отличившиеся умом и талантом сыновья набравших силу буржуа в большинстве случаев не имели доступа в придворно-аристократические круги. Немногим, вроде Гёте, удалось подняться в это общество. Но даже отвлекаясь от того, что Веймарский двор был

небольшим и относительно бедным, следует признать, что случай Гёте — исключение. В целом же преграды между буржуазной интеллигенцией и аристократическим высшим слоем Германии по сравнению с западными странами оставались очень высокими. В 1740 г. француз Мовийон записал следующие наблюдения о взаимоотношениях представителей различных слоев в Германии: «On remarque chez le Gentilhomme Allemande cet air rogue et fier, qui va jusqu'à l'humeur brusque. Enflés de leurs seize quartiers, qu'ils sont toujours prêts à prouver, ils méprisent tout ce qui n'a pas la même faculté⁹». «Лишь изредка, — продолжает Мовийон, — случаются мезальянсы. Но еще реже мы видим, что они попросту и дружески общаются с буржуа. И если уж они пренебрегают брачными союзами с последними, то нечего и говорить о том, что они ищут общества тех, чьи услуги всегда могут получить»¹⁴.

75

Очень жесткое социальное разделение дворянства и буржуазии (на него указывает бесконечное множество свидетельств) определялось, конечно, стесненными обстоятельствами и относительной бедностью тех и других. Это привело к высшей степени замкнутости дворянства, использовавшего в качестве важного инструмента поддержания привилегированного социального положения проверку родословной всех, входящих в их круг. Тем самым для немецкой буржуазии закрывался главный путь, по которому буржуазия в западных странах поднималась наверх, вступала в браки и принималась в ряды аристократии, — путь денег.

Какими бы ни были причины (зачастую весьма сложные) этого особо жесткого разграничения, оно повлекло за собой ограниченное взаимопроникновение придворно-аристократической модели и «бытийных ценностей», с одной стороны, и буржуазной модели и ценностей личного успеха — с другой. Это оказало решающее, долгосрочное влияние на формирование немецкого национального характера. Именно такое разграничение обусловило то, что основа немецкого языка — язык образованных людей, — почти вся новая духовная традиция, нашедшая отражение в литературе, получили решающий импульс от этого слоя буржуазной интеллигенции и испытали на себе его воздействие. Этот слой был буржуазным в более чистом виде и в более специфическом смысле, чем соответствующий ему слой французской интеллигенции — или даже английской, занимающей в этом отношении промежуточное положение между французской и немецкой интеллигенцией.

Такие черты, как отгораживание и подчеркивание специфики и различий, заметны уже при сравнении немецкого понятия культуры с западным понятием цивилизации. И в этом мы также усматриваем характерный признак немецкого развития.

Франция раньше Германии начала не только внешнюю колониальную экспансию. На протяжении новой истории мы часто наблюдаем аналогичное движение и внутри французского общества. Особенно важными в этой связи являются распространение вширь придворно-аристократических нравов, склонность придворной аристократии ассимилировать — если угодно, колонизировать — элементы их других слоев. Сословная спесь французской аристократии также всегда была ощутимой, и сословные различия имели немалый вес. Но стены, которыми она себя окружала, имели большее число ворот; проникновение и ассимиляция представителей других групп играли здесь значительно большую, чем в Германии, роль.

Вершина экспансии германской империи была пройдена еще в Средние века. С тех пор германский рейх постепенно уменьшался. Еще до Тридцатилетней войны немецкие области оказались зажатыми со всех сторон, а после нее давление на внешние

границы еще больше усилилось. Соответственно, внутри страны между различными социальными группами начинается борьба за уменьшающиеся жизненные блага, за самосохранение. Поэтому становится все более ощутимой тенденция к различению и отгораживанию друг от друга социальных слоев, она заметнее, чем в осуществляющих экспансию западных странах. Формированию единого, центрального «society», которое могло бы выступать в качестве образца, препятствуют как раскол немецких областей на множество суверенных государств, так и сравнительно жесткое отгораживание большей части дворянства от немецкой буржуазии. В других странах такое «society» представляло собой по меньшей мере одну из ступеней на пути к образованию наций и играло в этом процессе весьма значительную роль: именно оно сформировало язык, искусства, определило состояние аффектов и манеры.

V. Литературные примеры отношения буржуазной интеллигенции к придворным

15

Насколько сильно ощущалось это различие, отчетливо показывают книги, написанные выходцами из буржуазных слоев и пользовавшиеся успехом у публики во второй половине XVIII в., т.е. в то время, когда эти слои достигают благосостояния и обретают самосознание. В то же время эти произведения показывают, что различиям в структуре и образе жизни, существующим между буржуазными и придворными кругами, соответствовали также различия в поведении, чувствах, желаниях и морали. По таким книгам мы узнаем, как воспринимались данные различия средним сословием.

Примером может служить известный роман Софии де ла Рош «Девушка из Штернхейма»¹⁵, сделавший эту писательницу одной из самых знаменитых женщин своего времени. Каролина Флаксланд по прочтении

романа писала Гердеру: «Вот мой идеал женщины: сладкая, нежная, благодетельная, гордая, добродетельная и обманутая. Я провела за изысканным чтением чудесное время. Ах, сколь далека я еще от моего идеала и от самой себя»¹⁶.

Своеобразным парадоксом является то, что и Каролина Флаксланд, и многие другие так влюблены в собственные страдания, что к идеальным чертам героини (и самих себя) причисляют наряду с благодетельностью, гордостью и добродетелью также и обманутость. Это более чем характерно для чувств буржуазной

77

интеллигенции, в особенности для женщин этого слоя. В романе придворный аристократ обманывает героиню из среднего сословия. Чувство опасности, страх по отношению к занимающему более высокое положение «соблазнителью», за коего девушка не может выйти замуж в силу социальной дистанции; тайное желание, чтобы это свершилось, стремление войти в замкнутый и опасный круг, вращаться в нем; самоидентификация с обманутой и сочувствие — все это примеры особого рода амбивалентности, проявляющейся в отношении к аристократии представителей буржуазии, причем не только женщин. «Девушка из Штернхейма» в этом смысле есть женский аналог «Вертера». В обоих случаях мы видим коллизии этого слоя, находящие выражение в сентиментальности, чувствительности и родственных им эмоциях.

Проблема романа такова: благородная девушка из буржуазной семьи, с трудом вошедшей в круг мелкого провинциального дворянства, прибывает ко двору. Князь, высокородный родственник с материнской стороны, желает сделать ее своей любовницей. В безвыходном положении она обращается к «злодею» романа, английскому лорду, живущему при этом дворе. Тот выглядит именно так, как буржуа могут представлять себе «соблазнителя-аристократа», «проклятого злодея»; комическое впечатление возникает как раз потому, что ему в уста вкладываются слова, полностью соответствующие тому, за что буржуа упрекают данный человеческий тип. Героиня умирает, сохраняя свою добродетель и свое моральное превосходство, которое компенсирует сословное неравенство.

Вот что чувствует героиня — девушка из Штернхейма, дочь возведенного в дворянство полковника: «Подобно тому, как придворный тон и дух моды угнетают благороднейшие движения ранимого от природы сердца, так и для того, чтобы избежать злословия модных господ и дам, нужно смеяться и соглашаться с ними, а это переполняет меня презрением и жалостью. Жажда увеселений и украшений, восхищение от платьев, мебели, новых и вредоносных блюд — как я тоскую, моя Эмилия, как скверно у меня на душе... Я уж не говорю о ложном тщеславии, плетущем множество низких интриг, о пресмыкательстве перед пороком, с презрением глядящим на добродетель и заслуги, бесчувственно рождающем душевную нищету»¹⁷.

«Я убеждена, дорогая тетя, — говорит она вскоре после появления при дворе, — что придворная жизнь не отвечает моему характеру. Мой вкус, мои стремления целиком иные. И я должна признать, моя милостивая тетя, что я была бы рада уехать — с того самого момента, как я сюда прибыла»¹⁸.

«Дражайшая Софи, — отвечает ей тетка, — ты восхитительная девушка, но старый пастор вбил тебе в голову кучу педантичных идей. Тебе следует от них понемногу избавляться».

78

В другом месте Софи пишет: «Моя любовь к Германии привела к тому, что нынче я была вынуждена вступить в разговор, в коем пыталась отстоять заслуги моего отечества. Я защищала его так пылко, что моя тетя потом сказала мне, что мною было представлено верное свидетельство внучки профессора. Это замечание возмутило меня. Прах отца и деда были оскорблены».

Пастор и профессор — вот два важнейших представителя буржуазной служилой интеллигенции, две социальные фигуры, сыгравшие решающую роль в формировании и распространении обновленного немецкого языка образованных слоев населения. На этом примере мы хорошо видим, как неясное, аполитичное, остающееся в сфере духа национальное чувство этих кругов воспринимается аристократией мелкого двора как типично бюргерское. Обе эти фигуры, пастор и профессор, указывают на ту социальную сферу, где происходило формирование культуры среднего класса и откуда она распространялась на всю страну, — речь идет об университете. Из него все новые поколения учащихся выходили учителями, священниками и чиновниками с определенным образом сформированным миром идей и определенным идеалом. Немецкий университет в известной мере был противоположным двору центром среднего сословия. Вельможный «злодей» этого романа, естественно, выражает представления буржуа о придворных, говоря о самом себе теми словами, какие мог бы бросить ему в укор пастор: «Ты знаешь, что любовь не имела иной власти над моими чувствами, кроме тончайшего и живейшего наслаждения... Я предавался всему прекрасному... пока оно мне не прискучило... Моралисты... попрекают меня за те тонкие сети и силки, в которые я ловлю добродетель и гордость, мудрость или холодность, кокетство или даже набожность всего женского света... Амур посмеялся над моим тщеславием. Из какого-то нищего провинциального угла он вытащил сюда полковничью дочку, чьи фигура, ум и характер столь восхитительны, что...»¹⁹.

Даже через четверть века подобные антитезы, схожие идеалы и проблемы все еще приносили книгам успех. В 1796 г. в издаваемом Шиллером «Nöben» публикуется роман Каролины фон Вольцоген «Agnes von Lilien». Здесь высокородная мать, вынужденная по таинственным причинам воспитывать свое дитя за пределами двора, рассуждает так: «Я чуть ли не благодарна той предусмотрительности, которая принудила меня

держат тебя вдали от тех кругов, что и самой мне не принесли счастья. В кругу высшего света редко случается серьезное и прочное воспитание. Ты стала бы там куклой, прыгающей в танце то туда, то сюда, в согласии с общим мнением»²⁰.

И сама героиня говорит о себе: «Я почти не знакома с условностями и языком светских людей. Для моих простых принципов кажется парадоксальным многое из того, с чем без труда

79

примируется сделавшийся привычно гибким ум. Для меня было так естественно — как то, что ночь следует за днем, — жалеть обманутых и ненавидеть обманщиков, предпочитать добродетель чести, а честь — собственной выгоде. Все эти понятия кажутся мне перепутанными в суждениях этого общества»²¹.

Вот как изображается ею цивилизованный на французский манер князь: «Князю было где-то между шестьдесятю и семьдесятю годами, и он сам изнурял себя и докучал другим тем старым французским этикетом, какой сыновья немецких князей усвоили при дворе французского короля и пересадили, пусть в неполном виде, на немецкую почву. Возраст и привычка научили князя считать чуть ли не данным от природы тяжкое бремя церемоний. По отношению к женщинам он являл учтивость рыцарских времен, был внешне любезен, но ему ни на мгновение нельзя было выходить за пределы этих манер, иначе он делался совершенно несносным. Его дети... считали отца сущим деспотом. Карикатурность придворных казалась мне то смехотворной, то жалкой. Благоговение, исходившее из их сердец и разливавшееся по всем членам при появлении князя, милостивый или гневный взгляд его, ударявший их подобно электрическому разряду... Мгновенная перемена мнения в согласии с последним движением княжеских губ — все это казалось мне непостижимым. Я видела перед собою какой-то кукольный театр»²².

Учтивость, гибкость, утонченность манер по одну сторону; жесткое воспитание, предпочитающее добродетель чести, — по другую. Немецкая литература второй половины XVIII в. полна таких противопоставлений. Еще 23 октября 1828 г. Эккерман говорит Гёте о великом герцоге: «Такая разносторонняя образованность, по-видимому, редко присуща августейшим особам». «Крайне редко! — согласился Гёте.— Многие из них, правда, умеют искусно поддерживать беседу о чем угодно; но это не изнутри, они лишь скользят по поверхности, что, впрочем, не удивительно, если принять во внимание, какая ужасная рассредоточенность и суэта свойственна придворной жизни...».

Иногда Гёте прямо использовал в этой связи понятие культуры: «Люди, которыми я был окружен, не имели никакого представления о науке. Это были немецкие придворные, а эти классы в ту пору не располагали и малейшей культурой»²³.

Книжке однажды очень образно сказал: «Где еще так же, как в Германии, корпус придворных составляет один биологический вид?».

16

Во всех этих высказываниях отражается определенная общественная ситуация, идентичная той, что стоит за кантовским противопоставлением культурности и цивилизованности. Но

80

даже независимо от этих понятий данная фаза развития и рожденный ею опыт наложили глубокий отпечаток на немецкую традицию. В понятии культуры, в противопоставлении глубины и поверхностности, во многих сходных понятиях выражалось прежде всего самосознание буржуазной интеллигенции. Речь идет о сравнительно тонком слое, рассеянном по всей Германии, а потому в значительной мере индивидуализированном. Он, в отличие от придворного общества, ничем не напоминал замкнутый круг, некоего рода «society». Он преимущественно состоял из служащих, государственных чиновников в самом широком смысле слова: они прямо или косвенно получали плату от двора, тогда как сами не принадлежали — за крайне редкими исключениями — к придворному «хорошему обществу», к высшей аристократии. Этот слой интеллигенции был лишен и широкой опоры в буржуазии. Занятая коммерцией буржуазия, которая могла бы служить публикой для пишущей интеллигенции, была еще сравнительно слабо развита в большинстве государств Германии XVIII в. В это время только начинается ее восхождение к благосостоянию. Пишущая немецкая интеллигенция как бы парит в воздухе. Дух, книга — вот ее убежище, успехи в науке и искусстве составляют ее гордость. Для политической деятельности или политических целей у нее нет никакого пространства. Проблемы купцов, хозяйственные вопросы она не считает важными, и это соответствует порядку и ее жизни, и жизни того общества, в котором она существует. Торговля, обмен, промышленность развиты еще слабо, они скорее нуждаются в защите и покровительстве князей, в их политике меркантилизма, нежели стремятся избавиться от налагаемых такой политикой ограничений. Истоки легитимации буржуазной интеллигенции XVIII в., основания ее самосознания и гордости находятся вне экономики и политики. Они заключаются в том, что именно в Германии получило имя «чистого духа», — в книгах, в науке, религии, искусстве, философии, в обогащении внутреннего мира, в «воспитании» индивида, причем воспитании преимущественно книжном. В соответствии с этим ключевыми понятиями самосознания немецкой интеллигенции становятся слова «Bildung» или «Kultur». В них, в отличие от буржуазии Франции и Англии, уже видна сильная тенденция к проведению четкой разграничительной линии между достижениями в этих областях (т.е. чем-то чисто духовным и потому обладающим истинной ценностью) и тем, что относится к политическому, хозяйственному, социальному миру. Своеобразная судьба немецкой буржуазии, ее долгое политическое бессилие, позднее достижение национального единства

— все это постоянно давало новые импульсы для движения в том же направлении, что укрепляло соответствующую ориентацию понятий и идеалов. Но поначалу эта форма была пущена в оборот слою немецкой интеллигенции, которая хотя

81

и не обладала широкой социальной базой, но, будучи первой буржуазной формацией в Германии с явно выраженным буржуазным самосознанием, выдвинула специфические для третьего сословия идеалы и создала арсенал понятий, направленных против идеалов придворного мира.

Характерным для данной ситуации является и то, против чего выступала интеллигенция, что она рассматривала в качестве ценностей, противостоящих образованию и культуре, что усматривала в облике аристократии. Лишь изредка, намеками и по большей части в пессимистичных тонах велась атака на политические или социальные привилегии придворной аристократии. Преимущественно критика была направлена против поведения представителей высших слоев.

Замечательное описание различий между немецкой и французской интеллигенцией содержится в разговорах Гёте с Эккерманом. Поводом послужил приезд Ампера в Веймар. Гёте не был с ним лично знаком, но уже несколько раз хвалил его Эккерману. Ко всеобщему изумлению оказалось, что знаменитый господин Ампер является «жизнерадостным молодым человеком лет двадцати с небольшим». Эккерман был удивлен, а Гёте сказал по этому поводу следующее (четверг, 3 мая 1827 г.): «Вам на вашей равнине такое давалось нелегко, да и нам, жителям средней Германии, приходится дорогой ценой приобретать даже малую толику мудрости. Ибо, по существу, все мы ведем обособленную, убогую жизнь! Собственный наш народ не очень-то щедро одаряет нас культурой, вдобавок наши умные и талантливые люди рассеяны по всей стране. Один засел в Вене, другой — в Берлине, один живет в Кёнигсберге, другой — в Бонне или Дюссельдорфе. Пятьдесят, а то и сто миль разделяют их, так что личное общение, устный обмен мнениями становятся возможными лишь в редчайших случаях. А сколь много это значит, я убеждаюсь всякий раз, когда такие люди, как Александр Гумбольдт, например, бывают проездом в Веймаре, и я за один день приобретаю множество необходимых мне знаний и за эти часы продвигаюсь дальше по своему пути, чем за годы одиночества.

А теперь представьте себе Париж, город, где лучшие люди великой страны в ежедневном общении, в постоянной борьбе и соревновании поучают друг друга, действительно способствуют взаимному развитию, где все лучшее, что есть на земле, как в царстве природы, так и в искусстве, постоянно открыто для обозрения. Представьте себе эту "столицу мира", где любой мост, любая площадь служат воспоминанием о великом прошлом, где на любом углу разыгрывались события мировой истории. При этом вам должен представляться Париж не глухих и седых времен, но Париж девятнадцатого столетия, в котором уже трем поколениям благодаря Мольеру, Дидро, Вольтеру и им подобным даровано такое духовное богатство, какого на всей земле не сыщешь

82

сосредоточенным в одном месте, — и вы поймете, почему умный Ампер, выросший среди этого богатства, на двадцать четвертом году жизни уже стал тем, кто он есть».

Далее Гёте, рассуждая о Мериме, замечает: «...в Германии нельзя надеяться, что юноша таких лет... сможет создать нечто не менее зрелое... И виноват тут... культурный уровень нации и те огромные трудности, с которыми все мы сталкиваемся, пробираясь своим одиноким путем».

Эти высказывания дают нам достаточный материал для предварительного рассмотрения проблемы. По ним отчетливо видно то, что с политической раздробленностью Германии были тесно связаны и специфическая структурированность слоя немецкой интеллигенции, и особое строение ее чисто человеческого поведения, и особенности ее духовности. Во Франции интеллигенция собрана в одном месте; она вращается в одном более или менее широком «хорошем» обществе. В Германии с ее многочисленными сравнительно мелкими столицами нет центрального и единого «хорошего» общества, и интеллигенция рассеяна по всей стране. Там беседа веками является важнейшим средством коммуникации и уже возвысилась до искусства; здесь средством общения является книга, и немецкая интеллигенция занята развитием не столько единого разговорного, сколько единого письменного языка. Там еще юношей человек живет в богатой и пробуждающей духовность среде; здесь молодой человек, принадлежащий к среднему классу, должен трудиться над собой в одиночестве. Различны и механизмы подъема по социальной лестнице. Наконец, высказывание Гёте ясно показывает, что означает существование слоя интеллигенции, выходцев из среднего класса, без социального фундамента. Выше приводилось другое его суждение — о том, что у придворных недостает культуры. Здесь то же самое говорится о народе. Культура и образование представляют собой пароль и характеристику узкого срединного слоя, выходящего из народа и над ним возвышающегося. Не только у небольшой верхушки придворных, но и в широчайших слоях внизу стремления этой элиты находят весьма слабый отклик.

Но именно это относительно слабое развитие широких слоев буржуазии было одной из причин того, что борьба авангарда среднего класса — буржуазной интеллигенции — против придворного высшего слоя практически полностью шла за пределами политической сферы. Атака велась в основном на поведение его представителей, на такие его общечеловеческие характеристики, как «поверхностность», «внешняя любезность», «неискренность» и т.п. Несколько цитат, приведенных нами выше, отчетливо указывают на эту взаимосвязь. Но такая атака лишь изредка и почти неявно имеет своей целью некие понятия, противостоящие «культуре» и «образованию», т.е. тому, что служило легити-

мацией данному слою немецкой интеллигенции. Одним из немногих таких понятий, которые удается обнаружить, является «цивилизованность», понимаемая в кантовском смысле.

VI. Падение значимости социального противостояния и выход на первый план национальных противоположностей в истории взаимоотношений понятий «культура» и «цивилизация»

17

В каких бы понятиях ни выражалась эта антитеза, ясно одно: противопоставление друг другу человеческих черт, впоследствии принявшее облик преимущественно национального противостояния, поначалу выражало социальное противоречие. Для образования таких пар противоположностей, как «глубина» и «поверхность», «искренность» и «лицемерие», «внешняя любезность» и «истинная добродетель», решающим оказался тот же опыт, следствием которого в дальнейшем стало противопоставление цивилизации и культуры. Этот опыт связан с определенной фазой немецкой истории, с драматичным противостоянием представляющей средний класс интеллигенции, с одной стороны, и придворной аристократии — с другой. При этом никогда полностью не забывалось, что «придворное» и «французское» родственны друг другу. Г.К.Г. Лихтенберг как-то удивительно точно выразил это в одном из своих афоризмов (тетрадь III, 1775—1779), когда рассуждал о языковых нюансах. Говоря об оттенках слова «обещание», отличающих французское «promesse» от немецкого «Versprechung», он писал: «Второго держатся, а первого нет. О пользе французских слов в немецком языке. Я дивлюсь тому, что на это никто не обращал внимания. Французское слово передает немецкую идею с добавлением некой ветрености или в придворном ее значении... "Erfindung" означает открытие чего-то нового. À "découverte" — то, что чему-то старому дали новое имя. Колумб Америку открыл, а Америго Веспуччи — "decouvert". Да, что касается слова "вкус", то "goût" и "Geschmack" чуть ли не противоположны по смыслу, поскольку люди с "goût" почти никогда не обладают вкусом»²⁴.

Только после Французской революции термин «цивилизация» и родственные ему понятия начинают однозначно относить не к немецкой придворной аристократии, а к Франции и западным державам вообще.

84

Приведу один из многочисленных примеров: в 1797 г. вышла книга французского эмигранта Менюре «*Essay sur la ville d'Hambourg*», в которой тот делился своими впечатлениями от Гамбурга. Один из гамбургцев, каноник Майер, так прокомментировал эту книгу в своем «Очерке»: «Hambourg est encore en arrière. Il a fait depuis une époque très fameuse (достаточно знаменитой, ведь и у нас сел целый рой эмигрантов), des progrès (да неужто?) pour les augmenter, pour compléter, je ne dis pas son bonheur (тут он говорит о своем божестве), mais sa civilisation, son avancement dans la carrière des sciences, des arts (да откуда нам на нашем Севере) dans celle du luxe, des aisances, des frivolités (вот в чем дело-то!); il faut encore quelques années, ou des événements qui lui amènent des nouveaux essaims d'étrangers (только обойдемся без толпы его цивилизованных соотечественников) et un accroissement d'opulence¹⁰».

Здесь понятия «цивилизованный» и «цивилизация» уже однозначно связываются с образом французов.

Вместе с медленным подъемом немецкой буржуазии, превращением ее из второстепенного социального слоя в носителя немецкого национального сознания и, наконец, в господствующий класс (очень поздно и не без ограничений) меняется и антитеза «культура и цивилизация» вместе со всем ее смысловым содержанием. Из слоя, набирающего силу в борьбе с придворно-аристократическим слоем, буржуазия стала тем классом, самопонимание и легитимация которого осуществляется посредством разграничения с другими нациями. Тем самым изменились смысл и функция указанной антитезы: из преимущественно социальной она стала преимущественно национальной.

Одновременно происходило становление того, что стало считаться специфически немецким. Многие качества, первоначально отличавшие социальный характер среднего класса, формируясь в соответствующей социальной ситуации, превратились в особенности национального характера. Например, искренность и открытость предстали как черты немецкого характера, противоположные учтивости, всегда что-то скрывающей. Но ведь поначалу искренность была свойственна представителям среднего класса, отличая их поведение от манер светского человека или придворного. Однажды это стало темой разговора Гёте с Эккерманом.

«Помимо всего прочего, — говорил Эккерман, — я обычно являюсь в общество со своими симпатиями и антипатиями, с потребностью любить и желанием, чтобы меня любили. Я невольно ищу человека, соответствующего моей натуре, и такому я готов предаться целиком, забыв обо всех остальных».

«Скажем прямо, — заметил Гёте, — эти черты говорят о малообщительном характере; но что значили бы воспитанность и просвещение, если бы мы не старались побороть свои врожденные

85

склонности. Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали, — непросительная глупость. Я ее никогда не совершал. На человека я всегда смотрел как на самоуправное существо, которое я хотел узнать, изучить во всем его своеобразии, отнюдь при этом не рассчитывая на то, что он проникнется ко мне симпатией. Я научился общаться с любым человеком; только таким образом и можно приобрести знание многообразных людских характеров и к тому же известную жизненную сноровку. Как раз противоположные нам натуры

заставляют нас собраться для общения с ними, а это затрагивает в нас самые разные стороны, развивает и совершенствует их, так что в результате мы с любым человеком находим точки соприкосновения. Советую и вам поступать так же. У вас для этого больше задатков, чем вы полагаете, но этого еще недостаточно, — вам необходимо выйти на более широкую дорогу, сколько бы вы этому ни противились».

В общем и целом социогенез и психогенез способов человеческого поведения нам по-прежнему неизвестны. Даже сам вопрос о них может показаться странным. Но все же мы замечаем, что люди, принадлежащие к различным социальным группам, ведут себя по-разному. Мы к этому привыкли и говорим об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Мы говорим о крестьянах и придворных, об англичанах и немцах, о людях Средневековья и людях двадцатого столетия. Этим подразумевается, что принадлежащие к таким социальным группам люди в чем-то едины, несмотря на все существующие между ними индивидуальные различия. Они, в сравнении с индивидами из других групп, имеют нечто общее, отличающее их от этих групп. Крестьянин в каком-то отношении ведет себя иначе, чем придворный, англичанин или француз отличаются от немца, человек Средневековья — от человека XX в., хотя все они являются людьми, наделенными множеством общих черт.

Различия в способе поведения, рассмотренные в этом смысле, обозначены в приведенном выше разговоре Эккермана с Гёте. Последний был, конечно, человеком, наделенным в высшей степени развитой индивидуальностью. В нем сплелись черты, характерные для поведенческих образцов различного социального происхождения, и вместе с его социальной судьбой они обрели черты специфического единства. Он сам, его мнения, его поступки никогда не были типичными для какой-либо из общественных групп или ситуаций, в которых он оказывался на своем жизненном пути. Но здесь он говорит как светский человек, как придворный, обладающий опытом, коего был явно лишен Эккерман. Он видит необходимость в сдерживании своих чувств, в подавлении симпатий и антипатий, во вращении в «monde», несущем с собой более широкий мир. Люди, находящиеся в иной социальной ситуации, а потому наделенные иными аффектами, часто считают все это фальшивым и обвиняют

86

такое поведение в неискренности. Будучи по-своему аутсайдером во всех социальных группах, Гёте сознательно ищет общечеловеческое в сдерживании индивидуальных аффектов, подчеркивая его необходимость для всех людей. Его замечания принадлежат к немногочисленным немецким высказываниям того времени, где получает положительную оценку социальный смысл «придворной учтивости», где в социальной изворотливости видится нечто позитивное. Во Франции, равно как и в Англии, где «большой свет», «society», играл более заметную роль в общем развитии нации, большим было и значение тех особенностей поведения, о каких говорил Гёте. А похожие размышления о том, что людям необходимо считаться друг с другом и принимать во внимание особенности тех, с кем они общаются, и что индивид не всегда должен показывать свои аффекты, очень часто встречаются во французской придворной литературе именно в указанном Гёте специфическом социальном смысле. Эти мысли были плодом собственных размышлений Гёте, его достоянием. Но схожая общественная ситуация, жизнь в «monde», повсюду в Европе породила аналогичные предписания и способы поведения.

То же самое можно сказать по поводу способа поведения, описываемого Эккерманом. Если такие черты, как внешняя любезность и невозмутимость, проявляемые даже при наличии противоположных им чувств, получают развитие в рамках придворно-аристократического мира, то истоки описанного Эккерманом поведения явно усматриваются в мещанско-буржуазной сфере того времени. Конечно, эти истоки, заложенные в данной сфере, можно обнаружить отнюдь не только в Германии. Но именно здесь подобные и родственные им установки бюргерского толка получили особо четкое выражение в литературе, созданной интеллигенцией. А в силу глубокой пропасти между придворными и буржуазными кругами эти установки в дальнейшем в сравнительно чистой форме перешли в национальный характер немцев.

Общественные единства, называемые нациями, в немалой мере различаются в зависимости от «экономики» аффектов, т.е. от тех схем, которые моделируют аффективную жизнь индивида под давлением как институционализированной традиции, так и актуальной ситуации. Для описываемого Эккерманом поведения типична особая форма моделирования аффектов, когда индивид свободно следует своим склонностям. Гёте находит ее малоприспособленной для общения и противопоставляет ей необходимую для жизни в «большом мире» схему обуздания аффектов.

Несколько десятилетий спустя Ницше уже считает эккермановскую модель типичной для поведения всех немцев. Конечно, по ходу истории она претерпела определенные изменения и теперь уже имеет совсем не тот общественный смысл, как во вре-

87

мена Эккермана. Ницше ее высмеивает: «Немец, — пишет он в работе "По ту сторону добра и зла" (фрагмент 244), — любит "откровенность" и "прямоту": как удобно быть откровенным и прямотушным! — Эта доверчивость, эта предупредительность, эта игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой... Немец живет на авось, к тому же смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами — и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом!». Если отвлечься от односторонности подобных оценок, то мы найдем в них указания на то, что длительный подъем буржуазных слоев завершился постепенным превращением их специфического социального характера в характер национальный.

То же самое мы замечаем в высказываниях Фонтане об Англии («Лето в Лондоне», Дессау, 1852): «Англия и Германия соотносятся как форма и содержание, как видимость и бытие. В противоположность вещам, которые редко где так солидны, как в Англии, среди людей здесь господствует форма внешней упаковки. Тебе нет нужды быть джентльменом, потребны лишь средства, чтобы таковым казаться, — и ты уже джентльмен. И правота тебе не нужна: ловко пользуйся формами права, и ты уже прав... Видимость тут повсеместна. Нигде люди так слепо не предаются одному лишь лоску и блеску имен.

Немец живет, чтобы жить, англичанин живет, чтобы представлять. Немец живет для себя, англичанин — ради других».

Наверное, следует обратить внимание на то, что эти мысли в точности совпадают с антитезой, установленной Эккерманом и Гёте. «Я обычно являюсь в общество со своими симпатиями и антипатиями», — говорит Эккерман. «Что значили бы воспитанность и просвещение, если бы мы не старались побороть свои врожденные склонности», — отвечает Гёте, подчеркивая необходимость гармоничного общения с другими.

«Англичанин, — пишет Фонтане, — наделен тысячами удобств, но у него нет покоя. На место покоя пришло тщеславие. Он всегда готов отправиться на прием... он трижды за день меняет свой костюм; за столом — в sitting- или в drawingroom — он соблюдает предписанные правила приличия; тут он человек хорошего тона, внешне импозантный, вроде учителя, к которому мы идем в школу. Но при всем нашем изумлении по его поводу к этому примешивается тоска по нашей мелкобуржуазной Германии, где не представляют, зато умеют жить в замечательном душевном покое».

Понятие «цивилизация» тут не упоминается, нет и отсылок к немецкой культуре. Но, как и во всех предшествующих высказываниях, мы обнаруживаем, что немецкое противопоставление «цивилизации» и «культуры» не самодостаточно, но обусловлено широкой сетью взаимосвязей. Эта антитеза стала выражени-

88

ем немецкого самосознания. Она указывает на различия в самолегитимации, во всех поведенческих формах, которые преимущественно (если не исключительно) обязаны своей спецификой особенностям отношений, сложившихся сначала между определенными слоями в самой Германии, а затем и между немецкой нацией и другими нациями.

Примечания

¹ «У каждой культуры есть свои собственные возможности выражения: возникающие, зреющие, вянущие и никогда вновь не повторяющиеся... Культуры эти, живые существа высшего порядка, вырастают в своей возвышенной бесцельности, подобно цветам в поле. Подобно полевым цветам они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона» (*Spengler O. Untergang des Abendlandes. München, 1920. I, 28.*).

² *Заметки об изменении значений слов «цивилизация» и «культура» в немецком языке.*

Вопрос о ходе развития понятий «цивилизация» и «культура» требует значительно более подробного рассмотрения. Здесь это не представляется возможным, поскольку мы ставим проблему лишь в общем виде. Но ряд замечаний все же следует добавить к тому, что сказано в тексте. Можно указать на то, что в XIX в., в особенности после 1870 г., когда Германия укрепила свои позиции в Европе и одновременно стала превращаться в колониальную державу, противопоставление этих двух слов становится менее заметным, а понятие «культура» получает значение просто определенной сферы или высшей формы цивилизации, подобно тому, как это происходило в Англии, а отчасти и во Франции. Например, так оно употребляется Фридрихом Йодлем, который пишет об «общей истории культуры» как об «истории цивилизации» (см.: *Jodl F. Die Kulturgeschichte. Halle, 1878. S. 3, 25.*).

Г.Ф. Кольб в своей «Истории человечества и культуры» включает в понятие культуры ту самую идею прогресса, которая сегодня из него успешно изгоняется (*Kolb CF. Geschichte der Menschheit und der Cultur. 1843; позднее издание было осуществлено под названием «Cultur-Geschichte der Menschheit»*). Говоря о «культуре», он прямо ссылается на «цивилизацию» Бокля. Но его идеал, как пишет Йодль, заимствует «свои существенные черты из современных воззрений и требований, касающихся политических, социальных и церковно-религиозных свобод, а потому легко может выступить в форме политической партийной программы» (*Jodl F. Op. cit. S. 36.*). Иными словами, Кольб является «человеком прогресса», либералом эпохи, окончившейся в 1848 г.; в этой ситуации и понятие культуры сближается с западным понятием «цивилизация».

Так или иначе, но еще в издании лексикона Майера 1897 г. говорится: «Цивилизация есть ступень, через которую должен пройти варварский народ, чтобы достичь высшей культуры в промышленности, искусстве, науке и морали».

Но при всех кажущихся признаках сближения немецкого понятия «культура» с французским или английским пониманием «цивилизация»-

89

ции», чувство того, что «цивилизация» является по отношению к «культуре» ценностью второго ранга, в Германии никогда полностью не исчезало. «Культура» служила средством самоутверждения Германии и выражением ее противостояния западным странам, выступавшим под флагом «цивилизации». Резкость противопоставления понятий зависела от степени этого противостояния. История немецкой пары понятий «культура» и «цивилизация» теснейшим образом связана с историей взаимоотношений Англии, Франции и Германии — за ней стоят конституирующие ее политические обстоятельства, которые прошли через несколько этапов развития. Они проступают и в духовно-душевном *habitus'e* немцев, и в понятиях, выражавших их самосознание.

См. также работу Конрада Германна «Философия истории» (1870), где Франция обозначается как страна «цивилизации», Англия — как страна «материальной культуры», а Германия — как страна «идеального

образования». Широко используемый в Англии и во Франции термин «материальная культура» практически исчезает из немецкого разговорного языка (хотя сохраняется в специальной научной лексике). Понятие «культура» сливается с тем, что здесь обозначается как «ideale Bildung». Идеалы «Kultur» и «Bildung» выступают с тех пор как близнецы, с тем лишь отличием, что в понятии культуры более сильно представлена функция обозначения объективаций человеческой деятельности и ее достижений.

³ По проблеме интеллигенции см. прежде всего: *Mannheim K.* *Ideologie und Utopie*. Bonn, 1924. S. 121 — 134. Еще подробнее эта проблема представлена в английском издании *{Mannheim K. Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge. International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method. London, 1936.}* См. также: *Mannheim K.* *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbruch*. Leiden, 1935; *Weil H.* *Die Entstehung des Deutschen Bildungsprinzips*. Bonn, 1930 (Kap.V «Die Gebildeten als Elite»).

⁴ *Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste / Verlegt bei Joh. N. Zedler. Leipzig-Halle, 1736.* Все выделения в цитате принадлежат автору. См. также статью «Придворный», где сказано: «Придворный — тот, кто занимает видное место на службе при княжеском дворе. Придворная жизнь во все времена была отчасти чем-то опасным из-за непостоянства благосклонности властителя, множества завистников, тайных клеветников и явных врагов; отчасти же она описывается как нечто порочное и порицается за безделье, сладострастие и роскошь.

Во все времена существовали придворные, коим удавалось хитростью избежать камней преткновения, а бдительностью — побуждений ко злу. Поэтому у нас есть достойные образцы счастливых и добродетельных придворных. Но все же не зря говорится: *близко ко двору — близко к преисподней*».

См. также статью «Двор»: «Если бы все подданные почитали князей по *внутреннему* предпочтению, то не было бы нужды во *внешней* пышности; но по большей части подчиненные привлекаются *внешним*. Князь остается тем же, идет ли он один или со всей свитой, но хватает примеров того, что, пока князь ходит среди своих подданных в одиночку, ему воздается мало чести или вообще никакой, ибо встречают его совсем иначе, когда он выступает в соответствии со своим положе-

90

нием. Поэтому-то и необходимо князю иметь не только управляющих страной служителей, но также тех, кто состоит у него на *внешней* службе и лично ему угождает».

Похожие мысли высказывались уже с XVII в., например, в «Речи о придворной учтивости» (1665). См. по этому поводу: *Cohn E.* *Gesellschaftsideale und Gesellschaftsroman der 17. Jahrhundert*. Berlin, 1921, S. 12. Немецкое противопоставление «внешней учтивости» и «внутреннего предпочтения» столь же старо, как немецкий абсолютизм и социальное бессилие немецкой буржуазии перед придворными кругами того времени. Не в последнюю очередь эту слабость нужно рассматривать по контрасту со значительной силой немецкой буржуазии в предшествующий период.

⁵ Цит. по: *Aronson.* *Lessing et les classiques français*. Montpellier, 1935. P. 18.

⁶ *Mauvillon E. de.* *Lettres Françaises et Germaniques*. Londres, 1740. P. 430.

⁷ *Mauvillon E. de.* *Op. cit.* P. 427.

⁸ *Mauvillon E. de.* *Op. cit.* P. 461-462.

⁹ Более позднее издание см. в: *Deutschen Literaturdenkmalen*. XVI. Heilbronn, 1883.

¹⁰ См.: *Berney A.* *Friedrich der Große*. Tübingen, 1934. S. 71.

¹¹ «Невозможно отрицать, что французская драма во всем своем своеобразии есть придворная драма, драма этикета. Привилегия быть трагическим героем теснейшим образом связана с придворным этикетом» (*Hettner. Geschichte der Literatur im 18. Jahrhundert*. I, 10).

¹² *Lessing G.E.* *Briefe aus dem zweiten Teil der Schriften*. Göschen, 1753. Цит. по: *Aronson.* *Lessing et les classiques français*. Montpellier, 1935. P. 161.

¹³ Здесь и далее данные взяты из: *Lamprecht.* *Deutsche Geschichte*. Freiburg, 1906. VIII, 1. S. 195.

¹⁴ *Mauvillon E. de.* *Op. cit.* P. 398f.

¹⁵ *Geschichte des Fräulein von Sternheim von Sophie de la Roche (1771) / Hrsg. von Kuno Ridderhof*. Berlin, 1907.

¹⁶ *Aus Herders Nachlaß*. Bd. III. S. 67-68.

¹⁷ *Geschichte des Fräulein von Sternheim von Sophie de la Roche*. S. 99.

¹⁸ *Ibid.* S. 25.

¹⁹ *Ibid.* S. 90.

²⁰ Роман вышел в 1796 г. в «Hören» Шиллера, в 1798 г. — отдельной книгой. Отрывок из него публиковался впоследствии в «Deutsche Nationalliteratur». Цитата приводится по этому последнему изданию: *Wolzogen C. von.* *Agnes von Lilien // Deutsche Nationalliteratur*. Berlin-Stuttgart. Bd. 137/II. S. 375.

²¹ *Wolzogen C. von.* *Op. cit.* S.363.

²² *Ibid.* S. 364.

²³ *Grimms Wörterbuch*. Artikel «Hofleute».

²⁴ *Ibid.*

Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции

I. О социогенезе французского понятия «цивилизация»

1

Причины того, в Германии противопоставление истинной образованности и культуры, с одной стороны, и чисто внешней цивилизованности — с другой, из отображения внутреннего общественного противостояния

превратилось в выражение противостояния межнационального, были бы непонятны, если бы не тот путь развития, который прошла французская буржуазия и который в определенном смысле был прямо противоположен немецкому.

Во Франции буржуазная интеллигенция и высшие группы среднего класса сравнительно рано входят в круг придворного общества. Конечно, и во французской традиции имелось старое орудие, использовавшееся для отграничения немецкого дворянства от остальных слоев, — проверка родословной (впоследствии это орудие, будучи буржуазно переработанным, получило новую жизнь в немецком расовом законодательстве). Но оно уже не играло решающей роли в качестве барьера между слоями — особенно после установления и укрепления абсолютной монархии. Если в Германии с ее строгим разделением сословий проникновение аристократических по происхождению ценностей в буржуазные круги наблюдается лишь в немногих сферах, скажем в военной, то во Франции этот процесс имел совсем иной размах. Уже в XVIII в. здесь не было существенных различий нравов у верхушки буржуазии и у придворной аристократии. Когда же в середине XVIII в. начался подъем буржуазии или, иными словами, расширение придворного общества путем все большего включения в него верхов буржуазии, то изменение поведения и нравов повлекло за собой разрыва с придворно-аристократической традицией XVII в. Придворная буржуазия и придворная аристократия говорили на одном и том же языке, читали те же самые книги, имели — при отличиях в нюансах — те же манеры. Когда социально-экономические диспропорции и институцио-

92

нальные формы «ancien régime» были взорваны, когда буржуазия стала нацией, многие из черт специфически придворного и даже особого социального характера придворной аристократии, а затем и придворной буржуазии, получили широкое распространение и трансформировались в особенности национального характера. Условности стиля поведения, формы общения, способы моделирования аффектов, высокая оценка любезности, важность красноречия и умелого ведения беседы, артикулированность языка и многое другое первоначально формировались во Франции в придворном обществе, а затем постепенно из особенностей социального характера превратились в черты характера национального.

Ницше и в данном случае четко выразил имеющиеся различия. В «Веселой науке» (фрагмент 101) он замечает: «Повсюду, где был какой-либо двор, задавал он тон изысканной речи, а вместе и норму стиля для всех пишущих. Но придворный язык есть язык царедворца, не имеющего никакой профессии и запрещающего самому себе в разговорах на научные темы все удобные технические выражения, поскольку они отдают профессией; оттого техническое выражение и все, что выдает специалиста, оказывается в странах придворной культуры неким пятном на стиле. Нынче, когда все дворы стали карикатурами вообще, достойно удивления, что сам Вольтер в этом пункте обнаруживает необыкновенную чопорность и педантичность... мы все уже освобождены от придворного вкуса, в то время как Вольтер был его завершителем».

В Германии принадлежавшая к среднему классу и стремившаяся наверх интеллигенция XVIII в., получавшая специализированное образование в университетах, выражала себя в искусствах и науках. В них она видела плоды собственной деятельности, свою специфическую культуру. Во Франции буржуазия была куда более развитой и зажиточной. У интеллигенции имелась не только аристократическая, но и буржуазная читающая публика. Сама эта интеллигенция, равно как и некоторые другие формации третьего сословия, уже были ассимилированы придворными кругами. Именно поэтому немецкие средние слои, постепенно распространявшие свой способ поведения на всю нацию, считали второразрядным то, что они наблюдали при собственных дворах (или отвергали то, что вступало в противоречие с их аффектами); а так как отвергаемое воспринималось как национальный характер соседней нации, то данные черты превратились в нечто более или менее порицаемое.

2

Можно расценить в качестве лишь кажущегося парадокса тот факт, что в Германии, где между буржуазией и аристократией

93

социальный барьер был выше, общение и контакты реже, а различия в нравах куда более существенны, противостояние этих слоев долгое время не получало никакого политического выражения, тогда как во Франции, где между сословиями барьеры были гораздо более низкими, а контакты несравненно более частыми и глубокими, намного раньше заявила о себе политическая активность буржуазии, и противостояние сословий рано привело к политическому разрешению ситуации.

Этот парадокс лишь кажущийся. Проводимая в течение долгого времени политика королей по ограничению политических функций французского дворянства, а также раннее участие буржуазии в управлении, вплоть до занятия ее представителями высших правительственных постов, ее влияние и заметное положение при дворе — все это имело ряд последствий. К ним относятся тесное соприкосновение элементов различного социального происхождения на протяжении длительного периода времени, с одной стороны, и политическая активность буржуазных элементов, проявившаяся в тот момент, когда созрела соответствующая общественная ситуация, — с другой. А еще одно, более раннее следствие — это серьезная политическая школа, которую прошла французская буржуазия и которая научила ее мыслить политическими категориями. В немецких государствах все было как раз наоборот. Высшие правительственные посты в большинстве случаев оставались за дворянством. В отличие от Франции, в немецких государствах дворянство играло и

решающую административную роль. Его сила в качестве самостоятельного сословия была далеко не так серьезно ослаблена, как во Франции. И наоборот, в Германии вплоть до XIX в. экономическая сила буржуазии была сравнительно невелика, и ее сословные позиции не отличались прочностью. То, что в социальном общении в Германии придворная аристократия отделяла себя от буржуазных элементов более жестко, нежели во Франции, было связано с относительной экономической слабостью немецкой буржуазии, с отсутствием у нее доступа к большинству ключевых позиций в государстве.

3

Структура французского общества предоставляла умеренной оппозиции (а она росла где-то с середины XVIII в.) возможность входить даже в высшие придворные круги. Представители этой оппозиции еще не были объединены в партии — институтам «ancien régime» соответствовали другие формы политической борьбы. Оппозиционеры образовывали придворную клику без четкой организации, они опирались на отдельных людей и на группы в более широком придворном обществе и в самой стране. Различие общественных интересов проявлялось в

94

борьбе таких придворных клик, и, конечно, оно не отличалось четкостью форм из-за примеси разнообразных личных устремлений. Тем не менее эти интересы получали свое выражение и реализовывались.

Французское понятие «цивилизация», как и соответствующее немецкое понятие «культура», формировалось в рамках оппозиционного движения второй половины XVIII в. Но процесс его образования, его функция и его смысл столь же отличаются от немецкого понятия, сколь различаются жизненные обстоятельства и действия средних слоев в двух странах.

Интересно то, что понятие цивилизации, когда оно впервые встречается у французских писателей, во многом напоминает то понятие культуры, которое многими годами позже Кант стал противопоставлять «цивилизации». Первое литературное свидетельство превращения глагола «civiliser» в понятие «civilisation», судя по современным исследованиям¹, происходит в 50-е годы XVIII в. у Мирабо-старшего.

«J'admire, — пишет он, — combien nos vues de recherches fausses dans tous les points le sont sur ce que nous tenons pour être la civilisation. Si je demandais à la plupart en quoi faites-vous consister la civilisation on me répondrait, la civilisation d'un peuple est l'adoucissement de ses moeurs, l'urbanité, la politesse et les connaissances répandues de manière, que les bienséances y soient et y tiennent lieu de lois de détail: tout cela ne me présente que le masque de la vertu et non son visage, et la civilisation ne fait rien pour la société, si elle ne lui donne le fond et la forme de la vertu¹»². Утонченность нравов, любезность, хорошие манеры — все это, по мнению Мирабо, лишь маска добродетели, а не ее лицо. Цивилизация ничего не дает обществу, если она не опирается на добродетель и не несет в себе ее образа. Это очень похоже на то, что говорили в Германии, выступая против придворной воспитанности. У Мирабо мы находим аналогичное противопоставление: тому, что большинство людей считает цивилизацией, а именно, любезность и хорошие манеры, противопоставит тот идеал, во имя которого средние слои всей Европы единым фронтом выступают против придворной аристократии. В этой борьбе легитимацией им служит понятие добродетели. Как и у Канта, «цивилизация» связывается здесь со специфическими чертами придворной аристократии: ведь под «homme civilisé» подразумевается чуть шире толкуемый человеческий тип, являвший собой идеал придворного общества, именуемый «honnêt homme».

«Civilisé», равно как «cultivé», «poli» или «polisé», — суть почти синонимичные понятия, с помощью которых придворные то в более узком, то в более широком смысле обозначали специфические черты собственного поведения. Тем самым возвышенность собственных манер, свой «стандарт» они противопостав-

95

ляли нравам групп более простых людей, занимавших более низкие социальные позиции.

Понятия, вроде «politesse» или «civilisé», еще до появления и закрепления понятия «civilisation» имели схожую с ним функцию: они должны были выражать самосознание высшего слоя Европы, его отличие от более простых и примитивных людей. Одновременно они должны были характеризовать специфические отличия поведения этого высшего слоя от поведения всех более примитивных и простых людей. Следующее высказывание Мирабо со всей ясностью показывает, насколько непосредственно понятие цивилизации поначалу связывалось с прочими проявлениями придворного самосознания: «Когда спрашивают, что такое "цивилизация", то обычно получают ответ: "adoucissement des moeurs", "politesse" и им подобные», — пишет он. Как и у Руссо, у Мирабо — пусть в несколько более умеренных тонах — эти оценки отвергаются. Смысл таков: вы сами и ваша цивилизация, которой вы так гордитесь и которая, как вы считаете, возносит вас над более простыми людьми, не представляет собой чего-либо особо ценного³: «Dans toutes les langues... de tous les âges la peinture de l'amour des bergers pour leurs troupeaux et pour leurs chiens trouve le chemin de notre âme, toute émue qu'elle est par la recherche du luxe et d'une fausse civilisation²».

Отношение к «простому человеку» в чистом виде, к «дикарю», во внутреннем социальном противостоянии второй половины XVIII в. становится символическим. Руссо наиболее жестко нападал на господствующий порядок ценностей, но как раз поэтому значение его взглядов для придворно-буржуазного реформаторского движения французской интеллигенции было меньшим, чем тот отклик, какой они вызвали у аполитичной, но радикальной в области духа буржуазной интеллигенции Германии. При всей радикальности своей

критики общества Руссо не выдвинул какого-либо единого понятия, против которого была направлена его полемика. Мирабо такое понятие создал или, по крайней мере, первым воспользовался им в печатном произведении (в разговорах его могли употреблять и ранее). Из «*homme civilisé*» он получает понятие, передающее всеобщие характеристики общества, — «цивилизация». Но у него, как и у остальных физиократов, критика общества носит умеренный характер. Она остается в пределах существующей социальной системы. Это — критика, свойственная реформистам. Если немецкая буржуазная интеллигенция, хотя бы в книжных мечтаниях, выковывает понятия, абсолютно расходящиеся с моделями высшего слоя, и ведет бои на политически нейтральной почве (ибо для реализации этих мечтаний на политико-социальном уровне, в рамках существующих институтов и отношений власти, у нее нет не только инструментов, но даже пространства действия), если она проти-

96

вопоставляет в своих книгах человеческому облику высшего слоя, его «цивилизованности», собственные идеалы и модели поведения, то придворная реформистская интеллигенция Франции долгое время остается в рамках придворной традиции. Она желает ее улучшить, модифицировать, перестроить. Если отвлечься от таких аутсайдеров, как Руссо, то можно признать, что она не выдвигает совершенно иного идеала, не противопоставляет господствующей модели собственную. Ее идеалом и моделью остается реформа того, что существует. В самой формулировке «*fausse civilisation*» уже явно чувствуется все отличие ее программы от идеалов немецкого движения. В данном понятии заключена мысль о том, что на место ложной цивилизации нужно поставить истинную. Здесь нет противопоставления «*homme civilisé*» и радикально новой модели человека — в отличие от понятий «образованный человек» и «личность», выработанных немецкой буржуазной интеллигенцией. Напротив, придворная модель принимается, для того чтобы ее достроить и трансформировать. Эта формулировка указывает на ту критическую интеллигенцию, которая прямо или косвенно охвачена сетью отношений придворного общества, — в нем она пишет, в нем она ведет свою борьбу.

II. О социогенезе учения физиократов и французского движения реформ

4

Вспомним о ситуации, сложившейся во Франции во второй половине XVIII в. Принципы, лежащие в основе управления Франции и определяющие ее налоговую и таможенную системы, в общем и целом не изменились со времен Кольбера. Но внутренние отношения власти, интересы, общественная структура страны претерпели значительные изменения. Строгий протекционизм, защита национальных мануфактур и ремесел от зарубежной конкуренции способствовали развитию французской экономики. Эти меры способствовали росту собираемых налогов, что отвечало основным стремлениям короля и его наместников. Ограничения на торговлю зерном, введение монополий, система зернохранилищ, таможенные барьеры между провинциями — все это служило защите местных интересов и прежде всего Парижа, охраняя его от возможных последствий неурожая, дороговизны, голода и голодных бунтов и тем самым обеспечивая спокойствие короны в отношении этого важнейшего района Франции.

97

К этому времени выросли и капитал, и население страны. Торговая сеть стала более густой и широкой, оживилась промышленная деятельность, улучшились пути сообщения. Хозяйственные взаимосвязи и взаимозависимость французских провинций стали значительно более тесными, чем во времена Кольбера. Несмотря на то что буржуазия росла под защитой традиционных налоговой и таможенной систем, часть буржуа начинает воспринимать эти системы как помеху и бессмыслицу. Прогрессивная часть дворян-землевладельцев, вроде Мирабо, усматривает в меркантилистских ограничениях в зерновом хозяйстве больше вреда, чем пользы; они многому научились на примере более свободной английской системы торговли. Даже ряд высших чиновников администрации признает порочность существующей системы. На вершине иерархии мы находим и наиболее прогрессивный тип — это управляющие провинциями интенданты, представители единственной современной разновидности чиновничества во времена «*ancien régime*». Эти посты, в отличие от прочих, не покупались и тем самым не становились наследственными. Прогрессивные элементы администрации имели большое значение, поскольку служили связующим звеном между двором и носителями стремления к реформам, уже ставшего заметным в стране. Интенданты прямо или косвенно участвовали в борьбе придворных клик за ключевые посты, включая и министерские, причем играли в этой борьбе немаловажную роль.

Ранее уже говорилось о том, что эта борьба еще не имела характера сравнительно безличного политического противостояния, при котором различные интересы представляются партиями в парламентах. Но придворные группы, боровшиеся за посты и влияние при дворе, уже образовывали некие общественные формации, служившие выражению интересов более широких групп и слоев всей страны. Таким образом, реформаторские тенденции были представлены и при дворе.

Во второй половине XVIII в. короли уже давно перестали быть монархами, правившими как им вздумается. Куда ощутимее, чем при Людовике XIV, они были заложниками социального процесса и зависели от придворных клик, или фракций. Последние же чаще всего имели широкую опору во всей стране и глубокие корни в буржуазных кругах.

Учение физиократов было теоретическим выражением этой борьбы фракций. Оно никоим образом не представляло собой исключительно экономического учения, будучи продуманной системой, направленной на политическую и социальную реформы. В нем в заостренном, абстрактном и догматически закреплённом виде высказывались идеи, которые — не столь последовательно, теоретично и догматично сформулированные и выступавшие, скорее, в виде практического требования ре-

98

форм — были характерны для всего движения в то время, когда Тюрго руководил финансами страны. У движения не было общего названия, равно как и единой организации, но его можно было бы назвать движением чиновников-реформаторов. Однако за ними, без сомнения, стояли часть интеллигенции и торговая буржуазия.

У самих сторонников реформ существовали немалые различия во мнениях. Среди них были те, кто желал реформы налоговой системы и государственного аппарата, но одновременно был большим протекционистом, чем те же физиократы. Одним из виднейших представителей этого направления является Форбонне. Но его вместе с единомышленниками вряд ли можно причислить к «меркантилистам» из-за того, что они особо подчеркивали защитную функцию таможи. В дебатах Форбонне с физиократами находит свое выражение расхождение позиций, характерное для современного индустриального общества, где постоянно возобновляется борьба между двумя группами интересов — между сторонниками свободной торговли и протекционистами. Обе группы относились к реформаторскому движению средних слоев.

С другой стороны, было бы ошибочным утверждение, будто чуть ли не *вся* буржуазия желала реформ, а вся аристократия им противилась. Существовал целый ряд групп третьего сословия, оказывавших серьезнейшее сопротивление всем попыткам реформ: их существование целиком зависело от консервации «ancien régime» в его прежнем облике. К этой группе относилось прежде всего подавляющее большинство чиновников — «noblesse de robe», — чьи посты сделались семейной собственностью в той же мере, в какой сегодняшняя фабрика или фирма являются семейным владением. К ней относились и цеховые корпорации, и немалая часть финансистов. Именно сопротивление ряда буржуазных групп реформам сыграло немалую роль в том, что последние потерпели крах, а общественные диспропорции в институциональном строении «ancien régime» пришлось взрывать силой.

Весь этот обзор указывает на одно важное обстоятельство: во Франции буржуазные слои того времени уже играют важную политическую роль, а в Германии — нет. Здесь, в Германии, деятельность интеллигенции ограничивается сферой духа и идей, там, во Франции, мысль придворно-буржуазной интеллигенции, наряду со всеми прочими человеческими вопросами, обращается к социальным, экономическим, административным и политическим вопросам. Системы немецкой мысли в куда большей мере представляют собой чисто научные изыскания. Их социальным плацдармом является университет. Учение физиократов имеет своим социальным пространством двор и придворное общество, и его специфической целью оказывается

99

конкретное воздействие — скажем, влияние на короля или на его любовницу.

5

Основные идеи Кене и физиократов известны. Кене представляет в своем труде «Tableau économique» хозяйственную жизнь общества как единый и более или менее автономный процесс, как замкнутый кругооборот производства, распределения и воспроизводства благ. Он говорит о естественных законах совместной жизни людей, организуемой в соответствии с разумом. Исходя из этой идеи, Кене борется за то, чтобы правители по своему произволу не вмешивались в экономический кругооборот. Ему хочется, чтобы они знали эти закономерности и могли направлять данные процессы, чтобы они не выпускали указов по неведению и из прихоти. Он требует свободы торговли, в особенности торговли зерном, поскольку, по его мнению, саморегулирование, свободная игра сил, создают для потребителей и производителей лучший порядок, чем традиционное управление сверху, неизбежно ограниченное бесчисленными преградами между провинциями и странами.

Но в то же время он придерживается мнения, что подобные автономные процессы уже известны мудрым и просвещенным администраторам, что они могут управлять этими процессами, опираясь на наличные знания. В этом тезисе видно различие в освоении опыта саморегуляции между французскими и английскими реформаторами. Кене и его сторонники остаются в рамках существующей монархической системы. Они не затрагивают основные принципы и институты «ancien régime». То же самое можно сказать о части чиновников и представителях интеллигенции, рассуждающих менее абстрактно, относящихся с большим вниманием к практическим делам и приходящих к тем же результатам, что и физиократы. По существу, и опыт, и мысль тут одни и те же. Ход размышлений очень прост, его можно сформулировать следующим образом: не верно, что правители всемогущи и по своему произволу могут вмешиваться во все человеческие отношения. У общества, у экономики имеются свои собственные закономерности, они оказывают сопротивление неразумному вмешательству правителей и насилию с их стороны. Поэтому следует создать просвещенную, разумную администрацию, которая принимала бы решения и направляла общественные процессы, ориентируясь на «законы природы», т.е. в согласии с разумом.

Одним из выражений идеи реформы и ясным отображением этой идеи в момент ее возникновения является понятие «civilisation».

100

Представления об «homme civilisé» развиваются до уровня концептуального понятия, обозначающего всю совокупность нравов и наличное общественное состояние, что поначалу служит выражением специфических оппозиционных воззрений критиков данного общества.

Но ко всему этому добавляется и нечто иное, а именно, опыт, свидетельствующий, что правительство не может править с помощью каких ему вздумается указов, что анонимные социальные силы автоматически оказывают сопротивление, если его указы не соотносятся с точным знанием этих сил и закономерностей. Это — опыт бессилия даже самых абсолютных правительств перед лицом динамики общественного развития и опыт того зла, той путаницы, нужды и нищеты, что приносят произвольные, «противные природе», «неразумные» шаги правителей. Данный опыт, как было сказано выше, находит свое выражение в идее физиократов о том, что общественные процессы протекают законообразно, подобно природным явлениям. Одновременно этот опыт принимает вид «civilisation» — существительного, производного от «civilisé», которому придается значение, выходящее за рамки чего-то индивидуального.

Родовые муки промышленной революции уже было трудно считать результатом того или иного правления, и это впервые заставило людей рассматривать самих себя и свое общественное бытие в качестве процесса. Если проследить, как Мирабо в дальнейшем использует понятие «civilisation», то можно обнаружить, что этот опыт позволяет ему увидеть совокупность нравов и обычаев своего времени в новом свете. В них, в том числе и в «цивизованности», он распознает отображение некоего кругооборота. Он хочет, чтобы правители также увидели данную закономерность и могли ею воспользоваться. В этом смысле понимается «цивилизация» на ранней стадии употребления этого слова.

Однажды Мирабо говорит об этом в своем «Ami des hommes»: избыток денег ведет к уменьшению населения, и именно в той мере, в какой растут расходы каждого отдельного индивида⁴. Этот избыток денег, становясь чрезмерным, по его мнению, «bannit l'industrie et les arts, et jette en conséquence les états dans la pauvreté et la dépopulation». И он продолжает: «De là naîtrait comment cercle de la barbarie à la décadence par la civilisation et la richesse peut être repris par un ministre habile et attentif et la machine remontée avant que d'être à sa fin³».

В данном рассуждении сводятся воедино все принципы физиократов: самоочевидность того, что развитие хозяйства влияет на численность населения, а затем и на нравы; последовательное рассмотрение всего как кругового движения, как смены подъемов и падений; политическая тенденция, воля к реформам, в силу которой эти познания предназначаются в конечном

101

счете правителям, дабы они, видя эти закономерности, могли лучше, просвещеннее, разумнее править и направлять эти процессы с большим успехом, чем раньше.

Та же мысль сквозит в посвящении королю в работе Мирабо «Théorie de l'impôt», где он предлагает монарху проект реформы налогов в духе учения физиократов: «L'exemple de tous les empires, qui ont précédé le vôtre, et qui ont parcouru le cercle de la civilisation, serait dans le détail une preuve de ce que je viens d'avancer⁴».

Критическое отношение провинциального дворянина Мирабо к богатству, роскоши и всем господствующим нравам придает его концепции особую окраску. В круговороте истории место истинной цивилизации, по его мнению, находится между варварством и ложной, «упадочной» цивилизацией, происходящей из избытка денег. Просвещенное правительство призвано дать этому автоматическому процессу такое направление, какое позволит обществу развиваться по средней линии, балансируя между варварством и декадансом.

Вся проблематика, связанная с понятием «цивилизация», проявляется уже в момент его появления. Уже здесь с ним связывается та идея упадка или «заката», которая в дальнейшем, следуя ритму повторяющихся циклов, заявляет о себе вместе с каждым кризисом. Но здесь заметно и то, что воля к реформам целиком ограничивается пределами существующего, т.е. остается в рамках управляемой сверху общественной системы. Тому, что считается дурным, не противопоставляется никакого абсолютно нового образа или понятия. В то же время имеется убеждение, что сущее следует исправить: просвещенные и решительные меры правительства могут вернуть нас от «ложной цивилизации» к цивилизации «доброй и истинной».

7

Конечно, поначалу в этой концепции «civilisation» могло содержаться множество нюансов индивидуального характера. Но в то же время она содержала элементы, отвечающие общим потребностям и общему опыту реформистских и прогрессистских кругов парижского общества. И в этих кругах данное понятие используется тем чаще, чем большую силу набирает движение реформ в условиях ускорения процессов коммерциализации и индустриализации страны.

Последние годы правления Людовика XV были временем хаоса и ослабления старой системы. Нарастали внешние и внутренние противоречия этой системы. Множились сигналы социальной трансформации.

В 1773 г. в бостонской гавани в море полетели ящики с чаем, а в 1775 г. была принята Декларация независимости

102

американских колоний Англии. Как гласил ее текст, правительства служат счастьем народов; если же они не соответствуют этой цели, то народное большинство имеет право их свергнуть.

Ориентированные на реформы буржуазные круги во Франции с растущим вниманием и симпатией наблюдали за тем, что происходит за океаном. Их реформистские склонности смешивались с национальными чувствами, с растущей враждебностью к Англии. Но даже ведущие представители этих кругов думали тогда о чем угодно, только не о подрыве монархии.

Начиная с 1774 г. становится ясно, что дело идет к столкновению с Англией и следует готовиться к войне. В том же 1774 г. умирает Людовик XV. Вместе с приходом нового короля с новой силой разгорается борьба за реформу административной и налоговой систем как в узком, так и в широком придворных кругах. В результате этой борьбы Тюрго в том же году был назначен «*Contrôleur général des finances*», что приветствуется всеми реформистскими и прогрессистскими силами страны. «*Enfin voici l'heure tardive de la justice*^{5a)}», — пишет физиократ Бодо по поводу назначения Тюрго. Если уж теперь, замечает Д'Аламбер, «*le bien ne se fait pas, c'est que le bien est impossible*^{5b)}». А Вольтер сожалеет о том, что он уже стоит перед вратами смерти, когда «*en place la vertu et la raison*^{5c)}»⁵.

В том же году «*civilisation*» впервые начинает употребляться многими людьми и очень часто, как понятие с уже полностью устоявшимся смыслом. В первом издании «*Histoire philosophique et politique des établissements et de commerce des Européens dans les deux Indes*» Рейналя 1770 г. это слово еще ни разу не употреблено; во втором издании 1774 г. «оно используется часто и без всяких смысловых колебаний, как термин, который явно считается общеобязательным и общепринятым»⁶.

«Система природы» Гольбаха 1770 г. еще не содержит в себе слова «цивилизация». В его «Социальной системе» 1774 г. «*civilisation*» становится часто употребляемым.

Например, он здесь говорит⁷, что нет ничего «*qui mette plus d'obstacle à la félicité publique, aux progrès de la raison humaine, à la civilisation complète des hommes que les guerres continuelles dans lesquels les princes inconsidérés se laissent entraîner à tous moments*^{6a)}». Или в другом месте: «*La raison humaine n'est pas encore suffisamment exercée; la civilisation des peuples n'est pas encore terminée; des obstacles sans nombre se sont opposés jusqu'ici aux progrès des connaissances utiles, dont la marche peut seuls contribuer à perfectionner nos gouvernements, nos lois, notre éducation, nos institutions et nos moeurs*^{6b)}»⁸.

Основы концепции этих просвещенных и критичных реформаторов остаются теми же: благодаря прогрессу знания можно

103

убедить короля и просветить правителей, побудить их действовать в духе «разума» или «природы вещей». (Имеется в виду прогресс знания, но не «науки» в том смысле, какой придавала этому слову немецкая интеллигенция XVIII в., ибо на этот раз мы имеем дело не с университетскими преподавателями, а с писателями, чиновниками, интеллигентами, всякого рода буржуа при дворе, объединяемыми «хорошим» обществом и салонами). Руководящие посты могут занять просвещенные, т.е. желающие реформ, лица, и они будут всячески содействовать улучшению институтов, воспитанию и законодательству. Для одного из аспектов всего этого прогресса реформ было найдено и пущено в оборот понятие «*civilisation*». То, что проявилось уже при употреблении этого — во многом индивидуального, еще не прошедшего социальной шлифовки — понятия у Мирабо, то, что характерно для любого реформистского движения, можно наблюдать и в данном случае: существующее наполовину утверждается, наполовину отрицается. Общество на пути к «*civilisation*» достигло определенной ступени. Но этого не достаточно. На этом не следует останавливаться. Процесс идет далее, и его нужно вести далее: «*La civilisation des peuples n'est pas encore terminée*».

В понятии «*civilisation*» как бы сплавлены два представления. С его помощью происходит противопоставление себя другой ступени развития общества, состоянию «варварства». Это чувство уже давно присутствовало в придворном обществе, оно находит выражение в придворно-аристократических словах «*politesse*» или «*civilité*».

Народы, говорят представители придворно-буржуазного движения реформ, цивилизовались еще недостаточно. Цивилизованность — это не состояние, но процесс, который необходимо вести дальше. И в этом заключается новизна понятия «*civilisation*». В него входит многое из прежнего самоощущения придворного общества, полагавшего себя более высоким по сравнению с обществом более простым, нецивилизованным или живущим по-варварски. К этому же относятся и мысли о состоянии «*mœurs*», о манерах, такте, внимательности к людям и ряд других родственных комплексов представлений. Но у поднимающейся буржуазии, у сторонников движения реформ эти представления расширяются до идеи о том, как из наличного общества сделать общество цивилизованное, т.е. цивилизовать государство, конституцию, воспитание, а тем самым и широкие слои народа; освободиться от всего варварского, противного разуму — идет ли речь о судебных наказаниях, сословных ограничениях для буржуа или барьерах, препятствующих торговле. За этим ростом цивилизованности, который обеспечит королевская власть, должно последовать смягчение нравов и удовлетворение нужд страны.

104

Вольтер однажды так высказался о веке Людовика XIV: «*Le roi parvint à faire d'une nation jusque là turbulente un peuple paisible qui ne fut dangereux qu'aux ennemis... Les moeurs s'adoucirent...*⁷⁾»⁹. Мы еще вернемся к тому

огромному значению, которое имело для процесса цивилизации достижение страной внутреннего мира. Кондорсе, будучи реформистом более молодого поколения, а потому и значительно большим оппозиционером, заметил в связи с этими словами Вольтера: «Malgré la barbarie d'une partie des lois, malgré les vices des principes d'administration, l'augmentation des impôts, leur forme onéreuse, la dureté des lois fiscales, malgré les mauvaises maximes, qui dirigèrent le gouvernement dans la législation de commerce et des manufactures, enfin malgré les persécutions contre les protestants, on peut observer, que les peuples de l'intérieur du royaume ont vécu en paix à l'abri des lois⁸⁾».

Это перечисление, в основе которого также лежит основополагающее принятие существующего положения дел, дает нам возможность понять чувства человека, выступающего в те времена с требованием реформ. Не важно, употреблялось при этом понятие «civilisation» или нет, но оно противопоставлялось всему тому, что еще было «варварским».

Тем самым становится совершенно ясным отличие этих процессов от немецкого развития и данных терминов — от немецкого понятийного аппарата. Мы видим, что поднимающаяся буржуазная интеллигенция Франции входит в придворные круги. Ей присущи черты, определяемые придворно-аристократической традицией. Она говорит языком этих кругов и развивает этот язык. Поведение и аффекты французской интеллигенции — при некоторых модификациях — ориентируются на эту традицию как на образец. Ее понятия и идеи никоим образом не являются простой противоположностью понятиям придворной аристократии. В соответствии с ее социальным положением, с ее вращением в придворных кругах, кристаллизуются и ее понятия, источником которых служат понятия придворно-аристократические, например идея «цивилизованности», равно как и слова, употребляемые в политической и экономической сферах. Для немецкой же интеллигенции такие понятия оказываются чем-то чуждым или, по крайней мере, не обладающим актуальностью, что обусловлено иным общественным положением, а потому и иным опытом этого слоя в

Германии.

Французская буржуазия, будучи относительно активной в политическом плане (сначала реформаторской, а через недолгое время и революционной), была и оставалась по своему поведению и моделированию аффектов в значительной мере связана с придворной традицией — даже после того, как было взорвано здание старого порядка. Тесные контакты аристократических и буржуазных кругов задолго до революции привели к тому, что мно-

105

гое из придворных нравов перешло в нравы буржуазные. И хотя буржуазная революция во Франции разбила старые политические структуры, она не привела к разрыву культурной традиции. Немецкая буржуазная интеллигенция была совершенно бессильной в политическом плане, но радикальной в области духа. Она заложила основы собственной, чисто буржуазной традиции, существенно отличавшейся от придворно-аристократической традиции и ее моделей. Даже если в тех чертах, сочетание которых в XIX в. постепенно оформилось в немецкий национальный характер, и не было недостатка в дворянских ценностях, теперь ставших буржуазными, то все же для широких областей немецкой культурной традиции доминирующими оказались специфически буржуазные формы. Раскол между буржуазными и аристократическими кругами, а тем самым и относительное отсутствие единства немецкой культуры долго давали о себе знать и после XVIII в.

Французское понятие «civilisation» точно так же отображает особую судьбу французской буржуазии, как понятие «культура» — судьбу буржуазии немецкой. Как и понятие культуры, «civilisation» было поначалу инструментом оппозиционных кругов третьего сословия, прежде всего буржуазной интеллигенции, используемым в борьбе, ведущейся внутри общества. Вместе с подъемом буржуазии данное понятие точно так же входит в самопонимание нации, становится выражением национального самосознания. Во время революции понятие «civilisation» не играло существенной роли, поскольку по своему первоначальному смыслу оно представляло постепенный процесс эволюции, было лозунгом реформы, а не революции. Когда революция пошла на убыль, где-то на рубеже веков, слово «цивилизация» становится общеупотребимым и принимается во всем мире. Уже в это время оно используется для оправдания национальной экспансии и колониальных устремлений Франции. В 1798 г., по пути в Египет Наполеон в воззвании к своим войскам писал: «Солдаты, вы — участники завоевания, последствия которого для цивилизации являются непредсказуемыми». Теперь, в отличие от момента возникновения этого понятия, процесс цивилизации в пределах собственного общества считается завершенным. Народы ощущают себя обладателями уже «готовой» цивилизации, несущими ее другим. От всего предшествующего процесса цивилизации в их сознании остаются лишь смутные воспоминания. Результаты процесса принимаются за свидетельство собственной высокой одаренности. Тот факт, что к цивилизованному поведению они сами шли долгие века, уже не осознается; вопрос о том, как это происходило, уже не представляет интереса. Сознание собственного превосходства, собственной «цивилизованности» служит нациям, приступившим к колониальным захватам, а тем самым ставшим вла-

106

стителями континентов за пределами Европы, таким же оправданием, каким ранее предки понятия цивилизации — «politesse» и «civilité» — служили для легитимации господства придворно-аристократической верхушки.

В действительности именно в это время завершается важная фаза *процесса* цивилизации. Теперь *сознание цивилизованности*, сознание превосходства собственного поведения и таких его субстанциализаций, как наука, техника или искусство, начинает распространяться на целые нации Запада. О той фазе процесса цивилизации, когда не было ни сознания этого процесса, ни тем более понятия цивилизации, и пойдет далее речь.

Примечания

¹ Брюно в своей «Histoire de la langue française» возводит употребление понятия «civilisation» к Тюрго. Но нет никакой уверенности в том, что сам Тюрго уже использовал это слово. При просмотре всех работ этого автора нам удалось найти данное понятие лишь в оглавлениях изданий его сочинений, осуществленных Дюпоном де Немуром, а затем в издании Шелля. Но эти оглавления, по-видимому, составлены не самим Тюрго, но Дюпоном де Немуром. Однако если обратиться к сути дела, к идее, а не заниматься поисками случаев первого употребления слова, то у Тюрго уже в 1751 г. мы находим достаточно обширный материал. Было бы, наверное, бесполезно посмотреть, как сначала из некоего опыта формируется определенная идея, а затем этой идее, этому кругу представлений постепенно подыскивается слово.

Не случайно Дюпон де Немур в своем издании дает одной из работ Тюрго такой заголовок: «La civilisation et la nature». Действительно, обозначаемое им место произведения Тюрго уже содержит набросок идеи цивилизации, для которой в дальнейшем было найдено слово.

Вступительное письмо издательнице «Lettres d'une Péruvienne», мадам де Графиньи, дало Тюрго возможность высказаться об отношении «дикаря» и «homme policé» (Œuvres de Turgot / Ed. Schelle. 1913. Paris, Vol. I. P. 243): перуанка может взвесить «les avantages réciproques des sauvages et de l'homme policé. Préferer les sauvages est une déclamation ridicule. Qu'elle réfute, qu'elle montre que les vices que nous regardons comme amenés par la politesse sont l'apanage du coeur humain». («...преимущества дикарей и цивилизованных людей. Отданное дикарям предпочтение является смехотворной декламацией. Сколько бы она это ни отвергала, сколько бы ни показывала, что наблюдаемые нами пороки привнесены политесом, они коренятся в человеческом сердце». — А. П.)

Через несколько лет Мирабо будет употреблять более широкое и динамичное понятие «civilisation» в том же смысле, в каком Тюрго употреблял понятие «politesse».

² См.: *Moras J.* Ursprung und Entwicklung des Begriffs Zivilisation in Frankreich (1756—1830) // Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen. 6. Hamburg, 1930. S. 38.

107

³ *Moras J.* Op. cit. S. 37.

⁴ *Moras J.* Op. cit. S. 36.

⁵ См.: *Lavisse.* Histoire de France. Paris, 1910. IX, 1. P. 23.

⁶ См.: *Moras J.* Op. cit. S. 50.

⁷ *d'Holbach P.* Système sociale ou principes naturels de la morale et de la politique. L., 1774. Vol. III. P. 113 (цит. по: *Moras J.* Op. cit. S. 50).

⁸ *d'Holbach P.* Op. cit. Vol. III. P. 162.

⁹ *Voltaire.* Siècle de Louis XIV // Œuvres Complètes. P.: Garnier Frères, 1878. Vol. 14, 1. P. 516.

Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения

Глава I. История понятия «civilité»

1

Главной антитезой, выражавшей самосознание западного Средневековья, была антитеза христианства и язычества или, точнее, ортодоксального римско-латинского христианства, с одной стороны, и язычества и ереси, включая и восточное греческое христианство, — с другой¹. Во имя креста, как позже во имя цивилизации, западное общество вело в Средние века колониальные и захватнические войны. При всей секуляризации в понятии цивилизации сохраняется отзвук идей латинского христианства и рыцарско-феодалного крестового похода. Память о том, что рыцарство и римско-латинская вера были свидетельствами некой стадии развития западного общества — стадии, которую в равной мере прошли все великие народы Запада, — конечно, не исчезла совсем.

Понятие «civilité» стало значимым для западного мира в то время, когда были разрушены и рыцарское общество, и единство католической церкви. Оно было воплощением того общества, которое как стадия, как этап становления специфического характера западных нравов, или «цивилизации», было не менее важным, чем феодальное общество. Само понятие «civilité» является выражением и символом общественной формации, охватывавшей различные национальности и, подобно церкви, использовавшей один общий язык — сначала итальянский, а затем все в большей мере французский. Эти языки переняли ту функцию, которую ранее выполняла латынь. Именно в них проявились и европейское единство, построенное на новом, социальном фундаменте, и новая общественная формация, как бы образующая его костяк, — придворное общество. Положение, самосознание и характер этого общества и нашли свое выражение в понятии «civilité».

Понятие «civilité» обрело свою типичную форму и стало выполнять рассматриваемую здесь функцию во второй четверти XVI в. Можно с точностью установить собственные истоки данного

111

понятия. Тот специфический смысл, в котором оно было принято обществом, был четко выражен в небольшой работе Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium», вышедшей в свет в 1530 г. В ней разбиралась тема, полностью отвечавшая запросам своего времени, и поэтому она сразу же стала чрезвычайно популярна и неоднократно переиздавалась. Еще до смерти Эразма, т.е. на протяжении первых шести лет, она была опубликована более тридцати раз². Всего же было около ста тридцати переизданий, причем еще и в XVIII в. книга издавалась тринадцать раз. Общее же число переводов, подражаний и переложений необозримо. Через два года после выхода этой работы появился первый ее перевод на английский язык. Через четыре года книга выходит в форме катехизиса, причем к тому времени она уже используется как учебник. Затем последовали немецкий и чешский переводы. В 1537, 1559, 1569 и 1613 гг. публикуются все новые переводы на французский язык.

После выхода в свет написанного по-французски труда Матюрина Кордье, в котором идеи данного сочинения Эразма сочетались с идеями другого гуманиста, Иоганна Сульпиция, термином «civilité» стали называть определенный тип французских литер. Это произошло уже в XVI в. Целый разряд книг, прямо или косвенно находившихся под влиянием труда Эразма, содержали в заголовке слова «civilité» или «civilité puerile» и печатались вплоть до конца XVI в. с помощью этих литер³.

3

Как это часто случается в истории слов, первый толчок к их употреблению был дан отдельным индивидуумом. Это видно и по дальнейшему развитию понятия «civilité», в итоге превратившегося в «civilisation». Давно известному и широко употреблявшемуся слову «civilitas» Эразм в своем труде придал новый оттенок, а тем самым и новый импульс. С тех пор понятие «civilitas» постепенно закрепилось в сознании людей в том специальном смысле, который был задан темой данного сочинения. Так получили развитие и стали модными слова в различных национальных языках — французское «civilité», английское «civility», итальянское «civiltà», а затем и немецкое «Zivilität». Последнее, впрочем, так никогда и не укоренилось, в отличие от соответствующих терминов в других великих культурах.

Такое более или менее неожиданное, схожее с превращением искры в пламя, возникновение слов в рамках языка почти всегда означает, что в самой человеческой жизни произошли важные изменения, — в особенности там, где речь идет о понятиях, отличающихся такой же определенностью, занимающих такое же центральное положение и наделенных таким же долголетием, как рассматриваемое здесь.

112

Сам Эразм, оценивая свое творчество в целом, вероятно, не придавал столь большого значения маленькому сочинению «De civilitate morum puerilium». Во введении к этой книге он писал, что искусство формирования молодых людей включает в себя различные дисциплины, и «civilitas morum» является лишь одной из них. Но в то же время, он не отрицал, что данная дисциплина представляет собой «crassissima philosophiae pars». Особое значение этот труд Эразма получает не столько как отдельное явление, не столько как индивидуальное произведение, сколько как симптом перемен, как субстанциализация социальных процессов. Рассмотрение данного труда обусловлено вызванным им откликом, превращением его названия в центральное выражение, используемое при самоинтерпретации европейского общества.

4

О чем идет речь в этом труде?

Уже его тема указывает на то, с какой целью и в каком смысле будет использоваться новое понятие, — здесь должны содержаться намеки на социальные изменения и процессы, сделавшие его модным словом.

В книге Эразма рассматривается нечто чрезвычайно простое: поведение человека в обществе, прежде всего, «extempus cognovis decorum» (хотя речь идет и не только о нем). Она адресована ребенку из благородной семьи, сыну князя, и была написана в воспитательных целях.

Сочинение это содержит простые мысли, изложенные и весьма серьезно, и с немалой иронией. Оно отличается ясным, отточенным языком и завидной четкостью. Можно сказать, что ни одна из последовавших за ним книг на эту тему никогда не достигала такой силы и ясности и не носила столь личностного характера. Если мы посмотрим внимательнее, то обнаружим, что за книгой Эразма стоит целый мир, способ жизни, который, конечно, в чем-то уже близок нашему, но в чем-то еще очень далек. Мы находим манеры, нами утраченные, — причем иные из них могут показаться нам «варварскими» или, как мы называем их, «нецивилизованными». Тут высказывается многое из того, что стало непроницаемым, и обсуждается то, что стало само собой разумеющимся⁴.

Например, Эразм говорит о человеческом взгляде. Его высказывания должны служить советом учащимся, но в данном случае перед нами одновременно и свидетельство непосредственного, живого наблюдения за людьми: «Sint oculi placidi, verecundi, compositi, non torvi, quod est truculentiae... non vagi ac volubiles, quod, est insaniae, non limi quod est suspiciosorum et insidias molientium...¹⁾».

113

Без существенного изменения тональности это высказывание даже трудно перевести: широко раскрытые глаза являются признаком глупости, слишком пристальный взгляд говорит о лени, слишком пронзительный

— о склонности к гневу, а слишком живой и красноречивый — о бесстыдстве. Взгляд должен показывать спокойствие духа и почтительную доброжелательность — это и есть самое лучшее. Не зря же говорили древние, что местоположением души являются глаза — «*animi sedem esse in oculis*». Осанка, жесты, одежда, выражение лица — т.е. «внешнее» поведение, о котором идет речь в книге, — есть выражение внутреннего, целостного содержания человека. Эразм это совершенно отчетливо понимает и пишет: «*Quamquam autem externum illud corporis decorum ab animo bene composito proficiscitur, tamen incuria praeceptorum (за недостатком воспитания) nonnunquam fieri videmus, ut hanc interim gratiam in probis et eruditis hominibus desideremus²⁾*».

В ноздрях не должно быть слизи, скажет он далее. Крестьяне сморкаются и в шапку, и в юбку, колбасник сморкается и в ладонь, и о локоть. Не многим пристойнее сморкаться в руку, а затем вытирать о платье. Куда приличнее удалить слизь из носа в платок (желательно отвернувшись): «*Strophiolis accipere narium recrementa, decorum*». Когда сморкаешься в два пальца и что-то падает на землю, то следует это тут же растереть ногой: «*Si quid in solum dejectum est emuncto duobus digitis naso, mox pede proterendum est*». То же самое относится и к слюне: «*Aversus expuito, ne quem conspugas aspergasve. Si quid purulentius in terram rejectum erit, pede proteratur, ne cui nauseam moveat. Id si non licet linteolo excipito³⁾*».

С бесконечной тщательностью и без тени смущения Эразм обсуждает то, что одним своим произнесением шокировало бы «цивилизованного» человека более поздних ступеней развития, наделенного иным моделированием аффектов. Например, здесь говорится о том, как следует сидеть или приветствовать других, причем описываются жесты, которые стали нам чуждыми, — вроде стояния на одной ноге. Вполне возможно, что иные из тех поз, принимаемых при ходьбе или танцах, что мы видим в средневековой скульптуре или живописи, вовсе не обусловлены «манерами» их творца, а есть действительное изображение ставших нам чуждыми жестов. Быть может, нам следует видеть в них субстанциализацию иных душевных и аффективных состояний.

Чем дальше мы углубляемся в это небольшое сочинение, тем отчетливее перед нами возникает картина общества с формами поведения хотя в чем-то и родственными нашим, но во многом от нас далекими.

Мы видим сидящих за столом людей. «*A dextris sit poculum, et cultellus escarius rite purgatus, ad laevam panis*», — пишет Эразм. По правую сторону — кружка и чистый нож, по левую — хлеб.

114

Таков столовый прибор. Нож чаще всего носят с собой, отсюда предписание держать его чистым. Вилки еще нет либо они используются только для того, чтобы брать куски мяса с блюда. Нож и ложка часто применяются одновременно, но их не всегда дают каждому человеку, участвующему в трапезе. Если тебе предлагают жидкую еду, советует Эразм, то попробуй ее, а затем отдай ложку обратно, предварительно обтерев.

Когда приносят мясные блюда, то каждый сам отрезает себе кусок, берет его рукой и кладет на свою тарелку, если таковая вообще имеется (если же ее нет, то мясо кладут на хлеб). Выражение «*quadra*», употребляемое Эразмом, часто означает у него и металлический круг, и ломоть хлеба.

«*Quidam ubi vix bene conederint mox manus in erulas conjiciunt*». Многие, стоит им сесть за стол, начинают хватать еду рукой с блюда. Так делают волки или россомахи. Не хватай еду с принесенного блюда первым. Пальцы в соус макают только крестьяне. Не обшаривай все блюдо, но бери первый попавшийся тебе кусок. Копаться рукой в общем блюде («*in omnes patinae riagas manum mittere*») — признак несдержанности, и двигать блюдо, чтобы тебе достался лучший кусок, также не слишком прилично.

«*Quod digitis excipi non potest, quadra excipiendum est*». То, что ты не должен брать руками, положи на свою «*quadra*». Если кто-то передает тебе кусок пирога или паштет на ложке, то либо подставь свою «*quadra*», либо возьми ложку, положи еду на «*quadra*» и верни ложку: «*Si quis e placenta vel artocrea porrexerit aliquid cochleari, aut quadra excipe, aut cochleare porrectum accipe, et inverso in quadram cibo, cochleare reddito*».

Как уже было сказано, тарелки были редки. Картины застолий этого или еще более раннего времени всякий раз имеют тот же непривычный для нас вид, угадываемый и по книге Эразма: стол то застелен богатыми скатертями, то обходится без них, но во всяком случае на нем почти ничего не стоит. Чаши, солонка, нож, ложка — вот и все. Иногда мы видим ломти хлеба, «*quadrae*», которые по-французски назывались «*tranchoir*» или «*tailloir*». Все, начиная с короля и королевы и кончая крестьянином и крестьянкой, едят руками. В высших слоях это происходит в несколько облагороженной форме. Перед едой следует помыть руки, указывает Эразм. Но мыла еще нет, чаще всего гость протягивает руки, а паж льет на них немного воды. Для запаха в воду добавляют настой ромашки или розмарина⁵. В хорошем обществе не принято протягивать к блюду обе руки, а в самом высшем, в кругах знати, при еде нужно пользоваться только тремя пальцами одной руки. Таковы признаки отличия высших слоев от низших.

Во время еды пальцы становятся жирными. «*Digitos unctos vel ore praelingere vel ad tunicam extergere... incivile est*», — говорит Эразм. Неучтиво облизывать пальцы или вытирать их о платье.

115

Часто другим предлагают свою чашу или же все пьют из одной общей кружки. Эразм предупреждает: «Сначала вытри рот». Но иной раз знакомым предлагают отведать тот кусок мяса, который сами едят в этот момент. «Лучше тебе оставить эту привычку, — советует Эразм. — Не очень прилично предлагать другому наполовину прожеванное». Затем мы читаем: «Уже обкусанный хлеб в соус макают только мужики; мало

пристойно вынимать изо рта уже прожеванное и класть обратно на свою «quadra». Если ты что-то не в силах прожевать, то незаметно отвернись и куда-нибудь выплюнь».

Далее он пишет: «Хорошо, если есть перерывы, отвлекающие от еды. Иные не могут оторваться от еды и питья не потому, что их мучит голод или жажда, — они и в остальном не умеют себя сдерживать. Им нужно то в голове чесать, то в зубах ковыряться, то руками размахивать, то ножом играть, да и вообще им нужно кашлять, сопеть и плевать. По существу, все это выдает их крестьянское происхождение, а выглядит как некое безумство».

Следует отметить и такое высказывание Эразма, где он советует не разоблачаться без необходимости: «Memdra quibus natura pudorem addidit, retegere citra necessitatem, procul abesse debet ab indole liberali. Quin, ubi necessitas hoc cogit, tamen id quoque decente verecundia faciendum est⁴⁾».

Как он говорит, хотя иные предписывают мальчику «compressis natibus ventris flatum retineat⁵⁾», но это может вызвать болезнь.

В другом месте мы читаем: «Reprimere sonitum, quem natura fert, ineptorum est, qui plus tribuunt civilitati, quam saluti⁶⁾». Если есть нужда, то пусть тебя вырвет: «Vomiturus secede: nam vomere turpe non est, sed ingluvie vomitum accersisse, deforme est⁷⁾».

5

С особой тщательностью Эразм обзревает весь круг человеческого поведения, все главные ситуации духовной и общественной жизни. Он говорит о самых элементарных вещах с той же непосредственностью, что и о тончайших вопросах светского обхождения. В первой главе своего сочинения он рассуждает «de decente ac indecente totius corporis habitu», во второй — «de cultu corporis», в третьей — «de moribus in templo», в четвертой — «de conviviis», пятой — «de congressibus», в шестой — «de lusu», и в седьмой — «de cubiculo»⁸⁾. Таков круг вопросов, разбирая которые, Эразм дал новый импульс понятию «civilitas».

Нашему сознанию не всегда дается воспоминание об этой ступени собственной истории. Мы уже утратили ту ничем не сдерживаемую откровенность, с какой Эразм и люди его времени могли обсуждать все сферы человеческого поведения. Во многом эта откровенность превышает порог нашей терпимости.

116

Но именно это относится к обсуждаемым нами проблемам. Рассматривая изменение понятий, посредством которых выражали себя различные общества, выводя понятие «цивилизация» из его предшественника, из «civilité», мы сразу нападаем на след самого процесса цивилизации — на след действительного изменения поведения, происшедшего в западном мире. Одним из симптомов данного процесса цивилизации выступает та неловкость, что возникает у нас при обсуждении тем, затрагиваемых Эразмом. Нам мучительно говорить или даже слушать то, о чем он писал совершенно свободно. Явное или скрытое чувство недовольства, вызываемое в нас людьми, откровенно обсуждающими свои телесные отправления и меньше, чем мы, скрывающими или сдерживающими эти отправления, является доминирующим ощущением, побуждающим нас оценивать их поведение как «варварское», «нецивилизованное». Это «недовольство варварством» — или, если выразиться более правильно и с меньшей оценочной нагрузкой, недовольство иной организацией аффективности и иными представлениями о недопустимом, еще встречающимися сегодня во многих обществах, называемых нами «нецивилизованными», — указывает на стандарт неприятного, предшествовавший нашему и служивший предпосылкой последнего. Тем самым возникает вопрос: как и почему западное общество перешло от одного стандарта к другому, как оно «цивилизалось»? При рассмотрении процесса цивилизации мы неизбежно будем возвращаться к такого рода недовольству и чувству неприятного. Нужно ясно отдавать себе отчет в их причинах. По крайней мере нам следует отказаться от чувства собственного превосходства, исключить все обусловленные внутренней цензурой оценки, связанные с понятиями «цивилизация» и «нецивилизованность». Наше собственное поведение имеет своим истоком те поведенческие формы, которые мы сегодня называем «нецивилизованными». Однако понятия отражают действительные изменения только статически, игнорируя при этом множество нюансов. Когда мы противопоставляем «цивилизованное» и «нецивилизованное», то на деле речь идет не об оппозиции, вроде «доброе» и «злого», но о ступенях все еще продолжающегося развития. Вполне возможно, на следующих ступенях цивилизации наше собственное поведение будет вызывать такие же неприятные чувства, какие у нас — поведение предков. Аффективные проявления и общественное поведение всегда имеют своим истоком какую-то форму или стандарт, каковые никогда не выступают в качестве изначальных. Никогда не было абсолютно и бесповоротно «нецивилизованного» поведения в том смысле, какой зачастую вкладывается в слово «цивилизованный». Для понимания этого нам следует возвратиться к тому, что предшествовало «цивилизованному», к его истокам. «Цивилизация», рассматриваемая

117

обычно как имеющееся, как нечто готовое и просто данное, вне всякой связи с ее происхождением, на самом деле представляет собой процесс или часть процесса, в котором мы сами принимаем участие. Все причисляемые к ней элементы — машины, научные открытия, формы государства и т.п. — суть свидетельства особого рода структуры человеческих отношений, общества, равно как и особого рода человеческого поведения. Остается задать вопрос о том, насколько доступны для нашего познания эти

изменения в поведении, можно ли с достаточной точностью отобразить в мысли социальный процесс «цивилизации» людей или, по крайней мере, отдельные его фазы и элементарные черты.

Примечания

¹ Wallach S.R. Das abendländische Gemeinschaftsbewußtsein im Mittelalter // Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance / Hrsg. v. W.Goetz. Lpz.-B., 1928. Bd. 34. S. 25-29. Здесь для обозначения латинского христианства, а тем самым и Запада в целом приводятся такие выражения, как «латинский народ», «латиняне, из каких бы земель они ни происходили».

² В «Bibliotheca Erasiana» (Gent, 1893) указаны 130 изданий. Точнее, их было 131, если включить в список еще и работу 1526 г. К сожалению, последняя была для меня недоступна, а потому я не могу сказать, насколько она совпадает с последующими изданиями.

После «Colloquien», «Moriae Encomium», «Adagia» и «De duplici copia verborum ac rerum commentarii» работа «De civilitate» относится к наиболее часто издававшимся трудам Эразма (таблицу с указанием количества изданий всех работ Эразма см. в: *Mangan*. Life, Character and Influence of Desiderius Erasmus of Rotterdam. L., 1927. T. 2. P. 396 f.). Если учесть немалое число произведений, так или иначе связанных с этим сочинением Эразма, т.е. если посмотреть на круг оказанного им влияния, то его значимость в сравнении с другими его трудами еще более возрастет. Для оценки непосредственного воздействия следует обратить внимание на те труды, которые чаще всего переводились с «языка ученых» на национальные языки. Полный анализ этого воздействия пока отсутствует. Когда речь идет о Франции, М.Манн (*Mann M.* Erasme et les Débuts de la Réforme Française. P., 1934. P. 181) считает самым удивительным «la prépondérance des ouvrages d'instruction ou de piété sur les livres plaisants ou satiriques. "L'Eloge de la folie", les "Colloques"... n'occupent guère de place dans cette liste... Ce sont les "Apothegmes", la "Préparation à la mort", la "Civilité puérile", qui attireraient les traducteurs et que la le public demandait». («...преобладание книг по воспитанию и набожности над развлекательными и сатирическими книгами... "Похвале глупости" и "Коллоквиам" нет места в этом списке... Переводчиков привлекают "Апофегмы", "Приготовление к смерти" и "О приличии детских нравов", их требует публика». — *A.P.*) Соответствующий анализ успеха тех или иных трудов в немецких и голландских землях даст, вероятно, иные результаты. Можно предположить, что

118

здесь большей популярностью пользовались сатирические сочинения Эразма (см. также ниже, прим. 2 к главе III).

Тем не менее успех латинского издания «De civilitate» в немецкоязычных землях не вызывает сомнений. Кирхгоф установил, что за три года (в 1547, 1551 и 1558 гг.) в Лейпциг было поставлено не менее 654 экземпляров «De civilitate» — больше, чем любых других книг Эразма (*Kirchhoff*. Leipziger Sortimentschändler im 16. Jahrhundert. — Цит. по: *Woodward H.* Desiderius Erasmus. Cambridge, 1904. P. 156.).

³ Ср. замечания А. Бонно относительно писаний о «цивильности» в его издании «Civilité puerilé» (см. ниже, прим. 7 к главе III).

⁴ Несмотря на огромный успех, выпавший на долю этого произведения в свое время, ему уделялось сравнительно небольшое внимание в посвященной Эразму литературе Нового времени. Это и понятно, если учесть тему данного сочинения. Манеры, формы обращения, поведения, будучи столь значимыми для моделирования человека и его отношений, не представляют собой чего-то особо интересного для истории идей. Мимоходом сказанное Эрисманом о «придворной выучке» в его «Истории немецкой литературы от начала до конца средних веков» («Учение о воспитании подростков из благородных. Ничуть не углубляет его учение о добродетели») дает хорошее представление о тех научных оценках, которые часто даются этому произведению (см.: *Ehrismann*. Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. Bd. 6. T. 2. S. 330.).

Правда, во Франции сочинения об учтивом обращении, принадлежащие к определенному времени — к XVII в., — давно стали вызывать широкий интерес, о чем можно судить по цитируемой нами работе Д.Пароди (см. ниже, прим. 17 к главе IX) и прежде всего по обстоятельному исследованию М.Маженди (*Magendie M.* La politesse mondaine. P., 1925.).

То же самое можно сказать об исследовании Б. Гретюизена, в котором за исходный пункт берутся более или менее посредственные литературные произведения, чтобы проследить некую линию перемен, затрагивающих людей и ведущих к трансформации социальных стандартов (см.: *Groethuysen B.* Origines de l'esprit bourgeois en France. P., 1927. P. 45ff).

Материал второй части настоящего исследования стоит, так сказать, еще на одну ступень ниже, чем тот, что использовался в указанных исследованиях. Но может быть, они позволяют показать, что эта «малая» литература имеет большое значение для понимания великих перемен в строении человека и его отношений.

⁵ См.: *Franklin A.* Les repas. P. 164-166; здесь можно найти множество других цитат на эту тему.

Глава II. Средневековые манеры

1

В работе Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium» обозначены определенные формы общественного поведения. Уже поэтому здесь сложно ограничиться простым противопоставлением «цивилизованного» и «нецивилизованного».

Были ли у Эразма предшественники? Или он был первым, кто обращался к подобным вопросам?

Ни в коей мере нельзя признать его приоритет. Сходные вопросы обсуждались и в Средневековье, и в греко-римской античности, да и в близких по времени «цивилизациях», предшествующих нашей.

Невозможно погрузиться в непрерывный процесс бесконечно. Какой бы исходный пункт мы ни избрали, ему предшествует определенное движение: что-то обязательно было раньше. Для обращенного к прошлому исследования требуются границы — по возможности такие, чтобы они соответствовали фазам действительного процесса. Нам будет достаточно в качестве исходного взять средневековый стандарт. Мы

не будем его обстоятельно разбирать, он нужен нам для того, чтобы проследить движение — ту линию развития, которая ведет от него к стандарту Нового времени.

Средние века оставили нам множество свидетельств о том, что считалось достойным поведением в обществе. И в это время предписания, касающиеся поведения за едой, играли особую роль. Еда и питье еще занимали центральное место в общественной жизни; часто, хотя и не всегда, они были фоном беседы и совместных развлечений или служили их началом.

Ученые клирики оставили записи на латинском языке, передающие предписания для поведения и выступающие в качестве свидетельств о существовавшем в том обществе стандарте. Гуго Сен-Викторский (умер в 1141 г.) в своем труде «*De institutione novitiarum*» среди прочего рассматривал и такие вопросы. В начале II в. к ним обращается крещеный испанский еврей Петр Альфонси в своей работе «*Disciplina clericalis*». Иоанн Гарланд-

120

ский посвятил данной теме 662 стиха, озаглавив их «*Morale scolarium*» (1241); часть из них касается манер, в особенности поведения за столом.

Помимо таких предписаний, вышедших из-под пера говорящих на латыни клириков, начиная с XIII в. появляются сходные свидетельства на различных народных языках. Их авторами поначалу были представители рыцарского придворного общества.

Первые сведения о привычках и манерах высшего слоя мирян дают нам Прованс и соседняя, культурно с ним связанная Италия. Самый ранний немецкий куртуазный текст был переводом с «влахского» и даже имел название «Влахский гость». Его автором, Томазином Циркларийским, был написан на «влахском» еще один куртуазный труд, в немецком заглавии которого присутствует ранняя форма понятия «учтивость»: эта утерянная книга упоминается как «*buoch von der hüfscheit*».

Из того же рыцарско-придворного круга происходят пятьдесят «куртезий» Бонвичино да Рива и приписываемое Таннгейзеру «Придворное воспитание». Иной раз подобные предписания мы находим в больших эпических поэмах рыцарско-придворного общества, например в «Романе о розе»¹ четырнадцатого столетия. Книга «*Book of Nurture*» Джона Рассела, датируемая, скорее всего, XV в., излагает в стихах на английском языке уже весь комpendиум правил поведения молодого дворянина, состоящего на службе у крупного феодала (сокращенно книга называлась «*The Babees Book*»²).

Помимо указанных источников существовали составленные чаще всего в XIV-XV вв. (хотя, судя по основному содержанию, относящиеся к более раннему времени) короткие или длинные стихи-памятки на разных языках, излагающие «правила застолья». В средневековом обществе, где книги были редки и дороги, заучивание наизусть играло иную, чем сегодня, роль, выступая в качестве средства воспитания. Зарифмованные предписания выступали в качестве важного инструмента формирования человека, с его помощью стремились заложить в его память те правила, в соответствии с которыми ему следовало вести себя в обществе, в первую очередь, за столом.

2

Эти «правила застолья», равно как и отнюдь не анонимные труды о манерах, не были в Средние века авторскими произведениями в современном смысле слова, т.е. записью личных впечатлений, произведенной в условиях чрезвычайно индивидуализированного общества. Дошедшие до нас записи являются фрагментами большой устной традиции, отображением того, что было в этом обществе принято; они значимы именно потому, что передают не великое и исключительное, но типичное. Даже подпи-

121

санные стихи, вроде «*Hofzucht*» Таннгейзера или «*Book of Nurture*» Джона Рассела, представляют собой индивидуальные редакции одной из многочисленных традиций, пронизывавших разные слои этого общества. Авторы стихов были не законодателями или творцами данных предписаний, а собирателями, упорядочивавшими привычные для общества запреты и табу. Поэтому почти во всех текстах — независимо от того, были ли они литературно обработаны или нет, — мы обнаруживаем сходные предписания, отображающие одинаковые обычаи. Мы имеем дело со свидетельствами определенных стандартов поведения и аффектов в жизни самого общества.

При ближайшем рассмотрении можно обнаружить особенности национальных традиций, а в каждой из них, если позволяет материал, увидеть различия социальных стандартов и изменения в пределах данной традиции. Например, в XIV-XV вв. меняется тональность стихов, возможно, отображая изменения обычаев вместе с подъемом бюргерских элементов — подобно тому, как в Новое время первоначальная придворно-аристократическая модель трансформировалась по мере ассимиляции ее буржуазными кругами.

Такого рода модификации средневекового поведения заслуживают более основательного изучения. Пока нам достаточно просто упомянуть о них и напомнить, что средневековый стандарт нельзя считать статичным. Он, конечно, не был «началом» или «нижней ступенью» процесса «цивилизации», равно как, вопреки встречающемуся мнению, не был ни «варварством», ни «первобытностью».

Имелся иной, отличный от нашего, стандарт, и мы не станем обсуждать вопрос о том, лучше он или хуже нашего. И если «поиски утраченного прошлого» шаг за шагом и ведут нас от XVIII в XVI, а затем в XII—XIII вв., то предпринимаются такие поиски вовсе не с целью найти «начало» процесса цивилизации. От средневекового стандарта нам следует подняться к стандарту Нового времени, попытавшись понять, что же

происходило с людьми. Обратный путь дает обильный материал для размышлений об этом движении, направленном к нам самим.

3

Стандарт «хороших манер» в Средние века, подобно всем позднейшим аналогичным предписаниям, был представлен в достаточно определенных понятиях. Посредством этого стандарта высший слой мирян Средневековья (или хотя бы верхушки этого слоя) выражал свое самосознание, специфику своего мироощущения. Содержание этого самосознания, как и правил поведения «в обществе», именовалось по-французски «courtoisie», по-английски «courtesy», по-итальянски «cortezia». Помимо ряда

122

близких терминов — часто с разного рода смысловыми отклонениями — это содержание выражалось в Германии то как «hövescheit», то как «hübescheit», то даже как «zuht». Все эти понятия прямо и недвусмысленно, откровеннее, чем более поздние слова, указывают на определенное социальное место. Они говорят нам: так ведут себя при дворе. С их помощью верхушка высшего слоя мирян, т.е. даже не все рыцарство, а лишь придворное окружение крупнейших феодалов, фиксирует свое мироощущение. Это делается посредством специфических заповедей и запретов, выработанных сначала при больших феодальных дворах, а затем переданных более широким слоям. Пока нас не занимает такого рода дифференциация. В сравнении с другими временами мы сразу чувствуем единообразие в том, что считалось хорошими и дурными привычками, а тем самым и наличие определенного «стандарта». Каков этот стандарт, что именно выступало в качестве типичного и придавало предписаниям всеобщий характер? Прежде всего то, что в сравнении с более поздними временами можно назвать простотой и наивностью. Как и во всех обществах, где аффекты проявляются непосредственно и спонтанно, их осмысление почти лишено психологических оттенков и не предполагает никаких сложностей. Есть друзья и враги, приятное и неприятное, хорошие и дурные люди.

*«Dem vrumen soltu volgen,
dem boesen wis erbolgen¹⁾»,—*

говорится в немецком переводе «Disticha Catonis»³, инструкциях относительно поведения, получивших хождение в Средние века под названием «Катон».

В другом месте мы читаем:

*«Svenne dîn gesinde dich
erzürne, lieber sun, sô sich
daz dir werde iht sô gâch
daz dich geriue dar nâch²⁾»⁴.*

Тут все просто, влечения и стремления менее сдержанны, чем впоследствии. Это относится и к еде.

В «Hofzucht» Таннгейзера³ говорится:

*«Kein edeler man selbander sol
mit einem leffel sufen niht;
daz zimet hübschen liuten wol,
den dicke unedeelich geschiht³⁾».*

«Лучшие люди» здесь — это люди благородные, «придворные». Правила придворного воспитания явно предназначаются

123

для высшего слоя, для рыцарей при дворе. Благородные, «hoveliche» манеры всякий раз противопоставляются «geburischen Siten», поведению крестьян. Вот некоторые из правил.

Если ты откусил от куска хлеба, то не мажай его в общее блюдо. Так поступают крестьяне, а не «лучшие люди»:

*«Sümliche bizent ab der sniten
und stozen in die schüzzel wider
nach geburischen siten;
sülh unzuht legent diu hübschen nider⁴⁾»⁶.*

Не следует бросать обглоданные кости обратно в общее блюдо:

*«Etlicher ist also genuot,
swenn er daz bein genagen hat,
daz erz wider in die schüssel tuot;
daz habet gar für misse tat⁵⁾»⁷.*

Из других свидетельств мы знаем, что было принято бросать их на пол:

*«Der riuspet, swenne er ezzen sol, und in daz tischlach sniuzet sich, diu beide ziment niht gar wol, als ich des kan
versehen mich⁶⁾»⁸.*

Одно из правил касается поведения в том случае, если за столом нужно высморкаться:

*«Swer ob dem tische sniuzet sich, ob er ez ribet an die hant, der ist ein gouch, versihe ich mich, dem ist niht besser
zuht bekannt⁷⁾»⁹.*

Разумеется, чтобы высморкаться, нужно воспользоваться рукой. Носовых платков еще нет. Но за столом следует быть предусмотрительным и ни в коем случае не сморкаться в скатерть.

Далее говорится, что за едой не следует чавкать и сопеть:

«Swer snudet als ein wazzerdahs, so er izzet, als etlicher phliget, und smatzet als ein Beiersahs, wie gar der sich der zuht verwiget⁸⁾,¹⁰».

Если захочется почесаться, то делать это нужно не рукой, а краем одежды:

124

*«Jr sült die kel ouch jucken niht,
so ir ezrt, mit blozer hant;
ob ez aber also geschicht,
so nemet hovelich daz. gewan⁹⁾,¹¹»*.

С общего блюда мясо брали рукой, а потому во время еды этой рукой не следовало притрагиваться к ушам, носу и глазам:

*«In diu oren grifen niht enzimt
und ougen, als etlicher tuot,
swer den un flat von der nasen nimt,
so er izzet, diu driu sint niht guot¹⁰⁾,¹²»*.

Перед едой руки нужно помыть:

*«Ich hoere von sümlichen sagen
(ist daz war, daz zimet übel),
daz si ezzen ungetwagen;
den selben müezen erlamen die knübel¹¹⁾,¹³»*.

Во многих близких к «Hofzuht» Таннгейзера и чуть ли не дословно с ним совпадающих правилах поведения за столом (называемых «Tischzucht» или «ein sprach der ze tische kert»¹⁴⁾ требуется брать пищу только одной рукой, в особенности, если на всех приходится одна тарелка или блюдо, что случалось довольно часто:

*«Man sol ouch ezzen alle frist
mit der hant diu enegen ist;
sitzt der gesell ze rehten hant,
mit der tenken iz zehant;
man sol sich geren wenden
daz man ezz mit beiden henden¹²⁾,¹⁵»*.

Если нет полотенца, то не следует вытирать руки о платье, нужно дать им обсохнуть, говорится в одном из стихов¹⁶⁾. Либо даже так:

*«Schaffe vor, swaz dir sí nôt,
daz du iht sitzest schamerôt¹³⁾,¹⁷»*.

Нехорошо и ослаблять пояс за столом¹⁸⁾.

Все это говорится взрослым — во всяком случае, не только детям. Нам подобные предписания, обращенные к представителям высшего слоя, кажутся элементарными; они много проще того, что сегодня считается общепринятым у сельских жителей. С известными вариациями тот же самый стандарт мы находим в куртуазных писаниях на других языках.

125

4

Одну из многочисленных традиций, которая шла от латинских источников к французским, а также итальянским и провансальским текстам о застольных манерах, составляли заповеди и запреты, сводившиеся во всех своих вариантах к некоему общему знаменателю¹⁹⁾. В целом они совпадали с немецкими предписаниями. Тут мы находим такое же, как и у Таннгейзера, правило: перед едой нужно прочесть молитву. Вновь и вновь повторяются требования: занимай положенное тебе место, не прикасайся к носу или к ушам, пока сидишь за столом. Часто говорится: не клади локти на стол, не криви лицо, слишком много не болтай. Постоянно встречаются напоминания о том, что не хорошо чесаться и жадно набрасываться на еду. Кусок, который побывал у тебя во рту, нельзя класть обратно на общее блюдо. Столь же часто напоминает, что руки перед едой нужно помыть, что пищу нельзя совать в солонку, что ножом не следует ковырять в зубах.

Тексты пестрят подобного рода предписаниями. Не плюй на скатерть или под нее. Не тянись снова к блюду, которое уже передали дальше. Не ходи вокруг стола. Вытри губы перед тем, как пить. Не говори дурного о кушаньях, да и вообще не произноси ничего неприятного для других. Если обмакнул в вино хлеб, то выпей вино до конца или выплесни остатки. Не чисти зубы о полотенце. Не предлагай другим остатки недоеденного тобой супа или ломоть хлеба, если ты от него уже откусил. Громко не сморкайся. Не спи за столом. И так далее.

Предписания и указания такого рода, свидетельствующие об одинаковом состоянии нравов, обнаруживаются и в ряде других стихов, посвященных манерам, причем в традициях, прямо не связанных с французской. Повсюду мы встречаемся с указаниями на определенный стандарт отношений между людьми, со свидетельствами, повествующими о структуре средневекового общества и средневековой «душе». Родство между ними является социогенетическим и психогенетическим. Литературное родство между французскими, английскими, итальянскими, немецкими, латинскими предписаниями возможно, но не

обязательно. Значимость различий между ними отступает на второй план перед сходством черт, соответствующим единообразию реального поведения высшего слоя средневекового общества. Это единообразие сопоставимо с единообразием, характерным для Нового времени.

Например, «Куртезии» Бонвичино да Рива, будучи наиболее личностными и, помимо этого, соответствующими уровню развития Италии, а потому «прогрессивными» правилами поведения, содержат, наряду с прочими, и упомянутый выше французский ряд предписаний, вроде требования отворачиваться при

126

кашле или чихании или указания не облизывать пальцы. Тут говорится, что не следует отыскивать на блюде куски получше и что хлеб пристойно резать на куски. Пальцами нельзя залезать за край общей чаши, каковую не хорошо хватать обеими руками. Содержание «куртуазности», стандарт, обычай в целом остаются теми же самыми. Любопытно, что живший через три века после Бонвичино да Рива переработчик его «Куртезий» из всего ряда правил существенно изменил только два²⁰. Он советует брать чашу двумя руками лишь в том случае, если она полна до краев и из нее пьют многие; хлеб вообще не следует макать в общую чашу, тогда как да Рива предписывал только выпить все или вытрясти остатки хлеба.

То же самое мы видим в немецкой традиции. Немецкие «Tischzuchten» XV в., записями которых мы располагаем, по своему тону более грубы, чем относящиеся к XIII в. «Влахский гость» Томазина Циркларийского или «Hofzucht» Таннгейзера. Но стандарты приятного и неприятного в основном остаются неизменными. В связи с этим можно указать на то, что в одном из позднейших предписаний (имеющем много общего с упомянутыми нами ранними текстами) вновь появляется напоминание: не плюй на стол, — разрешается плевать только под стол или на стену. Это правило толковали как симптом огрубления нравов. Однако более чем сомнительно, что в предшествующие времена правила были иными. В более ранние времена аналогичные предписания можно найти во французской традиции. Свидетельства, взятые из литературы, понимаемой в самом широком смысле слова, можно дополнить примерами из живописи. Последняя требует более детального изучения, но если сравнить представленные в ней образы с более поздним временем, то и тут картины застолий вплоть до XV в. повсюду показывают незначительное количество посуды (даже если уже видны некоторые перемены). В домах богатых еду приносили обычно с буфетного столика, часто без определенной последовательности. Каждый брал то, что ему понравится. Все пользовались одним и тем же блюдом. Мясо брали руками, жидкие кушанья — черпаком или ложкой. Но суп или соус еще часто пили через край, поднимая тарелку или блюдо ко рту. Долгое время не было особых приборов для различных кушаний. Пользовались одинаковыми ножами, одинаковыми ложками, пили из одинаковых чаш. Часто на двух обедающих была одна тарелка.

Такова, если можно так выразиться, стандартная техника еды Средневековья, которая соответствует определенному стандарту человеческих отношений и стандарту проявления аффектов.

Как уже было сказано, в рамках этого стандарта имелось множество модификаций и дифференциаций. Например, когда за одним столом оказывались люди различного социального ранга, то вышестоящий пользовался приоритетом при мытье рук

127

или выборе куска, лежащего на блюде. Форма посуды с ходом столетий менялась. Существовали моды и даже «тенденции развития», простирающиеся сквозь колебания моды. Среди высших слоев мирян было принято иметь роскошный стол. Этот стандарт определялся не недостатком посуды, но простым отсутствием потребности в чем-то ином. Кажется само собой разумеющимся, что есть нужно так, а не иначе. Это отвечает вкусам этих людей. Свое богатство или высокое положение они показывают роскошной посудой, богатыми украшениями стола. Ложки у богатых людей XIII в. делаются из золота, хрусталя, коралла, хризотила. Иногда упоминается, что во время великого поста используются ножи с ручкой из черного дерева, на пасху — с ручкой из слоновой кости, на Троицу — инкрустированные. Ложки поначалу были круглыми и плоскими, а потому при пользовании ими приходилось широко открывать рот. И лишь начиная с XIV в. ложки приобретают овальную форму.

На исходе Средневековья появляется вилка как инструмент, используемый для того, чтобы брать кушанье с общего блюда. Полная дюжина вилок сохранилась среди драгоценностей Карла V. В описи драгоценностей Карла Савойского, включающей в себя множество роскошной посуды, упомянута одна-единственная вилка²¹.

5

Могут сказать: «Как велик наш прогресс, как далеко мы ушли от подобного стандарта». При этом не всегда понятно, с кем себя идентифицирует говорящий, — кто это «мы», на чью долю приходится такая заслуга.

Ведь возможно и прямо противоположное суждение: «А что, собственно, изменилось? Прибавилась пара обычаев, вот и все». Иные наблюдатели, кажется, готовы судить об этих обычаях так, как мы сегодня оцениваем поведение детей: «Если бы тогда появился разумный человек и сказал этим людям: "Как неаппетитно и негигиенично все то, что вы делаете!", если бы он показал им, как есть ножом и вилкой, то эти дурные манеры быстро бы исчезли».

Однако формы поведения за едой не являются чем-то изолированным. Они представляют собой весьма характерный слой целой совокупности социально закрепленных форм поведения. Данный стандарт соответствует совершенно определенной социальной структуре. Остается показать, какова эта структура.

Указанное поведение средневековых людей было не менее прочно связано с общей формой жизни, с целостной организацией существования, чем наше собственное поведение связано с нашим социальным кодом, с нашим стилем жизни и со структурой нашего общества.

128

Иной раз какое-нибудь мелкое свидетельство бросает свет на прочность этих нравов и показывает, что мы имеем дело не просто с чем-то «негативным», с неким «недостатком цивилизованности» или «знания». Напротив, данные нравы отвечали потребностям людей того времени, и сама форма тоже казалась им осмысленной и необходимой.

В XI в. один венецианский дож женился на греческой принцессе. В византийском мире уже пользовались вилок. По крайней мере, мы читаем, что принцесса подносила кушанья ко рту «au moyen de petites fourches en or et à deux dents»²². Это вызвало в Венеции страшный скандал: «Cette nouveauté passa pour une marque de raffinement si outré, que la dogaresse fut sévèrement objurgée par les ecclésiastiques, qui attirèrent sur elle le courroux divin. Peu après, elle était atteinte d'une maladie repoussante et Saint Bonaventure n'hésita pas à déclarer que c'était un châtiment de Dieu¹⁴».

Должно было пройти пять веков, и структура человеческих отношений должна была измениться настолько значительно, чтобы использование этого инструмента стало отвечать общей потребности. Начиная с XVI в. вилка приходит из Италии сначала во Францию, затем в Англию и Германию, — по крайней мере, в высшие слои. Она постепенно становится орудием еды — после того, как долгое время служила лишь для того, чтобы брать твердую пищу с блюда. Генрих III привозит ее — вероятно, из Венеции — во Францию. Над его придворными насмехались в немалой мере и из-за их «неестественной» манеры есть: поначалу им с трудом давалось вкушать пищу с использованием этого орудия. Сохранились рассказы о том, что половина кушаний не попадала в рот и падала с вилки обратно в тарелку. То, что кажется нам само собой разумеющимся потому, что мы с детства приспосабливаемся к данному социальному стандарту, долго и мучительно входило в обиход. Это относится не только к такой мелкой и внешне незначительной вещи, как вилка, но и к значительно более весомым и значимым формам поведения²³.

Еще в XVII в. вилка оставалась предметом роскоши, доступной лишь для высшего слоя, — вилки делались из золота и серебра.

Однако описанная выше реакция на это «новшество» совершенно отчетливо показывает: люди, которые ели так, как это было принято в Средние века, которые брали куски мяса руками с общего блюда, пили вино из одной чаши, а суп — из одного котелка или одной тарелки (примеров было приведено уже достаточно и можно было бы привести еще множество), находились в иных, чем мы, отношениях друг с другом. Наше отличие от них касается не только ясности сознания и точности понятий, оно затрагивает и эмоциональную жизнь, обладавшую у них иной структурой и иным характером. Их аффекты, формы общения и поведения не отвечают воспитанию, принятому в нашем

129

мире, — они воспринимаются как отталкивающие или, по крайней мере, не слишком приятные. В этом куртуазном мире отсутствовала — или по крайней мере не была столь значительной — та незримая стена аффектов, что сегодня отделяет друг от друга тела людей. Сегодня эта стена ощутима уже при приближении к другому человеку, при соприкосновении с чужим ртом или руками. Неприятное чувство возникает не только при *виде* некоторых телесных отправлений, но при простом их *упоминании*. Мы испытываем чувство стыда, если предстаем перед глазами другого во время этих отправлений, да и не только в таких случаях.

Примечания

¹ Данное произведение было переиздано в XIX в. в «The Babees Book» (The Babees Book // Early English Text Society / Ed. by F.J.Furnivall. Original Series. 1, 32. L., 1868. Т. 2). Прочие английские, итальянские, французские и немецкие тексты такого рода см. в: Early English Text Society / Ed. by F.J.Furnivall. Extra Series. VIII. L., 1869 (в том числе в изданной в этой серии «A Booke of Precedence» и т.д.). В английских текстах особенно хорошо заметно то, что они служили для подготовки молодых дворян к службе в доме кого-либо из «великих мира сего». Один итальянский наблюдатель английских нравов писал где-то в 1500 г., что англичане заняты такой подготовкой потому, что в качестве слуг чужие дети лучше, чем собственные. «Ведь если б у них дома были собственные дети, то им приходилось бы давать ту же еду, что и самим себе» (см.: Introduction // A Fifteenth Century Courtesy-Book / Ed. by R.W.Chambers. L., 1914. P. 6). Любопытно, что этим итальянским наблюдателем 1500 г. подчеркивается: «Англичане — большие эпикурейцы».

Некоторые другие данные приводятся в: *Quennel M., Quennel C.H.B.* A History of Everyday Things in England. L., 1931. Т. 1. P. 144.

² См. прим 1 к данной главе. Данные о немецкой литературе такого рода с отсылками к соответствующим произведениям на других языках приводятся в: *Ehrismann G.* Geschichte der Deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. München, 1935. Bd. 6. Т. 2 (об изысканных манерах — S. 326, о правилах поведения за столом — S. 328); *Merker P.* TischLichten // Merker P., Stammler W. Reallexicon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. III; Teske H. Thomasin von Zerclaere. Heidelberg, 1933. S.I 22 ff.

³ Цит. по немецкому изданию: *Zarncke.* Der deutsche Cato. Lpzg, 1852.

⁴ *Zarncke.* Op. cit. S. 39, V. 223.

⁵ *Siebert J.* Der Dichter Tannhäuser. Halle, 1934. S. 196; Die Hofzucht. V. 33f.

⁶ Die Hofzucht. V. 45f.

⁷ Ibid. V. 49f.

⁸ Ibid. V. 57f.

⁹ Ibid. V. 129f.

¹⁰ Ibid. V. 61 f.

¹¹ Ibid. V. 109f.

¹² Ibid. V. 157f.

¹³ Ibid. V. 141f.

130

¹⁴ Zarncke. Op. cit. S. 136.

¹⁵ Ibid. S. 137. V. 287f.

¹⁶ Ibid. S. 136. V. 258f.

¹⁷ Ibid. S. 136. V. 263f.

¹⁸ Die Hofzucht. V. 125f.

¹⁹ Glixelli. Les contenances de Table (см. ниже, прим. 4 к главе III).

²⁰ Ср. «The Babees Book» и «A Booke of Precedence» (см. прим. 1 к данной главе).

²¹ Ср. Gleichen Rußwurm A.v. Die gothischc Welt. Stuttgart, 1922. S. 320ff.

²² Cabanès S.A. Moeurs intimes du temps passé. Paris o.D., 1. Sér. P. 248.

²³ Cabanès S.A. Op. cit. P. 252.

Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения

1

Происходил ли сдвиг порога неприятного и границы стыда во времена Эразма? Содержит ли его труд признаки того, что возрастала чувствительность людей, что они стали ожидать друг от друга большей сдержанности? Мы вполне обоснованно можем это предположить. Труды о манерах, принадлежащие перу гуманистов, образуют своего рода мост между такого рода текстами, возникшими в Средние века и в Новое время. Труд Эразма, служащий вершиной ряда произведений гуманистов о манерах, предстает как бы в двух обликах. Во многом он еще несет в себе черты средневекового стандарта. Немалая часть приведенных в нем правил и предписаний относится к традиции куртуазных писаний. Но в то же самое время мы сталкиваемся с началом чего-то совершенно нового. Начинается постепенное развитие того понятия, которое в дальнейшем займет место рыцарско-феодалного понятия придворной учтивости. В шестнадцатом столетии слово «courtoisie» в высших слоях употребляется все реже, оно заменяется словом «civilité» и к XVII в. (по крайней мере во Франции) полностью вытесняется им. Это свидетельствует о довольно значительном изменении поведения. Конечно, подобная перемена не означала, что на место одного идеала хорошего поведения вдруг явился радикально другой. Если взять «civilitas morum puerilium» Эразма, то, как уже было сказано, здесь хорошо заметны следы средневековой традиции. Вновь перечисляются почти все правила куртуазного общества. Мясо все еще едят руками, и Эразм подчеркивает: нужно брать его тремя пальцами, а не всей рукой. Мы опять встречаем здесь знакомые указания, как пользоваться ножом, и предписания, вроде того, что на еду не следует набрасываться, что нужно помыть руки, что нельзя плевать и сморкаться и т.д. Вполне возможно, что Эразм знал иные из рифмованных «Tischzuchten» или был знаком с текстами клириков, написанными на эту тему. Немалое число таких трудов имело широкое хождение. Вряд ли они прошли незамеченными для Эразма. Со значительно большей уверенностью мы можем говорить о его связи с наследием ан-

132

тичности — на данный источник его сочинения указывали уже комментаторы из числа его современников. Место этого наследия в обширной гуманистической литературе, посвященной теме воспитания и приличий, еще нуждается в уточнении¹. Но какими бы ни были литературные связи, интерес представляет здесь то, что можно назвать социогенезом. Ведь Эразм не просто компилировал другие книги, когда писал свою собственную; подобно всем прочим, кто писал на эту тему, Эразм был непосредственным свидетелем определенного социального кода, стандартов порядочного и непорядочного. Труд о манерах является плодом его наблюдений за жизнью и обществом и, подобно другим сочинениям, также содержал в себе (как кто-то сказал о нем) «всего понемногу со всего мира». Об этом свидетельствуют успех книги, ее широкое распространение, обретение ею функции учебника по воспитанию мальчиков — она отвечала общественной потребности, она выдвигала ту модель поведения, которая принадлежала своему времени, своему обществу или, точнее говоря, поначалу лишь высшему слою данного общества.

2

Общество находилось «на переходе». Это относилось и к сочинениям о манерах. По тону, по способу рассмотрения вопросов мы ощущаем, что при всей привязанности к Средневековью в них появляется нечто новое. То, что воспринималось нами как «простота», утрачивается, а именно, непосредственное противопоставление «хорошего» и «дурного», «благочестия» и «зла». Авторы начинают проводить более тонкие различия, а это означает, что люди больше сдерживают свои аффекты.

От записей куртуазного кода труды гуманистов и прежде всего книга Эразма отличаются тем, что не только излагают правила или занимаются различением добрых и дурных привычек. Они разнятся и по тону, и по

способу видения. Те же самые социальные правила, которые в Средневековье передавались из уст в уста как некое безличное достояние, теперь проговариваются иначе, с осязательно иными акцентами. Здесь держит речь человек, уже не просто передающий содержание традиции. Даже если он перерабатывает средневековые или преимущественно античные тексты, то в основе лежат его личные наблюдения — мы имеем дело с записью собственного опыта. Даже если отвлечься от «*De civilitate morum puerilium*» и взять более ранние произведения Эразма, мы находим в них эту взаимосвязь средневековых и античных традиций с собственным опытом автора, причем выраженную в даже более откровенной и непосредственной форме. Уже в «*Colloquia*», произведении, явно следующем за античными моделями (в первую очередь за Лукианом), и особенно в диалоге «*Diversoria*» (Базель, 1523) Эразм нередко

133

прямо ссылается на тот опыт, который затем будет им включен в «*civilitas morum*».

В «*Diversoria*» речь идет о различиях между нравами на немецких и французских постоянных дворах. Например, Эразм пишет о гостинной на немецком постоялом дворе: от восьмидесяти до девяноста человек сидят рядом друг с другом, причем, как подчеркивается, не только простой народ, но также богатые и знатные, мужчины, женщины, дети — все вместе. Каждый делает то, что ему вздумается. Один стирает платье и развешивает мокрые вещи на печи. Другой моет руки, только, как говорит рассказчик, тазик такой чистый, что понадобился бы второй, дабы отмыться от этой воды. Воняет чесноком и прочей гадостью. Повсюду наплевано. Кто-то взялся чистить свои сапоги на столе. Затем приносят еду. Всякий макает свой хлеб в общее блюдо, откусывает и снова макает. Тарелки грязные, вино плохое, а если кто-то желает получить получше, то хозяин отвечает: «У меня перебивало много дворян и графов, если не нравится — ищи другой двор». Особенно достается чужеземцам. Во-первых, все на них непрерывно глазуют, словно они звери из Африки. Во-вторых, людьми тут считаются только благородные, да еще лишь из собственной страны.

В комнате слишком сильно натоплено, все потеют в этом чаду и только и делают, что вытирают пот. Кто-то из постояльцев наверняка болен. «Вероятно, — говорит рассказчик, — у большинства из них испанская болезнь, так что бояться остается только проказы». — «Храбрые люди, — отвечает кто-то, — они над этим подшучивают и ничуть не беспокоятся». — «Но эта храбрость многим стоила жизни». — «А что им делать? К этому они привыкли, а человеку сердечному трудно порвать со своими привычками».

3

Как и те, кто до или после него описывал поведение или способы обращения, Эразм выступает прежде всего в качестве собирателя наблюдений об относительно хороших и дурных нравах, встречающихся в самой жизни. В описании этих нравов обнаруживаются основное сходство и основные различия текстов того времени. Такого рода тексты обычно в меньшей мере привлекают наше внимание, чем произведения, в которых содержатся неповторимые идеи какой-либо выдающейся личности. Но особое значение им придает именно то, что уже самой своей темой они принуждены следовать самой социальной реальности, — они выступают как свидетельства об общественных процессах.

Однако заметки Эразма на эту тему (наряду с произведениями некоторых других авторов этой фазы развития общества) в традиционном ряду трудов о манерах принадлежат все же к чис-

134

лу исключений. Индивидуальный темперамент накладывает отпечаток на изложение зачастую весьма древних предписаний и заповедей. Как раз это является «знаком времени», выражением перестройки общества, симптомом того, что иногда по недоразумению называют «индивидуализацией». Следует обратить внимание на еще один момент: проблема поведения в обществе стала в то время настолько важной, что ею не пренебрегали и люди уникальной одаренности и большой известности. Впоследствии такими вопросами вновь стали заниматься умы второго и третьего разрядов, переписывая, развивая, расширяя сказанное, хотя уже и не так обезличенно, как в средневековой традиции сочинений о манерах.

Нам еще придется говорить о социальных движениях, с которыми связаны изменения поведения, форм общения и порогов чувствительности. Перед тем как обсуждать подобные вопросы, нам следует сказать еще несколько слов. Это необходимо для понимания места Эразма в данной литературной традиции и его способа говорить о манерах.

Труд Эразма появляется во время социальной перегруппировки сил: он служит выражением плодотворного переходного периода, продлившегося от радикального ослабления средневековой социальной иерархии и до стабилизации иерархии эпохи Нового времени. Труд относится к той фазе развития общества, когда слой старого феодального рыцарства находился в упадке, а новое придворно-абсолютистское дворянство еще только формировалось. Помимо всего прочего, данная ситуация давала шанс на социальный подъем и самому Эразму, и всем представителям небольшого слоя бюргерской интеллигенции, гуманистам. Ни раньше, ни позже у представителей этого слоя не было такой возможности снискать уважение, обрести духовную власть и свободу творчества, дистанцироваться от всего происходящего. Возможность такого дистанцирования позволяла отдельным представителям этого слоя интеллигенции не отождествлять себя целиком и полностью ни с одной из социальных групп. Несмотря на это, они, разумеется, ближе всего стоят к придворной аристократии, что находит свое выражение в книге «*De civilitate morum puerilium*». Эразм не игнорирует и не скрывает социальные различия. Он очень хорошо видит, что подлинными центрами по культивации хороших манер являются княжеские дворы. Молодому принцу, которому посвящена книга, он

говорит: «Хоть ты и молод, я веду речь о воспитании мальчиков не потому, что ты в таких речах сильно нуждаешься; ведь ты с малолетства воспитывался среди придворных и рано получил превосходного воспитателя... Не все написанное к тебе относится — ты производишь от князей и рожден для господства». Но вместе с тем Эразм всякий раз откровенно демонстрирует характерное самосознание интеллигента, поднявшегося наверх за счет усилий духа, благодаря своим познаниям и сочине-

135

ниям, легитимирующего свое положение написанными книгами. Таково самосознание представителя слоя интеллигенции, способного сохранять дистанцию по отношению к господствующим слоям и мнениям при всей своей связи с ними. «In primis pueros decet omnis modestia, — пишет он в конце посвящения молодому принцу, — et in his praecipue nobiles. Pro nobiles autem habendi sunt omnes qui studiis liberalibus excolunt animum. Pingant alii in clypeis suis leones, aquilas, tauros et leopardos: plus habent verae nobilitatis, qui pro insignibus suis tot possunt imagines depingere, quot perdidicerunt artes liberales¹⁾». Пусть другие рисуют на своих щитах львов, орлов и прочее зверье. Гораздо большим благородством обладает тот, чей герб способен вместить все достигнутое за счет культивирования искусств и наук.

Таков язык, типичный для самосознания интеллектуала на указанной ступени общественного развития. Мы без труда различаем здесь социогенетическое, психогенетическое родство этих мыслей с размышлениями немецкой интеллигенции XVIII в., легитимировавшей саму себя посредством понятий «культура» и «образование». В период, непосредственно следовавший за эпохой Эразма, лишь немногие обладали таким прямотоном или имели социальную возможность прямо и неприкрыто высказывать подобные мысли даже в посвящении высокородному господину. Вместе с растущей стабилизацией социальной иерархии подобные высказывания стали считаться бестактностью, более того, просто оскорблением. Одним из элементов учтивости, основополагающим требованием «civilité» стало строгое соблюдение различий, обусловленных социальным положением, — по крайней мере, во Франции. Аристократия и бюргерская интеллигенция общались друг с другом, но к заповедям тактичности стало принадлежать и почтительное отношение к сословным различиям, получающее недвусмысленное выражение в форме обращения. Напротив, в Германии со времен гуманистов всегда существовала бюргерская интеллигенция, жившая, за малыми исключениями, обособленно от придворно-аристократического общества, — слой интеллигенции, наделенный специфически буржуазным характером.

4

Развитие немецких книг о хороших манерах дает нам целый ряд примеров, демонстрирующих их отличие от аналогичных французских сочинений. Рассмотрение этих примеров увело бы нас далеко от нашей темы. Чтобы почувствовать эти различия, будет достаточно привести только одну книгу — «Grobianus»²⁾ Дедекинда, получившую широкое распространение в немецком переводе К.Шайдта. Немецкая «гробрианская» литература со всеми ее насмешками и издевками передает серьезную потребность в

136

«смягчении нравов», что недвусмысленно и четко свидетельствует об ее отличии от всех прочих национальных традиций. Здесь проявляется специфический бюргерский характер авторов, т.е. протестантских священников или учителей. То же самое относится к большей части всех трудов о манерах или правилах поведения, что впоследствии выходило в свет в Германии. Конечно, здесь двор также был местом их формирования, и его роль в этом процессе росла. Но социальные стены между бюргерством и придворной аристократией в Германии были более высоки, а потому выходцы из бюргерской среды пишут о придворных манерах как о чем-то далеком и чужом, как о том, что следует выучить. При всей основательности своих познаний они рассуждают об этих манерах, не имея непосредственного опыта «хорошего» поведения, зачастую с заметной беспомощностью. В более поздние времена, в особенности после Тридцатилетней войны, авторами таких книг в Германии были выходцы из относительно тонкого слоя интеллигенции, обреченного на регионально, сословно и хозяйственно ограниченную жизнь. Только со второй половины XVIII в., когда немецкая бюргерская интеллигенция стала передовым отрядом набирающей силу торговой буржуазии, желающей получить большую свободу, можно услышать слова, выражающие родственное гуманистам и особенно Эразму самосознание. Но даже в эту эпоху никто не решался прямо заявить дворянству: все звери на ваших гербах значат куда меньше, чем занятия «artes liberales», чем успехи в науках и искусствах. На это разве что намекали.

Все то, что выше говорилось о конце XVIII в., отчасти восходит к более ранней традиции, берущей начало в особой организации немецкого общества, сложившейся под конец Средневековья, когда в Германии получили мощное развитие города и бюргерство обрело значительную власть. Во Франции, а иногда в Англии и в Италии часть писателей из бюргерской среды всегда причисляла себя к придворно-аристократическим кругам. В Германии такое встречалось крайне редко. В других странах писатель из третьего сословия писал для придворных и отождествлял себя с ними, с их нравами, обычаями и воззрениями, в Германии такая полная идентификация интеллигенции с придворным высшим слоем происходила редко, их связь была слабой и совсем не самоочевидной. К тем, кто легитимировал свое положение посредством форм поведения, учтивых манер, ловкости и непринужденности в обращении, здесь давно уже относились неоднозначно и даже с некоторой подозрительностью. К тому же все эти «жизненные ценности» в среде немецкой аристократии не получили такого развития, как в иных западных странах, — в Германии придворная аристократия распадалась на множество мелких или крупных кругов, не составляя

единого «society», объединенного одним центром; к тому же эта аристократия рано стала выполнять чиновнические функции. Вместо единой тради-

137

ции, характерной для придворного общества западных стран, здесь образовались две: с одной стороны, чиновничья, университетская и культурная традиция третьего сословия, с другой — традиция военных и чиновников из дворян.

5

Следы влияния книги Эразма о манерах можно обнаружить как в Германии, так и в Англии, Франции и Италии. Его позицию сближает со взглядами позднейшей немецкой интеллигенции отсутствие самоидентификации с придворным миром, равно как и замечание, что разбор «civilitas» без сомнения есть «crassissima philosophiae pars». Это высказывание Эразма указывает на принимаемую им ценностную шкалу, очень напоминающую позднейшие оценки «цивилизации» и «культуры» в немецкой традиции.

Руководствуясь данной шкалой, Эразм не считает, что его предписания относительно поведения относятся к какому-либо одному сословию. Он не делает акцента на социальных дистинкциях (если не принимать во внимание встречающиеся иной раз замечания о крестьянах и мелких торговцах). Именно понимание этих предписаний как общечеловеческих правил, отсутствие отнесения «хорошего» поведения к определенному социальному слою, и отличает труд Эразма от сочинений его последователей в итальянской и прежде всего во французской традиции.

Эразм говорил просто: «Incessus nec fractus sit, nec praecipers». Ходи не слишком медленно и не слишком быстро. Чуть позже, в своем «Галатео», то же самое говорит итальянец Делла Каза (гл. VI, ч. III). Но у него это же правило выступает в качестве средства социальной дистинкции, и он выражает это прямо и как нечто самоочевидное: «Non dee l'huomo nobile correre per via, ne troppo affrettarsi, che cio conviene a palafreniere e non a gentilhuomo. Ne percio si dee andare si lento, ne si contengnosò come femmina o come sposa». Благородному не следует носиться подобно лакею, но и медленно ему идти нельзя, так ходят лишь женщины. С предшествующими наблюдениями хорошо сочетается тот любопытный факт, что в немецком переводе «Галатео» (в пятиязычном издании 1609 г., осуществленном в Женеве), как, впрочем, и в его латинском варианте, переводчики постоянно пытаются снять оттенок социальной дифференциации, присущий оригиналу и отсутствующий в переведенных текстах. Скажем, указанное место (с. 562) переводится так: «Как дворянину, так и всякому *почтенному человеку* не следует ни по переулкам бегать, ни слишком торопиться, ибо это пристало лакеям, а не достойному человеку... Не следует ходить и слишком медленно, подобно пышным матронам или юным невестам».

«Почтенный человек» привносится сюда, вероятно, для того, чтобы указать на городских советников. То же самое обнаружи-

138

вается во многих других местах. Там, где по-итальянски просто упоминается «gentilhuomo», по-французски говорится только «gentilhomme», в немецком переводе речь идет о «почтенных людях доброго нрава», а в латинском — о «homo honesta et bene moratus». Таких примеров можно было бы привести еще много.

Сходным образом писал Эразм. Действие тех правил, которые он приводил без всякой социальной характеристики, в итальянской и французской традициях в значительно большей мере ограничивалось высшим слоем общества. В Германии, по крайней мере, сохранялась тенденция к отказу от социальных характеристик. Но все же долгое время мало кто из пишущих достигал той степени дистанцированности от социальных различий, что была присуща Эразму. В этом смысле он занимает совершенно особое место в ряду тех, кто писал на эту тему. Такая позиция полностью соответствует особому складу его личности. Но она указывает и на обстоятельства, лежащие вне его личного характера, — на то, что общество находилось на ступени относительного ослабления социальной иерархии, между двумя большими эпохами, отличавшимися прочностью такой иерархии.

Подобная переходная ситуация оказалась весьма плодотворной. Мы можем еще раз почувствовать эту плодотворность, обратив внимание на то, как Эразм наблюдает за поведением людей. Переходная эпоха позволяет ему, с одной стороны, критиковать «мужицкое», «вульгарное», «грубое», а с другой — обходиться без безусловного одобрения нравов придворных господ, как делали многие позднейшие писатели. Хотя сам Эразм и считал эти круги «питомниками» добрых нравов, он слишком хорошо видит неестественную принудительность многих придворных обычаев и не боится критиковать их. Например, когда он пишет о жестах, используемых во время разговора, то замечает: «Не слишком хорошо презрительно выпячивать губы, так, словно собираешься самому себе свистеть. Оставь это большим господам, когда они гуляют, смешавшись с толпой». Либо он замечает: «Иным придворным оставим наслаждение от того, что хлеб они сминают и отщипывают от него кусочки щипцами для рук. Лучше попросту отрезать от него ножом».

6

Здесь мы вновь замечаем отличие такого рода предписаний от средневековых правил. Раньше, например, говорилось просто: «The breade cut faure and do not breake»³. Нарезай хлеб пристойно и не ломай его. Эразм более непосредственно включает заповеди и запреты в опыт наблюдений за людьми. Традиционные предписания, отражающие вековые обычаи, здесь оживают и выходят из окостенения. Старое правило гласит: «Жадно не набрасывайся на еду»:

*«Ne mangue mie je te commande,
avant que on serve de viande,
car il sembleroit que tu feusse
trop glout, ou que trop fain eüsse.*

.....
*Vuiddier et essever memoire
aides ta bouche, quant veulz boire²⁾»⁴.*

Эразм дает тот же самый совет, но при этом он делится своими наблюдениями. «Многие скорее не едят, а заглатьывают, словно их сейчас потащат в тюрьму, или как воры, пожирающие свою добычу, — пишет он. — Другие так набивают рот, что щеки у них раздуваются как кузнечные мехи. А иные жуют, так раздвигая губы, что чавкают наподобие свиней». И только за этими наблюдениями следует общее правило: «*Ore pleno vel bibere vel loqui, nec honestum, nec tutum*³⁾».

Конечно, помимо средневековой традиции, здесь многое восходит к античным источникам. Но прочитанное обостряет взгляд, подобно тому как увиденное обогащает чтение и письмо.

«Платье, как иногда говорят, есть плоть нашей плоти. Глядя на платье, мы можем сделать вывод о состоянии души». Сказав это, Эразм переходит к примерам того, как одежда передает те или иные душевные состояния. Мы обнаруживаем здесь начало того, что на более поздней стадии будут называть «психологическим» описанием. С ним все больше соединяется изображение учтивости на ее новой ступени, представленной понятием «*civilité*». Чтобы быть «учтивым» в смысле «*civilité*», нужно обладать наблюдательностью, нужно учитывать мотивы действий окружающих людей. А тем самым возникает новая форма интеграции отношений между людьми.

Почти через сто пятьдесят лет, когда «*civilité*» во Франции сделалась прочной и стабильной формой поведения высшего придворного слоя, «*monde*», один из его представителей начинает свое изложение «*Science du monde*» следующими словами: «*Il me semble que pour acquerir ce qu'on appelle la Science du Monde: il faut premierement s'appliquer à bien connoître les hommes tel qu'ils sont en general et entrer ensuite dans la connoissance particuliere de ceux avec qui nous avons à vivre, c'est à dire, de leurs inclinations et de leurs opinions bonnes et mauvaises, de leurs vertus et de leurs defauts*⁴⁾⁵».

То, что здесь говорится со всей определенностью и осознанностью, уже присутствует у Эразма. Но подобное стремление наблюдать общество, описывать его, связывая единичное явление и правило, увиденное и прочитанное, характерно не только для Эразма. Мы обнаруживаем это стремление в других книгах о хороших манерах эпохи Возрождения и не только в них.

140

7

Отвечая на вопрос о новых тенденциях⁶, проявившихся в подходе Эразма к человеческому поведению, можно указать именно на эту. Конечно, в процессе перестройки и новостройки, именуемой нами «Возрождением», слова «порядочный» и «непорядочный» получили иное значение. Но разрыв с прошлым отмечен не тем, что старым нормам поведения противопоставляются новые. Традиция «*courtoisie*» во многом была продолжена в обществе, избравшем для обозначения «хорошего поведения» понятие «*civilitas*».

Иной характер поведения проявляется в увеличении роли наблюдения за собственным поведением и поведением других. Люди более сознательно, чем в Средние века, подходят к воспитанию — и других, и самих себя.

Раньше говорилось: делай это и не делай того, но в общем и целом контроль был невелик. Столетиями повторялись примерно те же самые, довольно элементарные — с нашей точки зрения — предписания и запреты, что не вело к образованию прочных поведенческих стереотипов. Теперь ситуация меняется. Давление людей друг на друга возрастает, требования «хорошего поведения» приобретают все большую принудительную силу. Проблема поведения становится одной из важнейших. Правила, содержащиеся ранее в стихах-памятках или разбросанные по трактатам, написанным на совсем другие темы, собираются Эразмом в одном сочинении, причем впервые весь круг вопросов о поведении в обществе (не только за столом) освещается в работе, специально посвященной данной проблеме. Успех труда Эразма был явным признаком ее растущей значимости⁷. Близкие по духу сочинения, вроде «Придворного» Кастильоне или «Галатео» Делла Каза — если упомянуть только важнейшие из них, — появляются в это же время. За ними стоят уже указанные нами общественные процессы: старые социальные союзы если не разрушились, то ослабли, вступили в период трансформации. Индивиды разного социального происхождения оказываются в едином бурлящем котле событий, изменяющих их положение. В потоке все ускоряющейся социальной циркуляции происходят подъем одних, падение других.

На протяжении всего XVI и в начале XVII в. — где раньше, где позже, с разного рода отступлениями — идет укрепление новой социальной иерархии. Появляется новый высший слой, новая аристократия, включающая в себя людей различного социального происхождения. В результате необходимость единых для всех них правил «хорошего» поведения становится важной проблемой: изменение состава нового высшего слоя влечет за собой невиданное ранее давление на каждого принадлежащего к нему человека,

растет социальный контроль. В этой ситуации из-под пера Эразма, Кастильоне, Делла Каза и прочих авторов и вышли сочинения о манерах. Люди, принужденные к сосуществова-

141

нию в рамках новой формы, становятся более чувствительными к побуждениям ближних. Постепенно, без заметных скачков, вырабатывается кодекс поведения, в котором возрастает роль тактичности и внимания к действиям других людей. Становится более дифференцированным ощущение, что другого нельзя обижать, нельзя шокировать; социальный запрет на это теперь прочнее, чем на предшествующей ступени, он входит в новые отношения власти. Правила «courtoisie» также предписывали не говорить того, что может вызвать драку или разгневать другого:

«Non dicas verbum

cuiquam quod ei sit acerbum⁵⁾»⁸.

Либо говорилось о необходимости быть хорошим товарищем за столом, как, например, в английском труде «Book of Curtesye»:

«Awayte my chylde, ye be have you manerly

Whan at your mete ye sitte at the table

In every prees and in every company

Dispose you to be so compenable

That men may of you reporte for commenable

For thrusteth wel upon your berynge

Men wil you blame or gyue preysynge...⁶⁾»⁹.

Многое из упомянутого Эразмом относится к аналогичным предписаниям. Но в его труде четко прослеживаются и изменение тона, и рост чувствительности, и интенсификация наблюдения за людьми, и лучшее понимание того, что происходит в сознании других. Это особенно хорошо видно по замечанию в конце книги, где автор, «прорываясь» сквозь схематизм «хорошего поведения» (и высокомерие тех, кто соблюдает его правила), объявляет целью всеобъемлющую человечность: «Maxima civilitatis pars est, quum ipse nusquam delinquas, aliorum delictis facile ignoscere, nec ideo sodalem minus habere charum, si quos habet mores inconditiores. Sunt enim qui morum ruditatem aliis compensent dotibus» («Легко прощай другим их прегрешения. Такова главная добродетель "civilitas", учтивости. Пусть твой спутник будет тебе не менее мил, даже если у него меньше хороших манер. Есть люди, грубоватость которых восполняется иными дарами»). Далее говорится: «Quod si sodalis per inscitiam peccet in eo sane, quod alicuius videtur momenti, solum ac blande monere civilitatis est» («Если кто-то из твоих сотоварищей по неосмотрительности совершил проступок... скажи ему об этом одному и скажи дружески. В этом заключается цивилизованность»).

Сказанное является хорошим примером того, что при всей близости к придворному высшему слою своего времени Эразм не отождествляет себя с ним. Он сохраняет дистанцию и по отношению к кодексу этого слоя.

142

Известность «Галатео» обусловлена именно тем, что в этом произведении в целях исправления определенного недостатка реализуется последнее предписание Эразма: «Скажи ему об этом одному и скажи дружески». Но и тут со всей очевидностью подчеркивается именно придворный характер подобных манер.

К епископу Вероны, как рассказывается в этом произведении¹⁰, однажды приехал в гости граф Ришар. Епископ и его двор видят в нем «gentilissime cavaliere e di bellissime maniere». Хозяин замечает за графом единственный порок, но ничего графу не говорит. При прощании он дает ему в сопровождающие мессера Галатео. Этот придворный вельможа, принадлежавший ко двору епископа, отличался своими хорошими манерами, которые, как явным образом подчеркивается, он приобрел при дворах великих мира сего: «Molto havea de' suoi di usato alle corti de' gran Signori».

Галатео какое-то время сопровождает графа после отъезда и перед тем, как с ним расстаться, говорит, что его господин, епископ, хотел сделать графу подарок на прощание. Епископ никогда ранее не видал дворянина со столь изысканными манерами. Но он нашел у него один недостаток: граф жует слишком громко и производит тем самым неприятные для других звуки. Подарок епископа заключается в том, что он передает весть об этом графу с просьбой милостиво ее воспринять.

В средневековых стихах мы тоже часто встречаемся с предписанием «Не чавкай!». Но уже в самом начале «Галатео» становятся очевидными происшедшие изменения. Мы обнаруживаем не только растущую значимость «хорошего поведения», но и усиливающееся давление одних людей на других. Учтливое, внешне мягкое и почтительное исправление оказывается куда более жестким орудием социального контроля, в особенности, если к нему прибегает вышестоящий человек. Оно куда действеннее для выработки постоянных привычек, чем брань, насмешки или угрозы прибегнуть к телесному наказанию.

Происходит образование внутренне умиротворенных обществ. Старый кодекс поведения меняется медленно, но социальный контроль становится более обязательным. Изменяется прежде всего социальный механизм моделирования аффектов. На протяжении Средних веков стандарты хороших и дурных нравов при всех региональных и социальных различиях почти не менялись. Столетие за столетием речь шла об одних тех же правилах. Социальный кодекс лишь в малой мере превращался в устойчивые привычки самих людей. Теперь, вместе с трансформацией общества, вместе с новым устроением человеческих отношений,

происходят перемены: растет принудительная сила самоконтроля. А тем самым приходит в движение и стандарт поведения.

143

Уже в работе «Book of Curtesye» Какстона, написанной, скорее всего, в конце XV в., недвусмысленно говорится о переменах в привычках, обычаях, правилах поведения:

«Thingis whilom used ben now leyd a syde

And newe feetis, dayly ben contreuide

Mennys actes can in no plyte abyde

They be changeable unde ofle meuide

Thingis somtyme allowed is now repreuid

And after this shal thinges up aryse

That men set now but at lytyl pryse⁷⁾»¹¹.

Это звучит чуть ли не как лозунг всего движения: «Thingis somtyme allowed is now repreuid» («Некогда разрешенное теперь запрещено»).

Шестнадцатое столетие представляет собой переходную эпоху. Эразму и его современникам еще позволительно говорить о тех предметах и манерах, которые одно-два столетия спустя станут вызывать чувство стыда и будут крайне неприятны, — под запрет попадет не только совершение действия, но даже его упоминание. С той же простотой и ясностью, с какой Делла Каза рассуждает о такте и приличии, Эразм мог сказать: не крутись за столом, ибо тот, кто это делает «speciem habet, subinde ventris flatum emittentis aut emittere sonantis⁸⁾». Здесь мы имеем дело с прежней непринужденностью в речах о телесных отправлениях, характерной для людей Средневековья. Разница лишь в том, что она была обогащена наблюдательностью, вниманием к тому, «что могут подумать другие», но выражения, подобные этому, еще довольно часто встречаются.

«Поведение» людей XVI в. и кодекс их норм оставляют у историков двойственное впечатление. Тут и там мы слышим их заявления: «Это еще принадлежит Средневековью, а это уже отвечает нашему мироощущению». И такое кажущееся противоречие часто соответствует действительности. У людей того времени мы обнаруживаем как бы два облика. Они находятся на переходном этапе. Поведение и кодексы пришли в движение, но движение это — медленное. Главное, при рассмотрении данной ступени у нас нет уверенности. Возникает множество вопросов. Не является ли это случайным отклонением? Когда и где произойдет дальнейшее продвижение вперед? Что остается без изменения? Имеем ли мы дело с реальным изменением? Действительно ли, развиваясь под лозунгом «civilité», европейское общество медленно продвигается к тому упорядоченному поведению, к тому стандарту, к тем привычкам и аффектам, которые характерны для «цивилизованного» в нашем смысле общества, для западной «цивилизации»?

Это движение не так уж легко выявить — именно из-за его медленного темпа, из-за постоянных колебаний и отклонений. Для

144

этого не достаточно рассматривать по отдельности каждую фазу данного движения, опираясь на исторические свидетельства о состоянии привычек и манер. Нужно попытаться представить все движение в целом либо, по крайней мере, значительный его период. Следует нанизать друг на друга, выстроить в ряд одну картину за другой, как бы с помощью кинопроектора, чтобы одновременно обозревать постепенное изменение способов поведения и аффективных состояний, сдвиг порога чувствительности.

Книги о манерах предоставляют нам эту возможность. Они дают нам детальные свидетельства об отдельных сторонах человеческого поведения, в особенности о поведении во время еды. Эти свидетельства говорят о неизменных аспектах общественной жизни, и благодаря им мы располагаем данными, последовательно представляющими практически весь временной отрезок от XIII до XIX-XX вв. Эти картины действительно сменяют одна другую, и общий процесс становится обозримым. То обстоятельство, что наблюдению здесь подлежат простейшие разновидности поведения, где сравнительно невелики индивидуальные отклонения от социального стандарта, можно считать скорее достоинством, чем недостатком.

Правила застолья и книги о манерах представляют собой сочинения особого рода. Если иметь в виду «литературное значение» этих произведений былых времен, то в подавляющем большинстве случаев нужно признать, что оно невелико. Но если нас интересует описание поведения, ожидаемого в обществе от его членов, — того поведения, к которому хотели их приучить; если мы хотим увидеть изменения привычек, общественных запретов и табу, то именно эти лишённые литературной значимости памятки о правильном поведении приобретают особый вес. Они проливают свет на те происходящие в обществе процессы, о коих у нас имеется мало свидетельств, — по крайней мере, пока речь идет о прошлом. Они указывают на искомый стандарт манер и норм поведения, предъявлявшийся в те времена индивидам. Эти стишки и сочинения сами были прямыми инструментами «кондиционирования» или «фасонирования»¹², приспособления индивида к нормам, отвечающим устройству общества и положению в нем индивида. Одновременно они показывают — и порицаемым, и восхваляемым в них — разницу между тем, что считалось тогда нравственным и безнравственным.

Примечания

¹ Börner A. Anstand und Etikette in den Theorien der Humanisten // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. № 14. Lpzg, 1904.

² Для немецкой бюргерской литературы о манерах на исходе Средневековья и в эпоху Возрождения характерно «гробьянское переворачивание»

145
ние». Над «дурным» поведением насмеются, превратив его в якобы принятое и предписанное. На этой фазе развития немецкого общества юмор и сатира доминируют, хотя затем их роль постепенно снижается и они уходят на второй план.

Сатирическое «переворачивание» предписаний прослеживается как типичная форма воспитания манер у городского бюргерства вплоть до XV в. Самое распространенное правило — не набрасываться жадно на еду — в небольшом стихотворении того времени («Wie der maister sein sun lernet», цит. по: Zarncke. Der deutsche Cato. Lpzg, 1852. S. 148.) звучит следующим образом:

«Gedenk und merk waz ich dir sag:

wan man dir die kost her trag
so bis der erst in dr schizzel;
gedenk und scheub in deinen drizzel
als groz klampen als ain saw».

(«Примечай и запоминай, что я тебе скажу: если тебе поднесли угощение, выискивай и суй себе в рот одни только большие куски, как это делает свинья». — Перевод Т.Е.Егоровой.)

Предписание не отыскивать подолгу кусок на общем блюде переворачивается следующим образом:

«Bei allem dem daz ich dich ler
grab in der schizzel hin und her
nach dem aller besten stuck;
daz dir gefall, daz selb daz zuck,
und leg ez auf dein teller drat;
acht nicht wer daz für ubel hat».

(«Скажу вдобавок ко всему тому, в чем я тебя наставляю: копайся на блюде здесь и там в поисках лучшего куска; хватай тот, что тебе приглянулся, и быстро клади его себе на тарелку; не обращай внимания на тех, кто считает такое поведение дурным». — Перевод Т.Е.Егоровой.)

В немецком переводе К.Шайдта «Гробьянус» вышел в середине XVI в. (Grobianus. Worms, 1551); новое, переработанное издание текста было выпущено в конце XIX в. (Neudruck deutsche Literaturwerke der 16. und 17. Jahrhunderts. № 34, 35. Halle, 1882). Здесь (S. 17. V. 223ff.) мы находим совет, как вовремя очистить нос:

«Es ist der brauch in frembden landen
Als India, wo golt verhanden
Auch edel gstein und perlin güt
Dass mans an d'nasen hencken thüt.
Solch güt hat dir das glück nit bschert
Drum hör was zu deinr nasen hört:
Ein wüster kengel rechter leng
Auss beiden löchern ausssher heng,
Wie lang eisz zapffen an dem hauss,
Das ziert dein nasen uberausz,

146

Doch halt in allen dingen moss,
Dass nit der kengel werd zo gross;
Darumb hab dir ein solches mess,
Wenn er dir fleusst biss in das gfress
Und dir auff beiden lefflzen leit,
Dann ist die nass zu blitzen zeit
Auff beide ermel wüsch den rotz,
Dasz wer es seh vor unlust kotz».

(«В заморских странах — например, в Индии, — есть обычай вешать себе в нос золото, самоцветы и благородный жемчуг. Судьба обделила тебя такой счастливой возможностью, а потому послушай, что можно сделать с твоим носом: воткни себе в нос неприглядного вида палочку надлежащей длины, чтобы она выглядывала из обеих ноздрей. Она чрезвычайно украсит твой нос — вроде сосульки, свисающей с крыши... Но блюди во всем меру, чтобы эта палочка не оказалась слишком большой. Руководствуйся поэтому следующим правилом: когда у тебя течет из носа до самого рта так, что губам становится больно, — значит, пора очистить нос. Вытирай слизь обоими рукавами, чтобы сделалось дурно всякому, кто это увидит». — Перевод Т.Е.Егоровой.)

Разумеется, сказанное нужно понимать как ложное предписание, как отталкивающий пример того, что не следует делать. Как говорится на титуле вормского издания 1551 г.:

«Lisz wol disz büchlin offt und vil
Und thü allzeit das widerspil».

(«Читай же эту книжицу часто и много, и каждый раз поступай наоборот». — Перевод Т.Е.Егоровой.)

Чтобы продемонстрировать специфически бюргерский характер этого сочинения, можно привести посвящение, входящее в Гельбаховское издание 1567 г., в котором мы читаем, что «недостойный пастырь Венделин Гельбах из Экхардтхаузена» посвящает книгу «почтенному и высокоученому Адамо Лонисеро, доктору медицины и городскому врачу города Франкуфурта-на-Майне, а также Иоганну Цнипио Андронико, secundo гражданину того же города, моим любезным господам и добрым приятелям».

Длинное заглавие латинского «Гробьянуса» уже само по себе свидетельствует о том времени, когда понятие «civilitas» стало распространяться — вероятно, не без влияния книги Эразма — среди немецкой интеллигенции, пишущей на латыни. Заглавие «Гробьянуса» 1549 г. еще не содержит этого слова. Тут

говорится, помимо всего прочего: «Iron... Chlevastes Studiosae juventuti...» («Ирон... Хлеваст любознательной молодежи...»). — *A.P.*) В издании 1552 г. на том же самом месте возникает слово «civilitas»: «Iron episcopes studiosae iuventuti civilitatem optat». («Насмешник Ирон желает любознательной молодежи достичь благовоспитанности»). — *A.P.*)

Эти слова сохраняются в заглавии издания 1584 г.

Одно из изданий «Гробиануса» от 1661 г. содержит выдержку из «civilitas» Эразма.

Наконец, в переиздании «Гробиануса» 1708 г. мы читаем: «Неучтивый г-н Чурбан нарисован здесь поэтическим пером и выставлен на

147

смех всех смысленых и *цивилизированных* умов». По своему тону этот перевод значительно мягче оригинала, многое сказано с недомолвками. С ростом «цивилизации» предписания более ранней стадии развития — высказанные со всей серьезностью, несмотря на сатирический характер книги, — становятся предметом насмешек, символом как собственного превосходства, так и нарушения ими табу собственного времени.

³ The Babees Book. P. 344.

⁴ *Glixell*. Les Contenances de Table. Romania. T. XLVI. P., 1921. P. 31. V. 133 ff.

⁵ *Callières F. de*. De la Science du monde et des Connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1717. P. 6.

⁶ Артур Денеке, говоря о новых тенденциях у Эразма, пишет следующее: «Мы познакомились с представлениями о приличиях во время еды, господствующими в верхних слоях народа; теперь по знаменитой книге Эразма "De civilitate morum puerilium" мы можем узнать о правилах приличного поведения князей... Мы знакомимся со следующими новыми требованиями: если за столом подаются салфетки, то кладется салфетка на левое плечо или левое предплечье... Далее Эразм говорит: за столом следует снимать головной убор, если только это не воспрещается обычаями данной страны. Справа от тарелки находятся чаша и нож, слева лежит хлеб. Его следует не ломать, а отрезать. Неловко, да и вредно для здоровья начинать обед с выпивки. Пальцы в бульон сует только дурачье. Предложенный тебе лучший кусок не бери целиком, но предложи часть тому, кто тебе его передает, или соседу. Предложенную тебе твердую пищу бери тремя пальцами или подставь тарелку; переданную на ложке жидкую возьми в рот, но вытри ложку перед тем, как передать ее следующему гостю. Если предлагаемое вредно для твоего здоровья, то не говори: я не могу этого есть, но вежливо поблагодари. Каждый воспитанный человек должен владеть искусством разделки всякого рода жаркого. Кости и остатки еды не следует бросать на пол... Есть одновременно хлеб и мясо хорошо для здоровья... Иные люди жадно набрасываются на еду... Юноше следует говорить за столом лишь в том случае, если его спросят... Если ты сам принимаешь гостей, то можешь извиниться за скудость стола, но никогда не говори о цене тех или иных блюд. Всякую пищу следует брать правой рукой.

Мы видим, что при всей предусмотрительности воспитателя принца и несмотря на некоторые мелкие тонкости, в целом эти предписания передают тот же дух, что господствует в бюргерских правилах поведения за столом... Книгу Эразма отличает от прочих сочинений на эту тему в основном широта охвата, поскольку он стремился дать исчерпывающее описание для своего времени». (См.: *Denecke A.* Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des gesellschaftlichen Anstandsgefühls // Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte / Hrsg v. Chr. Meyer, N.F. Berlin, 1892. Bd. II. H. 2. S. 145; см. также: Programm der Gymnasium zum heiligen Kreuz. Dresden, 1891. S. 175.)

Эта цитата в известной мере дополняет наши рассуждения. К сожалению, Денеке ограничивается немецкими правилами застолья. Для полноты картины необходимо сравнить их с куртуазными сочинениями на французском и английском языках и прежде всего с наставлениями гуманистов.

⁷ См.: «La civilité puérile» par Erasme de Rotterdam, précédé d'une Notice sur les livres de Civilité depuis le XVI siècle par Alcide Bonneau. P., 1877.

148

«Erasme avait-il eu des modèles? Evidemment il n'inventait pas le savoir-vivre et bien avant lui on en avait posé les règles générales... Erasme n'en est pas moins le premier, qui ait traité la matière d'une façon spéciale et complète; aucun des auteurs que nous venons de citer n'avait envisagé la civilité ou si l'on veut la bienséance, comme pouvant faire l'objet d'une étude distincte; ils avaient formulé ça et là quelques préceptes, qui se rattachaient naturellement à l'éducation, à la morale, à la mode ou à la hygiène...». («Имелись ли у Эразма образцы? Разумеется, он не изобретал правил хорошего тона, задолго до него здесь выдвигались общие правила... Тем не менее Эразм был первым, кто специально обратился к этому предмету и трактовал его целостно: ни один из цитируемых нами авторов не делал из приличий или, если угодно, из учтивости предмет особого исследования; они лишь формулировали отдельные, разрозненные правила, связанные с обучением, моралью, модой или гигиеной...». — *A.P.*) То же самое можно сказать о «Галатео» Джованни Делла Каза (первое издание вместе с прочими его сочинениями вышло в 1558 г.) и отмечается во введении И.Э.Спингерна к осуществленному им изданию этого труда. См.: *Spingarn I.E.* «Galateo of Manners and Behaviours» by Giovanni Della Casa. L., 1914. P. XVI.

Для дальнейшей работы следует указать на то, что в английской литературе уже XV в. были большие стихотворения (изданы в «Early Text Society»), в которых подробно говорится о том, как прилично одеваться, как вести себя в церкви и за столом. Иначе говоря, охват тем здесь примерно так же широк, как в сочинении Эразма. Вполне вероятно, что он был знаком с некоторыми из этих стихов.

Конечно, тема воспитания мальчиков стала актуальной для кругов гуманистов еще до выхода небольшой книжки Эразма. Даже если отвлечься от поэмы «De moribus in mensa servandis» Иоганна Сульпиция, можно привести в качестве примера хотя бы «Disciplina et puerorum institutio» Брунфельса (1525), «De instituenda vita» Хегендорфа (1529) и «Formulae puerilium colloquiorum» Себастиана Хайдена (1528). См.: *Merker P.* Tischzuchten // Merker P., Stammler W. Reallexicon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. III.

⁸ Tischzucht «Quisquis es in mensa». V. 18 // *Glixelli*. Op. cit. S. 29.

⁹ Caxton's «Book of Curtesye» // Early English Text Society / Ed. by F.J. Furnivall. Extra Series. III. L., 1868. P. 22.

¹⁰ См.: *Della Casa*. Galateo. T. I. Kap. I, 5.

¹¹ Caxton's «Book of Curtesye». P. 45. V. 64.

¹² В американском бихевиоризме имеется ряд выражений, которые при известных модификациях можно (и даже нужно) применять по отношению к прошлому. Иные из них трудно перевести на немецкий язык. Например, «socialising the child» (см.: *Watson J.B. Psychological Care of Infant and Child. P. 112*), «habit formation», «conditioning», которые показывают, как определенные социальные условия ведут к выработке привычек, к «кондиционированию» или «моделированию» человека (см., напр.: *Watson J.B. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. P. 312*).

Глава IV. О поведении за едой

I. Примеры

(1)

Приведенные в этом разделе примеры относятся к поведению представителей высшего слоя.

А. XIII в. Из «Daz ist des tanhausers detiht und ist guod hofzuht»¹

1 *Er dänket mich ein zühtie man,
der alle zuht erkennen kan,
der keine unzuht nie gewan
und im der zühte nie zeran*¹⁾.

2 *Der zühte der ist also vil
und sint ze manegen dingen guot;
nu wizzent, der in volgen ml,
daz er vil selten missetuof*²⁾.

.....
25 *Swenne ir ezzt, so sit gemant,
daz ir vergeztt der armen niht;
so wert ir gote vil wol erkant,
ist daz den wol von iu geschiht*³⁾.

Сходно со стихом 25 звучит первое правило у Бонвичино да Рива:

*La primera è questa:
che quando tu è a mensa,
del provero bexognoxo
imprimamente inpensa*^{3a)}.

Или см. «Стих, что столом правит»²:

313 *Mit der schüzzel man niht süfen sol,
mit einem leffel, daz stât wol*^{3b)}.

150

315 *Swer sich über die schüzzel habt,
und unsüberlichen snabt
mit dem munde, als ein swîn,
der sol bî anderm vihe sîn*^{3c)}.

319 *Swer sniubet als ein lahs,
unde smatzet als ein dahs,
und rüset sô er ezzen sol,
diu driu dinc ziment niemer wol*^{3d)}.

См. также «Curtesien» Бонвичино да Рива:

*La sedexena apresso con veritae:
No sorbilar dra bocha quando tu mangi con cugial;
Quelle fa sicom bestia, chi con cugial sorbilia
Chi doncha à questa usanza, ben fa s 'el se dispolia*^{3e)}.

Либо см. «The Booke of nurture and school of good manners»³:

201 *And suppe not lowde jf thy Pottage
no tyme in all thy lyfe*^{3f)}.

33 *Kein edeler man selbänder sol
mit einem leffel süfen niht;
daz zimet hübschen liuten wol,
den dicke unedellich geschiht*⁴⁾.

37 *Mit schüzzeln süfen niemen zimt,
swie des unfuor doch maneger lobe,
der si frevellichen nimt
und in sich giuzet, als er tobe*⁵⁾.

41 *Und der sich über die schüzzel habet,
so er izzet, als ein swin,
und gar unuberliche snabet
und smatzet mit dem mubde sin...*⁶⁾

45 *Sümliche bizent ab der sniten
und stozens in die schüzzel wider
nach geburischen siten;
sülh unzuht legent die hübschen nider*⁷⁾.

К смуху 45 см. «Стих, что столом правит»:

346 *Swer diu bein benagen hât,
und wider in die schüzzel tuot,
dâ sîn die höveschen vor behuot*^{7a)}.

151

Либо см. «Quisquis es in mensa»⁴⁾:
in disco tacta non sit bucella redacta...^{7b)}

49 *Etlicher ist also genuot,
swenn er daz bein genagen hat,
daz erz wider in die schüzzel tuot;
daz habet gar für missetat*⁸⁾.

53 *Die senf und salzen ezzen gern,
die sulen des vil flizic sin,
daz si den unflat verbern
und stozen niht die vinger drin*⁹⁾.

57 *Der riuspet, swenne er ezzen sol,
und in daz tischlach sniuzet sich,
diu beide ziment niht gar wol,
als ich des kan versehen mich*¹⁰⁾.

65 *Der beide reden und ezzen wil,
diu zwei were mit einander tuon,
und in dem slaf wil reden vil,
der kan vil selten wol geruon*¹¹⁾.

К смуху 65 см. «Stans puer in mensam»⁵⁾:

22 *numquam ridebis nec faberis ore repleto...*^{11a)}

69 *Ob dem tische lat daz brehten sin,
so ir ezzet, daz sümliche tuont.
Dar an gedenkent, friunde min,
daz nie kein site so übele stuont*¹²⁾.

81 *Ez dünket mich groz missetat,
an sweme ich die unzuht sihe,
der daz ezzen in dem munde hat
und die wile trinket als ein vihe*¹³⁾.

К смуху 81 см. «Quisquis es in mensa»:

15 *qui vult potare debet prius os vacuare...*^{13a)}

Или см. «The Babees Book»:

149 *And withe fulle mouthe drynke in no wyse*^{13b)}.

152

85 *Ir sült niht blasen in den tranc,
des spulgent sümeliche gern;
daz ist ein ungewizzen danc,
der unzuht solte man enbern*¹⁴⁾.

К смуху 85 см. «The Book of curtasye»⁶⁾:

111 *Ne blow not on thy drinke ne mete,
Nether for colde, nether for hete*^{14a)}.

94 *E daz ir trinkt, so wischt den munt,
daz ir besmalzet niht den tranc;
diu hovezuht wol zimt alle stunt
und ist ein hovelich gedanc*¹⁵⁾.

К смуху 94 см. «The Babees Book»:

155 *Whanne ye shalle drynke,
Your mouthe clenche withe A clothe*^{15a)}.

Или см. «Contenance de table»⁷⁾:

*Ne boy pas la bouche baveuse,
car la coustme en est honteuse*^{15b)}.

105 *Und die sich uf den tisch legent,
so si ezzen, daz enstet niht wol;
wie selten die die helme wegent,
da man frouwen dienen sol*¹⁶⁾.

К смуху 105 см. «The Babees Book»:

146 *Nor on the borde lenynge be yee nat sene*^{16a)}.

109 *Ir sült die kel ouch jucken niht,
so ir ezzt, mit blozer hant;
ob ez aber also geschiht,
so nemet hovelich daz gewant*¹⁷⁾.

113 *Und jucket da mit, daz Zimt baz,
denn iu diu hant unuber wirf;
die zuokapher merkent daz,
swer sülhe unzuht niht verbirt*¹⁸⁾.

117 *Ir sült die zende stüren niht
mit mezzern, als etlicher tuot,
und als mit manegem noch geschiht;
swer des phliget, daz ist niht guot*¹⁹⁾.

153

К смуху 117, помимо всего прочего, см. «Stans puer in mensam»⁸⁾:

30 *Mensa cultello, denies mundare caveto*^{19a)}.

125 *Swer ob dem tisch des wertet sich,
daz er die gürtel witer lat,
so wartent sicherliche u/mich,
er ist niht visch biz an den grat*²⁰⁾.

129 *Swer ob dem tische sniuzet sich,
ob er ez ribet an die hant,
der ist ein gouch, versifie ich mich,
dem ist niht bezzer zuht bekant*²¹⁾.

141 *Ich hoere von sümlichen sagen
(ist daz war, daz zimet übel),
daz si ezzen ungetwagen;
den selben müezen erlamen knübel!*²²⁾

К смуху 141 см. «Stans puer in mensam»:

11 *Illotis manibus escas ne sumpseris unquam*^{22a)}.

157 *In diu oren grifen niht enzimt
und ougen, als etlicher tuot,
swer den unflat von der nasen nimt,
so er izzet, diu driu sint niht guot*²³⁾.

К смуху 157 см. «Quisquis es in mensa»:

9 *Non tangas aures nudis digitis neque nares*^{23a)}.

N.B. Это небольшое собрание параллельных текстов было получено при беглом обзоре различных застольных и придворных стихов-памяток. Оно ни в коем случае не является исчерпывающим. Мы привели их лишь с тем, чтобы дать почувствовать, насколько близки по тону и содержанию заповеди и запреты в различных традициях на протяжении нескольких столетий Средневековья.

В. XV в. (?) Из «S'ensuivent les contenances de la table»⁹⁾

I

*Enfant qui veult estre courtoys
Et à toutes gens agreable,
Et principalement à table,
Garde ces rigles en françois.*

Выучи эти правила.

154

II

*Enfant soit de copper soigneux
Ses ongles, et oster l'ordure,
Car se l'ordure il y endure,
Quant ilz se grate yert roingneux.*

Стриги и чисти ногти; грязь при расчесывании опасна.

III

*Enfant d'honneur, lave tes mains
A ton lever, à ton disner,
Et puis au supper sans finer;
Ce sont trois foys à tous le moins.*

Мой руки, как встанешь с постели, и
перед каждой едой.

XII

*Enfant, se tu es bien sçavant,
Ne mès pas ta main le premier
Au plat, mais laisse y toucher
Le maistre de l'hostel avant.*

Не лезь первым руками в блюдо.

XIII

*Enfant, gardez que le morseau
Que tu auras mis en ta bouche
Par une fois, jamais n 'atouche,
Ne soit remise en ton vaisseau.*

То, что побывало у тебя во рту, не
клади обратно на посуду.

XIV

*Enfant, ayes en toy remors
De t'en garder, se y as failly,
Et ne presentes a nulluy
Le morseau que tu auras mors.*

Никому не предлагай уже
надкушенный тобою кусок.

XV

*Enfant, garde toy de maschier
En ta bouche pain ou viande,
Oultre que ton cuer ne demande,
Et puis apres le recrascher.*

Не пережевывай того, что затем тебе
придется выплюнуть.

XVII

*Enfant, garde qu 'en la saliere
Tu ne mettes point tes morseaulx.
Pour les saler, ou tu deffaulx,
Car c 'est deshonneste maniere.*

Не макай свою еду в солонку.

XXIV

*Enfant, soyes tousjours paisibles,
Doulx, courtois, bening, amiable,
Entre ceulx qui sierront à table
Et te gardes d'estre noysibles.*

За столом будь смирен, вежлив и не
шуми.

155

XXVI

*Enfant, se tu fais en ton verre
Souppes de vin aucunement,
Boy tout le vin entierement,
Ou autrement le gecte à terre.*

Если ты обмакнул хлеб в чашу
вина, то выпей ее до дна или
выплесни остатки.

XXXI

*Enfant, se tu veulx en ta pence
Trop excessivement bouter
Te seras constraint à rupter
Et perdre toute contenance.*

Слишком много не заглатывай,
иначе тебе станет дурно.

XXXIV

*Enfant garde toy de froter
Ensamble tes mains, ne tes bras
Ne à la nappe, ne aux draps A table
on ne se doit grater.*

За столом не чешись, в том числе
салфеткой или скатертью.

1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского (гл. 4)

Mantile si datur, aut humero sinistra aut brachio laevo imponito.

Если тебе дали салфетку, положи ее на левое плечо или на руку.

Cum honoratoribus accubiturus, capite preho, pileum relinquito. Если сидишь за столом с людьми более
высокого положения, то сними шляпу и следи за своим поведением.

A dextris sit poculum et cultellus escarius rite purgatus, ad laevam panis.

Справа кладутся чаша и нож, слева — хлеб.

Quidam ubi vix bene condecorati, mox manus in epulas conjiciunt. Id luporum est...

Иные так и набрасываются на блюда. Так поступают волки...

Primus cibum appositum ne attingito, non tantum ob id quod arguit avidum, sed quod interdum cum periculo conjunctum est, dum qui fervidum inexploratum recipit in os, aut expuere cogitur, aut si deglutiat, adurere gulam, utroque ridiculus aequae ac miser. Не набрасывайся первым на блюдо, которое только что принесли, поскольку ты не только покажешься жадным, но в таком поведении таится и опасность. Ведь тот, кто неожиданно заглотит что-то горячее, должен либо это выплюнуть, либо обожжет себе рот. В любом случае это и смешно, и жалко.

156

Aliquantisper morandum, ut puer assuescat affectui temperare. Следует немного подождать, пока мальчик не научится владеть своими аффектами.

Digitos in jusculenta immergere, agrestium est: sed cultello fuscinate tollat quod vult, nec id ex toto eligit disco, quod soient liguritores, sed quod forte ante ipsum jacet, sumat.

Пальцы в соус суют только мужики. То, что тебе надобно, возьми ножом и вилкой и не отыскивай лучший кусок по всему блюду, как это делают сладкоежки, — бери то, что лежит прямо перед тобой.

Quod digitis excipi non potest, quadra excipiendum est. То, что не можешь взять пальцами, положи на «quadra».

Si quis e placenta vel artoreca porrexit aliquid, cochleari ut quadra excipe, aut cochleare porrectum accipe, et inverso in quadram cibo, cochleare reddito.

Если тебе передают ложкой кусок паштета или пирога, подними тарелку или возьми протянутую тебе ложку, положи кусок на тарелку и отдай ложку обратно.

Si liquidius est quod datur, gustandum sumito et cochleare reddito, sed ad mantile extersum.

Если тебе подали что-то жидкое, попробуй и отдай ложку обратно, но перед тем вытри ее о салфетку.

Digitos unctos vel ore praelingere, vel ad tunicam extergere, pariter incivile est: id mappa potius aut mantili faciendum.

Жирные пальцы облизывать или вытирать о платье не цивилизованно. Лучше воспользуйся платком или салфеткой.

Д. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневенского

(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609, с. 68).

Was meynstu würde dieser Bischof und seine edle Gesellschaft (il Vescove e la sua nobile brigata) denen gesagt haben, die wir bisweilen sehen wie die Säwe mit dem rüssel in der suppen ligen und ihr gesicht nit einmal auffheben und ihre augen, viel weniger die hände nimmermehr von der speise abwenden, die alle beyde backen auffblasen gleich als ob sie in die Trommete bliesen oder ein fewer auffblasen wolten, die nicht essen sondern fressen und die kost einschlingen, die ihre Hände bey nahe bis an den Elbogen beschmutzen und demnach die servieten also zu richten, daß unflätige küchen oder wischlumpen viel reiner sein möchten.

157

Dennoch schämen sich diese unfläter nit mit solchen besudelten servieten ohn unterlass den schweiss abzuwischen (der dann von wegen ihrs eilenden und ubermessigen fressens von irem häupt über die stirn und das angesicht bis auff den hals häufig herunter trüpfet) ja auch wol die Nase so oft es inen gelicht darin zu schneutzen²⁴.

Е. 1560 Из «Civilité» К. Кальвиака¹⁰

N.B. Кальвиак в основном следует за Эразмом, но с собственными примечаниями.

L'enfant estant assis, s'il ha serviette devant luy sur son assiette, il la prendra et la mettra sur son bras ou espaule gauche, puis il mettra son pain de costé gauche, le cousteau du costé droit, comme la verre aussi, s'il le veut laisser sur la table, et qu'il ait la commodité de l'y tenir sans offenser personne. Car il pourra advenir qu'on ne sçaurait tenir le verre à table ou du costé droit sans empescher par ce moyen quelqu'un.

Il fault que l'enfant ait la discrétion de cognoistre les circonstances du lieu où il sera.

En mangeant... il doit prendre le premier qui luy viendra en main de son tranchoir.

Que s'il y a de sauces, l'enfant y pourra... tremper honnestement et sans tourner de l'autre costé après qu'il l'aura tremper de l'un...

Il est bien nécessaire à l'enfant qu'il apprenne dès sa jeunesse à despécer un gigot, une perdrix, un lapin et choses semblables.

C'est une chose par trop ords (грязь) que l'enfant présente une chose après l'avoir rongée, ou celle qu'il ne daignerait manger, *si ce n'est à son servieteur.*

Il n'est non plus honneste de tirer par la bouche quelque chose qu'on aura jà mâchée, et la mettre sur le tranchoir; si ce n'est qu'il advienne que quelquefois il succe la moelle de quelque petit os, comme par manière de passe temps en attendant la desserte, car après l'avoir succé il le doit mettre sur son assiette, comme aussi les os des cerises et des prunes et semblables, pour ce qu'il n'est point bon de les avaler ny les jecter à terre.

L'enfant ne doit point ronger indécemment les os, comme font les chiens.

Quant l'enfant voudra du sel, il en prendra avec la pointe de son cousteau et non point avec les trois doigts;

Il faut que l'enfant coupe sa chair en menus morceaux sur son tanchoir... et ne faut point qu'il porte la viande à la bouche tantost d'une main, tantost de l'autre, comme les petits qui commencent à

158

manger; mais que tousjours il le face avec la main droicte, en prenant honnestement le pain ou la chair avec troyz doigts seulement.

Quant à la manière de mâcher, elle est diverse selon les lieux ou pays où on est. Car les Allemans mâchent la bouche close, et trouvent laid de faire autrement. Les François au contraire ouvrent à demy la bouche, et trouvent la procédure des Allemans peu ord. Les Italiens y procèdent fort mollement, et les François plus rondement et en sorte qu'ils trouvent la procédure des Italiens trop délicate et précieuse.

Et ainsi chacune nation ha quelque chose de propre et différent des autres. Pourquoi l'enfant y pourra proceder selon les lieux et coustumes d'iceux où il sera.

Davantage les Allemans usent de cuilleres en mangeant leur potage et toutes les choses liquides, et les Italiens des fourchettes. Et les François de l'un et de l'autre, selon que bon leur semble et qu'ilz en ont la commodité. Les Italiens se plaisent aucunement à avoir chacun son cousteau. Mais les Allemans ont cela en singulière recommandation, et tellement qu'on leur fait grand desplaisir de le prendre devant eux ou de leur demander. Les François au contraire: toute une pleine table de personnes se serviront de deux ou trois cousteaux, sans faire difficulté de le demander, ou prendre, ou le bailler s'ilz l'ont. Par quoy, s'il advient que quelqu'un demande son cousteau à l'enfant, il luy doit bailler après l'avoir nettoyé à sa serviette, en tenant la poincte en sa main et présentant le manche à celui qui le demande: car il serait deshonneste de la faire autrement²⁵.

F. 1640-1680 Из песни маркиза де Куланжа¹¹

*Jadis le potage on mangeait
Dans le plat, sans cérémonie,
Et sa cuiller on essuyoit
Souvent sur la poule bouillie.
Dans la fricassée autrefois
On saussait son pain et ses doigts.*

Раньше суп ели из общей тарелки
и макали в соус хлеб и пальцы.

*Chacun mange présentement
Son potage sur son assiette;
Il faut se servir poliment
Et de cuiller et de fourchette,
Et de temps en temps du 'un valet
Les aille laver au buffet.*

Теперь каждый ест ложкой и
вилкой с собственной тарелки, а
слуга время от времени уносит их
помыть.

159

G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна.

P. 127. Si chacun prend au plat, il faut bien se garder d'y mettre la main, que les plus qualifiez ne l'y ayent mise les premiers; n'y de prendre ailliers qu'à l'endroit du plat, qui est vis à vis de nous; moins encore doit-on prendre les meilleurs morceaux, quand même on serait le dernier à prendre.

Il est necessaire aussi d'observer qu'il faut toujours essuyer vostre cuillere quand, après vous en estre servy, vous voulez prendre quelque chose dans un autre plat, *y ayant des gens si delicats qu'ils ne voudroient pas manger du potage où l'auriez mise, après l'avoir portée à la bouche.*

Et même si on est à la table de gens bien propres, il ne suffit pas d'essuyer sa cuillere; il ne faut plus s'en servir, mais en demander une autre. Aussi sert — on à present en bien des lieux des cuilleres dans des plats, *qui ne servent que pour prendre du potage et de la sauce.*

Il ne faut pas manger le potage au plat, mais en mettre proprement sur son assiette; et s'il estoit trop chaud, il est indecent de souffler à chaque cuillerée; il faut attendre qu'il soit refroidy.

Que si par malheur on s'estoit brûlé, il faut le souffrir si l'on peut patiemment et sans le faire paraître: mais si la brûlure estoit insupportable comme il arrive quelquefois, il faut promptement et avant que les autres s'en aperçoivent, prendre son assiette d'une main, et la porter contre sa bouche, et se courvant de l'autre main remettre sur l'assiette ce que l'on a dans la bouche, et le donner vistement par derriere à un laquais. La civilité veut que l'on ait de la politesse, mais elle ne pretend pas que l'on soit homicide de soy-même. Il est tresindecent de toucher à quelque chose de gras, à quelque sauce, à quelque syrop etc. avec les doigts, outre que cela en même — temps vous oblige à deux ou trois autres indecences, l'une est d'essuyer frequemment vos mains à vostre serviette, et de la salir comme un torchon de cuisine; en sorte qu'elle fait mal au coeur à ceux qui la voyent porter à la bouche, pour vous essuyer. L'autre est de les essuyer à votre pain, ce qui est encore tres — malpropre; et la troisième de vous lécher les doigts, ce qui est le comble de l'impropreté.

P. 273. ...comme il y en a beaucoup (sc. usages) qui ont déjà changé, je ne doute pas qu'il n'y en ait plusieurs de celles-cy, qui changeront tout de même à l'avenir.

Autrefois on pouvoit... tremper son pain dans la sauce, et il suffisoit pourvu que l'on n'y eût pas encore mordu; maintenant ce serait une espece de rusticité.

*Autrefois on pouvoit tirer de sa bouche ce qu'on ne pouvoit pas manger, et le jeter à terre, pourvu que cela se fist adroitement; et maintenant ce seroit une grande saleté...*²⁶⁾

160

Н. 1717 Из «De la Science du Monde et des Connoissances utiles à la Conduite de la vie» Франсуа де Кайе

P. 97. En Allemagne et dans les Royaumes du Nord, c'est une civilité et une bienséance pour un Prince de boire le premier à la santé de celui ou de ceux qu'il traite, et de leur faire presenter ensuite le même verre, ou le même gobelet, rempli d'ordinaire de même vin; et ce n'est point parmi eux un manque de politesse de boire dans le même verre, mais une marque de franchise et d'amitié; les femmes boivent aussi les premières, et donnent ensuite, ou font porter leur verre avec le même vin, dont elles ont bû à la santé de celui à qui elles se sont adressées, *sans que cela passe pour une faveur particulière comme parmi nous...*

P. 101. Je ne sçaurois approuver, — отвечает дама, — n'en déplaise à Messieurs les Gens du Nort — cette maniere de boire dans le même verre, et moins encore sur le reste des Dames, cela a un air de malpropreté, qui me ferait souhaiter qu'ils témoignassent leur franchise par d'autres marques²⁷⁾.

(2)

N.B. Далее следуют правила, в которых представлены либо примеры распространения придворных нравов и моделей на более широкие буржуазные слои (в случае «Les règles de la bienséance et de la civilité Chrétienne» Ла Салля), либо, как в примере «I», — исключительно буржуазный и, вероятно, провинциальный стандарт своего времени. В примере «I» (относящийся примерно к 1714 г.) едят еще из общего блюда. Ни слова не говорится против обычая класть мясо руками себе на тарелку. Те «дурные нравы», о которых идет речь, в значительной части уже исчезли в высших слоях. Цитируемая «Civilité» от 1780 г. представляет собой плохо изданную брошюрку из 48 страниц, напечатанную в Кане без указания года. В каталоге «British Museum» она значится под 1780 г. с вопросительным знаком. Эта брошюра является примером одной из бесчисленных дешевых книжек и брошюр, имевших хождение по всей Франции в XVIII в. «Civilité», судя по всему, была рассчитана на провинциальные городские народные слои. Ни в одном из других приводимых здесь сочинений подобного рода XVIII в. не говорится столь откровенно о телесных отправлениях. Стандарт, на который она указывает, во многом напоминает стандарт высшего слоя времен Эразма. Здесь полагается само собой разумеющимся, что мясо берут руками. Этот пример полезен для того, чтобы напомнить, что движение следует рассматривать во всей его полифоничной мно-

161

госторонности, т.е. не как просто прямую линию, но вместе с сопровождающими его родственными движениями в различных социальных слоях.

Пример от 1786 г. прямо указывает на центробежное движение сверху вниз. Он является наиболее характерным, поскольку совокупность обычаев, которые к тому времени уже стали характерными для всего «цивилизованного общества», здесь изображается как специфические манеры придворного высшего слоя, кажущиеся чем-то сравнительно чуждым для буржуа. Многие манеры, изображаемые здесь как придворные нравы, закрепляются в это время в качестве «цивилизованных».

Цитата из сочинения 1859 г. должна напомнить о том, что в девятнадцатом столетии, как и в нынешнее время, все это движение было совершенно забыто. Достигнутый совсем недавно стандарт «цивилизации» полностью воспринимается как само собой разумеющийся, а все то, что ему предшествовало, считается «варварским».

I. 1714(?) Анонимная «Civilité française» (Liège, p. 48)

Il n'est pas... honnête d'humer sa soupe quand on se serviroit d'écuelle si ce n'étoit que ce fut dans la famille après en avoir pris la plus grande partie avec la cuillère.

Неприлично пить суп через край из миски, если только ты не дома. Да и то это позволительно, если ты уже съел большую его часть ложкой.

Si le potage est dans un plat portez-y la cuillère à votre tour sans vous précipiter.

Если ты ешь суп не из собственной миски, а из общего суповника, то бери его своей ложкой в порядке очереди, а не устраивай суету.

Ne tenez-pas toujours votre couteau à la main comme font les gens de village; il suffit de le prendre lorsque vous voulez vous en servir. Не держи все время нож в руках, как это делают селяне, но бери его только тогда, когда он тебе понадобится.

Quand on vous sert de la viande, il n'est pas séant de la prendre avec la main; mais il faut présenter votre assiette de la main gauche en tenant votre fourchette ou votre couteau de la droite. Когда подают мясо, не бери его рукой. Подставь свою тарелку левой рукой, а в правую руку возьми нож или вилку.

Il est contre la bienséance de donner à flairer les viandes et il faut se donner bien de garde de les remettre dans le plat après les avoir flairées. Против всяких приличий обнюхивать мясо, и ни в коем случае не сле-

162

дует возвращать кусок мяса обратно в общее блюдо после того, как ты его обнюхал.

Si vous prenez dans un plat commun ne choisissez pas les meilleurs morceaux. Coupez avec le couteau après que vous aurez arrêté la viande qui est dans le plat avec la fourchette de laquelle vous vous servirez pour porter sur votre assiette ce que vous aurez coupé, ne prenez donc pas la viande avec la main...

Если ты что-то берешь с общего блюда, не выбирай лучший кусок. Прочно воткни вилку и отрежь себе кусок, положи его вилкой на тарелку, не беря его в руки.

N.B. Здесь ни слова не говорится о том, что с собственной тарелки нельзя брать мясом руками.

Il ne faut pas jeter par terre ni os ni coque d'oeuf ni pelure d'aucun fruit. Не следует бросать на землю ни кости, ни яичную скорлупу, ни кожуру каких-либо фруктов.

Il en est de même de noyaux que l'on tire plus honnêtement de la bouche avec les deux doigts qu'on ne les crache dans la main. То же самое относится к огрызкам. Приличнее взять огрызок двумя пальцами изо рта, чем выплевывать его.

J. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля (Rouen, p. 87)

Des choses dont on doit se servir lorsqu'on est à Table.

On doit de servir à table d'une serviette, d'une assiette, d'un couteau, d'une cuiller, et d'une fourchette: il serait tout à fait contre honnêteté, de se passer de quelqu'une de toutes ces choses en mangeant.

C'est à la personne la plus qualifiée de la compagnie à déplier sa serviette la première, et les autres doivent attendre qu'elle ait déplié la sienne, pour déplier la leur. Lorsque les personnes sont à peu près égales, tous la dépliant ensemble sans cérémonie^{28a)}.

N.B. Вместе с «демократизацией» общества и семьи это стало правилом. Иерархическо-аристократическое строение общества пока что отражается на элементарнейших отношениях между людьми.

Il est malhonneste de se servir de sa serviette pour s'essuyer le visage; il l'est encore bien plus de s'en frotter les dents et ce serait une faute des plus grossières contre la Civilité de s'en servir pour se

163

moucher... L'usage qu'on peut et qu'on doit faire de sa serviette lorsqu'on est à Table, est de s'en servir pour nettoier sa bouche, ses lèvres et ses doigts quand ils sont gras, pour dégraisser le couteau avant que de couper du Pain, et pour nettoier la cuiller, et la fourchette après qu'on s'en est servi^{28b)}.

N.B. Это один из многих примеров того, насколько точным является регулирование нашего поведения за столом. Использование каждого прибора направляется множеством совершенно четких предписаний и запретов. Ни одно из этих правил не является само собой разумеющимся, вопреки мнению более поздних поколений. Правила использования приборов меняются вместе со строением общества и с изменениями в человеческих отношениях.

Lorsque les doigts sont fort gras, il est à propos de les dégraisser d'abord avec un morceau de pain, qu'il faut ensuite laisser sur l'assiette avant que de les essuyer à sa serviette, afin de ne pas beaucoup graisser, et de ne la pas rendre malpropre.

Lorsque la cuiller, la fourchette ou le couteau sont sales, ou qu'ils sont gras, il est très mal honnête de les lecher, et il n'est nullement séant de les essuyer, ou quelqu'autre chose que ce soit, avec la nape; on doit dans ces occasions, et autres semblables, se servir de la serviette et pour ce qui est de la nape, il faut avoir égard de la tenir toujours fort propre, et de n'y laisser tomber, ni eau, ni vin, ni rien qui la puisse salir.

Lorsque l'assiette est sale, on doit bien se garder de la ratisser avec la cuiller, ou la fourchette, pour la rendre nette, ou de nettoier avec ses doigts son assiette, ou le fond de quelque plat: cela est très indécent, il faut, ou n'y pas toucher, ou si on a la commodité d'en changer, se la faire déservir, et s'en faire apporter une autre.

Il ne faut pas lorsqu'on est à Table tenir toujours le couteau à la main, il suffit de le prendre lorsqu'on veut s'en servir.

Il est aussi très incivil de porter un morceau de pain à la bouche aiant le couteau à la main; il l'est encore plus de l'y porter avec la pointe du couteau. Il faut observer la même chose en mangeant des pommes, des poires ou quelques autres fruits^{28c)}.

N.B. Примеры табу в обращении с ножом.

Il est contre la Bienséance de tenir la fourchette ou la cuiller à plaine main, comme si on tenoit un baton; mais on doit toujours les tenir entre ses doigts.

On ne doit pas se servir de la fourchette pour porter a sa bouche des choses liquides... c'est la cuiller qui est destinée pour prendre ces sortes de choses.

Il est de l'honnêteté de se servir toujours de la fourchette pour

164

porter de la viande à sa bouche, *car la Bienséance ne permet pas de toucher avec les doigts a quelque chose de gras*, à quelque sauce, ou à quelque sirop; et si quelqu'un faisoit, il ne pouoit se dispenser de commettre ensuite plusieurs autres incivilités: comme seroit d'essuyer souvent ses doigts à sa serviette, ce qui la rendroit fort sale et fort malpropre, ou de les essuyer à son pain, ce qui seroit très incivil, ou de lecher ses doigts, ce qui ne peut être permis à une personne bien née et bien élevée^{28d)}.

N.B. Весь этот пассаж, как и многие другие, заимствован из «Нового трактата» А. Де Куртэна 1672 г. (см. выше, пример «G»). Он вновь и вновь появляется в прочих сочинениях о «civilité» XVIII в. Особенно поучительно обоснование запрета есть руками. Уже у Де Куртэна он связан прежде всего с жирными блюдами, в первую очередь с соусами, — если брать руками, то это влечет за собой ряд действий, которые выглядят «неприятно». У Ла Салля совпадение не полное, в другом месте он пишет: «Если пальцы у тебя жирные...» и т.д. Запрет выступает здесь далеко не как само собой разумеющийся, каковым он стал сегодня.

Мы видим, как он постепенно превращается во внутреннюю привычку, приобретает характер самопринуждения.

К. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля (Р. 45ff).

N.B. В критический период, приходящийся на конец правления Людовика XV, когда, как было сказано выше, требования реформ были внешним признаком общественных изменений и когда стало закрепляться понятие «civilisation», ранее много раз выходившая без всяких изменений «Civilité» Ла Салля была напечатана в переработанном виде. Перемены стандарта являются весьма поучительными. Внесенные изменения во многих отношениях существенны. Отчасти мы можем проследить происшедшие перемены по тому, что считается предметом, о котором в это время «не принято говорить». Многие главы стали короче. О ряде «дурных привычек», ранее рассматривавшихся подробно, теперь присутствует лишь краткое упоминание. То же самое относится ко многим телесным отправлениям, в прежних изданиях описывавшихся во всех деталях. Тон запрета уже не столь мягкий, как прежде — он значительно более резкий, чем в первом издании.

La serviette qui est posée sur l'assiette, étant destinée à préserver les habits des taches ou autres malpropretés inséparables des repas, il faut

165

tellement l'étendre sur soi qu'elle couvre les devants du corps jusques sur les genoux, en allant au-dessous du col et non la passant en dedans du même col. La cuiller, la fourchette et le couteau doivent toujours être placée à la droite.

La cuiller est destinée pour les choses liquides, et la fourchette pour les viandes de consistance.

Lorsque l'une ou l'autre est sale, on peut les nettoyer avec sa serviette, s'il n'est pas possible de se procurer un autre service; il faut éviter de les assuyer avec la nappe, c'est une malpropreté impardonnable.

Quand l'assiette est sale, il faut en demander une autre; ce seroit une grossièreté révoltante de la nettoyer avec les doigts avec la cuiller, la fourchette et le couteau.

Dans les bonnes tables, les domestiques attentifs changent les assiettes sans qu'on les en avertissent.

Rien n'est plus mal-propre que de se lécher les doigts, de toucher les viandes, et de les porter à la bouche avec la main, de remuer les sauces avec le doigt, ou d'y tremper le pain avec la fourchette pour la sucer.

On ne doit jamais prendre du sel avec les doigts. Il est très-ordinaire aux enfants d'entasser morceaux sur morceaux, de retirer même de la bouche ce qu'ils y ont mis et qui est maché, de pousser les morceaux avec les doigts^{29a)}.

N.B. То, что ранее рассматривалось как общая для всех «дурная привычка», теперь трактуется как нечто детское. Взрослые так уже не поступают.

Rien n'est plus mal honnête. ...porter les viandes au nez, les flairer, ou les donner à flairer est une autre impolitesse qui attaque le Maître de la table; et s'il arrive que l'on trouve quelque malpropreté dans les aliments, il faut les retirer sans les montrer^{29b)}.

L. 1780(?) Из анонимного сочинения «La Civilité honnête pour les Enfants»

(Caen, без указания года, р. 35; см. выше, N.B. к (2))

...Après, il mettra sa serviette sur lui, son pain à gauche et son couteau à droite, pour couper la viande sans le rompre^{30a)}.

N.B. Изображенная здесь последовательность действий говорит о многом. Самая элементарная форма, ранее обычная и для высшего слоя, — разделка мяса руками — здесь уже не приветствуется. Теперь мясо разрезается ножом. Вилка еще не упоминается. Привычка отрывать куски мяса руками считается здесь признаком принадлежно-

166

сти к крестьянам, тогда как разделка его ножом выглядит как форма поведения, характерная для горожан.

Il se donnera aussi de garde de porter son couteau à sa bouche. Il ne doit point avoir ses mains sur son assiette... il ne doit point non plus s'accouder dessus, car cela n'appartient qu'à des gens malades ou vieux.

Le sage Enfant s'il est avec des Supérieurs mettra le dernier la main au plat...

...après si c'est de la viande, la coupera proprement avec son couteau et la mangera avec son pain.

C'est une chose rustique et sale de tirer de sa bouche la viande qu'on a déjà mâchée et la mettre sur son assiette.

Aussi ne faut-il jamais remettre dans le plat ce qu'on en a osté^{30b)}.

M. 1786 Из разговора между поэтом Делилем и аббатом Коссоном¹²

Dernièrement, l'abbé Cosson, professeur de belles lettres au collège Mazarin, me parla d'un dîner ou il s'étoit trouvé quelques jours auparavant *avec des gens de la cour...* à Versailles.

Je parie, lui dis-je, que vous avez fait cent incongruités.

— Comment donc, reprit vivement l'abbé Cosson, fort inquiet. Il me semble que j'ai fait la même chose que tout le monde.

— Quelle présomption! Je gage que vous n'avez rien fait comme personne. Mais voyons, je me bornerai au dîner. Et d'abord que faites-vous de votre serviette en vous mettant à table?

— De ma serviette? Je fis comme tout le monde; je la déployai, je l'étendis sur moi et l'attachai par un coin à ma boutonnière.

— Eh bien mon cher, vous êtes le seul qui ayez fait cela; on n'étale point sa serviette, on la laisse sur ses genoux. Et comment faites-vous pour manger votre soupe?
— Comme tout le monde, je pense. Je pris ma cuiller d'une main et ma fourchette de l'autre...
— Votre fourchette, bon Dieu! Personne ne prend de fourchette pour manger sa soupe... Mais dites-moi quelque chose de la manière dont vous mangeâtes votre pain.
— Certainement à la manière de tout le monde: je le coupai proprement avec mon couteau.
— Eh, on rompt son pain, on ne le coupe pas... Avançons. Le café, comment le prêtez-vous?
— Eh, pour le coup, comme tout le monde; il était brûlant, je le versai par petites parties de ma tasse dans ma soucoupe.
— Eh bien, vous faites comme ne fit sûrement personne: tout le monde boit son café dans sa tasse, et jamais dans sa soucoupe...³¹⁾

167

N 1859 Из «The habits of Good Society»

(второе, не измененное издание 1889 г., London, p. 257)

Forks were undoubtedly a later invention than fingers, but as we are not *cannibals* I am inclined to think they were a good one³²⁾.

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом

Группа 1

1. Об обществах, к которым относятся процитированные тексты

1

Цитаты были подобраны для иллюстрации реального процесса — изменения поведения самих людей. Отбор велся таким образом, чтобы они могли показывать типичные черты, по крайней мере для определенных социальных групп или слоев. Ни одному отдельному человеку, будь он даже такой выдающейся индивидуальностью, как Эразм, не изобрести «savoir-vivre» своего времени.

Мы слышим, как люди разных времен говорят о приблизительно одном и том же предмете. Это дает лучшее изображение перемен, чем пересказ их собственными словами. Самое позднее с XVI в. заповеди и запреты, с помощью которых индивиды старались формировать социальный стандарт, находятся в непрерывном движении. Конечно, это движение не было прямолинейным, но при всех отклонениях все же обнаруживается некий «тренд», какое-то направление — достаточно прислушаться к тому, что говорилось от века к веку.

В сочинениях о манерах, датируемых XVI в., отражен облик новой придворной аристократии, которая постепенно складывается из элементов различного социального происхождения. Вместе с ней возникает и особый кодекс поведения.

Во второй половине семнадцатого столетия Де Куртэн говорит от имени придворного общества, в высшей степени упрочившего свои позиции, — от имени двора Людовика XIV. Он обращается преимущественно к людям определенного ранга, не живущим при дворе, но желающим познакомиться с его нравами и обычаями.

В «Avertissement» он пишет: «Le Traité n'avoit pas esté imprimé,

168

mais seulement pour satisfaire un Gentilhomme de Province qui avoit prié l'Auteur, comme son amy particulier, de donner de quelques préceptes de Civilité à son fils, qu'il avoit dessein d'envoyer à la Cour, en sortant de ses études et de ses exercices.

Il (l'Auteur) n'a entrepris ce travail que *pour les honnestes gens; ce n'est qu'à eux qu'il l'adresse*, et particulièrement à la jeunesse qui peut tirer quelque utilité de ces petits avis, chacun n'ayant pas la commodité ny de moyen *de venir à Paris à la Cour, pour y apprendre le fin de la politesse*¹⁾».

Люди, принадлежащие к кругу, задающему модель поведения, не нуждаются в книгах, чтобы знать, как себя вести. Это очевидно, а потому важно установить цель записи того, что составляет тайну узкого слоя придворной аристократии, и адресата подобного сочинения.

В данном случае адресат совершенно ясен. Автор подчеркивает, что его записи предназначаются для «honnêtes gens», т.е. в общем и целом для людей высшего слоя. Они в первую очередь отвечают потребностям провинциального дворянства, желающего с точностью знать, как ведут себя при дворе, а также потребности значительного числа не дворян. Успеху книги в немалой мере способствовал интерес к данным вопросам со стороны высших слоев буржуа. Имеются многообразные свидетельства того, что в это время обычаи, манеры и моды двора проникали в высшие слои третьего сословия. При всем подражании они подвергались некоторой трансформации, адаптируясь к иному социальному положению людей. Тем самым они в известной степени утрачивали характер разграничительной линии, отличительной

принадлежности высшего слоя и в этом качестве обесценивались. Данная ситуация побуждала верхи к выработке еще большей утонченности поведения. Развитие придворных манер, их распространение сверху вниз, небольшая социальная деформация, обесценивание их в качестве отличительного признака — таков механизм, служивший движущей силой изменения манер высшего слоя. Важно то, что в кажущейся беспорядочности и случайности идей и мод, в придворных манерах можно в долгой перспективе обнаружить направления, линии развития, которые можно назвать сдвигом порога чувствительности и границы стыда, или «совершенствованием» нравов, или «цивилизацией». Социальной динамике соответствует динамика души, обладающая собственными законами.

2

В XVIII в. растет богатство буржуазных слоев, начинается их подъем. К придворному кругу теперь наряду с аристократическими прямо принадлежат (более чем в предшествующем столетии) и буржуазные элементы, хотя различия в социальном ран-

169

ге вовсе не были утеряны. Незадолго до революции тенденция к обособлению социально ослабевшей аристократии даже вновь усиливается.

Тем не менее следует рассматривать это расширенное придворное общество как нечто целое, объединяющее в себе придворно-аристократические и придворно-буржуазные элементы и лишенное непроницаемой границы снизу. Данное общество представляло собой иерархически организованную элиту всей страны. Принадлежать к ней или хотя бы ей подражать — стремление все более широких слоев, ставшее повсеместным в условиях роста социальной взаимозависимости и достатка. Популяризаторами придворных обычаев, помимо всех прочих авторов, становятся церковные круги. Росту принудительной силы в сдерживании аффектов, регулированию и формированию поведения, поначалу представлявшим собой под именем «civilité» исключительно светское явление, теперь соответствует и определенное направление церковной традиции. Превратившись в форму социального сосуществования, «civilité» получает христианское религиозное обоснование. Как это часто случается, церковь выступает в роли важнейшего института, осуществляющего перенесение моделей сверху вниз.

В своем предисловии к правилам христианской «civilité» достопочтенный отец Ла Саль замечает: «C'est une chose surprenante, que la plupart des Chrétiens ne regardent la Bienséance et la Civilité que *comme une qualité purement humaine et mondaine et que* ne pensant pas à élever leur esprit plus haut, ils ne la considèrent pas comme une vertu, qui a rapport à Dieu, au prochain et à nous-même. C'est ce qui fait bien connoître le peu de Christianisme qu'il y a dans le monde²⁾». Поскольку во Франции воспитание и образование были преимущественно сосредоточены в руках сословия клириков, то именно через это сословие (если и не исключительно, то в значительной мере) по стране двинулся растущий поток сочинений, посвященных «civilité». Такие сочинения служат подсобным средством в начальном образовании, часто они издаются как пособия для уроков чтения и письма.

Именно поэтому понятие «civilité» все больше теряет свою ценность для социальной элиты. Оно переживает тот же процесс, что ранее — понятие «courtoisie».

Экскурс: о подъеме и падении роли понятий «courtoisie» и «civilité»

3

Словом «courtoisie» поначалу обозначалась форма поведения, возникшая при дворах крупных феодалов-рыцарей. Еще на протяжении Средних веков это слово утратило немалую часть соци-

170

альной ограниченности, заложенной в его этимологии («соу» — «двор»). Его стали употреблять бюргеры. Вместе с постепенным отмиранием рыцарско-феодалового военного дворянства и образованием новой абсолютистско-придворной аристократии в течение XVI—XVII вв. для обозначения поведения в обществе постепенно начинает использоваться понятие «civilité». Во французском переходном обществе XVI в., совмещавшем в себе рыцарско-феодаловые и абсолютистско-придворные черты, понятия «courtoisie» и «civilité» какое-то время сосуществуют. На протяжении XVII в. понятие «courtoisie» во Франции постепенно выходит из моды.

«Les mots de courtois et de courtoisie, — замечает французский писатель в 1676 г.¹³, — commencent à vieillir et ne sont plus du bel usage. Nous disons civil, honneste; civilité, honnesteté³⁾».

Более того, слово «courtoisie» уже кажется чуть ли не буржуазным. Как говорится в диалоге Франсуа де Кайе, датированном 1694 г.: «Mon voisin — le Bourgeois... suivant le langage de la bourgeoisie de Paris, dit... affable et courtoise... il ne s'exprime pas poliment, parce que les mots de courtois et d'affable ne sont plus gueres dans le commerce des gens du monde, et les mots de civil et d'honnête ont pris leur place, de même que ceux de civilité et d'honnêteté ont pris la place de courtoisie et d'affabilité⁴⁾» (Callières F. de. Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer. P., 1694. P. 11 Off.).

Точно так же в течение восемнадцатого столетия в абсолютистско-придворном высшем слое падает роль понятия «civilité». Сам этот слой претерпевал в то время постепенную трансформацию, находился в процессе обуржуазивания, обусловленном (по крайней мере до 1750 г.) ростом присутствия при дворе буржуазных элементов. Возникшую в результате проблему обсуждает, например, аббат Гедойн в книге «De l'urbanité Romaine» (Œuvres Diverses. P. 173). Он задается вопросом, почему выражение «urbanité»,

прекрасное само по себе, так и не вошло в обычай, в отличие от «civilité», «humanité», «politesse» или «galanterie». Ero ответ таков: «Urbanitas signifiait cette politesse de langage, d'esprit et de manières, attachée singulièrement à la ville de Rome, qui s'appelloit par excellence "Urbs", la Ville, au lieu que parmi nous cette politesse n'étant le privilège d'aucune ville en particulier pas même de la Capitale, mais uniquement de la Cour, le terme d'urbanité devient un terme... dont on peut... se passer⁵⁾».

Если учесть, что «город» в то время означал «хорошее буржуазное общество» в отличие от более узкого придворного, то мы без труда увидим актуальность такой постановки вопроса.

В большинстве дошедших до нас высказываний того времени понятие «civilité» меняется на «politesse», а весь этот понятийный комплекс все сильнее отождествляется с «humanité».

Совершенно ясно выразил эти тенденции Вольтер, посвятив «Заиру» одному буржуа, английскому купцу Э.М.Фолкнеру. В

171

повещении говорится: «Depuis la régence d'Anne d'Autriche ils (les Français) ont été le peuple le plus sociable et le plus poli de la terre... et *cette politesse n'est point une chose arbitraire, comme ce qu'on appelle "civilité", c'est une loi de la nature* qu'ils ont heureusement cultivé plus que les autres peuples⁶⁾».

Подобно тому как это ранее случилось с «courtoisie», теперь сходит на нет роль понятия «civilité». Вскоре его содержание, равно как и содержание родственных ему понятий, волеется в новое понятие и получит дальнейшее развитие. Это — понятие «civilisation», выразившее новую форму самосознания. «Courtoisie», «civilité», «civilisation» — эти слова представляют собой метки трех этапов общественного развития. По ним видно, в каком обществе они возникли, к какому обществу обращены. Подлинное изменение манер высших слоев, приведшее к образованию того поведенческого стандарта, который сегодня называется «цивилизованным», произошло на средней фазе. Ставшее обычным в XIX в. *понятие* «цивилизация» указывает на то, что *процесс* цивилизации — а точнее, одна фаза этого процесса — пришел к завершению и был предана забвению. Этот процесс прослеживается теперь только у других народов и какое-то время заметен в низших слоях собственного общества. В высших и средних слоях общества «цивилизация» кажется неизменным достоянием. Его хотят приумножить, но его развитие видится лишь в рамках уже имеющегося стандарта.

Приведенные примеры показывают движение к данному стандарту на предшествующей, придворно-абсолютистской фазе развития.

2. Об основной траектории «цивилизации» приема пищи

4

В конце восемнадцатого столетия, незадолго до революции, французский высший слой приближается к тому стандарту поведения за едой (и не только за едой), который в дальнейшем постепенно станет само собой разумеющимся для всего «цивилизованного» общества. Приведенный нами пример «М» (1786) весьма показателен в этом отношении. Мы видим, что ранее свойственный лишь придворным обычай употребления салфетки становится обычаем всего цивилизованного буржуазного общества. Данный пример свидетельствует о том, что вилка более не используется при еде супа, хотя ее необходимость становится понятной, если иметь в виду, что ранее супы во Франции содержали больше твердой пищи, чем в настоящее время. Он показывает далее, что демократизированный обычай ломать, а не

172

резать хлеб, стал придворным правилом. То же самое мы видим по тому, как стали пить кофе.

Это лишь несколько примеров формирования нашего повседневного ритуала. Если проследить этот ряд до настоящего времени, то мы замечаем, что изменились только частности; добавились новые требования, старые сделались менее жесткими, появилось множество национальных и социальных вариаций застольных нравов — народные массы, средний класс, рабочие и крестьяне в разной степени следуют единому ритуалу цивилизации и регулирования влечений. Однако основа того, что в цивилизованном обществе требуется от людей и что находится под запретом — стандартная техника еды, способ обращения с ножом, вилкой, ложкой, тарелкой, салфеткой и прочими приборами, — все это по существу осталось прежним. Даже развитие техники поведения во всех прочих областях, включая технику приготовления пищи, изменившуюся за счет использования новых источников энергии, не привело к существенным трансформациям техники еды и прочих форм застолья. Лишь очень внимательное наблюдение позволяет заметить признаки идущего далее развития.

Продолжает меняться техника производства. Техника потребления развивалась и продвигалась теми общественными формациями, теми слоями, которые носили потребительский характер в неизмеримо большей мере, чем все последовавшие за ними. Вместе с упадком этих слоев прекратилось и интенсивное преобразование того, что сделалось приватной сферой жизни и стало противопоставляться сфере профессиональной. Поэтому в потреблении вместо быстрых темпов изменений, характерных для придворной фазы развития общества, наблюдается очень медленное движение.

Даже формы столовых приборов — тарелок, блюд, ножей, вилок, ложек — представляют собой лишь вариации на темы «dix-huitième» и предшествующих ему столетий. Конечно, было немало изменений частного характера. В качестве примера можно указать на дифференциацию приборов. При смене блюд по

возможности меняют не только тарелку, но и весь прибор. Уже недостаточно правила, что брать кушанья следует не руками, а ножом, вилок и ложкой. В высших слоях для каждого рода пищи требуется особый прибор. По одну сторону тарелки кладутся суповая ложка, нож для рыбы и нож для мяса; по другую — вилки для закуски, для рыбы, для мяса. Перед тарелкой размещаются вилка, ложка или нож (в зависимости от обычаев страны) для сладостей. К десерту и фруктам приносят новый прибор. Все эти орудия отличаются друг от друга; они делаются то больше, то меньше, получают то округлую, то заостренную форму. Но при ближайшем рассмотрении в них нет ничего принципиально нового. Это — вариации на ту же тему, дифференциация

173

в рамках одного и того же стандарта. Лишь в отдельных пунктах, прежде всего в употреблении ножей, происходят постепенные изменения, выходящие за пределы достигнутого стандарта. К ним нам еще придется вернуться.

5

В известном смысле то же самое можно сказать о периоде до XV в. По совсем иным причинам тогда также был достигнут стандарт техники еды, сформировалось ядро представлений о социально запрещенном и дозволенном по отношению к себе и другим людям. Это ядро выражается в запретах и заповедях, они в главных чертах повсюду одни и те же, и, хотя прослеживаются воздействие моды, отклонения, региональные и социальные вариации, можно говорить об их медленном продвижении в определенном направлении.

Время перехода от одной фазы к другой даже трудно установить. Быстрое движение начинается где раньше, где позже; повсюду происходят небольшие подготовительные сдвиги. Но рисунок всей кривой развития везде один и тот же: сначала идет средневековая фаза, достигающая вершины во время расцвета рыцарско-придворного мира. Для этой ступени характерна еда руками. Затем следует фаза сравнительно быстрого движения вперед и перемен, охватывающая XVI, XVII и XVIII вв., когда импульсы к трансформации поведения за едой последовательно продвигают общество к новому стандарту, устанавливающему новые правила и запреты.

После этого начинается новая фаза, на которой действует достигнутый стандарт, хотя и наблюдается небольшое движение в определенном направлении. Преобразование повседневного поведения еще не вполне утрачивает свое значение в качестве инструмента социальной дифференциации, однако оно уже не играет той роли, что была присуща ему на предшествующей фазе. Теперь в качестве основания социальных различий в значительно большей мере выступает богатство, деньги. Достижения человека, то, что он смог осуществить, его произведения — все это играет большую роль, чем его манеры.

6

Вся совокупность примеров позволяет нам отчетливо увидеть, как происходило движение. Запреты средневекового общества, даже рыцарско-придворного, не налагают значительных ограничений на проявления аффектов. Социальный контроль, если сравнить его с более поздними временами, остается мягким. Во всяком случае, манеры предстают как непринужденные. За едой не следует чавкать и сопеть; в тарелку нельзя плевать, а в сал-

174

фетку — сморкаться, ибо последняя служит для того, чтобы вытирать жирные пальцы; нельзя сморкаться и с помощью тех пальцев, которыми берут еду с общего блюда. Как нечто самоочевидное подразумевается, что сидящие за столом пользуются общим блюдом. Не следует только по-свински набрасываться на это блюдо, макать в общий для всех соус уже надкусанное.

Многие из предписаний такого рода упоминаются еще Эразмом и следовавшим ему Кальвиаком. Если рассматривать движение в целом, то по изображению нравов того времени его можно понять лучше, чем при разборе этих произведений по отдельности. Столовый прибор по-прежнему невелик. Слева кладут хлеб, справа — чашу и нож. Вот и все. Правда, уже упоминается вилка, но с ограниченной функцией, в качестве инструмента для того, чтобы брать куски с общего блюда. Наряду с носовым платком появляется салфетка, но они, будучи символом перемен, выступают как возможные, но не обязательные приспособления. Как говорилось в то время, *если* у тебя есть платок, то лучше сморкаться в него, а не в два пальца. *Если* тебе предложили салфетку, то положи ее на левое плечо. Через сто пятьдесят лет и салфетка, и носовой платок, и вилка стали в придворном слое обязательными для употребления.

Сходную траекторию движения мы обнаруживаем и в случае других привычек и манер.

Раньше суп часто пили из общей миски или плошки, которыми пользовались многие. В куртуазных сочинениях предписывалось употребление ложки, но сначала одной и той же ложкой пользовались несколько человек. Следующий шаг виден по выписке из сочинения Кальвиака (1560). Он упоминает о существующем у немцев обычае каждому давать по ложке. Затем мы прослеживаем происшедшие изменения по выдержке из Де Куртэна (1672). Суп теперь уже не едят из общей миски, он наливается в персональную тарелку, причем каждый делает это собственной ложкой. Однако уже здесь упоминаются особо *деликатные* люди, не желающие есть из блюда, в которое другие макали свои ложки. Поэтому необходимо обтереть салфеткой свою ложку перед тем, как запускать ее в общее блюдо. Иным и этого мало. В общее блюдо вообще нельзя лезть той ложкой, уже побывавшей во рту, нужно пользоваться другой.

Высказывания такого рода показывают не только пришедший в движение весь ритуал застолья, но и то, что люди ощущали это движение.

Шаг за шагом устанавливается способ есть суп, впоследствии ставший само собой разумеющимся: у каждого имеется своя тарелка и своя собственная ложка. Происходит специализация столового прибора. Принятие пищи обретает новый стиль, отвечающий новым потребностям совместного существования.

175

В поведении за столом нет ничего само собой разумеющегося, чего-то производного от «естественного» чувства приятного и неприятного. Ни ложка, ни вилка, ни салфетка не были изобретены в один прекрасный день каким-то пытливым индивидом, и их появление не похоже на создание технических приспособлений с четко установленной целью и способом применения. Их функция устанавливалась постепенно, их формы совершенствовались и закреплялись на протяжении столетий в процессе социального обращения. Любая, даже самая незначительная, привычка, любой ритуал формировались бесконечно медленно, даже те поведенческие формы, которые кажутся нам совершенно элементарными или «разумными», — вроде того, что жидкие блюда нужно есть ложкой. Стандартизация способа, каким держали в руке и пользовались ножом, вилкой, ложкой, происходила постепенно. Но и сам механизм этой стандартизации виден лишь при обзоре всего ряда примеров. Имелся сравнительно ограниченный придворный круг, формировавший модель, отвечавшую поначалу только потребностям собственной общественной ситуации, с присущими ему социальным положением и душевным строем. Но и само строение французского общества, и его развитие способствовали тому, что прочие слои охотно и жадно перенимали сформированную наверху модель. Она постепенно распространялась по всему обществу, конечно, не без соответствующих изменений.

Переход, перетекание моделей из одного социального единства в другие — из центра общества на периферию или, скажем, от парижского двора ко дворам других стран, или в рамках одного политического объединения, во Франции или в Саксонии, сверху вниз или снизу вверх, — представляет собой важнейшее движение в целостном процессе цивилизации. В приведенных примерах отражен только один момент такого перехода. Однако сходным образом во Франции моделировались не только манера есть, но также способы мышления и речи, короче говоря, все человеческое поведение, — даже если в других поведенческих сферах временные и организационные параметры траектории движения в немалой мере отличались от вышеуказанной. Формирование определенного ритуала человеческих отношений в процессе трансформации общественного и душевного состояния не есть нечто изолированное. Просто мы поначалу смогли проследить только одну линию. Рассмотрение того, как происходил процесс «цивилизации» в области речи, поможет напомнить, что наблюдения за переменами в манерах позволяют увидеть лишь срез общего изменения поведения в данном обществе, правда, чрезвычайно простой и наиболее доступный для анализа.

176

Экскурс: о моделировании речи придворными кругами

7

Формирование стандарта речи тоже осуществлялось в рамках ограниченного социального круга. Как и в Германии (пусть далеко не в такой степени), французское придворное общество говорило иным языком, чем буржуазия.

В небольшом сочинении Кайе «Mots à la Mode», имевшем широкое хождение в свое время, говорится: «Vous sçavez que les Bourgeois parlent tout autrement que nous⁷⁾».

Если детально рассмотреть, что считалось «буржуазным», а что относилось к придворному высшему слою, то можно обнаружить явление, в общем виде уже знакомое нам из примеров застольных нравов и манер в целом: многое из того, что в XVII в., а отчасти и в XVIII в., служило отличительным признаком придворного общества — его способ выражения, его речь, — стало частью французского национального языка.

Молодой буржуа, месье Тибо, предстает перед нами как гость, приглашенный в небольшое аристократическое общество. Хозяйка дома спрашивает, как идут дела у его отца.

Он отвечает: «Il est vôtre Serviteur bien humble, Madame, et il est toujours maladif comme bien sçavez, puisque de vôtre grace vous avez souventes fois envoyé sçavoir l'état de sa sante⁸⁾».

Ситуация прозрачна: между аристократическим кругом и буржуазным семейством существуют какие-то отношения. Хозяйка дома ранее уже касалась этой темы. Она говорила в том числе и о том, что Тибо-отец — милейший человек, не забывая добавить, что подобное общение бесполезно для аристократии, поскольку у людей такого сорта водятся деньги¹⁴. Мы можем вспомнить о совсем иных взаимоотношениях, бытующих в немецком обществе.

Но если отвлечься от существования слоя буржуазной интеллигенции, общение двух слоев еще не стало столь тесным, чтобы между ними исчезли языковые различия. Каждое второе слово, сказанное молодым Тибо, кажется придворному обществу неудачным, плоским и, как говорится, «выдающим буржуа». В придворном обществе не говорят ни «comme bien sçavez», ни «souventes fois», ни «maladif».

Здесь не употребляют, как это сделал по ходу разговора месье Тибо, выражения «je vous demande excuse». В те времена в придворном обществе, как сегодня в буржуазном, был принят оборот: «Je vous demande pardon».

Месье Тибо говорит: «Un mien ami, un mien parent, un mien cousin» вместо придворного: «Un des mes amis, un de mes parents» (с. 20). Он произносит: «deffunct mon père, le pauvre defunct⁹⁾». И слышит в ответ, что это

тоже не принадлежит к выражениям, «que la civilité a introduit parmi les gens qui parlent bien¹⁰⁾» (с. 22). «Les gens du monde ne disent point qu'un homme est defunct, pour

177

dire qu'il est mort¹¹⁾». Слово «defunct» можно использовать, когда хочешь сказать: «Il faut prier Dieu pour l'ame de defunct... mais ceux qui parlent bien disent plutôt: feu mon pere, feu Mr. un tel, le feu Duc etc.¹²⁾». Тем самым устанавливается: «Pour le pauvre defunct, c'est une facon de parler très-bourgeoise¹³⁾».

8

Как и в случае манер, мы имеем здесь дело с двояким движением: с растущим вхождением буржуа в придворные круги и с обуржуазиванием придворных. Скажем точнее: буржуа находились под влиянием поведения придворных, придворные — под влиянием поведения буржуа. Конечно, в XVII в. влияние, идущее снизу вверх, было во Франции много слабее, чем в XVIII в. Но все же оно присутствовало. Замок Во-ле-Виконт финансового интенданта Николя Фуке по времени предшествует королевскому Версалю и во многом послужил для него образцом. Это хороший пример того, что богатство буржуазной верхушки толкает ее наверх в процессе конкуренции. Неизбежное перетекание выходцев из буржуазии в придворный круг имело своим следствием специфические языковые изменения: вместе с новым человеческим материалом в придворный круг приходит и языковой материал, буржуазный «сленг». Всякий раз новые элементы перерабатываются придворным языком, шлифуются, утончаются, трансформируются; одним словом, они делают «придворными», т.е. приспособленными к стандарту чувствительности и аффектов придворного круга, чтобы стать средством отличия «gens de la cour» от буржуазии. Но этот утонченный и переработанный язык затем снова проникает в мир буржуа и делается «специфически буржуазным».

Герцог, персонаж цитированного выше диалога Кайе (с. 98), говорит: есть род речи «fort ordinaire prini les Bourgeois de Paris et même parmi quelques Courtisans, qui ont été élevez dans la Bourgeoisie. C'est alors qu'ils disent: «voyons voir», au lieu de dire: «voyons» et de retrancher le mot de «voir», qui est absolument inutile et désagréable en cet endroit-là¹⁴⁾».

«Mais il est introduit depuis peu, — продолжает герцог, — une autre mauvaise façon de parler, qui a commencé par le plus bas Peuple et qui a fait fortune à la Cour, de même que ces Favoris sans merite qui s'y élevoient autrefois. C'est: «il en sçait bien long», pour dire que quelqu'un est fin est adroit. Les femmes de la Cour commencent aussi à s'en servir¹⁵⁾».

Обсуждение продолжается в том же духе. Буржуа и даже некоторые придворные говорят «Il faut que nous faisons cela» вместо «Il faut que nous fassions cela». Иные произносят «l'on za» и «l'on zest» вместо придворного «l'on a» и «l'on est». Они употребляют «Je le l'ai» вместо «Je l'ai».

178

Почти во всех этих случаях языковая форма, выступающая здесь как придворная, сделалась национальной нормой. Хотя имеются и примеры того, что придворные языковые образования не вошли в национальный язык и были постепенно вытеснены как «слишком утонченные» и «аффектированные».

9

Все это может служить комментарием к сказанному выше о социогенетических различиях между немецким и французским национальными характерами. Язык представляет собой наиболее доступное для исследования проявление того, что обнаруживается как «национальный характер». Здесь на отдельных конкретных примерах видно, как вырабатывается взаимосвязь этого своеобразного и типичного, с одной стороны, и определенных социальных формаций — с другой. Решающей инстанцией в формировании французского языка были двор и придворное общество. Для немецкого языка какое-то время сходную роль играли палата и канцелярия императора, хотя они по силе воздействия на язык явно уступали французскому двору. Еще в 1643 г. кто-то хвалился, что язык у него образцовый, «ибо он руководствуется тем, как пишут в палатах в Шпейере»¹⁵⁾. По тому значению, какое они имели для языка, в Германии с французским двором сопоставимы прежде всего университеты. Но два эти социально родственных образования — канцелярия и университет — влияли не столько на речь, сколько на письменный язык; их воздействие осуществлялось не посредством разговора, но через акты, письма и книги, т.е. через формирование немецкой «письменности». Ницше как-то заметил, что немцев учила «чернильная песнь»; в другом месте он проводит уничтожающее противопоставление профессионального жаргона придворному языку Вольтера, ясно показывая результаты различной истории развития языка.

10

Когда во Франции «gens de la cour» говорили: «Это сказано хорошо, а это — дурно», то возникал вопрос, открывающий поле для дальнейших размышлений (их мы оставим в стороне): «На основании чего вы судите о том, что хорошо, а что плохо в языке? С каких позиций вы оцениваете языковой отбор, отточенность и артикулированность выражений?»

Иной раз «gens de la cour» сами размышляли на эту тему. Сказанное ими по этому поводу кажется на первый взгляд удивительным. Во всяком случае, они говорят нечто, явно выходящее за пределы языковой сферы: хороши те способы речи, слова, оттенки, которыми пользуются они сами, социальная элита; дурны те, что употребляются нижестоящими людьми.

179

Мсье Тибо в указанном диалоге иной раз защищается, слыша, что он употребляет то или иное дурное выражение: «Je vous suis bien obligé, Madame, — говорит он (с. 23), — de la peine que vous prenez de m'instruire, mais il me semble pourtant, que le terme de «defunct» est un mot bien établi, et dont se servent quantité d'honnêtes gens¹⁶».

«Il est fort possible, — отвечает ему хозяйка дома, — qu'il y ait quantité d'honnêtes gens qui ne connoissent pas assez la délicatesse de nôtre Langue,.. cette délicatesse qui n'est connue que d'un petit nombre de gens qui parlent bien, qui fait qu'ils ne disent point qu'un homme est defunct, pour dire qu'il est mort¹⁷».

Лишь небольшой круг людей имеет представление о «деликатности языка»; когда они говорят, то говорят правильно. А то, как пользуются языком другие, не в счет. Мы имеем здесь аподиктическое суждение. Дальнейшее его обоснование типа: «Мы, элита, говорим так, и только мы обладаем тонким языковым вкусом» не выводится, да оно и неведомо этому кругу. В другом месте этого диалога сказано так: «A l'égard des fautes qui se commettent contre le bon usage, comme il n'a point des régies déterminées, et qu'il ne dépend que du consentement d'un certain nombre de gens polis, dont les oreilles sont accoutumées à certaines façons de parler, et à les preferer d'autres¹⁸» (с. 98).

Устаревшие слова не годятся для обычного серьезного разговора. Совсем новые слова вызывают подозрение своей аффектацией и жеманством — мы сказали бы сегодня, своим снобизмом. Ученые слова, отдающие латынью и греческим, также подозрительны для всех «gens du monde». Они сразу же создают вокруг всякого, кто их употребляет, атмосферу педантизма — ведь есть же другие, известные всем слова, с помощью которых можно просто сказать то же самое.

Низких слов, используемых простонародьем, следует всячески избегать: люди, их употребляющие, показывают свою невоспитанность, «basse éducation». «Именно об этих словах, т.е. словах низких, мы тут и рассуждали», — говорит придворный участник диалога, имея в виду противопоставление языка двора и языка буржуазии.

Удаление «дурного» из языка обосновывается «тонкостью чувств», утонченным вкусом, каковой вообще играет немалую роль во всем процессе цивилизации. Но эта утонченность является достоянием небольшой группы. «Тонкость чувств» либо есть, либо ее нет — такова позиция автора диалога. Наделенные подобной деликатностью люди образуют небольшой круг и внутри него по взаимному согласию определяют, что хорошо и что плохо.

То, что выдвигается в качестве рационального обоснования отбора выражений, в действительности представляет собой обоснование социальное, — пусть чуть лучшее, чем просто указание на то, что лучшим считается принадлежащее верхушке общества, причем даже не всем ее представителям, а только избранным.

180

«Устаревшие слова», вышедшие из моды, употребляют люди старшего поколения либо те, кто долгое время не живет при дворе, будучи отправлен в отставку. «Слишком новыми словами» пользуются клики молодых людей, желающие выбиться в люди и говорящие на своем «сленге», который может завтра войти в моду. «Ученые слова» применяют, как и в Германии, выпускники университетов, в первую очередь юристы и высшие чиновники — во Франции это «noblesse de robe». «Низкими» являются выражения всех прочих, от буржуазии до «простонародья». Как мы видим, языковая полемика соответствует совершенно определенному и весьма характерному социальному положению. Она показывает нам группу, которая на тот момент обладала господством в области языка, показывает и рамки данной группы. В широком смысле она включает в себя «gens de la cour», а в более узком — небольшой аристократический круг людей, пользующихся в то время влиянием при дворе и тщательно следящих за тем, чтобы сохранить свое отличие и от поднимающихся по социальной лестнице придворных буржуазного происхождения, и от «устаревших» дворян, и от «молодых людей», этих «снобистских» конкурентов из подрастающего поколения, и, наконец, от пришедших из университетов чиновников. Именно данный круг образует в то время первичную инстанцию формирования языкового потока. То, как говорит этот узкий круг, как говорит более широкий круг придворных — так и «следует говорить», именно это и есть «comme il faut». Здесь создаются модели речи, которые распространяются вширь длинными или короткими волнами. Способ развития и формирования языка соответствует определенному строению общества. Именно поэтому с середины XVIII в. усиливается влияние на французский язык со стороны буржуазии. Но длительное пребывание на придворно-аристократической фазе до сих пор ощутимо во французском языке, подобно тому, как в немецком чувствуется влияние ученой интеллигенции из третьего сословия. И когда бы в дальнейшем во французском буржуазном обществе ни появлялись элиты или псевдоэлиты, в своем языке они всегда следовали старой традиции и использовали его в качестве отличительного признака.

3. О том, как люди обосновывали свои суждения о «дурном», «хорошем» или «лучшем» поведении

11

Язык представляет собой одно из воплощений общественной и душевной жизни. Многое из того, что мы наблюдаем на примере такого рода моделирования, заметно и при исследовании других социальных проявлений. Скажем, способ обоснования того, что

181

одна форма поведения или манера вести себя за столом лучше, чем другая, в принципе не отличается от того, посредством которого одно языковое выражение признается лучшим, чем другое.

Это не вполне соответствует тем ожиданиям, что могли бы возникнуть у наблюдателя двадцатого столетия. Например, он ожидает, что запрещение «еды руками», введение вилки, персонального столового прибора или личной посуды, равно как и все прочие ритуалы, свойственные стандарту XX в., следует объяснять «гигиеническими причинами». Ведь сам он объясняет такого рода манеры подобным образом. Но вплоть до второй половины XVIII в. среди мотивов, побуждавших людей к большей сдержанности, мы не находим ничего похожего на это направление мысли. Так называемые «рациональные основания», если сравнить их с прочими мотивами, имели сравнительно небольшое значение.

На ранних стадиях в качестве основания сдержанности приводилось по большей части следующее: делай так, а не иначе, поскольку иначе это не «куртуазно», так не принято «при дворе», и человек «благородный» подобного не делает. В крайнем случае обоснование отсылает нас к неприятным ощущениям других, как в «Hofzucht» Таннгейзера, где мы можем прочитать: «Не чешись и не три себя рукой, которой ты берешь с общего блюда; товарищи по застолью могут это приметить; употреби для этого платок» (пример «А», стих 113). Мы отчетливо видим, что порог чувствительности был тогда иным, нежели в позднейшие времена.

Позже в качестве обоснования говорили: оставь это, поскольку это не «civil», не «bienséant». Или же упоминали о необходимости проявлять почтение к тем, кто занимает более высокое социальное положение.

При моделировании как речи, так и всех иных видов поведения, принятого в обществе, преимуществом обладали социальные мотивировки, следование моделям, принятым в задающих тон кругах. Даже выражения, с помощью которых объясняли, почему что-то считается «хорошим» поведением за столом, часто были теми же самыми, как и при мотивировке того, что считалось «хорошей» речью.

В «Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer» Кайе для характеристики тех или иных выражений говорится: «Que la civilité a introduits parmi des gens qui parlent bien¹⁹⁾» (с. 22).

Точно то же понятие «civilité» всякий раз употребляется Де Куртэн или Ла Саллем для выражения того, что относится к хорошему или дурным манерам. И подобно тому, как Кайе попросту поминает людей «qui parlent bien», так и Де Куртэн (заключительная часть примера «G») пишет: «Раньше так делалось, а сегодня нет». Кайе в 1694 г. высказался о языке следующим образом: есть множество людей, которые недостаточно понимают «délicatesse» нашего языка («C'est cette délicatesse qui n'est connu que d'une petite nombre de gens».).

182

Теми же выражениями пользовался в 1672 г. Де Куртэн (пример «G»), говоря о правилах, принятых среди «деликатных людей»: «Всякий раз вытирай ложку, которой ты уже пользовался, перед тем, как окунать ее в общее блюдо» («у ayant des gens si délicats qu'ils ne voudraient pas manger du potage où vous l'auriez mise, après l'avoir portée à la bouche».).

Поначалу «délicatesse», чувствительность, особо развитое чувство «неприятного» было отличительным признаком небольшого придворного круга, затем — придворного общества. К языку это относится ничуть не в меньшей степени, чем к манерам за едой. Основания, по которым во имя этой «délicatesse» следовало делать одно и избегать другого, не приводились, да о них и никто не спрашивал. Мы просто видим, что «délicatesse», или, иначе говоря, порог чувствительности, сдвигается. Вместе с изменением совершенно определенной общественной ситуации меняется и состояние чувств и аффектов. Сначала это происходит в высшем слое, и лишь затем этот измененный стандарт аффектов постепенно распространяется на все общество. Ничто не указывает нам на то, что степень чувствительности меняется по причинам, обозначаемым нами как «ясные и рациональные основания», т.е. в силу лучшего постижения неких причинно-следственных связей. Де Куртэн не говорит, подобно более поздним исследователям, что иным людям кажется «негигиеничным» или «вредным для здоровья» есть суп из одного котелка вместе с другими. Конечно, под давлением придворной ситуации обостряется чувствительность именно к тому, чему позже хотя бы отчасти дадут обоснование научные исследования. Но большая часть бывших тогда в обращении табу (и куда большая, чем это часто полагают) не имеет ни малейшего отношения к «гигиене». Они и сегодня в огромной мере связаны с «неприятным чувством». В каком-то смысле этот процесс протекал противоположным по сравнению с высказываемыми сегодня предположениями образом: долгое время он зависел от изменений в межлических отношениях и от сдвига порога неприятного. В совершенно определенном направлении менялись аффективные состояния, чувства, чувствительность, а тем самым и поведение людей. С какого-то момента это поведение начинают признавать «гигиенически правильным», обосновывать его ясными идеями относительно причинных связей, что еще больше стимулирует движение в том же направлении. Сдвиг порога чувствительности в каких-то моментах мог опираться на опыт перенесения неких заболеваний, хотя подобный опыт и не получал в то время рационального объяснения.

Скорее, речь может идти о тех рационально не обоснованных страхах, которые побуждали двигаться в том же направлении, что и позднейшие рациональные объяснения. Во всяком случае, «рациональные идеи» не являются двигателем «цивилизации» в правилах приема пищи или в любой другой сфере поведения.

183

В этом отношении поучительны именно те параллели, что можно провести между «цивилизованностью» в еде и в речи. Мы можем утверждать, что изменение поведения за едой было частью общей трансформации человеческих чувств и поступков. Данные параллели показывают, насколько тесно это развитие было связано с социальной структурой, с интегральной формой отношений между людьми. Мы видим, что сравнительно небольшие круги образуют поначалу центр движения, и от него процесс постепенно распространяется вширь, на другие слои. Но само это расширение в качестве предпосылки предполагает наличие контактов, т.е. совершенно определенную социальную структуру. Такое расширение не произошло бы в том случае, если бы изменения наряду с моделиобразующими кругами не затронули и более широкие слои, не превратились в условия их существования; иначе говоря, если бы социальная ситуация широких слоев населения не сделала возможной и даже настоятельно необходимой постепенную трансформацию аффектов и поведения, сдвиг порога чувствительности.

Процесс, что здесь вырисовывается, по своей форме — но не по субстанции — подобен тем химическим процессам, при которых в жидкости, подлежащей перегруппировке, например кристаллизации, сначала перегруппируется, принимая форму кристалла, небольшое ядро, а все остальное затем постепенно кристаллизуется вокруг этого ядра. Нет большего заблуждения, чем принимать ядро кристаллизации за первопричину преобразования.

То, что некий социальный слой на какой-то фазе общественного развития становится таким центром и формирует модель поведения, то, что эта модель распространяется на другие слои и принимается ими, само по себе предполагает наличие особых социальных предпосылок и особое строение общества. Благодаря им на долю одного круга выпадает функция выработки модели, а на долю других — функция ее распространения и переработки. Впоследствии нам еще придется более подробно говорить о тех переменах в социальной интеграции, которые инициируют эти изменения поведения.

Группа 2

1. О мясной пище

1

Если мы обращаемся к различным явлениям человеческой жизни, взглядам, желаниям или наружности людей, рассматривая их как таковые, изолированно от социальной жизни, то мы имеем

184

дело с субстанциализацией человеческих отношений и человеческого поведения, воплощением общества и душевной организации людей. То же самое можно сказать о языке (являющемся человеческим отношением, принявшим звуковую форму), об искусстве, науке, хозяйстве, политике, — т.е. о тех явлениях, которые, в соответствии с принятой шкалой ценностей, либо получают высокий статус в нашей жизни или в нашем сознании, либо считаются несущественными и маловажными.

Но именно эти внешне незначительные явления часто дают нам ключ к пониманию строения и развития человеческих «душ» и отношений между ними, первоначально ускользающих от нашего взгляда.

Например, техника употребления в пищу мяса в известном смысле является показательной для динамики как отношений между людьми, так и их душевной организации.

В Средние века люди могли выбирать по крайней мере из трех различных способов есть мясо. Как и в сотне других явлений, мы замечаем здесь крайнюю разнородность поведения, что вообще характерно для средневекового общества по сравнению с Новым временем. Средневековое общество построено так, что модели поведения лишь в крайне ограниченной мере могут распространяться от некоего социального центра на все общество. В это время каждому социальному слою были свойственны свои манеры, причем зачастую единые для этого слоя во всем западном мире, в то время как поведение другого слоя выглядело совершенно по-иному. Часто различия между сословиями одного и того же региона были гораздо больше, чем между географически удаленными друг от друга представителями одного и того же социального слоя. Когда же способы поведения переходили из одного слоя в другой, что, конечно, нередко случалось, то они, в соответствии со значительной замкнутостью сословий, радикально видоизменялись.

Отношение к мясной пище колеблется в средневековом мире между следующими полюсами: в высшем слое мирян едят чрезвычайно много мяса, если сравнить это питание с рационом нашего времени. Здесь поглощают мясо в количествах, кажущихся фантастическими.

В монастырях отчасти господствует аскетический отказ от мяса, т.е. отказ, имеющий в большей или меньшей степени характер самопринуждения — не из недостатка еды, а из ее оценки — радикально сниженной и тем самым обуславливающей пищевые ограничения. Из этих кругов доносятся слова об ужасном «обжорстве» верхушки мирян.

Крайне ограниченным является потребление мяса и в низших слоях, среди крестьян. Но это происходит не из душевных потребностей, не из более или менее добровольного отказа от пищи во имя Бога или потустороннего мира, но из простой нуж-

ды. Скот стоит дорого, а потому длительное время он поступает только на господский стол. Как было отмечено, «если крестьянин забывает скот, то мясо в значительной мере идет привилегированным слоям — дворянству и бюргерам»¹⁶. При этом не забывают и клириков, которые нередко отклонялись от аскетического полюса и приближались в своем поведении к высшему слою мирян. У нас мало точных данных относительно потребления мяса высшими слоями в Средние века и к началу Нового времени. Конечно, и тут имелись значительные различия между мелкими дворянами, бедными рыцарями и крупными феодалами. Бедные рыцари по стандарту питания часто наверняка не слишком сильно отличались от крестьян.

В результате подсчетов потребления мяса при одном дворе на севере Германии, относящихся к более позднему времени (XVII в.), получается цифра примерно в два фунта в день на человека, но к ней следует добавить еще немалое число дичи, птицы и рыбы¹⁷. Велика роль приправ, сравнительно мало используется зелень. Прочие свидетельства говорят примерно о том же, но частности еще нуждаются в уточнении.

2

С большей достоверностью фиксируется другое изменение — способ поглощения мяса, претерпевающий значительные — если сравнить Средние века с Новым временем — перемены. Сама кривая этой трансформации поучительна. В высшем слое средневекового общества на стол часто подавались либо туши целиком, либо большие их части. Это могли быть не только рыба или птица (иной раз и с перьями). Целые гуси, ягнята или четверть телят появлялись на столе, не говоря уж о крупной дичи или зажаренных на вертеле свиньях и быках¹⁸.

Тушу разделяли прямо на столе. Книги о хороших манерах обращаются к правилам этой разделки раз за разом вплоть до XVII в., а иной раз и в XVIII в. встречаются указания на то, сколь важно хорошо воспитанному человеку уметь разделять туши животных.

В 1530 г. Эразм пишет: «Discenda a primis statim annis secandi ratio¹⁾».

«Si on sert, — говорит Де Куртэн в 1672 г., — il faut toujours donner le meilleur morceau et garder le moindre, et ne rien toucher que de la fourchette, c'est pourquoy si la personne qualifiée vous demande de quelque chose qui soit devant vous, il est important de sçavoir couper les viandes proprement et avec methode, et d'en connoître aussi les meilleurs morceaux, afin de les pouvoir servir avec bienséance.

L'on ne prescrit pas ici la manière de les couper, parce que c'est un sujet dont on a fait des livres exprés, ou même toutes les pieces sont en figures, pour montrer par où il faut premierement prendre la

186

viande avec la fourchette pour la couper, car comme nous venons de dire, *il ne faut jamais toucher la viande... de la main, non pas même en mangeant*; puis où il faut placer le cousteau pour la couper; ce qu'il faut lever le premier... quel est le meilleur morceau, et le morceau d'honneur qu'il faut servir à la personne plus qualifiée. Il est aisé d'apprendre à couper quand on a mangé trois ou quatre fois à quelque bonne table, de même, il n'est point honteux de s'en excuser et de s'en remettre à un autre si on ne le sçait pas²⁾».

Можно обнаружить и немецкие параллели. В «New vermehrtes Trincier-Büchlein», напечатанной в Ринтелене в 1650 г., говорится: «Поскольку служба тринцианта (Trincianten) на княжеском дворе предназначается для благороднейших, а не низких, то ее исполняет дворянин или человек иного хорошего происхождения, хорошего телосложения, с крепкими и легкими руками. При разделке он должен воздерживаться от лишних движений и ненужных глупых церемоний... и смотреть, чтобы неловкостью тела или дрожанием руки не нанес бесчестия, ибо нечто подобное не должно происходить за княжеским столом».

И разделка туши, и разрезание мяса за столом представляют собой особую честь. Чаще всего они предоставляются хозяину дома или уважаемому гостю, которого о том просит хозяин. «Les jeunes et ceux qui sont de moindre considération ne doivent pas se mêler de servir, mais seulement prendre pour eux à leur tour³⁾», — говорится в анонимной «Civilité française» 1714 (1715?) г.

В XVII в. разделка туши за столом постепенно перестает считаться умением, обязательным для светского человека наряду с охотой, фехтованием и танцами. На это указывают цитированные выше слова Де Куртэна.

3

То, что на стол перестают подавать целые туши, а разделка их за столом постепенно выходит из обычая, зависит от целого ряда факторов. Важнейшими из них были постепенное уменьшение домашних хозяйств¹⁹, последовавшее вместе с переходом от больших семей к малым, а также обособление таких производств, как ткачество, прядильное дело и забой скота. Эти виды деятельности переходили от домашнего хозяйства в руки специалистов: ремесленников, купцов, фабрикантов, занимавшихся всем этим профессионально, тогда как в ведении домашнего хозяйства оставалось в основном потребление.

В данном случае крупным общественным процессам соответствуют и изменения в душевном строе: сегодня многим людям было бы неприятно, если бы им пришлось разделять за столом половину телят или свиньи и счищать перья с зажаренного вместе с ними фазана — или даже присутствовать при подобных процедурах.

187

Сегодня существуют «des gens si délicats» (вспомним выражение Де Куртэна, рассуждавшего об аналогичном процессе), у которых возникают неприятные чувства при виде мясной лавки с развешанными

тушами, бывают и такие, кто вообще не употребляет мяса, прикрывая свою чувствительность более или менее рациональными обоснованиями. Но тут мы имеем дело со сдвигами порога чувствительности, выходящими за пределы стандарта цивилизованного общества двадцатого столетия, а потому кажущимися «анормальными». Однако не следует упускать из виду, что именно такого рода сдвиги привели в прошлом к изменениям стандарта и что изменения чувствительности, и поныне идущие в процессе общественного развития, представляют собой продолжение того же самого движения, причем в том же самом направлении. А направление это совершенно ясно. От того стандарта, при котором вид разделываемого на столе убитого животного вызывал удовольствие или, по крайней мере, не вызывал неприятных ощущений, развитие ведет к стандарту, когда человек всячески избегает воспоминаний о том, что мясное блюдо каким-то образом связано с убитым животным. В подавляющем большинстве наших мясных блюд искусство приготовления совершенно скрывает эту связь, и за едой никто о ней не вспоминает.

Нам еще придется показать, как по ходу процесса цивилизации люди более и более стремились вытеснить все то, в чем они обнаруживали «животный характер». Нечто подобное происходило и при приготовлении еды.

Разумеется, в этой области развитие также не было повсюду равномерным. Например, в Англии, где во многих областях старые обычаи подчеркнuto сохраняются (гораздо сильнее, чем на континенте), остаются в силе и форма подачи на стол больших кусков мяса («joint»), и обязанность хозяина их разделять, чего мы не обнаруживаем в городских слоях Германии или Франции. Но даже независимо от того, что сегодняшняя форма «joint» является крайне смягченной в сравнении с принятыми в прошлом обычаями, она тоже иногда вызывала резко негативную реакцию, свидетельствующую о смещении порога чувствительности. Принятие обществом «русской системы» где-то в середине прошлого века содействовало движению в этом направлении: «Our chief thanks to the new system, — говорится в английской книге о хороших манерах 1859 г. "The Habits of Good Society", — are due for its ostracizing that unwieldy barbarism — the joint. Nothing can make a joint look elegant, while it hides the master of the house, and condemns him to the misery of carving... the truth is, *that unless our appetites are very keen, the sight of much meat reeking in its gravy is sufficient to destroy them entirely*, and a huge joint especially is calculated to disgust the epicure. If joints are eaten at all, they should be placed on the sidetable, *where they will be out of sight*⁴⁾» (с. 314).

188

Такое удаление из виду неприятного, если отвлечься от некоторых исключений, вообще характерно для разделки туш за столом.

Ранее, как показывают примеры, подобная разделка прямо относилась к общественной жизни высшего слоя. Затем она стала все больше восприниматься как нечто неприятное. А сделавшись неприятным, была *удалена за кулисы общественной жизни*. Теперь этим занимаются специалисты — в мясной лавке или на кухне. Мы вновь и вновь видим, насколько характерной является эта фигура — исключение, «удаление за кулисы» всего, сделавшегося неприятным, — для всего процесса, именуемого нами «цивилизацией». Линию развития — сначала разделка больших кусков мяса или целых туш за столом, затем сдвиг порога чувствительности при виде убоины и, наконец, перемещение разделки в специализированные анклавы — можно считать типичной траекторией процесса цивилизации.

Следовало бы посмотреть, не стоят ли за схожими явлениями в других обществах аналогичные процессы. В древней китайской «цивилизации» перенесение разделки за кулисы произошло, например, много раньше и было куда радикальнее, чем на Западе. Здесь этот процесс зашел столь далеко, что разделка и нарезка мяса полностью происходят вне поля зрения общества, а нож вообще вышел из употребления за столом.

2. Об употреблении ножа за едой

4

Если взять социальное использование ножа, то оно также представляет собой проявление «душевного», во всех влечениях и желаниях которого воплощаются исторические ситуации и социальные законы.

Употребление ножа в качестве инструмента для еды в современном западном обществе связано прежде всего с бесчисленными запретами или наложенными на него табу.

Конечно, нож является опасным инструментом и в том смысле, который можно назвать рациональным. Им можно пораниться, им можно убить.

Но к этой явной опасности добавляются аффекты. Нож символизирует разнообразнейшие чувства, соотносимые с его назначением и обликом, но не выводимые из них рациональным образом. Вызываемый им страх выходит за пределы рационально обоснованного страха — он больше, чем «подсчитываемая», вероятная опасность. То же самое можно сказать о чувстве наслаждения, вызываемом его применением или самим его видом, даже если эта сторона сегодня все менее значима — в соответствии со структурой нашего общества, социальный ритуал упот-

189

ребления ножа порождает скорее неудовольствие и вызывает не столько наслаждение, сколько страх. Поэтому даже за едой это употребление ограничивается массой запретов, далеко выходящих за пределы, так сказать, «чистой целесообразности»; тем не менее каждый находит для любого из этих запретов некие по большей части туманные и с трудом проверяемые рациональные объяснения. Только при рассмотрении всех этих табу в их взаимной связи возникает предположение, что социальное отношение к ножу и правила его

употребления за столом имеют прежде всего эмоциональную природу. Страх, чувства неприятного и вины, ассоциации и эмоции самого разного рода превосходят вероятные опасности. Именно они обеспечивают таким запретам прочное место в душе, придают им характер «табу».

5

В Средние века, когда высший слой состоял из рыцарей, когда в качестве характерной черты людей выступала постоянная готовность к сражениям, когда сдерживание аффектов и наложение запретов на влечения были сравнительно незначительны, запреты на использование ножа тоже не отличались широтой. Часто повторялось: «Не чисть зубы ножом». Таков основной запрет, где уже проявляется общая направленность, по которой будут развиваться дальнейшие запреты на употребление ножа. В остальном нож остается важнейшим орудием еды. То, что нож может быть направлен ко рту, кажется само собой разумеющимся.

Но уже в позднем Средневековье (причем более непосредственно, чем в любую последующую эпоху) заявляет о себе тот факт, что за осторожностью в обращении с ножом стоят не столько рациональные основания — им можно порезаться или пораниться, — сколько прежде всего эмоции, возникающие у человека при виде ножа, направленного ему в лицо. Как говорится в «Book of Curtesye» Какстона (стих 28):

«Bere not your knyf to warde your visage for therin is parelle and mykyl drede⁵⁾».

Как и впоследствии, предупреждение отсылает к действительно имеющейся и рационально просчитываемой опасности. Однако перевес неприятного над приятным при виде ножа связан здесь с ассоциациями смерти и опасности, с его *символическим* значением, а прогрессирующее примирение внутри общества ведет к ограничениям, а затем и к полному исключению его употребления. Уже вид направленного в лицо ножа вызывает страх: «Не направляй свой нож себе в лицо, ибо это страшно». Мы имеем здесь дело с эмоциональным базисом того строгого

190

табу, которое будет впоследствии наложено на приближение ножа к собственному рту.

Нечто подобное происходит с тем запретом, впервые упоминаемом Кальвиаком в 1560 г. (заключительная часть примера «Е»): «Когда передаешь нож кому-нибудь другому, возьми его за лезвие и протяни ручкой вперед, ибо иначе это было бы малопристойно».

На следующих, более поздних стадиях развития такого рода запреты, сводящиеся к словам: «Il serait deshonneste de le faire autrement⁶⁾», будут даваться только детям в качестве «рационального» обоснования социального ритуала. Однако нетрудно заметить эмоциональный смысл этого запрета: нож нельзя направлять в сторону другого острием, как при нападении. Уже символическое значение данного действия неприятно, поскольку оно напоминает об угрожающем жизни воинском действии. Ритуал опять-таки имеет отчасти рациональное основание, поскольку, передавая нож, другого человека можно и заколоть. Но социальный ритуал связан не с этой угрозой, а с тем, что опасный жест неприятен, так как является символом смерти и опасности. Общество, которое в это время все больше уменьшает реальную угрозу, а тем самым начинает трансформировать аффекты индивида, постепенно прячет и символы, жесты и инструменты этой угрозы.

Происходит рост ограничений, запретов на употребление ножа, а вместе с тем растет и принуждение, которому подвергается индивид.

6

Если опустить частности этого развития и посмотреть только на его результат — на сегодняшние ритуалы, регулирующие использование ножа, то мы обнаруживаем удивительное многообразие слабых или сильных табу. К сильным и наиболее известным относится запрещение направлять нож к своему рту. Вряд ли стоит говорить о том, что этот запрет во многом превышает действительную угрозу от подобного действия: те социальные слои, которые привычно обращаются с ножом и постоянно используют его при еде, вряд ли могут поранить себя таким образом. Этот запрет сделался средством социальной дифференциации. Такое положение дел сохраняется и поныне, о нем можно судить по неприятному чувству, рождаемому в нас видом человека, засовывающего нож себе в рот, — это и страх, вызываемый символической опасностью, и страх особого, социального рода, страх социальной деградации, который издавна приносился в сознание родителями и воспитателями, повторявшими: «Так не делают». Имеются и другие запреты в употреблении ножа, либо вообще не подразумевающие прямой опасности для тела, либо

191

допускающие ее в минимальной мере. Судя по всему, они указывают уже не на воинское символическое значение ножа. Достаточно строгое запрещение есть рыбу ножом (ныне устаревшее и отмененное введением особого ножа для рыбы) по своему эмоциональному смыслу поначалу кажется совершенно непонятым, даже если психоаналитическая *теория* и *способна* кое-что прояснить. Известно и такое предписание: не брать предметы столового прибора, и в особенности нож, всей рукой — «comme si on tenait un bâton⁷⁾», как говорит уже Ла Салль, имея в виду пока что только вилку и ложку (пример «J»). Существует и общая тенденция исключать или, по крайней мере, ограничивать соприкосновение ножа с круглыми или яйцевидными предметами. Самым известным и трудным для истолкования является запрет резать картофелины ножом. Но в том же направлении указывают запреты резать ножом клецки и яйца, а у особо чувствительных лиц есть даже стремление не дотрагиваться ножом до яблок или апельсинов. «I may hint that

no epicure ever yet put knife to apple, and that an orange should be peeled with a spoon⁸⁾», — говорится в книге «The Habits of Good Society», опубликованной в 1859 и 1890 гг.

7

Но все эти более или менее строгие отдельные запреты (их перечисление можно было бы продолжить) представляют собой лишь примеры общей отчетливо проступающей линии развития, которое претерпело использование ножа. Здесь четко прослеживается тенденция к ограничению употребления ножа в рамках наличной техники еды, а кое-где и к полному его исключению. Данная тенденция медленно распространяется в цивилизованном обществе от верхних слоев к нижним.

Она заявляет о себе во внешне мало что говорящем предписании (пример «I»): «Не держи нож все время в руках, как это делает деревенщина, но бери его только тогда, когда он тебе понадобится». Эта тенденция значительно лучше заметна в середине прошлого века, например, в только что упоминавшейся английской книге о хороших манерах «The Habits of Good Society», где говорится: «Let me give you a rule — everything that can be cut without a knife, should be cut with fork alone⁹⁾». Для того чтобы найти подтверждения этой тенденции, достаточно просто понаблюдать за поведением наших современников. К тому же здесь мы имеем дело с одним из сравнительно ясных примеров развития техники и ритуалов еды, когда достигнутый в придворном обществе стандарт распространяется на все общество. Но мы вовсе не хотим сказать, что западная «цивилизация» и дальше будет идти в этом направлении. Это лишь одна из возможностей, а таковых в обществе всегда много. Тем не менее не ис-

192

ключено, что приготовление пищи на кухне получит дальнейшее развитие, и это еще более ограничит использование ножа за столом, переместив его «за кулисы», в специализированные анклавы.

Не исключена и возможность обратного движения. Хорошо известно, что жизненные формы, возникшие в ходе последней войны, автоматически привели, например, к отмене целого ряда сильных и слабых табу цивилизации мирного времени. Когда не было выбора, в окопах офицеры и солдаты вновь ели с ножа или руками. Под влиянием неустрашимых обстоятельств порог чувствительности может быстро смещаться.

Но если отвлечься от такого рода срывов, возможность которых по-прежнему нельзя полностью исключить и которые могут закрепляться, линия развития в употреблении ножа все же совершенно ясна²⁰⁾.

Регулирование и сдерживание аффектов укреплялись, заповеди и запреты, связанные с этим опасным инструментом, росли и дифференцировались. Наконец, употребление этого символа угрозы было по возможности ограничено.

Глядя на эту траекторию, нельзя не вспомнить о направлении, в котором в значительно более ранние времена шло развитие общества в Китае. Как уже говорилось, там нож много веков назад исчез *со стола*.

Для китайцев европейский способ потребления пищи является «нецивилизованным». Там нередко говорят: «Европейцы — варвары, они едят мечами». Как можно предположить, такие взгляды обусловлены тем, что в Китае уже на протяжении долгого времени класс воинов не был моделиобразующим высшим слоем. В этом качестве там выступал миролюбивый, причем в чрезвычайной степени, слой — ученое чиновничество.

3. Об употреблении вилки за едой

8

Для чего нам требуется вилка? Она служит для того, чтобы переправлять с тарелки в рот размельченную пищу. Но почему мы для этого пользуемся вилкой? Почему не берем еду пальцами? Это было бы «по-каннибальски», отвечает нам в 1859 г. «человек из клубного окна», неизвестный составитель «The Habits of Good Society». Но почему брать пищу пальцами было бы «по-каннибальски»? Здесь не о чем говорить, и так ясно, что пальцами едят каннибалы, варвары, нецивилизованные люди.

Однако именно в этом и заключается вопрос: почему есть вилкой цивилизованнее, чем руками?

Вызывающий облегчение ответ таков: пальцами есть негигиенично. Мы воспринимаем как нечто негигиеничное, когда раз-

193

ные люди пальцами берут пищу с одного блюда; опасность заключается в том, что мы можем чем-нибудь заразиться через соприкосновение с ними. Ведь каждый из нас боится, что другой болен.

Все хорошо, только концы с концами в этом объяснении явно не сходятся. Ведь сегодня мы не едим с общего блюда. Каждый берет пищу с отдельной тарелки, и нам не кажется «негигиеничным» брать руками с собственной тарелки пирожное, хлеб или шоколад и направлять их себе в рот.

Зачем же нам нужна вилка? Почему брать пищу с собственной тарелки руками и переправлять ее в рот оказывается чем-то «варварским» и «нецивилизованным»?

Поскольку у нас возникает неприятное чувство, когда пальцы становятся грязными и жирными, нам не хотелось бы, чтобы нас видели в обществе с испачканными пальцами. Исключение из обихода еды руками с собственной тарелки имеет мало общего с так называемыми «рациональными причинами» вроде опасности заразиться. Наблюдая за нашими чувствами, связанными с ритуалом использования вилки, мы отчетливо видим: первичной инстанцией при различении «цивилизованного» и «нецивилизованного» поведения за столом является наша чувствительность к неприятному. Вилка представляет собой воплощение определенного стандарта аффектов и чувствительности. Мы всякий раз обнаруживаем, что в основании трансформации, происходившей в технике еды в период от Средних веков до Нового времени, лежит одно и

то же явление, проступающее и при анализе других феноменов, — изменение в структуре влечений и аффектов.

Вовсе не казавшееся неприятным в Средние века поведение постепенно становится все более связанным с ощущениями неудовольствия. Стандарт чувствительности выражается через соответствующие социальные запреты. Эти табу представляют собой, как мы видим, превратившиеся в ритуалы и институты неудовольствие и чувства неприятного, отвратительного, страшного или постыдного. Они были сформированы обществом в определенных обстоятельствах, а затем раз за разом воспроизводились, причем прежде всего потому, что упрочились в виде некоего ритуала, институционализировались в качестве конкретных манер.

Эти примеры показывают — пусть в узкой области и в относительно случайных высказываниях одиночек, — как на той фазе развития, когда употребление вилки еще не было чем-то само собой разумеющимся, постепенно происходило распространение чувствительности к неприятному, которое первоначально возникло в узком социальном кругу. «Было бы в высшей степени непристойным, — говорится у Де Куртэна (1672 г., пример «G»), — брать пальцами что-либо жирное, соус или сироп; помимо всего прочего, это ведет нас к совершению еще несколь-

194

ких непристойных действий; например, это заставляет нас часто вытирать руки о салфетку и тем самым ее грязнить как кухонную тряпку, и тем, кто видит, как мы ее потом подносим ко рту, делается тошно. Либо пальцы приходится вытирать о хлеб, что тоже малопристойно. (Употребляемые Де Куртэном и поясняемые в одной из глав его сочинения слова «rgrorge» и «malrgrorge» лишь в малой мере пересекаются с нашими словами «чистоплотно» и «нечистоплотно» («sauber», «unsauber»); ранее в немецком языке часто употреблялось более подходящее слово «rgrorg». — *Н.Э.*) Остается лишь одна возможность — облизать пальцы, но это было бы вершиной «improprete»».

В «Civilité» Ла Салля (1729 г., пример «J»), оказавшей немалое содействие распространению образцов «хорошего» поведения сверху вниз, на более широкие слои, впрочем, можно прочесть: «Если пальцы у тебя стали очень жирными, вытри их сначала о твой хлеб». Это показывает, что даже к этому времени стандарт чувствительности, представленный на сто лет раньше Де Куртэном, еще не стал всеобщим.

С другой стороны, Ла Салль чуть ли не дословно воспроизводит предписание Де Куртэна: «Bienséance не позволяет брать пальцами что-нибудь жирное, соус или сироп». Среди тех «incivilités», к которым это ведет, он, помимо вытирания пальцев о салфетку, также называет (в точности как Де Куртэн) вытирание пальцев о хлеб и облизывание пальцев.

Мы видим, что все правила еще находились в процессе становления. Новый стандарт не приходит сразу. На какую-то форму поведения налагается запрет, но не потому, что она вредна для здоровья, а потому, что она неприятна для окружающих или рождает отвратительные ассоциации. От выступающих в качестве образца кругов через различные инстанции и институты распространяется представление о постыдности такого внешнего вида, и в более широких кругах у людей пробуждается опасение, что они могут вызвать подобные ассоциации. Но, однажды появившись и упрочившись посредством неких ритуалов, вроде ритуала обращения с вилкой, эти запреты и предписания воспроизводятся вновь и вновь, пока структура человеческих отношений остается без изменений. Старшее поколение, для которого подобный стандарт поведения стал само собой разумеющимся, принуждает детей (явившихся в мир, не зная этого стандарта) соответствующим образом владеть своими влечениями, контролировать свои стремления. Когда ребенок хватается пальцами что-нибудь липкое, влажное или жирное, ему говорят: «Нельзя, так не делают». А то неудовольствие, которое выказывают при виде подобного поведения взрослые, входит затем в привычку и прочно связывается с данной формой поведения. В результате человеку уже не требуется никого постороннего, кто бы указывал ему на эту связь.

195

Но в немалой степени поведение и влечения ребенка получают ту же форму и то же самое направление потому, что в обществе взрослых принято определенным образом употреблять нож и вилку, и он видит примеры этого в окружающем его мире, ему даже не нужны пояснения. Под давлением или принуждением того или иного взрослого либо под давлением и на примере всего окружающего мира происходит социализация, воспоминания о которой не сохраняются в памяти большинства людей. Они сравнительно рано забывают или вытесняют этот опыт и уже не осознают, что их чувства постыдного и неприятного, их ощущения удовольствия и неудовольствия были смоделированы извне посредством давления и принуждения и подведены под определенный стандарт. Все это кажется им чем-то глубоко личным, «внутренним», чем-то, данным им самой природой.

По высказываниям Де Куртэна и Ла Салля можно судить о том, что поначалу взрослые перестали есть пальцами из почтительности друг к другу, из «учтивости», дабы не вызывать у других неприятных ощущений, а самим не испытывать стыда за то, что другие могут их увидеть с руками «в соусе». Позже эта манера постепенно приобретает автоматизм, станет отпечатком, оставленным обществом во внутреннем мире человека, его «Сверх-Я», не позволяющим ему есть иначе, нежели вилкой. Социальный стандарт, к которому индивид поначалу приспособлялся под внешним принуждением, теперь воспроизводится более или менее гладко посредством самопринуждения, работающего и на том уровне, который прямо не связан с осознаваемым желанием.

Так веками совершается историко-социальный процесс, по ходу которого постепенно возникают стандарты чувств постыдного и неприятного, в сокращенной форме воспроизводимые у каждого индивида. Если попытаться описать этот повторяющийся процесс как закон, то можно было бы провести параллель с биогенетическим законом и вести речь об основополагающих социогенетическом и психогенетическом законах.

Примечания

¹ Цит. по: *Siebert J.* Der Dichter Tannhäuser. Halle, 1934. S. 195ff.

² Цит. по: *Zarncke F.* Op. cit. S. 138 ff.

³ См.: *The Babees Book.* P. 76.

⁴ В оригинале указание на источник отсутствует (вероятно, из-за технической ошибки). — *Прим. ред.*

⁵ В оригинале указание на источник отсутствует (вероятно, из-за технической ошибки). — *Прим. ред.*

⁶ См.: *The Babees Book.* P. 302.

⁷ Ibid. Т. II. P. 32.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. Т. II. P. 8.

196

¹⁰ См.: *Franklin. A.* La vie privée d'autrtefois // *Les Repas.* P., 1889. P. 194t.

¹¹ Ibid. P. 42.

¹² Ibid. P. 283.

¹³ *Bouhours D.* Remarques nouvelles sur la langue française. P., 1676. Т. 1. P. 51.

¹⁴ *Callières F. de.* Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer. Des façons de parler bourgeoises; en quoy elles sont differentes de celles de la Cour. P., 1694. P. 12.

Итак, лакей уведомил даму, что месье Тибо-младший просит принять его. «Хорошо, — сказала дама, — но прежде чем я приглашу его войти, мне нужно рассказать вам, кто такой месье Тибо. Это сын одного парижского буржуа из числа моих друзей, а именно, — из тех состоятельных людей, чья дружба порой бывает полезна людям благородным, так как дает им возможность одалживать деньги; сын его — молодой человек, который специально учился, чтобы войти в дело, но ему следовало бы избавиться от дурного тона и манеры речи, свойственных буржуа». (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

¹⁵ *Andressen S.* Beiträge zur Geschichte der Gottsdorffer Hof- und Staatsverwaltung 1594-1659. Bd. 1. Kiel, 1928. S. 26, Anm. 1.

¹⁶ *Sahler L.* Montbéliard à table: Memoires de la Société d'Emulation de Montbéliard. Vol. 34. Montbéliard, 1907. P. 156.

¹⁷ *Andressen S.* Op.cit. S. 12.

¹⁸ Piatina. De honesta voluptate et valitudine. 1475. Т. 6, P. 14.

Вся эта «петля цивилизации» совершенно ясно обнаруживает себя в «Письме к редактору», которое под заголовком «Obscurities of Ox-Roasting» было опубликовано в «Таймс» 8 мая 1937 г. накануне торжеств по поводу коронации английского короля и которое было, очевидно, навеяно воспоминаниями о подобных празднествах былых времен: «Being anxious to know, as many must be at such a time as this, how best to roast an ox whole, I made inquiries about the matter at Smithfield Market. But I could only find that nobody at Smithfield knew how 1 was to obtain, still less to spit, roast, carve, and consume, an ox whole... The whole matter is very disappointing». («Горя, подобно многим в то время, нетерпением узнать, как следует жарить тушу целого быка, я спрашивал об этом на рынке в Смитфилде. Однако я лишь обнаружил, что никто в Смитфилде не знает, как это нужно делать, и менее всего — как надо насаживать на вертел, жарить, разделять и есть быка целиком... Все это меня очень разочаровало») 14 мая в «Таймс» шеф-повар ресторана «Simpsons in the Strand» дает рекомендации, как изжарить быка, и в том же номере газеты приводится иллюстрация, изображающая быка на вертеле. Дебаты, которые затем в течение некоторого времени продолжались на страницах «Таймс», создают некоторое представление о том, как постепенно исчезал обычай жарить туши животных целиком; это имело место даже в случаях, когда обычно стараются сохранить привнесенные традицией формы. (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

¹⁹ *Freudenthal G.* Gestaltwandel der bürgerlichen und proletarischen Hauswirtschaft mit besonderer Berücksichtigung des Typenwandels von Frau und Familie von 1760 bis zur Gegenwart. Würzburg, 1934.

²⁰ *Andressen S.* Op.cit., S. 10. См. также приведенное здесь сообщение, что в Северной Европе использование вилки стало входить в обычай у высших слоев общества только в начале XVII в. (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям

I. Примеры

A. XV В. (?) Из «S'ensuivent les contenances de la table»

VIII

*Enfant, prens de regarder peine
Sur le siege où tu te sierras
Se aucune chose y verra
Qui soit deshonneste ou vilaine*

Перед тем, как садиться за стол,
посмотри, нет ли на твоём
сидении чего-нибудь
неприглядного или подлого.

В. Из «Ein spruch der ze tische kêt»¹

329 *Grif ouch niht mit blôzer hant
Dir selben under dîn gewant*¹⁾.

1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского

N.B. Схолии взяты из кельнского издания 1530 г., которое, судя по всему, уже в то время было предназначено для школьных уроков. К титулу добавлено примечание: «Ab autore recognitus, et novis scholijs illustratus, per Gisbertum Longolium Ultratraiectinum, Coloniae An XXX». То, что подобного рода вопросы обсуждались во время уроков, особенно отчетливо показывает отличие стандарта того времени от более поздней установки.

In civile est eum salutare, qui reddit urinam aut alvum exonerat... Membra quibus natura pudorem addidit reterege citra necessitatem, procul abesse debet ab indole liberali. Quin ubi necessitas huc cogit, tamen id quoque decente verecundia faciendum est, etiam si nemo

198

testis adsit. Nunquam enim non adsunt angeli, quibus in pueris gratissimus est pudicitiae comes custosque pudor.

Хорошо воспитанный человек никогда не должен без необходимости обижать те члены, с которыми природа связала чувство стыда. Если к тому принуждает необходимость, то делать это нужно с соблюдением приличий, стеснительно, даже там, где нет свидетелей. Ведь ангелы есть повсюду... А им нет ничего любезнее в мальчике, чем стыдливость как руководительница и хранительница приличного поведения.

Quorum autem conspectum oculis subducere pudicum est, ea multo minus oportet alieno praebere contactui.

ЕСЛИ стыдно уже показывать их перед чужим и глазами, то тем более не следует допускать их соприкосновения с другими людьми.

*Lotium remorari valetudini perniciosum, secreto reddere verecundum. Sunt qui praecipiant ut puer compressis natibus ventris flatum retineat. Atqui civile non est, dum urbanus videri studeat morbum accersere. Si licet secedere, solus id faciat. Sin minus, iuxta vetustissimum proverbium: Tussi crepitem dissimulet. Alioqui cur non eadem opera praecipiant ne alium deiciant, quum remorari flatum periculosius sit, quam alvum stringere*²⁾.

К этому в схолии (р. 33) добавляется, помимо всего прочего, следующее:

Morbum accersere: Audi Coi senis de crepitu sententiam... Si flatus sine crepitu sonituque excernitur optimis.

Melius tamen est, ut erumpat cum sonitu quam si condatur retineaturque. Atqui adeo utile hic fuerit devorare pudorem, ut corpus redimas, ut consilio omnium medicorum sic nates comprimam, quemadmodum apud epigrammatarium Aethon, qui quamvis in sacro sibi caverit crepando, tamen compressis natibus Iovem salutat. Parasitica, et illorum qui ad supercilium stant, vox est; Didici comprimere nates.

Tussi crepitem dissimulare: Tussire se simulant, qui pudoris gratia nolunt crepitem audiri. Lege Chiliades: Tussis pro crepitu.

*Quum remorari flatum perniciosus sit: Extant Nicarchi versus epigrammatum libro secundo..., quibus pestiferam retenti crepitem vim describit, sed quia omnium manibus teruntur non duxi adscribendos*³⁾.

N.B. Следует обратить внимание на обстоятельность, чрезвычайную серьезность и полное отсутствие сдерживающих моментов при откровенном обсуждении вопросов, которые с тех пор в огромной мере сделались приватными, а в общественной жизни жестко связаны с множеством суровых запретов. Это делает особенно заметным, что в процессе развития общества смещение границы стыда происходило в определенном направлении. Именно то, что при обсуждении здесь часто обращаются к чувству стыда, подчеркивает отличительные признаки стандарта стыда того времени.

199

Д. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского о

(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609, с. 32)

А потому нравственному и почтенному человеку...

N.B. В итальянском издании: «Similmente non si conviene a *Gentilhuomo* costumate apparecchiarsi alle necessità naturali...⁴⁾»

...не следует отправлять свои естественные потребности перед; другими людьми, равно как к тому приготавливаться либо по совершении сказанного перед ними одеваться. Перед почтенным обществом и руки после этого не следует мыть, чтобы причина того, почему моются руки, не представала перед их глазами во всей неприглядности. По той же причине не лучшей привычкой будет приносить на себе из переулка какую-нибудь нечисть, *statim ad comitem se convertat eique illam monstrat*⁵⁾.

*Multo minus decebit alteri re foetidam, ut olfaciat porrigere, quod nonnunquam facere aliqui soient atque adeo urgere, quum etiam naribus aliorum rem illam grave olentem admovent et inquirunt: Odorare amabo quantopere hoc foeteat; quum potius dicendum esset: Quia foetet, noli odorare*⁶⁾.

Е. 1570 Из вернигеродского «Придворного уложения»²

Было бы недостойно мужа и бесстыдно без всякой робости и наподобие мужиков, никогда не бывавших при дворе, среди почтенных воспитанных людей отправлять свои потребности перед женской половиной либо в прихожей, перед дверями или окнами других помещений, но каждому и во всякое время и повсюду и в словах, и в поступках следует быть разумным, дисциплинированным и почтительным.

Ф. 1589 Из брауншвейгского «Придворного уложения»³

Точно так же никому не позволено, кем бы он ни был, ни в какое время, раннее или позднее, мочиться или иначе грязнить мостовую, лестницы, коридоры или жилы е помещения, но делать это следует в предназначенных для отправления таких нужд местах.

200

Г. Около 1619 Из «The Book of Demeanor and the Allowance and Disallowance of certaine Misdemeanors in Companie» Ричарда Весте⁴

143 *Let not thy privy members be layd open to be view'd, it is most shamefull and abhord, detestable and rude. Retaine not urine nor the winde which doth thy bode vex so it be done with secresie let that not thee perplex*⁷⁾.

Н. 1694 Из переписки герцогини Орлеанской

(9 октября 1694 г.; по другим свидетельствам — 25 августа 1718 г.)

L'odeur de la boue est horrible. Paris est van endroit affreux; les rues y ont une si mauvaise odeur qu'on ne peut y tenir; l'extrême chaleur y fait pourrir beaucoup de viande et de poisson et ceci, joint à la foule des gens qui... dans les rues, cause une odeur si détestable qu'il n'y a pas moyen de la supporter⁸⁾.

И. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

(Rouen, p.45ff.)

Il est de la Bienséance, et de la pudeur de couvrir toutes les parties du Corps, hors la teste et les mains. On doit éviter avec soin, et autant qu'on le peut, de porter la main nuë sur toutes les parties du Corps qui ne sont pas ordinairement découvertes; et si on est obligé de les toucher, il faut que ce soit avec beaucoup de précaution. Il est à propos de s'accoutumer à souffrir plusieurs petites incommoditez sans se tourner, frotter, ni gratter...

Il est bien plus contre la Bienséance et l'honnesteté, de toucher, ou de voir en une autre personne, particulièrement si elle est de sexe différent, ce que Dieu défend de regarder en soi. Lorsqu'on a besoin d'uriner, il faut toujours se retirer en quelque lieu écarté: et quelques autres besoins naturels qu'on puisse avoir, il est de la Bienséance (aux Enfants mesmes) de ne les l'aire que dans des lieux où on ne puisse pas estre appercû.

201

Il est tres incivil de laisser sortir de vens de son Corps, soit par haut, soit par bas, quand mesme ce servit sans faire aucun bruit, lorsqu'on est en compagnie^{9a)};

N.B. Это предписание, соответствующее новым манерам, требует прямо противоположного по сравнению с правилами, приведенными в примерах «С» и «G».

et il est honteux et indécent de le faire d'une manière qu'on puisse estre entendu des autres.

Il n'est jamais séant de parler des parties du Corps qui doivent estre cachées, ni de certaines nécessitez du Corps ausquelles la Nature nous à assujetti, ni mesme de les nommer^{9b)}.

J. 1731

Из «Галантной этики, в которой показано, как и манерными поступками, и приятными словами должен рекомендоваться в галантном свете молодой человек. Всем любителям нынешнего политеса к пользе и удовольствию составлено»

Иоганна Христиана Барта

(Дрезден и Лейпциг, 4 изд.)

N.B. В Германии развитие шло медленнее, чем во Франции. Здесь и: в первой половине XVIII в. упоминались правила учтивости, руководствовавшиеся тем же стандартом, который обнаруживается в процитированном выше предписании Эразма: «Incivile est cum salutare» и т.д.

Коли идешь мимо персоны, которая в это время облегчается, то следует считать сие несуществующим, а потому было бы неучтиво ее приветствовать.

К. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

N.B. Глава «Des parties du Corps qu'on doit cacher et des necessites naturelles» в более ранних изданиях занимает две с половиной страницы, тогда как в издании 1774 г. — едва полторы. Отсутствует раздел «On doit éviter avec soin». О многом, обязательно обсуждавшемся ранее, теперь уже не говорят.

P. 24. Il est de la Bienséance et de la pudeur de couvrir toutes les parties du corps, hors de la tête et les mains.

202

Pour les besoins naturels il est de la Bienséance (aux enfants même) de n'y satisfaire que dans les lieux ou on ne soit pas appercû.

Il n'est jamais séant de parler des parties du corps qui doivent toujours être cachées, ni de certaines nécessités du corps auxquelles la nature nous a assujettis, ni même de les nommer¹⁰⁾.

L. 1768 Из письма г-жи Дю Деффан г-же Шуазель от 9 мая 1768 г.⁵

Приводится в подтверждение тезиса о престижности новых приспособлений.

Je voudrai, chère grand' maman, venir peindre, ainsi qu'au grand'abbé, quelle fut ma surprise, quand hier matin on m'apporte, sur mon lit, un grand sac de votre part. Je me hâte de l'ouvrir, j'y fourre la main, j'y trouve des petits pois... et puis un vase... je le tire bien vite: c'est un pot de chambre. Mais d'une beauté, d'une magnificence telles, que mes gens, tout d'une voix disent qu'il *en fallait faire une saucière. Le pot de chambre a été en représentation hier toute la soirée et fit l'admiration de tout le monde.* Les pois... furent mangés sans qu'il en restât un seul¹¹⁾.

II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом

1

Куртуазные стихи почти не касаются указанной темы. Имеется сравнительно немного социальных запретов и предписаний, относящихся к этой области жизни. По крайней мере для мирян поведение в обществе в то время не связано со значительными ограничениями подобного рода. Ни сами отправления, ни слова или ассоциации по их поводу еще не сделались интимными, приватными, соотнесенными с чувствами стыда и неприятного, как это произойдет позже.

Сочинение Эразма в данной области также представляет промежуточную точку на кривой цивилизационного процесса. С одной стороны, — если сравнить ее с предшествующими временами, — его труд свидетельствует о заметном повышении границы стыдливости, с другой, — в сравнении с последующими обычаями — он все еще сохраняет свободу в обсуждении естественных отправлений, то «бесстыдство», что большинству людей се-

203

годняшнего стандарта может показаться непонятным или даже зачастую «неприятным».

В то же время совершенно очевидно, что функция этого сочинения заключалась именно в воспитании чувства стыдливости. Сдерживание влечений, к которому следует приучать ребенка, обосновывается характерной ссылкой на присутствие повсюду ангелов. С течением столетий меняются обоснования того страха, что необходимо воспитать в молодых людях, дабы принудить их к вытеснению своих влечений и тем самым добиться соответствия их поведения социальному стандарту. Пока что этот страх, связанный с влечениями (или отказом от них), объясняется страхом перед существующими вне этого мира духами и тем самым олицетворяется. Чуть позже, по крайней мере в высшем слое, в самих придворно-аристократических кругах, принудительное сдерживание влечений предписывается обществом: страх, стыд, чувствительность к нарушениям предписаний часто отчетливо предстает в виде социального принуждения — как нечто постыдное и ужасное в глазах других. В более широких слоях ссылки на ангела-хранителя еще очень долгое время оставались инструментом «кондиционирования» детей. Ангелы отступают на задний план, когда увеличивается роль ссылок на вред для здоровья, на «гигиенические причины», когда последние в качестве средства отказа от влечений и моделирования аффектов обретают значимость в воспитании. Иными словами, когда они начинают играть роль ссылок на причины, обладающие весом в представлениях взрослых о «цивилизации», хотя обычно эти мысли никак не соотносятся с арсеналом средств «кондиционирования» детей. Но только при наличии такого сознания мы можем проверить, что здесь действительно рационально, а что лишь кажется таковым, на деле будучи обусловленным чувствами неприятного и постыдного у самих взрослых.

2

Как уже говорилось выше, Эразм в своем сочинении, с одной стороны, прокладывает путь к тому новому стандарту стыдливости и чувствительности, что постепенно начал формироваться в высшем слое мирян. С другой стороны, он обсуждает в нем как нечто само собой разумеющееся предметы, со временем ставшие неприятными и запретными для обсуждения. Эразм, о деликатности и утонченности которого свидетельствует само это сочинение, не смущаясь, называет телесные функции, при нашем уровне контроля над аффектами никогда не упоминаемые ни в обществе, ни тем более в книгах о хороших манерах. Но между утонченностью и непринужденностью Эразма нет никакого противоречия. Он находится на другой ступени развития контроля над аффектами.

204

Иной социальный стандарт времен Эразма становится очевидным, когда он как нечто само собой разумеющееся упоминает, что мы встречаем кого-то, «*qui urinam reddit aut alvum exonerat*¹⁾». Значительно большая простота нравов в те времена, когда потребности отпавлялись на глазах у других (а потому о них свободно говорили), напоминает нам поведение, доньше повсеместно распространенное на Востоке. Утонченность требовала только того, чтобы мы не приветствовали человека, занятого этими отправлениями. Иной стандарт замечен и в высказывании Эразма, что не следует стремиться к тому, чтобы юноша «*ventris flatum retineat*²⁾», ибо кажущаяся воспитанность может повлечь за собой болезнь. Нечто подобное он говорит о чихании и подобных ему явлениях.

Ссылки на здоровье не часто встречаются в этом сочинении. А там, где они приводятся, их целью выступает защита естественных потребностей от принуждения и противостояние требованиям их сдерживать, тогда как позже, в первую очередь в XIX в., такие ссылки почти всегда служат инструментами «кондиционирования», сдерживания влечений и отказа от них. Только в двадцатом столетии в этом отношении происходят некоторые изменения.

3

Примеров из книги Ла Салля достаточно для того, чтобы показать изменение в чувствительности к неприятному.

И в этом случае опять поучительно выглядит разница между изданиями 1729 и 1774 гг. Конечно, уже первое издание содержит в себе совершенно иной, чем у Эразма, стандарт чувствительности. Требование избегать отправления всех естественных потребностей на глазах у других недвусмысленно подчеркивается, а наличие такого предписания указывает на то, что действительное поведение людей — ни взрослых, ни тем

более детей — не отвечает данному стандарту. Хотя Ла Салль замечает, что о таких отправлениях и соответствующих частях тела и говорить-то не пристало, но сам рассуждает о них с удивительной для сегодняшнего уха обстоятельностью, называя вещи своими именами. Примечательно, что в рассчитанной на высшие слои «Civilité» Де Куртэна (1672) уже нет ни главы на эту тему, ни подобных выражений.

В позднем издании книги Ла Салля все подробности такого рода опущены. Над всеми ними сгущается «завеса молчания». У современного человека даже упоминание о них (если только речь не идет об общении с самыми близкими людьми) вызывает неприятные чувства, и в обществе мы старательно избегаем всего, что хотя бы отдаленно, хотя бы намеком напоминает о таких потребностях.

205

В то же время приведенные примеры показывают, сколь долго шел реальный процесс вытеснения этих отправлений из самой общественной жизни.

У нас имеется достаточно материала по данной теме⁶ именно потому, что в прошлом эта «завеса молчания» отсутствовала или не была столь прочной. Правда, в этих данных чаще всего видят просто курьезные подробности; отсутствует целостное их восприятие, а тем самым не возникает и общей картины процесса, обладающего определенной направленностью. Если посмотреть на весь этот материал в целом, то мы получим ту же типичную траекторию развития цивилизации.

4

Поначалу эти отправления и их лицемерие лишь в незначительной мере нагружены чувствами постыдного и неприятного; поэтому они подлежат изоляции и контролю лишь в малой степени. Они относятся к чему-то само собой разумеющемуся, вроде причесывания или обувания. Такому стандарту соответствует и «кондиционирование» детей.

«Расскажи мне, — говорит учитель ученику в школьном сборнике диалогов Матурина Кордые (1568)⁷, — в строгой последовательности, что ты делал с того момента, как поднялся с постели, и до завтрака. А вы, юноши, послушайте, чтобы затем подражать вашему школьному товарищу». — «*Experrectus surgexi e lecto, — отвечает ученик, — indui tunicam cum thorace... deinde egressus cubiculo, descendi infra, urinam in area reddidi ad parietam, accepi frigidam aquam e situla, manus et faciem lavi...*» («Я проснулся, поднялся с кровати, надел рубашку, носки и обувь, опоясался, помочился во дворе у стены, налил из бадьи свежей воды, помыл руки и лицо, вытер их полотенцем...» и т.д.).

В более поздние времена отправление потребностей во дворе было бы опущено как «маловажное» и не упоминалось бы в книге, предназначенной для чтения на уроках и написанной в воспитательных целях, чтобы дать образец хорошего поведения. Здесь такие отправления не являются ни «важными», ни «маловажными» — как и все прочие действия, они носят характер само собой разумеющихся.

Если сегодня ученику придется рассказывать о подобных потребностях, то он будет вынужден обратить задание учителя в шутку, если «буквально» станет ему следовать; он прибегнет к иносказаниям, вероятно, прикроет смехом свое смущение, что вызовет ответный «понимающий» смех у других, свидетельствующем о легком нарушении табу.

Поведение взрослых соответствует различным типам «кондиционирования». На протяжении долгого времени улица, вообще чуть ли не любое место, могло служить тем же целям, что и сте-

206

на во дворе. Не было ничего необычного в том, что и лестница, и угол в комнате, и ковер на замковой стене служили удовлетворению данной потребности. Примеры «Е» и «F» хорошо это демонстрируют. Но одновременно они показывают и то, как длительная совместная жизнь многих социально зависимых друг от друга людей при дворе породила давление и усиливала регулирование влечений, что в результате вело к большей сдержанности. Более строгое регулирование влечений, а тем самым относительно упорядоченный отказ от них, контроль над аффектами — все это в той или иной форме появляется сначала как требования людей, занимающих более высокое положение в социальной иерархии, к нижестоящим (либо к находящимся на той же социальной ступени). Только сравнительно поздно, когда буржуазия достигает высшей социальной ступени, т.е. образует массовый слой, который, в отличие от предшествующих ему, включает в себя относительно большое число равных по социальному статусу лиц, семья смогла стать единственной, точнее говоря, первичной и господствующей инстанцией, ответственной за формирование отказа от влечений. Лишь в этих условиях социальная зависимость детей от родителей становится самым ранним, наиболее важным и интенсивным источником социально необходимого регулирования и моделирования аффектов.

Для высшего слоя на рыцарско-придворной и в особенности на абсолютистско-придворной фазе развития эту функцию преимущественно исполняли сами дворы благодаря происходившему здесь непосредственному социальному общению. Многие из того, что стало для нас чуть ли не «второй природой», на этой фазе представало еще в другой форме, еще не будучи автоматически функционирующим самопринуждением, привычкой, действующей и тогда, когда человек находится в одиночестве. Для отказа от влечений и контроля над ними требовалось присутствие постороннего человека, т.е. основания для него были социальными и в большей мере осознанными. Способ сдерживания своих влечений зависел от социального положения тех, кто налагал запреты, и тех, на кого они налагались. Ситуация меняется вместе с социальным сближением слоев, ростом взаимозависимости, утратой прежней четкости в иерархической

организации общества. Рост разделения труда и интенсификация связей между людьми вели к увеличению зависимости тех, кто занимает социально высокое положение, от лиц социально более низкого ранга. Последние настолько приближаются к сильным мира сего, что те, так сказать, начинают испытывать стыд и перед нижестоящими. Только тогда орудия контроля над влечениями достигают уровня развития, принимаемого за само собой разумеющийся людьми демократического, индустриального общества. Выберем из множества примеров тот, что лучше всего высвечивает весь процесс развития.

207

В своем «Галатео» Делла Каза однажды упоминает ряд дурных привычек, которых следует избегать. Он пишет, что в обществе не следует спать, нельзя доставать и читать письма, стричь или чистить ногти. «Кроме того, — продолжает Делла Каза (с. 92), — не следует сидеть, повернувшись к другим спиной или задом, высоко задирает колени, так что могут обнажиться те части тела, которые во всякое время должны оставаться скрытыми от взора. *Ибо такое и нечто ему подобное допустимо только перед лицами, коих данное лицо не стыдится* (se non tra quelle persone, che l'huom non riverisce). *Так может делать великий господин перед своей челядью или в присутствии друзей более низкого положения; ибо тем самым он выказывает не столько свою учтивость, сколько особую к ним любовь и дружбу*».

Есть лица, перед кем мы стыдимся, и есть те, перед кем мы не испытываем стыда. Здесь очевидна социальная функция чувства стыда, моделируемая в соответствии с социальной организацией. Это не всегда столь явно *высказывается*. Но о соответствующем *поведении* у нас имеется множество свидетельств. Во Франции⁸ еще в XVII в. короли и герцоги принимали особо ими отличаемых подданных в ситуациях, о которых позже в Германии говорили вошедшими в пословицу словами: даже кайзер должен иной раз быть без свидетелей. Принимать нижестоящих, поднимаясь с постели, одеваясь, отходя ко сну, — на протяжении долгого времени это было само собой разумеющимся обычаем. О таком же чувстве стыда говорит, например, то, что подруга Вольтера, маркиза де Шатле, приводила в смущение своего камердинера, представляя перед ним нагой в ванне и при этом без тени смущения выговаривая ему за то, что он не долил горячей воды⁹.

Здесь те манеры поведения, что в демократическом индустриальном обществе нагружены разного рода табу и сопровождаются чувствами постыдного и неприятного, еще носят избирательный характер. Манеры предназначены для общения с социально выше- или равностоящими. Сдержанность и стеснение предписывались по той же схеме, что и в рассмотренных выше застольных манерах. Как говорится по этому поводу в «Галатео» (с. 580), «хотя я не считаю подобающим, когда одному из гостей предлагают что-либо блюда, рассчитанного на всех, но если предлагающий более высокого положения, то тем самым он выказывает этому гостю особую честь. Ведь если бы это происходило среди равных, то выходило бы, что предлагающий предпочитает его прочим».

В этом иерархически устроенном обществе каждое действие по отношению к другим наделено смыслом, выражающим престиж. Поэтому сдерживание аффектов, называемое нами «вежливостью», имело в то время иную форму, чем позже, когда внешние различия в ранге были нивелированы. То, что предстает

208

здесь как особый случай общения между равными, как исключение — никому не следует отдавать предпочтение, — позже станет общим правилом: в обществе каждый берет пищу с блюда сам и все начинают есть одновременно.

То же самое можно сказать об обнажении. Поначалу досадным проступком считалось в какой бы то ни было форме обнажить свое тело перед высшим или равным; в общении с нижестоящими это могло быть даже знаком особого к нему расположения.

Там, где все стали социально равными, обнажение постепенно начинает рассматриваться как проступок всегда. Сознание постепенно утрачивает воспоминания о социальном происхождении чувств постыдного и неприятного. Так как общественный запрет на обнажение и на отправление естественных нужд на глазах у других людей касается теперь всех и в этой форме уже в детстве запечатлевается в сознании человека, то взрослым эта заповедь кажется частью их внутреннего мира. В результате данный запрет получает форму более или менее тотального и автоматического самопринуждения.

5

Однако такое исключение естественных отправлений из публичной жизни и соответствующее регулирование или моделирование влечений стали возможны лишь благодаря тому, что вместе с растущей чувствительностью развивался и технический аппарат, позволивший удовлетворительным образом разрешить проблему перемещения таких поведенческих форм «за кулисы» общества. Происходило это так же, как при развитии техники еды. Процесс трансформации душевного строя, сдвиг границы постыдного и неприятного, конечно, не выводятся из развития техники и не объясняются научными открытиями. И наоборот, показать социогенезис и психогенезис технических изобретений и научных открытий было бы не так уж трудно.

Но после того как вместе с общим изменением отношений между людьми началась трансформация человеческих потребностей, развитие технической аппаратуры, соответствующей измененному стандарту, вело к чрезвычайному упрочению изменившихся привычек. Одновременно эта аппаратура служила постоянному воспроизводству стандарта и его распространению.

С этой точки зрения, известный интерес представляет то, что можно наблюдать сегодня. После того как такое поведение в огромной мере упрочилось и сделалось само собой разумеющимся — прежде всего, на протяжении XIX в., — происходит определенное ослабление запретов, касающихся естественных отправлениях. Свобода и непринужденность, с которой о них говорят — без смущения, без натянутого смеха и улыбок, свиде-

209

тельствующих о легком нарушении табу, — в послевоенное время безусловно возросли. Однако такие поведенческие формы (так же, как и нравы, процветающие на пляже и танцплощадке) стали возможны в последнее время только потому, что ранее были прочно установлены и приведены в соответствие с изменившейся чувствительностью и стандарт привычного, закреплённый техникой и институтами принуждения, и уровень сдерживания своих влечений, и само поведение. Ослабление запретов происходит в рамках уже единожды достигнутого стандарта.

6

Образовавшийся на нашей фазе развития цивилизации стандарт характеризуется огромной дистанцией, существующей между поведением детей и так называемых «взрослых». Дети должны в несколько лет достигать того уровня развития чувств постыдного и неприятного, на формирование которого ушли целые столетия. Их влечения должны быстро подвергаться строгому регулированию и специфическому моделированию, прошедшим долгий путь социального развития и придавшим нашим обществам характерную форму. Родители выступают при этом просто как инструмент (зачастую несовершеннолетний) «кондиционирования», первыми его исполнителями. Но через них, как и через тысячи других инструментов, заявляет о себе общество в целом, вся совокупность взаимосвязанных людей, оказывающая давление на подрастающее поколение и в той или иной мере его формирующая.

В Средние века общество тоже выступало как некая целостность, формировавшая индивидов. Однако механизмы моделирования, органы «кондиционирования» (или исполнительные органы) были совсем другими, в особенности в высшем слое. К ним мы еще вернемся. Но прежде всего следует отметить, что регулирование и сдерживание влечений у взрослых были существенно меньшими, чем на последующей фазе развития цивилизации, а потому меньшей была и разница в поведении взрослых и детей.

Склонности и тенденции, с которыми ведут борьбу средневековые книги о хороших манерах, часто мало чем отличаются от тех, что мы сегодня наблюдаем у детей. Но сегодня подобные формы поведения столь рано подвергаются обработке, что ряд довольно распространенных в средневековом обществе «дурных нравов» в нашей общественной жизни почти не встречается.

И сегодня ребенку внушают, что он не должен сразу хватать поставленное на стол кушанье, что нельзя чесаться, лезть руками в нос, в уши, глаза или куда-то еще. Ребенка учат, что он не должен разговаривать с набитым ртом, что с полным ртом не следует пить, что за столом нельзя «ёрзать» и т.д. Немалую часть таких предписаний мы находим в «Hofzucht» Таннгейзера, одна-

210

ко там они обращены отнюдь не только к детям, но безусловно относятся и к взрослым. Это станет еще понятнее, если мы обратим внимание на то, как взрослые в те времена отправляли свои естественные нужды. Примеры показывают, что часто они делали это так же, как сегодня — дети. Нужда часто удовлетворялась тут же, чуть ли не не сходя с места. Влечения регулировались немногим больше, чем у современных детей; другого и не ждали от взрослых. Дистанция между взрослыми и детьми, если сравнить ее с нынешней, была незначительной.

Сегодня человек окружен плотным кольцом предписаний и регулятивов, а цензура и давление общественной жизни, формирующей его привычки, столь сильны, что для ребенка остается лишь одна альтернатива: либо он подчиняет свое поведение требуемым обществом образцам, либо он исключается из жизни общества людей с «хорошими нравами». Ребенок, не достигающий уровня требуемого обществом сдерживания своих аффектов, выступает как «больной», «ненормальный», «преступный» или просто как «невыносимый» с точки зрения какой-то касты или какого-то слоя, а потому исключается из их жизни. В конечном счете, если не перейдена какая-то граница, «больной» (психически), «ненормальный», «преступный», «невыносимый» — все эти слова имеют одно значение, а их конкретное содержание варьируется в зависимости от исторического изменения моделей владения аффектами.

В известном смысле поучителен вывод в примере «D»: «*Multo minus decebit alteri te foetidam, ut olfaciat porrigere, quod nonnunquam facere aliqui soient*³⁾» и т.д. Влечения и поведение такого сорта при нынешнем стандарте чувств постыдного и неприятного с соответствующей ему схемой сдерживания аффектов кажутся «болезненными», «патологическими», «извращенными» и потому исключаются из общения между людьми. Того, кто явно склонен к подобному поведению, либо запрут дома, либо упрячут в лечебницу — в зависимости от его социального положения. Если такие влечения удовлетворяются только «за кулисами» общественной жизни, то корректировка плохо удавшегося «кондиционирования» выпадет на долю психотерапевта. В целом же данные влечения под воздействием «кондиционирования» совершенно исчезли из актуального сознания взрослых. Психоанализ обнаруживает их в виде неизжитых и не изживаемых стремлений, которые обозначаются как подсознательные или сновидческие. В нашем обществе эти стремления действительно имеют характер некоего «инфантильного» остатка, ибо социальный стандарт

требует от взрослых полного их подавления и перестройки направленности влечений. Поэтому у взрослых они кажутся «пережитками» детства.

Освобождение от такой направленности влечений требовал и стандарт, предстоящий перед нами в «Галатее». Но давление на

211

индивида с целью перестройки подобных склонностей, если сравнить его с нынешним, было минимальным. Чувства отвращения и тошноты, вызываемые данным поведением, были много слабее — таков был тогдашний стандарт. Это поведение не считалось «болезненной аномалией» или «извращением», скорее, его объясняли недостатком такта, учтивости, хороших манер.

Делла Каза рассуждает об этом «недостатке» примерно так, как мы сегодня говорим о тех, кто в обществе начинает кусать ногти. Уже то, как он об «этакое» говорит, показывает, насколько безвредным это казалось в то время.

И все же данный пример показывает, что в известном смысле мы имеем здесь поворотный пункт. Можно представить себе, что подобные проявления аффектов в предшествующие времена были весьма распространены. Но теперь на них стали обращать внимание. Общество начинает — используя в качестве средства страх — все сильнее подавлять доставляющую наслаждение составляющую определенных функций; точнее говоря, они вытесняются «внутрь», делаются частью «интимного» мира индивида. Одновременно негативно окрашенные аффекты — неудовольствие, отвращение, тягостность — вырабатываются как единственные характерные для данного общества ощущения при «кондиционировании». А вместе с объявлением вне закона многих влечений, вместе с «вытеснением» их проявлений как из внешних сфер общественной жизни, так и с поверхности сознания с необходимостью растет и дистанция, существующая в душевном строении и в поведении между взрослыми и детьми.

Примечания

¹ См.: *Zarncke F.* Op. cit. S. 138.

² См.: *Buttlar K. T.* v. Das tägliche Leben an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts // *Zeitschrift für Kulturgeschichte.* Weimar, 1897. Bd. 4. S. 13 (Апт).

³ Ibid.

⁴ См.: *The Babees Book.* P. 295.

⁵ Цит. по: *Cabanès.* Mœurs intimes du temps passé. Sér. I. P. 292.

⁶ В наилучшем и наиболее кратком виде это высказано в сочинениях А. Франклина (См.: *Franklin A.* Les soins de la toilette. P., 1877; *Franklin A.* La civilité. P., 1908. Vol. II. Appendix.).

Во втором из указанных сочинений собран ряд цитат, имеющих характер наставлений. Однако некоторые сведения, сообщаемые в этой связи автором, все же требуют критического прочтения, так как он не всегда проводит четкое разграничение между явлениями, типичными для определенной эпохи, и тем, что даже в то время воспринималось как исключение. (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

⁷ «Exemplum ad pueros in simplici narratione exercendos» («Пример для мальчиков, упражняющихся в простом рассказывании») — *Cordier M.* Colloquiorum Scholasticorum Libri Quatuor. P., 1568. T. 2. Colloquium 54.

212

⁸ Некоторые труднодоступные материалы можно обнаружить в: *Laborde de.* Le Palais Mazarin. P., 1846.

См. например, прим. 337: «Нужно ли входить в детали? Почти что политическая роль, какую на протяжении всей этой эпохи (XVII в.) играл стул с отверстием посередине, позволяет нам говорить о нем без ложной скромности и дает право заявить, что в этом предмете мебели заключался большой смысл... Одна из фавориток Генриха IV, мадам Верней, захотела, чтобы его ночной горшок находился в ее комнате — то, что в наши дни посчитали бы нечистоплотностью, тогда не было ни чем иным, как привилегией, предоставленной с некоторой снисходительностью».

Важные сведения, приведенные в этих записках, требуют тщательной перепроверки, для того чтобы мы могли опираться на них, составляя представление о стандартах жизни разных сословий. Одним из способов выявить такие стандарты стало бы скрупулезное исследование инвентарных описей предметов, оставшихся после умерших. Например, применительно к разделу «О сморкании» здесь следует отметить, что после смерти Эразма осталось удивительно большое — насколько мы можем судить об этом сегодня — число носовых платков (*fatzyletlin*), а именно, тридцать девять, и только одна золотая и одна серебряная вилки (*gebelin*). (См.: *Inventarium über die Hinterlassenschaft des Erasmus / Hrsg. von Sieber L.* Basel, 1889; репринт: *Zeitschrift für Kulturgeschichte.* Bd. IV. Weimar, 1897. S. 434ff.). Множество интересных данных содержится также у Рабле в сочинении «Гаргантюа и Пантагрюэль». Например, о том, что имеет отношение к теме «приспособлений для естественных нужд», подробно говорится в тринадцатой главе первой книги. (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

⁹ Георг Брандес, цитирующий этот фрагмент мемуаров в своей книге «Вольтер», переведенной на немецкий язык и изданной в Берлине (см.: *Brandes G.* Voltaire. B. Bd. 1. S. 340—341), дает в связи с этим следующий комментарий: «Даму не смущает, что лакей увидит ее неодоетой; она не видела в нем мужчину, способного относиться к ней как к женщине». (*Перевод Т.Е.Егоровой.*)

213

Глава VI. О сморкании

I. Примеры

А. XIII в. Из «De le zinquanta cortexie da tavola» Бонвичино да Рива

а) Предписание благородным мужам

La desetena apresso si è: quando tu stranude, Over ch 'el te prende la tosse, guarda con tu làvori In oltra parte te volze, ed è cortexia inpensa, Azò che dra sariva no zesse sor la mensa.

Если ты сморкаешься или кашляешь, то отвернись, чтобы ничего не попало на стол.

б) Предписание пажам или слугам

Pox la trentena è questa: zaschun cortese donzello Che se vore mondà lo naxo, con li drapi se faza bello; Chi mangia, over chi menestra, no de 'sofià con le die; Con li drapi da pey se monda vostra cortexia¹⁾.

N.B. Пример «b» не вполне ясен. Разумеется, представленное в нем правило специально предназначено для людей, прислуживающих за столом. Один комментатор, Угуччионе Пизано, пишет: «Donnizelli et Domicellae dicuntur quando pulchri juvenes magnatum sunt sicut servientes...²⁾». Этим «Donnizelli», как правило, не было разрешено находиться за столом вместе с рыцарями, а если это и позволялось, они должны были сидеть на более низком стуле. Специально для них, т.е. для своего рода пажей, но все же занимающих социально более низкую позицию, говорится в 31-й «куртезии»: «Всякий куртуазный "donzel", который хочет высморкаться, должен воспользоваться платком; когда он ест или прислуживает, он не должен сморкаться в пальцы. Куртуазно использовать тряпицу».

214

XV в. В. Из «Ein spruch der ze tische kèrt»

323 *Swer in daz tischlach sniuzet sich. Daz stât niht wol, sicherlich³⁾.*

С. Из «S'ensuivent les contenances de la table»

XXXIII

Enfant se ton nez est morveux. Ne Не сморкайся в ту же руку, в *le torche de la main nue, De quoy* которой ты держишь мясо. *ta viande est tenue. Le fait est vilain et honteux.*

N.B. Согласно примечаниям издателя, учтивость заключается в том, чтобы сморкаться пальцами левой руки, если ешь правой и берешь ею мясо с общего блюда (The Babees Book. Т. 2. Р. 14).

Д. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане

(Paris, 1910, Serie I, p.101)

Au quinzisième siècle, on se mouchait encore dans les doigts et les sculpteurs de l'époque n'ont pas craint de reproduire ce geste, passablement réaliste, dans leur monuments.

Среди рыцарей, «plourans» у гроба Филиппа Храброго в Дижоне, мы видим одного из них, сморкающегося в мантию, и другого, сморкающегося в пальцы.

XVI в. Е. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского

(гл. I)

Pileo aut veste emungi, rusticorum, bracchio cubitove, salsamentariorum, nec multo civilius id manu fieri, si mox pituitam vesti illinas. Strophiolis excipere narium recrementa, decorum; idque paulisper averso corpore, *si qui adsint honoratiores.*

215

Si quid in solum dejectum est emuncto duobus digitis naso, mox pede proterendum est⁴⁾.

Или в схолии к этому месту:

Inter mucum et pituitam parum differentiae est, nisi quod mucum erassiores, pituitam fluidas magis sordes interpretantur. Strophium et strophium, sudarium et sudariolum, linteum et linteolum confundunt passim Latini scriptores⁵⁾.

Ф. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского

(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609)

P. 72. Тебе не следует предлагать другому свой платок, если он у тебя хорошенько не отстиран... (non offerirai il suo moccichino...)

P. 44. Неприлично также после того, как ты очистил нос, разглядывать платок, словно у тебя из головы могли выпасть жемчужины и рубины.

P. 618. А что о тебе говорить... если ты свой носовой платок засовываешь себе в рот?

Г. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане

(Paris, 1910, Seriel)

а) Престижность платка

N.B. Подобно вилке, chaise percée и т.п., платок был поначалу дорогостоящим предметом роскоши.

P. 103. Martial d'Auvergne, les «Arrêts d'amour»:

...à fin qu'elle l'eut en mémoire, il s'advisa de luy faire faire un des plus beaux et riches mouchoirs, où son nom estoit en lettres entrelacées, le plus gentement du monde, car il estoit attaché à un beau cueur d'or, et franges de menues pensées⁶.

N.B. Этот платок предназначался для того, чтобы дама носила его на поясе рядом с ключами.

b)

P. 168. 1594 Henry IV demandait à son valet de chambre combien il avait de chemises et celui-ci répondait: Une douzaine, Sire, encore i en a-t—il de déchirées. — Et de mouchoirs, dit le roi, est-ce pas huit que j'ai? — Il n'i en a pour ceste heure que cinq, dit-il. (Lestoil, Journal d'Henri IV)⁷.

216

В 1599 г. в описи имущества умершей подруги Генриха IV мы находим запись:

«Cinq mouchoirs d'ouvrage d'or, d'argent et soye, prizez cent escuz⁸».

c)

P. 102. Au seizième siècle, dit Monteil, en France comme partout, *le petit peuple se mouche sans mouchoirs: mais, dans la bourgeoisie, il est reçu qu'on se mouche avec la manche. Quant aux gens riches, ils portent dans la poche un mouchoir; aussi, pour dire qu'un homme a de la fortune, on dit qu'il ne se mouche pas avec la manche⁹.*

Конец XVII в.

(Верх утонченности. Первые достижения воспитания и ограничения аффектов)

Н. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна

P. 134 (за столом) Se moucher avec son mouchoir à découvert et sans se couvrir de sa serviette, en essuyer la sueur du visage... sont des saletez à faire soulever le coeur à tout le monde.

.....

Il faut éviter de bâiller, de se moucher et de cracher. Si on y est obligé en des lieux que l'on tient proprement, il faut le faire dans son mouchoir, en se détournant le visage et se couvrant de sa main gauche, et ne point regarder après dans son mouchoir¹⁰.

I. 1694 Из «Dictionnaire étymologique de la langue française» Менажа

Mouchoir à moucher

Comme ce mot de moucher donne une vilaine image, les dames devroient plutost appeler ce mouchoir, de poche, comme on dir mouchoir de cou, que mouchoir à moucher¹¹.

N.B. Словосочетание «mouchoir de poche», «карманный платок», используется в качестве более приличного выражения — слово, ранее использовавшееся для обозначения ставших неприятными отправлений, вытесняется.

217

XVIII в. J. 1714 Из анонимной «Civilité française»

(Liège)

N.B. Здесь становится очевидной растущая дистанция между взрослыми и детьми. Только детям допускается, по крайней мере в средних слоях, вести себя так, как это было принято среди взрослых в Средние века.

P. 41. Gardez-vous bien de vous moucher avec les doigts ou sur la manche *comme les enfans*, mais servez-vous de votre mouchoir et ne regardez pas dedans après vous être mouché¹².

К. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

(Rouen, p. 23)

Du nez et de la manière de se moucher et d'éternuer

Il est très mal honneste de fouiller incessamment dans les narines avec le doigt, et il est encore bien plus insupportable de porter ensuite dans la bouche ce qu'on a tiré hors des narines...

Il est vilain de se moucher avec la main nuë, en la passant dessous le Nez, ou de se moucher sur sa manche, ou sur ses habits. C'est une chose très contraire à la Bienséance, de se moucher avec deux doigts, et puis jeter l'ordure à terre, et d'essuyer ensuite ses doigts avec ses habits; on sçait combien il est mal séant de voir de telles mal-propretés sur des habits, qui doivent toujours être très propres, quelques pauvres qu'ils soient.

Il y en a quelque-uns qui mettent un doigt contre le Nez, et qui ensuite en soufflant du Nez, poussent à terre l'ordure qui est dedans; ceux qui en usent ainsi sont des gens qui ne sçavent ce que c'est d'honnêteté.

Il faut toujours se servir de son mouchoir pour se moucher, et jamais d'autre chose, et en le faisant se couvrir ordinairement le Visage de son chapeau^{13a}.

N.B. Это хороший пример того, как это сочинение служило средством распространения придворных манер.

On doit éviter en se mouchant de faire du bruit avec le Nez... Avant que de se moucher, il est indécent d'estre longtems à tirer son mouchoir: *c'est manquer de respect à l'égard des personnes avec qui on est*, de le déplier en différens endroits, pour voir de quel côté on se mouchera; il faut tirer son mouchoir de sa poche, sans qu'il paroisse,

218

et se moucher promptement, de manière qu'on ne puisse presque pas ester aperçû des autres.

On doit bien se garder, après qu'on s'est mouché, de regarder dans son mouchoir; mais il est à propos de le plier aussitôt, et le remettre dans sa poche^{13b}.

L. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

(Р. 14)

N.B. Глава теперь сокращена и называется просто «Du nez».

Tout mouvement volontaire du nez, soit avec la main, soit autrement, est indécent et *puérite*; porter les doigts dans les narines est une malpropreté qui revolte, et en y touchant trop souvent, *il arrive, qu'il s'y forme des incommodités, dont on se ressent longtemps*¹⁴.

N.B. Это обоснование отсутствует в прежних изданиях, что показывает, как постепенно в качестве инструмента «кондиционирования» начинают использоваться ссылки на вредность для здоровья, нередко становясь на место ссылок на необходимость проявлять почтительность к вышестоящим.

Les enfants sont assez dans l'usage de tomber dans ce défaut; *les parents doivent les en corriger avec soin*.

Il faut observer, en se mouchant, toutes les règles de la Bienséance et de la propreté¹⁵.

N.B. Все детали здесь опускаются — расширяется «завеса молчания». Подразумевается, что все эти частности уже знакомы взрослым и соблюдаются в семьях. В прежних изданиях такой предпосылки явно не было.

M. 1797 Из «Le voyageur de Paris» де ла Месанжера

(Т. II, р. 95)

N.B. Здесь лучше, чем в предшествующих примерах, датируемых XVIII в., показана молодежь, принадлежащая к «хорошему обществу».

On faisait un art de moucher il y a quelques années. L'un imitait le son de la trompette, l'autre le jurement du chat; le point de perfection consistait à ne faire ni trop de bruit ni trop peu¹⁶.

219

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о сморкании

1

В средневековом обществе чаще всего сморкались в руку и в то же время руками ели. Отсюда — неизбежные особые предписания касательно сморкания за столом. В согласии с правилами учтивости или куртуазности, сморкаться следовало левой рукой, тогда как правой брали мясо с блюда. Но действие этого правила распространялось лишь на поведение за столом. Причиной его была исключительно внимательность по отношению к другим. Поначалу совершенно отсутствовало неприятное ощущение, связанное с тем, что таким образом можно испачкать пальцы. Сегодня уже сама мысль об этом неприятна.

Примеры вновь отчетливо показывают, насколько медленно развивались кажущиеся простейшими инструменты цивилизации. В известной степени они демонстрируют и особые общественные и душевные предпосылки, необходимые для того, чтобы в общее употребление вошел столь простой инструмент. Подобно вилке, носовой платок приходит из Италии, а затем получает широкое распространение — поначалу в силу его престижности. Дамы подвешивают на пояс богато украшенные дорогие платки. Молодые «снобы» эпохи Возрождения выставляют свои платки, обвязывают ими рот. Поскольку платки дороги, то сначала даже в высшем слое они встречаются не часто. На исходе XVI в. у Генриха IV было пять платков (пример «G(b)»). То, что человек сморкается не в руку и не в рукав, а в носовой платок, считается признаком богатства (пример «G(c)»). Только у Людовика XIV появляется богатая коллекция платков, и именно в его время употребление платка становится общепринятым — по крайней мере, в придворном обществе.

2

Как и в других случаях, в данном вопросе переходная ситуация также ясно представлена у Эразма. У него мы находим слова: по-настоящему прилично пользоваться платком; людям хорошего положения пристало сморкаться в платок. Но он добавляет: если высморкался в два пальца, то разотри ногой упавшее на землю. Употребление платка известно, но оно еще не получило распространения даже в высшем слое, для которого, собственно, и писал Эразм.

Два века спустя ситуация меняется. Носовой платок стал употребляться всеми, — по крайней мере, всеми людьми с претензи-

220

ей на «хорошее поведение». Но еще сохраняется и сморкание в руку. Правда, оно стало считаться «дурной привычкой», чем-то низким и вульгарным. Мы с удовольствием читаем у Ла Салля (примеры «N», «J», «K», «L») о различии между неким совсем подлым (*vilain*) способом сморкаться в руку и чуть лучшей манерой — сморканием в два пальца, являющимся, впрочем, «*très contraire à la Bienséance*».

Вместе с распространением носового платка все чаще упоминается новая «дурная привычка», сопровождающая «хорошую». Запрещается разглядывать свой носовой платок после того, как в него высморкались (примеры «F», «H», «J», «K», «L»). Может даже показаться, что в данной форме находят некую лазейку влечения, подвергнутые регулированию и сдерживанию в результате введения в употребление носового платка. Во всяком случае, здесь заметны тенденции, сегодня заявляющие о себе разве что в подсознательном, в сновидениях — т.е. в сфере, которая даже при вхождении в сознание

остаётся «за кулисами». Речь идет об интересе к телесным испражнениям; на ранних ступенях исторического процесса он был менее прикрыт и более заметен, а сегодня «обычно» наблюдается только у детей.

Как и в других случаях, в позднем издании Ла Салля из предписаний исчезает большая часть подробностей, содержащихся в ранних изданиях. Употребление носового платка при сморкании стало общим и само собой разумеющимся обычаем. Уже нет нужды входить в подробности, теперь стесняются говорить о тех деталях, что ранее прямо и без всякого стеснения обсуждались Ла Саллем. Сильнее, чем раньше, подчеркивается, что ковыряние в носу представляет собой дурную привычку у детей. Как и в случае других детских привычек, вместо ссылок на социальные причины запрета (или наряду с ними) появляются предупреждения о вредности для здоровья частого повторения таких действий. Эти ссылки становятся инструментом- «кондиционирования». Мы уже и на других примерах видели изменение способа «кондиционирования». Вплоть до этого времени привычки в высшем слое мирян оценивались почти исключительно в зависимости от отношения к ним других людей; они подлежали запрету, поскольку досаждали другим, могли быть им в тягость, показывали «отсутствие уважения». Теперь осуждаются сами привычки, а не то, как одни люди предстают перед глазами других. Это ведет к более радикальному вытеснению социально нежелательных влечений. Следование этим влечением выступает в качестве формы поведения, жестко соотношенной с неприятными чувствами страха, стыда, вины, причем даже тогда, когда действие совершается без свидетелей. Многие из того, что называется нами «моралью» или «моральными причинами» и используется как средство «кондиционирования» детей, приспособления их к некоему социальному стандарту, с функциональной точки

221

зрения родственно представлениям о «гигиене» и «гигиенических причинах». Моделирование, осуществляемое с помощью таких средств, нацелено на превращение социально желательного поведения в автоматическое самопринуждение; в сознании индивида данное принуждение предстает как его собственное побуждение, отвечающее его заботам о своем здоровье или о своем человеческом достоинстве. Иначе говоря, оно выступает как поведение, желаемое им самим. Лишь с появлением такого способа закрепления привычек, т.е. господствующего в буржуазных слоях способа «кондиционирования», получают отчетливую форму конфликты между социально неодолимыми силами влечений и схемами социальных требований. Эти конфликты превращаются в центральный пункт психологических теорий новейшего времени, в первую очередь, психоаналитической теории. Быть может, «невроты» существовали всегда, но то, что сегодня наблюдается в качестве «невротизма», представляет собой определенную, исторически возникшую форму душевных конфликтов, которая требует психогенетического и социогенетического объяснения.

3

Указание на механизмы вытеснения содержится уже в процитированных стихах Бонвичино да Рива (пример «А»), Разница между тем, что ожидается от рыцарей и господ, и тем, что требуется от «Donnizelli» (пажей или слуг), заставляет вспомнить о социальном феномене, подкрепляемом множеством свидетельств. Господам неприятен вид того, что делают прислуживающие им подданные, и они оказывают давление на тех, кто в их непосредственном окружении имеет более низкий статус. Это способствует вытеснению и преодолению таких поведенческих форм, хотя самим господам еще не вполне удается предписываемое ими поведение. В стихе, обращенном к господам, говорится просто: когда сморкаешься, отвернись, чтобы ничего не попало на стол. Об употреблении носового платка пока нет упоминаний. Вряд ли следует думать, что его использование уже стало в этом обществе настолько самоочевидным, что не заслуживает упоминания в сочинении о хороших манерах. Прислуге, однако, прямо предписывается: если хочешь высморкаться, то используй не пальцы, но тряпицу. Эту интерпретацию данных двух стихов нельзя считать абсолютно достоверной. Но характерен сам факт: одни и те же отправления расцениваются как неприятные и непочтительные, если их осуществляют нижестоящие, и не вызывают стыда, когда речь идет о самих вышестоящих. Этот факт получает свое истинное значение при трансформации общества в направлении абсолютизма, т.е. когда при королевском дворе аристократия со всей своей иерархией сама превратилась в

при-

222

служивающий и зависимый слой. Об этом на первый взгляд парадоксальном феномене социально зависимого высшего слоя мы еще поговорим в иной связи. Пока что нам достаточно указать, что социальная зависимость и ее структура оказывают решающее воздействие на строение и схему ограничения аффектов. В приведенных примерах мы находим немало свидетельств того, что вместе с ростом зависимости высшего слоя усиливаются и ограничения. Не случайно, что «верх утонченности» или «деликатности» (причем не только в способе сморкания) достигается на той фазе развития, когда зависимость высшего слоя аристократии является максимальной, т.е. в период правления Людовика XIV (примеры «Н» и «I»).

Наличием этого зависимого высшего слоя объясняется также двойственность манер и инструментов цивилизации, по крайней мере на фазе их возникновения: они оказывают давление и требуют отказа от определенных форм поведения, но в то же самое время они сохраняют значение оружия, направленного против нижестоящих, будучи средствами социальной дистанции. Носовой платок, вилка, тарелка и т.п. поначалу представляют собой предметы роскоши, наделенные ценностью социального престижа (пример «G»).

Социальная зависимость, характерная для следующего по времени высшего слоя, буржуазии, конечно, отличается по своему характеру от зависимости, в которой находилась придворная аристократия: первая является еще более значительной и обладает еще большей принудительной силой.

Доныне исследователи мало обращали внимания на удивительный феномен «работающего» высшего слоя. Почему они работают? Почему подчиняются этому принуждению, если они, как говорится, «властвуют», и над ними нет начальника, требовавшего бы от них этого?

Отвечая на этот вопрос, нам пришлось бы далеко уйти от нашей темы. Во всяком случае, понятна параллель с тем, что говорилось нами ранее о трансформации инструментов «кондиционирования» и моделирования. На придворно-аристократической фазе необходимость сдерживать стремления и аффекты обосновывалась прежде всего почтительностью, респектом по отношению к другим людям, в первую очередь к вышестоящим. На следующей фазе то, что принуждает к отказу от влечений, к их регулированию и контролю, в значительно меньшей мере репрезентируется определенными личностями. Иными словами, в первом приближении и без различения нюансов можно утверждать, что к сдерживанию и регулированию аффектов и влечений непосредственное отношение имеют менее заметные и безличные силы социальной взаимосвязанности, разделения труда, рынка конкуренции. Им соответствуют вышеупомянутые способы обоснования и «кондиционирования», предполагающие, что

223

социально желательное поведение рассматривается индивидом как нечто ему присущее, как его собственные внутренние побуждения, как продукт его собственного желания. Это относится и к тому регулированию влечений, которое требуется для «работы»; это относится и ко всей схеме моделирования влечений в буржуазном индустриальном обществе. Разумеется, есть отличия между схемой преодоления аффектов (определяющей, какие из них сдерживаются, а какие нет, и какие нужно регулировать и трансформировать) на этой фазе и схемой, действовавшей на предыдущей, придворно-аристократической фазе. В одних случаях, когда это соответствует иного рода нуждам, буржуазное общество сильнее ограничивает влечения, в других — оно просто перенимает и перерабатывает аристократические ограничения. Влечения трансформируются в соответствии с изменившейся социальной ситуацией. Сильнее, чем ранее, проступают различные элементы, присущие разным национальным схемам подавления аффектов. Но в обоих случаях, и в придворно-аристократическом, и в буржуазном обществе XIX и XX вв., речь идет о высших слоях общества, взаимосвязанных в социальном отношении наиболее тесно. Нам еще следует показать, что возрастающая взаимосвязь высших слоев вообще играет центральную роль двигателя цивилизации.

Глава VII. О плевании

I. Примеры

Средние века

A. Из латинского «*Stans puer ad mensam*»

(The Babees Book. T. 2. P. 32.)

27 *Nec ultra mensam spuieris nec desuper unquam. Nec carnem propriam verres digito neque scalpes.* Не плюй на стол или под него.

37 *Si sapis extra vas expue quando lavas.*

Не плюй в умывальный таз, когда моешь руки.

B. Из французской «*Contenance de table*»

(The Babees Book. T. 2. P. 7.)

29 *Ne craiche par dessus la table,
Car c'est chose desconvenable.*

Не плюй на стол.

51 *Celui qui courtoisie a chier
Ne doit pas ou bacin crachier,
Fors quant sa bouche et ses mains levé,
Ains mette hors, qu'aucun ne grève.*

Когда моешь руки, плюй
не в тазик, а рядом с ним.

133 *After mete when thoushall wasshe
Spitt not in basyn, ne water thou dasshe.*

Не плюй в умывальный таз, когда моешь руки.

D. Из «*Der Deutsche Cato*»,

(S. 137)

после 276 *Wirff nit nauch pürschen sin
Die spaichel über den tisch hin.*

Не плюй на стол.

E «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского

Aversus expuito, ne quem conspuas aspergasve. Si quid purulentius in terram rejectum erit, pede, ut dixi, proteratur, ne cui nauseam moveat. Id si non licet, linteolo sputum excipito. Resorbere salivam, inurbanum est, quemadmodum et illud quod quosdam videmus non ex necessitate, sed ex usu, ad tertium quodque verbum expuere¹⁾.

F. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского

(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609)

S. 570. Неприлично также плевать на стол, за которым сидишь: в таком месте и в такое время нужно от сего по возможности воздерживаться; если уж без этого вообще нельзя обойтись, то делай это учтиво и незаметно.

Я часто слышал, что в иные времена целые народы жили столь размеренно и поступали так достойно, что им и не требовалось плевать. Почему бы нам не делать этого хотя бы короткое время.

NB. Имеется в виду, что не следует плевать во время еды. Ограничение этой привычки относится только ко времени трапезы.

G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна

P. 273. ...Cet usage dont nous venons de parler ne permet pas que la plupart de ces sortes de loix soient immuables. Et comme il y en a

226

beaucoup qui ont déjà changé, je ne doute pas qu'il n'y en ait plusieurs de celles-cy, qui changeront tout de même à l'avenir.

Autrefois, par exemple, il estoit permis de cracher à terre devant des personnes de qualité, et il suffisoit de mettre le pied dessus; à present c'est une indecence.

Autrefois on pouvoit bâiller et c'estoit assez, pourvu que l'on ne parlast pas en bâillant; à present une personne de qualité s'en choqueroit²⁾

H. 1714 (?) Из анонимной «Civilité française»

(Liège)

P. 67. Le cracher fréquent est desagréable; quand il est de nécessité on doit le rendre moins visible que l'on peut et faire en sorte qu'on ne crache ni sur les personnes, ni sur les habits de qui que ce soit, ni même sur les tisons étant auprès du feu. Et en quelque lieu que l'on crache, on doit mettre le pied sur le crachat.

Chez les grands on crache dans son mouchoir.

P. 41. Il est de mauvaise grace de cracher par la fenetre dans la rue ou sur le feu.

Ne crachez point si loin qu'il faille aller chercher le crachat pour mettre le pied dessus³⁾.

1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

(Rouen)

P. 35. On ne doit pas s'abstenir de cracher, et c'est une chose très indécente d'avalier ce qu'on doit cracher; cela est capable de faire mal au coeur aux autres.

Il ne faut pas cependant s'accoutumer à cracher trop souvent, et sans nécessité: cela est non seulement très malhonnête; mais cela dégoûte et incommode tout le monde. *Quand on se trouve avec des personnes de qualité et lorsqu' on est dans des lieux qu'on tient propres, il est de l'honnêteté de cracher dans son mouchoir, en se tournant un peu de côté.*

Il est même de la Bienséance que chacun s'accoutume à cracher dans son mouchoir, lorsqu'on est dans les maisons des Grands et dans toutes les places qui sont, ou cirées, ou parquetées; mais il est bien plus nécessaire de prendre l'habitude de le faire lorsqu' on est dans l'Eglise autant qu'il est possible... cependant il arrive souvent qu'il n'y a point de pavé de Cuisine, ou même d'Ecurie plus sale... que celui de l'Eglise...

Après avoir craché dans son mouchoir, il faut le plier aussitôt, sans le regarder, et le mettre dans sa poche. On doit avoir beaucoup d'égard

227

de ne jamais cracher sur ses habits, ni sur ceux des autres... Quand on aperçoit à terre quelque gros Crachat, il faut aussitôt mettre adroitement le pied dessus. Si on en remarque sur l'habit de quelqu'un, il n'est pas bien séant de le faire connoître: mais il faut avertir quelque domestique d'aller ôter: et s'il n'y en a point, il faut l'ôter soi-même, sans qu'on s'en aperçoive: car il est de l'honnêteté de ne rien faire paroître à l'égard de qui que ce soit, qui lui puisse faire peine: ou lui donner de la confusion⁴⁾.

J. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

N.B. В этом издании до одной страницы сжата глава «Du Bailler, du Cracher et du Tousser», которая в более ранних изданиях занимала четыре страницы.

P. 29. Dans l'Eglise, chez les Grands et dans tous les endroits où regnent la propreté, il faut cracher dans son mouchoir. C'est une grossièreté impardonnable dans les enfants, que celle qu'ils contractent en crachant au visage de leurs camarades; on ne saurait punir trop sévèrement ces in civilités; on ne peut pas plus excuser ceux qui crachent par les fenêtres, sur les murailles et sur les meubles...⁵⁾

K. 1859 Из «The Habits of Good Society»

(London)

P. 256. Spitting is at all times a disgusting habit, I need say nothing more than — never indulge in it. Besides being coarse and atrocious, *it is very bad for the health*⁶⁾.

L. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане

(Paris, Série I, 1910)

P. 264. Avez-vous observé que nous reléguons aujourd'hui dans quelque coin discret ce que nos pères n'hésitaient pas à étaler au grand jour?

Ainsi certain meuble intime occupait une place d'honneur, ... on ne songeait pas à le dérober aux regards.

Il en était de même d'un autre meuble, qui ne fait plus partie du mobilier moderne et dont, par ce temps de «bacillophobie», d'aucuns regretteront peut-être la disparition: nous voulons parler du crachoir⁷⁾.

228

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о плевании

1

Как и при рассмотрении других рядов данных, здесь мы также замечаем изменение поведения начиная со Средневековья, причем это изменение имеет определенное направление. Движение полностью соответствует тому, что мы называем «прогрессом». И по сей день частое плевание, наряду с «недостаточной чистоплотностью», относится к тому, что многие европейцы считают особенно неприятным во время своих поездок по Востоку или по Африке, и если ранее у них сложился идеализированный образ этих стран, то они называют этот опыт «разочаровывающим». Подобный опыт укрепляет в них мнение относительно «прогрессивности» западной цивилизации. Но как показывают примеры, всего четыре века тому назад обычай плевания был ничуть не менее распространенным на Западе и считался чем-то само собой разумеющимся. Здесь мы имеем дело с особо ярким примером того, как происходила цивилизация поведения.

2

В приведенных нами текстах можно обнаружить свидетельства о нескольких ступенях развития. Латинские, английские, французские или немецкие правила застолья показывают, что плевание было чем-то обычным. Явно существовала общая потребность часто сплевывать. Это кажется само собой разумеющимся и в рыцарско-придворном высшем слое. К существенным ограничениям относится только то, что плевать следует не на стол, а под него. Нельзя также плевать в умывальный тазик, когда моют в нем лицо или руки; как указывается, можно сплюнуть рядом с ним. Эти запреты настолько стереотипны в записях о куртуазных манерах, что по ним можно составить представление о том, насколько часто встречались поведенческие формы, оцениваемые в таких сочинениях как «дурная привычка». Но и в отношении того, что считалось тогда «дурной привычкой», давление средневекового общества и принудительность «кондиционирования» были столь незначительны, что подобные привычки не исчезали из общественной жизни. Мы вновь видим здесь различие, возникающее между социальным контролем на средневековой фазе и на последовавшей за ней фазе развития.

В XVI в. давление общества усиливается. Предписывается исключать плевок (sputum), говорит Эразм (как всегда, показывающий переходную ситуацию), по крайней мере в том случае,

229

если имеется платок («si quid purulentius in terram rejectum erit»). Употребление платка упоминается здесь пока что в качестве возможного, но не необходимого средства для преодоления этой привычки, которая постепенно начинает считаться неприятной.

Следующий шаг хорошо просматривается в тексте Де Куртэна (1672): «Ранее позволялось плевать на землю перед лицами высокого положения, и было достаточно растереть ногой плевков, тогда как сегодня это непристойно».

В рассчитанной на более широкие круги «Civilité» (1714) речь ведется в том же духе: «Делай это по возможности незаметно, причем так, чтобы ни себе, ни другим людям не испачкать платья. Перед «великими», т.е. перед лицами высокого положения... on cache dans son mouchoir» (нужно использовать свой платок).

У Ла Салля (1729) сходное предписание распространяется на любые места, «где чисто». К этому он добавляет, что следует привыкнуть к тому, чтобы и в церкви не плевать на пол, но пользоваться платком.

К 1774 г. не только сама привычка, но даже речь о ней делаются неприятными. В 1859 г. плевание объявляется «привычкой, во все времена отвратительной». В соответствии с продвинутым стандартом чувствительности XIX в. техническим средством преодоления этой привычки становится плевательница — по крайней мере, в домах. Кабане в 1910 г. напоминает о том, что, наряду с другими приспособлениями такого рода, она постепенно перешла из разряда публичной жизни в интимную область (пример «L»).

Со временем и это приспособление выходит из употребления. В значительной части западного общества, кажется, вообще исчезла сама потребность время от времени сплевывать. Чувствительность и сдержанность вновь достигли того уровня, о котором говорил Делла Каза: читая античных авторов, он вынес представление, что в те времена «целые народы жили столь размеренно и поступали так достойно, что им и не требовалось плеваться» (пример «F»).

Всякого рода табу и ограничения всегда окружают как извержение слюны, так и прочие естественные отправления. Это происходит в различных обществах, будь они примитивными или цивилизованными. Разница между запретами заключается в том, что в одних запреты связаны со страхом перед каким-то другим существом и подкрепляются внешним принуждением, тогда как в других это внешнее принуждение преобразуется, превращаясь в самопринуждение. Запретные склонности, вроде плеванья, исчезают под давлением такого рода самопринуждения или, ина-

230

че говоря, под давлением «Сверх-Я», а внешние причины отчасти даже вытесняются из сознания. В качестве мотивов страха в сознании остаются некие воспоминания о внешних причинах. В наше время чувства страха, стыда или тягостности, связанные с плеванием, уже не концентрируются вокруг магических действий или образов богов, духов и демонов; на их место пришли более точно определяемые образы неких болезней и их «возбудителей». Но ряд примеров точно так же показывает, что рациональное объяснение происхождения данных болезней, установление того, что слюна может служить передатчиком возбудителей заболевания, никак не были первопричиной страха и прочих неприятных чувств. Не были они и двигателем цивилизации или той силой, которая привела к изменению поведения, в том числе и в случае плеванья.

На протяжении долгого времени неизменно повторялось: удерживать слюну не следует. «Resorbere salivam, inurbanum est», как говорит Эразм (пример «D»). Ла Салль в 1729 г. повторяет: «On ne doit pas s'abstenir de cracher». Иначе говоря, подавлять желание сплюнуть не следует (пример «I»). Долгие века мы не обнаруживаем малейших упоминаний о «гигиенических причинах» запретов и ограничений, связанных с подобными влечениями. Рациональное объяснение опасности заражения через слюну приходит на поздней фазе изменения поведения, т.е. уже задним числом, в девятнадцатом столетии. Но даже тогда наряду со ссылками на вредные для здоровья последствия мы обнаруживаем указания на неприятность и отвратительность этого для других. Как говорится в примере «K», «besides being coarse and atrocious it is very bad for the health».

Следовало бы раз и навсегда установить, что нечто вредное для нашего здоровья совсем не обязательно возбуждает чувства стыда или тягостности. И наоборот: нечто, рождающее такие чувства, далеко не всегда должно быть вредным для здоровья. Сегодня тот, кто чавкает или ест руками, вызывает в высшей степени неприятные ощущения, хотя нам нечего беспокоиться о состоянии его здоровья. При этом мысли о вредности чтения при плохом освещении или об отравляющем газе не вызывают у нас такого рода чувств, хотя вредные последствия тут несомненны. Усиление чувств тягостности и тошнотворности от извержения слюны, появление табу, которые стали его окружать, происходят задолго до того, как возникли какие бы то ни было рациональные представления о слюне как переносчике заразы. Неприятные чувства и ограничения появляются и растут в результате трансформации межчеловеческих связей и отношений зависимости. «Ранее позволялось неприкрыто зевать или плевать», — говорится в примере «G», тогда как «ныне человек известного положения будет этим шокирован» («à present une personne de qualité s'en choquerait»). Таковы основания, приводимые людьми

231

в качестве требований большей сдержанности. Мотивировка, связанная с необходимостью проявления социального почтения, намного предшествует мотивировке с помощью естественнонаучных воззрений. Король требует такой сдержанности от придворных как «*marque de respect*». В придворном обществе эта сдержанность является признаком зависимости, растущего принуждения и овладения своими аффектами. В то же самое время это — «*marque de distinction*», а потому она получает распространение вместе с социальным подъемом более широких слоев, подражающих придворным. Как и на более ранних этапах, слова: «Так не делают», с помощью которых воспитываются сдержанность, страх или стыдливость, лишь очень поздно, вместе с известной «демократизацией» общества, увязываются с научными теориями и равным образом распространяются на всех людей, независимо от их положения или ранга. Такое постепенное, получающее все более широкое распространение вытеснение склонностей порождается вовсе не рациональным осознанием причин заболеваний. Оно обязано своим существованием трансформациям другого рода, о которых нам еще придется говорить подробнее. Это — изменения в совместной жизни людей, перемены в строении общества.

Более или менее полное исчезновение самой потребности плевать является хорошим примером того, что душевный аппарат поддается формированию. Возможно, эта потребность компенсируется другими, вроде тяги к курению; быть может, она ослабляется благодаря каким-то изменениям в составе пищи. Подобно другим стремлениям такого рода, плевание может быть замещено иными склонностями. Во всяком случае, мы довольно часто обнаруживаем его присутствие у детей или при анализе сновидений; о его вытесненном характере говорит и специфический смех, вызываемый даже откровенным разговором «о таких вещах». Другие потребности не являются до такой степени заместимыми или трансформируемыми. В связи с этим возникает общий вопрос о границах трансформируемости душевного аппарата. Несомненно, он наделен собственными законами, которые можно назвать «естественными». В рамках этих законов формируется исторический процесс, ими задаются пространство его действия и границы; задачей является выяснение того, как человеческие жизнь и поведение моделируются историческим процессом. Но природный и

исторический процессы в данном случае неразделимы. Образование чувств постыдного и неприятного, смещение порога чувствительности — в обоих случаях мы имеем дело и с природным, и с историческим феноменами одновременно. Эти формы ощущений представляют собой прояв-

232

ления человеческой природы, возникающие под воздействием определенных социальных форм и, в свою очередь, оказывающие обратное влияние на социоисторический процесс.

Трудно с уверенностью утверждать, что радикальное противопоставление «цивилизации» и «природы» представляет собой исключительно выражение скованности самой «цивилизированной» души, т.е. специфической диспропорции в рамках того душевного аппарата, что возник на новейшей фазе развития западной цивилизации. В любом случае, душевный аппарат «дикарей» ничуть не менее, чем у людей «цивилизированных», является продуктом истории. Он тоже сформирован обществом, даже если сами индивиды не имеют ни малейшего представления об этой истории. Не существует нулевого пункта в истории развития человека, подобно тому, как нет нулевого пункта в истории его социального существования, общественной взаимосвязи между людьми. Существуют социально сформированные запреты и ограничения, подобно тому, как существует их душевный субстрат с социально оформленными страхами, чувствами удовольствия и неудовольствия, приятного и неприятного. Во всяком случае, ситуация далеко не так ясна, как при обычных противопоставлениях, где стандарт так называемых «дикарей» признается «естественным» и в качестве такового находящимся в оппозиции к «цивилизированному» стандарту, признаваемому продуктом истории и общества. Пока речь идет о психических функциях людей, природные и исторические процессы с необходимостью взаимодействуют, находясь в неразрывном единстве.

Глава VIII. О поведении в спальне

I. Примеры

A. XV в. Из «Stans puer ad mensam», английского свода правил, относящегося ко времени между 1463 и 1483 гг.

(A Book of Precedence. London, 1869. P. 63.)

*215 And if that it fortene so by nyght or Any tyme
That you schall lye with Any man that is better than you
Spyre hym what syde of the bedd that most best will ples hym,
And lye you on thi tother syde, for that is thi prow;
Ne go you not to bede before bot thi better cause the,
For that is no curtasy, thus seys doctour paler.*

Если тебе пришлось разделить постель с человеком более высокого положения, то спроси его, какую сторону он бы предпочел. Не ложись в постель, пока не скажет более высокородный; иначе это не было бы куртуазно, как говорит доктор Палер.

*223 And when you arte in thi bed, this is curtasy,
Stryght downe that you lye with fote and hond.
When ze haue talkyd what ze wyll, byd hym gode nyght in hye
For that is gret curtasy so schall thou understand.*

Ляг в постель, вытянись прямо и скажи доброй ночи.

N.B. Чтобы облегчить понимание текстов, мы отказались здесь от точной передачи староанглийского письма. Филологически точно они воспроизведены в «A Book of Precedence».

B. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского

(kap. XII, de cubiculo)

Sive cum exuis te, sive cum surgis, memor verecundiae, cave ne quid nudes aliorum oculis quod mos et natura tectum esse voluit.

234

Si cum sodali lectum habeas communem, quietus jaceto, neque corporis jactatione vel te ipsum nudes, vel sodali detractis palliis sis molestus¹⁾.

C. 1555 Из «Des bonnes moeurs et honnestes contenance» Пьера Броэ

(Lyon)

*Et quand viendra que tu seras au lit
Après soupper pour prendre le délit
d'humain repos aucques plaisant some
si auprès de toi est couché quelque home
Tien doucement tous tes membres à droyt
Alonge toy, et garde à son endroyt
de le facher alors aucunement*

*pour te mouvoyr ou tourner rudement
par toy ne soyent ces membres descouvers
te remuant ou faisant tours divers;
Et si tu sens qu 'il soit ja someillé
Fay que par toy il ne soyt esueillé²⁾.*

D. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

(Rouen)

P. 55. On doit... ne se deshabiller, ni coucher devant personne; l'on doit surtout, à moins qu'on ne soit engagé dans le Mariage, ne pas se coucher devant aucune personne d'autre sexe.

Il est encore bien moins permis à des personnes de sexe différent, de coucher dans un mesme lit, quand ce ne serait que des Enfants fort jeunes...

Lorsque par une nécessité indispensable, on est contraint dans un voiage de coucher avec quelque autre de mesme sexe, il n'est pas bienséant de s'en aprocher si fort, qu'on puisse non seulement incommoder l'un l'autre, mais mesme se toucher; et il l'est encore moins de mettre ses jambes entre celles de la personne avec qui on est couché...

Il est aussi très indécent et peu honnête, de s'amuser à causer, à badiner...

Lorsqu'on sort du lit, il ne faut pas le laisser découvert ni mettre son bonnet de nuit sur quelque siège, ou en quelqu'autre endroit d'où il puisse être aperçu³⁾.

235

E. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля

P. 31. C'est un étrange abus de faire coucher des personnes de différents sexes dans une même chambre; et si la nécessité y oblige, il faut bien faire ensorte que les lits soient séparés, et que la pudeur ne souffre en rien de ce mélange. Une grande indigence peut seule excuser cet usage...

...Lorsq'on se trouve forcé de couche avec une personne de même sexe, ce qui arrive rarement, il faut s'y tenir dans une modestie sévère et vigilante....

.....
Dès que l'on est éveillé, et que l'on a pris un temps suffisant pour le repos, il faut sortir du lit avec la modestie convenable, et ne jamais y rester à tenir des conversations ou vaquer à d'autres affaires... rien n'annonce plus sensiblement la paresse et la légéreté; le lit est destiné au repos du corps et non à toute autre chose⁴⁾.

II. Некоторые мысли о процитированных текстах

1

Спальная комната стала одной из самых «приватных» и «интимных» областей человеческой жизни. Подобно другим телесным отправлениям, «процедура сна» также постепенно переместилась «за кулисы» социального общения. Единственным легитимным, общественно санкционированным анклавом для этой функции — равно как для многих других — остается малая семья. Ее видимые и невидимые стены скрывают от взгляда других людей самое «приватное» и самое «интимное», то непреодолимо «животное», что входит в существование человека.

В средневековом обществе эта функция не была в такой степени приватизирована и обособлена от общественной жизни. Было чем-то совершенно обычным принимать гостей в комнате, где стояли кровати, причем сами кровати украшались, так как они, в качестве предметов престижа, обладали собственной ценностью. Было обычным то, что в одной комнате ночевало много людей; в высших слоях было принято, чтобы слуга спал в той же комнате, что и господин, а госпожа разделяла спальню со служанкой или служанками. В домах представителей прочих слоев в одной комнате часто спали мужчины и женщины¹⁾, а иной раз и оставшиеся у них на ночь гости²⁾.

236

2

Тот, кто не спал прямо в одежде, раздевался донага. Миряне чаще всего спали голыми, члены монашеских орденов, в зависимости от строгости устава, — либо полностью одетыми, либо совершенно нагими. Правила ордена св. Бенедикта (отчасти восходящие к VI в.) предписывали членам ордена спать одетыми, даже не снимая пояса³⁾. Согласно уставу клюнийского ордена XII в. — ордена богатого, могущественного и менее аскетичного, — монахи спали обнаженными. Цистерцианцы в своем реформаторском пыле вернулись к старым бенедиктинским правилам. В уставах орденов того времени нигде не говорится о ночном белье. Мы не находим никаких упоминаний о нем ни в эпосе, ни в рисунках, оставленных нам свидетелями-мирянами того времени. Это относится и к женщинам. Если кто-то ложился спать в дневной рубашке, то это бросалось в глаза, вызывало подозрения в том, что он хочет скрыть какое-то телесное уродство. Зачем же еще прикрывать тело? Чаще всего именно это и было причиной использования ночью одежды. В «Романе о фиалке» мы читаем, например, как служанка с удивлением спрашивает свою госпожу, почему она ложится в кровать в рубашке, а та объясняет, что из-за родимого пятна⁴⁾.

Такая непринужденность в обнажении своего тела, свидетельствующая о существовавшей в те времена границе стыда, хорошо видна также на примере бань и связанных с ними нравов. Позже не раз с удивлением отмечали, что рыцарю в бане прислуживали женщины; они же часто приносили ему в постель питье. В городах часто наблюдалось, что перед тем, как идти в баню, раздевались дома и шли нагишом. «Сколько раз

мы видели, — пишет наблюдатель, — как муж выходит из дома в одних подштанниках и идет в баню по переулку, сопровождаемый своей обнаженной женой и нагими детьми... Сколько раз видел я совершенно обнаженных девиц десяти, двенадцати, четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати лет, совсем нагих или едва прикрытых каким-то рваньем либо драными полотенцами, как говорится в сих землях: прикрыв только срам и задницу. Так они прямо днем и ходят с банными принадлежностями в руках по длинным переулкам. А рядом идут уже совсем нагишом мальчишки двенадцати, четырнадцати, шестнадцати лет...»⁵.

Такая непринужденность постепенно исчезает на протяжении XVI в., а затем и вовсе сходит на нет в XVII, XVIII и XIX вв., сначала в высших слоях, затем и в низших. Но до тех пор жизненные формы предполагали незначительную дистанцированность индивида от созерцания обнаженного тела, по крайней мере, в соответствующих местах. Это считалось чем-то само собой разумеющимся, в отличие от первой фазы Нового времени. В заметках о Германии мы можем прочитать: «Удивление вызы-

237

вает то, что нагота была повседневным явлением вплоть до XVI в. Всякий полностью обнажался перед тем, как идти спать, и ничем не прикрывал себя в бане»⁶. Разумеется, это относится не только к Германии. Люди менее стеснительно относились к своему телу, как и ко многим телесным отправлениям; можно сказать, что они относились к ним по-детски. Нравы спальни демонстрируют это не меньше, чем банные обычаи.

3

Специальное ночное белье появляется примерно в то же время, что и вилка или носовой платок. Как и другие «орудия цивилизации», оно очень медленно пролагает свой путь по Европе. Как и они, ночное белье представляет собой символ той радикальной трансформации, которую претерпевали в это время люди. Растет их чувствительность ко всему, что может войти в соприкосновение с их телом. Стыдливость проникает в поведение, ранее не связанное с таким чувством. Описанный еще в Библии психический процесс: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги», т.е. смещение границы стыда, сдвиг в сдерживании влечений, повторяется, как это не раз случалось в истории. Непосредственность, с которой люди обнажались перед другими, исчезает наряду с отсутствием стеснительности при удовлетворении прочих своих нужд на глазах у других. В общественной жизни вид обнаженного тела перестал быть чем-то само собой разумеющимся. Это сопровождалось возрождением традиции его художественного изображения в искусстве: созерцание обнаженного тела в значительно большей степени переходит в мир сновидений и мечтаний. Если воспользоваться терминами Шиллера, то, что было «наивным» на предшествующей фазе, теперь стало «сентиментальным».

В придворном обществе Франции утреннее пробуждение и отход ко сну, по крайней мере у высших персон, становятся событиями публичной жизни, а потому ночная рубашка (как и любое платье, предназначенное для показа другим) украшается. Теперь она служит представительским целям. Перемены происходят здесь вместе с социальным подъемом более широких слоев. Все связанное с тем, как человек встает с постели или ложится в нее, приобретает интимный характер, исключается из поля зрения посторонних и делается достоянием малой семьи.

Послевоенные поколения и относящиеся к этому времени книги о хороших манерах с известной иронией (иной раз и с содроганием) отзываются о том периоде, когда подобное отношение к таким проявлениям «постельной жизни», как сон, одевание и раздевание, с особой строгостью исключались из общественной жизни. Даже говорить о них не полагалось в силу довольно суровых запретов. В одной английской книге о манерах,

238

вышедшей в свет в 1936 г.⁷, говорится — пусть с некоторым преувеличением, но с достаточными основаниями — следующее: «During the Genteel Era before the War, camping was the only way by which respectable writers might approach the subject of sleep. In those days ladies and gentlemen did not go to bed at night — they retired. How they did it was nobody's business. An author who thought differently would have found himself excluded from the circulating library¹⁾». Начиная с войны, здесь также произошло известное ослабление запретов и движение в противоположном направлении. Очевидно, это связано с растущей социальной мобильностью, с распространением спорта, туризма, путешествий, со сравнительно ранним обособлением молодых людей, начинающих жить вне семьи. Переход от ночной рубашки к пижаме, т.е. к костюму более «социальному», можно считать симптомом этих перемен. В этом случае речь также не идет о возврате к прошлому, т.е. к уменьшению чувствительности и стыдливости, к раскованности и неупорядоченности влечений, но о появлении более свободной формы, в достаточной мере соответствующей и нашему продвинутому стандарту стыдливости, и специфическим ситуациям современной общественной жизни. «Церемония сна» теперь не настолько интимна и обнесена стенами, как на предшествующей фазе. Возникло значительное число ситуаций, когда, отходя ко сну, одеваясь или раздеваясь, человек оказывается перед глазами других. Вследствие этого ночное или нижнее белье преобразуется таким образом, чтобы носящий его не «стыдился», когда его увидят другие. На предшествующей фазе ночное белье связывалось с чувствами стыда именно из-за своей неоформленности. Его можно было видеть только в узком семейном кругу. Ночная рубашка XIX в. знаменует собой эпоху, когда, с одной стороны, чувствительность и стыдливость, вызываемые обнажением собственного тела, зашли столь далеко, что следовало целиком скрывать все его части даже в семейном кругу. С другой стороны, ночная рубашка представляет собой реквизит той эпохи, когда «интимное» и «приватное» не были

сколько-нибудь обусловлены социальными формами именно в силу своей исключительной обособленности от общественной жизни. Характерной для общества XIX в., а в немалой мере и для нашего времени, является своеобразная связь между перенесенной вовнутрь и сделавшейся внутренним принуждением чувствительностью и моралью, с одной стороны, и «неоформленностью интимного» — с другой⁸.

4

Приведенные примеры дают представление о том, как происходили эти процессы «интимизации» и приватизации «процедуры сна», ее исключения из публичной сферы. Они показывают, как

239

предписания, даваемые молодым людям, вместе со сдвигом границы стыда приобретали подчеркнuto морализаторский характер. В Средневековье (пример «А») требуемая от молодого человека скромность в основном обуславливалась отношением к другим, обосновывалась необходимостью проявлять почтение к «лучшим» людям, т.е. занимающим более высокое социальное положение: «Если тебе пришлось делить постель с лучшим человеком, то спроси его, какую сторону он предпочитает, и не ложись в постель, пока он тебе о том не скажет, ибо иначе было бы не куртуазно». В свободном переводе французских стихов Пьера Брөз на немецкий, осуществленном Иоганном Сульпицием, господствует тот же подход: «Не трогай своего соседа, пока он спит; смотри, чтоб он из-за тебя не проснулся» и т.д. У Эразма звучит, скорее, моральное правило, требующее определенного поведения не ради другого, но ради «самого себя»: «Когда ты раздеваешься или одеваешься, думай о приличии». Но мысль об общественных нравах, о мнении других все же преобладает. Контраст с более поздними временами особенно заметен, если вспомнить, что предписания, вроде тех, что давал доктор Палер (пример «А»), адресовались людям, которые ложились спать обнаженными. Чужие друг другу, не связанные какими-либо семейными или домашними узами люди спокойно разделяли одну постель, и, судя по тому, как обсуждается это вопрос, еще во времена Эразма это считалось само собой разумеющимся и ни в коей мере не предосудительным.

Приводимые цитаты из сочинений XVIII в. непосредственно не продолжают ту же традицию, поскольку предписания обращены уже не только и не столько к высшему слою. Но к тому времени уже и в других слоях не считалось чем-то самоочевидным, что молодой человек делит постель с кем-то другим: «Если тебе во время путешествия по необходимости приходится делить постель с другим лицом, то не приличествует не только к нему приближаться, поскольку можно помешать ему спать, но и его касаться» (Ла Салль, пример «D»). Далее мы читаем: «Не следует ни раздеваться, ни ложиться в постель на глазах у другого».

В издании 1774 г. опять исключены все детали. Тон также делается более резким: «Если ты вынужден делить постель с лицом того же пола, что иной раз случается», то «il faut se tenir dans une modestie severe et vigilante²» (пример «E»). Это уже тон морального требования. Основания предписания не проговариваются, они становятся неприятными для взрослых. Ребенок же по угрожающему тону должен почувствовать, что данная ситуация связана с опасностью. Чем больше взрослые принимают свои чувства неприятного и постыдного за «естественные», а цивилизованную скованность влечений — за нечто само собой разумеющееся, тем непонятнее для них факт, что ребенок «от природы» не ведает об этих чувствах. Дети принудительно «подгоняются»

240

к этому порогу чувствительности взрослых, но они неизбежно нарушают социальные табу, поскольку еще к ним не приспособились. Они нарушают границы стыдливости взрослых и вступают в опасную зону собственных аффектов, а с некоторыми из аффектов не так-то легко справиться. Взрослые не объясняют им своих требований к поведению, да они и не в состоянии их объяснить. Сам взрослый «кондиционирован» так, что он более или менее автоматически выбирает формы поведения, отвечающие социальному стандарту. Любое другое поведение, любое нарушение запретов или правил его общества означает для него опасность обесценения того самоконтроля, которому он сам себя подвергает. В характерном эмоциональном тоне, в агрессивности, в выражающей угрозу суровости, столь часто сопровождающих моральные требования, находит выражение ощущение той опасности, что несет с собой любое нарушение запретов. Нарушение данных требований ведет к утрате динамического равновесия всех тех, для кого стандартное поведение в обществе стало чуть ли не «второй натурой». Этот тон, эта суровость представляют собой симптомы страха, появляющегося у них при малейшей угрозе, направленной на структуру их влечений, равно как и на их социальное существование, на порядок их социальной жизни.

Вместе со сдвигом границы стыда и ростом дистанции между взрослыми и детьми возникает целый ряд специфических конфликтов между взрослыми, равно как между взрослыми и детьми, плохо подготовленными к «кондиционированию». Этим объясняется и немалое число особенностей структуры цивилизованного общества, поскольку в его основании лежит изменившаяся ситуация. Сама она была сравнительно поздно осознана обществом, прежде всего узкой профессиональной группой, занятой воспитанием. Лишь со временем, вместе с наступлением «века ребенка», эта увеличившаяся дистанция между ребенком и взрослым попадает в поле внимания, а за ребенком признается право вести себя не так, как должен взрослый. В семейный круг начинают внедряться соответствующие советы и предписания. Но в течение долгого предшествующего периода и на детей распространялись суровые, перегруженные моральными запретами предписания. И сегодня еще нельзя сказать, что они исчезли.

Примеры поведения в спальне дают нам некоторое представление о том, как медленно продвигалась вперед данная тенденция в рамках светского воспитания и как она постепенно достигла своей окончательной формы.

Вряд ли нужно еще раз подробно говорить о направленности этого развития. Так же как и в случае еды, здесь постепенно растет стена, воздвигаемая между людьми. Это стена стеснительности, регулирования аффектов, которая с помощью «кондиционирования» устанавливается между их телами. Все более неприятные чувства связываются с необходимостью делить по-

241

стель с другими (за исключением тех, кто принадлежит к семейному кругу), т.е. с посторонними. Там, где не царит нужда, даже в рамках семьи становится обычным иметь для каждого ее члена отдельную кровать, а в средних и высших слоях — и отдельную спальню. Дети с самого раннего возраста приучаются к такой дистанции от других, к изоляции, меняющей их привычки и опыт. Если посмотреть, насколько самоочевидным казалось в Средние века то, что люди спали в одной кровати с посторонними, что взрослые и дети делили одну постель, то мы можем оценить глубокое изменение межчеловеческих отношений и поведения, затронувшее весь порядок жизни. Тогда мы увидим и то, что вплоть до последней по времени фазы процесса цивилизации постель и тело совсем не считались зонами психической опасности.

Примечания

¹ См.: *Rudeck W.* Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit. Jena, 1887. S. 397.

² *Wright Th.* The Home of other Days. L., 1871. P. 269.

³ *Jöckler O.* Askese und Mönchstum. Frankfurt, 1897. S. 364.

⁴ См.: *Wright Th.* Op. cit.; *Cabanès.* Moeurs intimes du temps passé. Op. cit. Ser. 2. P. 166. Ср. также: *Zappert G.* Über das Badewesen in mittelalterlicher und späterer Zeit // Archiv für österreichischen Geschichtsquellen. Wien, 1859. Bd. 21.0 роли кровати в домашнем хозяйстве см.: *Coulton G.G.* Social Life in Britain. Cambridge, 1919, P. 386, где коротко и ясно говорится о малом числе кроватей и о самоочевидности того, что одна кровать предназначалась для многих людей.

⁵ *Bauer M.* Das Liebesleben in deutschen Vergangenheit. B., 1924. S. 208.

⁶ *Rudeck W.* Op. cit. S. 399.

⁷ *Houpton Dr., Balliol A.* Bed Manners. L., 1936. P. 93. ⁸ Конечно, было предостаточно возражений против пижамного костюма. По своей аргументации представляет интерес следующее американское свидетельство («The People», 26.07.1936):

«Strong men wear no pyjamas. They wear night-shirts and disdain men, who wear such effeminate things as pyjamas. Theodore Roosevelt wore nightshirts. So did Washington, Lincoln, Napoleon, Nero and many other famous men.

These arguments in favour of the night-shirt as against pyjamas are advanced by Dr. Davis, of Ottawa, who has formed a club of night-shirt wearers. The club has a branch in Montreal and a strong group in New York. Its aim is to re-popularise the night-shirt as sign of real manhood». («Сильные мужчины не носят пижамы. У них в ходу ночные рубашки, и они презирают тех мужчин, которые надевают пижамы, столь распространенные среди женщин. Теодор Рузвельт носил ночную рубашку. Так же поступали и Вашингтон, и Линкольн, и Наполеон, и Нерон, и многие другие знаменитые мужи. Подобные аргументы в пользу ночных рубашек и против пижам выдвигаются ныне д-ром Дэвисом из Оттавы, создавшим клуб любителей ночных рубашек. У клуба есть отделение в Монреале, а также сильная группа поддержки в Нью-Йорке. Целью его де-

242

ятельности является популяризация ночной рубашки как признака настоящей мужественности». — *A. P.*) Это явно говорит о широте распространения пижамного костюма за короткое время после войны.

Очевидно и то, что с какого-то времени женщины стали все реже носить пижамы. На ее место становится некий дериват длинного вечернего платья, что выражает сходные социальные тенденции, а именно, реакцию против «уподобления женщин мужчинам», равно как тенденцию социального отличия и, наконец, простую потребность в гармонии между вечерним и ночным платьем. Именно здесь хорошо заметно отличие между ночной сорочкой новой формы и ночной рубашкой прошлого, в связи с которой речь выше шла о «неоформленности интимного». «Ночная рубашка» наших дней более напоминает платье.

Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной

1

Чувство стыда, связанное с сексуальными отношениями, изменилось и усилилось в процессе цивилизации¹. Это особенно хорошо заметно по затруднениям, возникающим у взрослых на поздних ступенях цивилизации, когда им требуется говорить об этих отношениях с собственными детьми. Такого рода затруднения кажутся сегодня почти что естественными. Чуть ли не биологическими причинами объясняется то, что ребенок ничего не ведает об отношениях между полами. Именно потому-то столь деликатной и трудной оказывается задача рассказать об этом подрастающим девочкам и мальчикам и разъяснить им, что с ними самими происходит. В том, насколько мало эта ситуация является само собой разумеющейся, в какой мере она обязана своим возникновением процессу цивилизации, мы убеждаемся, наблюдая за соответствующим поведением людей на других его фазах. Судьба знаменитого труда Эразма Роттердамского «Colloquia» дает нам хороший пример.

Однажды Эразм обнаружил, что одна из его ранних работ печатается в испорченном виде, с чужими прибавлениями дурного стиля и без его разрешения. Он ее переработал и издал сам в 1522 г. под новым названием. Он назвал ее так: «Familiarum Colloquiorum Formulae non tantum ad linguam puerilem expoliandam, *verum etiam ad vitam instituendam*¹⁾».

Эразм работал над этим сочинением, улучшая и расширяя его, вплоть до самой своей смерти. Как он того хотел, в результате получилась книга, которая могла служить мальчикам не только для изучения хорошего латинского стиля или улучшения их знаний этого языка, но, как говорится в заглавии, для введения их в жизнь. «Colloquia» стала одним из самых знаменитых и широко распространенных трудов своего времени. Подобно «De civilitate morum puerilium», труд этот множество раз переиздавался и переводился, превратившись в школьный учебник, стандартное пособие по воспитанию мальчиков.

Мало что столь явно передает изменения, происшедшие в западном обществе в ходе процесса цивилизации, как та критика,

244

которой подверглось это сочинение в XIX в. со стороны тех специалистов, кто вообще тогда имел с нею дело. Один из крупнейших немецких педагогов, фон Раумер, пишет в своей «Истории педагогики» (1857, т. 1, с.110) следующее: «Как вообще могли предлагать такую книгу во множестве школ! Какое дело мальчикам до всех этих сатир? Реформирование — дело лишь зрелых мужей. Что они понимали во всех этих беседах о предметах, в которых они ничего не разумели, где содержатся насмешки над учителями, где передаются сплетни двух баб о собственных мужьях, либо приводится разговор жениха с девицей, к коей он сватается, не говоря уж о colloquium "Adolescentis et Scorti". Этот последний заставляет вспомнить двустипшие Шиллера:

"Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen, Malet die Wollust, nur malet den Teufel dazu".

("Если желаешь понравиться и детям мира сего, и набожным людям, нарисуй похоть, но подрисуй и дьявола").

Эразм занят изображением самой низменной похоти, а затем добавляет нечто назидательное. Такую книгу сей доктор теологии предлагает восьмилетним мальчикам, дабы облагородить их таким чтением».

В действительности это сочинение было посвящено юному сыну издателя Эразма, и у отца мальчика не вызвало ни малейшего смущения содержание книги, которую он печатал.

2

В свое время данная книга тоже подвергалась суровой критике. Но это лишь в минимальной мере относилось к ее моральным качествам. Ей доставалось за то, что написал ее «интеллигент», не являвшийся ни ортодоксальным протестантом, ни правоверным католиком. Сочинением «Colloquia» была недовольна прежде всего католическая церковь, поскольку в нем содержались нападки на монашеские ордена и церковные институты. Именно из-за этого данный труд вскоре был внесен в папский «Индекс запрещенных книг».

Тем не менее книга пользовалась необычайным успехом и была принята именно в качестве школьного учебника. Как отмечает Хейзинга в своей работе «Эразм» (Лондон, 1924, с. 199), она «положила начало длившемуся почти два века непрерывному потоку изданий и переводов». Иными словами, в то время немалое число людей считало сочинение Эразма достойным роли учебника. Как понять в таком случае различия между их взглядами и позицией критиков в XIX в.?

Действительно, Эразм обсуждает в этой книге многие вещи, по мере развития прогресса цивилизации все более уходящие из

245

круга детского восприятия. В XIX в. о них уже ни в коем случае не стали бы говорить детям, хотя сам Эразм хотел именно этого. Он подчеркивал это, посвятив книгу своему шести- или восьмилетнему крестному сыну. Как верно замечали критики XIX в., в «Colloquia» он выводит молодого человека, ухаживающего за девицей. Он изображает женщину, жалующуюся на дурное поведение своего мужа. Более того, он передает разговор юноши со шлюхой.

Тем не менее эти беседы, как и «De civilitate morum», в точности передают чувствительность Эразма ко всем вопросам, затрагивающим регулирование влечений, даже если эта чувствительность не вполне соответствует нашему стандарту. Скорее, мы обнаруживаем здесь стандарт мирян Средневековья или общества времен самого Эразма, в котором уже началось мощное движение в сторону ужесточения контроля над влечениями. В XIX в. обоснованием такого контроля будет служить прежде всего мораль.

Конечно, молодой человек, сватающийся к девушке в беседе «Proci et puellae», достаточно откровенно объясняет, чего он от нее хочет. Он говорит о своей любви. Он заявляет сопротивляющейся девице, что она вынула его душу из тела. Он рассказывает ей, что вполне позволительно и хорошо делать детей; рисует картину, как он станет королем, а она — королевой, и они станут совместно править над своими детьми и слугами. Этот образ хорошо показывает, что малая психическая дистанция между взрослыми и детьми очень часто сочеталась с огромной социальной дистанцией. Наконец, девушка уступает. Она согласна стать его женой. Но она заявляет, что до той поры будет хранить свою девственность. Она отказывает ему даже в поцелуе. А так как он не перестает о нем просить, она со смехом отвечает: коли, по его словам, у него уже

душа наполовину покинула тело, он чуть ли не полумертв, то она боится, что поцелуем она ее совсем из тела вынет и тем самым его прикончит.

3

Как уже было сказано, уже в то время Эразма упрекали за «безнравственность» его сочинения с церковной точки зрения. Но из этого не следует делать ложных выводов о реально существовавшем тогда стандарте мирского общества. Полемический трактат, выдвинутый со стороны католиков и направленный против «Colloquia», в описании отношений между полами был ничуть не более сдержанным, чем труд Эразма. Его автор также был гуманистом. Новизну сочинений гуманистов, в особенности трудов Эразма, составляло именно то, что они писались не с позиций стандарта сообщества клириков, но с точки зрения стандарта общества мирян.

Гуманисты представляли движение, пытавшееся переломить традицию, по которой латинский язык использовался исключи-

246

тельно в церковной жизни и в церковных кругах. Они пытались сделать его языком светского общества, по крайней мере, языком высшего слоя мирян. Это отчасти указывает на те изменения организации западного общества, коих мы уже касались ранее. У мирян увеличилась потребность в светских ученых трудах. Гуманисты способствовали осуществлению этих перемен, они были своего рода функционерами, удовлетворяющими данную потребность высшего слоя мирян. В своих ученых трудах они обращаются к вопросам мирской общественной жизни, и опыт этой жизни непосредственно отражается в их сочинениях. В этом мы также можем разглядеть одну из линий общего развития «цивилизации», причем здесь мы должны искать ключ к пониманию того значения, какое имело «возрождение» античности.

Эразм однажды — кстати, защищая «Colloquia», — выразил это очень четко. «Socrates Philosophiam e coelo deduxit in terras: ego Philosophiam etiam in lusus, confabulationes et computationes deduxi», — пишет Эразм в примечаниях «De utilitate Colloquiorum» (издание 1655 г., с. 668), опубликованных позже как приложение к «Colloquia» («Подобно тому, как Сократ спустил философию с небес на землю, так и я ввел философию в игры и пиры»).

Именно поэтому данное сочинение может служить свидетельством мирского стандарта поведения, хотя некоторые частные идеи, связанные со сдерживанием влечений и контролем над поведением, уже выходят за пределы этого стандарта и указывают на будущее.

«Utinam omnes proci tales essent qualem heic fingo, nec aliis colloquiis coirent matrimonia!²⁾».

«Я хотел бы, — говорит Эразм в «De utilitate Colloquiorum» о диалоге «Proci et puella», — чтобы все женихи были подобны изображенному мною, чтобы такие, а не иные беседы велись ими относительно супружества».

То, в чем наблюдатель XIX в. усмотрел «низменное изображение похоти», то, что в согласии с тогдашним стандартом стыдливости целиком и полностью должно было находиться под «покровом молчания», особенно в разговорах с детьми, Эразму и его современникам (что показывает широкое хождение этого сочинения) казалось образцом подобного разговора, наилучшим способом представления модели поведения подрастающему поколению. Более того, если учесть, что окружало этих подростков в действительности, такой разговор мог выглядеть даже как своего рода недостижимый идеал².

4

То же самое можно сказать и о других диалогах, упоминаемых фон Раумером в его полемическом сочинении. Женщине, которая жалуется на своего мужа, указывается, что она сама должна

247

изменить свое поведение, а тем самым она изменит и поведение мужа. Беседа юноши со шлюхой завершается тем, что та оставляет свое позорное занятие.

Нужно для начала более внимательно посмотреть, какой образец поведения хотел представить мальчику Эразм. Девушка Лукреция долгое время не виделась с юным Софронием. Она приглашает его совершить именно то, ради чего он явился в этот дом. Но он спрашивает, уверена ли она, что их не увидят, нет ли у них темной комнаты. Когда же она приводит его в темную комнату, у него снова возникают сомнения, не увидит ли их кто-нибудь:

«*Sophronius*: Nondum hic locus mihi videtur satis secretus.

Lucretia: Unde iste novus pudor? Est mihi museion³, ubi repono mundum meum, locus adeo obscurus, ut vix ego te visura sim, aut tu me.

Sophronius: Circumspice rimas omnes.

Lucretia: Rima nulla est.

Sophronius: Nullus est in propinquo, qui nos exaudiat?

Lucretia: Ne musca quidem, mea lux. Quid cunctaris?

Sophronius: Fallemus heic oculos Dei?

Lucretia: Nequaquam: ille perspicit omnia.

Sophronius: Et angelorum?³⁾».

«Никто нас не увидит и не услышит, даже мышь, — говорит она, — чего ты робеешь?» Однако юноша отвечает: «А Бог, а ангелы?» А затем он со всем искусством диалектики начинает наставлять ее на путь истинный. Много ли у нее врагов и не доставило ли бы ей радость разозлить ее врагов? И разве она не

сделает этого, если оставит свою жизнь в этом доме и сделается уважаемой женщиной? Наконец, ему удастся ее убедить. Он тайком снимет для нее комнату у достойной женщины и найдет предлог, чтобы она тайно покинула этот дом. Поначалу он о ней позаботится.

Столь «аморальное» с точки зрения позднейшего наблюдателя описание ситуации, совсем не годное для того, чтобы входить в «детские книги», могло быть в высшей степени моральным и даже образцовым в рамках иного социального стандарта и иного способа моделирования аффектов.

Ту же линию развития, ту же разницу стандартов мы можем показать на сколь угодно большом количестве примеров. Наблюдатель XIX в. — а отчасти и XX в. — испытывает своего рода беспомощность, имея дело с подобными моделями и предписаниями, свойственными «кондиционированию» прошлых времен. И правда, если считать постоянно присущими человеческой природе, а не сформировавшимся в ходе исторического процесса — причем процесса, идущего в определенном направлении, — собственный порог чувствительности и моделирование аффектов, то, исходя из этого стандарта, будет совершенно непонятным, как можно было включать такого рода беседы в

248

школьные учебники и вообще сознательно предлагать их детям для чтения. Но речь идет именно о том, что и наш стандарт, и поведение детей нужно понимать в историческом становлении.

И более правоверные, чем Эразм, люди поступали аналогичным образом. Чтобы было чем заменить подозреваемые в ереси «Colloquia», один строго ортодоксальный католический автор написал другую книгу диалогов. Она носила название «Johannis Morisoti medici Colloquiorum libri quatuor, ad Constantinum filium» (Базель, 1549). Она также предназначалась для воспитания детей, а ее создатель, Иоанн Морисотус, замечал, что при чтении «Colloquia» Эразма читатель часто не знает, «слышит ли он христианина или язычника». Но и этот труд, рожденный в недрах бесспорно католического лагеря, демонстрирует нечто весьма схожее с текстами критикуемого в нем Эразма⁴. Достаточно посмотреть, как он оценивался в 1911 г.⁵: «У Морисотуса девочки, девицы и женщины играют еще большую роль, чем у Эразма. Во многих диалогах только им и дается слово, и если они не являются совсем невинными в первой и второй книгах, то в двух последних книгах⁶... часто говорятся такие двусмысленности, что мы можем только спросить, покачивая головой: писал ли это суровый Морисотус для собственного сына? Мог ли он твердо полагаться на то, что тот будет читать и изучать последние книги только достигнув подходящего возраста, на который они рассчитаны? Правда, не следует забывать, что XVI в. не был слишком щепетильным, а школяры того времени в своих тетрадках писали такое, что смутило бы наших нынешних учителей.

Что к этому добавить? Как вообще Морисотус представлял себе применение подобных диалогов на практике? Мальчики, юноши, мужчины и старики никогда не посчитали бы для себя образцом латинской речи диалоги, в которых слово предоставляется исключительно женщинам. Тем самым он ничуть не меньше порицаемого им Эразма упускал из виду дидактические цели книги». На самом деле дать ответ на поставленный здесь вопрос не так уж сложно.

5

Эразм никогда не «упускал из виду дидактические цели». Это недвусмысленно показывает его комментарий «De militate Colloquiorum», в котором он «expressis verbis» говорит о дидактических целях диалогов. Иными словами, он прекрасно понимал, какой образец предлагался им молодым людям. Разговор юноши с проституткой он комментирует следующим образом: «Quid autem dici potuit efficacius, vel ad inserendam adolescentum animis pudicitiae curam, vel ad revocandas ab instituto non minus aerumnoso quam turpi puellas ad quaestum expositas?» («Что я мог сказать бы

249

действительнее, чтобы склонить ум юноши к стыдливости, а девицу увести из опасного и позорного дома?»). Нет, он никогда не упускал из виду педагогические цели, вот только стандарт постыдного был у него другим. Он хочет дать молодому человеку как бы зеркало мира; он желает обучить его тому, чего следует избегать, и показать, что ведет к жизненному спокойствию: «In senili colloquio quam multa velut in speculo exhibentur, quae, vel fugienda sunt in vita, vel vitam reddunt tranquillam!⁴»).

Несомненно, те же самые цели ставил перед собой Морисотус, равно как и авторы других книг того времени, предназначенных для воспитания. Все они, говоря словами Эразма, желают «вводить юношу в жизнь»⁷. Под этой жизнью прямо подразумевалась жизнь взрослых. Позже стала развиваться тенденция рассказывать и показывать детям, как должны и как не должны вести себя дети. Здесь же, чтобы ввести их в жизнь, им показывают, как должны и как не должны вести себя взрослые. Для Эразма и его современников такой разговор с детьми казался чем-то само собой разумеющимся. Мальчики рано начинали жить в том же социальном пространстве, что и взрослые; они прислуживали, они выступали как социально зависимые лица. Взрослые не проявляли ни в самой сексуальной жизни, ни в разговорах о ней той сдержанности, которая стала обычной позже. В соответствии с иным контролем над аффектами и иным строением межлических отношений, конституирующих индивидов, у самих взрослых отсутствовало представление о необходимости сохранять в тайне, делать интимными, да и просто скрывать свои сексуальные влечения от других людей. Они не скрывали их и от детей. Все это уменьшало дистанцию между поведением и аффектами и у взрослых, и у детей. Мы всякий раз видим, сколь важным для понимания психической конституции — как давних времен, так и нашей собственной — является тщательное наблюдение за ростом этой дистанции, за процессом постепенного формирования особой внутренней зоны, занимающим

двенадцать, пятнадцать, а сегодня чуть ли не двадцать первых лет жизни человека. Биологическое развитие в те времена вряд ли многим отличалось от современного; вся сегодняшняя проблематика «взросления» с такими особыми темами, как «инфантильные остатки» в психике взрослых, становится понятной только в связи с данным процессом социальных изменений. Нынешние различия в одежде у детей и взрослых представляют собой наиболее зримое проявление такого развития — во времена Эразма и еще долгое время после него они были минимальными.

6

Современному наблюдателю покажется удивительным, что Эразм в своих диалогах вообще говорит с детьми о проститутках

250

и домах терпимости. Человеку нашей фазы развития цивилизации кажется аморальным уже то, что подобные учреждения обсуждаются в учебниках. Конечно, они существуют в виде анклавов в обществе XIX и XX вв. Но они находятся под «завесой молчания», они исключены из коммуникации; вся сфера сексуальности с малых лет соотносится с чувствами стыда и страха. Даже простое упоминание таких тем или подобных учреждений в общественной жизни непозволительно, а уж говорить об этом с детьми просто преступно — это грязнит детскую душу и по меньшей мере является воспитательной ошибкой худшего рода.

Во времена Эразма столь же очевидным было то, что дети знают о подобных учреждениях. Никто не скрывал от них существования публичных домов — их просто предупреждали, что, собственно, и делал Эразм. Если читать только педагогические книги того времени, упоминание таких социальных институтов может показаться случайным. Но если мы принимаем во внимание, что дети в ту пору жили вместе со взрослыми, замечаем незначительность перегородок, существующих между самими взрослыми (а тем самым и между взрослыми и детьми), то нам становится понятно, что диалоги вроде написанных Эразмом и Морисотусом прямо отражали стандарт своего времени. Их авторы должны были считаться с тем, что дети знают о существовании таких институтов. Задачей воспитателей было научить детей вести себя по отношению к этим институтам соответствующим образом.

Наверное, к этому мало что добавит факт, что в университетах того времени о домах терпимости говорили совершенно откровенно. Только следует иметь в виду, что в университеты тогда люди часто поступали в совсем юном возрасте. Во всяком случае, к содержанию данной главы имеет отношение то обстоятельство, что шлюхи были темой публичных шуточных диспутов в университетах. В 1500 г. один магистр из Гейдельберга произнес речь «De fide meretricum in suos amatores⁵⁾», другой — «De fide concubinarum⁶⁾», а третий — «О монополии свинского цеха» («De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda»⁸⁾. С тем же феноменом мы сталкиваемся во многих проповедях того времени, и ничто не указывает на то, что дети на них не допускались. Конечно, в церковных и во многих мирских кругах осуждались внебрачные связи, но эти социальные запреты еще не стали формой самопринуждения индивида, да еще настолько сильной, чтобы даже открыто говорить о подобных предметах стало неприятно. В те времена еще не подлежали исключению из публичной сферы выражения, свидетельствующие о том, что мы вообще что-то знаем о таких вещах.

Отличия станут еще более отчетливыми, если обратить внимание на положение продажных женщин в средневековых городах. Как и во многих современных неевропейских обществах,

251

они занимали совершенно определенное место в общественной жизни. Были города, где по праздникам устраивались бега проституток⁹⁾. Часто их посылали приветствовать высоких гостей. Например, в счете, выставленном городским советом Вены в 1438 г., мы читаем: «Продажным женщинам 12 восьмериков вина. Item женщинам, прибывшим с королем, 12 восьмериков вина»¹⁰⁾. Бургомистр и городской совет могли предложить уважаемым гостям города бесплатно пользоваться услугами продажных женщин. Император Сигизмунд прямо благодарит городской магистрат Берна за то, что ему и его свите на три дня бесплатно был предоставлен в распоряжение публичный дом". Это было такой же любезностью хозяев города, как званый обед в честь высоких гостей.

Продажные женщины, или «красотки», «прелестницы», как их часто называли в Германии, наряду со всеми прочими гражданами образовывали в городах свою особую корпорацию, имевшую определенные права и обязанности. Иной раз им, подобно другим профессиональным группам, приходилось защищаться от нечестной конкуренции. В одном немецком городе в 1500 г. они отправляются к бургомистру с жалобой на тайно работающий публичный дом и заявляют об исключительности своих прав на данный вид деятельности. Бургомистр дает им разрешение войти в тот дом; они врываются, громят все подряд, избивают его хозяйку. В другой раз они хватают конкурентку из «подпольного» публичного дома и принуждают ее жить у них.

Одним словом, их социальное положение напоминало положение палача — оно было низким и презренным, но было именно публичным, т.е. не скрывалось. Эта форма внебрачных отношений между мужчинами и женщинами еще не была спрятана «за кулисы».

7

В известной степени то же самое относится к отношениям между полами вообще, включая и отношения супружеские. Известное представление об этом дают свадебные обряды. В брачные покои пару

сопровождали все шаферы. Невесту раздевали подружки; она должна была снять с себя все драгоценности. Для того чтобы брак считался состоявшимся, в брачную постель молодожены должны были ложиться в присутствии свидетелей. Их «укладывали», и, как говорилось, «коли постель помята, то и право добыто»¹². В позднем Средневековье обычай изменился, и новобрачные могли ложиться в постель одетыми. Разумеется, в различных слоях и в разных странах обычаи не были во всем одинаковыми. Но еще в первой половине XVII в. в Любеке сохранялась старая форма¹³. Даже в придворно-абсолютистском обществе Франции гости подводили жениха и невесту к посте-

252

ли, раздевали их и надевали на них ночные рубашки. Все это — симптомы иного стандарта чувства стыда в отношениях между полами. По этим примерам мы вновь видим специфические особенности того стандарта, что стал господствовать в XIX и XX вв. Теперь даже в отношениях между взрослыми все связанное с сексуальной жизнью оказалось в огромной мере скрытым и спрятанным «за кулисы», и поэтому стало возможным (а тем самым и необходимым) более или менее успешно скрывать все это от детей. На предшествующих стадиях отношения между полами, равно как и все связанные с ними установления, в значительно большей мере входили в публичную жизнь, и уже этим объясняется то, что дети с малолетства знакомились с данной стороной жизни. Чтобы их «кондиционировать», т.е. подводить к стандарту поведения, принятого у взрослых, не было нужды перегружать эту сферу жизни несметным количеством табу и делать ее таинственной, как это — в соответствии с другим стандартом поведения — произошло на более поздней фазе цивилизации.

В придворно-аристократическом обществе сексуальная жизнь была более скрытой, чем в обществе Средневековья. То, что люди буржуазно-промышленного общества часто именуют «фривольностью» придворных, на самом деле представляет собой движение к сокрытию данной жизненной сферы. Однако в сравнении со стандартом регулирования влечений, действующим в самом буржуазном обществе, сокрытие и изоляция сексуальности в публичной жизни, равно как и в сознании, на придворно-аристократической фазе относительно невелики. Часто суждения людей более поздней фазы оказываются ложными, поскольку и собственный стандарт, и стандарт придворно-аристократический не рассматриваются как обуславливающие друг друга фазы одного развития, а противопоставляются как два абсолюта, причем один из них принимается за масштаб оценки другого.

Относительная откровенность разговоров о естественных функциях, ведущихся между взрослыми, отражается и в большей непринужденности при обсуждении этой темы с детьми. Тому есть множество примеров. Возьмем один из самых наглядных. В XVII в. при дворе жила маленькая шестилетняя девочка из рода герцогов Буйонских. Придворные дамы часто с нею болтали, а однажды решили пошутить, убеждая ее в том, что она беременна. Малышка это опровергала, защищалась, а ее всячески в том убеждали.

Как-то утром по пробуждении она обнаружила рядом с собой новорожденного. Она была изумлена и в свое оправдание сказала: «Только со Святой Девой и со мной такое приключилось; ведь у меня совсем не было мук». Эти слова стали всем известны, а в результате эта шутка превратилась в развлечение, и в нем

253

принял участие весь двор. Как и положено в таком случае, девочку навещали посетители. Сама королева пришла ее утешить и предложила стать крестной матерью ребенка. Игра шла все дальше: у девочки выпытывали, кто отец ребенка. Наконец, после долгих размышлений малышка пришла к искомому ответу: им могли быть только король или граф де Гиш, поскольку они — единственные мужчины, которые ее когда-либо целовали¹⁴. В такого рода шутках не видели ничего особенного. Все укладывалось в существующий стандарт. В этом не видели опасности для ребенка — для его приспособления к стандарту, для его душевной чистоты. Не видели и «ни малейшего противоречия религиозному воспитанию».

8

Лишь постепенно сексуальная сфера нагружается усилившимися чувствами стыда и стеснения, а соответствующий контроль над поведением более или менее равномерно распространяется на все общество. И только с ростом дистанции между взрослыми и детьми «жгучей проблемой» делается то, что мы называем «сексуальным просвещением».

Выше мы цитировали известного педагога фон Раумера, приводя критику, которой он подверг «Colloquia» Эразма. Целостный образ всей линии развития выступит еще более четко, если посмотреть, как сам фон Раумер ставил проблему адаптации ребенка к стандартам *своего* общества. В 1857 г. он опубликовал небольшую книгу «О воспитании девочек». Конечно, его советы взрослым относительно обсуждения темы сексуальности с детьми не были единственно возможной формой решения этой задачи и в то время; однако содержащиеся в данном труде предписания в высшей степени характерны для стандарта XIX в., причем относилось это к общепринятым способам просвещения не только девочек, но и мальчиков.

«Иные матери, — читаем мы в этой книге (с. 72), — держатся того ложного представления, будто нужно вводить своих дочерей в курс всех семейных дел и даже отношений между полами, чтобы те имели представление о том, что их ждет, когда они сами выйдут замуж. У филантропки из Дессау это восходящее к Руссо представление получило характер самой отвратительной и грубой карикатуры. Другие матери впадают в другую крайность и говорят девочкам нечто такое, что при взрослении им покажется совершенно невероятным. Как и во всех прочих упоминавшихся мною случаях, это никуда не годится. *Всех этих предметов вообще не следует касаться в присутствии ребенка*, и уж во всяком случае не делать этого

таинственным образом, что способно только возбудить его любопытство. Пока это удастся, оставим ребенку веру в то, что младенца матери приносит ангел,

254

как принято считать в одних местах, тогда как в других это делает аист (причем первое явно лучше второго). Если дети растут под материнским присмотром — даже в том случае, если появление другого ребенка препятствует постоянному общению матери со старшими... — они вообще редко станут задавать подобные вопросы... Если позже девочки спрашивают, откуда берутся дети, то им следует отвечать: "Господь дал маме маленького, ангел-хранитель у него на небесах, его не было видно, но он незримо разделял с нами эту радость. Как Бог дает ребенка, этого тебе не нужно знать, да тебе того и не понять". Такого рода ответа вполне достаточно для девочки в подавляющем большинстве случаев, а задачей матери является добиться того, чтобы мысли дочери были непрестанно заняты чем-то добрым и прекрасным, и у нее не было времени ломать голову над подобными вопросами... Матери следует только единожды сказать: "Тебе этого и не следует знать, а потому избегай об этом говорить или слушать. Воспитанной девочке стыдно слушать про вещи такого рода"».

От способа обсуждения половых отношений во времена Эразма к тому, что представлен фон Раумером, прослеживается та же линия развития цивилизации, которую мы уже детально обсуждали в связи с другими влечениями. В процессе цивилизации сексуальность также все более удалялась «за кулисы» общественной жизни и заключалась в анклав, образуемый малой семьей. Соответствующим образом и в сознании человека отношения между полами изолировались, обносились ограждениями и убирались «за кулисы». Эти сферы человеческой жизни теперь окружены аурой чувства неловкости, выражающей социогенный страх. Даже среди взрослых подобные темы публично обсуждаются с известной опаской, с многочисленными недомолвками и оговорками. С детьми же, в особенности с девочками, об этом вообще не говорят. Раумер никак не обосновывает убеждения в том, что с детьми об этом не следует разговаривать. Он мог бы сказать, что лучше как можно дольше хранить душевную чистоту девочки. Но такое обоснование само по себе выражает свойственную тому времени жесткую соотнесенность подобных влечений с чувствами стыда и стеснительности. Во времена Эразма было чем-то само собой разумеющимся вести разговоры на эти темы; теперь столь же самоочевидно, что о них не говорят. То, что оба свидетеля своего времени — и Эразм, и Раумер, — были глубоко верующими людьми и взывали к Богу, только подчеркивает отличия.

Понятно, что предложенная Раумером модель опирается не на «рациональные» мотивы. С рациональной точки зрения, эта проблема не разрешима, а то, что он говорит, противоречиво. Он не объясняет, как и когда девочка все же должна понять, что с нею происходит и что будет происходить. Для него важнее не-

255

необходимость формирования представления о том, что нужно «стыдиться таких вещей», воспитания чувств стыда, страха, вины — т.е. поведения, отвечающего социальному стандарту. При этом мы видим, с каким трудом самому воспитателю удастся преодолеть смущение и чувство стыда, связанные со всей этой сферой. Мы и здесь обнаруживаем признаки глубокой беспомощности, обусловленной социальным развитием и потому неизбежно возникающей у индивида. Единственный совет, который воспитатель способен дать матери, сводится к тому, что этих тем вообще не следует касаться. И дело не в косности или недостатке ума отдельного человека. Мы здесь сталкиваемся не столько с индивидуальной, сколько с социальной проблемой. Лишь постепенно опыт и размышления привели к появлению более хороших методов адаптации детей к взрослой жизни. Контроль, регулирование, трансформация сексуальных влечений посредством этих методов сегодня стали необходимой составной частью жизни этого общества.

Уже фон Раумер хорошо видит, что в разговоре с детьми не следует окружать эту область аурой таинственности, поскольку это «способно только возбудить любопытство». Но так как в его обществе данные области сделались «таинственными», то он не может обойтись без предписаний вроде: «Матери следует только единожды сказать: тебе этого и не следует знать». Эта установка определяется не «рациональными» мотивами, не целесообразностью, но стыдом самих взрослых, превратившимся во внутреннее принуждение. Рот у них закрывается из-за социальных запретов, из-за сопротивления их «Сверх-Я».

Для Эразма и его современников, как мы уже видели, проблема заключается совсем не в просвещении ребенка относительно отношений между лицами мужского и женского пола. Ребенок о них прекрасно осведомлен в силу существующих социальных институтов и поведения окружающих его людей. Сдержанность взрослых еще не столь значительна, чтобы возникла стена утаивания, разделения того, что дозволено «на сцене» и «за кулисами». Главной задачей воспитателя является здесь правильная ориентация ребенка в пределах того, что тот знает. Именно этого пытался достичь Эразм в диалогах, где девушка наставляет жениха, а юноша — проститутку. Успех его книги показал, что в ней было выражено нечто соответствующее мироощущению современников.

Когда в ходе процесса цивилизации сексуальное влечение, подобно многим другим, стало подвергаться все более суровому регулированию и трансформации, проблема заключалась уже в другом. Принуждение, побуждающее взрослых к «интимизации» всех влечений, и в особенности сексуального; затем появление «завесы молчания»; социогенные ограничения речи, придание большинству слов, связанных с этими влечениями, определен-

256

ной смысловой нагрузки, что символизировало соответствующую нагрузку в психической сфере, — все это способствовало росту стены таинственности, окружающей жизнь взрослых. Преодоление этих стен, которое все же становится со временем необходимым, иными словами, сексуальное просвещение, сталкивается с трудностями не только из-за необходимости привести детей к стандарту контроля над влечениями, характерному для взрослых. Такие трудности прежде всего обусловлены строением психики самих взрослых, благодаря чему они не могут даже говорить об этих утаиваемых предметах. Часто они не находят ни подходящего тона, ни пригодных для этого слов. Известные им «грязные» слова явно не годятся. Медицинская терминология многим непривычна, а теоретические рассуждения мало что дают. Сопrotивление обсуждению данной темы оказывает социогенное вытеснение. Поэтому фон Раумер и советует по возможности вообще об этом не говорить. Ситуация становится все более острой потому, что задача «кондиционирования», регулирования влечений, а тем самым и «просвещения» — в условиях усилившегося исключения самой темы влечений из публичной сферы и общения — целиком возлагается на родителей. Чем больше любовь между матерью, отцом и ребенком, тем сильнее сопротивление при обсуждении таких вопросов (не всегда, но чаще всего), причем не только со стороны ребенка, но и со стороны отца или матери.

Тем самым выясняется, что вопрос о детской психологии остается без ответа, пока мы наблюдаем людей по одиночке и считаем процесс взросления одинаково протекающим во все времена. Детское сознание и детские влечения формируются и меняются в зависимости от отношений между детьми и взрослыми. Эти отношения имеют свою специфическую форму, соответствующую особенностям строения данного общества. В обществе рыцарей они не такие, как в обществе городской буржуазии; в обществе мирян Средневековья — иные, чем в Новое время. Вся проблематика моделирования и приспособления детей к стандартам взрослых (например, специфическая проблематика полового созревания в нашем цивилизованном обществе) становится понятной только при соотнесении ее с исторической фазой развития, со строением всего общества, которое требует определенного стандарта поведения взрослых и поддерживает особую форму отношений между взрослыми и детьми.

9

Аналогичную линии «сексуального просвещения» траекторию процесса цивилизации мы видим и в развитии на Западе института брака. Утверждение, что в западном мире в качестве формы регулирования половых отношений господствует единобрачие,

257

конечно, в целом правильно. Но конкретные способы регулирования и моделирования отношений между полами все же существенным образом менялись по ходу западной истории. Безусловно, церковь издавна вела борьбу за единобрачие; однако эта строгая и обязательная для обоих полов форма брака в качестве социального института утвердилась довольно поздно. Это удалось сделать только вместе с более строгим регулированием влечений, т.е. лишь тогда, когда внебрачные отношения мужчин стали действительно запретными в обществе или, по крайней мере, стали скрываться. На более ранних фазах — в зависимости от социальной силы каждого из полов — во мнении мирян внебрачные отношения мужчин, а иной раз и женщин считались чем-то более или менее самоочевидным. Вплоть до XVI в. мы достаточно часто слышим о том, что в самых почтенных бюргерских семьях все дети мужчины — рожденные в браке и внебрачные — растут вместе; это различие в происхождении не составляло тайны и для самих детей. Мужчина еще не должен был стыдиться своих внебрачных отношений перед обществом. При всех существовавших тенденциях противоположной направленности (каковые, конечно, уже имелись) часто считалось само собой разумеющимся, что незаконные дети входят в семью, что отец заботится об их будущем, а если речь идет о дочери, то со всеми надлежащими почестями устраивает ее свадьбу. Понятно, при этом возникало «немало недоразумений»¹⁵ между супругами.

Положение внебрачных детей на протяжении Средних веков не было повсюду одинаковым. Несомненно, однако, что долгое время отсутствовала та тенденция скрывать их наличие, которая в профессионально-буржуазном обществе отвечала стремлению к строгому ограничению сексуальности, сведению половых отношений к отношениям *одного* мужчины с *одной* женщиной, жесткому регулированию влечений, а также усилившемуся давлению социальных запретов. И в этом случае мы не должны принимать церковные требования за действительный стандарт общества мирян. Хотя и не всегда в соответствии с правом, положение незаконных и законных детей зачастую различалось только тем, что внебрачные дети не наследовали титул отца и его состояние либо, по крайней мере, получали не равную с законными детьми долю. Хорошо известно, что в высшем слое откровенно, а то и с гордостью говорили о своих «бастардах»¹⁶. В абсолютистско-придворном обществе XVI—XVII вв. брак получает особый характер именно потому, что тогда — в результате особенностей формирования этого общества — впервые было целиком подорвано господство мужчины над женщиной. Социальная сила женщины приближается к мужской; общественное мнение в огромной мере определяется женщинами. Если до сих пор общество признавало внебрачные связи легитимными только для мужчин, считая их более или менее предо-

258

судительными для социально «слабого» пола, то теперь вместе с изменением социальных силовых отношений между полами в известной мере легитимными становятся и внебрачные связи женщин.

Остается лишь более точно показать, какую роль сыграл этот выигрыш во власти — или, если угодно, первая эмансипация женщин — в придворно-абсолютистском обществе, в движении цивилизации, в смещении порога чувствительности и стыда, вообще в усилившемся контроле общества над индивидом. Подобно тому как рост власти и социальный подъем других социальных групп сделали необходимым новое регулирование влечений для всех, а новый стандарт усилившегося сдерживания влечений занял срединное положение между стандартами тех, кто ранее безраздельно господствовал, и тех, кто безусловно и всецело подчинялся, так и в данном случае усиление социальной позиции женщин схематически можно изобразить как уменьшение ограничения влечений для женщин и рост такого ограничения для мужчин. Одновременно это принуждало оба пола к усиленному упорядочиванию аффектов в общении друг с другом.

В своем знаменитом романе «*La princesse de Clèves*» мадам де ла Файетт вкладывает в уста мужа принцессы, влюбившейся в герцога Немурского, следующие слова: «*Je ne me veux fier qu'à vous-même; c'est le chemin que mon coeur me conseille de prendre, et la raison me le conseille aussi; de l'humeur dont vous êtes, en vous laissant votre liberté, je vous donne des bornes plus étroites que je ne pourrais vous en prescrire*»⁷⁾ ¹⁷.

Здесь мы имеем дело с примером своеобразного принуждения к самодисциплине, вводимого в отношения между полами. Муж знает, что ему не удержать жену насилием. Он не мечет громы и молнии, не кричит из-за того, что его жена полюбила другого, он не ссылается на свои супружеские права — все это не получит поддержки общественного мнения. Он как бы говорит ей: я даю тебе полную свободу, но тем самым я устанавливаю для тебя значительно большие ограничения, чем с помощью запретов или предписаний. Иными словами, он ожидает от нее такой же самодисциплины, какую он возложил на самого себя. Это — характерный пример новой констелляции, возникающей вместе с социальным выравниванием полов. Разумеется, речь идет не об одном-единственном муже, предоставляющем своей жене свободу. Такая свобода имеет своим основанием само строение общества. Но одновременно общество требует от человека и новый тип поведения. Во всяком случае, в этом обществе немало женщин пользуются такой свободой. По множеству свидетельств мы знаем, что у придворной аристократии ограничение сексуальных отношений браком считалось чем-то буржуазным и не отвечающим положению их сословия. Но это дает нам представление и о том, насколько тесно и непосредственно свя-

259

заны друг с другом специфические социальные взаимоотношения между людьми и определенная форма свободы.

Ограничивающая нас сегодня, лишенная динамики форма языка противопоставляет свободу и зависимость (или свободу и принуждение), словно речь идет об аде и рае; если исходить из современной точки зрения, то мышление в таких абсолютных антитезах часто выступает как совершенно оправданное. Для того, кто находится в тюрьме, все, что есть за ее воротами, является миром свободы. Как и в любой оппозиции такого рода, свобода понимается как состояние некой абсолютной социальной независимости, что не отвечает действительности. Существует освобождение от той или иной формы зависимости, которая сильно или даже невыносимо на нас давит, но только ведет оно к другой зависимости, менее нас обременяющей. Одновременно с освобождением от разного рода зависимости идет и процесс цивилизации, преобразования и в каком-то смысле прогрессивного видоизменения оков, налагаемых на человеческие аффекты. Одним из многочисленных примеров этого можно считать абсолютистско-придворную форму брака, символом которой стало появление во дворцах придворной аристократии отдельных спален для мужей и жен. Женщина становится более свободной от внешнего принуждения, чем в рыцарском обществе. Но в соответствии с формой интеграции общества и кодом поведения придворного общества возникает внутреннее принуждение, самопринуждение. Строение этого общества таково, что рост «свободы» мужчин и женщин в сравнении с рыцарским обществом возникает вместе с ростом внутреннего принуждения.

То же самое мы видим при сравнении буржуазной формы брака XIX в. с придворно-аристократической его формой, характерной для XVII—XVIII вв.

В это время буржуазия в целом освобождается от давления, оказываемого абсолютистско-сословным строением общества. Для буржуа, будь они мужчинами или женщинами, остаются позади все формы внешнего принуждения, которому они подвергались как люди второго сорта в сословном обществе. Но вместе с тем растут торговые и денежные связи, обусловившие возникновение той силы, что помогла освобождению. В этом плане социальная зависимость индивида усиливается. Имеются немалые различия между схемой самопринуждения человека буржуазного общества, обусловленной профессиональным разделением труда, и схемой, в соответствии с которой моделировало влечения придворное общество. Во многих аспектах требуемая и производимая буржуазным обществом функция самопринуждения оказывается несравнимо сильнее, чем свойственная придворному обществу. Отдельным вопросом является то, что новое состояние общества на данной фазе развития, прежде всего профессиональная деятельность, ставшая вместе с подъемом буржу-

260

азии всеобщей жизненной формой, предполагает подчинение сексуальности строгой дисциплине. Мы оставляем в стороне вопрос о специфическом моделировании влечений, обусловленном социальной структурой общества XIX в. Во всяком случае, с точки зрения стандарта буржуазного общества то регулирование сексуальности и та форма брака, что господствовали в придворном обществе, кажутся в высшей степени не строгими. Общественное мнение теперь сурово осуждает любые внебрачные отношения

между полами. В отличие от придворного общества, поначалу и социальная сила мужчин вновь становится безусловно большей, чем у женщин, а потому нарушение табу, наложенного на внебрачные связи, со стороны мужчин оценивается куда мягче, чем такое же нарушение со стороны женщин. Но нарушения, случающиеся и с той, и с другой стороны, полностью удаляются из официальной общественной жизни. В отличие от придворного общества, они должны происходить только «за кулисами», как нечто совершенно тайное. И это — лишь один из многих примеров того, что на индивида теперь возлагается куда более сильный контроль над самим собой. От него требуется растущее самопринуждение.

10

Процесс цивилизации протекает далеко не прямолинейно. Можно установить лишь общий вектор изменений, что мы и делали в данной работе. В частностях же на пути цивилизации есть множество разнонаправленных движений, сдвигов то в одну, то в другую сторону. Если рассмотреть процесс изменений на протяжении долгого времени, то хорошо видно, как принуждение посредством угрозы оружием или прямого насилия постепенно отходит на задний план и вместе с этим растет зависимость, ведущая к регулированию и овладению аффектами в форме самоконтроля («self control») и самопринуждения. Эти изменения лучше всего можно проследить на примере мужчин, принадлежащих к высшему слою, т.е. к тому слою, который состоял сначала из воинов (или, как мы их называем, рыцарей), затем из придворных и, наконец, из профессионально работающих буржуа. Если уделить внимание всем аспектам многослойной ткани исторического процесса, то мы увидим, насколько сложным было это движение. На каждой фазе мы обнаруживаем неустойчивое соотношение внешних и внутренних зависимостей — на первый план выходят то те, то другие. Наблюдая за такими колебаниями, в особенности, если близоручко следовать привязанности к перспективе своего времени, можно легко потерять общую картину движения. Одно из таких отклонений в контроле над влечениями индивида в сфере отношений полов у всех на памяти: возникает впечатление, будто в послевоенное время

261

произошел «упадок нравов» в сравнении с предвоенными годами. Целый ряд ограничений, регулировавших поведение людей в довоенное время, ослаб или исчез совсем. Многие из того, что ранее запрещалось, теперь разрешено. Может показаться, что движение идет не в указанном нами, а совсем в противоположном направлении — к ослаблению контроля общества над индивидом.

Но если посмотреть более внимательно, то нетрудно убедиться в том, что мы имеем дело с легким движением вспять, очень незначительным в рамках всего многослойного исторического процесса, — такие движения вновь и вновь возникают в этой целостности.

Возьмем в качестве примера обычаи, связанные с купанием в публичных местах. Действительно, было немыслимо, чтобы в XIX в. женщина появлялась на публике в современном купальнике, не попадая при этом под суровый суд общественного мнения. Но предпосылкой происшедших перемен, включая распространение спорта как среди мужчин, так и среди женщин, является как раз очень высокий стандарт контроля над влечениями. Только в обществе, где высокая степень контроля стала само собой разумеющейся (и мужчины, и женщины абсолютно ей следуют), где сильное самопринуждение и строгий этикет сдерживают каждого индивида, возможна такая свобода купания и спорта, несопоставимая с тем, что было на прошлой фазе. Либерализация целиком укладывается в рамки «цивилизованного» стандарта поведения, т.е. происходит в рамках ставшего привычным, автоматически действующего сдерживания аффектов.

Но как раз в наше время хорошо заметны признаки дальнейшего роста контроля над влечениями: в целом ряде обществ мы встречаемся с попытками социального регулирования и упорядочения аффектов, которые по своей силе и сознательности осуществления далеко превосходят прежний стандарт. Схема моделирования налагает на индивида такое количество ограничений на влечения, принуждает к такому от них отказу, что последствия ее применения сегодня едва обозримы.

11

Какими бы ни были частные свойства этих колебаний, как бы ни происходило увеличение и уменьшение ограничений в ближайшей перспективе, общий характер движения не меняется, какое бы влечение мы ни брали. Линия развития полового влечения в целом параллельна линиям других влечений — при всех социогенетических различиях в частностях. Регулирование здесь становится все более строгим, если взять в качестве примера прежде всего мужчин из высшего слоя. Данное влечение также постепенно вытесняется из общественной жизни; растет и сдер-

262

жанность в речи при обсуждении подобных вопросов¹⁸. Для сдерживания, как и в других случаях, все реже требуется применять прямое телесное насилие; сдерживание обеспечивается давлением общественных институтов, самым строением социальной жизни вообще, а в частности — определенными исполнительными органами этого общества, прежде всего семьей, проводящей с раннего детства такую «дрессировку» индивида, что самопринуждение делается автоматически действующей привычкой. Социальные запреты и предписания тем самым становятся частью собственного «Я», входя в него как строго его регулирующее «Сверх-Я».

Как и в случае многих других влечений, сексуальность не только женщин, но и мужчин все более переносится в предопределенный для этого анклав социально легитимированного брака. Половинчатая или

полная легитимация в общественном мнении иных отношений все более исключается — как для женщин, так и для мужчин. Любое нарушение таких границ и все с этим нарушением связанное становятся тайными, выходят за круг того, «о чем принято говорить»: теперь без утраты престижа или социальной позиции об этом уже невозможно рассуждать на публике.

Подобно тому как семья постепенно стала для мужчин и женщин исключительным и единственным анклавом сексуальности и интимного общения в целом, она сравнительно поздно становится столь же исключительной и охватывающей все общество в целом инстанцией первичного формирования социально желательного поведения у подрастающего поколения. До тех пор, пока мера контроля и «интимизации» еще не слишком значительна, а исключение влечений из социального оборота не так уж строго, то и задача первичного «кондиционирования» ложится не только на родителей. В этом участвуют все взрослые, с которыми соприкасается ребенок. Участников воспитательного процесса — пока интимизация не зашла далеко, а внутренняя жизнь семьи еще не столь закрыта для окружающих, — множество. При этом к самой семье в верхних слоях общества обычно относится и вся прислуга. В те времена куда откровеннее говорили о различных сторонах влечений, а аффекты получали выражение и в речи, и в действии. Сексуальность также не была в такой степени нагружена чувством стыда. Именно это вызывало у педагогов позднейших времен негативное отношение к сочинению Эразма о воспитании — они его неправильно поняли. Воспроизводство социальных привычек у ребенка, его «кондиционирование», осуществляются не только за закрытыми дверями, в изолированном пространстве дома, но происходит более непосредственно в социальном общении между людьми. Можно привести довольно типичный пример подобного «кондиционирования» — журнал врача Жана Эроарда, который день за днем

263

и чуть ли не час за часом записывал все происходящее с подрастающим Людовиком XIII.

Мы видим здесь даже известного рода парадокс: чем сильнее формирование, регулирование, контроль и сохранение в тайне влечений, требуемые от индивида обществом, иными словами, чем более сложной задачей делается «кондиционирование» подростков, тем в большей мере задача первичного воспитания социально необходимых привычек передается в интимный круг малой семьи, возлагается на отца с матерью. Если взять сам механизм «кондиционирования», то он мало чем отличается от действовавшего в прежние времена. Для решения этой задачи редко используют точные наблюдения или прибегают к сознательному планированию, учитывающему особенности ребенка и его психики. Преобладает автоматическое, чуть ли не рефлекторное поведение: социогенные фигуры влечений и привычки родителей вызывают фигуры и привычки детей. Схожи ли дети с родителями, отличаются ли от них по направленности своих влечений — неважно. Они должны воспроизводить то, что желательно их родителям в силу полученного ими самими «кондиционирования». То переплетение привычек родителей и детей, что постепенно откладывается в психике детей как их характер, вряд ли можно назвать чем-то «рациональным». Нагруженные чувствами стыда и неловкости формы поведения и слова взрослых начинают выполнять ту же роль у детей — этому служат изъявления неудовольствия, явное или тайное давление, которые в какой-то форме воспроизводятся у детей в виде их собственного стандарта постыдного и неприятного. Такой стандарт одновременно образует базис и рамки самых различных индивидуальных влечений, а сами родители по большей части не имеют ни малейшего представления о том, как переплетаются друг с другом родительские и детские аффекты, привычки и реакции, формируя тем самым структуру влечений у подрастающего поколения.

12

Направленность процесса цивилизации ко все большей «интимизации» всех телесных функций, к заключению их в некие анклавы — перенесение их «за закрытые двери» — имеет самые различные последствия. Одно из наиболее важных особенно хорошо заметно в траектории развития сексуальности (хотя мы наблюдали данное следствие и на примере других влечений). Речь идет о своеобразном расколе человеческой жизни. Он становится тем ощутимее, чем решительнее проводится разделительная линия между теми ее сторонами, что остаются зримыми и присутствуют в социальном общении, и теми, что должны быть «интимными» или «тайными». Сексуальность, как и другие естественные функции человека, принадлежит к явлениям, о су-

264

ществовании которых всем известно, — они имеются в жизни каждого человека. Мы видели, как постепенно они наполняются столь сильными социогенными чувствами стыда и неловкости, что даже разговор о них все больше подпадает под множество запретов и правил. Люди начинают не только скрывать друг от друга сами эти функции, но и избегать даже упоминания о них. Там, где такое замалчивание невозможно — при заключении брака, во время свадьбы, — стыд, неловкость и страх, сопровождающие данные силы влечения в человеческой жизни, преодолеваются с помощью четко отработанного социального ритуала, посредством завуалированных, считающихся со стандартом форм речи. Иначе говоря, вместе с прогрессом цивилизации в жизни человека все более расходятся интимная, или сокровенная, сфера и сфера публичная — его тайное и явное поведение. Этот раскол становится настолько само собой разумеющимся, настолько приобретает черты принудительной привычки, что люди даже не осознают его.

В соответствии с ростом деления поведения на публично допустимое и недопустимое формируется и психическая структура отдельного человека. Подкрепленные общественными санкциями запреты превращаются для индивида в формы самопринуждения. Принудительное сдерживание влечений и

окружающий их социогенный стыд настолько входят в привычку, что от них не удается избавиться даже находясь в одиночестве, оставаясь в рамках интимной сферы. В самом человеке происходит борьба обещающих удовольствие влечений и грозящих неудовольствием запретов и ограничений, социогенных чувств стыда и неловкости. Именно это пытался выразить Фрейд с помощью понятий «Сверх-Я» и «бессознательное» — последнее «народная молва» не случайно и не так уж не точно окрестила «подсознательным». Но какие бы понятия для этого ни подбирались, социальный код поведения в той или иной степени накладывает отпечаток на каждого человека и становится конститутивным элементом его индивидуальной самости. Этот элемент, это «Сверх-Я», как и вся психическая структура индивида, с необходимостью меняется вместе с изменениями социального кода поведения, т.е. вместе с организацией общества. Относительно высокая степень раскола «Я», или сознания, характерная для людей нашей фазы развития цивилизации, может быть выражена с помощью таких понятий, как «Сверх-Я» и «подсознательное», поскольку они соответствуют специфическому разделению человеческого поведения на две части, являющемуся принудительным следствием жизни в цивилизованном обществе. Такой раскол соответствует тому регулированию и той степени сдерживания влечений, которые требуются от человека при общении с другими людьми. Конечно, общественная жизнь в любых своих формах требует регулирования влечений. Оно присутствует и в

265

обществах, называемых нами «примитивными». Сила дифференциации этого регулирования и его современные формы являются отражением определенного общественного развития, результатом процесса цивилизации.

Именно это следовало подчеркнуть, говоря о постоянном соответствии между строением общества и строением отдельного «Я».

Примечания

¹ *Ginsberg M. Sociology. L., 1934. P. 118: «Whether innate tendencies are repressed, sublimated, or given full play depends to a large extent upon the type of family life and the traditions of the larger society... Consider, for example, the difficulty of determining whether the aversion to incestuous relationships has an instinctive basis, or of disentangling the genetic factors underlying the various forms of sexual jealousy. The inborn tendencies, in short, have a certain plasticity and their mode of expression, repression or sublimation is, in varying degrees, socially conditioned».* («Подавлены ли врожденные склонности, сублимированы ли они или им дается широкий простор, в огромной мере зависит от типа семейной жизни и традиций всего общества... Например, трудно определить, имеется ли инстинктивный базис у отвращения к кровосмесительным связям, либо выяснить, каковы генетические факторы, лежащие в основе различных форм сексуальной ревности. Короче говоря, врожденные склонности наделены известной пластичностью, а способ их выражения, подавления или сублимации в различной степени обуславливается обществом». — *A. P.*)

Предлагаемое нами исследование приводит к аналогичным заключениям. Оно стремится показать (прежде всего в конце второго тома), что моделирование влечений, образование в их рамках принудительных фигур, представляет собой функцию социальных зависимостей и ограничений, пронизывающих всю человеческую жизнь. Эти зависимости и ограничения, обязательные для индивида, обретают особые структуры в соответствии с организацией межчеловеческих отношений. Различиям этих структур соответствуют различия в структуре влечений, которые мы можем наблюдать в истории.

В связи с этим можно напомнить о том, что сходные наблюдения недвусмысленным образом проводил еще Монтень в своих «Опытах» (кн. I, гл. XXIII): «Les loix de la conscience, que nous disons naistre de nature, naissent de la coustume: chacun ayant en veneration interne les opinions et moeurs approuvées et recues autour de luy, ne s'en peut desprendre sans remors n'y s'y appliquer sans applaudissement. Celuy me semble avoir trys-bien conceu la force de la coustume, qui premier forgea ce conte, qu'une femme de village ayant appris de caresser et porter entre ses bras un veau des l'heure de sa naissance et continuant tousjours à ce faire gaigna cela par l'accoustumance, que tout grand beuf qu'il estoit, elle le portoit encore... Usus efficacissimus rerum omnium magister... Par coustume, dir Aristote, aussi souvent que par maladie des femmes s'arrachent le poil, rongent leurs ongles, mangent des charbons et de la terre et autant par coustume que par nature les masles se meslent aux masles». («Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой при-

266

родой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы... Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжала делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал изрядным бычком... Usus efficacissimus rerum omnium magister (Наилучший наставник во всем — привычка)... По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю, и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами». — *Монтень М. Опыты. М.: Наука, 1979. Т. I. С. 101-102, 108).*

С результатами нашего исследования полностью согласуется то, что «remors» и та психическая структура, которая здесь вслед за Фрейдом называется «Сверх-Я» (но не вполне в том смысле, который он этому термину придавал), формируется у индивида через связи с другими людьми, посредством того общества, в котором он вырастает и которое накладывает свой отпечаток на его «Сверх-Я».

Хотя это и не нуждается в оговорках, следует подчеркнуть, что наши исследования в огромной мере обязаны трудам Фрейда и психоаналитической школы. Это понятно любому, кто имеет представление о психоаналитических сочинениях, а потому мне не было нужды по каждому поводу на них ссылаться. Существенные различия между всем подходом Фрейда и предлагаемым исследованием здесь также эксплицитно не излагались, поскольку они достаточно понятны и без специального обсуждения. Мне

казалось более важным по возможности ясно изложить свои мысли, чем проводить такого рода сопоставления.

² См.: *Huizinga J.* Erasmus. N.Y. - L., 1924. P. 200: «What Erasmus really demanded of the world and of mankind how he pictured to himself that passionately desired purified Christian society of good morals, fervent faith, simplicity and moderation, kindness, toleration and peace — this we can nowhere else find so clearly and well — expressed as in the "Colloquia"». («То, чего Эразм действительно хотел от мира и человечества, то, что сам он страстно изображал как очищенное христианское общество добрых нравов, пламенной веры, простоты и умеренности, доброты, терпимости и мира — нигде это не выражалось так ясно, как в его "Colloquia"». — *A.P.*)

³ Как говорится в издании 1665 г., «museion» — это «pro secretiore cubiculo dictum est» («храмина» — это «сказано про тайную комнату». — *A.P.*)

⁴ Растерянность наблюдателя более позднего времени будет не меньшей, когда он столкнется с нравами и обычаями более ранней фазы, выражающими иной стандарт стыдливости. Это в особенности относится к нравам, царившим в купальнях. В XIX в. казалось совершенно непонятным отсутствие смущения и стыда у людей Средневековья при посещении купальни, где собирались толпы обнаженных, причем зачастую это были представители обоих полов.

АЛЬБИН Шульц пишет по этому поводу следующее: «У нас имеются два интересных изображения таких купален. Должен сразу сказать, что сам я считаю эти картины преувеличенными, в них, по моему мнению, отразилась склонность Средневековья к грубоватым шуткам.

267

На миниатюре из Бреслау мы видим ряд ванн, в каждой из которых друг против друга сидят всякий раз мужчина и женщина. Положенная на ванну доска служит им столом. Доска накрыта красивым покрывалом, на ней стоят фрукты, напитки и т.п. У мужчин голова обязана платком, тряпичей прикрыт срам; у женщин — головной убор, ожерелье и т.д., но в остальном они совершенно обнажены. На миниатюре из Лейпцига мы видим нечто похожее, только ванны стоят по одиночке и над каждой возвышается своего рода беседка с дверцами, которые можно открывать и закрывать. Так как в таких купальнях царили отнюдь не добрые нравы, то достойные женщины в них не ходили. Разумеется, обычно два пола все же мылись отдельно; такого явного неприличия отцы города никогда бы не потерпели». (*Schultz A.* Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Wien, 1892. S. 68f.)

Любопытно здесь то, что свои аффекты и свой стандарт автор прямо переносит в прошлое, говоря, что «обычно два пола мылись отдельно», хотя приводимый им материал свидетельствует об обратном и должен был бы вести к противоположным выводам. Ср., например, приведенный текст с просто констатирующим факты описанием этих различий в стандартах в книге: *Allen P.S.* The Age of Erasmus. Oxford, 1914. P. 204ff.

⁵ См.: *Bömer A.* Aus dem Kampf gegen die Colloquia familiaria des Erasmus // Archiv für Kulturgeschichte. Lpzg-B., 1911. Bd. IX. H. 1. S. 32.

⁶ А.Бёмер пишет: «...в двух последних книгах, адресуемых мужчинам и старикам». Но весь этот труд посвящался Морисотусом собственному юному сыну, и задумывался он именно как школьное пособие. Морисотус ведет речь о людях различного возраста. Он показывает подростку взрослых, молодых и старых женщин, равно как молодых и старых мужчин, чтобы тот научился видеть и понимать, какое поведение в миру доброе, а какое дурное. Представление автора, будто одни книги этого труда были рассчитаны для чтения исключительно женщинами или стариками, говорит лишь о понятной растерянности, вызванной мыслью о том, что все эти тексты могли прямо служить материалом для чтения детей.

⁷ Для более полного понимания проблемы важно учитывать, что в этом обществе в брак вступали в более раннем возрасте, чем принято в наши дни.

«В это время, — пишет Р.Кёбнер о закате Средневековья, — мужчины и женщины часто вступали в брак очень молодыми. Церковь давала им право жениться сразу после наступления половой зрелости, и этим правом часто пользовались. Юноши женились в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет, девушки выходили замуж с тринадцати до пятнадцати лет. Этот обычай хорошо передает характерные особенности этого общества». (*Köbner R.* Die Eheauffassung des ausgehenden Mittelalters // Archiv für Kulturgeschichte. Lpzg-B., 1911. Bd. IX. H. 2.). Многочисленные свидетельства и материалы относительно раннего вступления в брак содержатся в: *Early English Text Society // Ed. by F.J.Furnivall.* Original Series, 108. L., 1897. Здесь приводятся следующие возрасты для заключения брака: четырнадцать лет для мальчика, двенадцать — для девочки (*Childmarriages, Divorces, and Ratifications.* P. XIX).

⁸ *Zarncke F.* Die deutsche Universität im Mittelalter. Lpzg, 1857. Btr. I. S. 49ff.

⁹ *Bauer M.* Liebesleben in der deutschen Vergangenheit. B., 1924. S. 136.

268

¹⁰ *Rudeck W.* Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland. Jena, 1897. S. 33. ¹¹ Ibid.

¹² *Schäfer K.* Wie man früher heiratete // Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte. B., 1891. Bd. 2. H.I. S. 31. ¹³ *Rudeck W.* Op. cit. S. 319.

¹⁴ *Brienne.* Mémoires. Vol. 2. P. 11. Цит. по: Laborde. Le Palais Mazarin. P., 1816. Note 522.

¹⁵ *Bezold Fr.v.* Ein Kölner Gedenkbuch des 16. Jahrhunderts // Aus Mittelalter und Renaissance. München — B., 1918. S. 159.

¹⁶ См.: *Rudeck W.* Op. cit. S. 171; *Allen P.S.* Op. cit. P. 205; *Hyma A.* The Youth of Erasmus. Michigan: University of Michigan Press, 1930. P. 56-57. Ср. также: *Renault.* La condition juridique du bâtard au moyen âge. Pont Audemer, 1922, где рассматривается не столько реальное, сколько юридическое положение бастардов. Если брать «Coustume», то здесь отношение к незаконным детям было вполне доброжелательным. Следовало бы проверить, действительно ли это соответствует общественному мнению других слоев либо характерно только для определенного социального слоя.

Хорошо известно, что еще в XVII в. при французском королевском дворе законные дети воспитывались вместе с внебрачными. Например, Людовик XIII говорил о своем сводном брате: «J'aime mieux ma petite soeur

que féfé Chevalier, parce qu'il n'a pas été dans le ventre à maman avec moi, comme elle». («Мне больше нравится моя сестричка, чем сей шевалье, поскольку он ведь не был в животе у моей мамочки, как она». — *A.P.*)

¹⁷ *Parodi D.* L'honnête homme et l'idéal moral du XVII-e et du XVIII-e siècle // *Revue Pédagogique*. 1921. Vol. 78, 2. P. 94ff.

¹⁸ См., напр.: *Peters B.* The Institutionalized Sex-Taboo in Knight. Taboo and Genetics. P. 181:

«A study of 150 girls made by the writer in 1916-1917 showed a taboo on thought and discussion among wellbred girls of the following subjects, which they characterize as "indelicate", "polluting" and "things completely outside the knowledge of a lady".

1. Things contrary to custom, often called "wicked" and "immoral".
2. Things "disgusting" such as a bodily functions, normal as well as pathological, and all the implications of "uncleanliness".
3. Things uncanny, that "make your flesh creep", and things suspicious.
4. Many forms of animal life, which it is a commonplace that girls will fear or which are considered unclean.
5. Sex differences.
6. Age differences.
7. All matters relating to the double standard of morality.
8. All matters connected with marriage, pregnancy, and childbirth.
9. Allusions to any part of the body except head and hands.
10. Politics.
11. Religion».

(«Исследование ста пятидесяти девушек, осуществленное одним автором в 1916-1917 гг., показало наличие табу на размышления и свободное обсуждение среди хорошо воспитанных девушек относительно следующих предметов, которые они характеризовали как "неделикатные", "грязные" или "лежащие целиком за пределами знаний, присущих леди":

269

1. Противное обычаю, часто именуемое "испорченным" и "аморальным".
2. "Отвратительное", т.е. телесные функции, будь они нормальными или патологическими, равно как и все, предполагающее "нечистоту".
3. Все сверхъестественное, что "заставляет плоть содрогаться", равно как и все подозрительное.
4. Многие формы животной жизни, которые считаются вызывающими у девушки страх или полагаются нечистыми.
5. Половые различия.
6. Возрастные различия.
7. Все, что относится к двойному стандарту морали.
8. Все, что относится к браку, беременности, рождению детей.
9. Намеки на любые части тела, кроме головы и рук.
10. Политика.
11. Религия». — *A.P.*)

270

Глава X. О трансформации агрессивности

Предварительное замечание

Структура аффектов человека представляет собой нечто целое. Мы можем по-разному именовать отдельные влечения — согласно их направленности или в соответствии с их функциями; мы можем говорить о голоде или потребности плевать, о половом или агрессивном влечении, но в жизни все они столь же мало отделимы друг от друга, как сердце от желудка или кровь головного мозга от крови генитального аппарата. Они дополняют и отчасти могут замещать друг друга, в известных пределах возможны их взаимопереход и «выравнивание» ситуации — нарушение, допущенное в одном месте, заявляет о себе в другом. Короче говоря, они образуют единый замкнутый поток влечений, свою, особую целостность в рамках целостности организма. По своему строению эта целостность еще во многом нам не ясна, но в любом случае ее форма, ее общественный облик имеют огромное значение для флюида и каждого отдельно взятого общества, и человека в нем.

Сегодня о влечениях или эмоциональных явлениях говорят так, словно мы таим в себе настоящий клубок различных влечений. Например, о «влечении к смерти» или о «влечении к ценности» рассуждают так, будто речь идет о разных химических субстанциях. Наблюдения за этими обособленными влечениями в иных случаях могут быть плодотворными и содержательными. Но если формы мышления, служащие для обобщения этих наблюдений, не показывают нам единства и целостности влечений, принадлежности каждого из них этому целому, то они не смогут воссоздать живой объект. Поэтому, говоря об агрессивности, о наслаждении от борьбы, мы не имеем в виду какого-то обособленного влечения. Мы говорим о нем, ясно сознавая, что речь идет об определенной функции в рамках целостного организма, а трансформации этой функции указывают на трансформации моделирования всего организма.

271

1

Стандарт агрессивности и по своим оттенкам, и по силе доньше не одинаков у разных наций Запада. Но эти кажущиеся столь значительными различия стираются и выглядят незначительными, если сравнить

агрессивность «цивилизованных» народов с этим влечением в обществах, находящихся на другой ступени подавления аффектов. В сопоставлении с боевой яростью абиссинского воина (пусть бессильного перед лицом технического аппарата цивилизованной армии) или с темпераментом различных племен эпохи великого переселения народов агрессивность даже самых воинственных наций цивилизованного мира кажется смягченной. Подобно всем прочим влечениям, даже в военных действиях она приобретает умеренные формы благодаря прогрессу разделения функций, благодаря усилившемуся взаимодействию между индивидами, благодаря росту их зависимости друг от друга и от технического аппарата. Она ограничивается и вводится в определенные рамки посредством множества правил и запретов, превратившихся в формы самопринуждения. Подобно всем прочим, это влечение трансформируется, оно так «утончается» и «цивилизуется», что лишь в сновидениях или в отдельных случаях, которые принято относить к болезненным, мы еще можем столкнуться с отдельными проявлениями непосредственной и нерегулируемой силы данного влечения.

В поле этих аффектов, в области враждебных столкновений между людьми, происходит то же самое историческое изменение, что мы отметили и в прочих случаях. Независимо от того, какое место в таком преобразовании занимает Средневековье, для того чтобы показать общий ход такого развития, мы можем взять в качестве исходного пункта стандарт высшего слоя мирян, воинского сословия Средневековья. Снятие аффективной напряженности с помощью борьбы было в Средние века, вероятно, уже не столь непосредственным, как в более раннюю эпоху великого переселения народов. Агрессивность носила достаточно открытый и необузданный характер в сравнении со стандартом Нового времени, когда жестокость и чувство наслаждения от разрушения или от истязания людей, равно как и от доказательства своего телесного превосходства над другими, были поставлены под жесткий общественный контроль, прежде всего с помощью государства. Все подобного рода наслаждения ограничиваются с помощью угрозы страдания, и теперь они могут заявлять о себе только косвенно, в «утонченном» или, как говорилось раньше, «рафинированном» виде. Только во времена социальных переломов (либо в колониях, где социальный контроль меньше) мы сталкиваемся с непосредственными прорывами агрессивности, в меньшей мере сопровождаемыми чувствами стыда и неловкости.

272

2

В средневековом обществе сама жизнь побуждала людей к развитию в совершенно ином направлении. Грабеж, война, охота на людей и зверей — все это здесь прямо относилось к жизненным нуждам, очевидным образом соответствовавшим строению этого общества, а у могущественных и сильных — даже к повседневным радостям жизни.

«Je vous dis, — говорится в прославлении войны, приписываемом миннезингеру Бертрану де Борну¹, — que tant ne m'a saveur manger ni boire ni dormir que j'entends crier: "À eux!" des deux côtés et que j'entends hennir les chevaux sans cavaliers sous l'ombrage et que j'entends crier: "Aidez! Aidez!" et que je vois tomber par les fossés petits et grands sur l'herbage et que je vois les morts aux flancs percés par le bois des lances ornées de bannières¹⁾».

Наслаждение от жизни, от еды и питья, от сна можно получить лишь в том случае, если перед глазами встает поле боя — мертвецы с пропоротыми боками, смертоносные копья, ржущие лошади, потерявшие своих седоков, крики «Вперед!» или мольбы побежденных о помощи. Даже в таком литературном изображении остается впечатление первобытной дикости чувств.

В другом месте Бертран де Борн говорит: «Voici venir la plaisante saison où aborderont nos navires, ou viendra le roi Richard, gaillard et preux, tel que jamais il ne fut encore. C'est maintenant que nous allons voir dépenser or et argent: les pierriers nouvellement construits vont partir à l'envi, les murs s'effondrer, les tours s'abaisser et s'écrouler, les ennemis goûter de la prison et des chaînes. J'aime la mêlée des boucliers aux teints bleues et vermeilles, les enseignes et les gonfanons aux couleurs variées, les tentes et les riches pavillons tendus dans la pleine, les lances qui se brisent, les boucliers qui se trouent, les heaumes étincelants qui se fendent, les coups que l'on donne et que l'on reçoit²⁾».

По разъяснению одной из «Chansons de geste», война — это значит: доказать свою силу перед лицом врага, опорожнить его винные подвалы, вырубить его сады, опустошить его земли, взять штурмом его города, засыпать его колодцы, захватить и убить его людей...

Искалечить пленного доставляло особое наслаждение. «Par ma tête, — говорит король в одной из песен², — je n'ai souci de ce que vous dites, je me moque de vos menaces, comme d'un coing. Tout chevalier que j'aurai pris, je le honnirai et je lui couperai le nez ou les oreilles. Si c'est un sergent ou un marchand on le privera du pied ou du bras³⁾».

Все это не только пелось — эпос прямо соотносился с общественной жизнью. Песнь должна была вызвать у слушателей нужные чувства, точно так же, как это в немалой своей части делает современная литература. В чем-то эти песни были пре-

273

увеличением. Уже в рыцарские времена деньги приобрели свое вытесняющее и трансформирующее аффекты влияние. Калечили обычно только бедных и нижестоящих, за кого вряд ли возможно было получить выкуп. В хрониках и в различных документах того времени мы находим множество свидетельств такого рода.

Обычно это — свидетельства клириков. Содержащиеся в них оценки чаще всего принадлежат слабым, тем, кому угрожает воинская каста. Тем не менее дошедшая до нас картина вполне достоверна.

«Вся его жизнь, — говорится об одном из рыцарей¹, — проходит в грабежах, в разрушении церквей, в угнетении вдов и стариков. Ему особенно нравится калечить невинных. В одном-единственном монастыре черных монахов в Сарлате можно обнаружить сто пятьдесят мужчин и женщин, которым он отсек руки или выколол глаза. Столь же жестока его жена, помощница в его казнях. Она наслаждается тем, что пытается бедных женщин. Она приказывает вырезать им груди или вырывать ногти, чтоб они не могли работать».

На более поздних фазах развития такого рода формы аффективной разрядки могут показаться исключениями, случаями «болезненного» вырождения. Но в ту эпоху не было наказаний за злодеяния, не было общественного возмездия. Единственной угрозой, единственной опасностью, способной вызвать страх, было поражение в борьбе с более сильным противником. Как замечает историк французского общества XIII в. Люшер, если не принимать во внимание нравы небольшой элиты, то можно признать, что разбой, грабеж, убийства полностью соответствовали стандарту воинского общества того времени, и мало что позволяет говорить о том, что в других странах или на протяжении нескольких последующих столетий дело обстоит иначе. Жестокость не была поводом для исключения человека из общества. Радость от созерцания мучений и смерти других была велика и имела общественно признанный характер. В известной степени строение общества даже стимулировало движение в этом направлении, превращая такое поведение в необходимое и целесообразное.

К примеру, что было делать с пленными? В обществе того времени обращалось мало денег. Пока речь шла о пленниках, способных платить выкуп, да еще собратьях по сословию, победители еще в какой-то мере сдерживали себя. Но что было делать с прочими? Держать их у себя означало, что их нужно кормить. Отпустить их — у врага увеличатся воинская мощь и богатство, поскольку богатство высшего слоя в ту эпоху зависело от наличия работающих, прислуживающих, сражающихся рук. Оставалось или убить, или отослать обратно, но искалечив настолько, чтобы они уже не были пригодны ни для военной службы, ни для работы. То же самое относилось к уничтожению уро-

274

жая, к засыпанным колодцам или срубленным деревьям. В преимущественно аграрном обществе, где собственность в основном была недвижимой, это также вело к ослаблению противника. Большая степень аффективности поведения была в этом обществе даже необходимой. Люди поступали в соответствии с социальной целесообразностью, да еще находили в этом удовольствие. Меньшему социальному контролю над влечениями целиком и полностью отвечало то, что эта страсть к разрушению — возникающая, возможно, в силу незначительной самоидентификации с истязаемым человеком и совершенно точно служившая выражением чувств страха и вины, постоянно возникавшими в чреватой множеством опасностей жизни, — вела к крайней жестокости. Сегодняшний победитель завтра мог стать побежденным, пленником, которому грозила страшная участь. Трудно было предусмотреть будущее в эпоху, когда охота на людей, т.е. война, сменялась охотой на зверей или турнирами, т.е. наслаждениями «мирного времени». Будущее было неопределенным даже для «бегущих от мира». Единственно прочными оставались вера в Бога и взаимное доверие нескольких держащихся друг друга людей. Повсюду царил страх, нужно было ценить мгновение. Подобно переменчивости фортуны, наслаждение переходило в страх, и прямо из страха рождалось новое наслаждение.

Подавляющее большинство представителей высшего слоя мирян вели жизнь предводителей разбойничьих шаек. Такой образ жизни отвечал их вкусам и привычкам. Оставленные этим обществом свидетельства в целом похожи на те данные, которыми мы располагаем о феодальных обществах нашего времени, — и те и другие говорят нам о сходном стандарте поведения. Лишь небольшая элита, о коей нам еще предстоит вести речь, хотя бы отчасти возвышалась над этим стандартом.

Воин Средневековья не просто любил борьбу, он жил ею. В юности он к ней готовился, по достижении совершеннолетия его возводили в достоинство рыцаря, и он сражался до той поры, пока у него оставались силы, т.е. до самой старости. Иной функции в его жизни просто не существовало. Его домом был боевой пост, крепость. Если рыцарю и случалось жить в мирные времена, то ему нужна была хотя бы иллюзия войны. Он сражался на турнирах, часто мало чем отличавшихся от настоящей войны⁴.

«Pour la société d'alors la guerre était normale^{4*}», — пишет Люшер о XIII в. Хейзинга говорит то же самое о XIV-XV вв.: «Хронический характер войны, всякая сволочь, беспокоившая города и деревни, вечная угроза со стороны жестокого и ненадежного правосудия... питали чувство опасности»⁵.

В XV в., как и ранее, в IX в. или в XIII в., рыцарь радуется войне, пусть сдержаннее, менее откровенно, чем тогда: «C'est joyeuse chose que la guerre... On s'entr'ayme tant à la guerre. Quant on voit sa querelle bonne et son sang bien combattre, la larme en

275

vient à l'œil...⁵⁾». Это говорит Жан де Бюэ. Он впал в немилость у короля и диктует слуге свои воспоминания. Происходит это в 1465 г. Он уже не является совершенно свободным и самостоятельным рыцарем, своего рода маленьким королем в своих землях. Он сам состоит на службе: «Веселая вещь война... На войне любишь так крепко. Если видишь, что дерешься за правое дело и повсюду бьется родная кровь, сможешь ли ты удержаться от слез! Глубоким, сладостным чувством самоотверженности и жалости

наполняется сердце, когда видишь друга, подставившего оружие свое тело, дабы исполнилась воля Создателя. И ты готов пойти с ним на смерть — или остаться жить и из любви к нему не покидать его никогда. И ведомо тебе такое чувство восторга, какое сего не познавший передать не может никакими словами. И ты полагаешь, что так поступающий боится смерти? Нисколько; ведь обретает он такую силу и окрыленность, что более не ведает, где он находится. Поистине, тогда он не знает страха»⁶.

Таково наслаждение от битвы, пусть это уже не непосредственное наслаждение от охоты за людьми, от звона клинков, от ржания лошадей или страха врагов, от криков «На помощь!» или зрелища пронзенных мертвых тел⁷. Здесь речь идет о привязанности к друзьям, о вдохновенности правым делом; более важным становится упоение битвой, побеждающее страх.

Все это — простые и сильные ощущения. Люди убивают, они полностью отдаются битве, видят, как сражаются их друзья. Ты дерешься вместе с ними, ты уже не помнишь себя. Ты не помнишь даже о смерти — это прекрасно, чего еще остается желать?

3

Есть множество свидетельств того, что отношение к жизни и смерти у высшего слоя средневековых мирян никоим образом не совпадало с тем, что господствовало в книгах духовенства и обычно считается чуть ли не «типичным» для Средневековья. Для высшего слоя клириков, по крайней мере для тех, кто говорил от его имени, жизнь определялась мыслями о смерти и о том, что за ней последует в потустороннем мире.

Верхушка мирян этим совсем не ограничивалась. Даже если в жизни рыцаря и бывали времена, когда он думал подобным образом, мы всякий раз обнаруживаем свидетельства о совсем иной позиции. Мы вновь и вновь слышим призыв, не совпадающий с принятыми сегодня представлениями о Средневековье: не обременяй себя мыслями о смерти, наслаждайся радостями этой жизни.

«Nul courtois ne doit blâmer joie, mais toujours joie aimer» («Куртуазный человек не должен хулить радость, но должен все-

276

гда любить радость»), — таково требование куртуазности из романа начала XIII в.⁸ Чуть позже говорилось так: «Jeune homme doit bien être gai et mener joyeuse vie. Il ne convient pas à jeune homme qu'il soit morne et pensif»^{6,9}. Ни в коей мере не быть «pensif» — это должно было даже служить отличительным признаком рыцаря, противостоящего клирику, которому, конечно, чаще доводилось бывать «morne» или «pensif».

Наиболее выразительно это далекое от отрицания жизни отношение к смерти заявляет о себе в стихотворных «Правилах Катона»¹⁰, которые передавались из поколения в поколение на протяжении всего Средневековья. Конечно, жизнь полна опасностей — этот мотив часто повторяется:

«Sint uns allen ist gegeben ein harte ungewissee leben»⁷».

Но это не ведет к выводу, что следует думать о приближении смерти. Напротив, говорится следующее⁸:

«Wildu vürchten den tôt, sô muostu leben mit nô»⁸».

В другом месте это выражено еще более четко и прекрасно:

«Man weiz wol daz der tôt geschiht, man weiz ab siner zuokunft niht: er kumt geslichen als ein diep und scheidet leide unde liep. Doch habe du guote zuoversiht vührte den tôt ze sêre niht vührtestu in ze sêre du gewinnst vreude nie mêre»⁹».

Об ином мире здесь нет ни слова. Тот, кто слишком много думает о смерти, уже не знает радости жизни. Конечно, рыцари считали себя христианами, и вся их жизнь определялась представлениями и ритуалами, свойственными христианской традиции. Но у них в головах христианство — в соответствии с особенностями социального и психологического положения — соединялось с совсем иной ценностной шкалой, чем у пишущих и читающих книги клириков. Оттенки здесь были совсем иными, да и содержание в те же формулы вкладывалось другое. Христианство не мешало рыцарям пользоваться благами жизни, не препятствовало убийствам и грабёжам. Это было связано с их общественной функцией, с особенностями их сословия, которыми они гордились. Не бояться смерти — это было жизненной необходимостью для рыцаря. Его предназначением была война.

277

Строение общества и его противоречия предопределяли то, что становилось неизбежным законом для индивида.

4

Но в средневековом обществе постоянная готовность к бою с оружием в руках была характерна не только для рыцарей и составляла жизненную необходимость не для одного лишь высшего сословия. Жизнь горожан в то время тоже во многом зависела от мелких и крупных стычек, причем в значительно большей мере, чем в позднейшие времена, а потому агрессивность, ненависть и радость от истязания другого были тогда куда менее сдержанными, чем на последующей фазе.

Вместе с постепенным подъемом третьего сословия происходило обострение противоречий средневекового общества. Бюргеры обладали не одной лишь силой денег. Разбой, драка, грабёж, распри между семьями играли в жизни горожан не меньшую роль, чем у воинской касты.

Возьмем в качестве примера судьбу пикардийца Матье д'Эскуши, одного из многих людей XV в., написавших «Хронику»¹². Читая ее, мы можем подумать, что автор был почтенным писателем, посвятившим свой талант скрупулезному историческому труду. Но стоит нам узнать подробности о его

жизни, как картина сразу меняется¹³: «Матье д'Эскуши начинает свою карьеру в магистрате как советник, член муниципалитета, присяжный заседатель и прево города Перонна между 1440 и 1450 гг. С первых же дней мы находим его во вражде с семьей прокурора этого города Жана Фромана, вражде, сопровождавшейся постоянными судебными тяжбами. Так, прокурор преследует д'Эскуши в судебном порядке за подлог и убийство, затем за "excès et attemptaz" ["бесчинства и покушения"]. Прево, в свою очередь, угрожает вдове своего врага следствием по обвинению в колдовстве, в чем ее и вправду подозревали; женщине, однако, удается заполучить предписание, в силу которого д'Эскуши вынужден передать следствие органам правосудия. В дело вмешивается Парижский парламент, и д'Эскуши в первый раз оказывается за решеткой. После этого мы видим его один раз в плену и еще шесть раз в заключении — и всякий раз по серьезному уголовному обвинению. Не раз его заковывают в кандалы. К. состязанию в обоюдных обвинениях между семьей Фроманов и д'Эскуши добавляется ожесточенная стычка, в ходе которой д'Эскуши ранен сыном Фромана. Оба нанимают бандитов, покушаясь на жизнь друг друга. После того как эта бесконечная вражда исчезает из поля нашего зрения, черед приходит новым событиям. На сей раз наш прево ранен каким-то монахом; новые жалобы, затем д'Эскуши переселяется в Нель, по-видимому, подозреваемый в преступлениях. И все это не мешает ему делать карьеру: он становится бальи, прево Рибес-

278
мона и королевским прокурором Сен-Кантена, его возводят в дворянское достоинство. После новых ранений, тюремных заключений и денежных штрафов мы обнаруживаем его на военной службе: в 1465 г. при Монлери он сражается за короля против Карла Смелого и попадает в плен. Затем из очередного похода он возвращается изувеченным. Даже когда он женится, это не означает перехода к спокойной жизни. После новой ссоры с советником магистрата Компьена, по делу которого он должен был провести расследование, д'Эскуши по обвинению в подделке печати под стражей препровождают в Париж "comme larron et murdrier" ["как разбойника и убийцу"]. пытками у него вырывают признание, ему отказывают в праве на апелляцию, выносят приговор, затем реабилитируют, потом снова выносят приговор, пока, наконец, следы его существования, протекавшего в обстановке ненависти и преследований, вовсе не исчезают из документов». Можно привести множество подобных свидетельств. Возьмем, к примеру, известные миниатюры из часослова герцога Беррийского¹⁴. «Долгое время считалось, а многие и доньше убеждены в том, — пишет их издатель, — что эти миниатюры суть творения почтенных монахов или набожных монахинь, мирно трудившихся в своих монастырях. Не исключено, что так оно и было. Но чаще всего дело обстояло совсем иначе. Эти прекрасные работы писали мастера-миряне, ремесленники, а их жизнь, пока они производили эти чудесные творения, была далеко не образцовой». Мы вновь и вновь слышим о совершенных ими поступках, которые при нынешнем состоянии общества оцениваются не иначе как «преступления» и считаются «недопустимыми». Художники постоянно обвиняют друг друга в воровстве; затем один из них вместе со своим кланом нападает на другого и закалывает его прямо на улице. Испытывавший в нем нужду герцог Беррийский вынужден просить об амнистии убийцы в «lettres de remission». Затем другой художник похищает восьмилетнюю девочку, чтобы жениться на ней, — естественно, вопреки воле родителей. Эти «lettres de remission» показывают нам «кровавые распри», которые часто длились годами, приводя иной раз к диким схваткам и на площадях, и за городом, причем относится это не только к рыцарям, но также к купцам и ремесленникам. Подобно тому как это до сих пор происходит в обществах со сходными социальными формами, — скажем, в Абиссинии или в Афганистане, — у дворянина была своя банда, готовая на все. «Днем он отправляется "мстить" в сопровождении своих слуг и оруженосцев.... "Roturiers", буржуа не могли себе этого позволить, но у них имелись часто многочисленные "родственники и друзья", сбежавшиеся на помощь с тем оружием в руках, которое дозволяли городские "ордонансы" и местные "coutumes"; когда эти бюргеры мстили друг другу, то они находились в состоянии "de guerre", т.е. междоусобицы»¹⁵.

279

Городские власти пытались прекратить эти семейные распри: судьи созывали людей, требовали мира, приказывали разойтись. На какое-то время все затихало, но затем возникала новая междоусобица или вспыхивала старая. Вот два «associés», поспоривших по хозяйственным делам; они сцепились друг с другом, спор перешел в драку; через какое-то время они встречаются на площади и один убивает другого¹⁶. Владелец одной гостиницы обвиняет другого в том, что тот крадет у него клиентов, и они становятся смертельными врагами. Кто-то сказал о соседе пару дурных слов — и из-за этого начинается война между семьями.

Семейная месть, вендетта, существовала не только между дворянами. В XV в. города ничуть не менее раздирали такие войны между семьями и кликами. Буржуа или даже всякий мелкий люд, вроде чеканщиков, портных или пастухов, часто и скоро хватаются за нож¹⁷. «On sait, combien, qu'au quinzième siècle les mœurs étaient violentes, avec quelle brutalité les passions s'assouvissaient, malgré la peur de l'enfer, malgré le frein des distinctions de classes et le sentiment de l'honneur chevaleresque, malgré la bonhomie et la gaieté des relations sociales^{10*}».

Это совсем не означает, что люди того времени все время ходили мрачнее тучи, с нахмуренными бровями и воинственной миной на лице. Напротив, они веселились, шутили, насмехались друг над другом — слово за слово, и шутка вдруг вела к распри. Крайняя набожность, страх перед преисподней, чувства вины и раскаяния, взрывы веселья и радости неожиданно переходили у них в страсти, которые нам кажутся

противоположными, — в неукротимую ярость, в ненависть и агрессию. Относительно быстрый переход от одного настроения к другому вообще является симптомом совершенно определенной организации эмоциональной жизни. Влечения и эмоции были менее сдержанными, более непосредственными, неприкрытыми, чем в позднейшее время. Нам с нашими вытесненными страстями, умеренными и расчетливыми чувствами, с общественными табу, встроенными в структуру влечений в виде самопринуждения, кажутся противоположностями равно сильные набожность и агрессивность, покаяние и жестокость. Религия, мысль о карающем или дарующем награду всемогущем Боге, ни в коей мере не «цивилизывали» их и не служили сдерживанию аффектов. Напротив, религия того времени была ровно настолько «цивилизированной», насколько таковыми были все общество или тот или иной социальный слой, выступавший в качестве носителя религии. Поскольку и в данном случае эмоции выражались так же, как в нашем собственном жизненном пространстве это обычно свойственно только детям, мы можем назвать подобные их проявления «детскими».

Нечто похожее мы обнаруживаем во всех свидетельствах того времени: жизнь с иной, чем у нас, аффективной нагрузкой; су-

280

ществование, исполненное опасностей; будущее, не поддающееся никаким долгосрочным прогнозам. Кто в этом обществе не любил и не ненавидел всеми силами души, кто не мог за себя постоять в яростной борьбе, тот мог уйти в монастырь, но для мирской жизни он был потерян. В придворном обществе точно так же был потерян для мирской жизни тот, кто не мог укрощать свои страсти и скрывать свои аффекты, кто не сумел «цивилизироваться».

5

И здесь и там мы имеем дело со строением общества, требующим от индивида определенного стандарта владения страстями и способствующим формированию последнего. «С нашими мирными нравами и привычками, с той защитой, которую предоставляет современное государство каждому, охраняя и лица, и их собственность»¹⁸, как замечает Люшер, нам трудно представить себе общество, устроенное иначе.

«В ту эпоху страна распадалась на провинции, и обитатели каждой из провинций образовывали как бы малую нацию, которая отворачивалась от всех прочих. В свою очередь, все эти провинции делились на множество ленов и владений, и между их хозяевами шла непрестанная борьба. Не только крупные феодалы, бароны, но и мелкие владельцы замков жили в дикой изоляции и вели постоянную войну с "суверенами", с себе подобными или со своими подданными. Кроме того, существовало соперничество между городами, деревнями, обитателями долин; в этом многообразии территориальных единиц шла непрерывная война между всеми соседями». Данная картина позволяет наглядно продемонстрировать то, что ранее говорилось о связи между строением общества и структурой аффектов. В обществе отсутствует центральная власть, достаточно сильная, чтобы принуждать людей к сдержанности. Там, где эта власть начинает расти, охватывая ту или иную область, и люди на больших или меньших территориях оказываются вынужденными жить в мире, там постепенно меняются и моделирование аффектов, и стандарт организации влечений. Нам еще придется подробнее говорить о том, как вместе с этим процессом постепенно растут сдержанность и «внимание людей друг к другу», — поначалу в повседневной, в нормальной общественной жизни. Аффективная разрядка посредством физического насилия ограничивается определенными временными и пространственными анклавами. Когда монополия на физическое насилие переходит в руки центральной власти, уже не всякий силач может наслаждаться агрессией, но лишь немногие лица, наделенные легитимной силой, например полицейский по отношению к преступнику. Большие массы населения могут прибегать к насилию только в

281

исключительных случаях, во время военных или революционных действий, т.е. в социально легитимированной борьбе против внешнего или внутреннего врага.

Но даже в этих временных и пространственных анклавах, где в цивилизованном обществе сохраняется агрессивность (прежде всего во время войн между нациями), она приобретает безличный характер. Агрессия все меньше служит причиной аффективной разрядки, наделенной той непосредственностью и той силой, что были свойственны Средневековью. Контроль над аффектами, сформированный повседневной жизнью цивилизованного общества, и предписанная этим обществом мера сдерживания и трансформации агрессии не отменяются даже в этих анклавах. В любом случае, агрессия освободилась бы от этого контроля быстрее, чем нам хотелось бы, если бы прямая, физическая борьба против ненавистного врага не превратилась в механизированную войну, требующую строгого контроля над аффектами. Даже во время войны цивилизованных стран нашего мира индивид более не может непосредственно давать волю своим эмоциям, наслаждаясь видом поверженного врага. Он должен, независимо от своего настроения, подчиняться переданным ему приказам не видимого им командира и вести бой с зачастую не видимым им врагом. Требуются сильные социальные волнения и бедствия, и прежде всего требуется сознательно ведущаяся пропаганда, для того чтобы значительные массы людей вернулись к вытесненным из цивилизованной повседневности и социально осуждаемым влечениям, к радости, получаемой от убийства и разрушения, и для того чтобы эти влечения стали легитимными.

Конечно, данные аффекты становятся легитимными и занимают четко очерченное место в повседневной жизни цивилизованного общества, получив «утонченную», рационализированную форму. Характерна та трансформация, которая вместе с процессом цивилизации изменяет организацию аффектов. Наслаждение от борьбы и агрессии, например, находит свое социально приемлемое выражение в спорте. Это касается прежде всего «зрителей», тех, кто наблюдает, скажем, боксерский матч и мысленно идентифицирует себя с теми немногими, кому дана возможность непосредственно снимать аффективное напряжение в четко установленных границах и по строгим правилам. Такое изживание аффектов при созерцании или даже при простом слушании радио является наиболее характерной чертой цивилизованного общества. Она оказывает влияние на развитие книгоиздания и театрального искусства, она имеет решающее значение для растущей роли кино в нашем мире. То, что первоначально

282

было приносившей наслаждение активной агрессией, трансформируется в пассивное и умеренное наслаждение от созерцания проявлений агрессивности и, в свою очередь, оказывает влияние на воспитание, на правила «кондиционирования» молодежи.

В вышедшем в 1774 г. издании «Civilité» Ла Салля мы читаем: «Les enfants aiment à porter la main sur les habits et les autres choses, qui leur plaisent; il faut corriger en eux cette demangeaison, et leur apprendre à ne toucher que des yeux tout ce qu'ils voient» («Детям нравится хватать руками платье и все, что им понравится. Нужно укрощать у них этот зуд и научить их касаться глазами всего того, что они видят».).

Со временем это стало чуть ли не само собой разумеющимся правилом «кондиционирования». Для цивилизованного человека в высшей степени характерно, что социогенное самопринуждение не позволяет ему спонтанно хватать то, что ему нравится, прикасаться к тому, что он любит или ненавидит. При всех различиях схем моделирования у разных западных наций моделирование жестов определяется именно этим правилом.

Выше мы показывали, как процесс цивилизации накладывает ограничения (как на нечто животное) на употребление обоняния, сдерживая склонность человека обнюхивать блюда. Теперь мы знаем, какое специфическое значение получает в цивилизованном обществе еще один из органов чувств — глаз. Он становится, наряду с ухом — и даже в большей мере, чем последнее, — главным передатчиком удовольствия, как раз потому, что непосредственное удовлетворение влечений в цивилизованном обществе ограничивается множеством запретов и барьеров.

Но даже это перенесение проявлений влечения из области непосредственного действия в область созерцания сопровождается отчетливой трансформацией созерцаемого, введением в определенные рамки и гуманизацией аффектов. Тот же бокс, если сравнить его со зрелищами подобного рода, принятыми в предшествующие эпохи, дает пример достаточно умеренной агрессивности и жестокости.

Чтобы продемонстрировать это, приведем один пример. Мы выбрали его из массы других, поскольку он хорошо показывает ту удовлетворяемую зрением тягу к жестокости, которая воплощается в зрелище мучений в самом чистом виде, без всяких рациональных оправданий, вроде наказания за преступления в качестве средства их предупреждения.

В Париже XVI в. на праздник Иоанна Крестителя живьем сжигали дюжину или две дюжины кошек. Это зрелище было популярным, на него собиралось множество народа. Играла праздничная музыка. Под своего рода помостом складывались вязанки хвороста, затем на помост кидали мешок с кошками или ставили клетку с ними. Костер зажигали, огонь подбирался к меш-

283

ку или клетке, кошки горели, а толпа радовалась их воплям и мяуканью. Обычно на церемонии присутствовали король и двор. Иногда королю или дофину выпадала честь зажечь костер. Однажды по особому пожеланию короля Карла IX была поймана и сожжена вместе с кошками лисица¹⁹.

Конечно, зрелище это мало чем отличалось от церемонии сожжения еретиков, публичных пыток и казней самого разного рода. Как уже было сказано, отличие сводится к тому, что здесь явно, неприкрыто, без всякой внешней цели предстает наслаждение от мучений живого существа, не имеющее никакого рационального оправдания. Наше отвращение, возникающее уже при одном сообщении о существовании подобного праздника, совершенно «нормальное» с точки зрения сегодняшнего стандарта регулирования аффектов, вновь демонстрирует ту историческую трансформацию, которую претерпела их структура. Особенно хорошо виден здесь один аспект трансформации: многое из того, что ранее вызывало удовольствие, сегодня вызывает неудовольствие. Речь идет не об индивидуальных ощущениях тех или иных людей прошлого или настоящего времени. Сожжение кошек на день Иоанна Крестителя было таким же общественным мероприятием, как бокс или скачки в сегодняшнем обществе. И здесь и там удовольствие, коим предается общество, являются воплощением того социального стандарта влечений, в рамках которого происходило моделирование их индивидуальной структуры аффектов. При всех различиях индивидов, тот, чья психика выходит за рамки социального стандарта влечений, считается «ненормальным». Таковым сегодня станут считать того, кто будет находить удовольствие в сжигании кошек, — именно потому, что нормальное «кондиционирование» людей на нашей фазе цивилизации подавляет наслаждение от подобных действий посредством страха, вырабатываемого внутренним принуждением. Здесь мы видим действие простого психического механизма, способствующего исторической трансформации аффективной жизни:

социально нежелательные влечения и удовольствия подлежат наказанию, за ними следует неудовольствие (или оно, по крайней мере, преобладает). Постоянное возобновление наказаний и угроз делает привычным неудовольствие, и последнее принудительно связывается как доминанта с тем поведением, которое первоначально могло приносить наслаждение. Поэтому социально стимулируемые неудовольствие и страх — сегодня их репрезентируют прежде всего родители, хотя такое представительство вовсе не обязательно — находятся в борьбе со скрытым удовольствием. То, что рассматривалось нами в различных аспектах как сдвиг границы стыда, смещение порога чувствительности, изменение стандарта аффектов, могло иметь своей причиной именно этот механизм.

284

Нам остается рассмотреть, какие именно изменения в строении общества привели этот механизм в движение, какая перемена во внешнем принуждении послужила толчком к процессу «цивилизации», преобразующему аффекты и поведение человека.

Примечания

¹ *Luchaire A.* La société française au temps de Philippe-Auguste. P., 1909. P. 273.

² Ibid. P. 275.

³ Ibid. P. 272.

⁴ Ibid. P. 278.

⁵ *Huizinga J.* Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesform des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. München, 1924. S. 32.

⁶ Из «Le Jouvenceul», биографии рыцаря Жана де Бюэ, изданной Кервином де Леттенховом (Chastellain, Œuvres VIII), цит. по: *Huizinga J.* Herbst des Mittelalters. S. 94 (см.: *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. М.: Наука, 1988. С. 80; пер. Д.В.Сильвестрова).

⁷ См. выше, прим. 1 к наст. гл.

⁸ *Dupin H.* La courtoisie au moyen âge. P., 1931. P. 79.

⁹ Ibid. P. 77.

¹⁰ *Zarncke F.* Der deutsche Cato. S. 36f. V.167/8, 178/80.

¹¹ Ibid. S. 43. V. 395ff.

¹² См.: *Huizinga J.* Herbst des Mittelalters. S. 32ff.

¹³ *Mirot L.* Les d'Ogremont, leur origine, leur fortune etc. P., 1913; *Champion P.* Francois Villon. Sa vie et son temps. P., 1913. V. II. P. 230ff. Цит. по: *Huizinga J.* Herbst des Mittelalters. S. 32 (см.: *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. С. 31—32).

¹⁴ *Durrieu P.* Les très belles Heures de Notre Dame du Duc Jean de Berry. P., 1922. P. 68.

¹⁵ *Petit-Dutailis Ch.* Documents nouveaux sur les moeurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XV. siècle. P., 1908. P. 47.

¹⁶ Ibid. P. 162.

¹⁷ Ibid. P. 5.

¹⁸ *Luchaire A.* La société française au temps de Philippe-Auguste. P. 278f.

¹⁹ Подробнее по этому поводу см.: *Franklin A.* Paris et Parisiens au seizième siècle. P., 1921. P. 508f.

Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря

Вопрос о том, почему меняются поведение и аффекты людей, по существу не отличается от вопроса о причинах изменения жизненных форм человека. В средневековом обществе существовали определенные, уже сформированные жизненные формы, и индивид был обязан им следовать — как рыцарь, как цеховой ремесленник или как крепостной. В Новое время индивиду предоставлялись другие шансы, он должен был приспособливаться к другим изначально заданным жизненным формам. Если он был дворянином, то он мог жить как придворный, но даже в том случае, если бы он захотел, — а этого хотели многие, — то уже не смог бы вести вольную жизнь независимого рыцаря. Этой функции, этой жизненной формы с какого-то времени в структуре общества уже не существовало. Другие функции, вроде функций цехового ремесленника или священника, игравшие чрезвычайно большую роль на средневековой фазе развития, постепенно утратили свое значение в целостной структуре социальных отношений. Почему в ходе истории меняются функции, жизненные формы, к которым индивид должен приспособливаться, входя в более или менее прочно моделированные структуры? Как было выше сказано, этот вопрос тождествен вопросу о причинах изменения влечений, моделирования аффектов и всего того, что с ними связано.

Мы уже довольно много сказали о стандарте аффектов средневекового высшего слоя. В дополнение к сказанному — и для перехода к вопросу о причинах изменений — мы добавим краткое описание образа жизни рыцаря, т.е. того жизненного пространства, которое общество открывало родившемуся дворянину индивиду и в рамках которого он становился его членом. Вид этого жизненного пространства и сам образ рыцаря стали весьма неясными вскоре после того времени, что получило название «заката» рыцарства. Независимо от того, сохраняли позднейшие изображения только нечто «благородное» в образе средневекового воина, подчеркивая великое и прекрасное и описывая полную приключений и патетики

жизнь, либо видели в нем только дравшего шкуру с крестьян «феодала», акцентируя дикость, жестокость, варварство его жизни, — в обоих случаях вли-

286

яние оценок и устремлений, свойственные эпохе самого наблюдателя, по большей части искажали картину этого жизненного пространства. Для ее восстановления призовем на помощь два рисунка, точнее говоря, их описание. Своеобразную атмосферу или, если угодно, господствовавшее в те времена моделирование аффектов во всем его отличии от современного можно ощутить не только благодаря отдельным дошедшим до нас письменным источникам. Они особенно хорошо прослеживаются в наследии скульпторов и художников того времени, даже если допустить, что лишь часть произведений отображает действительную жизнь рыцаря. Одной из немногих книг с иллюстрациями такого рода (хотя относящуюся к довольно позднему времени, к периоду где-то между 1475 и 1480 гг.) является набор рисунков, получивший известность под не вполне адекватным названием «Средневековая домашняя книга». Имя создавшего рисунки мастера неизвестно, но он наверняка был хорошо знаком с рыцарской жизнью своего времени. В отличие от многих собратьев по ремеслу он смотрит на мир глазами рыцаря и выражает социальные ценности, присущие этому слою. Достаточно важным свидетельством такой самоидентификации художника является один из рисунков: среди прочих ремесленников, но чуть в стороне, изображен человек, принадлежащий к тому же сословию, но в придворном одеянии; за ним стоит, положив ему руку на плечо, девушка, к которой он явно расположен. Возможно, перед нами автопортрет художника¹.

Как уже было сказано, рисунки принадлежат к периоду позднего рыцарства, к временам Карла Смелого и Максимилиана — последних государей-рыцарей. По гербам на паре рисунков мы можем сделать вывод, что на большинстве изображений представлены либо рыцари из их круга, либо они сами. «Нет ни малейшего сомнения в том, — замечает историк, — что мы видим здесь или самого Карла Смелого, или какого-то бургундского рыцаря из его окружения»². Вероятно, перед нами изображение турнира, проведенного сразу после осады Нейсса (1475), во время свадьбы Максимилиана с дочерью Карла Смелого, Марией Бургундской. Во всяком случае, изображенные здесь люди жили уже в переходное время, когда место рыцарской аристократии постепенно занимает аристократия придворная. Многие из того, что присуще жизни придворного, уже встречается на этих рисунках. Но в целом они дают очень хорошее представление о специфически рыцарском жизненном пространстве — о том пространстве, что наполняло повседневную жизнь рыцаря, о тех предметах, которые он постоянно перед собой видел. Отчасти мы можем судить и о том, как он их видел.

Что же мы видим?

Почти всегда это сельская местность, нет почти ничего, напоминающего о городе. Небольшие деревни, пашни, деревья,

287

луга, холмы, ручьи, довольно часто замки. Но в этих картинах еще нет никакой выраженной «тоски», никакого «сентиментального» отношения к «природе». Скоро такое настроение станет ощутимым. Это произойдет, когда основная часть дворянства вынуждена будет распрощаться с независимой жизнью в своих угодьях, чтобы оказаться привязанной к наполовину городской службе при дворах королей или князей. На этих рисунках мы чувствуем иное состояние аффектов. В более поздние времена сознание художника станет прибавлять к зримому специфичные краски, прямо передающие вкус или, точнее говоря, черты моделирования аффектов рисующего. Изображение «природы», местности, которая почти всегда выступала как фон для изображения людей, вместе с переселением в город и службой при дворе, вместе с более ощутимым разделением городской и сельской жизни приобретет ностальгический оттенок. Либо ей будет придаваться возвышенный характер с целью показать наличие тех же качеств у изображаемых людей. Во всяком случае, происходит изменение в *отборе чувств*: в природе разделяется то, что соответствует изображаемому чувству, и то, что ощущается как неприятное. То же самое относится к изображаемым людям. В картинах, предназначенных для придворной публики времен абсолютной монархии, уже не изображается то, что действительно имеется в сельской местности или «на природе». Рисуют холм, но не виселицу, которая на нем стоит, не говоря уж о повешенном. Изображается пашня, но не крестьянин в лохмотьях, с трудом идущий за лошадью. Так же, как и из придворного разговора, все «подлое» и «вульгарное» исчезает из картин и рисунков, предназначенных для придворной аристократии.

Рисунки из «Средневековой домашней книги» дают представление об ином состоянии чувств, свойственном высшему слою конца Средневековья. Здесь и виселицы, и оборванные слуги, и тяжкий труд крестьян предстают так же реально, как и в самой жизни, — причем эти изображения не похожи на произведения позднейшего времени, где подобные сюжеты были подчеркнутым выражением протеста. Здесь все это — нечто само собой разумеющееся, то, что можно видеть изо дня в день, вроде гнезда аиста или колокольни. В жизни это ничуть не более неприятно, чем все прочее, — так это изображено и на рисунке. Напротив, как и для всего Средневековья, неотъемлемой чертой жизни богатых и благородных является то, что их окружают нищие и просящие милостыню калеки, а также крестьяне и ремесленники, которые на них работают. В этом они не видят никакой угрозы, с окружающими себя никак не идентифицируют, а их вид не вызывает негативных чувств. Над этим дурачком, над крестьянами, часто смеются.

Таковы и эти картины. Сначала мы видим ряд рисунков с людьми под тем или иным созвездием. Эти люди не обязатель-

но группируются вокруг рыцаря, но такие рисунки показывают, что и как тот видит вокруг себя. Затем следует ряд рисунков, непосредственно иллюстрирующих жизнь рыцаря, показывающих его занятия и радости. Все они демонстрируют тот же стандарт чувствительности, ту же социальную позицию, существенным образом отличающуюся от принятых в позднейшие времена.

Например, в самом начале книги мы видим людей, родившихся под знаком Сатурна. Перед нами изображение какого-то несчастного малого, разделяющего павшую лошадь, вероятно, для того, чтобы воспользоваться ее мясом. Штаны у него приспущены так, что и зад виден, а позади изображена обнюхивающая этот зад свинья. На переднем плане стоит дряхлая старуха в лохмотьях, опирающаяся на клюку. В придорожной канаве сидит нищий, руки и ноги его в колодах, а рядом женщина, у нее одна рука в колоде, а другая — в оковах. Крестьянин копает канавку между деревьями и холмами. Вдалеке крестьянин с маленьким сыном; они с трудом бредут по пашне за своей лошадей, поднимающейся вверх по склону холма. Еще дальше мы замечаем оборванца, которого тащат на виселицу; по одну сторону от него стражник с пером на шлеме, по другую — священник в рясе и с большим крестом в руках; позади них изображен скачущий в окружении своих людей рыцарь. Выше на холме стоят виселица с повешенным и колесо с распластанным на нем телом. Вокруг летают черные птицы, одна из них садится на труп.

На виселице акцент тут совсем не ставится — она изображается так же, как ручей или дерево. Или, например, как рыцарь с другого рисунка. Он отправился на охоту в сопровождении целого общества. Господин и его жена скачут на одной лошади. Дичь скрывается от них в перелеске; кажется, они травят оленя. Позади них виднеется деревушка или просто двор — колодец, жернов, ветряная мельница, пара строений. Мы видим крестьянина на пашне, наблюдающего за охотой; понятно, что она проходит по его полю. Выше мы видим по одну сторону замок, а по другую — колесо и виселицу с казненными, вокруг летают вороны.

Виселица, символ рыцарского суда, принадлежит к «кулисам» жизни благородного господина. Она не так уж важна, но и неприятных чувств ни в коей мере не вызывает. Суд, казнь, смерть часты в этой жизни, их еще не выносят *за* эти «кулисы».

То же самое относится к нищим и труженикам. «Кто бы нам землю пахал, если б все были господами», — говорит в XIII в. Бертольд фон Регенсбург³ в одной из своих проповедей. Иной раз он выражается еще яснее: «Скажу вам, люд христианский, о том, как Господь упорядочил христианскую жизнь, разбив по десяткам людей, среди коих низшие должны служить и подчиняться высшим. Первые три суть высшие и правящие, избранные для сего самим всемогущим Богом, а прочие семь суть под-

289

чиненные и им служащие»⁴. Точно такое же мироощущение мы обнаруживаем и на картинах пятнадцатого столетия. Естественным и само собой разумеющимся, не вызывающим негативных чувств, ибо это соответствует мировому порядку, является то, что благородные воины обладают досугом для развлечений, тогда как прочие должны на них работать. Отсутствует самоидентификация с другими людьми. Представления о «равенстве» всех людей не входят в горизонт этой жизни. Именно поэтому вид тружеников не вызывает ни стыда, ни стеснения.

На другом рисунке мы видим усадьбу. Тут изображаются господские утехы. Благородная девица украшает венком голову своего дружка, притягивая его к себе. Другая пара в обнимку отправляется на прогулку. Старая служанка недовольно смотрит на любовные забавы молодежи. Рядом работают слуги. Один метет двор, другой седлает коня, третий сыплет уткам корм, а служанка подмигивает ему из окна — он поворачивается, скоро он скроется в доме. Изображены играющие благородные дамы. Игры отчасти крестьянские. На крыше виднеется гнездо аиста.

На следующей картине перед нами небольшое поместье у озера. На мосту стоит молодой дворянин со своей женой. Опираясь на перила, они смотрят, как слуги ловят рыбу и уток. Три юные дамы плывут в лодке, кругом заросли тростника. Вдалеке виднеются стены небольшого города.

Или, например, изображение рабочих, строящих дом у горы, окруженной лесом. В скалу вбивают клинья, чтобы получить камни. Одни обтесывают камни, другие их подтаскивают. Чуть дальше видна сама стройка. На самом заднем плане изображается драка между рабочими, которые колотят друг друга. Недалеко от них стоит сам хозяин замка. Он показывает своей жене на драчунов; полнейшее спокойствие супругов хорошо заметно по контрасту с напряженной жестикуляцией дерущихся. Господину нет до этого дела. Он живет в совсем иных сферах.

Нечто подобное может происходить и сегодня, а потому не сами факты, но способ их изображения показывают разницу между эмоциональными состояниями. На более поздних фазах развития для представителей высших слоев вообще не рисуют подобных картин. Это не отвечает их чувствам. Это «не красиво», это не принадлежит к «искусству». Голландские художники, писавшие свои работы для представителей средних слоев, а не для придворных, например Брейгель, наделены тем же стандартом чувствительности, что и тот живописец, о котором шла речь. Это позволяет им изображать калек, крестьян, виселицы или людей, занятых своим трудом. Но у них данный стандарт связан с совсем другими социальными взглядами, чем у высшего слоя позднего Средневековья.

Для рыцарей было чем-то само собой разумеющимся то, что рядом находятся труженики. Последние даже были непременно-

ным аксессуаром рыцарской жизни. Господин живет среди них. Его вовсе не шокирует вид работающего рядом с ним слуги, это его даже развлекает. Его самоощущение включало в себя сознание того, что вокруг него суетятся люди, причем не такие, как он, их господин. Это чувство всякий раз заметно на рисунках. Практически на каждом из них вульгарным занятиям низких сословий противопоставляются куртуазные занятия и жесты благородных. Скачет он или охотится, влюбляется или танцует, господин изящен и куртуазен, тогда как слуги и крестьяне грубы и неотесанны. Стандарт чувствительности средневекового высшего слоя еще не требовал того, чтобы все вульгарное выносилось «за кулисы» жизни, а потому и не изображалось. Было достаточно того, чтобы четко просматривались отличия дворянина от всех прочих людей. *Вид этих контрастов увеличивает наслаждение, получаемое рыцарем от жизни.* Можно вспомнить о том, что в смягченной форме удовольствие от такого рода контрастов мы находим и у Шекспира. Где бы мы ни сталкивались с наследием средневекового высшего слоя, мы обнаруживаем ту же позицию. Чем дальше зашли социальные взаимосвязи и разделение труда, чем большей стала фактическая зависимость верхов общества от прочих слоев, тем больше выросла социальная сила этих слоев — по крайней мере потенциально. Там, где высший слой остается в первую очередь воинским сословием, там, где он держит остальных в подчинении посредством меча, т.е. обладает монополией на применение оружия, связь с другими слоями и зависимость от них, конечно, тоже есть. Но эта связь и эта зависимость сравнительно невелики, как и то давление, что идет снизу вверх (это мы еще покажем более подробно). Соответственно, чувство господина, презрение к другим слоям выражены значительно более откровенно, а ограничения на влечения и принудительный самоконтроль совсем невелики.

Редко историку удастся видеть изображение столь самоочевидного господского сознания, столь уверенного в себе патриархального презрения к прочим людям, как на описанных рисунках. Не только жест, которым дворянин показывает жене дерущихся рабочих, или изображение рабочего, затыкающего нос от вони, идущей от своего рода литейной, передают это. Мы видим это презрение и там, где хозяин с хозяйкой наблюдают за ловлей рыбы слугами, и в повторяющихся раз за разом изображениях виселиц с повешенными. Важно даже то, что тут нет никакого подчеркивания, благородные жесты рыцаря и противопоставление его неотесанному народу относятся к чему-то само собой разумеющемуся.

Перед нами турнир. Играют музыканты. Шуты веселят окружающих грубыми шутками. Благородные зрители сидят на своих конях; очень часто господин и его дама на одном коне. Они беседуют. Мы видим крестьян, бюргеров, врача — все они лег-

291

ко узнаваемы по своим нарядам. Оба рыцаря, беспомощные в тяжелом панцире, ожидают посередине. Им дают советы друзья. Одному как раз передают длинное копьё. Затем трубят герольды. Рыцари несутся навстречу друг другу с копьями наперевес. Вдали мы видим, что куртуазное занятие господ дополняется вульгарным зрелищем для народа — устроены какие-то скачки, сопровождаемые всяким вздором. Мужик схватил лошадь за хвост, всадник в ярости. Другие нахлестывают лошадей, а те скачут каким-то гротескным галопом.

На рисунке военный лагерь. Из повозок делают заграждение. Внутри вагенбурга стоят роскошные палатки с гербами и стягами, на одной из них императорский флаг. Посередине в окружении своих рыцарей стоит то ли король, то ли сам император. Посыльный как раз прискакал и привез вести. Но у ворот лагеря мы видим просящих милостыню нищенков с детьми, а латники волокут мимо них связанного пленника. Еще дальше — возделывающий свое поле крестьянин. За стенами лагеря валяются кости, скелеты животных, павшая лошадь, которую поедают вороны и одичавшая собака. На повозке скорчился слуга, занятый каким-то своим делом.

Под знаком Марса помещен рисунок, изображающий, как рыцари врываются в деревню. На переднем плане один из оруженосцев закалывает лежащего на земле крестьянина; справа, причем у входа в часовню, убивают другого и забирают его вещи. На крыше мирно сидят в своем гнезде аисты. Далее мы видим крестьянина, пытающегося убежать: он перелезает через изгородь, но сидящий на лошади рыцарь схватил его за полу рубахи и тащит обратно. Кричит и ломает руки крестьянка. Связанного крестьянина, несчастного и плачущего, сидящий в седле рыцарь бьет по голове; чуть дальше всадники поджигают дом, а один из них тянет за собой скотину и бьет крестьянку, пытающуюся ему помешать. Чуть выше изображены столпившиеся у входа в небольшую деревенскую церквушку крестьяне, их встревоженные лица видны и в церковном окне. Вдали, на горе, стоит готовый к обороне монастырь, окруженный высокими стенами; на церковной крыше выделяется крест. Еще выше на горе расположен то ли замок, то ли другая часть монастыря. Вот что пришло в голову художнику, пожелавшему поместить под знаком бога войны подходящий рисунок. Картина удивительно жизненная. Как и в других рисунках, здесь прямо передано то, что было пережито, видно собственными глазами, — такое ощущение возникает именно потому, что рисунки еще не «сентиментальны», в них еще не проглядывает сильная связанность аффектов. Это произойдет позже, когда на протяжении долгого времени вкусы высшего слоя будут допускать изображение только того, что отвечало его пожеланиям, поскольку в этот период все противоречащее изменившемуся стандарту чувствительнос-

ти подлежало вытеснению. Здесь нам просто рассказывается, как видел мир рыцарь, какими были его чувства. Отбор аффектов по шаблону, допускающему то, что доставляет удовольствие, и исключаящему то, что вызывает неудовольствие или стыд, был в то время таков, что в восприятие без всяких добавок проходили те факты, которые в дальнейшем проникали в него лишь там, где присутствовал сознательный или бессознательный протест против цензуры влечений высшего слоя. Именно поэтому впоследствии такие факты подчеркивались, выступали с определенной аффективной нагрузкой. Крестьянин в них либо заслуживал сострадания, либо представлял добродетель — и уж никак не отвратительные пороки. Здесь крестьяне просто жалки и смехотворны — они в точности таковы, какими их видел рыцарь. В центре мира здесь стоит рыцарь. Голодные собаки, нищенки, дохлые лошади, скрючившиеся у стены слуги, горящие деревни, ограбленные и избитые крестьяне — все это принадлежит к ландшафту рыцарской души, подобно турниру и охоте. Таким Бог создал мир: одни являются господами, другие — рабами. Во всяком случае, это не вызывает неудовольствия.

То же различие стандарта аффектов между позднерыцарским и придворно-абсолютистским обществом мы видим и по тому, как изображается любовь. Вот рисунок, представляющий людей, стоящих под знаком Венеры. Перед нами опять открытая местность: пригорок, изгибы ручья, заросли кустарника, небольшой лес. На переднем плане прогуливаются две-три пары молодых дворян; молодой господин идет рука об руку с юной барышней. Они ходят кругами под звуки музыки, они элегантны, празднично одеты, обуты в модные башмаки с длинными носами. Их движения изящны. У одного из них на голове шляпа с пером, у других венки. Быть может, мы видим некий долгий танец. За ними — три мальчишки-музыканта, столик с фруктами и напитками; невдалеке расположился стоящий на страже молодой парень.

На противоположной стороне рисунка изображен небольшой садик, окруженный оградой с дверями. Деревья образуют как бы беседку, под ними стоит овальная ванна. В ней сидит обнаженный молодой человек, он жадно тянется к обнаженной девушке, которая как раз к нему присоединяется. Как и раньше, изображена старая служанка, несущая вино и фрукты. Она злобно смотрит на любовные игры молодых. Если на переднем плане показано, как забавляются господа, то на заднем плане изображены утехи слуг. Один из них влезает на служанку, та уже лежит на земле, высоко задрав юбку. Он оглядывается, не видит ли кто. Невдалеке танцуют два парня из простонародья, у них размашистые движения, словно это танец морисков; третий стоит рядом и играет для них.

На другом рисунке — опять открытая местность. Небольшая каменная купальня, а перед ней небольшой дворик за каменной

293

стеной. Вокруг него обозначены дорога, кустарник, ряд уходящих вдаль деревьев. Во дворике сидят или прогуливаются молодые пары; одна пара разглядывает модный фонтан, другие ведут беседу, у одного молодого человека на руке сидит сокол. Мы видим собак, обезьянку, растения в горшках.

Через открытое окно мы можем заглянуть в купальню. Двое молодых людей и девушка сидят нагими в воде и беседуют. Вторая девушка уже разделась, она открывает дверь, чтобы войти в воду. Под большой аркой у входа в купальню сидит мальчик, что-то играющий для купальщиков на гитаре. Под аркой мы видим кран, из которого льется вода. Перед купальней стоит небольшой чан с холодной водой, в нем охлаждаются напитки. На столе перед купающимися мы видим фрукты и чашу, возле стола сидит молодой дворянин, он элегантно подпирает рукой украшенную венком голову. Сверху, со второго этажа купальни, за развлечениями господ наблюдают слуга и служанка.

Как можно заметить, эротические отношения представлены здесь куда откровеннее, чем это стали делать на более поздней фазе развития, когда отношения такого рода подразумевались при изображении, но на них скорее намекали. Нагое тело еще не настолько соотносено с чувством стыда, чтобы его в силу внешнего и внутреннего контроля сентиментально показывать из-под прикрывающих одеяний, напоминающих туники греков и римлян.

Однако способ изображения нагого тела здесь не похож и на манеру, принятую в позднейших «приватных рисунках», которые тайком передавались из рук в руки. Любовные сцены ни в коей мере не являются «непристойными». Любовь показывается как все прочее в жизни рыцаря — как турниры, охота, военный поход или грабеж. Такие сцены ничем не выделяются, в изображении не передается какое-то особое возбуждение. Это и не исполнение желаний, запретных в реальной жизни, что вообще характерно для всего «непристойного». Рисунки созданы не сдавленной запретами душой, в них нет какого-либо нарушения табу или выражения чего-то «тайного». Они не обременены ничем подобным. Художник вновь рисует то, что он сам часто видел вокруг себя. Мы называем «наивным» такое изображение, соотнося его с нашим собственным стандартом постыдного и неловкого, связанным с отношениями между полами. У автора рисунков к этой «Средневековой домашней книге» мы иной раз находим и грубоватые шутки, схожие с теми, что встречаются у других художников этого периода, вроде Мастера «Э.С.» или подражавшего ему (или даже его популяризовавшего) Мастера с клубками⁵. То, что такие мотивы перенимались копиистом-популяризатором (к тому же, вероятно, монахом), показывает, насколько иным был в то время стандарт стыдливости. Но и подобные шутки относились к чему-то само собой разумеющемуся, не отличаясь от того, как изображалась, например, какая-

294

нибудь деталь платья. Шутка может быть и грубой, но она ничуть не грубее, чем шутовское изображение ограбленного и преследуемого крестьянина с задранной рубахой, за которую его схватил рыцарь, так что виден зад, или изображение старой служанки, скорчившей злобную мину при виде любовных утех молодежи, — она ведь слишком стара для таких развлечений.

Все это — выражения состояния души того общества, где влечения и чувства заявляют о себе много легче, скорее, более спонтанно и откровенно, чем в позднейшее время, а человеческие аффекты менее связаны, а потому более свободны и сильнее колеблются между крайностями. Конечно, в рамках характерного для всего западного Средневековья стандарта регулирования аффектов — общего и для крестьян, и для рыцарей — имелись существенные различия. Носители этого стандарта тоже должны были отказываться от многих влечений. Только отречение это было иначе направлено и не достигало той степени, которая свойственна позднему времени. Отказ от влечений не выступает в виде постоянного и равномерного, чуть ли не автоматического самопринуждения. Способ интеграции и взаимозависимость между людьми не понуждают их к такому сокрытию телесных функций и к такому обузданию агрессивности, как на более поздней фазе развития. Это относится ко всем людям Средневековья. Но у крестьян пространство агрессии сужено в сравнении с рыцарями: она распространяется только на себе подобных. И наоборот, у рыцарей за пределами своего круга проявления агрессии менее ограничены, чем в борьбе с равными — подобная борьба регулировалась рыцарским кодексом. У крестьян отказ от влечений был социогенным хотя бы потому, что их питание было недостаточным. А это налагает сильнейшие ограничения на влечения, что проявляется во всем человеческом облике. Но социальное положение не принуждало их обращать внимание на то, как кто-то сморкается или плюет, спешит ли кто-то схватить что-нибудь со стола или нет. В этом отношении принуждение среди рыцарей было более сильным. При всем единстве средневекового стандарта связывания аффектов (особенно в сравнении его с более поздним временем), сам он содержал существенные различия в моделировании аффектов в зависимости от различия в положении мирян, не говоря уж о клириках, — все эти частности заслуживают специального исследования. Мы видим различия такого рода уже на указанных рисунках, при сравнении изящных и даже манерных движений дворян с размашистыми и грубыми движениями слуг и крестьян.

Аффективные проявления средневековых людей в целом являются более спонтанными и менее связанными, чем в поздний период. Но они ни в коем случае не являются несвязанными и не смоделированными обществом в каком-то *абсолютном* смысле. Нулевого пункта здесь не существует. Человек без ограниче-

295

ний — это фантом. Способ отказа от влечений, сила и разработанность принуждения, уровень зависимости могут меняться. Диапазон этих изменений весьма широк, а вместе с ними трансформируются и душевная организация, с помощью которой уравниваются влечения различной силы, и степень и способ той удовлетворенности, которую ищет и находит индивид.

Определенное представление о том, какие удовольствия предпочитали рыцари, дают в общем виде эти рисунки. К тому времени аристократы уже значительно больше времени проводили при дворе правителя. Но замок и поместье, холмы, ручьи, поля и деревни, сады и леса все еще остаются само собой разумеющимися «кулисами» жизни, не вызывая никаких сантиментов. Здесь рыцарь у себя дома, и здесь он хозяин. Вся его жизнь в основном поделена между военным походом, турниром, охотой и любовными утехами.

Но уже в XV в. и особенно на протяжении XVI в. ситуация меняется. Из разных элементов — как из представителей старой знати, так и из представителей поднимающихся слоев, — при наполовину уже городских дворах князей образуется новая аристократия, обладающая новым жизненным пространством, наделенная новыми функциями, а тем самым и иным моделированием аффектов.

Люди сами хорошо чувствовали и неплохо выражали происшедшие перемены. В 1562 г. некто по имени Жан дю Пейрат переводит книгу о манерах Делла Каза на французский язык. Название он передает следующим образом: «Galatee ou la maniere et fasson comme le gentilhomme se doit gouverner en toute compagnie¹⁾». Уже этот титул свидетельствует об усилившемся принуждении, которое теперь давит на дворян. Причем дю Пейрат во введении к книге прямо подчеркивает различия между теми требованиями, что ставились рыцарям и дворянам, живущим при дворе: «Toute la vertu et perfection du Gentilhomme, Monseigneur, ne consiste pas à piquer bien un cheval, à manier une lance, à se tenir propre en son harnois, à s'aider de toutes armes, à se gouverner modestement entre les dames ou à dresser l'Amour: car c'est un des exercices encore que l'on attribue au gentilhomme; il y a plus, le service de table devant les Roys et Princes, la façon d'ageancer son langage respectant les personnes selon leurs degrez et qualitez, les oeillades, les gestes et jusques au moindre signe et clin d'oeuil qu'il sçaroit faire²⁾».

Тут точно обозначены те добродетели и совершенства дворян, которые мы видели и на рисунках к «Средневековой домашней книге», — воинские дела и любовные утехы.

Теперь им противопоставляется куда более обширный перечень качеств «человека из общества», а вместе с тем обозначается и новое жизненное пространство дворянина на службе у князя. Отныне совершенство дворянина не сводится к тому, что на

296

нем хорошо сидят латы, а сам он знает толк в оружии; оно заключается не только в том, что он может себя сдерживать, находясь среди женщин, или умеет «а dresser l'Amour», хотя все это продолжает считаться свойствами благородного мужчины. Но есть и много других требований: умение прислуживать королю или

принцу за столом и так строить речь, чтобы она отвечала рангу и положению разных лиц. Нужно контролировать выражение глаз, жесты, малейшие движения, вплоть до умения подать знак взглядом. Такое принуждение, такие регулирование и моделирование поведения не были ни нужны, ни возможны в прежней рыцарской жизни. Теперь они требуются от дворянина. Таковы последствия новой, усилившейся зависимости благородных людей. Дворянин уже не является сравнительно свободным человеком, господином в собственном замке, который был его родиной. Отныне он живет при дворе. Он служит князю, он прислуживает ему за столом. При дворе он живет вместе с множеством других людей. К каждому из них он должен обращаться в соответствии с его рангом. Он должен научиться в точности дозировать свои жесты в зависимости от статуса и положения этих лиц при дворе, он должен следить за своим языком и контролировать даже свой взгляд. Такова новая дисциплина, она несравнимо сильнее дисциплинирует людей, а они принуждены следовать ей в новом жизненном пространстве, в новой форме интеграции. Манера поведения, идеальная форма которой выражалась с помощью понятия «*courtoisie*», постепенно переходит в другую, все чаще называемую «*civilité*».

В языке это переходное время хорошо представлено в переводе «Галатео», осуществленном Жаном дю Пейратом. Вплоть до 1530—1535 гг. во Франции целиком господствует понятие «*courtoisie*». К концу этого столетия понятие «*civilité*» начинает преобладать, хотя первое еще не совсем вышло из употребления. В 1562 г., в этом переводе, они еще употребляются на равных.

«*Le Livre traitant de l'institution d'un jeune Courtisan et Gentilhomme soit garenty, — пишет дю Пейрат в своем посвящении, — de celui qui est comme le paragon et miroir des autres en courtoisie, civilité, bonnes moeurs et louables coustumes*³⁾».

Но человек, к которому обращены эти слова, — это Генрих Бурбон, принц Наваррский. Вспомним, что сама жизнь этого владыки самым ясным образом символизирует переход представителя высшего слоя от жизни рыцаря к жизни придворного. Именно он, уже под именем Генриха IV, будет способствовать осуществлению этого перехода во Франции. Зачастую против собственной воли он будет вынужден преследовать и даже уничтожать тех, кто этому переходу сопротивляется, кто не сумел понять, что из свободных господ и рыцарей следует сделаться зависимыми слугами короля⁶.

297

Примечания

¹ Г.Т.Боссерт упоминает в своем введении к «Средневековой домашней книге» один стих ее автора, в котором тот «высмеивает свежеиспеченное дворянство, жажду буржуа обзавестись гербами и заняться рыцарскими упражнениями» (с. 20). Это также можно считать свидетельством в пользу вышесказанного.

² *Das Mittelalterliche Hausbuch* / Hrsg. v. H. Th. Bossen, W. Storck. Lpzg, 1912. S. 27ff.

³ *Berthold von Regensburg*. Deutsche Predigten / Hrsg. v. Pfeiffer, Strobl. Wien, 1862-1880. Bd. I. 14, 7.

⁴ *Ibid.* Bd. I. 141, 24ff.

⁵ *Lehrs M.* Der Meister mit den Banderollen. Dresden, 1886. S. 26 ff.

⁶ Из тех материалов по истории цивилизации поведения, которые здесь представлены не полностью, — отчасти по недостатку места, отчасти потому, что они не привнесли бы ничего существенно нового в понимание намеченной линии цивилизации, — мы добавим в качестве приложения данные, связанные только с одной заслуживающей внимания проблемой: отношением западного человека к чистоте, к мытью, к купанию. В целом здесь проявляется та же линия изменений, что уже рассматривалась с различных сторон в нашей книге. Склонность к регулярному умыванию и постоянному содержанию тела в чистоте также поначалу не была результатом гигиенических соображений или, скажем, «рациональных» указаний на опасность грязи для здоровья. Отношение к мытью также менялось вместе со сдвигами в межчеловеческих связях, о которых мы уже говорили и о которых еще пойдет речь в следующей части книги.

Первоначально людям казалось чем-то само собой разумеющимся, что регулярно мыться следует только из-за наличия других людей, прежде всего вышестоящих. Иначе говоря, имелись социальные причины, выступавшие как более или менее осязаемое внешнее принуждение. Когда такое внешнее принуждение отсутствовало, а положение в обществе не требовало мыться, — тогда люди ограничивались тем минимумом чистоты, что прямо зависел от их личного самочувствия. Сегодня мытье и стремление к чистоте прививаются с детства и выступают как своего рода автоматическая привычка, и из сознания почти выпадает причина, по которой нужно мыться, равно как и то, что «дисциплина чистоты» порождена общением с другими, что хотя бы первоначально она была внешним принуждением. Теперь моются из внутреннего принуждения даже там, где нет никого постороннего, кто мог бы порицать или осуждать неряшливость. Если ныне кто-то этого не делает, то, в отличие от прошлого, это считается результатом не вполне удачного «кондиционирования», непригодности к имеющемуся социальному стандарту. Мы наблюдаем здесь точно такое же изменение поведения и организации аффектов, какое мы видели при исследовании других линий развития цивилизации: социальные отношения между людьми смещаются таким образом, что давление, оказываемое одними людьми на других, превращается в самопринуждение каждого индивида: формируется все более сильное «Сверх-Я». Речь идет о секторе личности, репрезентирующем социальный код. Именно собственное «Сверх-Я» требует сегодня от индивида регулярного мытья и соблюде-

298

ния чистоты тела. Этот механизм станет еще более очевидным, если вспомнить о том, что сегодня многие мужчины бреются даже в том случае, если отсутствует всякое к тому социальное побуждение, — просто по привычке, потому, что они чувствуют недовольство со стороны своего «Сверх-Я», хотя в бороде, конечно же, нет ничего вредного для здоровья или негигиеничного. Регулярное мытье с мылом тоже относится к «принудительным действиям» в нашем обществе, которое воспитывается путем «кондиционирования», а затем подкрепляется «гигиенически-рациональными» обоснованиями.

В связи с этим нам достаточно сослаться на мнение другого исследователя. Во введении к переводному английскому изданию «Галатео» Делла Каза (см.: The Humanists Library/ Ed. by L.Einstein. L., 1914. T. VIII. P. XXV) И.Э.Спингер пишет следующее: «Our concern is only with secular society, and there we find that cleanliness was considered only in so far as it was a social necessity, if indeed then; as an individual necessity or habit it scarcely appears at all. Della Casa's standard of social manners applies here, too: cleanliness was dictated by the need of pleasing others, and not because of any *inner demand* of individual instinct... All this has changed. Personal cleanliness, because of its complete acceptance as an individual necessity has virtually ceased to touch the problem of social manners at any point». («Речь идет только о светском обществе, а там мы обнаруживаем, что чистоплотность рассматривалась лишь как социальная необходимость, если принималась во внимание вообще; в качестве индивидуальной необходимости или привычки она едва заметна. Здесь также применим стандарт общественных манер Делла Каза: чистоплотность диктовалась нуждой в услужении другим, а не потому, что имелося идущее изнутри требование или индивидуальный инстинкт... Все это изменилось. Личная чистоплотность, будучи целиком принятой как индивидуальная необходимость, практически перестала соприкоснуться с проблемой социальных манер». — А.Р.)

Линия изменения проступает здесь еще более четко потому, что автор принимает стандарт собственного общества — *внутреннее* стремление к чистоте — за нечто данное, не спрашивая о том, как и почему он произошел из другого стандарта в ходе истории. Действительно, сегодня только дети моются и соблюдают чистоту под внешним давлением тех, от кого они зависят. У взрослых эта форма поведения стала самопринуждением, превратившись в их личную привычку. Но ранее она также прямо зависела от внешнего принуждения. Здесь мы вновь сталкиваемся с тем, что выше было названо «*основным социогенетическим законом*». История общества отображается в истории отдельного индивида: тот процесс цивилизации, который общество в целом проходило на протяжении многих столетий, должен быть в краткое время заново пройден отдельным индивидом, ибо человек не приходит в мир уже «цивилизованным».

Еще один аспект этой траектории цивилизации заслуживает известного внимания. По мнению многих историков, в XVI—XVII вв. люди были еще «менее чистые», чем в более ранний период. Когда проверяешь эти данные, то хотя бы одно оказывается верным: кажется, что во время перехода к Новому времени несколько уменьшается употребление воды для купания и в качестве средства поддержания чистоты тела, по крайней мере, пока речь идет о жизни высших слоев. Если рассмат-

299

ривать это изменение в такой перспективе, то напрашивается объяснение, требующее, правда, более точной проверки. На исходе Средневековья было хорошо известно, что в купальнях и банях можно подцепить болезнь, в том числе и смертельную. Чтобы понять влияние этого опыта, нужно учесть уровень сознания общества, которому были практически неведомы каузальные связи переноса болезней и заражения. В сознании мог остаться простой факт: купальни опасны, в них можно отравиться. Именно как своего рода отравление понимало мышление того времени массовые болезни, эпидемии, волна за волной проходившие в обществе. Известен и понятен страх людей того времени перед такими эпидемиями. В отличие от нашего времени, когда состояние общественного опыта позволяет точно объяснять причины болезни и тем самым очерчивать границы опасности, в те времена этот страх не мог быть канализирован. Вполне возможно, что в то время с подобным страхом оказалось связано употребление воды, в частности горячей воды, для купания — она была принята за истинную опасность. Но там, где общество, отличающееся таким стандартом опыта, соотносит какой-то объект или какое-то поведение с подобным страхом, то страх может длиться очень долгое время — пока не пойдет на убыль и он сам, и сопутствующие ему символы, запреты и сопротивление. По ходу смены поколений может исчезнуть всякая память о первоначальном поводе такого страха. В сознании людей сохраняется лишь переходящее из поколения в поколение ощущение, что употребление воды связано с некой опасностью, а потому ее использование для мытья вновь и вновь вызывает общее недовольство, отвечающее воспитанному стандарту неприятного. Действительно, в XVI в. мы находим высказывания вроде следующего:

*«Estuves et bains, je vous en prie
Fuyès-les, ou vous en mourrés»*

(«Избегай купален и бань, а то умрешь». — А.Р.).

Это говорит врач, Гийом Бюнель, в 1513 г., давая советы, как бороться с чумой (Euvre excellente et a chacun dysirant soy de peste preserver; новое издание — *Richelet Ch. J.* Le Mans. 1836). Достаточно посмотреть, как в этих советах перемешаны (с нашей сегодняшней точки зрения) правильное и фантастически ложное, чтобы понять, какой неизмеримо больший, чем сегодня, страх вызывала в те времена вода. В XVII и даже в XVIII вв. мы все еще встречаемся с предупреждениями относительно употребления воды — с обоснованиями, что она вредна для кожи или что от нее можно простудиться. Мы имеем здесь дело с затухающей волной страха. Впрочем, при сегодняшнем уровне знаний это объяснение остается гипотезой.

Эта гипотеза хороша в одном отношении: она ясно показывает направление возможного объяснения такого рода явлений. Она демонстрирует тот характерный для всего процесса цивилизации факт, что данный процесс связан с постоянно растущим ограничением внешней опасности и канализацией страха, связанного с опасностями такого рода. Они становятся вычислимыми, а поле человеческого страха делается более упорядоченным. Небезопасность современной жизни кажется нам иной раз весьма значительной, но она невелика, если сравнить

300

ее с опасностями, окружавшими жизнь, скажем, средневекового человека. В действительности усилившееся регулирование источников страха, которое постепенно происходит при переходе к нашей социальной организации, представляет собой одну из самых элементарных предпосылок стандарта поведения, выражаемого в слове «цивилизация». Броня цивилизованного поведения с легкостью рассыпается, если вместе с переменами в общество вновь врывается такая же неуверенность, такая же непредсказуемость угроз, какие мы находим в ту эпоху; тогда и страхи взрывают границы, которые их сегодня сдерживают. Однако есть одна специфическая форма страха, растущая вместе с процессом цивилизации. Это — «внутренние», наполовину бессознательные страхи; это страх прорыва тех ограничений, которые были наложены на цивилизованного человека.

Обобщающие размышления по этой теме будут приведены в конце второго тома, в «Проекте теории цивилизации».

Приложение

Перевод иноязычных текстов*

Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура»

Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии

- 1) ...что по-немецки в Саксонии говорят лучше, чем в любой другой части империи.
- 2) Нации, в которую входит столько независимых народов, трудно подчиняться решениям небольшого числа ученых.
- 3) Прошу Вас, назовите мне имя творца на вашем Парнасе, назовите мне немецкого поэта, создавшего произведение, пользующееся хоть какой-то репутацией.
- 4) Я нахожу наполовину варварский язык, разделенный на столько диалектов, сколько в Германии есть провинций. Каждый кружок считает свой говор наилучшим.
- 5) Ни уму, ни гению нации не следует приписывать незначительный прогресс, но следует иметь в виду ряд досадных обстоятельств, разоривших нас войн, которые лишили нас как людей, так и денег.
- 6) Третье сословие уже не прозябает в постыдной подлости. Отцы тратятся на образование детей, не обременяя себя долгами. Вот явные предпосылки счастливой революции, которую мы ожидаем.
- 7a) Чтобы убедиться в том, сколь низки доньше господствующие в Германии вкусы, достаточно посмотреть спектакли. Вы увидите здесь переведенные на наш язык отвратительные пьесы Шекспира и млеющую от удовольствия аудиторию, слушающую эти смехотворные фарсы, достойные канадских дикарей. Я говорю о них так, поскольку они пренебрегают всеми правилами театра. А эти правила совсем не произвольны. Вот на сцене крючники и могильщики, ведущие достойный их разговор; затем являются принцы и королевы. Как может трогать и нравиться эта странная смесь низости и величия, буффонады и трагедии? Шекспиру можно простить эти странные выходы; время рождения искусства никогда не было временем их зрелости.
- Но вот на сцене «Гётц фон Берлихинген», презренное подражание дурным английским пьесам. Партер аплодирует, с энтузиазмом требуя повторения этих омерзительных пошлостей.
- 7b) Рассказав Вам о низших классах, я столь же откровенно должен сделать это и по поводу университетов.
- 8) Конечно, я не намерен одобрять все варварские неправильности, которыми полна эта пьеса. Удивляться можно тому, что их не было еще больше в произведении, написанном в век невежества человеком, который даже не знал латыни и не имел иного учителя, кроме собственного гения.

* За исключением оговоренных случаев переводы выполнены А.М.Руткевичем. — *Прим. ред.*

302

- 9) У немецкого дворянина дают о себе знать высокомерие и гордыня, доходящие даже до крутости нрава. Надувшись по поводу шестнадцати колен своей родословной, каковые высокородные немцы в любой момент готовы предъявить, они презирают всех тех, кто не обладает сходной способностью.
- 10) Гамбург еще в отсталости. С известной эпохи (...) тут наметился прогресс (...), ведущий к росту и совершенствованию если не счастья (...), то цивилизации, продвижения в науках, искусствах (...), а именно в роскоши, удовольствиях, фривольностях (...); требуется еще несколько лет, чтобы прибывали многочисленные иностранцы (...) и росло богатство.

Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции

- 1) Я дивлюсь тому, сколько имеется всесторонне ложных взглядов на то, что мы называем цивилизацией. Если я спрошу у большинства тех, кто их разделяет, в чем заключается цивилизация, то мне ответят: цивилизованность народа означает смягчение нравов, городскую жизнь, вежливость, распространение знаний, ставшее во всем законом благоприличие. Для меня все это — только маска добродетели, а не ее лицо, ибо цивилизация ничего не значит для общества, если не дает ему основания и формы добродетели.
- 2) На всех языках... и во все времена изображение любви пастухов к своим стадам и собакам находит дорогу к нашей душе, даже если она оступела в поисках роскоши и ложной цивилизации.
- 3a) ...препятствует промышленности и искусствам, а тем самым ведет сословия к бедности и вырождению населения.
- 3и) Из этого ясно, как порочный круг варварства и упадка может быть разорван в пользу цивилизации и богатства умелым и внимательным министром, который остановит эту машину, пока она не достигла своей цели.
- 4) Пример всех империй, предшествующих Вашей и прошедших весь круг цивилизации, мог бы послужить несомненным доказательством того, что мною здесь утверждается.
- 5a) Наконец-то настал час справедливости...
- 5b) ...если благо бездейственно, то оно невозможно...
- 5c) ...пришли разум и добродетель.
- 6a) ...что более препятствовало бы общественному счастью, прогрессу человеческого разума, полной цивилизации людей, чем постоянные войны, в которые в любой момент готовы ввязаться опрометчивые князья.
- 6b) Человеческий разум еще недостаточно развит, цивилизация народов еще не завершилась; бесчисленные препятствия доньше мешали прогрессу полезных знаний, хотя лишь их продвижение может

поспособствовать совершенствованию наших правительств, наших законов, нашего образования, наших учреждений и нравов.

7) Королю удалось сделать ранее беспокойную нацию мирным народом, опасным лишь для его врагов... Нравы смягчились...

8) Несмотря на варварский характер части законов, несмотря на пороки принципов администрации, рост налогов и их обременительную форму, тягостность законов о торговле и мануфактурах, наконец, несмотря на преследование протестантов, мы замечаем, что населявшие королевство народы жили в мире под защитой законов.

303

Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения

Глава I. История понятия «civilité»

1) Взгляд должен быть кротким, застенчивым, спокойным... Не мрачным, что означает неприветливость... не блуждающим и не бегающим, как у безумного, не брошенным искоса, как свойственно людям подозрительным или замышляющим козни.

2) И хотя внешнее достоинство фигуры есть следствие хорошего устройства души, пренебрежение предписаниями (из-за недостатка воспитания) нередко становится причиной того, что мы ощущаем недостаток этого изящества даже в скромных и воспитанных людях.

3) Сплевывать следует, отвернувшись, чтобы не обрызгать окружающих. Если на землю было извергнуто нечто гнилое, следует растереть это ногой, дабы не вызывать отвращение у окружающих.

(См. также ниже: прим. к части II, главе VII, I; ссылка 1.)

4) Хорошо воспитанный человек никогда не должен без необходимости обнажать те члены, с которыми природа связала чувство стыда. Если к тому принуждает необходимость, то делать это нужно с соблюдением приличий, стеснительно, даже там, где нет свидетелей.

(См. также: глава V, I, перевод в примере «С».)

5) ...сжатием ягодич сдерживать позывы вспученного живота...

6) Сдерживать звук, коего требует природа, свойственно глупцам, больше заботящимся о приличии, чем о здоровье.

7) Намереваясь исторгнуть рвоту, отойди, ибо не рвота постыдна, а безобразно движение глотки, которым ее вызывают.

8) «О подобающем и о неподобающем общем внешнем виде»;

«Об уходе за телом»;

«О правилах поведения в храме»;

«О застолье»;

«Об общении»;

«О развлечении»;

«О спальне».

Глава II. Средневековые манеры

1) Ты должен стремиться к хорошему и избегать дурного.

2) Любимый сын, если ты выйдешь из себя, то потом будешь раскаиваться.

3) Ни один благородный не лезет своей ложкой в суп; это не подобает хорошим людям, так поступают неблагородные.

4) Некоторые откусывают хлеб

И опять кладут его на блюдо,

Как обычно поступают простолюдины.

Люди благовоспитанные отвергают такую манеру поведения. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

5) Иной же имеет обыкновение,

Съевши окорок,

Бросать обглоданную кость обратно на блюдо.

Это следует считать серьезным проступком. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

304

6) А иной за едой кашляет

И высмаркивается в скатерть.

Насколько я могу об этом судить,

Ни того, ни другого делать не подобает. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

7) Кто за столом сморкается

И вытирает нос рукой, —

Тот, по моему мнению, невежа,

Не знакомый с хорошими манерами. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

8) Тот, кто во время трапезы сопит, будто тюлень,

Как привыкли делать некоторые,

И чавкает, подобно баварцам и саксонцам, —

Сколь далек он от благопристойности! (Перевод Т.Е.Егоровой.)

9) Также нельзя во время трапезы

Почесывать себе шею рукой;

Но уж если это произошло,

Воспользуйтесь краем одежды,

Как это предписывают правила приличия. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

¹⁰⁾ Не подобает залезать себе пальцем в уши

И в глаза, как поступают некоторые,

И чистить нос во время еды —

И то, и другое, и третье скверно. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

¹¹⁾ О некоторых, я слышал, говорят, —

И если это правда, то это дурная привычка, —

Будто они едят, не вымыв рук;

Пусть у таких пальцы онемеют! (Перевод Т.Е.Егоровой.)

¹²⁾ Надлежит также есть всегда той рукой, что дальше от соседа;

Если сосед сидит справа от тебя,

Ешь левой рукой;

Следует отказаться от привычки

Есть обеими руками. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

¹³⁾ Изловчись, прихлопни, если нужно,

Чем сидеть, краснея от стыда. (Перевод Г.В.Вдовиной.)

¹⁴⁾ Это нововведение показалось утонченностью, доведенной до такой крайности, что догаресса вызвала суровое порицание со стороны церковников, призывавших на нее гнев Божий. Через какое-то время она заболела отвратительной болезнью, которую св. Бонавентура не усомнившись объявил Божьей карой. Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения

¹⁾ Прежде всего скромность приличествует всем молодым людям, а среди них — в особенности благородным. Благородными же следует считать всех тех, кто совершенствовал ум свободными искусствами. Пусть другие изображают на щитах львов, орлов, быков и леопардов: истин-

305

ного благородства больше у тех, кто вместо фамильных гербов сможет поместить на щиты свои столько знаков, сколько усвоил он свободных искусств.

²⁾ Никогда не ешь, я тебе говорю,

Прежде чем подано, потому что покажется,

Что ты слишком прожорлив

Или очень голоден.

Посмотри и запомни:

Всякий раз, когда берешь в рот что-то жидкое,

Нужно сразу же проглатывать.

³⁾ Говорить, как и пить, с наполненным ртом и не пристойно, и не безопасно.

⁴⁾ Чтобы обрести то, что зовется «знанием света», нужно для начала постараться получше узнать людей такими, каковы они суть вообще, а затем перейти к познанию в частности тех из них, с кем нам выпало жить, т.е. к познанию их добрых и дурных склонностей и мнений, их добродетелей и недостатков.

⁵⁾ Не говори другому слов,

Которые будут ему неприятны. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

⁶⁾ Знай, дитя мое, чтобы вести себя прилично,

На вечеринке за столом.

При всяком случае и в любом обществе,

Постарайся быть столь любезным,

Чтобы люди могли говорить о тебе с похвалой.

Если же будешь слишком задираться,

Тебя будут хулить или найдут на тебя управу. (Перевод Г.В.Вдовиной.)

⁷⁾ Привычки низкого люда теперь оставь

И новые усвой, ежедневно подвигайся

По противоположному им пути.

Многих поступков не допускай ни в коем случае.

Часто не замечаешь, что они прилипчивы:

Что позволяешь себе иногда, то входит в привычку.

Так растет значение тех мелочей,

Которые теперь люди недооценивают. (Перевод Г.В.Вдовиной.)

⁸⁾ ...является примером человека, у которого пучит живот и который время от времени пукает или пытается пукнуть.

Глава IV. О поведении за едой

I. Примеры

¹⁾ Благовоспитанным мне представляется тот,

Кто всегда знает, как правильно себя вести,

Кто никогда не усваивал дурных манер

И ни в чем не отступал от благопристойности. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

306

²⁾ Итак, этот человек весьма благовоспитан

И благодаря этому способен многого достичь;

И да будет ведомо тем, кто хочет следовать его примеру,

Что он никогда не совершает ложных поступков. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

³⁾ Предостерегаю вас:

За трапезой не забывайте о бедных.

Вы будете премного любезны Господу
Тем, что сделаете им добро. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

3a) Первая заповедь такова :

Когда ты за столом,
Прежде всего подумай,
Чтобы не сказать что-нибудь некстати. (Перевод О.Р.Газизовой.)

3b) Не подобает пить из чаши;
Воспользуйтесь ложкой — это будет пристойно. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

3c) Тот, кто склонился над блюдом
И, не заботясь об опрятности,
Торопливо ест, чавкая, будто свинья,
Заслуживает, чтобы к нему относились, как к животному. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

3d) Если кто во время еды сопит, как зверь,
И чавкает, будто барсук,
И ведет громкую беседу,
В каждом из этих трех случаев поступает неблагопристойно. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

3e) Шестнадцатое правило поистине таково :

Не отхлебывай, когда ешь с ложки.
Кто отхлебывает с ложки, ведет себя как животное.
У кого есть такая привычка,
Тот поступит похвально, избавившись от нее. (Перевод Г.В. Вдовиной.)

3f) И не чавкай громко за похлебкой
Никогда в жизни. (Перевод Г.В. Вдовиной.)

4) См. выше: к части II, главе II ссылка 3).

5) Не подобает никому пить из чаши,
Хотя такое поведение и одобряет тот,
Кто дерзко хватается чашу
И льет ее содержимое себе в рот, как безумный. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

6) И тот, кто во время трапезы
Наклоняется над блюдом, как свинья,
Ест неопратно и жадно
И чавкает... (Перевод Т.Е.Егоровой.)

307

7) См. выше: к части II, главе II ссылка 4).

7a) Если кто, съевши окорок,
Бросает обглоданную кость обратно на блюдо, —
Да остерегутся от этого благовоспитанные люди!.. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

7b) Кусок, до которого ты дотронулся, нельзя класть назад в тарелку.

8) См. выше: к части II, главе II ссылка 5).

9) Те, кто любит горчицу и соль,
Должны особенно стараться
Не испачкать себя ими
И не совать в них пальцы. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

10) См. выше: к части II, главе II ссылка 6).

11) Если кто хочет одновременно есть и вести беседу,
(пусть знает), что эти два занятия несовместимы;
И тот, кто намерен во время сна поговорить,
Никогда не сможет хорошо отдохнуть. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

11a) Никогда не смейся и не говори с набитым ртом.

12) Не ведите за столом громкую беседу,
Как поступают некоторые;
Памятуйте о том,
Что этот обычай вреден, как никакой другой. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

13) Мне представляется серьезным проступком,
Свидетельствующим о недостатке воспитания,
Если кто-то одновременно пьет и наполняет рот едой,
Как это делают животные. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

13a) Кто хочет выпить, должен прежде опорожнить рот.

13b) Неприлично пить с набитым ртом. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

14) Не следует дуть на напитки,
Как поступают некоторые;
Это приходит на ум лишь невежам,
И такого неблагопристойного поведения нужно избегать. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

14a) Не дуйте на медовый напиток или на другое питье —
Ни на холодное, ни на горячее. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

15) Когда пьете, вытирайте себе рот,
Чтобы не испачкать напиток жиром;

Ведь проявлять благопристойность надлежит всегда,
И таков образ мыслей воспитанного человека. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

^{15a)} Когда вы собираетесь пить,

Вытирайте себе рот тряпицей. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

^{15b)} Не чмокай ртом, полным слюней,

Ибо такая привычка постыдна. (Перевод Г.В. Вдовиной.)

308

¹⁶⁾ Если кто-то во время еды

Наклоняется над столом так низко, что почти ложится на него, —

Он, как мне представляется, поступает неприлично,

Как и те, кто никогда не снимает шлема,

В то время как им надлежит служить дамам. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

^{16a)} Никогда не садись и не облокачивайся на край стола.

¹⁷⁾ См. выше: к части II, главе II ссылка 9).

¹⁸⁾ Не чешись и не три себя рукой, которой ты берешь с общего блюда; товарищи по застолью могут это приметить; употреби для этого платок.

¹⁹⁾ Нельзя ковырять в зубах ножом,

Как делают некоторые

И что еще кое с кем случается;

Имеющий такую привычку поступает нехорошо. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

^{19a)} За столом не смей ковырять в зубах ножом.

²⁰⁾ Если кто привык

Распускать за столом пояс, —

Поверьте мне,

Этот человек недостаточно воспитан. (Перевод Т.Е.Егоровой.)

²¹⁾ См. выше: к части II, главе II ссылка 7).

²²⁾ См. выше: к части II, главе II ссылка 11).

^{22a)} Никогда не бери съестное, не вымыв руки.

²³⁾ См. выше: к части II, главе II ссылка 10).

^{23a)} Не ковыряй пальцами в носу и в ушах.

²⁴⁾ Что сказали бы епископ и его благородное общество, глядя на тех, кто зарылся в суп и даже не поднимает лица и глаз, не отрывает рук от тарелки и так надул обе щеки, словно вознамерился трубить в трубу или поднять ветер, кто, скорее, жрет, нежели ест, кто запачкал руки чуть ли не до локтей, а с салфеткой так управился, что почище ее будут кухонный передник или половая тряпка.

И эти грязнули, не стыдясь, непрерывно утирают такой изгаженной салфеткой пот (а он у них из-за торопливости и неумеренности в еде все время стекает со лба на лицо, а иной раз и каплет), да еще в нее и сморкаются.

²⁵⁾ Если перед сидящим ребенком на тарелке лежит салфетка, то он должен взять ее и положить на руку или на левое плечо, затем левой рукой взять хлеб, а правой брать нож, равно как и чашу; если он хочет поставить ее на стол, то делать это он должен так, чтобы никого не оскорбить. Ибо может так случиться, что он не сможет поставить чашу на стол справа, никого тем самым не потревожив.

Следует, чтобы дитя скромно познакомилось с тем местом, на котором оно находится.

Когда ребенок ест... он должен брать первый попавшийся ему кусок мяса.

Если подают соусы... ребенок может с соблюдением приличий окунуть в соус этот кусок одной стороной, не переворачивая его другой стороной...

Ребенка следует с юных лет учить разделять баранину, куропатку, зайца и тому подобное.

Обглоданное или несъеденное никому нельзя показывать, разве что своему слуге, иначе это будет слишком грязно.

309

Столь же неприлично вытаскивать изо рта что-то уже жеванное и класть обратно на блюдо. Если, ожидая десерта, он продолжает высосывать мозг из какой-нибудь косточки, то затем ему следует положить ее на салфетку; точно также на нее нужно класть косточки вишен, слив и т.п., ибо дурно их глотать или сплевывать на пол.

Ребенок не должен бесстыдно обглаживать кость, как то делают собаки.

Если ему понадобилась соль, то брать ее следует острием ножа, а не запускать в солонку три пальца.

Мясо ребенку следует нарезать на блюде... и не брать его то одной, то другой рукой, как это делают маленькие, едва начавшие есть сами; но следует всегда брать кусок правой рукой, причем и мясо, и хлеб нужно брать лишь тремя пальцами.

Что же касается манеры жевать, то здесь имеются различия в разных местах и странах. Ибо немцы жуют со сжатым ртом и находят неприятным иное. Французы, напротив, наполовину открывают рот и считают грубым манеру немцев. Итальянцы жуют довольно вяло, а французы более проворно, а потому находят манеру итальянцев слишком деликатной и жеманной.

Итак, у каждого народа есть нечто ему присущее и отличное от других. Поэтому ребенок может вести себя в согласии с обычаями тех мест, где он находится.

Немцы пользуются ложками, когда едят суп и все жидкое, а итальянцы — вилками. Французы же пользуются и теми и другими в зависимости от того, что им придет в голову и как им удобнее. Итальянцам совершенно не обязательно иметь каждому свой нож, а немцам обязательно, а потому они испытывают величайшее неудовольствие, когда кто-то берет лежащий возле них нож или его просит. Совсем не так у французов:

множество сидящих за одним столом лиц пользуются двумя-тремя ножами и не испытывают неудобств от того, что просят их друг и друга и передают, если нож оказался у них. Вот почему, если кто-то попросит нож у ребенка, тот должен сначала вытереть его своей салфеткой, а затем передать, взяв его за острый конец и рукояткой по направлению к тому, кто его попросил, ибо делать иначе было бы неприлично.

²⁶⁾ С. 127.

Также необходимо вытирать свою ложку после того, как вы ею уже пользовались и намереваетесь взять что-то с другого блюда, если сидите за столом с людьми столь деликатными, что они уже не захотят есть суп, в который вы залезали своей ложкой, вынув ее из своего рта.

Но даже если за столом сидят просто чистоплотные люди, то не достаточно лишь вытереть ложку; ею уже не следует пользоваться, но нужно попросить другую. Поэтому во многих местах подают блюда с ложками в них, служащими лишь для того, чтобы наливать ими суп или брать соус.

Не следует есть суп из супницы, но нужно аккуратно налить его себе в тарелку; если суп слишком горячий, то неприлично дуть на каждую ложку — нужно дождаться, пока он охладится.

Если вы, к несчастью, обожглись, то это следует претерпевать и никому не показывать; но если обожглись нестерпимо сильно, как это иной раз случается, то нужно быстро и незаметно для других взять в одну руку тарелку, поднести ее ко рту и, загородившись другой рукой, выплюнуть в нее то, что у вас во рту, а затем спешно передать тарелку

310

лакею. Цивилизованность предполагает наличие добрых манер, но она не требует от нас самоубийства.

Крайне неприлично брать пальцами что-нибудь жирное, какой-нибудь соус, сироп и т.п., ведь это сразу приведет к двум-трем другим неприличиям. Одним из них будет то, что вы часто станете вытирать руки о салфетку и загрязните ее до вида кухонной тряпки, а потому будет тошно тем, кто увидит, что вы подносите ее ко рту, чтобы его вытереть. Другим подобным неприличием будет то, что вы станете вытирать руки о хлеб, что также крайне нечистоплотно. Третьим будет то, что вы станете облизывать пальцы, а это уж сущее непотребство.

С. 273.

Так как многие обычаи уже изменились, то я не сомневаюсь в том, что в будущем точно также изменятся многие из указанных.

Ранее можно было... макать свой хлеб в соус — достаточно было того, что от него не откусывали; сегодня это считается деревенским обычаем.

Ранее можно было вынимать изо рта то, что не могли прожевать, бросать на пол, если это делалось ловко: ныне это было бы величайшей непристойностью.

²⁷⁾ С. 97.

В Германии и в северных королевствах учтивостью или приличием для принца будет выпить первым за здоровье того или тех, с кем он общается, а затем передать им тот же бокал или кубок, чаще всего с тем же вином; там не считается отсутствием приличия пить из того же бокала, но это считается знаком искренности и дружбы; женщины так же могут пить первыми, а затем передавать бокал с тем же вином, которое они пили за здоровье кого-нибудь, и *это не считается особой благосклонностью к этому лицу, как у нас...*

С. 101.

Я не могу одобрить того, — отвечала одна дама, — эту манеру пить из того же бокала вслед за этими господами с Севера и еще менее — вслед за дамами; есть в этом нечто нечистоплотное, и пусть уж они свидетельствуют свою искренность как-нибудь иначе.

^{28a)} Предметы, коими можно пользоваться за столом

За столом следует пользоваться салфеткой, тарелкой, ножом, ложкой и вилкой; было бы против благоприличия, если б за едой мы обходились без чего-нибудь из них.

Первым свою салфетку должен разворачивать самый старший из присутствующих, а остальные должны подождать, пока он этого не сделает. Когда все примерно равны, то все они их разворачивают одновременно без церемоний.

^{28b)} Было бы неприлично пользоваться салфеткой для того, чтобы вытирать ею лицо; еще хуже тереть ею зубы, и уж верхом неприличия будет в нее сморкаться... Возможный и должный способ употребления салфетки за столом заключается в том, что ею вытирают рот, губы и пальцы, если они жирные, что ею вытирают нож перед тем, как резать хлеб, и вытирают ложку или вилку после того, как ими пользовались.

^{28c)} Если пальцы очень жирные, то их можно сначала вытереть о кусочек хлеба, который затем следует оставить на тарелке, а уж затем вытереть пальцы салфеткой, чтобы не слишком ее грязнить.

Крайне неприлично вылизывать грязные или жирные ложку, вилку или нож и уж никак не следует вытирать их о скатерть; во всех этих

311

и в подобных случаях нужно пользоваться салфеткой. Что же до скатерти, то нужно смотреть, чтобы она была чистой, а потому ее не следует ничем грязнить, нельзя проливать на нее ни воду, ни вино.

Если тарелка грязная, то ее не нужно скрести ложкой или вилкой, а также чистить ее пальцами — все это крайне неприлично; нужно либо вообще ее не касаться, либо, если есть возможность ее поменять, нужно попросить заменить одну тарелку на другую.

За столом не следует все время держать нож в руке — достаточно взять его в тот момент, когда вам нужно им воспользоваться.

Также весьма неприлично подносить кусок хлеба ко рту той рукой, в которой вы держите нож, и еще хуже подносить его на острие ножа. Того же нужно держаться, когда вы едите яблоки, груши или какие-нибудь другие фрукты.

^{28d)} Против благоприличия будет держать вилку или ложку всей ладонью, словно в руках палка, но держать их всегда следует между пальцами.

Не следует пользоваться вилкой, чтобы подносить ко рту что-нибудь жидкое... Для этого существует ложка.

Чтобы поднести кусок мяса ко рту, всегда следует пользоваться вилкой, ибо благоприличие не позволяет касаться пальцами чего-нибудь жирного, какого-нибудь соуса или сиропа; если же вы сделали нечто

подобное, то вам не обойтись без последующих неприличий: придется вытирать пальцы салфеткой, что делает ее грязной, вытирать их хлебом, что было бы крайне недостойно, либо облизывать пальцы, что вообще непозволительно для лица доброго рода и хорошего воспитания.

^{29a)} Положенная на тарелку салфетка предназначена для того, чтобы предохранить одежду от пятен и всякого загрязнения, какое может произойти за едой; ее нужно растянуть таким образом, чтобы она прикрывала тело вплоть до колен, будучи прикрепленной под воротником, но ни в коем случае не засунутой за воротник. Ложку, вилку и нож всегда следует класть справа.

Ложка предназначена для жидких блюд, а вилка — для плотных.

Если вилка или ложка загрязнились, можно вытереть их салфеткой, если нет возможности попросить другой прибор. Никак нельзя вытирать их о скатерть, ибо это — непростительная нечистоплотность.

За хорошим столом имеется внимательная прислуга, меняющая тарелки и без того, чтоб ее об этом просили.

Нет ничего более неопрятного, чем облизывать пальцы, хватать ими куски мяса и запихивать их себе в рот, залезать пальцами в соус, макать в него хлеб, а потом обсасывать.

Соль никогда не следует брать пальцами.

Дети часто запихивают в рот кусок за куском, вынимают из него уже жеванное, хватают куски пальцами.

^{29b)} нет ничего более неприличного. ...подносить мясо к носу и его обнюхивать, передавать его понюхать другим — это неприличие, оскорбительное для главы стола; если в предложенной пище обнаруживается что-то нечистое, то его следует убрать незаметно.

^{30a)} Затем он возлагает на себя салфетку, берет нож в правую руку, чтобы разрезать мясо, его не разрывая.

^{30b)} Он воздерживается от того, чтобы подносить нож ко рту. Он не должен класть руки на свою тарелку... и не должен облакачиваться за столом, ибо это свойственно только больным или старым людям.

312

Будучи со старшими, мудрый ребенок последним протянет свою руку к блюду...

...если это мясо, то он аккуратно отрежет кусок ножом и съест его с хлебом.

Грязным и деревенским будет вынимать уже жеванное мясо изо рта и класть его обратно себе на тарелку. И уж никогда его не следует класть на то блюдо, с которого оно было взято.

³¹⁾ Недавно аббат Коссон, профессор литературы в коллеже Мазарини, рассказал мне об обеде, на котором он был несколькими днями ранее в Версале... *вместе с придворными.*

— Держу пари,— сказал я ему, — вы допустили там сотню неприличий.

— Как так, мне казалось, что я делал так же, как и все присутствующие, — отвечал озабоченный аббат Коссон.

— Какое самомнение! Бьюсь об заклад, вы ничего не делали так, как другие. Скажем, что вы сделали с вашей салфеткой, садясь за стол?

— С моей салфеткой? Я сделал то же, что и прочие: развернул ее, растянул и закрепил ее угол у себя в петлице.

— Дорогой мой, вы были единственным, кто так сделал. Теперь салфеткой не прикрываются, ее кладут на колени. А как вы ели суп?

— Как и все остальные, мне кажется. Я взял в одну руку ложку, вилку в другую...

— Боже, вилку в другую! Никто теперь не берет вилку за супом... Скажите что-нибудь о том, как вы ели хлеб.

— Разумеется, как и все: я аккуратно отрезал ножом.

— Сегодня хлеб отламывают, а не режут... Но продолжим. А как вы пили кофе?

— Но уж это как все прочие. Он был обжигающе горячим, и я наливал его помаленьку из чашки в блюдечко.

— А потому ничем не походили на остальных: все пьют ныне кофе из чашки и никогда не наливают в блюдце.

³²⁾ Несомненно, вилки были изобретены позже пальцев, а так как мы не каннибалы, то я склонен думать, что они были хорошим изобретением.

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом

Группа I

1) Сей трактат был напечатан лишь с тем, чтобы удовлетворить провинциального дворянина, попросившего своего друга дать несколько советов о воспитанности своему завершившему учебу и упражнения сыну, которого он намеревался отправить ко Двору.

Автор предпринял этот труд, имея в виду лишь лиц благородного происхождения; он обращается только к ним, в особенности же к молодежи, которая может воспользоваться этими советами, — ведь не у каждого имеются возможности и средства для того, чтобы отправиться в Париж ко Двору, дабы там научиться тонкостям политеса.

2) Удивительно, что большинство христиан считают приличия и воспитанность чисто человеческими и мирскими качествами; не думая о возвышении духа, они не видят в них добродетели, которая связывает нас

313 с Богом, с ближними и с самим собою. Именно это показывает, сколь мало христианского у нас в мире.

3) Слова «courtois» и «courtoisie» начали устаревать и выходят из обычая. Мы говорим «civil», «honnête», «civilité», «honnêteté».

4) Мой сосед, буржуа... пользуясь языком парижской буржуазии, говорит «affable», «courtoise», выражаясь тем самым без политеса, ибо слова «courtois» и «affable» уже не имеют хождения у светских людей, — их место заняли «civil» и «honnête», равно как «civilité» и «honnêteté» оказались на месте слов «courtoisie» и «affabilité».

5) «Urbanitas» обозначало ту изысканность языка, ума и манер, что связывалась исключительно с городом Римом, который был «Urbs», «Городом»; у нас эта изысканность является привилегией не какого-либо города, будь он даже столицей, но только Двора, а потому термин «urbanité»... относится к тем, без коих мы вполне можем обходиться.

- 6) После регентства Анны Австрийской они (французы) стали самым общительным и самым учтивым народом земли... и эта учтивость не есть нечто произвольное, так называемая «civilité», но является законом природы, который они, к счастью, культивировали более чем прочие народы.
- 7) Вы знаете, что буржуа говорят совсем иначе, чем мы.
- 8) Он — ваш покорный слуга, мадам, и все болеет; вы ведь по своей милости не раз осведомлялись о его здоровье.
- 9) «покойник отец мой, бедный покойник».
- 10) ...которые учтивость привнесла в общение хорошо говорящих людей.
- 11) Люди светские никогда не говорят о человеке: «Он упокоился», вместо того чтобы сказать: «Он умер».
(Перевод Т.Е.Егоровой.)
- 12) Следует молиться о душе покойного... но те, кто говорит хорошо, скажут не «defunct», но «feu» — «feu отец мой», «feu г-н такой-то», «feu герцог» и т.д.
- 13) Говорить «бедный покойник» — манера речи буржуа.
- 14) Довольно обычно среди парижских буржуа и даже среди некоторых придворных, воспитывавшихся в буржуазных кругах. Вот почему они говорят «voions voig» вместо «voions» — удваивать слово «voig» нет ни малейшей нужды, и это режет слух в нашем кругу.
- 15) С недавнего времени распространился другой дурной обычай говорить, берущий свое начало у самого низкого народа и вошедший в моду при дворе и даже у иных недостойных фаворитов. Говорят: «Il scait bien long», чтобы передать, что некто утончен и ловок. Придворные дамы также стали им пользоваться.
- 16) Я вам крайне признателен, мадам, за то, что вы стараетесь меня обучить, но мне кажется, что «deffunct» является утвердившимся словом, которым пользуются и немалое число благородных людей.
- 17) Вполне возможно, что имеется изрядное число благородных людей, которые не знают всей деликатности нашего языка... эта деликатность ведома лишь небольшому числу хорошо говорящих лиц, которые никогда не скажут о человеке «defunct», чтобы передать, что он умер. 18) Если же взять ошибки, расходящиеся с хорошей речью, то — учитывая, что тут нет закрепленных правил, — все зависит от согласия некоего числа воспитанных людей, слуху которых привычны определенные обороты речи, каковые они предпочитают другим.
- 19) См. выше ссылку 10).

314

Группа 2

- 1) Умению разрезать мясо следует обучаться с малых лет.
- 2) Если вы режете мясо, то следует давать другим лучший кусок и оставлять себе меньший, причем его ничем, кроме вилки, не следует касаться. Вот почему, когда более высокое, чем вы, лицо что-либо просит, важно знать, как резать мясо правильно и в согласии с методом, равно как и знать, каковы лучшие части, дабы служить этому лицу в соответствии с приличиями.
Мы не описываем здесь способ резки, поскольку по этому предмету существуют целые книги, в которых изображены все части туши, показано, куда втыкать вилку, чтобы затем отрезать; как нами было сказано, *никогда не следует касаться мяса... руками, даже когда вы его едите*; затем было сказано о том, куда направлять нож при резке; какой кусок брать первым, какой из них лучший, который следует предложить самому знатному лицу. Легко научиться резать мясо, если вы три-четыре раза побывали за хорошим столом, да и не стыдно извиниться и предоставить это другому, если вы не знаете, как это делать.
- 3) Юноши и менее знатные лица не должны в это вмешиваться, но лишь принимать поданное им в свою очередь.
- 4) Главная заслуга новой системы, —говорится в английской книге 1859 г. «Нравы хорошего общества», — заключается в том, что остракизму было подвергнуто ужасное варварство — мясной обед. Он никак не может выглядеть элегантным, ибо обременяет хозяина дома, принуждая его заниматься этой несчастной разделкой мяса. Поистине, если только у вас не слишком разыгрался аппетит, *само зрелище груды дымящегося в подливке мяса способно совершенно этот аппетит уничтожить*; большой мясной обед словно специально рассчитан на то, чтобы вызвать отвращение у эпикурейца. Если уж такие обеды должны вообще существовать, то помешать участвующим в них нужно за удаленными столами, *где они не будут видны другим*.
- 5) Не подноси ножа к своему лицу, поскольку это опасно и вызывает сильный страх.
- 6) Было бы подло поступать иначе.
- 7) ...словно держишь палку.
- 8) Я могу указать на то, что ни один эпикуреец никогда не прикасался ножом к яблоку, а апельсин следует очищать ложечкой.
- 9) Разрешите мне дать вам правило: все, что можно резать без ножа, следует резать одной вилкой.

Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям

I. Примеры

- 1) Не касайся и себя самого голый рукой, но лишь в перчатке.
- 2) Задерживать мочу губительно для здоровья; прилично выпускать ее в укромном месте. Есть такие, кто предписывает подростку удерживать ветры сжатием ягодич. Однако нельзя признать поведением культурным, если ты, стремясь выглядеть воспитанным, накликаешь болезнь. Если удобно отойти в

сторону, пусть он делает, что ему нужно, в уединении. В противном случае пусть, по старинной поговорке, *кашлем скроет пуканье*. Иначе почему они не дают столь же настоящего

315

совета воздерживаться от опорожнения кишечника — ведь сдерживать ветры опаснее, чем насильно томить живот.

3) Подстрекать недуг: выслушай, что сказал по поводу пуканья Косский старец... Прекрасно, если ветры выходят без пуканья звука. Но лучше все-таки пусть вырываются с треском, чем удерживать их внутри. В этом деле скорее полезно было бы проглатывать стыд столько, сколько нужно, чтобы помочь телу, чем по совету всех врачей сжимать ягодицы подобно некоему Аэзону, о котором пишет эпиграмматист: хотя он и уберется от пуканья в святилище, ему пришлось приветствовать Юпитера, сжав ягодицы. *Я умею сжимать ягодицы* — рабелепное выражение слуг, с трепетом ждущих мановения хозяина.

Кашлем скрывать пуканье: те, кто из стыдливости не желают, чтобы слышали их пуканье, притворяются, что они кашляют. Читай в *Хилиадах*: кашель вместо пуканья.

Так как удерживать ветры опасно: во второй книге эпиграмм имеются стихи Никарха... в которых он описывает губительные свойства сдерживаемого пуканья; однако я решил, что нет нужды цитировать их здесь, так как они повсеместно ходят по рукам.

4) Точно также *gentilhuomo* не подобает явно отправлять все естественные нужды...

5) ...тотчас оборачивается он к своему спутнику и показывает ее [вонючую вещь] ему...

6) Куда неприличнее подносить другому понюхать что-либо вонючее, как нередко поступают иные люди, доходящие даже до того, что подносят тяжело пахнущую вещь прямо к чужим ноздрям, приговаривая: «Я желал бы благоухать так сильно, как вот это воняет», в то время как следовало бы сказать: «Не нюхай, ибо воняет».

7) Не выставляй на вид твои интимные органы — нет ничего более позорного и омерзительного, презренного и грубого.

Не сдерживай ни мочи, ни ветров, которые мучают твоё тело, но испускай их тайком, чтобы они тебя не тревожили.

8) Страшно воняет нечистотами. Париж — ужасное место; улицы здесь пахнут так дурно, что это едва выносимо; из-за жары сгнило много мяса и рыбы, а если добавить уличную толпу, людей, которые омерзительно воняют, то все это невозможно переносить.

9a) К приличиям и к стыдливости относится сокрытие всех частей тела, кроме головы и рук. Нужно с возможным тщанием избегать прикосновений обнаженной руки ко всем тем частям тела, которые обычно прикрывают; если же возникла нужда их коснуться, то делать это следует со всяческими предосторожностями. Нужно привыкнуть к перенесению разных мелких неудобств — не крутится, не тереться, не чесаться.

Еще более противно пристойности и приличиям прикасаться к другому лицу или подглядывать за ним, в особенности, если речь идет о лице другого пола, что воспрещено уже Богом. Если желаешь помочиться, всегда следует удаляться в какое-нибудь удаленное место; равно и при некоторых прочих естественных нуждах пристойно (в том числе и для детей) удовлетворять их только там, где их никто не видит.

Крайне невежливо испускать духи из своего тела, хоть сверху, хоть снизу, даже если это никто не слышит, пока ты в компании с другими. ^{9b)} ...делать же это так, что другие могут услышать, постыдно и непристойно.

316

Никогда не будет пристойно говорить о частях тела, которые должны быть скрыты, ни о неких телесных нуждах, которыми нас наделила природа, — их не следует даже помянуть.

10) Приличиям и стыдливости отвечает прикрытие всех частей тела, кроме головы и рук.

Естественные нужды пристойно (в том числе и для детей) удовлетворять лишь в тех местах, где никто не видит.

Никогда не будет пристойно говорить о частях тела, которые всегда должны быть скрыты, ни о неких телесных нуждах, которыми нас наделила природа, — их не следует даже помянуть.

11) Дорогая бабушка, я хотела бы описать Вам и аббату, как я удивилась, когда вчера утром нашла возле своей кровати вашу посылку. Я поторопилась вскрыть ее, засунула руку и нашла горошек... а затем и вазу... которую я тут же вынула. Оказалось, что это ночной горшок, но такой красивый, такой прелестный, что окружавшие меня в один голос заявили, что из него следовало бы сделать соусник. *Горшок был выставлен напоказ, и весь вчерашний вечер он вызывал всеобщее восхищение*. Горошек... был съеден целиком и без остатка.

II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом

1) ...тот, кто испускает мочу или облегчает живот.

2) ...сдерживает ветры...

3) ...куда неприличнее подносить другому понюхать что-либо вонючее, как нередко поступают иные люди.

(См. также выше: к части II, главе V, I ссылка б).)

Глава VI. О сморкании

I. Примеры

1) Затем тридцатое правило таково:

Каждый воспитанный молодой человек,

Желая очистить нос,

Пользуется платком.

Кто ест или сидит за столом,

Пусть не сморкается с помощью пальцев.

Пользование платком выказывает вашу воспитанность. (Перевод Г.В.Вдовиной.)

2) Если прекрасные юноши являются для знатных чем-то наподобие слуг, этих юношей называют пажами (Donnizelli et Domicellae). (Перевод Т.Е.Егоровой.)

3) Кто сморкается в скатерть, конечно, поступает нехорошо.

4) В платье или простынь сморкаются только мужики, в ладонь или в локоть — солельщики, и немного пристойнее того высмаркиваться пальцами, если затем ты вытираешь соплю о платье. Истечения из носа прилично утирать платком, причем слегка отвернувшись, если рядом оказались люди из благородного общества.

5) Между словами «сопли» (mucus) и «мокрота» (pituita) мало разницы, разве что считается, что соплю суть более густые, а мокрота — более

317

жидкие отбросы. Латинские авторы повсюду без разбора употребляют слова, обозначающие платок: «strophium» и «strophium»...

6) Дабы она вспоминала о нем, он приказал сделать для нее один из самых красивых и богато украшенных платков, на котором были вытканы его инициалы; платок прикреплялся к позолоченному шнуру и был украшен бахромой в виде мелких анютиных глазок.

7) В 1594 г. Генрих IV спрашивал своего постельничего, сколько имеет рубашек, и тот отвечал ему: «Одна дюжина, да и среди них есть порванные». — «А сколько у меня платков, — спрашивал далее король, — кажется, восемь?» — «На сегодняшний день всего лишь пять».

8) ...пять украшенных золотом, серебром и шелком платков, стоимостью в 100 экю.

9) В XVI в., пишет Монтей, во Франции, как и повсюду, престономодье сморкалось не прибегая к платку; среди буржуа было принято сморкаться в рукав. Что же касается людей богатых, то они носили в кармане носовой платок; поэтому чтобы сказать, что человек богат, о нем говорили: он не сморкается в рукав.

10) Сморгаться в носовой платок открыто и не прикрыв лица салфеткой, вытирать им пот... это непристойности, которые вызывают у всех отвращение. (...)

Следует избегать зевать, сморкаться и плевать. Если это приходится делать в каком-нибудь из содержащихся в чистоте мест, то нужно делать это в платок, отвернув лицо и прикрыв его левой рукой, а затем ни в коем случае не разглядывать свой платок.

11) *Платок для сморкания*

Так как слово «сморкаться» звучит низко, то дамы должны были называть его носовым или карманным платком, подобно тому, как мы говорим о шейном платке.

12) Воздерживайтесь от того, чтобы сморкаться в пальцы или в рукав, как это делают дети, но пользуйтесь носовым платком и не смотрите в него после того, как высморкались.

13a) *О носе и манерах сморкаться и чихать*

Крайне неприлично все время ковыряться пальцами в ноздрях, и еще менее выносите в рот то, что из ноздрей достал...

Подло сморкаться в руку, поднеся ее к носу, или сморкаться в рукав или на свою одежду. Приличиям целиком противоречит сморкание в два пальца, когда грязь летит на землю, чтобы затем вытереть пальцы о свое платье; известно, насколько противно видеть нечистоты на одежде, которая всегда должна быть чистой, будь она даже совсем бедной.

Есть люди, которые зажимают пальцем одну ноздрю, а затем выдыхают из носа, и на землю летит то, что в нем было; так делают люди, которые не имеют представления о благородных манерах.

Для сморкания всегда следует пользоваться своим носовым платком и никогда не следует употреблять что-либо иное; делая это, нужно прикрывать лицо своей шляпой.

13b) Сморгаясь, следует избегать произведения громких звуков... Перед тем как высморкаться, неприлично долго вытаскивать свой платок — отсутствием почтения к окружающим будет вертеть платок и выбирать, в какую из его сторон высморкаться; нужно быстро и незаметно достать его из кармана, поспешно высморкаться, причем так, чтобы другие почти ничего не заметили.

318

После того как вы высморкались, следует воздерживаться глядеть и свой платок; его нужно тут же свернуть и поместить обратно в карман.

14) Всякое прикосновение к носу, будь то рукой или чем-нибудь иным, будет неприличным и детским: совать пальцы в ноздри есть отвратительная нечистоплотность, а если слишком часто носа касаться, *то это вызывает неловкость, которая надолго запоминается.*

15) Дети часто страдают этим недостатком, и *задача родителей заключается в том, чтобы тщательно их поправлять.* Сморгаясь, следует соблюдать все правила приличия и чистоплотности.

16) Несколько лет назад возникло искусство сморкания. Одни подражают звуку трубы, другие — кошачьему мяуканью: совершенство заключается в том, чтобы не производить ни слишком сильного, ни слишком слабого звука.

Глава VII. О плеваньи I. Примеры

1) Сплевывать следует отвернувшись, чтобы не обрызгать окружающих. Если на землю было извергнуто нечто гнойное, следует растереть это ногой, дабы не вызывать отвращение у окружающих. Если же это сделать невозможно, надлежит воспользоваться платком. Проглатывать слюну некультурно, так же как и то, что мы часто видим у некоторых людей, которые не в силу необходимости, но просто по привычке сплевывают после каждого третьего слова.

2) Обычай, о котором мы говорили выше, не допускает того, чтобы такого рода законы были неизменными. А так как многие уже изменились, то я не сомневаюсь в том, что в будущем изменится и большинство нынешних.

В прошлом, например, было вполне допустимо плевать на землю в присутствии высоких персон — следовало только растереть ногой сплюнутое; сегодня это неприлично.

Раньше можно было зевать, и достаточно было не говорить в то самое время, когда вы зеваете; ныне это вызовет шок у благородного человека.

3) С. 67.

Частое плевание неприятно; когда это по необходимости нужно сделать, то плевать нужно самым незаметным образом, причем так, чтобы при этом не попасть ни на других, ни на собственную одежду, ни даже на горящие угли в камине. И где бы вы ни плевали, всегда нужно растереть ногой слюну.

В присутствии знатных особ плюют в свой платок.

С. 41.

Дурно плевать в окно на улицу или на огонь.

Не плюй далеко, чтобы затем не приходилось отыскивать, куда ты плюнул, чтобы растереть ногой.

4) Не следует воздерживаться от того, чтобы сплюнуть, и крайне неприлично глотать то, что должно быть сплюнуто, — это может вызвать дурноту у других.

Но и не следует привыкать слишком часто и без нужды плевать: это не только не благородно, но также отвратительно и неловко для других. Если вы находитесь в компании знатных особ или в местах, ко-

319

торые содержатся в чистоте, прилично будет сплюнуть в свой платок, повернувшись при этом в сторону.

Вообще будет пристойной привычка плевать в свой платок, когда вы находитесь в домах знатных или во всех тех местах, где полы натерты или имеется паркет; но еще более необходима эта привычка в церкви... хотя зачастую пол на кухне или даже в конюшне чище, чем в иной церкви.

Сплюнув в платок, нужно тут же его свернуть и, не заглядывая в него, убрать в карман. Нужно следить за тем, чтобы никогда не плевать ни на собственное платье, ни на одежду других...

Если вы заметили на земле какой-то большой плевок, то на него нужно тут же наступить. Если вы заметили его на платье другого лица, то неприлично было бы объявлять об этом вслух, но следует предупредить кого-нибудь из слуг, чтобы тот подошел и стер, а если такового слуги нет, то нужно незаметно подойти самому и сделать это так, чтобы никто не заметил: было бы низко ставить любого в неловкое положение или приводить его в смущение.

5) В церкви, в домах знати и во всех тех местах, которые содержатся в чистоте, следует плевать в свой платок. Непростительной грубостью со стороны детей является то, что они плюют в лицо своим приятелям: за это нужно строго наказывать; не следует прощать и тем из них, кто плюет в окно, на стены и на мебель.

6) Плевание в любое время — отвратительная привычка, и все, что я хочу сказать, сводится к следующему: никогда такой привычкой не обзаводись. Она не только грубая и дикая, но еще и *вредная для здоровья*.

7) Замечали ли вы то, что сегодня мы отходим в какой-нибудь далекий угол, чтобы сделать то, что наши отцы делали открыто?

Тогда почетное место занимала некая интимная мебель... каковую теперь никогда не выставляют напоказ.

Существовал и другой предмет мебели, который более не украшает современную комнату, и о котором в наше время «бациллофобии» вряд ли кто-нибудь сожалеет: речь идет о плевательнице.

Глава VIII. О поведении в спальне I. Примеры

1) Раздеваешься ли ты или поднимаешься с постели, помни о стыдливости и следи, чтобы чужим глазам не предстало что из вещей, которым природа и обычай велит быть скрытыми.

Если ты делишь ложе с товарищем, укладывайся потихоньку, стараясь излишними движениями тела не обнажить себя и не докучать соседу, стягивая с него одеяло.

2) Когда после ужина, дабы насладиться отдыхом, ты окажешься в кровати, и если возле тебя окажется какой-то другой человек, то подтяни все свои члены, расположись так, чтобы никак ему не мешать: не ворочайся, не крутись, не дергайся; и коли ты понял, что он уже спит, постарайся его не разбудить.

3) Не следует... ни раздеваться, ни спать с кем-нибудь другим; если только речь не идет о супругах, никогда не следует спать в одной комнате с лицом другого пола.

320

Еще менее позволительно лицам разных полов спать в одной постели, если только это не маленькие дети...

Когда же по необходимости во время путешествия приходится спать на одной кровати с лицом того же пола, то не будет прилично не только прижиматься к нему, что может вызвать неудобство у другого, но даже просто к нему прикасаться; еще менее прилично втискивать свои ноги между ног того лица, с которым ты спишь... (...)

Столь же неприлично и неблагородно развлекаться болтовней и балагурить... (...)

Когда встаешь с постели, то не оставляй ее открытой и не оставляй свой ночной колпак там, где его кто-нибудь может заметить.

4) Помещать на ночь людей разного пола в одной комнате — странное нарушение приличий; если же к тому принуждает необходимость, то кровати должны стоять поодаль друг от друга, и никоим образом не должна страдать стыдливость. Такой обычай может извинить лишь великая нужда...

Если ты вынужден спать в одной кровати с лицом того же пола, а это изредка случается, то нужно вести себя скромно и бдительно... (...)

Как только ты проснулся и понял, что провел в постели достаточное время для отдыха, нужно подниматься и не оставаться в ней, чтобы вести разговоры или заниматься какими-нибудь иными делами... — ничто более не свидетельствует о лени и легкомыслии; кровать предназначена для телесного отдыха, а не для чего-нибудь другого.

II. Некоторые мысли о процитированных текстах

- 1) В Эру Благовоспитанности до Войны респектабельные писатели могли приближаться к теме сна лишь говоря о палатках в военном лагере. В те дни леди и джентльмены на ночь не шли спать — они удалялись. А как они это делали, это никого не касалось. Автор, который думал иначе, тут же исключался из библиотек.
- 2) ...нужно вести себя скромно и бдительно.

Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной

- 1) «Образцы семейных бесед, предназначенные не только для оттачивания языка подростков, но для наставления в жизни»
- 2) Если бы все сватающиеся были таковы, каких я здесь изобразил, для заключения браков не потребовалось бы другого рода бесед!
- 3) *Софроний*: Это место не кажется достаточно укромным.
Лукреция: Откуда этот новоявленный стыд? Есть у меня хранилище, где я храню мой убор, — место столь темное, что ни я тебя, ни ты меня не увидишь.
Софроний: Смотри, сколько щелей!
Лукреция: Да нет здесь ни одной щели.
Софроний: А нет ли кого поблизости, кто мог бы нас услышать?
Лукреция: Нет даже мухи, свет мой. Что же ты медлишь!
Софроний: А укроемся ли мы тут от глаз Божьих?
Лукреция: Это невозможно. Он видит все насквозь.
Софроний: А от очей ангельских?

321

- 4) ...в стариковской беседе как в зеркале отражается множество вещей — как тех, коих следует избегать в жизни, так и тех, кои делают нашу жизнь спокойной!
- 5) «О верности продажных женщин своим любовникам»
- 6) «О верности любовниц»
- 7) Я желал бы доверять только вам одной; вот путь, который мне советуют избрать и мое сердце, и мой разум; *сохранив вашу свободу, я ставлю вам куда более узкие границы*, чем это могли бы сделать любые предписания.

Глава X. О трансформации агрессивности

- 1) Я скажу вам, что мне не так нравится есть, пить или спать, как слышать с двух сторон крик: «Вперед на врага!», слышать ржание коней, потерявших всадников, и крики: «На помощь!», видеть, как у рва на траву валяются великие и малые, смотреть на то, как валяются мертвецы, пронзенные украшенными флажками копьями.
- 2) Вот настало радостное время, когда мы вступили на палубу кораблей, когда явился король Ричард, бодрый и доблестный более чем когда-либо. Теперь мы увидим, как будут тратиться золото, серебро и драгоценные камни, как будут рушиться стены, валиться башни, а врагам достанутся тюрьмы и цепи. Я люблю войско, в котором мешаются голубые и алые застежки, значки и стяги разных цветов, палатки и богатые шатры, стоящие на равнине, блеск копий, продырявленные латы, сбитые сияющие шлемы, обмен ударами.
- 3) Клянусь, меня совсем не заботит все то, о чем вы толкуете, я смеюсь над вашими угрозами. Всякий шевалье, коего я возьму в плен, будет мною почтен и лишится носа или ушей. А если это сержант или купец, то он лишится ноги или руки.
- 4) Для общества того времени война была нормой.
- 5) Веселая вещь война... На войне любишь так крепко. Если видишь, что дерешься за правое дело и повсюду бьется родная кровь, сможешь ли ты удержаться от слез!
- 6) Молодой человек должен быть радостен и вести веселую жизнь. Ему не годится быть мрачным и задумчивым.
- 7) Всем нам дана трудная и покорная случаю жизнь.
- 8) Будешь бояться смерти — должен будешь жить в нужде.
- 9) Хорошо известно, что смерть случится, но будущее человеку неведомо; она приходит к нему как вор в ночи. Но коль ты в себе уверен, смерти не слишком бойся, ибо если станешь ее очень бояться, то уже никогда не станешь радостен.
- 10) Известно, насколько жестокими были нравы XV в., с каким зверством удовлетворялись страсти, несмотря на страх ада, вопреки обуздывающему их чувству классового отличия и чувству дворянской чести, *несмотря на добродушие и радость в социальных отношениях*.

Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря

- 1) «Галатео, или Манера и способ, коим должен руководствоваться благородный во всякой компании»
- 2) Вся добродетель и совершенство благородного, монсиньор, не сво-

322

- дится к тому, чтобы хорошо вскакивать на коня, умело обращаться с копьем, держать в порядке сбрую и владеть всякого рода оружием, владеть собою, находясь среди дам, и быть умелым в делах любовных, ибо существуют еще упражнения, свойственные благородному; к ним относятся служение за столом королям и принцам, манера употребления своего языка с почтением к лицам в соответствии с их рангом и качествами, умение управлять своим зрением, своими жестами и даже малейшими знаками и брошенными взглядами.
- 3) Книга, толкующая о воспитании молодого придворного и благородного, является гарантией того, что он будет образцом и зеркалом для других в *courtoisie, civilité*, добрых нравах и похвальных обычаях.

Указатель имен 1 тома

Ампер А. 82,83
Андронико И.Ц. 147
Анна Австрийская 314
Аристотель 266, 267
Барт И.Х. 202
Белл Д. 47, 48
Бертран де Борн 273
Бёмер А. 268
Бодо, аббат 103, 303
Бокль Г. 89
Бонавентура 305
Бонвит Д. 55
Бонвичино да Риво 121, 126, 127, 152, 153, 214, 222
Бонно А. 119
Боссерт Г.Т. 298
Брандес Г. 213
Браун М. 55
Брейгель П. 290
Броэ П. 235, 240
Брунфельс О. 149
Буало Н. 67
Брюно Ф. 107
Бюнель Г. 300
Бюргер Г. 75
Бюз Ж. де 276, 285
324
Вашингтон Дж. 242
Вебер М. 29, 33, 35, 53
Веспуччи А. 84
Весте Р. 201
Винкельман И. 75
Вольтер 69-71, 75, 82, 93, 103, 105, 108, 171, 179,208,303
Вольф Ф.А. 75
Вольцоген К. фон 79, 91
Вульф В. 36
Гедойн, аббат 171
Гельбах В. 147
Генрих III 129
Генрих IV 213,216,217,220,297
Гераклит 17
Гердер И. 68, 73, 75,77
Германн К. 90 90
Гёте И.В. 41, 68, 72-75, 80, 82, 83, 85-89
Глюксман А. 55
Гольбах П. 103, 108
Гомер 74
Гретюизен Б. 119
Гуго Сен-Викторский 120
Гумбольдт А. 82
Д'Аламбер ЮЗ, 303
Д'Эскуши М. 278
Дедекинд Ф. 136
Декарт Р. 33-35
Делиль Ж. 167
Делла Каза Дж. 138, 141, 144, 149, 157, 200, 208,212,215,226,230,296,299
Денеке А. 148
Дидро Д. 75, 82
Драйден Дж. 71
Дюркгейм Э. 13
Иоанн Гарландский 120, 121
Иоанн, герцог Беррийский 279

Иоганн Сульпиций 112,240

Йодль Ф. 89

325

Кабане А. 215-217,228, 230

Кайе Ф. де 161,171,177,182

Какстон У. 144, 190

Кальвиак К. 158, 175

Кант И. 64, 65, 68, 73-75, 95

Карл V 128

Карл IX 284

Карл Савойский 128

Карл Смелый 279, 287

Кастильоне Б. 141

Катон 277

Кёбнер Р. 268

Кене Ф. 100

Кирхгоф А. 119

Клопшток Фр. Г. 68, 73

Колумб Х. 84

Кольб Г.Ф. 89

Кольбер Ж.Б. 97, 98

Кондорсе Ж.А.Н. 105

Конт О. 16

Кордые М. 206, 212

Корнель П. 72

Коссон, аббат 167, 313

Куртэн А. де 160,165,168, 175, 182, 183, 187, 188, 194-196,205, 217, 226, 230

Ла Салль А. 161,163,165,170,182,192,195,196, 201, 202, 205, 218, 219, 221, 227, 228,230,231,235,236,240,283

Лейбниц Г. В. 34-36, 66

Лессинг Г. 68,72,73,91

Леттенхов К. де 285

Лёве Х. 55

Линкольн А. 242

Липсет СМ. 48

Лихтенберг Г.К.Г. 84

Лописеро А. 147

Лукиан 133

Людовик XIII 269

Людовик XIV 98, 105, 168, 220, 223

Людовик XV 102, 103, 165

Люшер А. 274,275,281,285

Маженди М. 119

Маковер А. 55

326

Максимилиан 287

Манн М. 118

Манхейм К. 55, 90

Мария Бургундская 287

Мериме П. 83

Маркс К. 16,20,48

Мертон Р. 45, 46

Месанжер де ля 219

Мильтон Дж. 67

Мирабо В. 95, 96, 98, 101, 102, 104, 107

Мовийон Э. де 66,67,75,91

Мольер Ж. 67, 82

Монтень М. 266, 267

Морисотус И. 249-251,268

Наполеон Бонапарт 106, 242

Немур Д. де 107

Нерон 242

Никарх 199, 316

Ницше Ф. 87,88,93,179

Ньютон И. 89
Пароди Д. 119
Парсонс Т. 10-14, 26, 29, 30, 33, 45, 48
Пейрат Ж. дю 296, 297
Петр Альфонси 120
Пизано У. 214
Поуп А. 67,71
Птолемей 12
Рабле Ф. 213
Расин Ж. 67, 72
Рассел Дж. 121,122
Раумер Ф. фон 245, 254-257
Регенсбург Б. фон 289, 298
Рейналь Г. 103
Ричард I Львиное Сердце 273, 322
Розенхаупт Г. 55
Рош С. де ля 69, 77
Рузвельт Т. 242
Руссо Ж.Ж. 96, 97, 254
Сигизмунд 252
327
Сократ 247
Спенсер Г. 16
Спингерн И.Э. 149, 299
Таннгейзер 121,123,125-127,182,210
Тассо Т. 67
Теннис Ф. 10
Томазин Циркларийский 121,127
Тюрго А. 99,103,107
Филипп Храбрый 215
Фихте И. 75
Флаксланд К. 77
Фолкнер Э.М. 171
Фонтане Т. 88
Франклин А. 197,212,285
Фрейд З. 265
Фрейнд Ж. 55
Фридрих Великий 67-72
Фроман Ж. 278
Фуке Н. 178
Хайден С. 149
Хейзинга Й. 245,267, 275, 285
Хобхауз Л.Т. (Гобгауз) 16, 20
Цедлер Г. 65
Шайдт К. 136,146
Шекспир У. 69-72,291,302
Шелль Ж. 107
Шиллер И.Ф. 68, 73, 75, 79, 91, 238, 245
Шубарт К. 75
Шульц А. 267
Эккерман И. 82, 85-88
Элиас Н. 10, 45, 55
Энгельс Ф. 20, 48
Эразм Роттердамский 112-120, 132-144, 147, 148, 156, 161, 168, 175, 186, 198, 202-205, 213, 215, 220, 226,
328
229, 231, 234, 240, 244-251, 254-257
Эрисман Г. 119,130
Эроад Ж. 263

Содержание 1 тома

Предисловие ко второму изданию.....	5
Предисловие к первому изданию.....	49
Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура».....	57
Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии.....	59
I. Введение.....	59
II. О ходе развития пары противоположаемых понятий «цивилизация» и «культура».....	63
III. Примеры придворных воззрений в Германии.....	66
IV. О среднем классе и придворном дворянстве в Германии.....	71
V. Литературные примеры отношения буржуазной интеллигенции к придворным.....	77
VI. Падение значимости социального противостояния и выход на первый план национальных противоположностей в истории взаимоотношений понятий «культура» и «цивилизация».....	84
Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции.....	92
I. О социогенезе французского понятия «цивилизация».....	92
II. О социогенезе учения физиократов и французского движения реформ.....	97
Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения.....	109
Глава I. История понятия «civilité».....	111
Глава II. Средневековые манеры.....	120
Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения.....	132
Глава IV. О поведении за едой.....	150
I. Примеры.....	150
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом.....	168
Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям.....	198
I. Примеры.....	198
II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом.....	203
330	
Глава VI. О сморкании.....	214
I. Примеры.....	214
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о сморкании.....	220
Глава VII. О плеваннии.....	225
I. Примеры.....	225
II. Некоторые мысли о процитированных текстах о плеваннии.....	229
Глава VIII. О поведении в спальне.....	234
I. Примеры.....	234
II. Некоторые мысли о процитированных текстах.....	236
Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной.....	244
Глава X. О трансформации агрессивности.....	271
Предварительное замечание.....	271
Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря.....	286
Приложение. Перевод иноязычных текстов.....	302
Указатель имен. <i>Составитель И.А.Осиновская</i>	324

Норберт Элиас

О ПРОЦЕССЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада

Том 1

Корректор: Н. И. Кузьменко Компьютерная верстка: О. А. Зотов

ООО «Издательство «Университетская книга»

Лицензия ИД № 03896 от 30.01.01

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 29, корп. I, лит. Б

Налоговая льгота — общероссийский

классификатор продукции ОК-005-93, том 2;

953000 — книги, брошюры

Лицензия ИД № 03600 от 19.12.00

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.04.01

Формат 60x88 ¹/₁₆. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21. Тираж 3000 экз. Зак. № 283

АНО «Академия исследований культуры»

123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ФГУП ордена Трудового Красного Знамени

«Техническая книга»

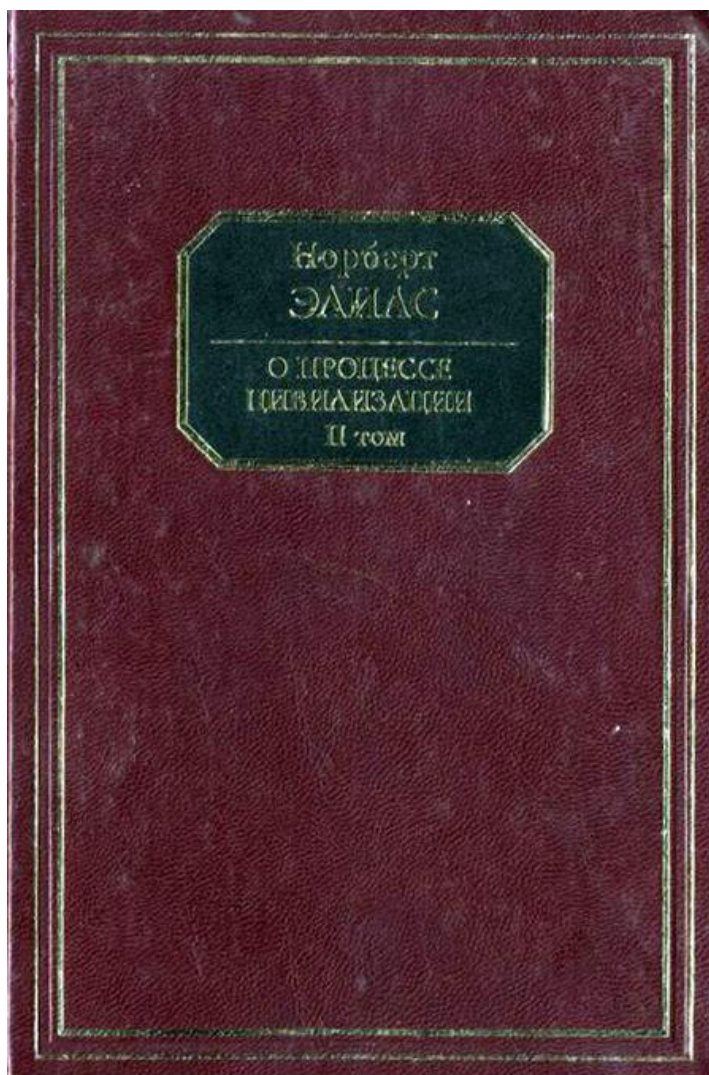
Министерства Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

Для заметок

Том 2



...не искать никакой науки кроме той, которую можно найти в себе самом или в громадной книге света...

Рене Декарт

Серия основана в 1997 г.

В подготовке серии

принимали участие

ведущие специалисты

Института научной информации

по общественным наукам, Института

всеобщей истории, Института

философии

Российской Академии

наук

**Редакционный совет серии «Университетская
библиотека»:**

Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева,

М.Л. Андреев, В.И. Бахмин,
М.А. Веденяпина, Е.Ю. Гениева,
Ю.А. Кимелев, А.Я. Ливергант,
Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер, А.В. Поletaев,
И.М. Савельева, Л.П. Репина,
А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов

«University Library» Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail
Andreev, Vyacheslav Bakhmin, Maria
Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances

Pinter, Andrey Poletayev, Irina Savelieva, Lorina
Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Данное издание
осуществлено при поддержке
Фонда «Прагматики культуры».
Фонд создан в интересах содействия
деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства,
просвещения и духовного
развития личности.

Академия исследований культуры

Норберт Элиас

О процессе цивилизации

Социогенетические и психогенетические исследования

Том 2

Изменения в обществе Проект теории цивилизации

Norbert Elias

Über den Prozess der Zivilisation

Basel, 1939

Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen

Bd. II

Wandlungen der Gesellschaft

Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation



Университетская библиотека

Социология

Университетская книга Москва - Санкт-Петербург 2001

ББК 60.5 Редакционная коллегия серии:

УДК 1/14

Э 46 Л.В. Скворцов (председатель), И.И. Блауберг, В.В. Бычков, П.П. Гайденок, В.Д. Губин, П.С. Гуревич, Ю.Н. Давыдов, Г.И. Зверева, Л.Г. Ионин, Ю.А. Кимелев, И.В. Кондаков, О.Ф. Кудрявцев, С.В. Лёзов, Н.Б. Маньковская, В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Мостова, А.П. Огурцов, Г.С. Померанц, А.М. Руткевич, И.М. Савельева, М.М. Скибицкий, П.В. Соснов, А.Г. Трифонов, А.Л. Ястребицкая

Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я. Левит

Редакционная коллегия тома:

Научный редактор О.Ю. Бойцова

Переводчик А.М. Руткевич

Художник П.П. Ефремов

Э 46

Норберт Элиас. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 382 с. — («Книга света»).

ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света) ISBN 5-94483-008-5

Норберт Элиас (1897-1990) — немецкий социолог, автор многочисленных работ по общей социологии, по социологии науки и искусства, стремившийся преодолеть структуралистскую статичность в трактовке социальных процессов. Наибольшим влиянием идеи Элиаса пользуются в Голландии и Германии, где существуют объединения его последователей.

В своем главном труде «О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования» (1939) Элиас разработал оригинальную концепцию цивилизации, соединив в единой теории социальных изменений многочисленные данные, полученные историками, антропологами, психологами и социологами изолированно друг от друга. На богатом историческом и литературном материале он проследил трансформацию психологических структур, привычек и манер людей западноевропейского общества начиная с эпохи Средневековья и вплоть до нашего времени, показав связь этой трансформации с социальными и политическими изменениями, а также влияние этих процессов на становление тех форм поведения, которые в современном обществе считаются «цивилизованными» и «культурными».

Адресуется широкому кругу читателей, интересующихся проблемами истории культуры, социологии и философии.

ISBN 5-94483-008-5

ББК 60.5

© С.Я. Левит, составление серии, 2001

© А.М. Руткевич, перевод, 2001

© Университетская книга, 2001

Часть третья. О социогенезе западной цивилизации

Глава I. О придворном обществе

1

Борьба между дворянством, церковью и князьями за власть и доходы идет на протяжении всего Средневековья. В течение XII—XIII вв. появляется еще одна группа, новый участник этой борьбы — привилегированная часть городских жителей, «буржуа». Общий ход этой не прекращающейся борьбы и распределение власти между ее участниками очень различаются от страны к стране. Но с точки зрения структурных изменений, к которым она привела, исход данной борьбы был почти повсюду одинаковым: во всех крупных континентальных странах (на какое-то время и в Англии) власть в конечном счете оказалась сконцентрирована в руках князей и их представителей — причем власть эта распространялась на все сословия. Автаркия множества политико-экономических единиц, участие в управлении страной разных сословий шаг за шагом уходят в прошлое, и на короткое или долгое время устанавливается и укрепляется диктаторская, или «абсолютная», власть одного лица, стоящего на вершине социальной и политической иерархии. Во Франции, в Англии и в принадлежащих Габсбургам землях это — власть короля; в немецких и итальянских землях — территориальных государей.

2

У нас есть более чем достаточно свидетельств того, как французские короли — от Филиппа Августа до Франциска I и Генриха IV — увеличивали свою власть, как в Бранденбурге курфюрст Фридрих Вильгельм теснил сословные представительства земель, как Медичи во Флоренции отодвигали на задний план патрициев и городской совет, а Тюдоры в Англии — дворянство и парламент. Повсюду мы видим отдельных деятелей с их слабыми и сильными сторонами. Такой подход, несомненно, можно считать в определенной степени плодотворным, и в таком измерении история неизбежно выступает как мозаика отдельных действий неких индивидов.

Однако речь нужно вести все же не о случайности практически одновременного появления целого ряда крупных историчес-

7

ких личностей и не о случайных победах отдельных государей и князей над отдельными сословиями, достигнутых во многих странах примерно в одно и то же время. Принято говорить о веке абсолютизма, и не без оснований. В изменении формы господства находит свое выражение структурное изменение западного общества в целом. Не только отдельные короли обрели власть, но сам социальный институт королевской или княжеской власти обрел больший вес в процессе постепенного преобразования всего общества. Этот прирост власти дал ее носителям или их представителям и слугам определенные шансы.

С одной стороны, можно спросить, как протекал этот процесс с точки зрения «абсолютизма», как тот или иной деятель добивался господства, как он или его наследники приумножали или теряли захваченную власть.

С другой стороны, можно поднять вопрос об общественных изменениях, послуживших причиной того, что средневековый институт королевской или княжеской власти в определенные столетия принял именно такой характер, что обусловило увеличение его власти, обозначаемое словами «абсолютизм» или «неограниченная монархия». Какое строение общества, какое развитие человеческих отношений сделали все это возможным на более или менее долгое время?

Ответ на оба эти вопроса предполагает работу с примерно одним и тем же материалом. Но лишь второй из них выводит нас на тот уровень исторической действительности, на котором разыгрывается процесс цивилизации.

Нельзя считать случайным совпадением, простой временной рядоположенностью то, что в века, когда королевские и княжеские функции приобретали свой абсолютистский облик, все более ощутимыми становились и рассмотренные выше обуздание и сдерживание аффектов, — т.е. все ярче проявлялись плоды процесса «цивилизации» человеческого поведения. В подобранных нами цитатах, приводившихся в первом томе в качестве свидетельств этой трансформации поведения, уже встречались тексты, показывающие, насколько тесно это изменение было связано с формированием иерархической структуры, на вершине которой стоял государь с окружающим его двором.

3

Начиная примерно с того времени, что мы называем «Возрождением», в ходе движения, постепенно — возникнув где раньше, где позже, и порою идя на спад, — захватившего всю Европу, двор, место пребывания государя, приобрел новый облик и получил новое значение в западном обществе.

В процессе трансформации того времени королевские дворы все больше становятся теми центрами, где вырабатывается но-

8

вый стиль Запада. Во время предшествовавшей фазы развития они разделяли эту функцию — в зависимости от соотношения сил — то с церковью, то с городами, то с раскиданными по всей стране дворами крупных вассалов и рыцарей. Иногда эта функция вообще переходила к другим центрам. Да и позже в немецких

землях (особенно в протестантских) двор делил эту функцию с университетом, как местом формирования княжеских чиновников. Но в романских странах, во всех католических землях (как можно предположить, учитывая, что это предположение требует проверки) таким центром становится двор. Придворное общество получает роль контрольной инстанции, задающей модель человеческого поведения, далеко превосходя в этой своей функции и университет, и все прочие социальные формации этой эпохи. Эта роль еще далеко не однозначна во времена флорентийского раннего Возрождения, обычно связываемого с такими именами, как Мазаччо, Гиберти, Брунеллески и Донателло; она куда заметнее в эпоху так называемого итальянского Высокого Возрождения; и наконец, совершенно очевидна в эпохи барокко и рококо, в полной мере проявляясь во времена Людовика XV и Людовика XVI и даже усиливаясь в переходный период, уже окрашенный чертами индустриально-буржуазной эпохи, — ампир, как и его предшественники, является чисто придворным стилем.

При дворе формируется своеобразное общество, некая форма интеграции людей, для которой в немецком языке нет специального слова, точно передающего ее смысл; видимо, потому, что в Германии почти никогда, вплоть до конца Веймарской республики, как переходной формы, придворное общество не было сконцентрировано вокруг единого центра. Немецкий термин «gute Gesellschaft», или просто «Gesellschaft», употребляемый в смысле французского «monde», в отличие от аналогичных французских и английских понятий не обладал четко определенным значением, как не было четко очерченных характеристик и у стоявшего за ним общественного образования. В отличие от немцев, французы ясно говорят о «société polie»; в том же смысле употребляются французское «bonne compagnie» или «gens de Cour», английское «society».

4

Служившее эталоном придворное общество сложилось, как известно, во Франции. Из Парижа по всему западному миру распространялись одинаковые для всех формы общения, манеры, вкусы. На одном и том же языке долгое время говорили все дворы Европы. Это происходило не только потому, что Франция была самой могущественной страной того времени. Распространение образцов поведения в такой форме было возможно лишь

9

потому, что оно повсюду сопровождалось сходной трансформацией европейского общества, в результате которой возникали аналогичные социальные формации, типы общества и формы общения. Абсолютистско-придворная аристократия других стран перенимала у наиболее богатой, могущественной и более других централизованной страны того времени то, что отвечало ее собственным запросам: утонченные нравы и язык как средство фиксации отличия высшего слоя от всех прочих слоев. Во Франции представители придворной аристократии находили в уже сформированном виде то, что — в силу сходного социального положения — отвечало их собственным идеалам: образцы поведения людей, умеющих себя подать и владеющих такими оттенками форм обращения, приветствия, таким выбором словесных выражений, которые точно помечали отношения к ниже- и вышестоящим, т.е. людей, воплощавших в себе «distinction» и «цивильность». Различные государи в перенятом французском этикете и парижском церемониале нашли инструмент для выражения своего достоинства, орудие для того, чтобы сделать зримой общественную иерархию, показать всем прочим, в том числе и самому придворному дворянству, степень зависимости от верховного правителя.

5

Здесь также не достаточно изучения отдельных, рассматриваемых изолированно друг от друга феноменов, встречающихся в различных странах. Новый подход и новое понимание становятся возможными тогда, когда мы во множестве отдельных дворов стран Запада будем видеть единый орган европейского общества с относительно единой системой нравов и обычаев. Нельзя ограничиться тезисом, что на исходе Средних веков то здесь, то там постепенно начинает формироваться придворное общество; это — возникновение охватывающей весь Запад придворной аристократии с центром в Париже. Данный центр имеет филиалы во всех прочих дворах, а также «отростки» в иных кругах, притязающих на принадлежность к «свету», «обществу», — т.е. прежде всего в верхушке буржуазии, а отчасти и в более широких ее слоях.

Люди, принадлежавшие к этому обществу (взятому во всех его многочисленных ответвлениях), по всей Европе говорили на одном языке — сначала по-итальянски, затем по-французски. При всех различиях в нюансах, определяемых их положением, они читали одни и те же книги, у них были одни и те же вкусы, те же самые манеры и один стиль жизни. Несмотря на все политические расхождения и все войны, которые они вели друг с другом, раньше или позже они единодушно устремлялись в свой центр, в Париж. Социальная коммуникация между дворами, т.е.

10

в пределах придворно-аристократического общества, долгое время оставалась значительно более тесной, чем коммуникация и контакты между придворным обществом и иными слоями в пределах одной страны; это находило свое выражение в общем для всех дворов языке. Лишь с середины XVIII в. — в одних странах раньше, в других позже — вместе с подъемом средних слоев и постепенным смещением социального и политического центра от дворов к различным национальным буржуазным обществам контакты между придворно-аристократическими обществами разных наций начинают ослабевать, хотя и тогда не исчезают бесследно. Французский не без ожесточенной борьбы уступает место национальным языкам, т.е. языкам

буржуазии, причем этот процесс затрагивает и высший свет. Само придворное общество все более дифференцируется, уподобляется обществам буржуа, в особенности после того, как в результате французской революции аристократическое общество окончательно лишается своей роли центра. Национальная форма интеграции начинает доминировать над сословной.

6

Когда мы пытаемся определить общественные традиции, задавшие общую тональность и определявшие глубинное единство различных национальных традиций Запада, то следует обращать внимание не только на христианскую церковь и общее для всех них римско-латинское наследие. Перед нами должна предстать картина последней донациональной общественной формации, возникшей в тени уже начавшейся национальной дифференциации западного общества. Здесь были созданы модели мирного общества, которые вместе с трансформацией европейского общества, начиная с конца Средневековья, постепенно распространились на все слои. Здесь грубые привычки, дикие и необузданные нравы средневекового общества с его воинственным (вследствие полной опасностей жизни) высшим слоем стали «смягчаться», «шлифоваться» и «цивилизироваться». Давление придворной жизни, конкуренция за благосклонность князя или иных «великих мира сего», а затем необходимость отличать себя от других при помощи сравнительно мирных средств и, конечно, интриги и дипломатия, как орудия борьбы за жизненные шансы — все это принуждало сдерживать аффекты, стимулировало «самодисциплинирование», «self-control». Это привело к своеобразной придворной рациональности. Оппозиционная буржуазия XVIII в. — особенно в Германии, но также и в Англии — видела в придворном прежде всего рассудочного человека.

Именно здесь, в этом донациональном придворно-аристократическом обществе была сформирована или начала оформляться часть тех требований и запретов, которые донныне ощущают-

11

ся как нечто общее для всего западного мира. Они привели к тому, что все западные народы, несмотря на все различия, оказались наделенными общими чертами — признаками особой цивилизации.

В первом томе на многочисленных примерах было показано, что постепенное формирование абсолютистско-придворного общества вело к трансформации влечений и поведения высшего слоя в сторону «цивилизации». Иногда мы уже наблюдали, что это усиливающееся обуздание и регулирование влечений происходило параллельно с усилением социальных связей, с ростом зависимости дворянства от государя, находящегося в центре, от королей и князей.

Как возникают эти связи и эта зависимость? Почему на место верхнего слоя относительно независимых воинов или рыцарей приходит слой придворных, в той или иной степени прекративших враждовать друг с другом? Почему шаг за шагом отступают на задний план сословные формации, имевшие право на участие в государственных делах, но на протяжении Средних веков и в начале Нового времени все более отстраняемые от этого участия? Почему раньше или позже во всех странах Европы на вершине остается одно лицо с диктаторскими полномочиями, с «абсолютной» властью, с принудительным придворным этикетом, которое из единого центра принуждает к миру друг с другом большие и малые уделы страны? Социогенез абсолютизма действительно занимает ключевое положение в целостном процессе цивилизации. Становление форм цивилизованного поведения и соответствующая перестройка сознания и аффектов остаются непонятными без рассмотрения процесса образования государств. Именно по этому процессу мы можем проследить прогрессирующую централизацию общества, поначалу нашедшую свое самое яркое выражение в абсолютистской форме господства.

Глава II. О социогенезе абсолютизма: краткий предварительный обзор темы

1

Ряд важнейших механизмов, позволивших одному из уделов к концу Средневековья постепенно сконцентрировать и увеличить центральную власть, для начала можно описать в нескольких словах. Эти механизмы примерно одинаковы во всех крупных западных странах. Особенно ясно и однозначно их можно наблюдать на примере развития французского королевства.

В Средние века постепенное увеличение денежного сектора экономики за счет натурального в какой-либо из областей имело различные последствия для большей части дворян-воинов, с одной стороны, и для короля или князя, владевшего данной областью, — с другой. Чем больше денег находилось в обращении в этих землях, тем выше становились цены. Все слои, чьи заработки не возрастали в той же пропорции, все лица с фиксированным доходом оказывались в проигрыше, в том числе и феодальные сеньоры, получавшие со своих владений постоянную ренту.

В выигрышном положении оказались лишь те лица, кто выполнял общественные функции и мог увеличивать доходы в соответствии с новой ситуацией. К ним относились некоторые группы буржуа; но прежде всего это был король, государь, занимавший центральное положение. В его руках находился аппарат налогообложения, с помощью которого он получал свою часть растущего богатства. Он мог забирать часть любого заработка, а потому по мере роста денежного обращения его доходы необычайно возросли.

Этот механизм не сразу был осознан заинтересованными лицами — лишь сравнительно поздно он стал принципом внутренней политики центральных властей. Но на его основе занимающий центральное место государь чуть ли не автоматически получал в свое распоряжение все увеличивающиеся доходы. Это было

одной из предпосылок того, что институт королевской или княжеской власти постепенно приобрел характер власти абсолютной и неограниченной.

2

Пропорционально росту финансовых шансов росли и военные шансы тех, кто выполнял функцию центральной власти. Тот, кто

13

собирал налоги со всей страны, был в состоянии нанять большее число воинов, чем кто-либо другой; в то же время он становился относительно независимым от исполнения его вассалами воинской повинности, к которой тех обязывало ленное владение.

Этот процесс, как и прочие, начался очень рано и лишь по прошествии долгого времени привел к образованию прочных институтов. Еще Вильгельм Завоеватель отправился в Англию с войском, отчасти состоявшем из ленников, отчасти — из рыцарей-наемников. Должны были пройти века, прежде чем на службе у государей возникло постоянное войско. Предпосылкой этого, помимо плывущих в руки налогов, было избыточное предложение услуг людей, готовых служить, — диспропорция между количеством людей и числом предлагаемых «jobs», в наши дни получившая название «безработицы». Страны, где наблюдался избыток такого рода предложений, например Швейцария и некоторые районы Германии, поставляли наемников всем тем, кто был способен платить. По способам вербовки, использовавшимся впоследствии Фридрихом Великим, можно было увидеть, как мог князь, не обладавший необходимым ему для военных целей количеством людей, решить стоявшую перед ним проблему. Во всяком случае, военное превосходство росло параллельно с финансовым и было второй решающей предпосылкой «неограниченности» той власти, что получал государь.

Вслед за этим последовали изменения в военной технике, способствовавшие закреплению этого пути развития. Возникновение и совершенствование огнестрельного оружия дало преимущество массе простолюдинов-пехотинцев над ограниченным числом благородных всадников. Это также служило целям центрального аппарата власти.

Король Франции, который еще во времена ранних Капетингов был немногим больше, чем просто бароном, одним из территориальных властителей наряду с прочими (причем даже менее могущественным, чем иные из них), вместе с ростом доходов получил также и шансы на превосходство над всеми военными силами страны. То, какой из княжеских домов в том или ином случае завладевал королевской короной, зависело от целого ряда факторов, включая и личную одаренность отдельных лиц, и даже просто случай. Но рост финансовых и военных шансов королевской функции происходил независимо от воли отдельных осуществляющих ее лиц и не был обусловлен одаренностью конкретных личностей; здесь мы имеем дело со строгой закономерностью, обнаруживаемой повсюду и при любом непредвзятом наблюдении за общественными процессами.

Этот рост шансов, находящихся в распоряжении центральной власти и обусловленных ее функцией, был также предпосылкой процесса принудительного установления мира и усмирения различных уделов, направляемого из единого центра.

14

3

Обе линии развития, способствовавшие усилению центральной власти, неблагоприятно сказывались на старом средневековом воинском сословии. У него не было прямого доступа к растущему сектору денежной экономики. Представителям этого сословия наличие новых шансов ничего непосредственно не дало. Им досталась только девальвация, они хорошо ощутили рост цен. Было подсчитано, что состояние, оценивавшееся в 1200 г. в 22 тыс. франков, в 1300 г. стоило 16 тыс., в 1400 г. — 7,5 тыс., а в 1500 г. — 6,5 тыс. франков. В шестнадцатом столетии обесценивание ускорилося, и стоимость этого имущества упала до 2,5 тыс. франков. А процессы, что в том столетии наблюдались во Франции, характерны и для всей Европы^{1*}.

Движение, начавшееся задолго до того в Средние века, в XVI в. стало особенно интенсивным. В период, прошедший со времен правления Франциска I и до 1610 г., французские деньги обесценились в пропорции 100 к 19,67. Значение такого развития для перестройки общества было большим, чем о том можно рассказать в нескольких словах. Вместе с увеличением количества денег в обращении развивалась торговля, росли доходы буржуа и центральной власти, падали доходы дворянства. Кто-то из рыцарей влачил жалкое существование, другие занялись разбоем и насильственным захватом того, что уже невозможно было получать миром. Некоторые еще держались на плаву, постепенно распродавая свои земли, а немалая часть рыцарей под давлением обстоятельств пошла на службу королям и князьям, способным ее оплачивать. Таковы были шансы, предлагаемые экономикой военному сословию, лишенному доступа к перспективам, появившимся с ростом денежного оборота и развитием торговли.

4

Как уже было сказано, к неблагоприятным для дворянства последствиям привело и развитие военной техники. Инфантерия, презренная пехота, стала важнее конницы. Это подорвало не только военное превосходство средневекового воинского сословия, но также его монополию на владение и пользование оружием. Прежде только благородные, только дворяне были воинами; или, если «перевернуть» это

высказывание, все воины были благородными, дворянами. Теперь дворянин становится в лучшем случае получающим плату офицером в войске, состоящем из

* Здесь и далее цифрами обозначены ссылки, принадлежащие перу Н. Элиаса и помещенные в примечаниях в конце каждой главы. Иноязычные тексты, перевод которых дан в «Приложении» в конце тома, отмечены цифрой со скобкой. — *Прим. ред.*

15

плебеев. Монополия на оружие и военную власть перешла от всего дворянского сословия к одному из его представителей, князю или королю. Он мог оплачивать самое большое войско, получая налоги со всего удела. Тем самым большая часть дворянства из свободных воинов или рыцарей превратилась в наемников или офицеров, состоящих на службе у государя.

Таковы некоторые важнейшие структурные линии этой трансформации.

5

Ко всему вышесказанному нужно добавить следующее: вместе с ростом денежного сектора экономики дворянство теряло общественную силу, при этом росла власть буржуазных слоев. Но ни одно из этих сословий не располагало достаточной силой, чтобы взять верх над другим. Между ними сохранялось постоянное напряжение, время от времени вспыхивала борьба. Правда, линия фронта была довольно сложной и отличалась от случая к случаю. По тому или иному поводу возникали временные союзы отдельных слоев дворянства и буржуазии; имелись переходные формы и даже происходило смешение двух сословий. Но как бы то ни было, рост, полнота и неограниченность власти, осуществляемой центральным аппаратом, зависели от наличия и сохранения напряженных отношений между дворянством и буржуазией. В качестве структурной предпосылки абсолютной монархии выступало отсутствие превосходства, принадлежащего какому-либо сословию или какой-либо группе одного из них. Поэтому представители абсолютистского центра все время поддерживали подвижное равновесие между разными сословиями и группами. Там, где оно терялось, одна из групп или какой-то слой становились слишком сильны; там, где дворянские и верхушечные буржуазные группы вступали хотя бы во временный союз, сразу для неограниченной власти центра возникала сильнейшая угроза, вплоть до того, что она вообще могла оказаться обреченной на гибель, как это и произошло в Англии. Поэтому среди правителей мы видим тех, кто защищает и выдвигает на первый план интересы буржуа, когда дворянство кажется слишком сильным, а потому опасным; но затем появляются следующие государи, склоняющиеся на сторону дворянства, поскольку оно чрезмерно ослабло, в то время как буржуазия усилилась и обнаглела. Но ни те, ни другие не упускали это равновесие из виду. Отдавали себе в том отчет абсолютные монархи или нет, но они вели игру с помощью общественного аппарата, что был создан не ими. Напротив, их социальное существование зависело от наличия и функционирования данного аппарата. И они зависели от той социальной закономерности, «от имени» которой они выступали. Раньше или позже такая закономерность, соци-

16

альная структура такого рода все равно возникала; она выступала в многообразных формах и видоизменялась, но присутствовала почти во всех западных странах. Ее очертания наблюдатель может в полном виде узреть лишь в том случае, если ему удастся рассмотреть процесс образования этой структуры на конкретном примере. В качестве такого примера мы возьмем Францию — страну, где этот процесс развития в определенную эпоху шел прямолинейно.

Примечание

¹ *Thompson J. W. Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages (1300-1530). N.Y.-L., 1931. P. 506-507.*

Глава III. О механизме общественного развития в Средние века

I. О механизмах феодализации

1. Введение

1

Если соизмерить силу центральной власти во Франции, в Англии и германском рейхе где-то в середине XVII в., то французский король выглядит чрезвычайно сильным в сравнении с английским королем и особенно с немецким кайзером. Но эта констелляция является результатом очень долгого развития.

К концу каролингской эпохи, к началу времен Капетингов, мы обнаруживаем чуть ли не противоположное соотношение. В то время немецкий кайзер обладал более сильной властью, чем французский король, а Англии еще только предстояли объединение страны и реорганизация управления под властью норманнов.

В немецком рейхе с этого времени центральная власть начинает все более и более ослабевать (пусть с некоторыми отступлениями от этой тенденции).

В Англии со времен норманнского завоевания временные отрезки, характеризующиеся сильной королевской властью, чередуются с периодами усиления сословной или парламентской власти.

Во Франции приблизительно с начала XII в. королевская власть — при кратковременных отступлениях — постоянно растет. Непрерывная линия власти ведет от Капетингов через Валуа к Бурбонам.

Нет никаких оснований для того, чтобы изначально предполагать, что появление подобных различий неизбежно. Мы видим, как во всех трех странах идет медленное укрепление связей между землями. Поначалу эти связи между областями, союзы которых в дальнейшем превратятся во «Францию», «Германию», «Италию» или «Англию», являются сравнительно слабыми. Недостаточно велика их спаянность, а собственная сила отдельных областей еще мало способствует общей силе единого социального организма, взаимобмену общественных сил. На этой стадии развития периоды подъема даже в большей степени зависят от удач или неудач отдельных лиц, от их личных способностей,

18

симпатий и антипатий, а то и просто от «случая», нежели от социального сплетения структур будущих «Англии», «Германии» или «Франции», наделенных собственным весом и влиянием. Первоначально траектория исторического развития еще сильнее образом определяется факторами, которые не кажутся необходимыми, если взглянуть на них с точки зрения возникшего впоследствии единства¹. Затем, по мере роста взаимосвязей между увеличивающимся числом областей и между людскими массами, постепенно заявляют о себе закономерности, ограничивающие произвол, капризы и интересы отдельных властителей и даже некоторых групп. Только тогда в развитии этих социальных объединений закономерности начинают доминировать над случайностями или, по крайней мере, оказывают влияние на последние.

2

Изначально ничто не предвещало того, что одно герцогство — «Isle de France» — неизбежно станет основой кристаллизации всей нации. Области юга Франции были более тесно связаны с севером Испании и с пограничными итальянскими областями, нежели с районом Парижа. Существенными оставались различия между старыми кельто-римскими областями «Прованса», где господствовал «langue d'oc», с одной стороны, и землями «langue d'oïl», где было более сильное присутствие франков, — прежде всего речь идет о землях к северу от Луары, а также Пуату, Берри, Бургундии, Сантонже и Франш-Конте, — с другой². Границы царства западных франков, установленные Верденским (843 г.) и Мерсенским (870 г.) договорами, выглядели совсем иначе, чем границы между теми территориями, что постепенно превратились во «Францию», «Германию» или «Италию».

По Верденскому договору восточной границей государства западных франков служила линия, идущая от Лионского залива на юге по западному берегу Роны к окрестностям Гента. Лотарингия и Бургундия (за исключением герцогств, расположенных к западу от Соны), равно как Арль, Лион, Трир и Мец, лежали за пределами западнофранкского государства, тогда как в его границах еще оставалось графство Барселона³.

Мерсенский договор сделал на юге границей между западным и восточным франкскими государствами Рону; затем граница шла по Изеру, а чуть дальше на север — по Мозелю. Тем самым Трир и Мец оказались пограничными городами, а еще дальше на север таковым был Мерсен, от которого и получил свое название договор. Заканчивалась пограничная линия устьем Рейна, т.е. недалеко от южной Фризии.

Однако разделяли эти границы еще не государства, не народы или нации, если под ними понимать какое-то единое, замк-

19

нутое и стабильное социальное образование. Государства, народы, нации только начинали свое становление. При рассмотрении крупных уделов, характерных для той фазы развития общества, первым делом в глаза бросается отсутствие стабильности в их существовании, а также наличие центробежных сил, способствующих их распаду.

Каковы эти центробежные силы? Какие особенности строения данных образований питали эти силы? Какие изменения, происшедшие в строении общества на протяжении XV, XVI и XVII вв., смогли противостоять всем центробежным силам и придать этим территориям большую стабильность?

2. Центростремительные и центробежные силы в средневековом аппарате господства

3

Огромная империя Карла Великого была собрана путем завоеваний. Конечно, не единственной, но первоначальной функцией непосредственных предшественников Карла, да и его самого, была функция победоносного военного вождя, способного завоевать территорию и сохранить за собой завоеванное. Именно эта функция лежала в основе его королевской власти, его престижа и общественной силы.

Карл распорядился завоеванными и удержанными странами как военный вождь. Как победоносный князь он наделял следовавших за ним воинов землей. А благодаря своему авторитету ему всегда удавалось собрать войско, даже после того, как воины, получив наделы, оседали в своих имениях.

Император и король не мог в одиночку «сторожить» все свое царство; он посылал доверенных лиц и слуг в провинции, чтобы те наблюдали за сбором налогов, заботились об исполнении его воли и карали противящихся ей. Он оплачивал эту службу не деньгами; на этой фазе деньги, конечно, были в ходу, но в ограниченном объеме. По большей части он расплачивался непосредственно землями, пашнями, лесами и скотом, на основе которых создавались хозяйства и дворы. Имперские графы, герцоги — или как бы еще ни назывались представители центральной власти, — все они, вместе со своей дружиной, кормились с земли. На нее они были посажены, ею они были вознаграждены властью. Аппарат господства на данной фазе общественного развития по своей экономической структуре имел иной характер, чем он приобрел в те

времена, когда появились «государства» в более точном смысле слова. Как верно сказано об этой фазе, «чиновники были землевладельцами, которые лишь на опреде-

20

ленный срок или в чрезвычайных обстоятельствах имели дело со "службой". Скорее, они напоминали помещиков, наделенных полицейскими и судебными функциями»⁴. К этим полицейским и судебным функциям добавлялась функция военная: они были воинами и, в случае военной угрозы, командовали своей личной дружиной и всеми прочими землевладельцами той области, что была дана им королем. Словом, у них в руках объединялись все функции власти.

Этот своеобразный аппарат господства служит примером разделения труда и дифференциации, существовавших на данной фазе развития общества. Уже в силу своего строения он вновь и вновь порождал весьма характерные противоречия. Благодаря его функционированию воспроизводились типичные последствия, повторявшиеся раз за разом лишь с незначительными модификациями.

4

Тот, кому были доверены земля и властные полномочия, кто по-господски распоряжался дарованным уделом, для того чтобы кормиться с него самому, кормить своих людей и защищать свои владения, был уже мало связан с центром, по крайней мере, до тех пор пока не появлялся сильный внешний враг. Поэтому стоило центральной власти проявить хоть малейшие признаки слабости, как сам он или его наследники начинали открыто демонстрировать свои права на власть над когда-то врученным им наделом и свою независимость от центра.

Столетиями мы наблюдаем одни и те же тенденции и фигуры в этом аппарате господства. Прежние властители, племенные вожди или герцоги, всегда были опасны для центральной власти. Князья или короли, завоевавшие новые земли, поначалу успешно справляются с внутренней угрозой своей власти. На место племенных князьков они ставят доверенных лиц, родственников или слуг, представляющих власть государя в этих областях царства. Но затем, через короткое время, иногда на протяжении одного поколения, все повторяется. Представители центра, когда-то делегированные в данные земли и поставленные на место их властителя государем, ищут все возможности для того, чтобы лишить его права распоряжаться этими землями, начинают сами распоряжаться ими как наследуемой собственностью, как уделом, принадлежащим исключительно им самим.

Таковы «*coignes palatii*», имперские графы, желавшие стать независимыми правителями своих уделов; само это латинское слово еще несет память о том, что когда-то они были смотрителями королевского дворца; таковы маркграфы, герцоги, бароны или королевские министерялы. Располагавшие военной силой короли-завоеватели рассылали по стране своих уполномочен-

21

ных. А затем эти уполномоченные или их наследники вели борьбу с центральной властью уже как племенные или удельные князья. Они стремились добиться права наследственного владения, фактической независимости своего удела, дарованного им первоначально как лен.

Со своей стороны, короли были вынуждены делегировать административную власть над составными частями царства другим лицам. Учитывая организацию военного дела, хозяйства, транспорта, у них просто не было выбора. Общество не предоставляло им такого количества денег, собираемых в виде налогов, чтобы они могли содержать войска из наемников либо оплачивать службу чиновников в удаленных землях и тем самым сохранять их зависимость от центра. В качестве жалованья или вознаграждения они могли предложить своим посланникам только лен, только землю, чтобы те в качестве представителей центральной власти на местах оказались сильнее прочих воинов или землевладельцев этого удела.

Никакие клятвы ленников, никакие уверения вассалов в своей верности не удерживали их от борьбы за независимость от короны за присвоение доставшихся в их распоряжение уделов. Эта борьба начиналась всякий раз, как только у бывших уполномоченных появлялась возможность использовать для своей выгоды взаимную зависимость государя и его вассалов. Эти племенные князьки или феодалы располагают землей, которой их некогда наделил король. За исключением случаев внешней опасности они уже не нуждаются в короле. Они всеми силами пытаются присвоить себе его властные функции. Когда же возникает нужда в центральном правителе, когда вновь заявляет о себе функция короля как военного предводителя, начинается попятное движение. А затем, даже если он преуспел в войне, начинается тот же самый процесс. Силой своего меча и угрозой его применить король снова получает в свое распоряжение уделы и снова может их делить. Таковы постоянные фигуры или процессы, образующие механизм развития западного общества в раннем Средневековье. С некоторыми модификациями они иной раз заявляют о себе и в последующие времена.

5

Примеры подобных процессов можно и сегодня наблюдать за пределами Европы в обществах со сходной социальной структурой. Развитие Абиссинии демонстрирует множество таких фигур, даже если в последние годы они видоизменялись под влиянием притока денег и под воздействием европейских институтов. Возвышение Раса Тафари, превращение его в императора всей Абиссинии было возможно лишь посредством военного свержения могущественных удельных властителей. А его неожиданно скорое поражение в борьбе с Италией было не в послед-

22

ную очередь обусловлено усилением центробежных тенденций, которое в этом феодальном царстве с преобладанием натурального хозяйства произошло сразу же, стоило государю не справиться со своей важнейшей задачей — обороной от внешнего врага. Он не сумел сразу решить ее и тем самым показал себя «слабым».

В западной истории признаки такого механизма обнаруживаются еще в меровингскую эпоху. Уже здесь видно «начало того развития, когда высшие чиновники империи становятся наследственными властителями»⁵. Уже к этому времени может относиться следующее суждение: «Чем большей была фактическая власть, хозяйственная и социальная опора у такого должностного лица, тем меньше мог король даже думать о том, чтобы после смерти чиновника забрать этот пост и отдать его кому-либо, не принадлежащему к семье последнего»⁶. Иными словами, большая часть царства переходила из-под власти государя в распоряжение удельных правителей.

Эти процессы еще яснее проступают в каролингскую эпоху. Карл Великий, подобно абиссинскому императору, по возможности истреблял старых местных герцогов и ставил на их место своих «служилых людей», графов. Когда произвол этих графов и их фактическая власть над уделами стали совершенно очевидны, — а это произошло еще при жизни Карла, — для надзора за ними он поставил новую группу людей из своего окружения. Это были королевские посланники, «*missi dominici*». Уже при Людовике Благочестивом функция графа становится наследуемой. Последовавшие за Карлом императоры «уже не могли более противостоять притязаниям на наследование и были принуждены их признавать»⁷. Утрачивает смысл и сам институт королевских посланников. Людовик Благочестивый уже вынужден отзывать «*missi dominici*» из тех уделов, за коими те должны были следить. Он не обладал военным престижем Карла Великого, и в его царствование с полной силой обнаруживаются центробежные тенденции, сказывающиеся на социальной организации империи. Эти тенденции впервые достигают апогея при Карле III, который в 887 г. не смог удержать внешнего врага, датских норманнов, вдали от Парижа силой меча и едва добился этого с помощью золота. Характерно и то, что с пресечением прямой линии престолонаследования корону захватывает Арнульф Каринтийский, внебрачный сын Карломана, племянника Карла Толстого. Сначала он показал себя как предводитель войска в пограничных сражениях с чужеземными племенами. Затем, заняв главенствующую роль в Баварии, он выступает против слабого императора и быстро получает признание других племен — восточных франков, тюрингов, саксов и швабов. Именно в качестве военного вождя в подлинном смысле этого слова его и делает королем военное дворянство немецких племен⁸. Вновь прямо заяви-

23

ла о себе легитимирующая и наделяющая властью сила, которой в этом обществе была наделена функция короля. В 891 г. Арнульфу удалось остановить норманнов под Лувеном и на Дайле. Но стоило ему однажды проявить нерешительность и не выступить во главе войска, как тут же последовала реакция — в его наскоро сколоченном царстве взяли верх центробежные силы. Как заметил хронист того времени, «*ille diu morante, multi reguli in Europa vel regno Karoli sui patruelis excrevere*»⁹, — пока он медлит со вступлением в бой, по всей Европе тут же оживляются мелкие короли. В приведенных словах хрониста одним предложением образно выражена социальная закономерность, налагавшая свой отпечаток на весь ход развития европейского общества на данной фазе.

Движение вновь поворачивается вспять при первых саксонских кайзерах. То, что корона империи достается именно саксонским герцогам, вновь ясно указывает на важнейшую функцию государя в этом обществе. С востока саксонцев очень сильно теснили негерманские племена, и их герцоги поначалу должны были оборонять свою собственную территорию. Но тем самым они защищали и все остальные немецкие племена. Генриху I в 924 г. удается добиться перемирия с наступающими венграми; в 928 г. он сам вторгается в Бранденбург; в 929 г. основывает пограничную крепость Мейсен; в 933 г. наносит поражение венграм при Риате, но ему еще не удается полностью их разбить и ликвидировать опасность. В 934 г. Генрих смог восстановить границу на севере и тем самым вновь создать преграду на пути наступающих датчан¹⁰. Все это он делает прежде всего как саксонский герцог. Это — победа саксов над народами, угрожавшими их границам и вторгавшимися в их пределы. Но благодаря своим приграничным сражениям, победам и завоеваниям саксонские герцоги обрели ту воинскую силу и славу, которые помогали им преодолевать внутренние центробежные тенденции. Вместе с победами над внешним врагом они закладывали фундамент усиления внутренней центральной власти.

Генрих I сумел удержать и укрепить границы, — по крайней мере, на севере. Сразу после его смерти венды нарушают мир с саксонцами. Сын Генриха, Оттон, наносит ответный удар. В 937—938 гг. снова вторгаются венгры; их также отбрасывают за границу. А затем начинается экспансия: к 944 г. немецкие владения распространяются до Одера. Как это было всегда и остается доньше, после завоевания новых земель на них приходит церковь, служащая закреплению господства завоевателей (в те времена эта ее функция проявлялась еще сильнее, чем сегодня).

То же самое происходит на юго-востоке. В 955 г. — пока что на немецкой территории — одержана победа над венграми под Аугсбургом, на реке Лех. В целях обороны от венгров создается Восточная марка, Остмарк, ядро будущей Австрии, — ее грани-

24

ца проходила неподалеку от современного Прессбурга. К востоку от нее, на среднем Дунае, постепенно начинают вести оседлую жизнь венгры.

Этим воинским успехам соответствует укрепление внутренней власти Оттона в империи. Где только мог, он заменял ленников прежних императоров — вернее, потомков этих ленников, противостоящих ему уже в качестве глав племен и владетельных князей, — своими родственниками и доверенными лицами. Швабию он отдал под руку своему сыну Лудольфу, Баварию — своему брату Генриху, Лотарингию — своему зятю Конраду, к сыну которого, Оттону, после бунта Лудольфа перешла Швабия.

Одновременно он пытается противодействовать — причем более осознанно, чем его предшественники, — механизмам, раз за разом ослаблявшим центральную власть и разрушавшим центральный аппарат. С одной стороны, он стремится сократить размеры наделов, ослабляя тем самым влияние отдельных лиц. Наделы становятся меньше, а функции посаженных на них ленников — более ограниченными. Сначала он сам, а потом, еще решительнее, его наследники пытаются противодействовать этому механизму и с другой стороны: они наделяют властными полномочиями церковников. Лицам духовного звания, епископам, дается светская власть — власть графов. У них нет наследников, а потому можно положить конец превращению функционеров, поставленных центральной властью, в «наследственную землевладельческую аристократию», обладающую сильным стремлением к независимости.

На деле эти меры, принимаемые для противодействия силам децентрализации, со временем только приумножили эти силы. Носители духовной власти превратились в князей, светских владык. И вновь на первом плане оказался тот перевес центробежных сил над центростремительными, что заложен в самом строении этого общества. Духовные вельможи не меньше светских властителей заботились о том, чтобы сделать свой удел независимым. Как и светские владетельные князья, они не были заинтересованы в усилении центральной власти. А совпадение интересов высших духовных и мирских вельмож немало поспособствовало тому, что в немецком рейхе центральная власть долгие века оставалась слабой, а самостоятельность князей, напротив, укрепилась. Во Франции мы видим обратную картину. Там высшие духовные лица почти никогда не становились крупными светскими князьями. Епископы, чьи земли были разбросаны по владениям разных светских правителей, уже из-за потребности в защите от последних были заинтересованы в сильной центральной власти. Совпадение интересов церкви и короля оставалось стабильным, и это было немаловажным фактором, способствовавшим раннему перевесу центральной власти над центробежными тенденциями во Франции. Но поначалу это вело, со-

25

гласно общей закономерности, к еще более быстрой и радикальной дезинтеграции империи западных франков в сравнении с франками восточными.

6

Последние из западнофранкских Каролингов, как о них сообщают¹¹, сами по себе были людьми мужественными, трезвомыслящими и зачастую вполне достойными. Но они оказались в ситуации, когда на долю государя выпадало мало шансов. Их судьба со всей ясностью показывает, насколько легко нарушалось равновесие — в неблагоприятную для центра сторону.

Если отвлечься от роли государя как военного вождя, способного делить между своими сторонниками завоеванные земли, то основанием его социальной силы был его собственный домен, владение его семейства. Им он распоряжался непосредственно, с него должны были кормиться его слуги, его двор, его вооруженная дружина. В этом отношении король мало чем отличался от любого другого феодала. Но собственность западнофранкских Каролингов, их собственная «территория», была роздана вассалам за службу и после долгой борьбы распалась на части. Чтобы получать помощь воинов и награждать за нее ленами, отцы должны были раздавать свои земли. Каждая передача земель, если не было новых завоеваний, уменьшала владения их собственного дома. Но тем больше нуждались в помощи их сыновья. А эта новая помощь стоила новых земель. Наконец, у наследников вообще не осталось земель для того, чтобы расплачиваться с вассалами. Все меньше становилась дружина, которую они могли прокормить. Мы часто видим последних западнофранкских Каролингов в отчаянном положении. Конечно, их ленники должны были нести воинскую службу, но там, где поход ничего им не сулил, лишь явное или скрытое давление со стороны более сильного феодала могло заставить их выполнять эти обязанности. Чем меньше вассалов следовало за королем, тем большей становилась угроза для его власти, — а это, в свою очередь, уменьшало число вассалов. Не только отсутствие земель, но и падение военного могущества были следствиями социального механизма, подрывавшего власть Каролингов.

Людовика IV, отличавшегося личной смелостью и беспримерным мужеством в бою, иногда называют «le roi de Monloop», королем Ланским. От всего домена Каролингов ему остался лишь Лан. Последние представители этого дома уже почти не располагали войсками, чтобы отстаивать свои интересы. У них не было и земель, которые они могли бы раздать, чтобы кормить и вознаграждать своих людей¹²: «Un jour est venu, où le descendant de Charlemagne, entouré de propriétaires, qui sont maîtres de leurs domaines, n'a plus trouvé d'autre moyen de garder des hommes à son service,

26

que de leur distribuer des terres de fisc avec des concessions d'immunité, c'est à dire, pour se les attacher, des les rendre de plus en plus indépendants et pour pouvoir régner encore d'abdiquer toujours de plus en plus⁰». Все

ослабляло короля, и все то, что Каролинги делали, дабы упрочить свои позиции, в конечном счете обращалось против них.

7

Та территория, что стала в дальнейшем Францией, а в прошлом была царством западных франков, к рассматриваемому нами времени уже распалась на множество уделов. В итоге долгих столкновений между примерно равными по силе князьями установилось некое равновесие. Когда не осталось наследников Каролингов по прямой линии, из племенных властителей или удельных феодалов королем мог быть избран лишь тот, чей дом отличился в борьбе с норманнами и потому уже издавна был сильнейшим конкурентом Каролингов. Вспомним, что в землях восточных франков в этой ситуации королевская власть перешла к саксонским герцогам, успешно защищавшим страну от вторжений славян, венгров и датчан с востока и севера.

Смене власти в западнофранкском царстве предшествовала долгая борьба между домом герцогов Иль-де-Франс с последними Каролингами.

Когда Гуго Капет получил корону, его позиции уже были существенно ослаблены — французских герцогов тоже затронул процесс, приведший к закату Каролингов. Герцоги также заключали союзы и призывали на службу, расплачиваясь землей и привилегиями. Домены (и, следовательно, власть) герцогов Нормандии (к тому времени норманны осели и приняли христианство), герцогов Аквитании и Бургундии, графов Анжу, Фландрии, Верманда и Шампани были не меньше, а порой и больше, чем территория (а, соответственно, и могущество) нового королевского дома, герцога французского. А в расчет принимались именно сила и территория. Родовые владения составляли действительный базис королевской власти. И если родовые владения королевского дома были не больше, чем у других феодалов, то и власть их была ничуть не больше. Регулярные доходы они могли получать только из этого источника. С других территорий поступали разве что церковные сборы. Кроме этого, как «короли», они почти ничего не получали. А та функция, которая в немецких землях раз за разом позволяла королевскому центру преодолеть центробежные тенденции, а именно, функция короля как военного предводителя в борьбе с внешним врагом и завоевателя новых земель, в западнофранкских областях сравнительно рано отпадала. Это было одной из причин того, что распад королевского домена на уделы здесь происходит и раньше, и радикальнее, чем там. Области восточных франков значительно

27

дольше испытывали угрозу со стороны чужеземных племен. Поэтому там короли вновь и вновь выступали в роли вождей, собирающих под своей рукой разные племена для защиты от врага; тем самым они получали возможность продвигаться в новые области, захватывать новые земли и распоряжаться ими. Распределяя эти завоевания, они поначалу могли сохранять сравнительно большое число слуг и ленников, зависимых от центра.

Напротив, области западных франков, с тех пор как норманны перешли к оседлости, почти не знали серьезной внешней угрозы. В отличие от восточнофранкских областей, здесь не было свободного пространства непосредственно за границей царства, не было возможности захвата новых земель. Это ускоряло дезинтеграцию. Отсутствовали два фактора, дававших королям перевес над центробежными силами: важная роль центра в обороне и в завоевании. А так как в данном обществе лишь эти факторы связывали различные земли с центральной властью отношениями зависимости, то в распоряжении короля оставалось не намного больше, чем его собственная территория.

«Этот так называемый суверен является простым бароном, владеющим несколькими графствами по берегам Сены и Луары, что соответствуют где-то четырем или пяти нынешним департаментам. Его домен едва способен обеспечивать теоретическое величие короля. Это — не самый значительный и не самый богатый из уделов, союз которых создал сегодняшнюю Францию. Король менее могуществен, чем иные из его крупных вассалов. Как и они, он живет доходами со своих имений, получаемых с крестьян, трудом своих крепостных и "добровольными пожертвованиями" аббатств и епископов своего удела»¹³.

Действительная слабость — не отдельных королей, но королевской функции — ведет к тому, что дезинтеграция продолжается и даже ускоряется вскоре после возвышения Гуго Капета. Первые Капетинги еще путешествуют со своим двором по всей стране. Места, где были подписаны королевские грамоты, дают нам представление о том, где останавливались короли. Они еще вершат суд в поместьях других крупных феодалов. Даже на юге Франции коронованные особы обладают некоторым традиционным влиянием.

В начале XII в. наследный характер земельных владений и ничем не ограниченная самостоятельность различных уделов, в прошлом ленов короля, становятся свершившимся фактом. Пятый Капетинг, Людовик Толстый (1108-1137), был смелым и воинственным государем, ни в коей мере не «слабаком», но все же за пределами своего домена он мало что мог. Королевские грамоты показывают, что он почти не выезжал за границы своего герцогства¹⁴. Он живет в своем домене. У него уже нет дворов во владениях его крупных вассалов, а сами они почти не появляются при королевском дворе. Редкими делаются дружеские визиты, уменьшается переписка с другими частями королевства, прежде

28

всего с югом. К началу XII в. Франция представляет собой, в лучшем случае, объединение уделов, непрочный союз малых и больших феодальных владений, между которыми образовалось некоего рода силовое равновесие.

В немецком рейхе после столетия борьбы между государями, увенчанными королевскими и имперской коронами, и семействами могущественных герцогов одно из последних, дом швабских герцогов, вновь берет верх над другими. На какое-то время центральная власть получает необходимые ей средства.

Но с конца XII в. и в Германии социальный баланс все отчетливее и неотвратимее склоняется в сторону удельных властителей. Но если здесь, в огромной немецкой «*Imperium Romanum*» — или, как она станет называться позже, «*Sacrum Imperium*», — феодальные правители укрепились настолько, что столетиями могли препятствовать образованию сильного центра, а тем самым и интеграции всего рейха, то во Франции, обладавшей значительно меньшей территорией, уже с конца XII в. не встречается крайней степени дезинтеграции. Медленно, вопреки отдельным отступлениям, укрепляется центральная власть, а вместе с этим происходит постепенная реинтеграция территорий, их консолидация вокруг единого центра.

Ситуация этой крайней степени дезинтеграции является своего рода исходным пунктом данного движения. Ее нужно представить, чтобы понять тот путь, по которому шло образование прочного союза множества мелких уделов, и процессы, ведущие к образованию в обществе центрального органа, распространяющего свою власть на все земли. Для характеристики этого центрального органа мы обычно используем понятие «абсолютизм»; присущий ему аппарат господства представляет собой каркас современного государства. Стабильность центральной власти и центрального органа на той фазе общественного развития, что мы называем «веком абсолютизма», заметна по контрасту с их нестабильностью на предшествующей, «феодальной» фазе.

Что в строении в одном случае содействовало централизации общества, а в другом — центробежным силам? Этот вопрос ведет нас к рассмотрению механизма общественных процессов, изменений в формах взаимных связей и взаимной зависимости людей, вместе с которыми менялись и их влечения, т.е. процесса «цивилизации».

Нетрудно заметить, что в раннесредневековом обществе обеспечивало преобладание центробежных сил над силами централиза-

29

ции. Историки этой эпохи в той или иной форме писали об этом. Например, Б.Гампе, говоря о Высоком Средневековье, отмечает: «Феодализация государственной жизни повсюду принуждала государей наделять своих полководцев и управляющих земельными владениями. Если они не хотели впасть в нищету, если они хотели пользоваться военными услугами вассалов, то' это буквально толкало их к военным захватам, каковые неизбежно направлялись на слабых соседей. Для преодоления этой зависимости с помощью современного административного аппарата в те времена не хватало прежде всего экономических предпосылок»¹⁵.

В этих словах имплицитно содержится чуть ли не все существенное, что можно сказать о принудительности тех центробежных сил и механизмов, в которые оказалась втянутой королевская власть того общества, если только под «феодализацией» понимать не какую-то внешнюю для этих изменений «причину». Сами эти обстоятельства — принудительность наделения воинов и управляющих земель, неизбежное уменьшение королевских владений (если только не случались новые завоевания), тенденция к ослаблению центральной власти в мирные времена — представляют собой частичные процессы большого процесса «феодализации». Приводимые суждения одновременно указывают на то, насколько неотвратимыми были данная специфическая форма господства и его аппарат в условиях существования определенной формы экономики. Если выразить эту идею эксплицитно: пока в обществе преобладали отношения натурального хозяйства, было почти невозможным формирование централизованного аппарата чиновничества — стабильного аппарата власти, использующего в своей работе преимущественно мирные средства и постоянно направляемого из одного центра. Король-завоеватель должен был посылать уполномоченных центральной власти для управления землями, а сами эти уполномоченные или их потомки становились самостоятельными удельными властителями и начинали борьбу с центром. Все это происходило чуть ли не автоматически и соответствовало определенной форме экономических отношений. Если на данной ступени зрелости общества малого или большого участка земли хватало для удовлетворения всех основных повседневных потребностей — от потребностей в еде и одежде до обеспечения домашней утварью, — то разделение труда и обмен продуктами между удаленными друг от друга областями были практически заморожены. Такому положению дел соответствовали — ибо это лишь разные стороны одной формы интеграции общества — плохие дороги и убогий транспорт, а тем самым и слабые взаимосвязи различных областей. Только вместе с развитием всех этих средств коммуникации центральные институты могут осуществлять сколько-нибудь стабильную

30

власть на больших территориях. Поначалу строение общества не предоставляло для этого никаких возможностей.

«Нам трудно себе представить, — пишет историк этого периода, — сколь трудно было правительству и администрации большого царства существовать при средневековых средствах сообщения»¹⁶.

Карл Великий тоже кормился сам и кормил свой двор в основном со своего племенного надела, принадлежавшего его дому, с земель, разбросанных между Рейном, Маасом и Мозелем. Каждый его

«palatium»), каждый замок был окружен — как это хорошо показал Допш¹⁷ — определенным числом приписанных к нему дворов и деревень. Император или король передвигался в этом сравнительно небольшом пространстве от замка к замку, и окрестные деревни и села должны были содержать и его, и его свиту. Конечно, и в те времена сохранялась торговля с дальними странами. Но она велась, в основном, для получения предметов роскоши, и уж никак не предметов повседневного обихода; даже вино, как правило, не перевозилось на дальние расстояния. Тот, кто хотел пить вино, должен был сажать виноград у себя в уделе, и им обменивались разве что с ближайшими соседями. Поэтому в Средние века виноградники имелись и в тех областях, где сегодня виноградарство уже не практикуется, поскольку вино получается слишком кислым или посадки стали «нерентабельными», — скажем, во Фландрии или Нормандии. С другой стороны, те области, которые известны нам сегодня как собственно винодельческие, например Бургундия, тогда были далеки от всякой специализации такого рода. Каждый крестьянин, каждое поместье в те времена в большей или меньшей степени представляли собой «автаркию». Даже в XVII в. в Бургундии было всего одиннадцать общин, состоящих исключительно из виноделов¹⁸. Вместе с ростом связей между разными землями, установлением более тесного сообщения между ними, увеличением разделения труда интеграция охватывает все большее число областей и все большие массы людей. В соответствии с этим растет потребность в средствах обмена, которые имели бы одинаковую стоимость на значительной территории и потому могли бы использоваться при взаиморасчетах, — растет спрос на деньги.

Для понимания процесса цивилизации особенно важно иметь наглядное представление о таких общественных процессах, как «натуральное или домашнее хозяйство», «денежное хозяйство», «переплетение больших цепочек человеческих взаимосвязей», «изменение социальной зависимости индивида», «растущее разделение функций», и им подобных. Эти понятия слишком легко превращаются в словесные фетиши, из которых исчезает всякая наглядная образность, а тем самым и всякая ясность. При всей неизбежной здесь краткости мы все же попробуем нагляд-

31

но изобразить те общественные отношения, на кои указывает понятие «натуральное хозяйство». Оно подразумевает специфическую форму взаимной связи людей и их взаимной зависимости. Это — такое общество, где отвоєванные у природы, полученные от земли блага непосредственно поступают тому, кто их потребляет. Здесь отсутствуют или почти отсутствуют промежуточные звенья, а переработка сырья осуществляется в доме по соседству или даже в этом же самом доме, где оно было получено. Дифференциация происходит чрезвычайно медленно. Постепенно все больше людей начинают функционировать в этом процессе на стадии переработки и распределения благ, удлиняя цепь, ведущую от их производителя до их потребителя. Как и почему это происходит, к чему ведет подобное удлинение цепей — этот вопрос заслуживает специального рассмотрения. Во всяком случае, деньги здесь являются лишь инструментом, в котором нуждается общество и который оно создает по мере того, как эти цепи делаются длиннее, труд и распределение дифференцируются, и — при определенных обстоятельствах — дифференциация начинает усиливаться. При использовании понятий «натуральное хозяйство» и «денежное хозяйство» может показаться, что эти две «формы экономики» абсолютно противоположны друг другу. Такое представление о них вызвало долгие дискуссии. В конкретном общественном процессе цепи между производством и потреблением удлиняются и дифференцируются очень медленно, не говоря уж о том, что в некоторых секторах западного общества хозяйственная коммуникация, распространяющаяся на большие расстояния, а тем самым и использование денег никогда не прекращались. Денежный сектор растет в западном обществе постепенно, вместе с дифференциацией социальных функций, ростом взаимосвязи различных районов и зависимости друг от друга человеческих масс. Все это — различные аспекты одного и того же социального процесса. Не чем иным, как стороной этого процесса, является и изменение формы господства и того аппарата власти, о которых речь шла выше. Структура центральных органов соответствует и строению этих взаимосвязей, и функциональному делению властных полномочий. Сила центробежных тенденций, ведущих к местной политической автаркии, в обществе с преобладанием натурального хозяйства отвечает уровню местной экономической автаркии.

10

В развитии такого военного общества с преобладанием натурального хозяйства обычно различают две фазы, иногда (или даже весьма часто) сменяющих друг друга: во-первых, это фаза воинственной, расширяющейся центральной власти, занятой завоеванием новых земель; во-вторых, — фаза, на которой функ-

32

цией государя является защита и охрана подвластной ему территории без прибавления к ней новых областей.

На первой фазе центральная власть сильна. В это время непосредственно проявляется первичная социальная функция государя этого общества, а именно — военного вождя. Там, где королевский дом долгое время не демонстрирует свою способность исполнять военную функцию, — из-за того, что в этом нет нужды или правитель с нею не справляется, — отпадают и вторичные функции, скажем, верховного арбитра или судьи на всей территории. У государя остается едва ли больше, чем титул, отличающий его от прочих владык.

Когда на границах спокойно, нет угрозы со стороны внешнего врага, а путь завоевания новых земель по тем или иным причинам закрыт, центробежные силы неизбежно берут верх. Если король-завоеватель фактически управлял всей страной, то во времена относительного затишья его дом лишается

административной власти. Всякий, правящий на каком-нибудь клочке земли, начинает считать себя господином. Это целиком соответствует его действительной зависимости от центра — ведь в мирные времена она минимальна.

Здесь, где отсутствуют (или находятся только в процессе становления) хозяйственная взаимозависимость и интеграция больших районов, более сильной, чем экономическая, оказывается иная форма интеграции: военная интеграция, сплоченность в совместной защите от общего врага. Помимо традиционного чувства общности — оно подкрепляется общностью религиозной веры и находит своих важнейших покровителей в духовенстве, но само по себе никогда не предотвращает расколов и не сплачивает, а лишь усиливает и придает направленность тому или иному союзу, — стремление к захватам и нужда в защите оказываются важнейшими узлами, скрепляющими разбросанных по разным уделам людей. Именно поэтому столь нестабильна (по сравнению с позднейшими временами) сплоченность такого общества и столь сильны в нем центробежные тенденции.

Эти две фазы общества, в котором преобладает натуральное хозяйство — стадии завоевания и защиты, — как уже было сказано, часто сменяют друг друга. Смещения происходят то в одном, то в другом направлении, и история стран Запада может служить тому примером. Но примеры из немецкой и французской истории показывают также, что, несмотря на все отступления, во времена государей-завоевателей господствующей является тенденция к дезинтеграции больших политических образований, сопровождающаяся переходом управления от государя к бывшим его ленникам.

Почему это происходит? Разве в это время исчезла внешняя опасность, угрожавшая царствам — наследникам Каролингов, представлявшим тогда, по существу, весь Запад? Не было ли

33

других причин для постепенной децентрализации империи Каролингов?

Вопрос о движущих силах этого процесса может получить особый смысл, если мы свяжем его с одним хорошо известным понятием. Постепенная децентрализация государства, дезинтеграция земель, переход управления от короля-завоевателя к военной касте в целом есть не что иное, как процесс, известный под названием «феодализация».

3. Рост населения после великого переселения народов 11

Следует отметить, что проблема феодализации уже достаточно давно стала рассматриваться иначе, чем прежде. И все же, быть может, она заслуживает несколько большего внимания, чем ей уделялось до сих пор. Как и в случае социальных процессов вообще, старая историческая школа не нашла правильного подхода к пониманию феодализации на Западе. Склонность видеть повсюду отдельные действующие лица, привычка ставить вопрос об индивидуальных творцах социальных преобразований, а в социальных институтах видеть исключительно юридические установления, сотворенные этими индивидами по тем или иным образцам, — все это делало социальные процессы и институты недоступными для осознания, подобно тому как природные процессы были непознаваемы для схоластов.

В новейшее время постановка вопроса радикально изменилась и в сфере исторических исследований. Исследователи, изучающие происхождение ленной системы, стали все чаще подчеркивать, что в истории мы имеем дело не с результатами планомерно осуществляемых действий отдельных людей, равно как и не с учреждениями, которые можно объяснить, исходя из прежних институтов. Мы читаем, например, у Допша, что «речь идет о феодализации, об организации, что была призвана к жизни не государствами или носителями государственной власти и не вводилась планомерно и по сознательному решению для осуществления неких политических целей»¹⁹.

Кальмет еще более четко ставит вопрос о социальных процессах в истории: «При всех отличиях феодальной системы от ей предшествующих, она прямо из них проистекает. Она не была порождением революции или индивидуальной воли, но возникла в результате медленной эволюции. "Феодальность" относится к категориям, которые в истории можно было бы назвать "естественным событием" или "фактом природы". Формированию феодальной системы способствовали, так сказать, механические силы ("des forces pour ainsi dire mécaniques"), и осуществлялось оно постепенно»²⁰.

34

В другом месте своей итоговой работы «La société féodale» он пишет: «Конечно, знание "антецедентов", т.е. сходных феноменов, предшествующих рассматриваемым, представляет интерес для историка, это весьма поучительно, и мы тоже будем к ним обращаться. Но эти "антецеденты" не представляют собой единственные и даже наиболее важные факторы. Речь идет не о знании того, откуда берутся "élément féodal" и где нужно искать их первоисточники — в Риме или у германцев, а о том, почему они приобрели "феодальный" характер. Они приобрели основополагающий характер благодаря эволюции, и их тайну незачем отыскивать в Риме или среди германцев... Их формирование является результатом работы сил, которые можно сравнить только с геологическими силами»²¹.

Употребление образов из области природы или техники неизбежно, пока в нашем языке еще не выработалась специальная и ясная терминология для описания социально-исторических процессов. Понятно, почему историки поначалу обратились к образам из других областей: они хотели показать принудительный характер социальных процессов. И какие бы недоразумения ни возникали от того, что социальные процессы с присущей им принудительностью, рождаемой из взаимосвязями между людьми,

приравнивались по своей природе и сущности к вращению Земли вокруг Солнца или к движению двигателя, в этих формулировках недвусмысленно присутствовала новая структурно-историческая постановка вопроса. Вопрос о том, как поздние институты относятся к сходным институтам, характерным для более ранней фазы развития, сохранил свое значение. Но главным в историческом исследовании оказывается иной вопрос: почему *изменяются* институты, поведение или аффекты, и почему они меняются именно таким образом? Этот вопрос приводит нас к признанию наличия строгой упорядоченности в социально-исторических *трансформациях*. До сих пор не всегда хорошо понимают, что эти трансформации следует выводить вовсе не из чего-либо остающегося неизменным, что в истории вообще нельзя найти изолированных фактов, существующих сами по себе, — они всегда переплетены с другими фактами.

Такого рода трансформации непонятны и в том случае, если при их объяснении мы ограничиваемся рассмотрением изложенных в книгах идей отдельных лиц. Если вопрос ставится о социальных процессах, то принудительность нужно искать во взаимосвязи человеческих отношений, в самом обществе, придающем принуждению определенные формы и направленность. Это относится и к процессу феодализации, и к процессу растущего разделения труда, и к бесчисленному множеству других процессов, которые наш понятийный аппарат лишает процессуального характера, фиксируя лишь институты, сформированные тем или иным процессом, — например, «абсолютизм», «капитализм»,

35

«натуральное хозяйство», «денежная экономика» и т.п. Но за всеми этими понятиями стоят изменения в структуре человеческих отношений — изменения, явно не планировавшиеся индивидами, которые вынуждены были подчиняться этим изменениям, нравились они им или нет. Наконец, это относится и к изменениям самого человеческого *habitus'a*, к процессу цивилизации.

12

Одним из важнейших факторов, вызывающих изменение структуры человеческих отношений и соответствующих им институтов, является увеличение или уменьшение населения. Его нельзя изолировать от всей динамики человеческих отношений. В то же время было бы неправильным считать его некой «первопричиной» социально-исторического движения, в качестве какового оно с легкостью может выступать в силу господствующего сегодня стиля мышления. Тем не менее в общей констелляции трансформационных факторов оно играет важную и заметную роль. Благодаря ему особо отчетливо проявляется принудительность воздействия социальных сил. Нам остается исследовать, какую роль факторы подобного рода играли на интересующей нас фазе развития. Понять это нам поможет краткое рассмотрение последних этапов великого переселения народов.

Вплоть до VIII—IX вв. происходят все новые и новые вторжения кочевых народов с востока, севера и юга на древние земли Европы, где население уже давно было оседлым. Это была последняя и самая сильная волна движения, длившегося значительный период времени. Мы видим только отдельные моменты этого движения: приход эллинских «варваров» в древние оседлые районы Малой Азии и на Балканский полуостров, приток италийских «варваров» на соседний полуостров, выдвижение «вар-варов»-кельтов в эти земли, которые к тому времени «цивилизовались» и сделались «древними культурными землями», а затем окончательное закрепление кельтских племен к западу, а отчасти и к северу от этих земель.

Наконец, огромную часть территории, ставшей к тому времени единой «страной культуры», буквально наводнили германские племена. А затем германцы начали защищать эту завоеванную ими «страну» от новых волн переселенцев, наступавших со всех сторон.

Вскоре после смерти в 632 г. Мохаммеда приходят в движение арабы²². В 713 г. они завоевывают всю Испанию за исключением гор Астурии. К середине VIII в. эта волна иссякает, достигнув южной границы Франции, подобно тому, как ранее кельтские волны остановились перед воротами Рима.

С востока на франков давят славянские племена. К концу VIII в. они располагаются на Эльбе. «Если бы в 800 г. политичес-

36

кий пророк обладал картой Европы, которую мы теперь в состоянии реконструировать, то у него имелись бы все основания для предсказания, согласно которому все земли к востоку от датского полуострова и вплоть до Пелопоннеса предназначены для того, чтобы стать славянской империей или, по крайней мере, группой славянских стран. От устья Эльбы и до Ионийского моря в то время проходила сплошная линия из славянских народов... Ими обозначалась граница германского мира»²³.

Движение славян прекращается несколько позже, чем движение арабов. В борьбе долгое время не было решающего перевеса. Граница между германскими и славянскими племенами сдвигается то в одну, то в другую сторону. Но в целом где-то с 800 г. славянская волна остановлена на Эльбе.

Та территория, что мы можем назвать «древними оседлыми землями» Запада, была защищена от вторгающихся племен и удержана под господством германцев. Представители более ранних волн переселения защищали Европу от натиска более поздних пришельцев. Препятствуя дальнейшим вторжениям, сами они постепенно осели, заняв земли в границах нынешней Франции. Вокруг них стало формироваться кольцо оседлых областей по всей Европе. Некогда кочевавшие племена теперь владеют землей. Великое волнение постепенно замирает, а попытки вторжения новых пришельцев — венгров и, наконец, турок — раньше или позже терпят неудачу, столкнувшись с лучшей техникой защиты и силой тех, кто уже осел на земле.

Возникла новая ситуация. В Европе уже не осталось свободного пространства. Уже почти нет пригодных для обработки (с помощью техники тех времен) земель, которые не были бы чьим-то владением. Населенность Европы, прежде всего больших центральных районов, была большей, чем когда бы то ни было ранее, хотя и существенно меньшей в сравнении с последующими столетиями. Вместе с затуханием волн великого переселения народов начинается рост населения. Тем самым изменилась вся система отношений между заселившими Европу народами.

На протяжении поздней античности численность населения земель «древней культуры» то быстрее, то медленнее уменьшалась. Вместе с этим исчезали социальные институты, соответствовавшие более или менее значительной плотности населения. Например, употребление денег в обществе связано с определенным уровнем плотности населения, которая является также неотъемлемой предпосылкой разделения труда и существования рынка. Стоит ей по каким бы то ни было причинам опуститься ниже определенного уровня, как тут же автоматически пустеют рынки, — цепочки, связывающие того, кто добывает в борьбе с

37

природой некие блага, с тем, кто этими благами пользуется, становятся все более короткими. Инструмент денег тогда теряет всякий смысл. В этом направлении и шло развитие на закате античности. Общество все более приобретало аграрный характер. Такое развитие облегчалось тем, что разделение труда в античности вообще никогда близко не подходило к уровню, достигнутому в современном нам обществе. Немалая часть городских домашних хозяйств прямо, не используя услуги торговли, обеспечивалась всем необходимым благодаря большим рабовладельческим поместьям. Поскольку транспортировка товаров на значительные расстояния при имевшейся в античности технике была в высшей степени затруднительной, постольку торговля с удаленными регионами в основном осуществлялась с помощью водного транспорта. Большие рынки, большие города с оживленным денежным обращением возникали преимущественно рядом с водными артериями. Удаленные от воды внутренние земли зависели в первую очередь от домашнего хозяйства. Каждый двор представлял собой автаркию, для горожан снабжение продуктами собственного производства сохраняло свое значение — или, по крайней мере, не теряло его настолько, насколько это характерно для западного общества Нового времени. Вместе с уменьшением населения эта сторона античной организации общества стала проявляться еще сильнее.

После спада волн переселения народов движение пошло в обратную сторону. Приток и оседание на земле множества новых племен создали базис для более широкого и полного заселения всей европейской территории. В эпоху Каролингов колонизация этого пространства происходила при полном преобладании натурального хозяйства — причем, вероятно, даже более значительном, чем во времена Меровингов²⁴. Политический центр передвинулся еще дальше в глубину континента, где ранее, в силу указанных трудностей с наземным транспортом, за всю западную историю не располагался ни один центр крупных политических объединений (за малыми исключениями, вроде Хеттской державы). Можно предположить, что уже в этот период начался медленный рост населения. Мы можем судить об этом хотя бы по размерам корчевки лесов, являющейся признаком недостатка земель и растущей плотности населения. Но все это было только началом. Еще не завершилось и переселение народов. Только начиная с IX в. множатся свидетельства быстрого роста населения. А вскоре мы обнаруживаем и признаки перенаселенности на землях, управляемых наследниками Каролингов.

Сокращение народонаселения к концу античности, медленное увеличение его численности в изменившихся условиях после великого переселения народов — вот тенденция, знания которой нам достаточно для того, чтобы удержать в памяти общую линию развития.

38

В истории европейских народов фазы ощутимой перенаселенности чередуются с фазами уменьшения этого внутреннего давления. Однако следует пояснить, что подразумевается под перенаселенностью. Речь должна идти не об абсолютном числе людей, населяющих те или иные земли. В индустриализированном обществе, характеризуемом относительно интенсивной обработкой почвы, развитой торговлей с удаленными регионами и той формой власти, что посредством таможенных ограничений обеспечивает приоритет промышленного сектора над аграрным, может вполне благополучно существовать то количество людей, которое в обществе с натуральным хозяйством, использовавшим экстенсивные методы развития экономики и располагавшим недостаточно развитой торговлей, воспринималось бы как перенаселенность со всеми ее типичными признаками. Мы говорим о «перенаселенности» в тех случаях, когда рост населения в определенных районах приводит к тому, что при данной организации общества оказывается возможным удовлетворение стандартных потребностей у все меньшего числа людей. Весь имеющийся у нас опыт говорит о том, что «перенаселенность» в рамках определенной социальной формы соотносится с определенным стандартом потребностей, т.е. это всегда социальная перенаселенность.

Признаки перенаселенности в сколько-нибудь дифференцированных обществах в целом всегда одни и те же: рост внутреннего напряжения в обществе, усиливающееся обособление «имущих» (в случае общества с преобладанием натурального хозяйства — тех, кто владеет землей) от «неимущих» либо тех, чья собственность недостаточна для того, чтобы питаться в соответствии с существующим стандартом. Среди

самых имущих, «haves», усиливается обособление тех, кто владеет многим, от владеющих немногим. Люди одинакового социального положения оказывают более сильное и более осознанное сопротивление проникновению в их слой «чужаков» либо совместно ведут борьбу за завоевание жизненных шансов, монополизированных другой группой. Усиливается давление на соседние области, которые менее заселены или менее защищены, заявляет о себе стремление к колонизации, завоеванию или просто заселению новых земель. Трудно сказать, достаточны ли имеющиеся у нас источники для восстановления точной картины того, как в Европе происходил рост населения в те века, которые наступили вместе с эпохой оседлости; еще сложнее дело обстоит со свидетельствами о плотности населения в различных областях.

Одно ясно: после того как великое переселение постепенно сошло на нет, закончились великие битвы и передел владений между различными племенами, можно заметить появление од-

39

ного за другим всех признаков «социальной перенаселенности». В то же время мы видим, как вместе с быстрым ростом населения преобразуются и социальные институты.

15

Признаки увеличивающегося демографического давления особенно отчетливо проявились в западнофранкском царстве.

В отличие от восточнофранкского царства, здесь начиная примерно с IX в. угроза со стороны чужеземцев постепенно идет на убыль. Норманны наконец-то успокоились и осели в той части империи, которая стала носить их имя. Не без помощи западнофранкской церкви они очень быстро перенимают и язык, и всю связанную с церковью традицию, уже соединившую в себе галло-романские и франкские начала. Кое-что они вносят в нее от себя — например, методы управления землями. Но в любом случае теперь норманны выступают как племя, входящее в союз западнофранкских феодалов, причем играют в нем роль одного из племен, оказывающих важнейшее воздействие на общий ход развития всего царства.

Набеги арабов, сарацин, на берега Средиземного моря все еще беспокоят империю, но к IX в. они тоже перестают быть угрозой ее существованию.

К востоку от Франции лежит область немецкой империи, которая вновь усилилась под руководством саксонских кайзеров. Граница между ними и западнофранкским царством почти не меняется с X и вплоть до первой четверти XIII в.²⁵ В 925 г. к царству прибавляется Лотарингия, в 1034 г. — Бургундия. До 1226 г. на этой границе нет особой напряженности. Экспансия немецкого рейха направлена в основном на восток.

Так что внешняя угроза для западнофранкской державы сравнительно мала. Но одновременно невелики и возможности экспансии, в первую очередь, — на восток, где высока плотность населения, где имеется воинская сила немецкого рейха. Здесь путь к обретению новых земель для западных франков закрыт.

Внутри этой пришедшей в состояние относительного спокойствия территории начинается заметный рост населения. На протяжении столетий, последовавших за IX в., оно растет так быстро, что к началу XIV в. достигает примерно той же численности, что была зафиксирована в начале XVIII в.²⁶ Безусловно, это движение также не было прямолинейным, но в целом наблюдается постоянный прирост населения, на что указывает множество единичных явлений. Их нужно рассматривать в целом, поскольку отдельные факты получают свой смысл только в рамках этого целого.

С конца X в., а еще сильнее в XI в. в западнофранкской державе становится заметной борьба за земли — стремление захва-

40

тить новые земли или сделать более плодородными уже имеющиеся в наличии.

Корчевка лесов, как уже было сказано выше, периодически происходила еще при Каролингах, а то и еще раньше. Но в XI в. ее темпы и объемы неизмеримо возрастают. Леса вырубаются, болота — насколько это позволяло состояние техники — превращаются в пашни. Великим веком корчевки²⁷ во Франции можно считать период примерно с 1050 по 1300 г. — это был век завоевания внутренних земель. Где-то к 1300 г. это движение вновь замедляется.

4. О социогенезе крестовых походов 16

Великий натиск внешних врагов прекратился. Земля плодородна, растет население. Но земли, важнейшего средства производства, основы собственности и богатства, не хватает. Расчищенных под пашню земель далеко не достаточно, и нужно искать их за границей. Наряду с внутренней колонизацией идет завоевание новых земель. Еще в начале XI в. норманнские рыцари стремятся на юг Италии, поступая на службу местным князьям²⁸. В 1029 г. некоторые из них получили во владение небольшие лены на северной границе неаполитанского герцогства. За ними последовали другие, в том числе несколько сыновей мелкого норманнского сеньора Танкреда де Отевиля. Всего у этого рыцаря было двенадцать сыновей — как им было кормиться с отцовских земель? Восемь из них отправились в южную Италию, где постепенно приобрели то, чего не могли получить на родине, — земельные владения. Один из братьев, Робер Гвискар, через какое-то время стал признанным вождем норманнской знати. Он объединил раздробленные участки земли и поместья, добытые рыцарями поодиночке. С 1060 г. начинается проникновение отрядов норманнов, возглавляемых Робером, на Сицилию. К моменту его смерти в 1085 г. сарацины уже были загнаны в юго-западную часть острова. Остальная территория оказалась под властью норманнов, основавших здесь новое феодальное государство.

Все эти действия не планировались заранее. Начало данному процессу было положено принуждением и отсутствием возможностей получения жизненных шансов на родине, затем последовал исход отдельных рыцарей, их успех привлек других, и в итоге возникло новое государство.

Нечто подобное происходило и в Испании. Еще в X в. французские рыцари отправляются помогать испанским князьям в их борьбе с арабами.

41

Как уже говорилось, западнофранкское царство, в отличие от восточнофранкского, не граничило с пригодной для колонизации областью, заселенной разобщенными племенами. Немецкий рейх препятствовал дальнейшей территориальной экспансии западных франков, и единственным ее объектом мог служить Иберийский полуостров. Вплоть до середины XI в. через горы перебираются сначала одиночки или небольшие отряды рыцарей, потом они становятся настоящим войском. Расколотые междоусобицей арабы какое-то время оказывают слабое сопротивление. В 1085 г. рыцари захватывают Толедо, в 1094 г., под предводительством Сида, — Валенсию, которая вскоре вновь перешла к арабам. Война идет то тут, то там. В 1095 г. один французский граф получает в лен захваченный им участок в Португалии. Но лишь в 1147 г. с помощью участников второго крестового похода его сыну удается окончательно подчинить себе Лиссабон, чтобы затем утвердить свое владычество в качестве короля феодального государства.

В непосредственной близости от Франции помимо испанских областей возможность захвата новых земель имела только по ту сторону пролива Ла-Манш. Отдельные норманнские рыцари отправляются туда уже в середине XI в. В 1066 г. норманнский герцог во главе войска из норманнских и французских рыцарей высаживается на британские острова, захватывает власть и осуществляет здесь передел земель. Поле возможной экспансии вблизи Франции тем самым еще более сужается. Взгляд рыцарей обращается к дальним землям.

В 1095 г., еще до того, как пришли в движение войска крупных феодалов, небольшой отряд рыцарей, возглавляемый Вальтером Голяком (или Готье Неимуцим), направляется в Иерусалим и пропадает где-то в Малой Азии. В 1097 г. в Святую Землю вторгается огромное войско под водительством норманнских и французских феодалов. Крестоносцы сначала вынуждают византийского императора дать им захваченные земли в лен, а затем движутся далее, захватывают Иерусалим и основывают новые феодальные владения.

Разумеется, эта экспансия была бы невозможна без направляющей роли церкви, а без веры в необходимость завоевания Святой Земли направление похода было бы иным. Но без социального давления, имевшего место в самих западнофранкских землях и других областях латинского христианства, крестовые походы тоже вряд ли бы состоялись.

Внутреннее напряжение, возникшее в этом обществе, заявляло о себе не только как жажда земли и хлеба. Оно оказывало психическое давление на человека в целом. Социальное давление было такой же движущей силой, какой для мотора является электрический ток. Оно приводило людей в движение, а церковь направляла силы, уже имеющиеся в наличии. Она учитыва-

42

ла эту жажду, давала надежду и выдвигала цель за пределами Франции. Борьба за новые земли получала не только оправдание, но и универсальный смысл. Эта борьба стала борьбой за веру.

17

Крестовые походы представляют собой специфическую форму первого великого движения христианского Запада, направленного на внешнюю экспансию и колонизацию. Во времена великого переселения народов северные и северо-восточные племена продвинулись на запад и юго-запад, заняв всю полезную площадь в Европе вплоть до крайних ее границ, британских островов. Теперь эти племена прочно осели на земле. Умеренный климат, плодородные почвы, ничем не ограничиваемые влечения людей того времени способствовали быстрому росту населения. Земли не хватало. Волна переселения народов захлебнулась, и оказавшиеся в тупике массы людей хлынули обратно на восток. Их путь лежал либо в русле крестовых походов, либо в потоке завоеваний в самой Европе, где в ожесточенной борьбе происходило расширение на восток немецкой области — от Эльбы к Одере, а от него к устью Вислы и, наконец, вплоть до Пруссии и даже Прибалтики (правда, в последнюю пришли только немецкие рыцари, уже не сопровождаемые крестьянами).

Последний феномен особенно хорошо показывает своеобразие фазы социальной перенаселенности и экспансии, а также отличие данной фазы от более поздних этапов развития общества. Вместе с движением вперед процесса цивилизации, сопровождаемого ужесточением контроля над влечениями и усложнением их регулирования (в высших слоях более сильными, чем в низших, — о причинах этого нам еще придется говорить), постепенно уменьшается количество детей, причем у низших слоев эта тенденция набирает силу медленнее, чем у высших. Различие в среднем числе детей в высших и низших слоях часто имеет большое значение для поддержания высокого стандарта жизни знати.

Первая фаза быстрого роста народонаселения на христианском Западе отличалась от более поздних тем, что в господствующем слое воинов или дворян этот рост был ничуть не меньше, чем среди крепостных, безземельных крестьян и свободных пахарей, — короче говоря, всех тех, кто непосредственно обрабатывал землю. Избыток населения отчасти сокращался из-за непрестанной борьбы за жизненные шансы, которые для каждого индивида сокращались по мере роста населения. Уменьшение численности населения происходило также из-за междоусобиц, порожденных напряженностью этой ситуации, из-за высокой

детской смертности, болезней и эпидемий. Вероятно, относительно незащищенных крестьян это затрагивало в большей степени, чем воинов. Кроме того, первые располагали лишь весьма ограниченной свободой перемещения, а поскольку коммуникация и обмен между различными областями крайне затруднены, избыточная рабочая сила не могла в краткие сроки равномерно распределяться по всей стране. В одной области междоусобицы, разорение, эпидемии или бегство крепостных могли создать недостаток рабочей силы, тогда как в других наблюдался явный избыток ее. Действительно, об одном и том же периоде времени до нас дошли различные свидетельства: как об избытке крепостных в одной области, так и о попытках феодалов посредством предложения лучших условий жизни привлечь на свои земли свободных пахарей — гостей («*hospites*»)²⁹, т.е. дополнительную рабочую силу.

Во всяком случае, для характеристики этого процесса важно то, что в обществе того времени имелся избыток не только рабочих рук — «резервная армия» трудящихся несвободных и полусвободных, — но и безземельных или малоземельных рыцарей, которые не были в состоянии поддерживать свой жизненный стандарт, — «резервная армия» *высшего слоя*. Только с учетом данного обстоятельства становятся понятными и характер этого первого западного колониального движения, и особенности такой экспансии. Конечно, в той или иной форме в колонизации участвовали крестьяне, но главный толчок ей дала потребность рыцарей в земле. Новые земли можно было добыть только мечом. Рыцари прокладывали путь с оружием в руках, они возглавляли это движение и составляли большую часть войска. Особый характер первого периода экспансии и колонизации обусловлен избыточным числом представителей высшего дворянского слоя.

Все это общество четко делилось на тех, кто в какой-либо форме владел землями, и тех, у кого ее не было вообще или было недостаточно. По одну сторону находились землевладельцы, земельные монополисты, т.е. семейства знатных рыцарей, их старших сыновей — прямых наследников. К этой группе можно отнести также и тех свободных крестьян и крепостных, «*hospites*», которые сидели на клочке земли, дававшем им пропитание. По другую сторону — все, кто был лишен земли, независимо от их принадлежности к тому или другому слою. Не имевшие земли выходцы из низшего слоя, вытесненные с земли либо из-за ее нехватки, либо вследствие насилия господ, принимали участие в колонизации, но в большей мере служили человеческим материалом для образующихся в то время городских коммун. Безземельные рыцари — «младшие сыновья», которым доставалось небольшое наследство, не отвечавшее их притязаниям или просто не способное обеспечить им пропитание, все эти «голяки» из

рыцарей — на протяжении столетий предстают в различных социальных обликах: в виде крестоносцев, вожак банд, наемников на службе у сильных мира сего. В конечном счете они стали материалом для первых форм регулярного войска.

Известные, часто приводившиеся слова: «Нет земли без сеньора» — не только пункт правового уложения, но и социальный пароль воинского сословия, выражающий стремление рыцарей овладеть всеми доступными землями. Раньше или позже все области, где господствовало латинское христианство, оказались у них в руках. Любой полезный клочок земли стал чьим-то владением. Но спрос на землю не падал, он даже возрастал. Шанс удовлетворить этот спрос уменьшался. Стремление к экспансии росло вместе с ростом напряжения внутри общества. Но специфическая динамика этого движения, пронизывавшего все общество, затрагивала не только безземельных; она неизбежно коснулась и тех, кто располагал землями и был богат. В бедных, погрязших в долгах, опустившихся рыцарях это социальное давление порождало простое стремление захватить кусок земли с рабочей силой в придачу, чтобы кормиться с него в соответствии со своим стандартом. У богатых рыцарей, у крупных феодалов также обнаруживается тяга к захвату новых земель. Здесь речь идет не просто о стандарте, о получении средств пропитания, соответствующих сословному положению, но о стремлении к господству — чем больше земельные владения, тем большей властью и социальной силой наделен их обладатель. Что касается богатых землевладельцев, включая и высшую знать — графов, герцогов, королей, — стремление к увеличению уделов отвечало не только личному честолюбию отдельных лиц. Выше, на примере западнофранкских Каролингов и первых Капетингов, мы показали, как неизбежно — в силу автоматически действующего механизма раздачи земель — приходили в упадок даже королевские дома, когда завоевание новых территорий оказывалось невозможным. И если на протяжении всей этой фазы мы видим, что во внутренней и внешней экспансии принимают участие не только бедные, но и богатые рыцари, желающие увеличить свои уделы, то это свидетельствует о том, в сколь значительной мере само строение этого общества рождало у представителей всех слоев постоянное стремление к завоеванию земель, будь то простой захват их безземельными рыцарями или приумножение своих владений богатыми феодалами.

Часто утверждается, что стремление «иметь больше», приобретательство, является специфической чертой «капитализма», а тем самым и Нового времени. Средневековое общество в таком случае рассматривается как довольствующееся сохранением

справедливого, т.е. соответствующего сословному делению, дохода.

В известных пределах это верно, если под стремлением «иметь больше» подразумевается только желание иметь больше денег. Но на протяжении почти всего Средневековья не деньги, а земли были главной формой собственности. Приобретательство (если уж вообще пользоваться этим словом) по необходимости имело другую форму и было иначе направлено; оно требовало иного поведения, чем в обществе с развитой денежной и рыночной экономикой. Вполне вероятно, именно в Новое время впервые в истории возникает специализирующийся на торговле слой, целью которого становится непрестанная работа ради обретения все большего количества *денег*. Социальные структуры, побуждавшие людей к приобретению все новых средств производства в преобладающем в Средневековье секторе натурального хозяйства (при всех особенностях этих структур в разных регионах), легко выпадают из поля зрения, поскольку стремление это было направлено не на накопление денег, но на приумножение земель. Кроме того, политические и военные функции в то время еще не отделились от экономических в той степени, в какой это произошло в обществе новейшего времени. Военное действие, политическое и экономическое стремление здесь практически тождественны, желание получить большее богатство в виде земельных владений идентично желанию приумножить свою власть, обеспечить свою суверенность, равно как увеличить свою военную силу. Рыцарь, оказавшийся самым богатым в каком-то регионе, а именно, обладающий наибольшими земельными владениями, является также сильнейшим, поскольку может поставить под свои знамена наибольшее число людей, — он является одновременно и военным вождем, и властителем.

Именно потому, что в обществе того времени владелец поместья противостоял всем прочим так, как сегодня одно государство противостоит другим, для него приобретение новых земель соседом означало прямую или косвенную опасность. Как и сегодня, оно означало сдвиг в равновесии, установленном в рамках выверенной системы владений, где каждый был для другого потенциальным союзником или потенциальным врагом. Таков был простой механизм, который на этой фазе внутренней и внешней экспансии приводил в движение не только бедных, но и богатых и могущественных рыцарей, заставлял их быть настороже, внимательно следить за приумножением земель у других и постоянно искать возможности расширения собственных владений. Нехватка земель и перенаселенность приводят общество в движение, и уклоняющийся от борьбы в то время, когда другие ее ведут, желающий просто сохранять имеющееся, когда прочие стремятся к расширению владений, в итоге неизбежно окажет-

46

ся слабее и «меньше» этих других, и те обязательно попытаются захватить его землю при удобном случае. Богатые рыцари и крупные феодалы того времени не давали этим процессам теоретического обоснования и не высказывали общих соображений о подобных правилах, но очень хорошо видели, насколько бессильными они становятся в том случае, когда по соседству с ними захватывают новые земли и властвуют более богатые вельможи. Можно показать это на примере вождей крестовых походов, скажем, Готфрида Бульонского, который был вынужден продать или заложить свои земли, чтобы искать где-то вдали новые, еще большие владения, каковые в конце концов превратились в его собственное королевство. Что касается более позднего времени, можно привести в качестве примера Габсбургов, которые, даже добившись императорской короны, были одержимы мыслью о расширении владений их собственного дома, ибо без такой опоры их сила была бы ничтожной. Ведь сильные, соревнующиеся друг с другом феодалы выбрали первого кайзера из этого дома именно по причине бедности и слабости Габсбургов, не представляющих для них реальной опасности. Особенно хорошо эта же закономерность проявляется в той роли, какую сыграло завоевание Англии норманнским герцогом для развития западнофранкского царства. Прирост могущества одного из удельных господ означал полное изменение соотношения сил в том союзе крупных феодалов, который лежал в основе данного царства. Норманнский герцог, ничуть не меньше других испытывавший на себе влияние центробежных сил, завоевал Англию не ради блага всех норманнов, но исключительно с целью увеличения владений своего собственного дома. Раздел английских земель между пришедшими с ним воинами был явно нацелен на ограничение центробежных сил на завоеванных землях, на то, чтобы избежать появления на английской почве других крупных землевладельцев. Конечно, раздел земли между рыцарями обуславливался уже нуждами правления, но герцог старался никому не давать больших, представлявших собой единое целое территорий. Даже самым высокородным сподвижникам он предлагал участки, разбросанные по всей стране³⁰.

Это завоевание автоматически превратило его в самого могущественного феодала западнофранкского царства. Раньше или позже между его домом и домом франконских герцогов, носивших королевский титул, должна была начаться борьба за первенство, а затем и за корону. Хорошо известно, насколько значимой была данная борьба в последующие века: именно она определяла весь ход исторического развития, когда властители Иль-де-Франс путем приобретения новых областей смогли сравняться с норманнскими герцогами, а затем в результате этой борьбы, ведущейся то по одну, то по другую сторону пролива, возникли

47

два королевства, а затем и две нации. Но это лишь один пример свойственного динамической фазе Средневековья автоматического действующего механизма, вынуждающего и бедных, и богатых рыцарей стремиться к захвату новых земель.

5. Внутренняя дифференциация общества: образование новых органов и инструментов

19

Диспропорция между растущим числом людей и нехваткой земли побуждала господ к завоеванию новых земель; для представителей низшего слоя этот путь был в основном закрыт. Принуждение, отрывавшее их от пашни, чаще всего приводило к развитию в другом направлении — к дифференциации труда. Согнанные с земли несвободные члены общества послужили человеческим материалом для тех поселений ремесленников, которые постепенно кристаллизовались вокруг удобно расположенных замков и легли в основу возникающих городов.

Довольно значительные агломерации людей — использование слова «город» может ввести в заблуждение — обнаруживаются уже в обществе IX в., где господствовало натуральное хозяйство. Но такие агломерации еще не были общинами, «жившими не столько обработкой земель, сколько ремеслом и торговлей, обладавшими особыми правами и имевшими особые учреждения»³¹. Речь может идти о крепостях крупных феодалов, одновременно выступавших в качестве центров управления подвластными им землями. К тому времени города утратили целостность: рядом друг с другом могли находиться участки, зачастую принадлежавшие разным рыцарям и входившие в состав разных поместий светских или церковных феодалов. Каждый такой участок жил собственной хозяйственной жизнью без всякой связи с соседними. Рамки любой хозяйственной деятельности задавались поместьем, доменом сеньора. Произведенные продукты потреблялись непосредственно на том же самом месте³².

Однако в XI в. эти агломерации начинают расти. Подобно тому как это было при рыцарской экспансии, в слое несвободных начало процесса связано с неорганизованными одиночками, прибывающими в эти «центры» и создающими тем самым излишек рабочих рук. Отношение господ к новопривывшим работникам, покинувшим какое-то другое поместье, было не всегда одинаковым³³. Иногда им предоставлялась минимальная свобода; в подавляющем большинстве случаев от них ожидали и требовали исполнения тех же служб, что и от собственных крепостных. Но растущее число подобных людей меняло соотношение

48

сил между господами и представителями низшего сословия. Новопривывшие постепенно усиливаются и начинают долгую кровавую борьбу за свои права. Раньше всего эти бои развернулись в Италии, чуть позже во Фландрии: в 1030 г. — в Кремоне, в 1057 г. — в Милане, в 1069 г. — в Мансе, в 1077 г. — в Камбре, в 1080 г. — в Сен-Квентине, в 1099 г. — в Бовэ, в 1108—1109 гг. — в Нуайоне, в 1112 г. — в Лане, в 1127 г. — в Сен-Омере. Эти даты совпадают с периодом рыцарской экспансии и также свидетельствуют о наличии внутренней напряженности, приводившей общество в движение на этой фазе развития. Речь идет о первых освободительных войнах трудящихся, буржуа. После немалого числа поражений они в самых разных областях Европы в борьбе с представителями военного сословия завоевывают свои права, добиваются сначала меньшей, а затем и большей свободы. Их шансы увеличиваются благодаря самому ходу общественного развития. Этот медленный подъем городских трудящихся слоев к политической самостоятельности, а затем — уже в облике занятых профессиональным трудом буржуа — к руководящим политическим позициям дает нам ключ к почти всем тем структурным особенностям западных обществ, которые отличают их от восточных государств и придают им специфическую форму.

В XI в. существовало лишь два класса свободных: благородные воины и духовенство. Помимо них имелись только крепостные, несвободные или полусвободные — «seux qui prient, seux qui combattent, seux qui travaillent»³⁴.

К 1200 г., за два века (вернее даже — за полтора века, поскольку корчевка лесов и колонизаторская экспансия также способствуют ускорению этого процесса примерно с 1050 г.) целый ряд поселков ремесленников и коммун добиваются признания своих прав и привилегий, собственного судопроизводства и автономии. Наряду с двумя свободными сословиями появляется третье. Развитие общества под давлением таких факторов, как нехватка земли и рост населения, идет не только вширь, но и вглубь: общество дифференцируется, в нем образуются новые клетки, новые органы — города.

20

Вместе с растущей дифференциацией труда, вместе с вновь образовавшимися большими рынками, вместе с ростом обмена с удаленными регионами растет и нужда в единых средствах оплаты, способных быть мобильными.

Когда крепостной или безземельный крестьянин приносил господину плоды своего труда, когда цепочки связи между производителем и потребителем были очень коротки и не требовали промежуточных инстанций, общество не нуждалось в единице счета, в том орудии обмена, которое можно было бы исполь-

49

зовать в качестве общей меры всех обмениваемых объектов. Теперь же, вместе с постепенным выделением производителей из поместного хозяйства, вместе с формированием экономически независимого ремесла, с развитием обмена продуктов, переходящих из рук в руки через длинные цепочки посредников, сеть актов обмена усложняется. Теперь нужна единая мера, прилагаемая ко всем прочим объектам и приспособленная для обращения. Когда разделение труда и обмен становятся более сложными и интенсивными, обществу

требуется больше денег. Действительно, деньги выступают и как воплощение этой социальной сети, и как символ переплетения актов обмена и цепочек людей, через которые проходил данный продукт от своего «естественного состояния» вплоть до потребления. Деньги нужны лишь там, где в рамках общества образуются длинные цепочки обмена, т.е. при наличии определенной плотности населения, при росте дифференциации общества и усилении социальной взаимосвязи.

Вопрос о постепенном отступлении товарно-денежных отношений на задний план в период поздней античности и их новом подъеме начиная примерно с XI в. слишком обширен, чтобы здесь в него углубляться; мы ограничимся одним замечанием, прямо вытекающим из вышесказанного.

Конечно, следует напомнить о том, что деньги никогда не выходили из употребления в издревна обжитых областях Европы с оседлым населением. Все время в поле натурального хозяйства существовали анклавные денежной экономики. К тому же за пределами владений Каролингов оставались значительные области древней Римской империи, где деньги никогда не выходили из оборота. Вполне оправдан вопрос об «антецедентах» денежного хозяйства на христианском Западе, об анклавах, в которых оно никогда не исчезало. Можно ставить и такие вопросы: откуда берется денежное хозяйство? Каковы его истоки? У кого европейцы вновь научились пользоваться деньгами? Такого рода вопросы и проистекающие из них исследования не лишены ценности. Действительно, трудно себе представить, что этот инструмент мог вновь войти в употребление, если бы его не было в предшествующей или в соседних цивилизациях; он не мог бы получить такое развитие, если бы ранее вообще был неизвестен. Но при такой постановке проблемы важнейшая сторона вопроса о возобновлении денежного обращения на Западе все же не получает должного освещения. Мы не можем уяснить, почему на протяжении долгого периода времени западное общество сравнительно мало нуждалось в деньгах, почему затем спрос на деньги постепенно начал расти и они стали все больше входить в употребление (со всеми вытекающими отсюда последствиями для развития общества). Здесь также нужно ставить вопрос о *движущих силах*, о тех факторах, что ведут к изменениям. Отве-

50

та на этот вопрос мы не найдем, пока будем обращаться к антецедентам, к предшествующим формам денежного хозяйства, к происхождению денег как таковому. Мы получим его только в том случае, если обратимся к изучению актуальных социальных процессов, к тем новым отношениям между людьми и формам интеграции, которые, после долгого спада, происшедшего в обращении денег со времен поздней античности, вновь усилили спрос на них. Клеточная система общества стала дифференцироваться, что нашло выражение в росте употребления денег. Понятно, что этому способствовало не только внутреннее развитие — свою роль сыграла и колонизация, направленная вовне, приводящая в движение собственности, пробуждающая новые потребности, прокладывающая торговые пути к дальним регионам. Каждое движение по отдельности играло свою роль в этом процессе, усиливая или сдерживая другие; вся сеть этих отношений и взаимовлияний усложнялась вместе с социальной дифференциацией. Отдельные факторы тут невозможно вычленишь и полностью изолировать от других. Однако без закрепления собственности на землю, без значительного увеличения населения, без образования независимых коммун ремесленников и купцов этот спрос на деньги внутри общества не вырос бы столь быстро, а сектор товарно-денежных отношений не мог бы увеличиваться с такой скоростью. Процессы падения или роста в использовании денег нельзя понять сами по себе, они всегда связаны со структурой человеческих отношений. Первичные силы этих изменений следует искать именно в новой интеграции данных отношений. Разумеется, едва начавшись, рост употребления денег стал оказывать обратное воздействие на все движение — на прирост населения, на дифференциацию, на рост городов.

«Начало XI в. еще характеризуется отсутствием значительных денежных операций. Богатство сосредоточено в руках церкви и светских феодалов и, как правило, остается без движения»³⁵.

Затем постепенно растет потребность в мобильных инструментах обмена. Имеющихся в наличии отчеканенных денег не хватает. Поначалу люди прибегают к вспомогательным средствам, скажем, используют при обмене пластинки или украшения из драгоценных металлов, которые взвешивают для того, чтобы получить мерную единицу. Роль такой мерной единицы могли играть даже лошади. В ответ на растущий спрос следует увеличение количества отчеканенных монет, т.е. выпущенных властями плашек определенного веса из дорогих металлов. Вероятно, на различных исторических ступенях, как только появлялась потребность в мобильном инструменте обмена, этот процесс повторялся. Возможно также, что в том случае, когда количество находящихся в обращении монет не отвечало расширив-

51

шимся потребностям, при обмене вновь начинали применять преимущественно вспомогательные средства, данные самой природой. Растущая дифференциация в обществе и возникновение более густой сети взаимодействий между людьми, расширение торговли и обмена постепенно ведут к увеличению находящихся в обращении денег, что, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на эти процессы, способствуя их интенсификации. При этом возникают все новые диспропорции.

Во второй половине XIII в. во Фландрии (в других областях это могло произойти чуть раньше или чуть позже) мы обнаруживаем уже весьма значительную движимую собственность. Денежное обращение довольно оживленное, и это происходит «благодаря ряду созданных к тому времени инструментов»³⁶. Здесь начинают чеканить золотые монеты, чего ранее не было во Франции (как нет, скажем, в сегодняшней Абиссинии): ранее использовали и хранили в сокровищницах в основном византийские монеты. Затем

начинается чеканка разменной монеты, пригодной для обмена и счета, — все это признаки того, что незримая сеть цепочек обмена стала более плотной.

21

Но как мог возникнуть обмен между отдаленными областями, как могла выйти за локальные рамки дифференциация труда, если средства транспортировки товаров были недостаточно развиты, а общество неспособно обеспечить перемещение грузов на сколько-нибудь значительные расстояния?

Мы уже видели на примере каролингской эпохи, что сам король должен был переезжать вместе со своим двором из одного поместья в другое, чтобы получить пропитание на месте. Хотя даже в сравнении с дворами, существовавшими в самом начале эпохи абсолютизма, его свита была невелика, для ее пропитания требовалось такое количество продовольствия, какое доставить ко двору было просто невозможно, а потому перемещались не блага, а сами люди.

Но именно в это время в городах, где рост взаимосвязей был более заметен, начинается развитие транспортных средств.

В античном мире сбруя лошадей и упряжь прочих тягловых животных была плохо приспособлена для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Трудно сказать, какие грузы и на какие расстояния перевозились с помощью таким образом запряженных животных; видимо, удовлетворить потребности хозяйства внутренних областей все же удавалось. На протяжении всей античности наземный транспорт в сравнении с водным был чрезвычайно дорогим и неудобным, кроме того, такие перевозки занимали слишком много времени³⁷. Практически все круп-

52

ные торговые центры располагались у моря или на берегах судоходных рек. Для античного общества вообще характерно передвижение по водным артериям. Вдоль водных путей, прежде всего на морском побережье, возникали богатые и иной раз густо населенные городские центры, потребности которых в продовольствии и в предметах роскоши очень часто покрывались поставками из отдаленных районов. Эти центры образовывали узлы в дифференцированной сети обмена с дальними регионами. Но на огромных внутренних территориях, занимавших куда большую часть Римской империи, население удовлетворяло первичные потребности продуктами, произведенными на месте; здесь преобладали короткие цепочки обмена, господствовали «отношения натурального хозяйства». В глубине страны деньги использовались в сравнительно малом объеме, поскольку покупательная способность, необходимая для приобретения предметов роскоши, в этом секторе античной экономики была слишком незначительной. Контраст между небольшой полосой сконцентрированных преимущественно в прибрежной зоне городских поселений и гигантскими континентальными областями был весьма существенным. Расположенные вдоль водных путей большие города наподобие отростков нервных волокон внедрялись в обширные сельские области, высасывали из них силы, пользовались плодами труда их населения. Это продолжалось до тех пор, пока этот небольшой, сильно дифференцированный городской сектор с его разветвленными сетями в конце концов не рухнул вместе с распадом централизованного аппарата власти, чему немало способствовали сельские элементы, ведущие борьбу против засилья городов. Короткие, регионально ограниченные цепочки сети обмена и институты натурального хозяйства освободились от господства городов и намного пережили их, чуть изменив свои формы. Что же касается самого городского сектора античности, здесь также явно не наблюдалось потребности в дальнейшем развитии наземного транспорта. Все товары, которые из соседних областей доставить посуху было нельзя (или цена транспортировки была слишком высока), эти города без труда получали по воде.

В каролингскую эпоху для целой группы народов прежние торговые артерии древнего мира с центрами на побережье Средиземного моря оказались недоступными — в первую очередь из-за арабских завоеваний. Вместе с этим совершенно новое значение получили наземные пути. Рост внутренних связей в удаленных от моря местностях требовал развития наземного транспорта, а само это развитие привело к еще большему смещению сети обмена в направлении сухопутного сообщения. Хотя заморская торговля вновь достигла подобных временам античности размеров (например, связи между Венецией и Визан-

53

тией, между городами Фландрии и Англией) и стала играть значительную роль в западной экономике, специфика западного развития все же определялась тем, что цепочка морских путей была связана со становящейся все более густой сетью наземных путей, а на суше возникло множество торговых центров и рынков. Прогресс, наблюдаемый в развитии транспорта в сравнении с античностью, хорошо показывает дифференциацию и рост взаимосвязей на всем Европейском континенте.

Как уже было отмечено, в римском мире применение лошади в качестве тягловой силы было незначительным³⁸. Сбруя прикреплялась к шее животного. Вероятно, это было удобно для наездника, поскольку позволяло ему легко удерживать и направлять лошадь. Поднятая вверх голова и «гордая» осанка лошади, которые мы часто встречаем на античных барельефах, связаны именно с такой особенностью сбруи. Но это не позволяло использовать ни лошадь, ни мула в качестве тяглового животного, в особенности при транспортировке тяжелых грузов, — иначе сбруя просто передавила бы им горло.

Столь же мало приспособлены к перевозке тяжестей лошади были и в другом отношении. В античности не существовало железных подков, прибываемых гвоздями к копыту, а именно это придало ногам лошадей

дополнительную силу сопротивления и сделало возможным полномасштабное использование их тягловой силы.

Ситуация постепенно меняется начиная с X в. Решающая перемена в использовании рабочей силы животных происходит одновременно с ускоренной корчевкой лесов, с дифференциацией общества, образованием городских рынков, ростом денежного обращения. При всей неприметности для нашего глаза такого совершенствования упряжи, нужно отметить, что оно сыграло на этой фазе не меньшую роль, чем развитие машинной техники — на более поздней фазе развития.

«Невероятная страсть к конструированию»³⁹, как было однажды сказано об этом времени, привела в XI—XII вв. к расширенному использованию рабочей силы животных. Основная тяжесть была перенесена с шеи лошади на плечи, появились подковы. В XIII в. была доведена до современной формы упряжь и выработана технология использования лошадей и прочих животных в качестве тягловой силы. Тем самым были заложены основания наземной перевозки больших грузов на дальние расстояния. В это время появляются повозки и начинается мощение улиц. По мере развития транспорта растет роль водяных мельниц. Они приобретают значение, какowym не обладали в античности: к ним стало возможным подвозить зерно издалека⁴⁰. Это также было шагом на пути к дифференциации и росту взаимосвязей, к отчуждению хозяйственных функций от замкнутого в себе поместья.

54

6. О некоторых новых элементах в строении средневекового общества в сравнении с античным

22

Изменение поведения и влечений, называемое нами «цивилизацией», теснейшим образом связано с усилившимся переплетением взаимосвязей людей и их растущей зависимостью друг от друга. По тем немногим примерам, что мы имели возможность привести, это переплетение можно увидеть в его становлении. Уже здесь, на сравнительно ранней фазе развития общества, способ социального соединения людей в западном мире по ряду моментов отличается от того, что существовал в античности. Клеточная структура общества начинает дифференцироваться по-новому, хотя при этом и используется многое из доставшегося в наследство от предшествующей фазы, характеризовавшейся высоким уровнем дифференциации институтов. Но те условия, в которых происходила эта новая дифференциация, — а тем самым способ и направление дифференциации — во многом были иными. Иногда говорят о «возрождении торговли» в XI—XII вв. Если имеется в виду некое возвращение к античным институтам, то это, конечно, верно. Без античного наследия вряд ли удалось бы в такой мере и с такой скоростью справиться с проблемами, возникшими в ходе общественного развития. В какой-то степени строительство велось на старом фундаменте. Однако движущей силой здесь выступала вовсе не «учеба у древних». Эта сила была заложена в самом обществе с его автоматически работающими механизмами, в тех условиях, в которых происходила совместная деятельность людей. А сами эти механизмы, сами условия были далеко не тождественны тем, что мы наблюдаем в античности. Широкое распространение получило представление, будто Запад «достиг уровня античности» только в эпоху Возрождения и лишь затем постепенно его «перерос». Но даже в том случае, если вообще допустимо говорить о «перерастании» или «прогессе», все равно следует помнить, что структурные закономерности развития и его направление, представлявшие собой нечто новое в сравнении с античностью, впервые заявляют о себе вовсе не в эпоху Возрождения — в известной мере они заметны уже на той фазе экспансии и роста, о которой шла речь выше.

Два структурных отличия необходимо отметить особо. Первое сводится к тому, что средневековое общество Запада не располагало дешевой рабочей силой пленников, рабов. Даже там, где такая рабочая сила имелась в наличии (а примеров тому найдется немало), она уже не играла значительной роли в строении общества в целом. Это обстоятельство сразу дало социальному развитию Запада иное по сравнению с античным миром направление.

55

Не менее важным было и второе отличие. О нем мы уже упоминали: заселялись не только морское побережье и берега рек, но также значительная часть удаленной от водных путей сообщения суши, где прокладывались наземные транспортные артерии. Благодаря этим двум тесно связанным друг с другом моментам перед людьми западного общества изначально стояли проблемы, не известные античности. Под воздействием данных факторов общественное развитие пошло в ином направлении. Причиной малой роли рабской силы в поместных хозяйствах могло быть отсутствие значительного числа рабов или наличие достаточного для удовлетворения потребностей воинского сословия местных крепостных. Как бы там ни было, при незначительной роли рабского труда отсутствовали и социальные закономерности, типичные для рабовладельческого хозяйства. Своеобразие западного общества становится понятным только с учетом этих специфических закономерностей. И разделение труда, и взаимосвязь между людьми, характеризующиеся многосторонней зависимостью друг от друга высших и низших слоев (которая оказывала влияние на структуру влечений у обоих слоев), по-разному развиваются в рабовладельческом обществе и в обществе с более или менее свободным трудом. Оказываются различными не только социальные противоречия, но даже функции денег, не говоря уж о том, какое значение свободный труд имел для развития орудий производства.

В рамках нашего исследования достаточно сопоставить процессы, придавшие специфический облик западной цивилизации, с теми, что протекали в обществе с развитым рынком рабского труда. В обоих случаях данные процессы в равной степени обладают принудительной силой. Для характеристики современных исследований обществ, построенных на основе рабского труда, мы приведем обширную цитату из работы⁴¹, автор которой приходит к следующему выводу: «...Slave-labour interferes with the work of production by free-labour. It interferes in three ways: it causes the withdrawal of a number of men from production to supervision and national defense; it diffuses a general sentiment against manual labour and any form of concentrated activity; and more especially it drives free labourers out of the occupations in which the slaves are engaged. Just as, by Gresham's law, bad coins drive out good, so it has been found by experience that, in any given occupation or range of occupations, slave-labour drives out free; so that it is even difficult to find recruits for the higher branches of an occupation if it is necessary for them to acquire skill by serving an apprenticeship side by side with slaves in the lower.

This leads to grave consequences; for the men driven out of these occupations are not themselves rich enough to live on the labour of slaves. They therefore tend to form an intermediate class of idlers who pick up a living as best they can — the class known to modern econo-

56

mists as «mean whites» or «white trash» and to students of Roman history as «clientes» or «faex Romuli». Such class tends to emphasize both the social unrest and the military and aggressive character of a slave-state....

A slave society is therefore a society divided sharply into three classes: masters, mean whites and slaves; and the middle class is an idle class, living on the community or on warfare, or on the upper.

But there is still another result. The general sentiment against productive work leads to a state of affairs in which the slaves tend to be the only producers and the occupations in which they are engaged the only industries of the country. In other words, the community will rely for its wealth upon occupations which themselves admit of no change or adaptation to circumstances, and which, unless they supply deficiencies of labour by breeding, are in perpetual need of capital. But this capital cannot be found elsewhere in the community. It must therefore be sought abroad: and a slave community will tend, either to engage in aggressive warfare, or to become indebted for capital to neighbours with a free-labour system...²⁾».

Свободных членов общества использование рабов в большей или меньшей степени отвращает от труда как от недостойного занятия. Наряду с неработающим высшим слоем рабовладельцев появляется *праздний средний слой*. Применяя рабский труд, общество оказывается перед необходимостью сохранять сравнительно простые орудия производства, такой технический аппарат, которым могут пользоваться рабы. Уже поэтому здесь очень сложно изменять, улучшать орудия, приспособляя их к новым ситуациям. Воспроизводство капитала связано с воспроизводством рабов, а тем самым, прямо или косвенно, — с успехом военных походов, с пополнением числа рабов. В итоге подобное воспроизводство становится более рискованным и менее предсказуемым, чем в том обществе, где покупают не людей, насильно принуждаемых работать всю свою жизнь, а работу, выполняемую более или менее свободными людьми в течение определенного времени.

Теперь становится понятным, какое значение для всего направления развития западного общества имел тот факт, что при постепенном росте народонаселения начиная с раннего Средневековья рабы здесь либо вовсе отсутствовали, либо играли небольшую роль. Западное общество изначально пошло по иному пути, чем древнеримский мир⁴². Оно подчинялось иным закономерностям. Первым проявлением данных закономерностей были городские революции XI—XII вв. — постепенное освобождение лишенных земли тружеников, бюргеров, от власти рыцарей-землевладельцев. С этого начинается движение к преобразованию западного мира в общество трудящихся в целом. Отсутствие ввозимых рабов и рабского труда обеспечивает известную социальную значимость даже низшему слою тружеников. Чем

57

разветвленнее взаимосвязи между людьми, чем в большей мере земля и ее продукты включены в торговый оборот, и следовательно, зависят от денежного обращения, тем прочнее становится зависимость высших слоев — воинов или дворян — от низших и средних слоев, обретающих тем самым все большую социальную силу. Подъем буржуазных слоев служит выражением этой закономерности. В противоположность античным рабовладельческим обществам, где существенная часть свободных горожан вытеснялась из сферы труда, в западном обществе труд свободных ведет к растущей зависимости всех ото всех. В конечном счете даже прежде не работавшие высшие слои все более втягиваются в круговорот разделения труда. Отсутствие рабского и совершенствование свободного труда являются предпосылками и технического развития Запада, и процесса превращения денег в специфическую форму «капитала».

23

Это лишь один пример специфических для Запада тенденций развития, которые ведут нас от Средних веков в Новое время.

Не менее важным был тот факт, что в Средние века заселялось не только морское побережье. Предшествующие волны переселяющихся народов на европейском пространстве стимулировали интенсификацию торговли и интеграции только в областях, расположенных в непосредственной близости от рек и морей. Это относится и к Греции, и к Риму. Господство римлян постепенно расширялось по всему бассейну Средиземного моря, пока они не освоили все его побережье. «Рейн, Дунай, Евфрат, Сахара по

внешним границам образовывали огромный защитный вал, препятствовавший доступу к побережью. Для Римской империи море было одновременно фундаментом как политического, так и экономического единства»⁴³.

Германские племена поначалу также отовсюду стремились к Средиземному морю, основывая свои царства на территориях Римской империи, расположенных у моря, которое римляне называли «mare nostrum»⁴⁴. Франки так далеко не дошли — прибрежные области уже были заняты, — но и они пытались прорваться к ним силой. Все эти переселения и войны нарушили коммуникацию между приморскими областями. Но еще больше Средиземное море утрачивает свою роль средства сообщения, колыбели и центра развития высокой культуры после вторжения арабов. Вместе с этим вторжением окончательно рвутся уже ослабленные нити; из римского море в немалой своей части становится арабским. «Связь, скрепляющая Восточную и Западную Европу, Византийскую империю и германские царства, нарушена. L'invasion de l'Islam...eut, en effet, pour consequence de placer celles-ci dans des conditions qui n'avaient jamais existe depuis les

58

premieres temps de l'histoire»^{3),45}. Скажем это чуть иначе: еще никогда ранее на внутренних территориях Европейского континента, вдали от больших рек и немногих сохранившихся военных дорог не появлялось богатое, сильно дифференцированное общество с развитым производством.

Трудно сказать, только лишь одно арабское вторжение создало условия для развития, сконцентрированного вокруг центральных областей континента. Такое развитие могло быть следствием того, что на европейском пространстве теснились племена, прибывшие во время великого переселения народов. Однако решающую роль для определения направления развития западной и центральной Европы сыграл именно временный упадок прежних транспортных артерий.

В каролингскую эпоху центр обширной территории впервые оказывается в глубине континента. Перед обществом встала задача наладить и развить внутреннюю коммуникацию. Когда со временем это удалось сделать, то и данное наследие античности также оказалось в новых условиях. Коммуникация была включена в формации, коих не ведал античный мир. Отсюда проистекают многие отличия между формами интеграции, существовавшими в античности, с одной стороны, и теми, что постепенно развились на Западе, — с другой. Государства, нации — как бы мы ни называли эти единства, — имеют своими центрами или столицами города, расположенные вдоль внутренних транспортных артерий, связующих разные народы. Впоследствии эти западные центры стали отправными точками колонизации, затронувшей не только побережье морей и рек, но и территории огромных материков, и в результате значительная часть планеты оказалась захваченной и заселенной представителями западного мира. Но это стало возможным лишь потому, что ранее возникли формы континентальной коммуникации, а в самих континентальных странах отсутствовал рабский труд. Начало такого развития обнаруживается в Средневековье.

Здесь же заложены предпосылки того, что ныне континентально-аграрный сектор общества в большей, чем когда бы то ни было, мере включен в круговорот дифференцированного разделения труда и входит в широко раскинувшиеся сети торгового обмена.

Никто не может сказать, пойдет ли западное общество и далее по этому пути. Множество не вполне ясных сегодня рычагов побуждало его двигаться в данном направлении и привело к определенной стабилизации. Для нас важно, что уже в самую раннюю эпоху это общество избрало путь, по которому шло до сих пор. С точки зрения развития человеческого общества в целом кажется очевидным, что весь этот период, охватывающий Средние века и Новое время, представляет собой одну-единственную эпоху, как бы одно большое «Средневековье». Не менее важно

59

понять, что Средние века в узком смысле слова не были тем периодом статики, неким «окаменевшим лесом», как их иной раз представляют. Именно тогда в ряде секторов началось движение, лишь продолжившееся в Новое время. Уже в Средние века появляются фазы экспансии и прогрессирующего разделения труда, здесь мы находим социальные трансформации и революции, совершенствование техники и технологии. Конечно, имелись и другие сектора и иные фазы, где и когда институты и идеи действительно не развивались и как бы «окаменевали», а борьба шла скорее за сохранение, чем за расширение и дальнейшее развитие. Но такое чередование фаз не чуждо и Новому времени, даже если скорость социального развития и трансформаций в эту эпоху стала несравнимо более высокой, чем в Средние века.

7. О социогенезе феодализма

24

Процессы социальной экспансии имеют свои границы и раньше или позже достигают их. Начавшаяся примерно в XI в. экспансия также остановилась. Для западнофранкских рыцарей становилось все труднее обеспечивать себя новыми землями за счет корчевания лесов внутри страны. За границей их нужно было добывать в трудной борьбе. Колонизация восточного побережья Средиземного моря после первых успехов захлебнулась. Тем временем число рыцарей росло. Аффекты и влечения сословия господ того времени по сравнению с высшими слоями последующих эпох менее сдерживались социальными зависимостями и процессом цивилизации. Власть мужчин над женщинами еще была безраздельной. «На каждой странице хроник того времени упоминаются рыцари, бароны, герцоги, имевшие по восемь, десять, двенадцать потомков мужского пола, а то и еще больше»⁴⁶. Так называемая «феодалная система», отчетливо заявившая

о себе в XII и закрепившаяся в XIII в., была не чем иным, как итогом экспансии, шедшей в аграрном секторе общества. В городском секторе это движение еще какое то время продолжалось в другой форме, пока не нашло завершения в возникновении закрытой цеховой системы. В этом обществе для рыцарей, еще не ставших помещиками, еще не обладавших земельным наделом, было все труднее его получить, а малоземельным домам все реже удавалось расширять свои владения. Отношения собственности закрепляются. Продвижение вверх по социальной лестнице делается все более затруднительным. Закрепляются и ранговые различия между рыцарями. Все более отчетливый вид приобретает иерархия дворянского сословия, строящаяся в соответствии с размерами владений. Разнообразные титулы, служившие не-

60

когда для обозначения служебного положения, или, как мы бы сказали сегодня, «чина», фиксируются, но уже в новом смысле: теперь они связывают с именем определенной семьи информацию о величине ее земельного надела, а тем самым и об уровне ее военного могущества. Герцоги были наследниками тех служилых людей, которые прежде управляли от имени короля теми или иными территориями. Постепенно они стали более или менее независимыми властителями этих территорий, обладая в их пределах более или менее крупными земельными наделами. Сходным было положение графов, или «comtes». Потомками людей, поставленных графами в качестве своих заместителей для управления меньшими областями, были виконты, «vicomtes». Теперь они распоряжались этими областями как своими наследственными вотчинами. Носителями титула «сеньор» («seigneur» или «sir») были потомки тех, кого графы ранее ставили во главе крепости, замка или небольшого района. Затем эти стражи строили там свои замки⁴⁷. Теперь и замки, и земля вокруг превратились в их наследственное владение. Каждый удерживал то, чем владел. Более высокие по положению не могли вернуть розданные ими прежде земли, а посягательства нижестоящих решительным образом пресекались. Земля была разделена. От общества, находившегося на подъеме и переживавшего фазу внешней и внутренней экспансии, где воинам сравнительно просто было получить земли, — т.е. от общества с наличием жизненных шансов и относительно открытым полем возможностей, позволяющих индивиду относительно свободно изменять свое статусное положение, — за несколько поколений произошел переход к обществу с «закрытыми позициями», т.е. с ограниченными возможностями перемещения по иерархической лестнице.

25

В истории мы часто встречаемся с такими переходами от фазы подъема и экспансии к фазе, характеризующейся сокращением шансов, уменьшением возможностей удовлетворения стандартных потребностей, возникших во время подъема, т.е. к фазе, когда каждый закрепляется на своих позициях и не допускает к ним других. Мы сами живем во времена такой трансформации, правда, несколько смягченной благодаря особой эластичности индустриального общества, позволяющего за счет разницы в уровне развития взаимосвязанных областей при исчезновении шансов в одном секторе искать их в другом. Но при всех отклонениях конъюнктуры в том или ином направлении, тенденция, характеризующая общество в целом, все отчетливее показывает направление развития к системе с «закрытыми позициями».

Такие периоды узнаются по своего рода угнетенному состоянию (по крайней мере, наблюдаемому у тех, кто с опозданием

61

пришел к разделу собственности), по закоснелым и застывшим общественным формам, постоянно подвергающимся нападкам низших слоев, пытающихся изменить ситуацию, по сплочению тех, кто занимает сходные позиции на иерархической лестнице. При всех отличиях в деталях между процессами, протекающими в обществе с натуральным хозяйством и в обществе с денежным хозяйством, первые столь же строго закономерны, сколь и вторые. Позднейшему наблюдателю может показаться непостижимым тот факт, что ни короли, ни герцоги, ни все носители менее громких титулов не могли воспрепятствовать превращению своих служилых людей в более или менее самостоятельных землевладельцев. Но именно повсеместность этого феномена показывает силу автоматически действующего здесь социального механизма. Выше мы уже касались тех наделенных принудительной силой факторов, которые медленно, но верно вели к упадку королевского дома в условиях натурального хозяйства тогда, когда обладатель короны не мог добиться успеха в экспансии, т.е. в завоевании новых земель. Аналогичный процесс начался, когда для всего рыцарского общества уменьшились возможности экспансии и исчезла внешняя опасность. Таковы типичные закономерности общества, построенного на земельной собственности, — общества, где торговые связи не играют большой роли, каждое поместье представляет собой своего рода автаркию, а в основе первичной формы интеграции больших областей лежит потребность в защите и нападении.

В племенном союзе разделенные на сотни воины живут довольно компактно. Затем они постепенно рассеиваются по всей стране. Их число растет. Но вместе с увеличением захваченных племенем земель, вместе с освоением им огромных территорий индивиды лишаются той защиты, которую им давали племя или сотня. Отдельные семьи теперь замкнуто живут вдалеке друг от друга, в своих поместьях и замках, и воин, возглавляющий эту семью, одновременно властвует над большим или меньшим числом крепостных, каменных, полусвободных крестьян. Все они теперь оказываются в более жесткой изоляции от окружающих областей. По всей стране между воинами устанавливаются новые формы отношений, которые

зависят от количества подчиненных им людей и размера их земельных владений и определяются этой изоляцией, а также закономерностями, присущими земельной собственности.

Постепенный распад племенного союза и смешение германских воинов с представителями галло-романской знати, рассеяние этих воинов по обширным территориям приводят к тому, что у индивида, желающего защититься от социально более сильного соперника, не остается иного пути, как признать себя подвластным еще более могущественному правителю. Но и сами могущественные феодалы не могут защищаться от противников,

62

равных им по владениям и военной силе, иначе как с помощью рыцарей, предлагающих им свои воинские услуги в обмен на земельный надел.

Устанавливались зависимости между индивидами, один рыцарь клялся в верности другому. Тот, кто занимал более высокое положение в войске, имел и больший удел — одно влекло за собой другое, и перемены в одном отношении раньше или позже вели к изменениям в другом. Сильный был «господином», слабый — «вассалом». В свою очередь, последний мог предоставлять тем, кто был слабее его и в экономической, и в военной области, свою защиту в обмен на их службу. Заключение таких индивидуальных союзов поначалу представляло собой единственную форму, в которой можно было получить защиту.

«Феодальная система» становится более понятной при сравнении ее с племенной организацией общества. Вместе с распадом последней неизбежно возникли новые группировки, новые формы интеграции. Произошел мощный сдвиг к индивидуализации, усиливаемый ростом мобильности и развертыванием экспансионистских тенденций. Здесь речь может идти о большей индивидуализации по сравнению с племенным, а отчасти и с семейным союзом, подобно тому как в дальнейшем происходит рост индивидуализации по сравнению с ленными, цеховыми, сословными союзами и с тем же семейным союзами. Клятва ленника была не чем иным, как заключением договора о взаимной защите между отдельными феодалами, сакральным закреплением индивидуальных отношений между рыцарем, дающим землю и обеспечивающим защиту, и воином, предлагающим взамен этого свою службу. В начальный момент движения «дающую» сторону представлял король, стоящий на вершине социальной пирамиды. Будучи владыкой-завоевателем, он фактически распоряжался всей землей и никому не служил. Внизу пирамиды находился крепостной: он не владел землей, а только служил и платил подати. Все ступени между ними носили двойственный характер. На каждой из них рыцари предлагали стоящим ниже землю и защиту, стоящим выше — службу. Но такое переплетение зависимостей — служба (прежде всего военная) у высших и предоставление земли и защиты низшим — таило в себе противоречия, которые привели к специфическим трансформациям. Процесс феодализации представляет собой именно такое принудительное смещение в этой сети зависимостей. На определенной фазе развития во всем западном мире зависимость некогда вышестоящих господ от состоящих у них на службе вассалов становится большей, чем зависимость от них их прежних вассалов. Это происходило всякий раз, стоило последним завладеть участком земли. В обществе, где каждый господин кормится со своего надела, начинают доминировать центробежные силы. Этот процесс подчиняется простой закономерности: всю иерархию

63

рыцарского общества образуют бывшие служилые люди, ставшие самостоятельными землевладельцами, и их прежние титулы, обозначавшие ранее только служебный ранг, теперь свидетельствуют о величине их удела и размерах их военной силы.

26

Такую трансформацию и ее механизмы не трудно понять, если не привносить в отношения между рыцарями феодального общества более поздние представления о «праве», что раз за разом делали историки. Принудительная сила мыслительных привычек исследователя, характерных для его собственного общества, оказывается настолько велика, что у человека, оглядывающегося на прошлое, невольно возникает вопрос: почему же короли, герцоги, графы утрачивали власть над землями, которые ранее были им полностью подвластны? Почему они не заявляли о своем «праве» на них?

Но здесь мы имеем дело с чем-то отличным от «правовых вопросов», свойственных более дифференцированному обществу. Предпосылкой всякого понимания феодального общества является именно отказ от того, чтобы считать собственные «правовые формы» установлениями, данными от века. Правовые формы в каждое время соответствуют строению общества. Предпосылкой образования всеобщих письменно зафиксированных правовых норм, связанных с формами собственности индустриального общества, является высокая степень социальной взаимозависимости, требующая в том числе наличия центральных институтов, способных обеспечить общезначимость этих норм во всей стране. Такие институты должны быть достаточно сильны, чтобы обеспечить соблюдение письменно заключенных договоров, чтобы даже в случае неприятия этих норм и сопротивления их применению на практике со стороны части общества гарантировать исполнение зафиксированных законов и судебных решений.

Власть, которая в наши дни легитимирует звания и притязания на собственность, сделалась почти невидимой. По отношению к индивиду эта власть столь огромна, а ее карающая мощь, способная представлять угрозу для самого его существования, столь очевидна, что мало кто станет проверять ее силу в

открытой борьбе. Поэтому так велико желание считать действующее ныне право абсолютным, как бы «упавшим с неба» и потому не зависимым от поддержки со стороны аппарата власти.

Отношения между правовым аппаратом и аппаратом власти сегодня опосредуются более длинными цепочками, что соответствует возросшей социальной дифференциации. Поскольку правовой аппарат очень часто (хотя не всегда и, конечно, не целиком) работает независимо от аппарата власти, то с легкостью

64

упускается из виду то, что в нашем, как и в любом другом, обществе право есть функция социального строения, что оно выражает соотношение и служит символом зависимости друг от друга различных социальных групп, а тем самым и их социальных сил⁴⁸.

В феодальном обществе это проявлялось намного более откровенно. Взаимозависимость людей и связи между областями были значительно меньшими. Отсутствовал стабильный аппарат власти, подчиняющий себе на всю территорию. Отношения собственности прямо регулировались взаимной зависимостью и фактической социальной силой⁴⁹.

В индустриальном обществе также существуют отношения, в каком-то смысле сопоставимые с отношениями между воинами-землевладельцами в феодальном обществе и позволяющие прояснить закономерности, действующие в нем. Это — отношения между государствами. Решающую роль здесь также явно играет социальная сила, в которой, наряду с иными весьма разнообразными зависимостями, вытекающими из экономической взаимосвязи, в большей или меньшей степени представлена и военная мощь. В свою очередь, этот военный потенциал, как и в рыцарском обществе, решающим образом определяется величиной территории и плодородностью ее земель, количеством населяющих ее и кормящихся с нее людей и их рабочим потенциалом.

Отношения между государствами также регулируются совсем не теми правовыми нормами, что приняты в пределах каждого из них. Отсутствует общий для всех аппарат власти, обеспечивающий функционирование межгосударственного права. Наличие международного права не способно скрыть того факта, что отношения между народами, если рассматривать их в длительной перспективе, регулируются исключительно соотношением социальных сил, и любое смещение в этом соотношении, любой рост власти и могущества одной из стран в рамках какой-то местной системы равновесия порождает изменения, затрагивающие все существующие на Земле общества (и происходит это за счет растущей взаимосвязи между ними) и ведущие к автоматическому ослаблению социальной силы других стран.

Здесь мы также обнаруживаем напряженность, возникающую между «haves» и «haves-not», — т.е. между теми, кто располагает землями и средствами производства, достаточными для удовлетворения соответствующих стандарту потребностей, и теми, кому их не хватает. Эта напряженность автоматически дает о себе знать, когда буржуазное общество распространяется по всей Земле и подходит к состоянию системы с «закрытыми позициями».

Между отношениями отдельных баронов в феодальном обществе и отношениями государств в индустриальном обществе имеется сходство, не сводимое к случайной аналогии. Это сходство основывается на линии развития самого западного обще-

65

ства. В ходе этого развития вместе с ростом взаимосвязей и взаимозависимостей возникают аналогичные формы отношений — в том числе и правовых, — которые сначала появляются в относительно небольших территориальных единицах интеграции, а затем поднимаются по все новым ступеням интеграции на более высокий уровень, даже если переход на новые ступени влечет за собой известное качественное изменение.

Нам нужно разобраться с тем, каково было значение этого процесса — возникновения все больших интегрированных единиц, добившихся внутреннего мира, но готовых к войне с внешними врагами, — для изменения поведения людей и их влечений, т.е. для процесса цивилизации.

Действительно, отношения между владельцами замков напоминают отношения между современными государствами. Конечно, экономические связи, товарообмен, разделение труда между отдельными поместьями X—XI вв. были несравнимо меньшими, чем между сегодняшними государствами; соответственно, меньшей была и экономическая зависимость рыцарей друг от друга. Поэтому на отношения между ними более непосредственное влияние оказывали военный потенциал, размеры войска и величина территории, которой фактически распоряжался каждый рыцарь. Мы вновь и вновь видим, что в этом обществе изменение социальной силы неизбежно влечет за собой нарушение клятв и договоров — подобно тому как сегодня это происходит в отношениях между государствами. То, в какой мере вассалы хранили верность своему сюзеру, в конечном счете всякий раз приводилось в соответствие с реальной зависимостью союзников друг от друга, определялось спросом и предложением. При этом на одной стороне находились те, кто предлагал землю и защиту, но нуждался в служилых людях, а на другой стороне — те, кто предлагал свою службу, нуждаясь в земле и защите. Когда экспансия, завоевание и присоединение новых земель стали более трудным делом, поначалу шансы росли у тех, кто предлагал службу в обмен на землю. Это явилось основанием для первого сдвига, происходившего в феодальном обществе, — для роста самостоятельности служилых людей.

Земля в данном обществе всегда была «собственностью» тех, кто ею фактически распоряжался, кто реально пользовался правом владения и был достаточно силен для того, чтобы отстоять приобретенное. Поэтому тот, кто должен был раздавать землю ленникам в обмен на их службу, поначалу оказывался в большей

зависимости от тех, кто получал землю за службу. Конечно, у сюзерена оставалось «право» на ленные земли, но фактически ею распоряжались вассалы. Единственное, что связывало уже имевшего землю ленника с сюзереном, была защита в самом широком смысле этого слова. Но такая защита требовалась далеко не всегда. Подобно тому как короли в феодальном обще-

66

стве сильны до тех пор, пока вассалы нуждаются в их защите и в их военном руководстве при наличии внешней угрозы, и особенно сильны, когда захватывают новые земли и могут их делить, а слабы тогда, когда их вассалам ничто не угрожает и нет новых земель, точно так же сюзерены более низкого уровня оказываются слабыми, когда ленники утрачивают потребность в их защите.

На любой ступени иерархии сюзерен способен силой принудить каждого из своих вассалов к подчинению или отобрать у него землю. Но он не может предпринять такие действия одновременно в отношении всех или даже многих вассалов. Ведь для того, чтобы справиться с одними рыцарями, он должен привлечь на службу других (в то время не могла даже возникнуть мысль о вооружении крепостных), при этом у него должны были иметься новые земли для того, чтобы расплатиться за службу. Но и для завоевания новых земель ему также требуются новые воины. Все эти факторы привели к разделению западнофранкского царства на множество все уменьшающихся уделов. Любой барон, любой виконт, любой сеньор, сидя в своем замке, властвовал над поместьями и был подобен правителю государства. Сила номинального сюзерена, т.е. центральной власти, была незначительной. К такому результату привел обладающий принудительной силой механизм взаимовлияния спроса и предложения в условиях, когда вассалы, фактически распоряжавшиеся землями, все менее нуждались в защите сюзерена и, следовательно, зависели от него меньше, чем он от них. Дезинтеграция владений и переход земель от короля к иерархически организованному рыцарству в целом (а именно это и называется «феодализацией») достигли крайнего предела. Но социальная система, возникшая вместе с такой дезинтеграцией, уже содержала в себе противоположную тенденцию — движение к новой централизации.

8. О социогенезе миннезанга и куртуазных форм общения

27

В процессе феодализации можно различить две фазы: фазу крайней дезинтеграции (о ней шла речь выше) и идущую за ней фазу начала обратного движения, когда появляются первые, еще относительно слабые попытки реинтеграции. Если взять в качестве исходного пункта состояние крайней дезинтеграции, то за ним начинается длительный исторический процесс, в ходе которого устанавливается взаимозависимость все больших территорий и все больших множеств людей и в итоге возникают хорошо организованные интегрированные общности.

«В X в. и еще в XI в. продолжается распад государства. Кажется, что уже никому не удастся удержать в своих руках удел,

67

который был бы достаточно велик для сколько-нибудь значимого действия. Лены, поместья, права делятся все дальше и дальше... Сверху вниз, по всей иерархической лестнице, любая власть находится на пути ко все большей дезинтеграции.

Но затем, уже в XI и особенно в XII в., последовала реакция. Мы встречаемся с феноменом, в различных формах не раз повторявшемся в истории. Землевладельцы, находящиеся в лучшем положении и имеющие большие шансы, получают контроль над феодальным движением. Они придают феодальному праву, фиксация которого начинается в это время, иную направленность, ущемляя интересы своих вассалов. Их устремлениям способствовали определенные исторические обстоятельства... Эта реакция поначалу происходила в виде консолидации людей, некогда достигших определенных социальных позиций»⁵⁰.

Вместе с постепенным переходом рыцарского общества от мобильной фазы подъема и экспансии с относительно большими возможностями для индивидов к фазе с «закрытыми позициями», когда каждый стремится прежде всего удерживать и укреплять уже имеющиеся владения, вновь нарушается равновесие, существовавшее между рыцарями, сидевшими по своим замкам как своего рода царьки, «reguli»: небольшое число богатых, крупных землевладельцев набирают социальную силу, резко возвышаясь над множеством мелких феодалов.

Нам еще придется более подробно говорить о механизме действия монополии, начавшем при этом свою работу. Укажем пока только на один действующий здесь фактор, благодаря коему преимущества немногих крупных землевладельцев резко возрастали. Речь идет о той роли, что играла постепенно набиравшая силу коммерциализация общества. Сплетение взаимозависимостей, механизм взаимодействия спроса и предложения и на землю, и на защиту, и на службу в менее дифференцированном обществе X и даже XI в. еще находились в процессе формирования. Медленно на протяжении XI в., намного быстрее в XII в. эта сеть усложняется. При нынешнем состоянии исторических исследований трудно в точности определить, насколько выросла торговля и увеличилось количество денег в обращении. А только располагая этими данными, можно было бы дать серьезный анализ реальных изменений, происшедших в соотношении социальных сил. Нам достаточно констатации того, что вместе с дифференциацией труда в обществе происходили рост рыночного сектора и интенсификация денежного обращения, даже если натуральная форма хозяйства еще долгое время оставалась господствующей. Этот рост торгового оборота и денежного

обращения шел скорее на пользу небольшого числа крупных и богатых землевладельцев, а не огромной массе мелких рыцарей. Последние в основном продолжали жить так же, как и раньше, получая пропитание со своих поместий. Они потребляли произведенное

68

непосредственно в их поместьях, и их включение в сеть торговли и обмена оставалось минимальным. Крупные землевладельцы, напротив, входили в эту сеть, причем не только за счет продажи избытков продукции, получаемых с их земель. Растущие поселения ремесленников и торговцев, города, чаще всего примыкали к крепостям и центрам управления больших уделов. При всех колебаниях, характерных для отношений между крупными феодалами и коммунами, входившими в их уделы, при всем недоверии, вражде и открытой борьбе, завершавшейся непрочным миром, в конечном счете крупные феодалы получали от коммун подати, что усиливало их позиции по отношению к мелким рыцарям. У крупных феодалов возникли шансы на выход из порочного круга, когда предоставление лена за службу влекло за собой утрату власти над отданными вассалам землями. У них появился шанс противостоять центробежным силам. При дворах крупных землевладельцев накапливаются богатства, которых нет у большинства мелких помещиков, — благодаря прямому или косвенному участию в сети торговых отношений. Богатства выступают то в натуральном виде, то в виде драгоценных металлов, слитков или отчеканенных монет. Эти процессы разворачиваются на фоне увеличивающегося «спроса на шансы», растущего предложения своей службы со стороны обедневших рыцарей и прочих отчужденных от земли лиц. Чем меньше становилось возможностей для экспансии, тем быстрее во всех слоях, не исключая и высшего, росла резервная армия служилых людей. Очень многие представители знати уже довольствовались тем, что находили хоть какое-то место при дворе крупного феодала, получая у него пристанище, одежду и стол. Если же им каким-то образом удавалось по милости господина получить в лен клочок земли, то это считалось особой удачей. Хорошо известная в Германии судьба Вальтера фон дер Фогельвейде в этом отношении вполне типична для многих людей во Франции. Учитывая данный социальный механизм, можно хотя бы отчасти понять все те унижения, мольбы, разочарования, что стоят за ликующим криком Вальтера: «У меня есть свой лен!».

28

Дворы крупных феодалов — королей, герцогов, графов, верхушки баронов, короче говоря, территориальных властителей — уже в силу имеющихся там шансов привлекали к себе все растущее число людей. Аналогичный процесс вновь повторится через сто лет на более высокой ступени интеграции — при дворах абсолютных монархов, королей и великих князей. Тогда социальная сеть и развитое торгово-денежное обращение станут столь значительными, что размер налогов, собираемых по всей территории, и регулярное войско из сыновей крестьян и бюргеров с

69

офицерами-дворянами, которое станет возможным содержать за счет этих доходов, позволят абсолютному монарху полностью справиться с центробежными силами и окончательно обуздать притязания феодалов на самовластие. В XII в. интеграция еще не так велика, транспорт еще не развит, торговля еще не простирается столь далеко. Достигнуть долгосрочной победы над центробежными силами на территории всего королевства еще невозможно; даже в пределах герцогства или графства требуется ожесточенная борьба, чтобы не позволить вассалам захватить отданные им в лен земли. Прирост социальной силы крупных феодалов происходит прежде всего за счет увеличения размеров их собственного удела, не розданного ленникам. Носители королевского титула в этом отношении мало чем отличаются от прочих крупных землевладельцев. Появившиеся у них благодаря земельной собственности и торгово-денежному обращению шансы дают им превосходство (в том числе и военное) над мелкими феодалами, независимыми рыцарями, — поначалу в пределах лишь одной местности, одной территории, поскольку даже при плохих дорогах того времени здесь не так сложно осуществлять централизованную власть. Все это вместе взятое обеспечивает феодалам, владеющим средними по размерам уделами (меньшими, чем королевство или «государство» в позднейшем смысле слова, но большими, чем у основной массы рыцарей), особое социальное положение.

Это еще не означает, что на указанной фазе развития становится возможным достичь стабильности власти и действия единого аппарата управления на всей территории. Взаимозависимость земель еще не столь велика, а обращение денег еще не столь развито, чтобы даже самые крупные и богатые феодалы могли в денежной форме (целиком или хотя бы отчасти) оплачивать работу чиновников. А только это позволило бы установить строго централизованную власть. Чтобы герцоги, короли, графы смогли добиться признания своей социальной силы хотя бы на собственной территории, им потребовалось вести долгую борьбу. Как бы она ни заканчивалась, в любом случае за вассалами — мелкими и средними рыцарями — сохранилось право на их поместья, где они по-прежнему оставались маленькими королями. Но если дворы крупных феодалов разрастались, их палаты и подвалы наполнялись всевозможными товарами, то большинство мелких рыцарей вынуждены были сами себя обеспечивать и зачастую влачили весьма жалкое существование. Они получали от крестьян то, что можно было от них получить; они могли прокормить пару слуг и многочисленных сыновей и дочерей; они постоянно враждовали друг с другом, а единственным способом добыть что-нибудь сверх продуктов с собственных полей было опустошение чужих земель или ограбление аббатств и монастырей. Когда интенсифицировалось денежное обращение и,

70

соответственно, возрос спрос на деньги, к этому добавились налеты на города, нападения на торговые караваны, захват пленников с целью получения выкупа. Насилие — война, разбой, грабеж — вот обычная, и иногда и единственная, форма дохода рыцарей, живущих в условиях натурального хозяйства; чем беднее они были, тем больше зависели от участия в разбое.

Постепенно коммерциализация хозяйства и рост денежного обращения привели к тому, что немногие крупные феодалы оказались в значительно лучшем положении по сравнению с массой мелких рыцарей. Однако превосходство королей, герцогов, графов было еще далеко не столь значительным, как в более поздние времена абсолютизма.

29

Как уже говорилось ранее, подобные смещения равновесия часто встречаются в истории. Наблюдателю XX в. легче всего проследить подобную трансформацию на примере усилившейся дифференциации между крупной и мелкой буржуазией. Здесь также вслед за фазой свободной конкуренции с относительно большими шансами на подъем по социальной лестнице и обогащение (в том числе существовавшими и для мелких и средних собственников) равновесие постепенно смещается в пользу экономически сильных групп, практически лишая всяких шансов экономически более слабым. Владельцам мелкой и средней собственности все труднее накопить значительное состояние — исключением может выступать деятельность в немногочисленных новых отраслях. Растет прямая или косвенная зависимость мелких и средних собственников от крупных буржуа, причем сужение поля возможностей для первых означает почти автоматическое его расширение для вторых.

Процессы в западнофранкском рыцарском обществе конца XI — XII в. протекали аналогично. В аграрном секторе с преобладанием натурального хозяйства возможности экспансии были практически исчерпаны. Разделение труда находилось на первых стадиях развития, торговый сектор общества только начинал расти. Большинство помещиков-рыцарей почти ничего не получили от этого роста, его результатами воспользовались немногие крупные феодалы. В самом обществе феодалов началась дифференциация, повлекшая за собой изменение уклада и стиля жизни.

В своем превосходном исследовании, посвященном временам Филиппа Августа, Люшер пишет: «Феодалное общество в целом, за исключением его элиты, вряд ли изменило своим обычаям и нравам IX в. Почти повсюду владелец замка оставался жестоким воякой-разбойником; он воевал, сражался на турнирах, проводил мирное время за охотой, разорялся из-за своей расто-

71

чительности, угнетал крестьян, теснил соседей и грабил церковные владения»⁵¹.

Слои, связанные с растущим разделением труда и денежным обращением, пришли в движение; остальные упорно сопротивлялись ходу событий, в кои они вовлекались. Конечно, ни об одном социальном слое нельзя сказать, что он оставался «вне истории». Однако вполне можно констатировать, что жизненный уклад помещиков-рыцарей менялся чрезвычайно медленно. Они не принимали непосредственного и активного участия в том ускорившемся социальном движении, которое было порождено усилением обмена и растущим денежным обращением. Когда они стали ощущать на себе неблагоприятное воздействие этого движения, их реакция почти всегда приобретала невыгодную для них самих форму. Мелкие землевладельцы просто мешали переменам, смысла которых по большей части не понимали ни они сами, ни их крестьяне; чаще всего эти перемены рождали в них лишь ненависть. Когда их начинали теснить с земли слои, принимавшие участие в происходившем движении, они отвечали насилием. Мелкие феодалы кормились со своих земель, довольствуясь тем, что давали собственный хлеб и труд крепостных. В этом отношении ничто не изменилось. Когда произведенных в их владениях продуктов не хватало (либо они желали большего), помещики прибегали к насилию, к разбою и грабежу. Таким было их простое и незамысловатое независимое существование — как рыцари, так и крестьяне долгое время оставались людьми, всецело привязанными к земле. Налоги, торговля, деньги, рост и падение рыночных цен — все это было чуждыми, а то и враждебными им явлениями из иного мира.

Сектор натурального хозяйства, на который и в Средневековье, и много позже приходилась подавляющая часть экономики общества, конечно, уже в те ранние времена был затронут социально-историческим движением. Но в сравнении с переменами, происходившими в других секторах, и вопреки всем потрясениям темпы существенных изменений здесь были крайне низки. И хотя этот сектор не пребывал «вне истории», он служил ареалом, где для огромного числа людей воспроизводились одни и те же жизненные условия и на протяжении Средневековья, и позже, в Новое время, когда это число, оставаясь весьма значительным, все же постепенно уменьшалось. Все произведенное в рамках одной хозяйственной единицы потреблялось на месте; взаимосвязь с другими районами и секторами общества стала ощутимой лишь позже, причем эта связь не была прямой. Процессы разделения труда и изменения техники шли здесь гораздо медленнее, чем в динамичном коммерциализованном секторе.

С большим запозданием проявились и те силы принуждения, те способы регуляции и сдерживания влечений, что стали формировать человеческую психику в мире, где господствуют деньги, в

72

обществе с растущей функциональной дифференциацией, с увеличивающимся числом явных и неявных зависимостей. Влечения и поведение здесь труднее и медленнее покорялись цивилизации.

Как уже было сказано, на протяжении всего Средневековья и даже долгое время спустя к аграрному сектору — характеризуемому преобладанием натурального хозяйства, слабым разделением труда, меньшим числом связей, выходящих за пределы данной местности, и огромной инерцией, — принадлежала большая часть населения. Чтобы действительно понять процесс цивилизации, нужно иметь в виду эту полифонию истории — замедленные изменения в одних слоях, быстрые в других, их пропорциональное соотношение. Рыцари, занимавшие господствующие позиции в этом огромном и малоподвижном секторе средневекового мира, в большинстве своем почти не были включены — если рассматривать их поведение и влечения — в цепочки денежного обмена. Они не знали иного помощника в добыче пропитания, чем свой меч, а потому не зависели непосредственно от чего-либо иного. Только опасность со стороны человека, обладающего большей физической силой, военная угроза, исходящая от более могущественных властителей, чем они сами, могли принудить их к сдержанности. В остальном игра аффектов, жизнь со всеми ее ужасами и радостями ни от чего не зависела и ничем не подавлялась. То, как они распоряжались своим временем, — а время, как и деньги, есть функция социальной взаимозависимости, — лишь в малой степени зависело от других людей или подчинялось внешним регуляторам. То же самое можно сказать и о влечениях: они были дикими, необузданными, сиюминутными, мгновенно вспыхивающими по воле случая. Рыцари могли себе это позволить. Мало что заставляло их принуждать самих себя к сдержанности; мало что способствовало образованию у них сильного и стабильного «Сверх-Я», являющегося функцией принуждения извне и внешней зависимости, превратившихся в самопринуждение.

К исходу Средневековья уже значительная часть рыцарей попадают в сферу влияния крупных феодальных дворов. Приведенные нами примеры, характеризующие образ жизни рыцарства (см. первый том настоящего издания), относятся именно к придворным кругам. Однако большинство рыцарей и в это время жили почти так же, как и в IX—X вв. Более того, и много позже сходную жизнь вели помещики, число которых, правда, неуклонно сокращалось. Если верить писательнице Жорж Занд (сама она настаивает на исторической достоверности рассказанного), то и незадолго до революции в провинциальных уголках Франции оставались такие неистовые феодалы, только они были еще более дикими и озлобленными в силу своего положения аутсайдеров. Она описывает жизнь в одном из замков, где ничего не изменилось с достопамятных времен; более того, этот за-

73

мок — на фоне происшедших перемен в общественной жизни — превратился в некое подобие разбойничьего вертепа. Вот что она пишет в новелле «Мопра»: «*Mon grand-père, — говорит герой этого рассказа, — était dès lors avec ses huit fils le dernier débris que notre province eût conservé de cette race de petits tyrans féodaux dont la France avait été couverte et infestée pendant tant de siècles. La civilisation, qui marchait rapidement vers la grande convulsion révolutionnaire, effaçait de plus en plus ces exactions et ces brigandages organisés. Les lumières de l'éducation, une sorte de bon goût, reflète lointain d'une cour galante, et peut-être le pressentiment d'un réveil prochain et terrible du peuple pénétraient dans les châteaux et jusque dans le manoir à demi-rustique des gentilshommes*⁴⁾».

Следовало бы привести целые отрывки из этого рассказа, чтобы показать, что способы поведения, характерные для большей части высшего слоя в XI—XII вв., в силу сходных условий жизни сохранились у отдельных аутсайдеров более поздних времен. Сдерживание и регулирование влечений им по-прежнему неизвестны. Их влечения *все* еще не трансформировались в набор многообразных более изысканных потребностей в наслаждении, которые теперь известны окружающему обществу. Женщины вызывают презрение, поскольку представляют собой лишь объект, способный удовлетворить желание. Радость доставляют разбой и изнасилование. Не желая никого признавать своим господином, такие господа угнетают крестьян, трудом которых живут, причем делают это одной лишь силой, с помощью оружия. Обремененность долгами, убожество и бедность жизни контрастируют с их притязаниями. Деньги вызывают недоверие и у господ, и у крестьян: *Mauprat ne demandait pas d'argent. Les valeurs monétaires sont ce que le paysan de ces contrées réalise avec le plus de peine, ce dont il se dessaisit avec le plus de répugnance. "L'argent est cher" est un de ses proverbes, parce que l'argent représente pour lui autre chose qu'un travail physique. C'est un commerce avec les choses et les hommes du dehors, un effort de prévoyance ou de circonspection, un marché, une sorte de lutte intellectuelle qui l'enlève à ses habitudes d'incurie, en un mot un travail de l'esprit; et pour lui c'est le plus pénible et le plus inquiétant*⁵⁾».

Подобные анклавные хозяйства натурального хозяйства вкраплены в широкое экономическое поле, где всецело господствуют торговые отношения и разделение труда. Но даже в этих анклавах не удается полностью уберечься от влияния денежного обращения. Нужно платить налоги, нужно покупать то, что не произведено в своем поместье. Однако все то, что требуется от вовлеченных в денежные отношения людей, — незримое регулирование влечений, учет возможных последствий, сдерживание своих стремлений во имя необходимой физической работы, — все это в подобных провинциальных уголках ненавидят как непонятное и совершенно неприемлемое принуждение.

74

Приведенная цитата относится к помещикам и крестьянам конца восемнадцатого столетия. Этого пока достаточно для иллюстрации того, насколько медленно происходили перемены в данном секторе общества и в психике принадлежавших к нему людей.

В условиях этого широко распространенного натурального хозяйства во Франции с ее бесчисленными замками и множеством мелких и крупных поместий начинают формироваться — медленно в XI в. и более быстро в XII в. — два новых социальных органа. Возникают две формы поселения и интеграции, в которых появляются признаки разделения труда и взаимозависимости между людьми: дворы крупных феодалов и городские поселения. Оба эти института по своему социогенезу тесно связаны друг с другом — при всей неприязни и всей вражде, что питали друг к другу населявшие их люди.

Здесь требуется пояснение. Возникновение дифференцированного сектора в форме городского поселения, где достаточно большое число людей могло кормиться за счет разделения труда и обмена продуктами производства, произошло не в единый миг. Сначала на пути продуктов от натурального состояния до потребления крайне медленно начинают появляться новые, хозяйственно независимые инстанции. Шаг за шагом из мелких поместий вырастают города и крупные феодальные дворы. Ни городские поселения, ни феодальные дворы в XII в. (и даже долгое время спустя) еще не были так изолированы от областей с натуральным хозяйством, как города позднейшей эпохи, скажем, XIX в. Напротив, городское и сельское производства здесь еще теснейшим образом связаны друг с другом. Хотя немногие крупные феодальные дворы подключаются к сети торговых и рыночных операций — это стимулируется большой потребностью в предметах роскоши и становится возможным благодаря накоплению средств за счет сбора податей и продажи избытков продуктов, — значительная часть повседневных потребностей по-прежнему в основном покрывается произведенным в собственном домене. В этом смысле они остаются дворами с преобладанием натурального хозяйства. Но именно в силу величины домена в его пределах происходит дифференциация производства. В этом отношении такие феодальные владения напоминают крупные рабовладельческие хозяйства античности, продукция которых отчасти шла на рынок, а отчасти — на непосредственное удовлетворение потребностей хозяйского дома и о которых в этом смысле можно говорить как о дифференцированной форме дорыночного хозяйства. В определенной степени это справедливо также и по отношению как к простейшим работам,

75

выполняемым в рамках феодального поместья, так и, прежде всего, к организации производства. Домен крупного феодала почти никогда не представлял собой единого комплекса, ограничивающегося лишь сельскохозяйственной деятельностью. Разными путями — благодаря трофеям, получению наследства, даров или приданого — в него проникали различные товары. Эти ценности были рассредоточены по всей площади домена, а потому их нельзя было обозреть так же легко, как содержимое подвала какого-нибудь мелкого поместья. Требовался центральный аппарат, люди, учитывающие поступление и расходование ценностей, ведущие счет, сколь примитивным он бы ни был в то время. Эти люди не только вели учет, но также были заняты территориальным управлением. «Малый феодальный двор в интеллектуальном плане был рудиментарным органом, в особенности там, где его хозяин сам не умел читать и писать»⁵². Дворы крупных и богатых феодалов привлекали для управления целые штабы из ученых клириков. Но поскольку новые возможности превращали таких феодалов в самых богатых и могущественных людей всей округи, они могли удовлетворить возникшую потребность в том, чтобы их двор блистал, свидетельствуя об их высоком положении. Они превосходили богатством не только прочих рыцарей, но и любого городского жителя. Поэтому феодальные дворы имели в то время и большее культурное значение, чем города. В конкурентной борьбе местных владык их дворы должны были репрезентировать богатство и могущество. Поэтому эти феодалы привлекали образованных людей в качестве не только управленцев, но также и историков, призванных запечатлеть их деяния и судьбы. Они приглашали к себе менестрелей, которые должны были воспевать их самих и их дам. Большие дворы становились «потенциальными центрами литературного патронажа», «потенциальными центрами исторических писаний»⁵³. В те времена еще не было книжного рынка, а потому тот, кто в мирском обществе специализируется в области сочинительства и хочет жить за счет этого занятия (будь он сам клириком или нет), должен искать покровительства при дворе — такова единственная форма патронажа, дающая средства существования⁵⁴.

Как и повсюду в истории, более высокие и изысканные формы литературного творчества возникают из более простых, и это происходит вместе с дифференциацией общества, с возникновением круга богатых людей с утонченным вкусом. Поэт здесь еще не самостоятельный индивид, выступающий перед анонимной публикой и знакомый в лучшем случае только с несколькими слушателями. Он творит на глазах хорошо ему известных лиц и обращается к тем, кого видит чуть ли не ежедневно. Он выражает атмосферу этого общественного круга, его стихи несут на себе отпечаток отношений и форм общения, принятых в этом кругу, свидетельствуют о его собственном социальном положении.

76

Менестрели переходили от одного замка к другому. Они выступали в них как певцы, но часто и как шуты, дураки в простейшем смысле этого слова. В качестве таковых они могли жить и в замке мелкого рыцаря. Но они заходят в такие замки ненадолго: здесь мало места и не интересно, нет и средств, позволяющих длительное время кормить или содержать менестреля. Все это имеется только при больших дворах. Поэтому и функции менестрелей простираются от роли шута и дурака до положения миннезингера и трубадура. Функция дифференцируется в зависимости от публики. Наиболее богатые и могущественные феодалы (и, соответственно, занимающие высшие ступени в феодальной иерархии) имели возможность привлечь к

своим дворам лучшие силы. Здесь собиралось больше людей; здесь возникала возможность изысканного общения, умной беседы. Соответственно, более утонченной становилась и поэзия. В ту эпоху часто говорилось: «Чем выше господин и госпожа, тем выше и лучше певец»⁵⁵. Это считалось чем-то само собой разумеющимся. Часто при большом феодальном дворе жили даже не один, а несколько менестрелей. «Чем выше были личные качества и ранг княгини, чем больше блистал ее двор, тем больше певших хвалебные песни оказывалось у нее при дворе»⁵⁶. Военное соперничество между крупными феодалами сопровождалось и постоянной борьбой за престиж. И поэт, и хронист были инструментами такой борьбы. Поэтому переход миннезингера от одного сеньора на службу к другому очень часто означал и смену политических убеждений певца⁵⁷. О песнях миннезингеров можно с полным основанием сказать: «По своему смыслу и по своей цели за формой воспевания лиц стоял политический панегирик»⁵⁸.

31

Взгляду историков миннезанг чаще всего представлял как характерная форма, в которой находят отражение обычаи рыцарского общества. Привычка истолковывать его таким образом подкреплялась и усиливалась за счет того, что вместе с отмиранием рыцарской функции, вместе с увеличением зависимости дворянства в эпоху подъема абсолютизма образ свободного и независимого рыцарского общества приобрел ностальгические оттенки. Однако трудно себе представить, что миннезанг со своими нежными тональностями (а имелись не только нежные) имел своим источником те же грубые и неотесанные формы жизни, что были свойственны большинству рыцарей. Не раз подчеркивалось, что миннезанг «сильно противоречит рыцарскому духу»⁵⁹. Чтобы разрешить это противоречие и понять, какая социальная позиция нашла выражение в лирике трубадуров, следует учитывать всю картину начавшейся дифференциации общества.

77

В XI—XII вв. можно выделить три основные, хотя зачастую переходившие друг в друга формы жизни рыцарей. Во-первых, существовали мелкие помещики, владевшие одной-двумя деревеньками; во-вторых, имелось незначительное число крупных землевладельцев, богатых рыцарей, удельных князей; и, наконец, в-третьих, были безземельные или малоземельные рыцари, состоявшие на службе у крупных феодалов или зависимые от них. Благородные миннезингеры происходили в основном (хотя и не исключительно) из последней группы. Занятие пением и сочинительством на службе у крупного феодала и его жены было одним из путей, открытых как для вытесненных с земли дворян, так и для представителей низших слоев, горожан и крестьян. Выходцы из обоих слоев выполняли эту функцию при дворах удельных князей в качестве трубадуров. Даже если время от времени кто-то из богатых и знатных феодалов сам сочинял стихи и музыку, в целом лирика трубадуров несет на себе отпечаток того положения, в котором находились социально зависимые люди, оказавшиеся в кругу более состоятельных людей и общавшиеся с ними в соответствии с определенными правилами. Конечно, эти отношения и формы принуждения еще не были столь строго регулируемы и прочно закрепленными, как при дворах абсолютных монархов, где поведение в значительно большей степени определялось денежными отношениями. Но и здесь уже заметно довольно строгое регулирование влечений. В узком кругу придворных, а также в присутствии хозяйки дома стало обязательным общение в менее агрессивной форме. Конечно, не следует преувеличивать: миролюбивое настроение еще не нашло такого большого распространения, как впоследствии, когда абсолютные монархи запретили даже дуэли. В это время рыцари еще хватаются за меч по любому поводу, обычаи военного противостояния и мести сохраняют свою силу, но при общении в придворном кругу уже отчетливо заметны подавление возбуждения и сублимация влечений. Певцы — независимо от того, рыцари они или простолудины по происхождению, — ведут зависимое существование. Их творчество, состояние их аффектов и влечений социально обусловлены их положением, а именно тем, что они состоят на службе.

«Если придворный певец хотел привлечь внимание к своему искусству и добиться почтения к себе, то он мог возвыситься над странствующим музыкантом только тогда, когда его принимали на службу князь или княгиня. Песни любви, обращенные к еще незнакомой госпоже, предназначались прежде всего для выражения готовности служить при ее дворе. Такая служба оставалась целью всех тех, кто хотел своим искусством добывать себе средства для существования, иначе говоря, для людей низкого происхождения или для сыновей из благородных домов, не обладавших правом первородства, а потому лишенных наследства...».

78

«Благодаря исследованию Конрада Бурдаха мы можем рассмотреть в качестве типичного примера судьбу Вальтера фон дер Фогельвейде. Король Филипп "взял его к себе", т.е. поэт был принят в "familia" — обычное выражение для обозначения человека, получившего пост. Это была служба без бенефиция, длившаяся от четырех недель до одного года. Когда срок ее завершался, можно было оставить свой пост, чтобы искать милости у другого господина. Вальтер не получил лена от Филиппа, равно как и от Дитриха Мейсенского, Оттона IV или Германа Тюрингского, к челяди которых он некогда принадлежал. Служба у епископа Вольгара Элленберхтскирхского также была временной. Наконец, ему даровал бенефиций Фридрих II, слышавший знатоком поэзии и сам писавший стихи. Получить за службу "honos", вотчину или лен (а много позже и деньги), было высшей честью в феодальную эпоху с ее натуральным хозяйством; это было высшей целью и верхом устремлений служилых людей. Этого редко добивались придворные певцы во

Франции и в Германии. По большей части они довольствовались тем, что развлекали придворное общество за приют и питание, а особой честью считалось... получение еще и соответствующего придворной службе одеяния и необходимых для нее инструментов»⁶⁰.

32

Особое состояние аффектов, получившее свое выражение в миннезанге, неразрывно связано с социальным положением миннезингеров. Рыцари IX—X вв. (как, впрочем, и подавляющее их большинство в более поздние времена) не отличались особой нежностью в общении с женщинами — как с собственными женами, так и с дамами, занимавшими более низкое положение. В замках женщины всегда были доступны для мужчин, обладавших большей физической силой. Они могли защищаться, прибегая к различным уловкам, но мужчина был их господином. Отношения между полами, как и в любом обществе воинов, где господствуют мужчины, регулировались только силой, все решала явная или неявная борьба всех против всех.

Иногда встречаются упоминания и о женщинах, по своему темпераменту и склонностям мало чем отличавшихся от мужчин. В таком случае хозяйка замка представляла собой «мужеподобную бабу», наделенную большим темпераментом и бурными страстями, с юных лет занимающуюся телесными упражнениями и предающуюся всем удовольствиям чреватой многими опасностями рыцарской жизни⁶¹. Но нередки свидетельства и о том, что воин, будь он королем или простым сеньором, бьет свою жену. Это было привычным делом: рыцарь пришел в ярость и прибил жену, так ударил ее кулаком, что у той кровь из носу пошла: «Le roi l'entend et la colère lui monte au visage: il lève le

79

poing et la frappe sur le nez, si bien qu'il en fit sortir quatre gouttes de sang. Et la fame dit: Bien grand merci. Quand il vous plaira, vous pourrez recommencer⁶²».

«Можно привести другие сцены в том же духе, — замечает Люшер⁶², — повсюду будет удар кулаком по носу». Часто мы видим, что рыцари не желают слушать советов своих жен. Как говорит один из них, «dame, allez vous mettre à l'ombre, et, par dedans vos chambres peintes et dorées, allez avec vos suivantes manger et boire, occupez-vous de teindre la soie: C'est votre métier. Le mien est de frapper de l'épée d'acier⁷⁾».

«Можно прийти к выводу, — продолжает Люшер, — что и в эпоху Филиппа Августа более куртуазное, более любезное отношение к женщинам в феодальных кругах можно было встретить только в виде исключения. В подавляющем большинстве поместий и замков все еще господствовал древний обычай жестокого и крайне непочтительного обращения с ними, что в преувеличенном виде передают большинство "chansons de geste". Не следует питать иллюзий, возникающих при ознакомлении с теориями любви провансальских трубадуров или некоторых "труверов" из Фландрии и Шампани: выраженные ими чувства были, сдается, чувствами элиты, крайне незначительного меньшинства...»⁶³.

Дифференциация, отделившая большинство мелких и средних рыцарских поместий от небольшого числа дворов крупных землевладельцев, в большей мере включенных в растущую сеть торговли и денежного обращения, влечет за собой и соответствующую дифференциацию поведения феодалов. Конечно, расхождения были еще не так уж и велики, имелись переходные формы, нередки свидетельства взаимовлияний различных форм общения. Но в целом мы можем сказать, что мирное общение придворных, группирующихся вокруг хозяйки дома, встречалось только в поместьях крупных рыцарей. Только здесь у миннезингера появлялся шанс получить службу, только здесь возникало то своеобразное положение, которое нашло свое выражение в лирике миннезанга, — положение мужчины на службе у хозяйки дома.

Разница между манерами и чувствами, нашедшими выражение в миннезанге, и другими, более брутальными, доминировавшими в «chansons de geste» (им не счесть примеров и в исторических свидетельствах), восходит к двум различным типам отношений между мужчинами и женщинами. Эти типы отношений соответствуют двум слоям феодального общества, появившимся в результате того смещения равновесия, о котором мы говорили ранее. В одном слое, в среде провинциального дворянства, сидевшего в своих замках и поместьях, раскиданных по всей стране, мужчины в целом господствовали над женщинами, и власть мужчин была более или менее явной. Там, где слой воинов или

80

провинциальных дворян оказывает сильное воздействие на общество в целом, наблюдаются проявления мужского господства, как и формы чисто мужского товарищества со специфической эротикой, а также в известной мере и изоляция женщин.

Такого рода отношения преобладали в средневековом обществе воинов. Для него характерно своеобразное недоверие, царящее между полами. Это недоверие выражает огромное различие жизненных форм или жизненного пространства обоих полов — они душевно чужды друг другу. Пока женщина исключена из основной сферы жизнедеятельности мужчины — в данном случае из воинской, а позже из профессиональной сферы деятельности — мужчины проводят большую часть жизни в общении друг с другом. Превосходство над женщинами сочетается с презрением к ним: «Ступай в свою изысканно украшенную комнату, наше дело — война». Эти слова типичны, женщина должна сидеть в горнице. Такое отношение сохранялось долгое время, пока не изменилось строение самой жизни, тот социальный базис, который его порождает. Следы подобного отношения во французской литературе прослеживаются вплоть до XVI в., т.е. до тех пор, пока высший слой состоит в основном из рыцарского провинциального

дворянства⁶⁴. Затем оно исчезает из литературы, поскольку во Франции сочинительство контролируется и моделируется придворными, хотя не уходит из жизни провинциального дворянства.

В европейской истории большие дворы эпохи абсолютизма были тем местом, где возникло невиданное ранее равенство мужчин и женщин в основной жизненной сфере, что определило и формы поведения обоих полов. Нам пришлось бы далеко отойти от нашей темы, чтобы рассмотреть вопрос о том, почему уже в XII в. крупные феодальные дворы (а затем, еще в большей мере и более явной форме, дворы абсолютных монархий) дали женщинам шанс преодолеть мужское господство и позволили им занять равное с мужчинами положение. В литературе обращалось внимание на то, что на юге Франции женщина и в более ранние времена могла обладать собственностью, наследовать лен, участвовать в политической жизни. Высказывалось предположение, что эти обстоятельства способствовали развитию миннезанга⁶⁵. Правда, этот тезис оспаривался теми, кто указывал, что «наследование трона дочерью было возможно лишь в том случае, если ее родственники-мужчины, ленники и соседи признавали ее наследницей и не препятствовали ее вступлению в права»⁶⁶. Даже в тонком слое крупных феодалов всегда проявлялось то превосходство мужчин над женщинами, что восходило к оценке человека по его способности выполнять воинские функции. В жизненном пространстве больших феодальных дворов эта воинская функция мужчин в известной мере отошла на второй план. Здесь появляется светское общество, в котором посто-

81

янно живут тесно связанные друг с другом люди, занимающие различные ступени на иерархической лестнице. Они образуют сеть, сконцентрированную вокруг главной персоны — удельного князя. Уже это принуждает всех зависимых лиц к определенной сдержанности, иначе им просто не удастся справиться с далекой от военного дела управленческой работой. Все это создает более или менее мирную атмосферу. Повсюду, где мужчины принуждены отказываться от физического насилия, наблюдается рост социального веса женщин. Здесь, в рамках большого феодального двора, возникает общее жизненное пространство, в котором происходит общение мужчин и женщин.

Конечно, в отличие от дворов абсолютных монархий, мужское господство еще не было поколеблено. Для хозяина дома доминирующее значение еще имела функция рыцаря и военного вождя; он воспитывался прежде всего как воин, который должен был хорошо владеть оружием. Именно поэтому сфера миролюбивого общения оставалась за женщинами. Как это нередко случалось в западной истории, не мужчины, а женщины высшего сословия первыми обратились к чтению и стали уделять внимание образованию вообще. Большой двор предоставлял женщинам и возможности, и свободное время для удовлетворения такого рода потребностей. Они привлекали поэтов, певцов, ученых клириков. В результате женщины способствовали возникновению круга людей, занятых мирной духовной деятельностью. «В высших кругах на протяжении XII в. у женщин образование было в среднем более утонченным, чем у мужчин»⁶⁷. Разумеется, оно было таковым только по сравнению с мужчинами того же слоя, например с их мужьями. Отношения супругов в целом не слишком отличались от тех, что были обычными для рыцарского общества. Они стали чуть менее грубыми, несколько более утонченными, чем у мелких рыцарей, но и здесь мужья в отношениях со своими женами не испытывали сколько-нибудь значительного воздействия, принуждающего их к сдержанности. Мужчина по-прежнему явно и недвусмысленно обладал всей полнотой власти.

33

Однако в основании лирики трубадуров и миннезингеров лежит не эта форма человеческих отношений: отношение не одного супруга к другому, а мужчины, стоящего на более низкой социальной ступени, к вышестоящей женщине. Только в этом слое, только при дворах, которые были достаточно богаты и могущественны, чтобы пестовать такие отношения, стал возможным миннезанг. Речь идет, таким образом, не обо всем рыцарском обществе, но об узком его слое, об «элите».

Связь между социальной основой этого отношения и структурой влечений является совершенно очевидной. В феодальном

82

обществе в целом, где мужчина властвовал безраздельно и зависимость женщин от мужчин была явной и почти неограниченной, мужчине не было нужды в сдерживании себя, в самопринуждении. О «любви» в этом обществе почти ничего не говорится. Возникает даже впечатление, что влюбленный вызывает у рыцарей лишь насмешку. Женщины кажутся им второразрядными существами — их кругом предостаточно, и они служат для удовлетворения влечения в его простейшей форме. Женщины даны мужчине «*pour sa nécessité et délectation*⁸». Так не раз говорилось и впоследствии, и это в точности соответствует поведению рыцарей тех времен. От женщин мужчине нужно только физическое наслаждение, а в остальном «*il n'est guère hommes qui pour avoir patience, endurent leurs femmes*^{9*}»⁶⁸.

Влечения женщин подвергались гораздо большим ограничениям, чем влечения равных им по рождению мужчин. Это характерно для всей западной истории — и в более ранние времена, и впоследствии. Исключение составляли лишь дворы эпохи абсолютной монархии. То, что женщина, занимавшая в этом воинском обществе высокое положение, а потому располагавшая известной свободой, была более склонна преодолевать, сублимировать и трансформировать свои аффекты, чем равный ей по рождению мужчина, могло быть следствием постоянной привычки, выработанной ранним «кондиционированием». По

сравнению с социально равным ей мужчиной она была человеком, занимающим более низкое положение в обществе.

Все это способствовало тому, что сдерживание, обуздание, а тем самым и преобразование влечений в данном воинском обществе требовались прежде всего от нижестоящего и зависимого мужчины в его отношениях со стоящей на более высокой социальной ступени женщиной. Нельзя считать случайным, что именно в этой ситуации возникает социальный (а не только индивидуальный) феномен, получивший название «лирики». А вместе с ним появляется и другой социальный феномен: то преобразование желаний, те оттенки чувства, та сублимация аффектов, которые называются нами «любовью». Здесь появляются — уже не в виде исключения, но с опорой на определенный социальный институт — контакты между мужчиной и женщиной, не позволяющие мужчине овладевать женщиной, как только у него появилось к тому влечение. Недоступность или труднодоступность женщины, обусловленные ее более высоким положением, делают ее еще более желанной. Такова ситуация и таковы аффекты, нашедшие свое выражение в миннезанге, — в дальнейшем, на протяжении столетий их вновь и вновь будут испытывать влюбленные. Безусловно, песни трубадуров и миннезингеров выражали условности феодального двора, были украшением свободного времяпрепровождения и инструментом в социальной игре. Мог-

83

ло существовать сколько угодно трубадуров, не столь уж сильно влюбленных в воспеваемую ими даму и без труда пользовавшихся услугами более доступных женщин. Но ни сами эти условности, ни их лирическое выражение не были бы возможны без подлинного опыта и переживаний такого рода. Их ядром служили настоящие, действительные переживания. Нельзя просто изобрести или придумать подобные оттенки чувства. Были те, кто любил и имел талант выразить эту любовь при помощи слова. Не так уж трудно отличить стихи, отражающие подлинные чувства, от тех, в которых мы имеем дело с условностями. Поэтам, начавшим играть словами и звуками и сделавшим это занятие условностью, должны были предшествовать те, кто творил, опираясь на собственные переживания. «Хорошие поэты примешивали к поэзии любовного опьянения истину собственных чувств: материя их песен приходила из полноты их жизни»⁶⁹.

34

Часто возникал вопрос о литературных источниках и образцах миннезанга. Не без оснований указывалось на родство миннезанга с религиозной лирикой и латинской поэзией вагантов⁷⁰.

Однако мы не поймем сущности миннезанга, если будем отталкиваться от его литературных предшественников. В лирике вагантов и стихах, обращенных к Деве Марии, были скрыты многие возможности дальнейшего развития. Но почему изменился способ выражения человеческих чувств? Или — если задать этот вопрос в более простой форме, — почему оба предшествовавших варианта лирики не остались формами экспрессии, доминирующими в обществе? Почему заимствованные из них формальные и эмоциональные элементы вошли в состав чего-то вновь возникшего? И почему это последнее приобрело именно такой облик, получив имя «миннезанга»? История не знает разрывов, и новым поколениям приходится использовать то, что уже имеется в наличии, и сознательно или бессознательно его развивать. Но какова динамика этого движения, каковы формирующие силы исторических перемен? Этот вопрос относится и к данному случаю. Поиск источников и antecedентов, конечно, имеет определенное — иногда большее, иногда меньшее — значение для понимания миннезанга, но без социогенетического и психогенетического исследования процесс его возникновения остается не проясненным. Мы не сможем понять миннезанг как сверхиндивидуальный феномен, не уясним его социальную функцию — а именно, его функцию в феодальном обществе в целом, — равно как и специфику его формы и типичность в его содержании, если не обратимся к исследованию нашедших в нем свое выражение особенностей межлических отношений и актуальной ситуации людей, — тех людей, которые и не ведали об

84

этом генезисе. Для отдельного решения данной проблемы нам потребовалось бы значительно больше места, чем необходимо для ее рассмотрения исключительно в связи с общим развитием общества. Но уже на примере одного этого явления, миннезанга, мы можем уточнить направление социогенетического и психогенетического исследования данного движения в целом.

35

Серьезные исторические изменения строго закономерны. Сегодня мы часто встречаемся с мнением, будто отдельные социальные образования случайно следуют друг за другом в истории, словно образы одного облака в голове Пер Гюнта: то ему видится лошадь, то медведь. Так и общество оказывается то романским, то готическим, то барочным.

Мы в настоящем исследовании наметили несколько линий исторического развития, которые вели к формированию общества как «феодальной системы» и тех отношений, что нашли свое выражение в миннезанге. Мы говорили об ускорившемся росте населения в период, последовавший за великим переселением народов, о взаимовлиянии этого процесса и укреплявшихся отношений собственности, об образовании избыточного числа представителей дворянского сословия, равно как и представителей слоя несвободных и полусвободных людей, о необходимости для безземельных искать службу у более могущественных господ.

В связи с этим мы упоминали также о постепенном формировании промежуточных инстанций на пути от производства товаров к их потреблению, о росте спроса на единые средства платежа, о смещении

равновесия в феодальном обществе, обеспечившим преимущество сравнительно небольшого числа крупных рыцарей перед подавляющим большинством феодалов. Речь шла о формировании дворов крупных феодалов, об их превращении в удельные центры, где феодально-рыцарские черты образа жизни уже сочетались с придворными, а также о том, что в обществе в целом черты натурального хозяйства сочетались с денежными отношениями.

Одной из таких линий развития является также рост потребности крупных феодалов, находившихся друг с другом в отношениях военной или бескровной конкурентной борьбы, в утверждении своего престижа, в репрезентации своего могущества. Эти властители стремились продемонстрировать свое отличие от мелких рыцарей, вследствие чего более или менее прочным институтом стало присутствие при дворе поэтов и певцов, прославлявших господина и госпожу, выражавших политические интересы и позиции господина, находивших слова для восхваления вкуса и красоты хозяйки дома.

85

К этому добавляется — пусть только в тончайшем высшем слое рыцарского общества — возникновение первой формы эмансипации, увеличение степени свободы женщин. Конечно, эта свобода была крайне незначительной в сравнении с той, что утвердилась при больших дворах эпохи абсолютизма. Но уже здесь мы находим постоянные контакты между дамой — женщиной, занимающей высокую социальную позицию, — и трубадуром, низестоящим и зависимым мужчиной, независимо от того, был он рыцарем или нет. Недоступность или труднодоступность желанной женщины, принудительное сдерживание влечений у социально зависимого мужчины, обязательные для него регулирование и сублимация влечений ведут к тому, что трудноосуществимые желания начинают обретать выражение в сновидческом языке поэзии. Красота одних стихов и пустая условность других, величие одних миннезингеров и ничтожность других — все это в данном случае второстепенно. Мы говорим о миннезанге исключительно как о социальном институте, в рамках которого возникает пространство для развития индивида. И этот институт непосредственно формируется в ходе взаимовлияния социальных процессов.

36

Именно в ситуации большого рыцарского двора происходят формирование прочно установленных конвенций общения, определенное обуздание аффектов и регулирование манер. Этому стандарту манер, этим конвенциям, этой изысканности поведения сами люди того времени дали имя «куртуазности». Если соединить сказанное ранее о куртуазном поведении с тем, что здесь говорилось о феодальном дворе, то мы получим общую картину, способствующую пониманию и того, и другого.

Предписания куртуазного общества выше были представлены в виде рядов примеров, призванных проиллюстрировать ход процесса цивилизации в сфере поведения. Социогенез крупных рыцарских дворов является одновременно социогенезом куртуазного поведения. Как форма поведения, «куртуазность» формировалась прежде всего у социально зависимых лиц, вращающихся в кругу этого рыцарско-придворного высшего слоя⁷¹. Конечно, куртуазный стандарт поведения никоим образом не был «начальным этапом». Он не может служить примером такого поведения, при котором аффекты вообще не зависят от отношений между людьми, ничем не связаны и «естественны». Такого состояния абсолютного отсутствия сдерживания влечений, или «начального этапа», вообще не существует. Относительно небольшое сдерживание влечений в куртуазном высшем слое (меньшее по сравнению с тем, что было характерно для верхушки мирян западного мира в более поздние времена) в точности

86

соответствовало форме интеграции, существующей в обществе, уровню и способу взаимозависимости между людьми.

По сравнению с той фазой, когда формируется более жесткий аппарат власти абсолютной монархии, разделение труда было незначительным; торговые связи были также менее развиты, меньшим было и число людей, находивших себе пропитание в каждом отдельно взятом месте. Зависимость индивида всегда формируется социальной сетью его зависимостей от других людей, а здесь эта сеть была не столь плотной, как в обществах с более развитым разделением труда, где человеку приходится жить в тесном взаимодействии с другими людьми и подчиняться строго установленному порядку. Поэтому регулирование и сдерживание влечений здесь также были менее обязательными и строгими, нельзя было бы утверждать, что такое поведение было в равной мере присуще всем слоям данного общества. Но при дворах крупных феодалов сдерживание влечений происходило уже в значительно большей мере, чем в мелких поместьях и в рыцарском обществе в целом, где взаимозависимость людей была небольшой и менее дифференцированной, сеть отношений — незначительной, а функциональная зависимость людей друг от друга проявлялась преимущественно во время войны. В сравнении с поведением и аффектами, обычными для данного общества, «куртуазность» уже представляла собой нечто более утонченное и выступала как отличительный признак поведения высших слоев. Предписания, почти без изменений переходившие из одних средневековых книг о хороших манерах в другие («не делай того или этого»), непосредственно свидетельствуют о формах поведения большей части рыцарства, которые начиная с IX-X вв. и приблизительно до XVI в. менялись так же медленно, как и порождающие их условия жизни воинов-землевладельцев.

При современном уровне знаний мы не располагаем терминологией, подходящей для адекватной передачи всей совокупности данных процессов. Приходится пользоваться неточными и приблизительными описаниями, вроде того, что ограничения, накладываемые на поведение людей и их влечения, стали «больше», интеграция — «теснее», взаимозависимость — «сильнее». Точно так же нам не удастся приблизиться к социально-исторической реальности, когда мы говорим о «натуральном хозяйстве» и «денежном хозяйстве», либо, следуя данной понятийной форме, заявляем о том, что «сектор денежных отношений вырос». Насколько он «вырос», какими были этапы этого роста? Как могут ограничения стать «больше», интеграция «теснее», взаимозависимость «сильнее»? Наши понятия недостаточно дифференцированы, они слишком часто привязаны к описаниям ма-

87

термальных субстанций. Ведь речь здесь идет не только об изменении степени, о «больше» или «меньше». Любое употребление слова «сильнее» по отношению к ограничениям и зависимостям означает, что взаимозависимости между людьми становятся иными, качественно другими; это подразумевается и в том случае, когда мы говорим о различиях в социальной структуре. В динамической сети зависимостей, в которую включен человек, изменяются и получают иной вид влечения и способы поведения людей. Это подразумевается в тех случаях, когда речь идет о различиях в душевном строении или в стандарте поведения. Мы можем сопоставлять различные фазы развития общества и употреблять сравнительные формы потому, что качественные изменения — при всех своих отклонениях, случающихся на протяжении значительных отрезков времени, — идут в одном и том же направлении, т.е. что мы имеем дело с однонаправленными процессами, а не со случайными переменами. Это вовсе не означает, что данные процессы представляют собой развитие к лучшему, «прогресс», либо движение к худшему, «регресс». Но в то же время было бы неправильным считать, что мы имеем дело только с количественными изменениями. Здесь речь идет о нередко встречающихся в истории структурных изменениях, которые проще рассматривать с количественной стороны. Но это «проще» означает также и «более поверхностно».

Мы наблюдаем определенное развитие ситуации: сначала замок противостоит замку, затем удел — уделу, а потом государство — государству; по прошествии же веков, в наши дни, на горизонте истории появляются первые признаки борьбы за еще более высокую степень интеграции регионов и человеческих масс. Можно предположить, что постепенно возникнут интегрированные общности еще более высокого порядка со стабильным аппаратом господства, способствующим достижению в них внутреннего мира. Они будут вести вооруженную борьбу с единицами того же уровня, пока дальнейший рост взаимосвязей и развитие коммуникации не приведут к установлению мира на всей планете. Этот процесс может длиться столетиями или тысячами, но в любом случае увеличение размера общностей, выступающих в качестве единиц интеграции и ареала единой власти, одновременно является выражением структурных изменений в строении общества, в самих человеческих отношениях. Всякий раз, как равновесие смещается в пользу интегрированных общностей более высокого порядка, — обеспечивая преимущество сначала крупных феодалов перед мелкими, затем королей перед крупными феодалами и удельными князьями, — подобная трансформация предполагает возникновение иной, более сильной дифференциации функций, удлинение цепочек взаимодействий в социальной организации, независимо от того, идет ли речь о военной или хозяйственной организации общества. Вся-

88

кий раз это означает, что сеть зависимостей, в которую вовлечен индивид, расширяется и структурно изменяется. При этом вместе с трансформацией строения данной сети зависимостей соответствующие изменения происходят и в моделировании поведения и эмоциональной жизни индивида, во всей его психической организации. Мы имеем дело с двумя сторонами одного и того же процесса: с одной стороны, это — процесс «цивилизации», в котором меняются формы поведения и влечения, с другой, с точки зрения человеческих отношений, — процесс прогрессирующей взаимозависимости, роста дифференциации социальных функций, ведущий к образованию все больших интегрированных единиц. Индивид — неважно, осознает он это или нет, — пребывает в зависимости от состояния и изменения таких общностей.

Мы попытались представить общую картину самой ранней и наиболее простой фазы данного процесса, подбирая для этого самые наглядные факты. Нам еще придется вернуться к рассмотрению дальнейшего хода этого движения и его механизмов. Пока что мы уяснили причину того, что на этой ранней фазе, характеризующейся преобладанием натурального хозяйства, интеграция и установление стабильного аппарата власти в рамках всей империи были маловероятны. Короли-завоеватели могли захватывать огромные территории и какое-то время удерживать их с помощью военной силы. Но само строение общества еще не позволяло им создать стабильную организацию власти, способную на протяжении длительного периода обеспечивать единство завоеванного царства в мирное время и мирными средствами. Нам еще нужно будет показать, какие социальные процессы ведут к образованию такого стабильного аппарата власти, делающего возможным и иной способ взаимосвязи индивидов.

Мы видели, как уменьшение внешней угрозы в IX—X вв. — по крайней мере, в царстве западных франков, — равно как слабая экономическая взаимозависимость, привели к чрезвычайно сильной дезинтеграции властных функций. Любое мелкое поместье превращается в «государство», управляемое властью его хозяина, всякий мелкий рыцарь — в независимого господина и повелителя. На социальном ландшафте мы

видим только множество разбросанных тут и там хозяйственных и политических единиц; каждая из них представляет собой автаркию, она почти не связана с другими. Исключениями служат небольшие анклавы, участвующие в заморской торговле, а также монастыри и аббатства, поддерживающие связи, выходящие за границы данной местности. Для господского слоя мирян главными формами взаимосвязи являются нападение и защита. Мало что может принудить людей этого слоя к регулярному сдерживанию влечений. Таково «общество» в широком смысле этого слова, подходящем для обозначения любой формы человеческой интеграции. Но

89

оно еще не является «обществом» в более узком смысле слова, указывающем на постоянную, сравнительно тесную и равномерную интеграцию людей, принуждаемых избегать насилия хотя бы в рамках данной конкретной единицы. Ранняя форма такого «общества» в узком смысле слова постепенно образуется при дворах крупных рыцарей. Величина поместья и подключение к торговой сети выступают в качестве факторов, способствующих притоку богатств, а потому сюда устремляется все больше людей, ищущих службу и пропитание. Ведя совместное существование на протяжении долгого времени, они оказываются вынуждены мирно общаться друг с другом. А это — прежде всего в связи с присутствием вышестоящих женщин — требует известной сдержанности, регулирования поведения, моделирования аффектов и форм общения.

38

Эта сдержанность далеко не всегда была столь велика, как в случае миннезанга с его условностями, определяющими отношения между певцом и его госпожой. Куртуазные предписания относительно манер поведения показывают повседневный стандарт, точно формулируя существовавшие требования. В этих предписаниях речь идет и об отношении рыцаря к женщинам, что позволяет лучше понять и отношение к даме барда.

Возьмем, например, так называемый «Spruch von den mannen», где говорится:

*« Vor allen Dingen hüete dich
daz du mit frowen zühtelich
schallest, daz stât dir wol*

.....

*ist aber daz ez kome dar zuo
daz dich ir einiu sitzen tuo
zuo ir, des bis gemant
und sitz ir niht ûf ir gewant
ouch niht ze nâch, daz rât ich dir
wiltu iht (je) reden heimlich zir,
begrîf sie mit den armen niht
swaz dir ze reden mit ir geschiht¹⁰⁾,⁷²⁾.*

С точки зрения стандарта мелкого рыцарства, даже такая форма внимания к женщинам требовала от мужчин немалых усилий, хотя куртуазные предписания крайне мало ограничивали их поведение по сравнению с той сдержанностью, что стала привычной, скажем, для придворных кавалеров времен Людовика XIV. В то же самое время здесь хорошо заметны различия в сети взаимозависимостей, в каждом случае определявшие выра-

90

бывавшиеся привычки. Однако куртуазность уже была шагом на пути, ведущем к нашему способу моделирования влечений, шагом на пути к «цивилизации».

Слабо интегрированный высший слой рыцарей-мирян, символом которого может служить замок, возвышающийся в центре поместья-автаркии, образует один полюс. Другим является более интегрированный слой светских вельмож, собранных при дворе абсолютного монарха, выступающем в качестве центрального органа управления королевства. Чтобы подойти к рассмотрению социогенеза цивилизационной трансформации, нам нужно было вычленив из широкого и продолжительного процесса развития данное проблемное поле.

Мы разобрали некоторые стороны процесса, в ходе которого над социальным ландшафтом, характеризуемым множеством замков, постепенно стали выделяться дворы возвысившихся крупных феодалов. Теперь перед нами стоит следующая задача: показать тот механизм, благодаря которому *один* из этих феодалов, король, добился преимущества перед всеми прочими, смог создать стабильный аппарат власти, распространяющейся на всю территорию, скрепив ее в «государство». Этот же путь одновременно вел от стандарта поведения, называемого «courtoisie», к стандарту, получившему имя «civilité».

II. О социогенезе государства

1. Первый шаг на пути возвышения королевского дома: конкурентная борьба и формирование монополии в рамках одного удела

1

На различных фазах исторического развития значение королевской короны меняется, несмотря на то, что ее обладатели всегда — фактически или номинально — выполняли ряд центральных функций, в первую очередь, функцию военного вождя, возглавляющего армию страны в борьбе с внешним врагом.

К началу XII в. прежнее царство западных франков, которому извне уже не угрожали могущественные враги, окончательно распадается на множество уделов: «Союз, ранее скреплявший "провинции" и феодальные династии с "главой" монархии, теперь практически разорван. Исчезли последние признаки того подчинения "главе", что позволяло еще Гуго Капету и его сыну хоть как-то влиять на ход событий, пусть и не в областях, принадлежащих крупнейшим вассалам. Феодальные группы первого порядка... приобрели черты независимых государств, закры-

91

тых для любого влияния со стороны короля, не говоря уж о его действиях. Связи крупных феодалов с обладателями королевской короны сводятся к минимуму. Эта трансформация отражается уже в официальных титулах и формулах. Феодальные князья XII в. перестают называться "comtes du Roi" или "comtes du royaume"»⁷³.

В этой ситуации «королям» оставалось лишь делать то же, что и прочим крупным феодалам: они концентрировали свои усилия на укреплении собственного удела, на увеличении своей власти в той области, которая еще в какой-то степени была у них в руках, — в герцогстве Иль-де-Франс.

Людовик VI, король с 1108 по 1137 г., всю свою жизнь посвятил решению двух задач: увеличению своего собственного домена, т.е. той части герцогства, что не была роздана в лен (либо находилась в руках мелких вассалов), и борьбе со всеми возможными конкурентами — опять-таки в пределах своего герцогства, — пытавшимися померяться с ним силой. Решение одной задачи зависело от того, насколько успешно удастся справиться с другой: у побежденных и покоренных феодалов король отнимал владения (целиком или частично) и более не отдавал их в лен. Так он постепенно увеличивал владения своего дома, являвшегося основанием его хозяйственного и военного могущества.

2

Поначалу носитель королевского титула был просто крупным феодалом. Он располагал столь незначительными инструментами власти, что средние или даже мелкие феодалы (в случае их объединения) могли успешно оказывать ему сопротивление. Вместе с утратой им функции главного военачальника всей армии королевства, вместе с дальнейшей феодализацией уходит в прошлое не только главенство королевского дома. Под вопросом оказывается сама власть короля, его монопольное положение в пределах его исконной, родовой территории — право на главенство оспаривается другими конкурирующими с ним землевладельцами или высородными семействами. Дом Капетингов в лице Людовика VI ведет борьбу с домами Монморанси, Бомонтов, Рошфоров, Монтлери, Ферте-Алэ, Пюизэ и многими другими⁷⁴, подобно тому, как несколькими веками позже Гогенцоллерны в лице великих курфюрстов этого дома будут бороться с Китцовыми и Роховыми. Отличие лишь в том, что шансы Капетингов были гораздо ниже, поскольку в силу иного по сравнению с Германией состояния денежной и налоговой систем, как, впрочем, и военной техники, различие между военными и финансовыми ресурсами Капетингов и их противников не было так велико. Ведь у великого курфюрста уже имелись в монопольном распоряжении средства власти на своей территории, в то время как Людовик VI, — если отвлечься от того содействия, что ока-

92

зывали ему церковные институты, — был просто крупным землевладельцем, господином в своем большом домене. Он вынужден был считаться с властвовавшими на той же земле феодалами меньшего масштаба, обладавшими несколько меньшей военной мощью, чем он. Монопольного положения на своей территории он мог достичь только победив в этой трудной борьбе, потеснив другие дома.

Только тот, кто познакомился со свидетельствами современников, в состоянии оценить, насколько мало дом Капетингов по военным и экономическим ресурсам превосходил другие феодальные дома франконского герцогства, сколь трудно — учитывая слабые экономические связи, незначительное развитие транспорта и коммуникаций, феодальную организацию войска и неразвитость осадных орудий, — королям давалась эта борьба за монопольное положение «князя» даже на этой небольшой территории. В качестве примера можно привести замок семейства Монтлери, расположенный на пути, соединявшем две важнейшие части домена Капетингов: он занимал господствующие позиции на линии связи Парижа с Орлеаном. Король капетингской династии Робер дал эти земли своему слуге или чиновнику — «grand forestier» — с позволением построить на них замок. Внук этого «grand forestier», живший в замке, правил окружающей местностью уже как независимый феодал. Такое центробежное развитие было типичным и неизбежным в то время⁷³. Отцу Людовика VI после трудной и долгой борьбы наконец-то удалось достичь соглашения с домом Монтлери: он женил своего чуть ли не десятилетнего сына-бастарда на наследнице семейства Монтлери и тем самым поставил этот замок под контроль своего дома.

«Allons, beau fils Louis, — говорил он незадолго до смерти своему старшему сыну и наследнику Людовику VI, — garde bien cette tour de Monthléry, qui en me causant tant de tourments, m'a vieilli avant l'âge et par laquelle je n'ai jamais pu jouir d'une paix durable ni d'une véritable repos... Elle était le centre de tous les perfides de près ou de loin et il n'arrivait de désordre que par elle ou avec son concours... Car... Monthléry se trouvant entre Corbeil d'une part et Châteaufort à droit, toutes les fois qu'il survenait quelque conflit Paris se trouvait investi, de sorte qu'il n'y avait plus de communication possible entre Paris et Orléans, si ce n'est avec une force armée»⁷⁶. Проблемы коммуникации, до сих пор играющие немалую роль в межгосударственных отношениях, были не менее важны при тогдашнем уровне общественного развития, и их решение в ином по величине пространстве сталкивалось с не меньшими трудностями. Они в полной мере проявлялись во взаимоотношениях между феодалами, независимо от того, носят они королевский титул или нет. Примером может служить микроскопический отрезок на пути из Парижа в Орлеан — Монтлери лежит в 24 километрах от Парижа.

93

Фактически еще немалая часть времени правления Людовика VI ушла на борьбу за эту крепость, пока ему, наконец, не удалось окончательно отобрать эти земли у дома Монтлери и установить здесь безраздельную власть Капетингов. Как и всегда в таких случаях, победа означала одновременно военное усиление и экономическое обогащение победившего дома. Подчинение себе Монтлери принесло королю доходы в размере 200 ливров — значительная в те времена сумма. К этому следует добавить еще и тринадцать прямых ленов и двадцать косвенных, или вторичных, ленов зависимых от этих тринадцати⁷⁷, — их владельцы стали теперь вассалами короля, увеличивая тем самым военную мощь Капетингов.

Столь же медленно и трудно шла другая борьба, которую приходилось вести Людовику VI. Ему понадобилось три военные экспедиции (1111, 1112 и 1118 гг.), чтобы сломить сопротивление отдельных рыцарских семейств в районе Орлеана⁷⁸; он потратил два десятка лет на то, чтобы справиться с домами Рошфоров, Ферте-Алэ и Пюизэ и присоединить их поместья к владениям собственного дома. В результате домен Капетингов настолько вырос и упрочился, а его владельцы обрели такие экономические и военные возможности, такие богатства, что уже могли не опасаться конкуренции прочих рыцарей в пределах своего герцогства и достигли монопольного положения на данной территории.

Четыре-пять веков спустя королевская функция настолько укрепилась, что обладатели короны стали монополистами, располагающими огромными военными и финансовыми ресурсами на территории всего королевства. Борьба Людовика VI с другими феодалами на территории собственного герцогства была первым шагом на пути к монопольному положению королевского дома в более поздние времена. Поначалу дом номинальных обладателей короны по величине земель, по военной и экономической силе немногим превосходил другие феодальные семейства. Дифференциация размера владений была относительно невелика, а потому незначительна была и социальная дифференциация рыцарей, какими бы титулами они себя ни украшали. Затем одни из семейств аккумулируют земли (посредством заключения браков, покупки и завоевания владений) и получают превосходство над соседями. То, что именно старому королевскому дому удалось добиться превосходства в герцогстве Иль-де-Франс, могло зависеть — если отвлечься от того, что они изначально располагали довольно большими земельными владениями, — от личных качеств представителей этого дома, от поддержки церкви, от традиционного почитания королей. Но точно такая же дифференциация рыцарских владений происходила одновременно на всех прочих территориях королевства. Мы уже говорили о смещении равновесия в сообществе рыцарей в

94

пользу немногих крупных и в ущерб множеству мелких и средних рыцарских семейств. На каждой из территорий раньше или позже одному из феодальных домов удавалось за счет аккумуляции земель достичь своего рода гегемонии, или монопольного положения. То, что чем-то аналогичным занимался обладатель короны, Людовик Толстый, выглядит как его отказ от королевской функции. Но ему и не оставалось ничего другого в условиях существовавшего распределения средств власти в обществе.

Экскурс: о некоторых различиях в ходе развития Англии, Франции и Германии

1

В Англии и Франции перед участниками борьбы за гегемонию, т.е. за централизацию власти и господство в стране, стояли иные задачи, чем в германско-римской империи. Причина этого проста: империя была образованием совсем иных размеров, чем оба эти королевства. Местные различия и социальная дивергенция были несравнимо большими, что придавало центробежным тенденциям совсем иную силу и превращало достижение централизации и территориального превосходства в значительно более сложную проблему. Чтобы обуздать центробежные силы и добиться объединения страны на достаточно длительный период времени, в германско-римской империи правители нуждались в большем размере и большей силе своего собственного домена, чем во Франции или Англии. Многого говорит в пользу того, что при том уровне разделения труда и социального взаимодействия, при существовавшей в то время технике военного дела, транспорта и управления задача постоянного сдерживания центробежных тенденций на столь гигантской территории вообще была неразрешимой.

2

Величина территории, на которой разыгрываются социальные процессы, представляет собой важный элемент, определяющий структуру этих процессов. Конечно, это лишь один из многих элементов, но его

нельзя упускать из виду, когда речь идет о причинах того, что централизация и интеграция во Франции и в Англии продвигались легче и быстрее, чем в Германии. С этой точки зрения пути развития в данных трех областях принципиально различны.

Когда королевская корона в западнофранкской области досталась Капетингам, сфера действительной власти их дома простиралась на север от Парижа до Сенлиса, а на юг — до Орлеа-

95

на. За двадцать пять лет до этого Оттон I был коронован в Риме как римский император. Он утопил в крови попытки воспрепятствовать своему возвышению со стороны других немецких племенных вождей, опираясь прежде всего на привычные к ратному делу войска собственного племени. Империя Оттона в то время занимала территорию примерно от Антверпена и Камбре на западе до Эльбы на востоке (даже без лежавших восточнее Эльбы маркграфств); восточная граница шла далее к югу до Брюнна и Ольмюца. С севера на юг империя простиралась от Шлезвига до Вероны и Истрии; в нее входила значительная часть Италии, а одно время и Бургундия. Так что это было образование совершенно другого размера, а потому в нем обнаруживаются напряжения и противоречия интересов, неведомые ни западнофранкским областям, ни отделившейся от них позже норманно-английской колонии. Борьба за гегемонию в герцогстве Иль-де-Франс или в нормандском и анжуйском герцогствах по своим задачам отличалась от той, что вел любой правитель в германско-римской империи. Там на небольшой территории последовательно шел процесс централизации или интеграции, в ходе которого перевес сил приходился на долю то одного, то другого герцогства. Здесь же, на несравненно большем пространстве, каждый вновь обретающий императорскую корону дом тщетно стремился добиться стабильной гегемонии на территории всей империи. Один за другим эти дома истощали себя в безнадежной борьбе, расходуя силы, служившие источником их собственного могущества, — силы их племени и домена. За каждой такой напрасной попыткой нового дома следовала децентрализация, подкреплявшая центробежные силы.

Незадолго до того, как французский королевский дом в лице Людовика VI начинает собирать силы и консолидировать земли в своем домене, в германско-римской империи в результате совместных усилий всех представителей центробежных сил — крупных немецких феодалов, церкви, городов северной Италии и старшего сына кайзера — была сокрушена власть Генриха IV. Это дает нам исходный пункт для сравнения империи с ранним французским королевством. Позже, когда французский король Франциск I настолько прочно держал в своих руках все королевство, что для сбора налогов уже не нуждался в санкции сословных собраний и согласии налогоплательщиков, кайзер Карл V и его администрация не могли собирать налоги, необходимые для содержания двора, войска и органов управления, даже в наследственных землях собственного племени без договоренности с множеством местных сословных собраний. Всех собранных сумм, включая доходы от заморских колоний, не хватало для покрытия необходимых для правления расходов. К моменту отречения Карла V от власти имперская администрация была на

96

пороге финансового краха. Как и его предшественники, он разорился в борьбе с центробежными силами. Только изменение общества в целом и в особенности королевской функции помогли Габсбургам удержать свою власть.

3

Механизм образования «государства» в современном смысле этого слова был примерно одинаков на всей европейской территории, где общество постепенно переходило от натурального хозяйства к денежным отношениям. Мы еще покажем это более подробно на примере Франции. По крайней мере в истории *больших* европейских государств мы всякий раз обнаруживаем раннюю фазу развития, когда на территории будущего государства появляются и начинают играть решающую роль небольшие политические единицы. Нечто подобное мы наблюдаем и на других континентах, когда власть устанавливается в условиях слабого разделения труда и преобладания натурального хозяйства. Примером этой фазы могут служить территориальные объединения, образующиеся вместе с развитием денежного хозяйства в рамках германско-римской империи: небольшие королевства, герцогства или даже графства. Другой пример дают нам княжество Уэльс и королевство Шотландия, объединенные сегодня с Англией и Северной Ирландией в рамках Великобритании, или герцогство Иль-де-Франс, о превращении которого в прочное феодальное образование речь уже шла.

Схематически этот процесс борьбы за господство, разворачивающейся *между* уделами, протекает аналогично тому, что ранее шел *в рамках* одного удела, когда она велась между отдельными рыцарями и землевладельцами. На ранней фазе в этой борьбе участвуют множество помещиков, на следующей фазе в нее вступает ряд уделов средней величины, герцогств и графств. Они оказываются втянутыми в конкуренцию, для самосохранения им нужна экспансия, поскольку иначе они раньше или позже поглощаются соседними уделами или становятся зависимыми от них.

Выше мы уже подробно говорили о том, что конкуренция за землю усиливается вместе с ростом населения, закреплением собственности на землю, сокращением возможности внешней экспансии. Мы замечали, что у бедных рыцарей потребность в земле была рождена простым стремлением получать содержание, соответствующее их сословному положению, тогда как у более богатых и знатных эта потребность выражалась в желании иметь «еще больше». Тот, кто в этом обществе не достигал «большего» и стремился

только к сохранению имеющегося, под давлением конкуренции автоматически оказывался с «меньшим». Здесь мы вновь обнаруживаем ту силу принуждения, которая про-

97

низывала все общество сверху донизу, сталкивая в междоусобной борьбе землевладельцев и запуская в действие механизм монополизации. Поначалу различие в инструментах власти оставалось незначительным, что позволяло огромному числу феодалов участвовать в противоборстве. Но затем, после многих побед и поражений, эти средства аккумулируют наиболее сильные, а все прочие выпадают из конкурентной борьбы за господство. Те немногие, кто остался «в строю», продолжают борьбу, процесс отбора возобновляется, пока, наконец, не остаются два удела, ставшие великими в результате побед над соперниками, добровольного или принудительного присоединения к себе других земель. Все остальные — независимо от того, участвуют они в борьбе между этими двумя гигантами или остаются нейтральными, — хотя еще и сохранили определенный социальный вес, но все же превратились в фигуры второго или третьего порядка в сравнении с двумя могущественными соперниками. Два оставшихся удела обладают монопольным положением, поскольку прочие с ними уже не конкурируют, и выбор приходится делать между ними.

Конечно, в этом процессе социальной селекции, в борьбе «на выбывание» известную роль играют личные качества участников, равно как всевозможные «случайности». Смерть правителя, отсутствие наследников мужского рода могли иметь решающее значение для определения того, какой именно удел станет победителем.

Но сам социальный процесс, — тот факт, что в обществе, где первоначально существует множество сравнительно равных по владениям и могуществу феодалов, постепенно под давлением конкуренции остаются лишь немногие могущественные властители, а затем устанавливается монополия на власть, — не зависит от таких случайностей, способных лишь ускорить или замедлить данный процесс. Само строение этого общества обуславливает большую вероятность того, что кто-нибудь раньше или позже займет монопольное положение, независимо от того, кто именно стал таким монополистом в действительности. На языке точных наук это можно было бы назвать «законом». Данная формулировка сравнительно точно обозначает простой социальный механизм, который, если уж он запущен, далее действует как часы: сплетение взаимосвязей людей, в котором конкурируют друг с другом множество примерно равных по силам единиц, меняется, равновесие (баланс сил, участвующих в свободной конкуренции) нарушается; одни выбывают или присоединяются к другим, а конкурентную борьбу оказывается способным продолжать все меньшее число участников. Иначе говоря, эта система приближается к такой позиции, когда *одна* социальная единица аккумулирует все шансы и достигает неоспоримой монополии.

98

4

О механизме монополии в целом нам еще придется говорить более подробно. Пока что нам нужно было указать только на то, что данный механизм действовал при образовании государств точно так же, как он ранее действовал при образовании более мелких единиц с властными полномочиями, уделов (либо позже, при образовании больших, чем государства, образований). Этот механизм позволяет нам понять те факторы, которые видоизменяли ход истории различных стран или даже препятствовали формированию государств. Только с помощью этого механизма мы можем увидеть, почему задача формирования центральной власти в германско-римской империи была несравнимо более сложной, чем в областях, населенных западными франками. В империи также шла борьба «на выбывание», происходила аккумуляция земель в руках победителей, возникали уделы, настолько превосходившие все прочие, богатые и сильные, что правящий дом — место концентрации всех инструментов власти — был в состоянии мирным или военным путем поставить все остальные феодальные семейства в зависимость от себя, а то и просто завладеть всем аппаратом власти. Только так могла происходить централизация слабо связанных друг с другом областей империи, а потому не было недостатка в претендентах на власть. Борьба не только между Вельфами и Штауфенами, но также между кайзерами и папами — с учетом всевозможных нюансов — шла за подобное господство. Но все эти претенденты не достигли цели. Вероятность кристаллизации центра, обладающего безусловной гегемонией, на столь большой территории с едва связанными друг с другом областями была незначительной. Такая вероятность намного меньше, чем в случае небольшой страны. К тому же следует помнить, что речь идет о фазе развития, характеризуемой слабыми хозяйственными связями, когда дальние расстояния были почти непреодолимым препятствием для коммуникации. В любом случае борьба «на выбывание» на такой территории требовала значительно большего времени, чем в меньших по размеру землях.

Хорошо известно, как в конечном итоге произошло образование государства, включившего в себя большинство областей германско-римской империи. Аналогичный процесс шел и в Италии, но в рамках нашего исследования мы не будем его рассматривать. Что же касается немецких удельных княжеств, среди них выделилось одно, возглавляемое домом Гогенцоллернов. Благодаря колониальной экспансии, направленной на немецкие и полунемецкие земли, этому семейству удалось составить конкуренцию дому Габсбургов. Затем последовала борьба за гегемонию, завершившаяся победой Гогенцоллернов и обеспечившая их однозначное превосходство над всеми прочи-

99

ми немецкими княжескими домами, и, наконец, произошло подчинение всех немецких территорий единому аппарату власти. Но эта борьба за гегемонию между двумя наиболее могущественными кланами одновременно означала дальнейшую дезинтеграцию старой империи: в результате поражения Габсбургов принадлежавшие им земли вышли из союза, а потому в действительности мы имеем здесь дело с последним шагом на пути к ее разрушению. Век за веком от этой империи откалывались отдельные земли, образуя независимые государства. Как целое она была слишком велика и отличалась чрезмерной пестротой входивших в нее земель, а это тормозило процесс формирования единого государства.

Вопрос о причинах более трудного и позднего в сравнении с западными соседями формирования государства на территории германско-римской империи имеет прямое отношение к тому, что происходит в двадцатом столетии. Опыт последнего времени придает особую окраску этому вопросу. В частности, речь идет о тех различиях, что существуют между давно укрепивши- * мися, достигшими большей сбалансированности и значительно раньше вставшими на путь экспансии западными странами, с одной стороны, и недавно возникшими и поздно начавшими экспансию наследниками древней империи — с другой. Со структурной точки зрения, на этот вопрос не так уж трудно найти ответ. Во всяком случае, не труднее, чем на другой, связанный с ним и не менее важный для понимания исторических структур: почему вопреки неблагоприятному строению общества и несмотря на невозможность справиться с центробежными силами, этот колосс все же простоял так долго, почему империя не распалась много раньше?

5

Империя, рассматриваемая как целое, распалась поздно, но на протяжении столетий от германско-римского рейха откалывались и вступали на собственный путь пограничные области — прежде всего на западе и на юге. В то же самое время шла постоянная колонизация новых земель, и приобретения на востоке в известной мере компенсировали потери на западе. Впрочем, сами потери были относительно небольшими: вплоть до конца Средневековья и даже какое-то время позже империя на западе достигала Мааса и Роны. Если отвлечься от всех отклонений и рассматривать только общее направление движения, то мы увидим, что империя постепенно уменьшалась в размерах при медленном перемещении сферы ее экспансии и ее внутреннего центра тяжести с запада на восток. Это развитие заслуживает специального, более подробного рассмотрения. Но даже исключительно с точки зрения размера территории собственно немецких земель,

100

последние изменения с очевидностью продемонстрируют данную тенденцию:

Германский союз	до 1866 г.	630 098 кв. км
Германия	после 1870 г.	540 484 кв. км
Германия	после 1918 г.	471 000 кв. км

В Англии и во Франции направление движения было прямо противоположным. Традиционные институты развивались здесь поначалу в сравнительно небольших по размеру областях, а затем сфера их влияния постепенно расширялась. Мы не пойдем истории формирования центральных институтов, становления структуры и развития аппарата власти в этих странах, как, впрочем, и их отличия от соответствующих формаций в государствах — наследниках древней империи, если не примем во внимание такой простой фактор, как постепенный территориальный рост.

В сравнении с германско-римским рейхом, завоеванный в 1066 г. норманнским герцогом Вильгельмом остров имел совсем небольшие размеры. По своей величине он чем-то напоминает Пруссию при первых ее королях. На севере его владения граничили с Шотландией. Иначе говоря, его территория включала в себя современную Англию без Шотландии и Уэльса, т.е. занимала около 131 764 кв. км. Только к концу XIII в. Уэльс был целиком присоединен к Англии, и вместе они составили 151 130 кв. км.

Собственно с Шотландией уния возникла только после 1603 г. Эти цифры дают наглядное, но лишь весьма приблизительное представление о структурных различиях. Они показывают, что образование английской, а затем и британской нации, если сравнить его с большими континентальными нациями, на решающей фазе развития происходило в рамках территории, по размерам лишь немногим отличавшейся от одного удельного княжества. Вильгельм Завоеватель и его ближайшие наследники на самом деле правили просто крупным уделом западнофранкского царства, почти аналогичным таким существовавшим в то время доменам, как Иль-де-Франс, Аквитания или Анжу. Задача самоутверждения в борьбе за гегемонию (необходимость экспансии возникала уже по той простой причине, что в противном случае проигрыш был неизбежен), стоявшая перед удельным властителем на такой территории, разительно отличалась от тех задач, что ставила континентальная империя перед своим центральным правителем. Это сказывалось уже на первой фазе развития, когда остров был своего рода западнофранкской колонией, а норманнские и анжуйские правители одновременно располагали значительными землями и на континенте и вели борьбу за господство над всей западнофранкской областью. Но со всей очевидностью это проявилось на следующей фазе, когда они были вытеснены с континента, и речь шла уже только о распро-

101

странении аппарата господства на весь остров. То, что королевская функция, равно как и отношения короля с сословиями, формировались здесь иначе, чем на континенте, объяснялось — помимо всех прочих факторов — и таким важным обстоятельством, как относительная ограниченность территории и ее островная обособленность. Здесь было гораздо меньше возможностей для значительной дифференциации земель, и борьба между двумя соперниками за господство шла проще, чем на континенте. Английский

парламент по формированию и структуре напоминает не столько сословный парламент немецкой империи в целом, сколько сословные ландтаги немецких земель. То же самое можно сказать обо всех прочих институтах. Они росли, как и сама Англия, от малого к большому — из институтов феодального удела они постепенно превращались в институты единого государства, а затем и империи.

Но и здесь при достижении территорией страны определенных размеров мы обнаруживаем центробежные тенденции. Даже сегодня, при далеко ушедших вперед в своем развитии средствах коммуникации и при существующих ныне взаимосвязях, эта империя оказывается чересчур большой. Только опытное, эластичное и искусное правление позволяет при всех трудностях сохранять империю как единое целое. Конечно, нынешние условия существенно отличаются от тех, в которых существовал древний немецкий рейх. Однако и здесь мы видим, что слишком большая империя, возникшая в результате завоеваний и колонизации, в конечном счете движется к распаду на ряд более или менее самостоятельных политических единиц или по меньшей мере к трансформации в некоего рода «конфедерацию». Так что и при взгляде на реалии нашего времени этот механизм кажется почти самоочевидным.

6

Родовое владение Капетингов, герцогство Франкия, по своим размерам было меньше той части Англии, которой распоряжались норманнские герцоги. Оно было примерно таким же, как марка Бранденбург при Штауфенах. Только в пределах империи должно было пройти пять-шесть веков, прежде чем небольшая завоеванная область достигла такой силы, что смогла вступить в конкуренцию с издревле могущественными уделами. В ограниченных рамках западнофранкского царства инструменты власти, имеющиеся у подобной области (с учетом материальной и духовной поддержки, оказываемой дому Капетингов церковью), были достаточны для того, чтобы этот дом смог быстро вступить в борьбу за господство над большей частью Франции.

Удел — наследник западнофранкского царства, зародыш будущей Франции, по своим размерам занимал место где-то меж-

102

ду позднейшей Англией и германско-римским рейхом. Местные различия, а тем самым и центробежные силы, были здесь меньше, чем в соседней империи. Поэтому потенциальной центральной власти досталось решение более легких задач. Но эти различия и центробежные силы были гораздо больше, чем на острове Британия⁷⁹. Здесь, в Англии, именно ограниченность территории способствовала объединению различных сословий (в первую очередь, сплочению рыцарства) в борьбе против короля. Стимулом для такого объединения послужил и передел земель Вильгельмом Завоевателем, облегчивший контакты между землевладельцами во всей Англии и обеспечивший единство их интересов, по крайней мере в плане противостояния центру. Нам еще предстоит показать, что в определенной мере расхождение интересов и противостояние сил (не столь значительные, чтобы вызвать распад государства, но достаточные для возникновения препятствий для непосредственного объединения разных сословий) укрепляют позиции центральной власти.

Так что возможности расширения сферы влияния центральной власти и формирования монополии на господство у королевства — наследника западнофранкского царства были не так уж малы.

Остается более детально показать, как дом Капетингов воспользовался этими шансами, а также пояснить действия механизма монополизации господства, что сформировался в этом королевстве.

2. О механизме возникновения и действия монополии

1

Общество, которое мы называем обществом Нового времени, характеризуется — прежде всего на Западе — определенным способом образования монополии. У индивида отнимается право свободно распоряжаться оружием, оно переходит к аппарату централизованного насилия⁸⁰, который может принимать самые различные формы. Точно также налоги с владений и доходов индивидов концентрируются в руках социального центра власти. Финансовые средства, оказывающиеся в распоряжении этого центра, способствуют поддержанию монополии на насилие, а последняя поддерживает монополию на сбор налогов. Ни одна из них не преобладает над другой в каком бы то ни было смысле — нельзя говорить о приоритете хозяйственной монополии над военной или наоборот. Мы имеем дело с двумя сторонами одной и той же монополии. Стоит оказаться поколебленной одной стороне, как за тем автоматически следует потрясение основ другой, хотя последствия для каждой из сторон монополии на господство могут быть неодинаковы.

103

Некие предшествующие формы такого монопольного распоряжения налогами и войском на сравнительно большой территории иной раз встречаются и в обществах с меньшим разделением функций. Такие общества возникают преимущественно в результате завоеваний. Что же касается обществ с чрезвычайно сильно развитой дифференциацией функций, здесь обязательно формируется постоянно действующий, специализированный аппарат управления этой монополией. Только вместе с возникновением такого дифференцированного аппарата господства распоряжение войском и налогами в полной мере приобретает монопольный характер; только вместе с появлением такого аппарата военная и налоговая монополии становятся непреходящими. Социальная борьба идет теперь уже не за устранение монополии на господство, вопрос сводится к тому, в чьем именно распоряжении находится этот аппарат, откуда рекрутируются

управленцы, как распределяются повинности и привилегии. Лишь с формированием постоянной монополии централизованного насилия и специализированного аппарата господства политические единицы приобретают характер «государств»:

Конечно, в государстве к двум названным монополиям присоединяется целый ряд других. Но именно две названные монополии являются ключевыми. Если падут они, то падут и все остальные, и государство развалится.

2

Вопрос заключается в том, как и почему возникают эти две монополии.

В обществе IX—XI вв. они еще явно отсутствуют, и лишь с XI в. начинается их медленное формирование на территории, оставшейся в наследство от западных франков. Поначалу каждый рыцарь, имевший в своем распоряжении клочок земли, выполнял все те функции господства, которые в дальнейшем, сделавшись инструментами в руках специалистов, обретут вид монополии единой центральной власти. Рыцарь ведет войны, он захватывает земли или обороняется, когда это ему угодно делать. Завоевание новых земель и вооруженная защита собственности связаны с той функцией господства, что на языке более позднего времени можно назвать «частной инициативой». А так как при непрерывном росте населения спрос на землю непомерно растет, конкурентная борьба за нее захватывает всю страну, и эта борьба ведется преимущественно с помощью военного и экономического насилия (в отличие от XIX в., когда в силу государственной монополии на физическое насилие конкурентная борьба осуществляется исключительно средствами экономического насилия).

Напоминание о конкурентной борьбе за монополию, которая протекала прямо у нас на глазах, может быть небесполезно для

104

понимания механизма монополизации на более ранних фазах общественного развития. Если рассмотреть весь ход развития в целом, то многое характерное для ранних фаз напоминает то, что происходит на более поздних. Более ранние по времени события выступают в качестве предпосылки более поздних, но в обоих случаях центральное положение занимает аккумуляция в руках у немногих людей важнейших средств производства либо, по крайней мере, права ими распоряжаться: раньше речь шла об аккумуляции земли, теперь — об аккумуляции денег.

О механизме образования монополии мы уже вкратце говорили⁸¹. В общем виде его можно описать так: *когда в большом социальном объединении имеется множество мелких, образующих его посредством взаимосвязи друг с другом, которые обладают примерно одинаковой социальной силой, являются свободными, поскольку им не препятствует уже имеющаяся монополия, и способны конкурировать за социальные шансы, т.е. прежде всего за средства производства и средства существования, то появляется очень высокая вероятность того, что в конкурентной борьбе одни из них одержат верх, а другие потерпят поражение. Вследствие этого все меньшее и меньшее число объединений будет располагать все большими шансами, все большее число объединений, потерпевших поражение, должно будет выйти из конкурентной борьбы, оказываясь в прямой или косвенной зависимости от все меньшего числа победителей.* Находящееся в таком движении сплетение взаимосвязей людей, если этому не воспрепятствуют какие-то обстоятельства, приближается тем самым к состоянию, в котором фактически все шансы оказываются в одних руках, — происходит переход от «системы с открытыми позициями» к «системе с закрытыми позициями»⁸².

Общая схема этого процесса проста: в социальном пространстве имеется определенное количество людей и определенное количество шансов, весьма ограниченных или недостаточных в сравнении с людскими потребностями. Если предположить, что борьбу за наличные шансы ведут друг с другом индивиды, то вероятность того, что они бесконечно долго будут находиться в равном положении и никто не будет побеждать другого, чрезвычайно низка, пока речь идет именно о свободном соревновании без влияния на его ход какой-либо монополии. Напротив, высока вероятность того, что раньше или позже одни из борющихся одержат верх над противниками, умножив тем самым свои шансы и уменьшив их у побежденных. Последние выбывают из конкурентной борьбы. Если предположить, что победители вновь начинают вести противоборство друг с другом один на один, то все повторяется: вновь одни из них побеждают, отвоевывая шансы у побежденных. В распоряжении все уменьшающегося числа людей оказывается все больше шансов, и все большие массы исключаются из свободной конкуренции. Этот процесс

105

повторяется вновь и вновь, пока, наконец, в оптимальном случае один индивид не станет распоряжаться всеми шансами, поставив в зависимость от себя всех остальных.

Конечно, в реальном обществе мы имеем дело не только с отдельными людьми, вовлеченными в механизм, определяющий подобное сплетение связей, но зачастую с крупными социальными объединениями, например с территориями и государствами. Реальные процессы по большей части много сложнее, чем предложенная схема, да еще и протекают с многочисленными вариациями. Например, часто можно наблюдать, как слабые объединяются в союз для борьбы против одного индивида, аккумулировавшего слишком большие шансы и ставшего слишком сильным противником для каждого из них. Если им удастся совместными усилиями победить его, то они захватывают и делят между собой отвоеванные шансы, что

ведет к продолжению борьбы уже между самими членами такого союза. Смещение в равновесии сил всегда имеет один и тот же результат. Система стремится к тому, чтобы в борьбе «на выбывание» все меньшее число людей обладало все большими шансами.

Темп и ход смещения равновесия в пользу все меньшего числа людей в огромной мере зависят от соотношения спроса и предложения на имеющиеся шансы. Если по ходу движения не меняется число претендентов и количество шансов, то подобное смещение ведет к увеличению спроса на последние. В результате растет число зависимых людей и усиливается сама зависимость, меняется ее характер. Когда относительно независимые социальные функции становятся все более и более зависимыми (например, свободных рыцарей сменяют сначала рыцари при дворе, а затем придворные, а независимых купцов — зависимые торговцы и служащие), с необходимостью меняются также моделирование аффектов, структуры влечений и мышления, — короче говоря, весь социальный *habitus* человека со всеми социальными установками. При этом данные установки равным образом меняются и у тех, кто приближается к монопольному положению, и у тех, кто лишился возможности конкурировать за определенные шансы и прямо или косвенно оказался в зависимом состоянии.

3

Этот процесс ни в коем случае не следует понимать так, будто по мере его протекания просто становится все меньше «свободных» и все больше «зависимых», хотя на определенных фазах повод для такой трактовки действительно имеется. Если рассматривать весь ход развития, то можно легко заметить, что — по крайней мере, в любом высокоразвитом и дифференцированном обществе, — начиная с определенной фазы данного процесса, эта за-

106

висимость неким образом перевертывается. Чем больше людей в результате работы механизма монополизации оказываются в зависимом состоянии, тем большей становится их сила — пусть не поодиночке, но всех в целом, — по отношению к тем немногим, что почти стали монополистами. Для того чтобы сохранять и реализовывать свои монополизированные шансы, этим последним требуется все большее число зависимых от них людей. Независимо от того, идет ли речь о земле, солдатах или деньгах в любой их форме, оказывается: чем больше таковых аккумулируется в одних руках, тем труднее индивиду осуществлять над ними контроль, и тем более он привязан к другим людям, т.е. тем более он сам оказывается в зависимости от сети зависимых от него людей. Чтобы такие изменения стали заметны, требуются столетия, а затем еще века и века, пока данные трансформации не приведут к формированию стабильных институтов. Благодаря особенностям строения общества может возникнуть бесконечное число препятствий на пути этого процесса, но все же его механизм и направленность не вызывают сомнений. Чем более всеобъемлющими становятся монополизированные шансы, тем более разветвленной оказывается дифференцированная сеть людей, функционирующих ради реализации этих шансов. От их работы и от их функций зависит сохранение монополии, а потому они обретают собственный вес в поле власти монополиста. Монопольный властитель может приспособиться к ситуации и пойти на разного рода самоограничения, что и требуется от него как от исполнителя функции центрального звена огромного образования. Он может, напротив, дать волю своим личным желаниям и аффектам; но в данном случае раньше или позже сложный социальный аппарат реализации аккумулированных шансов приходит в расстройство, и монополист начинает ощущать сопротивление этого аппарата. Иными словами, чем крупнее монополия, чем больше она связана с разделением труда, тем скорее и вернее она движется к той точке в своем развитии, когда монопольный властитель (один индивид или их совокупность) становится центральным функционером в аппарате, отличающимся значительным внутренним разделением функций. Он хотя и могущественнее всех прочих функционеров, но ничуть не менее зависим, чем они. Такое изменение может проходить либо почти незаметно, малыми шагами, либо быстро и явно, когда целые группы зависимых людей заставляют считаться со своей социальной силой немногих монопольных властителей с помощью насилия. В любом случае, аккумулированные за счет частной инициативы в конкурентной борьбе шансы, достигнув в оптимальном пункте определенной величины, уходят из рук монополиста и переходят либо ко всем зависимым людям, либо поначалу к какой-то их группе — скажем, в руки аппарата управления этой монополией. Частная монополия индивида обобществ-

107

ляется; она становится монополией целого социального слоя, общественной монополией, центральным органом государства. Ход развития того, что мы сегодня называем «государственным бюджетом», дает нам наглядный пример такого процесса. Государственный бюджет развивается из «частного бюджета» феодального дома. Точнее говоря, поначалу вообще не существовало различий между тем, что позже стало противопоставляться как «публичные» и «приватные» доходы и расходы. Доходы поступали к властителю в основном от принадлежавшего ему лично хозяйства или домена. Из этих поступлений оплачивались расходы на содержание двора, на охоту, платье, подарки, равно как на оплату труда сравнительно небольшой администрации и наемников, если таковые имелись, а также на поддержание в порядке стен замка. Но затем, по мере прибавления все новых земель, управление доходами и расходами, сохранение и приумножение владений становятся уже непосильными для одного индивида. Но даже тогда, когда непосредственное владение семейства, его домен, уже давно перестало быть главным источником доходов, когда вместе с растущей коммерциализацией общества поток денег направляется в «палаты» властителя со

всех земель, а монополия на землю вместе с монополией на насилие сменяются монополиями на денежные доходы или налоги, — даже тогда властитель продолжает распоряжаться всеми этими поступлениями как своими личными доходами, как доходами собственного дома. Пока что сам он решает, какие суммы тратить на возведение замков, на разнообразные дары, на свою кухню и на содержание двора, на оплату наемников и чиновников. Доходы от монополизированных шансов он делит по собственному произволу. Но если посмотреть внимательнее, то уже здесь можно заметить, насколько сильно поле решений монопольного владельца ограничивается наличием огромной сети людей, связанных с его владениями. Растет его зависимость от управленческого аппарата, влияние последнего становится все более существенным. Постоянно увеличиваются фиксированные расходы на содержание этого аппарата, и в итоге абсолютный монарх со своими, казалось бы, неограниченными полномочиями оказывается под чрезвычайно сильным давлением со стороны данного аппарата, в функциональной зависимости от того общества, которым правит. Неограниченная власть монарха является не столько следствием его монопольного распоряжения шансами, сколько функцией особого строения общества на той фазе развития, о коей у нас еще пойдет речь. Но в любом случае даже в бюджетах эпохи французского абсолютизма мы не обнаруживаем никакого разделения расходов короля на «приватные» и «публичные».

Хорошо известно, когда именно социализация монополии на господство получает свое выражение в бюджете. Это происходит

108

тогда, когда носителю верховной власти — каким бы ни был его титул — в бюджете выделяется сумма, как и любому другому функционеру. Из этой суммы правитель, будь он королем или президентом, вычитает средства, требуемые на содержание своего дома или двора. Расходы на поддержание организации власти в стране строго отделяются от расходов частных лиц на собственные нужды; приватная монополия на господство становится публичной, даже если индивид-функционер удерживает в своих руках власть над обществом.

Ту же картину мы наблюдаем и в процессе формирования аппарата господства в целом. Он вырастает, если угодно, из «Приватной» администрации короля или князя, управляющей его двором или доменом. Чуть ли не все органы государственного аппарата власти образуются за счет дифференциации функций княжеского домашнего хозяйства, иногда ассимилируя при этом органы местного самоуправления. Когда же этот аппарат господства становится государственным, или публичным, то двор правителя оказывается в лучшем случае одним из многих органов управления, а в итоге утрачивает и это значение.

Здесь мы обнаруживаем характерный пример того, как частное владение становится общественной функцией, как социализируется монополия индивида, добытая в результате ряда побед в конкурентной борьбе («на выбывание») и за счет аккумуляции шансов на протяжении ряда поколений.

Подробное описание того, как из «приватного» способа реализации монополизированных шансов возникает «публичное», «государственное» или «общественное», вряд ли является здесь уместным. Полностью смысл всех этих примеров становится понятным только при рассмотрении обществ с высокоразвитым разделением функций. Только в них деятельность и функция каждого индивида прямо или косвенно зависят от деятельности и функций множества других. Только здесь роль этого сплетения действий и интересов становится столь значительной, что даже те немногие люди, что распоряжаются шансами монопольно, не избегают давления и силового воздействия со стороны большинства членов общества.

Такие социальные процессы, как действие механизма монополии, обнаруживаются во многих обществах, в том числе и в обществах со сравнительно слабым разделением функций и незначительными взаимосвязями. Начиная с определенного уровня аккумуляции, в этих социальных объединениях также происходит переход распорядительной власти от отдельного индивида-монополиста к целым социальным группам. Зачастую это — группы тех функционеров, которые ранее были первыми слугами монополиста. Примером может служить процесс феодализации. Выше мы уже показывали, как в ходе этого процесса монопольные владыки лишались власти над довольно значительны-

109

ми землями и над очень большими средствами ведения войны, — власть переходила сначала к их бывшим функционерам и их наследникам, а затем и ко всему слою рыцарства. В обществах, где взаимозависимость социальных функций меньше, это движение к социализации с необходимостью ведет либо к более или менее полному распаду монополии, т.е. к своего рода «анархии», либо к присвоению этой монополии олигархией. В более поздние времена подобные сдвиги приводили не к перераспределению шансов среди ограниченного числа монополистов, а к облегчению доступа к ним массы людей: только растущая социальная взаимозависимость всех функций позволила, не уничтожая монополии совсем, полностью отнять ее у тех немногих, кто пользовался ими по своему произволу. По мере быстрого роста разделения функций те немногие, кто продолжает монополистически притязать на все новые шансы, раньше или позже оказываются функционально зависимыми от услуг всех прочих людей и начинают испытывать все большие затруднения. Все более функционально дифференцированной сети людей свойственны особого рода законы, противоречащие частной монополизации шансов. В развитии монополии имеется тенденция, выражающая не что иное, как функцию социальной взаимозависимости. Например, монополия на насилие или на сбор налогов из «частной» становится «общественной» или «государственной». Растущее разделение функций в этом переплетении связей людей настолько выравнивает чаши социальных весов, что становится

невозможным передел шансов в пользу немногих монополистов. То, что сегодня нам кажется чуть ли не самоочевидным, а именно, что определенные монополии — прежде всего ключевая монополия на господство — являются «государственными» или «публичными», хотя ранее это было совсем не так, есть только один шаг в данном направлении. Вполне возможно, что в ходе этого процесса в силу специфических социальных условий могут возникать все новые и новые препятствия. Примером могут служить те препятствия, с которыми столкнулась в своем развитии древняя германско-римская империя, — о них мы уже говорили выше. Повсюду, где социальная сеть превышает некую — оптимальную для формирования монополии — величину, мы будем наблюдать сходные феномены. Но какие бы факторы и противоположно направленные механизмы ни препятствовали этому процессу, какие бы конфликтные ситуации раз за разом ни возникали, строение подобной сети постоянно стремится к такому состоянию, когда монополия ставится на службу и осуществляется от имени всего социального объединения.

В общем и целом процесс образования монополии имеет, таким образом, совершенно ясное строение. Свободная конкурентная борьба занимает в этом процессе точно определенное место

110

и наделена четкой функцией: это — борьба и соревнование сравнительно многих людей за те шансы, которые еще не стали монополией одного или немногих индивидов. Любое формирование монополии в обществе предполагает такую свободную борьбу «на выбывание»; любая свободная конкурентная борьба «на выбывание» ведет к образованию монополии.

По сравнению с этой фазой свободной конкуренции завершение процесса образования монополии означает, с одной стороны, конец прямого доступа к неким шансам для все большего числа людей; с другой стороны, — все большую централизацию той силы, в распоряжении которой находятся данные шансы. Эта централизация способствует выведению данных шансов за рамки свободной борьбы, доступной для большинства членов общества; в оптимальном случае они оказываются в руках какой-то одной социальной единицы. Но сам монополист никогда не в состоянии сам получать доходы от этой монополии и расходовать их исключительно на свои нужды, особенно тогда, когда он существует в обществе со значительным разделением функций. Поначалу, если он обладает должной социальной силой, он может притязать на подавляющую часть этих доходов, затрачивая на оплату службы зависимых от него людей минимальные средства. Но он в любом случае оказывается зависимым от других (от их службы и выполнения ими их функций), а потому вынужден делить с ними большую часть шансов, находящихся в его распоряжении. И чем больше аккумулированные им владения, тем больше зависит он от других. Тем самым растет и социальная сила зависимых людей. Между ними идет конкурентная борьба за распределяемые монополистом шансы. Но если на предшествующей фазе борьбы была «свободной» (т.е. зависела только от того, что одни оказывались в какой-то момент сильнее других), то теперь она зависит от того, насколько монополист испытывает потребность в том или ином индивиде, т.е. от того, каковы функции данного индивида, как монополист может использовать его услуги в целостной системе управления своими владениями. На место свободной конкурентной борьбы приходит борьба «связанных» (или, по крайней мере, зависимых) людей. Иными становятся и те человеческие качества, что обеспечивают успех в подобной конкурентной борьбе, иной оказывается та селекция, в результате которой появляются человеческие типы, отличные от тех, что господствовали на предшествующей фазе свободной конкуренции.

Примером может служить разница между свободным феодальным дворянством и придворным дворянством. В первом случае все решала социальная сила того или иного дома, зависящая как от хозяйственной, так и от военной мощи семейства, а также от физической силы и решимости индивида. Непосредственное применение физической силы было непременным ору-

111

днем в свободной борьбе за передел шансов. Во втором случае передел шансов зависит от того дома, что вышел победителем в борьбе, от побед его предшественников, давших ему монополию на насилие. В силу такой монополии из конкурентной борьбы дворянства все более исключается насилие — шансами наделяет князь. Орудия конкуренции сделались более тонкими, сублимированными; оказавшийся в зависимости индивид все больше сдерживает проявление своих аффектов. Он колеблется между сопротивлением такому принуждению, ненавистью к зависимому положению, тоской по вольной рыцарской конкуренции, с одной стороны, и гордостью за собственное самообладание, за открывшиеся перед ним возможности удовлетворения новых желаний, с другой стороны. Короче говоря, здесь перед нами движение по пути цивилизации.

Следующим шагом был захват монополии на насилие и налоги (вместе со всеми прочими монополиями, опирающимися на эти две) буржуазией. Буржуазия в это время представляет собой слой, который как целое имеет в своем распоряжении определенные экономические шансы и использует их в форме неорганизованной монополии. Эти шансы поначалу еще столь равномерно распределены между представителями данного слоя, что сравнительно многие из них способны вести друг с другом конкурентную борьбу. Буржуазия успешно воюет с князьями не за разрушение их монополии на господство; ей совсем не нужно, чтобы монополизированные шансы на осуществление военно-полицейского насилия и сбора налогов были разделены между ее отдельными представителями. Буржуа не желают превращаться в самовластных правителей, наделенных собственной военной силой и решающих собственные задачи. Сохранение монополии на физическое насилие и сбор налогов являются фундаментом социального

существования буржуазии. Эта монополия служит предпосылкой ограничения свободной конкурентной борьбы, которую буржуазия ведет за обладание экономическими шансами, используя экономическое насилие. Буржуазия стремится не к рассредоточению уже монополизированных возможностей, но к перераспределению повинностей и преимуществ. То, что монополия теперь принадлежит уже не одному абсолютному монарху, а целому слою дворянства, является шагом в указанном направлении. Это — шаг на пути к тому состоянию, когда полученные благодаря данной монополии шансы все меньше распределяются в зависимости от личных предпочтений и интересов одного человека и все больше — по более безличному и точному плану, в интересах множества взаимозависимых лиц, а в конце концов, в интересах сети, охватывающей все человечество.

Иными словами, централизация и монополизация шансов, достигавшиеся ранее за счет военного или экономического на-

112

силы со стороны одного лица, теперь подлежат планированию. С какого-то момента борьба за монополию уже не направлена на ее уничтожение, но ведется за право управления ею, распоряжения получаемыми от нее доходами, за тот план, по которому определяются исполнители повинностей и обладатели преимуществ, — в общем, за распределение. Само это распределение было делом монополиста, но в ходе этой борьбы управление монополией превращается из частного дела в публичную функцию. Все более очевидной становится зависимость этой функции от всех прочих функций, имеющихся во взаимоувязанной сети человеческих отношений. Находящиеся в центре данной сети функционеры так же зависимы от нее, как и все прочие. Появляются прочные институты контроля над ними, причем в контролирующей деятельности принимает участие большая или меньшая часть лиц, зависимых от аппарата монополии. Ключевая позиция занимает индивидом или группой не благодаря некоему «свободному», не зависимому от монополии противоборству конкурентов, но путем регулярно возобновляющейся борьбы «на выбывание», ведущейся без применения оружия. Это — борьба, регулируемая и контролируемая аппаратом монополии. Иными словами, возникает то, что мы обычно называем «демократическим режимом». Подобный режим часто выдается за нечто несовместимое с монополией и зависимое от наличия максимально широкого поля свободной конкуренции. Понятно, что при подобных заявлениях учитываются определенные процессы монополизации, характерные для нашего времени. Однако именно наличие высокоорганизованных монополий является предпосылкой данного режима, ибо он может возникнуть и долгое время функционировать только при специфическом строении всего социального поля, на той фазе развития, когда процесс образования монополий зашел достаточно далеко.

Таким образом, на основании имеющегося опыта можно различить две большие фазы в развитии механизма возникновения и действия монополии. Первой является фаза свободной конкуренции, или борьбы «на выбывание» с тенденцией к аккумуляции шансов в руках все меньшего числа лиц, а затем и одного индивида. Это — фаза образования монополии. На второй фазе управление централизованными и монополизированными шансами постепенно переходит от этого индивида ко все большему числу людей и в итоге становится функцией всей сети взаимозависимых индивидов. Это — фаза, на которой монополия из «приватной» превращается в «публичную».

Примеры второй фазы встречаются и в обществах, где дифференциация функций сравнительно слаба. Однако полная реализация заложенных в ней тенденций очевидным образом возможна только в обществах с богатой и постоянно растущей дифференциацией функций.

113

Весь процесс, происходящий на второй фазе, в целом можно представить с помощью сравнительно простой формулы. Движение начинается с того положения, когда целый слой распоряжается неорганизованными монопольными шансами, и распределение этих возможностей между представителями данного слоя в основном осуществляется в результате свободной борьбы и применения силы. Дальнейшее развитие ведет к ситуации, когда распоряжение монопольными шансами со стороны этого слоя (а затем и всего взаимозависимого целого) организуется из единого центра и обеспечивается работой контрольных институтов. Теперь распределение доходов от монополии осуществляется по плану, и последний уже не служит выражением интересов одного лица, но строится в соответствии с разделением труда и ориентируется на оптимальное сочетание всех функционально связанных друг с другом людей.

О принципе конкуренции, равно как и о механизме образования и действия монополии сказано уже достаточно. Но эта общая схема может получить полноценное значение только после того, как будет соотнесена с конкретными фактами, которые послужат для ее проверки.

Когда сегодня говорят о «свободной конкуренции» и «образовании монополии», то обычно подразумевают факты, характерные для современного мира. Когда речь идет о «свободной конкуренции», то имеются в виду «экономические» шансы, за которые отдельные индивиды и группы людей сражаются по определенным правилам, применяя экономическое насилие. В результате этой борьбы в распоряжении некоторых из них оказываются все большие экономические шансы, тогда как хозяйственная деятельность других подвергается уничтожению, подчинению или ограничению.

Эта экономическая конкурентная борьба современности на наших глазах ведет к сужению круга действительно «свободных» от влияния монополии противостоящих друг другу конкурентов и к постепенному формированию монопольных образований. Но она, как мы уже отмечали выше, имеет своей

предпосылкой существование определенных развитых монополий. Без наличия монополий на физическое насилие и сбор налогов (пусть поначалу существующих только в национальных границах) не были бы возможны ни ограничение этой борьбы «экономическими» шансами и средствами «экономического» насилия, ни соблюдения этих фундаментальных правил игры даже в рамках одного государства на сколько-нибудь долгое время. Экономическая борьба и образование монополий в Новое время имеют свое, четко определенное место в более обширной связи исторических процессов. И только при учете всей этой связи то, что было сказано выше в самом общем виде о механизмах конкуренции и развития монополии, обретает свой полный смысл. Только при

114

рассмотрении процесса формирования все более прочных «государственных» институтов монополии, которые на фазе мощной экспансии и дифференциации открыли «хозяйственную сферу» для беспрепятственной индивидуальной конкуренции, а тем самым и нового, частного образования монополий, наблюдателю удастся распознать в многообразии отдельных исторических фактов работу социальных механизмов, порядок, структуру и закономерности образования монополий.

Как происходило образование «государственной» монопольной организации? Как выглядела конкурентная борьба, которая привела к ней?

В рамках нашего исследования мы должны удовлетвориться рассмотрением этих процессов на примере истории одной страны, где они шли с минимальными отклонениями. Именно это было причиной того, что данная страна долгое время была моделью для всей Европы. Речь идет об истории Франции. Нам не следует избегать детального рассмотрения этих процессов, поскольку иначе общая схема не сможет наполниться опытными данными и останется пустой, а вся полнота опыта — хаотичной и не позволяющей различить в ней ни порядка, ни структуры.

3. Ранняя конкурентная борьба в границах королевства

1

В соответствии с закономерностями механизма образования и действия монополии, была высока вероятность того, что в землях, наследующих западнофранкскому царству, раньше или позже один из соперничавших рыцарских домов добьется сначала превосходства над другими, а затем и монополии, и земли множества мелких феодальных уделов будут объединены в рамках большого политического формирования.

Значительно менее вероятным было то, что именно это семейство, дом Капетингов, выйдет победителем из «борьбы на выбывание», что именно через него станет осуществляться механизм монополизации, — даже если без труда можно обнаружить ряд факторов, способствовавших подъему этого дома в конкуренции со всеми прочими. Только в ходе Столетней войны окончательно решилось, кто будет формировать монополию и станет обладать центральной властью будущего государства, — дом Капетингов либо какое-то другое семейство.

Важно ясно видеть различие между двумя вопросами: между общей проблемой образования монополии и государства, с одной стороны, и специальным вопросом о том, почему именно *этом* рыцарский дом добился гегемонии и сумел ее сохранить —

115

с другой. В рамках нашего исследования речь шла и идет в большей мере об общей проблеме.

Выше мы кратко говорили о первом шаге на пути к образованию монополии после значительного выравнивания размеров феодальных владений — т.е. после процесса, продолжавшегося вплоть до X или даже XI в. Речь идет о формировании монополии в границах одного удела. «Борьба на выбывание» начинается в этих небольших областях, именно здесь происходят смещение равновесия, возникновение преимуществ немногих, а затем и одного из участников противоборства. *Один* дом — всегда дом, семья, как социальная единица, а не индивид — добывает столько земель, что прочие дома уже не могут меряться с ним военной и экономической силой. Пока такая возможность остается, ленные отношения носят более или менее номинальный характер. Вместе со сдвигом в соотношении социальных сил они получают новую жизнь. Возникают новые отношения зависимости, даже если зависимость множества рыцарских семейств от одного, ставшего фактически наиболее могущественным в рамках удела, из-за отсутствия центрального аппарата не обладает ни той стабильностью, ни теми особенностями, что свойственны более поздним абсолютистским порядкам.

Сила этого механизма монополизации проявляется уже в том, что аналогичные процессы примерно в одно и то же время происходят во всех западнофранкских землях. Как уже говорилось выше, на этой ступени образования монополии Людовик VI, герцог Франкии и номинально король всего королевства, является лишь одним из многих феодалов.

2

Если посмотреть на карту Франции приблизительно 1032 г., то политическая раздробленность королевства, распавшегося на ряд крупных и мелких уделов, станет очевидной⁸³. Мы увидим совсем не ту Францию, которая знакома нашим современникам. То, что в дальнейшем станет Францией (земли, унаследованные от западнофранкского царства), в XI в. на юге имеет своей границей Рону; Арль и Лион входят не в нее, но в

королевство Бургундия; лежащая к северу от них область (сегодняшние Туль, Бар-ле-Дюк и Верден), равно как и земли Аахена, Антверпена и далее всей Голландии, принадлежат к королевству Лотарингия. Восточная и северная границы королевства, существующего на западнофранкских землях Каролингов, проходят по внутренним районам современной Франции. Но ни эти границы номинального царства Капетингов, ни границы меньших политических объединений в его пределах еще не обладают ни функцией, ни прочностью нынешних государственных границ. Географические барьеры, реки и горы, вместе с языковыми различиями и

116

местными традициями, придают этим границам известную стабильность. А так как любой участок земли, малый или большой, принадлежит тому или иному феодальному семейству, решающее значение для определения того, кому именно он принадлежит, имеют победы и поражения в междоусобной борьбе рыцарей, женитьба, покупка или продажа земельной собственности, осуществляемые данным семейством. Поэтому смена господ, властвующих на данной территории, случается довольно часто.

Если идти с юга на север, то к северу от графства Барселонского (т.е. севернее Пиренеев) мы видим герцогство Гасконь, доходящее до района Бордо и до графства Тулузского. Затем, если брать только крупные образования, следуют герцогство Гиень, Аквитания, а потом Анжу (наследственное владение второго англо-французского королевского дома), графства Мэн и Блуа, герцогство Нормандия (наследственное владение первого англофранцузского королевского дома), графства Труа, Вермандуа и, среди прочих, небольшой удел Капетингов — герцогство Франкия. Мы уже подчеркивали, что само это владение Капетингов, как и все остальные уделы, трудно назвать единым в геополитическом или военном смысле слова; оно состоит из двух-трех больших территорий — Иль-де-Франс, Берри, район Орлеана, — а также из небольших разрозненных владений в Пуату, на юге, в самых разных местах нынешней Франции, которые тем или иным образом оказались в собственности Капетингов⁸⁴.

3

Ко времени правления Людовика VI на большей части этих территорий какой-нибудь феодальный дом посредством аккумуляции земель уже добился фактического превосходства над прочими. Иногда борьба между этими княжескими домами и мелкими дворянскими родами в рамках уделов вспыхивала вновь, а напряженность ощущалась и много позже этих вспышек.

Но шансы мелких феодальных домов успешно противостоять могущественным кланам уже были не слишком велики. На протяжении XI в. все отчетливее становится их ленная или удельная зависимость от суверена. Монопольное положение, занимаемое княжеским домом в рамках удела, редко удается поколебать. Отныне в обществе борьба за превосходство ведется преимущественно между этими княжескими домами. Эта борьба охватывает гораздо большие пространства, чем ранее. Люди включаются в нее под действием столь же действенного принуждения, что и на предшествующей стадии: если один из участников борьбы становится более могущественным, то его соседи оказываются в опасности — он может их победить и сделать зависимыми от себя. Чтобы не оказаться завоеванным, следует завоевывать самому. Если поначалу захваты колоний и военные завоевания в

117

какой-то степени снимали эту напряженность, то с сокращением возможностей внешней экспансии она резко возросла. Механизм ранней конкурентной борьбы работал теперь во все более и более сжимающемся кругу: он сплетает между собой узлами взаимосвязей те рыцарские семейства, которые заняли центральное место в феодальных уделах.

4

Поход норманнского герцога в Англию был, как уже говорилось, одним из многих проявлений внешней экспансии, характерной для того времени. Он также проходил под знаком всеобщего земельного голода, побуждавшего растущее население, а в особенности все увеличивающееся число бедных и богатых рыцарей, к освоению новых территорий.

Однако обогащение норманнского герцога в результате успешного похода, увеличение его военных и финансовых ресурсов означали одновременно нарушение равновесия, ранее существовавшего в системе взаимоотношений феодальных уделов Франции. Вся сила этого смещения не сразу дала о себе знать: завоевателю потребовалось время для того, чтобы привести в порядок инструменты власти, полученные от своего нового удела. Но когда это произошло, то — даже при слабости связей между западнофранкскими территориями — угроза со стороны усилившегося норманнского герцога для прочих удельных властителей стала ощутимой. Причем для его непосредственных соседей на севере Франции эта угроза была большей, чем для уделов, расположенных южнее. Она витала в воздухе, и первыми ее осознали представители семейств, традиционно претендовавшего на гегемонию в областях, лежащих к востоку от Нормандии, — дом герцогов Франкии, Капетингов. Вполне вероятно, именно эта угроза побудила Людовика VI действовать в том направлении, которого он цепко и со всей энергией придерживался на протяжении всей своей жизни, — стремиться к упрочению своего господства и к устранению всех потенциальных соперников в границах своего собственного удела.

То, что он, номинально являвшийся королем и сувереном всей западнофранкской территории, фактически — в силу ограниченности своих владений — был слабее своего вассала, теперь ставшего владыкой Англии и также носившего королевскую корону, сказывалось при каждом столкновении между ними.

Захватив остров, Вильгельм Завоеватель получил возможность создать относительно централизованную для того времени организацию власти. Он разделил завоеванные земли таким образом, чтобы воспрепятствовать появлению равных с ним по богатству и могуществу домов — семейств, которые могли бы стать его соперниками. Аппарат управления английского госуда-

118

ря был самым прогрессивным для того времени: существовала даже особая служба, созданная специально для сбора денежного налога.

Войско, с помощью которого Вильгельм завоевал остров, только отчасти состояло из феодалов его удела. В нем имелось также много рыцарей-наемников, жаждавших получить земли. Теперь, после завоевания, казна норманнского владыки стала достаточно велика для того, чтобы нанимать воинов, и уже это — независимо от числа связанных с ним вассальной присягой феодалов — давало островному государю преимущество над континентальными соседями.

Людовик Толстый, равно как и его предшественники, не мог позволить себе содержать наемное войско. О нем говорили, что он жаден до денег, что он копит их всеми возможными средствами. Действительно, именно в это время — как и во все периоды, когда количество денег невелико, — диспропорция, существующая между количеством имеющихся в наличии денег и спросом на них, проявляется в накопительстве, жажде денег. Но Людовик VI нуждался в них особенно сильно, поскольку ему противостоял сосед, у которого их было значительно больше. Как и в случае организации власти, централизации и исключения потенциальных соперников, в этом отношении островное королевство также служило примером для континентальных удельных князей: они должны были перенимать его опыт, если не хотели выбыть из борьбы за гегемонию.

В начале XII в. дом Капетингов был еще заметно слабее соперничающего с ним семейства, располагающего землями и людьми по обе стороны пролива. Людовик VI терпел поражение за поражением от своего английского конкурента, хотя последнему и не удалось вторгнуться на территорию самой Франкии. Именно в этих условиях герцог Франкии был вынужден ограничиться укреплением фундамента своей власти — полным подчинением себе владений своего дома, — ломая при этом сопротивление мелких феодалов в границах его собственного удела. Тем самым он в известной мере вооружал свой дом для той великой конкурентной борьбы за господство на западнофранкских землях, которая длилась столетия и в итоге привела к гегемонии одного рыцарского дома. Это была борьба за корону Франции между владыками Иль-де-Франс и английскими королями, вобравшая в себя все прочие противоборства, существовавшие на этой территории.

5

После угасания рода Вильгельма Завоевателя в борьбу с Капетингами вступил дом Плантагенетов. Их наследственным владением была провинция Анжу⁸⁵, также граничившая с Франкией.

119

Плантагенеты стали действовать примерно в то же время и примерно тем же образом, что и Капетинги. Как и во Франкии во времена Филиппа I, в соседней Анжу при Фулке реальная власть графа над вассалами была невелика. Подобно сыну Филиппа, Людовику VI Толстому, сын Фулка, Фулк Молодой, а затем и его внук, Жоффруа Плантагенет, в своем уделе постепенно подчинили себе мелких и средних рыцарей, заложив тем самым основы для дальнейшей экспансии.

В самой Англии поначалу развернулся противоположный процесс, кстати, весьма показательный для механизмов, действующих в рыцарском обществе. Когда, не оставив наследников мужского пола, умер племянник Вильгельма, Генрих I, с притязанием на английский трон выступил Этьен из Блуа, сын дочери Вильгельма. Хотя ему удалось добиться признания своей власти со стороны светских феодалов и церкви, сам он был лишь средним норманнским феодалом: его личные владения, владения его дома, на которые он мог бы опираться, были весьма незначительны. Поэтому он оказался бессильным в противостоянии с другими рыцарями и клиром в королевстве. С его вступлением на трон на острове сразу же началась дезинтеграция, ослабление центральной власти. Феодалы строили свои замки, чеканили собственные деньги, сами собирали налоги со своих земель. Короче говоря, они притязали на те инструменты власти, на которые ранее, благодаря превосходящей социальной силе норманнского государя, распространялась его монополия. К тому же Этьен совершил ряд ошибок, повлекших за собой охлаждение его отношений с церковью: на такие действия по отношению к церкви мог бы пойти более сильный государь, но не тот, кто сам нуждался в помощи. Все это существенно помогло его противникам.

Соперниками Этьена стали графы Анжуйские. Жоффруа Плантагенет был женат на дочери последнего норманнско-английского короля. Но свои притязания, обосновываемые этим браком, он подкреплял силой. Постепенно ему удается укрепить свои позиции в Нормандии. Его сын, Генрих Плантагенет, уже объединяет под своей властью Мэн, Анжу, Турень и Нормандию. Опираясь на эту силу, он сумел отвоевать наследственные владения своего деда, некогда отошедшие к норманнскому герцогу. Он начинает борьбу в 1153 г., а в 1154 г., двадцати двух лет от роду, Генрих становится королем. Он выступает в качестве сильного политика-централизатора, это удается ему как в силу имеющихся военных и финансовых ресурсов, так и благодаря его энергии и способностям. Двумя годами ранее женитьба на наследнице Аквитании сделала его властителем и этой южнофранцузской провинции. Вместе с английскими у него в руках

оказываются и континентальные территории, и по сравнению с владениями Плантагенетов земли дома Капетингов кажутся просто незначительными. Вопрос о том, какой дом, Иль-де-Франс

120

или Анжу, объединит западнофранкские земли, остается открытым. Сама Англия представляет собой завоеванную страну, поначалу выступающую как объект, а не субъект политики⁸⁶. Если угодно, она является колонией, представленной в свободном союзе западнофранкских уделов.

Передел власти тех времен отдаленно напоминает современные события в Восточной Азии: сравнительно небольшой остров и многократно превосходящая его континентальная территория, в том числе южная часть капетингского королевства, оказались в одних руках. Власть Плантагенетов не распространяется на графство Барселонское — его властители в результате экспансии и матримониальных союзов стали королями Арагонскими и постепенно, поначалу незаметно, начинают выходить из союза западнофранкских уделов.

К анжуйско-английским владениям на юге не принадлежат также ряд небольших церковных уделов и графство Тулузское. Государи последнего, равно как и более мелкие феодалы, земли которых лежат к северу от Аквитании, перед лицом угрозы со стороны анжуйцев начинают склоняться к соперничающему с теми силовому центру, к дому Капетингов. Законы, управляющие подобными системами равновесия, в общем и целом остаются неизменными: их действие на небольшом пространстве западнофранкского удельного союза и в Европе Нового времени не очень-то различалось, да и сегодня они очевидным образом определяют политику государств на всей планете. Пока не существует абсолютного превосходства какого-то могущественного центра власти, однозначно закрывающего доступ к конкурентной борьбе для всех своих соперников и приобретающего монопольное положение в такой системе равновесия, политические единицы, обладающие меньшей силой, пытаются создать блок, направленный против образования, приблизившегося к такому превосходству. За одним блоком следует другой, но сколь бы долго ни длилась эта игра, система в целом движется ко все более прочным объединениям все более обширных территорий. Действительные решения принимаются все меньшим числом центров. Количество объединений уменьшается, пока не останется всего лишь один центр.

Экспансия норманнского герцога создала блок, который сместил центр тяжести в его пользу, — прежде всего в северной Франции. Экспансия анжуйского дома представляет собой следующий шаг: образованный анжуйцами блок ставит под вопрос равновесие, существующее во всей области расселения западных франков. Этот блок еще не был особенно прочным, централизованный аппарат власти находился в процессе становления, а давление, которое на анжуйский дом, как и на все прочие, оказывало стремление феодалов к захвату земель, было достаточно очевидным. Даже не считая южных владений, Плантагенетам

121

принадлежали теперь значительные территории не западе Франции. Когда речь шла о континентальных владениях, король Англии формально был вассалом капетингского короля. Но «право» мало что значит, если за ним не стоит реальная социальная сила.

Когда в 1177 г. наследник Людовика VI, к тому времени уже старый и утомленный жизнью Людовик VII, встретился с представителем соперничающего дома, молодым английским королем Генрихом II, он сказал ему: «O roi, depuis le commencement de votre règne et avant, vous m'avez comblé d'outrages en foulant aux pieds la fidélité que vous me deviez et l'hommage, que vous m'aviez prêté; et de tous ces outrages, le plus grand, le plus manifeste, c'est votre injuste usurpation de l'Auvergne que vous détenez au détriment de la couronne de France. Certes la vieillesse que me talonne m'ôte la force de recouvrer cette terre et d'autres; mais devant Dieu, devant ces barons du royaume et nos fidèles, je proteste publiquement pour les droits de ma couronne et notamment pour l'Auvergne, le Berry et Châteauroux, Gisors et le Vexin normand, suppliant le Roi des rois, que m'a donné un héritier, de lui accorder ce qu'il m'a dénié^{121, 87}».

Вексин, своего рода норманнский Эльзас-Лотарингия, был спорной территорией, пограничным районом между герцогством Капетингов и норманнскими владениями Плантагенетов. По Берри и далее на юг проходила граница между владениями Капетингов и Анжу. Плантагенеты уже настолько усилились, что забирали себе части самого капетингского домена. Борьба между двумя домами шла полным ходом, причем владения анжуйцев явно превосходили герцогство Капетингов.

Так что требования Капетинга к противнику были, по существу, довольно скромными: он хочет получить назад пару небольших участков земли, которые считает собственными владениями. О большем он пока не думает. Блеск анжуйского дома и ограниченность его собственного очевидны для него. Как-то он сказал, сравнивая себя с соперником: «Nous Français, nous n'avons que du pain et du vin, et du contentement¹³⁾».

6

Однако, как уже отмечалось, властные структуры того времени не обладали большой прочностью. Они были настоящими «частными предприятиями» и, как таковые, зависели от закономерностей конкурентной борьбы, равно как и от личных способностей и возраста противников, от наличия наследников в роду и т.д. Они зависели от всех этих личностных факторов гораздо больше, чем властные структуры более поздней фазы, когда крупные социальные единицы скреплялись не только персоной владельца «предприятия», но также известным разделением функций, многообразием организованных интересов и стабильным аппаратом господства.

122

В 1189 г. Капетинг и Плантагенет вновь встречаются. За это время почти все спорные области были возвращены Капетинга-ми. Старик теперь — Плантагенет, а молодой король — Капетинг, сын Людовика VII Филипп II по прозвищу Август. Как уже было сказано, возраст имеет большое значение в обществе, где властитель еще не может никому делегировать руководство военными действиями, и многое зависит от его личной инициативы и личного участия в нападении или защите. Генрих II был сильным государем, и теперь еще он прочно удерживает власть над своими землями. Но, помимо возраста, его ослаблению способствует противостояние со старшим сыном Ричардом по прозвищу Львиное Сердце. Ричард, ненавидящий отца, время от времени даже борется с ним на стороне его соперника-Капетинга.

Пользуясь слабостью своего врага, Филипп Август возвращает себе Овернь и упоминавшиеся его отцом части Берри. Через месяц после противостояния под Туром Генрих II в возрасте 56 лет уходит из жизни. В 1193 г. (Ричард Львиное Сердце потерпел поражение и взят в плен) Филипп получает, наконец, столь долгое время оспариваемый Вексин. В союзе с ним выступает Иоанн, младший брат плененного Ричарда.

В 1199 г. Ричард умирает. Он и его брат и наследник Иоанн (которого вскоре назовут Безземельным) серьезно подорвали фундамент своего могущества, промотав немалую часть земель и сокровищ, накопленных их отцом. Иоанну противостоит человек, который хорошо помнит об унижении, испытанном во времена, когда рост анжуйско-английского дома ограничил власть Капетингов. Вся свою энергию этот человек направил к достижению одной цели: больше земли, больше власти. Больше и еще больше. Так же, как и первые Плантагенеты, он буквально одержим этой страстью. Позже Иоанн Безземельный спросит его: не согласится ли Филипп продать ему часть утраченных английской короной земель. Тот ответит, что не знает никого, кто хотел бы продавать свои земли, а сам он не прочь был бы и еще прикупить. А ведь в это время у Филиппа было много земель, он находился на вершине своего могущества.

Как мы видели, речь пока что еще не идет о борьбе между государствами или нациями. Вся позднейшая история формирования монопольных организаций, государств и наций, остается непонятной, пока мы упускаем из виду предшествующую фазу «частной инициативы». Тут мы сталкиваемся с борьбой конкурирующих или соперничающих домов, которые в соответствии с общим движением этого общества растут, превращаясь из малых объединений в большие. Эти дома нацелены на экспансию и проникнуты стремлением обрести все больше земель.

Битва при Бувине в 1214 г. имела решающее значение. Иоанн Безземельный и его союзники были побеждены Филиппом Августом. Как это часто случалось в феодальном обществе, пора-

123

жение в борьбе с внешним врагом означает и ослабление позиций внутри страны. Вернувшегося домой Иоанна встречают взбунтовавшиеся бароны и церковники, требующие подписать «Magna Carta». И наоборот, для Филиппа Августа внешнеполитическая победа означает одновременное усиление власти на собственных землях.

Филипп Август унаследовал от своего отца небольшой участок суши — от Парижа до Орлеана, да еще часть Берри. Он присовокупил к нему — если называть только самые значительные приобретения — Нормандию, которая была самой большой и самой богатой территорией всего королевства, важные области Пуату и Сентонжа, а также Артуа, Валуа, Вермандуа, окрестности Амьена, большую часть Бовэ. «Хозяин Парижа и Орлеана стал самым крупным землевладельцем северной Франции»⁸⁸. Он сделал «дом Капетингов богатейшим семейством Франции»⁸⁹. Его владения теперь получили выход к морю. Вместе с ростом его могущества растет его влияние и в других областях северной Франции — во Фландрии, Шампани, Бургундии и Бретани. Даже на юге Франции ему принадлежат довольно значительные районы.

Владения Капетингов по-прежнему не представляют собой единой территории. Между Анжу и Орлеаном лежит графство Блуа. Южные прибрежные районы, расположенные вокруг Сэнте, и владения, находящиеся к востоку от Оверни, почти не связаны с северными землями дома. Но старый домен Капетингов вместе с Нормандией и вновь обретенными северными областями вплоть до Арраса уже чисто географически образуют единое целое.

Филипп Август еще не ведал о «Франции» в нашем смысле слова, его владения и не были этой Францией. Он стремился к увеличению территории, к военной и экономической гегемонии своего дома, к устранению опаснейших конкурентов — Плантагенетов. Ему удалось и то, и другое. К моменту смерти Филиппа владения Капетингов примерно вчетверо превосходили те, что достались ему при вступлении на трон. Напротив, Плантагенеты, ранее проводившие больше времени на континенте, чем на острове (да и в Англии вместе с островитянами правили выходцы из Нормандии), теперь на континенте владеют только частью прежней Аквитании, районом к северо-западу от Пиренеев и участком побережья вокруг устья Жиронды, носящим имя герцогства Гиень; к этому можно добавить разве что пару островов нормандского архипелага. Центр тяжести сместился не в их пользу. Власть их уменьшилась, но благодаря власти над островом она не была сломлена. Через некоторое время расклад сил изменится, и они вновь усилятся и на континенте. Исход борьбы за гегемонию в западнофранкских землях еще не очевиден. Филипп Август, кажется, посчитал, что после победы над План-

124

тагенетами главными его соперниками стали графы Фландрские. То, что здесь действительно располагался еще один важный центр власти, показывает вся дальнейшая история Франции. Филипп однажды сказал: либо Франкия станет фландрской, либо Фландрия французской. Он понимал, что вся эта борьба со

сравнительно небольшим фландрским домом должна была привести к утрате последним своей самостоятельности. Но он еще мог предполагать, что победившей стороной может оказаться Фландрия, а не Франкия.

7

Наследники Филиппа Августа поначалу придерживались проложенного им курса: они укрепляли свой огромный удел и пытались его увеличить. Бароны из Пуату сразу после смерти Филиппа перешли на сторону Плантагенетов. Сын Филиппа Августа, Людовик VIII, возвращает этот район, присоединяет Сентонж, Они и Лангедок, часть Пикардии и графство Перш. В форме религиозной войны против альбигойских еретиков начинается проникновение Капетингов на юг, во владения единственного крупного удельного князя, который, наряду с Плантагенетами, еще мог померяться силами с Капетингами, — графа Тулузского.

Следующий Капетинг, Людовик IX Святой, должен был, напротив, защищать свои владения от теснивших его со всех сторон внешних и внутренних врагов. Но ему удалось и приобрести некоторые земли: он присоединяет часть Лангедока, лежащую к северу от Восточных Пиренеев, графства Масон, Клермон, Мортэн и еще ряд небольших участков. Филипп III Смелый добывает графство Гиень, расположенное между Кале и Сент-Омером, которое, впрочем, через двенадцать лет вернется к наследникам графа. Подкупом, обещаниями защиты он переманивает на свою сторону целый ряд небольших владений, готовит включение в свой домен Шампани и большей части графства Тулузского.

Во всех западнофранкских землях не осталось удельных князей, кроме Плантагенетов, способных самостоятельно, без союзников, померяться силами с Капетингами. Плантагенеты в это время тоже пытались увеличить свои владения. На континенте они вновь распространили свою власть на герцогство Гиень, за морем покорили Уэльс и начали завоевание Шотландии. У них еще остаются возможности расширения своих земель, прямо не пересекаясь с Капетингами. А эти последние ведут экспансию в другом направлении. Филипп Красивый доводит свои владения до границ германско-римской империи: с одной стороны, до района Мааса, долго считавшегося естественной и — в память о разделе царства Каролингов — традиционной границей западнофранкских земель; с другой стороны, на юге, — вплоть до Роны

125

и Саоны, т.е. до Прованса, Дофинэ и графства Бургундского, традиционно не входивших в состав западнофранкских территорий. Шампань и Бри вместе со многими соседними участками, отчасти относящимися уже к самому германско-римскому рейху, Филипп получает благодаря женитьбе. У графов Фландрских он отнимает Лилль, Дуэ, Бетюн; у графов Блуа — графство Шартрское и район Божанси. Помимо этого захватывает графства Марш и Ангулем, церковные владения в Кагоре, Менде и Пюи, а южнее — графство Бигор и вицеграфство Суль.

Его три сына — Людовик X, Филипп V и Карл IV умирают один за другим, ни один из них не оставил наследника мужского пола. Домен и корона Капетингов переходят к представителю младшей ветви Капетингов, которым принадлежит в качестве апанажа графство Валуа.

До сих пор речь шла о непрестанных усилиях нескольких поколений правителей, направленных к одной цели: аккумуляции земель. Мы указали только на результаты этих усилий. Но даже в таком кратком изложении событий содержится перечисление названий множества земель, собираемых Капетингами шаг за шагом. Это перечисление служит указанием на ту открытую или скрытую борьбу между княжескими домами, из которой феодалы, побежденные более сильными соперниками, выбывали один за другим. Даже если мы уже не всегда точно понимаем, что именно стояло за этими названиями, такое перечисление может говорить о тех мотивах, которыми руководствовались в своей деятельности различные представители дома Капетингов в социальной ситуации того времени.

Если посмотреть на карту, отображающую положение дел на момент смерти Карла IV (последнего Капетинга, занявшего трон по прямой линии наследования), то мы увидим следующее: большой комплекс французских земель, входящих в королевство Капетингов, группируется вокруг своего ядра, герцогства Франкия. Земли королевства тянутся от Нормандии на западе до Шампани на востоке; на севере оно достигает Канша; еще севернее к нему примыкает провинция Артуа, прямо не входящая в королевство, но данная в качестве апанажа одному из представителей дома. Чуть южнее лежит — отделяемое данной в апанаж областью Анжу — графство Пуатье, находящееся в прямом распоряжении парижского государя; еще южнее ему принадлежат графство Тулузское и отдельные области прежнего герцогства Аквитания. Перед нами уже могущественное объединение земель, но оно по-прежнему не обладает целостностью и выглядит как типичный семейный удел, отдельные части которого соединяются не благодаря какому-либо распределению функций, но из-за личности владельца — общий центр управления обеспечивается «персональной унией». Еще весьма ощутимы специфические особенности разных земель, обладающих собственными

126

интересами. Но их соединение в рамках одного княжеского дома с единым центром управления уже отчасти снимает ряд препятствий для более тесного сплетения связей между ними. Это соответствует тенденции к расширению торговли и интенсификации взаимосвязей, набирающей силу и находящей выражение в деятельности небольшой части городского населения. Правда, эта тенденция еще не играет роли главного мотива объединения земель и экспансии княжеского дома и несколько не похожа на мотивы социального

движения, которые получают распространение в XIX в. при совершенно другом уровне развития буржуазных городских слоев. В XI—XIII вв. борьба за землю, соперничество между уменьшающимся числом рыцарских семейств являются первичной движущей силой территориального объединения. Инициатива принадлежит небольшому числу крупных княжеских домов. Под их покровительством развиваются города, расширяется торговая сеть, лишь выигрывающие от такой концентрации власти и, в свою очередь, содействующие ей (об этом нам еще придется говорить). Разумеется, городские слои уже в это время играют известную роль в интенсификации процесса объединения, поскольку без помощи людских и финансовых ресурсов, притекающих к князьям из городов за счет растущей коммерциализации, была бы невозможной экспансия, немыслимой организация господства. Но и города, и коммерциализация еще не используются княжескими домами в качестве органов и прямых инструментов интеграции. Такая интеграция, или собирание земель, означает в то время прежде всего победу одного дома над другим, т.е. либо устранение, либо подчинение побежденного.

Если с этой точки зрения рассмотреть те изменения, что произошли на всей территории к началу XIV в., т.е. к моменту смерти последнего представителя прямой линии Капетингов, то можно легко определить их направление. Конечно, борьба мелких и средних рыцарских семейств за землю продолжается, но теперь их соперничество утрачивает ту роль, которую оно играло еще во времена Людовика VI, не говоря уж о более ранних представителях этой династии. Тогда земли сравнительно равномерно распределялись между многими феодалами; конечно, имелись различия между владениями, казавшиеся существенными для людей того времени. Однако владения (а тем самым и инструменты власти) даже номинальных княжеских домов были столь незначительными, что многие рыцарские дома, правящие по соседству, имели достаточно силы, чтобы соперничать и конкурировать с ними в борьбе за землю. Участие в этой борьбе всех против всех зависело от «частной инициативы». К XIV в. все это множество мелких рыцарских домов уже не обладает силой, с которой вынужден был бы считаться королевский дом. У них остается известный социальный вес как у сословия, но иници-

127

атива теперь оказывается в руках у малого числа рыцарских семейств, вышедших победителями из прежней «борьбы на выбывание» и аккумулировавших в своих руках значительные земли. Все прочие дома уже не способны с ними соперничать, утратили свою независимость и могут действовать только по согласованию с «победителями». У подавляющего большинства рыцарей уже нет возможности добыть себе земли путем прямого применения своей социальной силы, т.е. путем свободной конкуренции; у них нет тем самым и возможности независимого социального подъема по иерархической лестнице. Каждый рыцарский дом вынужден оставаться на той социальной ступени, которой он некогда достиг. Подняться выше тот или иной его представитель может только благодаря благосклонности короля, т.е. за счет зависимости от него.

Число тех, кто способен участвовать в конкуренции в качестве независимого феодала, на территории западных франков становится все меньше. Уже нет независимых герцогств Нормандия и Аквитания; утратили силу и графства Шампань, Анжу, Тулуза — если назвать только крупнейшие из них. Помимо королевского осталось лишь четыре дома, с которыми стоит считаться: это дома герцогов Бургундских, герцогов Бретанских, графов Фландрских и самых могущественных соперников Капетингов — королей английских, владевших на континенте герцогством Гиень и многими небольшими уделами. Из воинского общества, где царил относительно свободная конкуренция, возникло общество с монополюс ограниченной конкуренцией. Из пяти крупных домов, еще располагавших достаточной силой для участия в конкурентной борьбе, а потому и обладавших известной самостоятельностью, выделяются два сильнейших: Капетинги и их наследники, короли французские, и Плантагенеты, короли английские. В противостоянии между ними должно было решиться, кому достанется полная монополия на господство в землях западных франков, где будет располагаться центр и пролегать границы этой монополюс управляемой территории.

4. Новое усиление центрбежных сил: конкуренция принцев

8

Однако формирование монополии на господство происходило не так прямолинейно, как это могло бы показаться при рассмотрении одного лишь процесса аккумуляции земель. Чем большими становились земельные владения, собранные Капетингами и подвергнутые централизации, тем более отчетливо проявлялась и противоположная тенденция — стремление к децентрализации. Как и на предшествующей фазе с натуральным хозяйством,

128

эту центрбежную тенденцию прежде всего поддерживали вассалы и близкие родственники монополюс владыки. Но способ действия стремящихся к децентрализации социальных сил заметно изменился. Деньги, ремесло и торговля играют теперь в обществе значительно большую роль, чем ранее; специализирующиеся в этих областях деятельности группы горожан обрели собственный социальный вес; получили развитие средства сообщения — все это создает новые, не бывалые прежде возможности для осуществления власти над обширными территориями шансы. Слуги, посылаемые господином из центра в провинции для управления и защиты его земель, уже не могут с такой легкостью, как прежде, обрести самостоятельность. Растет число слуг и помощников государя, которые происходят из городских слоев, — угроза того, что такие слуги-буржуа станут конкурентами государя, значительно уменьшилась в сравнении с теми временами, когда последнему приходилось набирать помощников из представителей рыцарского сословия

(впрочем, и в том случае, когда на должность назначались люди из неблагородного сословия, такие чиновники тоже в силу своей власти над отданными им в лен землями очень скоро получали властные полномочия, а тем самым и обретали социальный ранг рыцаря, или благородного).

Оставалась одна социальная категория населения, представлявшая значительную угрозу для единства и целостности обширных владений. Военная сила у этих людей уменьшилась, способ действия изменился, но они и в изменившихся социальных условиях продолжали играть роль главной движущей силы децентрализации. Это были ближайшие родственники государя — его дяди, его братья, его сыновья, а иной раз (пусть не в такой степени) даже его сестры или дочери.

Удел и власть в нем в то время не находились в распоряжении отдельного индивида, еще в значительной мере оставаясь семейной собственностью, сферой влияния рыцарского дома. Все близкие родственники могли претендовать хотя бы на часть семейного удела, и глава дома еще долгое время не мог (да и не хотел) игнорировать эти притязания. Чем больше был удел, тем труднее было им отказывать. Разумеется, речь не шла о «правах» в позднем смысле этого слова: в этом обществе еще не существовало всеобъемлющего «права», обязательного в том числе и для князей, поскольку не было и той всеохватывающей силы, что была бы способна гарантировать реализацию такого права. Только вместе с формированием монополии на насилие, вместе с централизацией властных функций на обширных пространствах устанавливается одно всеобщее право, утверждается единый правовой кодекс. Общественной обязанностью считалось наделение детей наследством — этот обычай достаточно часто излагается в «Coutumes». Конечно, поддерживать его могли

129

только семьи с известным достатком; престиж семьи отчасти зависел от следования такому обычаю. Как же могла его игнорировать самая богатая семья, королевский дом?

Территориальные владения семейства оставались тем, что можно назвать частной собственностью (пусть и в достаточно ограниченном смысле). Глава дома распоряжался собственностью столь же свободно, как сегодня это делает крупный земельный собственник или глава семейного предприятия, контролирующий доходы от капитала. Землевладелец может отдать в наследство младшему сыну или в приданое дочери большую долю собственности, не спрашивая живущих на этой земле крестьян или своих слуг о том, нравится ли им новый господин. Капиталист может дать в приданое дочери часть капитала или сделать своего сына главой филиала компании, не отчитываясь перед своими служащими. Точно так же князя того времени распоряжались деревнями, городами, имениями и территориями своего удела. Теми же были и мотивы, по которым владельцы больших состояний заботились о своих сыновьях и дочерях. Помимо того что они могли действительно любить своих младших детей, поддержание социального стандарта дома требовало соответствующего содержания потомства. Это должно было служить увеличению шансов и долговечности дома — по крайней мере, казалось, что служит именно этому. Только пережив весьма болезненный опыт, князья постепенно осознали, что дробление владений и властных функций часто идет во вред дому. Окончательные выводы из подобного опыта были сделаны во Франции только Людовиком XIV, безжалостно лишившим всех представителей дома (включая и наследников трона) любых властных функций и не допускавшим их ни к одной самостоятельной властной позиции.

9

В начале такого развития, на ранней его фазе, когда земли дома Капетингов были немногим больше владений многих других рыцарских домов, представители этого дома хорошо осознавали опасность, которую несло с собой раздробление удела. Прямая угроза соседей была весьма ощутимой. Это принуждало членов семьи к единству. Конечно, были распри, драки, внутри самого дома борьба шла не менее ожесточенно, чем повсюду вовне. Но вся семья (или хотя бы часть ее) все время трудилась во имя защиты и расширения владений дома. Сравнительно небольшой королевский домен, как и любые феодальные уделы того времени, представлял собой автаркию. У него еще отсутствовали четкие социальные функции, по своему характеру это еще во многом чисто семейное предприятие. Братья, сыновья, иной раз матери и жены главы дома — в зависимости от своей личной силы

130

и обстоятельств — могут вмешиваться в дела и обсуждать принимаемые решения. Но никому из них и голову не приходит, что удел следует разделить между всеми, а какой-то член семьи может стать индивидуальным владельцем части земель. Младшим сыновьям достаются небольшие имения, они также могут получить какие-то владения благодаря бракосочетанию, но часто встречаются упоминания то том, что тот или другой младший сын короля вынужден вести сравнительно бедную жизнь.

Ситуация меняется вместе с ростом богатства королевского дома. Когда же, в конце концов, он превращается в богатейший дом в масштабах не только удела, но и всей страны, то становится невозможным и помыслить, чтобы младшие сыновья дома довольствовались достатком мелких рыцарей. Престиж королевского дома требует того, чтобы все родственники, включая младших сыновей и дочерей короля, получали соответствующее содержание, а именно, имели в своем распоряжении большую или меньшую территорию, доходами с которой они могли бы жить. Теперь, когда Капетинги возвышаются над всеми прочими семействами страны своим богатством и своей властью, опасность раздробления владений

дома уже не ощущается непосредственно. Так что вместе с ростом удела Капетингов растет и число земель, отходящих в апанаж младших сыновей короля. Дезинтеграция возобновляется на иных основаниях.

Людовик VI Толстый дает своему сыну Роберу небольшое графство Дрие. Филипп Август, в правление которого начинается резкий рост влияния дома Капетингов, еще держит все владения в своих руках — только небольшое имение Сент-Рикье он отдает сестре в приданое.

Людовик VIII в своем завещании уже отводит сыновьям в качестве апанажа значительную часть владений дома — графства Артуа, Пуатье, Анжу и Мэн.

Людовик IX отдает в апанаж сыновьям Алансон, Перш и Клермон; Филипп III выделяет своему младшему сыну графство Валуа. Правда, Пуатье, Алансон и Перш со смертью всех наследников мужского пола возвращаются в домен Капетингов.

В 1285 г. пять графств — Дрие, Артуа, Анжу, Клермон и Валуа — отделяются от домена как апанажи. К моменту смерти Карла Красивого в 1328 г. апанажей уже девять.

Когда Филипп Валуа унаследовал домен и корону Капетингов, апанажи его дома — Валуа, Анжу и Мэн — объединяются с землями правящей семьи. Графство Шартрское возвращается в состав земель короны после смерти еще одного Валуа. Сам Филипп присоединил к ним ряд небольших имений — например Монпелье, выкупленное у короля Майорки. Ему удалось включить во владения Капетингов и Дофине — тем самым экспансия дома Капетингов выходит за традиционные границы царства западных франков и распространяется на восток, в лотарингские

131

земли. Эта экспансия началась еще при Филиппе Красивом, который приобрел архиепископство Лионское, тесно связанное с епископствами в Туле и Вердене. Теперь был сделан следующий важный шаг в этом направлении.

Тот способ, посредством которого парижские правители добились перехода в свои руки Дофине, не менее показателен для характеристики соотношения сил, выступающих за централизацию и децентрализацию, чем система апанажей. Дофине принадлежало ранее арелатскому или бургундскому царству, возникшему по соседству с лотарингским пограничным царством восточнее Роны и Саоны. Последний его правитель, Юбер II, после смерти своего единственного наследника-сына передал его (вернее будет сказать — продал) Капетингам, но при этом выставил ряд условий. К ним относилась не только оплата его немалых долгов, но также и то, что Филипп передаст Дофине не старшему, а второму из своих сыновей. Судя по всему, владелец Дофине хотел отдать свои земли тому, кто был достаточно богат для уплаты необходимой суммы долга. Передавая их властителям Франкии, он приобретал гарантию того, что после его смерти Дофине не станет предметом споров между остальными соседями: парижские короли были достаточно сильны, чтобы защитить свои приобретения. Это далеко не единственный пример той притягательной силы, какую могущество семейства Капетингов имело для более слабых соседей, — потребность слабых в защите относится к факторам, способствовавшим процессам централизации и монополизации, начавшимся вместе с достижением обществом определенной фазы развития.

Но этот старый и лишившийся наследника правитель хотел также, чтобы его владение Дофине, перейдя под власть французской короны, не утратило своей самостоятельности полностью. Поэтому он требовал передачи этой территории в апанаж второму сыну короля. Такой шаг позволял надеяться, что у Дофине будет собственный хозяин, а тем самым сохранится и некая независимость. Действительно, именно в этом направлении стали развиваться некоторые из отданных в апанаж земель.

Филипп Валуа с договором не посчитался. Он отдал Дофине не младшему, а старшему сыну — своему наследнику Иоанну, со следующим обоснованием: «С учетом того, что Дофине лежит на границе, а добрая и сильная власть в Дофине необходима для защиты безопасности королевства, то, поступи мы иначе, возникла бы угроза будущему королевству»⁹⁰. Опасность, связанная с выделением земель младшим сыновьям, к тому времени осознавалась уже достаточно хорошо — об этом говорит целый ряд свидетельств. Однако королям по-прежнему приходилось обеспечивать младших сыновей достойным образом. Король не отдал младшему сыну Дофине, ссылаясь на безопасность королевства, но вместо него тот получил герцогство Орлеан и еще ряд графств.

132

Старший сын Филиппа, Иоанн Добрый, приобретя Дофине и став после смерти отца королем, пошел в этом направлении еще дальше — он раздавал земли не считая. Сначала он выделил из домена два графства, затем — еще четыре вице-графства. Своему второму сыну Людовику он отдал Анжу и Мэн, а младшему сыну — графство Пуатье, а затем еще и Массон. Далее последовали еще большие дары.

10

Иоанн Добрый пришел к власти в 1350 г. Латентные противоречия между двумя крупнейшими державами и двумя наиболее могущественными домами, господствовавшими на территории западных франков, обострились еще при его предшественнике — в 1337 г. начались военные столкновения, получившие название «Столетняя война». Островным владыкам, Плантагенетам, путь к экспансии на континенте был закрыт; более того, пока в целостности оставалось королевство Капетингов, препятствовавшее образованию других сильных держав, оставалась угроза и для уже имеющих у них континентальных владений. И наоборот, для парижских владык были ограничены пути дальнейшей экспансии, более того, их власть находилась под угрозой, пока островитяне не были свергнуты или, по крайней мере, вытеснены с

континента. Суровая необходимость конкурентной борьбы неизбежно вела оба эти дома к столкновению, при котором не могли остаться в стороне и все зависимые от них люди. А так как ни одному из главных актеров этого действия долгое время не удавалось одержать решительную победу, то и борьба получилась затяжной.

По ряду причин парижские короли поначалу понесли немалые потери. В битве при Пуатье в 1356 г. Иоанн Добрый был взят в плен английским наследником престола принцем Уэльским и препровожден в Англию. В его королевстве, где в качестве регента правил не достигший еще и двадцати лет дофин Карл, начались самые различные неурядицы — бунт в Париже, крестьянские восстания, бесчинства грабителей-рыцарей. Английские войска при поддержке одного из потомков дома Капетингов, короля Наваррского (владельца некогда выделенной в апанаж области западнофранкского царства), захватили большую часть западной Франции; они даже подошли к Парижу. Чтобы добиться своего освобождения, Иоанн Добрый заключил договор с Плантагенетами и их союзниками. По этому договору им отходила та часть континентальных владений, что принадлежала англичанам в начале XII в., во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Но созданные дофином в 1356 г. Генеральные Штаты французского королевства заявили, что такой договор абсолютно неприемлем и, следовательно, не имеет силы. Единствен-

133

ным достойным ответом на его заключение может быть только большая война. Несомненно, здесь уже явно прослеживается тенденция к усилению борьбы подданных королевства Капетингов за собственные интересы, что постепенно лишало королевскую функцию характера частной монополии. Но пока мы имеем дело только с начальным этапом подобной эволюции. Война продолжается, и временный договор, подписанный в Бретиньи в 1359 г., был заключен на более выгодных для Валуа условиях, чем первый, составленный в Англии при участии самого Иоанна. Но все же примерно четверть земель, которыми некогда владел Филипп Красивый, отходило к Плантагенетам. Прежде всего, это были земли, лежавшие к югу от Луары, — Пуату, Сэнтонж, Они, Лимузин, Перигор, Керси, Бигор и еще ряд областей, вместе с прежним английским владениям, Гиенью, образовавшие теперь герцогство Аквитанское; на севере были утрачены Кале, графства Гинь, Понтье и Монтрей-сюр-Мер. Кроме того, нужно было заплатить три миллиона золотых талеров в качестве выкупа за короля — вместо четырех, предусмотренных в лондонском договоре. Но сам король, этот храбрый рыцарь, вернулся из заключения, словно и не почувствовав поражения. Его поведение в этой ситуации отчетливо показывает, в какой степени он ощущал себя правомочным владыкой всей еще остававшейся у него территории, которая со временем станет «Францией», послужит основой формирования и государства, и нации. Он чувствует, что его дому следует продемонстрировать весь свой блеск. Вытесняя неприятные воспоминания о поражении, он начинает усиленно заботиться об укреплении собственного престижа. А для этого не найти лучших средства, как во время ратификации мирного договора представить своих сыновей в качестве герцогов. Поэтому одним из первых актов короля по возвращении из плена было преобразование апанажей его сыновей в герцогства. Старший сын уже был герцогом Нормандии и Дофина; второй сын, Людовик, становится герцогом Анжу и Мэна; следующий, Иоанн, — Берри и Оверни, а самый младший, Филипп, — Турени. Все это происходит в 1360 г. Годом позже, в 1361 г., умирает пятнадцатилетний герцог Бургундский. Двумя годами ранее он был помолвлен с Маргарет, дочерью и единственной наследницей графа Фландрского. Он умер, не оставив наследника. Неожиданная смерть молодого герцога оставила без властителя огромную область, к которой относились не только само герцогство Бургундское, но также графства Булонское и Овернское, а за пределами традиционной границы западных франков — графство Бургундское, Франш-Конте и многие другие земли. Иоанн Добрый претендует на все эти владения на основании довольно сложных родственных отношений. Нет никого, кто мог бы оспорить его права, и в 1363 г. он отдает оставшиеся без хозяина владения в апанаж своему младшему сыну

134

Филиппу (сыну, особенно им любимому, храбро сражавшемуся рядом с ним под Пуатье и отправившемуся вместе с отцом в плен). Филипп получает эти земли вместо Турени. Иоанн передает их в дар со словами: «...с учетом того, что мы по природе своей склонны давать детям нашим столько, дабы они могли достойно показывать блеск своего происхождения, а также в согласии с тем, что мы должны быть особенно щедрыми к тем, чьи заслуги совершенно очевидны»⁹¹.

Эти апанажи, равно как и мотивы, по которым они раздавались, недвусмысленно указывают на то, в какой мере французская территориальная власть все еще носила характер семейного владения; одновременно они показывают возможности дробления владений, обусловленные подобным характером власти. Разумеется, к тому времени уже заявили о себе сильные тенденции к ограничению такой власти частного лица — владыки домена; нам еще придется говорить о группах, выступавших выразителями этих тенденций при дворе. Не вызывает сомнений и то, что многое зависело от личного характера Иоанна Доброго и от его индивидуальной судьбы, — именно у него столь сильно проявилось стремление столь щедро одарить всех сыновей ради престижа семьи. Но эта тенденция не в меньшей мере связана с обострением конкуренции, выражением которой была Столетняя война, — именно в результате поражения в войне Иоанну потребовалось продемонстрировать богатство наследников дома Капетингов. Во всяком случае, специфическая склонность крупных феодалов наделять частью семейной собственности каждого из членов семьи у Иоанна просто получила наиболее сильное выражение. Последствия были очевидными.

Когда Иоанн умирает, сохранение центральной функции за королем уже не ставится под сомнение, несмотря на значительное ослабление этой функции в годы его правления и на поражение дома Капетингов в войне. Это показывает, что в основе могущества центрального правителя лежит уже не только функция военного вождя, но и ряд других социальных функций. Телесно слабый, но решительный, наделенный опытом, который он приобрел в годы нелегкой юности, дофин становится королем Карлом V. Он остается владыкой всех земель, оставшихся за ним по договору, заключенному в Бретињи, — включая и все апанажи. Но при более внимательном рассмотрении станет очевидным, что в тени этой власти короля вновь заявляют о себе центробежные тенденции. Домен Капетингов снова распадается на ряд территорий, более или менее явно стремящихся к обретению независимости и вступающих в конкуренцию друг с Другом. Особый характер этой конкуренции, разворачивающейся на землях западных франков, придает тот факт, что почти все ее участники являются выходцами из дома Капетингов. За некоторыми исключениями это — владельцы апанажей и их потом-

135

ки, теперь противостоящие друг другу как конкуренты или соперники. Конечно, еще оставались крупные князья, не принадлежавшие к королевскому дому (или принадлежавшие к нему не по прямой линии). Но в борьбе за верховную власть они уже не могли рассчитывать на главные роли.

Среди главных действующих лиц во времена Иоанна Доброго следует назвать прежде всего Карла Злого, короля Наваррского. Его отец, Филипп д'Эвре, был внуком Филиппа III, племянником Филиппа Красивого и Карла Валуа, мать — внучкой Филиппа Красивого, дочерью Людовика X, а сам он приходился зятем Иоанну Доброму. Помимо Наварры в Пиренеях ему принадлежал ряд апанажей, выделенных из земель Капетингов, — графство Эвре, часть герцогства Нормандского. Его владения тем самым опасно приближались к самому Парижу.

Карл Злой Наваррский был первым из тех владельцев апанажей капетингского дома, которые вступили в борьбу за превосходство на территории расселения западных франков, а затем и за корону. Он был главным союзником Плантагенетов на континенте в первый период Столетней войны. Какое-то время он командовал войсками в Париже (в 1358 г.), и на его стороне были горожане, включая и Этьена Марсея. Ему не так уж чужда была мечта отобрать королевскую корону у других наследников капетингского дома. Принадлежность к дому государя обусловила наличие у него средств, а также мотивов и притязаний, отсутствовавших у феодалов, не принадлежавших к королевскому дому.

Его союзник Плантагенет, Эдуард III, был также — пусть по женской линии — близким родственником Капетингов. Он приходился правнуком Филиппу III, внуком Филиппу Красивому и внучатым племянником Карлу Валуа — его мать была дочерью Филиппа Красивого, племянницей Карла Валуа. Так что он был ничуть не в меньшей степени Капетинг, чем сам французский король, Иоанн Добрый, внук Карла Валуа.

К северу от континентальных владений Плантагенетов располагались области, отданные Иоанном Добрым своим младшим сыновьям, — земли Людовика, герцога Анжуйского, Иоанна, герцога Беррийского, и Филиппа Смелого, герцога Бургундского. Далее лежали владения Людовика, герцога Бурбонского. Он также был потомком Капетингов, происходя от брата Филиппа III, Робера, графа Клермонского, женившегося на наследнице Бурбонов, Беатрис. Мать его также принадлежала к ветви Валуа, а сестра была замужем за Карлом V. Так что по материнской линии он был дядей Карла VI, подобно тому как герцоги Анжуйский, Бургундский и Беррийский были таковыми с отцовской стороны. Таковы главные действующие лица в борьбе времен Иоанна Доброго, Карла V и Карла VI. За исключением Плантагенетов и Бурбонов, все они были владельцами апанажей, выде-

136

ленных из наследия капетингского дома, но теперь они вели борьбу за увеличение владений собственных домов, а в конечном счете и за гегемонию.

При Карле V стрелка весов в этом противостоянии поначалу вновь склонилась в сторону правящей ветви семейства Валуа. К моменту его смерти наследнику престола исполнилось 12 лет. Как и всегда, обстоятельства — случайные, если взять весь ход развития в целом, — ускорили развертывание тенденций, уже возникших в силу самого строения данного общества. Молодость и слабость правящего Валуа усилили назревавшие центробежные тенденции и привели к открытому противостоянию конкурентов.

Карл V окончательно вернул Дофине в королевский домен, отобрал у королей Наваррских земли в Нормандии, равно как и ряд других апанажей, вроде герцогства Орлеанского и графства Оксеррского. Но к моменту его смерти в стране насчитывалось уже семь крупных феодалов, которые вели свой род от Людовика Святого и были потомками дома Капетингов. В те времена их называли «*princes des fleurs de lis*¹⁴⁾». Без учета множества мелких и средних феодалов, уже давно утративших какую-либо самостоятельную роль в борьбе за превосходство⁹², наряду с Плантагенетами оставалось еще два крупных дома, чьи представители не были прямыми потомками Капетингов по мужской линии, — герцоги Бретанские и графы Фландрские. У графа Фландрского был единственный ребенок — дочь. После смерти юного герцога Бургундского, с которым она была помолвлена, за ее руку — и, соответственно, за обладание в будущем Фландрией — начинается неизбежная борьба между Плантагенетами и наследниками Капетингов. Наконец, после всякого рода интриг, при поддержке главы дома Валуа рука наследницы Фландрии отдается младшему брату Карла V Филиппу, ранее уже ставшему благодаря своему отцу

герцогом Бургундским. Бракосочетание у крупных феодалов имело характер «делового соглашения», если употребить современное выражение: решающее значение имел вопрос об увеличении владений и повышении шансов в конкурентной борьбе за территории. После смерти графа Фландрского Филипп Смелый объединил его владения с Бургундией. Из прежних крупных феодальных семейств теперь остался только дом герцогов Бретанских. Место этих семейств теперь заняли разные ветви дома Капетингов, отныне образующие узкий круг землевладельцев, вступивших в конкурентную борьбу за гегемонию. Вновь вступили в действие центробежные силы, которые вели к дезинтеграции и угрожали монополии на власть и собственность. Все это находилось в полном соответствии со слабым развитием функциональной взаимозависимости, характерным для общества с преобладанием натурального хозяйства, причем общества рыцарского. Вновь начинается процесс дезинтеграции,

137

подобной тому, что привел к распаду каролингского царства и к формированию феодального порядка в XII в. Вновь люди, получившие земли из владений центрального правителя, склоняются к тому, чтобы стать самостоятельными и независимыми и составить конкуренцию ослабевшей центральной власти. Однако теперь возможность вступить в конкурентную борьбу остается только у небольшого числа потомков одного дома. Это свидетельствует о том, что в социальном поле произошло изменение структуры человеческих отношений, — по крайней мере в аграрном секторе сеть этих отношений стала системой «с закрытыми позициями».

11

Соперничество между наиболее могущественными «*princes des fleurs de lis*» начинается сразу после смерти Карла V. Оно становится явным в борьбе за регентство и опеку над несовершеннолетним наследником трона. Карл V назначил регентом своего брата Людовика, герцога Анжуйского, а опекунами — другого брата Филиппа, герцога Бургундского, и зятя Людовика, герцога Бурбонского. Это было все, что он мог сделать для того, чтобы не отдавать всю власть в королевстве в руки одного человека. Но именно к полноте власти стремятся и Людовик Анжуйский, и Филипп Бургундский. Они хотели бы объединить опеку с регентством. Столкновения между соперничающими членами королевского дома постоянно продолжаются в правление Карла VI — человека нерешительного и, в конце концов, впавшего в своего рода безумие.

Время от времени главные участники борьбы за превосходство, ведущейся среди родственников короля, меняются. Место Людовика Анжуйского, основного соперника бургундского герцога, в какой-то момент занимает младший брат короля Людовик, апанажем которого было герцогство Орлеанское. Но при всех изменениях персонального состава участников, сеть их взаимоотношений, обладающих стимулирующей и принудительной силой, остается той же самой. Всякий раз два-три человека противостоят друг другу в конкурентной борьбе, и каждый из них не хочет и не может без риска для собственного существования допустить, чтобы другой стал сильнее его самого. Эта конкурентная борьба родственников короля с необходимостью вплетается в более широкую сеть противоречий, в то время еще не нашедших своего разрешения, — в противостояние Капетингов с Плантагенетами (у последних аналогичный механизм порождает борьбу между различными ветвями их дома).

Можно понять положение таких представителей королевского дома. Всю жизнь они должны быть на вторых и третьих ролях. Они чувствуют, что могли бы быть лучшими, более сильными

138

королями, чем нынешний законный наследник короны и удела. Между ними и тронном в то время часто стоят всего лишь один, два, три человека; и в истории хватает примеров того, как эти двое-трое один за другим неожиданно умирают, освобождая другим претендентам путь к полновластию. Но и тогда все еще остаются соперники. Тот, кто в те времена в данных кругах был менее могущественным, почти никогда не получал трона, — просто потому, что он принадлежал боковой ветви дома. Даже если его притязания были самыми что ни на есть справедливыми, почти всякий раз находился кто-то, кто был способен оспорить его притязания. Пусть собственные притязания этого соперника были менее обоснованными, но если он оказывался сильнее законного претендента, то побеждал. Поэтому феодалы, приближенные к трону, равно как и все владельцы более или менее значительных апанажей, возводили новые крепости и перестраивали старые, стремились всеми силами увеличить свои владения и доходы, укрепить свою власть. Если уж они не могли прямо захватить трон, то богатством, могуществом и блеском они не должны были уступать своим соперникам, — а то и самим королям, каковы в конечном счете были лишь главными соперниками или конкурентами.

Таково было положение ближайших родственников слабого Карла VI — его дядьев (не всех, но некоторых из них), а затем и его братьев. С известными модификациями, при всех индивидуальных различиях и при постоянном снижении шансов добиться верховной власти для вторых-третьих лиц королевства, такая напряженная ситуация вокруг трона сохранялась до того времени, когда Генрих Наваррский смог стать королем Франции, — это было в последний раз, когда корона досталась одному из сравнительно мелких удельных князей. Следы такой борьбы вокруг трона прослеживаются вплоть до правления Людовика XIV.

Наиболее сильным действующим лицом в этой борьбе «*princes des fleurs de lis*» был Филипп Смелый, младший сын Иоанна Доброго. Поначалу он располагал герцогством Бургундским в качестве апанажа; затем он объединил его (в основном благодаря женитьбе) с графством Фландрским, получил область Артуа, графство Невер и баронство Донси. Его второй сын Антуан, герцог Брабантский и правитель Антверпена, в

результате женитьбы становится герцогом Люксембургским, а сын его женится на наследнице Эно. Таковы первые шаги бургундских правителей на пути к укреплению своего господства и к собственной экспансии уже за пределами владений парижских королей — в областях нынешней Голландии.

Сходным образом действует брат Карла VI, Людовик — сильнейший конкурент Филиппа Смелого в борьбе за гегемонию во Франции. Оба они поспешно начинают укреплять власть собственного дома. Людовик поначалу получает в качестве апанажа

139

герцогство Орлеанское, которое вновь вернулось под власть короны при Карле V после смерти дяди последнего, Филиппа V.

Затем Людовик получает три-четыре графства и крупные владения в Шампани. Он покупает далее — с помощью большого приданого жены, Валентины Висконти, — еще ряд графств, из которых наиболее значительным было графство Блуа. Наконец, благодаря женитьбе ему досталось расположенное в Италии графство Асти; он претендует и еще на ряд итальянских территорий. Экспансия бургундцев направлена на Голландию, тогда как орлеанцы обращают свои взоры к Италии. На землях бывших западных франков новые владения получить трудно — основная их часть уже принадлежит либо лондонским, либо парижским королям. Какой-нибудь «*prince des fleurs de lis*» способен выйти на первые роли и вступить с ними в конкуренцию только в том случае, если ему удастся укрепиться где-то за пределами их владений. Подобно тому как предпосылкой «борьбы на выбывание», шедшей между множеством феодалов конца каролингской эпохи, служило стремление увеличить свои земли, расширение владений становится мотивом борьбы, в которую вовлекаются крупные удельные князья, принадлежащие к узкому кругу представителей капетингского дома. Но в качестве инструментов экспансии теперь не в меньшей мере, чем военные действия, выступают женитьба, получение наследства, покупка земель. Не одни Габсбурги получили все свои земли путем выгодных браков. Так как в обществе того времени уже имелись относительно крупные владения со значительным военным потенциалом, то желавшие подняться вверх рыцарские дома могли пойти на риск военных действий только в том случае, если они располагали достаточно большими землями, способными обеспечить конкурентоспособный военный потенциал. Это показывает, насколько к тому времени среди крупных землевладельцев сузился круг потенциальных конкурентов, а также свидетельствует о том, что сама структура противоречий между индивидами способствовала образованию монополии на господство на все более обширных территориях.

Французско-английские земли в то время еще составляли единую территориальную систему. Любое смещение социальных сил в пользу соперничающего дома раньше или позже оказывало влияние на все остальные семейства и вело тем самым к сдвигу центра тяжести во всей системе. Рассматривая любой момент времени, можно с точностью сказать, какие противоречия были центральными, а какие периферийными; всякий раз распределение сил и их динамика, кривая их изменений получают отчетливую, зримую форму. Именно так нужно рассматривать и Столетнюю войну — не как военные столкновения амбициозных князей (хотя было и это), но как неизбежное разряжение напряженности, существовавшей в полном противоречий обществе с уде-

140

лами определенной величины, как конкурентную борьбу за превосходство между соперничающими домами в системе взаимозависимостей, где отношения различных уровней власти находились в динамичном равновесии. Парижский и лондонский дома, представленные двумя боковыми ветвями прежних королевских домов, домами Валуа и Ланкастеров, были главными соперниками: они были почти равны по размерам земельных владений и по военному потенциалу. Лондонские владыки (а иной раз и парижские) стремились к объединению под одной властью всех земель западных франков — и континентальных, и островных. Только в ходе борьбы стало очевидным, что при наличном уровне общественного развития военный захват и еще более удержание в одних руках власти над столь значительными и столь многообразными областями наталкивается на мощное сопротивление. По-прежнему остается под вопросом, смогли бы или нет островные правители и их союзники создать прочную монополию на господство и интегрировать континентальные и островные земли даже при полном устранении Валуа. Но как бы там ни было, парижский и лондонский дома вели борьбу за одну и ту же область, а все остальные противоречия между различными ветвями самого парижского дома кристаллизировались вокруг этого главного противоречия всей территориальной системы — например, в этой центральной для системы борьбе бургундские Валуа оказывались то по одну, то по другую сторону воюющих. Однако рост дифференциации функций и усиление взаимосвязей, выходящих за пределы местных отношений, превращают в «друзей» и «врагов» не только различные уделы, находящиеся на обширной территории западных франков. Хоть и не столь сильно, но все же вполне ощутимо, дает о себе знать взаимная зависимость, распространившаяся на всю Западную Европу, и смещение равновесия в одном месте сказывается на всем этом пространстве. Французско-английское территориальное общество вместе с растущим взаимным переплетением связей все больше становится подсистемой всеобъемлющей системы европейских стран. Во время Столетней войны уже четко проявляется эта растущая взаимная зависимость всех государств, расположенных на европейской территории, хотя в той или иной форме эта зависимость существовала и ранее. Немецкие и итальянские князья вмешиваются в борьбу в англо-французском секторе, защищая свои интересы, и их участие уже ощутимо, хотя поначалу они играют второстепенные роли. Здесь мы впервые встречаемся с тем, что через

несколько столетий, во время Тридцатилетней войны, станет уже очевидным: Европа как целое превращается в систему связанных друг с другом держав, где существует собственная динамика противовесов. Любое смещение власти в пользу одной из стран тут же прямо или косвенно сказывается на положении всех остальных государств. Еще через

141

несколько столетий, во время войны 1914—1918 гг., получившей название «Первой мировой», проявятся результаты дальнейшего роста взаимозависимости стран: то или иное разрешение противоречий и смещение равновесия теперь оказывают воздействие на государства, расположенные на еще более широком пространстве, — на всех континентах планеты. Способы и уровни формирования монополии, отвечающие такой степени мировой взаимосвязанности, политические объединения, которые возникнут в итоге такой борьбы, — все это пока что предстает перед нами только в самых общих чертах, если вообще входит в горизонт нашего сознания. Но то же самое можно сказать об удельных князьях и группах, участвовавших в Столетней войне: каждый из них ощущал непосредственную угрозу, связанную с усилением других, тогда как более обширные политические единицы — известные нам Франция и Англия — еще не входили в их сознание, подобно тому как в наше сознание не входит политическая единица под именем «Европа».

По другим книгам можно познакомиться с деталями процесса разрешения противоречий между соперничающими группами и домами: с тем, как смещался центр тяжести в противоборстве главных действующих лиц — английских Ланкастеров, с одной стороны, и французских и бургундских Валуа — с другой; как англичанам удалось захватить еще большую часть французских земель и даже получить титул французских королей; как, наконец, после выступления Орлеанской Девы французским Валуа удалось собрать все силы для успешного сопротивления и короновать в Реймсе слабого короля, чтобы затем вернуться в Париж победителями.

Тем самым решился вопрос о том, что станет центром кристаллизации западнофранкских земель — и Лондон и англо-норманнский остров либо Париж и Иль-де-Франс. В итоге победил Париж. Лондонским властителям пришлось удовольствоваться островом. Столетняя война окончательно закрепила раздел земель на континентальные и островные: на то, что впоследствии стало «Францией», и заморские владения, ранее бывшие не чем иным, как колониальной территорией континентальных правителей. Следствием войны, таким образом, поначалу была дезинтеграция. Остров, где произошла консолидация потомков континентальных завоевателей и аборигенов, стал самостоятельным — обществом «a part», идущим своим собственным путем, вырабатывающим свои собственные институты и говорящем на языке, сформировавшемся в результате смешения двух составляющих. Ни одному из соперников так и не удалось захватить и удержать власть над всей территорией. Французские короли и их подданные окончательно отказались от притязаний на островные владения; английским королям не удалось победить своих парижских соперников и вновь утвердиться на континенте. Если они

142

хотели найти новые земли и новые рынки, то они должны были искать их в более отдаленных регионах. Английские короли выбыли из континентальной борьбы за гегемонию и за французскую корону. Нечто подобное произошло через несколько столетий на территории германских государств, когда Пруссия одержала победу над Австрией. Как и там, последовавшая за дезинтеграцией интеграция происходила на меньшем пространстве, но зато осуществлялась она намного легче.

Вытеснение англичан с континента и выбывание английских королей из борьбы за власть на континенте привели к изменению баланса сил на этой территории. Пока лондонские и парижские короли удерживали равновесие в этой борьбе, а конкуренция между ними образовывала ось всей системы противовесов, соперничество между различными континентальными князьями имело второстепенное значение; от них зависело только то, в чью пользу клонится чаша весов в противостоянии парижских и лондонских государей; сами они не могли заменить одного из этих конкурентов и занять его место.

Теперь, когда англичане вышли из борьбы, конкуренция между континентальными князьями — прежде всего, между представителями различных ветвей дома Капетингов — приобрела решающее значение и стала в высшей степени напряженной. В результате Столетней войны еще не было решено, какая из этих ветвей и в каких границах сумеет осуществить интеграцию континентальных земель западных франков. Борьба продолжалась именно в этом направлении.

В последние годы правления Карла VII, наряду с парижским домом, имелось по меньшей мере восемь семейств, способных вступить в решающую борьбу за гегемонию: это — дома герцогов Анжуйских, Алансонских, Арманьякских, Бурбонских, Бургундских, Бретанских, Дрие и Фуа. Каждый из названных домов был представлен различными ветвями; самыми могущественными считались герцоги Бургундские, которые, опираясь на свои владения в Бургундии и Фландрии, последовательно создавали собственное государство между немецким рейхом и Францией, — некое подобие прежней Лотарингии. Борьба между ними и парижскими королями играла решающую роль в системе равновесия феодальных территорий, и только в результате победы парижан в данной борьбе и возникла «Франция». Поначалу значительными центрами силы были также дома герцогов Бурбонских и Бретанских.

За исключением дома герцогов Бретанских все остальные семейства были потомками Капетингов, их образовывали наследники или родственники владельцев апанажей. Феодальные сеньоры — наследники

государей позднекаролингского времени — к тому времени были, как выразился один исследователь, «контрагентами» феодалов из числа капетингских «принцев»⁹³. И лишь

143

один дом вышел победителем из «борьбы на выбывание», шедшей между множеством крупных и мелких рыцарских семейств западнофранкского царства. Вся территория западных франков оказалась в монопольном владении потомков дома Капетингов.

Но эти владения оказались вновь разделенными между различными ветвями данного дома, ведущими между собой борьбу за гегемонию. Формирование монополии не происходит прямолинейно, как это могло бы показаться на первый взгляд. После Столетней войны мы обнаруживаем не монополию, не завершённую концентрацию и централизацию власти в одних руках и в одном месте, но лишь определённую ступень на пути к абсолютной монополии.

Это — фаза ограниченной конкуренции. На этой ступени развития для всех тех, кто не принадлежит к одному, строго определённому семейству, шансы на обладание крупным состоянием и властью, равно как и на расширение уже имеющихся владений, являются чрезвычайно незначительными. Следовательно, у таких феодалов нет возможностей и для участия в дальнейшей конкурентной борьбе.

5. Последние этапы свободной конкурентной борьбы и окончательное установление монополии победителя

12

Особый характер процессу монополизации придает тот факт, что социальные функции, дифференцировавшиеся в Новое время, на данной ранней фазе еще не были отделены друг от друга, — на это следует обратить внимание исследователей, принадлежащих к более позднему времени, прежде всего, людей двадцатого столетия. Нами уже подчеркивалось, что в социальной позиции крупного феодала, князя, поначалу целиком и полностью совпадали функции богатейшего человека, владельца основных средств производства в принадлежавшей ему области, с одной стороны, и правителя, обладающего административной и юридической властью, — с другой. Здесь еще были неразрывно связаны между собой и находились в своего рода частной собственности те функции, что сегодня обособлены друг от друга и представлены в рамках системы разделения труда разными людьми и разными группами, — такие, как функция крупного собственника и функция главы правительства. Это связано с тем, что в обществе с преобладанием натурального хозяйства важнейшим средством производства была земля (даже если учесть, что ее значение в качестве такового постоянно снижалось), тогда как в

144

более позднем обществе эту роль начинают играть деньги — подлинное воплощение разделения функций. Но в не меньшей мере это связано с тем, что на более поздней фазе развития монополия на физическое насилие, на применение оружия (основа любой монополии на господство), установленная на большой территории, является прочным и стабильным социальным институтом, тогда как на предшествующей фазе этот институт еще находился в процессе становления. Борьба шла на протяжении столетий, причем первоначально данный институт появляется в форме частной, семейной монополии.

Мы привычно различаем две сферы — «экономику» и «политику», — равно как и два типа социальных функций — «хозяйственные» и «политические». Под «экономикой» мы подразумеваем целую сеть видов деятельности и институтов, служащих производству и приобретению средств производства и предметов потребления. Когда мы говорим о «хозяйстве», нам даже кажется чем-то само собой разумеющимся, что производство (и в особенности приобретение) средств производства и предметов потребления в норме осуществляется без угроз и использования оружия, без применения физического насилия. Но на самом деле это нельзя считать самоочевидным. Во всех воинских обществах с натуральным хозяйством (и не только в них) меч выступает как орудие, непосредственно и с необходимостью используемое для обретения средств производства, а угроза насилия является незаменимым компонентом процесса производства. Лишь после значительной дифференциации функций, в итоге долгой борьбы, ведущей к образованию специализированной управленческой монополии, превращающей функцию господства в общественную собственность; лишь после возникновения централизованной и публичной монополии на насилие, установленной на обширных пространствах, — лишь тогда конкурентная борьба за средства производства и предметы потребления может происходить в значительной степени без применения физического насилия; лишь тогда появляется «хозяйство» в строгом смысле слова, именуемое нами «экономикой», и возникает конкурентная борьба в той ее разновидности, которую мы привычно называем «конкуренцией».

Термин «конкурентные отношения» обозначает гораздо более широкое и общее социальное явление, чем понятие «конкуренция»⁹⁴, ограничивающееся экономическими структурами и к тому же относящееся в основном к экономическим структурам исключительно XIX-XX вв. Конкурентная ситуация возникает всякий раз, когда многие люди ведут борьбу за обладание одними и теми же шансами, когда в наличии имеется больше людей, стремящихся их получить, нежели самих шансов (т.е. если спрос выше предложения), — причем независимо от того, существуют ли монополисты, имеющие неограниченное право распоряжаться-

145

ся распределением данных шансов. Конкуренция особого рода, так называемая «свободная конкуренция» (о ней речь шла выше), характеризуется тем, что спрос направлен на шансы, еще не перешедшие под чей-либо контроль и лежащие за пределами пространства соперничества. Подобная фаза «свободной конкуренции» встречается в истории многих (если не всех) обществ. «Свободной конкуренцией» можно назвать и такую борьбу, когда земля и военный потенциал распределены среди множества взаимосвязанных лиц в равной мере, так что ни один из соперников не может быть однозначно признан сильнее и богаче. Такая борьба характерна для фазы противоборства феодальных рыцарских домов, а также и для той фазы отношений между государствами, когда ни одно из них не вытесняет другие из пространства соперничества и их взаимоотношения не регулируются каким-либо организованным и централизованным институтом, обладающим монополией на господство. «Свободная конкуренция» появляется и в том случае, когда денежный потенциал сравнительно равномерно распределен между многими взаимосвязанными участниками борьбы. Как и во всех прочих случаях, борьба становится тем интенсивнее, чем больше население, чем больше растет спрос на эти шансы (не сопровождаемый одновременным ростом самих шансов).

Ход развития такой конкурентной борьбы сравнительно мало зависит от того, имеем ли мы дело с борьбой, ведущейся с помощью угрозы и применения физического насилия, либо лишь с помощью угрозы утраты социального положения, хозяйственной самостоятельности, экономического разорения или материального обнищания. В борьбе феодальных рыцарских домов свою роль играли оба орудия, обе формы насилия. В то время не было их четкого различия, сегодня же мы разделяем их, говоря о физическом вооруженном насилии и экономическом насилии. В обществе позднейшего времени, характеризуемом большим разделением функций, мы также можем найти аналогии такой борьбы. На стадии свободной экономической конкуренции таковой будет борьба за господство между несколькими торговыми домами в рамках одной и той же отрасли либо борьба за превосходство между государствами в какой-то территориальной равновесной системе, ведущаяся с применением насилия.

Борьба в свободной от монополии сфере представляет собой лишь один аспект той непрерывной конкурентной борьбы за ограниченные шансы, которая пронизывает все общество. Шансы тех, кто вступает в свободную — т.е. свободную от монополии — конкуренцию, сами являются достоянием неорганизованных монополистов. Обладание такими возможностями отделяет их от всех прочих, от тех, кто не в состоянии участвовать в конкуренции, поскольку располагает для этого существенно меньшими шансами, будучи прямо или косвенно от них зависимыми. При этом сами

146

неорганизованные монополисты тоже ведут между собой конкурентную борьбу за достоящиеся им шансы. Давление друг на друга относительно самостоятельных участников конкуренции находится в тесной функциональной связи с давлением, испытываемым ими со стороны зависимых лиц, для которых шансы выступают как уже монополизированное другими достояние.

Свободная конкурентная борьба за шансы в отсутствие централизованной и организованной монополии при всех отклонениях повсюду ведет к поражению и исключению из противоборства все большего числа соперников. Они исчезают как самостоятельные социальные единицы или оказываются в зависимости от победителей, а шансы аккумулируются в руках у немногих, что и ведет в конечном счете к формированию монополии. Процесс образования монополии также не ограничивается возникновением того, что сегодня называется «монополиями». Аккумуляция шансов на владение, обратимых в деньги или, по крайней мере, выразимых в тех или иных денежных суммах, представляет собой лишь один из многих исторических процессов, направленных в сторону монополизации. На самых разных отрезках человеческой истории в многообразных обликах встречаются функционально схожие процессы, т.е. тенденции развития сети человеческих отношений, когда отдельные люди или группы людей ограничивают или регулируют доступ других людей и групп к имеющимся возможностям посредством прямой или косвенной угрозы насилия.

Ставкой для участников такого рода борьбы повсюду является их актуальное социальное существование — в этом причина принудительной силы, присущей подобной борьбе. Именно это делает борьбу неизбежной для всех тех, кто находится в ситуации свободной конкуренции. Стоит в обществе начаться движению такого рода, и в сфере, еще свободной от монополии, любая социальная единица — будь то рыцарский дом, предприятие, территория или государство, — оказывается перед одной и той же альтернативой. Они могут быть побеждены и завоеваны, причем независимо от того, сражаются принадлежащие к этой общности люди или нет. Этот исход борьбы означает для них в худшем случае насильственную смерть или рабство, нужду, зачастую голод. В лучшем случае — утрату социального положения, относительной хозяйственной самостоятельности, переход в косвенно зависимое положение, растворение в большом социальном комплексе — т.е. разрушение всего того, что ранее составляло смысл жизни, придавало ей ценность (даже если современники или люди будущих времен считают этот смысл чем-то незначительным, а может быть, и заслуживающим исчезновения). Либо, при другом исходе борьбы, они могут защитить себя от ближайших соперников и победить. Тогда они сохраняют жизнь, свое социальное положение, свое стремление к полноте

147

бытия. В этом случае они приобретают те шансы, за которые шла борьба. В ситуации свободной конкуренции уже само сохранение социального существования всякий раз требует роста: кто не растет, тот падает. Поэтому победа означает — было это сознательной целью борьбы или нет — достижение

превосходства над ближайшими соперниками и оттеснение их на позиции большей или меньшей зависимости. Прибыль для одного с необходимостью означает убытки для другого — независимо от того, идет ли речь о земле, оружии, деньгах или любых других субстанциях, репрезентирующих социальную силу. Но эта победа также означает, что раньше или позже победителю предстоит борьба с соперником более высокого порядка, и вновь ситуация потребует роста одного из конкурентов, обрекая другого на подчинение, унижение или уничтожение. Смещение в соотношении сил, утверждение превосходства могут достигаться как с помощью явного военного или экономического насилия, так и путем мирных договоров при взаимном согласии сторон. Но как бы это ни происходило, раньше или позже, через подъемы и падения, восходы и закаты, возникновение и гибель различных смыслов, соперничество ведет к новому социальному порядку. Этот порядок не был предусмотрен ни одним из участников борьбы, он не был им изначально известен, и тем не менее на место свободной от монополии конкурентной борьбы приходит монополистически ограниченная конкурентная борьба. Только с образованием такого рода монополии появляется возможность управления распределением шансов, а таким образом и самой борьбы — в том смысле, что ее место занимает нормальное функционирование общества, совместная работа всех его членов на благо связанных друг с другом людей.

Альтернативы такого рода возникали и перед феодальными семействами средневекового общества. В этом смысле можно понять сопротивление усилению королевской власти со стороны крупных феодалов, в том числе и капетингских принцев. Для удельных властителей король, правящий в Париже, был лишь одним из таких же феодалов, как и они, одним из них, и не более того. Он был для них одним из соперников, с какого-то времени — самым могущественным, а потому самым опасным из конкурентов. В случае его победы если не физическое, то социальное их существование прекратится. Исчезнет то, что в их глазах было смыслом их жизни, придавало ей блеск, — их господская независимость, свободное распоряжение своей вотчиной. Будет уничтожена (в лучшем случае — унижена) их честь, понизится их социальный престиж, их ранг. Если же победят они, то удастся избежать централизации и монополизации власти в растущем государстве; сохранятся Бургундия, Анжу, Бретань и прочие уделы со своей большей или меньшей независимостью. Это могло казаться бессмысленным многим их современникам,

148

скажем, королевским чиновникам; это может казаться бессмысленным современному наблюдателю, поскольку мы — в соответствии с иным состоянием социальных отношений — не настолько прочно идентифицируем себя с подобными мелкими территориальными образованиями. Для них же — скажем, для владык Бургундии или Бретани и немалой части их подданных, — сопротивление образованию всесильного государства с централизованным аппаратом в Париже было в высшей степени осмысленным. Появление такой власти означало для них крах в качестве самостоятельных социальных единиц.

Но если бы им удалось победить, то раньше или позже победители столкнулись бы между собой как соперники; эти противоречия не могли разрешиться, а эта борьба закончиться, пока вновь не явилась сила, превосходящая все прочие силы. *Подобно тому как в капиталистическом обществе XIX в. (и в особенности XX в.) стало неизбежным общее движение к формированию монополий, вне зависимости от того, чей дом возвышался над прочими в ходе конкурентной борьбы; подобно тому как в гонке «государств» — прежде всего европейских — в то же самое время стала ощутимой тенденция к борьбе за гегемонию, предшествующая любому образованию монополии и любой всеобъемлющей интеграции, — подобно этому и борьба средневековых рыцарских домов, а позже крупных удельных князей, была выражением общей закономерности, ведущей к образованию монополии.* Просто этот процесс поначалу происходил в сфере земельной собственности, неразрывно связанной с функциями господства, а затем он — вместе с ростом роли денег — трансформировался и приобрел форму централизации как получения доходов, так и контроля над всеми орудиями физического насилия.

13

Соперничество достигает апогея вместе с началом борьбы между французской ветвью Валуа, с одной стороны, и бургундской их ветвью в союзе со всеми прочими крупными феодалами-Капетингами, а также последними представителями некогда могущественных рыцарских домов (таких, например, как герцог Бретанский) — с другой. Это происходит после смерти Карла VII, во второй половине XV в. Все выразители интересов центробежных сил объединяются и выступают против парижского Валуа, Людовика XI, богатство и власть которого стали для них особенно опасны после выхода из борьбы прежнего главного соперника, английского короля. Бургундский Валуа, Карл Смелый, чувствуя все большую угрозу со стороны центра власти, однажды совершенно отчетливо выразил то, чего желали и прочие конкуренты короля, видя угрозу с его стороны их социальному существованию: «Au lieu d'un roi, j'en voudrau six!»¹⁵⁾ 95.

149

Поначалу Людовик XI вовсе не идентифицировал задачи, стоящие перед королевством, со своими собственными. Совсем наоборот, будучи наследным принцем, он действовал в духе всех прочих крупных феодалов-Капетингов, способствовавших дезинтеграции французского территориального комплекса. Долгое время он жил при дворе бургундского герцога — сильнейшего соперника французского короля. Можно объяснить это личными особенностями Людовика, его ненавистью к собственному отцу. Но одновременно мы усматриваем в этом еще одно свидетельство специфической индивидуализации, происходившей в рамках богатейшего дома страны, — индивидуализации, связанной с выделением апанажа для каждого

принца. Какими бы ни были причины ненависти Людовика к отцу, властвование над собственной территорией способствовало тому, что его личные чувства и действия делали его союзником всех прочих соперников короля. Даже взойдя на трон, он поначалу думает более о мести тем, с кем враждовал, пока был дофином, — а среди них было немалое число верных слуг королевской власти. Награждал же он тех, кто был в свое время его другом, — а к ним относились многие противники парижского короля. Власть все еще несет на себе черты частной собственности и зависит от личных склонностей властителя. Но, как и любой другой крупный землевладелец, он скоро оказывается под властью того закона, которому не может противостоять ни один властитель. Очень скоро враги королевства становятся врагами и Людовика, а в его дружез превращаются те, кто служит королевству. Личные амбиции Людовика теперь совпадают с традиционными притязаниями парижских государей. Его личные особенности — любознательность, чуть ли не патологическое стремление вникать во все тайны, хитрость, прямолинейность в выражении любви и ненависти, даже наивная, но сильная набожность, позволяющая ему при этом подкупать духовных лиц, стоящих на стороне его соперников, — все это направлено на укрепление его социальной позиции в качестве владыки всех французских земель. Главной задачей всей его жизни становится борьба с центробежными силами, подавление соперничающих с ним феодалов. В согласии с имманентной логикой королевской функции, его основным противником оказывается бургундский дом, т.е. его друзья тех времен, когда он был принцем.

Борьба, которую должен был вести Людовик XI, была не из легких. Иной раз власть парижского короля оказывалась под угрозой полного краха. Но к концу его правления победа над соперниками была окончательной: король победил отчасти благодаря тем средствам, которыми он располагал, отчасти благодаря умелому их использованию, отчасти благодаря ряду случайностей, пришедших ему на помощь. Карл Смелый, герцог Бургундский, в 1476 г. был побежден под Грансоном и Муртенем швей-

150

царцами, тайком поощряемыми Людовиком. В 1477 г. герцог погиб, пытаясь захватить Нанси. Так из игры вышел главный соперник французских Валуа из числа Капетингов, являвшийся (после ухода англичан) сильнейшим конкурентом короля среди западнофранкских феодалов. У Карла Смелого осталась единственная дочь, Мария. За ее руку и наследство Людовик теперь вынужден вести борьбу с домом Габсбургов, т.е. с той силой, которая постепенно превратится в главного соперника парижского королевского дома на более обширной европейской территории. Вместе с завершением «борьбы на выбывание» в землях западных франков и достижением монопольного положения одним из соперничающих домов усиливается соперничество между домом, одержавшим победу и превратившимся в центр всех этих земель, и властителями такого же масштаба за пределами данной территории. В конкурентной борьбе за Бургундию Габсбурги поначалу одержали победу — женившись на Марии, Максимилиан получил и большую часть бургундского наследства. Так началось двухвековое соперничество Габсбургов с парижскими королями. Однако само герцогство Бургундское (вместе с двумя примыкающими территориями) вернулось во владения Валуа: те из бургундских земель, что представляли особую важность для достижения целостности французской территории, были присоединены к королевским владениям.

В землях западных франков оставалось еще четыре дома, располагавших сколько-нибудь значимыми территориями, из которых сильнейшим, вернее сказать, важнейшим и наиболее самостоятельным был дом герцогов Бретанских. Ни один из этих домов уже не мог конкурировать с парижским домом — сила французского короля неизмеримо превосходила социальную силу прочих удельных князей. Король достигает монопольного положения — раньше или позже, путем ли заключения договоров, ведения войн или же благодаря тем или иным случайностям, но так или иначе все крупные феодалы теряют свою самостоятельность и оказываются в зависимости от французских королей.

Если угодно, было случайным, что к концу XV в. герцог Бретанский умер, оставив дочь-наследницу. Но борьба, вызванная этой случайностью, с точностью показывает существовавшее тогда соотношение сил. Из оставшихся удельных князей древней западнофранкской области ни один уже не обладает достаточной силой, чтобы соперничать с парижскими владыками за Бретань. Как и в случае бургундского наследства, конкурент приходит извне; и в данном случае на наследнице может жениться либо Карл VIII, сын Людовика XI, либо Максимилиан Габсбург, римский кайзер и владыка Бургундии, готовый вновь вступить в брак после смерти первой жены, наследницы Бургундии. Как и в первом случае, Габсбургу через уполномоченных лиц удалось добиться помолвки с юной Анной Бретанской. Но после разно-

151

го рода споров (решающую роль тут сыграло мнение Генеральных Штатов Бретани) рука наследницы все же досталась Карлу. Габсбурги протестовали, дело дошло до войны между соперниками, но затем был достигнут компромисс: графство Бургундское, не принадлежавшее к традиционным западнофранкским землям и в те времена прямо не входившее во французские владения, было отдано Габсбургам, зато Максимилиан признал власть Карла VIII над Бретанью. Когда Карл умер, не оставив наследников, Людовик XII, относившийся к орлеанской ветви Валуа, без промедления расторгает свой брак с помощью папы римского, признавшего этот союз недействительным, и женится на 21-летней вдове своего предшественника, дабы удержать ее наследство, Бретань, в составе королевских земель. В этом новом браке у него рождались одни дочери, и король выдает старшую из них, унаследовавшую от матери Бретань, за графа Франциска Ангулемского, занимавшего наиболее высокое после короля положение среди членов

семьи и являвшегося наследником трона. Угроза того, что столь важная область может достаться сопернику-Габсбургу, заставляет парижан действовать одинаковым образом. Под давлением механизма конкуренции последняя из западнофранкских земель, сохранивших независимость в «борьбе на выбывание», постепенно интегрируется во владения парижских королей. Сначала, до тех пор, пока наследник ангулемского апанажа правил под именем Франциска I, Бретань еще сохраняла известную самостоятельность, и среди населения области четко прослеживалось стремление к независимости, высказываемое представителями разных сословий. Однако военная сила этой единственной территории была уже слишком мала для успешного сопротивления королевской власти, опиравшейся на владения, окружавшие Бретань со всех сторон. В 1532 г. принадлежность Бретани к французской короне была закреплена институционально.

Помимо Фландрии и Артуа, принадлежавших Габсбургам, в землях западных франков самостоятельными, не входившими во владения парижских королей, оставались герцогство Алансонское, графства Неверское и Вандомское, а также владения Бурбонов и Альбре⁹⁶. Даже если некоторые из этих князей, скажем, из домов Альбре и Бурбонов, еще пытались увеличить свои владения или мечтали о королевской короне⁹⁷, на деле их владения были уже просто анклавными, разбросанными на землях французских королей. Коронованный государь одержал верх над всеми конкурентами из числа удельных князей. Ранее существовавшие дома либо попали в зависимость от короны, либо исчезли. В пределах западнофранкских земель парижские короли остались без соперников, они достигли абсолютной монополии. Но за пределами территории западных франков происходили сходные процессы — даже если там «борьба на выбывание» и формиро-

152

вание монополии еще не зашли так далеко, как во Франции. Однако Габсбургам удалось добиться аккумуляции военного и финансового потенциала, превосходившего возможности всех прочих государей Европейского континента. С начала XVI в. явным становится то, что проявилось уже во времена борьбы за бургундское и бретанское наследство: императорский дом Габсбургов и дом французских королей, представленные поначалу Карлом V и Франциском I, выступают как соперники на новом витке противостояния — в конкурентной борьбе нового масштаба. Оба этих дома обладают более или менее явной монополией на господство на весьма значительной территории; оба ведут борьбу за шансы и гегемонию там, где такой монополии еще нет, т.е. вступают в отношения «свободной конкуренции». Соперничество между ними на долгое время становится центральной осью находящейся в становлении европейской системы государств.

14

Французские владения по своим размерам значительно уступали владениям Габсбургов. Но они были гораздо более централизованными, сплоченными и, с военной точки зрения, в большей мере защищены «естественными границами». На западе границей служили пролив и Атлантический океан — все побережье вплоть до Наварры было в руках французских королей. На юге границу образовывало Средиземное море, побережье которого, за исключением Руссийона и Сердани, контролировалось французами. На востоке граница с графством Ницца и герцогством Савойским шла по Роне; далее, через Дофине и Прованс, — к Альпам. Севернее Альп Рона и Саона вновь служили границей королевства с графством Бургундским; местами, в среднем и верхнем течении Саоны, оба берега реки принадлежали французам. На севере и северо-востоке границы современной Франции еще не были достигнуты: только за счет власти над архиепископствами Metz, Туль и Верден королевство выходило к Рейну. Но пока что это были только анклавные, «сторожевые посты», развернутые на землях немецкого рейха. Граница с империей проходила чуть западнее Вердена, а затем простиралась на север в районе Седана. Как графство Бургундское, так и Фландрия с Артуа принадлежали Габсбургам. То, насколько далеко в этом направлении сдвинется граница, зависело от исхода борьбы между парижскими королями и Габсбургами. Долгое время французские владения ограничивались обозначенной территорией. И только в период между 1610 и 1659 гг. в них были включены сначала Артуа на севере, затем земли, расположенные между Францией и тремя архиепископствами, а также — как новые анклавные в землях рейха — Верхний и Нижний Эльзас. Лишь тогда королевство

153

приблизилась к Рейну⁹⁸ и в него вошли почти все те земли, что составляют современную Францию. Открытым оставался вопрос о возможностях дальнейшего роста — о том, где эта политическая единица найдет свои «естественные» границы, т.е. те границы, которые она была способна защищать.

Французам во Франции и немцам в Германии, живущим в обществах со стабильной и централизованной монополией на физическое насилие, может казаться чем-то самоочевидным и целесообразным как наличие такой монополии, так и единство национальной территории. Они непроизвольно считают это чуть ли не результатом сознательно запланированных акций. Соответственно, они часто судят о действиях, приведших к такому состоянию, с точки зрения их непосредственной целесообразности для поддержания порядка, кажущегося им разумным и само собой разумеющимся. Поэтому они склонны оценивать события прошлого с позиций того блага или зла, что эти события несли для общности, с которой идентифицируют себя эти люди. При этом они не замечают действовавших в прошлом закономерностей и обстоятельств, принуждавших группы и лица того времени поступать так, а не иначе, и упускают из виду планы, стремления и интересы людей того времени. Словно действующие лица прошлого должны были (и могли) обладать пророческим видением того будущего, каковое для историков является разумным и страстно

утверждаемым ими настоящим. Поэтому-то историки и прославляют или осуждают деятелей прошлого в зависимости от того, насколько велик их вклад в процессы, приведшие общество к настоящему положению, и судят о действиях по тому, способствовали они или нет желательному результату.

Однако подобная цензура, наложенная на прошлое и выражающая личные предпочтения, подобное субъективистское и партийное видение исторических событий чаще всего препятствуют пониманию элементарных закономерностей и механизмов — пониманию действительной структурной истории и социогенеза исторических образований. А такие образования развиваются в борьбе противоположных, точнее говоря, амбивалентных, интересов. Исчезновение княжеских уделов, растворение их в королевствах, а затем растворение королевств в буржуазных государствах — все это не менее важно для образования новых формаций, чем наличие победителей в конкурентной борьбе. Без насильственных действий, мотивированных свободной конкуренцией, не было бы монополии на применение насилия, а тем самым не было бы института вытеснения и регулирования насилия, распространившего свой контроль на большие территории.

По далекой не прямолинейной траектории движения, приведшего к интеграции обширных земель вокруг герцогства Иль-де-Франс, мы видим, насколько сильно полная интеграция западнофранкских территорий зависела от механизма «борьбы на вы -

154

бывание», равно как и то, что такая интеграция не была результатом пророческого видения или исполнения некоего плана, принятого отдельными контрагентами. Как однажды заметил Анри Озе, «assurément, il y a toujours quelque chose d'un peu factice à se placer dans une position a posteriori et à regarder l'histoire à rebrousse-poil, comme si la monarchie déjà administrative et la France déjà centralisée de Henri II avaient été de toute éternité destinées à naître et à vivre dans des limites déterminées...»^{16, 99}.

Только оценив эту борьбу между рыцарскими домами с позиций того времени, учитывающих непосредственные нужды и цели этих домов, рассматривающих их социальное существование как ставку в этой борьбе, мы можем понять, насколько вероятным было образование монополии на этой территории — при неопределенности расположения ее центра и ее границ.

К французским королям и их сподвижникам с известными оговорками подходит сказанное об американских пионерах: «He didn't want all the land; he just wanted the land next to his»^{17, 100}. Эта простая и точная формула хорошо выражает то, как из сплетения бесчисленных индивидуальных интересов и планов (будь они одно- или разнонаправленными, дружественными или враждебными друг другу) в конечном счете возникает нечто, не планировавшееся и не предвиденное ни одним из индивидов, но с необходимостью вытекавшее из всех этих планов и действий. В этом и заключается тайна социального сплетения взаимосвязей — с его принудительной силой, с закономерностями его строения и структуры, с его особенностями развития. Это — тайна социогенеза и динамики социальных отношений.

Конечно, у представителей французского королевства, занимавших центральные позиции на поздних фазах развития, в процессе интеграции земель и предвидение развития событий, и радиус действий были гораздо шире, чем у американских пионеров. Но и они ясно и отчетливо видели только следующий шаг в этом направлении — следующие земли, которые они должны были захватить, чтобы те не достались другим, чтобы не усилились соседи или конкуренты. Если у иных из них и были мысли о великом королевстве, то долгое время эти мысли были лишь воспоминанием о существовавшем в прошлом монопольном образовании — отблеском каролингского или западнофранкского царств. Речь шла, скорее, о продукте памяти, а не о пророческом видении будущего, ставящем перед ними некие цели. Как и во всех других случаях, из сплетения множества интересов, планов и действий возникло направление развития, обладавшее собственной закономерностью целостного процесса и не планировавшееся отдельными людьми; возникло и образование, создание которого не планировалось действующими лицами, — французское государство, Франция. Именно поэтому постижение подобного рода образований требует выхода на тот уровень

155

действительности, что еще мало изучен, — на уровень исследования отношений с их собственными законами и полем их динамики.

6. Распределение власти и его значение для центра: образование «королевского механизма»

15

В развитии монополии следует различать две важные фазы: фазу свободной конкуренции, ведущей к образованию частных монополий, и фазу постепенного превращения «приватной» монополии в «публичную». Но это движение не следует понимать как простую последовательность двух сменяющих друг друга тенденций. Хотя социализация монополии на власть достигает четко выраженной формы и становится доминирующей достаточно поздно, ведущие к ней структуры и механизмы возникают и долгое время действуют уже на первой фазе, когда из многообразия конкурентной борьбы постепенно формируется монополия на господство, первоначально в виде частной монополии.

Конечно, примером насильственно осуществленного и особо заметного сдвига, приведшего к социализации монополий на сбор налогов и на применение насилия, может служить французская революция. Именно тогда эти монополии оказались в распоряжении (или, по крайней мере, под институциональным контролем)

широких слоев общества. Находящийся в центре правитель — какой бы титул он ни носил — и все иные лица, осуществляющие эти виды монополии, становятся функционерами наряду со всеми прочими людьми, входя в целостную сеть взаимосвязей общества, характеризуемого дифференциацией функций. Их функциональная зависимость от носителей других социальных функций стала столь значительной, что получила ясное и четкое выражение в социальной организации. Но такого рода функциональная зависимость лиц, обладающих монополией на господство, от носителей других общественных функций существовала уже на предшествующей фазе — просто она не была столь велика, как после революции. Поэтому она не так бросалась в глаза, не существовала в виде организации, не была закреплена в институциональной структуре общества — ее осуществление имело «приватный» характер.

16

Тенденция к такого рода «обобществлению» монопольного положения отдельных семей заявляла о себе, как уже было сказа-

156

но выше, при определенных обстоятельствах, — а именно, когда сфера распространения их власти или размер земельных владений становились значительными, — уже в обществе с преобладанием натурального хозяйства. То, что мы называем «феодализмом», то, что выше было описано как действие центробежных сил, есть лишь выражение подобной тенденции. Последняя подразумевает следующий ход событий: растет функциональная зависимость господина от его слуг или подданных, т.е. от более широких слоев населения; это ведет к переходу административной власти над землями и военными отрядами от одного дома и его главы в распоряжение сначала его ближайших слуг и родственников, а затем и всего рыцарского общества. Мы уже указывали на то, что — в соответствии с особенностями землевладения и существовавшего в то время вооружения — «обобществление» означало и уничтожение централизованной (пусть и в малой степени) монополии; оно вело к трансформации одного крупного монопольного владения в множество мелких, т.е. к децентрализованной и менее организованной форме монополии. Пока земельная собственность остается преобладающей формой собственности, могут происходить смещения то в одну, то в другую сторону: свободная конкуренция ведет к установлению гегемонии одного из воинов и аккумуляции под его властью земель и вооруженных отрядов; затем, при переходе этой власти к его наследникам, происходит сдвиг к децентрализации, к новой конкурентной борьбе между его слугами, родственниками или подданными разного ранга, к новым попыткам достичь превосходства. В зависимости от географических и климатических условий, форм хозяйства, особенностей скотоводства и земледелия, определяющих жизнь людей, равно как и от религиозной традиции, все эти смещения в сторону централизации или децентрализации могут привести к сложному комплексу социальных трансформаций. На примере истории других, неевропейских феодальных обществ можно проследить действие сходных закономерностей. Но при всей масштабности таких колебаний во Франции, траектория развития здесь по сравнению с большинством других обществ такого рода была относительно прямолинейной.

Модификация, а затем и ликвидация этих ритмичных колебаний, раз за разом ставивших под угрозу само существование крупных монопольных образований, происходит только по мере смена доминирующей формы собственности, когда главенствующее место начинает отводиться не земле, а деньгам. Лишь тогда крупная централизованная монополия не распадается на множество мелких (как это происходило при любом сдвиге к феодализации), но постепенно превращается в инструмент управления функционально дифференцированного общества в целом, т.е. центральным органом того образования, что мы называем «государством».

157

Развитие обмена и денежного обращения вместе с эволюцией тех социальных формаций, которые были их носителями, с одной стороны, и формирование и развитие монополии на господство в рамках определенной территории — с другой, тесно взаимосвязаны; оба ряда этого развития постоянно переходят друг в друга и вступают во взаимодействие. Дифференциация общества, рост денежного обращения и формирование слоев, добывающих деньги и ими владеющих, оказывают многостороннее воздействие на траекторию развития монополии на власть. В свою очередь, от формирования такого рода монополии и осуществляющих ее центральных институтов в огромной степени зависят разделение труда, безопасность путей сообщения и рынков на больших пространствах, чеканка денег и все денежное обращение, защита мирного труда членов общества от физического насилия и еще целый ряд задач, требующих координации и регулирования. Другими словами, чем больше в обществе дифференцируются функции, чем длиннее и сложнее становятся цепочки взаимосвязи индивидуальных действий, которые должны сочетаться друг с другом для достижения поставленных социальных целей, тем более отчетливо проявляется специфический характер центрального органа управления как *высшего органа координации и регулирования целостного процесса функциональной дифференциации*. Начиная с определенного момента развития, такого рода процесс разделения функций не может идти далее без контроля со стороны соответствующего высокоорганизованного органа. Разумеется, в более простых по организации и менее дифференцированных обществах эта функция центрального органа тоже имеет место. Даже в обществе со слабыми социальными связями, вроде общества IX—X вв., распадавшегося на множество мелких автархий, время от времени требовался некий высший координатор. Например, когда подобному обществу угрожал сильный внешний враг, для ведения войны был нужен некто, кто обеспечивал бы единство множества рыцарей и

координировал их деятельность, причем именно за ним оставалось последнее слово. В ситуациях подобного рода вновь проступала взаимозависимость множества обособленно живущих землевладельцев. Каждый из них оказывался под угрозой в том случае, если управление войском в целом было неудовлетворительным. В этой ситуации заметно росла зависимость рыцарей от центра, от короля, а тем самым возрастало и значение последнего, увеличивались его социальная сила и его власть — конечно, только если он исполнял свою функцию, если он не потерпел поражение от внешнего врага. Но до тех пор, пока внешняя угроза или возможность экспансии отсутствовали, зависимость индивидов и групп от высшего центра координации и регулирования при таком строении общества была сравнительно невелика. В качестве долговременной специализированной и диффе-

158

ренцированной задачи управления эта функция центрального органа начинает выступать только вместе с дальнейшей дифференциацией общества в целом, вместе с формированием в его клеточной структуре все новых функций, вместе с возникновением новых профессиональных групп и слоев. Только тогда регулирующий и координирующий центральный орган становится настолько необходимым для сохранения всего общества, что при всех изменениях во взаимоотношении социальных сил — т.е. когда трансформируется организация общества и происходит смена персонального состава управляющих, — сам этот орган уже не исчезает, как то происходило в ходе процесса феодализации.

17

Образование стабильно действующего специализированного органа центральной власти, осуществляющего управление обширными территориями, представляет собой одно из выдающихся событий западной истории. Как уже было сказано, какого-то рода центральный орган имеется в любом социальном объединении. Однако подобно тому как дифференциация и специализация общественных функций в западном обществе достигли значительно более высокой степени, чем в любом другом из существовавших в мире обществ (затем этот опыт организации социальной жизни перенимается у Запада другими обществами), так и невиданный ранее уровень стабильности специализированного центрального органа был поначалу достигнут именно на Западе. При этом центральный орган — совокупность функционеров, значение которых в качестве высших координаторов и регуляторов общественной жизни постоянно росло, — совсем не обязательно приобретал административную власть. Легко прийти к мысли, будто с прогрессом централизации, с ужесточением регулирования и контроля над всем ходом дел в обществе, осуществляемых стабильно действующим центром, укрепилось и стабилизировалось разделение на правящих и управляемых. Действительная картина исторического процесса дает нам совсем иную картину. Конечно, в западной истории имелись фазы развития, когда административная власть и пространство решений социального центра становились столь велики, что мы с полным правом можем говорить о «господстве» находящегося в центре государя. Но как раз новейшая история многих западных общественных объединений демонстрирует такие фазы развития, когда — при всей централизации — власть в самих централизованных институтах была разделена и дифференцирована в такой мере, что уже трудно однозначно установить, кто здесь правитель, а кто — управляемый. Меняется и поле решений, связанное с центральными функциями. Иной раз оно растет, и осуществляющие эти функции люди выглядят как

159

истинные «правители». Иногда оно сокращается, хотя от этого централизация ничуть не уменьшается и значение центрального органа как высшего центра координации и регулирования не ослабевает. Иными словами, как и для всех социальных формаций, для центрального органа управления значимы две характеристики: *его функция в рамках сети взаимодействия между людьми и та социальная сила, что всегда связана с данной функцией*. То, что мы называем «господством», в обществе с высоким уровнем дифференциации есть не что иное, как особая социальная сила, которой наделены определенные функции (и носители этих функций в центре) в сравнении с представителями других функций. Однако социальная сила носителей центральных функций в обществе с высокой дифференциацией определяется точно так же, как и в случае всех прочих функций. Если эти функции не связаны с индивидуально наследуемой монополией на долговременное их исполнение, то социальная сила соответствует лишь степени взаимозависимости прочих функций. Рост «господства» центрального функционера в обществе со значительной дифференциацией функций выражает лишь то, что возросла зависимость других групп и слоев данного объединения от высшего органа координации и регулирования; уменьшение первого означает лишь ослабление такой зависимости. Не только интересующий нас ранний период образования национальных государств, но и современная история западных обществ дает нам достаточное количество примеров такого рода изменений социальной силы функционеров, занимающих центральное положение в системе управления. Все эти изменения являются точными индикаторами специфических трансформаций, происшедших в поле внутренних противоречий в обществе в целом. При всех различиях социальных структур мы можем утверждать, что определенный механизм взаимодействия способен вести (по крайней мере, в дифференцированном обществе) то к росту, то к падению социальной силы центрального органа управления. Идет ли речь о дворянах и буржуа, либо о буржуа и рабочих, о находящихся в связи с этими большими группами меньших кругах в высшем слое (вроде конкурирующих групп при королевском дворе или верхушке армии и партийного аппарата), полюса социальной напряженности всегда зависят от

определенного соотношения общественных сил, изменение которого ведет то к укреплению центральной власти, то к ее ослаблению.

Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении механизма взаимодействия, определяющего социальную силу центра. Отметим только, что процесс социальной централизации на Западе — в особенности на фазе «формирования государств», — равно как и процесс цивилизации, нельзя понять до тех пор, пока не будет прослежена подобная элементарная механика,

160

выступающая и как руководящая нить для мышления, и как общая схема наблюдения. Если взять «централизацию» на описанной нами стадии образования государств, взглянуть на борьбу между различными княжескими домами с точки зрения ее участников, то станет очевидным, что для них это противостояние с центром было неким подобием современного отношения государства с *«заграницей»*. Проблема заключается в том, чтобы перейти к рассмотрению тех шедших *внутри* политических объединений процессов взаимодействия, которые придали центральной власти особую силу и прочность (в сравнении с предшествующим периодом), равно как и облик «абсолютизма». В исторической реальности эти два процесса неразрывно связаны: перераспределение сил *внутри* политического объединения и смещение центра тяжести в системе отношений *между* ними.

Как было показано выше, в ходе конкурентной борьбы, ведущейся между различными уделами, постепенно один княжеский дом одерживает верх над всеми остальными. Вместе с тем он во все большей мере принимает на себя функцию высшего регулятора всех процессов, происходящих в рамках крупной политической единицы, но сама эта властная функция как таковая не была сотворена данным княжеским домом. Она выпадает на его долю благодаря размерам накопленной в процессе борьбы собственности, вместе с переходом в его монопольное распоряжение инструментов, необходимых для ведения войны и сбора налогов. Эта функция возникает и усиливается благодаря росту дифференциации функций в общественном целом. С этой точки зрения может даже показаться парадоксальным, что на фазе образования государств занимающий центральные позиции правитель получает столь большую социальную силу; ведь на исходе Средневековья вместе с быстрой дифференциацией функций все более ощутимой становится зависимость государя от исполнителей других функций. Именно в это время расширяются и укрепляются взаимосвязи между цепочками функционально дифференцированных действий, центральная власть все больше выступает как функциональная по своему характеру. То, что получит окончательный институциональный облик после французской революции, в рассматриваемое нами время уже ощутимо, — по крайней мере, ощутимо в значительно большей мере, чем в Средние века. Ясным выражением этого является зависимость правителя от размера собираемых с подвластной ему территории денежных средств. Безусловно, Людовик XIV находился в гораздо большей зависимости от таких взаимосвязей, от разветвленных цепочек действий с их собственными законами, чем, скажем, Карл Великий. Как же получилось, что на этой фазе государь поначалу обрел такое пространство решений, такую меру социальной силы, что стало возможным вести речь о его «неограниченной» власти?

161

В действительности не одно лишь монопольное распоряжение инструментами военного насилия держало другие слои и представителей их верхушки (кстати, вовсе не лишенных силы) в подчинении у государей того времени. На этой фазе с присущими ей противоречиями своеобразная констелляция сил делала эти слои зависимыми от высшего координатора и регулятора. Эта зависимость была столь велика, что данные слои долгое время вынуждены были отказываться от борьбы за контроль над принятием наиболее важных решений и права голоса при подобных решениях.

Своеобразие такой констелляции останется непонятным, пока мы не проясним специфику человеческих отношений, все отчетливее заявлявшую о себе вместе с растущей дифференциацией функций. Эту особенность можно охарактеризовать как *явную или скрытую амбивалентность отношений*. Чем шире и богаче сеть взаимозависимости, в которую вплетены единичная социальная экзистенция или существование в обществе целого функционального класса, тем отчетливее заявляет о себе специфическая *двойственность*, даже *множественность интересов*. Все индивиды, группы, сословия или классы в какой-то форме зависимы друг от друга. Они являются потенциальными друзьями, союзниками или партнерами, но одновременно выступают и как потенциальные соперники, конкуренты или враги. В обществе с преобладанием натурального хозяйства отношения между людьми чаще всего остаются недвусмысленно негативными — это отношения явной, неприкрытой вражды. Когда кочевники врываются в уже заселенные области, то в отношениях между завоевателями и местными жителями нет ни малейшей функциональной зависимости. Такого рода группы связывает лишь отношения явной вражды, борьбы не на жизнь, а на смерть. В подобном слабо дифференцированном обществе велики и шансы возникновения простой и ясной взаимозависимости, отношений дружбы, союзничества, любви, службы, к которым не примешиваются никакие посторонние интересы. Своеобразное черно-белое видение мира, обнаруживаемое во многих средневековых книгах, где мы находим только преданных друзей и злодеев, хорошо показывает значительную склонность Средневековья к такого рода отношениям. Но в реальности того времени — в силу меньшей функциональной связи между людьми — мы часто сталкиваемся и с резким переходом от одной крайности в другую, от беззаветной дружбы к столь же абсолютной вражде. Когда социальные функции и интересы становятся более разветвленными и противоречивыми, мы все чаще обнаруживаем

своеобразный раскол в поведении и мироощущении людей, одновременное проявление позитивных и негативных элементов, смесь умеренного притяжения и умеренного отталкивания в различных пропорциях и оттенках. Редкой становится чистая вражда; направ-

162

ленное на противника действие все чаще в некоей форме угрожает и социальному существованию того, кто его предпринимает. Такое действие вторгается в работу функционально дифференцированного механизма, обеспечивающего социальное существование обеих сторон. Мы не будем углубляться в рассмотрение этой множественности расходящихся интересов, в ее следствия для политики или психологического *habitus'a* и его социогенеза, связанного с прогрессирующей дифференциацией функций. То немногое, что уже было сказано по этому поводу, показывает, что здесь мы имеем дело с одной из важнейших структурных особенностей обществ, характеризующихся высокой функциональной дифференциацией, — той особенностью, что обуславливает и выработку цивилизованного поведения.

Амбивалентными в этом смысле оказываются в ходе подобной дифференциации и отношения между различными политическими объединениями. Отношения между государствами наших дней — в первую очередь, европейскими — могут служить нам наглядным примером такой амбивалентности. Даже если переплетение и распределение функций *между* ними еще не столь велики, как функциональная дифференциация *внутри* каждого из них, тем не менее на сегодняшний день любое военное разрешение конфликтов угрожает в высшей степени дифференцированной сети наций как целому. Эта угроза настолько велика, что в конечном счете ухудшается положение самого победителя. Он может (а нередко и хочет) опустошить вражеские земли, изгнать их обитателей, чтобы переселить на них часть своего населения. Для победы ему требуется по возможности разрушить промышленный аппарат противника. Однако для того чтобы поддерживать мир в своей собственной стране, ему нужно в известной мере сохранять или даже восстанавливать этот аппарат противника. Он может добиться расширения колониальных владений, корректировки границ, получить рынки сбыта, экономические или военные преимущества — короче говоря, он может достичь общего превосходства над соперниками. Но так как в высокодифференцированном обществе всякий соперник или противник одновременно является партнером в рамках механизма разделения труда, то любое радикальное изменение в одном секторе этой сети неумолимо влечет за собой нарушения в других секторах. Конечно, от этого механизм конкуренции и монополии не перестает играть свою роль. Но неизбежная борьба за превосходство в целостной системе стран становится все более рискованной; при всех противоречиях и конфликтах данная система постепенно движется к однозначному единству — поначалу в виде *федеративного* объединения нескольких центров власти. Еще более амбивалентным в том же смысле вместе с ростом функциональной дифференциации оказывается и отношение между различными социальными слоями *внутри* каждой из

163

стран. Здесь также ведут борьбу (пусть на гораздо более узком поле) группы, социальное существование которых функционально зависит от тех соперников, с кем они борются. Они также в одно и то же время являются и противниками, и партнерами. Бывают пограничные ситуации, когда существующая организация общества функционирует столь плохо, а имеющиеся в ней противоречия оказываются настолько сильны, что большому числу людей или целым слоям «ничего не достается». В подобной ситуации негативная сторона амбивалентного отношения, т.е. противоречие интересов, может возобладать над позитивной, т.е. над общностью интересов, проистекающей из взаимозависимости функций. И если такое преобладание окажется достаточно большим, дело может дойти до насильственного решения конфликта, резкого сдвига социального равновесия, реорганизации общества на новом социальном базисе. Но вплоть до возникновения подобной революционной ситуации многообразные и противоречивые интересы функционально связанных друг с другом слоев определенным образом сосуществуют. Обе противоборствующие стороны колеблются между стремлением добиться от своего соперника больших или меньших уступок и страхом того, что борьба с ним способна разрушить весь социальный аппарат, от функционирования которого зависит и их собственное социальное существование. Такая констелляция, такая форма отношений представляет собой ключ к пониманию изменения социальной силы носителя центральной функции. Там, где кооперация между могущественными функциональными классами происходит без особого труда, а противоречия в интересах между ними не настолько сильны, чтобы превзойти выгоды от взаимной зависимости, угрожая функционированию всего социального аппарата, там оказывается более или менее ограниченным и пространством решений, отводимое центру. Это пространство начинает расти вместе с ростом напряженности между главными общественными группами; оптимальной величины оно достигает в том случае, когда функциональные классы настолько заинтересованы в сохранении своего социального существования в наличной форме, что опасаются любых сбоев в работе аппарата в целом, способных привести к изменению их собственного положения. Но в то же самое время структурные противоречия в интересах, существующие между могущественными функциональными группами, столь значительны, что невозможен постоянный и добровольный компромисс между ними; социальные стычки раз за разом возобновляются, не приводя ни к решительной победе, ни к полному поражению одного из соперников. Наиболее четко это видно на тех фазах развития, когда различные группы и слои общественного объединения примерно равны по силе и находятся в известном равновесии, даже если они институционально не

равны друг другу, — например, как дворянство и буржуазия, либо буржуазия и рабочий класс. Тот, кто при такой констелляции сил, в таком встревоженном, уставшем от безрезультатной борьбы обществе сумеет овладеть высшим органом контроля и регулирования, получит возможность (принуждая расколотое общество идти на компромисс) поддерживать социальное равновесие, установившееся во взаимоотношениях групп с противоречащими друг другу интересами. Расходящиеся по своим интересам группы не могут ни обойтись друг без друга, ни примириться друг с другом. По этой причине сохранение их актуального социального существования оказывается в огромной мере зависимым от высшего центра координации. При этом данная зависимость гораздо больше, чем в том случае, когда взаимосвязанные интересы расходятся не столь значительно, что облегчает прямые контакты между представляющими эти интересы группами. Когда у функциональных классов (или, по крайней мере, у деятельной верхушки этих классов) дела идут не настолько плохо, чтобы они решились пойти на риск утраты своего наличного социального существования, но в то же самое время они ощущают угрозу, исходящую друг от друга, стараются избежать малейшего нарушения установившегося равновесия, опасаются минимального усиления другой стороны, — в таком случае силы этих классов нейтрализуют друг друга. Это дает центральной власти большие, чем при любой другой констелляции, шансы в обществе: ее носители, как бы они ни назывались, получают оптимальное пространство для действия. В истории мы встречаемся с многообразными вариантами такого рода фигур. Мы уже говорили о том, что в явной форме они выступают только в обществе с высоким уровнем дифференциации, тогда как в обществе, характеризуемом меньшей взаимозависимостью и меньшим разделением функций, действие центральной власти на обширных территориях обеспечивается только благодаря военным победам и воинской силе. В дифференцированном обществе ведущую роль в поддержании сильной центральной власти, конечно, играет и защита от внешней угрозы. Но если на время отвлечься от фактора внешних сношений общества и его роли в поддержании внутреннего равновесия сил, если задать вопрос о том, как в принципе возможна сильная центральная власть в дифференцированном обществе с равномерным распределением функций, то всякий раз, пытаясь ответить на него, мы обнаруживаем одну и ту же специфическую констелляцию. Данная констелляция поначалу выступает в виде общей схемы: *в значительно дифференцированном обществе сильная центральная власть устанавливается тогда, когда амбивалентность интересов важнейших функциональных групп столь велика, а равновесие между ними столь неустойчиво, что невозможны ни достижение окончательного компромисса, ни решительная борьба за победу.*

Таков аппарат взаимодействия, для краткости обозначенный здесь как «королевский механизм». В самом деле, именно такая констелляция позволила центральной власти достичь оптимальной социальной силы в эпоху «абсолютизма». Однако подобный аппарат поддержания равновесия не сводится к королевской власти и ее социогенезу; мы обнаруживаем его в дифференцированных обществах в основании любого сильного единовластия, как бы оно ни именовалось. Всякий раз находящийся в центре индивид или группа людей балансируют на противоречиях между зависимыми друг от друга большими или малыми группами, которые сдерживают друг друга, выступая одновременно и как противники, и как партнеры. Такое взаимоотношение может показаться на первый взгляд в высшей степени хрупким механизмом. Но историческая реальность демонстрирует, насколько велика принудительная сила, насколько неумолимо действие этого аппарата, как и всех других аппаратов взаимодействия. Он связывает между собой входящих в него людей и выступает сдерживающим фактором их поведения до тех пор, пока груз, из поколения в поколение накапливавшийся на одной чаше весов, не становится чрезмерным, и это не приводит к более или менее насильственному разрыву этой взаимной связи, что создает возможность образования новой формы сплетения взаимосвязей.

Социальная закономерность ставит находящегося в центре правителя и центральный аппарат в особое положение, причем тем решительнее, чем более специализированным являются этот аппарат и его органы. Правитель и люди из его штаба могут быть выходцами из какой-то одной социальной формации, они могут рекрутироваться преимущественно из одного социального слоя, но стоит такому представителю данного слоя занять соответствующее положение в рамках центрального аппарата и в нем укрепиться, как он оказывается во власти закономерности, свойственной такому аппарату. Данная закономерность принуждает его дистанцироваться от всех групп и слоев общества, в том числе и от той группы, что привела его в аппарат, от того слоя, представителем которого он первоначально являлся. В дифференцированном обществе у находящегося в центре правителя в силу специфики его функций имеются и специфические интересы. Поскольку его функция заключается преимущественно в защите общества в целом, в сохранении его в таком состоянии, какого оно достигло к этому времени, постольку правитель заинтересован в поддержании известного равновесия между интересами других функциональных групп. Уже сама эта подсказываемая повседневным опытом задача, уже тот ракурс, в котором он смотрит на ход дел в обществе, побуждают его более или менее

дистанцироваться от прочих функциональных групп. Но одновременно он, как и все прочие люди, должен заботиться о сохранении собственного социального существования, о том, чтобы его социальная сила не

уменьшалась, — скорее, даже о том, чтобы она росла. В этом смысле правитель сам представляет собой одну из партий, участвующих в борьбе общественных сил. Хотя его интересы связаны с безопасным функционированием общества в целом (такова специфика его функций), он одновременно должен помогать одним и препятствовать другим в достижении ими определенных социальных позиций, а также вступать в союзы, при этом имея целью укрепление собственных позиций. Интересы центрального правителя никогда не являются *полностью* идентичными интересам какого-либо слоя, какой-либо группы данного общества. На некоторое время они совпадают с интересами той или иной группы, но если правитель чрезмерно отождествляет себя с одной группой и уменьшает дистанцию между ней и собой, то раньше или позже возникает угроза его собственному положению. Ведь сила его позиции, как уже было сказано, с одной стороны, зависит от некоего равновесия между различными группами, от определенного уровня кооперации между ними; но, с другой стороны, она зависит и от напряженности в отношении между группами, от противоречия их интересов. Правитель ослабляет собственные позиции, если всеми силами поддерживает единственную группу, состоящую из людей его окружения или представляющую собой часть более широкого общественного целого, за счет других, способствуя тем самым ее усилению. Когда одна группа (или один слой) получает превосходство над прочими, уменьшается ее зависимость от высшего координатора, даже если сама эта группа далека от внутренней сплоченности и сама разрывается сильнейшими противоречиями. Ничуть не в меньшей мере позиции центрального правителя подрываются и в том случае, если напряженность в отношениях между главными группами общества уменьшается настолько, что они сами оказываются способными урегулировать вопросы кооперации и объединиться в своих действиях. Это справедливо по крайней мере в случае относительно мирного времени. Во время войны, когда всему обществу (или его важнейшим группам) угрожает внешний враг, ослабление внутренней напряженности служит целям правителя и не представляет для него опасности. Одним словом, правитель и его аппарат образуют в обществе своеобразный центр, наделенный собственными интересами. Занимаемая им позиция часто побуждает его скорее вступать в союз с силами второго порядка, чем отождествлять себя с сильнейшей группой общества. В его интересах оказываются как поддержка кооперации между противоборствующими группами, так и сохранение напряженности между ними. Тем самым его

167

положение зависит от амбивалентности в отношениях между различными социальными формациями, но кроме того, само его отношение к каждой из формаций амбивалентно.

Общая схема работы возникающего таким образом социального аппарата достаточно проста. Как индивид, монарх несравнимо слабее, чем общество в целом, верховным служителем которого он является. Стоит всему обществу или даже существенной его части объединиться и выступить единым фронтом против центрального правителя, и он оказывается не в силах выдержать такое давление, подобно тому, как любой индивид бессилён в сравнении с давлением всей сети взаимосвязанных людей. Особое положение человека, наделенного всей полнотой власти, объясняется именно тем, что имеющиеся в обществе интересы отчасти совпадают, а отчасти противоположны друг другу, тем, что люди в своих действиях и кооперируются, и борются друг с другом, — т.е. оно объясняется фундаментальной амбивалентностью социальных отношений в дифференцированном социальном объединении. Бывают ситуации, когда позитивная сторона этих отношений превалирует или, по крайней мере, не перекрывается негативной их стороной. На пути к полному приоритету негативной стороны данных отношений имеются переходные фазы, когда антагонизм интересов столь велик, что в сознании участников их взаимозависимость отступает на задний план, хотя еще целиком и не утрачивает своей значимости. Так возникает обрисованная выше фигурация: силы различных частей общества находятся в примерном равновесии; напряженность дает о себе знать в непрекращающихся крупных и мелких стычках, но ни одна из сторон не способна победить или уничтожить другую; в то же время они не могут достичь согласия, поскольку усиление одной стороны угрожает социальному существованию и интересам другой; они не могут и игнорировать друг друга, поскольку выступают как взаимозависимые. Такова ситуация, дающая оптимальную власть королю, человеку, находящемуся на вершине общества, центральному правителю. Эта ситуация недвусмысленно показывает ему, в чем заключаются его собственные интересы. В сети сильных взаимозависимостей и сильных антагонизмов рождается социальный аппарат, который можно было бы назвать опасным и даже страшным изобретением, будь последнее плодом усилий некоего единственного социального инженера. Но, как и все социальные образования подобных фаз истории, этот «королевский механизм», дающий полноту власти одному человеку, выступающему в качестве высшего координатора, формируется постепенно и без всякого плана, в ходе социальных процессов.

Наглядно работу этого аппарата можно представить как своего рода перетягивание каната. Группы, социальные образования, обладающие примерно равной мощностью, тянут его в разные

168

стороны. Противоборствующие стороны напрягают все силы, но не могут сдвинуться с места. Если в ситуации подобной напряженности, возникающей между группами (они тянут канат в разные стороны и одновременно связаны между собой тем же самым канатом), мы представим себе человека, не принадлежащего ни к одной из групп и имеющего возможность помогать то одной, то другой из них, но тщательно следящего за тем, чтобы напряженность не уменьшалась, чтобы ни одна из групп не одержала

верх и не перетянула канат на свою сторону, то он оказывается именно тем лицом, кто данную напряженность создает. Минимальное усилие одного-единственного человека, само по себе не способное привести в движение какую-либо одну из этих групп, не говоря уж об их объединении, при такой конstellации социальных сил оказывается достаточным для того, чтобы вызвать перемены в обществе в целом. Понятно, почему это удастся: в подобном равновесии скрыты огромные силы, и они не могут прийти в действие, если не будет спущен курок, на котором лежат пальцы одного человека. Именно этот человек запускает механизм противоборства сил. Он присоединяет свою силу к латентным силам то одной, то другой стороны и тем самым обеспечивает небольшой перевес одной из них. Социальный аппарат при таком положении дел представляет собой своего рода переключатель энергии, автоматически дающий обладающему им индивиду огромную власть и при затрате минимальных сил. Такой человек должен только чрезвычайно предусмотрительно обращаться с этим аппаратом, чтобы тот мог сравнительно долгое время функционировать без помех. Стоящий у руля ничуть не в меньшей мере подчиняется принудительной силе закономерности, чем все его подданные. Пространство решений у него несколько шире, но он тоже в высшей степени зависим от структуры этого аппарата: его власть ни в каком смысле не является «неограниченной».

Здесь представлен лишь схематичный набросок схемы соотношения социальных сил, благодаря которому центральный правитель приобретает оптимальную власть. Но и такой набросок ясно и отчетливо демонстрирует основополагающую структуру социальной позиции правителя. Не из-за случайности — вроде рождения правителя, наделенного большой личной мощью, — но именно благодаря определенному строению общества центральный орган получает оптимальную силу, что обычно сочетается с появлением на исторической арене сильного самодержца. Возникновение у центрального правителя в дифференцированном обществе относительно большого пространства решений связано с тем, что данный правитель стоит в точке пересечения социальных противоречий и способен вести свою игру, используя противоположные интересы и амбиции и удерживая их в равновесии.

169

Разумеется, эта схема в какой-то мере упрощает действительное положение дел. В сколько-нибудь дифференцированных объединениях в том поле напряжения, каковым является каждое общество, равновесие реализуется во взаимодействии целого ряда групп и слоев. Однако значение такой многополюсной напряженности для позиций находящегося в центре правителя является таким же, что и обрисованное нами с помощью двухполюсной схемы.

Антагонизм между различными частями общества, конечно, далеко не всегда выступает в форме сознательной борьбы между ними. Напряженность возникает не столько вследствие осознаваемым планам и целям борьбы, сколько из-за анонимного механизма сплетения взаимосвязей. Достаточно привести в качестве примера такие механизмы, как растущая монетаризация и коммерциализация хозяйства, которые к концу Средневековья гораздо в большей мере поспособствовали социальному падению феодалов-рыцарей, чем сознательные планы городских буржуа. Но как бы ни выражались в планах и целях отдельных людей или групп антагонизмы, порождаемые ростом денежного обращения, именно их возникновение обусловило появление противоречия между усиливающимися городскими слоями и функционально слабеющими землевладельцами. Вместе с ростом сети такого обращения росло и пространство принятия решений тех, кто в ходе конкуренции и в силу ее механизма занял место центрального правителя, короля, чтобы затем, балансируя между интересами буржуазии и дворянства, обрести оптимальную силу в той форме, что получила название абсолютизма.

19

Выше мы уже ставили вопрос о том, как вообще возможны формирование и длительное сохранение в дифференцированном обществе абсолютистской по своей силе центральной власти, учитывая то, что правитель здесь ничуть не менее зависим от работы функционального механизма, чем люди, занимающие в данном аппарате иные позиции. Ответ нам дает схема «королевского механизма». Социальная сила правителя на этой фазе объясняется уже не только его военной мощью и размерами его собственности, хотя без этих двух компонентов центр общественного объединения вообще не может функционировать. Для достижения оптимального могущества, подобного тому, что приобрел монарх в век абсолютизма, центральной власти требуется особое распределение сил внутри общества.

Действительно, социальный институт королевской власти достигает максимума своей социальной силы на той фазе истории общества, когда слабеющее дворянство уже вынуждено во многих отношениях соперничать с возвышающимися буржуазными группами, причем ни те, ни другие не могут одержать верх

170

и решительно вытеснить противника с оспариваемого поля. Быстрая монетаризация и коммерциализация общества, идущие на протяжении XVI в., выдвигают вперед буржуазные группы и существенно оттесняют на задний план большую часть рыцарства, старого дворянства. Под конец той борьбы, что послужила выражением этой серьезнейшей трансформации общества, взаимная зависимость, возникшая между частью дворянства и частью буржуа, существенно выросла. Дворянство, социальная функция и сам облик которого в это время радикально меняются, имеет теперь дело с третьим сословием, а представители этого сословия уже приобрели значительную социальную силу и стали стремиться вверх гораздо настойчивее, чем раньше. Многие семьи старого рыцарского дворянства вымерли. Многие главы буржуазных семей получили

дворянство, и уже их потомки через несколько поколений начинают отстаивать интересы трансформировавшегося дворянства в борьбе с буржуа: тесное переплетение интересов ведет и к их неизбежному противостоянию.

Тем не менее в то время целью буржуазного сословия или, по крайней мере, его верхушки, было вовсе не устранение дворянства как социального института — в отличие от того, к чему стремилась немалая часть буржуа в 1789 г. Высшей целью, которую ставил отдельный буржуа для себя и для своего семейства, было обретение дворянского титула и соответствующих привилегий. Высшие группы буржуазии хотели получить привилегии и престиж дворянства шпаги. Поэтому они вовсе не желали уничтожения дворянства как такового, но хотели быть новым дворянством вместо старой знати или наряду с ней. Эта верхушка третьего сословия, «noblesse de robe», в XVII в. и особенно в XVIII в. не устает повторять, что ее знатность ничуть не уступает знатности старого дворянства шпаги. Это соперничество заявляло о себе, конечно, не только в виде речей и идеологий. За словами более или менее явно прослеживалась борьба за властные позиции, идущая между представителями обоих сословий.

Мы уже как-то говорили о том, что понимание констелляции социальных сил времен абсолютизма затрудняется тем, что буржуазию той эпохи часто уподобляют формации, носящей то же имя сегодня (или даже носившей его вчера), считая типичным и социально наиболее важным ее представителем «независимого торговца». Но для буржуазии XVII—XVIII вв. (по крайней мере — в крупных континентальных странах) наиболее репрезентативным и самым влиятельным в обществе типом был человек, находящийся на службе у князя или короля. Далекие предки этих людей были ремесленниками и купцами, но сами они занимали посты в аппарате власти. До того, как торговые слои стали группой, репрезентирующей верхи буржуазии, это место занимали другие представители третьего сословия, которых на современном языке можно назвать государственными служащими.

171

В разных странах структура и характер этих постов в государственном аппарате в значительной мере различны. В старой Франции важнейшие представители буржуазии являли собой некую смесь рантье и чиновника; это был человек, купивший себе пост в государственном аппарате и тем самым получивший его в личную и равным образом частную собственность (в качестве таковой он мог также унаследовать пост от своего отца). Обладая этим постом, он имел целый ряд привилегий: скажем, многие посты освобождали занимавшего его чиновника от уплаты налогов. Вложенный в покупку поста капитал возвращался в виде постоянно получаемого оклада, сборов и прочих доходов.

К такой буржуазии относились и носители «мантии», представлявшие буржуа в сословных парламентах во времена «ancien régime». В рамках этих собраний и вне их они — чаще всего •председатель палаты — также выражали интересы своего сословия, защищая их перед лицами представителей других сословий и перед троном. В требованиях и заявлениях, в политической тактике этой группы, репрезентирующей верхушку буржуазии, находили свое выражение социальные вес и сила третьего сословия. Конечно, интересы высшего слоя буржуа далеко не всегда совпадали с интересами прочих буржуазных групп. Общим для всех этих групп был прежде всего *один* интерес (наряду с некоторыми другими) — сохранение многочисленных привилегий. Наличие особых прав, привилегий было характерно для социального существования не только дворян или чиновников, но и купцов, и объединенных в цехи ремесленников того времени. Какими бы ни были сами эти привилегии, буржуазия, обладавшая хоть каким-то социальным весом, вплоть до второй половины XVIII в. представляла собой, как и дворянство, сословие — т.е. формацию, характеризующуюся наличием у нее особых прав. Здесь мы вновь сталкиваемся с особенностями социального механизма, препятствовавшими любому решительному выступлению буржуазии подобного рода против своего соперника — дворянства. Оспаривались те или другие исключительные права дворянства, но речь никогда не шла об устранении самого института привилегий, который делал дворянство особым сословием: ведь собственное социальное существование буржуазии также основывалось на привилегиях и защищалось ими.

Когда в клеточной структуре общества набирают силу те группы буржуазии, социальный базис которых не зависел от сословных привилегий, когда в связи с этим все в больших секторах общества все эти исключительные права, гарантированные или созданные правительством, начинают восприниматься как тяжкое бремя и помеха всему ходу дел, лишь тогда обнаруживаются социальные силы, готовые вступить в решительную борьбу с дворянством, ибо они хотят устранить уже не отдельные

172

привилегии знати, но сам общественный институт дворянских привилегий.

Но такие группы новой буржуазии, оспаривающие необходимость самого наличия привилегий, одновременно — осознают они это или нет — подрывают основы старых буржуазных формаций, раскачивают фундамент социального существования сословной буржуазии. И привилегии последней, и сама сословная ее организация обладали социальными функциями лишь при существовании противостоящего ей дворянского сословия. Сословия были враждующими — точнее сказать, находившимися в амбивалентных отношениях — братьями, взаимозависимыми клетками одного и того же общественного организма. Вместе с уничтожением одного сословия как института автоматически пали и все прочие — пал весь этот порядок. Революция 1789 г. в действительности была не просто борьбой буржуазии против дворянства. Она ликвидировала социальное существование сословной буржуазии, в первую очередь носителей «мантии»,

привилегированных чиновников из третьего сословия, равно как и сословия цеховых ремесленников, ничуть не менее решительно, чем дворянского сословия. Этот общий конец сословной буржуазии и дворянства проливает свет на предшествующее социальное развитие, на констелляцию сил, специфическую для предшествующей фазы. Он служит наглядной демонстрацией тех тезисов, что ранее в самой общей форме выдвигались относительно взаимозависимости и амбивалентности интересов социальных слоев, а также относительно аппарата равновесия, возникшего вместе с этой констелляцией и придавшего социальную силу центральной власти. В век абсолютизма — вплоть до появления новой, не-сословной буржуазии, медленно отделявшейся от старой, — политически релевантная часть буржуазии по своим интересам, действиям, мышлению была целиком привязана к специфическому равновесию, характерному для сословного устройства общества. Именно поэтому при всех противоречиях, существующих у нее с дворянством и духовенством, эта буржуазия, как и два других сословия, всякий раз оказывалась в ловушке из-за своих собственных интересов. В отстаивании собственных интересов буржуа никогда не осмеливались чересчур сильно задевать дворянство, поскольку тем самым они ранили бы и самих себя. Любой решительный удар по дворянству как институту привел бы к развалу всего государственного и общественного аппарата, что неизбежно задело бы социальное существование и привилегированной буржуазии. Все базирующиеся на привилегиях сословия были равно заинтересованы в том, чтобы не заходить слишком далеко в борьбе друг с другом; более всего они боялись глубокого потрясения и резкого нарушения равновесия в социальном аппарате в целом.

173

Но они не могли и избежать этой борьбы, поскольку интересы, сходящиеся в одном пункте, в остальном были диаметрально противоположны. Таково уж было соотношение социального веса данных сословий, столь велико было соперничество между ними, что любое преимущество, любое усиление одной стороны ощущалось как угроза для другой. Разумеется, с обеих сторон не было недостатка в людях, поддерживающих вежливые, если не дружеские, отношения с членами другой группы, но в целом отношения между представителями обоих сословий — и прежде всего между верхними их слоями — на протяжении всего существования «ancien régime» были в высшей степени напряженными. Действия одного вызвали опасения у другого, и все наблюдали друг за другом с неослабевающим недоверием. Кроме того, эта важнейшая ось противоречий между дворянством и буржуазией входила в целостную сеть других, не менее амбивалентных отношений. Чиновная иерархия аппарата светской власти непрерывно находилась в явной или скрытой конкурентной борьбе за полномочия и престиж, которую она вела с церковной иерархией. Последняя, в свою очередь, в ряде вопросов противостояла тем или другим кругам дворянства. В этой многополюсной системе противоборств постоянно, по самым разным, зачастую совершенно незначительным поводам происходили взрывы и стычки. За идеологической полемикой скрывалась борьба социальных сил.

Переходя то на одну, то на другую сторону, король и его представители успешно направляли работу всей этой системы. Социальная сила короля была столь значительной именно потому, что структурная напряженность между основными группами этого сплетения социальных связей было слишком велико, чтобы дело могло дойти до прямого компромисса и совместного решения вопросов, а тем самым и общего выступления против короля.

Известно, что в тот период единственной страной, где буржуазные и дворянские группы сумели совместно выступить против короля, стала Англия. Какими бы ни были особенности строения английского общества, снижавшие напряженность между сословиями и обеспечивавшие стабильные контакты между их представителями, сама социальная констелляция, которая, несмотря на все отклонения, привела к ограничению пространства решений центрального правителя, позволяет ясно понять, какое сплетение взаимосвязей в других странах способствовало приобретению здесь центральной властью той значительной социальной силы, что проявилась в облике абсолютизма.

Во Франции XVI в. и даже начала XVII в. еще было немало людей самого разного социального происхождения, пытавшихся объединить различные общественные формации в борьбе против угрожающе возросшей королевской власти. Все эти по-

174

пытки потерпели крах. Гражданские войны и бунты отчетливо демонстрируют, что и во Франции имелись различные сословные группы, желавшие ограничить пространство решений короля и его представителей. Но столь же ясно они показывают существовавшие соперничество между группами и противоположность их интересов, серьезно затруднявшие общее движение в этом направлении. Каждая из групп желала ограничить королевскую власть ради собственных устремлений, каждая была достаточно сильна, чтобы воспрепятствовать другой группе достичь той же цели. Они держали друг друга в страхе, и в результате все они оказались в зависимости от одного могущественного короля.

Одним словом, в ходе крупной общественной трансформации, функционально усилившей группы буржуазии и ослабившей группы дворянства, настала такая фаза, когда обе функциональные группы — при всех противоречиях, существовавших с прочими группами и внутри них самих, — в целом оказались равными по силе. Так возникла возможность для возвышения — на короткое или на долгое время — аппарата, описанного выше как «королевский механизм»: противоречия между обеими важнейшими группами слишком велики, чтобы они могли достичь окончательного компромисса; тесная

взаимозависимость социального существования обеих групп препятствует решению вопроса о превосходстве одной из них путем открытой борьбы. Не будучи способны объединиться, они не могли сражаться и побеждать, а потому принятие всех тех решений, которых они не могли добиться самостоятельно, передоверялось королю.

Как уже было замечено, этот аппарат возник без всякого плана, по ходу социального процесса. То, насколько хорошо им управляли, зависело в огромной мере от личности человека, на чью долю выпадала функция центрального правителя. Нам будет достаточно привести несколько исторических фактов, чтобы проиллюстрировать все сказанное в общем виде об образовании этой функции и о работе «королевского механизма» в эпоху абсолютизма.

20

В обществе IX—X вв. имелось два слоя свободных членов общества — представители клира и воины. Ниже на социальной лестнице находились массы более или менее не свободных людей, не имевших оружия, не принимавших активного участия в общественной жизни даже в том случае, если от их деятельности зависело само существование общества. Рыцари были землевладельцами, хозяйствовавшими в условиях относительной автаркии, а потому мало зависели от координирующей деятельности центра государства. Таковы были особенности общества, суще-

175

ствовавшего на западнофранкских землях. Зависимость клириков от короля — по целому ряду причин — была гораздо большей. В отличие от немецкой империи, в землях западных франков церковь никогда не обладала значительной светской властью. Архиепископы здесь не становились герцогами. Церковные пэры в общем и целом оставались вне системы конкурирующих удельных князей. Поэтому центробежные интересы, направленные на ослабление позиций центрального правителя, были у них не так уж сильны. Владения церкви были разрознены и находились среди земель светских феодалов, постоянно на них нападавших. Поэтому церковь была заинтересована в единой центральной власти короля, достаточно могущественного для того, чтобы прекратить это насилие со стороны феодалов-мирян. Непрестанно возникающие распри, малые и большие войны, разгоравшиеся то тут, то там, сурово осуждались монахами и прочими представителями духовенства. Клирики, конечно, в то время были значительно более воинственными, чем впоследствии, но все же война не являлась основным способом и средством их существования. Распри и войны довольно часто противоречили их интересам. Вновь и вновь священники и настоятели аббатств всех земель, подвергающиеся насилию и лишенные своих прав, взывали к королю как к судье.

Тесные отношения между королями-Капетингами и церковью, лишь изредка омрачаемые взаимонепониманием, вовсе не были случайными. Их причина заключалась не только в личной набожности первых Капетингов, но также в очевидном совпадении интересов короны и церкви. На этой фазе величие королей для священников, помимо всего прочего, было и орудием борьбы с представителями военной касты. Церемония освящения церковью королевской власти, помазание и коронование, все более недвусмысленно приобретала черты церковной инвеституры: королевская власть получала сакральный характер, в каком-то смысле она становилась церковной функцией. На землях западных франков, в отличие от других обществ, известное слияние светской и духовной власти происходило только в таких случаях. Очень скоро это направление развития здесь прервалось. В немалой мере это зависело от строения самой христианской церкви. Она была старше и организационно значительно прочнее, чем подавляющее большинство институтов светской власти того времени; у нее имелся верховный властитель, выдвигавший недвусмысленные притязания не только на духовное, но и на светское превосходство над всеми прочими владыками. Раньше или позже неизбежно должны были возникнуть конкуренция и борьба за превосходство между папой и светскими государями, правившими в тех или иных областях. Эта борьба повсюду закончилась тем, что папа был вынужден ограничиться духовными делами, а мирской характер власти императора и королей приобрел

176

более четкое выражение. Хотя включение данной власти в церковную иерархию и в церковные ритуалы не исчезло совсем, но оно во многом утратило свое значение. Но все же стоит обратить внимание на то, что такого рода явления, как попытки церковной власти ассимилировать светскую, существовали и в западном мире — прежде всего для сравнения исторических структур и разъяснения различий между социальными процессами в разных частях земли.

Со своей стороны, короли западных франков поначалу тесно сотрудничали с церковью, что соответствовало указанным выше закономерностям строения королевских функций. Они поддерживали более слабые группы в борьбе с наиболее сильными и опасными. Номинально они были господами для всех прочих рыцарей, получавших от них в лен земли. Но на территории владений крупных феодалов они тогда были практически бессильны; даже на собственных землях их власть была весьма ограниченной. Тесная связь королевского дома с церковью превращала монастыри, аббатства и епископства, разбросанные по землям других феодалов, в бастионы королевской власти. Церковь как бы предоставляла в распоряжение королей духовное влияние своей организации, распространявшееся на всю страну. Короли нередко прибегали к услугам грамотных клириков, пользовались политическим и организационным опытом церковной бюрократии, равно как и ее финансовыми возможностями. Остается неясным, имелись ли вообще у королей раннего

капетингского периода иные доходы, помимо доходов со своей собственной территории, приходили ли к ним хоть какие-то налоги со всей территории западных франков. Но даже если таковые существовали, они в любом случае мало что прибавляли к тому, что короли получали со своих земель. Об одном можно говорить с полной уверенностью: они получали налоги с церковных земель, находящихся вне королевских владений; они распоряжались доходами, скажем, вакантного епископства, а при чрезвычайных обстоятельствах могли получить от церкви и дополнительные средства. Если что и давало преимущество традиционному королевскому дому перед конкурирующими с ним домами, если что и помогало Капетингам утвердиться в ходе ранней «борьбы на выбывание» на своих собственных землях, то это был союз номинально существующего центрального правителя с церковью. На данной фазе развития, характеризующейся мощными центробежными тенденциями, именно благодаря этому союзу формировались социальные силы, работавшие и на отдельных королей, и на сохранение королевства, и на новую централизацию власти. Значение клира как социальной силы, способствующей централизации, уменьшается (хотя и не исчезает вовсе) вместе с подъемом третьего сословия. Но уже на ранней фазе развития общества мы видим и то, что центральные правители

177

используют в своих целях противоречия между различными социальными группами — в данном случае между духовенством и рыцарством, — и то, что сами они находятся в сильнейшей зависимости от этих противоречий и являются их пленниками. Могущество многих феодалов сближает короля и церковь, хотя между ними случалось и немало мелких конфликтов. Но до крупного столкновения между короной и церковью, до борьбы за власть дело дошло только тогда, когда в руки королей поплыли деньги из буржуазного лагеря. Это произошло во времена Филиппа Августа.

21

Вместе с появлением третьего сословия поле противоречий усложнилось, произошло смещение оси напряженности внутри общества. Ранее эту ось образовывала система конкурирующих друг с другом земель или уделов, и именно здесь лежало главное противоречие, с которым соотносились все прочие антагонизмы — вплоть до того момента, пока один из этих центров не получил решающий перевес. Подобно этому, в любой другой системе власти также имеется центральное противоречие, вокруг которого кристаллизуются многочисленные более мелкие. Силы, противостоящие друг другу в данных антагонизмах, постепенно смещаются либо к одному, либо к другому основному полюсу. Если в XI—XII вв. амбивалентное отношение между духовенством и рыцарством занимало центральное место во всей совокупности социальных противоречий, то в дальнейшем оно постепенно отступает перед антагонизмом между рыцарями и городскими буржуа, превращаясь в основное противоречие в обществе. Вместе с этим антагонизмом, равно как и вместе с социальной дифференциацией, нашедшей свое выражение в этом противоречии, позиция центрального правителя приобретает новое значение: растет зависимость всего общества от лица, осуществляющего функцию высшего координатора. Поднимающиеся в ходе борьбы за превосходство короли накапливают земли и все отчетливее дистанцируются от прочих рыцарей за счет той позиции, которую они занимают в поле напряженности между рыцарством и городскими слоями. Хотя по своему происхождению они и принадлежат к рыцарству, в этом поле они не становятся однозначно на его сторону. Они балансируют, постоянно смещая центр тяжести в пользу то одной, то другой стороны. Первой вехой на этом пути было завоевание прав городами-коммунами. Подобно всем прочим феодалам, короли, правившие на этой фазе развития, — прежде всего Людовик VI и Людовик VII, — равно как и их окружение, не доверяли коммунам и относились к ним по меньшей мере с «полувраждебностью»¹⁰¹, в особенности к тем, что существовали в пределах их собствен-

178

ного домена. Пользу, которую можно было извлечь из этого необычного образования, они уловили не сразу. Как и всегда, потребовалось какое-то время для того, чтобы короли осознали огромную выгоду формирования третьего сословия в клеточной структуре общества. Но осознав, они стали последовательно отстаивать его интересы — до тех пор, конечно, пока эти интересы отвечали их собственным. Они способствовали прежде всего росту финансового потенциала буржуазии, находившего свое выражение в размере собираемых с них налогов. Но всеми силами — пока таковые имелись — короли подавляли стремление городов обрести властные функции, а такие претензии также дали о себе знать вместе с ростом экономического и социального веса городских слоев. Усиление королей и возвышение буржуазии функционально тесно взаимосвязаны; осознавая это или нет, эти две силы способствовали укреплению социальных позиций друг друга, хотя их отношения оставались амбивалентными. Было немало и враждебных действий с обеих сторон, причем поначалу нередко возникали поводы, обуславливающие совместные попытки дворянства и буржуазии ограничить административное господство королей. На протяжении всего Средневековья короли вновь и вновь оказывались в ситуации, когда для принятия неких мер им требовалось согласие сословных собраний. То, как проходили заседания небольших региональных собраний или Генеральных Штатов, представлявших значительную часть королевства, отчетливо показывает, насколько тогдашнее общество — при всех противоречиях в его строении — отличалось от общества периода абсолютизма¹⁰². Сословные парламенты (достаточно вспомнить об английском) функционировали наподобие партийных парламентов, характерных для буржуазно-промышленного общества, пока речь шла о достижении согласия между представителями различных слоев и пока таковое

было возможно. Они работали тем хуже, чем с большим трудом удавалось найти прямой компромисс интересов, чем выше была напряженность в обществе. Вместе с ростом напряженности увеличивались и шансы центрального правителя. При слабо развитых торгово-денежных отношениях, свойственных средневековому миру, взаимные связи и антагонизмы между рыцарями-землевладельцами и городскими буржуа были еще не столь велики, чтобы приходилось передоверять регулирование отношений между этими слоями центральному правителю. Каждое сословие, равным образом рыцари, буржуа и духовенство, при всех контактах друг с другом жили еще относительно независимо друг от друга. Сословия еще не столь часто вступали в конкуренцию за одни и те же социальные шансы. Верхушка буржуазии была еще далеко не так сильна, чтобы ставить под сомнение социальное превосходство дворянства и духовенства. Существовало только одно место, где с помощью короля возвышающиеся

179

буржуазные элементы стали постепенно теснить рыцарей и духовных лиц. Это произошло в рамках аппарата господства, или, говоря нашим современным языком, — на государственной службе.

22

Зависимость королевской власти от процессов в обществе в целом со всей очевидностью проявилась в развитии аппарата господства, в дифференциации всех тех институтов, которые поначалу были лишь элементами ведения королевского домашнего хозяйства или управления его доменом. Пока свободными в обществе были в основном рыцари и священники, аппарат господства формировался именно из них. Хотя, как уже говорилось ранее, клирики, или «clercs», чаще были верными слугами и защитниками королевских интересов, тогда как феодалы, даже находившиеся при дворе и на королевской службе, часто оказывались соперниками короля, больше думающими об укреплении собственных, нежели королевских, властных позиций. Вместе с последующей дифференциацией рыцарства, происходившей вне данного аппарата, вместе с разделением по ходу «борьбы на выбывание» рыцарей на крупных и мелких феодалов возникает новая констелляция сил, что отражается на строении растущего аппарата господства. Его штаб состоит из клириков и выходцев из мелких феодальных домов; крупные феодалы занимают в нем лишь ряд отдельных позиций, выступая, скажем, в качестве членов Большого Совета (или представителей более узкого круга советников короля).

Уже в это время в королевской администрации насчитывалось немало людей, вышедших из слоев, стоявших ниже рыцарей и клириков, хотя лица несвободного происхождения в развитии французского центрального аппарата сыграли меньшую роль, чем в эволюции немецкого. Возможно, это связано с тем, что во Франции этот слой быстрее обрел самостоятельное значение третьего сословия свободных людей. В любом случае, во Франции благодаря росту городов начинается и проникновение городских элементов в королевскую администрацию, причем уже в Средние века эти элементы занимают в ней такую значительную долю, какой в большинстве немецких земель третье сословие не могло похвастаться и в Новое время.

Горожане входили в этот аппарат двумя способами¹⁰³: либо как миряне (т.е. занимая места, ранее отводившиеся рыцарям), либо как «clercs» (т.е. получая места, предназначенные для лиц духовного сана). Значение слова «clerc» где-то с конца XII в. постепенно меняется: оно все менее означает «клирика» и все более — просто человека, который учился в университете, может читать и писать на латыни и, быть может, некогда начинал свой

180

жизненный путь на духовном поприще. Вместе с расширением аппарата управления секуляризируются не только значение слова «clerc», но и само обучение на некоторых факультетах в университетах. Латынь учат уже не только для того, чтобы когда-нибудь стать священником, но с прямой целью занять место чиновника. Конечно, имелись представители буржуазии, вошедшие в королевский совет благодаря своим коммерческим или организаторским способностям. Но большинство буржуа достигали высших мест в аппарате за счет учебы, благодаря знанию канонического и римского права. Учеба стала обычным средством возвышения для сыновей буржуазных семейств, принадлежащих к верхушке городских слоев. Буржуазные элементы постепенно вытесняют дворян и священников из аппарата господства. Слой слуг государевых, носителей «чина» стал здесь — в отличие от Германии — исключительно буржуазной формацией. «Des Philippe-Auguste au plus tard... les légistes, vraies "chevaliers ès lois" apparaissent: ils allaient, pour en faire la loi monarchique, se charger d'amalgamer la loi féodale avec la loi canonique et la loi romaine... Petite armée de trente scribes en 1316, de 104 ou 105 en 1359, d'une soixantaine en 1361, ces clerks de la chancellerie gagnèrent maints avantages à grossoyer constamment dans le voisinage du roi. La grande masse formerait des notaires privilégiés; l'élite (trois sous Philippe le Bel, douze avant 1388, seize en 1406, huit en 1413) donnerait naissance aux clerks du secret ou bien aux secrétaires des Finances... L'avenir était à eux. A la différence des grands officiers palatins, ils n'avaient pas d'ancêtres, mais ils allaient être eux-mêmes des ancêtres¹⁸⁾,¹⁰⁴.

Вместе с ростом королевских владений возникает слой специалистов, социальное положение которых определяется прежде всего их службой, а личные интересы в значительной мере совпадают с интересами королевства и аппарата власти. Как ранее представители духовенства (пусть и не в такой мере), ныне представители третьего сословия отстаивают интересы центра, выполняя различные функции: это — писцы и советники короля, сборщики налогов, члены верховного суда. Они обеспечивают последовательное проведение королевской политики независимо от личных качеств коронованной особы, а иной раз оберегают эту политику от разрушающего влияния индивидуальных склонностей того или иного короля. В

данном случае буржуазные слои также способствуют усилению королевской власти, а короли — возвышению этих слоев.

23

Вместе с почти полным вытеснением дворянства из аппарата господства буржуазия со временем заняла властную позицию, имевшую большое значение для внутреннего баланса сил в обществе. Как уже говорилось выше, вплоть до конца «ancien

181

regime» во Франции в столкновениях с дворянством буржуазию представляли не богатые купцы и не цеха как таковые, но разные формации чиновничества. Ослабление социальной позиции дворянства и усиление буржуазии яснее всего проявились в том, что высшие слои чиновников — по крайней мере с начала XVII в. — начали притязать на социальное равенство с дворянством. К этому времени взаимосвязь и напряженность во взаимоотношениях между дворянством и буржуазией достигли той силы, которая и позволила королям обрести чрезвычайное могущество.

Такое заполнение мест в центральном аппарате управления сыновьями городских буржуазных семейств образует одну из фигураций, прямо указывающих на наличие прочной функциональной связи между усилением королевской власти и возвышением буржуазии. Верхний слой буржуазии, в качестве какового постепенно начинают выступать семьи высших чиновников, «слуг короля», к XVI—XVII вв. обретает такую социальную силу, что в его власти мог бы оказаться и сам король, не будь в обществе противовеса буржуазии в виде дворянства и духовенства, по мере возможностей ограничивавших ее власть. Легко заметить, что короли — и прежде всего Людовик XIV — постоянно играли на этих противоречиях. Но на предшествующей фазе дворянство и духовенство (при всей амбивалентности их отношений) еще были гораздо более сильными противниками центральной власти, чем городские буржуа. Именно поэтому возвышающиеся бюргеры так охотно становились преданными помощниками королей, а те, в свою очередь, без опаски отдали ядро центрального аппарата в монопольное владение людям из третьего сословия — ведь это сословие было пока что много слабее первых двух.

Еще одна сторона взаимосвязи между ростом социальной силы короля и буржуазии (и ослабления дворянства с духовенством) хорошо прослеживается по уровню финансового обеспечения их социального существования. Мы уже отмечали, что нарушение равновесия сил, при котором ослаблялись социальные позиции дворянства, лишь в самой малой мере происходило за счет сознательно планируемых действий буржуазии. Это смещение было следствием действия механизма конкуренции, ввергнувшего большую часть дворянства в зависимость от единственного феодального дома — королевского. С одной стороны, это в известном смысле поставило дворян на одну ступень с буржуазией. С другой стороны, это было следствием прогрессирующего денежного обращения. Наряду с зигзагообразным увеличением объема денег постоянно происходило их обесценение. В XVI в. данный процесс получает чрезвычайное ускорение. Дворянство, существовавшее за счет доходов со своих земель, не могло умножать их соответственно обесценению денег и, как следствие, беднело.

182

Религиозные войны, даже если взять их заключительный период, для слабевшего дворянства имели такое же значение, какое имели все гражданские войны для слоев, переживающих упадок. Поначалу неумолимость такого падения была скрыта от дворян. Беспорядки и волнения, борьба за самосохранение, возможность захватить добычу, легкий заработок — все это вселило в дворян веру в возможность удержаться на своих социальных позициях и спастись от обнищания. Об экономических последствиях войн они и не догадывались. Они видели, что умножается количество денег, что растут цены, но суть происходящего оставалась за пределами их разумения. Один из придворных того времени, Брантом, так выразил это настроение дворянства: «...tant s'en faut que ceste guerre (civile) ait appauvry la France, elle l'a du tout enrichie, d'autant qu'elle descouvrit et mit en évidence une infinité des trésors cachez soubz terre, qui ne servoient de rien,.. et les mirent si bien au soleil et convertirent en belles et bonnes monnoyes à si grand' quantité, qu'on vist en France reluyre plus de millions d'or qu'apparavant de millions de livres et d'argent, et paroistre plus de testons neufz, beaux, bons et fins, forgez de ces beaux trésors cachez, qu'apparavant il n'y avoit de douzains... Ce n'est pas tout: les riches marchans, les usuriers, les banquiers et autres raque-deniers jusques au prebstres, quintenoient leurs escus cachez et enfermez dans leurs coffres, n'en eussent pas fait plaisir ny presté pour un double, sans de gros intérestz et usures excessives ou par achaptz et engagements de terres, biens et maisons à vil prix; de sorte que le gentilhomme, qui, durant les guerres étrangères s'estoit appauvry et engagé son bien, ou vendu, n'en pouvoit plus et ne sçavoit plus de quel bois se chauffer, car ces marauts usuriers avoient tout rafflé: mais ceste bonne guerre civile les restaura et mit au monde. Si bien que j'ay veu tel gentilhomme, et de bon lieu, qui paradant marchoit par pays avec deux chevaux et un petit laquays, il se remonta si bien, qu'on le vist, durant et après la guerre civile, marcher par pays avec six et sept bons chevaux... *Et voilà comme la brave noblesse de France se restaura par la grâce, ou la graisse, pour mieux dire, de ceste bonne guerre civile*¹⁹⁾»¹⁰⁴. На самом деле большая часть французских дворян возвращались с этой «доброй» войны, «жирком» с которой они хотели бы восстановить свои позиции, будучи в большей или меньшей степени разорены и отягощены долгами. Жизнь становилась все дороже. Духовенство, богатые купцы, ростовщики, банкиры, прежде всего высшие чиновники, люди «мантии» — все они требовали возврата данных в долг денег. Они где могли забирали себе владения дворян, нередко обзаводясь и дворянскими титулами.

Даже сохранившие свои земли представители благородных семейств очень скоро обнаружили, что их доходы недостаточны для того, чтобы покрывать растущую стоимость жизни: «Les seigneurs qui avaient cédé des terres à leurs paysans contre des

183

redevances en espèces, continuaient à percevoir le même revenu, mais qui n'avait plus la même valeur. Ce qui coûtait cinq sols au temps passé en coûtait vingt au temps d'Henri III. Les nobles s'appauvrirent sans le savoir^{20, 106}.

24

Перед нами — не допускающая неоднозначного толкования картина перераспределения социальных сил. Изменения в строении общества, уже долгое время шедшие в ущерб старому рыцарскому дворянству и во благо буржуазных слоев, получили в XVI в. мощное ускорение. Одни приобретали социальный вес, другие его утрачивали. Общественные противоречия обострились. Дворянство шпаги не могло осознать размаха того процесса, лишавшего их полученных по наследству позиций. Теперь олицетворением нежелательных для них перемен стали люди третьего сословия, с которыми они отныне должны были вступать в конкуренцию, в борьбу за шансы — в первую очередь за деньги, а через них и за собственные земли, за свои социальные привилегии. Так формируется аппарат равновесия, предоставляющий оптимальную власть одному человеку — центральному правителю.

В борьбе XVI—XVII вв. буржуазные корпорации становятся богаче и многочисленнее, теперь они уже способны оказывать сильнейшее сопротивление дворянству шпаги в его притязании на власть, но еще недостаточно сильны, чтобы поставить в прямую зависимость от себя военное сословие, силу оружия. В это время дворянство еще достаточно сильное и воинственное, чтобы представлять постоянную угрозу для возвышающихся буржуазных слоев, но уже и в значительной мере ослабшее, прежде всего экономически, и потому не имеющее возможности распоряжаться доходами горожан. Немалую роль в ослаблении дворянства сыграло и то, что в руках буржуазных корпораций оказались функции управления и судопроизводства. Но ни одной из сторон еще не удалось добиться решающего превосходства над другой. В этой ситуации каждый слой и каждая корпорация видят в короле союзника и защитника от угрозы, исходящей от других групп и корпораций, над коими они сами не могут господствовать.

Безусловно, дворянство и буржуазия состояли из различных групп и слоев, интересы которых не всегда совпадали. В первичное противоречие между двумя сословиями вплетался целый ряд вторичных антагонизмов, существующих как внутри самих этих сословий, так и в отношениях каждого из них с духовенством. Однако сохранение социального бытия каждой из групп или слоев более или менее зависело от существования других — ни одна из них не обладала достаточной силой, чтобы разрушить имеющийся порядок в целом. Менее всего в радикальном изменении были заинтересованы группы, представлявшие верхушку

184

сословий, обладавшие в рамках существующих институтов определенным политическим влиянием. Именно эти многообразные противоречия усиливали властный потенциал короля.

Конечно, любая из этих групп — верхи дворянства, придворные «величины», равно как и крупные буржуа, парламенты — были заинтересованы в ограничении королевских полномочий. Стремления или хотя бы идеи такого рода периодически возникали на протяжении всего «ancien régime». В своем отношении к королевской власти эти социальные группы, имевшие различные интересы, также выказывали двойственность. Бывали ситуации, когда это становилось очевидным; зачастую даже возникали временные союзы между группами дворянства и буржуазии (прежде всего между дворянами и парламентами), направленные против представителей королевской власти. Но именно судьба данных союзов лучше всего показывает, сколь велики были трудности в достижении согласия, сильны противоречия и серьезно соперничество между этими сословиями.

Достаточно вспомнить о восстании, получившем название «Фронда». Людовик XIV еще был несовершеннолетним, фактически страной правил Мазарини. В этот момент последний раз объединяются самые разные социальные группы, чтобы пойти на штурм всевластия королей, олицетворяемого ненавистным министром. Члены парламента и сословное дворянство, городские корпорации и представители высшей аристократии — все они пытались воспользоваться тем, что королевская власть переживала трудное время: регентство королевы-матери фактически подменялось правлением кардинала. Но картина этого восстания ясно показывает, насколько напряженными были отношения между всеми этими группами. Фронда была своего рода социальным экспериментом. Она вновь выявила структуру аппарата противовесов, обеспечивающего сосредоточение шансов в руках центральной власти, но обычно скрытого от поверхностного взгляда до тех пор, пока господство центра стабильно. Стоит одному из противников короля хоть по видимости усилиться, как другие начинают ощущать угрозу себе, покидают союз, сражаются против вчерашних союзников на стороне Мазарини, а иной раз впоследствии опять возвращаются в противоположный лагерь. Все эти люди, все эти группы хотят уменьшения королевской власти; но все они хотят, чтобы она уменьшилась в их пользу, и опасаются того, что это уменьшение приведет к усилению других. Наконец, во многом благодаря умению Мазарини использовать этот аппарат напряженности, восстанавливается прежнее равновесие — во благо королевского дома. Людовик XIV не

забыл урока тех дней; гораздо более сознательно и тщательно, чем все его предшественники, он заботится о сохранении этого равновесия, поддерживая имеющиеся социальные различия и противоречия.

185

25

В Средние века социальные позиции городских слоев долгое время были много слабее позиций воинов-дворян. В то время общность интересов королей и буржуа была весьма велика, даже если они не настолько сближались, чтобы вообще сделать невозможным возникновение трений между городами и центральным правителем или их борьбы друг с другом. Одним из самых наглядных проявлений этой общности интересов было указанное вытеснение дворян из институтов королевской власти и заполнение последних людьми буржуазного происхождения.

Когда в результате роста денежного обращения и монополизации власти социальная сила дворянства в сравнении с силой буржуазии уменьшилась, короли начали содействовать дворянству в большей степени. Теперь они стали заботиться о защите привилегий дворянства от притязаний возвышающихся буржуа — причем ровно настолько, насколько это было необходимо для сохранения социального различия между данными слоями, а тем самым и напряженного равновесия. Короли выступают за освобождение от налогообложения большей части дворян, а именно это право хотели бы отменить (или, по крайней мере, ограничить) представители буржуазии. Но подобные меры, конечно, не могли гарантировать экономически ослабевшим землевладельцам с их притязаниями на верховенство и с необходимостью наглядно его демонстрировать получение средств, достаточных для обеспеченной жизни. Основная масса провинциального дворянства на протяжении всего «ancien régime» влачила довольно жалкое существование. Благородные семьи по уровню благосостояния не могли сравниться с верхами буржуазии. Места чиновников в разного рода учреждениях, прежде всего в судах, были для них также закрыты — их занимали люди буржуазного происхождения. К тому же, опираясь на поддержку части дворян, короли возвели в закон правило, по которому любой дворянин, занявшийся торговлей, должен был отказаться от дворянского титула и тем самым от соответствующих привилегий, — по крайней мере, на то время, пока он занят делами подобного рода. Такие законы также способствовали сохранению существующих различий между буржуазией и дворянством, в чем короли были заинтересованы ничуть не меньше самих дворян. Но тем самым дворяне были лишены прямого доступа к благосостоянию. Лишь косвенно, путем выгодной женитьбы, они могли получить богатства, накопленные благодаря торговле и получению административных постов. Дворянство не сохранило бы своего блеска и своего социального значения, каковыми оно еще располагало в XVII—XVIII вв., и наверняка уступило бы экономически усиливающейся буржуазии и вышедшему из ее рядов новому дворянству, если бы часть его с помощью королей не приобрела моно-

186

польное положение при дворе. Оно обеспечивало дворянству соответствующий сословному статусу стиль жизни, при котором исключалась малейшая примесь буржуазной деятельности. Дворцовые службы, многочисленные посты в свите оставались за дворянами, а тем самым сотни — впоследствии тысячи — дворян получали возможность поступить на щедро оплачиваемую службу. Остальное зависело от благосклонности королей, от их подарков; близость к королю обеспечивала высокий престиж этих постов. Так над большей частью провинциального дворянства поднимается слой придворных, затмевающих блеском своего существования богатство верхов буржуазии и сдерживающих влияние последних. Если ранее, когда буржуа были слабее дворян, посты в аппарате власти находились в монопольном распоряжении выходцев из буржуазных слоев, то теперь, когда слабее стали дворяне, короли помогают последним — именно им предоставляется монополия на получение мест при дворе.

Эта привилегия дворян — равно как и прежде существовавшее предоставление государственных постов исключительно представителям буржуазии — появляется далеко не сразу, она не возникает по плану, сознательно разработанному каким-нибудь королем.

При Генрихе IV и Людовике XIII места при дворе, как и большинство военных, управленческих и судебных постов, покупались и были собственностью их владельцев; это относилось даже к постам губернаторов и военачальников в различных районах королевства. Конечно, в отдельных случаях владельцы таких постов могли оставаться на них только с согласия короля и лишиться их по его воле. Но в целом в то время покупка мест превалирует над получением их по воле короля. Так как в плане денежных средств большая часть дворянства уступала высшим слоям буржуазии, третье сословие — или, по крайней мере, недавно получившие дворянство выходцы из буржуазных семей — медленно, но верно прибирали к рукам все придворные и военные посты. Лишь высшие аристократические семейства — либо в силу наличия у них крупных земельных владений, либо благодаря пенсиям, выплачиваемым им королями, — могли выдерживать такого рода конкуренцию.

Стремление помочь дворянству в этой ситуации четко прослеживается и у Генриха IV, и у Людовика XIII, и у Ришелье. Они ни на минуту не забывают о том, что сами они принадлежат к этому сословию. К тому же Генрих IV получил трон, находясь во главе дворянского войска. Но даже независимо от бессилия королей в борьбе с неблагоприятными для дворян экономическими процессами, существуют законы, управляющие самой королевской функцией, а она амбивалентна в отношении к дворянству. Генрих IV, равно как Ришелье и все их наследники, даже в целях самосохранения должны были удалять дворян со

187

всех постов, которые могли бы повысить политическое влияние занимающих их людей; но одновременно они должны были сохранять дворянство в качестве самостоятельного социального фактора в поддерживаемом ими общественном равновесии.

Двойственность политики двора во времена абсолютизма в точности соответствует двоякому отношению короля к дворянству. Двор выступает и как орудие осуществления власти над дворянством, и как средство сохранения данного сословия. Развитие двора идет именно в этом направлении.

Для Генриха IV окружение из дворян было чем-то само собой разумеющимся, привычным. Но он еще не проводил строго последовательную политику, согласно которой по воле короля часть дворянства была обязана постоянно пребывать при его дворе. У него не было и огромных средств, требующихся для финансирования гигантского придворного штата, для милостей и пенсий, раздаваемых придворным, — это вошло в обычай позже, при Людовике XIV. Во времена Генриха IV социальное поле еще находилось в движении: дворянские семейства теряли свои позиции, буржуазные — возвышались; сословия сохранялись, но их персональный состав каждой из социальных групп находился в процессе перемен. В стене, разделяющей сословия, было множество пробоин. Личная пригодность или негодность человека, удача или неудача в то время часто определяли шансы, находящиеся в распоряжении семьи, ничуть не в меньшей мере, чем в прошлом — их принадлежность тому или иному сословию. Открытым был и доступ людей буржуазного происхождения ко двору и придворным службам.

Дворянство жаловалось на это положение дел, оно желало сохранить эти посты в своей собственности и выступало с соответствующими предложениями. Причем речь шла не только о должностях при дворе — для него желательным было получение и многих других, в том числе и утраченных постов в государственном аппарате. В 1627 г. дворяне обратились к Людовику XIII с предложениями такого рода в прошении, озаглавленном «*Requestes et articles pour la rétablissement de la Noblesse*»¹⁰⁷.

Это прошение начинается с напоминания о том, что именно дворянству — после Божьей помощи и шпаги Генриха IV — корона обязана сохранением своих прерогатив во времена, когда большая часть прочих слоев была близка к бунту. Теперь же дворянство находится в «*au plus pitoyable état qu'elle fut jamais... la pauvreté l'accable... l'oisiveté la rend vicieuse... l'oppression l'a presque réduite aus désespoii*»²¹».

Короче говоря, здесь перед нами — слой, находящийся в упадке. Это в огромной мере соответствовало действительности. Большинство имений погрязло в долгах. Многие дворянские семьи потеряли все свои владения. У молодых дворян не было надежд на будущее. В дворянском обществе явно ощущается бес-

188

покойство, связанное с социальным давлением со стороны вольноотпущенников. Что же делать?

Одна из причин такого положения заключалась в недоверии короля к отдельным представителям дворянства, вызванном их честолюбивой дерзостью. В результате короли пришли к выводу, что подобных дворян следует держать подальше от чинов и служб, которыми те могли бы злоупотреблять. Поэтому они возвысили третье сословие, а дворяне были изгнаны из судов, отставлены от сбора налогов и лишены мест в королевском совете.

В двадцати двух статьях указанного прошения дворянство требует для улучшения своего положения принятия следующих мер: необходимо отказаться от продажи не только военных чинов и командных постов в отдельных провинциальных правительствах, но и всех прочих гражданских и военных должностей (т.е. всех тех постов, что, помимо двора, могли служить для кормления дворянства); все эти должности должны предоставляться только дворянам.

Кроме того, дворянство требует сохранения за собой определенного влияния в управлении провинциями, доступа благородных лиц со способностями к высшим судебским постам, к местам в парламентах, где они обладали бы по меньшей мере правом совещательного голоса. Дворянство требует, как минимум, трети мест в совете по финансам, в военном совете и в других частях аппарата королевской власти.

Если не учитывать некоторые мелкие требования, из всех них было удовлетворено лишь одно: придворные должности были закрыты для буржуа и закреплены за дворянами. Все прочие просьбы, касавшиеся хоть какого-то участия дворян во власти, в управлении страной, не были удовлетворены.

Во многих немецких землях дворяне сохраняли за собой наряду с военными административные и судебные посты; по крайней мере, начиная с эпохи Реформации, они учатся в университетах¹⁰⁸. Большинство высших государственных постов оставалось в монопольном владении дворян. Что же касается прочих государственных служб, то чины здесь примерно поровну делились между дворянами и буржуа.

Во французском центральном органе власти напряженность в отношениях двух сословий, постоянная открытая или скрытая борьба между ними находили выражение в том, что весь административный аппарат был монополией буржуа, тогда как весь придворный аппарат в более узком смысле слова состоял из дворян. В XVII в., когда покупка постов привела к угрозе обуржуазивания, двор был окончательно монополизирован дворянами. Еще Ришелье в своем «Завещании» настаивал на том, чтобы доступ ко двору был закрыт для тех, «кто не имел счастья родиться дворянином»¹⁰⁹. В итоге Людовик XIV до предела сузил доступ буржуа к такого рода придворным должностям. Но и он

189

не закрыл его совсем. После ряда предваряющих движений, послуживших выражением процесса взаимной проверки социальных интересов дворянства и королевской власти, двор, наконец, получает свой четкий облик: с одной стороны, он представляет собой место кормления дворянства, с другой стороны, —

выступает как орган приручения старого воинского сословия и как инструмент власти, позволяющий господствовать над ним. Вольная рыцарская жизнь окончательно уходит в прошлое.

Для большей части дворян прискорбным было не только их экономическое положение — у них сужаются пространство действий и жизненный горизонт. Доходы невелики и ограничиваются тем, что можно получить с земельных владений. Эта ограниченность существования теперь не компенсируется походной жизнью, сменой мест во время войны. Даже в военное время дворянин сражается теперь не как свободный рыцарь, но как офицер, обязанный подчиняться строгому порядку. Только счастливый случай или связи в верхах позволяют какому-либо представителю провинциального дворянства подняться в слой с более широким жизненным горизонтом, с большими возможностями развития и более высоким престижем — в круг придворной аристократии.

Эта меньшая часть дворянства состоит при королевском дворе и находит новое отечество в Париже и его окрестностях. При Генрихе IV и Людовике XIII для отдельного дворянина, принадлежащего к придворному кругу, было еще не так трудно сочетать служение при дворе с пребыванием в собственном имении, перемещаться от двора одного князя ко двору другого. Хотя и в то время уже существовало придворное дворянство, возвышающееся над более широким слоем провинциальных землевладельцев, но это сообщество является еще в значительной степени децентрализованным. Опыт ранних лет, испытанный во времена Фронды Людовиком XIV, способствует тому, что этот король последовательно и жестко проводит линию на сосредоточение аристократии при его дворе. Он хотел «иметь у себя перед глазами всех тех, кто мог стать вождем мятежа, чьи замки могли быть местом сборищ мятежников...»¹¹⁰.

Постройка Версаля отвечала обоим задачам королевской власти: Версаль, с одной стороны, был местом кормления дворянства, его зримого возвышения и, с другой — полностью отвечал задаче усмирения дворянства. Король одарял дворян, а любимцев одарял более чем щедро. Но он также требовал послушания, дворянство должно было постоянно ощущать свою зависимость от короля, распределяющего деньги и прочие блага.

«Король, — пишет Сен-Симон в своих мемуарах, — следил не только за тем, чтобы высшая аристократия собиралась у него при дворе; он требовал этого и от мелкого дворянства. Во время ритуалов его "lever" и "coucher", во время обеда он всегда на-

190

блюдал за находящимися вокруг него и замечал каждого. Он был недоволен благородными, которые не все время проводили у него при дворе, еще более теми, кто появлялся при дворе редко, а в полной немилости были те, кто никогда или почти никогда при дворе не показывался. Когда кто-нибудь из них чего-то желал, король гордо произносил: "Я его не знаю". Этот приговор был окончательным. Он был не против того, что кому-то нравится жить в своих владениях, но лишь до какой-то степени, а потому для долгого пребывания в своем имении нужно было принять меры предосторожности. Когда мне в молодости пришлось отправиться из-за одного процесса в Руан, он дал мне знать через министра, что дает на то свое изволение»¹¹¹.

Это стремление в точности следить за всем происходящим было характерно для самого строения королевской власти. В нем находила выражение вся сила тех противоречий, с которыми сталкивался король и которые ему следовало преодолевать, чтобы удерживать в своих руках власть, — причем не только в окружавшем короля придворном обществе, но и за его пределами. «Искусство правления не так уж трудно и не так уж неприятно, — сказал однажды Людовик XIV своему наследнику. — Это искусство заключается попросту в том, чтобы знать настоящие мысли европейских принцев, знать все то, что хотят скрыть от нас люди, знать все их тайны и тщательно за ними наблюдать»¹¹².

«Любопытство короля, его желание знать происходящее вокруг него все росло, — пишет Сен-Симон в другом месте своих "Мемуаров", — а потому он поручил своему первому камердинеру и губернатору Версаля взять на службу известное число швейцарцев. Они носили королевскую ливрею, отчитывались только перед упомянутыми вышестоящими лицами и имели тайное поручение: днем и ночью прятаться в переходах и коридорах, наблюдать за людьми, выслеживать, куда они идут, откуда возвращаются, подслушивать их разговоры и в точности обо всем этом сообщать»¹¹³.

Трудно найти что-либо более характерное для строения этого общества и более способствовавшее единовластию, чем эта необходимость строгого наблюдения за всем тем, что происходит в пределах сферы власти правителя, занимающего центральное положение. Эта необходимость была выражением сильнейшей напряженности, существовавшей в подвижном социальном аппарате, — напряженности, без которой функция координации, присущая центральному правителю, никогда не получила бы такой силы. Равновесие в этом отмеченном напряженностью соотношении между различными социальными группами, примерно равными по своей социальной силе, так же, как и амбивалентное отношение каждой из этих групп к могущественному государю, занимающему центральное положение, конечно, не были творением того или иного короля. Но стоило возникнуть

191

такой констелляции, характеризуемой чрезвычайно сильной напряженностью, как поддержание этого подвижного равновесия превратилось в жизненно важную задачу центрального правителя. А решение данной задачи требовало самого пристального наблюдения за подданными.

У Людовика XIV к тому же имелись все основания для того, чтобы не спускать глаз с лиц, наиболее близких к нему по рангу. Разделение труда и равная зависимость всех от всех (а тем самым и зависимость

центрального правителя от широких слоев населения) еще не были настолько развиты, чтобы давление народных масс могло представлять собой значительную угрозу для короля, хотя массовые волнения, особенно среди парижан, и составляли для него известную опасность — именно поэтому он перенес двор из Парижа в Версаль. Но во времена предшественников Людовика XIV члены королевской семьи или высшей аристократии пользовались недовольством народных масс, бунтами для удовлетворения своих амбиций. Именно поэтому они вставали во главе мятежников и составляли оппозиционные королю партии. Самые опасные соперники короля по-прежнему находились в узком кругу ближайших родственников и придворных.

Выше мы уже показывали, как в процессе монополизации круг людей, способных вести конкурентную борьбу за власть, постепенно ограничивается членами королевского дома. Людовик XI окончательно разгромил феодалов-принцев и отторг их земли в пользу короны. Но еще во времена религиозных войн во главе враждующих партий стояли отпрыски королевского семейства. После отмирания главной ветви Капетингов на троне в лице Генриха IV вновь оказывается представитель боковой ветви дома. Принцы крови, герцоги и пэры Франции все еще сохраняют немалую силу. Понятно, на чем базируется эта сила: эти люди занимают посты губернаторов, военных правителей, властвующих в различных провинциях. Постепенно, вместе с упрочением монополии на господство, эти возможные соперники короля также становятся своего рода функционерами в рамках огромного аппарата. Но они сопротивляются такой трансформации. Кровный брат Людовика XIII, герцог Вандомский, бастард Генриха IV, выступает против центральной власти во главе фракции. Он является губернатором Бретани и полагает, что благодаря женитьбе он получил наследственные права на эту провинцию. Противодействие центральной власти оказывает губернатор Прованса, а впоследствии губернатор Лангедока — герцог Монморанси. Попытки сопротивления со стороны дворян-гугенотов имели тот же самый фундамент. Войско еще не было окончательно централизовано, и у комендантов крепостей, у капитанов, осуществляющих командование военными отрядами тех или иных укреплений, еще оставалась известная самосто-

192

тельность. Губернаторы провинций считали купленные ими должности своей собственностью. Поэтому дело еще раз дошло до резкой активизации центробежных сил. Признаки этой активизации ощущаются уже при Людовике XIII. Брат короля, Гастон Орлеанский, как и многие королевские братья былых времен, начинает борьбу с центром. Возглавив враждебную Ришелье фракцию, принц порывает с ним отношения и удаляется в Орлеан, чтобы вести борьбу против кардинала и короля с укрепленных в военном отношении позиций.

В конце концов, Ришелье удается одержать победу и укрепить свою власть во всех столкновениях такого рода — в немалой мере благодаря поддержке буржуазии с ее огромными финансовыми средствами, которые она была готова предоставить кардиналу. Сопrotивляющиеся аристократы умерли побежденными — кто в заключении, кто в изгнании, кто в бою. Даже королева-мать по воле Ришелье обрела вечный покой за границей. «De croire que pour être fils ou frère du Roi ou prince de son sang, ils puissent impunément troubler le Royaume, c'est se tromper. Il est bien plus raisonnable d'assurer le Royaume et la Royauté que d'avoir égard à leurs qualités qui donneroient impunité²²», — так он говорит в своих мемуарах. Людовик XIV собрал урожай побед, завоеванных Ришелье, но у него сохранилось, вошло в его плоть и кровь ощущение угрозы, исходящей от дворянства, причем именно от высшего дворянства, от ближайшего окружения короля. Представителю мелкопоместного дворянства он мог иной раз простить отсутствие при дворе. К «великим» он относился гораздо непримиримее. В связи с этим особенно хорошо понятна цель содержания двора как инструмента постоянного наблюдения. «La meilleure place de sûreté pour un fils de France est le coeur du Roi²³», — ответил Людовик XIV своему брату, который просил у него губернаторства в качестве стабильной должности, «place de sûreté». Когда его старший сын обзавелся собственным двором в Медоне, он воспринял это крайне негативно. После смерти наследника король поспешно распродал мебель из замка — из страха, что кто-нибудь из его внуков решит использовать Медон в тех же целях, что и его сын, и вновь «разделит двор»¹¹⁴.

Эти страхи, пишет Сен-Симон, были совершенно необоснованными. Ни один из внуков не решался на поступок, способный вызвать даже малейшее недовольство короля. Но там, где речь шла о сохранении собственного престижа и укреплении личного господства, король не делал различий между своими родственниками и прочими придворными.

Так обрела свою окончательную форму монополия на господство, центральное место в которой принадлежит монополиям на сбор налогов и на физическое насилие. Начиная с определенной ступени развития, монополия на господство выступает как монополия одного лица. Она защищает себя с помощью си-

193

стемы хорошо организованного наблюдения. Король превращается из сюзерена, владеющего землями, раздающего земли и распределяющего натуральную ренту, в верховного правителя, раздающего деньги и предоставляющего денежную ренту. Это придает централизации неслыханную ранее силу и прочность. Центробежные социальные силы теперь сломлены окончательно. Все возможные конкуренты монопольного владыки оказались в институциональной зависимости от него. Отныне в конкуренцию — не в свободную, но в монопольно ограниченную — вступает лишь часть дворянства: придворные борются друг с другом за

шансы, получаемые по милости короля. При этом они испытывают давление со стороны резервной армии провинциального дворянства, а также возвышающихся буржуазных слоев.

Однако даже если на этой ступени развития право короля лично распоряжаться монополизированными шансами чрезвычайно велико, все же оно ни в коей мере не является неограниченным. В строении этой приватной монополии уже недвусмысленно заявляют о себе структурные элементы, которые в конечном счете обуславливают постепенное приобретение монополией публичного характера, ее переход из рук одного лица в распоряжение многих. В итоге монополия подпадает под все больший контроль общества в целом, занимая свое место в разделении труда. К Людовику XIV еще в какой-то мере применимы слова: «Государство — это я» («L'État c'est moi»). Независимо от того, произносил он их или нет, в институциональном плане монополия организация при его правлении еще в значительной мере имела характер личной собственности. Но функционально зависимость монопольного владыки от других слоев и от общества в целом уже была чрезвычайно большой, причем эта зависимость непрерывно росла вместе с ростом торгового и денежного обращения. Только особая ситуация — напряженное равновесие между возвышающимися буржуазными и слабеющими дворянскими группами, а затем и между множеством других крупных и мелких групп — предоставляла центральной власти огромное пространство решений и распоряжений. Короли лишились той независимости в управлении своим имением или доменом, что на предыдущей фазе служила выражением слабости социального взаимодействия. Огромное сплетение взаимосвязей между людьми, находившееся под властью Людовика XIV, обладало собственными закономерностями, собственным равновесием. Он должен был использовать данные закономерности в своих целях. Чтобы управлять этим целым, играя на противоречиях между людьми и группами в поле напряженного равновесия, требовались колоссальные усилия и немалое самообладание.

Эта возможность центрального функционера использовать в своих личных интересах все это сплетение взаимосвязей между людьми стала подвергаться ограничению только после того, как

194

нарушилось равновесие сил, на котором правителю удавалось балансировать. Это произошло тогда, когда буржуазия сместила центр тяжести в свою сторону, создав новое социальное равновесие с новыми осями. Только тогда личная монополия стала институционально превращаться в монополию публичную. Через «борьбу на выбывание», через постепенную централизацию инструментов физического насилия и сбора налогов, вместе с ростом разделения функций и возвышением профессионально работающих слоев буржуазии французское общество шаг за шагом подходило к самоорганизации в форме государства.

7. О социогенезе монополии на налоги 26

От историка могут ускользнуть некоторые аспекты монополизации (а вместе в тем и образования государства в целом), если он обращает внимание в основном на поздние стадии, на результаты данного процесса, упуская из виду ранние его отрезки. Тогда ему даже трудно себе представить, что людям, жившим на исходе Средневековья, абсолютная монархия и централизованный аппарат власти казались чем-то новым и в высшей степени удивительным. Только поняв суть начального этапа, мы получаем возможность постижения дальнейшего хода событий.

Основная линия трансформации уже ясна. Мы напомним о ней в нескольких словах. *Вместе с прогрессирующим разделением функций в ходе конкуренции, или «борьбы на выбывание», власть рыцарских семейств, основанная на земельной собственности и позволяющая им распоряжаться землями и натуральными продуктами, получаемыми с данных земель, а также пользоваться разного рода услугами людей, живущих на этих землях, постепенно превращается во власть централизованную, распоряжающуюся инструментами военного насилия и обладающую правом регулярного сбора денежных налогов с обширных территорий.* Отныне никому не позволено пользоваться оружием или строить крепости на этой территории, если на то не было дано позволения центрального правителя. Такая ситуация была совершенно новой, невиданной в обществе, где ранее целый слой людей мог свободно пользоваться оружием и прибегать к физическому насилию. Теперь каждый должен регулярно отдавать центральному правителю часть своих денежных доходов — это тоже нечто новое, отличное от обычаев средневекового общества. Деньги были редки в обществе, характеризующем преобладанием натурального хозяйства, а потому желание князей и королей получать налоги в денежной форме казалось чем-то неслыханным (если исключить определенные и четко фиксированные поводы). Такого рода

195

стремления поначалу рассматривались не иначе как грабеж или ростовщичество.

«Constituti sunt reditus terrarum, ut ex illis viventes a spoliatione subditorum abstineant»¹¹⁵ — доходы с земель предназначены для того, чтобы живущие этими доходами воздерживались от грабежа своих подданных, заметил однажды Фома Аквинский, выражая тем самым не только мнение церковных кругов (хотя именно церковные институты, располагавшие немалыми денежными средствами, были особенно чувствительны к денежным поборам). Сами короли были того же мнения, даже если время от времени и прибегали к такого рода поборам при общей нехватке денежных средств. Например, Филипп Август некоторыми поборами — и прежде всего налогом, собираемым в целях подготовки крестового похода 1188 г., знаменитой «саладиновой десятиной», «dime saladine», — вызвал такие беспорядки и такое противодействие королевской власти, что уже в 1189 г. вынужден был официально заявить, что подобных поборов более никогда не будет. Дабы ни

сам он, ни его наследники не впадали в ту же ошибку, говорится в указанном заявлении, он запрещает сию пагубную хитрость всей своей королевской властью, авторитетом короля, церкви и всех баронов королевства. Если же король или кто-нибудь еще «*rag une audace temeraige*» попытается вновь вернуться к такой практике, то с ним не следует считаться¹¹⁶. Возможно, эти формулировки были продиктованы ему возмущенными нотаблями. Однако, готовясь в 1190 г. к крестовому походу, Филипп Август уже сам ясно предписывает, что, в случае его гибели, часть военной добычи должна быть распределена среди тех, кто обеднел в результате выплат в казну. Действительно, денежные поборы в этом сравнительно бедном на деньги обществе в немалой мере отличались от налогов, собираемых в более коммерциализированном обществе. Никто не считал их чем-то постоянным, от них не зависели ни рынки, ни уровень цен; они словно «валились с неба» как чрезвычайная мера и неожиданно возникшая повинность, ведя к разорению множества людей. Короли или их представители время от времени прибегали к подобным поборам, но при ограниченности денежных доходов, которые они могли прямо получать с земель своего домена, они всякий раз оказывались перед альтернативой: либо им удавалось угрозами и насилем собирать деньги, либо они становились жертвой противящихся этому сил. Возмущение, вызванное «саладиновой десятиной», долгое время оставалось в памяти — только через 79 лет для финансирования нового крестового похода король вновь прибегает к денежным поборам, к так называемой «*aide féodale*».

Короли придерживались общего для того времени мнения, что правители должны жить на доходы, получаемые со своего домена в узком смысле слова, т.е. со своих имений. Конечно,

196

коронованные особы и некоторые другие крупные феодалы по ходу формирования механизма монополии уже высоко поднялись над массой других феодалов. Мы отмечали ранее, что начался процесс появления новых функций. Но развитие данных функций в устойчивые *институты* происходило крайне медленно, в постоянной борьбе с носителями других функций. Поначалу король был просто богатейшим рыцарем среди прочих, крупных и мелких феодалов. Как и они, он жил на доходы со своих имений; как и у них, у него было право иногда, при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, требовать денежного вспомоществования от жителей подвластных ему территорий. Скажем, каждый феодал мог ожидать денежных поступлений, когда выдавал замуж дочь, когда его сын посвящался в рыцарское звание, когда сам феодал оказывался в плену и нужно было платить выкуп. Таковы первоначальные денежные поступления, «*aides féodales*». Короли прибегали к ним в той же мере, что и все прочие феодалы. Но выходящие за пределы таких случаев поборы не были распространены и рассматривались в этом обществе как нечто схожее с разбоем и вымогательством.

Затем, примерно с XII—XIII вв., постепенно входит в обиход еще одна форма денежных выплат в пользу князей. В XII в. начинается рост городов. По древнему феодальному обычаю только мужи воинского сословия — благородные или рыцари — призывались на военную службу и были обязаны нести это бремя. Бюргеры завоевывали коммунальные права и свободы с оружием в руках (или были готовы это сделать); поэтому где-то со времен Людовика VI возникает обычай призывать на военную службу и горожан, буржуа. Но сами горожане очень скоро стали предлагать удельным владькам денежное возмещение за освобождение от службы воинов-новобранцев. Тем самым они коммерциализовали военную службу, что было с удовольствием воспринято королями и прочими крупными феодалами. Предложение своих воинских услуг со стороны необеспеченных или плохо обеспеченных рыцарей чаще всего превышало покупательную способность соперничающих друг с другом удельных князей. Так что получение денег от горожан за освобождение от несения воинской службы скоро стало обычаем или даже институтом. Представитель короля требовал от городской общины для такого-то похода либо определенное количество вооруженных людей, либо соответствующую сумму; поторговавшись, общины предоставляли или то, или другое. Но и этот обычай был лишь еще одной формой получения феодального «вспомоществования», применявшегося в ограниченном числе чрезвычайных случаев: они назывались «*aide de l'ost*» и входили в число «*aides*», именовавшихся «вспомоществования в четырех случаях».

Мы бы далеко отошли от нашей темы, если бы подробно рассматривали то, как сами общины стали вводить своего рода ком-

197

мунальные налоги для оплаты различных городских затрат, создав для этого некие налоговые службы для внутреннего употребления. Достаточно указать, что требования королей поспособствовали такому развитию, а сами институты подобного рода, складывающиеся в городах к концу XII в., имели немалое значение для образования сходных королевских институтов. И в данном случае бюргерство и королевство находились в тесной — и чаще всего невольной — взаимосвязи. Конечно, из этого не следует делать вывод, что бюргеры или какие-либо другие слои общества охотно и без всякого сопротивления платили дань. Эти выплаты от случая к случаю по чрезвычайным поводам осуществлялись так же неохотно, как позже регулярная плата налогов, — никто их не хочет платить, пока нет прямого или косвенного принуждения к этому. И в том, и в другом случае мы имеем дело с точным отображением существовавшей системы взаимной зависимости социальных групп и соотношения сил между ними.

Короли не хотели (и не могли позволить себе) вызывать в народе слишком сильное сопротивление своей политике, поскольку социальная сила королевской функции была еще явно недостаточно велика. С другой стороны, для реализации этой функции, для самоутверждения и, в первую очередь, для финансирования

конкурентной борьбы, которую они непрестанно вели, короли нуждались во все больших и больших денежных средствах, а приобрести их могли только посредством «вспомоществований» подобного рода. Поводы для поборов меняются, люди короля ищут все новые способы получить деньги, перемещая основное бремя то на один, то на другой слой горожан или селян. Хорошо заметно, что при всех колебаниях в соотношении сил могущество короля постепенно возрастает, а вместе с этим иной характер приобретают и денежные поборы — требования королей постоянно увеличиваются.

В 1292 г. король желает получать один денье с каждого фунта при покупке любых товаров, причем этот налог должны платить и покупатель, и продавец. Хронистом того времени это было названо «*exactio quaedam in regno Franciae non audita*²⁵⁾». В Руане толпа грабит кассу королевских сборщиков денег. Руан и Париж, оба важнейших города королевского домена, откупаются от этого налога, внося единовременную плату¹¹⁷. Но эта подать еще долгое время остается в народной памяти под зловещим именем «*mal-tôte*», а королевские чиновники какое-то время с ужасом вспоминают о вызванном ею недовольстве. Поэтому на следующий год король пытается обложить принудительной данью богатых буржуа. Так как это тоже вызывает сильное сопротивление, в 1295 г. он возвращается к «*aide*» в первоначальной форме — уплаты дани требуют со всех сословий, а не с одного лишь третьего. Платить нужно сотую часть цены всех

198

имений. Но эта подать приносит слишком мало денег. На следующий год налог возрастает до двух сотых. Тут начинают возмущаться феодалы. Король заявляет, что готов оставить церковным и светским феодалам часть того, что было собрано с их владений. Он вроде бы готов поделиться с ними добычей. Но те уже не могут успокоиться. Это относится прежде всего к феодалам-мирянам, которые в требованиях короны видят угрозу своим наследственным правам, самостоятельности и даже всему своему социальному существованию. Люди короля вездесущи, они прибирают к рукам права и подати, ранее находившиеся в исключительном ведении отдельных феодалов. Как это часто случается, «последней каплей» оказались денежные поборы. Когда в 1314 г., незадолго до смерти Филиппа Красивого, было заявлено о новых высоких податях, необходимых для финансирования похода на Фландрию, недовольство перешло в открытое сопротивление, еще усилившееся из-за военных неудач. Как заявил один из недовольных, «мы не потерпим увеличения этой "*aides*", мы не можем терпеть ее со спокойной совестью, ибо из-за нее теряем свою честь, свои привилегии и свободы». «Нового рода выжимание денег, несправедливое обложение, небывалое во Франции и особенно в Париже, — как сообщает другой источник того времени, — было введено для покрытия расходов, якобы направленных на финансирование войны во Фландрии. Низкопоклонничающие советники и министры короля хотели, чтобы покупатели и продавцы платили по шесть денье с каждого фунта сделки. Как благородные, так и низкородные... объединились и поклялись отстоять свою свободу и свободу отечества»¹¹⁸.

Действительно, возмущение было столь велико, и оно было настолько всеобщим, что города объединились с феодалами в борьбе против короля. Тут перед нами исторический эксперимент, демонстрирующий различие интересов и уровень напряженности в отношениях между сословиями. При наличии общей угрозы — необходимости уплаты денежной дани, требуемой людьми короля, — и при сильном возмущении со всех сторон, оказалось возможным объединение бюргерства и дворянства, скрепленное клятвой. Было ли оно длительным, было ли оно эффективным? Мы уже обращали внимание на то, что в других странах с иным социальным строением постепенно происходило сближение определенных городских и землевладельческих слоев; при всех расхождениях и при всей враждебности между ними, это содействовало ограничению королевской власти. Во Франции такие союзы — как в данном случае, так и позже — четко указывали на растущую взаимозависимость между сословиями. Но их союз сохранялся недолгое время, он распался из-за взаимного недоверия. «Сближение приводило только к гневу и недовольству, поскольку интересы никоим образом не совпадали»¹¹⁹.

199

*«Ils sont lignée designée
Contrefaite et mal alignée*²⁵⁾».

Так пелось в песне того времени об этих недолговечных союзниках. Тем не менее мощная реакция на произвольно введенные подати произвела сильнейшее впечатление — не в последнюю очередь и на королевских чиновников. Подобные потрясения в пределах домена были опасны для ведения конкурентной борьбы с соперничающими домами. Социальное положение центрального правителя еще недостаточно укрепилось, чтобы он мог сам устанавливать налоги и определять их размер. Равновесие пока что таково, что он должен от случая к случаю вести переговоры с сословиями и добиваться их согласия на те или иные фискальные меры. Поэтому «*aides*» пока что остаются податями, собираемыми при чрезвычайных обстоятельствах, — денежными вспомоществованиями, на которые король может рассчитывать лишь в конкретных, строго определенных случаях. Ситуация постепенно изменится в ходе Столетней войны. Война превращается в нечто постоянное, а потому постоянными становятся и поборы, необходимые для ее ведения под руководством короля.

27

«On peut comprendre et apprécier la lutte que la royauté eut à soutenir, quand elle voulut fonder et développer son pouvoir fiscal, qe'en cherchant à se rendre compte des forces sociales et des intérêts qu'elle rencontre et qui firent

obstacles à ses desseins^{26 120}». Это суждение четко указывает на социогенез монополии на сбор налогов. Разумеется, сами короли столь же мало, как и другие участники борьбы того времени, понимали, что происходит формирование нового института. У королей даже не было намерения «увеличить свою налоговую власть» — и они, и их люди желали поначалу просто от случая к случаю получать как можно больше денег, поскольку к тому их вынуждали необходимость решения определенных задач и те расходы, на которые они должны были идти. Ни один человек сам по себе не был изобретателем налогов и творцом налоговой монополии: не было одиночки или даже группы индивидов, веками создававших этот институт по заранее утвержденному плану. Налоги, как и любые другие институты, являются продуктом социального сплетения взаимосвязей. Они возникают как бы в рамках параллелограмма сил, в результате борьбы различных социальных групп и интересов, чтобы затем, через большее или меньшее время, развиваться в инструмент постоянного определения соотношения социальных сил, их сопоставления, которое заинтересованные лица сознательно организуют и планомерно превращают в прочный социальный

200

институт. Вместе с постепенной трансформацией общества и смещением центра тяжести в соотношении социальных сил происходит и превращение периодических выплат князьям (на нужды военных походов, в целях уплаты выкупа или сбора приданого для дочери) в регулярно взимаемые подати. Когда в обществе с преобладанием натурального хозяйства начинает расти сектор торгово-денежного обращения, когда дом одного из феодалов становится королевским домом, властвующим на все большей территории, тогда и феодальная повинность «aide aux quatre cas» превращается в налог.

Начиная с 1328 г. (а с 1337 г. — еще в большей мере) происходит ускорение этого преобразования чрезвычайных поборов в регулярные подати. В 1328 г. в некоторых частях королевства был вновь введен прямой налог, собираемый для финансирования войны с Фландрией; в 1335 г. ряд городов западной Франции облагается косвенным налогом на покупки — на сей раз для создания флота; в 1338 г. всем королевским чиновникам уменьшают оклады; в 1340 г. вновь вводится, уже на всей территории, налог с продаж; в 1341 г. вступает в силу особый соляной налог — «gabelle du sel». В 1344, 1345, 1346 гг. косвенные налоги увеличиваются. После битвы при Креси королевские чиновники пытаются вновь увеличить личные и прямые налоги, в 1347-1348 гг. происходит возврат к косвенным налогам на продажи. Все это — своего рода эксперименты, поскольку все случаи повышения налогов выступают в виде дополнительного сбора средств в пользу короля для ведения войны — «des aides sur le fait de la guerre». Король и его люди вновь и вновь поясняют, что эти денежные сборы — временная мера, и от нее откажутся вместе с прекращением военных действий¹²¹. Представители сословий также всякий раз, как только у них появляется такого рода возможность, подчеркивают чрезвычайный характер данных поборов. Они также пытаются по возможности поставить под контроль расходование денег, собранных как «aides», чтобы те тратились именно на войну, и ни на что иное. Но короли, по крайней мере начиная с Карла V, уже не слишком строго соблюдают эти условия. Они свободно распоряжаются кассой, в которую притекают «aides», и при необходимости не стесняются использовать эти средства на содержание собственного дома или для вознаграждения своих любимцев. Весь ход событий — приток денег в королевскую кассу, равно как и образование оплаченного этими деньгами войска, — медленно, но верно ведет к чрезвычайному усилению центральной функции. Каждое из сословий, в первую очередь дворяне, всячески сопротивляется укреплению центральной власти. Но уже в это время многочисленные расхождения в интересах, существующие между сословиями, ослабляют общее сопротивление. Сословия слишком зависят от исхода военных действий, они слишком заинтересованы в успешном

201

отражении англичан, чтобы отказать королю в средствах для ведения войны. Сильнейшие противоречия между сословиями, равно как и различия интересов на местах, препятствуют не только совместному выступлению разных социальных сил в борьбе за ограничение финансовых притязаний короля или за контроль над расходованием денег — они мешают и прямой сословной организации военных действий. Внешняя угроза делает людей этого общества — общества, далекого от единства, со слабо развитыми взаимосвязями, — в высшей степени зависимыми от короля, от высшего координатора, от его аппарата господства. Поэтому они год за годом вынуждены идти на все новые «чрезвычайные жертвования» на войну, которой нет конца.

Наконец, после того, как король Иоанн после битвы при Пуатье оказался в плену у англичан, для выплаты гигантского выкупа за него впервые потребовалось собирать средства на протяжении не одного года, а шести лет. Как это часто случается, случайное событие лишь ускорило то, что уже долгое время подготавливалось в структуре общества. На деле этот налог собирался на протяжении не шести, а последующих двадцати лет, постепенно увеличиваясь в размере, — можно даже предположить, что в эти годы произошло известное приспособление рынка к данному налогу. Помимо данного налога на продажи, собираемого для выкупа короля, вводились и налоги на другие цели, например: в 1363 г. был введен прямой налог для покрытия военных расходов, а в 1367 г. — для борьбы с разбойничающей солдатней. В 1369 г., по возобновлении военных действий, появились новые прямые и косвенные налоги, самым ненавистным из которых был налог на скот («fouage»).

«Все это пока что — феодальные "aides", но они распространяются на всех, унифицируются и повышаются — причем не только в домене короля, но и по всей территории королевства — под наблюдением особого

центрального управленческого аппарата»¹²². Действительно, на этой фазе Столетней войны, когда «aides» постепенно становились долговременным явлением, шаг за шагом вырабатывались также специализированные службы, связанные со сбором данных податей, пока еще называемых «чрезвычайными», и осуществлением судебных процедур, требуемых при их взыскании. Поначалу эта функция возлагается на «généraux sur le fait des finances», наблюдающих за сборщиками «aides» по всей стране. Потом, с 1370 г., появляются два высших чиновника: один из них занимается исключительно финансовыми вопросами, тогда как второй решает судебные дела, возникающие при взыскании «aides». Здесь мы уже имеем дело с первоначальной формой института, который впоследствии, на протяжении всего «ancien régime», будет важнейшим органом налогового управления — «chambre (или cour) des aides». Но в 1370-1380 гг. этот институт только формируется, он еще не стал чем-

202

то постоянно действующим, представляя собой орудие открытого или скрытого противоборства различных социальных центров. Пока что не забыты те столкновения, в результате которых появился данный орган, как это часто случается со многими упрочившимися и сделавшимися стабильными институтами. Всякий раз, как короли, встретив сопротивление различных групп населения, отступают и ограничивают свои притязания, эти службы также уходят в тень. Наличие указанных институтов, равно как и кривая их роста, позволяют довольно точно определить соотношение социальных сил центральной функции и центрального аппарата, с одной стороны, и дворянства, церкви и городских слоев — с другой.

Как уже было сказано выше, при Карле V «aides sur le fait de la guerre» стали столь же постоянными, сколь и сама война. Они ложились тяжким бременем на народ, и без того обнищавший из-за военных действий, пожаров, трудностей в ведении торговли и, не в последнюю очередь, из-за непрерывных передвижений по их территории войск, требовавших пропитания и кормившихся грабежом. В результате королевские налоги воспринимались еще более болезненно, в них еще отчетливее видели нечто противоречащее их собственному названию, ибо чрезвычайные выплаты в целях вспомоществования короне стали регулярными. Пока был жив Карл V, все это недовольство оставалось скрытым: народ безмолвствовал, но нужда росла, а вместе с нею — и недовольство. Впрочем, сам король, кажется, понимал, что в стране растет напряженность, ощущал подавленное возбуждение, в первую очередь, связанное с этими налогами. Вероятно, он осознавал и то, чем грозило обернуться такое недовольство в случае, когда на месте старого и опытного короля окажется ребенок, его несовершеннолетний сын, вступающий на трон под опекой соперничающих родственников. Быть может, этот страх перед будущим соединялся у него с некими угрызениями совести. Конечно, налоги, собираемые его аппаратом на протяжении долгих лет, сам Карл V считал чем-то неизбежным и необходимым. Но даже у него, без ограничений пользовавшегося собранными средствами, такого рода налоги оставляли ощущение чего-то незаконного. Во всяком случае, за несколько часов до смерти (16 сентября 1380 г.) он отдал распоряжение, отменяющее самый ненавистный в народе налог на скот, равным образом обременявший и бедных, и богатых. То, насколько этот указ отвечал положению дел, сложившемуся после смерти короля, выяснилось очень скоро. С кончиной Карла V центральная функция ослабевает, и общее недовольство становится явным. Соперничающие родственники умершего короля (прежде всего, Людовик Анжуйский и Филипп Смелый Бургундский) вступили в борьбу за власть — в том числе и за право распоряжаться королевской казной. Города начинают бунтовать против налогов. Народ устраивает охоту

203

на королевских сборщиков «aides». При этом возмущение низших слоев горожан поначалу находит понимание у высших слоев буржуазии: их цели совпадают. Городские нотабли, собравшиеся вместе с представителями других сословий в ноябре 1380 г. в Париже, требуют отмены королевских налогов. Вероятно, под непосредственным давлением собравшихся герцог Анжуйский и королевский канцлер дают им соответствующее обещание. 16 ноября 1380 г. выходит указ, подписанный королем, об отмене, отныне и навечно, всех налогов: «Doresnavant à toujours — tous les fouages, impositions, gabelles, XII^{es}, XIII^{es}, dont ils — ont esté et sont moult grevés, touz aydes, subsides quelxconques qui pour le fait des dictes guerres ont esté imposez...». «Так была принесена в жертву вся финансовая система последних десяти лет, все те завоевания, что были достигнуты в годы с 1358/1359 по 1367/1368. Королевская власть отброшена чуть ли не на столетие назад. Она оказалась в той точке, которую занимала в начале Столетней войны»¹²³.

Подобно системе сил, еще не пришедшей в состояние равновесия, общество колеблется в этой борьбе от одного полюса к другому. О том, насколько могущественными были центральный аппарат и королевская функция в то время, говорит уже то, сколь быстро им удается восстановить утраченные позиции, хотя сам король — пока что ребенок, зависимый от реализующих данную функцию фактических правителей и слуг. Уже тут можно обнаружить то, что станет совершенно очевидным при Карле VII: шансы, связанные при таком строении французского общества с королевской функцией, настолько возросли, что королевская власть может усиливаться даже тогда, когда сам король слаб или даже ничего из себя не представляет. Зависимость групп и слоев от высшего координатора, обеспечивающего обмен и кооперацию между различными социальными функциями, растет вместе с увеличивающейся взаимозависимостью этих групп. При военной угрозе эта зависимость возрастает в чрезвычайной мере. Общие интересы в борьбе с общим врагом вынуждают — охотно или нет — вновь передать королю те средства, что нужны для ведения войны. Тем самым оказывается, что в его распоряжение отданы и средства для единовластного правления.

В 1382—1383 гг. короне — королю со всеми своими родственниками, советниками и слугами, т.е. людьми, каким-либо образом относящимися к аппарату правления, — вновь удастся обложить теми налогами, которые центр считал необходимыми, города, выступавшие в качестве главных центров сопротивления сбору податей.

Городские восстания 1382 г. были связаны прежде всего с проблемой налогов. Но в борьбе из-за налогов, т.е. в связи с определением того, кто и в какой мере должен компенсировать расходы центрального аппарата, как это часто случается, решался вопрос о распределении власти как таковой. Городские но-

204

табли того времени ясно видели свою цель — завоевание права голоса при установлении и распределении налогов, а тем самым и контроля над центральным аппаратом. Эту цель иной раз преследовали и представители других сословий. Низшие и средние городские слои чаще всего понимали свою задачу в более узком смысле: они хотели лишь освобождения от тяжкого бремени поборов. Уже здесь цели различных городских групп не полностью совпадают, хотя в данном вопросе — в отношении к центральному аппарату страны — не было и враждебного противостояния друг другу этих групп. Но в самих городах при решении внутренних проблем дело обстояло иначе. При всей взаимозависимости интересов и даже в силу тесного их переплетения, они диаметрально противоположны.

Городские общины того времени уже представляют собой достаточно дифференцированные образования. В них выделяется привилегированный высший слой — буржуазия в собственном смысле слова, обладающая монопольным правом занимать должности в городских управленческих структурах, а тем самым и монопольным контролем над городскими финансами. В них имеется средний слой, своего рода мелкая буржуазия, представителями которой выступают не очень состоятельные мастера и ремесленники. Наконец, есть масса учеников и рабочих, «народ». Налоги и здесь образуют тот узел, на примере которого хорошо прослеживаются и взаимозависимость, и противоречия. В тех случаях, когда горожане вообще четко формулировали свои требования, средние и низшие группы выступали за прямые налоги, дифференцированные в зависимости от уровня доходов, тогда как высшие городские слои предпочитали косвенное налогообложение (или прямые налоги без дифференциации). Возмущение народа по поводу налогов, как это не раз бывало, поначалу находило отклик и в среде городской верхушки. Высшая буржуазия выступает на стороне народного движения до тех пор, пока оно усиливает их позиции в противостоянии с королевской властью или с местными феодалами. Но очень скоро народное возмущение обращается против состоятельных лиц в самом городе. Это выражается в борьбе за должности, за участие в городском правлении, идущей между правящим буржуазным патрициатом и средними слоями, которые желают иметь доступ к городским службам, а тем самым, в качестве городских нотаблей, и к управлению всей страной. В результате подобных возмущений представители городской верхушки вынуждены бежать либо оказывать сопротивление городским низам; чаще всего на этой стадии борьба завершается вводом королевских войск, приходящим на помощь патрициату.

Рассмотрение того, как протекали восстания в отдельных городах, увело бы нас слишком далеко. Здесь достаточно отметить, что завершались они все большим смещением центра тяжести в

205

сторону центрального аппарата и королевской власти. Вожаков взбунтовавшихся горожан казнили (в особенности тех, кто выступал против налогов), прочие должны были платить большие штрафы. На город в целом налагались значительные подати. В Париже возводились королевские крепости («бастилии»), в которых сидели королевские «gens d'armes». Городские свободы ограничивались. Местные городские управы подчинялись королевским чиновникам, становясь важными органами королевского аппарата господства: иерархия занимаемых представителями высшей буржуазии чинов спускалась от министерских постов вплоть до бургомистров и цеховых мастеров. Точно так же решался и вопрос о налогах — теперь их размер диктовался центром.

Причина того обстоятельства, что проба сил столь быстро и решительно закончилась в пользу центра, вновь та же: сила центральной функции определяется силой антагонизмов, существующих между различными группами этого общества. Городские верхи находятся в противоречии не только со светскими и церковными феодалами, но и с низшими городскими слоями. В данном случае на руку центру сыграло отсутствие у горожан единства. Не менее важным было отсутствие тесной связи между разными городами королевства. Тенденция к совместному выступлению нескольких городов существовала, но была очень слабой — взаимосвязь между ними была недостаточной для такого общего действия. В каком-то смысле отношение между городами было подобно взаимоотношению разных государств, в большей или меньшей мере конкурировавших друг с другом. Поэтому люди короля сначала заключали некое подобие мира с Парижем, чтобы высвободить руки для борьбы с фландрскими городами. Подавив их сопротивление, они переходили к Руану, а затем и к Парижу. Им удавалось расправиться с каждым городом по отдельности. Не только социальные, но и региональные различия (как первые, так и вторые в определенной мере сочетались с взаимной зависимостью) шли на пользу центру. Общее сопротивление всех групп населения вынуждало королевскую власть отступать. Но в противостоянии с любым отдельным слоем или регионом перевес был на стороне центра, поскольку последний получал средства со всей страны.

Вновь и вновь различные социальные группы пытались ограничить или сломить растущее могущество центра. И всякий раз структурные закономерности способствовали смещению центра тяжести в сторону

королевской власти, а каждая проба сил через какое-то время вела к ее дальнейшему укреплению. Денежные подати, налоги то на короткое время исчезали, то на столь же короткое время ограничивались, но в итоге они вновь восстанавливались. Точно так же исчезали и воскресали службы, предназначенные для сбора налогов. История формирования «chambre des aides», например, содержит множество таких потрясений и пере-

206

воротов. С 1370 по 1390 г. этот институт раз за разом исчезает и восстанавливается вновь. Затем, в 1413, 1418, 1425, 1462, 1464, 1474 гг., как пишет историк этих служб, они переживают «то жизнь, то смерть, при полной непредсказуемости воскресений»¹²⁴, чтобы, в конце концов, сделаться прочным институтом королевского аппарата господства. Даже если эти колебания отражают не только крупные социальные столкновения, в сложном становлении данного института мы все же получаем некую картину социогенеза королевской функции и формирования монопольной организации как таковой. Они показывают, сколь мало все эти функции и образования были долгосрочными планами и сознательными творениями отдельных лиц, возникая постепенно, проходя тысячи мелких шагов к своему окончательному становлению, формируясь в ходе непрестанной борьбы социальных сил.

28

Некоторые короли даже в своих действиях, в развитии своих личных способностей целиком зависели от состояния королевской функции во время их правления. Яснее всего это видно на примере Карла VII. Если рассматривать его как индивида, то особой силы тут не найти — крупной или великой личностью он не был. Но во времена его правления — после того, как англичане были вытеснены из его владений, — королевская власть постоянно набирает силу. Для народа король — глава победоносного войска, сколь бы мало ни походил на полководца он сам. Во время войны все финансовые и человеческие ресурсы страны оказались сосредоточены у центральной власти. Процессы централизации командования в армии и монопольного распоряжения налогами сделали значительный шаг вперед. Внешний враг был вытеснен с территории королевства, но войско (по крайней мере, немалая его часть) осталось в целостности и сохранности. Это дало королю такой перевес в противостоянии сил внутри страны, что любое сопротивление сословий его воле уже не имело ни малейших перспектив, да и население, уставшее от войны, желает и требует только одного — мира. В такой ситуации король в 1436 г. заявляет, что нация вручила ему на неограниченное время право на «aides», что его просят более не собирать сословия для одобрения решения об их взимании, поскольку стоимость поездок участников Генеральных Штатов на эти собрания чрезмерно велика и, как он утверждает, ложится слишком тяжким бременем на народ.

Конечно, это обоснование взято с потолка. Отказ от Генеральных Штатов выражает попросту рост социальной силы королевской власти. Эта сила теперь столь велика, что может открыто объявить «aides», уже приобретшие долгосрочный характер во время войны, постоянным институтом. Сила эта уже на-

207

столько недвусмысленна, что король не считает нужным согласовывать размеры налогов с теми, кто ими облагается. И в дальнейшем бывали отступления, попытки сопротивления налоговой политике короны со стороны сословий. Исключение из участия в решении вопросов налогообложения сословных парламентов и закрепление диктаторских полномочий королей закрепились не без борьбы. Но всякое сопротивление вновь и вновь показывало, насколько большей принудительной силой на этой фазе развития общества обладал процесс возрастания могущества центральной функции, шедший параллельно с прогрессирующей дифференциацией общества и ростом взаимосвязей. Всякий раз в центре происходит концентрация военной силы, которая обеспечивает ему право распоряжения налогами, а сосредоточенное в центре распоряжение налогами, в свою очередь, ведет ко все большей монополизации военной силы, права на физическое насилие. Шаг за шагом оба эти инструмента власти набирают все большую силу, пока в какой-то момент не предстают перед глазами изумленных современников во всем своем могуществе. Как и во многих других случаях, лучше любого исторического описания дать представление об этой трансформации может высказывание одного из современников указанных событий, видевшего в них нечто новое и непонятно откуда взявшееся.

Когда при Карле VII центральный аппарат начал открыто назначать и взимать налоги без согласия сословий, Ювеналий Урсинский, архиепископ Реймский, написал королю следующее письмо, где, помимо всего прочего, говорилось следующее (даю вольный перевод): «Когда Ваши предшественники вели войну, то обычаем было собрание трех сословий; они сзывали людей церкви, благородных и низкородных в какой-нибудь из лучших своих городов. Они сами туда являлись и излагали собравшимся, как идут дела, что нужно для противостояния неприятелю, и, в соответствии с военными нуждами, просили о помощи посредством податей. Вы и сами так поступали, пока не увидели, что Бог или фортуна, — а ведь она переменчива — так Вам помогли, что Вы почувствовали себя ею вознесенным. «Aides» и прочие налоги устанавливаются Вами так, словно это подати с Вашего собственного домена, и не требуют согласия Ваших трех сословий.

Раньше... это королевство по праву можно было называть «Royaume France», поскольку населяли его свободные («francs»), пользовавшиеся всеми своими свободами («franchises et libertés»). Ныне они представляют собой рабов, произвольно обложенных поборами («taillables à volonté»). Если взглянуть на число людей в Вашем королевстве, то оно едва достигнет десятой части того, что было ранее. Я не хочу

умалить Вашу власть, я хотел бы ее даже увеличить с помощью моих малых средств. Нет сомнений в том, что государь, и особенно такой, как Вы, в особых случаях —

208

для защиты королевства и общего дела («chose publique») — может что-то забирать («tailler») у своих подданных и увеличивать «aides». Но для этого следует разумным образом договариваться с ними. Ведь у одного есть меньше, чем у другого. В правовых вопросах Вы, быть может, и суверен, они находятся в Вашем ведении. Но пока речь идет о доходах с доменов, то у Вас он свой, как и у каждого частного лица. (N.B. *Иными словами, король может, как ему вздумается, кормиться со своего домена, но он не является сувереном, когда речь идет о доходах со всей страны.* — Н.Э.). Сегодня же с Ваших подданных не просто стригут шерсть, но сдирают кожу, режут по плоти и до самых костей».

Чуть дальше архиепископ неприкрыто выражает свое возмущение: «Тот, кто привык действовать по своему произволу и не служит хоть наполовину своим подданным, не достоин править... Поэтому остерегайтесь того, чтобы обильный поток денег (*буквально: «обильный жир», «великое множество».* — Н.Э.), текущий к Вам в виде «aides», отсекаемый от тела, не разрушил душу. Ведь Вы голова этого тела. Разве не будет величайшей тиранией то, что голова человеческого тела разрушает его сердце, его руки и ноги (N.B. *Это следует понимать символически, как духовное сословие, воины и простой народ.* — Н.Э.)?»¹²⁵

Отныне и на долгое время лицами, указывающими на публичный характер функций короля, становятся подданные. Выражения вроде «общественное дело», «отечество» и даже «государство» чаще всего употребляются теми, кто стоит в оппозиции князьям и королям. Сами центральные правители на этой фазе распоряжаются монополизированными шансами — прежде всего налогами, собираемыми со всего королевства, — так, словно речь идет об их личной собственности (на это указывает архиепископ Реймский). Именно в этом смысле, как ответ на слова оппозиционеров, рассуждающих об «отечестве» и «государстве», следует понимать приписываемое одному из королей высказывание: «Государство — это я». Такому ходу развития изумлялись не только французы. Порядок, увеличивавший могущество и прочность центрального аппарата и центральной функции, который формировался во Франции и раньше или позже в силу аналогичных факторов получил распространение почти во всех странах Европы, в XV в. выглядел как нечто удивительное в глазах не только французских наблюдателей. Достаточно прочесть хотя бы донесения венецианских посланников того времени: для этих чужеземцев, наблюдателей с безусловно широким кругозором и большим опытом в таких вещах, возникающие формы правления были чем-то ранее невиданным.

В 1492 г. из Венеции в Париж прибыли два посла — официально для того, чтобы пожелать счастья Карлу VIII, женившемуся на Анне Бретанской. В действительности же они должны

209

были разведать, где и как собирается Франция применять силу в Италии, а также собрать общие сведения о том, как идут во Франции дела, каково ее финансовое положение, что представляют собой король и его окружение, какие товары ввозятся и вывозятся, какие имеются партии на политической арене королевства. Одним словом, послы должны были информировать обо всем, что представляет интерес, дабы Венеция могла правильно вести свою политику. Это посольство, впоследствии из разового мероприятия превратившееся в постоянное учреждение, было признаком того, что в европейском пространстве к тому времени уже существовала значительная взаимозависимость различных политических образований.

В присланном послами докладе мы находим, помимо всего прочего, точную информацию о французских финансах и системе налогообложения. По оценке посла, ежегодные доходы короля равны примерно 3 млн 600 тыс. франков, из которых «1 400 000 franchi da alcune imposizioni che si solevano metter *estraordinarie...* le quali si sono continuate per tal modo che al presente sono fatte *ordinarie*²⁷⁾». Королевские расходы, по оценке посла, составляют от 6 млн 600 тыс. до 7 млн 300 тыс. франков. Возникающий дефицит покрывается следующим образом: «В январе каждого года собираются директора финансовых правлений всех областей — королевского домена в собственном смысле слова, Дофине, Лангедока, Бретани и Бургундии — и составляют примерный расчет («fanno il calcolo») доходов и потребных для нужд следующего года расходов. Причем *сначала* они подсчитывают расходы («prima mettono tutta la spesa») и в зависимости от дефицита между этими расходами и предполагаемыми доходами устанавливают общий налог для всех провинций королевства. Ни прелаты, ни благородные этого налога не платят, но один лишь народ. Таким образом, обычные доходы и эта «taille» приносят столько, чтобы покрыть годовые расходы. Если в этот год начинается война или возникают какие-то неожиданные расходы, не входившие в смету, то вводится какой-то дополнительный налог или уменьшаются пенсии — в любом случае нужная сумма должна быть получена»¹²⁶.

Выше мы уже говорили о формировании монополии на налоги. В этом рассказе венецианского посла дана ясная картина того, как она функционировала на этой ступени развития. Мы сталкиваемся здесь и с важнейшей — даже ключевой — структурной особенностью абсолютизма, а в известной степени и «государства» вообще: расходы имеют примат над доходами. Отдельному человеку, прежде всего буржуа, в ходе этого развития все более вменяется в обязанность соблюдение строгого соответствия между расходами и доходами — это становится обычаем. Напротив, для общества в целом исходным пунктом ведения дел оказываются расходы, от уровня которых зависят доходы, а

210

именно, те подати, что общество с помощью монополии на налоги вынуждает платить каждого индивида. Здесь перед нами пример того, что целое, возникшее из сплетения связей индивидов, обладает собственными структурными особенностями и подчиняется закономерностям, отличным от тех, что относятся к индивидам, и понять их нельзя, если исходить из индивидов. Единственным ограничителем в сборе денег для такого социального центра оказывается платежеспособность общества в целом, а также сила отдельных групп в их отношениях с полномочными представителями данной монополии. Позже, когда эта монополия попадает под контроль широких слоев буржуазии, бюджет общества в целом решительно отделяется от бюджета отдельных лиц, а управляющие центральной монополией выступают как функционеры, работающие в интересах всего общества. Общество как целое, государство по-прежнему ставят свои доходы в зависимость от социально необходимых расходов. Но теперь и короли должны вести себя так же, как все прочие индивиды: им выделяется строго установленная сумма содержания, и они вынуждены соотносить свои расходы со своими доходами.

Но на первой фазе монополии картина была иной. Бюджет короля и бюджет общества еще не были разделены. Короли устанавливали подати в зависимости от своих расходов, которые они сами считали необходимыми, — шла ли речь о военных расходах, о строительстве замков или о подарках своим любимцам. Ключевая для господства монополии имела характер личной монополии. Но то, что с нашей точки зрения представляет собой этап на пути к формированию общественной или публичной монополии, в глазах венецианского наблюдателя примерно 1500 г. было чем-то новым — он рассматривает эту монополию не без любопытства, словно речь идет об экзотических нравах и обычаях чужеземцев. У него дома все иначе. Полномочия высших венецианских органов власти в значительной мере ограничиваются, как и у средневековых князей, правами общин, гильдий, различных провинций и сословий. Венеция также является центром значительной территории. Добровольно или нет, но другие муниципалитеты все же вынуждены подчиняться ее власти. Но даже у покоренных коммун для вхождения в подвластные Венеции земли почти всегда обязательным является условие, «что ни одна новая подать не будет введена без согласия большинства совета»¹²⁷. В беспристрастных докладах внешних наблюдателей, венецианских послов, происходившие во Франции изменения получают даже более яркую характеристику, чем в словах задетого этой трансформацией архиепископа Реймского.

В 1535 г. доклад венецианского посланника содержит следующую оценку: «Независимо от того что могущество короля обеспечивается оружием, деньги он получает вследствие покорности его народа. Я говорил, что Его Величество обычно имеет два

211

с половиной миллиона доходов. Мною сказано «обычно», ибо, если ему вздумается, он может повысить сборы со своего народа. Какое бы время он на них ни наложил, они все платят, без всякого ограничения. Однако я должен в связи с этим заметить, что сельское население, несущее основную часть этого бремени, очень бедно, а потому приумножение тягот, пусть самое незначительное, становится для него невыносимым».

В 1546 г. венецианский посол Марино Кавальи пишет подробный и точный отчет о Франции, отмечая своеобразие формы правления в этой стране, которое было хорошо видно для этого нейтрального наблюдателя с широким кругозором. Помимо всего прочего, он отмечает: «Многие королевства являются более плодородными и богатыми, чем Франция, например Венгрия и Италия; многие больше и могущественнее, например Германия и Испания. Но ни одно не является настолько единым и покорным, как Франция. Я не думаю, что причиной ее нынешнего облика выступает что-либо иное, помимо этих двух характеристик — единства и покорности ("unione e obediencia"). Свобода, безусловно, является самым желанным даром мира сего; но далеко не все ее достойны. Поэтому одни народы рождены только для послушания, другие же для командования. Не будь здесь первого, то и дела шли бы как сейчас в Германии или раньше в Испании. Во всяком случае, французы, вероятно, признав себя непригодными для свободы и собственной воли, целиком передали их королю. Ему достаточно сказать: я желаю, я приказываю, я решаю, что будет так, что платить нужно столько. И все это тут же исполняется, словно решение принималось ими всеми. Дело зашло настолько далеко, что один из них, у коего поболее духу, чем у прочих, сказал: раньше короли назывались "reges francorum", а теперь их следовало бы называть "reges servorum". Так что королю выплачивается не только все то, чего он пожелает, но и любой другой капитал открыт для королевских рук.

Эта покорность народа возросла при Карле VII, после того, как он освободил страну от ига англичан. Затем она увеличивалась при Людовике XI и Карле VIII, захватившем Неаполь. Приложил к этому руку и Людовик XII. Но правящий ныне король (Франциск I) может хвалиться тем, что превзошел всех своих предшественников. Он заставляет своих подданных платить столько, сколько он хочет; он присоединяет к владениям короны все новые земли, ничего не отдавая взамен. Если он и отдаривается, то права на эти земли даются только на время жизни одаряемого или дарящего. А если кто-то живет слишком долго, то все эти дары отнимаются обратно как принадлежность короны. Правда, иным они были затем возвращены. Нечто подобное делается с постами предводителей и стражников разного рода. Если некто захочет перейти к Вам на службу и скажет: у французов у меня был такой-то оклад, такой-то титул, такое-то обес-

212

печение, то Вашей Светлости следует разузнать, о чем именно идет речь. У многих из них никогда или раз другой в их жизни был случай что-то получить; многие оставались по два-три года без вознаграждения ("che

non toccano un soldo"). Вашей Светлости переданы в ведение в том числе и вопросы наследства; конечно, примеры того, что делается где-либо еще, не должны иметь на Вас никакого влияния. Но по моему суждению, обычай давать блага только на время жизни... превосходен. У короля появляется возможность дарить их тем, кто того заслуживает; при этом у него всегда остается то, что можно подарить. Если бы дарения были наследственными, то по-прежнему была бы нищая Франция, и нынешним королям дарить было бы нечего. А так им служат лица, у коих более заслуг, чем у наследников чего-то, дарованного ранее. Вашей Светлости следует подумать о том, что если так делается во Франции, то что же делать прочим князьям, не располагающим столь большими землями. Если не видеть того, к чему ведут переходящие по наследству дары (как говорится, они идут на поддержание семьи), то может случиться, что уже не будет средств для достойного вознаграждения тех, кто этого действительно заслужил, либо придется облагать народ новыми налогами. И то, и другое было бы и несправедливо, и достаточно вредно. Если же давать только на время жизни, то вознаграждаются только те, кто заслуживает. Имена циркулируют и через какое-то время возвращаются обратно в казну... Уже восемьдесят лет к короне постоянно что-то присоединяется с помощью конфискаций, прав на наследство или покупку, — и ничего от нее не убавляется. Так короне удалось все в себя впитать, и во всем королевстве не найти князя, обладающего доходом в двадцать тысяч скуди. Да и те, кто располагает доходами и землями, настоящими владельцами не являются: король сохраняет свое господство над ними посредством апелляций, податей, гарнизонов и всех прочих новых и чрезвычайных тягот. Корона становится все богаче, растут единство и престиж, и все это уменьшает риск гражданских войн. Ведь там, где князья бедны, им нет смысла (да и возможности нет) пытаться что-то затевать против короля, как это раньше делали герцоги Бретани, Нормандии, Бургундии, Гаскони и все прочие. А если кто-нибудь начинает совершать необдуманные поступки и пытается бунтовать, чтобы добиться изменений, как это попробовал сделать герцог Бурбонский, то у короля появляется прекрасная возможность еще более обогатиться за счет его сокрушения»¹²⁸.

Здесь мы имеем целостный обзор основных особенностей формирующегося абсолютизма. Один феодальный владыка добивается превосходства над всеми конкурентами из числа крупных землевладельцев. Управление землями все больше коммерциализируется и приобретает денежную форму. Данная трансформация проявляется в том, что король приобретает монопо-

213

лию на подати, собираемые на территории всей страны, а тем самым в его распоряжении оказываются наибольшие доходы. Из короля, владеющего землями и их раздающего, он превращается в правителя, распоряжающегося деньгами и раздающего ренты. Именно так ему удастся разорвать порочный круг, в котором неизбежно оказывались владыки в условиях натурального хозяйства. Он оплачивает необходимые ему службы — военную, равно как придворные и административные, — уже не с помощью раздачи земель своим слугам в наследуемую собственность (в Венеции эта практика явно сохранялась), но в лучшем случае предоставляет им на время службы денежную ренту, а затем право на эту ренту возвращается к короне, и, таким образом, богатства последней не уменьшаются. Во все большем числе случаев король вообще предпочитает вознаграждать своих подданных деньгами, окладами. Он централизует налоги всей страны и делит притекающие к нему средства по своему произволу и в интересах собственной власти, а потому все растущее число людей во всей стране прямо или косвенно становятся зависимыми от королевской милости, от денежных выплат, осуществляемых благодаря королевским финансам. Более или менее частные интересы короля и его приближенных направляют также использование социальных шансов. Но в борьбе интересов различных социальных функций образуется та форма организации общества, которую мы называем «государством». Монополия на налоги вместе с монополией на физическое насилие образуют фундамент данной формы организации общества. Как генезис, так и наличное бытие «государства» остаются непостижимыми до тех пор, пока исследователи не отдадут себе отчета (пусть на примере хотя бы *одной* страны) в том, как шаг за шагом шло формирование центрального института «государства», как это движение зависело от определенной динамики социальных отношений и какие структурные закономерности, какие взаимопереплетенные интересы и действия его обуславливали. Уже по докладу венецианского посланника можно заключить, что центральный орган общества получает во Франции невиданные ранее силу и стабильность, поскольку — благодаря росту денежного обращения — государю уже нет нужды оплачивать услуги своих подданных землями из собственных владений, что (без экспансии) означало быстрое истощение их запаса. Он платит только те или иные суммы денег, полученные благодаря регулярно собираемым им налогам. С помощью денег он может избавиться и от необходимости вознаграждать своих слуг пожизненно или с правом наследования королевского дарения, а такая практика поначалу сохранялась при переходе от вознаграждения землями к денежной ренте. Теперь он может оплатить одну услугу или целый их ряд одновременно выплачиваемой суммой денег либо установить должностному лицу тот или иной постоянный

214

оклад. Многообразные и далеко идущие последствия такой трансформации мы здесь не рассматриваем. Изумление венецианского посланника достаточно хорошо свидетельствует о том, что эта повседневная и считающаяся сегодня самоочевидной практика тогда рассматривалась как нечто новое. Данные им пояснения также хорошо показывают причины того, что только с монетаризацией общества становится возможным стабильный центральный орган: денежные выплаты ставят всех их получающих в

долговременную зависимость от центра. Только теперь окончательно преодолеваются центробежные тенденции.

Все это позволяет понять изменения, затрагивающие дворянство того времени. Прежде, пока дворяне были сильнее, король в известной степени смещал центр тяжести в сторону буржуазии; он даже сделал свой аппарат одним из бастионов последней. Теперь, когда — вследствие роста денежного оборота и военной централизации — рыцари, владельцы имений, дворяне все больше утрачивают социальный вес, король вновь смещает центр тяжести. Распределяемые им шансы теперь достаются в большей мере дворянам. Он позволяет части дворянства образовать слой, возвышающийся над буржуазией. Когда последние попытки сопротивления сословных элементов во время религиозных войн, а затем и Фронды, демонстрируют всю свою бесплодность, придворные посты медленно, но верно становятся привилегией дворянства, его бастионом. Короли защищают тем самым его превосходство, благоволят ему и так перераспределяют денежные шансы, что пошатнувшееся из-за ослабления дворянства равновесие сил восстанавливается. Но тем самым из относительно свободных воинов былых времен дворяне превращаются в придворных вельмож, всецело зависящих от короля и пожизненно находящихся на его службе. Рыцари стали придворными. На вопрос о том, какова социальная функция придворных, ответ дан уже здесь. Обычно историки расценивают придворное дворянство эпохи «ancien régime» как слой, «лишенный функций». Действительно, в смысле «разделения труда», существующего в рамках наций в XIX-XX вв., это дворянство никакими функциями не обладало. Но следует помнить, что сами функции во времена «ancien régime» были иными. Они в значительной мере определялись тем, что центральный правитель был еще во многом личным владельцем монополии на господство, что характеристики частного лица и функционера, находящегося на службе у общества, еще не разделились. Придворное дворянство непосредственно не выполняло никаких функций в процессе разделения труда, но оно имело свою функциональную значимость для короля как центрального правителя. Дворянство составляло неотъемлемый базис его господства. Оно позволяло королю дистанцироваться от буржуазии, подобно тому, как буржуазия помогала ему дистанцироваться от дворянства. В лице дворянства

215

буржуазии был найден противовес. В этом — наряду с некоторыми другими — состояла его важнейшая функция, имевшая огромное значение для короля. Если бы не существовало постоянного противостояния между дворянством и буржуазией, подчеркнутых различий между этими сословиями, то сам король утратил бы большую часть своих полномочий. Наличие придворного дворянства служило выражением того факта, что монополия на господство еще в огромной степени оставалась личным владением центрального правителя, который мог распределять доходы с земель в соответствии с особыми интересами, присущими центральной функции как таковой. Возможность планирования используется пока что для поддержания слоев или функций, социальная сила которых идет на спад.

Итак, перед нами ясная картина общества времен абсолютизма. В мирском обществе французского «ancien régime» еще в большей мере, чем в обществе XIX в., можно выделить два сектора — большой, аграрный, и меньший, городской, или буржуазный, постоянно усиливающийся в экономическом плане. В обоих секторах имелся низший слой: в большем это были крестьяне, в меньшем — городские бедняки, подмастерья и рабочие. В обоих секторах существовал низший средний слой: мелкие ремесленники, а отчасти и низшие чиновники в городах и бедные провинциальные дворяне. И там и тут был в наличии и высший средний слой: в одном секторе это были зажиточные и богатые купцы, городской судейский и чиновный люд (а в провинции даже высшие чины аппарата), в другом, соответственно, — зажиточное провинциальное дворянство. Наконец, в обоих секторах существовал высший слой, верхи которого были близки ко двору: это — высшие чиновники, «noblesse de robe», по одну сторону, и придворное дворянство, верхушка «noblesse d'épée» — по другую. Король тщательно поддерживал напряженность и в самих этих секторах, и между ними, а ситуация усложнялась еще и наличием противоречий (как и временных союзов) данных секторов с духовенством, точно так же разделенным на три слоя. Король охранял привилегии и социальный престиж дворянства, помогая ему противостоять растущей экономической силе буржуазных групп. Он прямо перераспределял в пользу дворянской верхушки часть социального продукта, получаемого короной за счет финансовой монополии. Когда незадолго до революции, после того, как потерпели крах все попытки реформ, появляются лозунги оппозиционных буржуазных групп с требованием отмены привилегий дворянства, то вместе с ними возникает и требование изменения управления монополией на налоги. Упразднение привилегий дворянства означало, с одной стороны, отмену освобождения дворян от уплаты налогов, а тем самым и иное

216

распределение налоговых тягот; с другой стороны, — упразднение двора вообще или сужение круга придворных, т.е. уничтожение лишнего функций дворянства, каким оно виделось новой буржуазии, людям свободных профессий. Это означало в то же самое время и иной принцип перераспределения средств — уже не по произволу короля, но в соответствии с функциональным подразделением общества в целом (либо поначалу — в пользу самой высшей буржуазии). Наконец, устранение дворянских привилегий означало и ликвидацию прежней позиции короля как центрального правителя, обеспечивающего равновесие между обоими сословиями с их иерархическим строением. Действительно, в последующий период

центральные правители должны были балансировать в совсем иной системе противовесов. Соответствующим образом изменились и их функции. Только одно остается без изменений: при всех отличиях в устройстве поля социальной напряженности власть центральных инстанций сравнительно мала, пока напряженность не слишком велика, пока между представителями различных полюсов еще возможно взаимопонимание. Рост этой власти происходит вместе с ростом напряженности — на той фазе, когда ни одной из противоборствующих групп не удается достичь решающего перевеса над другими.

Примечания

¹ Примером этого могут служить последствия, которые повлекло за собой состояние казны каролингских времен. Быть может, эти последствия не так значительны, как может показаться, если судить по приводимой ниже цитате; однако состояние казны, *fiscus*, у Каролингов, конечно же, сыграло свою роль в формировании национальных границ. См.: *Thompson J.W. Economic and Social History of the Middle Ages (300— 1300)*. N.Y.-L., 1928. P. 241-242: «The wide-spread character of the Carolingian fisc... made the fisc like a vast net in which the Empire was held. The division and dissipation of the fisc was a more important factor in the dissolution of the Frankish Empire than the local political ambition of the proprietary nobles...»

The historical fact that the heart of the fisc was situated in central Europe accounts for the partitions of central Europe in the ninth century, and made these regions a battle-ground of kings long before they became a battleground of nations... The dividing frontier between future France and future Germany was drawn in the ninth century because of the greatest block of the fisc lay between them». («Широкое распространение Каролингского фиска... сделало из него обширную сеть, в которой удерживалась вся империя. Разделение и растворение фиска представляли собой значительно более важный фактор в распаде империи франков, чем местные политические притязания удельной аристократии... Тот исторический факт, что сердцевина фиска располагалась в Центральной Европе, объясняет членение Центральной Европы в IX в., что сделало эти рай-

217
оны полем битвы между королями задолго до того, как они стали полем битвы между нациями...

Граница между будущей Францией и будущей Германией была начертана в IX в., поскольку между этими районами лежала мощная преграда для фиска... — *A. P.*).

См. также: *Thompson J. W. The Dissolution of the Carolingian Fisc*. Berkeley: University of California Press, 1935.

² *Luchoire A. Les premiers Capétiens*. P., 1901. P. 180.

³ *Petit-Dutaillis Ch. La Monarchie féodale en France et en Angleterre*. P., 1933. P. 8; см. прилагаемые карты.

Подробнее о восточной границе западнофранкского государства и ее перемещениях см.: *Kern F. Die Anfänge der französischen Ausdehnungs-politik*. Tübingen, 1910. S. 16.

⁴ *Kirn P. Das Abendland vom Ausgang der Antike bis zum Zerfall des karolingischen Reiches // Propyläen-Weltgeschichte*. B., 1932. Bd. III. S. 118.

⁵ *Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte*. Цит. по: *Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung*. Wien, 1924. T. II S. 100-101.

⁶ *Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl von Großen*. Wien, 1918-1924. T. II S. 115.

⁷ *Kirn P. Op. cit.* S. 118.

⁸ *Hoffman A. v. Politische Geschichte der Deutschen*. Stuttgart-B., 1921 — 1928. Bd. I. S. 405.

⁹ *Dümmler E. Geschichte des ostfränkischen Reiches*. B., 1862-1888. Bd. III. S. 306.

¹⁰ *Kirn P. Politische Geschichte der deutschen Grenzen*. Lpzg, 1934. S. 24.

¹¹ *Lot F. Les derniers Carolingiens*. P., 1891. S. 4; *Calmette J. Le monde féodal*. P., 1934. P. 119.

¹² *Beaudoin*, цит. по: *Calmette. Le monde feodal*. P., 1934. P. 27.

¹³ *Luchoire A. Les premiers Capétiens*. P. 27. Картину распределения власти во времена Гуго Капета см. также: *Mignet M. Essai sur la formation territoriale et politique de la France // Notices et Mémoires historiques*. P., 1845. Vol. II. P.154f.

¹⁴ *Luchoire A. Histoire des Institutions Monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-1180)*. P., 1883. Vol. II. Notes et Appendices. P. 329.

¹⁵ *Hampe K. Abendländisches Hochmittelalter // Propyläen-Weltgeschichte*. B., 1932. Bd. III. S. 306.

¹⁶ *Kirn P. Das Abendland vom Ausgang der Antike bis zum Zerfall des karolingischen Reiches*. S. 119.

¹⁷ *Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, vornehmlich in Deutschland*. Weimar, 1912. Bd. I. S. 162. В целом о поместье рыцаря и деревне см.: *Barnes, Flugel. Economic History of Europe*. L., 1930. The Manor. P.163ff.

¹⁸ *Bloch M. Les caractères originaux de l'histoire rurale française*. Oslo, 1931. P. 23.

¹⁹ *Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl den Großen*. T. II S. 309. Ср. также фрагмент: «Чем большей была фактическая власть, хозяйственная и социальная опора у такого должностного лица, тем меньше мог король даже думать о том, чтобы после смерти чиновника

218

забрать этот пост и отдать его кому-либо, не принадлежащему к его семье» (Ibid. S. 115.).

²⁰ *Calmette J. La société féodale*. P., 1932. P. 3.

²¹ *Calmette J. La société féodale*. P. 4. В связи с этим представляет интерес сопоставление европейского и японского феодализма, см.: *Macleod W.Ch. The Origin and History of Politics*. N.Y., 1931. P. 160ff. Правда, здесь (р. 162) феодализация в западном мире более объясняется предшествующими позднеимскими институтами, а не принудительностью актуальных взаимосвязей: «Many writers appear to believe that western European feudalism has its institutional origins in Pre-Roman Teutonic institutions. Let us explain to the student that the fact

is that Germanic invaders merely seized upon those contractual institutions of the later Roman empire which...» («Многие авторы полагают, что западноевропейский феодализм имел свои институциональные истоки в доримских тевтонских институтах. Стоит показать студентам тот факт, что вторгнувшиеся германцы просто переняли те договорные учреждения поздней Римской империи, которые...». — *A. P.*). Но именно тот факт, что в самых различных частях земли образуются аналогичные феодальные формы отношений и институты, становится понятным лишь в том случае, если четко видны сила актуальных отношений принуждения и механизмы взаимосвязи. Только анализ последних проясняет различия между процессами феодализации и феодальными институтами в разных обществах.

Другое сопоставление различных феодальных обществ мы находим у Отто Хинце (см.: *Hintze O. Wesen und Verbreitung des Feudalismus // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. B., 1929. S. 321 ff.*). Находясь под влиянием рассуждений Макса Вебера о методе исторического и социологического исследования, автор пытается «описать тот *идеальный тип*, который лежит в основании понятия феодализма». Хотя автор здесь уже переходит от старого способа написания истории к новому, более полно учитывающему актуальные социальные структуры, а потому в отдельных случаях приходит к весьма плодотворным выводам, это сравнение различных феодальных обществ представляет собой один из многочисленных примеров трудностей, возникающих у историков, когда они перенимают основные методические идеи Макса Вебера, а именно — говоря словами Отто Хинце — следуют его стремлению получить «доступные созерцанию абстракции, типические образования». То, что наблюдатель находит сходным между различными людьми и обществами, относится не к *идеальным типам*, т.е. «типам», созданным при помощи мысленных операций исследователя, но к действительному сходству самих социальных структур. Если нет этого родства между ними, то невозможно и понятийное образование «типов» в концепциях историков. Это становится ясно, когда понятию «идеального типа» пытаются противопоставить другое, а именно, понятие *реального типа*. Сходство различных феодальных обществ является не искусственным продуктом мышления, а — скажем это еще раз — результатом принудительных взаимосвязей сходного рода. Они действительно, а не только согласно «идее», ведут к сходным историческим процессам, к родственным формам отношений и институтам в самые разные времена и в самых различных частях земного шара. (Теоретико-познавательное обоснование этих мыслей мы здесь не приводим; некоторые размышления по поводу

219

этой проблемы приведены в прим. 129 к цитируемой работе «Общество индивидов»).

Пара выбранных наугад примеров, коими я обязан Ральфу Бонвиту, показывает, насколько принудительные взаимосвязи в Японии, приведшие к феодальным формам отношений и институтам, были близки структурам и взаимосвязям, известным нам по западному Средневековью. Сравнительный структурный анализ одновременно может прояснить и то своеобразие, каковым обладали феодальные институты в Японии, равно как и особенности их исторического развития, отличного от западного.

Тот же результат дает пробное исследование военного общества гомеровской эпохи. Возьмем для примера хотя бы одно явление: возникновение великих эпических циклов в античном обществе благородных воинов, равно как в западном рыцарском обществе или во многих других со сходной социальной структурой, не нуждается в спекулятивных биологизаторских гипотезах вроде «молодого возраста» общественного «организма». Для объяснения нам достаточно полного исследования специфических форм общения, которые сформировались при средних и крупных феодальных дворах или возникли во время рыцарских войн и походов. Певцы и чтецы сообщали информацию о судьбах и геройских деяниях великих воинов в стихах, которые передавались затем из уст в уста; они занимали определенное место в актуальной жизни этих феодальных обществ и выполняли определенную функцию в зависимости от положения тех же певцов в рамках одного племени.

О структурных изменениях в античном военном обществе говорят нам и исследования, посвященные изменениям стиля античных ваз и изображений на них. Например, если на вазах определенного периода появлялись «барочные» по стилю образы с аффектированными или «утонченными» жестами и одеяниями, то причины этого нужно искать не в биологическом «постарении» общества, но в процессе дифференциации, который вел к выделению из общей массы воинов богатых домов военных вождей или князей, к появлению «рыцарей», ведущих «придворную» жизнь, либо во влиянии на них других могущественных дворов. Постигание специфических противоречий и процессов европейского раннефеодального общества, облегчаемое наличием богатого фактического материала, помогает и при анализе античности. Разумеется, такие гипотезы нуждаются в строгой проверке, и их выдвижение должно сопровождаться структурно-историческим анализом самого античного материала.

Сравнительные социогенетические и структурно-исторические исследования такого рода пока почти не предпринимались. Для их проведения необходимо преодолеть как чрезмерно строгое разделение научных дисциплин, так и недостаточно тесную кооперацию различных областей науки, донныне затрудняющие работу такого рода. Например, для понимания раннефеодального общества и его структуры совершенно необходимо сравнительное исследование существующих в современном мире феодальных обществ, пока таковые еще имеются. Необходимые для изучения каждого общества мелкие детали, структурные связи и опосредования при фрагментарности дошедших до нас свидетельств стали бы понятны, если бы современные этнологи не ограничивались простейшими «племенами», а историки интересовались не

220

только умершими обществами и ушедшими в небытие формами и процессами. Обе дисциплины должны совместно заниматься описанием тех ныне существующих обществ, напоминающих по своему строению средневековое западное общество; обе они должны интересоваться структурами таких обществ, функциональными зависимостями, связывающими людей в определенного рода союзах, теми принудительными силами, которые направляют трансформацию этих зависимостей и отношений.

²² По этому вопросу см.: *Kulischer A., Kulischer E. Kriegs- und Wanderzüge. B.-Lpzg, 1932, S. 50f.*

²³ *Bury I.B. History of the Eastern Roman Empire. 1912. P. 373 (цит. по: Kulischer A., Kulischer E. Op. cit. S. 62).*

²⁴ *Pirenne H. Les villes du moyen âge. Bruxelles, 1927.*

²⁵ *Kirn P.* Politische Geschichte der deutschen Grenzen. Lpzg, 1934. S. 5. Подробнее о различиях в скорости и структуре феодальных процессов в Германии и Франции см.: *Thompson J.B.* German Feudalism // American Historical Review. 1923. Vol. XXVII. P. 440. Ср. также (Ibid. P. 444.): «What the ninth century did for France in transforming her into a feudal country was not done in Germany until the civil wars of the reign of Henry IV». («То, что девятый век сделал для превращения Франции в феодальную страну, было осуществлено в Германии только во времена гражданских войн в царствование Генриха IV». — *A. P.*) Правда, распад западнофранкского государства связывается здесь (P. 443) — как впоследствии в работе Оулт (см.: *Ault W.O.* Europe in the Middle Ages. 1932) — прежде всего с более серьезной внешней угрозой: «Germany being less exposed to attack from outside and possessed of a firmer texture within than France, German feudalism did not become as hard and set a system as was French feudalism. "Old" France crumbled away in the ninth and tenth centuries, "old" Germany, anchored to the ancient duchies, which remained intact, retained its integrity» («Так как Германии меньше грозило вторжение извне и она обладала более прочным, чем Франция, строением, то немецкий феодализм не стал столь же жесткой системой, сколь феодализм французский. "Древняя" Франция развалилась в IX—X вв., "древняя" Германия, укорененная в своих незатронутых переменах исконных герцогствах, сохранила свою целостность». — *A. P.*). Однако решающее значение для темпов и силы феодальной дезинтеграции западнофранкского государства имел как раз тот факт, что после того как норманны осели на землю, вторжения чужих племен, давление и угроза извне были здесь значительно меньшими, чем у восточных франков. Следовало бы еще проверить, распадаются ли некогда единые крупные области медленнее (а однажды распавшись, не интегрируются ли они с большим трудом), чем небольшие, — эта социальная механика нуждается в исследовании. Во всяком случае, постепенное ослабление дома Каролингов, хотя бы отчасти обусловленное уменьшением его богатства из-за раздачи земель за службу, разделом его между потомками (даже это нуждается в проверке), сопровождалось дезинтеграцией всего каролингского удела. Быть может, уже в IX в. у западных франков это движение зашло несколько дальше, чем в немецких областях. Но там оно замедлялось именно из-за наличия внешней угрозы. Существовавшая долгое время внешняя угроза давала отдельным немецким князьям возможность становиться центральными правителями за счет

221

побед над общими врагами, а тем самым вновь оживала каролингская централизованная организация. Усилению центральной власти долгое время способствовала и возможность колониальной экспансии, захвата земель непосредственно у восточных границ немецкого рейха. В западнофранкских областях оба фактора — и угроза вторжения других племен, и возможность экспансии — играли значительно меньшую роль. Соответственно, меньшими были и шансы на образование сильного королевства: отсутствовала присущая королю «задача». Тем самым ускорялся и шел интенсивнее процесс феодальной дезинтеграции (см. выше, с. 20 сл. и с. 40—41).

²⁶ *Levasseur.* La population française. P., 1889. P. 154. I.

²⁷ *Bloch M.* Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Oslo, 1931. P. 5.

²⁸ *Cohn W.* Das Zeitalter der Normannen in Sicilien. Bonn - Lpzg, 1920.

²⁹ *See H.* Französische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1930. S. 7.

³⁰ *Breysig K.* Kulturgeschichte der Neuzeit. B., 1901. Bd. II S. 937f. Особый интерес представляет следующий фрагмент: «Если сравнить образ действия трех монархий... и попытаться выяснить, чем объясняется различная степень успешности их действий, то последнюю причину этого различия следует искать не в отдельных удачах и неудачах. Норманско-английское королевство извлекло пользу из тех обстоятельств, которые зависели не от королей, да и не от воли смертных вообще, но от *сплетений* событий внешней и внутренней истории Англии. Так как после 1066 г. новое государство в Англии строилось как бы с самого фундамента, то стало возможным использовать тот опыт, что уже имелся в больших монархиях в целом, и в особенности тот, которым располагала ближайшая, французская монархия. Раздробление ленов крупных феодалов, ликвидация наследования чинов — эти выводы норманнские короли сделали, глядя на судьбы ближайшего к ним королевства» (S. 948). ³¹ *Pirenne H.* Les villes du moyen âge. Brüssel, 1927. P. 53. Противоположный подход к данной проблеме развивался и в последнее время Д. М. Петрушевским. Его работа (см.: *Petruševski D.M.* Strittige Fragen der mittelalterlichen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Tübingen, 1928. Bd. 85,3. S. 468ff.) не лишена интереса, поскольку ее односторонность делает очевидными некоторые неясности, сохраняющиеся при традиционном историческом подходе, и присущую данному подходу неразработанность понятийного аппарата. Скажем, расхожому представлению, будто античные города целиком исчезли в Средние века, здесь противопоставляется тезис, столь же односторонний и неточный, — достаточно сравнить его с более взвешенным подходом А. Пиренна (*Pirenne H.* Economic and Social History of Medieval Europe. L., 1936. P. 40): «When the Islamic invasion had bottled up the ports of the Tyrrhenian Sea... municipal activity rapidly died out. Save in southern Italy and in Venice, where it was maintained thanks to Byzantine trade, it disappeared everywhere. The towns continued in existence, but they lost their population of artisans and merchants and with it all that had survived of the municipal organization of the Roman Empire» («Когда исламское вторжение закрыло порты на Тирренском море... быстро замерла и городская активность. За исключением юга Италии и Венеции, где эта активность сохранялась благодаря торговле с Византией, она

222

повсюду исчезает. Города продолжали существовать, но они теряют население, состоявшее из ремесленников и купцов, а вместе с ним и все то, что выжило от муниципальной организации Римской империи». — *A. P.*)

Статическому представлению о «натуральном хозяйстве» и «денежном хозяйстве», выступающим не как обозначения *направлений* исторического процесса, но как два отдельных и несоединимых друг с другом состояния общественного тела, Петрушевский противопоставляет иное представление, согласно которому вообще не существовало никакого «натурального хозяйства»: «Не говоря уж о том, что само понятие "натуральное хозяйство", как его понимает Макс Вебер, принадлежит к тем научно-утопическим терминам, которые не только не существуют и никогда не существовали в жизненной реальности, но которые, в отличие

от других столь же утопических общих понятий... по своему логическому характеру вообще не применимы к какой бы то ни было жизненной реальности» (*Petruševski D.M.* Op. cit. S. 34, 61).

Можно опять сравнить это со взглядами Пиренна: «From the economic point of view the most striking and characteristic institution of this civilization is the great estate. Its origin is, of course, much more ancient and it is easy to establish its affiliation with a very remote past... What was new was the way in which it functioned from the moment of the disappearance of commerce and the towns. So long as the former had been capable of transporting its products and the latter of furnishing it with a market, the great estate had commanded and consequently profited by a regular sale outside... But now it ceased to do this, because there were no more merchants and townsmen... Now that everyone lived off his own land, no one bothered to buy food from outside... Thus, each estate devoted itself to the kind of economy which has been described rather inexactly as the "closed estate economy", and which was really simply an economy without markets» (Pirenne H. Op. cit. P. 8—9) («С экономической точки зрения самым поразительным и наиболее характерным институтом этой цивилизации является большое поместье. Конечно, его истоки восходят к куда более древним временам — легко установить связь с весьма давним прошлым... Новым был способ его функционирования с того момента, как исчезли торговля и города. Пока торговля была способна предоставлять продукты, а города обеспечивали ее рынками, большое поместье поставляло на них продукты и тем самым получало выгоду от регулярной внешней торговли... Но теперь оно перестает это делать, ибо уже нет ни купцов, ни горожан... Все теперь живут с собственных земель, никто не покупает продукты питания со стороны... Таким образом, каждое поместье обращается к экономике, которая не слишком точно описывалась как "закрытая поместная экономика", но на деле была просто экономикой без рынков». — *A. P.*).

Наконец, тому воззрению, будто «феодализм» и «натуральное хозяйство» были как бы двумя различными сферами существования, или этажами, общества, где одно служило базисом, а другое надстройкой, произведенной или обусловленной этим базисом, Петрушевский противопоставляет другую точку зрения, согласно которой два эти явления вообще не имели друг с другом ничего общего: «...фактический материал вообще не подтверждает представлений о том, что феодализм был обусловлен натуральным хозяйством, будто он не может совмещаться с более обширной государственной организацией» (S. 488).

223

Попытка обрисовать действительное положение дел содержится в нашем тексте. Специфическая форма натурального хозяйства, с которой мы имеем дело в раннем Средневековье, — слабо дифференцированные и не связанные с рынками хозяйства крупных землевладельцев, — и та специфическая форма военно-политической организации, которую мы называем «феодализмом», представляют собой просто две различные стороны одной системы отношений между людьми. Мы мысленно различаем их, но даже в мышлении они не должны выступать как две субстанции, имеющие раздельное существование. Властные и военные функции феодала неотделимы от его функций владельца земли и крепостных. При всех изменениях в положении этих феодальных господ, оказывавших влияние на строение этого общества в целом, их нельзя объяснить только переменами в экономических отношениях или одними изменениями в их военно-политических функциях. Объяснение возможно только в том случае, если перед нашим взором предстает вся сеть неразрывно связанных между собой функций и форм отношений.

³² См. введение Луи Альфена в книге: *Luchoire A.* Les Communes Françaises à l'époque des Capétiens directs. P., 1911. P. VIII.

³³ *Halphen L.* Op. cit. P. IX.

³⁴ *Luchoire A.* Les Communes Françaises à l'époque des Capétiens directs. P. 18.

³⁵ *Werveke H.v.* Monnaie, lingots ou marchandises? Les instruments d'échange au XIe et XIIe siècles // *Annales d'Histoire Economique et Sociale.* 1932. Septembre. № 17. P. 468.

³⁶ *Werveke H.v.* Op. cit. Процесс, идущий в противоположном направлении, — выход денег из обращения, оплата натуральными продуктами — начинается еще в ранний период поздней античности. «A mesure qu'on avance dans le III^e siècle, la chute se précipite. La seule monnaie en circulation reste l'antoninianus... La solde de l'armée tend de plus en plus à être versée en nature... Quant aux conséquences inéluctables d'un système qui ne permet de récompenser les services rendus que sous forme de traitement en nature, de distribution de terre, on les entrevoit aisément: Elles mènent au régime dit féodal ou à un régime analogue» («По мере того как мы подходим к III в., падение ускоряется. Единственной монетой в обращении оставался antoninianus... Плата солдатам все время выдавалась натурой... Что же касается неизбежных следствий системы, позволяющей вознаграждать за службу лишь натурой, земельными наделами, то они вполне понятны: они ведут к феодальному — или аналогичному ему — режиму. — *A. P.*) (*Lot F.* La fin du monde antique. P., 1927. P. 63-67).

³⁷ *Rostovtsev M.* The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford, 1926. P. 66—67. (см. также p. 528 и еще ряд мест, где речь идет о транспорте).

³⁸ *Noettes L. de.* Le cheval de selle à travers les âges. Contribution à l'histoire de l'esclavage. P., 1931.

Исследования Лефевра де Ноетта как по своим результатам, так и по постановке вопросов, имеют огромное значение. Учитывая важность этих результатов (пусть некоторые пункты требуют дополнительной проверки), можно оставить без внимания то, что автор ставит с ног на голову причинные связи и превращает развитие тягловой техники в причину устранения рабства.

Необходимая корректировка данных выводов содержится в критическом анализе этой книги, осуществленном Марком Блоком (см.:

224

Bloch M. Problèmes d'histoire des techniques // *Annales d'histoire économique et sociale.* 1932. Sept.). Он уточняет по крайней мере два положения Лефевра де Ноетта: 1) влияние Китая и Византии на средневековые изобретения нуждается в дальнейшем исследовании; 2) к тому моменту, когда появляется новая сбра, рабство уже долгое время не играло значительной роли в структуре раннесредневекового мира. См. также p. 484: «En absence de toute succession nette dans le temps comment parler de relation de cause à l'effet?» («В отсутствие всякой четкой временной последовательности — как говорить об отношении причины и следствия?» — *A. P.*).

На немецком языке основные результаты труда Лефевра де Ноетта были представлены Л.Левенталем (см.: *Löwenthal L. Zucht und Sklaven // Zeitschrift für Sozialforschung. Fr.a.M., 1933. H. 2).*

³⁹ *Noettes L. de. La «Nuit» du moyen âge et son inventaire // Mercure de France. 1932. T. 235. P. V.* ⁴⁰ *Werveke H. v. Monnaie, lingots ou marchandises? P. 468.*

⁴¹ *Zimmern A. Solon and Croesus, and other Greek essays. Oxford, 1928. P. 113. См. также: Zimmern A. The Greek Commonwealth. Oxford, 1931. С какого-то времени (и с полным на то правом) стали подчеркивать, что в Риме наряду с рабами ручным трудом занимались и свободнорожденные. Это достаточно точно установил в своих работах М.Ростовцев, а затем на эту тему появились специальные исследования (см.: *Rostovtsev M. The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926; Barrow R.H. Slavery in the Roman Empire. L., 1928. P. 124f).* Но тот факт, что труд свободнорожденных (как бы мы ни оценивали его долю в производстве в целом) был реальностью, все же не противоречит сказанному А.Циммерном в приведенном фрагменте. А именно, не противоречит тому, что в обществе, где значительная часть работы выполняется рабами, социальные закономерности и процессы будут иметь специфические отличия от тех, что действуют и протекают в обществе, где по крайней мере в городах применяется исключительно труд свободных. Социальной тенденцией в первом случае оказывается стремление свободных дистанцирование от тех видов деятельности, которые осуществляются рабами, а тем самым и появление «бедных бездельников». Эта тенденция была весьма заметна и в древних, и в современных обществах с большой долей рабского труда. Понятно, что под давлением нужды какая-то часть свободнорожденных все же оказывается принужденной выполнять ту же работу, что и рабы. Но столь же ясно и то, что на их положение, как и на положение всех занятых ручным трудом в таком обществе, существенное влияние оказывает рабский труд. Такие свободные — или хотя бы часть из них — вынуждены соглашаться на те же условия труда, что и рабы. В зависимости от количества рабов в таком обществе и степени их участия в данной сфере производства труд этих свободных оказывается под большим или меньшим давлением конкуренции со стороны рабского труда. Это также является одной из закономерностей строения рабовладельческого общества.*

См. также: *Lot F. La fin du monde antique. P. 69ff.*

⁴² Согласно исследованиям А.Циммерна (см.: *Zimmern A. Solon and Croesus. P. 161*), в классическую эпоху греческое общество не было типично рабовладельческим: «Greek society was not a slave-society; but it contained a sediment of slaves to perform its most degrading tasks, while the

225

main body of its so-called slaves consisted of apprentices haled in from outside to assist together and almost on equal terms with their masters in creating the material basis of a civilization in which they were hereafter to share». («Греческое общество не было рабовладельческим; оно включало в себя слой рабов для выполнения самых низких работ, но основную часть его так называемых рабов составляли завезенные извне подмастерья, которые чуть ли не на равных со своими мастерами создавали материальный базис цивилизации, плодами которой они также пользовались». — *A. P.*)

⁴³ *Pirenne H. Les villes du moyen âge. Bruxelles, 1927, P. 1 ff.*

⁴⁴ *Ibid. P. 10 ff.*

⁴⁵ *Ibid. P. 27.* В качестве подтверждения тезиса о «возврате в глубь континента» и значения такого возврата для становления западного общества служит тот факт, что развитие средств наземного транспорта, превосходящих античный уровень, начинается на век раньше, чем соответствующий прогресс в технике мореплавания. Развитие первых начинается где-то между 1050 и 1100 гг., тогда как второй — лишь с 1200 г. См. по этому поводу: *Noettes L. d. De la marine antique à la marine moderne. La révolution du gouvernement. P., 1935. P. 105 f.* См. также: *Byrne E.H. Genoese Shipping in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Cambridge (Mass.), 1930. P. 5-7.*

⁴⁶ *Luchoire A. Louis VII, Philippe Auguste, Louis VIII // Lavissee. Histoire de France. P., 1901. V. III, 1. P. 80.*

⁴⁷ *Calmette J. La société féodale. P., 1932. P. 71. См. также: Calmette J. Le monde féodal. P., 1934.*

⁴⁸ Во всяком случае, право делается относительно стабильным и неизменным за счет фиксации его положений, обособления самостоятельного правового аппарата, возникновения особого цеха работников, специализирующихся на его сохранении. «Правовая безопасность», в которой заинтересована немалая часть общества, отчасти покоится на этой стабильности права. Оно поддерживается этим интересом. Чем больше территория и количество населяющих ее людей, чем больше эти люди связаны друг с другом, тем больше потребность в едином праве, действующем на всей территории (подобно потребности в единой денежной единице, выступающей как аналогичный инструмент взаимозависимости), тем больше сопротивление права и правового аппарата любым переменам и смещению интересов, ведущему к такого рода изменениям. Это способствовало и тому, что простой угрозы применения физического насилия со стороны «легитимных» органов власти на протяжении длительного периода времени было достаточно, чтобы индивиды или целые социальные группы подчинялись утвердившимся нормам права и собственности, возникшим в результате существовавшего некогда соотношения социальных сил. Интересы, связанные с поддержкой уже существующих правовых отношений и отношений собственности, столь велики, а возникшее в силу растущих взаимосвязей равновесие настолько важно, что на место постоянно возобновляемой физической борьбы (к которой всегда склонны люди в обществах с меньшей степенью взаимозависимостью) приходит готовность подчиняться существующему праву. Только тогда, когда чрезвычайно усиливаются внутренние потрясения и ужесточаются конфликты, когда в обществе оказываются поколебленными интересы, связанные с действующим правом, а

226

различные группы вступают в физическую борьбу (зачастую после многовековых пауз), возникает вопрос о том, насколько фиксированное право соответствует действительному соотношению социальных сил. Напротив, в обществе с преобладанием натурального хозяйства, где люди не так сильно связаны друг с другом, где индивиду еще не противостоит как реальность незримое общественное целое (т.е. невидимая сеть отношений), безусловно превосходящее силу индивида, — в таком обществе каждое правовое притязание должно подкрепляться зримой мощью индивида, т.е. социальной силой, непосредственно

заявляющей о себе. Там, где ее нет, там, где она ставится под сомнение, отсутствует и право. Всякий собственник был готов — и должен был быть готов — доказывать в физической борьбе, что у него хватает военной мощи и социальной силы для подтверждения своего «права». Плотной сети межчеловеческих отношений на большой территории и с относительно развитыми средствами коммуникации соответствует право, которое отвлекается от местных и индивидуальных особенностей. Как всеобщее право, оно в равной мере применимо на всей этой территории и значимо для всех населяющих ее людей.

Специфический способ переплетения взаимосвязей и взаимозависимостей в феодальном обществе с преобладанием натурального хозяйства возлагало на сравнительно небольшие группы (зачастую и на отдельных индивидов) функции, которые сегодня осуществляются «государствами». Соответственно, и «право» тогда было куда более «индивидуализированным» и «локальным». Оно представляло собой совокупность обязательств и союзов, связующих друг с другом конкретного сюзерена с конкретным вассалом, определенную группу крестьян с определенным помещиком, этих бюргеров с этим сеньором, данное аббатство с данным герцогом. Исследование подобных «правовых отношений» дает наглядное представление о том, что на этой фазе переплетение социальных взаимосвязей и взаимозависимости между людьми были слабее, чем ныне, и это оказывало влияние на способы социальной интеграции. «Il faut se garder, — замечает, например, А.Пиренн (*Pirenne H. Les villes du moyen âge. P. 168*), — d'attribuer aux chartes urbaines une importance exagérée. Ni en Flandre ni dans aucune autre région de l'Europe, elles ne renferment tout l'ensemble du droit urbain. Elles se bornent à en fixer les lignes principales, à en formuler quelques principes essentiels, à trancher quelques conflits particulièrement importants. La plupart du temps, elles sont le produit de circonstances spéciales et elles n'ont tenu compte que des questions qui se débattaient au moment de leur rédaction... Si les bourgeois ont veillé sur elles à travers les siècles avec une sollicitude extraordinaire c'est qu'elles étaient le palladium de leur liberté, c'est qu'elles leur permettaient, en cas de violation, de justifier leurs révoltes, mais ce n'est point qu'elles renfermaient l'ensemble de leur droit. Elles n'étaient pour ainsi dire que l'armature de celui-ci. Tout autour de leurs stipulations existait et allait se développant sans cesse une végétation touffue de coutumes, d'usages, de privilèges non écrits, mais non moins indispensables.

Cela est si vrai que bon nombre de chartes prévoient elles-mêmes et reconnaissent à l'avance le développement du droit urbain... Le Comte de Flandre accorda en 1127 aux bourgeois de Bruges: "ut de die in diem consuetudinarias leges suas corrigerent", c'est-à-dire la faculté de compléter de jour en jour leurs coutumes municipales».

227

(«Не следует придавать чрезмерную значимость городским хартиям. Ни во Фландрии, ни в любом другом районе Европы, они не заключали в себе всей целостности городского права. В них фиксировались лишь главные линии, формулировались несколько основных принципов, выделялись некоторые наиболее важные конфликты. По большей части, они были плодом особых обстоятельств, а потому включали в себя лишь те вопросы, которые обсуждались в момент их составления... И то, что буржуа веками с необычайным упорством блюли их как палладию своих свобод (в случае их нарушения этим оправдывались бунты), еще не означает того, что ими охватывались все их права. Хартии были, так сказать, арматурой права. Вокруг их положений существовала и непрерывно развивалась густая поросль привычек, обычаев, неписаных привилегий, которые не становились от этого менее важными.

Поэтому в немалом числе хартий предвидится и заранее признается развитие городского права... Граф Фландрийский даровал горожанам Брюгге "ut de die in diem consuetudinarias leges suas corrigerent", т.е. возможность со дня на день дополнять свои муниципальные обычаи». — А. П.).

В приведенном фрагменте мы вновь видим, что иное состояние социальной взаимосвязи способствовало формированию между сравнительно малыми социальными элементами (такими, например, как город или крупный сеньор) отношений, приближающихся к тем, в которых сегодня находятся только «государства». Правовые соглашения в обоих случаях подчиняются одним и тем же закономерностям, находясь в прямой зависимости от смещения интересов и от соотношения социальных сил.⁴⁹ *Замечание о «социальной силе».*

«Социальная сила» человека или группы представляет собой сложный феномен. В случае индивида она никогда не тождественна его физической силе, а в случае группы — сумме индивидуальных физических сил. В определенных обстоятельствах физическая сила и ловкость *могут* служить важными элементами социальной силы. То, какую часть социальной силы составляет физическая, — зависит от строения общества в целом и от положения в нем индивида. По своей структуре и по своему строению социальные силы столь же многообразны, сколь строение и структура самих обществ. Например, в индустриальном обществе высшая социальная сила может сочетаться с незначительной физической силой, хотя и в этом обществе могут встречаться такие фазы развития, когда телесная мощь вновь становится важным ингредиентом социальной силы.

В феодальном рыцарском обществе физическая сила является непременным элементом социальной силы, хотя самой по себе ее не достаточно. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать: социальная сила человека в феодальном рыцарском обществе пропорциональна размерам и плодородию земли, которой он фактически распоряжается. Несомненно, физическая сила человека составляет важный элемент социальной силы, необходимый для господства. Кто не мог сражаться как воин, кто не был способен атаковать врагов или защищаться, тот не имел в этом обществе и шансов на приобретение земельной собственности. Но тот, кто уже располагал большим участком земли, оказывался монополистом, обладающим важнейшим средством производства, а тем самым и социальной силой, выходящей за пределы его индивиду-

228

альной физической силы. Предоставляя землю другим рыцарям, он взамен мог рассчитывать на их службу. Слова о том, что его социальная сила пропорциональна размерам и плодородию земель, которыми он фактически распоряжается, означают одновременно следующее: его социальная сила пропорциональна количеству тех воинов, что готовы встать под его знамена, его войску, — т.е. его военной силе.

Но тем самым понятно и то, что, если крупный феодал хочет охранять и защищать свои земли сам, он оказывается в зависимости от службы своих вассалов. Эта зависимость могущественных властителей от служилых людей разного ранга составляет важный элемент социальной силы последних. Если социальная сила вассалов растет, т.е. увеличивается зависимость феодала от их службы, то социальная сила самого феодала уменьшается. Когда же растет потребность в земле у тех, у кого ее нет, т.е. спрос на землю со

стороны безземельных, тогда увеличивается социальная сила тех, кто обладает землей. Социальная сила человека или группы выражается только посредством пропорций. Здесь мы имеем дело с простым примером. Точное выяснение того, что такое «социальная сила», представляет собой самостоятельную задачу. Значение этого вопроса для понимания социальных процессов в прошлом и в настоящем не нуждается в комментарии. «Политическая сила» также является лишь определенной формой социальной силы. Нельзя понять поведение и судьбы людей, групп, социальных слоев или государств без учета их социальной силы — той, которой они обладают в действительности, независимо от того, что они сами о себе говорят или думают. Политическая игра во многом утратила бы свой таинственный и случайный характер, если бы нашему анализу была доступна вся сеть силовых отношений во всех странах мира. Разработка точных методов такого анализа остается одной из задач социологии будущего.

⁵⁰ Calmette J. La société féodale. P. 71.

⁵¹ Luchaire A. La société française au temps de Philippe Auguste. P., 1909. P. 265.

⁵² Haskins Ch. H. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, 1927. P. 55.

⁵³ Ibid. P. 56.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Wechssler E. Das Kulturproblem des Minnesangs. Halle, 1909. S. 173. ⁵⁶ «Ibid. S. 174.

⁵⁷ Ibid. S. 143.

⁵⁸ Ibid. S. 113.

⁵⁹ Brinkmann H. Entstehungsgeschichte des Minnesangs. Halle, 1926. S. 86. ⁶⁰ Wechssler E. Op. cit. S. 140.

⁶¹ Luchaire A. La société française au temps de Philippe Auguste. P. 374. ⁶² Ibid. P. 379. ⁶³ Ibid. p.379-380.

⁶⁴ Vaissière P. de. Gentilshomme Campagnards de l'ancienne France. P., 1903. P. 145.

⁶⁵ Brinkmann H. Entstehungsgeschichte des Minnesangs. S. 35.

⁶⁶ Wechssler E. Das Kulturproblem des Minnesangs. S. 71.

⁶⁷ Ibid. S. 74. О том же писала и Марианна Вебер, см.: Weber M. Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung. Tübingen, 1907. S. 265.

⁶⁸ Vaissière P. de. Op.cit. P. 145.

229

⁶⁹ Wechssler E. Op.cit. S. 214.

⁷⁰ Brinkmann H. Op.cit. S. 45ff. Ср. также высказывание К.С.Льюиса (Lewis C.S. The Allegory of Love, a Study in Medieval tradition. Oxford, 1936. P. 11): «The new thing itself, I do not pretend to explain. Real changes in human sentiment are very rare, but I believe that they occur and that this is one of them. I am not sure that they have "causes", if by a cause we mean something which you would wholly account for the new state of affairs, and so explain away what seemed its novelty. It is, at any rate, certain that the efforts of scholars have so far failed to find an origin for the content of Provençal love poetry». («Я не притязаю на объяснение самого этого новшества. Действительные изменения человеческого мироощущения крайне редки, но я полагаю, что они случаются, и в данном случае мы имеем дело с одним из таких изменений. Я не уверен в том, что у них имеются "причины", если под причиной мы понимаем нечто целиком объясняющее новое положение дел, а тем самым оно лишается своей новизны. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что все усилия ученых мужей найти истоки содержания провансальской любовной поэзии ни к чему не привели». — A. P.)

⁷¹ В Англии само выражение «куртуазность» и в более поздние времена часто употреблялось исключительно по отношению к прислуге. Например, в английском описании того, что приличествует хорошему застолью (см.: Coulton G.G. Social Life in Britain. Cambridge, 1919. P. 375), упоминаются «*curtese* and honestie of servantes» («куртуазность и честность слуг». — A. P.), противопоставляемые «*kynde frendeshyp and company of them that sytte at the supper*» («Любезные дружба и товарищество между сидящими за ужином». — A. P.).

⁷² Zarncke F. Der deutsche Cato. S. 130. V. 71, 141f. О других сторонах этого первого шага на пути превращения рыцаря в придворного (о воспитании рыцарей и рыцарском кодексе, принятом в разных странах) см.: Prestage E. «Chivalry», A Series of Studies to Illustrate its Historical Significance and Civilizing Influence. L., 1928; Byles A.T. Medieval Courtesy-books and the Prose Romances of Chivalry. P. 183ff.

⁷³ Luchaire A. Les premiers Capétiens. S. 285; Luchaire A. Introduction // Luchaire A. Louis VI le Gros. P., 1890.

⁷⁴ Luchaire A. Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-1180). P., 1891. V. 2. P. 258.

"Ibid., P.17ff, 31-32.

⁷⁶ Suger. Vie de Louis le Gros / Hrsg. v. Molinier. Cap. 8. P. 18-19.

⁷⁷ Vuitry. Etudes sur le régime financier. P., 1878. P. 181.

⁷⁸ Luchaire A. Louis VI le Gros.

⁷⁹ «Единство устанавливается легче от Нортумберленда до пролива, чем от Фландрии до Пиренеев» (Petit-Dutaillis. La Monarchie féodale. P., 1933. P. 37). По вопросу о величине земель см.: Lowie R. H. The Origin of the State. N.Y., 1927; The Seize of the State. P. 17ff.)

У.М.Маклеод в своей работе (MacLeod W.M. The Origin and History of Politics. N.Y., 1931) указывает на удивительную устойчивость и относительную стабильность таких больших государств, как царство инков или империя Древнего Китая, при всей примитивности имевшихся в их распоряжении средств коммуникации. Только точный историко-структурный анализ взаимодействия центробежных и центростремительных тенденций и интересов в подобных царствах способен про-

230

яснить процесс объединения столь значительных земель и природу их стабильности.

Китайская форма централизации в сравнении с европейской кажется особенно необычной. Слой воинов, судя по всему, был искоренен здесь центральной властью относительно рано и весьма радикально. Как бы ни

происходило такое искоренение, с ним связаны две главные особенности строения китайского общества: переход распоряжения землей в руки крестьян (что лишь изредка встречается на Западе в ранний период — например, в Швеции) и замещение постов в аппарате господства в немалой части выходцами из того же крестьянства (во всяком случае, речь идет о целиком и полностью пацифицированном чиновничестве). Посредством такой иерархии чиновников придворные формы цивилизации глубоко проникают в низшие слои народа: в трансформированном виде они укореняются в поведенческом коде деревни. То, что часто обозначалось как «невоинственный» характер китайского народа, не выражает какую-то его природную «предрасположенность». Этот характер есть следствие того, что слой, с которым у народа имелся постоянный контакт и от которого он получал модели поведения, уже долгие века не был слоем воинов, дворянством, но мирным и ученым чиновничеством. По своему положению и функциям воинская служба и военное дело на традиционной шкале ценностей китайского народа поэтому не занимают высокого места (в отличие от японского народа). При всех отличиях централизации в Китае от процессов централизации на Западе, фундаментом для образования большого территориального объединения тут точно так же служило исчезновение свободно конкурирующих воинов или помещиков.

⁸⁰ О значении монополии на физическое насилие для построения «государства» см.: *Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922.*

⁸¹ См. выше, с. 97сл. Кажется, нет нужды следовать сегодняшнему обычаю и отыскивать математическое выражение для описания закономерности механизма монополии. Такое выражение при желании можно было бы найти. Но после того как оно найдено, возникает вопрос, который ныне редко ставят: какова *познавательная ценность* математической формулы? Например, что даст нам математическая формула в познании и уяснении механизма монополии? На такой вопрос можно дать ответ лишь на основе опыта. Хотя в сознании многих людей с формулировкой всеобщих закономерностей связывается некая ценность (по крайней мере, пока дело касается исторических и социальных наук), речь идет не о познавательной ценности. Более того, часто подобная оценка заводит исследование в тупик. Многим людям главной задачей исследования кажется объяснение всего изменчивого чем-то неизменным. Почтение к математическим формулам не в последнюю очередь восходит к подобной оценке неизменного. Но этот идеал и эта шкала ценностей коренятся не в познавательных задачах самого исследования, но в стремлении самого исследователя к вечности. Формулируются они математически или нет, всеобщие закономерности, вроде механизма монополии или любой иной общей закономерности взаимоотношения, не представляют собой конечной цели или вершины социально-исторического исследования. Постигание такой закономерности плодотворно как *средство* для другой конечной цели — как средство ориентации людей в

231

своём мире. Ценность установленных закономерностей связана лишь с их функцией прояснения исторических изменений.

⁸² См. раздел I главы III настоящего тома, а также прим. 49 о «социальной силе».

⁸³ *Lognon A. Atlas historique de la France. P., 1885.*

⁸⁴ *Luchoire A. Histoire des institutions monarchiques... T. I. P. 90.*

⁸⁵ *Petit-Dutaillis Ch. La monarchie féodale en France et en Angleterre. P., 1933. P. 109ff.*

⁸⁶ *Cartellieri A. Philipp II. August und der Zusammenbruch des angevinischen Reiches. Lpzg, 1913. S. 1.*

⁸⁷ *Longnon A. La formation de l'unité française. P., 1922. P. 98.*

⁸⁸ *Luchoire A. Louis VII, Philipp Augustus, Louis VIII. P. 204.*

⁸⁹ *Petit-Dutaillis Ch. Etudes sur la vie et le règne de Louis VIII. P., 1899. P. 220.*

⁹⁰ *Vuitry. Etudes sur le régime financier de la France. Nouvelle série, P., 1878. P. 345.*

⁹¹ *Ibid. P. 370.*

⁹² О положении этих семейств см.: *Longnon A. La formation de l'unité française. P. 224.*

⁹³ *Vuitry. Op. cit. P. 414.*

⁹⁴ См., напр.: *Mannheim K. Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiete des Geistigen // Verhandlungen des siebenten deutschen Soziologentages. Tübingen, 1929. S. 35ff.*

⁹⁵ *Dupont-Ferrier G. La formation de l'état français et l'unité française. P., 1934. P. 150.*

⁹⁶ См. карту 19, в: *Mirot L. Manuel de géographie de la France. P., 1929.* В этой работе можно найти карты, иллюстрирующие положения, рассмотренные во всех предшествующих разделах настоящего исследования.

⁹⁷ *Imbert de la Tour P. Les origines de la réforme. P., 1909. V. I, 4.*

⁹⁸ См. карту 21, в: *Mirot L. Op. cit.*

⁹⁹ См. беседу Озе с Ж.Дюпон-Ферье в: *Hauser H. La formation de l'État français // Revue historique. 1929. T. 161. P. 381.*

¹⁰⁰ *Fowles L. W. Loomis Institute (USA); цит. по: News Review. № 35. P. 32.*

¹⁰¹ *Luchoire A. Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. P., 1911. P. 276.*

¹⁰² По причине нехватки места мы вынуждены были исключить здесь (как и в некоторых других разделах) рассмотрение части собранного материала. Автор надеется на то, что ему удастся издать данные материалы в дополнительном томе приложений.

¹⁰³ *Lehuteur P. Philipp le Long (1316—1322). Le mécanisme du gouvernement. P., 1931. P. 209.*

¹⁰⁴ *Dupont-Ferrier G. La formation de l'État français. P., 1934. P. 93.*

¹⁰⁵ *Brantôme. Œuvres complètes/ Publ. par L. Lalanne. T. IV. P. 93.*

¹⁰⁶ *Maréjol. Henri IV et Louis XIII. P., 1905. P. 2.*

- ¹⁰⁷ Ibid. P. 290.
- ¹⁰⁸ *Stölzel A.* Die Entwicklung des gelehrten Richtertums in deutschen Territorien. Stuttgart, 1872. S.600.
- ¹⁰⁹ *Richelieu.* Politisches Testament. Teil I. Kap. 3, 1.
- ¹¹⁰ *Lavissee.* Louis XIV. P., 1905. P. 128.
- ¹¹¹ *Saint-Simon.* Memoiren / Übers. v. Lotheisen. Bd. II. S. 85
- ¹¹² *Lavissee.* Op. cit. P. 130.
- ¹¹³ *Saint-Simon.* Op. cit. Bd. I. S. 167.
- 232**
- ¹¹⁴ *Saint-Simon.* Memoires / Nouv. ed. par A. de Boislisle. P., 1910. T. 22. P. 35 (1711).
- ¹¹⁵ *Th. v. Aquino.* De regimine Judaeorum // Aus. v. Rom. Bd. XIX. P. 622.
- ¹¹⁶ *Vuitry.* Etudes sur le régime financier de la France. P., 1878. P. 392f.
- ¹¹⁷ *Vuitry.* Etudes sur le régime financier de la France. Nouv. série. P., 1883. T. I. P. 145. Другой формой монетаризации феодальных прав, происходящей под давлением растущей потребности короля в деньгах, было освобождение королем и его чиновниками крепостных за определенную сумму денег. См.: *Bloch M.* Rois et serfs. P., 1920.
- ¹¹⁸ *Viollet P.* Histoire des institutions politiques et administratives de la France. P., 1898. T. 2. P. 242.
- ¹¹⁹ Ibid.
- ¹²⁰ *Vuitry.* Etudes sur le régime financier de la France. Nouv. série. T. III. P. 48.
- ¹²¹ *Dupont-Ferner G.* La chambre ou cour des aides de Paris // Revue Historique. P., 1932. V. 170. P. 195. См. также: *Dupont-Ferrier G.* Etudes sur les institutions financières de la France. P., 1932. Vol. 2.
- ¹²² *Mirot L.* Les insurrections urbaines au debut du régime de Charles VI. P., 1905. P. 7.
- ¹²³ Ibid. P. 37.
- ¹²⁴ *Dupont-Ferrier G.* Op. cit. P. 202. Ср. также: *Petit-Dutaillis.* Charles VII, Louis XI, et les premières années de Charles VIII // *Lavissee.* Histoire de France. P., 1902. V. IV, 2.
- ¹²⁵ *Viollet.* Op. cit., Vol. III. P. 465. См. также: *Basin T.* Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI / Ed. Quicherat. P., 1885. T. I. P. 170 ff. Детально об особенностях финансовой организации см: *Jacqueton G.* Documents relatifs à l'administration financière en France de Charles VII à François I-er (1443—1523). P., 1897. Особенно интересна здесь содержащаяся под № XIX книга «Le vestige des finances», составленная в форме вопросов и ответов (судя по всему, это — книга-инструкция для будущего чиновника по финансовой части).
- ¹²⁶ *Albèri E.* Relazioni degli Ambascadori Veneti al Senato. Florenz, 1860. I Ser. V. IV. P. 16 (Relazione di Francia di Zaccaria Contarini, 1492).
- ¹²⁷ *Ranke L. v.* Zur venezianischen Geschichte. Leipzig, 1878. S. 59. См. также: *Kretschmayr H.* Geschichte von Venedig. Stuttgart, 1934. S. 159ff.
- ¹²⁸ *Albèri E.* Relazioni degli Ambasciatori Veneti. Florenz, 1839. I Ser. V. 1. P. 352. Часто и не без оснований говорилось, что первые абсолютные монархи Франции учились у итальянских князей, возглавляющих города-государства. В качестве примера можно привести следующие слова (*Hanotaux G.* Le pouvoir royal sous François I-er / Etudes historiques sur le XVI-e et XVII-e siècle en France. P., 1886. P. 7): «La cour de Rome et la chancellerie vénitienne eussent suffi, à elles seules, pour répandre les doctrines nouvelles de la diplomatie et de la politique. Mais, en réalite, dans le fourmillement des petits Etats qui se partageaient la péninsule, il n'en était pas un qui ne pût fournir des exemples... Les monarchies de l'Europe se mirent à l'école des princes et des tyrans de Naples, de Florence et de Ferrare». («Римского двора и венецианской канцелярии самих по себе было уже достаточно для распространения новых доктрин дипломатии и политики. Однако в действительности во множестве мелких государств, на которые разделялся полуостров, не было ни одного, которое не дало бы нам подобных примеров... Европейские монархии учились у князей и тиранов Неаполя, Флоренции и Феррары». — *A. P.*)
- 233**
- Разумеется, как это часто случается, сходные по своей структуре процессы идут в одном и том же направлении, проявляясь сначала в мелких, а затем в крупных государствах, причем лица, возглавляющие последние, в какой-то степени пользуются опытом первых, знакомятся с формами организации и отношениями, сложившимися в небольших образованиях. Но в данном случае только точный сравнительный анализ способен показать, насколько процессы централизации и организация господства в итальянских городах-государствах схожи с соответствующими процессами и институтами раннеабсолютистской Франции, и насколько они различаются именно в силу того, что различия по величине всегда несут с собой и качественные структурные различия. Во всяком случае, данное венецианским послом описание и весь его тон говорят не в пользу того, что специфические властные полномочия французских королей и соответствующая им финансовая организация в Италии казались чем-то давно и хорошо знакомым.

Проект теории цивилизации

I. Социальное принуждение к самоконтролю

Какое отношение к процессу «цивилизации» имеют такие феномены, как организация общества в форме «государства», монополизация и централизация налогов и физического насилия на значительной территории? Исследователь процесса цивилизации сталкивается здесь с настоящим клубком проблем. Если обозначить важнейшие из них, то прежде всего следует назвать вопрос самого общего характера. Мы видим, что процесс цивилизации представляет собой изменение поведения и чувствования людей в совершенно

определенном направлении, — в первой части данной работы мы пытались подтвердить этот тезис специфическим наглядным материалом. В то же время нигде и никогда в прошлом мы не обнаруживаем индивидов, которые намеренно, сознательно и «рационально» осуществляли бы эти изменения; совершенно очевидно то, что «цивилизация», как и рационализация, не является продуктом человеческого «рацио» и результатом какого бы то ни было долгосрочного планирования. Разве постепенная «рационализация» основывалась на сугубо «рациональном» поведении и уже сформировавшейся способности планировать события на века вперед? Можно ли помыслить, что процесс цивилизации был инициирован людьми, наделенными таким даром предвидения и отличавшимися такой степенью регулирования всех сиюминутных аффектов, наличие которых само по себе уже является результатом длинных цивилизационных трансформаций?

Действительно, в истории мы не найдем свидетельств того, что это изменение было «рациональным», что оно осуществлялось отдельными людьми или группами в качестве сознательного «воспитания». В целом данная трансформация протекала совсем не по плану, но все же в ней обнаруживается и некий порядок. Выше мы в деталях показали, как внешнее принуждение в самых различных аспектах превращалось в самопринуждение, как во все более дифференцированных формах вытеснялись за кулисы общественной жизни и соединялись с чувством стыда различные человеческие отправления, как все более всесторонним, равномерным и стабильным делалось регулирование влече-

237

ний и аффектов. Все это, конечно, не выводится из какой-то рациональной идеи, которая столетия тому назад была достигнута отдельными людьми, а потом переходила из поколения в поколение как цель деятельности и устремлений, пока, наконец, полностью не осуществилась в «века прогресса». Тем не менее эта трансформация не была и бесструктурным и хаотичным изменением.

Вопрос, возникающий в связи с трактовкой процесса цивилизации, представляет собой не что иное, как общую проблему понимания характера исторического изменения. В целом это изменение «рационально» никем не планировалось, но в то же время оно не является и неупорядоченной сменой не связанных друг с другом образований. Как это возможно? Как вообще приходят в человеческий мир образования, которые никем из людей не предусматривались, но все же ничуть не напоминают очертания облаков, лишенные плотности, строения и структуры?

Проведенное нами исследование — в первую очередь та его часть, что связана с проблемами социальной механики, — представляет собой попытку дать ответ на эти вопросы. Ответ сравнительно прост: планы и действия, эмоциональные и рациональные побуждения отдельных людей постоянно взаимодействуют, хуже или лучше сочетаясь друг с другом. *Это основополагающее переплетение отдельных человеческих планов и действий способно вызвать к жизни трансформации и образования, которые не планировались и не создавались намеренно ни одним человеком. Из данного переплетения, из этой взаимозависимости между людьми, протекает специфический порядок, наделенный большей принудительной силой и более могущественный, чем воля и разум отдельных людей, его создающих*¹. Именно этот порядок переплетения планов и действий определяет ход общественного развития; именно он лежит в основании процесса цивилизации.

Данный порядок не является ни «рациональным» (если таковым считать возникновение в результате целесообразных действий, предпринятых после размышлений отдельного человека), ни «иррациональным», если под «иррациональным» подразумевать «неведомо как появившееся». Одни отождествляли его с порядком «природы»; некоторые другие, подобно Гегелю, трактовали как особый сверхиндивидуальный «дух» — рассуждения Гегеля о *«хитрости разума»* показывают, насколько занимал его тот факт, что из планов и действий людей рождается нечто, не предусмотренное ни одним из них. Но привычные способы мышления, склонные сводить все к альтернативам вроде «рационального» и «иррационального», «духа» и «природы», оказываются явно непригодными в данном случае. Действительность и в этом отношении не подчиняется тому понятийному аппарату, из которого хотели бы сделать некий стандарт на все времена. Это невозможно, даже если некогда данный аппарат мог какой-

238

то период служить неплохим компасом и направлять наш путь по неизведанному миру. *Собственная закономерность социальных явлений не идентична ни закономерности «духа» индивидуального мышления и планирования, ни закономерности того, что мы называем «природой», даже если функционально все эти различные измерения действительности неразрывно связаны друг с другом.* Но общее указание на своеобразную закономерность социального переплетения мало что дает для понимания таких явлений. Подобное указание остается пустым и невразумительным, пока вместе с ним прямо не показаны определенные исторические трансформации и конкретные механизмы переплетения взаимосвязей, а тем самым и способ действия закономерностей. Решением именно этой задачи мы занимались в третьей части настоящего исследования, где пытались показать, какого рода переплетение и какая многосторонняя взаимозависимость людей возникли в процессе феодализации. Мы рассматривали, как оказывающая принудительное воздействие ситуация конкуренции сталкивала друг с другом феодалов, как постепенно сужался круг конкурентов, как развитие привело к монопольному положению одного из них, а затем — в результате работы других механизмов переплетения — и к образованию абсолютистского государства. Вся эта переорганизация человеческих отношений имела непосредственное значение для изменения

человеческого habitus'a, подготавливая раннюю форму того, что мы называем «цивилизованным» поведением и чувствованием. Нам еще придется говорить о связях между специфическим изменением в строении человеческих отношений и соответствующей трансформацией в строении психического habitus'a. Но обзор механизмов сплетения взаимосвязей имеет и общее значение для понимания процесса цивилизации. Только осознав всю степень принудительности, с которой возникает определенное строение общества, т.е. определенная форма социального переплетения, ведущая — в силу своих внутренних противоречий — к специфическим общественным изменениям и тем самым к другим формам², мы способны увидеть и то, как происходят изменения человеческого habitus'a, те изменения в моделировании пластичного психического аппарата, которые с древнейших времен и до сего дня наблюдаются в человеческой истории. Только тогда мы в состоянии понять и то, что изменение психического habitus'a, которое мы называем «цивилизацией», происходит в согласии с неким порядком и обладает некой направленностью, хотя оно не планировалось ни одним человеком и не было приведено в движение какими бы то ни было «разумными», целесообразными действиями. Цивилизация в той же мере не является чем-то «разумным» или «рациональным»³, в какой она не представляет собой чего-то «иррационального». Она движется вслепую — за счет собственной динамики сети отношений между людьми, за счет

239

специфических изменений в формах их сосуществования. Но мы вполне в состоянии найти в ней и нечто «разумное» — в том смысле, что мы можем глубже понять этот механизм и заставить его лучше функционировать. Ведь именно в связи с процессом цивилизации слепая работа механизма переплетения взаимосвязей постепенно предоставляет все большие возможности для планомерного вмешательства в эту сеть взаимоотношений, планомерного изменения habitus'a на основе лучшего понимания незапланированных закономерностей.

Какие же специфические изменения в совместной жизни людей способствовали именно такому моделированию пластичного психического аппарата человека, как «цивилизация»? Если основываться на сказанном выше о причинах трансформации западного общества в целом, то ответ на этот вопрос будет достаточно прост: с древнейших периодов западной истории и вплоть до настоящего времени под давлением сильной конкуренции происходил рост дифференциации общественных функций. Чем сильнее они дифференцировались, тем большим становилось их число, а тем самым и число людей, в зависимости от которых оказывался каждый индивид,— независимо от того, идет ли речь о простейших и повседневных его обязанностях или о самых сложных и специфичных сторонах жизни. В результате, для того чтобы каждое отдельное действие могло выполнить свою общественную функцию, поведение все большего числа людей должно было во все большей мере соотноситься с поведением всех прочих, а сеть действий должна была подчиняться все более точным и строгим правилам организации. Индивид принуждается ко все более дифференцированному, равномерному и стабильному регулированию своего поведения. Выше мы уже отмечали, что речь тут никоим образом не идет о сознательном регулировании. Именно это характерно для изменений психического аппарата в ходе цивилизации — с ранних лет индивиды приучаются к дифференцированному и стабильному регулированию поведения, оно приобретает у них характер автоматизма, становится самопринуждением, которое выступает как нечто непреодолимое даже в том случае, если осознается. Сеть действий становится столь сложной и разветвленной, а напряжение, требуемое для «правильного» в ней поведения, — столь значительным, что индивиду требуется укрепление не только сознательного самоконтроля, но и аппарата того самоконтроля, который работает автоматически и слепо. Последний служит барьером, препятствующим росту постоянной тревоги, вызываемой вероятностью нарушения принятых в обществе образцов поведения. Но именно по той причине, что работает этот аппарат по привычке и вслепую, достаточно часто он сам создает возможность для подобного столкновения с социальной реальностью. Осознается это или нет, направление изменений пове-

240

дения как все более дифференцированного регулирования психического аппарата в целом определяется направленностью социальной дифференциации — прогрессирующим разделением функций, расширением сети взаимозависимостей, в которую прямо или косвенно неизбежно вовлекаются любые порывы и мотивы индивидов.

В целях наглядного представления различий в сплетении взаимосвязей индивидов в обществах с меньшей и большей дифференциацией мы можем привести в качестве примера дороги и улицы различных времен. Транспортные артерии представляют собой как бы пространственные функции социального переплетения связей, которое в целом невозможно изобразить с помощью одного измерения четырехмерного континуума, свойственного нашему привычному понятийному аппарату. Достаточно вспомнить об ухабистых, лишенных всякого покрытия, размываемых дождями дорогах простого рыцарского общества, где преобладает натуральное хозяйство. За малыми исключениями, движение по ним крайне неинтенсивно; главная опасность, которая ожидает здесь человека, облечена в форму военного насилия или разбойничьего нападения. Когда люди осматривают окружающие деревья и кусты, когда они вглядываются в то, что ждет их впереди, они всякий раз должны быть готовы взяться за оружие, и лишь в последнюю или предпоследнюю очередь они вынуждены считаться с возможностью столкновения с другим транспортным средством. Большие дороги этого общества предполагают постоянную готовность человека сражаться и отчаянно защищать свою жизнь или свою собственность от физического нападения. Движение по главным

дорогам и улицам крупного города, характерного для дифференцированного общества наших дней, предполагает совершенно иное моделирование психического аппарата. Угроза разбоя или военного нападения здесь сведена к минимуму. Тут и там с огромной скоростью проносятся автомобили; пешеходы и велосипедисты пытаются протиснуться между грузовиками; на крупных перекрестках стоят регулировщики, чтобы с большим или меньшим успехом контролировать и регулировать движение. Но все это внешнее регулирование основывается на том, что каждый индивид должен *сам* точнейшим образом регулировать свое поведение в соответствии с нуждами всего переплетения связей в целом. Главная опасность для человека, исходящая от другого человека, состоит в том, что кто-то в этом движении вдруг утратит самоконтроль. Тут требуется постоянное наблюдение за самим собой, в высшей степени дифференцированный самоконтроль, чтобы индивид мог в целостности и сохранности пройти сквозь толчею. Для того чтобы один индивид стал смертельной опасностью для другого, достаточно чьей-либо неспособности справиться с чрезмерным напряжением, непрестанно требуемым таким саморегулированием.

241

Конечно, мы просто привели наглядный пример. Сеть цепочек действий, в которые вплетено каждое отдельное действие в дифференцированном обществе, на деле является куда более сложной, а самоконтроль, к которому приучает человека с самых ранних лет жизнь в этом обществе, проникает на более глубокий уровень, чем это видно на приведенном примере. Но, по крайней мере, мы смогли дать представление о том, насколько жестким выступает здесь формирование психического *habitus'a* «цивилизованного» человека, в насколько значительной степени подлечит он постоянному и дифференцированному самоконтролю, связанному с дифференцированностью социальных функций, с многообразием действий, которые он должен все время соотносить с действиями других людей.

Схема самопринуждения и шаблоны моделирования влечений, конечно, весьма различаются здесь в зависимости от функций индивида, от его положения в рамках сети взаимосвязей. И в наши дни существуют разные сектора западного мира, отличающиеся по присущему им уровню силы и стабильности аппарата самопринуждения. Они хорошо заметны и являются достаточно большими. При их рассмотрении возникает огромное число частных вопросов, ответ на которые может дать именно социогенетический метод. Но все эти различия в уровнях отступают в сравнении с *habitus'ом* человека менее дифференцированного общества. Еще более четко вырисовывается главная линия трансформации: вместе с дифференциацией социальной сети более дифференцированной, всесторонней и стабильной становится и социогенный аппарат психического самоконтроля.

Однако прогрессирующая дифференциация социальных функций является лишь первой и самой общей из социальных трансформаций, притягивающих взгляд наблюдателя, ставящего вопрос о причинах изменения психического *habitus'a* как «цивилизации». Наряду с прогрессирующим разделением функций происходит тотальная реорганизация всей социальной ткани. Выше мы детально рассматривали причины того, что в обществе с незначительным разделением функций, если таковое обладает определенными размерами, аппарат центральной власти сравнительно нестабилен и легко разрушается. Мы показали также и то, как принудительно действующая система отношений постепенно устраняет центробежные тенденции, подчиняет себе механизмы феодализации и шаг за шагом укрепляет стабильный центральный аппарат, вырабатывает прочные институты монополии на физическое насилие. В теснейшей связи с образованием таких институтов и растущей стабильностью центрального аппарата управления в обществе находится процесс стабилизации психического аппарата самопринуждения. Такая стабильность представляет собой важнейшую черту *habitus'a* любого «цивилизованного» человека. Только с образованием подобных

242

стабильных институтов появляется и социальный аппарат такого формирования индивидов, которое начинается с раннего детства и приучает их сдерживать себя и следовать строго установленным правилам; тем самым у индивида возникает стабильный и — в немалой части — автоматически работающий аппарат самоконтроля.

Вместе с монополией на насилие появляется достигшее внутреннего мира социальное пространство, поле, обычно свободное от насильственных действий. В этом поле изменяется характер принуждения, применяемого по отношению к индивиду. Ранее все прочие формы насилия смешивались с физическим насилием; теперь происходит их обособление друг от друга — в подобном социальном пространстве они получают самостоятельное существование и меняются по форме. Это лучше всего видно на примере стандартного для современного сознания представления об экономическом насилии, воплощенном в соответствующего рода принуждении. В действительности, однако, мы имеем целый набор различных видов насилия или принуждения, сохраняющихся в поле взаимодействия между людьми и после того, как физическое насилие ушло из повседневной общественной жизни и осталось лишь в опосредованной форме, пока речь идет о «дрессировке», об усвоении привычек в ходе воспитательного процесса.

Общее направление трансформации поведения и аффектов вместе с изменением в структуре человеческих отношений таково: общества без стабильной монополии на насилие всегда представляют собой и общества со сравнительно слабой дифференциацией функций; цепочки действий, в которые включен индивид, сравнительно короткие. И наоборот, общества со стабильной монополией на насилие (воплощением которой первоначально были дворы князей и королей) суть общества с более или менее значительным разделением функций; цепочки действий существенно длиннее, что делает функциональную зависимость одного

человека от всех остальных гораздо большей. Индивид здесь в основном защищен от неожиданных нападений, от вмешательства в его жизнь физического насилия, но в то же время он принужден сдерживать собственные вспышки эмоций и контролировать свою склонность к агрессии, направленной на других. К такому моделированию поведения и аффектов его побуждают и прочие формы принуждения, господствующие в социальном пространстве, где установлен внутренний мир. Чем гуще сеть взаимозависимостей, в которую прогрессирующая дифференциация функций вовлекает индивида, чем обширнее поле, на которое эта сеть распространяется, придавая ему функциональное и институциональное единство, тем большие потери несет индивид из-за спонтанных вспышек страстей. В выигрыше все больше оказывается тот, кому удается подавить свои аффекты, а

243

потому каждого индивида с ранних лет принуждают к просчету последствий своих действий и их координации с цепочками действий других людей. Вытеснение спонтанных вспышек, сдерживание аффектов, расширение поля мышления за счет сопоставления настоящего момента с прошлыми и будущими рядами событий — все это частные аспекты одного и того же изменения поведения, а именно, такого изменения, которое совершается вместе с монополизацией физического насилия и расширением сети взаимозависимостей в социальном пространстве. Таково изменение поведения, понимаемое как «цивилизация».

Примером данного процесса может служить превращение дворянства из слоя рыцарей в слой придворных. В социальном пространстве, где насильственные действия являются чем-то неизбежным и повседневным, где цепочки взаимозависимости сравнительно коротки (в силу того, что рыцари кормятся со своих земель), значительное, постоянное подавление влечений и аффектов не требуется — оно и невозможно, и бесполезно. Жизнь как самого рыцаря, так и всех прочих представителей высшего слоя воинов находится под непосредственной угрозой насилия. Поэтому если сравнить его жизнь с жизнью человека в социальном пространстве с установленным внутренним миром, то мы увидим, что он ударяется то в одну, то в другую крайность. Рыцарь (по сравнению с людьми других обществ) располагает чрезвычайно большой свободой в проявлении чувств и страстей; он может предаваться первобытным радостям земным, беспрепятственно удовлетворять и свои сексуальные аппетиты, и свою ненависть, уничтожая своих врагов и подвергая их мучениям. Но для рыцаря реальна угроза того, что в случае поражения сам он будет целиком отдан во власть другого человека, станет игрушкой его страстей, окажется в рабстве, сопровождаемом такими формами телесных страданий, которые уже практически не встречаются в более поздние времена, когда телесные мучения, заточение в тюрьму и физическое унижение индивида стали монопольной прерогативой центральной власти. Вместе с такого рода монополизацией физическая угроза индивиду приобретает безличный характер; она уже не столь непосредственно зависит от мимолетных аффектов другого человека; она уменьшается, в определенной мере регулируется законами и удерживается в определенных границах.

Итак, мы видим, что большая свобода влечений и высокая степень угрозы физического насилия выступают как две стороны одной медали в обществах, где нет прочной и сильной монополии центральной власти. В обществе с подобной структурой велика возможность ничем не сдерживаемого проявления влечений и аффектов для свободных людей, оказывающихся победителями; но тут больше и прямая угроза оказаться в руках своего соперника, опасность порабощения и унижения индивида, ока-

244

завшегося во власти другого. Это справедливо не только для отношений между рыцарями, среди которых в ходе роста денежного обращения и сужения круга свободных конкурентов постепенно выработался кодекс поведения, направленный на сдерживание аффектов. Если взять общество в целом, то мы обнаруживаем в нем значительно больший, чем впоследствии, разрыв между свободой господ (при ограниченной свободе принадлежащих к этому сословию женщин) и радикальным рабством побежденных врагов, слуг и крепостных.

Такой жизни, балансирующей между двумя крайностями и протекающей в условиях постоянной опасности, соответствуют определенная структура индивидуального поведения и психический аппарат индивида. Подобно тому как в отношениях между людьми всегда присутствуют разного рода опасности, возможны как неожиданная победа, так и непредвиденное порабощение, в психике человека часты переходы от чувства удовольствия к ощущению крайнего неудовольствия и обратно. Социальная функция свободного воина лишь в малой мере позволяет проследить отдаленные следствия собственных действий, хотя в Средние века вместе с централизацией военного дела в этой сфере уже произошли определенные изменения. Но поначалу воин должен был считаться только с непосредственно данным настоящим: вместе с изменением сиюминутной ситуации меняются и его аффекты. Если обстоятельства обещают ему радость, то он наслаждается ими как может, не думая о возможных последствиях в будущем; если они несут ему нужду, заточение, поражение, то он с готовностью терпит невзгоды. Вся эта полная беспоконья и угроз атмосфера непредвиденности и опасности, где имеются лишь малые и в мгновение ока исчезающие островки защищенности, уже сама по себе, без всяких внешних поводов, часто ведет к резким колебаниям настроения индивида: он то и дело переходит от предельного наслаждения жизнью к глубочайшему раскаянию. Если можно так выразиться, душа его гораздо в большей мере готова и склонна к быстрым скачкам из одной крайности в другую, чем у человека наших дней; здесь часто хватает какого-то впечатления,

неконтролируемой ассоциации, чтобы возник страх или произошел радикальный поворот к другой крайности⁴.

Когда меняются отношения между людьми, когда возникает монополярная организация физического насилия, а на место принуждения, оказываемого непрерывными распрями и войнами, приходят иные формы принуждения, более мирного характера, функционально направляемые деньгами и престижем, тогда проявление аффектов также становится менее резким и их сила усредняется. Колебания в поведении и в аффектах, конечно, не исчезают, но они становятся более умеренными. Движения то вверх, то вниз уже не столь значительны, скачки от одной крайности к другой редки.

245

Такие перемены хорошо заметны. Угроза, каковой является один человек для другого, теперь поддается предвидению, к тому же за счет образования монополии на насилие она ограничена более строгими правилами. Повседневная жизнь освобождается от шокирующих неожиданностей. Насилие теперь убрано в казармы, откуда выходит наружу только в чрезвычайных случаях — во времена войны или социальных потрясений — и прямо не затрагивает жизни обычного индивида. Чаще всего насилие является монополией неких групп специалистов и исключено из жизни всех прочих людей. Сами же эти специалисты, как и вся монополярная организация насилия, несут охрану социального порядка, защищают его границы и выступают как своего рода организация, контролирующая поведение индивидов.

Конечно, и в этой форме контролирующей организации физическое насилие оказывает определенное влияние на индивидов — независимо от того, осознают они это или нет. Но теперь они уже не сталкиваются с постоянной угрозой насилия, их жизнь в известной степени защищена. Теперь эта жизнь проходит не среди людей, наносящих друг другу удары, не в кругу победителей и побежденных с их непреодолимыми страстями и невыносимыми страхами. Насилие, накопленное «за кулисами» повседневной жизни, оказывает постоянное и равномерное давление на индивида; он его едва чувствует, поскольку к нему привык, поскольку с юных лет его поведение, его влечения были приспособлены к такому строению общества. В действительности произошло изменение всего аппарата формирования поведения; вместе с ним поменялись не отдельные стороны поведения, но весь его порядок, вся структура психической саморегуляции человека. Монополярная организация телесного насилия чаще всего оказывает на индивида принуждающее действие вовсе не с помощью прямых угроз: эти угрозы выступают как косвенные, они опосредованы тем постоянным давлением, которое индивид испытывает со всех сторон. Принуждение в немалой мере осуществляется благодаря наличию у самого индивида способности суждения. Обычно присутствие принуждения носит только потенциальный характер, выступая как контрольная инстанция общества. То принуждение, которому подвергается индивид актуально, осуществляется им самим на основе либо его собственных знаний о последствиях своих действий, либо соответствующих указаний тех взрослых, которые моделировали его душевный аппарат, пока он был ребенком. Монополизация физического насилия, концентрация оружия и права распоряжаться вооруженными людьми в одних руках делает более или менее предсказуемым применение силы и принуждает лишенных оружия людей сдерживать себя в пространстве с установленным внутренним миром — причем делают они это сами, предвидя и про-

246

считывая последствия своих действий. Одним словом, все это принуждает людей к большему или меньшему самоконтролю.

Речь не идет о том, что в средневековом воинском обществе (или в любом другом обществе, где отсутствует дифференцированная и прочная система монополизации физического насилия) полностью отсутствует способность людей владеть собой. Психический аппарат самоконтроля, «Сверх-Я», совесть (или как бы эта инстанция ни называлась) в таком обществе также имеются, но они находятся в прямой связи с актами физического насилия, к которому приучены и на которое обречены его члены. Этот аппарат соответствует реальной жизни с ее контрастами и неожиданными резкими переменами. По сравнению с аппаратом самопринуждения, характерным для обществ с более мирной жизнью, он более расплывчат, нестабилен и имеет множество каналов разрядки сильнейших аффектов. Страхи, обеспечивающие «правильное» социальное поведение, здесь еще не настолько вытеснены из сознания индивида. Поскольку главную угрозу для него представляет не сбой в саморегуляции, не утрата самоконтроля, но прямая физическая опасность извне, то и страх у него чаще имеет облик приходящих извне сил. Этот аппарат не только менее стабилен, он также не столь всеобъемлющего свойства, он односторонен, он частичен. В подобном обществе у человека воспитывается чрезвычайное самообладание при перенесении боли, но одновременно этому качеству соответствует и чрезвычайно большая — с точки зрения иного стандарта — свобода в принесении боли и страданий другим. Соответственно, мы находим в определенных секторах средневекового общества крайние формы аскезы, самопринуждения и самоограничения и одновременно — противостоящие им ничуть не менее крайние формы наслаждения, распространяемые в других секторах. Зачастую мы сталкиваемся с резкими переходами от одного к другому у одного человека. Самопринуждение и борьба с собой, с собственной плотью, тут столь же интенсивны и односторонни, столь же радикальны и исполнены страстей, сколь и их противоположности — борьба с другими людьми или наслаждение радостями земными.

Вместе с монополизацией насилия в пространствах с установленным внутренним миром утверждается иной тип самоконтроля или самопринуждения. Это — бесстрастное самообладание. Аппарату контроля и

наблюдения, возникающему в обществе, соответствует аппарат контроля, формирующийся в психике индивида. Как тот, так и другой равно строго регулируют все поведение человека, все его страсти. Оба они — в немалой мере один посредством другого — оказывают постоянное и равномерное давление, вытесняющее спонтанные проявления аффектов. Это ведет к ослаблению колебаний от одной крайности к другой в поведении и в самом строе аффектов. Подобно тому как моно-

247

полизация физического насилия уменьшает страхи и ужасы перед тем, что можно ожидать от другого человека (а одновременно снижает возможность вызывать у других такие же страхи и подвергать их мучениям, т.е. возможность разрядки определенных аффектов), так и постоянный самоконтроль, к которому более или менее приучается индивид, уменьшает контрасты, сужает поле резких переходов в поведении и в разрядке разного рода аффектов. Индивид принуждается теперь к реорганизации всего психического аппарата, к непрестанному и равномерному регулированию как влечений, так и всех сторон своего поведения.

В том же направлении воздействуют меры принуждения, осуществляемые без применения оружия, т.е. того насилия, что применяется к индивиду в социальном пространстве с установленным внутренним миром. Примером может служить экономическое принуждение. Оно также менее заряжено страстями, имеет более умеренный, стабильный и не столь откровенный характер, как принуждение в обществе рыцарей, где нет такой монополии. Находя свое воплощение в совокупности открывающихся для индивида социальных функций, принуждение такого рода заставляет его учитывать причины своих действий и предвидеть их следствия, что соответствует имеющимся в обществе длинным и дифференцированным цепочкам действий, с которыми должен автоматически считаться любой действующий индивид. От него требуется постоянный контроль над своими сиюминутными аффектами и влечениями, ибо он оказывается вынужден учитывать отдаленные последствия своего поведения. Тем самым индивида приучают к постоянному (в сравнении с другим стандартом) самообладанию, способному равномерно подчинять себе все стороны поведения человека, а также регулированию влечений в соответствии с социальными стандартами. При этом регулирование влечений и сдерживание аффектов формируются не только у взрослых: частью автоматически, частью вполне сознательно, взрослые приучают к соответствующим способам поведения детей, вырабатывая у них необходимые привычки. Уже с раннего детства индивид учится сдерживать себя и учитывать то, что ему необходимо для выполнения функций взрослых. Сдерживание и регулирование такого рода входят в привычку с малых лет; необходимо, чтобы у индивида появилась система «переключателей», соответствующая социальным стандартам, — система автоматического наблюдения за влечениями, подчиняющая их тем социальным схемам и моделям, которые считаются «разумными». Тогда у него возникает дифференцированное и стабильное «Сверх-Я», а часть сдержанных влечений и стремлений вообще прямо не входит в сознание.

Ранее, в рыцарском обществе, индивид мог применять насилие, если на его стороне была сила; он мог открыто предавать-

248

ся удовлетворению своих влечений, многие из которых впоследствии попали под социальный запрет. Но за большие возможности непосредственного их удовлетворения он платил столь же открытым и непосредственным страхом — средневековые представления об аде хорошо передают всю силу страха, сопровождавшего жизнь индивида при подобной структуре взаимоотношений между людьми. И удовольствие, и страдание переживались более свободно и открыто, но сам индивид был пленником этих страстей. Достаточно часто они подчиняли его себе так, словно речь идет о силах природы. Он менее владел своими страстями, ибо они владели им.

Впоследствии, когда проходящие через бытие индивида потоки связанных друг с другом взаимодействий стали более разветвленными и дифференцированными, он научился постоянному и размеренному самоконтролю и в меньшей мере стал походить на пленника собственных страстей. Но так как он оказывается в большей функциональной зависимости от действий людей, число которых постоянно растет, то его шансы на непосредственное удовлетворение своих склонностей и влечений становятся намного более ограниченными. В известном смысле его жизнь становится безопасной, но в то же время теперь она лишена сильных аффектов, овладевающие им страсти не находят прямого выражения. Лишенный этих страстей в повседневной жизни, человек находит им замену в эрзац-переживаниях, получаемых благодаря сновидениям, книгам и картинам. Так, ставшие придворными дворяне начинают читать рыцарские романы, а буржуа охотно смотрят фильмы, полные насилия и любовных страстей. Физические столкновения, войны и драки уже не занимают прежнего места в жизни, и даже то, что о них напоминает — например, разделывание туш умерщвленных животных или употребление ножа за столом, — подлежат вытеснению или, по крайней мере, строгому социальному регулированию. Но теперь поле боя в каком-то смысле перенесено вовнутрь индивида. Некоторые из противоречий и страстей, ранее находившие непосредственное выражение в борьбе одного человека с другим, теперь должны разряжаться в его душе. В ней же фиксируются навязанные отношения с другими людьми более мирные формы принуждения; постепенно укрепляется аппарат привычек, формируется специфическое «Сверх-Я», которое постоянно регулирует аффекты человека, подавляет и трансформирует их в соответствии с потребностями общества. Но запретные для непосредственного проявления в отношениях *между* людьми влечения и аффекты теперь

все чаще ведут не менее ожесточенную борьбу *внутри* индивида — борьбу, направленную уже против этой контролирующей инстанции. Такое полуавтоматическое противоборство человека с самим собой далеко не всегда находит счастливое разрешение: отвечающая требованиям общества транс-

249

формация самого себя иногда так и не приводит к появлению нового равновесия в системе влечений. Зачастую на этом пути возникают крупные и мелкие нарушения, бывает, что какая-то часть души бунтует против другой либо «чахнет», что мешает выполнению социальных функций. Если можно так выразиться, вертикальные колебания — от страха к радости, от наслаждения к покаянию — сокращаются, но одновременно учащаются скачки по горизонтали, растет напряжение между «Сверх-Я» и «бессознательным» (или «подсознательным»).

Здесь также сравнительно легко — если смотреть не на статичные структуры, а на социогенез — можно различить общие очертания того же сплетения связей: взаимозависимость больших групп людей и исключение в рамках этих групп физического насилия ведут к возникновению социального аппарата, преобразующего внешнее принуждение в самопринуждение. Выступая в качестве функции постоянной необходимости просчитывать последствия своих действий, появляющейся у индивида в ответ на длинные цепочки действий, с которыми он должен с детства считаться, это самопринуждение выступает то в виде сознательного самоконтроля, то в форме автоматически функционирующих привычек. Самопринуждение ведет к равномерному давлению, непрестанному сдерживанию своих побуждений, точному регулированию влечений и аффектов в соответствии со схемами, дифференцированными в зависимости от социального положения. Но самопринуждение вызывает специфические противоречия и нарушения в поведении и во влечениях индивида, различающиеся в зависимости от уровня его внутреннего напряжения или от состояния общества и положения в нем человека. Иной раз это ведет к беспокойству и к неудовлетворенности — именно потому, что его стремления и влечения находят удовлетворение только в превращенной форме: в фантазиях, в мечтах и сновидениях. Привычка к подавлению аффектов иногда заходит настолько далеко, что индивид уже не в состоянии в какой бы то ни было форме выражать аффекты и удовлетворять влечения без ужаса, овладевающего им всякий раз при подобных попытках. В качестве примера могут служить постоянно ощущаемые им чувства тоски и одиночества. В таких случаях некоторые виды влечений как бы подвергаются анестезии под воздействием специфического строения той сети отношений, в которой индивид оказывается с раннего детства. Проявлению данных влечений препятствуют усвоенные с детства угрозы, автоматически включающийся страх, причем в некоторых случаях он неявно сопровождает всю жизнь индивида. В других случаях аффективная натура маленького человека при моделировании его «цивилизованного» обличил подвергается такому искривлению, что энергия его влечений находит себе выход только обходным путем — в навязчивых действиях и прочих психических отклонениях. Бы-

250

вает, что трансформированная подобным образом энергия заявляет о себе в односторонних симпатиях и антипатиях, во всякого рода курьезных увлечениях. Во всех этих случаях мы сталкиваемся с беспричинным внутренним беспокойством, с превращенными формами этих влечений, с отсутствием подлинного удовлетворения.

Индивидуальный процесс «цивилизации» — точно так же, как и социальный — и поныне проходит по большей части вслепую. За сознательными планами взрослых по воспитанию подрастающего поколения скрываются определенные отношения, непредвиденным образом воздействующие на душевную организацию детей и формирующие неведомые взрослым функции. В этом смысле не были запланированными указанные выше чрезвычайно неблагоприятные и аномальные продукты моделирования (мы отвлекаемся здесь от тех психических отклонений от нормы, которые связаны не с моделированием, а с *неизменными* врожденными особенностями). Столь же мало планировалось и создание соответствующего социальным нормам *habitus'a*, воспринимаемого к тому же как субъективно удовлетворительный. Та же самая социальная аппаратура производит широкий круг и благоприятных, и неблагоприятных форм. Автоматически воспроизводимые страхи, закрепляемые за определенными влечениями в ходе конфликтов индивидуального процесса цивилизации, в известных обстоятельствах ведут не к полному погашению отдельных влечений, но лишь к подавлению и регулированию их в рамках того, что считается нормой. Канализация и трансформация энергии некоторых влечений могут выражаться и в социально бесполезных навязчивых действиях, и в кажущихся странными склонностями и привычках, но они же способны выступать как виды деятельности, приносящие индивиду удовлетворение и в высшей степени плодотворные с социальной точки зрения. В обоих случаях на этой стадии формирования — в детстве и в юности — в психическом аппарате с его индивидуальными особенностями связей, устанавливающихся между «Сверх-Я» и центрами влечений, вырабатывается определенная сеть отношений. Эти отношения закрепляются как аппарат привычек, способов действия и взаимоотношения с другими людьми. Образно говоря, в благоприятных случаях раны от конфликтов процесса цивилизации постепенно затягиваются в душе индивида; в неблагоприятных случаях они никогда не зарубцовываются или с легкостью открываются при новых конфликтах. В последнем случае закрепившиеся в психическом аппарате межчеловеческие конфликты раннего возраста всякий раз вмешиваются в позднейшие отношения индивида с другими

людьми: это происходит в форме противоречий между отдельными видами самопринуждения, происходящими из различных отношений и многообразных зависимостей ребенка, либо в форме постоянно

251

возвращающихся столкновений между аппаратом самопринуждения и центрами влечений. В особо благоприятных случаях эти противоречия между различными частями аппарата «Сверх-Я» постепенно сглаживаются, а конфликты между «Сверх-Я» и центрами влечений сходят на нет: они не только исчезают из бодрствующего сознания, но и преодолеваются, перерабатываются таким образом, что без какого-либо ущерба для субъективного чувства удовлетворения более не вмешиваются в межчеловеческие отношения. В прошлом сознательный и бессознательный самоконтроль оставался неполным и оставлял лазейки для нецелесообразных с социальной точки зрения влечений. Ныне этот самоконтроль уже в юные годы напоминает сплошной ледяной панцирь, и вопрос заключается в том, насколько он стабилен и насколько хорошо отвечает строению общества. Но так как именно в наши дни само строение общества является в высшей степени изменчивым, то от индивида требуется эластичность поведения, за которую приходится платить утратой стабильности.

Теоретически сказать, где проходит граница между удавшимся и не удавшимся индивидуальным процессом цивилизации, не так уж трудно. В первом случае итогом всех мучений и конфликтов является хорошо приспособленный к выполнению социальных функций взрослого аппарат привычек и — что не всегда его сопровождает — положительный баланс удовлетворенности. Во втором случае требуемая обществом саморегуляция либо приобретается за счет личной неудовлетворенности, возникающей в силу непрестанной борьбы с расходящимися в разные стороны влечениями, либо не приобретается вообще, поскольку справиться с влечениями не удастся, а баланс удовлетворенности оказывается невозможным, ибо социальные предписания и запреты представлены не другими людьми, но самим страдальцем, в душе которого одна инстанция запрещает и карает за то, чего желает другая.

В действительности же лишь в сравнительно малом числе случаев результаты индивидуального процесса цивилизации можно однозначно оценить как благоприятные или неблагоприятные. Большинство «цивилизованных» людей оказываются где-то посередине между этими двумя крайностями. У них в разной пропорции смешиваются социально приемлемые и неприемлемые черты, несущие в качестве тенденции удовлетворенность или неудовлетворенность.

Социальный процесс моделирования, обозначаемый нами как «западная цивилизация», является особенно трудным. Чтобы хоть в какой-то мере быть удачным, он должен произвести чрезвычайно интенсивное и отличающееся стабильностью действия регулирование психического аппарата, соответствующее строению западного общества с его богатой дифференциацией. Поэтому и в обществе в целом, и прежде всего в его

252

средних слоях, процесс моделирования длится значительно дольше, чем в менее дифференцированных обществах. Весьма ощутимым является и сопротивление такой подгонке к заранее заданному стандарту цивилизованности, требующей глубокой трансформации всего психического аппарата индивида. Вследствие этого в западном мире индивид позже, чем в менее дифференцированных обществах, достигает психического *habitus'a* взрослого, способности выполнять функции взрослого — а именно это можно в самом общем виде считать итогом индивидуального процесса цивилизации.

Однако не только на Западе социальный и индивидуальный процессы цивилизации идут в одном направлении. Конечно, здесь трансформация психического аппарата наиболее масштабна и интенсивна, но мы находим нечто схожее повсюду, где давление конкуренции ведет к дифференциации функций и устанавливает между людьми, проживающими на обширных пространствах, отношения взаимозависимости, где монополизация физического насилия делает возможным и необходимым сотрудничество между людьми без вмешательства препятствующих ему страстей, где от любого действующего лица требуется постоянный учет действий и намерений других лиц. Определяющим для способа и степени такого продвижения к цивилизации являются число взаимозависимостей, уровень дифференциации функций и их распределение.

II. Распространение принуждения к предвидению и самопринуждения

Специфический, неповторимый характер процессу цивилизации на Западе придают такие особенности, как невиданная в мировой истории дифференциация функций, чрезвычайная стабильность монополий на насилие и на налоги, а также гигантские пространства, охваченные цепью взаимозависимости и конкурентной борьбой огромных масс людей.

Ранее значительное обращение денег и товаров, равно как и сколько-нибудь прочная монополия на физическое насилие, возникали и развивались чаще всего на землях, расположенных вдоль водных путей — по берегам рек и на морском побережье. Лежавшие далее континентальные пространства оставались при этом на уровне натурального хозяйства, т.е. не входили в сеть взаимосвязей и — даже если их пересекали те или иные торговые артерии и на них действовали отдельные крупные рынки, — существовали как автаркии. Западным обществом была развита сеть взаимозависимостей, которая включала в себя уже не толь-

253

ко морские побережья, как это было ранее, но огромные континентальные районы, вплоть до самых глухих сельских областей. Этому соответствовала необходимая система регулирования поведения людей на столь обширных пространствах, равно как и невиданный ранее контроль над удлинившимися цепочками действий. Жизнь в центрах этой сети была сопряжена с постоянным принуждением, подавлением аффектов, регулированием влечений, необходимостью владеть собой. На эту связь между внешним давлением сети взаимозависимостей и внутренним душевным состоянием индивида отчетливо указывает тот феномен, что мы называем «темпом»⁵ наших дней. Этот «темп» в действительности представляет собой не что иное, как выражение и множества цепей взаимозависимости, к которой прикреплены все отдельные социальные функции, и давления конкуренции на любое действие, осуществляемое в рамках этой широкой и плотной сети. Множество деловых встреч чиновника или предпринимателя, точность действий рабочего в каждую минуту его труда — во всех этих случаях слово «темп» используется для обозначения огромного числа взаимосвязанных действий. Оно также выражает длину и густоту цепочек, в которые включается отдельное действие, будучи частью целого; этим словом мы пользуемся и для того, чтобы показать силу конкуренции и «борьбы на выбывание», приводящих в движение всю эту сеть взаимозависимостей. Во всех этих случаях для исполнения функций в узлах столь значительного числа цепочек действий требуется совершенно точная регламентация собственной жизни. Это приучает человека к подчинению своих мимолетных склонностей диктату необходимости, порождаемой многообразными зависимостями от других людей; это заставляет исключать из поведения всякого рода «зигзаги» и подготавливает к постоянному самопринуждению. Именно поэтому мы столь часто наблюдаем бунт индивидуальных влечений личности против социального времени, представленного ее собственным «Сверх-Я»; по этой причине столь многие люди вступают в конфликт с собой, когда хотят быть пунктуальными. По развитию инструментов измерения времени и по развитию сознания времени (так же как и по развитию денег и прочих орудий взаимозависимости) можно с точностью определить, как шла дифференциация функций, а вместе с нею — и та саморегуляция, что вмнялась в обязанность индивиду.

Причины того, что схемы регулирования аффектов во многом различны, — к примеру, сексуальность в одних странах подлежит большим ограничениям, чем в других, — заслуживают особого рассмотрения. Но при всех возможных различиях общее направление изменения поведения, «тренд» цивилизационного движения, повсюду остается тем же самым. Всякий раз мы видим, что развитие идет к установлению более или менее автома-

254

тического самоконтроля, к подчинению краткосрочных побуждений предписаниям долгосрочных привычек, к разработке дифференцированного и прочного аппарата «Сверх-Я». В общем и целом одинаковым является и то, как распространяется эта необходимость обуздания мимолетных аффектов ради более удаленных целей: повсюду она затрагивает сначала небольшие верхние слои, чтобы затем распространиться на гораздо более широкие слои западного общества.

Имеются существенные различия в положении людей: одни выступают в широкой мировой сети взаимозависимости в качестве пассивного объекта; другие лично воспринимают далекие от них события, не испытывая или просто не осознавая прямого воздействия этой сети на свое существование; третьи в силу своего положения и своих функций в обществе прямо направляют усилия на преобразование этих связей, что требует от них постоянного регулирования собственного поведения. На Западе такое активное и долговременное самодисциплинирование требовалось поначалу от представителей высших и средних слоев, наделенных определенными функциями. Это были функции придворных в центрах власти больших общественных объединений или функции купцов в центрах международной торговли, находившихся под защитой достаточно стабильной монополии на насилие. Однако своеобразие социальных процессов на Западе заключается и в том, что здесь — вместе с расширением сети взаимозависимостей — одновременно заявила о себе необходимость долгосрочного планирования и активного согласования индивидуального поведения с удаленными в пространстве и времени событиями. И эта необходимость распространялась на все более широкие слои общества. Даже функции и социальное положение низших слоев стали требовать определенного уровня предвидения, что повлекло за собой соответствующее преобразование или сдерживание всех стремлений, обещавших мгновенное или краткосрочное удовлетворение в ущерб долгосрочным целям. В прошлом функции низших слоев трудящихся были лишь в незначительной мере включены в эту сеть взаимозависимостей, их носители едва ощущали действие далеких от них факторов и — если таковые были для них неблагоприятными — реагировали на них волнениями и бунтами, т.е. краткосрочной разрядкой аффектов. Но структура их функций не требовала превращать внешнее принуждение в самопринуждение. Повседневные занятия представителей этих слоев лишь в малой мере делали их способными сдерживать свои ближайшие желания и аффекты ради чего-то прямо не ощутимого. Именно поэтому восстания низов не имели долговременного успеха.

Здесь мы имеем дело со сложной системой взаимодействия. В любом большом сплетении взаимосвязей людей имеются раз-

255

личные уровни, сектора, находящиеся ближе к центру или дальше от него. Носителей функций центральных секторов (например, высших функций координации) к постоянному и строгому самоконтролю принуждает не только их положение, характеризуемое пересечением в центре множества цепочек действий. Большая

социальная сила носителей этих функций связана именно с их зависимостью от такого множества цепочек. Особенностью развития западного общества было то, что развитие это все больше вело к равномерной зависимости всех от всех. Достигшее высокого уровня дифференциации и разделения труда, западное общество все более зависело от того, насколько представителям низших слоев деревни и города удастся регулировать свое поведение и свою деятельность в соответствии с долгосрочными целями всей сети, — именно поэтому они перестали быть «низшими» социальными слоями. Аппарат разделения труда стал настолько сложным и чувствительным, что нарушения в любой точке его поточных линий стали угрозой всему целому. Поэтому руководящие, правящие слои под давлением конкурентной борьбы между собой были вынуждены уделять все больше внимания народным массам. Но приближение функций масс к центру и обретение ими все большего веса в разделении труда сделали возможным и необходимым долгосрочное планирование и в низших слоях. Эти слои — чаще всего под сильным социальным давлением — постепенно пришли к контролю над мимолетными аффектами, к дисциплинированию всего своего поведения с учетом и общества в целом, и своего положения в нем. Тем самым поведение тех, кто ранее принадлежал низшим слоям, все более сдвигалось к тому стандарту, который ранее был свойствен только элитам. Вместе с тем росла сила низов по отношению к верхам, а тем самым росла и их способность представителей народных масс к долгосрочному планированию. Не так уж важно, что модель такого планирования была получена ими извне; главное заключается в том, что и у них внешнее принуждение стало преобразовываться в самопринуждение, у них возникло напряжение по горизонтали между аппаратом самоконтроля («Сверх-Я»), с одной стороны, и сделавшимися непрозрачными, хуже или лучше трансформированными, подавленными и регулируемые энергиями влечений — с другой. Так в рамках западного общества происходило постоянное распространение цивилизационных структур, а тем самым весь Запад — в единстве высших и низших слоев общества — стал своего рода высшим слоем в центре сети взаимозависимостей: центром, из которого структуры цивилизации распространяются по всем колонизованным и не колонизованным частям земного шара. Только взгляд на все это движение в целом, на это постепенное распространение определенных функций и структур поведения на все новые и новые слои и районы, только понимание того,

256

что сами мы находимся не в конце этого потока, но на одной из кризисных его волн, — только такой подход может пролить свет на проблему «цивилизации». Как выглядит это движение, если проследить его в обратном порядке, двигаясь по одной волне вслед за другой из настоящего в прошлое?

III. Уменьшение контрастов, рост многообразия

Цивилизация продвигается вперед по траектории, представляющей собой ряд движений вверх и вниз. Вновь и вновь поднимающийся снизу социальный слой перенимает функции и положение высшего слоя. Это ему приходится делать в противостоянии с другими слоями, давящими на него сверху и снизу; и всякий раз этому поднымаемому и получившему статус высшего слою «наступает на пятки» новый, еще более широкий слой.

Мы оставляем в стороне обширный круг проблем, касающихся различий в поведении высших, средних и низших слоев. В общем виде можно сказать, что низшие слои склонны к прямой разрядке аффектов и непосредственному удовлетворению влечений, что их поведение регулируется в меньшей мере, чем поведение представителей высших слоев. Принуждение, оказывающее воздействие на низшие слои, на протяжении большей части истории носило характер прямого физического насилия, угрозы телесных мучений или смерти от меча, нищеты и голода. Ни применение подобного насилия, ни функции, характерные для подобного положения в обществе, не способны привести к стабильному преобразованию внешнего принуждения в самопринуждение. Отказ средневекового крестьянина от употребления мяса из-за того, что он слишком беден, а его скот идет на стол господину, всецело обусловлен физическим принуждением. Стоит лишь появиться возможности есть мясо без внешней угрозы, и крестьянин будет предаваться удовлетворению этого желания, в отличие от вступившего в религиозный орден представителя высших сословий, отказавшегося от потребления мяса по идейным соображениям — на основании мыслей о мире ином и чувства собственной греховности. Лишенный всякой собственности труженик, оказавшийся в рабочем доме из-за угрозы голода и тем самым принужденный трудиться, оставит работу сразу же после того, как исчезнет угроза внешнего насилия. Он отличается от зажиточного купца, который работает все больше и больше, хотя без того имеет средства к существованию. Купца к деловой активности склоняет не нужда, но давление конкуренции, борьбы за власть и престиж; он трудится потому, что работа стала его призванием, смыслом и оправданием его жизни. В конце концов, постоянное самопринуждение сделало эту

257

работу столь привычной, что, прекратив ее, купец ощутит душевное смятение.

К особенностям западного общества относится то, что в ходе его развития произошло существенное уменьшение различий в положении и кодексе поведения низших и высших слоев. На все слои распространились некоторые характеристики низших слоев. Симптомом этого можно считать то, что западное общество в целом стало регулярно работающим обществом — ранее труд был признаком низших. Но в то же самое время на все общество точно так же распространились черты, ранее служившие признаком отличия высших слоев. Превращение социального принуждения в самопринуждение, в автоматически

действующие и привычные регулировку влечений и сдерживание аффектов (чаще всего у людей, защищенных от угрозы смерти от меча или голода) распространяется на Западе на все более широкие массы. Глядя только на малый отрезок этого развития, можно по-прежнему считать эти различия в моделировании влечений и в поведении высших и низших слоев цивилизованного мира существенными. Но если посмотреть на весь ход движения на протяжении столетий, то мы увидим, что резкие контрасты между поведением различных социальных групп — равно как и контрасты в поведении индивидов — постепенно стираются. Моделирование аффектов, формы поведения, весь *habitus* низших слоев цивилизованного общества — вместе с ростом значимости их функций в системе разделения труда — все более приближаются к тому, что мы находим у других групп. В первую очередь, наблюдается близость со средними слоями, хотя у представителей низших слоев поначалу отсутствуют те формы самопринуждения и те табу, что служат для «отличия» и проистекают из стремления к высокому престижу. Пока у них нет и той степени контроля над аффектами, и того долгосрочного планирования, которые становятся возможными и необходимыми у элит в силу особенностей их социального положения.

Для всего направления развития западного общества равным образом характерны как уменьшение социальных контрастов, так и стирание индивидуальных различий — своеобразное смешение способов поведения, ранее характеризовавших предельно различные социальные позиции. В этом заключается одна из важнейших особенностей процесса цивилизации. Однако такое развитие общества и продвижение цивилизации происходят вовсе не прямолинейно. В рамках общего движения вновь и вновь заявляют о себе короткие или длинные периоды, во время которых контрасты возрастают и в обществе, и в поведении, в аффектах индивидов.

То, что происходит на наших глазах и что мы обычно называем «распространением цивилизации» — т.е. проникновение наших институтов и стандартов поведения на другие страны, —

258

представляет собой лишь последние волны того движения, что на протяжении столетий шло на самом Западе. Вектор этого движения и характерные для него фигуры появляются задолго до того, как появилось понятие «цивилизация». Теперь от западного общества в целом, ставшего своего рода «высшим слоем», «цивилизованные» нормы поведения распространяются на все континенты. Это происходит путем заселения их выходцами с Запада или путем ассимиляции высших слоев других народов. Но точно так же ранее в рамках самого западного общества происходило распространение моделей поведения: от тех или иных высших слоев, от придворных обществ и торговых центров к низшим слоям. Эта экспансия лишь в малой степени определялась планами или желаниями носителей соответствующего поведения. Слои, задающие модели поведения, и сегодня не являются свободными творцами и зачинщиками экспансии. Распространение одних и тех же норм поведения, идущее из «белых стран и отечеств», связано с вовлечением прочих человеческих групп в единую сеть политических и экономических взаимозависимостей, в сферу «борьбы на выживание», идущую между западными нациями. Причиной изменения поведения выступает не техника — то, что именуется нами «техникой», является просто *одним* из символов, одним из воплощений долгосрочного опосредования, к которому ведут удлинившиеся цепочки действий и конкуренция. «Цивилизованные» формы поведения распространяются на прочие континенты именно потому, что через них осуществляется вхождение в сеть взаимозависимостей, а центр этой сети занимают люди Запада; по той же причине происходит изменение социальной структуры и организации человеческих отношений в целом. Техника, школьное обучение — все это лишь частные проявления общего движения. В тех районах, на кои распространяется западная экспансия, также возникают новые социальные функции, к которым должен приспосабливаться индивид, и эти функции требуют непрерывной тренировки способности к долгосрочному предвидению, а также не менее сильного регулирования аффектов, чем на самом Западе. Такая трансформация социального существования в целом и здесь превратилась в фундамент цивилизации. Поэтому здесь также заявляет о себе сглаживание контрастов — в том числе контрастов между Западом и другими частями планеты, — характеризующее все волны продвижения вперед цивилизации.

Постоянно возобновляющееся проникновение способов поведения функционально высших слоев в поднимающиеся низшие слои вообще характерно для той двойственной позиции, которую занимают в этом процессе высшие слои. Вошедшее в привычку предвидение последствий определенных действий, жесткое регулирование аффектов для высших слоев, скажем, для европейских колонизаторов, выступают как важные инструмен-

259

ты превосходства. Они делают привычными функции и положение такой элиты, служат признаками отличия, дающими ей престиж и подчеркивающими ее статус. Именно поэтому такое общество более или менее строго карает отступников, чье поведение отклоняется от подобной схемы регулирования аффектов и влечений, а также всякого рода «вседозволенность», встречающуюся у отдельных своих членов. Оно карает их тем строже, чем больше социальная сила поднимающейся снизу группы, чем мощнее напор, чем интенсивнее конкуренция в борьбе за равные шансы между представителями высшей и низшей групп. Сохранение высокого положения элиты стоит немалых сил и требует от людей умения предвидеть последствия своих поступков. Это находит выражение в пристальном наблюдении членов группы друг за другом. Порождаемый такой борьбой страх за положение группы в целом непосредственно содействует

ужесточению правил в кодексе поведения, оказывает воздействие на воспитание сильного «Сверх-Я» у членов данной группы. Он находит свое выражение в индивидуальном страхе перед личной деградацией или хотя бы боязни снижения собственного престижа. Страх за свою репутацию, превратившийся в самопринуждение, приобретает формы стыда или чувства чести, способствующие выработке соответствующего поведения и обеспечивающие жесткое регулирование влечений индивида.

Но если, с одной стороны, элита (а ее функциями сегодня обладают в известной мере и западные нации в целом), склонна всеми силами подчеркивать отличие собственного поведения и специфического регулирования влечений, то, с другой стороны, само ее положение, равно как и направляемое ею движение, требуют постепенного уменьшения различий в поведении. Распространение вширь западной цивилизации хорошо показывает эту двойственность. Цивилизованность выступает как дающее превосходство отличие людей Запада. Но под давлением конкуренции представители западных наций способны подгонке под собственный стандарт отношений между людьми и их функций на прочих континентах. Они ставят в зависимость от себя другие области земного шара, но уже поэтому — в соответствии с закономерностью прогрессирующей дифференциации функций — сами оказываются в зависимости от них. С одной стороны, с помощью ряда институтов или посредством строгого контроля над поведением они создают барьер между собою и прочими группами, рассматриваемыми как низшие и колонизируемыми по «праву сильного»; с другой стороны, они переносят в эти части света свои социальные формы, свои формы поведения и институты. Сами того не желая, они работают на то, чтобы раньше или позже различия и в социальной силе, и в формах поведения между колонизаторами и колонизируемыми уменьшились. Уже сегодня контрасты стали заметно менее ощутимыми. В за-

260

висимости от формы колонизации и от положения данного региона в большой дифференцированной сети взаимосвязей (а отчасти и от собственной истории региона и его структуры), в некоторых местах уже начался процесс смешения форм поведения, во многом напоминающий описанное выше взаимопроникновение поведенческих форм, свойственных придворной аристократии и буржуазии. В сегодняшних колониях мы видим, как сверху вниз распространяются — в зависимости от социальной силы различных групп — формы западного поведения. Если придерживаться такой пространственной разверстки, то иногда это распространение идет снизу вверх, образуя новые общности, новые формы цивилизованного поведения. *Вместе с распространением цивилизации контрасты в поведении между некогда высшими и низшими группами уменьшаются; растет число форм или оттенков цивилизованного поведения.* Начавшееся преобразование людей Востока и Африки, приближающее их поведение к западному стандарту, представляет собой последнюю по времени, зримую сегодня волну процесса цивилизации. Но ее подъем таит в себе следующие волны, поскольку на сегодняшний день в колониях к выходцам с Запада приближаются чаще всего поднимающиеся высшие слои автохтонных групп.

На самом Западе мы в то же самое время являемся свидетелями волны, движущейся в том же направлении. Городские и сельские низы обретают стандарт цивилизованного поведения, у них растет привычка к расчету последствий своих действий, у них заявляют о себе более равномерное подавление аффектов и их регулирование, вырабатывается все более сильный аппарат самопринуждения.

В зависимости от структурной истории каждой страны мы обнаруживаем в рамках цивилизованного поведения самые различные модели и способы формирования аффектов. Скажем, в Англии на поведение рабочих оказывает влияние поведение лендлордов и ведущих заморскую торговлю купцов; во Франции моделью служат и придворные вельможи, и пришедшие к власти в результате революции буржуа. Более жесткое регулирование аффектов и ставшую традиционной вежливость у рабочих мы обнаруживаем в нациях, которые дольше исполняли функцию колонизаторов и выступали в этом смысле в целом в качестве высшего слоя по отношению к колонизируемым. Менее строгим и не в столь значительной мере отшлифованным является регулирование аффектов у наций, поздно пришедших к колониальной экспансии (или вообще к ней не пришедших), поскольку у них позже, чем у наций-конкурентов, возникла монополия на насилие и на сбор налогов, а также произошла централизация национальных орудий власти, образующие предпосылку для любой длительной колониальной экспансии.

Если сделать шаг назад к XVII—XIX вв., то — в зависимости от страны, где раньше, где позже, — мы встречаемся с одним и

261

тем же явлением: со взаимопроникновением форм поведения дворянства и буржуазии. В зависимости от соотношения сил в продукте такого взаимопроникновения сначала преобладают модели, отражающие положение высших слоев, а затем — поднимающихся снизу слоев, пока, наконец, результатом процесса не оказывается амальгама, некая общность, обладающая неповторимым характером. Здесь мы вновь сталкиваемся с двойственным положением высшего слоя, обнаруживаемом сегодня у знаменосцев «цивилизации». Знаменосцы «civilitéé», представители придворной аристократии, были принуждены к большей сдержанности в проявлении аффектов и к следованию более строгим правилам поведения из-за того, что находились в сети взаимозависимостей, обладавших значительно большей силой, чем те, которым подчинялись иные слои. Сказывалось и то, что они занимали промежуточное положение между королевской властью и буржуазией. Функция и положение придворной аристократии побуждали ее держаться особого поведения как того, что давало ей престиж, служило средством отличия от слоев, давящих на нее снизу.

Поэтому придворные всеми силами пытались сохранять эти отличия. Только посвященные, только принадлежавшие к этому кругу должны были знать таинства хорошего поведения — и только в хорошем обществе ему можно было научиться. Книга о таком «savoir-vivre», знаменитый «Карманной оракул» Грасиана, как объясняла одна принцесса двора⁶, был столь темно написан именно с тем, чтобы не каждому купившему ее за пару грошей были доступны эти знания. Куртэн тоже не забывает напомнить в предисловии к своему трактату о «civilité», что рукопись предназначена для частного употребления нескольких друзей, но даже будучи напечатанной, книга по-прежнему предназначена только для людей из хорошего общества. Но уже здесь мы видим двойственность положения высших слоев. В реальной жизни придворная аристократия существовала в тесной взаимозависимости с буржуазией и не была способна избегать контактов с богатыми буржуа. Поэтому она не могла не передавать буржуа свои манеры, свои вкусы, свой язык. Затем эти формы поведения распространились на другие слои: сначала, в XVII в., — на малочисленную верхушку буржуазии (это хорошо показывает наш экскурс «О моделировании речи придворными кругами»⁷), а затем, в восемнадцатом столетии, — на более широкие слои буржуазии. Об этом говорит множество опубликованных в то время книг о «civilité». Стена, выстроенная дворянством для самозащиты, рухнула под воздействием силы целостной системы взаимосвязей, противоречий и конкуренции, ведущих ко все большей дифференциации функций, к росту зависимости индивида от все увеличивающегося числа других людей, а тем самым и к подъему все более широких слоев.

262

Принудительность функциональной взаимозависимости, дифференцированной самодисциплины, образования стабильного «Сверх-Я» сначала дает о себе знать в небольших функциональных центрах. Затем они захватывают все большее число других функциональных кругов, чтобы, в конце концов, превратиться в трансформацию социальных функций (а тем самым и поведения, всего психического аппарата) лежащих за пределами Европы стран. Последний процесс происходит при использовании уже имеющихся форм цивилизации. Такова картина пройденного западной цивилизацией пути в социальном пространстве в целом.

IV. Превращение рыцарей в придворных

В этом потоке, характеризуемом подъемом одних форм поведения снизу вверх и падениями других сверху вниз, с их взаимным проникновением, проявляющимся во все расширяющихся кругах населения, особое место занимает придворное общество XVII—XVIII вв., и в первую очередь, — придворное дворянство Франции, образующее центр этого общества. Придворные не были изобретателями и первопроходцами в деле подавления аффектов и равномерного преобразования поведения в целом. Подобно всем прочим участникам этого движения, они находились под давлением механизма принуждения, который не был запланирован каким-либо человеком или даже какой-нибудь отдельной группой. Но в этом придворном обществе формировался костяк тех форм поведения и общения, что затем, преобразуясь в соответствии с положением перенимающих их слоев, распространялись на все более широкие круги. Особое положение людей придворного «хорошего» общества делало их — более чем любую другую группу западного общества в ходе этого движения — специалистами по формированию и моделированию поведения. В отличие от всех последующих элитарных групп, у них имелась социальная функция, но она не была для них работой.

Моделирование поведения при крупных дворах — центрах управления ключевыми монополиями на налоги и физическое насилие — играло большую роль не только в процессе цивилизации на Западе, но и в других процессах подобного рода, скажем, в Восточной Азии. Здесь, у трона монопольного владыки, сходились все нити огромной сети взаимозависимостей, в некоем порядке пересекались социальные процессы. Более чем в любом другом пункте этой сети, здесь соединялись длинные цепочки действий. Даже линии заморской торговли, переплетавшиеся в городских торговых центрах, не могли долговременно и стабильно существовать без защиты со стороны сильного цент-

263

ра власти. Поэтому от функционеров этого центра, — в том числе от самих князей, от их представителей и слуг — требовались большие, чем в любом другом пункте, регулирование поведения и способность предвидения. Эта ситуация находит свое выражение в церемониях и этикете. На находящегося в центре государя и на его ближайшее окружение со всех сторон стремятся прямо или косвенно оказать влияние различные люди, и каждый шаг, каждый жест вельможной персоны в тех или иных обстоятельствах может иметь огромное значение. Монополия еще сохраняет приватный, или личный, характер, а потому без ритуала, без дифференциации действий, сдержанности и дистанции по отношению к противостоящим силам (на всем этом покоится умиротворяющая работа монопольного правителя) общество быстро оказалось бы ввергнуто в хаос. Если не прямо, то через правителя и его министров, любое значительное движение или потрясение в обществе сказывается на положении придворных, образующих ближайшее окружение государя. То сплетение взаимосвязей людей, в которое неизбежно попадает каждый человек при дворе, требует от него постоянной предусмотрительности, точного контроля над тем, что он говорит или делает. Образование монополий на физическое насилие и на налоги было лишь одним из аспектов общего процесса цивилизации, но это событие можно считать ключевым, поскольку от него без труда можно подойти к

движущим силам данного процесса. Большой королевский двор какое-то время был сердцевинной тех социальных взаимосвязей, которые пустили в ход и направляли процесс цивилизации. Если проследить социогенез двора, то мы обнаруживаем здесь трансформацию, составляющую необходимую предпосылку всех прочих изменений в направлении к цивилизации: мы видим, как на место рыцарей приходит дворянство с усмирёнными аффектами — придворные. Одним из наиболее значимых не только на Западе, но и в любом крупном процессе цивилизации шагов на этом пути является *превращение рыцарей в придворных*. Разумеется, существуют разные уровни такой трансформации общества, ведущей к установлению внутреннего мира. На Западе этот процесс начинается с XI—XII вв. и находит свое завершение в XVII—XVIII вв.

Выше мы уже детально писали об этом. Поначалу мы видели ландшафт с множеством замков и имений, ситуацию, когда взаимозависимость между людьми была слаба. Соответственно, у большинства рыцарей горизонт видения почти так же узок, как и у крестьян. «Localism was writ large across the Europe of the early Middle Ages, the localism at first of the tribe and the estate, later shaping itself into those feudal and manorial units upon which mediaeval society rested. Both politically and socially these units were nearly independent, and the exchange of products and ideas was reduced to a minimum»^{0, 8}.

264

Затем из множества этих замков и поместий начинают возвышаться те, чьим господам в непрестанной борьбе удалось на большей или меньшей территории расширить свои земли и увеличить воинскую мощь, занять господствующее по отношению к прочим рыцарям положение. Жилища победителей становятся центрами значительных владений, в них стекается все большее количество людей. Эти жилища превращаются во «дворы» в новом смысле слова. Среди пришедших сюда искателей счастья немало бедных рыцарей, уже не являющихся столь независимыми, как свободные воины, уединенно жившие в своих имениях, напомилавших небольшие автаркии. При дворе они находятся в условиях монополюс ограниченной конкуренции. Уже здесь, в этом кругу людей, еще совсем небольшом в сравнении с дворами абсолютных монархов, совместное существование принуждает их считаться с другими людьми. Попавшие в это сплетение взаимосвязей рыцари должны контролировать себя и предвидеть последствия своих действий, строго регулировать свое поведение — особенно в общении с хозяйкой двора, от которой они находятся в зависимости. Они вынуждены сдерживать свои аффекты, трансформировать свои влечения. Куртуазный кодекс поведения дает нам представление о таком регулировании, а миннезанг⁹ — о необходимом усмирении влечений, вошедшим в обычай при дворах крупных и мелких удельных владык. Это — первые шаги на пути, ведущем к полному превращению рыцарей в придворных и к долговременной трансформации поведения в смысле «цивилизации». Но пока что сеть, в которую угодил рыцарь, еще не столь плотная и обширная. Если он и привыкает к известной сдержанности при дворе, то все же остается еще огромное число людей и ситуаций, не требующих от него ни малейшей самодисциплины. Можно, например, покинуть двор этого господина и его супруги в надежде найти другое прибежище. Дороги полны неожиданностей, встреч, не требующих какого бы то ни было регулирования поведения. При дворе, общаясь с госпожой, следует избегать насильственных действий и вспышек страстей; однако и куртуазный рыцарь остается прежде всего воином — его жизнь представляет собой непрестанную череду войн, сражений, актов насилия. Умиротворяющее принуждение, ведущее к глубокой трансформации влечений, еще не оказывает постоянного и равномерного воздействия на его жизнь. Это принуждение привязано к отдельным местам, его действие в любой момент прерывается, когда вступает в ход иного рода принуждение, — например, законы войны, которая не нуждается в сдерживании аффектов и даже не терпит подобного сдерживания. Поэтому у куртуазного рыцаря самопринуждение является полубессознательной привычкой, неким чуть ли не автоматически работающим аппаратом, еще в весьма незначительной мере. Мы уже указывали на то, что куртуазные предписания во

265

времена расцвета придворного рыцарского общества в немалой своей части были общими для детей и для взрослых. Поведение, соответствующее этим нормам, для взрослых не было чем-то само собой разумеющимся, т.е. настолько самоочевидным, чтобы его уже не нужно было обсуждать. Противостоящие ему побуждения еще не исчезли из сознания. Аппарат самопринуждения, «Сверх-Я», еще не был силен и равномерно развит.

Кроме того, здесь еще отсутствует та главная движущая сила, что впоследствии, при дворе абсолютного монарха, станет побуждать дворян к использованию утонченных форм общения. Давление городских буржуа на дворянство еще сравнительно невелико, а потому мало ощутима и конкуренция между двумя сословиями. Конечно, при дворах удельных князей иной раз рыцарь и горожанин ведут борьбу за равные шансы. Среди миннезингеров встречаются и горожане, и дворяне. Уже с этой точки зрения куртуазный двор иногда дает пример той же закономерности, что в полном виде заявит о себе при дворе абсолютной монархии: здесь в конкурентной борьбе сталкиваются друг с другом люди дворянского и буржуазного происхождения. Но позже, во времена полностью сформировавшейся монополии на господство, функциональная взаимосвязь дворянства и буржуазии, а тем самым и возможность как постоянных контактов, так и длительного соперничества представителей этих сословий, становится значительной и вне пределов двора. Контакты буржуа и рыцарей при куртуазном дворе еще редки. В сравнении с более поздним периодом взаимозависимость буржуазии и дворянства еще незначительна и в обществе в целом. Города и

феодалы со своим окружением противоборствуют как чуждые друг другу политические и социальные единицы. Низкий уровень разделения функций, незначительность связей между различными сословиями находят свое выражение в том, что распространение обычаев и идей идет от города к городу, от двора ко двору, от монастыря к монастырю — т.е. происходит в рамках одного и того же социального слоя. Часто они распространяются на большее расстояние, чем действуют взаимные влияния замков и городов в одной и той же местности¹⁰. Таково строение этого общества, и это следует иметь в виду, чтобы правильно понимать общества с иной структурой, с иными социальными процессами, ведущими ко все большему воздействию «цивилизации» на психический самоконтроль личности.

Здесь, в обществе с преобладанием натурального хозяйства, обмен и взаимосвязи между различными слоями еще незначительны в сравнении с позднейшими фазами социального развития. Поэтому в жизни людей гораздо больше проявляется неравенство. Военная сила и собственность здесь тесно взаимосвязаны и непосредственно зависят друг от друга. На одной стороне — безоружный крестьянин. Он унижен, он находится во власти во-

266

оруженного господина — более чем какой бы ни было человек в позднейшие времена, когда возникла публичная или государственная монополия на насилие. По другую сторону стоит носящий оружие господин, рыцарь. У него еще крайне мала (хотя в какой-то мере она всегда присутствует) функциональная зависимость от людей низшего слоя, непосредственно находящихся под угрозой физического насилия. Угроза эта настолько велика, что с нею нельзя сравнить ни одну форму зависимости низших слоев от высших. Это относится и к жизненному стандарту: различие между высшими и низшими в этом обществе чрезвычайно велико, причем как раз на той фазе, когда из массы рыцарей стало выделяться небольшое число особенно могущественных и состоятельных феодалов. Мы встречаемся со сходными контрастами в обществах, по своей структуре схожих с западным средневековым, — в Индии, в Абиссинии. По одну сторону — представители небольшой верхушки, располагающие огромными средствами, которые в значительно большей степени, чем ныне на Западе, используются на личное потребление, на роскошь в том, что мы называем «частной жизнью», — на наряды и украшения, на дворцы и конюшни, на посуду, пиры и прочие радости жизни. По другую сторону — живущие в нищете крестьяне, постоянно испытывающую угрозу голодной смерти из-за неурожая. Полученного их трудом едва хватает для спасения от голода; жизненный стандарт у них существенно ниже, чем у любого слоя в «цивилизованных» обществах. Только вместе со стиранием этих контрастов, вместе с давлением конкуренции, снизу доверху пронизывающей все общество, вместе с разделением функций и ростом взаимной зависимости на больших пространствах — когда в функциональной зависимости оказываются и высшие слои, когда возрастает и социальная сила, и повышается жизненный стандарт низших слоев, — только вместе со всем этим вырабатывается некая «сдержанность» высших по отношению к низшим и начинается подъем самих низших слоев, равно как и прочие изменения, свидетельствующие о распространении цивилизации.

В начальном пункте этого движения рыцари живут как бы сами по себе, равно как и горожане, и крестьяне. Пропасть между сословиями глубока даже при пространственной близости сфер их существования; различны обычаи, жесты, одежды, развлечения, хотя имеются и отдельные заимствования. Социальные контрасты здесь видны повсюду — люди, принадлежащие к более однородному миру, охотно говорят о тогдашней более «красочной жизни». Высший слой, дворянство, еще не ощущает особого социального давления снизу; даже буржуазия еще не оспаривает функций и престижа высшего сословия. Дворянину еще нет нужды себя сдерживать и размышлять о том, как сохранить свою высшую позицию. Он располагает своей землей, в

267

руках у него меч; главным источником опасности для него являются другие рыцари. Поэтому невелик контроль рыцарей над поведением друг друга, мал и самоконтроль, к которому оказывается принужденным отдельный рыцарь. Его социальная позиция гораздо более прочна и самоочевидна, чем у придворного. Ему нет нужды избавляться от всякой грубости и вульгарности. Мысли о низших его вообще не беспокоят: у него нет той непрестанной тревоги, что впоследствии будет появляться у представителей высшего слоя при напоминании о низших, а потому нет и соответствующих запретов. Наблюдая низкорожденных, он не испытывает никакого сострадания, только презрение, и выражает его откровенно и без всяких вытесненных эмоций. Абрис жизни рыцаря¹¹, по необходимости краткий, передает эту позицию, хотя избранный нами наглядный материал принадлежит к более позднему, придворному периоду рыцарства.

Мы уже достаточно подробно писали о том, как рыцари шаг за шагом стали втягиваться в сеть более тесных связей с другими слоями и группами, как большая их часть оказалась сначала в функциональной, а затем и в институциональной зависимости от небольшого числа высших дворян. В этом направлении работали процессы, длившиеся столетиями: они вели к утрате военной и хозяйственной замкнутости всех рыцарей, к превращению части из них в придворных.

Работу этого механизма мы ощущаем уже в XI—XII вв., когда укрепляются удельные князья, и все большее число людей, включая многих обедневших рыцарей, начинают искать себе место при крупных или мелких дворах.

Затем над всеми прочими дворами поднимаются дворы принцев — в свободной конкуренции только у выходцев из королевского дома остаются шансы. Самый богатый и самый блестящий из дворов принцев

крови — Бургундский двор — дает хорошее представление о том, насколько медленно шло превращение рыцарей в придворных.

Наконец, в XV и особенно в XVI в. это движение ускоряется, возникают новые факторы, способствующие такому превращению, — разделение функций, рост взаимосвязей и интеграция все больших территорий и самых различных слоев. Это хорошо заметно по тому социальному инструменту, употребление которого в точности отображает изменения в функциях и в широте социальных взаимосвязей, — по денежному обращению. Количество денег быстро растет, а вместе с тем падает их покупательная способность, или стоимость. Тенденция обесценивания драгоценных металлов, как и превращение рыцарей в придворных, берет свое начало в раннем Средневековье. Новым при переходе от Средних веков к Новому времени были не монетаризация и не уменьшающаяся покупательная способность денег как таковые, но темп и размах этого движения. Как это вообще часто

268

случается, нечто, поначалу казавшееся лишь количественным изменением, при более внимательном рассмотрении оказывается изменением качественным — изменением в строении человеческих отношений, трансформацией социальной структуры.

Конечно, ускорившееся обесценивание денег не было единственной причиной все более отчетливо заявлявших о себе социальных изменений. Мы имеем дело с частным аспектом, с одним из винтиков в целостном общественном механизме. Под давлением конкуренции на определенной ступени начинает расти *спрос на деньги*; для удовлетворения этого спроса люди ищут и находят все новые пути и средства. Как это было показано выше¹², для разных социальных групп данный процесс имел разное значение. Именно это говорит о наличии многосторонней функциональной взаимозависимости между различными слоями общества. Перемены оказались благоприятными для тех групп, функции которых позволяли им компенсировать падающую покупательную способность денег получением все большего количества последних. К таковым относилась прежде всего буржуазия, в сходном положении был также король, обладавший монополией на сбор налогов. В убытке оказывались рыцари: они имели номинально те же самые доходы, но реально по своей покупательной способности постоянно уменьшавшиеся (причем весьма существенно) вместе с обесцениванием денег. Именно этот поток событий в XVI—XVII вв. все в большей мере привязывал рыцарей ко дворам, ставил их в зависимость от королей. Доходы последних в это же самое время настолько увеличились, что они теперь могли содержать при своем дворе все возрастающее число людей.

Если посмотреть на наследие прошлого как на альбом, где представлены чередующиеся «стили», то у нас возникнет впечатление, будто время от времени вкусы и душевный строй людей резко меняются, словно в результате какой-то мутации: перед нами то «человек готики», то «человек Возрождения», то «человек барокко». Но стоит нам попытаться представить себе всю структуру отношений, в которые включен человек определенной эпохи, стоит принять в расчет изменение институтов, образующих его жизненное пространство, или функции, являющиеся фундаментом его существования, как подобное впечатление все больше стирается. Нам становится все труднее представить себе неожиданную мутацию, необъяснимым образом одновременно захватывающую души множества независимых друг от друга людей. Все изменения такого рода осуществлялись чрезвычайно долго, шли малыми, незаметными шагами. Для нашего слуха различимы только отзвуки громких событий. Но великие взрывы, потрясающие все существование отдельных людей и серьезно меняющие его, представляют собой редкие моменты в череде скучных и почти незаметных социальных перемен, воздей-

269

ствие которых дает о себе знать только через несколько поколений, когда они заявят о себе в виде конфронтации отцов с сыновьями и внуками. Именно так происходила замена одного высшего слоя другим — превращение свободных рыцарей в придворных. Даже на последних фазах этого процесса мы можем встретить индивидов, находящихся полноту существования в жизни свободного рыцаря, видящих в ней исполнение своих желаний, реализацию своих дарований и страстей. Но все эти страсти и способности уже оказались нереализуемыми в силу медленного преобразования человеческих отношений: из системы этих отношений уже исчезли соответствующие функции. То же самое можно сказать о дворе абсолютного монарха. Он также не был придуман и создан каким-то индивидом, но формировался постепенно по ходу смещения точки равновесия в соотношении социальных сил. Все индивиды оказывались зависимыми друг от друга, связанными между собой особой формой отношений. Из этой их взаимосвязи рождалась взаимная зависимость, причем уже не они своей связанностью создавали двор, но наоборот, двор для множества людей играл конституирующую роль как способная пережить любого индивида форма человеческих отношений, как прочный институт, воспроизводящий определенного рода связи на основе существующего устройства общества в целом. Мы ничего не поймем в таком социальном институте, как фабрика, если будем рассматривать его вне структуры социального поля в целом, — социального поля, вновь и вновь порождающего фабрики. Мы не поймем, почему одни люди — рабочие и служащие — оказывают услуги другим людям, предпринимателям, а последние зависят от такого рода услуг. Точно так же мы не поймем социальный институт двора времен абсолютизма, если не примем в расчет человеческие потребности и особенности тех взаимозависимостей, которые связывали людей и побуждали их сосуществовать в такой форме. Только с учетом всего этого двор утратит вид некоего случайного, созданного по чьему-то произволу образования; тогда нам не будет нужды задавать себе вопрос «зачем», и существование двора

обретет свой смысл в сети человеческих отношений. Мы видим, что на протяжении долгого времени он предоставлял множеству индивидов шансы для удовлетворения потребностей, раз за разом воспроизводившихся обществом.

Мы уже показали выше ту констелляцию потребностей, что на протяжении поколений воспроизводила институт двора. Дворянство — или по крайней мере его часть — нуждалось в короле, поскольку вместе с прогрессирующей монополизацией из общественной жизни исчезли функции свободного рыцаря. Вместе с ростом денежного обращения имения сами по себе предоставляли средства только для поддержания весьма посредственного (если сравнить его со стандартом поднимающейся

270

буржуазии) уровня существования, а иной раз и оно оказывалось под вопросом. Ресурсы имений были явно недостаточны для поддержания социального существования, престижа дворянства как высшего слоя в сравнении с растущей силой буржуазии. Поэтому немалая часть дворян в надежде получить содержание были вынуждены идти на службу при дворе, оказываясь тем самым в прямой зависимости от короля. Только жизнь при дворе давала дворянину доступ к экономическим шансам и возможность поддержания престижа в этом социальном поле; только так дворянин мог хоть в какой-то мере удовлетворять свою потребность в «достойном» существовании в качестве члена высшего сословия. Если бы речь шла только об экономических шансах (или о них в первую очередь), то дворяне совсем не обязательно стремились бы ко двору. Чтобы иметь деньги, они могли бы обратиться к купеческой деятельности (или, скажем, получить деньги за счет выгодной женитьбы), причем преуспели бы в обогащении гораздо скорее, чем ведя жизнь придворных. Но ради такой деятельности они должны были бы лишиться своего дворянского звания, а это означало для них падение и в собственных глазах, и в глазах всех прочих дворян. А именно дистанция по отношению к буржуа, принадлежность к «благородным», к высшему сословию страны придавала их жизни смысл. Это желание поддержать свой престиж, отличаться от прочих, было более важным мотивом их действий, чем стремление к богатству. Они шли ко двору и там оставались не в силу экономической зависимости от короля, но потому, что только двор и жизнь в придворном обществе могли позволить им сохранить свое отличие от прочих и поддержать престиж, ценимый ими чуть ли не так же, как спасение души. Им нужно было принадлежать к элите, к «society» своей страны. По крайней мере часть из них могли себе позволить не жить при дворе, пока речь шла только об экономических шансах; но они стремились не столько к экономическим возможностям, обеспечивающим им средства существования (таковые они могли найти и не при дворе), но и к возможностям экзистенциальным — к поддержанию престижа, сохранению своего отличия от других, гарантии своего существования в качестве людей благородных. Эта двойная связь экономических и престижных моментов в большей или меньшей степени характеризует все элиты — не только носителей «civilité», но равным образом и носителей «цивилизации». Стремление принадлежать к «высшему» слою и сохранять такое положение оказывает не менее принудительное воздействие на индивида и не в меньшей степени моделирует его поведение, чем стремление находить средства к существованию, проистекающее из простейшей жизненной необходимости. Мотивы и того, и другого рода присущи всякому индивиду, принадлежащему к любому социальному слою, они образуют двойную неразрывную

271

цепь. Один из мотивов нельзя вывести из другого: стремление к престижу и страх его утраты, борьбу против стирания социальных различий невозможно объяснить другой зависимостью, т.е. как замаскированное желание обладать все большими денежными средствами и экономическими привилегиями. Такое желание мы находим только у семей и слоев, длительное время живущих под сильнейшим внешним давлением, на грани голода и нищеты. Привязанность к социальному престижу выступает как первичный мотив действий только у представителей тех слоев, чьи доходы в нормальных обстоятельствах достаточно велики, чтобы не испытывать угрозы голода. У таких слоев и стремление к хозяйственной деятельности уже не проистекает из простой нужды утоления потребности в еде и питье; они стремятся сохранять высокий и привычный им жизненный стандарт и престиж. Именно этим объясняется тот факт, что у вышестоящих слоев регулирование аффектов и выработка самопринуждения в целом значительно более заметны, чем у нижестоящих: страх утраты или умаления социального престижа является сильнейшим стимулом превращения внешнего принуждения в самопринуждение. Характер высшего слоя, «хорошего общества» придворной аристократии XVII—XVIII вв. и в этом пункте предстает особенно отчетливо именно потому, что деньги не играли в этом обществе решающей роли. Конечно, в них была нужда, богатство ценилось как желанное средство, но оно еще не стало, как это произошло в буржуазном мире, тем центральным фактором, который стал определять и социальный престиж. Принадлежность к придворному обществу означает для сознания его членов нечто большее, чем богатство. Именно поэтому они так привязаны ко двору, поэтому на их поведение столь сильное формирующее воздействие оказывают правила жизни при дворе. Для них нет иного места, где они могли бы жить, не деградируя. Вот почему их привязанность к королю, их зависимость от него столь велика.

В свою очередь, и король по ряду причин привязан к дворянству. Он нуждается в нем для общения с теми, кто схож с ним по воспитанию; он разделяет их потребность в сохранении отличия от прочих групп населения, и ему нравится, что служащие ему люди — хоть за столом, хоть за охотой, хоть в спальне — принадлежат к высшему слою, к дворянству страны. Но дворянство требуется ему в первую очередь в

качестве противовеса буржуазии — подобно тому, как буржуазия ему нужна как противовес дворянству; это необходимо для сохранения контроля над ключевыми монополиями. Закономерность «королевского механизма» привязывает короля к дворянству. Сохраняя дворянство как особый слой, он тем самым создает равновесие сил между двумя сословиями, ситуацию, при которой ни одно из них не должно быть ни слишком сильно и ни слишком слабо, — такова аксиома королевской политики.

272

Не только дворянство, как и буржуазия, зависит от короля; король сам зависит от дворянства. Однако зависимость каждого дворянина по отдельности несравнимо превосходит зависимость короля от любого из них. Это хорошо видно по установившимся при дворе отношениям между королем и дворянами.

Король не только подавляет дворянство, как это кажется немалой части буржуазии — он делает и то, и другое. И сам двор служит обоим целям: и укрощению, и поддержанию дворянства. Как пишет Лабрюйер в своем описании двора, «un Noble, s'il vit chez luy dans sa Province, il vit libre, mais sans appuy: s'il vit à la Cour, il est protégé, mais il est esclave²⁾». Это напоминает во многом то отношение, что существует между мелким самостоятельным дельцом и менеджером могущественного семейного концерна. При дворе часть дворянства может получать отвечающее сословному положению содержание; однако здесь дворяне уже не находятся в отношении свободной военной конкуренции, как ранее — рыцари. Придворные оказались в ситуации монопольно регулируемой конкуренции, они борются за шансы, раздаваемые монополистом. При этом они испытывают постоянное давление: не только со стороны короля, но и со стороны резервной армии провинциального дворянства, конкурирующего с придворными. Кроме того, на них оказывают давление поднимающиеся слои буржуазии. Рост социальной силы этих слоев прямо затрагивает интересы придворных, поскольку они живут за счет налогов, которые платят прежде всего представители третьего сословия. Переплетение социальных функций, взаимозависимость — в первую очередь дворянства и буржуазии — стали гораздо большими, чем на предшествующих фазах развития. Тем самым увеличилось и напряжение, постоянно испытываемое людьми. Вместе с изменением строения человеческих отношений, вместе с иным способом включения индивида в эту сеть и соответствующим моделированием его поведения такого рода зависимостями меняется структура его сознания и его влечений. Плотная и всесторонняя сеть зависимостей оказывает на него постоянное давление, требует от него непрерывного самоконтроля, стабильного «Сверх-Я» и новых форм поведения в общении с другими людьми. Так из рыцаря вырабатывается придворный.

В любой точке земли, где мы встречаемся со сколько-нибудь значимым цивилизационным процессом, обнаруживается и социально-исторический механизм, вызывающий трансформацию habitus'a и сходные с ним явления. Такого рода процессы могут идти медленнее или быстрее, либо они могут, как в данном случае, представлять одно непрерывное движение, либо в них могут чередоваться движения вперед и назад, — но стабильное или переходящее превращение воинов в придворных относится, как

273

нам кажется, к элементарнейшим предпосылкам любого крупного процесса цивилизации. Пусть такое социальное образование, как двор, кажется сегодня не столь уж значимым для современной жизни, но процесс цивилизации нельзя понять, если оставить без внимания структуру двора. Вероятно, понимание некоторых особенностей его устройства проливает свет и на жизнь любого сильного центра власти.

V. Подавление влечений. Психологизация и рационализация

«La vie de la cour, — замечает Лабрюйер, — est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique: Il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat³⁾»¹³.

При дворе, в первую очередь при дворе крупного вельможи времен абсолютизма, впервые образуется общество с той особой структурой человеческих отношений, которое при всех последующих изменениях будет играть решающую роль, причем в течение длительного периода западной истории. Тут образуется широкое пространство, в целом свободное от физического насилия, формируется «хорошее общество»; но даже если физическое насилие отступает в тень, если оно оказывается под запретом (например, когда запрещены дуэли), то в отношениях между людьми заявляют о себе иные формы принуждения и насилия. Жизнь в этом кругу вовсе не является мирной. Множество людей постоянно находятся в ситуации, когда они в значительной мере зависят друг от друга. Сильна конкуренция в борьбе за престиж, как и за благосклонность короля. Не прекращаются «происки», соперничество из-за статуса и расположения сильных мира сего. Если шпага уже не играет большой роли, то на ее место приходят интриги, словесное фехтование, обеспечивающее победителю карьерный рост и социальный успех. Для борьбы такого рода требуются иные способности, чем умение управляться с оружием: способность к суждению, расчету отдаленных последствий, самообладание, точнейшее регулирование своих аффектов, знание людей — все это становится непременным условием социального успеха.

Каждый индивид здесь входит в определенный круг общения, принадлежит к «клике», которая за ним стоит и его поддерживает. Но группировки меняются, и он вступает в союз с другими лицами — для него желательно, чтобы это были персоны высокого ранга. Однако положение такой персоны нестабильно, си-

туация может быстро измениться, поскольку у каждого крупного вельможи имеются конкуренты, явные и тайные враги. Тактика борьбы и заключения союзов требует точного расчета: дистанцию с одними и близость к другим нужно четко дозировать. Любое приветствие, любой разговор имеют значение, выходящее за пределы произносимого слова и непосредственного жеста. Ими можно показать, как котируется тот или иной человек, и цена человека при дворе определяется такой котировкой. «Qu'un favori s'observe de fort près; car s'il me fait moins attendre dans son antichambre, qu'à l'ordinaire, s'il à le visage plus ouvert, s'il fronce moins le sourcil, s'il m'écoute plus volontiers, et s'il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu'il commence à tomber, et je penserai vrai⁴⁾»¹⁴.

Двор представляет собой своего рода биржу: как и в любом другом «хорошем обществе», постоянный обмен информацией, происходящий между людьми, формирует «мнение» о ценности каждого из придворных. Эта ценность имеет свое реальное основание не в богатстве того или иного индивида и не в его личных достижениях или способностях, но в том, пользуется ли он расположением короля, имеет ли он влияние на других могущественных персон, каков его вес в борьбе придворных клик. Благосклонность, влияние, значимость, вся эта сложная и опасная игра, в которой под запретом находятся применение силы и непосредственное проявление страстей, способные только повредить игроку, требуют от каждого участника игры постоянного расчета последствий, хорошего знания других людей, их положения, их котировки в сплетении придворных мнений. В зависимости от ценности, приписываемой другим людям, придворному следует четко дифференцировать собственное поведение. Любой промах, любой неосторожный шаг понижают ценность допустившего ошибку в мнении двора — в некоторых случаях он может вообще лишиться своего места. «Un homme, qui sait la cour, est maître de son geste, de ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cour, agit contre ses sentiments⁵⁾»¹⁵.

Здесь отчетливо дает о себе знать трансформация дворянства в направлении «цивилизованного» поведения. Правда, эта трансформация еще не во всех пунктах столь же глубока и всеобъемлюща, как позже, в буржуазном обществе, — придворный кавалер или дама вынуждаются к самопринуждению лишь в общении с лицами своего сословия, при общении же с нижестоящими самопринуждение задействовано в чрезвычайно малой мере. К тому же схема регулирования влечений и аффектов в придворном обществе отличается от той, что принята в буржуазном: пока что сохраняется знание того, что поведение приходится регулировать по социальным причинам; противостоящие стремления отчасти еще сохранились в активном сознании; са-

мопринуждение не превратилось в почти автоматически работающий аппарат привычек, охватывающий все человеческие отношения. Но в придворном обществе уже заявляет о себе специфическая форма дифференциации и внутреннего раскола личности: человек словно противостоит себе самому. Он «таит свои страсти», «изменяет своему сердцу», «поступает вопреки своему чувству». Он сдерживает себя, отказываясь от мимолетного наслаждения или не следуя склонности, если предвидит неприятности, которые последуют за их удовлетворением. Именно такой механизм все решительнее пускается в ход взрослыми — будь это родители или другие лица — по отношению к детям, чтобы воспитать у них стабильное «Сверх-Я». Влечение и аффекты преодолеваются и перебарываются благодаря страху перед последующим страданием; затем этот страх делается привычным, он соединяется с запретными склонностями и формами поведения и действует уже независимо от того, присутствует ли вызывавшее страх другое лицо. Энергия таких вытесненных стремлений сдвигается к иным целям, не связанным со страхом.

Перестройке общества, трансформации межлических отношений соответствует трансформация аффектов: там растет ряд действий и число людей, от которых постоянно зависит индивид, тут растет привычка обзирать все более длинные цепочки действий. Подобно тому как меняются поведение и психическая организация индивида, изменяется и присущий ему способ наблюдения за другими людьми. Образ другого человека приобретает более богатые оттенки, его оценка становится более свободной от сиюминутных эмоций — происходит «психологизация».

Там, где строение общества позволяет индивиду действовать под влиянием мимолетных импульсов, не возникает и вопроса о сознании другого человека: там нет нужды учитывать его аффекты, отыскивать скрытые мотивы его поведения. Аффект прямо следует за аффектом, тогда как при дворе одно «вычисление» следует за другим. Непосредственное проявление аффектов дает индивиду ограниченный набор возможных типов поведения: кто-то является другом или врагом, он добр или зол. Если человек видит других только в белом или черном цвете, то он и ведет себя соответствующим образом. Все вообще видится в свете человеческих чувств. То, что солнце сияет, то, что другой смеется или крутит головой, — все это прямо вызывает к чувствам; если нечто выглядит дружественным или враждебным, то таковым оно и является. Такому индивиду не приходит в голову, что происходящее вокруг может его вовсе не касаться, что и сияние солнца, и неприятная мина другого человека могут объясняться причинами, далекими от того, что он воспринимает непосредственно. Подобную дистанцию по отношению к природе и к людям индивид обретает только вместе с ростом функциональной дифференциации и опытом повседневной вовлеченности

длинные цепочки людей и их действий, что требует от него сдерживания аффектов. Тогда с его глаз постепенно спадает пелена страстей и взору открывается новый мир, который может быть дружественным или враждебным, но уже независимо от того, каким он кажется. Этот мир состоит из цепей событий, требующих бесстрастного наблюдения и прослеживания долгих рядов взаимосвязей.

Как и поведение в целом, наблюдение за вещами и людьми становится в ходе процесса цивилизации более нейтральным, менее аффективно окрашенным. В результате «картина мира» в меньшей мере определяется человеческими желаниями и страхами, она становится больше ориентирована на то, что мы называем «опытом» или «эмпирией», т.е. на ряды взаимосвязей, обладающие собственными закономерностями. Подобно тому как сегодня, вместе со следующим шагом цивилизации, исторические и социальные процессы постепенно вычлняются из тумана личных аффектов и групповых чаяний и предстают в виде автономных взаимосвязей, так в то время природа — пусть в довольно ограниченной степени — стала восприниматься как независимая от человека. В придворных кругах особое развитие получило то, что мы называем сегодня «психологическим» подходом к человеку, — точное наблюдение за другими и за самим собой, выявление длинных рядов мотивов и цепочек взаимосвязей. Это обуславливалось тем, что непрестанный самоконтроль и тщательное наблюдение за другими сделали здесь элементарной предпосылкой сохранения своего общественного положения. Но это лишь частный пример того, что мы называем «ориентацией на опыт», — пример начавшегося в то время развития наблюдения за длинными цепочками взаимосвязей. Само строение общества принуждало индивида сильнее сдерживать непосредственные аффекты, в большей мере преобразовывать энергию своих влечений.

Сен-Симон однажды наблюдал за человеком, не зная точно, как тот к нему относится. Он так описывает собственные действия: «Je m'aperçus bientôt, qu'il se refroidissait; je suivis de l'oeil sa conduite à mon égard, pour ne pas me méprendre entre ce qui pouvait être accidentel dans un homme chargé d'affaires épineuses et ce que j'en soupçonnais. Mes soupçons devinrent une évidence, qui me firent retirer de lui tout à fait sans toutefois faire semblant de rien»⁶⁾¹⁶.

Придворное искусство наблюдения за людьми — в отличие от того, что мы обычно называем «психологией», — никогда не сводится к наблюдению за изолированным человеком, как если бы главные черты его поведения можно было понять вне зависимости от его отношений с другими людьми, и сначала мы могли бы рассмотреть эти черты, а уж затем перейти к анализу отношений. Подход был куда более реалистичным именно потому, что индивид всегда рассматривался в социальном сплетении свя-

277

зей, как *человек в его отношениях с другими людьми, как индивид в социальной ситуации.*

Выше¹⁷ мы указывали на то, что требуемые нормы поведения в XVI в. не так уж сильно отличались от предписаний предшествующих столетий, — во всяком случае, отличались не столько по содержанию, сколько по тону, по изменившейся аффективной атмосфере. В этих предписаниях большую роль начинают играть психологические мотивы, личные наблюдения. Это было видно по сравнению трудов Эразма и Делла Каза с соответствующими средневековыми книгами о хороших манерах. Объяснение этого факта нам дают изменения в строении общества того времени, в сети человеческих отношений. Подобная «психологизация» предписаний, — точнее, насыщение их ссылками на наблюдения, на опыт — представляет собой выражение быстрого превращения представителей высшего слоя в придворных и установления более тесных связей между различными социальными группами. Следы такой трансформации мы находим, конечно, не только в сочинениях, укреплявших стандарт «хорошего поведения» того времени; мы находим их и в произведениях, служивших развлечению людей этого слоя. Наблюдение за людьми, которого требовала жизнь придворных кругов, нашло свое литературное выражение в искусном изображении человека.

Растущий спрос на книги в обществе сам по себе является верным признаком значительного продвижения вперед процесса цивилизации: регулирование влечений нужно как для того, чтобы писать книги, так и для того, чтобы их читать. Однако книга в придворном обществе играла не такую роль, как в буржуазном. Средоточием жизни каждого индивида было общение с другими людьми на «ярмарке престижа»; книги предназначались не столько для изучения их в кабинете или чтения в свободные от работы часы, сколько для зачитывания вслух в обществе. Они были как бы частью разговора, продолжением социальной игры, либо, если взять большинство мемуаров того времени, разговором в скрытой форме, когда по тем или иным причинам отсутствует собеседник. Высокое искусство изображения людей в придворных мемуарах, письмах, афоризмах свидетельствует о том дифференцированном наблюдении за людьми, что воспитывалось самой жизнью при дворе. Как и во многих других аспектах, в этом отношении буржуазное общество во Франции было прямым наследником придворного — парижское «хорошее общество» после революции пользовалось инструментами поддержания престижа, выработанными придворными кругами, можно сказать даже, что эти инструменты до сих пор не вышли из употребления. Искусство изображения людей, возникшее при дворе и обнаруживаемое нами у Сен-Симона и его современников, переходит — через Бальзака, Флобера, Мопассана — в литературу XIX в., которая в лице Пруста приступает к изображе-

278

нию «хорошего общества». Затем это искусство дает о себе знать и в картине жизни более широких слоев, представленной в творчестве таких писателей, как Жюль Ромен или Андре Мальро. Оно заметно и во французских фильмах, продолжающих традицию, к характерным чертам которой можно отнести наблюдательность, способность увидеть человека в совокупности его социальных связей и понять его

исходя из многосторонней включенности его во взаимоотношения с другими людьми. Индивидуальный портрет никогда не вырывается здесь искусственным образом из сети социального существования со всеми присущими ей зависимостями. Индивид не обособляется от других людей, а потому его изображение передает атмосферу и пластичность действительно пережитого.

Сказанное о «психологизации» можно применить и к «рационализации», которая начиная с XVI в. становится все более ощутимой в разнообразных социальных явлениях. «Рационализация» также не представляет собой некоего «факта в себе и для себя», будучи лишь *одним* из выражений изменения *целостной* психической структуры. Все большее число социальных функций в это время начинает требовать от индивида способности к предвидению и расчету.

Как и во многих других случаях, для понимания социально-исторического становления нам нужно расстаться с некоторыми привычными мыслительными штампами. Исторически рационализация не могла одновременно появиться у множества не связанных друг с другом людей — как бы в силу некоей предустановленной гармонии — в виде некоего нового органа, новой субстанции, «разума» или «ratio», каковые ранее отсутствовали. Произошло следующее. Изменился способ сосуществования людей, а тем самым и их поведение, их сознание и структура влечений в целом. Изменившиеся «обстоятельства» не есть нечто привнесенное «извне», поскольку эти «обстоятельства» есть не что иное, как сами отношения между людьми.

Человек представляет собой чрезвычайно изменчивое существо, и при этом существо моделируемое: изменения, о которых шла речь, являются примерами такой моделируемости. Последняя относится не только к тому, что мы обычно называем «психологическим», отличая его от «физиологического». В ходе истории, в соответствии с сетью пронизывающих человеческую жизнь зависимостей, по-разному моделируется как «фюсис» индивида, так и его «психе» — они находятся в неразрывной связи друг с другом. Можно вспомнить хотя бы о моделировании лицевой мускулатуры, а тем самым и выражения человеческого лица на протяжении его жизни; в качестве примера можно привести и то, как образуются центры чтения и письма в мозгу индивида. То же самое можно сказать о том, что приобретает у нас облик некой субстанции, получившей название «ratio», «рассу-

279

док» или «разум». Она не существует в той же мере независимо от социально-исторических изменений, как сердце или желудок, но представляет собой выражение определенного рода моделирования всей душевной структуры. Она выступает как частный аспект постепенно развивающегося моделирования, которое заявляет о себе тем сильнее, чем более принудительным и тотальным является контроль над влечениями, чем сильнее спонтанные аффекты связываются с чувствами неудовольствия, поскольку они угрожают падением в глазах других и даже могут привести к краху все социальное существование индивида. Мы имеем здесь дело с аспектами того моделирования, что ведет ко все более четкой дифференциации центров влечения и центра «Я» в психике, а в конечном счете и к образованию всеохватывающего, стабильного и в высшей степени дифференцированного аппарата самопринуждения. Не существует «ratio» как такового, существует в лучшем случае только «рационализация».

Привычный способ мышления побуждает нас к поискам «начала». Но мы нигде не найдем того «пункта» в человеческом развитии, где мы могли бы сказать: раньше «ratio» не было, а вот теперь оно «возникло»; ранее еще не существовало самопринуждения и «Сверх-Я», а в том или ином столетии они вдруг «появились». Во всех этих явлениях мы нигде не найдем нулевой точки отсчета. Но ничуть не лучше тот подход к фактам, для которого все одинаковым образом было, есть и будет. Аппарат самопринуждения, сознание и аффекты у «цивилизованного» человека и у так называемых «дикарей» *в целом* ясно и отчетливо различаются; но в обоих случаях мы имеем дело с ясным по своей структуре моделированием примерно тех же самых природных функций.

Привычный способ мышления всякий раз ставит нас перед статичными альтернативами, что соответствует модели, уходящей корнями в учение школы элеатов: мы видим или одни лишь отдельные точки и представляем себе изменения как скачки от одной точки к другой или вообще не видим изменений. В таком случае почти невозможно представить себе постепенные непрерывные изменения, проистекающие согласно определенному порядку и в соответствии с некой закономерностью, — изменения теряются в темноте, а движение предстает разве что как общая линия перемещения (траектория полета стрелы или течения реки), как вечное возвращение того же самого или как скачки от одной точки к другой. В потоке событий, называемом нами историей, изменяются именно многосторонние взаимоотношения между людьми и способ моделирования индивида; уловив эту фундаментальную историчность, мы постигаем и закономерность человеческого существования, которая одна только и остается неизменной. Любой феномен человеческой жизни понятен только в целостности такого непрерывного движения. Еди-

280

ничное нельзя вырвать из связей, образующих движение; последнее может казаться крайне медленным, как у многих первобытных народов, или быстрым, как в нашем обществе, но единичное всегда принадлежит к определенной ступени движения в целом. В любом человеческом обществе имеются регулирование аффектов, ограничения и некое предвидение своих действий, но (если привести хотя бы один пример) у простых скотоводов или представителей воинской касты они присутствуют в совсем иной форме, нежели у придворных, государственных служащих или офицеров механизированных подразделений. Они тем сильнее

и шире по охвату, чем больше функциональная дифференциация, а тем самым больше и число тех людей, чья судьба находится в зависимости от результатов действий каждого индивида. Ставший привычным для индивида способ «разумения» или «мышления» соответствует отношениям в том обществе, к которому он принадлежит; сходства и отличия зависят здесь от его положения в этой сети, равно как от положения в ней его родителей, осуществлявших моделирующие функции. Способность предвидения у печатника или слесаря отличается от подобной способности у бухгалтера или инженера, а у тех она отлична от способности менеджера, министра финансов, генерала, хотя все эти различные результаты моделирования функционально взаимозависимы и до какой-то степени уравнивают друг друга. Если взять не эти поверхностные, а более глубокие различия, то мы видим отличия в рациональности и в моделировании аффектов между людьми, выросшими в рабочей среде, и теми, кто рос в богатстве и достатке. Наконец, мы видим различия в рациональности и в структуре аффектов, в самосознании и строении влечений между англичанами и немцами, французами и итальянцами, представителями Запада в целом и людьми с Востока. Но все эти различия постижимы только потому, что в их основании лежит та же самая историческая закономерность человеческого существования. Индивидуальные различия *внутри* каждой такой группы — вроде различий в «интеллекте» — представляют собой лишь дифференциацию в рамках определенной исторической формы моделирования. В зависимости от строения той сети взаимосвязей, в которой живет человек, эти дифференциации дают ему большее или меньшее пространство возможностей. Вспомним, например, о феномене сильно индивидуализированной «творческой интеллигенции». Предпосылкой того смелого, не следующего авторитетам, самостоятельного мышления, которое считается определяющим для «творческой интеллигенции», является не только своеобразие индивидуальности. Такая смелость вообще возможна лишь при совершенно определенном строении аппарата власти — специфической предпосылкой творческой индивидуальности тут является *социальная структура*. Развитие самостоятельности индивида, его способность видеть

281

шире и глубже, зависит, далее, от воспитания, производного от данной структуры, и от не столь уж значительного числа социальных функций.

Именно в этом смысле мы можем говорить о различиях в способности к предвидению или к «мышлению» рыцаря и придворного. Приведенный Ранке случай хорошо показывает, что растущая монополизация орудий насилия вынесла смертный приговор специфически рыцарским привычкам и аффектам. Здесь мы видим и пример того, как изменения в строении общественных функций с принудительной силой приводят и к трансформации поведения в целом.

Ранке пишет о том, как герцог Монморанси, сын человека, во многом посодействовавшего победе Генриха IV, взбунтовался. Это был рыцарь княжеского рода, человек блестящий и щедрый, мужественный и величественный. Он был готов служить королю, но тот факт, что последнему, вернее даже, не ему, а Ришелье, принадлежат вся власть и право на господство, — этого он не понимал и не одобрял. Поэтому он вместе со своими сподвижниками начал борьбу с королем, подобно тому как ранее один рыцарь, один феодал, мог сразиться с другим. Дело дошло до битвы. Глава королевского войска, Шомбер, занял не слишком удобную для Монморанси позицию. Но это, как пишет Ранке, «относилось к тем выгодам, на которые Монморанси не обращал внимания; стоило ему увидеть войско врага, он предложил своим друзьям тут же на него напасть. Война для него была лихой рыцарской атакой. Опытный его сподвижник, граф Рие, пытался его остановить, чтобы сначала дать пару залпов, которые могли бы расстроить оборону врага. Но Монморанси уже был захвачен неистовой жадной боя. Он заявил, что не желает терять времени, и этой воле вождя рыцарского войска его советник не мог противостоять, хотя и предчувствовал несчастье. "Сударь, — воскликнул Рие, — я готов умереть у Ваших ног".

Монморанси было легко узнать по шлему, богато украшенному перьями красного, синего и желтого цвета; за ним устремилось небольшое число рыцарей, которые перемахнули через рвы и двинулись вперед, сметая все на своем пути; они прорывались все дальше, пока не оказались перед лицом главного укрепления врага. Но тут их встретил залп мушкетов с близкого расстояния; люди и лошади падали ранеными и убитыми; пал граф Рие и большинство других сподвижников; герцог Монморанси был ранен, свалился на землю с также задетого пулями коня и был пленен»¹⁸.

Ришелье отдал его под суд, в решении которого не сомневался, и вскоре последний Монморанси был обезглавлен во дворе тулузской ратуши.

На предшествующей фазе, когда рыцари еще могли свободно конкурировать друг с другом, такое непосредственное следо-

282

вание своим импульсам и отсутствие расчета относились к формам поведения, адекватным строению общества и тем самым «реалистичным», даже если вели к гибели индивида. Ярость в бою была здесь необходимой предпосылкой успеха, ею определялся престиж принадлежащего к дворянскому сословию мужа. Все это меняется вместе с прогрессирующими монополизацией и централизацией.

Вместе с изменившимся строением общества прямая разрядка аффектов и нерасчетливые действия обрекают человека на неизбежный крах. Тот, кто не согласен с существующим порядком, со всевластием короля, должен действовать иначе. Послушаем, что говорит Сен-Симон. От Монморанси его отделяет всего лишь одно поколение, как и тот, он тоже был герцогом и всю свою жизнь находился в оппозиции к королю.

Но все, что он мог сделать, сводилось к придворной интриге; если он на что-то решался, то это приобретало форму попытки завоевать доверие и внушить свои идеи наследнику престола, дофину. При дворе Людовика XIV это было опасной игрой, требовавшей значительной предосторожности. Следовало хорошенько изучить принца, а затем постепенно склонить его к нужному направлению мыслей.

Вот как Сен-Симон рассказывает о своих беседах с дофином: «Je m'étais principalement proposé de le sonder sur tout ce qui intéresse notre dignité; je m'appliquai donc à rompre doucement tous les propos qui s'écartaient de ce but, à y ramener la conversation et la promener sur tous les différents chapitres... Le Dauphin, activement attentif, goûtait toutes mes raisons... prit feu... et gémit de l'ignorance et du peu de réflexion du Roi. De toutes ces diverses matières, je ne faisais presque que les entamer en les présentant successivement au Dauphin, et le suivre après, pour lui laisser le plaisir de parler, de me laisser voir qu'il était instruit, lui donner lieu à se persuader par lui-même, à s'échauffer, à se piquer et à moi de voir ses sentiments, sa manière de concevoir et de prendre des impressions pour profiter de cette connaissance... Je cherchais moins à pousser les raisonnements et les parenthèses que... de l'imprégner doucement et solidement de mes sentiments et de mes vues sur chacune de ces matières...⁷⁾»¹⁹⁾.

Если бросить взгляд на поведение двух этих аристократов — герцога Монморанси и герцога Сен-Симона, — то в способе их противостояния всемогуществу короля мы находим подтверждение вышесказанному. Первый, будучи одним из последних рыцарей, пытается достичь своей цели при помощи физической силы, второй в качестве средства избирает беседу; Монморанси действует, повинуясь первому импульсу, не слишком думая о других людях; Сен-Симон непрерывно контролирует свое поведение с учетом возможных действий других лиц. Оба они — не только Монморанси, но и Сен-Симон — находятся в крайне опасной ситуации. Дофин может в любой момент прервать раз-

283

говор по правилам придворной учтивости; если он пожелает, беседа может закончиться по любой причине — он от этого ничего не теряет; если Сен-Симон утратит осторожность и покажет свою оппозиционность, дофин может доложить о его настроениях королю. Монморанси не думает об опасности, он поступает так, как подсказывает ему чувство, он пытается преодолевать опасность именно посредством ярости, в кипении страстей. Сен-Симон хорошо видит опасность и отдает себе отчет в ее размерах; поэтому он принимается за дело, предельно контролируя свои действия, следя за каждым своим шагом. Силой он ничего не добьется, а потому он действует с долгим расчетом. Он таит свои мысли, чтобы незаметно, но настойчиво «внушать» их другому лицу.

В мемуарах Сен-Симона мы находим прекрасный образец *придворной рациональности*, которая — по большей части незаметно для исследователей — для развития того, что мы называем «Просвещением», сыграла ничуть не меньшую (а то и большую) роль, чем рациональность городских купцов, чем та расчетливость, что была связана с сетью торговых операций. Конечно, обе формы расчета последствий, рационализации и психологизации — собственные придворному дворянству, с одной стороны, и верхушке буржуазии — с другой, — при всех различиях в своей схеме, возникали в тесном взаимодействии друг с другом. Обе формы указывают на стоящую за ними связь между дворянством и буржуазией, обе восходят к трансформации межчеловеческих отношений, захватившей все общество, — к той трансформации, в ходе которой из сравнительно слабо связанных сословных групп средневекового общества постепенно возникло общество с сильной централизацией, а также абсолютистское государство.

Исторический процесс рационализации является образцом тех процессов, что до сих пор ускользали от научного мышления или улавливались им лишь в самой расплывчатой форме. Если держаться привычной классификации наук, этот процесс относится к области науки, которая пока что не существует, — он должен находиться в ведении исторической психологии. Нынешняя форма научного исследования предполагает проведение четкой разграничительной линии между работой историка и психолога. Сегодня доступными для психологического исследования оказываются только ныне живущие представители западного мира, в крайнем случае, еще и так называемые «дикари». Сам же путь, каким в западной истории шло движение от примитивного строения психики к более дифференцированным структурам, свойственным для наших дней, остается неясным. Результаты психологического исследования столь мало дают историку именно потому, что психология мыслит не исторически, что она подходит к психическим структурам современного чело-

284

века так, словно имеет дело с чем-то не знавшим развития и даже неизменным. Но и сам историк, по возможности избегающий психологических проблем при обработке того, что он называет «фактами», мало что может сказать психологу.

Не многим лучше ситуация в социологии. Если она вообще имеет дело с историческими проблемами, то охотно держится разграничительной линии, проводимой историками между психической деятельностью людей и различными формами проявления этой деятельности — произведениями искусства, идеями и т.п. Остается неосознанным тот факт, что для объединения всех этих проявлений в едином социальном существовании требуется особая наука — историческая социальная психология, занятая психогенетическими и социогенетическими исследованиями одновременно. Исследователь, изучающий историю общества, равно как и тот, что пытается постичь историю духа, ставит по одну сторону «общество», а по другую — мир человеческих мыслей, «идей», словно речь идет о каких-то совершенно различных образованиях, которые хоть в каком-то смысле можно обособить друг от друга. И тот и другой как бы полагают, что есть общество помимо идей или идеи помимо общества. Они спорят только о том, что

из двух феноменов «важнее»: для одних это асоциальные идеи, каким-то образом приводящие общество в движение, для других — лишенное мысли общество, приводящее в движение «идеи».

В подобную схему не вмещаются ни сам процесс цивилизации, ни такие присущие ему явления, как, скажем, постепенный процесс психологизации и рационализации. Даже мысленно нам не отделить их от исторической трансформации структур межчеловеческих отношений. Нет никакого смысла в вопросе о том, изменял ли общество постепенный переход от менее рационального способа мышления и поведения к более рациональному, — сам этот процесс рационализации, входящий в общий процесс цивилизации, является одновременно психическим и социальным феноменом. Но столь же бессмысленно объяснять процесс цивилизации некой «надстройкой» или «идеологией» и видеть в нем исключительно функцию орудия, используемого в борьбе между отдельными социальными группами и интересами.

Разумеется, процесс цивилизации и вся цивилизационная трансформация были связаны со столкновениями различных слоев и объединений. Вся присущая западному миру сеть отношений, составляющая субстрат последнего и сильнейшего продвижения вперед процесса цивилизации, представляет собой не какое-то мирное единство — таковым оно кажется только создателям гармоничных идейных построений. Мы имеем дело не с гармоничным целым, которое лишь по случаю (либо в силу злой воли и непонятливости отдельных людей) разрывается конфликтами. Как и во всех прочих системах отношений, интегральным

285

элементом этой структуры являются напряженность и борьба, играющие огромную роль в определении того, в каком направлении пойдут изменения. Продвижение цивилизации может служить оружием в такой борьбе, причем немаловажным. Если вспомнить уже о таких сторонах этого процесса, как привычка к просчету последствий и сдерживание мимолетных аффектов, становится понятным, что они могут в иных обстоятельствах дать значительное превосходство представителям какой-то группы над прочими. Но в других ситуациях высокая степень рациональности и подавления аффектов *могут* привести к ослаблению позиций и тем самым действовать в ущерб их носителям. Цивилизованность в иных обстоятельствах оказывается обоюдоострым оружием. Но если опустить частности, в целом такие цивилизационные движения происходят в огромной мере независимо от того, нравятся ли они тем или иным группам и союзам, используют они их или нет в своей борьбе. Они осуществляются в силу мощного механизма сплетения общественных связей, общее направление работы которого не направляется рукой какой бы то ни было группы. В сравнении с мыслями, они гораздо меньше подлежат сознательному или бессознательному манипулированию, расчетливому превращению в оружие социальной борьбы. Подобно определяющему весь *habitus* психологическому гешталту, специфические цивилизационные структуры выступают одновременно и как продукт общего социального процесса, и как один из винтиков его механизма, образующего и преобразующего отдельные слои с их интересами. Цивилизационная трансформация, а вместе с нею и рационализация, не являются сдвигами в обособленной сфере «идей» или «мыслей». Здесь мы имеем дело не только с трансформацией «знаний» или «идеологий», короче говоря, с изменениями *содержания* мышления, но и с изменением целостного человеческого *habitus'a*, в рамках которого содержание сознания и привычки мышления составляют лишь малую часть, один сектор наряду с другими. В данном случае речь идет об изменениях в форе всего строя души, затрагивающих все зоны — от сознательного управления собственным «Я» до ставшего полностью бессознательным управления влечениями. Для постижения такого рода преобразований уже не достаточно той привычной схемы мышления, для которой все сводится к «надстройке» или «идеологии».

В сознании людей с давних пор прочно укрепилось представление, будто «душа», или психический аппарат, человека состоит из независимых друг от друга зон с различными функциями, и эти зоны можно рассматривать по отдельности. Какой-то из функциональных слоев дифференцированного аппарата берется в качестве «сущности» и мысленно обособляется от прочих. Так, в работах по истории духа и по социологии знания внимание обращается в первую очередь на знание и мышление. Идеи и

286

мысли в свете таких изысканий выглядят как нечто наиважнейшее для психической саморегуляции. Бессознательные мотивы, все поле влечений и аффектов остаются более или менее в тени.

Подобные исследования, имеющие дело исключительно с сознанием людей, с их «*ratio*» или «идеями», игнорирующие структуру влечений, человеческие аффекты и страсти, с самого начала обречены на весьма ограниченную плодотворность. Для них остается недоступным многое из того, что необходимо для подлинного понимания человека. Как мы показали выше, сама рационализация и все прочие структурные трансформации функций «Я» и «Сверх-Я» лишь в малой степени доступны для изучения, пока исследование ограничивается содержанием сознания, структурами «Я» и «Сверх-Я» и не обращается к соответствующим трансформациям на уровне структур влечений и аффектов. История идей и форм мышления становится понятной лишь в том случае, если мы увязываем ее с трансформацией межчеловеческих отношений, с изменениями в структуре поведения, с изменениями душевного аппарата *в целом*.

Поле наблюдения сходным образом (пусть с противоположным знаком) ограничивается и в современных психоаналитических исследованиях. В них при рассмотрении человека из целостности психики часто вырывается «бессознательное», некое лишенное истории «Оно», которое и считается наиважнейшим компонентом. Внесенные в последнее время поправки затронули, быть может, практику терапии, но никак не теоретическую обработку полученного в этой практике эмпирического материала, а потому они ни в коей

мере не способствовали дальнейшему развитию понятийного инструментария, ради чего они, собственно говоря, и вносились. На уровне теоретической обработки все выглядит по-прежнему, словно в психическом аппарате человека импульсам влечений присуща особая структура, независимая ни от взаимоотношений человека с другими людьми, ни от прочих психических структур и функций. Влечения по-прежнему считаются более значимыми для человеческого существования, чем все прочие компоненты психики. Здесь не проводится различия между исходным материалом природных влечений, действительно не очень заметно меняющимся по ходу всей истории человеческого рода, и теми все более упрочивающимися структурами и путями, по которым с первого дня направляется психическая энергия в результате взаимодействия с другими людьми. Но в случае каждого реально живущего человека мы имеем дело с уже переработанной энергией влечений и никогда (за исключением некоторых психотиков) не встречаемся с человеком, чьи психические функции не прошли бы никакой разработки. Социогенные структуры и каналы влечений никоим образом не обособляются от соответствующих структур «Я» и «Сверх-Я». Первые столь же важны для поведения человека, как

287

и вторые. В отличие от нередко отстаиваемого в психоаналитической литературе тезиса, можно сказать, что влечения не в меньшей степени определяются обществом и не в меньшей мере изменяются по ходу истории, чем структуры «Я» и функции «Сверх-Я».

Для непосредственно наблюдаемого человека характерно не наличие у него «Оно», «Я» или «Сверх-Я» самих по себе, но взаимосвязь этих отчасти борющихся, отчасти сотрудничающих друг с другом функций психического аппарата. Но эти связи у *отдельного человека*, равно как и облик его влечений, функций «Я» и «Сверх-Я», меняются как единое целое по ходу процесса цивилизации в полном соответствии со специфической трансформацией *отношений между людьми*, с изменением общественных отношений. В самом общем виде эти изменения можно охарактеризовать так: в ходе процесса цивилизации *сознание становится все менее проницаемо для влечений, а сами влечения — все менее проницаемы для сознания*.

Мы и сегодня можем наблюдать у каждого ребенка подобные процессы, соответствующие общему социогенетическому закону. Только вместе с растущей дифференциацией (в ходе как человеческой истории, так и индивидуального процесса цивилизации) между «Я» и «Сверх-Я», с одной стороны, и влечениями, с другой стороны, только вместе с выработкой функций сознания, в меньшей мере зависимых от влечений, сами автоматические влечения все более обретают черты лишенных истории, чисто «природных» явлений, т.е. черты «бессознательного». Та же трансформация ведет сознание к растущей «рациональности»: только в ходе сильной и стабильной дифференциации психики направленные вовне психические функции обретают характер относительно свободных от влечений и аффектов функций рационального действующего сознания.

Гештальт и структура сознательных и бессознательных компонентов психики остаются непонятными и вообще недоступными для наблюдения, пока мы пытаемся представить их как некие самостоятельно существующие и функционирующие сущности. Они равно важны для человеческого существования; вместе они образуют единое функциональное целое. Ни структура этого целого, ни его изменения не проясняются, пока мы ограничиваемся наблюдением отдельных людей. Они постижимы только при выявлении структуры отношений *между* людьми, порядка того сплетения их связей, в котором происходит изменение этих социальных структур.

Поэтому процесс цивилизации представляет собой исследование одновременной трансформации психического в целом и социального в целом — именно этот путь был предложен в нашей работе. В менее широкой сфере *психогенетического* исследования оказывается все поле борьбы и кооперации индивиду-

288

альных психических энергий, где структура влечений не менее важна, чем сознание. В более широкой сфере *социогенетического* исследования рассматривается целостная структура определенного социального поля, а также исторический порядок ее изменения.

Однако для адекватного исследования подобных социальных процессов нам требуется корректировка привычных способов мышления — аналогичная той, что необходима для адекватной психогенетической постановки вопроса. Для понимания социальных структур и процессов столь же неплодотворным является рассмотрение какого-то отдельного функционального слоя в рамках социального поля. Для действительного понимания этих структур и процессов требуется исследование *отношений между различными функциональными слоями*, которые связаны друг с другом в социальном поле и всякий раз по-новому воспроизводятся вместе с медленными или быстрыми смещениями в балансе сил, определяемыми специфической структурой этого поля. Сказанное о психогенетическом исследовании — требование рассматривать не функциональные слои по отдельности, как «бессознательное» или «сознание» сами по себе, но работу психики в целом — целиком относится и к социогенетическому исследованию, где первенство также имеет единое социальное поле с большей или меньшей дифференциацией, с характерными для него точками напряженности. Это возможно только потому, что социальная сеть в своем историческом изменении не представляет собой хаоса, но обладает четкими порядком и структурой даже на тех фазах, для которых характерны серьезные социальные волнения и беспорядки. Исследование социального поля в целом не означает исследования всех содержащихся в нем единичных процессов по отдельности. Речь идет в первую очередь об открытии основных структур, задающих всем единичным процессам направление и формирующих их специфический облик в рамках этого поля. Скажем, вопрос

может ставиться об осях противоречий, о рядах функций и об институтах общества XV в. в их отличии от XVI или XVII вв., о направлении изменений и об их причине. Конечно, для этого требуется основательное знание отдельных фактов. Но начиная с определенного уровня знания фактического материала историческое исследование вступает в фазу, когда уже нельзя удовлетвориться дальнейшим сбором и описанием фактов, но нужно включать эти факты в сеть закономерностей, ведущих к тому, что люди некоего общества всякий раз увязываются друг с другом специфическими отношениями, входят в функциональные ряды — в качестве рыцарей и крепостных крестьян, королей и государевых людей, буржуа и дворян. Эти закономерности определяют и то, что эти формы отношений и институты меняются в каком-то особом направлении. Одним словом, начиная с известного уров-

289

ня овладения фактическим материалом, речь идет уже об объединении бесчисленных единичных исторических фактов в рамках прочного структурного образования. Все последующие факты, конечно, способствуют обогащению исторической панорамы, но они служат прежде всего либо для пересмотра уже полученной структуры, либо для ее расширения и углубления. Выше мы говорили о том, что социогенетическое исследование должно быть направлено на познание не единичных функциональных слоев, но социального поля в целом. Это целое нужно понимать не как сумму всех единичных феноменов, но именно как целостную структуру.

В этом смысле следует понимать то, что ранее было сказано о рационализации. Постепенный переход к «более рациональному» поведению и мышлению, к усилившемуся самоконтролю сегодня чаще всего увязывается с буржуазией и ее функциями. Зачастую мы сталкиваемся с мнением, будто буржуа был «основоположником» или «изобретателем» рационального мышления. По контрасту с такого рода мнениями мы показали процесс рационализации, шедший в лагере дворянства. Из этого не следует вывод, будто «основоположником» сдвига к рациональности была придворная аристократия. Таковым нельзя признать ни придворную аристократию, ни буржуа с их мануфактурами, ни какой-либо еще особый социальный слой — у сдвига к рациональности не было «основоположников». Одно и то же изменение социальных структур в целом, в ходе которого образовались группы буржуа и придворных, само в каком-то смысле выступает как рационализация. Рациональнее делаются не только отдельные творения людей, вроде систем мышления, изложенных в книгах. Рационализируется прежде всего способ поведения определенных групп людей. «Рационализация» есть не что иное, как выражение того направления, в котором меняются определенные социальные формации в этот период, — достаточно вспомнить о превращении рыцарей в придворных. Подобные трансформации не располагают неким «первоисточком» в том или ином социальном слое, но рождаются из напряженности в отношениях между различными функциональными группами, между конкурирующими в одном социальном поле людьми. Под давлением такой напряженности, пронизывающей всю социальную ткань, меняется вся ее структура в целом. На определенной фазе движение этого социального поля направлено к централизации, концентрации вокруг отдельных уделов, к растущей специализации, к более тесной интеграции отдельных людей в рамках данной структуры. Вместе с подобной трансформацией меняется — сначала в ограниченных, а затем во все более широких секторах — и порядок осуществления социальных и психических функций, развитие которого также движется по направлению к рационализации.

290

Постепенное устранение от власти первого сословия, замирение второго сословия и продвижение вверх третьего нужно рассматривать не по отдельности, а во взаимосвязи этих процессов, так же как развитие торговли нельзя рассматривать независимо от образования могущественных дворов и монополии на насилие. Все они выступают как элементы общего процесса дифференциации и удлинения цепочек действий, каковые до сих пор играли решающую роль для всего хода западной истории. Именно в рамках этого процесса, как это было показано выше, происходило образование функций дворянства, возникавших в непрерывной взаимосвязи с функциями буржуа и центральных органов власти. Наряду с этим преобразованием всех социальных функций и институтов шло изменение психического аппарата в сторону роста способности предвидения и формирования более строгого регулирования сиюминутных импульсов влечений — сначала в высших группах дворянства, затем у буржуазии.

Если полистать книги о духовном развитии Запада, то возникает впечатление, что их авторы в какой-то туманной форме придерживаются мнения, будто рационализация сознания, переход от традиционного магического мышления к рациональным его формам, в истории Запада происходил под влиянием ряда гениальных или особо разумных индивидов. В такого рода книгах оказывается, что именно «просветленные» индивиды благодаря своему незаурядному интеллекту даровали людям Запада способность правильно пользоваться природным им разумом.

Нам это видится иначе. Конечно, великие западные мыслители сумели сделать много; они смогли в общей картине выразить то, что испытывали в повседневной деятельности, — не слишком задумываясь об этом опыте и не находя для него ясных понятий, — их современники. Эти мыслители пытались представить в чистом виде возникшие в силу структурных трансформаций социальной сети формы мышления, они старались сделать их фундаментом человеческого существования. Им удалось передать другим людям более ясную картину мира и человека. Тем самым они содействовали общему ходу движения, выступая в качестве одного из элементов мощного социального механизма. В зависимости от масштабов их гения или личных

позиций они в большей или меньше мере выступали как толкователи и глашатаи социального хора. Но они на в коей мере не были «основоположниками» того типа мышления, который доминировал в обществе их времени. Они не были творцами того, что мы называем «рациональным мышлением».

Само это выражение, как мы видим, является слишком статичным и слабо дифференцированным, чтобы быть адекватным для того, что оно должно выражать. Оно слишком статично, поскольку структура психики меняется столь же медленно (или столь же быстро), сколь структура социальных функций. Оно

291

слабо дифференцировано, поскольку схема рационализации, строения рациональных привычек мышления у различных слоев (скажем, у придворной аристократии или у верхушки буржуазии) была и остается зависимой от различий в их исторически заданном социальном положении. Наконец, к рационализации относится и сказанное выше об изменениях сознания вообще: мы имеем дело лишь с *одним аспектом* общей трансформации психики. Рационализация идет рука об руку с соответствующим изменением структуры влечений. Короче говоря, она представляет собой *одно* из проявлений цивилизации, имеющееся в наличии наряду со многими другими.

VI. Стыд и чувство неприятного

Для процесса цивилизации своеобразное моделирование влечений, называемое нами «стыдом» и «чувством неприятного», не менее характерно, чем рационализация поведения. Значительный сдвиг к рационализации и не менее существенное смещение порога стыда и чувствительности, которые с XVI в. все острее присутствуют в *habitus'e* западного человека, представляют собой две стороны одной и той же психической трансформации.

Чувство стыда есть специфическое возбуждение, род страха, в определенных обстоятельствах воспроизводимый у индивида автоматически и привычно. Внешне он предстает как страх перед социальной деградацией или, в общем виде, как страх перед демонстрацией другим человеком своего превосходства. Однако эта форма неудовольствия у человека, опасаящегося превосходства других людей, имеет ту особенность, что в данной ситуации физическое действие, направленное на другого, не может защитить от страха — от него не способно предохранить никакое действие вообще. Эта незащитность перед другим, превосходящим меня, ощущение пребывания в его власти проистекают не из угрозы физического доминирования Другого человека, присутствующего здесь и сейчас, хотя незащитность эта явно восходит к физическому принуждению в детстве, когда ребенок уступает силе лиц, моделирующих его личность. У взрослого такая незащитность связана с тем, что люди, чье превосходство он опасается, соотносятся с его собственным «Сверх-Я», с его собственным аппаратом самопринуждения. Этот аппарат является результатом дрессировки индивида теми, от кого он был зависим и кто обладал известной властью над ним. Поэтому страх, именуемый нами «стыдом», скрыт от глаз других и в значительной мере подавлен; сколь бы сильным он ни был, он не находит прямого выражения в словах и жестах. Особую окраску чувство

292

стыда получает из-за противоречий, тревожащих индивида: противоречий между тем, что он задумал, и тем, что делает; между ним и другими людьми, с которыми он в той или иной форме связан; между «Я» и сектором сознания, отвечающим за самоконтроль. Конфликт, находящий выражение в чувстве стыда, представляет собой конфликт индивида не только с господствующим общественным мнением, но и с той частью его самости, что репрезентирует это общественное мнение. Мы имеем здесь дело с конфликтом в собственной душе человека — он сам признает себя низким. Он боится утраты любви или уважения тех, чью любовь и уважение он не хотел бы терять. Их установки стали его собственной установкой, и она автоматически начинает действовать против него самого. Именно тот автоматизм, с которым у индивида воспроизводится чувство превосходства над ним других людей, делает его столь незащитным.

Страх нарушения социальных запретов тем сильнее и откровеннее принимает характер стыда, чем в большей мере строение общества способствует превращению внешнего принуждения в самопринуждение, чем более широка и дифференцирована сфера самопринуждения, охватывающая поведение человека. Внутреннее напряжение, раздражение, вызываемое ощущением того, что эта сфера была в какой-то точке прорвана, может быть большим или меньшим в зависимости от характера социального запрета и самопринуждения. В повседневной жизни мы называем его «стыдом» только в известных случаях, при известной силе внутреннего напряжения. Но по своей структуре оно остается тем же самым при всех оттенках и уровнях силы проявления. Как и самопринуждение, стыд обнаруживается и на самых ранних ступенях общественного развития — пусть в не столь всесторонней и не столь стабильной форме. Как и самопринуждение, он усиливается вместе с каждым шагом, продвигающим цивилизацию вперед, проявляясь в виде растущего внутреннего напряжения и страха. Наконец, подобные страхи получают вид страха перед другими, страха перед физической угрозой или угрожающим превосходством другого человека. Они начинают играть ведущую роль там, где на больших пространствах произошло существенное достижение социального мира, где для формирования людей большее значение получило равномерно распределенное принуждение, где физическое насилие оттеснено на задний план и сохраняется в виде ночного сторожа. Иными словами, эти страхи играют тем большую роль, чем дальше шагнула цивилизация. Подобно тому как о «*ratio*» мы можем говорить только в связи с продвижением вперед рационализации, с выработкой

функций, требующих расчета и сдержанности, так и о чувстве стыда мы можем говорить только в связи с его социогенезом, со сдвигом порога стыдливости. Вместе с таким смещением порога стыдливости в определенном направлении меняет-

293

ся схема самопринуждения, и через какое-то время она начинает регулярно воспроизводиться в новой форме. И рационализация, и сдвиг порога стыдливости и чувства неприятного, представляют собой выражение уменьшения страха перед непосредственной угрозой со стороны других лиц и усиления автоматических внутренних страхов, того принуждения, что индивид налагает сам на себя. В обоих случаях равным образом заявляет о себе развитое предвидение, расчет, которые в силу растущей дифференциации общества становятся необходимыми для все более широких групп, желающих сохранять свое социальное существование. Не трудно заметить, что эти по видимости столь различные психические трансформации взаимосвязаны. И усиление чувства стыда, и растущая рационализация являются лишь различными аспектами усиливающегося раскола в психике индивида. Такой раскол происходит вместе с разделением функций, с дифференциацией функций влечений и функций контроля над влечениями, с обособлением функций «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Чем дальше продвинулась эта дифференциация, тем больше на долю сектора саморегуляции (в широком смысле слова — «Я», в более узком — «Сверх-Я») выпадает двойная функция. С одной стороны, этот сектор образует центр, задающий отношение человека к прочим вещам и лицам; с другой стороны, он образует центр, из которого человек — отчасти сознательно, отчасти автоматически и бессознательно — направляет и регулирует свой «внутренний мир», свои собственные влечения. Иными словами, все более обособляющийся от влечений в ходе изменения общества слой психических функций — функций «Я» и «Сверх-Я» — получает в рамках психики двойную задачу. Он ведет как бы *внутреннюю и внешнюю политику*, и шаги в этих двух направлениях далеко не всегда совпадают друг с другом, а иногда даже вступают в противоречия. Этим объясняется также то, что в один и тот же социально-исторический период, когда осязаемой становится рационализация, мы наблюдаем смещение порога чувствительности к неприятному и стыда. Этим можно объяснить и то, что — в соответствии с общим социогенетическим законом — наблюдается и сегодня в жизни любого ребенка: рационализация поведения есть выражения «внешней политики», тогда как сдвиг порога стыда выражает «внутреннюю политику» той же самой функции «Сверх-Я».

Отсюда можно вывести целый ряд следствий. Мы довольствуемся демонстрацией того, что усилившаяся дифференциация психики находит свое выражение в трансформации отдельных влечений. Нам следовало бы показать в первую очередь то, как эта дифференциация ведет к трансформации сексуальных импульсов и к развитию стыдливости в отношениях между мужчинами и женщинами²⁰. Пока что мы должны довольствоваться указанием на те общие линии связи, что ведут от описанных

294

выше социальных процессов к подобным смещениям порога стыда и чувствительности.

В новейшей истории Запада чувство стыда не одинаково встраивалось в человеческую психику. Достаточно привести один пример: подобное встраивание в рамках сословно-иерархического социального порядка во многом отличается от того, что мы находим в следующем за ним буржуазно-промышленном обществе. Приведенные выше примеры — прежде всего примеры различной степени стыдливости при обнажении²¹ — показывают такого рода изменения. В придворном обществе запрет на обнажение тела еще во многом имел сословные и иерархические границы, соответствовавшие общему строению этого общества. Обнажение вышестоящего в присутствии нижестоящего на социальной лестнице, скажем, короля перед его министрами, столь же мало подлежало суровым социальным запретам, как и обнажение мужчины перед занимавшей низкий социальный ранг женщиной в предшествующую эпоху. Это соответствовало незначительной функциональной зависимости от лиц низшего ранга, следствием чего было отсутствие стыдливости перед ними; как замечает делла Каза, такое обнажение могло быть даже знаком доброго к ним расположения. Напротив, обнажение человека перед вышестоящими (либо — перед равными ему по рангу) все более становилось признаком непочтительности и изгонялось из общения; оно осуждалось как проступок, а потому индивид должен был его опасаться. Только с падением стен сословного деления, с усилением функциональной взаимозависимости всех от всех, с выравниванием социального положения людей, только тогда обнажение в присутствии других постепенно становится проступком уже не в небольших анклавах общества, а в обществе в целом. С малых лет на подобное поведение индивида налагается запрет, связываемый с таким страхом, что из его сознания совершенно исчезает социальный характер этого запрета — стыд кажется ему требованием, идущим изнутри.

То же самое можно сказать о чувстве неприятного. Оно неотделимо от чувства стыда. Подобно тому как второе возникает в случае проступка, нарушения запретов, налагаемых своим «Я» и обществом, так и первое появляется, когда кто-то другой приближается к «опасной зоне». Чувство неприятного вызывают формы поведения, предметы, стремления, с ранних лет нагруженные страхом, — вплоть до того, что такой страх воспроизводится автоматически в сходных с запретами детских лет обстоятельствами, подчиняясь своего рода «условному рефлексу». Чувство неприятного представляет собой неудовольствие или страх, возникающие, когда другой отходит от представленной в «Сверх-Я» шкалы социальных запретов (или приближается к такому нарушению). Такие чувства будут тем многообразнее и обширнее по тематике, чем шире и дифференцированнее эта

«опасная зона», ответственная за регулирование и моделирование поведения индивида, причем в тем большей степени, чем далее продвинулась цивилизация в области поведения.

Выше мы привели ряд примеров, показывающих, как с XVI в. все быстрее стал смещаться порог стыда и чувствительности к неприятному. В это же время данное изменение становится предметом размышлений. Такой сдвиг совпадает по времени с ускоренным превращением высшего слоя общества в придворное дворянство. Цепочки зависимостей индивида в это время становятся все более плотными и длинными, люди все в большей мере оказываются связанными друг с другом, растет принудительная сила самоконтроля. Вместе с взаимозависимостью усиливается и наблюдение друг за другом; чувствительность, а тем самым и запреты, становятся все более дифференцированными, всеобъемлющими и многообразными. Иной способ сосуществования порождает иной набор представлений о том, что должно вызывать стыд и ощущаться как неприятное в поведении других.

Мы уже указывали, что вместе с ростом разделения функций и усилившейся интеграцией уменьшаются контрасты между различными слоями общества и странами, хотя при этом растет число оттенков в способах моделирования, в стилях жизни людей, затронутых процессом цивилизации. Этому соответствует развитие индивидуального поведения и чувствования. Чем больше сглаживаются контрасты индивидуального поведения, чем с большей силой самопринуждение сдерживает, вытесняет и трансформирует непосредственные прорывы удовольствия и неудовольствия, тем больше становится чувствительность к оттенкам и нюансам поведения, тем чувствительнее люди к внешне не важным жестам и формам поведения, тем более дифференцированно люди воспринимают и самих себя, и внешний мир в тех слоях, что ранее были скрыты покровом аффектов и не достигали сознания.

Возьмем, для примера, «дикарей», которые живут в сравнительно узком кругу жизненно важных для них событий природной и человеческой среды. Этот круг узок, поскольку цепочки зависимостей относительно коротки, хотя в каком-то отношении они ничуть не менее дифференцированы, чем и у цивилизованных людей. Дифференциация будет различной у селянина, охотника или скотовода. В любом случае мы можем сказать, что там, где речь идет о чем-то жизненно важном для социальной группы, способность «примитивного» человека различать происходящее в лесах и полях (одно дерево от прочих, шумы, запахи, движения) развита сильнее, чем у «цивилизованного». Но для «примитивных» людей само природное пространство еще в огромной мере представляет собой «зону опасности»: их переполняет чувство страха, уже неведомое цивилизованному человеку. От этого зависит определение того, что подлежит дифференци-

ации, а что нет. Переживание «природы», которое постепенно возникало в Средние века и ускоренно развивалось начиная с XVI в., характеризуется именно тем, что все большие пространства обитания становятся «замиренными»; вместе с тем леса, луга и горы перестают быть зоной первостепенной опасности, откуда в жизнь индивида в любой момент могут ворваться волнения и страхи. Вместе с плотной сетью дорог, вместе с исчезновением разбойников и хищных зверей, вместе с превращением лесов и полей (перестающих быть местом, где происходит игра необузданных страстей, местом дикой охоты на людей и зверей, дикого наслаждения и столь же дикого страха) в пространство мирной деятельности, моделируемое производством благ, торговлей и коммуникацией, «замиренная» природа иначе видится «замиренным» человеком. Подавление аффектов ведет к росту значения глаза как органа, служащего источником наслаждения. Природа становится предметом эстетического созерцания для людей — вернее, для горожан, уже не связанных с полями и лесами в своей повседневной жизни. Природа делается для них местом отдыха, а сами они становятся чувствительнее, видят ее более дифференцированно, чем те люди, для которых она была фоном для игры необузданных страстей и полем опасности. Теперь они наслаждаются цветами и линиями, им открывается то, что обычно называется красотой природы; их чувствам становятся доступны оттенки цвета и фигуры облаков, игра света на листьях деревьев.

В ходе достижения мирного существования меняется и чувствительность людей к поведению себе подобных. Пропорционально отступлению внешних страхов растут страхи внутренние, страхи, порождаемые одним сектором человеческой души в связи с отношением к другим секторам. Внутреннее напряжение ведет к тому, что люди начинают более дифференцированно воспринимать друг друга, чем раньше, когда в других они видели в первую очередь неизбежную опасность. То напряжение, которое ранее разряжалось в прямом поединке, теперь превращается во внутреннее напряжение и непрестанную борьбу индивида с самим собой. Общение с другими перестает быть прежней «зоной опасности», связанной с тем, что обед, танцы или радость от беседы в любой момент могли обернуться яростью, схваткой и смертью. Теперь общение связано с опасностью иного рода — опасностью того, что индивид не сумеет сдержаться, что он может задеть чувствительность других, преступить собственную границу стыда или порог чувства неприятного у других. Эта «зона опасности» находится в самой душе любого индивида. Именно поэтому люди делаются чувствительнее к тем нюансам, которые ранее едва входили в сознание. Подобно тому как природа стала гораздо большим, чем ранее, источником наслаждения для глаз, так и другие люди становятся источником наслаж-

дения или чувства неудовольствия от созерцания, раздражения, разных степеней чувства неприятного. Уменьшился непосредственный страх перед другим человеком, зато вырос внутренний страх, опосредованный наблюдением и «Сверх-Я».

Пока повседневным и свободным остается применение оружия — вспомним тот или другой из приводившихся примеров, — то, как один протягивает другому нож за столом, особого значения не имело. Когда употребление оружия все более ограничивается, когда внешнее принуждение и самопринуждение затрудняют всякие проявления гнева или физического насилия, люди становятся намного чувствительнее ко всему тому, что хотя бы напоминает о таком насилии. К «опасной зоне» приближает уже сам жест, напоминающий нападение, а потому неприятное чувство вызывает один вид того, как один человек передает нож, направляя его острие на другого²². Из узкого круга людей «хорошего» придворного общества, где чувствительность сделалась даже престижным средством отличия от прочих, а потому всемерно культивировалась, запрет передавать нож острием вперед затем распространяется вишь на все цивилизованное общество. При этом ассоциации с воинственностью сочетаются еще с целым рядом ассоциаций, проистекающих из влечений, нагруженных страхом.

Мы уже показывали, как постепенно ограничивалось употребление ножа, как это стало «опасной зоной», связанной с множеством мелких и крупных запретов. Трудно сказать, насколько отказ от физического насилия был для придворной аристократии внешним принуждением, а в какой степени он уже превратился в самопринуждение. При всех ограничениях дворяне продолжали пользоваться и столовым ножом, и шпагой. Охота и убийство зверей еще оставались дозволенным и даже повседневным развлечением господ, а разделка туши за столом еще относилась к тому зрелищу, которое не достигало порога чувствительности. Вместе с постепенным подъемом буржуазных слоев со свойственными им социальными функциями, с присущим им уровнем мирного сосуществования, с гораздо более совершенным превращением внешнего принуждения в самопринуждение разделка туш переносится «за кулисы» общественной жизни. Хотя в некоторых странах, прежде всего в Англии, ряд древних обычаев сохраняется или переходит в новые, все же опасные движения ножом оказываются под запретом повсюду. В этом отношении чувствительность продолжает расти.

Это лишь один пример той структурной трансформации психики, которую мы для краткости назвали «процессом цивилизации». В человеческом обществе мы нигде не найдем нулевого пункта страха перед внешними силами, равно как и нулевого пункта автоматически проявляющегося внутреннего страха. Они значат для людей не одно и то же, но в конечном счете они не-

298

разрывно друг с другом связаны. В ходе процесса цивилизации один не исчезает, другой не возникает: меняется пропорция, соотношение внешнего и внутреннего страха. Страх перед внешними силами не исчезает, но уменьшается; всегда имеющийся — латентный или явный — страх, проистекающий из напряжения между влечением и «Я», становится относительно более сильным, всесторонним, постоянным. Свидетельства смещения границы стыдливости и чувствительности, приводившиеся нами в первом томе настоящей работы, представляют собой простейшие и наиболее наглядные указания на общее направление и на структуру этой трансформации человеческой души. Ее можно рассматривать и со многих других сторон: аналогичную структуру мы видим, например, в переходе от средневекового католического «Сверх-Я» к «Сверх-Я» протестантскому. Здесь ничуть не менее заметно смещение к внутреннему страху. Нужно помнить только об одном: ныне, как и всегда, все формы внутреннего страха взрослых связаны со страхом детей перед другими лицами, со страхом перед внешними силами.

VII. Рост зависимости высшего слоя и давления на него снизу

Выше мы уже указывали, что на картинах, предназначенных для рыцарско-придворного высшего слоя позднего Средневековья²³ и изображающих людей из низших слоев и их нравы, мы не находим особой чувствительности. Более строгая селекция, соответствующая схеме чувствительности абсолютистско-придворного высшего слоя, допускает изображение только величественного, гармоничного, утонченного; все напоминающее о низших слоях, все вульгарное по возможности удаляется.

Защита от всего вульгарного, рост чувствительности ко всему, что принадлежит к неразвитым чувствам низших слоев, пронизывают все сферы общественного поведения придворной аристократии. Мы детально это показали на примере придворного моделирования речи²⁴. Как замечает придворная дама, нельзя сказать «un mien ami» или «le pauvre deffunct» — от этого «несет буржуа». Когда же молодой бюргер начинает защищаться и напоминает, что такие выражения употребляют и многие люди хорошего общества, то следует ответ: «Возможно, имеется изрядное число достойных людей, лишенных чувства деликатности, свойственного нашему языку. Такая "деликатность"... вверена малому числу лиц».

Сказано столь же категорично, сколь категоричными являются и сами требования этой чувствительности. Осуществляющие

299

подобную селекцию люди вовсе не ищут оснований (да они на эти поиски и не способны) того, почему в одних случаях словообразование приемлемо, а в других оно неприятно. Их чувствительность теснейшим образом связана со специфическим регулированием и существенным преобразованием влечений, к коим они

принуждены своим особым социальным положением. Уверенность, с которой они судят: «Это словосочетание удачно; это сочетание цветов дурно», присущий им вкус восходит не столько к сознательным размышлениям, сколько к бессознательно действующим формам психической регуляции. Мы ясно видим, что «деликатность», растущая чувствительность к произнесенным и написанным словам, к оттенкам и нюансам ритма, звука и значения, возникают сначала в небольшом кругу «хорошего», придворного общества. Для этого круга подобная чувствительность и «хороший вкус» связаны и с престижем: все, что задевает их чувствительность, «воняет буржуа», является социально неполноценным. И наоборот: все буржуазное задевает их чувствительность. Чувствительность обострена именно в силу того, что нужно отличать себя от всего, свойственного буржуа. Возможность такого отличия предоставляется своеобразным строением придворной жизни, где престиж и успех в конкуренции за благосклонность господина достигаются не с помощью профессиональных навыков или денег, но благодаря отшлифованности манер и умению вести себя в обществе.

В ходе данной работы мы приводили ряд примеров того, как приблизительно с XVI в. стандарт поведения в обществе начинает быстро меняться, аналогичное движение сохраняется в XVII и XVIII вв., но начиная с XVIII в. и на протяжении XIX в. этот стандарт неким образом трансформируется, распространяясь на все западное общество. Изменение предписаний и канализация влечений начинаются вместе с превращением рыцарства в придворную аристократию. Эти процессы теснейшим образом связаны с трансформацией связей высшего слоя, соединяющими его с другими функциональными группами, — об этом уже было сказано. Куртуазное общество рыцарей еще ни в коей мере не находилось под давлением буржуазных слоев, как придворная аристократия, оно не было так значительно взаимосвязано с этими слоями. Придворная верхушка представляет собой формацию, существующую в плотной сети взаимозависимостей. Она существует как бы в клещах между центральным правителем, от чьей благосклонности она зависит, с одной стороны, и экономически усилившейся верхушкой буржуазии, которая поднимается и вступает в борьбу за превосходство, с другой стороны. Противоречия с буржуазными кругами начинаются не в конце XVIII — начале XIX в.; давление поднимающихся буржуазных слоев с самого начала было угрозой социальному существованию аристократии. Превращение рыцарей в придворных вообще можно по-

300

нять лишь в связи с усилившимся давлением буржуазии. Конститутивными чертами придворно-аристократического характера, свойственного верхушке дворянства, были именно усилившаяся взаимозависимость между дворянскими и буржуазными слоями и рост напряженности в отношениях между ними.

Разумеется, для того, чтобы это перетягивание каната между дворянскими и буржуазными группами привело к решительному перевесу одной из них, потребовались долгие века. Конечно, зависимость высшего слоя, функциональная связь и латентные противоречия между различными слоями в сословном обществе при абсолютной монархии XVII—XVIII вв. были менее значительными, чем в обществах-нациях XIX—XX вв. Но в сравнении со свободным средневековым рыцарством функциональная зависимость придворной аристократии была весьма значительной. Социальная напряженность в целом и в особенности напряженность в отношениях между дворянством и буржуазией приобретают иной характер вместе с достижением обществом внутреннего мира.

Пока право на распоряжение орудиями физического насилия — оружием и войсками — еще не было в достаточной мере централизовано, социальная напряженность всякий раз регулярно приводила к военным действиям. Отдельные социальные группы — поселения ремесленников и феодалы, союзы городов и союзы рыцарей — противостояли друг другу так, как впоследствии это могли делать только государства; они находились в постоянной готовности отстаивать свои интересы с оружием в руках. При такой структуре социальных противоречий порождаемые данной структурой страхи легко вели к военным действиям, часто разряжались путем прямого применения физического насилия. Ситуация меняется вместе с постепенной стабилизацией монополии на насилие и с растущей функциональной взаимозависимостью дворянства и буржуазии. Напряженность становится постоянным, но только в отдельные кульминационные моменты дело доходит до прямого применения силы. Поэтому напряженность приобретает облик непрерывного давления, с которым должен был справляться каждый представитель дворянства, причем сам. Социальные страхи вместе с такой трансформацией социальных отношений постепенно утрачивают характер вспышек, столь же быстро воспламеняющихся, сколь и гаснущих; теперь они обретают черты безостановочно мерцающего пламени, по большей части сокрытого и редко прямо выходящего на поверхность.

С этой точки зрения, придворная аристократия также представляет собой иной тип высшего слоя, чем свободное рыцарство эпохи Средневековья. Она выступает как первый зависимый высший слой — в Новое время за ним последуют другие, еще более зависимые. В сравнении со свободными рыцарями, аристократия находится под большей угрозой утраты привилегий и

301

всего своего социального существования. Эта угроза исходит от буржуазии: уже в XVI—XVII вв., по крайней мере во Франции, отдельные высшие группы буржуазии выражают стремление занять место дворянства шпаги и самим выступить в качестве высшей общественной группы — это группы судей и государственных служащих. Политика этих групп буржуазии заключается в усилиях, направленных на увеличение собственных привилегий за счет старого дворянства. Амбивалентный характер данных

отношений определяется тем, что со старым дворянством у них социальные позиции отчасти совпадают, — есть ситуации, когда эти две силы выступают единым фронтом. Именно поэтому вызываемые таким непрерывным напряжением страхи у верхушки буржуазии по большей части выражаются в скрытой форме, как импульсы, контролируемые сильным «Сверх-Я». Теперь это относится и к старому дворянству, которое занимает оборону, переживая шок от поражений и утрат, последовавших в результате достижения внутреннего мира в обществе и своего превращения в придворных. Следы этого долгое время хорошо заметны. Придворные аристократы так же должны сдерживать себя в ситуации напряженности, порожденной постоянным «перетягиванием каната», противоборством с буржуазными группами. При такой структуре взаимозависимости социальная напряженность у чувствующих угрозу людей высшего слоя превращается в сильное *внутреннее* напряжение. Возникшие у них по этой причине страхи отчасти переходят в зону бессознательного и выступают только в превращенной форме, в специфических механизмах саморегуляции. Мы находим их, например, в особой чувствительности придворной аристократии ко всему, что хотя бы отдаленно напоминает о чем-либо, что несет угрозу ее наследственным привилегиям, составляющим основу ее существования. Заряженные аффектами защитные действия у придворных вызывает все то, что «пахнет буржуа». Именно поэтому придворная аристократия намного чувствительнее к различиям в манерах, чем средневековое рыцарство, — все «вульгарное» должно быть полностью удалено из ее окружения. В то же время непрерывный социальный страх выступает как сильнейший стимул для строгого контроля, распространяющегося на каждого представителя высшего придворного слоя, — контроля как над собой, так и над другими лицами своего круга. Этот страх выражается в неустанном наблюдении людей придворно-аристократического «society» за окружающими, в соблюдении и учете всего того, что отличает их от прочих людей, от нижестоящих представителей других сословий. Не только внешние знаки, свидетельствующие об их социальном статусе, но также язык, жесты, манеры, развлечения несут на себе печать этого отличия. Постоянное давление снизу и порождаемый им страх являются, одним словом, не единственным, но сильнейшим мотивом специфической «цивилизо-

302

ванной» утонченности, поднимающей людей этого слоя над прочими и, в конце концов, становящейся их второй природой.

Главная функция придворной аристократии — та функция, что задана могущественным центральным правителем, — заключается именно в поддержании отличия: аристократия должна сохраняться как особая формация, как социальный противовес буржуазии. У нее масса свободного времени для непрерывной выработки особого кодекса поведения, хороших манер, норм хорошего вкуса. Буржуазные слои напирают, они буквально «наступают на пятки». У буржуа нет времени для выработки такого кодекса или критериев вкуса, ведь у представителей этого слоя имеются профессиональные обязанности. Но идеалом буржуазии поначалу, как и для аристократии, является жизнь на ренту и доступ ко двору. Придворный круг для немалой части буржуа остается образцом во всем. Они становятся «bourgeois gentilhommes», они подражают манерам дворян. Но тем самым выработанные придворными кругами манеры теряют характер инструментов поддержания отличия, а это толкает задающие образцы группы дворянства к дальнейшей трансформации поведения. Манеры, еще недавно казавшиеся «прекрасными», вдруг оказываются «вульгарными». Их продолжают оттачивать, перемещая порог чувствительности, пока, наконец, вместе с закатом абсолютистско-придворного общества во время французской революции, этот род взаимодействия исчезает или, по крайней мере, утрачивает свою интенсивность.

Помимо острой конкуренции за благосклонность монарха постоянное давление снизу было двигателем цивилизационной трансформации дворянства на придворной фазе его развития. Вместе с тем происходило довольно быстрое смещение порога стыда и чувствительности, как это показывают примеры из первого тома нашей работы. *Циркуляция моделей* поведения шла быстрее, чем в Средние века, в силу большей взаимозависимости различных слоев, более тесных контактов между ними и постоянной напряженности в отношениях между этими слоями. Последовавшие за придворным обществом «хорошие общества» в большей или меньшей мере включены в сеть занятого профессиональной деятельностью общества в целом; даже если мы иной раз встречаем в них фигуры, аналогичные придворным, все же по своему воздействию эти «хорошие общества» не могут сравниться с прежней формообразующей силой — главным источником престижа все больше становятся профессия и деньги. Искусство общения, утонченность манер перестают играть ту роль в достижении успеха и признания со стороны других, что была им присуща в придворном обществе.

В любом обществе имеется сфера поведения, относящаяся к жизненно важным функциям людей определенного слоя и потому подлежащая самому тщательному и интенсивному моделиро-

303

ванию. Точность, с которой совершалось любое действие во время еды, соблюдение этикета, изысканность речи в придворном обществе были как средствами отличия от нижестоящих людей, так и инструментами в конкурентной борьбе за благосклонность короля. Со вкусом построенный дом или разбитый парк, украшенная в соответствии с модой комната, остроумная беседа и даже любовная интрига — все это на придворной фазе развития общества относится не к частным прихотям отдельных людей, но к жизненно важным требованиям, предзаданным социальной позицией. Это — предпосылки уважения со стороны других лиц, успеха в обществе, и в придворном обществе все это играет ту же роль, что и

профессиональный успех — в обществе буржуазном. В XIX в., когда профессиональные слои буржуазии берут на себя функцию высшего слоя, все эти требования сходят на нет, перестают быть центром сил, формирующим общество. К первичным социальным требованиям, которые отныне моделируют индивида, относятся добыча денег и профессиональный труд. Большая часть того, что имело экзистенциальный характер в придворном обществе, а потому подлежало строгому моделированию, теперь попадает во вторичную по значимости сферу, лишь опосредованно определяющую социальную позицию человека. Формы общения, правила этикета при нанесении визитов и ритуала поведения за столом, способы украшения домов переходят в сферу частной жизни. Свой экзистенциальный характер и важные функции они в наибольшей мере сохраняют в том обществе, где при всем подъеме буржуазии аристократические формации дольше всего давали о себе знать, — примером может служить Англия. Но даже там, где на основе длившегося столетиями взаимного проникновения моделей поведения аристократии и буржуазии возникла своеобразная амальгама, присущие ей буржуазные черты постепенно выходят на первый план. Во всем западном обществе упадок прежней аристократии — неважно, когда и как он происходил, — вел к преобладанию тех способов поведения и тех структур аффектов, которые необходимы для более или менее регулярной работы и требуют отказа от всего того, что просто передается по наследству. Поэтому профессиональное буржуазное общество, перенимая многое из ритуалов и поведения придворного общества, само уже не занято столь интенсивной разработкой этого наследия. В этом причина того, что вместе с подъемом буржуазии постепенно уходит в прошлое прежний стандарт регулирования аффектов. В придворном обществе (а отчасти и в нынешнем английском «society») не существует четкого разделения на профессиональную и приватную сферы человеческого существования. Когда такое деление становится всеобщим, начинается новая фаза процесса цивилизации: необходимая для профессиональной деятельности схема регулирования влечений во многом отличается от схемы, нала-

304

гавшейся на индивида в качестве необходимого условия выполнения им функции придворного и участия в играх придворной жизни. Для сохранения буржуазного социального существования требуется стабильное «Сверх-Я», интенсивное регулирование и канализация влечений; свойственные буржуазии функции, несмотря на несколько большую свободу от ритуалов, выдвигают к индивиду значительно большие требования, чем правила, определявшие жизнь придворной аристократии. Лучше всего это заметно по отличиям в регулировании отношений между полами. Тем не менее придворно-аристократический способ моделирования людей находит свое продолжение в тех или иных формах последующего буржуазного моделирования и присутствует в них в снятом виде. Сильнейшим влиянием это моделирование широких слоев населения посредством форм поведения и способов регулирования влечений, ранее присущих придворному обществу, пользовалось в тех странах, где имелись крупные и богатые дворы, долгое время выступавшие как образцы. Примерами могут служить Париж и Вена. Два этих соперничавших двора абсолютных монархий восемнадцатого столетия донныне дают о себе знать, причем не только как города «хорошего вкуса» или предметов «роскоши», производимых здесь в первую очередь «для дам», но и как центры, задающие образцы отношений между полами, эротического воспитания населения (даже если эта слава далека от действительности и чаще всего служит только как антураж для киноиндустрии).

В той или иной форме модели поведения придворно-аристократической «bonne compagnie» всплывают и в моделях поведения индустриального общества в целом, даже там, где дворы никогда не были богатыми и могущественными, а их воздействие не было особенно глубоким. При всех национальных различиях способы поведения и схемы в союзах господ западного мира имели много общего в регулировании аффектов; это было следствием многосторонних связей между этими группами, равно как и следствием взаимозависимости функциональных процессов в различных национальных объединениях Запада. Особую роль для формирования западного варианта цивилизованного поведения сыграло именно придворно-аристократическое общество на фазе развития, характеризуемой наполовину приватной монополией на применение насилия. Придворное общество было первой и самой чистой формой, выразившей ту функцию, которую впоследствии в различных модификациях мы обнаруживаем во все более широких слоях западного общества, — функцию «хорошего общества». Данный высший слой, с одной стороны, находится под давлением интенсивно воздействующей сети взаимозависимостей, монополии на насилие и на сбор налогов; с другой стороны, он находится под давлением поднимающихся низших слоев. Придворное общество было первым выс-

305

шим слоем такого рода, возникшим вместе с ростом функциональной дифференциации, установлением тесной взаимозависимости между различными социальными слоями, увеличением числа людей и расширением пространства их взаимодействия. Придворное общество представляло собой в большой мере зависимый высший слой, представители которого были вынуждены постоянно сдерживать себя и оказывались принуждены тем самым к интенсивному регулированию влечений. Именно эта форма высшего слоя стала с тех пор господствующей на Западе. Модель сдержанности, возникшая в публичной сфере придворного общества, перешла в «частную жизнь», модифицировалась от слоя к слою, занимавшему положение высшего слоя и выполнявшему его функции. Полученное от аристократии наследство имело большее или меньшее влияние в зависимости от того, какую роль в том или ином слое или народе сыграло «хорошее общество». А оно в той или иной степени распространялось на все более широкие слои, пока не

охватило все народы Запада в целом — в особенности те из них, что быстро достигли централизации и рано превратились в колониальные державы. Повсюду, где это происходило, мы сталкиваемся с давлением со стороны широкой сети взаимозависимостей, которое находило свое выражение как в конкурентной борьбе в рамках одного и того же слоя, так и в необходимости защищать свой престиж и жизненный стандарт от слоев, напирающих снизу. Это требовало социального контроля, осуществляемого по определенной схеме, равно как и чувствительности по отношению к поведению принадлежащих к этому слою лиц, а также самоконтроля со стороны индивида, сильного «Сверх-Я». Вместе с подъемом различных групп буржуазии, достигших положения высшего слоя, произошло амальгамирование их способов поведения с придворно-аристократическими; то, что появилось в облике «civilité», в снятом виде вошло в то, что стало называться «цивилизацией» или «цивилизованным поведением», преобразуясь в зависимости от того, кто принял роль носителя «цивилизации». Так, с XIX в. цивилизованные формы поведения распространяются на низшие слои западного общества, а затем — на различные слои населения в колониях, в свою очередь, образуя соответствующие их положению и функциям амальгамы. Любое такое продвижение вверх низших слоев ведет к проникновению в них форм поведения тех слоев, что ранее были высшими. Стандарт поведения поднимающихся вверх, как и схемы их запретов и предписаний по своему строению отображают историю процесса подъема. Схемы поведения и влечений различных буржуазных групп со своим «национальным характером» в точности передают существовавшие ранее отношения между дворянством и буржуазией и структуру их противостояния. В качестве примера можно указать на то, что схема поведения и регулирования вле-

306

чений в Северной Америке, несмотря на все сходство с Англией, предстает как чисто буржуазная — в Америке аристократия быстро сошла на нет, тогда как в Англии имело место чрезвычайно длительное взаимодействие дворянских и буржуазных слоев, постепенно приведшее к амальгамированию, взаимному проникновению моделей поведения. Аналогичные примеры уже были приведены в первой части данного труда, где речь шла о различиях немецкого и французского национальных характеров. Было бы не так уж сложно продемонстрировать это и на примере национального характера прочих европейских наций.

Каждая такая волна распространения стандарта цивилизованности на иные слои шла одновременно с ростом социальной силы этих слоев, достижением их жизненного стандарта уровня стандарта тех, кто над ними возвышался, или, по крайней мере, со значительным повышением этого стандарта. Люди, живущие под прямой угрозой голодной смерти или в крайней нужде и нищете, не могут вести себя цивилизованно. Для возникновения и поддержания стабильного аппарата «Сверх-Я» требуется сравнительно высокий жизненный стандарт, равно как и немалая степень безопасности.

Сколь бы сложным ни был механизм процесса цивилизации, в рамках которого происходили изменения поведения человека западного мира, на первый взгляд, схема взаимозависимости здесь довольно проста. Все явления, рассмотренные нами по отдельности (постепенный рост жизненного стандарта широких слоев населения, усилившаяся функциональная зависимость высших слоев, стабильная монополия центральной власти), все это — следствия и проявления одного и того же медленно продвигающегося вперед процесса дифференциации функций. Вместе с ним повышается продуктивность труда, в свою очередь, являющаяся предпосылкой повышения жизненного стандарта все более широких слоев; вместе с разделением функций растет функциональная зависимость высших слоев. Наконец, только на чрезвычайно высокой ступени дифференциации становится возможным появление стабильной монополии на применение насилия и на сбор налогов — монополии, предполагающей наличие специализированного управленческого аппарата. Это делает возможным и появление государств в современном смысле слова, т.е. социального образования, где жизнь индивида протекает со все повышающейся степенью «безопасности». Растущая дифференциация функций делает взаимозависимыми все большее число людей, она требует от индивида сдерживать свои страсти и точно регулировать свое поведение, подавлять влечения, а начиная с известной ступени — и постоянного самопринуждения. Такова цена, которую всем нам приходится платить за безопасность.

Решающее значение для стандарта цивилизованности наших дней имеет то обстоятельство, что на предшествующих фазах

307

процесса цивилизации сдерживание аффектов и самопринуждение возникали не только из необходимости постоянной кооперации индивидов. По своей схеме они также определялись расколом общества на высшие и низшие слои. Способ сдерживания и моделирования влечений, установившийся у представителей высших слоев, отражал противоречия, пронизывавшие общество в целом. Формирование «Я» и «Сверх-Я» у этих людей в равной мере определялось как давлением конкуренции и «борьбой на выбывание» в рамках собственной группы, так и постоянным давлением снизу, мощностю которого изменялась вместе с дальнейшим разделением функций. Сила и противоречивость социального контроля над поведением каждого представителя высшего слоя того времени определялись не только тем, что этот контроль шел со стороны конкурентов индивида (отчасти находившихся в отношениях свободной конкуренции), но прежде всего тем, что сами эти конкуренты все вместе должны были объединяться для того, чтобы защищать общий престиж и высокий жизненный стандарт от давления снизу. Это и вырабатывало в людях сопряженную со страхом предусмотрительность.

Проследивая линию данного процесса через столетия, мы видим отчетливую тенденцию выравнивания жизненного стандарта и стандарта поведения, нивелирования значительных контрастов. Но это движение не было прямолинейным. Мы можем четко различить две фазы такого распространения образцов поведения от небольших замкнутых кругов к более широким. Первая — фаза колонизации и ассимиляции, когда широкие слои поднимаются, но все еще занимают подчиненное положение; они заметно ориентируются на образцы высшей группы, вольно или невольно перенимая созданные ею формы поведения. Вторая — фаза отталкивания, дифференциации или эмансипации, когда поднимающаяся группа набирает силу, у нее развивается самосознание; все это принуждает высшую группу к еще большей сдержанности, к закрытости, что, в свою очередь, приводит к усилению контрастов и росту напряженности в обществе.

Разумеется, обе тенденции — выравнивание и различие, притяжение и отталкивание — присутствуют на обеих фазах; поэтому на каждой из них отношения между группами амбивалентны. Но на первой фазе мы находим индивидуальный подъем из низшего слоя в высший, стремление к колонизации, идущей сверху вниз, и стремление к выравниванию, идущее снизу вверх; на второй фазе, когда социальная сила прежде низшей группы растет, а высшей падает, вместе с ростом соперничества усиливается отталкивание. Это относится к самосознанию обеих групп, подчеркивающих свои отличия, — в случае высшей группы только это способно ее стабилизировать. Контрасты между слоями увеличиваются, стены между ними растут.

308

На первой фазе ассимиляции многие индивиды поднимающегося слоя еще во многом зависимы от людей высшего слоя — не только социально, но также в своем поведении, в своих идеях и идеалах. Часто, если не всегда, они не обладают некой стабильной формой, каковая присуща людям высшего слоя, и это побуждает их заимствовать у высшего слоя способ регулирования аффектов, кодекс поведения и систему запретов в попытках подчинить им свои собственные аффекты. Мы сталкиваемся здесь с самым причудливым феноменом процесса цивилизации: представители поднимающегося слоя развивают у себя «Сверх-Я» по образцу господствующего и колонизирующего их высшего слоя. Но кажущееся сформированным по модели высшего слоя «Сверх-Я» поднимающихся слоев в действительности во многом отлично от такой модели. Оно является гораздо менее уравновешенным, но часто и значительно более сильным и жестким. Его никогда не отпускает чудовищное напряжение, сопровождающее индивидуальный подъем; оно непрестанно ощущает угрозу и снизу, и сверху — индивидуальный подъем ведет к тому, что индивид оказывается как бы под перекрестным огнем, который ведется со всех сторон. Полная ассимиляция на протяжении одного поколения удается вообще немногим. У большинства людей, горящих стремлением возвыситься, это неизбежно ведет к специфическим искажениям в сознании и поведении. На Востоке и в колониальных странах хорошо известен феномен «левантинизма»; в мелкобуржуазных кругах западного общества столь же часто наблюдаются такие явления, как «полуобразованность», необоснованная претенциозность, неуверенность в своем поведении, отсутствие вкуса, проявления «китча» не только в случае мебели или платья, но и в человеческих душах. Все это связано с попыткой имитации моделей другой, более высокой по рангу социальной группы. Такая имитация не удается — чуждость модели дает о себе знать. Воспитание, жизненный стандарт и жизненное пространство поднимающихся слоев и высшего слоя на этой фазе настолько различны, что попытки достичь уверенности и гармонии по схемам высшего слоя для большинства представителей поднимающихся слоев заканчиваются фальшью и бесформенностью поведения, хотя за этими попытками стоят истинная нужда и подлинное стремление к выходу из подчиненного положения. Такое влияние на «Сверх-Я» со стороны высшего слоя влечет за собой формирование у поднимающихся слоев специфических форм чувств стыда и подчиненности. Они отличаются от чувств представителей низших слоев, не имеющих шансов на индивидуальный подъем. Поведение их, быть может, более грубое, но оно значительно более целостное, уверенное и в этом смысле значительно лучше оформленное. Они живут в своем мире, без притязаний на престиж, схожий с тем, что присущ высшим слоям. Поэтому у них боль-

309

ше возможностей для разрядки аффектов. Они живут в согласии с собственными нравами и обычаями, а потому и подчинение высшим слоям, и непокорность им у них выражаются в простых и ясных аффектах. Они отдают себе ясный отчет в собственном положении и положении других слоев, четко различая их достоинства и недостатки.

Напротив, чувство подчиненности людей, совершающих индивидуальный подъем, отличается особой окраской. В какой-то степени они идентифицируют себя с высшим слоем, но сами подпадают под определение того, что в высшем слое считается постыдным. В таком положении люди считают для себя обязательными запреты, предписания, нормы и формы поведения высшего слоя, но не могут им столь же легко следовать, столь же непринужденно их исполнять. Это своеобразное противоречие представляет собой конфликт с нормами высшего слоя внутри себя, со «Сверх-Я», с собственной неспособностью исполнять предъявляемые себе требования. Именно это непрестанное напряжение придает особый характер аффектам и поведению таких людей.

Это показывает в новом свете значение строгого контроля над поведением для высшего слоя того времени. Регулирование поведения представляет собой инструмент престижа, но в то же самое время на данной фазе оно является и орудием господства. Ничуть не менее характерным следует признать то обстоятельство, что для своих колониальных захватов западное общество использовало лозунг «цивилизации». Для людей

общества с сильно развитой дифференциацией функций не достаточно просто являться на чужие территории с оружием в руках, дабы покорять другие народы и земли. Конечно, в предшествующей экспансии Запада вытеснение других народов с их земель, захват пашен и мест поселения играли немалую роль. Но всегда существовала потребность не только в землях — нужны были и люди. С другими народами нужно было вступать в отношения разделения труда; эти народы выступали то как рабочая сила, то как потребители произведенных товаров. Но эти роли требовали известного повышения их жизненного стандарта, выработки у них самопринуждения и аппарата «Сверх-Я» по образцу западного человека. Иначе говоря, это требовало и некой цивилизованности покоренных народов. Как на самом Западе начиная с какой-то ступени развития взаимозависимости стало невозможным править людьми только угрозой оружия, так и в целях сохранения империй и плантаций требовалось, чтобы люди хоть в какой-то степени владели собой, подчиняясь «Сверх-Я». Именно поэтому у немалого числа покоренных народов проявились черты, характерные для указанной первой фазы: индивидуальный подъем, ассимиляция поднимающихся слоев, перенимание ими регулирования аффектов и запретов высшего слоя, частичная их

310

идентификация с этим слоем, выработка аппарата «Сверх-Я» по схемам последнего, формирование более или менее удачного сплава имевшихся ранее привычек и механизмов самопринуждения с пришедшими с Запада ритуалами цивилизации. Это вызывало те же следствия, которые были выше указаны применительно к людям, совершавшим сходный подъем на Западе.

За примерами такого рода нам не нужно далеко ходить. Полную аналогию происходящему сегодня в колониальных странах мы находим в подъеме западноевропейской буржуазии на придворной фазе развития общества. Здесь высшей целью стремлений представителей буржуазии были образ жизни и поведение, подобные людям высшего слоя, дворянам. Внутренне они соглашались с превосходством придворно-аристократических манер и пытались моделировать и контролировать собственное поведение по этому образцу. Примером этому может служить приведенный выше пример: то, как держал себя молодой буржуа, беседующий в придворном кругу о правильной речи. В истории немецкого языка также хорошо видна придворная фаза бюргерства, она сказывается в привычке вставлять в устной речи и на письме на три немецких одно французское слово, если вообще просто не переходить на французский — язык придворного общества всей Европы. Дворяне и сами буржуа из придворных кругов в то время часто насмехались над бюргерами, желавшими быть «изысканными» и неумело подражавшими придворным.

Когда социальная сила буржуазии возросла, стало уже не до насмешек. Раньше или позже такого рода подражание уходит на задний план, наступает вторая фаза. Группы буржуазии все чаще выступают как обладатели собственного, специфически буржуазного самосознания; они все решительнее противопоставляют свои нормы запретам и предписаниям придворной аристократии. В соответствии с собственным социальным положением они противопоставляют работу — аристократическому безделью, «натуральность» — этикету, стремление к знаниям — изысканности манер, не говоря уж о требовании контроля над ключевой монополией, изменения налоговой системы и управления войсками. Буржуазия противопоставляет «добродетель» придворной «фривольности»; у буржуазных слоев с их профессиональной деятельностью отношения между полами регулируются строже, чем у придворной аристократии. Позже контроль над сексуальной сферой, пронизывающие ее запреты, оказались значительно более сильными у поднимающейся средней буржуазии, чем в группах крупной буржуазии, уже достигших социальной вершины и укрепившихся в положении высшего слоя. Но при всей остроте борьбы на этой фазе, при всей эмансипации буржуа от власти аристократии и от полученных от нее образцов, схема поведения буржуазии, сменившей аристократию в качестве высшей социальной группы, была продуктом амальгамирования ко-

311

дексов прежнего и нового высших слоев. Это было обусловлено наличием предшествующей фазы — фазы ассимиляции, на которой начался подъем буржуазии.

Общая линия развития цивилизации является примерно одной и той же во всех странах Запада; более того, по своей структуре она одинакова вообще повсюду, где мы встречаемся с процессом разделения функций под давлением конкуренции, тенденцию, ведущую к формированию все более равномерно распределенной зависимости всех от всех, что, в свою очередь, не позволяет ни одной группе надолго усилиться за счет других и уничтожает наследственные привилегии. Повсюду сходен и результат свободной конкурентной борьбы: она ведет сначала к возникновению монополии на власть малого числа людей, а затем к переходу этой монополии в распоряжение широких слоев. Все это отчетливо проявляется на той ступени, когда буржуазия вступает в борьбу с привилегиями дворянства, — поначалу в форме обуржуазивания и огосударствления монополий на сбор налогов и на применение насилия, прежде служивших интересам узкого круга лиц. Все это раньше или позже происходит во всех западных странах. Различия между странами на этом пути проявляются в социальной структуре, а тем самым в формах поведения, в схемах регулировки аффектов, в структуре влечений и в том «Сверх-Я», что отличает одну нацию от других.

Мы уже говорили об особенностях Англии, где придворно-абсолютистская фаза была сравнительно короткой, зато рано возникли контакты городских буржуа с провинциальной знатью и союзы между данными слоями. Это привело к постепенному амальгамированию форм поведения высших и поднимающихся средних слоев. В Германии тот же процесс шел иначе: там отсутствовала централизация, и

следствиями этого были Тридцатилетняя война, бедность и низкий жизненный уровень населения по сравнению с окружающими странами. Все это чрезвычайно удлинило фазу абсолютизма, на которой существовало множество мелких и бедных дворов. В отсутствие централизации колониальная экспансия началась сравнительно поздно; внутренние противоречия между дворянством и буржуазией отличались большой силой, представителям буржуазных слоев был затруднен доступ к центральным монополиям. Городское бюргерство в Средние века здесь занимало чрезвычайно сильные экономические и политические позиции; в Германии оно пользовалось даже большей самостоятельностью и независимостью, чем в прочих странах Европы. Тем большим был шок от испытанного им политического и экономического падения. Если во времена богатства и самостоятельности в Германии специфически городские бюргерские традиции формировались в наиболее чистой форме, то впоследствии особенностью буржуазной традиции стало именно то, что этот слой был беден и социально бессилён.

312

Поэтому здесь значительно позже произошли взаимное проникновение и амальгамирование форм поведения, свойственных буржуазным и дворянским кругам; на протяжении долгого времени схемы запретов и предписаний этих групп не совпадали. На протяжении всего этого времени ключевые посты, контроль над налогами, полицией, войском оставались монополией дворянства, что приучило буржуа к подчинению внешней для нее и очень сильной государственной власти. В Англии — в силу ее островного положения²⁵ — важнейшее значение имел флот, тогда как ни сухопутное войско, ни централизованная полиция долгое время не выступали в роли сил, формирующих поведение населения. В Пруссии с ее протяженными и уязвимыми границами дворянство, т.е. привилегированный слой сухопутной армии, и могущественный полицейский аппарат оказали значительно большее воздействие на формирование характера жителей страны. Подобная монополия на насилие способствовала не самоконтролю, как это было в Англии, где индивиды побуждались к самостоятельности и чуть ли не автоматическому включению в пожизненную «team-work», — в Пруссии от индивида требовалось подчинение внешним приказам. При такой роли государства в совместной жизни людей внешнее принуждение в меньшей мере превращалось в самопринуждение. К тому же долгое время здесь не было той функции, что побуждала бы людей к расчетливости и сильному самоконтролю, — функции центра широкой сети взаимосвязей, функции высшего слоя колониальной империи, — которая хорошо заметна у дворян и буржуа Англии. В Пруссии регулирование аффектов у индивида в огромной мере зависело от наличия внешнего государственного насилия. Отсутствие последнего угрожало самоконтролю индивида, его владению аффектами. Из поколения в поколение у немецких буржуа вырабатывалось «Сверх-Я», предполагавшее наличие особого возвышающегося над буржуазией слоя с присущей ему функцией господства над обществом в целом. В начале этой работы мы уже отмечали, что на ранней фазе подъема буржуазии это выразилось в ее самосознании в отказе²⁶ от всего, что хоть как-то было связано с монополией на господство, равно как и в самоуглублении личности, в подчеркивании особой роли духовных и культурных ценностей. Мы показали и особенности этого процесса во Франции. Здесь более четко, чем в любой другой европейской стране, начиная с раннего Средневековья шло образование придворного общества, начинаясь с больших куртуазных дворов, через «борьбу на выбывание» между их владыками, развитие шло к могущественному и богатому королевскому двору, к которому стекались доходы со всей страны. Поэтому здесь рано появилась централизованная экономическая политика, заключающаяся в охране интересов прежде всего самого монополиста, желающего получать все больше средств от

313

налогов; но эта политика одновременно способствовала развитию торговли и появлению слоя зажиточной буржуазии. Тем самым здесь сравнительно рано установились контакты между поднимающейся буржуазией и постоянно испытывавшей нужду в деньгах придворной аристократией. В отличие от множества мелких и по большей части бедных абсолютистско-монархических государств Германии, централизованный абсолютизм во Франции требовал превращения внешнего принуждения в самопринуждение, способствовал амальгамированию придворно-аристократических и буржуазных форм поведения. Когда на последней фазе подъема буржуазии произошло характерное для всего процесса цивилизации нивелирование различий и выравнивание социальных стандартов, когда знать утратила свои наследственные привилегии и положение особого высшего слоя и ее место заняли группы буржуазии, тогда выяснилось, что вследствие процесса длительного взаимного проникновения моделей и форм поведения у французов они в большей мере, чем у всех прочих буржуазных наций Европы, оказались прямым наследием предшествующей придворной фазы.

VIII. Резюме

Если посмотреть на все движение в целом, то можно обнаружить, что оно имело вполне определенное направление. Чем глубже мы погружаемся на пути от множества отдельных фактов к структурам и механизмам взаимодействия, тем отчетливее перед нами предстает остов, к которому пристраиваются единичные факты. Подобно тому как ранее наблюдатели сумели преодолеть разного рода ложные пути, выйти из тупиков мышления и от отдельных наблюдений за природой подняться к связанной картине природных связей, так и в наше время фрагменты человеческого прошлого — те, что вошли в книги и в наши головы благодаря труду, длившемуся на протяжении жизни не одного поколения, — сегодня

становятся элементами связной картины исторических процессов и человеческого космоса как такового. Можно взглянуть на эту картину и нанести пару дополнительных штрихов, связав ее с опытом самонаблюдения: прошлые изменения социальной сети обретают для наблюдателя четко прорисованные очертания лишь в том случае, если он соединяет их с событиями своего собственного времени. Взгляд на настоящее проясняет результаты нашего постижения прошлого; углубление в прошлое высвечивает происходящее ныне: многие механизмы взаимодействия, работающие в наши дни, восходят к прошлым трансформациям структуры западного общества и явным образом унаследовали от них свою направленность.

314

Как было показано выше²⁷, в момент крайней степени феодальной дезинтеграции на Западе начинают работать некие механизмы взаимодействия, ведущие к интеграции все более широких объединений. В конкурентной «борьбе на выбывание» между мелкими уделами (возникшими из такой же борьбы между еще более мелкими поместьями) постепенно поднимаются немногие, а затем победу одерживает *один* из конкурентов. Победитель создает центр интеграции крупной единицы власти — он формирует монопольный центр государства, в рамках которого постепенно совершается переход от свободной конкуренции территорий и групп к более или менее сбалансированной сети взаимосвязей более высокого порядка, включающей в себя огромное число людей.

Сегодня такие государства, в свою очередь, образуют аналогичную систему равновесия, где сбалансированы силы свободно конкурирующих союзов. Это напоминает ситуацию конкуренции между меньшими объединениями, влившимися в указанные государства. Под давлением противоречий и механизма конкуренции, приводящего общество в движение, исполненное кризисов и столкновений, эти государства все теснее соприкасаются друг с другом. Мы вновь видим жестко связанные друг с другом соперничающие единицы власти, где каждое из оставшихся победителем находится под угрозой утраты самостоятельности: если оно не становится сильнее, то делается слабее и попадает в зависимость от других государств. Как и в любой системе равновесия, лишенной монополии центра, при растущих противоречиях система могущественных государственных союзов, образующая главную ось этого равновесия, приводит к непрестанной борьбе, где каждый союз стремится расширить и укрепить свои властные позиции. Идет борьба за превосходство, означая — неважно, сознательно или нет, — борьбу за центральную монополию все более высокого порядка. Так как эта борьба ведется уже за континентальное превосходство, то она захватывает все новые и новые районы, пока не становится борьбой за всю систему взаимодействия — за все обитаемые территории планеты.

Тот механизм взаимодействия, о котором мы достаточно часто говорили в нашем исследовании, как в прошлом, так и в настоящем вызывает изменение институтов и всей совокупности человеческих отношений. Опыт нашего собственного времени также опровергает представление о том, что более века сбалансированная система свободно конкурирующих объединений — государств, концернов, союзов ремесленников или вообще чего бы то ни было — может бесконечно долго оставаться в состоянии подвижного равновесия. Как и ранее, свободная от монополии конкуренция ведет к образованию монополии. Выше мы на примере механизма конкуренции и механизма образования монополии в общем виде показали причины нестабильности такой си-

315

стемы и высокую вероятность перехода к иной организации социальной жизни²⁸.

Как и раньше, нынешние «экономические» цели и силы сами по себе не являются *единственным* мотивом и двигателем политических процессов и каким-то перводвигателем этих изменений. Конкуренцию между государствами нет смысла изображать так, будто конечной их целью является добыча большего количества «золота» или экономических выгод, а расширение территории, укрепление военно-политического могущества оказываются некой маскировкой для такого рода целей или средствами для их достижения. Упорядоченная или неупорядоченная монополия на применение физического насилия и монополия на средства производства и предметы потребления неразрывно связаны друг с другом, причем ни одно из этих явлений нельзя объявить «базисом», а прочее зачислить в «надстройку». Экономика и политика совместно производят социальную сеть со специфическими противоречиями, ведущими к изменению последней. *Они вместе образуют цепи, связывающие людей друг с другом.* В обеих взаимосвязанных сферах мы обнаруживаем работу одного и того же механизма. Стремление купца расширить свое дело в конечном счете определяется давлением всей человеческой сети — область его влияния сужается, а сам он утрачивает самостоятельность, когда усиливаются его конкуренты. Соперничающие государства попадают в тот же самый водоворот конкуренции и находятся под давлением всей ткани отношений. Многие индивиды желали остановить это движение, в котором равновесие между «свободными» конкурентами возникает в результате непрестанной борьбы. Однако весь ход предшествующей истории показал, что действующий здесь с принудительной силой механизм всегда был сильнее подобных желаний. Поэтому и сегодня в межгосударственных отношениях, которые еще не регулируются всеобъемлющей монополией на насилие, мы обнаруживаем тот же механизм, принудительно ведущий к образованию такого рода монополии, а тем самым и к образованию единиц власти все более высокого порядка.

Ранние формы подобных общностей — объединенных государств, империй или федераций — обнаруживаются уже в наше время. Все они пока сравнительно нестабильны. Как в давней борьбе между

уделами, так и в нынешней борьбе между государствами пока не решено, где будут расположены центры и где будут пролегать границы таких единиц власти. Как и в ту эпоху, трудно сказать, какое время займет борьба со всеми ее прорывами и отступлениями. Жители уделов, на базе которых возникли государства²⁹, не могли предвидеть, чем эта борьба закончится; у нас тоже имеется лишь самое туманное представление о том, какими будут организация и институты подобной общности более высокого порядка, хотя к ее образованию ведут нынешние

316

действия — независимо от того, осознают ли это действующие лица. Определенным является только направление процесса дальнейшего развития имеющейся на сегодняшний день сети. При том давлении, что оказывает структура нашего общества, противоречия межгосударственной конкуренции придут к состоянию покоя только после долгого ряда бескровных или кровавых столкновений. Их стабилизация произойдет за счет появления монополии на насилие и центральной организации, в рамках которой смогут найти свое место множество мелких «государств». В этом смысле направление движения западного общества остается одним и тем же со времен крайней степени феодальной дезинтеграции и вплоть до настоящего времени.

То же самое можно сказать о многих других движениях «современности». Все они выступают в ином свете, когда мы видим в них лишь единичные моменты потока, называемого нами то «прошлым», то «историей». В рамках нынешних государств мы и сегодня обнаруживаем конкуренцию, не зависящую от монополии. Но во многих областях она уже подходит к своей последней фазе. Повсюду экономическое оружие, выкованное этой конкурентной борьбой, служит уже частным монополиям. Уже при формировании монополий на налоги и на применение насилия было ощутимо то, что в руках удельных князей вместе с этими видами монополии оказывается расширяющаяся административная власть; то же самое обнаруживается при подчинении исполнительной власти законодательной и при любом другом «государствлении» — так, в наши дни мы видим работу этого механизма в ограничении частного распоряжения молодыми «экономическими» монополиями, напоминающем по своей организации контроль над старыми монополиями.

То же самое можно сказать еще о ряде противоречий, обнаруживающихся в различных государствах и ведущих к их трансформации. Например, о противоречии между людьми, получившими в наследство инструменты монопольного распоряжения шансами, и лишеными такой возможности, а потому вынужденными вступать не в свободную конкуренцию, но вести борьбу за шансы, распределяемые монополистом. В этом отношении мы также являемся очевидцами исторического сдвига, находимся на вершине волны, которая возникла из слияния ряда предшествующих волн и движется в том же направлении. В общем виде это было показано выше при рассмотрении механизма монополии³⁰: тогда мы ответили на вопрос, как и почему равновесие между господами и слугами монополии при известной степени напряженности раньше или позже нарушается. Мы обращали внимание на то, что сдвиги в этом направлении встречаются уже на ранних этапах развития западного общества. В качестве примера мы брали процесс феодализации, хотя в данном случае речь шла об изменении, затрагивавшем только высший

317

слой общества; к тому же в силу слабой функциональной дифференциации это нарушение равновесия было на руку многим и в ущерб немногим и вело к распаду монопольного центра и дезинтеграции монопольного распоряжения шансами.

Вместе с ростом разделения функций и усилением их взаимозависимости подобное нарушение равновесия выражается уже не в разделе между индивидами ранее централизованных монопольных шансов, но в стремлении иначе распоряжаться этим центром и этими шансами. Первой значительной фазой такой трансформации была борьба буржуазных слоев за право распоряжаться старейшими монопольными центрами Нового времени, которые ранее были наследственной собственностью королей (а отчасти и дворянства). Наблюдаемые нами волны по ряду причин более сложны по своему составу. Они являются таковыми уже потому, что борьба сегодня идет не только за старые монополии на налоги и физическое насилие и не только за новые экономические монополии, но за те и другие монополии одновременно. Однако задействованная здесь схема достаточно проста: любая наследственная, принадлежащая отдельным семьям монополия на шансы ведет к специфическим видам напряженности и к диспропорциям в обществе. Разумеется, напряженность такого рода ведет к изменениям в сети отношений, — а тем самым и к изменению институтов — в любом обществе. При слабой степени дифференциации функций и в особенности из-за того, что высший слой образуют воины, эти изменения не играют большой роли. Напротив, объединения со значительной дифференциацией функций оказываются гораздо более чувствительными к такого рода диспропорциям и функциональным нарушениям, возникающим из таких видов напряженности. В целом подобные нарушения для них значительно болезненнее, чем для объединений со слабой дифференциацией. Даже если высокодифференцированные общества располагают не каким-то одним путем преодоления такой напряженности, направление движения остается тем же самым. Способ преодоления задан самим генезисом данной напряженности: диспропорции и функциональные нарушения, возникающие из-за того, что монопольные шансы используются в интересах немногих, не могут исчезнуть без отказа от такого рода распоряжения шансами. Непредсказуемыми факторами в этом случае являются только время, необходимое для такого отказа, и способ борьбы, который приведет к этому результату.

Этому процессу в наши дни соответствуют изменения в поведении людей вместе со всей системой психических функций. В ходе этой работы мы пытались в точности показать, что вместе со структурой социальных функций и межчеловеческих отношений меняется строение психических функций, стандарты, способы контроля над поведением. Остается проследить эти взаи-

318

мосвязи в нашем времени, но эта задача требует дальнейшей работы. В самом общем виде можно сказать следующее. Обладающие принудительным характером изменения, находящие свое выражение в медленной или быстрой смене институтов, в трансформации межчеловеческих отношений, не менее ощутимы в соответствующих переменах, затрагивающих душевную организацию человека. Ясную картину перемен мы в данном случае также получим только при учете того направления, какое было задано предшествующими изменениями. Господствовавший ранее стандарт поведения высших слоев в ходе формирования нового кодекса поведения в большей или меньшей мере ослабляется — упрочению нового стандарта предшествует фаза распада. Способы поведения распространяются не только сверху вниз, но и снизу вверх, что соответствует нарушению социального равновесия. Поэтому подъем буржуазии привел к тому, что многое из придворно-аристократического кодекса поведения утратило свою обязательность. Формы общения стали более свободными и даже несколько огрубели. Утвердились строжайшие табу, которые у среднего класса регулировали определенные области поведения, прежде всего отношение к деньгам и сферу взаимоотношений между полами. Затем они распространялись на все более широкие круги, и этот процесс продолжался до тех пор, пока эти колебания между либерализацией и ужесточением норм не привели после долгой борьбы к новому стандарту, включающему в себя элементы поведенческих схем обоих сословий.

Поднимающиеся волны развития, среди которых мы живем сегодня, отличаются по своей структуре от всех предшествующих, хотя и продолжают их движение. Однако аналогичные по структуре явления мы обнаруживаем всегда — и раньше, и в наше время. Сегодня мы также наблюдаем определенное расшатывание прежней схемы поведения, подъем снизу каких-то способов поведения, взаимное проникновение манер различных слоев; мы видим ужесточение контроля в одних сферах и одновременное огрубление форм поведения в других.

Подобные — переходные — периоды предоставляют нашему мышлению ряд возможностей. Прежние стандарты отчасти уже поставлены под сомнение, а новые прочные стандарты пока отсутствуют. Люди проявляют неуверенность и колеблются при контроле над своим поведением. Сама общественная ситуация делает «поведение» острой проблемой. На таких фазах (а быть может, только на них) человеческому взгляду открывается переходящий характер многого из того, что на протяжении поколений казалось само собой разумеющимся в области поведения. Сыновья начинают задумываться в ситуациях, не вызывавших никаких размышлений у отцов; они спрашивают о причинах там, где их отцы знали ответ без всяких вопросов: почему следует вести себя так-то и так-то в той или иной ситуации? Почему

319

это дозволено, а это запрещено? В чем смысл предписаний, касающихся манер поведения и моральных запретов? Конвенции, из поколения в поколение не подлежавшие проверке, ставятся под вопрос. В силу возросшей мобильности, участвовавшего столкновения с людьми иного воспитания человек начинает смотреть на самого себя как бы с дистанции. Почему схемы поведения в Германии отличаются от существующих в Англии, а те — от американских? Почему поведение во всех этих странах отличается от поведения людей на Востоке или в «примитивных» племенах?

Наши исследования были попыткой прояснения этих вопросов. Мы касались только тех проблем, что буквально «носятся в воздухе». Эти исследования должны проложить путь другим научным трудам и дискуссиям, совместной работе многих людей. Схемы поведения нашего общества с юных лет моделируют индивида, они стали как бы его второй природой и поддерживаются у него благодаря строго организованному социальному контролю. Их следует понимать не исходя из неких общечеловеческих и внеисторических целей, но как нечто исторически возникшее, как результат западной истории со специфическими для нее формами человеческих отношений, развитие которых продолжается. Эти схемы многослойны, как и вся система контроля над поведением, как строение наших душевных функций вообще. В их формировании и воспроизводстве на равных принимают участие эмоциональные и рациональные побуждения, влечения и функции «Я». Давно вошло в привычку считать регулирование поведения индивида нашего общества по существу рациональным, объяснять его разумными основаниями. Нам это видится иначе.

Как было показано выше³¹, сама рационализация, а вместе с нею рациональное формирование и обоснование социальных табу, представляет собой лишь одну сторону трансформации, охватывающей *всю* душевную организацию, — и влечения, и «Я», и «Сверх-Я». Двигателем изменений, происходящих в сфере психической саморегуляции, выступают направленная работа обладающего принудительной силой механизма взаимодействия, более или менее значимые смещения в формах отношений и изменения в социальной сети в целом. Эта рационализация идет рука об руку с колоссальной дифференциацией функциональных цепочек и с соответствующими изменениями в организации физического насилия. Ее предпосылкой являются рост жизненного стандарта и повышение уровня безопасности, защищенности от угрозы физического уничтожения или принуждения, а тем самым — от прорыва неподконтрольных страхов,

которые значительно чаще и сильнее воздействуют на индивида в обществах с менее стабильной монополией на насилие и меньшей функциональной дифференциацией. Сегодня мы

320

живем в условиях такой стабильной монополии и настолько привыкли к ограничению насилия, что уже не принимаем в расчет то значение, какое данный фактор имеет для нашего поведения. Мы едва отдаем себе отчет в том, сколь быстро рухнет поддающийся учету и дифференцированный контроль над нашим поведением, именуемый нами «разумом», если изменится уровень воздействия страхов, играющих огромную роль в нашей жизни (они могут меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, а в простых по своей организации обществах колебаться то в одном, то в другом направлении).

Только с учетом этих связей мы получаем возможность приступить к решению проблемы поведения и его регулирования, осуществляемого посредством социальных запретов и предписаний. В каждом обществе, на любой исторической фазе его развития и в каждом его социальном слое мы обнаруживаем свойственную только ему степень страха, существующую в рамках целостной «экономики» наслаждения и страдания. Для понимания регулирования поведения, предписываемого обитателям этого общества, нам не достаточно знать рациональные цели, выдвигаемые в качестве основания для запретов и предписаний. Мы должны обнаружить причины тех страхов, что побуждают их к регулированию поведения, причем в первую очередь у тех членов общества, которые осуществляют в нем контроль, налагая запреты. Установив роль страха, мы придем и к лучшему пониманию изменений, трактуемых как «цивилизация». Выше мы в самом общем виде говорили о направлении таких изменений³²: страх, ужас, непосредственно охватывающий человека из-за угрозы, исходящей от других людей, в известной мере уменьшаются, зато растет внутренняя тревога, и она делается непрерывной. Волны ужаса или тревоги уже не столь часто накатывают на человека, как раньше, когда страх внезапно пробуждался, чтобы столь же быстро исчезнуть. При небольших колебаниях — меньших, чем на предшествующих фазах, — страх постоянно присутствует, оставаясь примерно на одном и том же, среднем уровне. Как мы видели, в то же самое время поведение становится более «цивилизованным». По своей структуре страхи оказываются психическим двойником того принуждения, которому люди подвергаются в силу их социального взаимодействия. Страхи выступают как один из важнейших путей сообщения, проложенных между социальной структурой и индивидуальными психическими функциями индивида. Будучи двигателем перемен в поведении, страх отображает изменения, происшедшие в области социального принуждения, перестройку всей сети отношений и в первую очередь трансформацию организации насилия.

Запреты и предписания, равно как страхи, лежащие в их основании, часто объявлялись порождением чего-то сверхчеловеческого. Чем глубже мы проникаем в исторические связи, тем в

321

большей мере наше мышление устанавливает (с понятными следствиями для наших действий), в какой мере страхи, столь сильно воздействующие на людей, *создаются самими людьми*. Конечно, ощущение страха, как и ощущение наслаждения, есть неизменный атрибут человеческой природы. Но и сила, и структура таящихся или воспламеняющихся страхов никогда не зависят только от природы человека. По крайней мере, в обществах с известным уровнем функциональной дифференциации они менее зависят от природного окружения, чем от исторических факторов и структуры отношений с другими людьми. Они определяются социальной структурой и меняются вместе с ней.

Здесь мы находим ключ ко всем проблемам регулирования поведения и социальных кодексов с их предписаниями и «табу». Когда нет страха перед другими людьми, ребенку никогда не удастся регулировать собственное поведение. Без механизма подобных страхов, произведенных людьми, молодое животное не станет взрослым существом, заслуживающим имени человека, — даже человечность его не всегда целиком созревает, а в жизни его мало радости. Страхи, сознательно или бессознательно вызванные у маленького ребенка взрослыми, откладываются у него в психике и в дальнейшем воспроизводятся в ней уже без внешнего вмешательства. Страхи так трансформируют пластичную душу ребенка, что, подрастая, он начинает вести себя в соответствии с имеющимися стандартами, независимо от того, вызываются ли его страхи прямой угрозой физического насилия, лишениями, ограничениями в питании или в удовольствиях. Созданные людьми страхи извне или изнутри господствуют и над взрослым человеком. Чувство стыда, страх перед войной или перед Богом, чувство вины, страх перед наказанием, утратой социального престижа, страх перед самим собой, перед собственными влечениями, — т.е. любой из видов страха, способный неожиданно охватить индивида, — прямо или косвенно вызывается другими людьми. Облик и сила этих страхов, роль, которую они играют в душе индивида, зависят от структуры общества и от места индивида в этой структуре.

Нет общества без канализации индивидуальных влечений и аффектов, без какого-то регулирования индивидуального поведения. Такое регулирование невозможно без принуждения, без того обстоятельства, что одни люди вызывают определенный страх у других. Не стоит обманываться: неизбежным и неискоренимым является процесс порождения и воспроизводства страхов, исходящих от других людей, причем страхи эти неустранимы при любой форме совместной жизни, в случае любых стремлений и действий, идет ли речь о работе, дружеском общении или любовных играх. Не следует только предаваться иллюзиям, будто предписания и страхи, задающие поведение человека *сегодня*, соответствуют вечным «целям» человеческого сосуществования,

словно наш мир обладает именно теми стимулами и страхами, которые создают гармоничное равновесие устремлений множества индивидов, а потому необходимы для продления общественной жизни. Наши кодексы, наши предписания относительно поведения настолько же противоречивы и полны диспропорций, как наши формы сосуществования, как строение нашего общества. Формы принуждения, которым подвергается индивида, равно как и страхи, им соответствующие, по своему характеру, силе и структуре в целом определяются специфической сетью взаимодействий нашего общества, уровнем дифференциации и колоссальным напряжением, пронизывающим все общество.

Выше мы говорили о тех опасностях, в условиях которых мы живем, о тех принудительных связях, что придают направление этим угрозам. Не столько простое принуждение к совместной работе, сколько подобные опасности вызывают у индивида постоянную тревогу. Противоречия между государствами, принудительная сила, присущая механизму конкуренции, борьба за превосходство, ведущаяся на огромных пространствах, находят свое выражение в ограничениях и лишениях, требуемых от индивида. Они давят на индивида, принуждая его ко все большим затратам труда, вызывая у него все более глубокое чувство незащищенности. Нужда, беспокойство, трудовые тяготы, прямая угроза жизни — все это порождает страх. Подобные противоречия мы находим в любых государственных образованиях. С одной стороны, не подлежащая регулированию свободная конкуренция между представителями одного социального слоя, с другой стороны, противоречия между различными слоями и группами, в равной степени вызывают беспокойство индивида, находя свое выражение в неких запретах и ограничениях. Они вызывают и специфическую тревогу: индивиды боятся потерять работу, страшатся зависимости от сильнейшего, голода и нищеты — эти страхи преобладают в низших слоях. В средних и высших слоях такую же роль играют страх перед социальным падением, потерей или уменьшением собственности, утратой независимости или высокого престижа. Именно страхи перед утратой социальных отличий, унаследованного или обретенного престижа — доньше играли решающую роль в формировании господствующего кодекса поведения³³. Именно они в большей мере становились из внешних внутренними — в значительно большей мере, чем страхи перед нищетой, голодом или непосредственной физической опасностью. Подобные страхи, свойственные высшим и средним слоям, упрочивались и, в соответствии со способом воспитания, становились у представителей этих слоев внутренними страхами, начиная действовать автоматически, уже без контроля со стороны других людей и выступая как давление со стороны «Сверх-Я». С малых лет ребенка окружает непрестанная забота отца и матери о том, чтобы он усвоил стандарт поведения

323

своего слоя или поднялся до стандарта более высокого слоя: он должен сохранить или даже повысить престиж семейства, он будет вести «борьбу на выбывание» в рамках собственного слоя. Страхи такого рода касаются представителей не столько высшего, сколько среднего, поднимающегося вверх слоя; тут они играют огромную роль в регулировании поведения ребенка, в определении тех запретов, что на него налагаются. У самих родителей они лишь отчасти осознаются, отчасти же действуют автоматически; поэтому данные страхи передаются ребенку не только словами, но и жестами. Эти внутренние страхи держат в неких границах поведение и чувства подрастающего индивида, задают стандарт стыда и чувствительности; хочет он того или нет, они навязывают ему определенные манеры, формируют его речь. Даже предписания, касающиеся половой жизни, и те автоматически возникающие страхи, которые ее сегодня окружают, происходят не только из элементарной необходимости как-то регулировать и балансировать желания множества сосуществующих людей; в немалой части их происхождение объясняется высоким уровнем давления, испытываемого высшими и в особенности средними слоями современного общества. Здесь мы также обнаруживаем страх перед утратой собственности и высокого престижа, перед социальной деградацией, уменьшением шансов в суровой конкурентной борьбе. С ранних лет родители и воспитатели начинают воздействовать на ребенка, формируя его в соответствующем направлении. Конечно, иной раз именно принуждение со стороны родителей и вызванные ими слепые страхи ведут к противоположному результату, поскольку подобные автоматически действующие механизмы могут препятствовать успешной борьбе за сохранение высокого социального престижа. Но какими бы ни были итоги дрессировки, всякий раз мы видим, что жесты, запреты и страхи родителей являются проекциями социальных противоречий. В поведении родителей по отношению к ребенку непосредственно выражается наследственный характер монопольных шансов и социального престижа. Даже если ребенок ничего не знает обо всех этих противоречиях и о напряженности, характеризующей сеть человеческих отношений, он на себе ощущает угрозы престижу и унаследованной монополии.

Связь между внешними страхами, непосредственно выражающимися социальное положение родителей, и автоматически возникающими внутренними страхами ребенка имеют всеобщее значение, далеко выходящее за пределы той проблематики, что рассматривалась в данной работе. Полное понимание психики индивида и сути исторических трансформаций мы получили бы только при детальном рассмотрении всей цепи поколений. Пока что достаточно ясно, что организация души индивида в огромной мере зависит от социальной дифференциации, от давления

324

на него сети межличностных отношений, от социальных противоречий его времени.

Нам трудно ожидать от людей, живущих в ситуации таких противоречий и безвинно испытывающих чувство вины друг перед другом, что они будут вести себя так, словно они представляют собой вершину и цель «цивилизации» (хотя сегодня многие считают себя именно такой вершиной). К нашему стандарту поведения ведет долгий, длившийся многие столетия путь, определяемый работой механизма принуждения. Мы видим, как наш собственный стандарт продолжает меняться под воздействием аналогичного принуждения. И наше общество, и наш способ поведения, и присущие нам формы принуждения, запреты и страхи не являются чем-то окончательным, не говоря уж о том, что их трудно считать вершиной цивилизационного процесса.

Мы сталкиваемся с постоянной опасностью войны. Войны являются не только противоположностью мира. Войны мелких объединений на протяжении истории неизбежно вели к достижению внутреннего мира в рамках крупных общностей, были инструментами такого «внутреннего замирения». Конечно, все здание общества чувствительно к военным потрясениям — для всех участников войны есть риск крушения всей жизни, причем этот риск повышается вместе с ростом разделения функций и увеличением взаимной зависимости соперников. Поэтому в наше время мы являемся свидетелями растущего стремления к замене «борьбы на выживание» между государствами иными, менее рискованными и опасными инструментами насилия. Но очевиден и тот факт, что в наши дни, как и ранее, действие этого обладающего принудительной силой механизма взаимодействия приводит к военным столкновениям, к борьбе за установление монополии на все больших частях земли, причем все эти ужасы борьбы одновременно ведут и к дальнейшему «внутреннему замирению». В этих битвах уже угадываются противоречия следующей ступени развития общества. Мы видим первые очертания охватывающей всю землю системы противоречий между государственными союзами и всякого рода надгосударственными образованиями; между ними начинается «борьба на выживание», борьба за господство на всей земле, и эта борьба является предпосылкой образования всемирной монополии на насилие — политического центрального института, способствующего достижению мира на всей планете.

То же самое мы обнаруживаем в области экономического противостояния. Как мы видели, свободная хозяйственная конкуренция является не только противоположностью монополистического порядка. Эта конкуренция неизбежно ведет к собственной противоположности. С этой точки зрения, наше время также ни в коей мере нельзя считать целью и вершиной про-

325

цесса цивилизации, поскольку отчасти оно есть и время заката, как это было во все аналогичные по структуре переходные периоды. В этом отношении наше время также полно невыносимых противоречий и незавершенных процессов взаимодействия. Длительность этих процессов нам неведома, ход движения нам трудно предвидеть. Ясно только направление: налицо тенденция ограничения и преодоления свободной конкуренции. Иными словами, в человеческих отношениях происходит переход от неорганизованной монополюсной собственности (когда распоряжение шансами наследуется и находится в частной собственности высшего слоя) к социальной и публично контролируемой функции. За всеми сегодняшними противоречиями уже можно разглядеть противоречия следующей ступени — напряженность между высшими и средними функционерами, занятыми управлением монополией, противоречие между «бюрократией» и всем остальным обществом.

Только после решения и преодоления межгосударственных и внутригосударственных противоречий такого рода мы могли бы с большим правом называть себя *цивилизованными* людьми. Только тогда вошедшие в индивидуальное «Сверх-Я» правила нашего кодекса поведения могли бы избавиться от функций, которые не выражают нечто личное, но служат маркировке унаследованных привилегий, определяются принуждением и необходимостью отличать себя от прочих людей (причем это отличие определяется не личными заслугами, а ведется на основании орудий собственности и престижа, позволяющих провести грань между представителями какого-либо слоя и людьми, принадлежащими к нижестоящим группам). Только тогда регулирование отношений между людьми будет ограничиваться теми запретами и предписаниями, что необходимы для поддержания высокой дифференциации социальных функций и высокого уровня жизни, имеющего своей предпосылкой высокую производительность труда и растущее разделение функций. Лишь тогда самопринуждение сведется к ограничениям, необходимым для обеспечения, совместного труда, наслаждения и жизни без страха. Только с преодолением противоречий между людьми, противоречий в строении социальной сети, могут смягчиться внутренние противоречия в душе индивида. Только тогда не исключением, а нормой станет оптимальное равновесие в душе самого человека, для обозначения которого мы столь часто используем высокопарные слова, вроде «счастья» и «свободы». Оно означает *длительное состояние равновесия или даже гармонии между социальными задачами, требованиями всего общественного бытия человека, с одной стороны, и его личными стремлениями и потребностями — с другой*. Только такое строение межчеловеческих отношений, обеспечивающее существование каждого индивида, функционирующее таким образом, что все индивиды

рука об

326

руку трудятся в единой сети, решая общие для всех них задачи, создает возможность для возникновения и поддержания подобного равновесия. И только при его установлении мы с полным правом можем назвать людей *цивилизованными*. Вплоть до этого времени мы в лучшем случае имеем перед собой *процесс*

цивилизации и всякий раз должны повторять: «Цивилизация еще не завершилась, она еще только в становлении».

Примечания

¹ К широко распространенным сегодня представлениям относится то, что формы социальной жизни и отдельные общественные институты изначально следует объяснять их целесообразностью для тех индивидов, которых они связывают воедино. В согласии с таким представлением все выглядит так, будто, узрев целесообразность подобных институтов, люди некогда пришли к общему решению: нужно совместно жить так, а не иначе. Но это представление есть фикция, а уже потому вряд ли может быть хорошим инструментом исследования.

И согласие индивида сосуществовать с другими людьми, причем в определенных формах, и оправдание самих этих форм (скажем, формы государственного союза, т.е. того, что индивид связан с другими в качестве буржуа, служащего, рабочего или свободного крестьянина, а не в качестве рыцаря, священника, крепостного или кочевника) некими целями приводятся задним числом. У индивида в этом смысле не так уж велик выбор. Он рождается в рамках определенного порядка и определенных институтов; они выступают в качестве условий его жизни, что более или менее удачно для него. Даже если он не находит этот порядок и такие институты прекрасными и целесообразными, он не в состоянии просто отозвать свое согласие и выйти за рамки этого порядка. Он может попытаться вырваться из него — как авантюрист, «tramp», художник или писатель, — он может даже сбежать на необитаемый остров, но и как беглец он остается человеком, бежавшим от данного порядка, будучи порождением последнего. Неодобрение и бегство являются такими же признаками зависимости от этого порядка, как и его прославление и оправдание.

Одной из наших задач является прояснение природы той обладающей принудительной силой закономерности, которая задает формы совместной жизни людей, включая социальные формы и институты нашего собственного общества, возникающие и сохраняющиеся и меняющиеся на основе данной закономерности. Однако доступ к пониманию генезиса таких форм оказывается закрытым в том случае, если их пытаются представить наподобие результатов творения и деяния отдельных людей — как происшедшие благодаря индивидуальному целеполаганию, разумному рассуждению и планированию. Вряд ли можно подтвердить фактами представление, согласно которому люди Запада с раннего Средневековья общими усилиями и на базе ясного осознания своей цели разрабатывали рациональный план того порядка совместной жизни и тех институтов, в которых мы существуем сегодня. Как это происходило на самом деле, каким был исторический путь этих об-

327

щественных форм, можно понять только на основе ориентированного на факты и насыщенного эмпирическим материалом исследования. Мы исследовали только один его отрезок, пытались его понять, рассматривая с точки зрения государственной организации. Но тем самым мы пришли к воззрению, обладающему более общим значением, в частности, к выработке определенного подхода к природе социально-исторических процессов. Мы убедились и в том, что мы почти ничего не достигнем, объясняя институты, вроде «государства», беря за основу предпосылку рационального целеполагания.

Цели, планы и действия одних индивидов постоянно переплетаются с целями, планами и действиями других. Но такое переплетение, к тому же переходящее из поколения в поколение, само по себе не является чем-то запланированным. Его нельзя понять из планов и целей отдельных людей или даже по аналогии с планированием и целеполаганием. Здесь мы имеем дело с явлениями и закономерностями особого рода. Часто множество людей ставит перед собой одну и ту же цель, желая получить тот же участок земли, тот же рынок сбыта или занять ту же социальную позицию, но тем самым рождается то, что не входило в планы ни одного из них, а именно, специфический социальный феномен конкуренции, обладающий собственными закономерностями. Рост функциональной дифференциации, интеграция все больших территорий в форме государств и многие другие социально-исторические процессы также не были результатом осуществления планов множества людей, но проходили как нечто, никем не спланированное, но являющееся следствием столкновения таких планов.

Только такой подход к постижению своеобразной закономерности переплетения индивидуальных планов и действий в формах совместной жизни способен дать лучшее понимание и самого феномена индивидуальности. Сосуществование людей, сплетение их намерений и планов, связи между ними — все это, не уничтожая человеческой индивидуальности, образует ту среду, в которой может развиваться индивидуальность. Эта среда ставит индивиду границы, но одновременно она дает ему большее или меньшее пространство для развития. Социальная ткань, сплетенная из взаимосвязей людей, образует тот субстрат, из которого плетутся и ткуются индивидуальные цели. Но сама эта ткань с присущими ей историческими трансформациями в целом и не является результатом реализации чьих-либо планов и не выступает чьей-либо целью.

Подробнее по этому поводу см.: *Elias N.* Die Gesellschaft der Individuen. Basel, 1939; впервые данная работа была опубликована в: *Jahrbuch der schwedischen Gesellschaft für Philosophie und Spezialforschung*, Uppsala, 1939.

² Обсуждение проблемы социальных процессов см. в: *Social Problems and Social Processes. Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society. 1932 / Ed. by E.S. Bogardus.* Chicago, 1933.

Критику старых биологизаторских представлений о социальных процессах можно найти в: *Ogburn W.F.* Social Change. L., 1923. Мы читаем здесь (с.56): «The publication of the "Origin of Species", setting forth a theory of evolution of species in terms of natural selection, heredity and variation, created a deep impression on the anthropologists and sociologists. The conception of evolution was so profound that the changes in society were seen as a manifestation of evolution and there was an attempt to seek the causes of these social changes in terms of variation and selection... Preliminary

328

to the search for causes, however, attempts were made to establish the development of particular social institutions in successive stages, an evolutionary series, a particular stage necessarily preceding another. The search for laws led to many hypotheses regarding factors such as geographical location, climate, migration, group conflict, racial ability, the evolution of mental ability, and such principles as variation, natural selection, and survival of the fit. A half-century or more of investigations on such theories has yielded some results, but the achievements

have not been up to the high hopes entertained shortly after the publication of Darwin's theory of natural selection. The inevitable series of stages in the development of social institutions has not only not been proven but has been disproven...». («Публикация "Происхождения видов", в которой выдвигалась теория эволюции видов в терминах естественного отбора, наследственности и изменчивости, произвела глубокое впечатление на антропологов и социологов. Учение об эволюции было столь основательным, что общественные изменения они стали понимать как проявления эволюции, а причины этих социальных изменений пытались рассматривать в терминах изменчивости и отбора... Но перед тем, как отыскивать причины, предпринимались попытки установить последовательные стадии в развитии частных социальных институтов, эволюционные ряды, где одна стадия с необходимостью предшествует другой. Поиск законов привел к множеству гипотез относительно факторов, вроде географического положения, климата, миграций, группового конфликта, расовых способностей, эволюции умственных способностей, равно как и таких принципов, как изменчивость, естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Более полувека подобного теоретизирования дало некоторые результаты, но достижения были далеки от тех надежд, которые возникли вслед за публикацией дарвиновской теории естественного отбора. Неизбежность ряда стадий развития социальных институтов не только не получила подтверждения, но была опровергнута...» — *A.P.*)

О новых тенденциях в подходе к проблеме исторического изменения см.: *Goldenweiser A. Social Evolution // Encyclopedia of Social Sciences. N.Y., 1935. Т. 5. P. 656ff.* (здесь можно найти и обширную библиографию). Эта статья завершается следующим рассуждением: «Since the World War students of the social science without aiming at the logical orderliness of evolutionary schemes have renewed their search for relatively stable tendencies and regularities in history and society. On the other hand, the growing discrepancy between ideals and the workings of history is guiding the sciences of society into more and more pragmatic channels. If there is social evolution, whatever it may be, it is no longer accepted as a process to be contemplated but as a task to be achieved by deliberate and concerted human effort». («После мировой войны специалисты в области социальных наук, уже не имея в виду логическую упорядоченность эволюционных схем, возобновили поиск относительно стабильных тенденций и регулярно повторяющихся явлений в истории и в обществе. С другой стороны, растущее расхождение между идеалами истории и ее реальной работой направляет науки об обществе ко все более прагматическим путям. Какой бы ни была социальная эволюция, если она имеется, то она уже не принимается за процесс, который можно лишь созерцать, но признается в качестве задачи, решаемой посредством обдуманых и согласованных действий людей». — *A.P.*)

329

Предлагаемое читателю исследование процесса цивилизации отличается от прагматистских устремлений подобного рода именно тем, что мы пытаемся предвидеть все пожелания относительно того, что должно быть, установлением того, что истинно, что поистине существует, равно как и причин того, почему оно существует именно так, а не иначе. Нам кажется, что не диагноз должен зависеть от терапии, а наоборот, терапию следует назначать в зависимости от диагноза. Как было сказано в другой работе (*Teggart Fr. J. Theory of History. New Haven, 1925. P. 148*), «...the investigation of "how things have come to be as they are"». («...изучение того, "как вещи стали тем, чем они стали"». — *A.P.*)

³ Ср.: *Parsons E. C. Fear and Conventionality. N.Y.-L., 1914.* С иным взглядом мы встречаемся, например, в следующем фрагменте (*Sumner W.G. Folkways. Boston, 1907. P. 419*): «It is never correct to regard any one of the taboos as an arbitrary invention or burden laid on society by tradition without necessity... they have been sifted for centuries by experience, and those which we have received and accepted are such as experience has proved to be expedient». («Всегда неверно считать любое табу произвольным изобретением или грузом, который без всякой необходимости был возложен на общество традицией... они просеивались веками опыта, и нами получены и приняты те из них, что на опыте доказали свою состоятельность». — *A.P.*)

⁴ Хорошее представление об этом дают приводимые Хейзингой примеры (см.: *Huizinga J. Der Herbst des Mittelalters. München, 1924. Кар. I, S. 239ff.*). Сказанное выше в полной мере относится также к обществам со сходной структурой на современном Востоке, равно как и к так называемым «примитивным обществам» (с учетом их типа, уровня развития, размера социальной сети).

То, насколько дети в нашем собственном обществе — при всем воздействии на них «цивилизации» — все еще следуют иному стандарту поведения с присущими ему простыми и прямолинейно выражаемыми чувствами, с резкими переходами от одних аффектов к другим, им прямо противоположным, заметно в описании того, что детям нравится в кинокартинах, которые они смотрят («Daily Telegraph», 12 Febr., 37): «Children, especially young children, like aggression... They favour action, action and more action. They are not averse from the shedding of blood, but it must be dark blood. Virtue triumphant is cheered to the echo; villainy is booed with a fine enthusiasm. When scenes of one alternate with scenes of the other, as in sequence of pursuit, the transition from the cheer to the boo is timed to a split second». («Дети, особенно маленькие, любят агрессию... Они предпочитают действие, действие и еще раз действие. Они не испытывают ни малейшего отвращения к кровопролитию, только кровь эта должна быть черной. Эхо разносит аплодисменты, встречающие триумф добродетели, порок с восторгом осмистывается. Когда одни сцены перемежаются другими, словно в погоне, переход от аплодисментов к свисту должен происходить мгновенно». — *A. P.*)

Специфическая структура табу, действующих в простейших обществах, теснейшим образом связана с иной силой проявления эмоций, с их колебаниями в разные стороны то к страху, то к наслаждению, то к симпатии, то к антипатии. Выше (см. с. 243сл., в особенности с. 246—247; ср. также: настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.11 «Некоторые мысли о процитированных правилах поведения за столом». Группа 2. —

330

с. 168 сл.) мы уже указывали на то, что во времена западного Средневековья сильнее, интенсивнее, а потому и суровее, чем на более поздних ступенях процесса цивилизации, заявляли о себе не только влечения и аффекты, относимые к наслаждению, но равным образом и запреты, склонности к самоистязанию и аскезе. Ср. со следующим замечанием (*Lowie R.B. Food Etiquette // «Are we civilized?». L., 1929., P. 48*): «...the savage rules of etiquette are not only strict, but formidable. Nevertheless, to us their table manners are shocking». («...правила этикета дикарей являются не только строгими, но и очень грозными. Тем не менее нас шокируют их манеры поведения за столом». — *AP.*)

⁵ См.: *Judd Ch.H. The Psychology of Social Institutions. N.Y., 1926. P. 105ff.* (см. также 32ff. и 77ff.).

⁶ Предисловие к «Карманному оракулу» Грасиана, написанное Амело де ла Уссэ (Париж, 1684). Вышедший в 1647 г. «Oraculo Manuale» Грасиана только во Франции XVII—XVIII вв. публиковался более двадцати раз. В известной степени его можно считать первым учебником придворной психологии, подобно тому, как «Государь» Макиавелли был первым классическим учебником придворно-абсолютистской политики. Правда, Макиавелли в большей мере, чем Грасиан, выражает позицию князей, оправдывая «государственный интерес» становящегося абсолютизма. Испанский иезуит Грасиан всем своим сердцем презирает «raison d'État». Он поясняет себе и другим правила большой придворной игры, но оценивает эту игру как нечто, чему приходится волей или неволей подчиняться, поскольку иначе уже нельзя.

Однако, при всех различиях способов поведения, описанных Макиавелли и Грасианом, в глазах буржуазного среднего класса эти способы в равной мере выглядели «аморальными», хотя подобное поведение и мироощущение не так уж редки и в буржуазном мире. В осуждении придворной психологии и поведения при дворе со стороны далекой от двора буржуазии находит свое выражение различие в социальном моделировании. Общественные предписания и запреты встраиваются в душевный аппарат далекой от двора буржуазии иначе, чем у придворных. «Сверх-Я» у таких буржуа строже и могущественнее. Агрессивная составляющая повседневности в буржуазном мире также не полностью уходит из практики, но она сильнее, чем у придворных, изгоняется из сознания и теперь уже относится к тому, о чем не может говорить вслух писатель, да и любой человек вообще.

В придворно-аристократических кругах призыв «Ты должен» часто выступает исключительно как предписание житейской мудрости, продиктованное практической необходимостью общения с другими людьми. Из сознания взрослых никогда не исчезает то, что речь идет о предписании, с которым нужно считаться, ибо человеку приходится сосуществовать с другими людьми. В среднем классе, у буржуа, такого рода предписания и запреты с ранних лет укореняются много глубже; они выступают не как практические принципы житейской мудрости, но как полуавтоматически функционирующие импульсы совести. Поэтому приказы «Ты должен» и «Ты не должен», исходящие от «Сверх-Я», гораздо более постоянно и сильно вмешиваются в переработку наблюдений того, что есть на самом деле.

Из множества напрашивающихся примеров приведем хотя бы некоторые. В одном из советов, звучащем как «Connaître à fond le caractère

331

de ceux avec qui l'on traite» — «Знать нрав тех, с кем имеешь дело» (*здесь и далее перевод текстов Грасиана дается по: Бальтасар Грасиан. Карманный Оракул, или Наука Благоразумия. М., Наука, 1981. — А.Р.*), Грасиан, помимо всего прочего, также указывает: «N'attends presque rien de bon de ceux qui ont quelque défaut naturel au corps; car ils ont coutume de se venger de la Nature...». — «Не жди добра от уroda, таких обидела сама природа, и, как она их не уважила, так и они ее не уважают...» (№273). Получившая столь же широкое распространение в Англии XVII в. буржуазная книга хороших манер, явившаяся источником «правил» Дж. Вашингтона (*Hawkins F. Youth's Behaviour. 1646*), ставит на первое место «Ты не должен», а тем самым дает иную моральную трактовку и поведения, и наблюдения за людьми (см. №31): «Score not any for the infirmities of nature, which by no art can be amended, nor do thou delight to put them in minde of them, since it very oft procures envye and promotes malice even to revenge». («Не насмехайся над телесными недостатками, которых никак нельзя исправить, равно как не наслаждайся указанием на них, ибо это очень часто вызывает зависть и способствует злобе, доходящей даже до мести». — А.Р.)

Одним словом, у Грасиана, так же как в максимах Ларошфуко и Лабрюйера, мы сталкиваемся с теми же видами поведения, которые описываются, скажем, Сен-Симоном, как распространенные в самой придворной жизни. У Грасиана мы вновь и вновь обнаруживаем указание на необходимость сдерживания своих страстей: «N'agir jamais durant la passion. Autrement, on gâtera tout» — «Никогда не действовать в пылу страсти — все сделаешь не так» (№287). Или: «L'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses, la passion parle en lui et non la raison». — «Страстный говорит на языке, искажающем действительную суть вещей: в нем говорит страсть, а не рассудок» (№273). Здесь мы имеем также изображение «психологической установки» постоянно принимать в расчет характер людей: «Connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite» (№273). Или ее результат: «Tous ceux qui paraissent fou, le sont, et encore la moitié de ceux, qui ne le paraissent pas». — «Глупы все, кто глупцами кажутся, и половина тех, кто не кажутся» (№201). Говорится о необходимости наблюдать за самим собой: «Connaître son défaut dominant». — «Знать основной свой недостаток» (№225); о допустимости и даже неизбежности говорить полуправду: «Savoir jouer de la vérité». — «Пользоваться правдой умело» (№210). Представлена точка зрения, что истина заключается в существовании по правде, заложенной в субстанции человека, а не только в его отдельных словах: «L'homme substantiel. Il n'y a que la Vérité, qui puisse donner une véritable réputation; et que la substance, qui tourne au profit». — «Человек основательный. Лишь правда приносит подлинную славу, лишь основательность — пользу» (№175). Подчеркивается необходимость предвидения: «Penser aujourd'hui pour demain, et pour longtemps». — «Думать загодя. Нынче на завтра, на многие дни вперед» (№151). Предписывается мера во всем: «Un Sage a compris toute la sagesse en ce précepte, RIEN DE TROP». — «Некий мудрец сводил всю мудрость к мере, И НЕ ЗРЯ» (№82). Специфической для придворной аристократии формой совершенства является отточенная со всех сторон, подчиненная мере и ею преобразованная естественная природа человека — легкость, шарм, новая красота существа, благодаря этой об-

332

работке превращенного из животного в человека: «Le JE-NE-SAIS-QUOI. Sans lui toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce... Les autres perfections sont l'ornement de la Nature, le Je-ne-sais-quoi est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner». — «Непринужденность во всем. Без нее и красота мертва и чары бессильны... Прочие достоинства — украшение природы, а непринужденность — украшение самих достоинств; даже в рассуждениях ее весьма ценят.» (№127). А вот мнение о человеке, аффектации: «L'homme sans affectation. Plus il y a de perfections et moins il y a d'affectation. Les plus éminentes qualités perdent leur prix, si l'on y découvre de l'affectation, parce qu'on les attribue plutôt à une contrainte artificieuse qu'au vrai caractère de la personne». — «Человек без напускной важности. Чем больше достоинств, тем меньше напускного... Даже высокие достоинства много теряют из-за напыщенности — в них тогда видят лишь плод нарочитых ухищрений, а не свободной природы...» (№123). Война между людьми неизбежна, но вести ее нужно достойно: «Faire bon guerre. Vaincre un scélérat, ce n'est pas vaincre, mais bien se laisser

vaincre. Tout ce qui sent la trahison, infecte le bon renom». — «Вести войну честно... Подлая победа — не победа, а поражение... все, что отдает предательством, марает доброе имя» (№165). Всякий раз в этих предписаниях мы встречаем в качестве обоснования необходимость учитывать мнение других людей, иметь хорошую репутацию, «доброе имя». Иначе говоря, обоснование здесь «внутримирское», оно дается через указание на социальную необходимость. Религия играет незначительную роль: Бог лежит за пределами человеческого круга общения. Всякое благо приходит к человеку от других людей: «Faire des amis. Avoir des amis, c'est un second être... tout ce que nous avons de bon dans la vie, dépend d'autrui». — «Обзаводиться друзьями. Дружба — второе бытие... Большая и лучшая часть того, чем мы богаты, зависит от других» (№111).

Такое обоснование предписаний — не вечным моральным законом, но «внешней» необходимостью, указаниями на других людей, — является причиной того, что максимы всего придворного кодекса поведения кажутся буржуазному наблюдателю более или менее аморальными или, по крайней мере, «слишком реалистичными». Предательство в буржуазном мире ощущается как нечто запретное не по практическим основаниям, вроде необходимости сохранить «доброе имя», но из-за внутреннего голоса совести, т.е. в силу морального запрета. Точно такую же трансформацию предписаний и запретов мы видели при определении правил поведения при еде, мытье и прочих элементарных физиологических отправлениях человека. То, что в придворно-аристократических кругах у взрослых регулировалось посредством требования непосредственного учета мнения других и страха дурно выглядеть в их глазах, у индивида буржуазного мира становится формой самопринуждения. Здесь поведение взрослых уже прямо зависит не от страха перед другими, но от «внутреннего голоса», от страха, автоматически воспроизводимого собственным «Сверх-Я» индивида. Короче говоря, оно зависит от морального запрета, которому не требуются обоснования.

⁷ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II, группа 1 (п. 7—10).

⁸ *Haskins Ch.H.* The Spread of ideas in the Middle Ages // *Studies in Mediaeval Culture*. Oxford, 1929. P. 92ff.

333

⁹ См. выше: часть третья, глава III.I (п. 27-38; с. 67сл.). Помимо материалов по миннезангу, имеются и другие свидетельства этого стандарта, иной раз еще более отчетливо указывающие на последний. См., например, небольшое прозаическое сочинение «De Amore» Андреаса Капеллануса из круга Марии Шампанской, равно как и всю средневековую дамскую литературу. ¹⁰ *Haskins Ch.H.* Op. cit. P. 94.

¹¹ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава XI.

¹² См. выше: часть третья, глава II.

¹³ *La Bruyère*. Caracteres, Paris, De la Cour // *Œuvres*. 1922 Vol. II. P. 237. №64. Ср. также №99 в том же сочинении: «Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier: ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles... Quel fond à faire sur un personnage de comédie!» («Через сто лет мир в существе своем останется прежним: сохранится сцена, сохраняются декорации, сменятся только актеры. Те, кто сегодня радуется полученной милости или огорчается и отчаивается из-за отказа в ней, все до одного сойдут со сцены. На подмостки уже выйдут другие люди, призванные сыграть те же роли в той же пьесе... Стоит ли возлагать наши надежды на лицедеев?» — *A.P.*) Чувство неизменности, а тем самым и неизбежности существующего порядка здесь много сильнее, чем на последующей фазе, когда понятие «civilisation» постепенно начнет занимать место понятия «civilité».

Для сравнения можно привести слова из раздела «Des Jugements»: «Tous les étrangères ne sont pas Barbares, et tous nos Compatriotes ne sont pas civilisez». («Не все чужеземцы варвары, и не все наши соотечественники люди цивилизованные». — *A.P.*)

¹⁴ *La Bruyère*. Op. cit. P. 247. №94.

¹⁵ Ibid. P. 211. См. также: Ibid. P. 211. №10: «La cour est comme un édifice bâti de marbre: je veux dire qu'elle est composé d'hommes fort durs, mais fort polis». («Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных». — *A.P.*) Ср. также прим 6

¹⁶ *St.-Simon*. Op. cit. P. 63.

¹⁷ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава III «Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения»; в особенности с. 139-140.

¹⁸ *Ranke L.* v. Französische Geschichte. 10, Kap. 3.

¹⁹ *St.-Simon*. Op. cit. Vol. 22. P. 20-22ff. (1711). В этих беседах речь шла не больше, не меньше, как о попытке склонить наследника трона к иной форме правления, предполагающей изменить соотношение сил верхушки буржуазии и верхушки дворянства при дворе и сместить центр тяжести в пользу последней. Целью Сен-Симона и его друзей было восстановление власти «пэров». Им предназначались высшие посты в государстве — министерские должности должны были перейти из рук буржуа в руки представителей высшего дворянства. Попытка такого рода была предпринята сразу после смерти Людовика XIV, при регенте, в чем самое активное участие принял Сен-Симон. Эта попытка оказалась unsuccessful. Французскому дворянству не удалось то, что получилось у английского: стабилизировать господство аристократии, создав более или менее строгие правила, по которым шла борьба за ре-

334

шающие политические посты между различными группами и кликами дворянства. Противоречия и борьба интересов между высшей аристократией и верхушкой буржуазии были во Франции значительно большими, чем в Англии. Под покровом абсолютизма они постоянно давали о себе знать. Но, как это случается при любом единовластии, борьба шла в высшем кругу, вокруг правителя, и велась она за закрытыми дверями. Сен-Симон был одним из главных участников этой борьбы.

²⁰ При всей важности этой проблемы, мы пока оставляем ее в стороне. Для ее решения потребовался бы детальный анализ тех трансформаций, которые в ходе западной истории претерпели структура семьи и вся совокупность отношений между полами. В свою очередь, для этого анализа понадобилось бы провести

исследование перемен в воспитании детей и подростков. Имеющийся по этому поводу материал, собранный нами для рассмотрения процесса цивилизации, весьма обилен, равно как и аналитические труды по этому поводу; но рассмотрение данного материала выходит за рамки настоящей работы, и, нужно надеяться, подобное исследование найдет себе место в следующих трудах.

То же самое можно сказать о месте третьего сословия в процессе цивилизации, о линии развития городской буржуазии, а не слоя придворной аристократии. При всей зависимости трансформации поведения и изменения психических функций от общих перемен в *целостной* структуре западного общества, схема этих изменений у далеких от двора буржуа отличается от схемы, характерной для придворных, — мы на это уже многократно указывали. Это относится в первую очередь к изменениям в области сексуальности.

Отчасти в силу иной структуры семьи, отчасти из-за иного уровня предвидения и расчета, которого требовали профессиональные функции представителей третьего сословия, в области сексуальности также имелись различия. Нечто подобное мы обнаруживаем и при рассмотрении цивилизационной трансформации западной религии. Та трансформация религиозного мироощущения, которой в основном уделяют внимание социологи, — сдвиг к внутреннему переживанию и рациональности в различных пуританских и протестантских движениях — находится в явной и тесной связи с изменениями в положении третьего сословия и в его структуре. Соответствующая ей цивилизационная трансформация в рамках католицизма, нашедшая свое выражение, скажем, в образовании и росте могущества ордена иезуитов, получала подкрепление со стороны иерархически централизованной организации католической церкви, находившейся в тесной связи с абсолютистской центральной властью. Эти проблемы получают свое решение только вместе с детальным изучением взаимодействия придворной и буржуазной линий развития цивилизации — если отвлечься пока от возникшего значительно позже цивилизационного движения в рабочих и крестьянских слоях.

²¹ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава VIII.II «Некоторые мысли о процитированных текстах о плевании» (с. 236сл.).

Ср. также сказанное об общей проблеме чувства стыда (The Spectator. 1807. Vol. V. №373): «If I was put to define Modesty, I would call it, The reflection of an ingenuous Mind, either when a Man has committed an Action for which he censures himself, or fancies that he is exposed to the Censure of others» («Если бы мне пришлось определять Скромность, то

335

я назвал бы ее Размышлением бесхитростного Ума о Действии, совершенном Человеком, за которое либо он себя порицает, либо представляет себе, что его порицают другие». — *A.P.*). См. там же заметку об отличии чувства стыда у мужчин и женщин.

²² См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II. Группа 2 (с. 189сл.).

²³ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава XI (с. 286сл.).

²⁴ См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II. Группа 1 (с. 177сл.).

²⁵ Национальный характер англичан в целом или отдельные его черты исследователи часто выводят из географического положения. Но островное положение страны как нечто данное природой прямо не влияет на национальный характер ее жителей. Тогда представители всех прочих островных наций обладали бы схожими чертами характера, и ближайшим англичанам по *habitus*'у и поведению народом были бы японцы. Национальный характер определяет не островное положение как таковое, а значение этого фактора для социальной структуры и истории расположенного на острове общества. Особенностью исторического развития Англии — в отличие от Японии — было то, что воинские достоинства (попросту говоря — профессия солдата) не обладали здесь большим престижем и не отличались высоким статусом по сравнению с прочими социальными функциями.

В Англии дворянству, достигшему относительного внутреннего мира внутри своего слоя, совместно с верхушкой буржуазии удалось ограничить королевскую военную власть и рано поставить под контроль применение орудий насилия в самой стране. Созданию именно такой организации монополии на насилие действительно способствовало островное положение — в этом смысле оно сыграло известную роль в формировании национального характера англичан. Насколько некоторые черты английского «Сверх-Я» — или, если угодно, «совести» — отображают эти особенности строения монополии на насилие, видно по тому, что доньше в Англии «conscientious objector» может по мотивам совести отказываться от несения военной службы. Здесь по-прежнему достаточно широко распространено представление, что всеобщая воинская повинность представляет собой опасное ограничение индивидуальной свободы. Вероятно, вековая сила и жизнеспособность неконформистских движений и организаций в Англии объясняются и тем, что официальная церковь здесь не становилась на сторону полицейского и военного аппарата в такой мере, в какой это делала церковь в протестантских государствах Германии. Внешнее принуждение, ограничивающее применение вооруженного насилия, здесь также начинается раньше, чем в других европейских странах; оно быстрее, чем на континенте, превращается в самопринуждение — в особенности там, где речь идет о государственной жизни. Островное положение оказало, таким образом, влияние на национальный характер англичан, но именно посредством того, что оно воздействовало на социальную историю этого народа.

²⁶ См. настоящее издание, том I: часть первая, глава I.IV (с. 71сл.); часть вторая, глава III (с. 136сл.); прим. 1 к главе III (с. 145—148).

См. также: *Loewe A.* The Price of Liberty. L. P. 31. Здесь говорится: «The educated German of the classical and post-classical period is a dual

336

being. In public life he stands in the place which authority has decreed for him, and fills it in the double capacity of superior and subordinate with complete devotion to duty. In private life he may be a critical intellectual or an emotional romantic... This educational system has come to grief in the attempt to achieve a fusion of the bureaucratic and humanist ideals. It has in reality created the introverted specialist, unsurpassed in abstract speculation and in formal organization, but incapable of shaping a real world out of his theoretical ideas. The English educational ideal does not know this cleavage between the world within and the world without...». («Образованный немец классического и постклассического периода представляет собой двойственное

существо. В общественной жизни он занимает то место, которое предписано ему властями, и пребывает на этом месте в двух качествах — высшего и нижестоящего — со всей преданностью долгу. В частной жизни он может быть критически настроенным интеллектуалом или эмоциональным романтиком... Эта система образования так и не смогла соединить бюрократические и гуманистические идеалы. На деле она произвела специалиста-интроверта, непревзойденного в абстрактных умозрениях и формальной организации, но не способного воплотить свои теоретические идеи в реальность. Английский идеал воспитания не знает такого разрыва между внутренним и внешним мирами...». — *А.Р.*)

²⁷ См. выше: часть третья, глава III.I (п. 27—38; с. 67сл.).

²⁸ См. выше, с. 99сл. и с. 103 сл.

Мы уже неоднократно подчеркивали, что сила противоречий между различными единицами власти и сила социальных противоречий в каждой из них неразрывно связаны друг с другом. Такого рода взаимосвязи хорошо заметны уже на заре западной истории, в феодальном обществе с преобладанием натурального хозяйства. Рост населения оказывает давление на общественное развитие и ведет к экспансии, ко всякого рода конкурентной борьбе, скажем, к стремлению завладеть каким-то участком, отняв его у противоборствующих бедных рыцарей, к желанию расширить свои владения за счет других, возникающему у рыцарей побогаче — графов, князей, королей. Но это давление является следствием не роста населения как такового, но связи этого роста с существующими отношениями собственности, с монополизацией частью рыцарства важнейших средств производства. С какого-то времени земля была прочно закреплена во владении одних, тогда как семьям и индивидам, ею еще не владевшим, доступ к земле был затруднен — отношения собственности становились все более прочными. В такой социальной констелляции количественный дальнейший рост как крестьян, так и рыцарей, утрата многими людьми своего прежнего стандарта существования вызывали давление, сверху донизу пронизывавшее все общество. Оно обнаруживается и в пределах каждой области, и между ними, ведя к обострению конкурентной борьбы (см. выше, часть третья, глава III.I, с. 41-54, 60-67). Точно так же в индустриальном обществе за рост давления в каждом государстве ответственность несет не абсолютная величина народонаселения и уж ни в коей мере не его прирост, но плотность населения плюс существующие отношения собственности — т.е. отношения между теми, кто в форме неограниченной монополии распоряжается шансами, и теми, кто этих шансов лишен.

Уже поверхностное наблюдение говорит нам о том, что степень социального давления в разных западных государствах различна. У нас

337

по-прежнему отсутствует строгий научный инструментарий, с помощью которого мы могли бы тщательно проанализировать эти уровни давления; отсутствует и точно установленный материал наблюдения, на основании которого мы могли бы сопоставлять уровни давления в разных странах. Пока что мы можем определять это «внутреннее давление» лишь с точки зрения жизненного стандарта, если понимать под последним не только покупательную способность, но также рабочее время и интенсивность труда, необходимые для достижения этой покупательной способности. К тому же мы не поймем этого давления и противоречий в сообществе, если будем рассматривать различия между слоями в жизненном стандарте статически, т.е. на известный момент времени, а потом сравнивать эти различия с другими странами. Нужно сравнивать их на протяжении длительных отрезков времени. Силу напряженности в обществе и силу давления избыточного населения часто можно установить не по абсолютной величине существующего уровня жизни, но по остроте неожиданных перемен, когда стандарт одних слоев неожиданно опускается в сравнении с уровнем жизни других. Чтобы понять степень давления и уровень напряженности в рамках одной страны, нужно иметь перед глазами всю историческую линию развития жизненного стандарта различных ее слоев.

Поэтому для получения ясной картины противоречий и уровня давления в рамках одной из промышленно развитых наций мы не можем ограничиться изображением самой этой нации. То, насколько высок жизненный уровень одного социального слоя, устанавливается в сравнении его с другими слоями; точно так же жизненный стандарт каждой из наций определяется ее положением в функциональной сети всех наций и государств земного шара. Пусть не во всех, но в большинстве индустриальных государств Европы высокий жизненный стандарт мог быть достигнут только при условии постоянного ввоза сельскохозяйственных продуктов и сырых материалов. Такой ввоз мог быть оплачен только за счет доходов, полученных от вывоза, вложения капитала в других странах или за счет собственного золотого запаса. Поэтому не только внутреннее давление, угроза падения жизненного уровня широких слоев ведут к обострению конкуренции между индустриальными державами, но и межгосударственная конкуренция, в свою очередь, играет немалую роль в усилении социального давления во внутренней конкуренции в пределах одной нации.

В известной степени это относится и к странам, которые экспортируют преимущественно сельскохозяйственные продукты и сырье. В действительности сказанное относится ко всем странам, участвующим в разделении труда и выполняющим какие-то функции в сети межгосударственных связей. Их население может сохранять приемлемый жизненный стандарт лишь располагая достаточными возможностями ввоза и вывоза продукции. Значительные различия между нациями связаны с их чувствительностью к колебаниям международного обмена, к спадам, к быстрым или медленным изменениям в ходе конкурентной борьбы. Особенно чувствительны к ним государства с относительно высоким жизненным уровнем, с заметным смещением центра тяжести во взаимоотношениях между промышленностью и аграрным сектором в пользу индустрии. Оба сектора здесь существенно зависят от ввоза сырых ма-

338

териалов. Эта зависимость становится еще большей, если доходы от вложенного за границей капитала или золотой запас страны недостаточны для поддержания баланса и исключена возможность «экспорта людей» в форме эмиграции. Все эти проблемы требуют тщательного исследования, которое выходит за пределы настоящей книги. Но именно такое исследование могло бы установить причины того, почему напряженность в системе равновесия европейских государств оказывается гораздо более значительной, чем, скажем, в системе латиноамериканских наций.

Мы часто сталкиваемся с воззрением, согласно которому для общего блага всех партнеров достаточно предоставить высокоразвитым промышленным государствам возможность свободной конкуренции. Но эта свободная игра сил в действительности означает жестокую конкурентную борьбу, подчиненную тем же законам, что и свободная конкуренция в других областях. Равновесие между союзами государств является

чрезвычайно подвижным, в нем происходят различные смещения, направление которых можно установить только при длительном наблюдении. Экономическая конкуренция между промышленно развитыми нациями при всех колебаниях идет на пользу одним и во вред другим. Возможности экспорта и импорта для стран, ослабевших в этой борьбе, существенно ограничиваются. Государству, которое долгое время находится в таком положении (если оно, как было сказано выше, не может компенсировать потери за счет доходов с вложенного за границей капитала или золотого запаса), остается всего лишь две возможности: оно либо форсирует вывоз, понижая цены на экспортируемые товары, либо ограничивает ввоз. И то, и другое прямо или косвенно ведет к снижению жизненного уровня жителей этой страны. Такое снижение коснется прежде всего тех, кто не располагает в этой монополярной системе экономическими шансами; они видят перед собой как бы двойной круг монополистов — монополистов в собственной стране и монополистов, представляющих чужие государства. Давление снизу ведет к тому, что свои монополисты, а тем самым и все эти государства в целом, вступают в конкурентную борьбу с другими нациями. Так внутренняя напряженность усиливает внешнюю. Разумеется, из многообразных связей мы выделили лишь один ряд. Но уже фрагментарное напоминание об этом ряде показывает принудительный характер и силу сегодняшних механизмов конкуренции и образования монополий.

²⁹ См. выше, с. 154—156. Общий обзор современных теорий возникновения государства дан в: *Macleod W.C.* The Origin and History of Politics. P. 139ff.

³⁰ См. выше, с. 106 сл.

³¹ См. выше, «Проект теории цивилизации», V; особенно начиная со с. 279.

³² См. выше, с. 242-243, с. 260-261, с. 297сл.

³³ См. выше, с. 259сл., 267сл., 270—272, 292сл., а также «Проект теории цивилизации», VI. Ср. также: *Parsons E. C.* Fear and Conventionality. Там говорится (p. XIII): «Conventionality rests upon an apprehensive state of mind...» («Конвенции покоятся на тревожных состояниях сознания...». — *A.P.*), а также (p.73): «Table manners are, I suppose, one of our most marked class distinctios» («Манеры поведения за столом, как мне кажется, выступают как наши наиболее отчетливые классовые различия». — *A.P.*). Парсонс приводит слова из работы У.Джеймса (*James W.* Principles of

339

Psychology. N.Y., 1890. P.121): «Habit is the enormous fly-wheel of society, its most precious conservative agent. It alone is what keeps us all within the bounds of ordinance, and saves the children of fortune from the envious uprisings of the poor. It alone prevents the hardest and most repulsive walks of life from being deserted by those brought up to tread therein». («Привычка — это огромное маховое колесо общества, она представляет собой самый ценный консервативный фактор. Только она удерживает всех нас в пределах порядка, спасая детей фортуны от завистливых бунтов бедноты. Она одна мешает тому, что не дезертируют вовлеченные на самые трудные и отвратительные жизненные пути». — *A.P.*).

Общий вопрос, которому было посвящено данное исследование, уже долгое время рассматривается в американской социологии. См., например, у Самнера (*Sumner W.G.* Folkways. Boston, 1907. P. 418): «When, therefore, the ethnographers apply condemnatory or depreciatory adjectives to the people whom they study, they beg the most important question which we want to investigate: that is, what are standards, codes, and ideas of chastity, decency, propriety, modesty etc. and whence do they arise? The ethnographical facts contain the answer to this question, but in order to reach it we want a colorless report of the facts». («Поэтому, когда этнографы применяют осуждающие и умаляющие прилагательные к изучаемым ими народам, они считают заранее решенным тот самый вопрос, который заслуживает нашего изучения: каковы стандарты, коды, идеи целомудрия, приличия, собственности, скромности и т.д. и откуда они взялись? Факты этнографии содержат ответ на этот вопрос, но чтобы его достигнуть, нам требуется лишенный прикрас отчет о фактах». — *A.P.*) Вряд ли следует специально оговаривать то, что сказанное Самнером относится к исследованию не только чужих и более простых обществ, но и нашего собственного общества во всей его истории.

Стоявшая перед нашим собственным исследованием проблема в работах последних десятилетий была четче всего сформулирована Джаддом (*Judd Ch.H.* The Psychology of Social Institutions. N.Y., 1926. P. 276) — это следует признать, даже если нами был избран иной путь к ее решению: «This chapter will aim to prove that the types of personal emotions which are known to be civilized men are products of an evolution in which emotions have taken a new direction... The instruments and means of this adaptation are the institutions, some of which have been described in foregoing chapters. Each institution as it has become established has developed in all individuals who come under its influence a mode of behavior and emotional attitude which conform to the institution. The new mode of behavior and the new emotional attitude could not have been perfected until the institution itself was created. The effort of individuals to adapt themselves to institutional demands results in what may be properly described as a wholly new group of pleasures and displeasures». («Данная глава имеет своей целью показать, что известные цивилизованному человеку типы личностных эмоций являются порождением эволюции, по ходу которой эмоции принимали новое направление... Инструментами и средствами такой адаптации выступают институты, часть которых была описана в предшествующих главах. Каждый институт с момента своего установления развивал в подпадавших под его влияние индивидах соответствующие данному институту способ поведения и эмоциональ-

340

ную установку. Новый способ поведения и новая эмоциональная установка не могли быть усовершенствованы до того, как был создан сам институт.

Усилия индивидов, направленные на приспособление к институциональным требованиям, ведут к тому, что можно описать как совершенно новую группу удовольствий и неудовольствий». — *A.P.*).

Приложение

Перевод иноязычных текстов

Часть третья. О социогенезе западной цивилизации

1) Настал день, когда потомок Карла Великого, окруженный собственниками — хозяевами своих доменов, уже не мог найти иного средства удерживать людей у себя на службе, кроме как раздать им земли фиска с предоставлением иммунитета; иначе говоря, он делал их все более независимыми, чтобы продолжать править, а для того должен был все больше отрекаться от власти.

2) ...Рабский труд вмещается в работу, производимую свободным трудом. Он вмещается тройным образом: он отвлекает значительное число людей от производства, привлекая их к надзору и национальной обороне; он распространяет общее предубеждение против физического труда и любой формы сосредоточенной деятельности; и, в особенности, он вытесняет свободных тружеников из тех областей, где задействованы рабы. Подобно тому как по закону Грэшема, плохая монета вытесняет хорошую, опытным путем было установлено, что в любой данной профессии или ряде профессий рабский труд вытесняет свободный. Это ведет к тому, что трудно найти рекрутов даже для высших ступеней в профессии, если для них необходимым оказывается обретение навыков путем ученичества рядом с рабами на низших ступенях.

Это ведет к тяжелым последствиям. Ведь вытесненные с этих мест люди сами по себе недостаточно богаты, чтобы жить только за счет рабского труда. Тем самым они начинают образовывать слой бездельников, которым остается добывать средства пропитания так, как они могут. Это — класс, известный современным экономистам как «подлые белые» или «белые подонки», а изучавшим римскую историю — под названиями «clientes» или «faex Romuli». Этот класс способствует как социальным беспорядкам, так и формированию милитаристско-агрессивному характеру рабовладельческого государства...

Таким образом, рабовладельческое государство строго делится на три класса: хозяева, подлые белые и рабы, причем средним классом оказываются *именно* бездельники, живущие либо за счет сообщества, либо войной, либо за счет высшего класса.

Однако имеется еще один результат. Общее предубеждение против производительного труда ведет к такому положению дел, что рабы становятся единственными производителями, а отрасли, в которых они заняты, единственными производительными отраслями страны. Иными словами, общество зависит в своем богатстве от тех занятий, которые сами по себе не претерпевают изменений и не адаптируются к пе-

342

ременам внешних обстоятельств, и если дефицит рабочих рук покрывается их размножением, то они испытывают постоянный недостаток капитала. А этого капитала в самом обществе не найти, и оно вынуждено искать его за границей. Тем самым рабовладельческое общество будет либо вовлекаться в военную агрессию, либо делаться должником, заимствующим капитал у соседей с системой свободного труда...

3) Вторжение ислама... имело своим следствием то, что они оказались в условиях, каковых никогда не существовало с начала истории.

4) Дед мой и восемь его сыновей были последышами почти исчезнувшей уже в ту пору в нашей провинции породы мелких феодальных тиранов, которые в течение стольких веков наводняли и разоряли Францию. Прогресс, стремительно шествовавший навстречу великим революционным схваткам, все успешнее сметал со своего пути узаконенный разбой и бесчинства феодалов. Лучи просвещения, какое-то подобие хорошего вкуса, далекие отблески галантного двора, а может быть, предчувствие близкого и грозного пробуждения народа, проникали и в старинные замки и в полудеревенские усадьбы мелких дворянчиков. (*Занд Ж.* Мопра. М., «Художественная литература», 1958. С. 28.)

5) Денег Мопра не требовали. Звонкая монета — это то, что здешнему крестьянину труднее всего добыть и что всего досаднее выпустить из рук. Излюбленная его поговорка — «деньги дороги»: ведь деньги для него не затрата физического труда, но средство обмена и общения с людьми за пределами его деревни, плод расчета и бережливости; они достаются на рынке ценой напряжения всех его духовных сил, которое выводит крестьянина из состояния привычной косности; одним словом, добывание денег — труд умственный, то есть для крестьянина — труд самый тягостный, самый хлопотливый. (*Занд Ж.* Указ. соч. С. 30.)

6) Король слушает, и лицо его делается гневным: он сжимает кулак и наносит жене удар по лицу, так что из ее носа падают четыре капли крови. Жена же говорит: «Благодарю Вас. Если Вам это доставляет радость, Вы можете сделать это еще раз».

7) Мадам, удалитесь в тень и там, в ваших разрисованных и позолоченных комнатах, ешьте и пейте вместе с домашними, плетите шелк. Вот ваше ремесло. Моим же являются удары стальным мечом.

8) ...для его нужд и развлечений.

9) Пожалуй, нет мужей, которым хватает терпения переносить своих жен.

10) Прежде всего воздержись от разговоров с женщинами... и если тебе все же доведется сидеть с одной из них наедине, то дам тебе совет: не садись ни на ее платье, ни рядом, а коли ты хочешь с нею побеседовать тайком, то не втолковывай ей руками то, что хочешь сказать.

11) Так что охраняй хорошенько эту башню Монтлери, мой добрый сын Людовик, она доставила мне столько мук и преждевременно меня состарила... Она была центром всякого ближнего и дальнего вероломства, не было беспорядка, который бы в ней не начинался... Ибо... Монтлери находится между Корбей и Шотефор, а потому всякий раз, как начинался какой-нибудь затрагивающий Париж конфликт, из-за нее становилось невозможным сообщение между Парижем и Орлеаном, исключая разве что передвижение войска.

12) О, король, с самого начала вашего царствования вы осыпали меня оскорблениями, попирая верность и почтение, в которых вы мне клялись; из всех этих оскорблений самым явным был несправедливый захват

343

Оверни, которую вы удерживаете в ущерб короне Франции. Конечно, преследующая меня старость лишила меня сил, потребных для возвращения Оверни и других земель; но перед лицом Бога, баронов королевства и верных нам лиц я открыто протестую и заявляю о правах моей короны, в частности, на Овернь, Берри, Шатору, Жизор и нормандский Вексен, и прошу Царя царей о наследнике, коему будет дано то, в чем было отказано мне самому.

13) У нас, французов, есть лишь хлеб и вино, чем мы и довольствуемся.

14) «Принцы лилии» (геральдической).

15) Я хотел бы, чтоб вместо одного короля их было шесть!

16) Конечно, всегда есть нечто искусственное в том, что мы занимаем апостериорную позицию и смотрим на историю «с конца», словно административная монархия и уже централизованная Франция Генриха II была predeterminedена от века к рождению и жизни в строго определенных границах...

17) Он не желал всей земли; он желал лишь ближайших к нему земель.

18) Начиная с Филиппа Августа... появляются легисты, истинные «шевалье закона»; для создания монархического закона они соединяют феодальный закон с законом каноническим и с римским законом... Малое их войско из трех десятков в 1316 г., составляет 104 или 105 человек в 1359 г., около 60 — в 1361 г.; благодаря своей постоянной близости королю, эти клерки из канцелярии обретают ряд привилегий. Большинство из них составляют привилегированные нотариусы; элита (трое при Филиппе Красивом, дюжина — к 1388 г., шестнадцать человек — в 1413 г.) состоит из тайных советников или секретарей по финансам... Им принадлежит будущее. В отличие от высших дворцовых чинов, у них не было высокородных предков, но они сами станут такими предками.

19) Так получилось, что эта война (гражданская), разорив Францию, всех обогатила, ибо она открыла и вынесла на поверхность бесконечное число скрытых под землей сокровищ, которые оставались без употребления... вынесла их на солнечный свет и превратила в столь большое количество новых монет: в более чем миллион золотых и миллионы серебряных прекрасно отштампованных монет, сделанных из прежде скрывавшихся сокровищ... И это еще не все: богатые купцы, ростовщики, банкиры и прочие скупцы, включая и священников, достали свои сокровища и спрятанные по сундукам экую, и не для удовольствий, и не для того, чтобы дать их в долг, чтобы удвоить за счет ростовщичества или скупки земель, имущества и домов по подлым ценам; а потому дворянин, разорявшийся, закладывавший или продававший свое имущество во время внешних войн, а потому не имевший даже дров для отопления своего очага, ибо был ограблен этими ворами-ростовщиками, получил возмещение во время сей доброй гражданской войны. Если взять дворянина из хорошего семейства, который пошел на эту войну на двух лошадях с одним малолетним слугой, то возвращался он и после войны путешествовал по стране на шести или семи добрых конях... *Вот как храброе дворянство Франции было восстановлено по милости, лучше сказать, с помощью того жирка, коим оно обросло во время этой доброй гражданской войны.*

20) Сеньоры, предоставлявшие свои земли крестьянам за наличные, продолжали получать тот же самый доход, но уже не обладавший пре-
344

жней стоимостью. То, что ранее стоило пять су, во времена Генриха III стоило уже двадцать. Дворяне беднели, сами того не понимая.

21) ...в невиданном ранее жалком состоянии... его давит бедность... лень делает его порочным... притеснение приводит его чуть ли не в отчаяние.

22) Думать, будто сыну или брату короля или принцу крови дозволено безнаказанно нарушать покой королевства, значит ошибаться. Куда разумнее обеспечивать этот покой королевству и короне, чем считаться с тем, чем обеспечивается их безнаказанность.

23) Лучшим и наиболее безопасным местом для сына Франции является двор короля.

24) ...неслыханные во французском королевстве подати.

25) Союзники разъединенные, неподлинные и неравные.

26) Можно понять и оценить борьбу, которую должна была вести королевская власть, желая основать и развить свое фискальное могущество, если посмотреть на те социальные силы и те интересы, с которыми она сталкивалась и которые чинили препятствия ее планам.

27) 1 400 000 иных налогов, которые были возложены как *чрезвычайные...* но которые продолжали собирать таким образом, что сегодня они стали *обычными*.

Проект теории цивилизации

1) Локализм был широко распространен в Европе раннего Средневековья — поначалу это был локализм племени и сословия, превратившийся затем в те феодальные и манориальные общности, на которых покоилось средневековое общество. И политически, и социально эти общности были почти независимыми друг от друга, а обмен продуктами и идеями между ними был сведен до минимума.

2) Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен покровительства сильных мира сего; живя при дворе, он обретает покровительство, но теряет свободу.

3) Придворная жизнь — это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь расставлять фигуры, рассчитывать силы, обдумывать ходы, осуществлять свой замысел, расстраивать планы противника, порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата.

4) Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит меня в приемной меньше, чем обычно; если лицо его будет приветливей, а брови не так насуплены, как всегда; если он любезно выслушает меня и проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит падение, — и не ошибусь.

5) Человек, знающий двор, всегда владеет своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и непроницаем, умеет скрывать недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, думать одно, а говорить другое и поступать наперекор собственным чувствам.

6) Я сразу почувствовал, что он охладил ко мне; чтобы не путать свои подозрения с тем, что могло быть случайным у человека, загруженного всякого рода щекотливыми делами, я внимательно рассмотрел его

345

действия, затрагивающие меня самого. Мои подозрения целиком подтвердились, что побудило меня, ничуть этого не показывая, отдалиться от него.

7) Я решил... прощупать его по всем тем вопросам, которые касались нашей чести; я стал поэтому незаметно удалять его от всех тем, что вводили бы от этой цели, и подводить разговор именно к этой теме во всех ее подразделениях... Дофин был чрезвычайно внимателен, он глотал все мои доводы... разгорелся... и посетовал на неведение и малую осведомленность короля. Мне было достаточно лишь начать последовательное изложение всех этих предметов дофину, а затем просто следовать за ним, предоставляя ему удовольствие от речей, тогда как мне оставалось наблюдать, как он формирует свое мнение, как он убеждает себя самого, как он горячится и входит в азарт, тогда как мне оставалось смотреть за проявлениями его чувств, за его восприимчивостью и впечатлительностью, чтобы пользоваться такого рода познаниями... Я старался не столько рассуждать и доказывать сам... сколько мягко и прочно внушать ему мои собственные чувства и взгляды по всем этим предметам...

А.М.Руткевич. Историческая социология Норберта Элиаса

Норберт Элиас родился 22 июня 1897 г. и умер 1 августа 1990 г.¹. В классической гимназии родного Бреслау Элиас получил прекрасное гуманитарное образование; он намеревался поступать на философский факультет и уже успел проштудировать основные сочинения Канта. Этим планам помешала война — сразу после окончания гимназии его призвали в армию.

Правда, он был призван не в первые месяцы войны, когда генералы надеялись на быструю победу и по канонам прошлых сражений гнали в атаку цепи и колонны, полностью уничтожаемые орудийным и пулеметным огнем. По совету родителей Элиас записался добровольцем в роту связистов и первые полгода проходил подготовку, а затем его направили на западный фронт, где он провел около трех лет, вплоть до конца войны. Ему приходилось под огнем налаживать постоянно разрываемые телефонные линии; опасность для жизни была ежечасной, но все же меньшей, чем в других родах войск. В подразделении вместе с ним воевали в основном выходцы из рабочих, совершенно равнодушные и к судьбам монархии, и к военной пропаганде. Они избрали его в 1918 г. в солдатский Совет, но пролетарской идеологией он тоже не «проникся», и вскоре после перемирия оказался дома.

В революционной Германии рухнули практически все прежние государственные институты; остались только офицерский корпус, социал-демократическая партия с профсоюзами и католическая церковь. Социал-демократов даже в кругу родителей Элиаса считали политическими аутсайдерами и презирали. Но именно они стали правящей партией. Социал-демократы отказались следовать своей доктрине классовой борьбы и осуществлять революцию по схемам, реализованным большевиками, но все же созданная ими Веймарская республика была крайне непопулярна. Негативное отношение к правительству преобладало не только среди военных, чиновников, клерикалов и монархистов, но и в среде немецкой буржуазии, буквально ненавидев-

349

шей всех «левых» и считавшей их ответственными за поражение страны в войне и позорный Версальский договор. Немецкий средний класс был крайне оскорблен и ожесточен, офицерский корпус, верхний слой чиновников и прочие традиционно «правые» (вплоть до университетских профессоров) считали поражение результатом «заговора», «удара в спину», нанесенного Германии левыми, и прежде всего «еврейством». Что же касается Элиаса, сам он, по его собственному признанию, скорее, радовался поражению Германии, поскольку оно привело к ликвидации монархии.

В результате Веймарская республика оказалась политически расколотой. В ней шло противоборство «левых» и «правых», которые, в свою очередь, вели ожесточенную борьбу в собственных рядах — коммунисты с социал-демократами, традиционные «правые» с национал-социалистами. В целом страна все больше и больше сдвигалась вправо, во многом потому, что ее государственный аппарат никогда не отличался нейтральностью — рейхсвер, полиция, юстиция находились в руках противников республики. И в то же самое время государственный аппарат был слишком слаб, чтобы обуздать царившее на улицах насилие.

К концу 20-х годов в Германии насчитывалось несколько «уличных» армий, причем у нацистов и коммунистов военизированные формирования были более сильными и массовыми, чем аналогичные организации социал-демократов или, например, «Стальной шлем» консервативной буржуазии. Рост насилия и нагнетание взаимной ненависти, утрата чувства безопасности у законопослушных граждан — все это нашло отражение в теории Элиаса, в которой он связал процесс цивилизации с монополией государства на насилие: правовое государство невозможно без физического принуждения; демократия предполагает контроль над физическим насилием, без чего невозможно никакое функционирование демократических институтов. В Веймарской республике попытка разоружения «частных» армий была предпринята слишком поздно — в 1932 г. — и с тем результатом, что разоружены оказались все, кроме нацистов.

Эпоху Веймарской республики нельзя оценивать однозначно. Имелась и иная сторона — трудно найти другой столь же плодотворный период в истории Германии. В это время не только появляются оригинальные произведения литературы и искусства, но также возникают новые идеи в самых различных областях знания: в физике и математике, философии и теологии, психологии и педагогике. Именно в это время происходит институционализация социологии как университетской дисциплины. В 20-е годы продолжали активно работать многие представители «первого поколения» социологов — Ф.Тённис, В.Зомбарт, М.Шелер. Сохраняли свое влияние идеи недавно умерших Г.Зиммеля, Э.Трёлча и в особенности М.Вебера. Гейдельберг, где работал в последние

350

годы своей жизни Вебер, становится «Меккой» немецкой социологии, и именно в этом городе стал социологом Элиас.

Сразу после возвращения с фронта Элиас поступил одновременно на два факультета университета в родном Бреслау — медицинский и философский. Его отец мечтал о врачебной карьере для сына, да и сам Элиас проявлял интерес к медицине. Но еще большей оказалась его склонность к философии. Совмещать учебу на двух факультетах было чрезвычайно тяжело. На медицинском факультете требовалось сдать «*physicum*», т.е. экзамен по совокупности естественнонаучных дисциплин. С этим Элиас справился сравнительно легко и в дальнейшем подчеркивал значение биологии и физики для занятия социологией. В том, что нынешние социологи не имеют представления об устройстве человеческого организма, он видел односторонность социологического образования, а спекулятивные теории познания, создаваемые философами, не обладающими элементарными знаниями о физиологии головного мозга, считал вообще «чем-то извращенным».

Трудности начались, когда за теоретическими дисциплинами последовали клинические, — практически все время нужно было проводить в разных отделениях больниц. Совмещать эти занятия с чтением философской классики оказалось невозможным, и Элиас оставил медицину ради философии. Дважды он прерывал обучение в Бреслау на семестр, чтобы — в духе еще сохранявшейся в Германии традиции — поучиться в других университетах. Во Фрейбурге он слушал курс Гуссерля, в Гейдельберге — Риккерта, Курциуса, Гундольфа, а также принимал участие в семинаре у Ясперса. Здесь он впервые столкнулся с проблематикой культуры и цивилизации — по совету Ясперса Элиас сделал большой доклад о полемике Т.Манна с «цивилизационными литераторами» (так Манн презрительно называл своих оппонентов, к коим принадлежал и его брат Г.Манн). В личной беседе Ясперс попытался раскрыть Элиасу все величие социологической мысли М.Вебера, но в тот момент Элиас не обратил на эти слова большого внимания — в Бреслау он учился у Рихарда Хенигсвальда, представителя Марбургской школы неокантианства, а тот прежде всего требовал строгости философского мышления. «Строгая научность» феноменологии была для Хенигсвальда сомнительной, а экзистенциальную философию он вообще отвергал как «понятийную нечистоту» (как и все неокантианцы, Хенигсвальд довольно узко понимал саму науку, сводя ее к математическому естествознанию).

Учеба на медицинском факультете предполагала знакомство не только с теоретическими дисциплинами, но также с индуктивно-эмпирическими, ориентированными на практику, которые невысоко ценились марбуржцами. О хорошем знании эмпирии говорят те экзамены, которые Элиас сдавал перед защитой

351

диссертации: помимо обязательной философии он выбрал психологию, химию и историю культуры (в Германии докторант имеет право сам выбирать дополнительные предметы для сдачи экзамена). В своей докторской диссертации по философии истории (она называлась «Идея и индивидуум») он выступил с критикой априорных методов познания. По этому вопросу у Элиаса возник конфликт с учителем, и ему даже пришлось вычеркнуть несколько фрагментов с наиболее резкими оценками априоризма.

После защиты диссертации в 1923 г. Элиас на два года был вынужден оставить научные занятия. В результате инфляции его родители, до сих пор содержавшие его, лишились средств к существованию, и Элиас, в свою очередь, посчитал своим долгом помочь им в трудную минуту. Он стал управляющим на небольшой фабрике. По его собственному признанию, опыт работы на фабрике сыграл огромную роль в формировании его понимания социальной и экономической жизни. Когда с инфляцией было покончено, родители снова смогли жить на ренту (и даже содержать на нее сына). Элиас вернулся к научным занятиям. Он отправился в Гейдельберг, чтобы специализироваться в области социологии.

Эта дисциплина уже имела определенную традицию в Германии. В 20-е годы она быстро развивалась, в ряде университетов возникли факультеты и отделения социологии. Первые поколения социологов не получали профессионального образования: классиками этой отрасли знания были ученые, которые занимались философскими, экономическими, историческими проблемами и не могли решить их с помощью методов соответствующих дисциплин. Социологами они становились по собственному выбору, создавая те теории и методы, что впоследствии начали преподавать и изучать в университетах.

Элиас приступил к изучению социологии довольно поздно, около тридцати лет от роду, уже имея докторскую степень по философии. За его плечами был и немалый жизненный опыт, и знакомство с различными областями знания: с естественными науками и медициной, философией и гуманистической традицией немецкой мысли. Последней он отчасти остался верен в своей социологии, а отчасти пытался ее преодолевать, поскольку она была тесно связана с идеалистической философией. Отход от кантовского

трансцендентализма, обусловленный как изучением эмпирических дисциплин, так и уже сформировавшимся видением человека не как замкнутого в себе («*homo clausus*»), но как существа, биологически и психологически ориентированного на общение с другими², способствовал выбору дисциплины, сочетающей философские абстракции с эмпирическим исследованием человеческого мира.

В Гейдельберге в то время доминировали два «круга» интеллектуалов — во-первых, поклонники С.Георге и, во-вторых,

352

последователи М.Вебера. К первому кругу принадлежали те, кто противопоставлял современности романтический антикапитализм и аристократизм, переходящий в национализм. Ко второму — сторонники либерализма разных оттенков. Этот либерализм получил свое развитие еще в кайзеровской Германии (земля Баден была относительно независимой в культурной сфере, и здесь в качестве альтернативы господствовавшей в Пруссии идеологии выдвигался именно либерализм, тогда как в некоторых других землях происходило распространение национализма, особого рода «народничества»). В круг интеллектуалов, собиравшихся в гостиной Вебера еще до Первой мировой войны, входили такие философы, как Риккерт, Ласк, впоследствии погибший на войне, Ясперс, Лукач; здесь можно было встретить будущих политиков вроде Э.Ледерера и Г.Штаудингера и некоторых русских эмигрантов, например Н.Бубнова. Принадлежность к либеральной буржуазии не означала нетерпимости к другим воззрениям. Сам М.Вебер немало общался с русскими эсерами, а среди его учеников были и будущие идеологи коммунизма вроде Лукача, и сторонники социал-демократических взглядов вроде А.Саломона. Тема докторской диссертации последнего — «Культ дружбы в Германии XVIII в. Опыт социологии жизненной формы» (1914) — уже по названию позволяет судить о том, насколько исследования Элиаса перекликаются с тем, что считалось «нормой» в кружке Вебера. Связи с «левыми» были здесь постоянными, хотя отношения с ними сложились не самые простые. Но в 20-е годы вокруг социал-демократического журнала «*Gesellschaft*» объединялись и собственно социалисты, и будущие теоретики Франкфуртской школы, и такие непримиримые противники тоталитаризма, как Ханна Арендт. Веймарская республика поспособствовала усилению марксизма в его различных вариантах и возникновению идеологии «консервативной революции» — двух «могильщиков» либерализма в социологии (и не только в ней). Из марксистских течений в Гейдельберге наибольшим влиянием пользовалась социология молодого приват-доцента К.Манхейма, недавно эмигрировавшего в Германию из Венгрии (политически ее следовало бы назвать не столько «красной», сколько «розовой»). Семинары Манхейма посещали в основном «левые», реже — либералы, тогда как «правых» не было вовсе. Праворадикальная социология имела своим центром журнал «*Die Tat*»: вокруг него образовался так называемый «*Tatkreis*», в который входили помимо литераторов и несколько крупных социологов. Один из них, Г.Фрайер, возглавил немецкую социологию после прихода нацистов к власти.

Если до войны студенты главным образом принадлежали к существовавшим с давних времен землячествам и союзам (с их одежаниями, ритуальными попойками и дуэлями), то в 20-е годы появляется значительное число не объединенных ни в какие

353

организации «свободных студентов» («*Freistudenten*»), каковых особенно много насчитывалось среди социологов. В среде студентов и преподавателей социологии политизация достигла гораздо больших масштабов, чем на других факультетах. Правда, внешне это было не так уж заметно, поскольку речь шла о «цивилизованных людях», державшихся старых университетских традиций. Уличные бои коммунистов и нацистов их как бы не касались, они жили «в башне из слоновой кости».

В Гейдельберге Элиас мог спокойно заниматься наукой — небольшой помощи родителей и уроков иностранного языка хватало для обеспечения скромного существования. Здесь он познакомился с Карлом Манхеймом. Тот был всего на несколько лет старше Элиаса, между ними возникли дружеские отношения, и Элиас стал неофициальным (и, кстати, неоплачиваемым) ассистентом Манхейма. По воспоминаниям Элиаса, преподавательская деятельность давалась ему легко: ему лучше, чем Манхейму, удавался контакт со студентами. На протяжении пяти лет, проведенных в Гейдельберге, Элиас изучал основополагающие работы социологов, прежде всего Маркса, учения которого ранее он совершенно не знал. Впоследствии он писал о том, что без такого знакомства — и без конфронтации с марксизмом — современная социология вообще невозможна. В немецкой социологии эта конфронтация началась с работ Макса Вебера, которого не случайно (хотя и неоправданно) стали называть «буржуазным Марксом». Можно сказать, что Элиас — подобно многим другим немецким социологам — является наследником М.Вебера.

В Гейдельберге как бы «вital дух Вебера», чему способствовало то, что кафедру социологии в университете занимал его брат Альфред, а в качестве неофициального центра социологической мысли выступал салон его вдовы, Марианны Вебер. Без вхождения в этот салон в Гейдельберге не стоило и думать о карьере социолога — «*veto*» Марианны Вебер было «смерти подобно». Однажды Элиас получил приглашение выступить с докладом в этом салоне. Он занимался в это время итальянским Возрождением, но доклад сделал о связи готической архитектуры с социально-экономическими процессами в Средние века. В докладе утверждалось, что устремленные вверх шпили соборов возникали не только из-за того, что горожане стали больше верить в Бога, но и в силу возросшей конкуренции между городами. Доклад имел успех, и Элиас сделался завсегдатаем этого салона. Благодаря этому ему удалось выбрать и согласовать с Альфредом Вебером тему своего исследования, которое должно было стать основой диссертационной

работы («Habilitation»). Элиас собирался писать о Флоренции XV—XVI вв., о связи социальных процессов с возникновением физики и математики Галилея и других итальянских ученых. Однако у Вебера в очередь выстроилось немало желающих защищать диссертацию, и Элиасу по-

354

требовалось бы ждать своего часа долгие годы. В 1930 г. Манхейм получил пост профессора во Франкфурте-на-Майне и предложил Элиасу последовать за ним и поработать у него три года ассистентом — затем он обещал дать ему «зеленый свет» для защиты. Когда три года прошли и Элиас выполнил все соответствующие формальности, к власти пришли нацисты, а потому его диссертация («Придворный человек. К социологии двора, придворного общества и королевского абсолютизма») так и не была защищена. Работа над этой диссертацией во многом определила все дальнейшие исследования Элиаса, а текст ее — с существенными изменениями и дополнениями — вышел лишь в 1969 г. под заглавием «Придворное общество».

Элиас в своих автобиографических заметках уделил большое внимание спорам между Манхеймом и А.Вебером. И это не случайно: тематика его научной деятельности во многом определяется дискуссиями 20-х годов по социологии знания.

Первый раздел главной работы Элиаса «О процессе цивилизации» начинается с рассмотрения характерной для почти всей немецкой мысли оппозиции «культура — цивилизация». Вебер, занимавшийся социологией культуры, вслед за своим великим братом считал культуру не сводимой к хозяйственным отношениям и материальным интересам. Он полагал, что в развитии религии, искусства, науки имеются свои особенности в сравнении с экономикой или техникой, а термин «прогресс» вообще вряд ли применим в области искусства или религии. Будучи наследником немецкой либеральной и гуманистической традиции, Вебер противопоставлял друг другу «культуру» и «цивилизацию». Происходящие социально-политические процессы он оценивал негативно, как «реварваризацию Германии».

Манхейм, в свою очередь, отталкивался от известного тезиса Маркса о том, что общественное бытие определяет сознание и, следовательно, разного рода идеологические «надстройки» определяются производственными отношениями, интересами³. Манхейм различал «тотальные» и «частичные» идеологии — он не стремился к сведению всех форм знания к «ложному сознанию». Однако сама логика вела его к релятивизму, где любое «надстроечное» образование, в том числе и «культура», связывалось с групповыми интересами. Он употреблял для этого термин «Seinsgebundenheit», означавший «привязанность» всякого мышления в той или иной степени к общественному бытию, изменение которого неизбежно ведет к переменам в общественном сознании.

Но если все существовавшие до сих пор учения являются отражением определенных интересов и тем самым выступают как идеологии, то эту оценку вполне можно было распространить и на учение самого Манхейма, также выражающее определенную партийную позицию. Такого рода релятивизм представляет со-

355

бой самоубийство мысли не только в теории познания, но и в области морали («все позволено»); научное знание, сводимое к политической идеологии и к материальным интересам, утрачивает характер объективности и даже интересубъективности.

Манхейм попытался избежать такого рода последствий, отличая собственный «реляционизм» от нигилистического релятивизма. Вслед за Ницше и Зиммелем он стал использовать термин «перспективизм»: каждая точка зрения частично отображает истину, какой-то частный аспект бытия, и целостная истина может быть уловлена за счет соединения различных перспектив. Но и при таком подходе открытым остается вопрос о том, откуда происходит тезис о частичной истинности всех перспектив, если каждая из них определяется исключительно материальными интересами той или иной группы, — т.е. если перспектива задается идеологией.

Другой выход из релятивистского тупика Манхейм попытался найти, утверждая, что между «укорененными» в своих интересах и идеологиях классами существует еще одна социальная группа — «свободно-парящая интеллигенция» («freischwebende Intelligenz»). Ее мышление не определяется идеологией уже потому, что она не обладает специфическими классовыми интересами. Этот тезис, однако, является сомнительным, особенно сегодня, когда научные и культурные институты финансируются либо государством, либо мощными промышленными корпорациями.

Особое внимание Манхейм уделял феномену конкуренции, борьбе за «жизненные шансы». Элиас во многом отталкивался от этого положения Манхейма в своих работах, хотя считал, что тот преувеличивал значение конкуренции. Отчасти это происходило по личным причинам — Манхейм отличался необычайным честолюбием и жестко отстаивал собственные интересы. Где бы он ни начинал работать, тут же вступал в конкуренцию с другими учеными: так было и в Гейдельберге, и в Франкфурте, и в Англии, куда он эмигрировал в 1933 г. По воспоминаниям Элиаса, в эту борьбу Манхейм вступал «с невинностью ребенка», будучи эгоцентриком, убежденным в собственной правоте. Именно этим объясняется и то, что в своем получившем широкий отклик докладе «Значение конкуренции в духовной сфере» он в присутствии практически всех немецких социологов⁴ довольно резко высказался по поводу либеральной традиции, к которой принадлежал прежде всего М. Вебер.

Доклад получился блестящий — с этим были согласны и оппоненты Мангейма. В нем Манхейм релятивизировал все позиции, в том числе и либерализм с его тезисом о «свободном от ценностей»

рациональном познании. Либерализм, отмечал Манхейм, стремится выступать как некая «партия середины» и превозносит рациональную дискуссию, свободу обсуждения, не за-

356

мечая того, что все это — не свободное служение истине в социальных науках, но классовая позиция определенных групп буржуазии. Хотя в этом же выступлении Манхейм не менее решительно релятивизировал позиции консерваторов и марксистов, его доклад был воспринят прежде всего как атака на авторитет Макса Вебера. Естественно, ему оппонировал Альфред Вебер, отстаивая не только память о брате, но и собственную либеральную позицию. С его точки зрения, в этом докладе в очередной раз пропагандировался плохо прикрытый новой терминологией материализм, сводящий все объективное и духовное к индивидуальным и групповым интересам.

Элиас тоже принял участие в дискуссии. В его воспоминаниях этой дискуссии уделено немало страниц потому, что Элиас в своем творчестве отталкивался от концепций именно этих двух социологов. В центре внимания социологов тогда стояли проблемы, поставленные Марксом. Первый шаг к преодолению марксизма был сделан М.Вебером — не только в работе по протестантской этике, но и в огромной книге «Хозяйство и общество». А.Вебер, вслед за своим братом, пытался показать ограниченность марксистского подхода к области культуры; Манхейм также отходил от марксизма, поскольку релятивизировал и марксизм в качестве идеологии. По мнению Элиаса, обе последние попытки преодоления марксизма были неудачными именно потому, что Маркс рассматривал долговременные социальные процессы, пытался найти логику исторического процесса. Элиас был согласен с М.Вебером: он также считал ошибочным тезис Маркса о сводимости движущих сил истории к одной сфере производства и экономических интересов⁵. Но для Элиаса, осваивавшего в 20-е годы труды Маркса, казалось очевидным, что опровергнуть его учение можно лишь с помощью теории, которая не менее марксизма ориентирована на историческое познание. Он полагал, что, как и все основоположники социологии, Маркс мыслил исторически; то же самое можно сказать о Конте, Дюркгейме, Вебере или Парето. Но это не означает, что их воззрения можно заключить в рубрику «историческая социология». Эти мыслители задавали социологические вопросы по поводу истории, они понимали, что без исторического горизонта невозможно правильное видение современных проблем. Поэтому в дальнейшем Элиас будет вести неустанную полемику с той социологией, что стала господствовать после Второй мировой войны, — социологий, практически утратившей историческое видение.

Историческому видению способствуют эпохи социальных бурь и потрясений. Как вспоминал виднейший французский социолог Р.Арон, находившийся на стажировке в Германии накануне прихода Гитлера к власти, его поразило то, насколько мало пригодны категории, употреблявшиеся в то время французскими социологами, для понимания таких явлений, как митинги и

357

факельные шествия нацистов. Элиас также был свидетелем этих событий. Он не преувеличивал силы собственного социологического предвидения — вплоть до 1932 г. он не испытывал тревоги. Элиас даже посетил (тщательно переодевшись) митинг нацистов во Франкфурте и пришел к выводу, что «Гитлер опасен». Однако всю меру этой опасности он ощутил лишь с приходом нацистов к власти.

Следует сказать, что Элиас не был одинок в недооценке фашизма. Тот же Манхейм в 1933 г. сказал в интервью: «Вся эта история с Гитлером может продлиться не более шести недель; ведь этот человек — сумасшедший». Так думали слишком многие.

Элиас сформировался как ученый именно в Веймарской Германии, он принадлежит немецкой социологической традиции. Долгая жизнь в эмиграции не привела к существенным изменениям той концепции, которая в основных чертах сложилась к 1933 г. Покинув Германию после прихода нацистов к власти, он попытался найти место в университетах Швейцарии и Франции, но, в отличие от США, где ученые-эмигранты сравнительно быстро получали работу, в Европе национальные системы образования эту возможность практически исключали. К тому же и во Франции, и в Англии социология преподавалась в крайне ограниченном числе университетов. Элиас столкнулся не только с обычными для эмигрантов трудностями, но и с полным равнодушием французских коллег к темам его исследований, хотя его так и не защищенная диссертация, посвященная феномену двора времен абсолютной монархии, опиралась прежде всего на французскую историографию. В интервью голландским журналистам Элиас вспоминал, что лишь А.Койре проявил интерес к его работе, но тот вскоре уехал в длительную командировку в Египет. В 1935 г. Элиас перебрался в Англию, где он получил небольшую стипендию Еврейского комитета по делам беженцев, а тем самым и возможность на протяжении трех лет работать с литературой и писать. В библиотеке Британского музея его внимание привлекли книги о «хороших манерах», и он продолжил исследование «придворного общества» и всего предшествующего абсолютизму периода, разработку своей теории феодализма и становления государства. Так родился его главный труд «О процессе цивилизации», вышедший в свет в Швейцарии в 1939 г. Но появившаяся перед самым началом войны книга осталась без внимания научного сообщества. В Германии она не распространялась по понятным причинам, в других странах ученым тоже было не до чтения вышедших по-немецки фолиантов. Однако имелись и исключения: книгу оценили голландские историки и социологи (впоследствии именно голландские ученые сыграли немалую роль в популяризации учения Элиаса), во Франции положительную рецензию на первый том книги написал Р.Арон. Но никакого отклика на эти оценки не последовало, а после

войны в европейской социологии установилось господство концепций, пришедших из США, и даже труды европейских «классиков» вроде М.Вебера стали читать «на манер Т.Парсонса». Изложенные в его главном труде «О процессе цивилизации» теоретические идеи получили более четкую формулировку в таких сочинениях, как «Общество индивидов», «Что такое социология?», и некоторых других.

В Англии, куда Элиас приехал, почти не владея разговорным английским языком, он два десятка лет не мог профессионально заниматься социологией. Только в 1954 г. ему удалось получить место доцента в только что открывшемся университете в Лейчестере. Два года он проработал в Аккре (Гана). В Англии Элиас опубликовал не так уж много работ. Среди них я бы отметил написанную вместе с Дж.Л.Скотсоном книгу «Истеблишмент и аутсайдеры» («The Established and the Outsiders», 1965) — эмпирическое исследование конфликта двух групп в одном английском городке. Выйдя на пенсию в 1975 г., он переехал на континент и жил в основном в Амстердаме и Билефельде. Переиздание его главного труда в конце 60-х годов принесло Элиасу широкую известность. Вслед за этим одна за другой стали выходить его книги, и в 1977 г. он получил престижную премию им. Т.Адорно, присуждаемую во Франкфурте-на-Майне.

После перевода основных трудов Элиаса на французский язык обнаружилось немалое сходство его подхода с концепцией школы «Анналов». К последователям и пропагандистам Элиаса во Франции относятся некоторые крупные историки «ментальностей» (например, Р.Шартье)⁶. Сформировалось сообщество исследователей — социологов, историков, антропологов, культурологов, — считавших себя учениками Элиаса. Сегодня их больше всего в Голландии, довольно много в Германии и Австрии (в Амстердаме находится Фонд Норберта Элиаса, в Марбахе — его архив). Университетские курсы по «наукам о культуре» («Kulturwissenschaften») в этих странах в той или иной степени опираются на концепцию «процесса цивилизации». При всем влиянии идей Элиаса на историков и культурологов, в социологическом научном сообществе они не получили широкого распространения.

В мои задачи не входит сколько-нибудь полное ознакомление читателя со всеми сторонами концепции Элиаса — для этого потребовалось бы монографическое исследование. Но для лучшего понимания содержания работы «О процессе цивилизации» следует дать самую общую характеристику его социологической теории.

Позднее признание учения Элиаса связано не только с внешними обстоятельствами, но также и с тем, что в послевоенной Европе преобладали пересаженные на европейскую почву американские социологические теории — бихевиоризм, структурный функционализм Парсонса, символический интеракционизм

и др. Будучи наследником немецкой социологии начала XX в. (как Макса, так и Альфреда Веберов), а отчасти и эволюционизма XIX в., Элиас негативно относился к социологическим теориям, редуцирующим процессы к состояниям и соотносившим «общество», т.е. совокупность автономных структур, с неизменными «индивидами». Он полагал, что ложные философские предпосылки, обусловленные не только эмпиристской традицией, но также либеральной идеологией XIX в., ведут к односторонности выводов в области собственно социологических исследований. Элиас утверждал, что индивид социализирован всегда, а общество, в свою очередь, образуется из сети взаимосвязей между людьми, обладающими конкретным историческим обликом. Предметом исследования социальных наук в таком случае являются изменчивые взаимозависимости между людьми, наделенными специфической организацией душевных процессов, исторически неповторимой личностной структурой. Эти изменения не выводятся из неких возвышающихся над историей универсальных законов, но они не являются и случайными.

Задачей социальных наук Элиас считал установление закономерностей в долговременных рядах изменений. У общества нет «начала» в том смысле, что человек когда бы то ни было жил вне общества — все теории «общественного договора» он называл «поисками секуляризованного Адама». Конечно, он был согласен с тем, что в момент рождения каждый из нас принадлежит царству природы, будучи еще не человеком, но «наброском», возможностью человека, которая переходит в действительность только через воспитание и обучение. Последние же не остаются теми же самыми — «природа» человека социальна, а потому исторически изменчива. Так, свойственное для Нового времени разделение на «внешний» и «внутренний» миры возникает вместе с четким отделением «приватной» сферы жизни от «публичной», вместе с усилением внешнего контроля над поведением и самоконтроля, вместе с большей регуляцией поведения, ростом отказа от влечений и т.д. Возникает стабильное «Сверх-Я», а вместе с тем растет дистанция между «Я» и внешним миром, между взрослыми и детьми, что предполагает удлинение периода детства и юношества.

Эти наблюдения легли в основу целого ряда работ Элиаса по социологии знания, социологии науки, теории символа, социологии искусства и т.д.⁷ Все явления высшей культуры меняются вместе с «природой» человека, а она зависит от способа взаимодействия между людьми, порождающего не только социальные, но и психические структуры. Для Элиаса «тело» и «душа» — это выражения для двух взаимосвязанных функций — управления организмом и его взаимоотношениями с внешним миром. Он подчеркивает их функциональный, а не субстанциальный характер. С его точки зрения, психология имеет дело не с тем, что мы

в неизменном виде получили от природы (этим занимается физиология), но с тем, что свойственно людям как социальным существам. (Современная психология, включая и фрейдовский психоанализ, полагает

Элиас, часто впадает в иллюзии — за вечную «природу» человека принимаются свойства западного человека двадцатого столетия.) Какой бы то ни было, «до-социальной» или «а-социальной» психики просто не существует. Над природным космосом выстраивается космос человеческий, «историко-социальный континуум»: человек направляется не столько биологически заданными инстинктами, сколько прошедшими «шлифовку» влечениями и аффектами. Говоря «Я», мы всегда подразумеваем «Ты» и «Мы», то общество, в котором развивается даже самая неповторимая индивидуальность. Вопреки всякого рода индивидуалистическим теориям, общество есть не только нечто уравнивающее и типизирующее, но и индивидуализирующее. Самосознание и даже самолюбование индивида растут вместе с интериоризацией внешних зависимостей, увеличением дистанции по отношению к другим, усилением контроля над влечениями. Чем сильнее «Сверх-Я», тем рациональнее поведение и мышление, тем шире «внутреннее» измерение личности. Но речь должна идти не только о рациональности в смысле научно-технического контроля над внешним миром. Эстетическое созерцание тоже требует дистанции по отношению к природе и обществу. Чтобы слушать музыку или созерцать картину, человек должен стать своего рода «статуей», прийти в состояние, когда он хотя бы на время не является детерминированным двигательными рефлексами, влечениями, страхами и т.п.

Элиас ввел в социологию понятие «habitus»⁸, подхваченное впоследствии П.Бурдьё. Речь идет о неких общих для группы людей чертах, об общем отпечатке, оставленном на них теми или иными социальными структурами и институтами: все индивидуальные особенности произрастают на этой материнской почве. Составной частью такого «социального габитуса» является идентичность, которую Элиас часто обозначал как отношение «Я — Мы». «Эта идентичность представляет собой ответ на вопрос о том, кем является человек, причем и как социальное, и как индивидуальное существо»⁹. Нет «Я-идентичности» без «Мы-идентичности», но соотношение между ними подвижно и меняется, например, с возрастом — оно различно у десятилетнего и шестидесятилетнего. Сами для себя мы выступаем не только как «Я» или «Мы», но также как «Ты», «Он», «Она», даже «Оно». Случается, что всякое «Мы» утрачивается, скажем, у человека, подобного персонажам экзистенциального романа (достаточно привести в пример такие их образцы, как «Посторонний» Камю или «Тошнота» Сартра); невротики испытывают страх любого сближения с другими людьми и ни с кем не могут установить какой-либо контакт; в других случаях люди переживают «депер-

361

сонализацию», теряя собственное «Я». Изменяются сами формы «Мы-идентичности». Когда-то она поднялась с уровня клана и племени на уровень государства, а сегодня последнее начало утрачивать эту роль¹⁰.

Признавая заслуги Фрейда, используя его понятия в своих работах, Элиас критически оценивал психоаналитическую доктрину — прежде всего в связи с тем, что человек предстает в ней как «homo clausus», замкнутое в себе существо, наделенное одними и теми же влечениями. В лучшем случае, психоаналитики обращают внимание на отношения в семье, где вырабатываются индивидуальные способы контроля над влечениями. Но «Сверх-Я» есть продукт общества в целом, а семья выступает как передающая инстанция социальных норм; помимо фрейдовского «Идеал-Я» существует групповая идентичность («Идеал-Мы»), которая входит в личностную.

Центральным в социологии Элиаса является понятие «фигурация». В ранних работах, включая «О процессе цивилизации», оно еще не встречается: в них Элиас для выражения заключенного в этом понятии смысла употреблял целый ряд понятий вроде социального «сплетения» («Verflechtung»). В книге «О процессе цивилизации» вообще много поисков в области терминологии — от немалого числа неологизмов Элиас впоследствии избавился, да и стилистически его поздние книги выгодно отличаются от ранних. «Фигурации» понимаются как изменчивые сети взаимоотношений, которые, вопреки Дюркгейму и позитивистской социологии, не следует рассматривать как «факты» и представлять их овеществленно. Ячейки этих сетей образуют личности.

Если социолог придерживается позитивистского «объективизма», то он наивно исключает из социального взаимодействия самого себя и те группы, к которым он принадлежит. На самом деле, полагает Элиас, социолог не является носителем «чистого разума» и не смотрит на действительность «sub specie aeternitatis». Сама социология обладает рядом исторических предпосылок вроде индустриализации, урбанизации, демократизации общества. Она рождается одновременно с идеологией, поскольку в основании их лежит одна и та же социальная трансформация. Общество, в котором возросла взаимная зависимость индивидов и групп (скажем, фабрикант более зависим от рабочих, чем помещик от своих крестьян), которое стало многополюсным (а потому его нельзя контролировать из одной точки), одновременно оказывается и непрозрачным — взаимосвязей слишком много, и даже наиболее могущественные люди не в состоянии им управлять. Идеология требуется для управления и мобилизации, социология нужна для познания. Вместе с подъемом общества на новый уровень интеграции потребовались новые формы знания и контроля.

Элиас отвергает как холизм и историософские спекуляции в духе Гегеля или Шпенглера, так и номинализм, для которого су-

362

ществуют лишь индивиды со своей психологией, а общество выступает как некая «прибавка» к ним. Подобно тому как мелодия состоит из звуков, а книга — из слов, так и общество не просто составлено из индивидов, но есть «общество индивидов». Самое противопоставление «индивида» и «общества» Элиас

считает изначально ложным: оно проникло в социальные науки из либеральной идеологии. Индивиды являются социальными существами со дня рождения: способы их поведения, мышления, чувствования принадлежат конкретному обществу с его структурами и образцами, которым отвечает (или нет) поведение индивидов. Ограничена даже возможность выбора между образцами и функциями. «Человек привязан к другим людям множеством незримых цепей, идет ли речь о цепях работы или собственности, либо о цепях влечений и аффектов»¹¹. Сеть зависимостей изменчива, она обладает специфическим строением в каждом обществе — у кочевников она иная, чем у земледельцев, в аграрном обществе отличается от индустриального (в котором каждая страна обладает своими особенностями). Разделение труда приводит к возникновению многообразия функций, которые являются не творением отдельных лиц, но результатом их взаимодействия. Даже абсолютный монарх или диктатор при тоталитарном режиме способны изменить лишь крайне незначительную часть этого целого. Историю никто не планировал: люди XII или XVI в. явно не замыслили построить индустриальное общество. Невидимый порядок образуют сложные цепи взаимодействий, которые, при всей их изменчивости, ничуть не менее реальны, чем законы физики или биологии.

Взаимодействие между людьми можно представить как своего рода «игру», которая не есть нечто независимое от участников, но не является и каким-то «идеальным типом», абстрагируемым от индивидуальных «игроков», поскольку она ничуть не более «абстрактна», чем в нее играющие. Сами «игроки» также не являются некими неизменными «атомами», поскольку они формируются «игрой» и приучаются действовать по определенным правилам. Удовлетворение практически всех потребностей человека (не только материальных, но и эмоциональных) зависит от других людей. Отношения с другими образуют своего рода «валентности» — они могут быть «занятыми» или «свободными»: если умирает или отдалается человек, занимавший важную позицию в нашей жизни, то образуется пустота, а это изменяет конфигурацию прочих «валентностей». Аффективные взаимосвязи имеют не меньшее значение, чем экономические. В частности, мир наших аффектов в значительной мере определяется «Мы-идентичностью»: идет ли речь о семье, племени или национальном государстве, именно они интегрируют множество других «валентностей», поскольку являются «единствами выживания» («Überlebenseinheiten»). Именно они обеспечивают безо-

363

пасность индивида и группы. Поэтому для Элиаса главной функцией государства является защита от физического насилия. Он раз за разом повторяет слова М.Вебера о государстве как монополии на легитимное физическое насилие.

В этом вопросе Элиас также противопоставляет свою концепцию учению Маркса. Марксизм со своей теорией классового государства возник в эпоху, когда войны между европейскими государствами были редки, а внутренние классовые конфликты сильны, когда либеральная буржуазия выступала за ограничение роли государства и отстаивала ту точку зрения, что экономика независима от государственной власти. Маркс создал противоположную либерализму доктрину — у него государство превратилось в форму защиты буржуазных экономических интересов, — но предпосылки у либерализма и марксизма одни и те же. В действительности развитие индустрии и торговли протекало вместе с укреплением государства. Без физической безопасности, без полиции не было бы единого внутреннего рынка, а тем самым и возможностей развития у мануфактур. Хозяйство стали считать «мотором» для развития всех остальных областей, поскольку в наиболее развитой стране XIX в., Англии, развитие промышленности и торговли обгоняло развитие прочих институтов. Сегодня хоть либеральный, хоть марксистский «экономизм» устарели, и сохранение теорий такого рода обеспечивается исключительно идеологическим заказом.

Элиас не возражает против концепции «классовой борьбы», лежащей в основе марксистского понимания государства, — такая борьба присутствует в том числе и там, где речь идет о разделе «экономического пирога». Но проблему классовых отношений он считает не сводимой к одним лишь материальным интересам. Борьба идет за власть, за престиж, за «жизненные шансы» во всем их разнообразии. Развитие классовых конфликтов индустриального общества шло в ином, чем это казалось Марксу, направлении. Происходила интеграция классов в рамках национального государства, XIX-XX вв. были двумя столетиями подъема «четвертого сословия», и на сегодняшний день имеется два правящих класса со своими партиями — они продолжают свое противоборство и на уровне государственного аппарата, и в парламентах. Однако ныне они интегрированы в единое целое и неплохо взаимодействуют.

«Борьба за жизненные шансы» и «борьба за власть» — вот два исходных понятия социологии Элиаса. Очевидно, что здесь он отталкивается от идей М.Вебера. «Власть» («Macht») отличается от «господства» («Herrschaft»), «авторитета» («Autorität») и «силы» («Kraft»), не говоря уж о насилии или физическом принуждении. Любовь и потребность в эмоциональном контакте с другим человеком тоже пронизаны отношениями власти. Власть вообще не есть некая «вещь», которой можно завладеть; это — структур-

364

ная особенность всех межчеловеческих отношений. Не только у родителя есть власть над ребенком, но и у ребенка — над родителями (если он им хоть сколько-нибудь дорог). Всякая функциональная зависимость между людьми создает некое устойчивое или неустойчивое равновесие с «полюсами» и «дифференциалами». «Более или менее колеблющиеся балансы власти образуют составной элемент всех человеческих отношений»¹².

Господство и подчинение образуют одно из властных отношений, в котором «дифференциал» двух полюсов таков, что возможными делаются прямое доминирование, руководство, эксплуатация. Но и здесь мы имеем дело с взаимозависимостью: нет раба без господина, но нет и господина без раба, причем раб тоже обладает известной властью над господином. Наши потребности удовлетворяются другими людьми, и в этом смысле они обладают властью над нами. Иначе говоря, власть есть прежде всего «способность», «возможность» в отношениях с другими. Здесь Элиас следует классической традиции (вспомним об определениях власти в «Левиафане» Гоббса); латинское «potestas» восходит к «potentia», русское «могущество» означает способность действия. В отношениях власти всегда есть неравенство возможностей, и в обществе идет непрестанная борьба за «жизненные шансы», за позиции, за перераспределение полномочий.

Если вернуться к метафоре «игры», то для Элиаса усложнение правил и рост числа участников неизбежно ведут к трансформации властных позиций. Сначала усложнение «игры» способствует тому, что появляются как бы два уровня участия — одни игроки передают другим свои права — вождям, царям, президентам и т.д. (такой тип «игры» он называет «олигархическим»). Возникает иллюзия, будто играют немногие избранные, хотя «верхи» всегда находятся в связи с «низами». Вместе с ростом дифференциации, кооперации, конкуренции балансы власти все более усложняются, и «олигархический» тип сменяется «демократическим» — нижние слои обретают все больший «вес» и оказывают все большее воздействие на высшие. На место прямого доминирования одних над другими посредством физического насилия или экономического принуждения приходит взаимный контроль индивидов и групп. А это возможно лишь при наличии индивидов, которые контролируют собственные влечения и способны «разумно» решать конфликты.

Существует три типа контроля: над природой, над другими людьми, над самим собой. Они связаны друг с другом, а потому исследование, предпринятое Элиасом, представляет собой описание двух параллельных процессов: формирования, с одной стороны, государства (абсолютной монархии) и, с другой стороны, — человека Нового времени, который по «ментальности» отличается от своих предшественников. Собственно говоря, «процесс цивилизации» связан именно с третьим типом контро-

365

ля. В социологии Элиаса основное внимание уделяется не «состояниям», но долговременным процессам, одним из которых и является «процесс цивилизации».

Цивилизация рассматривается им не как абстрактная тотальность («западная», «китайская» и прочие цивилизации) и не как состояние, но как движение, происходящее независимо от проектов и волеизъявлений людей. Сами понятия «цивилизация», «цивилизованность», «культура» в их противопоставлении «варварству», «дикости», «животности» обладают своей историей. Окончательное оформление стандарта поведения, который именуется «цивилизованным», происходило в XVIII-XIX вв. в буржуазном обществе. Но представители «ставшего всем» третьего сословия унаследовали основные черты культурного кода от придворной аристократии — код этот распространяется сверху вниз, от высших слоев к низшим (подобно тому как на протяжении XIX-XX вв. он распространялся от буржуазии к рабочим).

В работе «Придворное общество» Элиас проводит детальный анализ «куртуазной» культуры, поведения и мышления аристократии. Он оспаривает концепции, в которых истоки современной рациональности обнаруживаются то в протестантской этике, то в гуманизме Возрождения, то в науке Нового времени, то в буржуазном просветительстве. За этими идейными образованиями стоят изменения на ином уровне — на уровне индивидуальной психики, социального характера, форм общения между людьми. Подобно тому как современное государство — наследник абсолютной монархии, так и западная «цивилизованность» и рациональность генетически связаны с культурой придворного общества. Тот механизм контроля над аффектами и влечениями, который чуть ли не автоматически действует у «цивилизованного» человека, имеет долгую историю. Рационализация поведения происходит вместе с ростом числа взаимозависимостей между людьми, с удлинением цепей обмена товарами, услугами, информацией. Самоконтроль и стабильность поведенческих реакций возможны и необходимы в обществе с высокой степенью безопасности, обеспечиваемой государственной монополией на легитимное насилие. Эта монополия появляется в Европе вместе с абсолютной монархией, которая налагает ограничения и на феодальное сословие, ранее руководствовавшееся не столько силой права, сколько правом силы. Все позднейшие формы рациональности, включая научную, имеют своим истоком рост дистанции между людьми, появление механизмов самоконтроля и вытеснения социально неприемлемых влечений.

Генезис этих механизмов и рассматривается в работе «О процессе цивилизации». В качестве исходного пункта Элиас берет запреты и предписания позднего Средневековья. По изменяющимся привычкам, манерам, формам общения он прослежива-

366

ет трансформацию психических структур, происходящую параллельно с возникновением абсолютных монархий из множества феодальных уделов. Эта трансформация, одновременно происходящая на макро- и микроуровне, и есть «процесс цивилизации». Демографические, экономические и т.п. процессы складываются из взаимодействия людей и задают условия «борьбы за жизненные шансы»; рост взаимозависимости накладывает ограничения на поведение; внешнее принуждение интериоризируется как совокупность запретов, которые в дальнейшем усваиваются в раннем детстве и становятся составными частями «Сверх-Я».

Хотя психоанализ был одним из главных источников социологии Элиаса, «Сверх-Я», усиливающееся в «процессе цивилизации», понимается им не как результат разрешения эдипового конфликта в раннем детстве, но как социально детерминированная структура. Культурный код поведения менялся вместе с его носителями. Никто не планировал превращение неотесанных феодалов в изящных придворных, равно как и переход от «куртуазное™» к «цивилизованности» среднего класса. Социальная эволюция и трансформация «habitus'a» индивидов представляют собой один и тот же процесс.

Главный тезис Элиаса состоит в том, что усложнение социальной взаимозависимости, удлинение цепочек взаимосвязей на макроуровне имеет своим коррелятом утверждение все более жесткого контроля над аффектами, трансформации внешнего принуждения в самопринуждение. Он переносит на феодальный мир — от эпохи Каролингов до появления абсолютных монархий — модель конкуренции, ведущей к образованию монополии. Борьба идет за «жизненные шансы» — свойственная эпохе «laissez faire» борьба за экономические «шансы» есть лишь частный пример той же универсальной черты любого общества. В этой борьбе возникает абсолютизм, государство, обладающее централизованной монополией на физическое насилие. Это способствует и внешнему «замирению» общества, и появлению внутренней, интериоризированной инстанции самоконтроля — этот процесс начинается в придворном обществе.

Последователи Элиаса (иной раз при его собственном участии) создали миф об «одиноком мыслителе», который обратился к исследованию ранее неведомой области. На самом же деле он продолжал работать над теми вопросами, которые ставились в начале века ведущими немецкими социологами. По-разному решали их М.Вебер, М.Шелер, Э.Трёлч, В.Зомбарт. Главным для них был вопрос о возникновении рациональности Нового времени, генезисе капитализма. Даже некоторые центральные идеи Элиаса, вроде роли двора в данном процессе, были сформулированы его предшественниками (в частности, о «придворном обществе» писал В.Зомбарт). Оригинальность Элиаса заключается в том, что носителем процесса «рационализации» или

367

«расколдования мира» у него выступает не принявшая протестантизм буржуазия, не городское бюргерство, но аристократия, принадлежащая к «придворному обществу». У Элиаса несколько высказываний Лабрюйера относительно двора и подражающего ему бюргерства оказались развитыми в целую концепцию. Я не стану здесь обсуждать достоинства и недостатки этой теории. Несомненной заслугой Элиаса является то, что он обращает внимание не столько на «высокую» культуру, сколько на простейшие нормы поведения, связанные с отправлением телесных функций, прослеживает увеличение дистанции по отношению к телам других людей и к собственному телу.

Элиаса не случайно вновь «открыли» в 70-е годы, когда в центре внимания оказалась тема ограниченной рациональности, даже ущербности, принудительности, которую нес в себе проект «модерна». Одной из важнейших становится тема «телесности» (вспомним Батая, Фуко); не случайно в это время книгу Бахтина о Рабле переводят на все европейские языки — «телесный низ» стал исторической проблемой. В это время среди «левых» все более очевидной становится и ограниченность марксистской теории государства вообще и генезиса государства в частности. Сегодня контекст изменился, и если брать только идеологическую сторону, то концепция «процесса цивилизации» (независимо от устремлений самого Элиаса) помогает западному обывателю (или интеллектуалу — разница здесь невелика) смотреть сверху вниз на «дикарей», т.е. на тех, кто еще не прошел через долгий процесс становления дисциплины и самоконтроля. К тому же в роли «цивилизаторов», по Элиасу, должны выступать те, кто способствует развитию мировой торговли, т.е. «удлинению цепочек взаимосвязей»¹³. Схема, согласно которой цивилизация «верхов» постепенно распространяется сначала на «низы» европейского общества, а затем разносится по всему свету, действительно уязвима — даже независимо от того, что весь Запад оказывается некой «аристократией» современного мира.

Уязвимыми для критики оказываются и многие другие стороны теории Элиаса. В качестве примера можно привести основополагающий для его концепции тезис о превращении внешнего принуждения в самопринуждение. Хотя основная схема берется из психоанализа, совершенно очевидно то, что термины «кондиционирование» (или даже «дрессировка») заимствуются из бихевиоризма: ребенка с детства натаскивают на одни виды поведения, запрещая другие — всякое воспитание предполагает репрессии и страх. Но страхом наказания трудно объяснить вытеснение влечений и усиление «Сверх-Я». Даже последователи Элиаса обращают внимание на то, что из трех психоаналитических инстанций («Оно», «Я», «Сверх-Я») он сохраняет «Оно» и «Сверх-Я», но практически не говорит о «Я», оказывающемся каким-то эпифеноменом социального взаимодействия¹⁴.

368

На недостатки концепции Элиаса обращали внимание многие оппоненты. Всякий хоть сколько-нибудь знакомый с предметом историк вынужден указывать на то, что и церковь, и средневековые городские коммуны выпали из рассмотрения процесса образования абсолютной монархии, что французские придворные «цивилизировались» во время итальянских походов, а городские патриции Северной Италии или Голландии были в XV в. несравнимо более «воспитанными», чем подавляющее большинство феодалов. Достаточно вспомнить хотя бы классический труд Буркхардта об итальянском Возрождении, чтобы усомниться в схеме Элиаса. Антропологу покажутся наивными и устаревшими сравнения обычаев других культур с «детским» поведением и мышлением. Не меньше возражений может высказать и социолог, указав

на то, что образцы поведения чаще всего усваиваются не путем принуждения или «дрессировки»; когда речь идет об одежде, поведении за столом и т.п., мы можем говорить о подражании, а можем вспомнить и о том, что как раз с рассматриваемого Элиасом времени (примерно с конца XIV в.) можно говорить о феномене моды¹⁵. У Элиаса «хорошие манеры» являются исключительно результатом давления, запрета, контроля, которые превращаются в самоконтроль. Принуждение становится самопринуждением. Но в этой схеме не остается места ни человеческой свободе, ни тому, что прямо не связано с принуждением, — игра, самореализация, даже конкуренция представляют собой несводимые к механизму внешнего давления данности. Область эстетической фантазии, вкуса, «соблазна», т.е. индивидуальной автономии, творческой индивидуальности, принесена Элиасом в жертву «дрессировке». Неизбежно возникает вопрос о причинах самого принуждения.

Разумеется, социальные отношения «принудительны» — в этом видел их специфику уже Дюркгейм, но он не случайно отделял «социальные факты» от психологических и социально-психологических явлений. «Принудительность» конкуренции отличается от принудительности навязчивой идеи или привычки чистить зубы. В любом обществе имеются свои «табу», однако перенос этого термина с тотемистических запретов и на индивидуальные привычки, и на социальные закономерности, и даже на юридические нормы является не лучшим «завоеванием» психоанализа. Достаточно взять некоторые приводимые Элиасом примеры. Некие способы есть и пить, пользоваться платком и т.д. находятся в зависимости от эстетического чувства, а оно определяется не одним принуждением. Сам Элиас пишет, что не гигиенические, но эстетические соображения объясняют изменение порога чувствительности. То, что мы перестали пить кофе из блюдца, трудно объяснить каким бы то ни было «принуждением», равно как и повсеместное распространение и введение в обиход пришедшей из Византии вилки. Мода обладает своей

369

динамикой, она предполагает и принуждение — есть даже «тирания моды», — но мы можем обойтись при ее объяснении без поисков «бессознательного» или механизмов «дрессировки».

Оспорить можно и трактовку генезиса понятий «культура» и «цивилизация»¹⁶, и трактовку абсолютной монархии («королевского механизма») как умелого балансирования, сталкивания и примирения дворянства и буржуазии, и всю концепцию феодализма, и оценки современной американской социологии — например, стороннику символического интеракционизма покажутся странными обвинения в том, что он наблюдает лишь статичные «состояния», а не «процессы». Даже историческая достоверность некоторых исходных идей Элиаса вызывает сомнения. Считал ли средневековый человек свою жизнь более опасной, чем человек «цивилизированный», — разве он больше, чем наши современники, боялся болезни и смерти? Можно ли модель конкурентной борьбы за «жизненные шансы» применять к любому обществу, начиная с палеолита? Для последователей Элиаса его труд является «парадигматическим» для социологии и истории. Автору этих строк такого рода оценки кажутся не просто завышенными, но и свидетельствующими о забвении классических трудов немецких социологов начала XX в. Заслугой Элиаса, на мой взгляд, следует считать то, что он продолжал дело М.Вебера, М.Шелера, В.Зомбарта в условиях, когда их подходы были вытеснены структурно-функциональным анализом и бихевиоризмом. Сходство его исследований с работами историков из школы «Анналов» не случайно — ее создатель, Л.Февр, в значительной мере опирался именно на труды Вебера и Зомбарта. Элиас не любил словосочетания «историческая социология» именно потому, что для него любая настоящая социология должна иметь дело с историческими процессами, а любой мыслящий историк должен видеть не только отдельные факты, но и закономерности, т.е. должен мыслить социологически. Социальная реальность не делится на сектора, соответствующие факультетам, а потому работа Элиаса, в которой умело сочетаются методы социологии, психологии, антропологии и истории, принадлежит к «классическим».

В заключение следует сказать несколько слов о переводе. У оригинала есть ряд особенностей, существенно затрудняющих работу переводчика. Особенности эти отчасти связаны с тем, что Элиас писал свою работу в эмиграции, не зная, удастся ли ее опубликовать. Когда эта возможность появилась, у него не было времени «вычитывать» текст, и книга вышла в свет, по существу, в «черновой» версии. Когда встал вопрос о переиздании, то нужно было либо перерабатывать весь текст (что Элиас проделал, например, с «Придворным обществом»), либо оставлять все без изменения. Он отказался вносить существенные изменения и

370

добавил только большое теоретическое введение, в котором он сам попытался определить то место, какое его труд занимает в социологической мысли двадцатого столетия.

Я уже указывал на терминологические сложности, приводя в качестве примера такие понятия, как «habitus» или «жизненные шансы», которые необходимо было либо оставлять без перевода, либо переводить буквально. Во многих случаях я отходил от «буквы». Немецкая терминология вообще часто ставит перед переводчиком с трудом разрешимые проблемы, а Элиас в 30-е годы, так сказать, «экспериментировал» и создавал термины вроде «Verflechtungszusammenhänge» (во многих случаях, хотя и не повсеместно, я заменял эти «переплетения» на «сети зависимостей», «взаимосвязи» и иные уместные в русском языке термины).

Немалую проблему представляли многочисленные отрывки на латинском, французском, английском, итальянском и старонемецком языках. Цитаты на всех указанных языках оставлены без перевода во всех

немецких изданиях. Правда, в одних случаях Элиас дает собственный перевод, в других он пересказывает содержание отрывка, но чаще всего немецкий читатель, не знающий всех этих языков (немецкий XIII в. он понимает даже хуже, чем выученный в школе английский), не имеет представления о том, что говорится в примерах. Стоит заметить, что в них не найти ни глубоких мыслей, ни стилистических изысков — примеры берутся в основном из книг о «хороших манерах» с бесконечными «не плюй», «не сморкайся», «не бери руками» и т.д. Тем не менее их пришлось переводить. Часть средневековых предписаний изложена в стихах, но они не обладают ни малейшими эстетическими достоинствами, будучи теми же «не плюй» и «не сморкайся», поэтому они переведены прозой.

Еще больше проблем возникает при проверке источников и атрибуции цитат. Ни у меня, ни у редактора не было ни малейшей возможности проверить точность цитирования, поскольку для этого потребовалась бы примерно двухмесячная работа в библиотеке Британского музея (или в аналогичной западной библиотеке, поскольку в наших нет ни древних книг о «хороших манерах», ни многих работ французских и немецких историков начала века). Поэтому в выходных данных библиографических ссылок использованы только те сведения, что были приведены автором. В нескольких случаях, когда Элиас цитирует французских авторов по немецким переводам или дает собственный, мне не удалось найти оригинал и пришлось переводить с немецкого. Заглянув в издания данной работы в переводе на английский и французский, я обнаружил, что с проблемами такого рода сталкиваются повсюду, — французскому переводчику тоже не удалось отыскать приводимую по-немецки цитату из мемуаров герцога Сен-Симона, и он вынужден был давать обратный перевод с немецкого. В некоторых случаях я, напротив, приводил цита-

371

ты по имеющимся русским переводам, несмотря на то, что «Карманный оракул» Грасиана или некоторые максимы Лабрюйера в русском переводе в некоторой мере отличаются от их перевода на немецкий.

Преодолению всех этих сложностей, возникших при подготовке русского издания главного труда Элиаса, несомненно, помогала мысль о том, что благодаря настоящей публикации отечественный читатель сможет по достоинству оценить идеи одного из интереснейших социологов XX в.

Примечания

¹ О жизни Норберта Элиаса мы знаем не так уж много, причем основным источником являются два небольших текста: его собственные «Автобиографические заметки» и большое интервью, которое он дал двум голландским социологам (А.Й.Хеерма ван Восс и А. ван Столк), — несколько бесед, протекавших на протяжении целой недели и записанных на магнитофон. Беседы эти шли по-английски, предисловие к ним было написано по-голландски (я воспользовался немецким переводом А.Шрётера). — См.: Norbert Elias über sich selbst. Frankfurt a. M., 1990.

² Уже в диссертации 1923 г. Элиас сформулировал ряд положений, которые предваряют его социологическую концепцию и примыкают к той философской антропологии, которая несколькими годами позже получит развитие в трудах Шелера, Плеснера и Гелена. В частности, Элиас обратился к таким человеческим экспрессиям, как смех, улыбка. Лицевая мускулатура человека несравнимо более развита, чем у высших приматов, что позволяет человеку выражать множество индивидуальных душевных состояний. Но эти экспрессии являются сигналами коммуникации и как таковые входят в человеческую конституцию. Иначе говоря, человек уже на уровне своей биологии является социальным существом, ориентированным на других людей. Чувство и экспрессия изначально слиты, и лишь затем в процессе обучения человек ставит их под свой контроль и может смеяться, не чувствуя для этого соответствующего повода. Поэтому в диссертации отстаивалась та мысль, что кантианское деление на внешнее и внутреннее, факты и трансцендентальные формы несостоятельно, — это и оказалось неприемлемым для его научного руководителя. Правда, эти идеи, по признанию самого Элиаса, были высказаны еще на господствовавшем тогда «неокантианском языке» — «ужасающими философскими идиомами, которые трудно перевести на более ясный язык» (*Elias N. Notizen zum Lebenslauf // Norbert Elias über sich selbst. Fr.a.M., 1990. S. 134*).

³ В марксизме исключение делалось для «пролетарской идеологии», которая по некоей «предустановленной гармонии» отражает не партийные позиции, но истину в последней инстанции. Разумеется, эта доктрина, сделавшаяся чуть ли не религией в СССР, обладала ничуть не менее идеологическим характером, чем все разоблачаемые «буржуазные» идеологии.

⁴ Доклад зачитан на съезде немецких социологов, имевшем место в Цюрихе в 1928 г. Хотя Мангейм в то время был только приват-доцент-

372

том (да еще и эмигрантом), а по традиции основные доклады полагалось зачитывать только известным профессорам, он получил на это право, поскольку уже имел репутацию ведущего немецкого социолога.

⁵ Разумеется, научный редукционизм Маркса следует отличать от его пророчеств, не говоря уж о тех тезисах, что утверждались впоследствии от его имени.

⁶ Имеются и противники, в том числе Э. Ле Руа Ладюри, высказавший ряд чрезвычайно резких суждений. См.: *Le Roy Ladurie E. Saint-Simon ou le système de la Cour. P.: Fayard, 1997. Annexe I. P. 515-520*. Правда, если многие частные замечания Ле Руа Ладюри хотя бы отчасти обоснованны, то абсурдное обвинение Элиаса в «немецком национализме» на некритически позаимствовал у американского историка Д.Гордона, который просто свел концепцию Элиаса к «Размышлениям аполитичного» Т.Манна, не увидев того, что Элиас придерживался диаметрально противоположных позиций по поводу типичной для немецкой мысли XIX-XX вв. дихотомии «культура — цивилизация». См.: *Gordon D. Citizens without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought, 1670-1789. Princeton: Princeton Univ. Pr., 1994. P. 583-586*.

⁷ См.: *Elias N. Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur Wissenssoziologie I. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1983; Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1984; Scientific Establishments// Scientific Establishments and Hierarchies / Éd. by N.Elias, H.Martins, R.Whitley. Dordrecht-Boston-London, 1982; The Symbol*

Theory. L.: Sage, 1991. Из работ по социологии искусства наибольший интерес представляет неоконченная книга о Моцарте (*Elias N. Mozart. Zur Soziologie eines Genies / Hrsg. von M.Schröter. F.a.M.: Suhrkamp, 1991.*).

⁸ При переводе мною было сохранено латинское написание, поскольку вошедшее в медицинскую терминологию слово «габитус» имеет иное значение, а писать всякий раз «социальный габитус» было просто неуместно.

⁹ *Elias N. Gesellschaft der Individuen. S. 246.*

¹⁰ Хотя, как замечал Элиас, «борьба за интересы человечества» все еще ассоциируется с сентиментальным идеализмом, а тема «прав человека» выдвигается по идеологическим соображениям.

¹¹ *Elias N. Gesellschaft der Individuen. S. 31.*

¹² *Elias N. Was ist Soziologie? München, 1970. S.76.*

¹³ Polemika по этому поводу была начата в 80-е годы непримиримым противником Элиаса и его учеников, известным швейцарским антропологом Х.-П.Дюрром. Ему отвечали и сам Элиас и практически все его последователи. Дюрр опубликовал уже четыре тома, под общим заглавием «Миф о процессе цивилизации», содержащих богатый этнографический материал. Он указал на отдельные ошибки Элиаса в толковании исторических свидетельств (скажем, по поводу общественных бань в средневековых городах), но в целом приводимые им факты не служат заявленной цели — опровержению теории Элиаса. В свою очередь, большая часть того, что написали в ответ последователи Элиаса, не служит ее подтверждению. Если предельно кратко изложить аргументы Дюрра, то они сводятся к тому, что Элиас совершенно ложно судит о первобытных и традиционных обществах, что изменения в формах контроля над поведением не следует изображать как некий «прогресс». В них ничуть не больше страха или агрессивности, не говоря уж

373

о том, что когнитивные способности людей прошлого не следует принижать, увязывая их с тем, как они вели себя за столом. Человек современного массового общества более «свободен» и «рационален» как раз из-за ослабления эмоционально окрашенных связей с другими людьми, контакты с которыми все в меньшей степени оцениваются морально; поэтому говорить о росте «стыдливости», «эмпатии», «взаимной идентификации», повышении «порога чувствительности» просто нелепо. Обвинение Элиаса и его учеников в «колониализме» связано с тем, что поведение людей других культур сравнивается с «детским», как более непосредственное, наивное и грубое. Но это было общим местом в писаниях европейских колонизаторов XIX в. См.: *Duerr H.P. Der Mythos vom Zivilisationsprozesse. Bd. I-IV. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1988—1997.*

¹⁴ Сопоставление теории Элиаса с психоанализом содержится во многих работах, в частности, см: *Blomert R. Psyche und Zivilisation. Zur theoretischen Konstruktion bei Norbert Elias. Münster, Hamburg, 1991; Gesellschaftliche und individuelle Praxis. Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie / Hrsg. v. H.Korte. Fr. a. M., 1990; Macht und Zivilisation. Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie 2. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1984.*

¹⁵ См.: *Lipovetsky G. L'empire de l'éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes. P.: Gallimard, 1987.*

¹⁶ Трудно сказать, был ли знаком Элиас со статьями Л.Февра на ту же тему, — он на них не ссылается. Но если сопоставить первую главу его книги со статьей Февра «Цивилизация: эволюция слова и группы идей» (1930), то можно обнаружить явное сходство. См.: *Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 239—282.* Разумеется, интерпретации не только различны, но отчасти и противоположны.

374

Указатель имен

Альфен Л. 224
Анна Бретанская 151, 209
Антаун, герцог Люксембургский 139
Арендт Х. 353
Арнульф Каринтийский 23, 24
Арон Р. 357, 358
Бальзак О. де 278
Батай Ж. 368
Бахтин М.М. 368
Блок М. 218,222,224,225,233
Бонвит Р. 220
Брантом 183, 232
Брунеллески Ф. 9
Бубнов Н. 353
Бурдах К. 79
Бурдые П. 361
Буркхардт Я. 369
Вальтер Голяк 42
Вашингтон Дж. 332
Вебер А. 354,357,359,360
Вебер М. 219, 223, 231, 350, 351, 353-357, 360, 364, 367, 370
Вебер М. (Марианна) 354
Вильгельм I Завоеватель 14, 103, 119, 120
Висконти В. 140
Вольгар Элленберхтскирхсий 79
Гампе Б. 30
Гастон Орлеанский 193
Гегель Г.В.Ф. 238, 362
Гелен А. 372
Генрих I 24,120
375
Генрих II, Плантагенет 120, 122, 123, 155, 344
Генрих IV, Бурбон 7, 96, 139, 187, 188, 190, 192, 282
Георге С. 352
Герман Тюрингский 79
Гиберти Л. 9
Гитлер А. 357, 358
Гоббс Т. 365
Готфрид IV Бульонский 47
Грасиан Б. 262,331, 332,372
Гуго Капет 27, 28, 91
Гундольф Ф. 351
Гуссерль Э. 351
Делла Каза Дж. 278, 295
Джадд Ч. 331,340
Джеймс У. 340
Дитрих Мейсенский 79
Донателло 9
Допш А. 31,34,218
Дюпон-Ферье 232, 233
Дюркгейм Э. 357, 362, 369
Дюрр Х.П. 373, 374
Жанна Д'Арк (Орлеанская Дева) 142 Жоффруа (Джофри) Плантагенет 120
Иоанн II Добрый 132-136, 139, 202
Иоанн Безземельный 123, 124
Иоанн, герцог Беррийский 134, 136
Занд Ж. 73, 343
Зиммель Г. 350, 356
Зомбарт В. 350, 357, 370
Кавальи М. 212

Камю А. 361
Кант И. 349
Капелланус А. 334
Карл III Толстый 23
Карл IV Красивый 126, 131
Карл V 96, 133, 135-138, 140, 153, 201, 203
Карл VI 136, 138, 139
Карл VII 143, 149, 204, 207, 208, 212
Карл VIII 151, 152, 209, 212
Карл Валуа 136
Карл Великий 20, 23, 31, 161, 342
Карл Злой 136
376
Карл Смелый, герцог Бургундский 149-151
Карломан 23
Койре А. 358
Конт О. 357
Курциус Э.Р. 351
Лабрюйер 273, 274, 332, 334, 368, 372
Ларошфуко Ф. 332
Ласк Э. 353
Левенталь Л. 225
Ледерер Э. 353
Ле Руа Ладюри Э. 373
Лукач Г. 353
Льюис К.С. 230
Людовик I Благочестивый 23
Людовик IV 26
Людовик VI Толстый 28, 92-96, 116-119, 122, 127, 131, 178, 197
Людовик VII 122, 123, 178
Людовик VIII 125, 131
Людовик IX Святой 125, 131
Людовик X 126, 136
Людовик XI 149-151, 192, 212
Людовик XII 152, 212
Людовик XIII 187, 188, 190, 192, 193
Людовик XIV 90, 130, 139, 161, 182, 185, 188-194, 283, 334
Людовик XV 9
Людовик XVI 9
Людовик, герцог Анжуйский 133, 134, 136, 138, 203, 204
Людовик, герцог Бурбонский 136, 138, 213
Людовик, герцог Орлеанский 139, 140
Люшер А. 71, 80, 218, 224, 226, 229, 230, 232
Мазарини Дж. 185
Мазаччо Т. 9
Макиавелли Н. 331
Маклеод У.М. 230
Максимилиан I Габсбург 151, 152
Мальро А. 279
Манн Г. 351
Манн Т. 351, 373
Манхейм К. 353-358, 372
Мария Шампанская 334
Маркс К. 354, 355, 357, 364, 373
Марсель Э. 136
377
Монморанси М. 282-284
Мопассан Г. де 278
Мохаммед 36
Ницше Ф. 356
Ноетт Л. де 224-226
Озе А. 155, 232
Отевиль Т. де 41

Отгон I 24, 25, 96
Отгон IV 79
Оулт В. 221
Парето В. 357
Парсонс Е. 330, 339, 340
Парсонс Т. 359
Петрушевский Д.М. 222, 223
Пиренн А. 221-223,226,227
Плесснер Г. 372
Пруст М. 278
Рабле Ф. 368
Ранке Л. 233,282,334
Рас Тафари 22
Риккерт Г. 351,353
Ричард I Львиное Сердце 123 , 133
Ришелье А. Ж. дю Плесси 187, 189, 193, 282
Робер (Роберт из династии Капетингов) 93,131
Робер Гвискар 41
Ромен Ж. 279
Ростовцев М. 224, 225
Саломон А. 353
Сартр Ж.П. 361
Сен-Симон К. А. де Рувруа 190, 191, 193, 232, 233, 277, 278, 283, 284, 332, 334, 335,371
Скотсон Дж. Л. 359
Стольк А. ван 372
Тённис Ф. 350
Трельч Э. 350, 367
Уссэ А. де ла 331
Февр Л. 370, 374
Филипп I 120
378
Филипп II Август 7, 71, 79, 80, 123-125, 131, 178, 181, 196, 344
Филипп III Смелый 125, 131, 136, 137
Филипп IV Красивый 125, 126, 132, 134, 136, 181, 199, 344
Филипп V 126, 140
Филипп, герцог Бургундский 134-139, 203
Филипп Валуа 131-134
Филипп д'Эвре 136
Флобер Г. 278
Фогельвейде В. фон дер 69, 79
Фома Аквинский 196,233
Фрайер Г. 353
Франциск I 7,15,96,152,153,212
Фрейд З. 362
Фридрих II Великий 14
Фридрих II 79
Фуко М. 368
Фулк 120
Фулк Молодой 120
Хеерма А.Й. 372
Хенигсвальд Р. 351
Хёйзинга Й. 330
Хинце О. 219
Циммерн А. 225
Шартье Р. 359
Шелер М. 350, 367, 370, 372
Шпенглер О. 362
Шрётер А. 372
Штаудингер Г. 353
Эдуард III 136
Элиас Н. 328, 349-352, 354-374
Эразм Роттердамский 278
Этьен из Блуа 120

Юбер II 132

Ювеналий Урсинский, архиепископ Реймский 208, 211

Ясперс К. 351, 353

Содержание 2 тома

Часть третья. О социогенезе западной цивилизации.....	5
Глава I. О придворном обществе.....	7
Глава II. О социогенезе абсолютизма: краткий предварительный обзор темы.....	13
Глава III. О механизме общественного развития в Средние века.....	18
I. О механизмах феодализации	18
1. Введение	18
2. Центростремительные центробежные силы в средневековом аппарате господства.....	20
3. Рост населения после великого переселения народов.....	34
4. О социогенезе крестовых походов.....	41
5. Внутренняя дифференциация общества: образование новых органов и инструментов.....	48
6. О некоторых новых элементах в строении средневекового общества в сравнении с античным.....	55
7. О социогенезе феодализма	60
8. О социогенезе миннезанга и куртуазных форм общения.....	67
II. О социогенезе государства.....	91
1. Первый шаг на пути возвышения королевского дома: конкурентная борьба и формирование монополии в рамках одного удела	91
2. О механизме возникновения и действия монополии	103
3. Ранняя конкурентная борьба в границах королевства.....	115
4. Новое усиление центробежных сил: конкуренция принцев.....	128
5. Последние этапы свободной конкурентной борьбы и окончательное установление монополии победителя.....	144
6. Распределение власти и его значение для центра: образование «королевского механизма».....	156
7. О социогенезе монополии на налоги.....	195
Проект теории цивилизации.....	235
I. Социальное принуждение к самоконтролю.....	237
II. Распространение принуждения к предвидению и самопринуждения.....	253
380	
III. Уменьшение контрастов, рост многообразия.....	257
IV. Превращение рыцарей в придворных.....	263
V. Подавление влечений. Психологизация и рационализация.....	274
VI. Стыд и чувство неприятного.....	292
VII. Рост зависимости высшего слоя и давления на него снизу.....	299
VIII. Резюме.....	314
Приложение. Перевод иноязычных текстов.....	342
<i>А.М.Руткевич</i> . Историческая социология Норберта Элиаса.....	347
Указатель имен. <i>Составитель И.А.Осиновская</i>	375

Для заметок

Норберт Элиас

О ПРОЦЕССЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменения в обществе. Проект теории цивилизации

Том 2

Корректор: Н. И. Кузьменко

Компьютерная верстка: О. А. Зотов

ООО «Издательство «Университетская книга»

Лицензия ИД №03896 от 30.01.01

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 29, корп. I, лит. Б

Налоговая льгота — общероссийский

классификатор продукции ОК-005-93, том 2;

953000 книги, брошюры

Лицензия ИД № 03600 от 19.12.00

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.04.01

Формат 60x88 1/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 22. Тираж 3000 экз. Зак. № 284

АНО «Академия исследований культуры»

123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1

Отпечатано с готовых диапозитивов

и ФГУП ордена Трудового Красного Знамени

«Техническая книга»

Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникации

198005, Санкт-Петербург. Измайловский пр., 29